Министерство образования и науки Российской Федерации

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Литература русского зарубежья

Восточная ветвь

ХРЕСТОМАТИЯ

•

Том первый. Проза

•

Часть 1 (А–К)

Благовещенск
Издательство АмГУ
2013

ББК 83.3 (2 Рос=2 Рус)
Л 64

Рекомендовано
учебно-методическим советом Амурского государственного университета

Рецензенты:
Кафедра истории, философии, литературы ГИТИС (г. Москва);
Ястребов А.Л., заслуженный работник высшей школы РФ, докт. филол. наук, проф. кафедры истории, философии, литературы ГИТИС (г. Москва);
Агеносов В.В., заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, докт. филол. наук, проф. кафедры журналистики и литературы ИМПЭ (г. Москва).

Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1. Проза: В 3-х частях. Ч. 1 (А–К) / Сост., общ. ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой; вступ. ст. А.А. Забияко; биобиблиограф. ст. Г.В. Эфендиевой; подгот. текстов И.А. Дябкина, А.А. Забияко, К.А. Землянской, Р.В. Поливан, Г.В. Эфендиевой, А.А. Юрьевой. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013. – 370 с.

ISBN 978-5-93493-182-8

В первом томе хрестоматии «Литература русского зарубежья. Восточная ветвь» собраны прозаические сочинения 40 писателей русского Китая. Все подборки сопровождаются биографическими справками и редкими фотографиями авторов.

Издание предназначено в качестве учебного пособия студентам, обучающимся по специальности 031001 / направлению подготовки 032700 «Филология» и других гуманитарных факультетов высших учебных заведений, а также преподавателям и специалистам, занимающимся изучением истории литературы русского зарубежья.

При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта Президента Российской Федерации по проекту МК-6409.2010 «Социокультурный контекст художественного наследия дальневосточных писателей-эмигрантов (текстологический и источниковедческий анализ)».

Подготовка и издание пособия осуществлялись при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 12-21-21001 а(м) «Русские и китайцы: межэтнические отношения на Дальнем Востоке в контексте политических процессов»

© А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева, составление, 2013
© А.А. Забияко, предисловие, 2013
© Амурский государственный университет, 2013

НА ПРОСЕЛОЧНЫХ ДОРОГАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: КАЗУС ХАРБИНСКОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ

«История есть, в сущности, наука сложных аналогий, наука двойного зрения: факты прошлого различаются нами как факты значимые и входят в систему, неизменно и неизбежно, под знаком современных проблем. Так одни проблемы сменяются другими, одни факты заслоняются другими. История в этом смысле есть особый метод изучения настоящего при помощи фактов прошлого»[1].

«В последнее время наблюдается тяготение к беллетристике»[2].

«Безразлично, пишет ли начинающий беллетрист под Джека Лондона или А. Белого»[3].

Проза дальневосточной эмиграции в исследовательском и читательском пространстве русской литературы – во многом «terra incognita».

Это обусловлено разными причинами, и, в первую очередь, тем, что после 1945 года русская цивилизация в Китае практически закончила свое существование. Ю.В. Крузенштерн-Петерец вспоминала: «Вступление советских войск в Маньчжурию сопровождалось невероятными книжными ауто-да-фе. Многие книги жглись самими авторами, книгопродавцами, библиотекарями из боязни репрессий; многие сжигались победителями за ненадобностью»[4]. В.И. Чернышева, с группой хабаровских архивистов приехавшая осенью 1945 г. в Харбин в поисках печатных изданий, вспоминала: «Мы прибыли в Харбин через месяц после капитуляции правительства Маньчжоу-Го; двор, где размещалась японская военная миссия, был покрыт пеплом»[5].

Но процесс рассеяния, распыления и уничтожения книжной продукции русского Харбина начался задолго до падения Маньчжоу-Го. Еще в 1926 году все желающие вернуться на родину были ознакомлены с документом, согласно которому они не имели права ввозить в страну «вредные для СССР в политическом и экономическом отношении документы, печатные произведения, клише, фотографические снимки, киноленты, ру-

---

[1] *Эйхенбаум Б. М.* Литературный быт // Эйхенбаум Б.М. О литературе. М., 1987. С. 428–436.

[2] <*Б.п.*> Работа по студиям // Чураевка. 1932. 27 декабря. № 7 (1).

[3] *Гранин Г.* К пишущим // Молодая Чураевка. 1932. 10 июля. С. 1.

[4] *Крузенштерн-Петерец Ю.В.* Воспоминания // Россияне в Азии. 1998. № 5. С. 52.

[5] ГАХК Ф. Р.-266. Оп. 1. Д. 11. Л. 4,5. Цит. по: *Хисамутдинов А.А.* Русские книги из Китая // Мир библиографии. 2006. № 4. С. 57–60.

описи, чертежи и рисунки»[1]. По пути следования возвращающихся на Родину железнодорожное полотно не единожды усеивалось книгами – политическими трактатами, экономическими прогнозами и анализами, публицистикой, стихами и прозой…

Последующие скитания по странам и континентам, аресты добровольных и вынужденных репатриантов в СССР, их боязнь за судьбы близких людей неизбежно привели к тому, что многие художественные тексты «русских китайцев» были утрачены. С сохранившимися материалами (зачастую не самыми лучшими) знакомы были единицы – родственники писателей, собиратели коллекций и исследователи-подвижники.

С легкой руки последних характеристика прозаического наследия дальневосточного зарубежья долгое время ограничивалась резюме: «в основном, беллетристика» (Е.П. Таскина). Что разумелось под этой характеристикой, читатели и исследователи определяли в соответствии с границами своих эстетических горизонтов и представлений о «беллетристике». А, как известно, отечественная традиция эпохи развитого социализма осмысляла данную дефиницию исключительно в категориях критики буржуазно-массовой культуры и «ванькиной» литературы[2]. Редкий счастливец, имеющий в наличии антологию «Харбин. Ветка русского дерева», в большинстве представленных там образцов находил подтверждение отрицательным коннотациям понимания харбинской и шире – дальневосточной эмигрантской прозы. Тем более, что составители комментировали: «Да, ни Джека Лондона, ни Ивана Бунина в русском Харбине не было в те годы. Да и позже прозой русский Харбин не был, наверное, примечателен…»[3]

Впрочем, представление о «провинциальности», «мелкотемье», в общем – «второсортности» литературы дальневосточного зарубежья формировалось давно и не без участия западноевропейской эмигрантской крити-

---

[1] *Доброхотов Н.М.* Справочный отдел (Товары, запрещенные к ввозу в СССР) // *Доброхотов Н.М.* Спутник коммерсанта: Ежегодн. экон., железнодор., администр. и обществ. справ. по Сев. Маньчжурии и по г. Харбину. 1926–1927 гг.: Вып. 1. Харбин: Изд. Н.М. Доброхотова, 1926. С. 26. Цит. по: *Хисамутдинов А.А.* Русские книги из Китая. Указ. изд. С. 57.

[2] См., например: *Чуковский К.* Вербицкая // *Чуковский К.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1969. С. 16–17; История русской литературы. Т. 10. Литература 1890–1917 годов. М., 1954. С. 607-608; *Келдыш В.А.* Русский реализм начала XX века. М., 1975. С. 6; *Хализев В.Е.* Теория литературы. 2-е изд. М., 2000. С. 132–136. Подробно о традиции отождествления беллетристики и «буржуазно-массовой», «бульварной литературы» см., например, в работе *А.М. Грачевой* «Русская беллетристика 1900-1910 гг.: идеи и жанровые формы» // Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 543–588.

[3] *Таскина Е.П.* Литературное наследие русского Харбина // Харбин. Ветка русского дерева: Проза, стихи / Сост. Д.Г. Селькина, Е.П. Таскина. Новосибирск, 1991. С. 3–36.

ки[1]. Мнение о том, что на «Западе» (в первую очередь – в Париже) создавалась «высокая литература», а на «Востоке» (в Харбине и Шанхае) процветала продукция «второго ряда», бытовало многие десятилетия и в отечественной россике[2].

В самокритике и самоумалении с первых лет формирования института эмиграции весьма преуспевали и сами дальневосточники. «Дураков нет. Все в Харбин уехали», – ерничали над собой в 1920 году харбинские журналисты[3]. «Литературе на Дальнем Востоке не повезло в том отношении, что все "старшие писатели" эмигрировали на Запад, в Европу, и та литературная жизнь, которая зародилась на Востоке, была предоставлена самой себе. Здесь не оказалось никого из крупных писателей, кто бы мог так или иначе объединить молодежь, влиять на нее, руководить ею», – писалось почти через двадцать лет в шанхайско-парижских «Русских записках»[4]. «Судьба нас обделила, – спустя годы, вторя западным и местным критикам, сетовала Ю. Крузенштерн-Петерец. – К нам на восток попали после революции прекрасные артисты драмы и оперы, художники, музыканты. Мы были избалованы симфонией, камерными концертами, театром, роскошными декорациями, но больших писателей у нас не было. Они ушли на Запад. Контакта с ними не было, молодежи нашей учиться было не у кого»[5].

Архивные разыскания последнего десятилетия[6], публикации художественных текстов известных и малоизвестных авторов[7] дают возможность

---

[1] *Терапиано Ю.* Перечитывая «Антологию» // Журнал Содружества. 1936. № 3; *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Париж, 1984.

[2] Как пример негативной инерции по отношению к литературе дальневосточного зарубежья укажем издания лишь последнего десятилетия: *Азаров А.* Диалог поверх барьеров. Литературная жизнь русского зарубежья: центры эмиграции, периодические издания, взаимосвязи (1918–1940). М., 2005; *Буслакова Т.П.* Литература русского зарубежья: Курс лекций. Учеб. пособие. 2-е изд. М., 2005.

[3] *Дионис Евич.* Долой футуристов! Да здравствуют дети! // Маньчжурия. 1920. № 23. С. 3.

[4] *И.Ф.* Эмигрантские писатели на Дальнем Востоке // Русские записки. Общественно-политический и литературный журнал. Париж. 1937. №1. С. 322-330.

[5] *Крузенштерн-Петерец Ю.В.* Воспоминания… // Россияне в Азии. 1998. № 5. С. 65.

[6] Имеются в виду результаты архивных разысканий составителей хрестоматии в фондах ГАРФ, ГАХК, РГБ, ИМЛИ, Дома Русского зарубежья, провинциальной библиотеки г. Харбина (КНР), частных коллекциях В.А. Слободчикова и Л.Н. Андерсен т.д.

[7] Например: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. / Собиратель оригиналов, главный составитель, шеф-редактор Ли Янлен. Пекин, 2005; *Хейдок А.* Маньчжурские рассказы // Рубеж. 2006. № 6 (868). С. 97–121; *Юльский Б.* Зеленый легион. Рассказы // Рубеж. 2004. № 5 (№ 867). С. 151–176; *Байков Н.А.* Великий Ван: Повесть; Черный капитан: Роман / Состав. А. Колесова, вступит. ст. Н. Ким. Владивосток: Рубеж, 2009.

расширить представление о качественном наполнении прозы дальневосточных беженцев. В сочетании с новыми материалами, касающимися литературы западной эмиграции, а также вновь интерпретированными фактами культурного и литературного процесса метрополии 20-30 гг. прошлого столетия[1] эти источники создают довольно сложную, противоречивую картину. Главное при ее характеристике – следование синхроническому принципу толкования понятий, внимание к типологии социокультурных реалий зарубежья и метрополии и апелляция к уже современным теориям интерпретации текста сквозь призму эдиционной проблематики, с учетом особенностей творческой герменевтики авторов.

Начнем с пресловутой *беллетристики*. Ставшее почти ругательным в отечественной науке, понятие и явление «беллетристика» (букв. – «изящная словесность») все же требует терминологического уточнения и адекватного толкования в диахроническом контексте.

Мы не будем углубляться в целую череду определений и характеристик, существующих в отечественном литературоведении, остановимся на самых знаковых. В современной «Литературной энциклопедии терминов и понятий» под беллетристикой разумеется «термин, *иногда* употребляемый для характеристики прозаических произведений невысокого художественного уровня», произведений «на злобу дня» (курсив мой. – *А.З.*)[2]. К произведениям такого рода *сегодня* причислены считавшиеся долгие годы *классикой* советской литературы «Чапаев» Д.А. Фурманова, «Железный поток» (1924) А.С. Серафимовича, «Как закалялась сталь» Н.А. Островского (1932-1934) и др. В данной статье подчеркивается «серединное» положение беллетристики, соприкасающейся «и с "верхом", и с "низом" *массовой литературы*»[3].

В одной из последних работ А.М. Грачевой, опубликованной в фундаментальном труде «Поэтика русской литературы конца XIX–начала XX

---

528 с.; *Щербаков М.* Одиссеи без Итаки / Повесть, рассказы, очерки, стихи, переводы/ Сост., комм. и вст. ст. А. Колесова (Серия «Восточная ветвь»). Владивосток: Рубеж, 2011; *Хейдок А.* Звезды Маньчжурии: Рассказы / Состав. А. Колесова, примеч. Н. Белоглазовой, состав. и вступит. статья А. Лобычева (Серия «Восточная ветвь»). Владивосток: Рубеж, 2011; *Юльский Б.* Зеленый легион: повесть и рассказы / сост. и комм. А. Колесова; сост. и вступит. ст. А. Лобычева (Серия «Восточная ветвь»). Владивосток: Рубеж, 2011.

[1] Эстетическое самосознание русской литературы. 20-е годы XX века: Антология / Сост. Г.А. Белая. М.: РГГУ, 2003. 720 с.; *Корниенко Н.В.* «Нэповская оттепель»: становление института советской литературной критики. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 504 с.; В поисках новой идеологии: Социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920–1930 годов / Отв. ред. О.А. Казнина. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 608 с.

[2] Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. ИНИОН РАН. М.: НПК «Интелвак», 2001. С. 79.

[3] Текст данной статьи почти дословно совпадает с содержанием главы из «Теории литературы» В.Е. Хализева (М., 2000. С. 132–136).

века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза» (М.: ИМЛИ РАН, 2009) и носящей, по замечанию автора, предварительный характер, под понятием «беллетристика» понимается «художественная проза, ориентированная на достаточно обширную, так называемую "демократическую" аудиторию, что обуславливает специфику ее идеологических и эстетических функций. Беллетристика занимает промежуточное положение между "высокой" и "бульварной" (массовой) литературой»[1].

Даже эти, по времени близкие друг другу дефиниции, обнаруживают явное противоречие в том, что же такое беллетристика и какие аспекты при отнесении произведения к разряду «беллетристических» являются определяющими – злободневность, популярность среди широких слоев читателей (что не всегда совпадает со злободневностью) либо эстетическая усредненность. Отметим и тот факт, что «Литературная энциклопедия» в качестве примера беллетристических произведений приводит образцы «соцреалистического канона», а в работе петербургской ученой рассматриваются «бестселлеры» 10-х гг.: проза М. Арцыбашева, А. Каменского, А. Вербицкой и др.[2] Несмотря на разницу подходов (в одном случае преобладает идеологический, в другом – эстетический), их объединяет мысль о том, что «в России термин "беллетристика" всегда в той или иной степени нес печать чего-то легковесного, обозначал некий чем-то сомнительный "элемент" словесной культуры»[3].

Подобное отношение к беллетристике формируется с конца XIX в., когда под жернова оценочных характеристик попадают произведения самых противоположных литературно-общественных направлений. С одной стороны, литература «знаньевская», то есть – демократическая (Л. Андреев, М. Горький, А. Куприн), авторы которой были прозваны «подмаксимниками»; с другой стороны – литература «антидемократическая» (М. Арцыбашев, А. Каменский, А. Маар, Л. Чарская, А. Вербицкая и т.д.), в те годы именуемая «бульварщиной»[4], а ныне приписанная по ведомству «нео- натурализма»[5]. Заметим: и само понятие «неонатурализм» лишь несколько

---

[1] *Грачева А.М.* Русская беллетристика 1900–1910 гг.: идеи и жанровые формы. Указ. изд. С. 545.

[2] Аналогичный подход к произведениям перечисленной группы писателей в работе: *Дьякова Е.А.* Беллетристы 1900–1910 гг.: Михаил Арцыбашев, Анатолий Каменский, Анастасия Вербицкая и др. // Русская литература рубежа веков (1890–1920 годов). Кн. 1. ИМЛИ РАН. М.: Наследие, 2000. С. 669–688.

[3] *Грачева А.М.* Указ. соч. С. 545.

[4] Например: *Чуковский К.И.* Книга о современных писателях. СПб., 1914.

[5] *Тарасова А.А.* Что такое «неонатурализм» // Литературно-эстетические концепции в России конца XIX–начала XX в. М., 1975. С. 284–296; *Калита В.М.* Неонатурализм в литературе Серебряного века: История и теория // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 5. К 70-летию профессора В.В. Агеносова: Сборник научных работ /

последних лет слегка «очистилось» от двусмысленных оценочных коннотаций.

Достаточно явно критические оценки в адрес беллетристики обнаруживаются и в переписке З. Гиппиус с Вяч. Ивановым и П. Перцовым[1]. Но при этом радеющие о «высоком смысле» издатели «Нового пути» употребляли понятие «беллетристика» в значении *«занимательная художественная проза»*, противополагая ее прозе, исполненной *религиозно-философским содержанием*.

Итак, «сомнительность» беллетристики в разные годы и разными литературными кругами определяется по-разному.

Не беллетристика как таковая, а новые тенденции в литературном процессе 10-х гг. XX века способствовали тому, что беллетристика стала «центром, где скрещивались взаимовлияния высокой и массовой литератур. Отдельными своими новациями она совпала с творческими поисками мастеров высокой литературы и также стояла у истоков авангарда двадцатых годов»[2]. Речь идет о последнем периоде развития русской (и, в целом, мировой) культуры, когда высокая и низкая литература были еще резко противопоставлены. Трансформация жанровой системы начинается с трансформации ценностной иерархии, с изменений социокультурного порядка[3].

Уже в 10-годы прошлого столетия качественно меняется адресат литературы. «Особенно быстро росло число читателей из средних и низших слоев общества, то есть "полуобразованных" и малообразованных. Сильно увеличивалась численность учащихся в сельских школах, что привело к значительному уровню грамотности крестьян»[4]. Это теперь не только салонная аристократия и просвещенная интеллигенция, но и демократиче-

---

Под ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой; пер. на кит. Ли Иннань; пер. на англ. О.Е. Пышняк. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2012. С. 25–42.

[1] «В "Н. Пути" как рассказы – оскорбление искусства, так посторонние статьи – оскорбление мысли <…> Эти пошлые "беллетристики" <…> при каждой новой книжке "Пути" мучат меня как какие-то ведьмы, отпугивают, ошарашивают снова» (*Брюсов В.* Письмо З. Гиппиус (черновик). Цит. по: Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5–6. С. 304); «Насчет "потрафления" и погони за белле-тристикой (такое разделение презрительнее выходит) я с вами до корня согласна» (*Гиппиус З.* Письмо П.П. Перцову от 8 марта 1902 г. Цит. по: Русская литература. 1991. № 4. С. 133–134).

[2] *Грачева А.М.* Русская беллетристика 1900-1910 гг.: идеи и жанровые формы. Указ. изд. С. 585.

[3] Например: *Бройтман С.Н., Магомедова Д.М., Приходько И.С., Тамарченко Н.Д.* Жанр и жанровая система в русской литературе конца XIX–начала XX века // Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. Указ. изд. С. 5–77.

[4] Книга в России, 1881–1895. СПб., 1997. С. 305.

ская публика: учащаяся молодежь, рабочие, ремесленники, швеи, мастерицы, приказчики[1].

Легко распределить шкалу читательских предпочтений той поры. Среди студентов и учащейся молодежи, обретших грамотность рабочих популярностью пользовалась продукция издательства «Знание».

В обществе мелких чиновников, служащих, швей, гувернанток, гимназисток была востребована компенсаторная, популяризаторская функция неонатуралистической беллетристики – книги М. Арцыбашева, А. Каменского, Л. Чарской, А. Вербицкой, Н. Нагродской. Писатели этого ряда особым образом и на особом языке обратились к Ницше, Вейнингеру, Фрейду и дали «точный ответ» на духовные и эстетические запросы этого читательского круга. Проблемы пола и характера, гендерной самоактуализации, «практикующего эротизма» в противовес неуловимому Эросу символистов захлестнули публику данного социального слоя. В прозе М. Арцыбашева, А. Вербицкой, А. Каменского философские и эстетические идеи рубежа веков редуцируются, «опрощаются», в доступной форме доносятся до «нового читателя». Одновременно и автор проводит «сеанс» определенной самоактуализации, проясняя отношение к традиции (например, к «большим романам» XIX в.) и на основе сюжетных, образных, жанровых клише русской классики создает новую литературную мифологию.

Но ведь существовало и еще одно «ответвление», а правильнее сказать – понимание беллетристики, при котором авторы свою художественную деятельность связывали с прозаическими произведениями, интересными для широкого круга читателей благодаря новой «морфологии» прозы.

Это отнюдь не отменяло ее рыночной состоятельности.

Начало развития русской беллетристики XX века в последнем истолковании было положено Чеховым. Именно он открыл *новый тип повествования*, синтезирующего анекдотическое и притчевое начало, заключенного, к тому же, в рамки весьма сжатого объема. Чеховская новелла разнообразно преломилась в творчестве последующих поколений писателей: А. Куприна, А. Толстого, Е. Замятина, И. Бунина, позднее – В. Набокова и др. Не удивительно, что многие русские писатели «после-чеховской поры» совершенно свободно именовали себя «беллетристами», не смущаясь, что тем самым определяют себя на низшую ступень литературной иерархии. Так, В. Набоков, которого никак не заподозришь в самоумалении, в «Других берегах» (1954 г.) констатировал: «Кроме *беллетристики* и стихов, я писал одно время посредственные критические заметки»[2]. Вырвавшийся из

[1] Об этом: *Вербицкая А.* Писатель, критик и читатель // Утро России. 1910. 6 февраля. С. 3.

[2] *Набоков В.* Другие берега. Собр. соч.: В 4 т. М.: Правда, 1990. С. 287.

Советской России и добравшийся до Парижа А. Каменский в 1931 году заявлял: «Газета Матэн предложила мне написать 18 фельетонов о Советской России, обещая хороший гонорар. Я отказался от этого предложения, – не хочу делаться журналистом. Я – *беллетрист*, и решил использовать имеющийся у меня богатый материал в *беллетристической форме*»[1].

В практике подобного словоупотребления логично противопоставление беллетристики (художественной прозы) и поэзии, публицистики, литературной критики[2]. Очевидно, что именно такое понимание вкладывал в специфику «беллетристики» и Иосиф Эйгес – философ, литературный критик, автор работ о природе творчества, наследующий русской классической традиции, когда в 1925 г. давал следующее определение: «Беллетристика есть художественная проза повествовательного характера, то есть заключающая в себе последовательное в общем (этому не мешают перерывы, а также возврат назад) – изложение ряда событий, действий, взаимоотношений описываемых лиц и проч.»[3].

Он однозначно дифференцировал беллетристику и «бульварную литературу», подчеркивая: «художественность литературного произведения зависит не столько от достоинств языка и умения автора интересно излагать события, сколько от того своеобразного переживания образов, ради которого можно простить некоторые недостатки изложения»[4]. Он выделил жанровый признак беллетризации – *фабульность, сюжетность*, при этом отказывая беллетристике в *тенденциозности* (в числе «тенденциозных произведений» – *подделок под беллетристику* Эйгес называет, кстати, «Что делать?» Н. Чернышевского).

За *беллетристическими жанрами* (куда исследователь включает *повести, рассказы, романы*) им предвидится большое будущее, так как основа рождения беллетристики – *дух свободного творчества*: «Беллетристика едва ли не более всех других видов литературы способна вместить в себе все разнообразие нашей жизни, стремлений, интересов. Как ответил Тургенев на упреки в публицистических темах своих романов, художник может описывать все, что угодно, если только оно "образом ложится в душу писателя"

---

[1] *Унковский В.* У Леды и ее творца. Писатель Анатолий Каменский – о своем новом романе // Рубеж. 1931. № 22.

[2] Сравнивая публицистические и художественные модификации *очерка,* возникающие на рубеже XIX-XX вв., современные исследователи противопоставляют «художников-беллетристов» и «художников-очеркистов», обнаруживая новые возможности установления ценностной иерархии, не обусловленные критерием «художественное//малохудожественное» (*Завельская Д.А.* Очерк // Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Указ. изд. С. 397–437).

[3] *Эйгес И.* Беллетристика // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. М.; Л.: Изд-во Л.Д. Френкель, 1925.

[4] Там же.

(Пред. к собр. романов), т.-е. романы и повести могут быть бытовыми, общественными, историческими, психологическими, философскими»[1].

Рубежной вехой в развитии подобных представлений о беллетристике в европейской литературе становится, очевидно, Великая война. Апокалипсис Первой Мировой переиначил всю картину мира человека, низвел прежние авторитеты, девальвировал привычные ценности и с болезненной остротой обозначил непреходящее значение «земного», «плотского». Настоятельная потребность в *живых* чувствах *живых* людей усугубляет интерес к литературе динамичной, к меткому и лаконичному слову, к новым жанровым модификациям.

Но русские писатели, не успев отрефлектировать этот опыт, попали в прокрустово ложе новых социальных потрясений.

Годы революции и Гражданской войны внесли в эти процессы классовые акценты. Потому беллетристика 10-х гг. и беллетристика 20-х гг. – феномены, генетически связанные, но отличающиеся по своим субъектно-объектным и художественным характеристикам. После 1917 года читатель меняется кардинально. «Новая стратегия чтения, рожденная в революционном котле, явилась результатом культурного коллапса, когда "старая культура" получила нового адресата. Новый читатель, зритель, слушатель формирует оптику своего восприятия в самом процессе "приобщения к культуре". Это исключительно сложный и болезненный процесс. Он сопровождается резкой ломкой сложившегося эстетического опыта масс и, как следствие, массовым негативизмом к культуре вообще: и к "старой культуре", и к восставшей на ее развалинах культуре авангардной. Процесс этот приводит к отказу от потребления искусства и стремлению создавать искусство самим, к отказу от сотворчества и желанию творчества: *реципиент перерождается в автора*»[2].

Иными словами, писателем становится бывший прапорщик, офицер, рядовой красноармеец, комиссар, анархист…[3]

В начале 20-х гг., когда «новый читатель» еще только осознавал себя в этом качестве, а соцреалистические директивы только-только стали формироваться, судьба *русской беллетристики* как судьба *русской прозы* объединит в единое дискуссионное пространство крупнейших писателей и критиков метрополии и русского зарубежья (О. Мандельштама, Е. Замятина, Н. Чужака, С. Третьякова, В. Шкловского, К. Мочульского, М. Слонима, Вс.Н. Иванова и др.).

---

[1] *Эйгес И.* Указ. соч.

[2] *Добренко Е.* Искусство принадлежать народу. Формовка советского читателя // Новый мир. 1994. № 12.

[3] Об этом, например: *Чудакова М.О.* Опыт историко-социологического анализа художественных текстов // *Чудакова М.О.* Литература советского прошлого. М., 2001. С. 291–297.

Проанализировав прозу предшествующего десятилетия, Е. Замятин придет к выводу: «Традиционной болезнью русских *беллетристов* была какая-то пешеходность фантазии, *сюжетная анемия* – все ушло в живопись» (курсив мой. – *А.З.*)[1]. Потребность в оживлении сюжетов, по его мнению, продиктована самой «сдвинувшейся», «поплывшей» действительностью: «Сама жизнь – сегодня перестала быть плоско-реальной: она проектируется не на прежние неподвижные, но на динамические координаты Эйнштейна, революции. В этой новой проекции – сдвинутыми, фантастическими, незнакомо-знакомыми являются самые привычные формулы и вещи. Отсюда – так логична в сегодняшней литературе *тяга именно к фантастическому сюжету или к сплаву реальности и фантастики*» (курсив мой. – *А.З.*)[2].

В аналогичном ключе констатируя «конец романа», О. Мандельштам будет апеллировать к «формульной» эпохе классицистического XVIII в.: «*Элементарные формулы*, общие понятия восемнадцатого столетия могут снова пригодиться. "Энциклопедии скептический причет", правовой дух естественного договора, столь высокомерно осмеянный наивный материализм, *схематический разум, друг целесообразности,* – еще послужит человечеству. Теперь не время боится рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум – ratio энциклопедистов – священный огонь Прометея» (курсив мой. – *А.З.*)[3].

Замятин концентрирует внимание на *фантасмагоричности* реальности, диктующей новый сюжет; Мандельштам, напротив, настаивает на *универсализме* сюжетных формул и *обновлении повествующего слова*. Но, так или иначе, эти размышления обнаруживают нужду в изменении формообразующих прозу элементов.

Замятин закономерно предчувствовал, что *новый читатель* может ждать от прозы только *сюжетную остроту*: «Вероятно, появится другая крайность: иные уйдут просто в бездумную сюжетную игру, в авантюрный роман… Но такой роман отвечает только одному спектру современности; чтобы отразить *весь спектр* – нужно в динамику авантюрного романа вложить тот или иной *философский синтез*»[4]. Как видно, писатель прозорливо прочертил путь развития литературы XX в. в направлении ее массового спроса и выделял возможные «развилки» этой дороги: в сторону *модерниза-*

---

[1] *Замятин Е.* Новая русская проза (1923)// *Замятин Е.* Сочинения. М., 1991. С. 420–433.

[2] Там же.

[3] *Мандельштам* О. Девятнадцатый век (1922)// Мандельштам О. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1991. С. 195–201.

[4] Там же. С. 432–433.

ции техники литературы, претендующей на «классический уровень» и *низведения этой техники* до *самоценного характера* в так называемой литературе «для масс».

Немного позднее, наблюдая в прозе метрополии развитие обозначившихся в начале 20-х гг. тенденций, эмигрант К. Мочульский резюмирует: «марксистам невдомек, что писатель может перелететь на Марс и сочинить роман из жизни марсиан, как это недавно сделал А. Толстой, и не сдвинуться с мертвой точки; и, наоборот, в сотый раз пересказывая избитый сюжет, создать новый литературный жанр. "*Новое" и "старое" в литературе – не от материала, сюжета или мотива. Об оригинальном быте обычно пишутся банальные рассказы*» (курсив мой. – *А.З.*)[1].

Раздумья писателей, имевших дореволюционный опыт литературного творчества, любопытным образом пересекались с поисками лефовских авторов и критиков. В работах последних на первых порах «беллетристизм» (Н. Чужак) как «литература вымысла» начинает кардинально противополагаться «литературе факта»[2]. Такую «беллетристику» в своей программной статье Н. Чужак определял даже как «опиум для народа»[3].

Стремясь создать «новую техническую базу» в литературе и дать «переоценку» «старых представлений о старой же культуре и литературе», лефовец В. Перцов напишет: «застрельщиками этой переоценки выступают люди со стороны, не "авторитетные", признанные художественные деятели, критики, искусствоведы, а люди пограничных областей – *газетчики, журналисты, этнографы, путешественники, историки, публицисты*, – т.е. люди, поставленные в потоке живой действительности и привыкшие отвечать за каждое свое слово, как за дело» (курсив мой. – *А.З.*)[4].

Фактографичность будет оценена Мочульским как «кризис воображения» современных прозаиков[5]. Однако он обратит внимание прозаиков на «основные виды построения и технику рассказа», при этом, наряду с критиками как «слева», так и «справа», подчеркнув потребность в *новом фабулате*, в новой «морфологии прозы». Оживление «воображения» кри-

---

[1] *Мочульский К.* Новая проза // *Мочульский К.* Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. Томск, 1999. С. 271–276.

[2] Об этом: *Чужак Н.* Писательская памятка // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа / Под ред. Н.Ф. Чужака. М., 2000. С. 5–19. О литературной практике балансирования на грани фактографизма и беллетристики в творчестве одного из самых «лефовских» писателей см. в работе: *Ли Иннань.* Китай в творчестве Сергея Третьякова: роман «Дэн Ши-хуа» // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2012. С. 237–251.

[3] *Чужак Н.* Писательская памятка. Указ. изд. С. 17.

[4] *Перцов В.* История и беллетристика // Новый ЛЕФ. 1928. № 4. С. 3–8.

[5] *Мочульский К.* Кризис воображения (Роман и биография) // Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 2. М., 2002. С. 21–28.

тик зарубежья, как и лефовцы, будет искать в «проселочных дорогах» развития литературных жанров. Именно там он находит жанры *биографии* и *автобиографии*. Путь обретения биографией «воображения», что равно для него *художественности*, Мочульский видит в преодолении документальности и освобождении от «рабского поклонения факту». То есть речь идет ни о чем другом, как о *беллетризации* биографии, обрастании ее «вымыслом», внедрении сюжетной занимательности. Общая сентенция о том, что «скудость талантов вовсе не свидетельствует о том, что самый жанр плох. *Плохих жанров нет: есть плохие писатели*» (курсив мой. – *А.З.*)[1] является еще одним аргументом в пользу содержательного переосмысления беллетристики.

«Беллетристический бум» захватит и литературоведов-опоязовцев. Еще не совсем ясно осознавая, «куда несет нас рок событий», теоретики литературы именно принцип *беллетризации* поставят во главу своей полемики о литературной эволюции и задачах литературоведения на современном им этапе[2].

Для Бориса Эйхенбаума, в частности, эта проблема поступательно определится в триаде: «Как писать? Кому писать? Как быть писателем?»[3] В раздумьях о новом пути развития литературоведческого труда он приходит к пониманию необходимости *нового языка* и *нового материала*. Своим путем Эйхенбаум будет двигаться по направлению к «беллетризации» литературоведения «в стиле полубеллетристики или мемуара»[4]. Эти поиски приводят к созданию статьи «Литературная карьера Л. Толстого». Статья вызывает резкое неприятие со стороны друзей – Ю. Тынянова и В. Шкловского, негативно определивших этот опыт как «биографическую беллетристику» и «непреодоленную биографию»[5].

Несмотря на бурные споры о примате «власти факта» либо «власти вымысла», литературный процесс начала 20-х гг. объективно характеризуется *общей беллетризацией литературы*. Время «большого романа» с глобальностью проблемного поля, разветвленным сюжетом и психологическими мотивировками сменяется потребностью в остром сюжете, лаконич-

---

[1] *Мочульский К.* Кризис воображения... С. 21–28.

[2] Об этом: *Корниенко Н.В.* «Нэповская оттепель»: становление института советской литературной критики. Указ. изд. С. 9–71.

[3] См.: *Эйхенбаум Б.* Миг сознания (1921) // Указ. изд.; *его же.* В ожидании литературы // Русский современник. 1924. № 1; Литературный быт // Мой временник. Л., 1928.

[4] *Эйхенбаум Б.* Дневник. Запись от 7 марта 1928 г. Цит. по: *Чудакова М.* Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова // *Чудакова М.О.* Избранные работы. Т. I. Литература советского прошлого. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 433–455.

[5] Подробно об этом: *Чудакова М.* Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова. Указ. изд.

ности и остроумности характеристик, неожиданности детали. «Интересно читать» – главный критерий беллетризации, и критика 20-х годов предъявляет именно это требование к новой литературе в соответствии с принятыми в мае-июне 1925 г. партийными резолюциями[1]. Поэтому к концу 20-х годов слова «беллетристика» и «беллетрист» в литературных кругах метрополии имеет самые разные значения, и они, хотя и связаны с представлениями о «второсортности», «низкопробности», «мелкотемье», но уже исключительно в идеологическом ракурсе. Н. Осинскому, например, «интересно читать» роман Ф. Гладкова «Цемент» (герои «все почти живые люди», «это же впервые описана рабочая Советская Россия»). В этом смысле новая идеология делает упор именно на беллетристику, под ее «механику» подверстывая требования нового «соцзаказа»[2]. Правда, когда речь заходит о попутчиках, возвращаются разговоры о «беллетристическом чтиве». Так, об авторе «Белой гвардии» Н. Осинский высказывается: «Он пишет легко и интересно. Можно даже "взасос" прочесть его описание киевских событий 1918 года – с другой, белогвардейской, юнкерской стороны. <…> это собственно "вагонная литература" высшего качества»[3].

В конце XIX века А.Н. Веселовский задавался вопросом: «Почему известного рода сюжеты популярны, почему одни из них падают, сменяясь новыми? Иногда вопрос решается просто, стоит только признать, что между сюжетом и течением идей есть внутренняя связь, что *и в литературе играют роль спрос и предложение*»[4], «очевидно, мода [на определенные сюжеты, в том числе. – *А.З.*] имела свои причины, действительно, она была результатом душевной борьбы, наполнявшей общество...»[5]

Именно «моду», а также читательский «спрос» исследователи современного литературного процесса рассматривают сегодня как один из основополагающих критериев формирования жанрологии прозы и ее ценностной иерархии[6]. Но писательские интенции зачастую не сводимы только к фактору «спроса». Максимально убедительно поиски «от противного», вопреки и читательскому, и литературоведческому ожиданию, были выражены в декларациях «Серапионовых братьев». «Авантюрный роман есть явление вредное, классическая и романтическая трагедия – архаизм или стилизация, бульварная повесть – безнравственна. Поэтому Александр

---

[1] «Счастье литературы». Государство и писатели. Документы. М., 1997. С. 15.

[2] *Осинский Н.* Литературные заметки // Правда. 1925. 26 июля. С. 5. Цит. по: *Корниенко Н.В.* Нэповская оттепель. Указ. изд. С. 55.

[3] Там же.

[4] *Веселовский А.Н.* Поэтика сюжетов // *Веселовский А.Н.* Мерлин и Соломон: Избранные работы. М.; СПб. 2001. С. 652.

[5] Там же.

[6] Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания / Под ред. П.А. Гринцера. М.: Наследие, 1994. 512 с.

Дюма (отец) – макулатура, Гофман и Стивенсон – писатели для детей», – воспроизводит Л. Лунц негативную аксиологическую парадигму своего времени и продолжает: «А мы полагаем, что наш гениальный патрон, творец невероятного и неправдоподобного, равен Толстому и Бальзаку, что Стивенсон, автор разбойничьих романов – великий писатель, и что Дюма – классик, подобно Достоевскому.

<…> Произведение может отражать эпоху, но может и не отражать, от этого оно хуже не станет…

Потому что мы требуем одного: произведение может быть органичным, реальным. Жить своей особой жизнью.

<…> Не быть копией с натуры, а жить наравне с природой. Мы говорим: Щелкунчик Гофмана ближе к Челкашу Горького, чем этот литературный босяк к босяку живому. Потому что и Щелкунчик, и Челкаш выдуманы, созданы художником, только разные перья нарисовали их»[1].

Как видно, в столь эпатажной для тех лет декларации Лев Лунц пришел к глубинному пониманию природы произведения, вытекающей из органики художника, природы его творческой герменевтики. Произведение интересно читателю постольку, поскольку интересен и глубок авторский посыл (вспомним И. Эйгеса). Правда, как и в творчестве лефовцев, так и в творчестве серапионов литературные зачастую декларации оказывались смелее и интереснее художественных решений...

Таким образом, трактовки беллетристики в 10-30 гг. прошлого столетия постоянно балансировали на границе представлений о «художественном»//«не художественном», «элитарном»//«массовом», «скучном»//«занимательном» чтении, важнейшим критерием при этом оставался вопрос адресации произведения и его «идеологической» (в широком смысле) адекватности.

Учитывая все вышесказанное, в разговоре о беллетристике мы будем, во-первых, разделять два явления: «массовую беллетристику» (она же – «массовая литература») и художественную прозу в целом, включающую прозаические произведения разнообразной жанровой природы, обладающие острой фабулой, занимательные для чтения («беллетристика»), при этом, как правило, небольшого объема. Беллетристика в нашем понимании обладает широким рецептивным потенциалом среди разных читательских слоев, разделенных не только социокультурными, но в идеале – и временными границами[2].

---

[1] *Лунц Л.* Почему мы «Серапионовы братья». П.: Алконост, 1922.

[2] Традицию осмысления процесса беллетризации, учитывающего разницу социокультурного и эстетического подходов, в отечественном литературоведении продолжает ряд исследователей*: Кузнецова Т.Ф., Луков В.А., Луков М.В.* Массовая культура и массовая беллетристика // Знание. Понимание. Умение. Эл. журн. 2008. № 4. Сер. «Культурология».

Подобное внеоценочное, но при этом – продуктивное отношение к явлению беллетристики поможет выявить специфику литературного процесса в дальневосточном зарубежье и его «харбинском крыле» как наиболее ярко выраженном. Развитие харбинской литературы было напрямую обусловлено процессами социокультурного, экономического и политического развития дальневосточного зарубежья в целом.

Сегодняшний взгляд на литературную ситуацию в русском Харбине, лишенный идеологических шор, позволяет обнаружить парадоксальное явление: новоявленные харбинские литераторы-эмигранты оказались в той «особенной ситуации», в которой пребывали и их собратья по перу в метрополии. Ее суть состояла в том, что «постановка (и решение) определенных литературных задач совпала по времени с задачей выработки определенного социального поведения»[1].

И хотя онтологические и идеологические основания формирования литературы «по ту сторону границы и по эту сторону границы» были совершенно полярны, вопросы «как быть писателем?», проблемы «литературного быта»[2] волновали писателей-харбинцев ничуть не меньше, чем их собратьев в метрополии и западно-европейской эмиграции. В речевой практике русских харбинцев явление «беллетристики» коррелирует исключительно с понятиями «поэтическое» и «публицистическое» и абсолютно лишено отрицательных смыслов. «Ремесло беллетриста» в сознании пишущей харбинской братии осмысляется как трудное, требующее не только таланта, но и определенного умения[3].

Новоявленные харбинские писатели представляли собой разнородное в социокультурном и возрастном измерении сообщество. Как и будущие писатели метрополии, те, кто был призван формировать харбинскую литературу, относятся к «одной генерации», которую мы можем определить несмеловской формулой: «дети восемнадцатого года» («Встреча первая»)[4]. Только для будущих харбинских писателей и поэтов данная коллизия наполняется иным содержанием: вчера – российские просторы, сегодня – Восток, Маньчжурия; вчера – гражданин России, сегодня – эмигрант; вчера – офицер царской армии, казак, студент, учитель, сегодня – писатель.

У одних за плечами – Геттингенский университет (Вс.Н. Иванов), у других – незаконченная Петровско-Разумовская сельскохозяйственная ака-

---

[1] *Чудакова М.О.* Опыт историко-социологического анализа художественных текстов // *Чудакова М.О.* Литература советского прошлого. М., 2001. С. 291.

[2] *Эйхенбаум Б.* Литературный быт // *Эйхенбаум Б.* Мой временник. Л., 1929. С. 51.

[3] Ребринский А. О творчестве беллетриста (Литературный ларец) // Рубеж. 1942. № 18.

[4] *Несмелов А.* Собр. соч.: В 2 т. Владивосток: Рубеж, 2006. Т. 1. Стихотворения и поэмы. С. 108.

демия (А. Ачаир). Кто-то уже до Первой мировой попробовал себя в писательском ремесле (Н.А. Байков, А.И. Несмелов, П.В. Шкуркин), к кому-то вдохновение стало приходить в период «омского сидения» (Вс.Н. Иванов) и дни страшного Ледяного похода (А. Ачаир), кто-то начинает творить во Владивостоке (В. Март, М. Щербаков).

Пока торжествовали революционная неразбериха и постреволюционная сумятица, культура русского Харбина словно выпала из исторического времени почти на десятилетие. Те веяния, что определяли развитие культуры России в 10-е годы, законсервировались в русском кэвэжедековском городке на определенном этапе[1]. «Харбин не читает! Харбину нужно все, кроме книг!» – в 1923 году ругали недавнее прошлое харбинские журналисты. «С 1918 по 1920 Харбин жил без книг. Читатели, по привычке приходившие в книжный магазин, смотрели на пожелтевшие корки случайных изданий, помеченных "1912", "1910" и даже "1906" год, вздыхали и уходили. Медленный процесс отвыкания от книги усиливался»[2]. «Первыми ласточками» «пестрого каскада книг», характеризующего подъем издательского дела, стали берлинские книжные издания: «Весь 1922 год – сплошной медовый месяц берлинской книги и харбинского читателя. Харбинцы поглощали сотнями толстовские "Любовь – книгу золотую" и "Хождение по мукам". Раскупали "Театр и жизнь". Расхватывали "Жар-птицу"... Харбин вдруг оказался культурным и великолепно поглощал и нового, испытанного Амфитеатрова, и неведомых для Харбина Ремизова с Пильняком».

Итак, в первой половине 20-х гг. харбинские издатели и сочинители словно с «чистого листа» начинают наверстывать потерянное время: они «сближаются с культурой новой эпохи. Они держат в руках Есенина, Пильняка, Лидина, Ал. Толстого, Эренбурга.

Их не отпугивает масютинский рисунок, название "Серапионовы братья", ремизовская вязь словами»[3].

Иными словами, уже к середине 20-х годов харбинский читатель адекватно воспринимает и «всеядно» поглощает прозу Ал. Толстого, авангардистский сказ Пильняка, орнаментальную вязь Ремизова – все то, что составляет богатое новациями пространство советской беллетристики и новообразованной эмигрантской литературы.

Несмотря на общий рост интереса к книге и знакомство с лучшими образцами прозы метрополии и эмиграции, 20-е годы прошли для харбинцев в творческих поисках. В 1929 г. Вс.Н. Иванов, чей литературный багаж успел стать довольно весомым, а авторитет – солидным, обрушивается

[1] Об этом: *Забияко А.А.* Тропа судьбы Алексея Ачаира. Благовещенск, 2005.
[2] *Менестрель.* После разлуки // Гонг. 1923. № 1. С. 18–20.
[3] Там же.

на прозаиков дальневосточной эмиграции с провокационными попреками: «Харбинские эмигрантские беллетристы и иже с ними, которые в своих рассказиках помещают то лирические переживания при встрече с некоей обворожительной девушкой, то копаются в воспоминаниях, расплываясь в сладкой и теплой водице, не подозревают, в каких возможностях сюжетов они пребывают»[1].

В этой статье прозвучала достаточно трезвая оценка харбинской литературной ситуации тех лет. Но проблема харбинской прозы состояла не в отсутствии талантов. Суровая беженская действительность подвигала русских сочинителей к стремлению применять свои художественные амбиции к жестким условиям рыночных отношений, соотносить меру собственного эстетического вкуса с запросами читающей публики, сопрягать с талант с его «реализуемостью».

Первостепенную роль в литературном обеспечении широких кругов харбинской публики играл иллюстрированный, многоцветный альманах «Рубеж»[2]. Он имел большую читательскую аудиторию (в лучшие годы тираж составлял около двух с половиной тысяч). Главными адресатами журнала являлись средней руки чиновники, служащие, домохозяйки. Реноме «глянцевого журнала» определяло тематический, проблемный и стилистический облик «рубежных» материалов. Как правило, они были представлены стихотворением местного поэта, рассказом общим объемом 2-5 страниц, растянутым на 8-16 из-за рекламы, многочисленных фотографий, развлекательных статей на разные темы. Казалось бы, многие из них сегодня могут представлять интерес лишь в качестве культурных фоновых знаний (разнообразные психологические тесты, модные анонсы, кулинарные рецепты, перепечатки зарубежной прозы и т.д.). Но эти публикации как раз и создают портрет целой эпохи. Статьи же политической направленности, сводки военных действий характеризуют общие настроения дальневосточной эмиграции и отражают сложные перипетии политической борьбы внутри Маньчжурии[3]. Этнографические заметки самих харбинцев (А. Ачаира, А. Хейдока, В. Логинова, Н. Байкова и др.) несут ценнейшую информацию о нравах, обычаях и верованиях коренных народов

---

[1] *Иванов Вс.*Н. Об эмигрантской литературе // *Иванов Вс.Н.* Огни в тумане. Рерих – художник-мыслитель. М: Советский писатель, 1991. С. 239–243.

[2] В Харбине выходило огромное количество периодических изданий, на страницах которых публиковались художественные произведения; наиболее известные – газета «Заря», «Рупор», «Гун Бао», журнал «Луч Азии». Весьма содержательной в художественно-эстетическом отношении была «Чураевка» (поначалу – «Молодая Чураевка»), орган одноименного литературного объединения.

[3] Об этом, например: *Трубилова Е.М.* Периодика Дальнего Востока // Литература русского зарубежья. 1920-1940 / Под общ. ред. О.Н. Михайлова; Отв. ред. Ю.А. Азаров. Вып. 3. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 463–518.

Востока Азии и обнажают интерес писателей-эмигрантов к окружающей их экзотике[1]. Особого внимания заслуживает рубрика «Книжные новинки» с критическими обзорами той литературы, что поступала на полки харбинцев. Каждый номер «Рубежа» является, таким образом, миниатюрным слепком недельной жизни читающего среднего харбинца.

Главный контингент сотрудников журнала составляли харбинцы-беллетристы и целая армия поэтов и поэтесс[2], авторы самых разных художественных дарований и эстетических ориентиров. Их творчество обеспечивало читательской аудитории доступ к литературе, чтению как способу организовать свою жизнь в отрыве от родины, оставленных там близких людях, разрушенного привычного уклада жизни.

Еженедельный выпуск «Рубежа» предполагал появление, как минимум, двух рассказов местных авторов. Как правило, с такого рассказа журнал открывался – соответственно, требовался и заголовок, который привлечет внимание потенциального читателя еще на стадии покупки и пролистывания «Рубежа». Название выполняло функцию манкой афиши (К. Чуковский). Достаточно перечислить их наугад: «Портсигар желтой кожи» (Ю. Крузенштерн), «Поэтический жулик», «Трагедия одного дня», «Чужая жена», «Честный муж»; «Кисть женской руки» (Я. Лович), «Банкротство» (Н. Резникова) и т.д., и т.п. Особенно преуспел в «номинативной броскости», на мой взгляд, Л. Никитин[3]: «Тень отравительницы», «Неужели я развратна», «Ценой своего тела», «Почему я убил свою жену? Дневник инженера Петрова», «Филе из человечины» и т.д. Очень часто в основу произведений с «бьющими не в бровь, а в глаз» названиями были положены немудреные истории с мелодраматической завязкой, «неожиданными» перипетиями и, как правило, «хэппи-эндом». «Сколько было в нем пустячного, легкого!», – писала позднее об этой стороне любимого «безалаберно-

---

[1] *Ачаир Ал.* У священного озера (Спец. корреспонденция для «Рубежа» из Ханьчжоу) // Рубеж. 1929. № 6. С. 11; *Хейдок А.* Город предрассветных сумерек (Впечатления о Гирине) // Рубеж. 1929. №. 45. С. 3; *Кедров И.* Дикари под боком у Харбина // Рубеж. 1933. № 10. С. 3–4; *Забайкалец.* Соколиная охота в Китае // Рубеж. 1929. № 48. С. 6; На отрогах Хингана (Результаты научной экспедиции) // Рубеж. 1931 (?). № 11. С. 5–6 и т.д.

[2] *Крузенштерн-Петерец Ю.В.* О «Рубеже» // Русский Харбин / Сост. Е.П. Таскина. М., 1998. С. 96.

[3] *Л. Никитин* – псевдоним Людмилы Николаевны Никифоровой, супруги Н.В. Никифорова, известного харбинского архитектора и издателя журнала «Архитектура и жизнь». Об этом: *Крадин Н.П.* Н.В. Никифоров – издатель архитектурного журнала в Харбине // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 5. Благовещенск, 2003. С. 268–274. О творчестве Л. Никифоровой: *Невваленная Т.А.* Поэтика юмора в рассказах Л. Никифоровой // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 2. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2008. С. 98–104.

го "Рубежа"» одна из его сотрудниц и авторов-беллетристок Ю.В. Крузенштерн-Петерец[1].

При всех перечисленных недостатках, определяемых требованиями «рубежного формата», на страницах самого популярного в дальневосточном зарубежье издания печатались произведения разного художественного уровня. Основатели «Рубежа» считали, что «держа русскую читательскую аудиторию в курсе событий, происходящих в мире, "Рубеж" призван теснее связать читательскую массу с русской культурой, русским литературным творчеством <…>, дать пишущей братии возможность проявить свои дарования, а с другой стороны, дать *читательской массе* хороший литературный журнал»[2].

Публикация в «Рубеже» становилась наиболее верным способом не только заработать на «хлеб насущный», но и вообще – найти читательскую аудиторию. Напечататься в отдельном издании, несмотря на более благоприятные, чем в Европе условия, было все-таки дороговато, сложно обстояло дело и с реализацией книжной продукции. Работа в «Рубеже» давала поденный шанс не остаться голодным. Благодаря «Рубежу» и его редактору М.С. Рокотову в читающей среде русского Китая, а с 30-х гг. и – русской Европы стали известны имена Несмелова, Хейдока, Иванова, Юльского и многих других прозаиков.

«Не пиши мне фраз из рубежных рассказов!» – взывает юный герой рассказа Г. Гранина к своему коллеге-сочинителю[3]. Однако жанр рассказа, регламентированный границами журнального объема и специфическим соцзаказом, сыграл двоякое значение в развитии дальневосточной беженской прозы. За броскими названиями («Черт» Б. Юльского, «Призрак Алексея Бельского» А. Хейдока, «Золотой зуб» А. Несмелова и мн. др.), динамичными фабулами, мистическими мотивами или столь наскучившим «местным бытом» (Ю.В. Крузенштерн-Петерец) зачастую скрывались более глубокие явления. Отчасти вынужденная, малая форма нацелила сочинителей не только на острые наблюдения над единичным эпизодом, событием, частной судьбой, но и пробудила интерес к их «провинциальному» бытию, заставила обратить внимание на инокультурную проблематику, определить своеобразную повествовательную стратегию. Именно «Рубежу» обязаны «вторым дыханием» специфические беллетристические жанры «по случаю», столь популярные в дореволюционной России: «рождественский рассказ», «святочный рассказ», «пасхальный рассказ» и др. Сама ситуация востребованности такого рассказа в праздничные дни рождает, в

[1] *Крузенштерн-Петерец Ю.В.* О «Рубеже». Указ. изд.
[2] 500 «Рубежей» // Рубеж. 1937. № 35. С. 1.
[3] *Гранин Г.* Монна Ванна // Россияне в Азии. 1996. № 3. С. 30–45.

свою очередь, новый, сугубо «региональный» жанр – «харбинскую быль» (А. Несмелов «Сторублевка»).

Круг чтения русских харбинцев расширялся стремительно, и постепенно он стал необыкновенно разнообразен[1]. Знаменитые библиотеки КВЖД[2], ХСМЛ[3] и Д.Н. Бодиско предоставляли читателям и русскую классику, и литературу русского модернизма, и модные оккультные романы: в анонсах новых поступлений стояли Конрад Принц «Во власти кармы», В.И. Крыжановская «Вампир», М. Осоргин «Чудо на озере», новинки литературы метрополии (М. Зощенко «Воспоминания о Мишеле Синягине», Б. Пильняк «Старый дом»), и образцы современной зарубежной литературы (Э.М. Ремарк «Обратный путь») и т.д.

Из литературных обзоров «Нашего пути»[4], грешащих, разумеется, тенденциозностью, узнаем о том, что харбинцам были знакомы, например, последние произведения Ю. Олеши[5].

В местных библиотеках корреспонденты газеты проводили мини-опросы читательских предпочтений и приходили к выводу о том, что «интерес к серьезной литературе среди читательских масс повышается» (к серьезным авторам в одном ряду были причислены в 30-33 гг. Алданов, Краснов, Гуль – в то время как в метрополии они отнесены вместе с Булгаковым к «вагонным» писателям)[6]. Чураевские авторы, делая соответствую-

---

[1] Об этом, например*: Эфендиева Г.В.* «Что читал русский Харбин?» (О литературных пристрастиях русского восточного зарубежья 1920–1930 гг.) // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. Указ. изд. С. 182–195.

[2] Библиотека Харбинского железнодорожного собрания считалась одной из самых богатых и старейших в городе (она была образована в 1902 г.). Об этом: Бердин Д.В. (Сост.) Краткая инструкция по библиотечной технике: Применительно к библиотеке Харбинского железнодорожного собрания. Харбин, 1923; *В.Р.* О библиотеке института и ее создателе П.А. Казакове // Политехник. 1973. № 5. С. 9–10.

[3] ХСМЛ – Христианский Союз Молодых Людей (YMCA – Young Men's Christian Association), организация, задачами которой являлось «воспитание молодого поколения в духе христианства и культурная помощь» и «гармоническое развитие человеческой личности» (Христианский Союз Молодых Людей (ред. статья) // Чураевка. 1932. № 6; *Ачаир А.* (Грызов А.А.) Бог, Родина и Честность // Чураевка. 1933. № 4. 14 ноября. В этой статье Алексей Ачаир (А.А. Грызов, русский секретарь маньчжурского отделения ХСМЛ) определял ХСМЛ как «независимый национальный центр культуры христианского, рыцарского, русского братства».

[4] Газета «Наш путь» была органом харбинского отделения Всероссийской фашистской партии.

[5] *Баталов Ю.* В красных зажимах. Горькая доля советских литераторов // Наш путь. 1934. 7 мая. № 143.

[6] *Седов И.* Читатели Харбина. Книги-кумиры вчера и сегодня // Заря. 1930. №261. С. 7; Что и как читает харбинская молодежь? Летучее обследование «Зари» // Заря. 1931. №146. С. 14; *Яблоновский А.* Читатели и писатели: Фельетон // Заря. 1931. №99. С. 7; Какими книгами увлекаются харбинцы? На первом месте «Сердце царевича»

щие опросы в собственной библиотеке ХСМЛ, «большого книжного мира, вмещающего 19 тысяч томов по всем отраслям знания»[1], выясняли, что читали харбинцы, имеющие отношение к ХСМЛ. Из классиков – «по необходимости» (очевидно, он тщательно изучался в гимназии ХСМЛ) Достоевского; молодежь предпочитала «легкую литературу» – Уоллеса, Оппенгейма. И, наконец, из «беллетристов больше всего читают Куприна, Алданова, Шмелева, Цвейга, Бунина (в связи с получением им нобелевской премии), Осоргина, Сирина»[2]. К 1934 году падает интерес к Краснову, но возросла популярность Минцлова и Наживина. Дамы перестают столь увлекаться Бебутовой и Лаппо-Данилевской, Крыжановской, Уэдсли – но зато расхватывают книги Шавровой и Наваль[3].

Но это – так сказать, срез «массового читателя». А что читали «взыскующие» молодые люди[4]? Весьма содержательны в этом отношении разнообразные рецензии, обзоры и передовицы «Молодой Чураевки» (затем «Чураевки»). В заметках одного только Н. Щеголева (но ведь нельзя забыть и увлекающегося Г. Гранина, и «книжного червя» Н. Петереца, и пресловутого «Сигму» Валерия Перелешина) была проявлена подробная карта начитанности образованного харбинского юноши: здесь Бунин, Достоевский, Пильняк, Яновский, Белый, Пруст, Голсуорси, Ремизов, Эренбург…

Весьма характерно замечание: «нарасхват идут литературные журналы западной эмиграции – "Современные записки", "Иллюстрированная Россия", есть свой круг читателей у журнала "Путь"»[5]. В «Книжных новинках» «Рубежа», рубрике «Библиография» «Молодой Чураевки», в других изданиях то и дело появлялись анонсы-рецензии на новые произведения западных собратьев по перу. Проза западной эмиграции была не только доступна харбинцам, но и подвергалась критическому разбору – например, роман В.С. Яновского «Мир» (Берлин: Изд-во «Парабола», 1931)[6]. Обнаружив у автора многочисленные влияния русских авторов – Бунина (как «остатки литературной выучки, внешнего лоска»), Достоевского, Андреева («Жизнь Василия Фивейского»), Пильняка («Голый год») (вплоть до обнаружения буквального совпадения некоторых натуралистических образов

О. Бебутовой // Заря. 1933. №135. С. 13; Что читают харбинцы // Наш путь.1936. 14 июня. № 149.

[1] *С.С.* (Сергин С.). Мир книг // Чураевка. 1934. № 6 (12). С. 6.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] «И вы, взыскующий поэт, не можете без метронома?» – фраза из стихотворения А. Ачаира «Форма» (1937), адресованного, скорее всего, Н. Щеголеву. Об этом: *Забияко А.А.* Николай Щеголев: харбинский поэт-одиночка. Новый Журнал. Нью-Йорк, 2009. № 256. С. 310–324.

[5] *С.С.* (Сергин С.).Указ. соч.

[6] Там же. С. 4.

из последнего), Николай Щеголев завершает свой обзор двусмысленно и иронично: «Уходишь от романа с одним иллюзорно утешительным выводом о живучести людей, ухитряющихся существовать даже при таких физических и психических условиях, созданных автором этой нужной, своевременной, но почти отталкивающей книги»[1]. В заметке Н. Резниковой 1937 г. читаем: «Рассказ В. Сирина "Озеро, облако, башня" очень слаб по сравнению со всем тем, что пишет этот талантливый, своеобразный писатель. Вполне очевидно, что написан он очень давно, так как в нем намечаются мотивы, разработанные позднее гораздо более остро и оригинально». Тремя годами позднее дело доходит и до оценки фабулы: «"Отчаяние" В. Сирина оставляет двойственное впечатление. Как всегда, буквально очаровывает смелость, свежесть стиля и выдумки молодого писателя. Но фабула кажется недостойной такого блеска и совершенства, и это раздражает»[2].

Впрочем, Н. Резникова, скорее всего, в своих оценках ориентировалась, на парижскую критику. У большей же части молодого поколения харбинских писателей стилевые новации Набокова находили поддержку. Валерий Перелешин вспоминал: «за живое брали книги шумевшего тогда Вл. Сирина: "Защита Лужина", "Король, дама, валет", "Camera obckura", "Возвращение Чорба". Впрочем, шампанское, которое падало в гортань "холодными звездочками", обжигало не одного меня. И Щеголев, да и все мы, были потрясены и очарованы этими беспощадными панорамами жизни, как она есть, безо всякого морализирования или учительства»[3]. В.А. Слободчиков подтверждал эти слова: «Современными прозаиками интересовались мало. Больше других, пожалуй, нравился Владимир Сирин (тогдашний псевдоним Набокова)»[4]. Скупая информативность этих строк, тем не менее, свидетельствует о том, что литературный Харбин интересовался Набоковым и что «механика чуда» «набоковских» приемов интриговала харбинских сочинителей.

В своей статье Иванов призывал «беллетристов» отрешиться от старого мира воспоминаний и обратиться к «тяготам настоящих дней», потому что до сих пор «в них упорно не видят ни человеческой воли, ни человеческой правоты, ни острых тех переживаний, которые заставляют поставить на карту все – жизнь, близких и так далее и брести проводником, а часто и

---

[1] Молодая Чураевка. 1932. 24 июля. С. 1.

[2] *Н.Р.* (Резникова Н.) Книжные новинки. Русские записки. Общественно-политический и литературный журнал. Книга II. Париж – Шанхай, 1937 г. [рец.] // Рубеж. 1937. № ?; *Н.Р.* (Резникова Н.) Книжные новинки. Современные записки. Книга 55-я. Париж, 1934 [рец.] // Рубеж. 1940. № 15.

[3] *Перелешин В.* Два полустанка (фрагменты) // Литературная учеба. 1989. № 6.

[4] *Слободчиков В.А.* «Чураевка» // Русский Харбин. 2-е изд., испр. и доп. М., 2005. С. 73–74.

так, по компасу, взыскуя лишь одного – воли, воли, воли от невыносимого гнета во что бы то ни стало»[1]. Но к концу 20-х гг. эти тенденции уже вызревали в сознании многих дальневосточных писателей. Едва-едва обустроившись в своем эмигрантском бытии, отойдя от тягот бесконечных переходов и переездов, воспрянувшие от былого и новоиспеченные, харбинские сочинители, наконец, почувствовали скрытые толчки литературных импульсов. Не случайно именно в эти годы в русском Харбине начинают создаваться подобия литературных салонов и возникать литературные объединения (литературный салон А. Паркау, кружок ХСМЛ-журнала, впоследствии – «Молодая Чураевка»). Провинциальное бытие потворствовало возникновению беспрецедентного в зарубежье опыта «взращивания» молодых литературных талантов, созданию совершенно особого литературного быта[2].

Много богаче литературности была сама дальневосточная реальность. Именно «непреодоленность биографии» становится для харбинских беллетристов мощным источником вдохновения. Трагедия Ледяного похода, тяжелейшие невзгоды, сопровождавшие семьи дальневосточных беженцев на пути в эмиграцию, экзотика русского города посреди маньчжурских болот, процветающий на почве многовластия бандитизм и хунхузничество провоцировали и продуцировали особые темы и сюжеты.

В воспоминаниях И.И. Серебренникова есть сюжет о встрече в Харбине со старым приятелем-генералом и его супругой. В «долгой задушевной беседе» гостеприимная хозяйка поведала «о своих мытарствах, кои ей пришлось претерпеть за последнее время». Женщина теряет следы мужа во время восстания против Колчака. Добравшись до Верхнеудинска и дождавшись прихода каппелевцев, она отправляется в штаб. Чтобы узнать, «смог ли он выбраться из Южной армии и попасть в Омск, остался ли там или пошел с отступающей армией? В штабе ей сказали, что не имеют о ген. Бобрике никаких сведений и ничего утешительного сообщить ей не могут. Взволнованная женщина, подозревая, что от нее утаивают недобрые вести о ее муже, со слезами на глазах вышла из помещения штаба – и на улице встретила своего мужа, целого и невредимого. Можно представить себе этот *исключительный момент*!..» (курсив мой. – *А.З.*)[3]. На этом «одиссея» генеральши не закончилась. Возвращаясь в Харбин из Владивостока, куда она ездила в «бешеной погоне за заработком», но попала «под переворот» (имеется ввиду падение ДВР), женщина вновь оказывается в переделке. «По дороге на поезд, в котором она ехала, совершили нападение хунхузы. По-

[1] *Иванов Вс.Н.* Об эмигрантской литературе. Указ изд. С. 240.
[2] Об этом: *Слободчиков В.А.* «Чураевка». Указ. изд.; *Ли Мэн.* Харбинская «Чураевка» // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. Указ. изд. С. 167–182.
[3] *Серебренников И.И.* Мои воспоминания в эмиграции. Т. II. Тяньцзинь, 1940. С. 35–36.

езд должен был остановиться. Выстрелы, дикие крики хунхузов, вопли и стоны раненных создают необычайно жуткую картину. Убитый пассажир валится с верхней полки вниз, прямо на г-жу Бобрик. Хунхузы отбирают у нее последние деньги. Отважная женщина еще имела мужество в этой кошмарной обстановке перевязывать раненых пассажиров»[1].

Примечательно резюме мемуариста: «Слушая это скорбное и жуткое повествование и наблюдая за нервным лицом рассказчицы, я думал:

– Какие страшные шутки шутит иногда жизнь! *Никакой фантазии романиста не угоняться за ними*…

Порубежье как временная и социально-философская категория тесно связались в сознании эмигрантов с лихолетьем Гражданской и последующими за этим переменами в их судьбе и художественном сознании. Авантюрными сюжетами из собственной жизни могли поделиться и сам Вс.Н. Иванов[2], и Альфред Хейдок[3], Арсений Несмелов[4], Алексей Ачаир[5], Яков Лович[6]…

Но фронтирная (пограничная, порубежная) ситуация была литературогенна и пространственно-географической спецификой. «Загадочная страна Маньчжурия», «дебри маньчжурской тайги» стали художественной мифологемой, определяющей, с одной стороны, крайнюю степень отчужденности русского изгнанника от бескрайних просторов российских степей, его «умирания» в качестве *русского* человека, «возрождения» в качестве *эмигранта*, с другой стороны, его особую выделенность в неоднородном пространстве эмиграции в целом.

«Пограничная жизнь – это огромная канва, по которой можно расшивать узоры бесчисленных, весьма запутанных, обремененных сложной фабулярностью, романов… Недаром в доброе старое время писались повести о контрабандистах, о мрачных следопытах-охотниках, о невероятных приключениях, все это – в связи с жизнью на границе», – писал в середине 30-х гг. критик Аргус[7].

С конца 20-х гг. харбинские сочинители проявляют повышенный интерес не только к региональным особенностям окружающей их Маньчжурии, но и в целом к наследию древнейших культур Востока (Китая, Кореи, Японии), а также к богатейшей литературной традиции этих стран. К тому

---

[1] *Серебренников И.И.* Мои воспоминания в эмиграции. Т. II. Тяньцзинь, 1940. С. 35–36.

[2] *Иванов Вс.Н.* Исход. Повествование о времени и о себе // Дальний Восток. 1994. № 12.

[3] *Хейдок А.П.* Страницы моей жизни. М., 2011. С. 17–42.

[4] *Несмелов А.* О себе и о Владивостоке; Наш тигр, Ленка Рыжая и т.д.

[5] *Ачаир А.* Тайна северной тайги // Рубеж. 1937. № 23. С. 3–8.

[6] *Лович Я.* Враги. М., 2007.

[7] *Аргус.* Роман, написанный жизнью (Книга К. Сабурова «Зеленый фронт», только что вышедшая в Харбине) // Рубеж. 1937. № 17.

времени Приморье и Маньчжурия представляли еще единое геополитическое пространство, владивостокцы свободно вояжировали в Харбин, харбинцы – в другую сторону; литераторы могли сообщаться друг с другом – в частности, в те годы в Харбине побывали и Н. Асеев, и В. Арсеньев и др. Шкуркин дружил с Арсеньевым, Арсеньев переписывался с Байковым. Во Владивостоке с Арсеньевым успели пообщаться Щербаков и Несмелов.

В эти годы харбинцы уже имели на руках не только художественно-натуралистическую прозу Н. Байкова, но и «Китайские легенды» П. Шкуркина, «Тигровьи чары» В. Марта[1]. В 1924 г. выходят в свет этнографические рассказы П.В. Шкуркина «Хунхузы», в 1926-1928 гг. – его же китайская быль «Игроки»[2]. Постепенно реалии дальневосточного фронтира, неотделимые от мифологических представлений местного населения, захватили практически всех наиболее крупных художников слова, различающихся по возрастным, эстетическим и географическим ориентирам.

«Тигров больше, чем людей», – словно вынося диагноз всей дальневосточной литературе, резюмировали ее содержание парижские критики[3]. Иронизировать на этот счет можно было только кабинетным писателям, не бывавшим в дальневосточной тайге, не знакомым с ее обитателями. Ситуация, в которой реально оказались дальневосточные беженцы, в самой малой степени была близка «экзотической романтике», мыслимой и чаемой западным эмигрантам. В произведениях Николая Байкова, Павла Шкуркина, Михаила Щербакова, Арсения Несмелова, Бориса Юльского и др. устойчиво либо «редко, да метко» встречаются образ тайги, ее мифического Хозяина – *тигра*, образы *женьшеня* и «таежных людей» – *звероловов*, *женьшеньщиков*, *хунхузов* – «тигров в человеческом обличье». Данное явление, в первую очередь, интересно с точки зрения художественной этнографии[4], но оно характеризует и «дальневосточную» специфику этнокультурной идентификации эмигрантов, и их личную религиозность[5].

---

[1] *Арсеньев В.К.* Китайцы в Уссурийском крае. Хабаровск, 1914; *Байков Н.А.* В горах и лесах Маньчжурии. СПб., 1915; Арсеньев В.К. По Уссурийскому краю (Дерсу Узала). Путешествие в горную область Сихотэ-Алинь. Владивосток, 1921; *Шкуркин П.* Китайские легенды. Харбин, 1921; *Март В.* Тигровьи чары. Владивосток, 1920.

[2] Хроника основных событий культурной жизни русского Харбина // Русский Харбин...Указ. изд. С. 300–333.

[3] Об этом, например: *Голенищев-Кутузов И.Н.* Русская литература на Дальнем Востоке // Возрождение. Париж. 1932.

[4]Под *художественной этнографией* понимается результат художественного освоения культурных, религиозных, психологических установок, нравственно-этических норм, особенностей обустройства быта представителей определенного этноса, населяющих определенные географические пространства – *А.З.*

[5] Об этом: *Забияко А.А.* Мифология дальневосточного фронтира в сознании писателей-эмигрантов. Религиоведение. 2011. № 2. С. 154–170.

Уникален в этом отношении опыт П. Шкуркина, определивший дальнейшее развитие художественной этнографии Н. Байкова и М. Щербакова (повлиял он в определенной мере и на оставшегося в Советской России В. Арсеньева[1]). Обращение Шкуркина к религиозно-философской подоплеке социокультурного явления хунхузничества базировалось на первоначальном постижении мифологии и лингворелигиозной картины мира народов Дальнего Востока. Именно Шкуркин в предисловии к «Хунхузам» наметил путь самоценного развития дальневосточной этнографии по пути беллетризации[2].

В натуралистических заметках Николая Байкова ученый постоянно соперничает с писателем. Этнограф деловито передает подробности охоты в маньчжурской тайге, научные сведения об «объекте описания», а художник трансформирует эти заметки в поэтизированные зарисовки из охотничьего и военного быта, где мифология играет особую роль. Так, очерк «Корень жизни женьшень» (1926) плавно перетекает в повествование «В дебрях Маньчжурии» (1934); «Маньчжурский тигр» (1925), «Тигры на Дальнем Востоке» (1927), «Охота на тигра» (1927) переплавляются в «Великого Вана» (1936) и т.д.

Своей дорогой к художественной этнографии пришел Михаил Щербаков. Уже в начале 20-х гг. его воображение занимают центральные мифологемы дальневосточного фронтира[3]. Сборник «Корень жизни»[4] формировался почти двадцать лет. Туда вошли рассказы, в основном написанные в 1923-1930 гг., – в них можно обнаружить прозаическое развитие стихотворений 20-х гг. Два рассказа датированы 1935 и 1934 гг. В целом же произведения, составившие сборник, разнообразны по жанровому, сюжетологическому наполнению. Среди них и новелла («Корень жизни»), и «корейская легенда» («Озеро богача»), и фантастические рассказы («Утес Дракона», «Джонни молодой мамонт»), и лиризованные зарисовки («Шанхайские наброски») и т.д. Объединяющим началом сборника становится мифология и мифологические воззрения самых разных народов, населяющих Дальний Восток: китайцев, маньчжуров, корейцев, японцев, коряков, пропущенные сквозь призму восприятия русского человека. В 1932 г. он снискал себе весьма меткую эпиграмму от Н. Светлова:

---

[1] О путях становления этого крыла дальневосточной прозы: *Забияко А.А.* Текстологические тропы дальневосточной этнографии (проблема аутентичности текстов писателей 20-40 гг.) // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 5. Указ. изд. С. 84–102.

[2] *Шкуркин П.В.* Хунхузы: Этнографические рассказы. Харбин, 1924. 138 с. С. 5.

[3] *Забияко А.А.* Мифология дальневосточного фронтира в сознании писателей-эмигрантов. Указ. изд.

[4] *Щербаков М.* Корень жизни: Сб. рассказов. Шанхай, 1943. 236 с.

М.В.Щ.

При драке с ним, хоть удивитесь,
Получите ущерб боков.
То – наш Джек Лондон, храбрый витязь,
Михал Василич Щербаков[1].

Переосмысление топосов фронтирной мифологии осуществилось и в творчестве представителя молодого поколения писателей – Бориса Юльского («Возвращение госпожи Цай», цикл «Зеленый легион»). В «очерках» «Зеленого легиона», декларативно нацеленных на «правдивость», мифологический национальный колорит затеняет более глубокий уровень писательской рефлексии. Писатель воссоздает будни лесной полиции. Он, не нюхавший пороху Первой мировой, не прошедший фронты Гражданской, живущий на русском «пятаке» посреди огромного Китая, ощущает себя в ситуации героического служения, борьбы за правое дело. Герои его повествования – хунхузы-китайцы, русские солдаты – помещены в лиминальную ситуацию «жизнь / смерть». Пограничная ситуация, когда смерть заглядывает человеку, проявляет все скрытые в нем потенции, стирает этнические преграды. Раздвигая рамки «своего // чужого», Юльский активно синтезирует жанровые формы славянского и китайского фольклора, соединяет героев разноплеменных демонологий («Возвращение госпожи Цай», «След лисицы», «Господина Леса» и др.). Подобная синкретизация этнокультурных традиций свидетельствует об уникальном процессе врастания в чужую среду, характеризующем культурное пространство дальневосточной ветви эмиграции.

В 1929 г. появляются и первые рассказы Альфреда Хейдока («Кошмар степи», «Призрак Алексея Бельского», «Зов пустыни» и др.), соединяющие средневековую мистику и религии Востока[2] в поэтически осмысленной писателем теософской концепции. Впоследствии его художественно-философские штудии воплотятся в сборник «Звезды Маньчжурии» (1936). Для А. Хейдока, переводившего «Тайную доктрину» Е.П. Блаватской, увлечение теософией явилось ступенью на пути к постижению «Агни Йоги» Николая Рериха. С ним Хейдок встречался в Харбине лично, считая знакомство провиденциальным. Идеи Н. Рериха нашли живейший отклик и понимание в душе молодого писателя. В художественной практике Хейдока впечатления жизни на Востоке, идея многократных духовных перерождений, культ мертвых пропущены сквозь сознание европейского человека маргинального сознания. При этом писатель, постоянный автор «Рубежа», делает ставку на динамичную фабулу и мистическое разрешение кон-

[1] Чураевцы по белу свету // Молодая Чураевка. 1932. № 5 (30 июля). С. 2.

[2] Об этом: *Забияко А.А., Крыжанская К.А.* Спиритизм, теософия, масонство: харбинский вариант космополитизма // *Забияко А.А., Эфендиева Г.В.* Меж двух миров: Русские писатели в Маньчжурии. Благовещенск, 2009. С. 175–195.

фликта. Личный религиозный опыт Хейдока, пронизывающий эмоциональную атмосферу его произведений, отнюдь не вредит их беллетризации: необычайные происшествия, захватывающая интрига этой прозы исподволь погружают читательское сознание в мистический контекст. Используя жанры фольклорной бывальщины, средневековой легенды и «готического рассказа», Хейдок поверяет европейский скепсис восточным все пронизывающим мистицизмом («Призрак Алексея Бельского», «Шествие мертвых», «Маньчжурская принцесса» и др.).

Конец 20-х гг. станет переломным для Арсения Несмелова как прозаика; им будут созданы совершенно разноплановые и разностилевые произведения. События недавних владивостокских лет отразятся в сознательно беллетризованной автобиографии «О себе и о Владивостоке»[1], повести-эсхатопии «Ледяная гибель» [2], рассказе-анекдоте «Удачный заголовок». Трагический военный опыт выльется в «Короткий удар», вписавший Несмелова в редкий реестр авторов Первой Мировой; опасная и авантюрная работа репортера и жизнь в межреволюционной Москве с ее криминальной атмосферой воплотятся в рассказе «Комаровка». В дальнейшем прозаические искания Арсения Несмелова становятся характерным примером диалектического взаимодействия «конъюнктуры» и «вдохновения» в области жанрологии, повествовательной стратегии, сюжетики и стилистики: это и шпионские истории («Золотой Зуб», «Контрразведчик»), и рассказы в духе булгаковского фантастического реализма («Кольцо Цезаря»), и анекдоты из местного литературного быта («Поэтесса Верочка»), и анекдоты-притчи («Чудесный подарок») и многое другое. Он одним из первых в русском зарубежье проникнет в перспективы уникального жанра «беллетризованной биографии», актуальность которого будет предчувствовать Б. Эйхенбаум. Вначале это будет написанное в жанре письма И. Якушеву[3] повествование «О себе и о Владивостоке» (1928), а затем «непреодоленный биографизм» пронижет самые разные жанровые формы – «отрывки из романа» («Ленка Рыжая», «Удачный заголовок»), шпионские истории («Золотой Зуб», «Контрразведчик», «Случай на мосту»), рассказы-анекдоты («Приключение Веры Исаевны», «Поэтесса Верочка»), рассказы-притчи («Чудесный подарок», «Голубое одеяло») и т.д. Метапоэтическая подкладка его художественного мира, явленная в повествовании «Наш тигр» (1940), отлична от набоковской и газдановской лирической саморефлексии – ак-

[1] Об этом: *Забияко А.А.* Автобиографизм как метажанровая основа прозы А. Несмелова // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 1. Благовещенск, 2006. С. 81–100.

[2] Об этом: *Забияко А.А.* Ледяная гибель» Арсения Несмелова: между «молотом» пропаганды и «наковальней» искусства // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. Указ. изд. С. 132–148.

[3] Переписка А.И. Несмелова с И.А. Якушевым // Рубеж. 1995. №2. С. 238–248.

тивность его автобиографического персонажа указывает на иные перспективы развития прозы XX века.

Уже в 1931 г. в литературно-художественном сборнике «Багульник» О. Штерн с воодушевлением отметит, что «в последние два-три года литературная жизнь Харбина заметно оживилась»[1]. В 1932 году многие писатели понимают: «*писать можно о чем угодно, лишь бы после прочтения написанного оставалось впечатление внутренней оправданности книги*»[2].

Николай Щеголев, критикуя засилье зарубежных детективных романов среди читающей публики Харбина, тем не менее, видит причины дурновкусия современных читателей в том, что «занимательностью современные писатели пренебрегают: они пишут не романы, не рассказы, а какие-то плохо спаянные фрагменты, лирические по большей части». Пути избавления от «кровавых призраков» и «черных ручек» он видит в том, чтобы «начать перестраиваться психологически, будить в себе закосневшую коммерческую жилку», присмотревшись к Пушкину и Достоевскому, «который всегда остро присматривался к бульварным писателям типа Эжена Сю, потому что хотел, чтобы его романы помимо внутренней ценности обладали внешней занимательностью!»[3]

В русском Харбине находят плодотворное развитие и тенденции модернистской прозы 10-х гг., и прозы военных лет, и новации литературы метрополии. При этом они переплавляются в совершенно особое единство. «Окопная правда» Толстого находит свое развитие в «Рассказах о войне» Несмелова. Традиция романа воспитания продолжена в прозе Н. Веселовского (сборник «Восток и Запад»). Проза, посвященная проблемам женской эмансипации и берущая свое начало в литературе 10-х гг., развивается в творчестве Н. Резниковой. Духом фантасмагорий 20-х гг. (где и Замятин, и Пильняк, и Булгаков) пронизаны «Ледяная гибель», «Кольцо Цезаря» А. Несмелова, роман «Ял-Мал» В. Логинова. Народнический посыл Леонида Андреева помножен на «беспочвенный» скепсис в прозе Б. Юльского («Чудесная королевна», «Цветок у дороги», «Парашютист»). Натурализм ранних шолоховских рассказов, вплоть до совпадения названий, находит отклик в рассказах о Гражданской Несмелова («Родимое пятно», «Кровь на снегу», «Трудный день поручика Мухина» и др.), в сборнике Д. Загоскина «Казаки», прозе Я. Ловича.

На страницах периодических изданий и в сборниках, печатаемых мизерными тиражами, появляются рассказы, посвященные проблемам этнокультурной адаптации (Н. Резникова «Полукровка», А. Несмелов «Пору-

[1] *Штерн О.* О дальневосточных писателях // Багульник: Литературно-художественный сборник. Харбин, 1931. Вып. 1. С. 183–189.

[2] *Читатель*. Библиография («Свидетель истории», «Олень», «Побег». Осоргин). Библиотека ХСМЛ // Молодая Чураевка. 1932. № 4 (24 июля).

[3] *Щеголев Н.* О детективных романах // Молодая Чураевка. 1932. № 6 (8 августа). С. 1.

чик Тахакаси», «Ламоза», «Драгоценные камни», Я. Лович «Покорность», В. Перелешин «Любовь господина Нань»); воспитанию подрастающего поколения (Б. Юльский «Парашютист», «Цветок у дороги»).

Именно «детская тема» становится поводом реализовать самые сокровенные переживания о судьбе родины, ее будущем для А. Несмелова. Но это – литература *не для детей*. Адресуемые взрослым рассказы выстраивают эсхатопическую, «гибельную» перспективу в отношении юной поросли советских детишек (рассказы «Золото», «Вредители», повесть «Маршал Свистунов» и др.).

Героями лучших образцов харбинской беллетристики, как и чаял Вс.Н. Иванов, становятся люди, которые «устраивают [жизнь] наперекор стихиям, наперекор обстоятельствам, бегут из Сов. России, шоферят на трескучих "фордах"», рубят лес на концессиях, укатывают мостовые на вальках, принимают самые разнообразные подданства, вплоть до советского, и через бурю дней проводят начала жизни во что бы то ни стало, жизни цепкой, сильной и умудренной»[1].

В 1937 г. харбинские критики отмечали: «В наше время пограничная обстановка еще более усложнилась. А здесь, на Дальнем Востоке, она стала особенно богата всяческими возможностями. Хунхузы, отряды самоохраны, чины ГПУ, тайком пробирающиеся "по сю сторону", всевозможные авантюристы, перебежчики с советской стороны, шпионы, бродяги, искатели приключений, и так далее, и так далее. Все эти любопытные разновидности людей создали бурлящую жизнь, полную опасностей, авантюр, пылких взлетов идейного героизма, низменных падений в бездны измены и предательства, невероятной алчности в стремлении к золоту и эфемерной власти»[2].

С конца 20-х по середину 30-гг. шпиономания захватила европейскую общественность, а в провинциальном Харбине шпионские сюжеты были не просто востребованы – ими была наполнена сама жизнь. Интерес к авантюрной сюжетике, в частности – к детективному (шпионскому) жанру также во многом был усилен обстоятельствами приграничного быта, все той же фронтирной ментальностью сочинителей. Двойные агенты советской и японской разведок, детективная подоплека общественно-политической жизни, предгрозовые настроения грядущих военных катастроф – все это было реальностью[3]. Многие писатели – бывшие военные –

---

[1] *Иванов Вс.Н.* Об эмигрантской литературе. Указ. изд.

[2] *Аргус.* Роман, написанный жизнью (Книга К. Сабурова «Зеленый фронт», только что вышедшая в Харбине). Указ. изд.

[3] *Шилов Б.* Пестрая сеть шпионажа в Харбине // Заря. 1931. № 92. С. 11; <*Б.п.*> «Основоположником» женского шпионажа был Бисмарк // Заря. 1934. №15. С. 2, 7; <*Б.п.*> Для шпиона война никогда не кончается // Заря. 1934. №213. С. 3, 6; <*Б.п.*> Шпиономания // Заря. 1934. №231. С. 2.

вспоминали свой предшествующий опыт Первой мировой и шпионские страсти той поры (А. Несмелов, Я. Лович). Томящееся в захолустье дамское общество будоражили истории про известных женщин-шпионок (не случайно с такой страстью откликнулась М. Колосова на заметки о Мата-Хари)[1]. Заметим, что в эти годы в советской литературе шпионский сюжет на два десятилетия с лишним утратит свою актуальность. Харбинцы, напротив, склонны видеть в детективах и шпионских историях источник оживления литературы: «Нет, никогда не взойдет в русской действительности новый великий писатель, пока торжествует, с одной стороны, беспочвенное презрение к детективным романам, и с другой, слепое увлечение фабулярностью как таковой, как целью»[2].

Так, Несмелов создает целую «трилогию»: «Золотой Зуб», «Контрразведчик», «Встреча на мосту», где, травестируя устойчивые сюжетные схемы, наполняет их каждый раз новыми бытийными и литературными смыслами: то вводя в «шпионскую историю» анекдот о женитьбе («Золотой Зуб»), то рокируя сюжет Первой Мировой с купринской историей о штабс-капитане Рыбникове («Контрразведчик»), то скрещивая шпионский сюжет с эмигрантской рефлексией («Встреча на мосту»). «Женщина из контрразведки» Я. Ловича – своеобразная ироническая реплика на шпионско-эротический рассказ Ал. Толстого «Возмездие» (1916 г.). Ну, а «Ошибка Шерлока Холмса» совсем юного Б. Юльского связала воедино шпионскую историю, детектив и фельетон.

Особо следует сказать о том, что корпус беллетристики русского Харбина во многом создавался поэтами. Алексей Ачаир, не претендующий на крупные прозаические формы, тем не менее, пробовал себя и в рассказах, и в «рассказиках» для рубрики «Юный читатель "Рубежа"» и для журнала «Ласточка». Очевидно, вдохновленный мифопоэтической прозой А. Хейдока («Призрак Алексея Бельского»), он пишет рассказ «Тайна северной тайги»·. Сама ситуация сближает двух авторов. И у того, и у другого топосами разворачиваемых событий становятся святилища восточных народов – языческий склеп у Ачаира и буддийская кумирня у Хейдока. В обоих произведениях герои вступают в поединок с тайгой и с иночеловеческими существами – духами «священных мест». Эта схватка становится поворотным моментом в судьбе главных героев. Однако если Хейдок делает акцент на фабульной остроте повествования и интригует читателя загадками мистических откровений, то Ачаир концентрирует наше внимание на субъекте повествования, его внутреннем мире. Конечно, не все рассказы (из четырех имеющихся) Ачаира столь самобытны, остальные, на мой взгляд, в сво-

---

Сатовский-Ржевский Гр. Правда о «шпионах» // Заря. 1935. №80. С. 2; *Трубников П*. Шпионки // Заря. 1938. № 332. С. 4.

[1] *Колосова М.* Мата Хари (поэма) // Рубеж. 1929. № 40.

[2] *Щеголев Н*. О детективных романах // Указ. изд.

ем художественном наполнении вполне соответствуют критике Вс.Н. Иванова.

Банальные сюжеты «харбинской беллетристики», осмеиваемые Вс.Н. Ивановым, а затем и Н. Щеголевым, Г. Граниным, А. Несмеловым, становятся для последних не только поводом к созданию сложнейших дискурсивных форм повествования, но и интертекстуальных рокировок, и метапоэтических раздумий[1].

Проза одного из самых молодых сочинителей Георгия Гранина – проза интеллектуальная, перенасыщенная цитатами и реминисценциями, полнейший антипод «рубежным рассказам»[2]. К примеру, Г. Гранин берет одну из расхожих моделей «рубежной беллетристики»: некая барышня-эмигрантка мечтает о светлой и чистой любви, читает Метерлинка[3]. Она понимает, что все светлое осталось в прошлом: «Все как будто ничего. Все, как пять-семь лет тому назад. Только складки у губ стали чуть тверже, да – чуть глубже едва заметные морщинки у глаз». В настоящем же – престарелый и пренеприятный «Борис Модестович, упорно пожимавший на встрече Нового года вашу руку». В этом рассказе «рубежный» шаблон – лишь повод для раздумий юного Гранина о высокой литературе и путях собственной самореализации, поэтическая уловка противопоставить обыденное и высокое.

Прозаические опыты харбинских лириков обнаруживают сложнейшую систему интертекстуальных пересечений творчества «младших» и «старших» писателей дальневосточного зарубежья (например, их притяжение–отталкивание с Несмеловым), а также уровень их литературоведческих изысканий и схождений с писателями метрополии и европейской эмиграции (с Набоковым, Пастернаком, Цветаевой). Парадоксально, но Набокова (Сирина) харбинцы не просто читали и «почитали», но во многом – и опережали.

Так беллетристика (проза) русского Харбина замыкает в себе разнообразные литературные тенденции первой половины XX столетия и косвенным образом переоценивает ставшие уже общим местом авторитеты.

---

[1] Под *метапоэтикой* понимается художественная рефлексия писателем собственного творчества и творческого процесса в целом, воплощенная в тексте через определенный набор тем, особую организацию повествования и использование устойчивых индивидуальных образов – метатропов.

[2] Подробно об этом: *Забияко А.А.* Проза харбинского поэта Георгия Гранина // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2007. № 4. С. 164–173; *Забияко А.А.* Стихотворение в прозе «Полдень» как опыт метапоэтической рефлексии Николая Щеголева // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 3. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2009. С. 104–113.

[3] *Гранин Г.* Монна Ванна. Из цикла «Неврастения» // «Чураевка». 1933. 7 февраля (№ 48).

Если полноценное развитие поэзии русского Харбина насчитывает «четверть века беженской судьбы» (А. Несмелов)[1], то проза интенсивно развивается приблизительно пятнадцать лет. К середине 40-х годов картина литературной жизни русского Харбина, в кратчайшие сроки переживавшего этапы цивилизационного развития, совсем иная по сравнению с 20-ми годами. В это время как в республике Советов на смену литературному многоголосию и творческому поиску уже как десять лет назад приходит руководство партийным циркуляром, а повсеместные чистки заставляют замолчать даже самых нейтральных писателей. Литературный Харбин, хотя и живущий под властью Маньчжоу-го, развивается все же в относительной свободе творческого поиска.

Показательным примером является история публикации откровенно тенденциозных сборников «Избранные произведения писателей народов Маньчжоу-го», устроенной марионеточной администрацией Маньчжу-ди-Го. В первый, состоящий из 20 участников (японских, маньчжурских и китайских), вошли и два русских рассказа – Бориса Юльского «Обрыв» и Арсения Несмелова «Кровавый след на снегу». Стремление инициаторов сформировать «новое народное сознание», в конечном итоге приводящее к «новой общности» народов Азии, не оказалось поддержанным русскими авторами. Оба рассказа были посвящены русской жизни, события их происходят в России и не имели «никакого отношения к "строительству" нового "царства гармонии"»[2]. Снискав недовольство «соцзаказчика», русские писатели уже во втором сборнике (теперь уже Б. Юльский в рассказе «Конец Мирона Шибанова» и Н. Байков в рассказе «В отрогах Лао-Лина») вновь проявили свои «старые привычки и старое художественное воспитание»[3]. Характерно, что последующая за этим критика в качестве положительного примера «строительной» литературы приводила соцреалистические образцы – «Цемент» Ф. Гладкова, Гидроцентраль» М. Шагинян, «Лесозавод» А. Караваевой[4].

В 1941 году в Харбине выходит «Литературный однодневник реалистов-динамистов». «Искусство поступает, как завоеватель: преодолевает сопротивление и берет в плен. Динамизм – это **сила в действии, сила, не уравновешенная сопротивлением, а преодолевающая его**. …Иногда случается, что знак меняется: то, что сегодня кажется отрицательным, через десятилетия, наконец-то понятое, – уже расценивается как положительное;

---

[1] См.: *Забияко А.А., Эфендиева Г.В.* «Четверть века беженской судьбы…» (Художественный мир лирики русского Харбина). Благовещенск: Амурский гос. университет, 2008. 465 с.

[2] Об этом: *Рехо К.* Байков // Литература русского зарубежья (1917–1940): Материалы и библиографии / Отв. ред. К.Д. Муратова. СПб., 1993. С. 270–297.

[3] Избранные произведения писателей народов Маньчжоу-го. Токио, 1942. Т. 1. С. 10.

[4] *Сосуму У.* О русской белоэмигрантской литературе // Канко Тоа. Токио, 1943. Т. 1. С. 32.

например, отношение к Лескову четверть века назад и теперь; различное отношение к Пушкину и многое другое» (выд. авт.)[1], – писал один из авторов «Однодневника», Арсений Несмелов. Слова эти перекликаются с более ранними раздумьями Б. Эйхенбаума и К. Мочульского. Течение «динамического реализма» не имело дальнейшего развития, однако собранные воедино метапоэтические декларации харбинских художников слова даже на уровне риторики свидетельствуют о многообразии творческих устремлений и предпочтений.

«Миг сознания»[2], чаемый Эйхенбаумом и его коллегами в далекие 30-е, все же наступил. Время внесло существенные изменения в аксиологию русской литературы первой половины XX столетия, расставило акценты в понимании художественного наследия эмиграции в целом и вслед за этим – литературы дальневосточного зарубежья.

Да, не был богат романами Харбин – теми «реалистическими» романами, на которых воспитано было не одно поколение дореволюционных русских читателей и о котором тщетно мечтал Арсений Несмелов. Но, находясь, в буквальном смысле, на «проселочных дорогах» литературы, харбинские беллетристы все же смогли сказать свое слово в развитии отечественной прозы. Казус «провинциальной» харбинской беллетристики состоял в том, что в лучших и не обязательно лучших своих образцах она в полной мере смогла уловить тенденции к жанровой перестройке литературы, востребовать региональный материал и не только *отразить* дальневосточный эмигрантский быт, но и *выразить* его в особых индивидуальных манерах.

А. Забияко

[1] Литературный однодневник харбинской группы писателей – динамических реалистов. Харбин, Маньчжу-Го. 1941. 21 июля.

[2] *Эйхенбаум Б.М.* Миг сознания // Книжный угол. 1921. № 7.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Книга, которую читатель держит в руках, является первой частью задуманного четырехтомного учебного издания (хрестоматии), посвященного истории литературы восточной ветви русского зарубежья (1-й том – «*Проза*», 2-й – «*Поэзия*», 3-й – «*Критика и публицистика*», 4-й – «*Воспоминания. Письма*»).

Первый том состоит из трех частей (*А–К; Л–П; Р–Я*), в каждой из которых художественный материал дан в соответствии с алфавитной очередностью авторских имен. Читателю предоставляется возможность проследить за развитием дальневосточной эмигрантской прозы, начиная с Алексея **Ачаира**, Николая **Байкова** и заканчивая Борисом **Юльским** и Викторией **Янковской**.

В собрание прозы сознательно включены различные как в жанровом (очерки, миниатюры, рассказы, отрывки из повестей и романов), так и хронологическом отношении, тексты. Так, помимо «харбинских» и «шанхайских» текстов, в пособие помещены произведения, созданные дальневосточными авторами еще до эмиграции или уже после их отъезда из Китая (некоторые сочинения Н. Байкова, Б. Беты, В. Марта, О. Скопиченко и др.). Эти произведения помогут проследить основные этапы творческого пути писателей-эмигрантов, понять особенности их художественных миров, провести идейно-содержательные и стилистические наблюдения, осуществить текстологические сопоставления и аналогии.

Многие тексты, включенные в хрестоматию, до сих пор не введены в научный оборот и не известны современному читателю: произведения разбросаны по эмигрантским журналам и газетам, не перепечатывались в России или были опубликованы в труднодоступных изданиях. При подготовке к печати явные опечатки в текстах исправлялись без оговорок. Все произведения печатаются в соответствии с правилами современной орфографии, но с сохранением специфики авторского написания отдельных слов и выражений.

Произведения сопровождаются фотографиями и небольшими комментариями о каждом авторе. В конце биографической справки помещены ссылки на цитируемые источники и дополнительные литературоведческие исследования и материалы (юбилейные заметки, некрологи, мемуарные очерки).

Надеемся, что данное учебное пособие станет прекрасным путеводителем по вузовскому курсу литературы русского зарубежья и спецкурсам, посвященным истории культуры и литературы русского Китая. Материалы хрестоматии – незаменимое подспорье в организации учебной и научной работы студентов (в подготовке курсовых, бакалаврских и магистерских проектов). Уверены, что и маститые исследователи (аспиранты, док-

торанты и т.д.) найдут много нового и полезного материала для исследования не только истории литературы русской дальневосточной эмиграции, но и истории русской литературы и культуры в целом.

***

Осуществление данного издания было бы невозможно без помощи многих организаций и учреждений. Выражаем особую благодарность Государственному архиву РФ (и лично сотруднику научной библиотеки ГАРФ Алексею Анатольевичу Федюхину), Российской государственной библиотеке (и лично заведующей отделом литературы Русского зарубежья Наталье Васильевне Рыжак), Дому русского зарубежья им. А.И. Солженицына (и лично заместителю директора по библиотечной работе Татьяне Александровне Корольковой), Институту мировой литературы им. А.М. Горького (и лично старшему научному сотруднику отдела рукописей Ольге Феликсовне Кузнецовой), Российскому государственному историческому архиву Дальнего Востока (и лично главному специалисту читального зала Елене Михайловне Гончаровой), Хабаровскому краевому краеведческому музею им. Н.И. Гродекова (и лично старшему научному сотруднику сектора истории культуры и искусства Наталье Петровне Гребенюковой), Государственному архиву Хабаровского края и его сотрудникам, а также всем, кто в той или иной мере помогал нам.

Наша сердечная признательность участникам харбинской литературной жизни – «чураевцам» Владимиру Александровичу Слободчикову (1913–2007) и Лариссе Николаевне Андерсен (1911-2012).

Составители выражают глубокую благодарность уважаемым рецензентам: Владимиру Вениаминовичу Агеносову, заслуженному деятелю науки РФ, академику РАЕН, доктору филол. наук, профессору кафедры журналистики и литературы ИМПЭ (г. Москва) и Андрею Леонидовичу Ястребову, заслуженному работнику высшей школы РФ, доктору филол. наук, профессору кафедры истории, философии, литературы ГИТИС (г. Москва).

Алексей Алексеевич
АЧАИР
(1896-1960)

Поэт, писатель, педагог Алексей Ачаир (настоящая фамилия Грызов) родился 23 августа (ст. ст.) 1896 г. в станице Ачаирской близ Омска в семье офицера Сибирского казачьего войска. В 1914 г. окончил Омский кадетский корпус. Отказавшись от военной карьеры, поступил на инженерное отделение Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии в Москве, где проучился 3 года. Участник Белого движения. С отступающими войсками А.В. Колчака совершил Сибирский Ледяной поход по тайге. В 1922 г. оказался во Владивостоке, редактировал дальневосточную газету «Последние новости». В 1922 г. вместе с отцом эмигрировал в Харбин, где постоянно жил до сентября 1945 г. Служил секретарем образовательного отдела харбинского Христианского союза молодых людей, занимался литературной и педагогической деятельностью. В 1926 г. Ачаир организовал и возглавил литературное объединение «Чураевка» (первоначально – «Молодая Чураевка»). Оно названо в честь русского поселения Чураевка в Америке (штат Коннектикут), основанного писателем Г.Д. Гребенщиковым, автором романа-эпопеи «Чураевы» о сибирских старообрядцах. «Чураевка» оказала большое влияние на молодежь русского Харбина. Редактор одноименной газеты. Публиковался в альманахах и сборниках «Вольная Сибирь» (Прага), «Якорь» (Берлин), «Казачий альманах» (Париж), «Ковчег» (Нью-Йорк), «Прибой» (Харбин), «Семеро» (Харбин); журналах«Рубеж» (Харбин), «Луч Азии» (Харбин), «Парус» (Шанхай), «Москва» (Чикаго) и др. В Харбине выпустил книги стихов: «Первая» (1925), «Лаконизмы» (1937), «Полынь и солнце» (1938), «Тропы» (1939), «Под золотым небом» (1943). В августе 1945 г., после входа советских войск в Харбин, был арестован и принудительно депортирован в СССР. 10 лет провел в воркутинских лагерях. После освобождения в 1955 г. жил в г. Байкит Красноярского края, позднее – в Новосибирске, преподавал пение, вел кружки эстетического творчества в средней школе. Умер 16 декабря 1960 г. от сердечного приступа.

Ист. и лит.:

Забияко А.А. Тропа судьбы Алексея Ачаира. Благовещенск, 2005. 286 с.

Забияко А.А. «Лирическая романтика, к сожалению…»: Алексей Ачаир // Забияко А.А., Эфендиева Г.В. «Четверть века беженской судьбы…» Художественный мир лирики русского Харбина. Благовещенск, 2008. С. 174-216.

Мелихов Г.В. Белый Харбин: Середина 20-х. М., 2003. С. 160-166.

Муранов Д., Звягинцев В. За плотно закрытой дверью: Дело Алексея Грызова // Человек и закон. 1992. № 6-7.

Резникова Н. В русском Харбине // Новый журнал. 1988. № 172-173. С. 385-393.

Слободчиков В.А. «Чураевка» // Русский Харбин / сост., предисл. и коммент. Е.П.Таскиной. М., 1998.

Таскина Е. Поэтическая волна «русского Харбина»: 1920-1940 гг. // Записки русской Академической группы в США. Нью-Йорк, 1994. Т.26.

Таскина Е. Неизвестный Харбин. М., 1994.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 39-40.

ТАЙНА СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ

Когда земля поворачивалась к солнцу долготой Байкала и черной реки Амалат, когда в голубовато-сиреневой дымке закатных туч вставали картины далекого прошлого царственно-таинственного якутского народа, будто бы отраженные в небесном Байкале, запечатлевшем столетие, я с окровавленными ногами, в оленьей шкуре, усталый, худой, как обожженная пожаром лиственница, сотрясался от боли: наступил ногой на острый ка-

мень. А на ноге, вместо подошвы бродня, был привязан прорванный теперь кусок бересты. Нога кровоточила, береста была окрашена кровью, которая когда-то бывала в моем сердце, которая румянцем горела на щеках и окрашивала когда-то детские губы меня-ребенка.

Сейчас желтое испитое лицо бледно-синими губами было обращено к полю мертвых камней, разбросанных по площади в несколько квадратных верст. «Моря скал»... – вы помните университетские лекции по геологии?..

«Как мне идти дальше? – думал я с болью; именно с болью пронизала меня острая мысль. – Как дальше?..».

И я принялся мостить себе дорожку по направлению к видневшимся вдали лиственницам у группы высящихся скал, похожих на полуразрушенный замок невиданных в этих местах рыцарей.

Я мостил дорожку с упорствоми такой выдержкой, что казалось, – мое сердце окаменело, иначе оно разбилось бы в куски, и его расхватали бы таежные птицы.

Впрочем, здесь никаких и птиц не было. Ни птиц и ни зверя, ни человека, кроме одного меня, которого за человека было признать очень трудно.

Я – полузверь, полудикарь, затравленный и ободранный, изнемогающий от голода, пробирался на Камчатку с моим другом, уссурийским казаком. Приятель мой отстал от меня на несколько часов пути, чтобы поохотиться на какого-нибудь зверя или птицу. Мы не ели уже три недели, питаясь сырыми грибами и голубицей. Винтовки у нас были две, но патронов – только одна обойма, не расстрелянная еще Виктором, который берег ее пуще золота.

Вымостив несколько сажен каменного тротуара, я оглянулся на юго-запад. Дорожка моя среди глыб разбросанных камней отливала на солнце блестящим черным графитом или цветом воронова крыла. И мне показалось, что по ней едет всадник в палево-красном дымчатом плаще...

Уж не Виктор ли на своей Бургунке? Но откуда эта театральная накидка?.. Должно быть, мне показалось. Это туман ползет с пройденного мной таежного болота, и серо-красные закатные тучи горят в этот час всеми цветами покидаемого землей солнца...

Я один на целой земле.

Один и одинок...

А когда-то...

Да что когда-то! Мости, Валерий, мости, свою каменную дорогу к таинственным замкам таежных рыцарей, к оленьим оазисам, к купам ширококрылых лиственниц!..

Только в глубокие сумерки я добрел до видневшихся три-четыре часа тому назад серых скал и остановился в недоумении... На широком камне

была высечена какая-то фигура полузверя, получеловека и неведомые мне надписи. Шумящая лиственница наклонилась над громадным камнем, а в синем небе зажигались, как фонари далекого города, к которому подъезжаешь ночью, золотые и красные огни редких звезд...

Подъехал Виктор – проехал по моей дороге, от которой у меня руки были в ссадинах и ранах.

– Смотри, Виктор, что это такое?..

– Где – что такое?.. Брось, давай шалаш строить!.. Опять не убил ничего... Проклятое место – никто не живет... Тишина – как в склепе...

– Это, может быть, склеп и есть.

– Иди-ка, сруби несколько ветвей, спать надо ложиться...

Шалаш был построен, разожжен костер, и Виктор вскоре захрапел.

Шумели вверху под кубовым небом лохматые руки лиственниц, блестели начищенные, как на парад, пуговицы синего небесного мундира, отливающие то сизым серебром, то красной медью, то желтизной латуни, то драгоценными камнями слезящихся, дрожащих звезд...

Меня снова потянуло к большому камню... Я побрел к нему, почти наощупь узнал изображенье и вдруг заметил, что влево зияет пустота, как пасть, чернеющая под щекочущими мое лицо сухими травинками выползших из-за камня растений. Я просунул руку, и оказалось, что совершенно свободно я могу весь протиснуться в отверстие между камней.

«Зачем я это, делаю? Там могут быть змеи или зверь...».

Но неодолимо было желание; как бы подчинился я чужой воле…

Позади меня что-то зашипело, и, обернувшись, я увидел на западе черно-красные крылья приблизившегося вплотную всадника. Его глаза, как светящиеся в темноте гнилушки, были устремлены на меня, и лапа (да, иначе я не мог бы назвать его руку) протянулась ко мне, оцарапала мою шею и за плечо, с резкой и грубой силой, рванула меня назад.

– Назад! – прошипел разъяренно хриплый голос…

О, нет, когда мне говорят: «Назад», – меня назад идти не заставишь. Я могу идти назад только по доброй воле или для того, чтобы обойдя противника, вскочить ему на хребет... Черта с два назад! Я должен теперь узнать, что за тем камнем, – теперь уже очевидно для меня стало, – надгробным камнем, закрывающим вход в склеп, а быть может, в сокровенную пещеру таежного духа...

И, изловчившись, я прорвался в пустоту черного каменного гроба.

Это был, действительно, гроб. Так темнела глыба камней, набросанных небольшим курганчиком на каменную плиту пещеры.

Взошедшая к тому времени луна осветила прорез между камней, и в полосе ее света я отчетливо увидел, что под курганчиком лежит тонкий камень – действительно, как надгробная плита.

Я нагнулся, чтобы приподнять ее (действовал я, как загипнотизиро-

ванный, совсем непо своему желанию)... И вдруг раскат грома и молния заставили меня обернуться, и снова я увидел устремленные на меня горящие зеленым глаза, и мохнатая рука тянулась, чтобы схватить за горло...

«Там, под плитой, золото», – молниеносно осенило меня подозрение, и, несмотря на дикое оцепенение, испытываемое мною, я вцепился обеими руками в край каменной плиты и с силой приподнял ее…

Скелет с оскаленными зубами и узловатыми костями рук и ног приподнялся и рухнул снова на свое ложе.

Стон и огонь, и вихрь, и гром оглушили, ослепили, ударили меня, и, обезумев от пережитого, я, не помню как, выбрался из этой пещеры и подбежал к темневшему у ствола лиственницы шалашу, где мирно похрапывал Виктор.

У входа тлел огонек костра, подернутый пеплом... А со всех концов надвигались на меня холодные ночные туманы, как тайны северной великой тайги...

Я не вполз в шалаш, а, остановившись у костра, стал присматриваться к фигуре, которая уверенно приближалась ко мне...

Призрак?.. Это не было призраком... Это был мой старый друг Михаил, коллега по институтув Москве, с которым к этому времени мы не виделись уже три года. Гражданская война разлучила нас. Мы были очень дружны в стенах своей alma mater и поверяли друг другу свои студенческие тайны. Он тоже хорошо знал мою жизнь, как я – его... Поэтому нисколько не было удивительным, что подойдя ко мне или подплыв ко мне по воздуху, он произнес вполне естественным голосом:

– Малыш, здравствуй! – так звал он меня по старой дружбе.

– Здравствуй, Мымыш! Как рад я, что мы встретились… За это время я так скучал по всем вам.

– Я не один – со мной Ксения... Ты, вероятно, рад будешь ее увидеть.

Ксения!.. Рад ли буду я встрече с ней? О, дорогая моя детская мечта!

Когда я увидел Ксению, сердце мое сжалось от жалости к самому себе: как мог я жить так долго без нее!

Ксения протянула ко мне свои гибкие руки, похожие на стебли лианы, и заплела меня в своем плачущем поцелуе…

– Я, прости меня, оставил вас, – извинился Михаил, и я не заметил, как он исчез… Видел я, чувствовал, жил только Ксенией, снова, как прежде, целовавшей меня и прижимавшей своей нежной щекой к моей ободранной и грязной оленьей шкуре, в которую я был одет.

- Мой бедный, мой бедный, мой родной!..

Шепот Ксении и ласка ее рук, и теплота ее прижавшегося тела кружили мне голову… Что за лунная ночь, что за дикая ночь – боли и страданья, и прорвавшегося, вспыхнувшего счастья – длилась до рассвета…

- Ксения!..

- Ты что там бормочешь, Валерий, спать не даешь! – донесся до меня недовольный голос Виктора из шалаша.

- Ксения! Я приду к тебе… Где ты живешь сейчас?

- Разве ты у меня не был? Да, верно, – мы переехали с Петровки… Послушай, запомни: Конюшенный, 41. Запомнишь?

- Это, наконец, невозможно. Ты с ума сошел!.. С кем ты разговариваешь? – заспанная, бородатая, волосатая, смешная фигура Виктора выползла из шалаша.

Я не мог ничего ответить.

На следующее утро Виктор рассказал мне, что силой втащил меня в шалаш, что я сопротивлялся и звал какую-то Ксению и Мишу. Однако Виктор загородил мне выход из шалаша своей собственной персоной и лег около совсем уже потухшего костра. Со всех сторон ползли утренние таежные туманы. Светало… Темные лиственницы чернели силуэтами на молочном фоне туманного таежного рассвета. Знобило...

С восходом солнца мы поднялись и тронулись в путь, а на следующий день были на стоянке якутов, угощавших нас сушеным творогом и пахнущей дымом молочной водкой.

За беседой у закоптелого чайника, где вместо обыкновенного чая кипятился молочно-сальный соленый сливан, я спросил у якута Никанора Никаноровича Никанорова, – не знает ли он, что за таинственное место пришлось пройти нам, что за странные камни с надписями нам попались по дороге.

Якут оживился...

- Знаю, однако, знаю. Кто не знает! Это старая история.

Было такое дело... Якуты двигались тогда с войной на северо-восток со среднеазиатских плоскогорий и степей, из-за великого южного моря... Это был героически поход воинственного племени, искавшего себе приют на земле...

Жил в те поры на склонах южных гор знатный какой-то тюркский хан или князь, – молодой, красивый, храбрый, – и была у него невеста... Забыл, как ее звали... Каждый по разному зовет ее в сказке...

Но знатнее тюркского молодого хана был старик-якут, собравшийся вести свой род на далекий север. Захватил он красавицу, обмотал арканами поперек седла, и, как ни билась она, как ни молила, а не могла разорвать верблюжьих пут, которыми была к седлу приторочена…

Сколько дней, сколько месяцев, сколько лет прошло до той поры, пока якуты подошли к тем местам, на которых мы сейчас живем, – кто знает? Только все не покорилась непокорная... ну, назовем ее Хабар, – своему насильнику и властелину…

– Умру лучше! – кричала она. – Умру, чтобы встретиться с милым моим и дорогим Натхурамом...

Что поделаешь? Девки и тогда были такие же своенравные, как и теперь...

Пришло время, однако, состарилась Хабар... Какая уж там весна, – так значило ее имя, – наступила бурая, дождливая, холодная осень. И стала умирать Хабар-красавица.

Склонился над ней старый муж и спрашивает:

– Ну, перед смертью скажи, моя ты жена или нет?

– Не была и никогда не буду! – глаза турчанки заблестели ненавистью. – После смерти освобожусь и полечу к Натхураму...

– Не дури, злая башка! Я тебя после смерти так засыплю камнями, что никуда, не сунешься! – разозлился якут.

– Все равно, придет кто-нибудь и разроет мою могилу: человек ли, зверь ли… Ему подарю любовь, ему помогу встретиться с милой, – хоть три тысячи дней пути от этого проклятого места, где завоевал ты мою жизнь, она будет.

И скончалась Хабар-весна.

Улетели птицы, убежали звери, стало глухим место, только свистал и выл ветер над могилой жены якута. А якут-старый рыскал, сторожил вокруг, не идет ли кто разрывать там, где после смерти томились кости в плену, где изнывал дух его красавицы жены…

Сотни лет видят люди, как подымается с запада рыжий всадник. И все бегут в степь прочь…

– А что же, – спросил я рассказчика, – до сих пор не нашлось ни одного человека, кто освободил бы пленную душу?

– Кто знает? Говорят, нет...

Я готов был закричать в смятении, готов был кататься по земле от тоски и счастья…

Счастья?..

Откуда оно приходит, да и счастье ли оно?..

Через неделю мы расстались с Виктором. Нас разлучила красная горная стража, и я решил бросить мечты о Камчатке и двигаться на юг по старому пути сначала, а затем повернуть на юго-восток, к Маньчжурии. Так я и сделал...

Но захотелось мне перед началом пути в неизвестность уйти в полное одиночество, побывать на месте, где была, как я теперь знал, могила красавицы Хабар-весны...

С полмесяца я проблуждал в поисках виденного однажды места и, наконец, подошел, как мне показалось, к группе знакомых лиственниц, склоненных над камнем с фигурами и надписями.

Но не было ни фигур, ни надписей, ни самого камня. Все было разрушено, разбито, как будто пронесся здесь ураган. Осколки черных камней, как каменноугольные россыпи, покрывали площадь, черную, сырую,

до далекого горизонта…

«Это ли место? – подумал я. – Как будто это… Сохранилась ли дорожка, которую я мостил? Да, вон она отливает голубоватым светом ясного и северного дневного неба».

Пусто вокруг...

Ау!..

Ни звука, ни эха. Никто, не отвечает... Мертво и одиноко, как на кладбище. Ни птицы, ни зверя, ни человека, если не считать меня, погибающего на своей жизненной, таежной тропе…

* * *

Через два-три года после моихтаежных скитаний я вспомнил однажды (когда уже был в Харбине) мою ночь встречи с Ксенией в тайге – это было как раз в день ее ангела – и захотелось мне наудачу отправить письмо в Москву по так странно полученному адресу. Ради шутки, хотя бы.

Почему бы не испытать судьбу?.. Все равно не дойдет... В тайге еще естественно быть мистиком, а в городе, где на площадях продаются эмблемы человеческого счастья, – сигареты, орехи и сладости, – здесь, в этом мусоре не найти ничего похожего на девственность таежных переживаний.

Письмо было послано...

Прошло месяца полтора, и однажды утром я получил телеграмму:

«Спасибо за письмо. Помню, но несвободна. Всегда твоя и в жизни, и после. Ксения».

На этом мой рассказ придется закончить.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1937. № 23. С. 1-6.

Хрестоматия

Николай Аполлонович БАЙКОВ
(1972-1956)

Писатель-натуралист Николай Байков родился 29 октября (ст. ст.) 1872 г. в городе Киеве в дворянской семье. Окончил Киевский кадетский корпус, Первую классическую гимназию (в Санкт-Петербурге), Тифлисское пехотное училище. Был подпоручиком в гренадерском пехотном полку в Тифлисе. В 1901 г. перевелся в Маньчжурию, в Заамурский округ пограничной стражи КВЖД. Много путешествовал по краю, производил топографические съемки, делал зоологические сборы, охотился. В 1920 г. уехал в Египет, два года провел в Африке, Индии, Индокитае. В 1922 г. возвратился в Маньчжурию, посвятив себя литературной работе. Участвовал в создании Общества изучения Маньчжурии. Его очерки публиковались в журналах «Охотник» (Москва), «Вестник Маньчжурии» (Харбин) и других. Автор книг «В горах и лесах Маньчжурии» (1915), «В дебрях Маньчжурии» (1934), «Великий Ван: Жизнеописание тигра, быт тайги, легенды и сказания таежников» (1936), «По белу свету: Военные и эмигрантские рассказы» (1937), «Тайга шумит» (1938), «У костра: Воспоминания и беседы» (1939), «Сказочная быль» (1940), «Тигрица: Таежная быль» (1940), «Наши друзья»(1942), «Записки маньчжурского охотника» (1941), «Шу-Хай» (1942), «Таежные пути» (1944), «Черный капитан: Роман-быль из жизни заамурцев по охране КВЖД» 1943; 1959) и др. В 1956 г. переселился в Австралию, в Брисбен, где и скончался от атеросклероза.

Ист. и лит.:

Забияко А.А. Текстологические тропы дальневосточной этнографии (проблема аутентичности текстов писателей 1920–1940 гг.) // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 5. Благовещенск, 2012. С. 181–202.

Забияко А.А. «Фронтирная мифология» в художественной рефлексии дальневосточных писателей (20-30 гг. XX в.) // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 9. Благовещенск, 2010. С. 119–140.

Ким Р. Байков // Литература русского зарубежья. 1920-1940. Вып. 2. М., 1999. С. 270–297.

Ким Е. По белу свету (Николай Байков. Судьба и творчество) // Байков Н.А. Великий Ван: повесть; Черный капитан: роман. Владивосток, 2009. С. 5–52.

Хисамутдинов А.А. В лесах Маньчжурии (К 125-летию Н.А. Байкова) // Проблемы Дальнего Востока. 1997. № 5. С. 120–125.

КОРЕНЬ ЖИЗНИ

Тихо в лесу. Не шелохнет ветерок в ветвях могучих кедров и лиственниц, не прокричит зверь, не пролетит птица.

Полуденное горячее солнце, накаляя неподвижный воздух, обливало потоками ослепительно яркого света зеленые пущи лесов и величавые горы, уходящие бесконечными зубчатыми грядами в туманную даль горизонта.

Под сводами дремучего леса вечно царит полумрак, даже летом, в яркий полдень здесь темно и сыро, как в погребе. Гигантские папоротники горделиво подымают свои перистые пальмовидные листья над гниющими трупами великанов растительного царства, над подземною зарослью и гранитными обломками скал, покрытых толстым слоем мха и седых лишаев.

С сухих заглохших ветвей дерев и толстых стволов старых елей све-

шиваются седые бороды нитевидных мхов, напоминая видом своим отжившие волосы павших здесь богатырей.

Пахло землей и грибами. Где-то среди зарослей дикого винограда, под зеленым покровом больших лапчатых листьев, пробивался ручеек. Холодная, чистая, как горный хрусталь, вода, журча и пенясь, сбегала с камня на камень, пряталась в недрах земли и снова бурлила под стволом поваленного бурей кедра, низвергаясь с высокой скалы каскадом на каменистую россыпь.

Влажные от брызг листья темно-зеленого плюща и маньчжурской лианы шевелились, обдуваемые легким ветерком, струящимся от быстрых волн ручья.

Под нависшими ветвями старой ели виднелся убогий шалаш из кедровой коры. Перед ним на воткнутых в землю шестах висел черный, закопченный котелок; угли в очаге давно погасли и зола успела уже пожелтеть от времени. Внутри шалаша на сухой траве по обеим сторонам лежали две козьи шкурки, какие обыкновенно носят с собой китайцы в путешествии. Посредине, на плоском большом камне виднелись остатки пепла, выколоченного из трубок и темнела кучка остывших угольков.

Пустая коробка от японских спичек, стружки, куски бумаги и лоскут синей китайской дрели, валявшейся на земле возле шалаша, свидетельствовали о недавнем присутствии людей.

Под вечер, когда в лесу стало еще темнее и черные ночные тени залегли в глубоких падях и ущельях гор, у шалаша появились люди. Это были два китайца: высокий, худой старик и молодой, имевший вид юноши.

Оба они одеты были в синие бумажные костюмы, изношенные и изорванные от долгого скитания по дремучим лесам и скалистым горам; легкие башмаки из невыделанной кожи дикого кабана и остроконечные шапки из камыша дополняли незатейливую их одежду.

Войдя в шалаш и сбросив с плеча кожаную сумку на землю, старик проговорил, обращаясь к молодому своему товарищу, разжигавшему огонь в очаге:

– Сегодня нам с тобой повезло! Хороший корешок нашли! Вот уже три года, как я не находил такого! Тяжелый! И видом совсем человек! За него мы выручим большие деньги! Надо только его поскорее спрятать, а то как раз нащупают хунхузы и отнимут! – с этими словами он вынул из сумки небольшой корешок растения, величиной около четверти.

Часть зеленого стебля оставалась еще не срезанной. Погладив его своею жилистой рукой с крючковатыми длинными пальцами, старик положил к себе за пазуху и вышел из шалаша.

Отойдя шагов пятьдесят, он сделал вправо несколько прыжков по камням и по дну ручья; затем, выйдя на противоположный берег, подошел к груде больших камней, заросших сплошною сетью винограда и лиан.

Здесь он остановился и стал прислушиваться, всматриваясь зорким оком в лесную темную чащу. Тишина была полная, слышен был только треск костра и журчанье ручья.

Присев на корточки, старик исчез под навесом зарослей. Отвалив один из камней, он положил под него драгоценный корешок; там лежал такой же, выкопанный ранее, но гораздо ниже по достоинству. Навалив камень на прежнее место, осторожный китаец выполз из потайного хранилища и направился к шалашу, где хозяйничал другой, приготавливая незатейливый ужин из чумизы и пшеничной муки.

Пока оба китайца будут заняты хозяйственными делами, мне может быть удастся вкратце изложить все то, что известно нам европейцам о драгоценном «корне жизни» и его добывании в девственных диких лесах Маньчжурии.

Женьшень – растение, принадлежащее к семейству Aralia, научное название его Panax ginseng.

Кроме названия «женьшень», китайцы дают ему другие, напр.: инсын, бонг-цуе.

Маньчжуры называют это растение орхой-да, японцы – нин-си.

Это редкое растеньице – многолетнее; стебель его в палец толщиною, не превышает 2-х футов. При основании стебля находится характерная мясистая чешуйка; в середине стебля образовано кольцо из 4, крестообразно расположенных симметрических листьев; последние сложные, каждый состоит из пяти длинных эллиптических лепестков, наибольший из них средний. Корень редко достигает длины одной четверти; форма его веретенообразная, он жесток и шероховат, хотя мясист. Иногда он бывает причудливой формы и имеет отдаленное сходство с фигурой человека (мужчины). Толщина в палец. Позднею весной, в апреле и мае, растение это цветет ярко-пурпуровыми цветами, расположенными в виде зонтика. В июне цветы вянут, лепестки осыпаются, и из чашечек образуются красно-малиновые сочные ягоды, имеющие форму сплюснутых сверху шариков. Растение это любит жирную черноземную почву, не переносит солнечных лучей и растет исключительно в глубоких, сырых и темных падях. Распространение его в Маньчжурии не велико: 46° сев. широты можно считать северной границей произрастания этого редкого вида аралий.

Чем южнее, тем чаще встречается женьшень, и, кроме того, на юге Гиринской провинции он достигает своего наибольшего развития и качества. Горы Кентей-Алин, а в особенности южная их часть, так называемая Чан-Линза, славятся этим растением. Южная часть хребта Чжан-Гуан-Цайлин также богата этим растением.

Добывание женьшеня составляет монополию китайского правительства. Занимающимся этим промыслом, подлежащие учреждения выдают свидетельства, оплачиваемые довольно дорого, от 50 до 100 рублей, в зави-

симости от местности, где промысел будет производиться. Самовольный сбор растения, без установленного разрешения, влечет за собой суровую кару, а именно: отсечение головы.

Промысел этот очень труден, благодаря дикости и малодоступности тех дремучих лесов, в каких попадается женьшень. Кроме того, искатели подвергаются опасности от нападения диких зверей, встречающихся в большом количестве в тех местах. Очень многие гибнут в когтях тигров, пантер и медведей, не меньшее число их погибает от рук двуногих хищников, выслеживающих искателей и охотящихся на них, как на дичь. Дорогое растение это так редко встречается, что сплошь да рядом искатели в течение лета не находят ни одного корешка, между тем, как другие более опытные и знающие могут рассчитывать взять один и самое большее два. Кроме опасностей со стороны зверей и грабителей, искатели много терпят от сырого климата тех мест, где растет женьшень. Лучшим временем сбора считается период цветения, т. е. начало мая, когда самый корень не отдал еще своих соков, для образования плодов, т. е. ягод. Впрочем, собирают его и в другое время, а именно: с конца апреля до сентября. Осенью растение высыхает, теряет листья, и найти его тогда среди массы других высыхающих растений невозможно.

Среди китайцев живет поверье, что раннею весной, когда наливаются бутоны его цветов, оно издает особый белый свет; бывает это только в одну ночь, в начале мая и тогда-то именно выкопанный корень имеет чудесную силу не только врачевать болезни, но и воскрешать мертвых. Добыть корень в эту ночь очень трудно, так как его стерегут дракон и тигр, и всякого осмелившегося приблизиться к цветку, они разрывают. Вообще, с именем этого растения у китайцев связано множество легенд и сказаний, основанных, конечно, на грубом суеверии.

С незапамятных времен китайская медицина приписывает этому корню целебные свойства, даже в таких, на наш взгляд, неизлечимых болезнях как чахотка, старческий упадок сил, параличи нервных центров, острое малокровие и др.; поэтому цена женьшеня в связи с чрезвычайной трудностью его добывания очень высока; в среднем один фунт дикого растения стоит около трех тысяч рублей, но корешок, особенно похожий на фигуру человека, твердый, прозрачный, янтарного цвета, сорванный в период цветения, оценивается гораздо выше.

Бывали примеры, что за один корешок платили баснословные деньги: до десяти тысяч рублей.

Почти весь сбор дико растущего женьшеня идет на рынки внутреннего Китая и в порты: Шанхай, Кантон и Гонгконг. Особенно ценные экземпляры вывозятся в Пекин, где за них богатые китайцы и принцы крови платят крупные суммы.

Прежде чем поступить на рынок, корень подвергается особой выра-

ботке и очистке специалистами.

Кроме дикого корня на рынки Маньчжурии и всего Китая поступает корень женьшеня, искусственно выращенного.

Разведение и культура этого растения требуют особенно тщательного ухода.

Для посадки его выбирают южные склоны гор, среди зарослей и болот; вырубают лес; делают гряды, и землю на них не только вскапывают и разрыхляют, но и просеивают через мелкое сито. Для защиты от солнечных лучей, от которых растение погибает немедленно, над грядами устраивают навесы из плотной материи или досок; с северной стороны закрывают щитами от холодных ветров, к которым растение это чувствительно.

Лучшими корнями считаются выращенные из саженцев, худшими – из семян.

Первый сбор производится только через пять лет, только тогда корень может достигнуть своей нормальной величины.

На зиму гряды с корнями закрываются соломенными циновками и их заносит снегом.

Искусственно выращенный корень отличается от дикого своим цветом, он светлее, менее плотен, непрозрачен, поверхность его более гладкая. Не признавая за ним таких свойств, как за дикорастущим, китайцы все же ценят его довольно высоко, так: фунт культивированного женьшеня стоит от 50 до 80 рублей.

На право разведения этого растения также необходимо взять патент.

Высушенный корень и препарированный по особому способу употребляется в виде порошков, настойки и вытяжек. Европейская медицина, пренебрегающая без всякого основания многими общепризнанными народными средствами, до сих пор еще не обратила должного внимания на этот продукт, пользующийся в Китае, Тибете, Монголии, Японии и части Индии широкой известностью и популярностью. Уж один тот факт, что за маленький корешок в этих странах платят большие деньги, служит несомненным показателем значительных лечебных свойств этого растения. Кто знает китайца, тот может подтвердить, что этот экономный и практичный сын народа-старца не способен на большие затраты денег без основательных к тому причин.

Без сомнения, корень женьшеня имеет какие-то свойства, сильно действующие на организм человека; исследование этих свойств и строго научные опыты могут дать современной медицине еще одно новое средство, врачующее многочисленные недуги человечества.

Люди, жившие продолжительное время на Дальнем Востоке, знакомые с бытом и жизнью народов, населяющих юго-восточную Азию, знают поразительные примеры лечения этим корнем и терапевтические его свойства.

Большая часть продукта, поступающего на рынки Восточной Азии, приготовляется из культивированных корней, и, кроме того, встречается еще больше грубого обмана и подделки. Настоящий дикий корень женьшеня трудно даже найти в продаже, разве случайно; каждый экземпляр такого обязательно снабжается удостоверением и печатью особой палаты, или правительственного учреждения. В удостоверении приведены точные приметы и размер корня, вес, где найден, время года, фамилия и местожительство нашедшего, словом, полная родословная, без которой корень считается или не настоящим, или контрабандным.

Такова история маленького таинственного корешка, растущего в дебрях лесов дикой Маньчжурии, ради которого люди, отрекаясь почти на полгода от мира сего, подвергаясь лишениям и трудам чрезвычайным, рискуют до безумия, ставя самую жизнь свою на карту.

Промысел этот обыкновенно передается по наследству от отца к сыну; занимаются им преимущественно маньчжуры-звероловы, свободные в летнее время от своего коренного промысла. Корейцы также охотно разыскивают драгоценный корешок, но им приходится заниматься этим делом тайком, контрабандой, так как патенты выдаются только подданным Китая. Скупщики женьшеня обыкновенно сами выправляют патенты для своих клиентов, выдают им вперед все самое необходимое; как то: одежду, обувь, продукты, и, конечно, эксплуатируют простодушных маньчжуров, забирая их всецело в свои крепкие руки. Корейцы обыкновенно уносят корни к себе на родину, где продают скупщикам-японцам. Кроме перечисленных типов искателей корня, есть еще один, это большею частью природные китайцы, выходцы из Чифу или Шанхая. Обыкновенно, они браконьеры, не имевшие свидетельств и занимающиеся этим опасным ремеслом на свой риск и страх.

Постоянное пребывание в темных дремучих лесах, жизнь, сопряженная с лишениями и опасностями, и непрестанная борьба с суровой природой наложили особый отпечаток на этих таежных бродяг. Опытный глаз по внешности сразу отличит искателя женьшеня в пестрой разнохарактерной толпе маньчжуров и китайцев. Сухой, тренированный в ходьбе по горам, крепкий и жилистый, с суровым обветренным лицом, сутулый, одетый в синий оборванный костюм, кожаные туфли (бродни – улы) и остроконечную соломенную шапку, с берестяной котомкой за плечами и железной лопаточкой за широким поясом, – он заметно выделяется среди пестрой восточной толпы.

Поев лапшу тонкими палочками из глиняных чашек, китайцы принялись за вареную чумизу, сдобренную черной едкой соей. Во время еды оба молчали, только слышно было чавканье и причмокиванье ртов да стук палочек одна о другую.

Темная таежная ночь между тем окутала все своим саваном. Кое-где

сквозь густой покров леса блестели звезды на темном небе.

– Сегодня в полночь пойдем искать светящейся цветок женьшеня! – проговорил старый китаец Лу-фа-бин, обращаясь к молодому своему товарищу. – Сегодня великая ночь в лесу. Великий дух выходит из земли через стебли и цветы женьшеня и зажигает их чудным огнем! Счастлив тот, кто увидит его! Но, если хочешь иметь успех и взять цветок, – имей каменное сердце и железную волю! Только тогда ты преодолеешь все препятствия, и страх не войдет в душу твою! Чтобы ты ни увидел, – смело иди и срывай цветок, при свете его выкопай корень и тогда не бойся ничего! Через два часа мы пойдем! Я знаю, где растет женьшень, и берегу его для сегодняшней ночи! Ты еще молод и не знаешь многих великих тайн природы! Сегодня будет для тебя испытание, если выдержишь его, – открою тебе то, что доступно немногим! Научу тебя искать и находить это драгоценное растение! Я стар, и мне ничего не нужно, но ты молод, и жизнь твоя еще впереди! Когда буду умирать, передам тебе свои знания, открою тайны Великого Леса, и будешь ты могуч и богат! Меня никто не учил! Почти с малолетства скитаюсь я по этим горам и лесам, зимой промышляя зверя, летом отыскивая женьшень! Вначале, когда я был в твоих летах, и даже постарше, я не мог найти ни одного корня, и только когда отрешился от суеты мирской, постиг великую тайну. Когда мне было уже сорок лет, я нашел первый свой корень! Это было далеко отсюда, там, где рождаются истоки Сунгари, в темных лесах священной горы, в стране Утреннего Спокойствия. Корейцы называют эту гору Пак-ту-сан, она высока, и вечный снег закрывает ее таинственную вершину! Внутри горы этой спит тысячелетним сном желтый дракон; когда ворочается он, – земля дрожит, огонь и дым от дыханья его вылетают из трещин горы; в гневе он рычит, колеблет зубчатым гребнем своим горы и долины и снова засыпает. Старые отшельники горы говорили мне много о нем, когда-нибудь скажу тебе. А теперь ложись, отдохни и подкрепись сном! Дело предстоит нам трудное! – с этими словами старый лесной бродяга отошел в сторону от шалаша, стал на колени на берегу ручья, поднял кверху свои жилистые худые руки и, устремив взор на звезду, ярко блестевшую сквозь темные ветви кедра, начал молиться, тихо произнося слова и изредка склоняя свою седую голову к земле.

В глубине тайги прокричал филин, рявкнул козел в ближайших зарослях, и снова все стихло, только неугомонный ручей продолжал свою веселую песню.

Пока Лу-фа-бин молился великому духу, молодой его племянник Ван-ли-сан лежал около костра, подложив под голову руки.

– Что не спишь? – спросил его старик, также усаживаясь рядом с ним и набивая длинную трубку табаком из кожаного кисета.

– Спать не хочется, дядя! – ответил Ван-ли-сан, поворачивая к нему голову, и после небольшой паузы продолжал: – Куда же ты продал свой

первый корень, который нашел у большой горы?

– Первый корень продавать нельзя, – ответил Лу-фа-бин, закуривая трубку, – иначе это будет первый и последний! Такова примета! Свой первый корень по обычаю я сжег и пеплом его посыпал алтарь кумирни, стоявшей тогда на большом перевале Чан-Бо-Шаня. В те времена дракон просыпался редко, один раз в три года, теперь же чаще слышится его рев, и скоро уже, как говорят, он встанет и пожрет всех белых дьяволов, пришедших к нам издалека ради наживы.

– Пока не было у нас этих варваров, китайцы жили мирно и тихо, по заветам старины, соблюдали законы, чтили своих предков и были честны; теперь же забывают все это, и белые дьяволы радуются, разрушая нашу святую старину, нашу могучую Поднебесную Империю! Из корыстных целей они научили нас военному делу, продают нам пушки и ружья, но горе им, ослепленным жаждой наживы! Скоро, скоро уже наш великий желтый дракон стряхнет с себя долгий сон, выйдет из-под земли, откроет свою страшную пасть и поглотит всех врагов наших, тогда опять настанет в Китае мир и тишина, вспомнит народ наш забытые заветы предков и великих учителей своих, и слава Поднебесной Империи разольется по всей земле! Погибнут враги наши с их хитроумными выдумками, с их дьявольскою наукою! Конечно, мне уже не дожить до этого времени! Но ты, может быть, увидишь под старость великие события, и тебя коснется могучим крылом своим Великий Дракон непобедимых, бесчисленных полчищ Срединного Государства! Теперь не время еще ему проснуться! Пусть белолицые дьяволы рвут его могучее тело, терзают его тяжелые члены! Тем скорее и внезапнее будет его пробуждение, тем гибельнее для них его страшный гнев!.. – так пророчествовал старый таежник, сидя у костерка, вперив в пламя его свои глаза, полные экстаза вдохновения и непримиримого фанатизма.

Молодой китаец лежал около него, затаив дыхание и слушая вещие слова старого лесного бродяги.

– Ну вставай, Ван-ли-сан! – произнес, как бы очнувшись, старый китаец, выбивая пепел из трубки о твердую подошву своих башмаков. – Вставай и собирайся! Не забудь взять с собой лопаточку! Помни, что я тебе говорил! Что бы ты ни увидел, – иди смело за мной и сорви светящийся цветок! Если не уверен в себе, – лучше не ходи, я пойду один! Знай, что страх может погубить нас обоих!

– Нет, нет, я не останусь! Я всюду пойду за тобой и не испугаюсь ничего! Ведь ты со мной, и этого достаточно, чтобы страх бежал от меня! – горячо ответил Ван-ли-сан, собираясь идти с дядей, отыскивать светящийся цветок женьшеня.

Уложив в кожаную сумку все необходимое и надев ее через плечо, он стал возле старика на колени и совершил моление Великому духу о даровании успеха в предприятии. Потушив огонь в костре и взяв в руки длин-

ные сучковатые палки, они скрылись в темноте леса.

Впереди шел Лу-фа-бин, прокрадываясь через заросли и густую чащу с быстротой, присущей обитателям тайги; его привычные глаза видели в темноте так же хорошо, как и днем; Ван-ли-сан едва поспевал за ним, царапал в кровь лицо и руки о шипы и иглы колючей аралии, но, скрепя сердце, шел. Решимость его мало-помалу исчезала, зловещая темнота давила мозг, и таинственные звуки леса наполняли страхом трепетавшее сердце. Сознаться перед дядей было совестно, и молодой китаец шел, с тревогой всматриваясь в непроницаемую тьму таежной ночи.

В зарослях и среди темных ветвей деревьев вспыхивали, как звездочки, летающие светляки, еще более настраивая воображение молодого искателя корня. Шли долго молча, перевалили два скалистых хребта и спустились в глубокую падь.

– Теперь можно отдохнуть немного, – произнес старик, останавливаясь у берега быстрой речки, с шумом и рокотом катящей свои волны по дну каменистой россыпи.

Напившись студеной воды и омыв разгоряченные лица, путники начали осторожно подыматься на высокий горный кряж, покрытый старым первобытным кедровником. Идти было трудно: валежник, камни, заросли и бурелом встречались на каждом шагу.

– Уже скоро полночь! – проговорил Лу-фа-бин, останавливаясь у скалистого выступа. – Я слышу присутствие злых духов! Наверху есть котловина среди скал, и там увидишь ты необыкновенный свет! Иди со мной и не бойся! Если испугаешься и отстанешь, – погибнешь! Ну, пойдем! Не отставай! – с этими словами старик быстро двинулся вперед, прокрадываясь через густые заросли, как барс к намеченной добыче.

У Ван-ли-сана стучали зубы друг о друга, и ужас охватывал все более и более его молодую душу, сердце стучало усиленно в грудную клетку.

Скоро показались высокие скалы; в одну из щелей между ними проскользнул Лу-фа-бин, за ним прополз Ван-ли-сан.

Выйдя на другую сторону каменной гряды, путники увидели среди непроницаемой тьмы обступившего леса тусклый зеленоватый свет. Казалось, он шевелился, множество длинных нитей носилось над ним, какие-то черные тени мелькали вблизи, слышен был шелест листвы и крики.

Молодой китаец стоял, словно очарованный, вперив безумный взор свой в светлое пятно, видневшееся среди котловины.

– Идем! – шепнул ему старик, не оборачиваясь, и быстро пошел к светящемуся предмету.

Не успел он отойти и десяти шагов, как услышал громовый рев и кашель, исходящий из какой-то гигантской груди, вслед затем шум ломаемых кустов, треск валежника, вой и стоны. Весь лес как будто всполошился, заревел, застонал, какие-то неведомые птицы носились над поляной, заде-

вая голову старика своими мягкими крыльями. Но старый лесной бродяга не струсил, не дрогнуло его закаленное сердце, и, несмотря ни на что, он дошел до своей цели; но вместо светящегося цветка женьшеня перед ним бросал свой тусклый фосфорический свет истлевший пень старого дуба! Вокруг него летали во множестве ночные насекомые; совы и летучие мыши, привлеченные необычным светом, также реяли над ним, маша в лицо бродяги своими мягкими крыльями.

Убедившись, что это дубовый пень, а не цветок, Лу-фа-бин обернулся назад, ища глазами своего племянника, но его не было поблизости.

– Ван-ли-сан! – громко произнес старик, всматриваясь в нависшие скалы, но ему никто не ответил, только с вершины гребня раздались громкое мурлыканье какого-то большого зверя и глухой рев.

Подойдя к скале, старик зажег спичку и при ее мерцающем свете увидел на земле палку своего племянника, соломенную шапку и, немного в стороне, кожаную сумку с оборванным ремнем; здесь же на мягком глинистом грунте ясно отпечатывались следы большого тигра.

Теперь все стало ясно, и старый зверолов понял, что искать Ван-ли-сана бесполезно.

Собрав брошенные вещи своего погибшего племянника и посмотрев еще раз на тусклый свет дубового пня, Лу-фа-бин пошел обратно через скалы и хребты к своему старому шалашу.

«Зачем было брать с собой этого молокососа! – размышлял он, пробираясь по зарослям леса. – Был бы у меня теперь цветок светящегося женьшеня! Струсил мальчишка и не пошел за мной! Великий дух разгневался и пожрал его, а цветок превратился в гнилой пень! Теперь все пропало! Не найти уж мне больше другого цветка в этих местах! Жаль Ван-ли-сана, но такова судьба его!..».

Долго в эту ночь не мог заснуть старый лесной бродяга. Утром, когда вершины гор загорелись под лучами восходящего солнца и седой туман пополз из глубоких ущелий наверх, Лу-фа-бин забылся тревожным сном. Чудилось ему, что он сорвал светящийся цветок дорогого растения и несет его домой в шалаш; по пути все звери и птицы падают ниц перед ярким светом и восхваляют мудрость и отвагу старого зверолова. Но вот из-за дубового гнилого пня поднялся злой дух в виде белого человека и отнял от него чудный цветок, бросил его на землю и втоптал в грязь; сзади стоял племянник его, Ван-ли-сан, дергал его за рукав и звал к себе. Но старик не мог оторваться от этого зрелища поругания святого растения и отбивался от назойливого своего родственника, как от мухи.

Но Ван-ли-сан не оставлял его и тряс изо всей силы, старик проснулся и увидел перед собой трех незнакомых китайцев. Все они были вооружены винтовками, ленточные патронташи с блестевшими патронами опоясывали грудь и спину крест-накрест.

Лу-фа-бин понял, что это хунхузы, но не струсил; встав со своего ложа, он подошел к ближнему и спросил, что им от него нужно.

– Ты, старая собака, собираешь женьшень? Отдавай все корни, какие у тебя есть, иначе плохо будет! – с этими словами старший из хунхузов дал знак своим товарищам, и старика схватили сзади за руки.

– У меня нет ни одного корня! – проговорил он, стараясь освободиться, но крепкие руки разбойников держали его как в тисках.

– У тебя нет? – возразил хунхуз. – Ну тогда мы заставим тебя говорить! Вяжите его и кладите на землю! А я разожгу огонь в костре! Закоптим ему пятки, тогда старый пес будет разговорчивее!

Несчастного старика прикрутили крепко веревками к кольям, вбитым в землю; он лежал возле своего шалаша на спине; руки были раскинуты. Быстро сняли с его ног кожаные бродни, подняли шаровары выше колен и положили голые ноги старика пятками на горячие угли. Сначала пошел дым, затем распространился смрад от горелой кожи и мяса.

Лицо старого китайца было спокойно, только рот слегка искривился от боли и на глазах показались слезы. Зубы были крепко сжаты.

Бронзовый цвет его лица постепенно перешел в землисто-желтый. Когда кожа на ступнях вздулась пузырем и лопнула, обнажая шипевшее на огне мясо и жилы, несчастный не выдержал, застонал и, по-видимому, впал в беспамятство.

Дикие палачи в это время спокойно курили свои длинные трубки, шутили, смеялись и подкладывали под жарившиеся ноги старика свежие сухие ветки; пламя разгоралось и лизало своими жгучими языками сухие икры и колени несчастной жертвы.

– Ишь, старый черт! – проговорил старший хунхуз, смеясь и скаля свои большие желтые зубы. – Упрям и неразговорчив! Пусть и околевает, если не хочет отдавать корней! Я не знаю! Он богат и, наверное, хранит где-нибудь свои сокровища! Ну-ка, подите, поищите в стороне, может быть он зарыл где-нибудь под камнем, или в старом дупле! Я с ним и один справлюсь!

Оба хунхуза, повесив винтовки через плечи, встали и молча разошлись по разным направлениям.

Предводитель хунхузов тем временем подполз к голове Лу-фа-бина и прошептал ему на ухо:

– Старик! Скажи мне, где спрятаны твои корни? Я отпущу тебя! Ноги твои заживут, и ты еще успеешь разбогатеть!..

Старый замученный зверолов зашевелился, глаза его открылись и повернулись в сторону говорившего. Потухающий взгляд их говорил много, но через мгновение стеклянное выражение его остановилось и потускнело, тело вытянулось, вздрогнуло и замерло навсегда. Жизнь оставила его. Пощупав пульс у умершего и убедясь, что все кончено, хунхуз спокойно на-

бил свою трубку табаком старика, закурил об уголек, вынутый из-под обугленной ноги его, и, поджав ноги, стал дожидаться возвращения товарищей.

Вскоре один из них показался у шалаша.

– Нет ничего в этой стороне! Обыскал все, даже под корнями шарил! – произнес он, в изнеможении опускаясь возле мертвого старика, над головой которого носились уже рои мух и залепляли черными пятнами глаза, нос и полуоткрытый рот.

– А старик-то умер! – мотнул головой пришедший, набивая табаком трубку, как будто ничего особенного не случилось.

Предводитель на эти слова только промычал, продолжая пускать дым кольцами, подымавшимися кверху.

Парило. Солнце высоко поднялось над лесом. В траве и зарослях трещали кузнечики и пели цикады.

– Не мешает осмотреть мертвеца! – сказал младший хунхуз, поднимаясь и стаскивая со старика грязную заношенную куртку.

Разбойники обыскали всю одежду мертвого и не нашли ничего. В шалаше под травой и шкурками козуль нащупали они врытый в землю ящичек из твердого синего дерева.

Сломав его, они обнаружили там множество всевозможных трав, корешков, пилюль, свертков с порошками и одну пачку русских денег.

С жадностью накинулись они на эти бумажки, пересчитали их, оказалось шестьдесят пять рублей. Предводитель отсчитал тридцать пять и положил в свой кожаный кошель, остальные передал товарищу.

Не зная назначения всех этих трав, пилюль и кореньев, хунхузы бросили их в огонь.

Прошло более часа, как ушел третий китаец на поиски корня; остальные начали уже беспокоиться и высказывать предположение о бегстве товарища.

Решили еще подождать немного и отправиться искать его.

Опять расселись у огня, закурили трубки и предались думам. Видно было, как волновались разбойники, но не давали друг другу заметить это.

Москиты и комары носились тучами над ними, разбойники обмахивались веерами и волосяными опахалами, но все это мало помогало, москиты забирались в волосы и под одежду и жалили немилосердно.

Мертвый старик лежал тут же, холодный и безучастный ко всему. Помутневший взор его, устремленный в синее небо, просвечивавшее сквозь темные ветви лесных великанов, казалось, задавал вопрос: «За что?», – но окружавшая роскошная природа так же была безучастна и равнодушна ко всему.

Посидев немного и выбив пепел из трубок, хунхузы поднялись и направились в ту сторону, куда удалился третий их товарищ.

Долго пришлось им искать на листве и в траве следов его, но наконец, они благодаря своей опытности отыскали тот куст и камень, из-под которого он вынул два корня женьшеня, спрятанные с такой заботой стариком.

Сомнения для них не было, товарищ их нашел случайно корни и скрылся с ними, желая воспользоваться драгоценной добычей один.

Ярость и злоба хунхузов были чрезвычайны, с досады они кусали свои длинные ногти на пальцах, бронзовые лица их потемнели, глаза, и без того дикие, стали похожи на глаза волка, выслеживающего добычу.

Осторожно, шаг за шагом, двинулись они по следам бежавшего, по временам останавливаясь, всматриваясь в едва заметные признаки следов человека, и шли дальше, скрадывая вероломного своего товарища, как зверя.

Выслеживание человека летом в тайге Маньчжурии очень трудно. Густая трава, иногда в рост человека, непролазные заросли и кусты, переплетенные вьющимися растениями: виноградом, плющем и лианами (Maximoviczia chinensis), масса листьев и зелени – скрывают следы, и надо быть опытным лесным охотником и бродягой, настоящим следопытом, чтобы суметь разобраться во всех малейших признаках присутствия зверя или человека в этом зеленом море буйной растительности! Хунхузы, в особенности профессионалы, живущие большую часть года в дремучих лесах этого края, чувствуют себя в девственной тайге, как дома, и, благодаря постоянной практике, являются великолепными следопытами и разведчиками. Если когда либо будет война России с Китаем, то эти местные обитатели, знающие прекрасно местность, закаленные в опасностях и борьбе с природой и людьми, окажут большие услуги врагам нашим. Большинство из них знает также хорошо тайгу Приамурья и нашего Уссурийского Края и, в случае надобности, могут служить хорошими проводниками.

В партизанской войне, весьма вероятной в этой лесистой, пересеченной местности, они дадут многочисленные кадры вполне подготовленных воинов.

Перевалив через высокий становой хребет Чан-Линза, в долину реки Мурени, хунхузы были уже на свежем следу. Недавнее присутствие беглеца обнаружилось, когда они нашли в глубокой пади еще не потухший костерок, где он кипятил себе воду в жестяном котелке.

Преследователи, быстро осмотрев место привала, осторожно без шума двинулись дальше. Они рассчитывали скоро догнать беглеца и подвигались вперед, скользя в зарослях тайги, как змеи.

Уходивший хунхуз пробирался к русской границе и к ночи надеялся достичь селения Полтавки. Преследователи поняли намерение беглеца и, зная, что, перейдя границу, он уйдет от них, напрягали все силы, чтобы настичь его.

Вечерело. Солнце спустилось низко. В тайге потемнели тени.

На лесной прогалине хунхузы заметили своего товарища. Он шел быстро, оглядываясь назад и по сторонам. Фигура его мелькала среди зарослей, то исчезая, то показываясь впереди. Беглец не чувствовал за собой погони и шел беспечно, обмахиваясь веером от москитов. Расстояние между ним и преследователями сокращалось.

Улучив момент, когда беглец вышел на поляну и открыл себя совершенно, предводитель приложился и выстрелил. Гул выстрела зарокотал в чаще и замер в глубине тайги. Взмахнув руками, китаец упал лицом на землю и остался неподвижен. Когда подбежали к нему товарищи, он был мертв. Меткая пуля поразила его в сердце.

Убитого перевернули на спину. Выражение лица его было удивленное, казалось, смерть вследствие своей неожиданности не успела еще положить на лицо свой отпечаток.

Обыскав его и раздев донага, хунхузы нашли в кожаном поясе товарища десять рублей деньгами и оба корня, взятые у старика под камнем.

Десятирублевую бумажку предводитель отдал товарищу вместе с малым корешком, большой же корень, очень высокой ценности, взял себе. Раздел был совершен полюбовно, по обоюдному соглашению.

Между тем ночь наступила быстро. В темном небе уже зажглись одинокие звезды.

В зарослях замелькали светляки.

Найдя ручеек, журчащий по дну ущелья, хунхузы расположились на ночлег. Зажгли костер, закурили неизбежные трубки и, закусив пшеничными лепешками, взятыми у старого зверолова, разлеглись на мягких лапинах елей возле огня.

Издалека доносился вой красных волков, то хищники тайги справляли тризну у трупа убитого хунхуза.

Изредка китайцы перекидывались словами. Им не о чем было говорить, они знали мысли друг друга и потому относились подозрительно к каждому движению, к каждому взгляду, хотя наружно старались сохранить хладнокровие и спокойствие.

Обмахиваясь веерами и потягивая дым из длинных трубок, они скорее походили на друзей, мирно беседующих о всякой всячине, между тем это были непримиримые смертельные враги, подозревающие друг друга в преступных замыслах.

Время шло. Истома склонила обоих ко сну и они склонили, наконец, свои головы на походные кожаные сумки. Но заснуть никто не хотел первым, из опасения быть убитым товарищем. Как только один шевелился или приподнимал голову, другой проделывал то же самое, давая понять своему соседу, что он не спит.

Наконец, слабейший задремал, не будучи в состоянии преодолеть

надвигавшегося сна.

Заметив это, предводитель, называемый своими подчиненными Ван-до, приподнялся на локте и тихо встал, не произведя ни малейшего шума. Спящий его товарищ храпел безмятежно.

Осторожно вынув из ножен кривой нож, висевший на поясе, Ван-до присел и пополз тихо, как удав к очарованной хищным взглядом птице. Мгновение, и быстрый, как удар молнии, взмах кривого ножа прекратил жизнь спавшего последним сном китайца. Он в смертельном ужасе открыл глаза, схватился руками за грудь, приподнялся, вскрикнул диким нечеловеческим голосом, откинулся навзничь и затих навсегда. Последний сон его незаметно для него самого, перешел в вечный сон смерти.

Убийца подержал еще некоторое время свой нож в груди товарища и, убедясь, что все кончено, вынул его, вытер спокойно о широкие шаровары убитого, вложил в ножны и с довольной улыбкой начал обыскивать. Забрав деньги и корень женьшеня, он тщательно спрятал все это в свой кожаный кошель. Табак из кисета пересыпал в свой. Винтовку и патроны завернул в окровавленную куртку и положил в дупло старого ильма, росшего поблизости; для отметки на стволе его он сделал ножом условные зарубки.

Проделав все это, Ван-до оттащил за ноги труп убитого и бросил его в густые заросли. Кожаную сумку, шайку и другие вещи положил в огонь.

Справившись с врагом, он мог теперь спокойно заснуть, не думая о том, что коварный сосед-товарищ готов броситься на него, как лютый зверь.

Разложив побольше костер и выкурив трубку, Ван-до, нисколько не смущаясь близким присутствием убитых товарищей, заснул быстро, как невинный младенец ,под тихую колыбельную песню старухи-тайги.

Красные волки, почуяв запах свежей крови издалека, собрались возле становища, но, видя огонь, не решались, подходить близко. В темноте леса виднелись их горящие глаза, они мелькали, как светляки, сходились и расходились, то вспыхивая ярко, то потухая. Вой хищников зловеще раздавался в тишине таежной ночи и наполнил бы ужасом самое отважное сердце, но привычное ухо старого хунхуза сквозь сон спокойно слушало эту музыку девственных лесов. Изредка, когда москиты кусали и беспокоили, Ван-до просыпался, закрывал лицо и руки грязным шелковым платком и засыпал снова.

Через день к вечеру Ван-до добрался до города Хун-Чуна. Здесь он прожил два дня, показывал драгоценные корни купцам, но покупателя не находилось, так как цена их была очень высока. Кто-то посоветовал хунхузу отправиться во Владивосток, где есть богатые китайские купцы и торговые фирмы.

Перебравшись через нашу границу под видом купца, Ван-до очутился во вновь зарождающемся городе Посьет, на берегу Японского моря.

Было раннее утро. Солнце только что поднялось над горизонтом, бросив золотые лучи свои на волнистую поверхность безбрежной морской глади. Даль была задернута туманом, и только у берега виднелись гряды набегающих волн с белыми пенистыми хребтами. Одна за другой ударяли они в каменистый крутой берег, крутясь и пенясь, и с ревом и стоном разбивались о гранитные твердыни, обдавая их брызгами и соленою влагой.

Темно-синее бурное море рокотало, предвещая шторм. В воздухе пахло влагой и морскими водорослями.

В гавани стоял пароход, пришедший с казенным грузом. У отмели виднелись шкуны и джонки китайцев с желтыми собранными парусами. Несколько лодок, вытащенных на берег, покачивалось под напором набегающих волн.

На пристани суетились сотни людей: русских, китайцев и корейцев. Выгруженные товары, ящики, тюки и мешки с мукой лежали, сложенные в штабели, покрытые циновками и брезентом.

Одна из джонок готовилась к отплытию. Несколько десятков китайцев, полуголых, с бронзовыми телами, бегали, кричали, перетаскивали какие-то связки и тюки, бранились, торопясь попасть на судно, с которого сняли сходни. Хозяин джонки, он же капитан, стоял у борта и отдавал последние распоряжения. Это был толстый китаец, одетый в голубой шелковый халат.

Распустили паруса, они надулись, как пузыри, и джонка, качаясь и рассекая острым носом своим пенистые волны, быстро понеслась вдоль берега, поворачивая в открытое море.

Пассажиры, столпившиеся у борта, кричали на своем гортанном языке и махали платками, отвечая остававшимся на берегу.

Тут же у борта на джонке стоял Ван-до и смотрел на удалявшийся берег и далекие синие горы, словно тучи поднимавшиеся на горизонте.

Джонка держала курс на Владивосток и, сильно накреняясь на борт, летела, как птица, управляемая опытными старыми мореходами.

В обширном трюме ее сложены были тяжелые, как мельничные колеса, круги бобовых жмыхов.

Ветер крепчал. Волны подымали все выше и выше свои пенистые гребни и перекатывались через борта. Мачты и реи скрипели, и весь корпус утлого судна вздрагивал под напором тяжелых водяных гор. Шум моря и вой ветра заглушали голоса матросов-китайцев, убиравших паруса и снасти. Пассажиры притихли в темной тесной каюте и молились богам о даровании благополучного путешествия. Ван-до курил свою неизменную трубку и углубился в думу.

Вскоре справиться с бурей не было возможности, и джонка, предоставленная разъяренной стихии, носилась по волнам, как утлый рыбачий челн.

К вечеру ее прибило к корейскому берегу, где она окончила свое существование, наскочив на камни, едва видневшиеся из воды.

Весь груз ее пошел ко дну, и никто из пассажиров не спасся. Долго еще носились по волнам ее поломанные разбитые деревянные части...

Давно уже стихла буря. Страшный тайфун пронесся дальше, к южным берегам Сахалина. Спокойно и тихо плещет морская волна в песчаные берега, как бы ласкаясь и гладя их после яростной вспышки незаслуженного гнева. Чистый разряженный воздух напоен ароматом моря и душистых цветов, в изобилии покрывающих леса и кустарники на высоких скалах, круто обрывающихся к узкой песчаной полосе отлогого берега. В туманной дали горизонта, как бы подернутые фиолетовой дымкой мерещились силуэты корейских гор.

Мир и торжественная тишина нарушались только тихим ропотом волн да отрывистым жалобным криком сизокрылых крачек, летавших низко над темно-зеленою гладью безбрежной водной пустыни Великого Океана.

Солнце опустилось над далекими горами и бросало свои прощальные золотистые лучи на берег и волны, давая красноватые блики на поверхности переливающейся зыби.

В отдалении, где на берегу темнела группа отдельных высоких дубов, виднелась узкая полоска седого дыма, стлавшегося по берегу и уносимого легким ветерком в море.

Под нависшею скалой приютилась там убогая фанза корейца-рыболова, Ким-ди. Хозяин давно уже выехал закидывать невод, а семья, состоящая из жены, не старой еще женщины, и двух чумазых полуголых ребят, копошилась возле дома.

Ребята, черные от загара, в коротких белых штанишках, с длинными черными волосами, висевшими длинными прядями по плечам и на спине, скорее походили на арапчат. Валяясь в песке, падая в воду и барахтаясь в ней, они играли, брызгали друг другу в лицо и были веселы бесконечно, пока мать не крикнула на них, стоя в дверях фанзы.

Услышав голос матери, детишки притихли и устремили свои взоры на море, где вдалеке виднелись рыбачья лодка и сидевший в ней человек на веслах.

Лодка приближалась, и через несколько минут острый нос ее врезался в желтый песок берега.

Сложив весла на дно ее, рыбак-кореец, одетый во все белое, с большой соломенной шапкой на черных, закрученных в узел волосах, вышел на землю, потрепал ребят по головкам и произнес, обращаясь к жене:

– Закинул невод! Пробовал тащить, – что-то тяжело, уж не акула ли попалась! Как раз порвет сеть!

С этими словами он принялся подтягивать невод к себе. Жена тоже

приняла в этом участие, и вдвоем они с большими усилиями подтащили сети к самому берегу.

Еще одно усилие, и невод был извлечен из воды и лежал, наполненный рыбой, мокрый, покрытый причудливыми морскими водорослями.

Открыв его, корейцы увидали вместе с рыбой, блестевшей серебристой чешуей и бившейся своими упругими плоскими хвостами о землю, труп китайца, одетого в богатую шелковую курму синего цвета. Темно-бронзовое лицо утопленника было обезображено гримасой страха и ужаса, желтые большие зубы блестели из-под черных коротких усов. Длинная черная коса его извилась вокруг шеи и на руке, как змея.

– Да это мертвец! – в испуге проговорил рыбак, вытаскивая его из сети. – Я так и знал, что зацепил что-нибудь тяжелое! Не мешало бы его обыскать! Это, по-видимому, богатый купец, и деньги должны быть! Ну, ша!.. Поросята!.. – отгонял он любопытных ребят, мешавших ему снимать мокрое платье с китайца.

В кожаном кошеле на груди мертвеца нашел он только серебряную русскую мелочь, зато в подкладке шелковой кофты (курмы) были зашиты русские бумажные деньги, около двухсот рублей, и какие-то два корешка странного вида и формы.

Повертев их в руках, понюхав и посмотрев на свет, кореец хлопнул себя ладонью в лоб и произнес с оживлением:

– Будь я китайская свинья, если это не драгоценные корни женьшеня! Ты слышишь, жена! Ведь это целое богатство! Теперь нам не надо голодать, не надо кланяться японцам и китайцам, будь они прокляты! Мы будем богаты! Купим землю, скотину, все, что нужно для хозяйства! – с этими словами кореец схватил жену и начал с ней танцевать у трупа погибшего китайца какой-то дикий первобытный танец.

Дети, видя неистовую радость родителей, тоже прыгали и кривлялись, как маленькие ручные обезьянки, хлопали в ладоши и кричали: «А-ля! А-ля!». Солнце между тем зашло. Быстро темнело.

Отдав деньги, одежду и корни мертвеца жене, рыбак взвалил его на лодку и отвез далеко от берега. Привязав к шее тяжелый камень, он бросил его в море, поглотившее хунхуза Ван-до в свои таинственные темные недра навсегда.

Тихая летняя ночь плыла над уснувшею землей. Темное море, медленно колыхаясь в своем необъятном ложе, рокотало, и волны одна за другой набегали на плоский берег. Бледный серп месяца всплыл из-за неясных морских далей и бросил серебряный столб лучей своих на выпуклую грудь океана.

В одиноком океане рыболовной фанзы светился красноватый огонь.

Счастливая семья бедного корейца сидела, поджав ноги, вокруг низкого стола, уставленного чашками, блюдами и кушаньями. Из тонкого

горлышка глиняного кувшина хозяин и хозяйка наливали подогретую китайскую водку и пили из маленьких, величиной с наперсток, чашечек.

Всем было весело. Даже дети участвовали в семейной радости, пили из рук матери сладкий теплый напиток, смеялись, кричали и угощали остатками еды своего любимца, остроухого пса, сидевшего возле них на задних лапах.

Вскоре рыбак затянул глубоким грудным голосом дикую заунывную песню; она плыла над берегом и замирала вдали безбрежного моря; звуки ее неслись, и, казалось, то плачет и стонет она, то в гневе грозит и рокочет, сливаясь с тихим ропотом прибоя.

В песне этой слышались горе и радость, гнев и печаль, отчаяние и надежда; вся жизнь этого тихого, честного, забитого народа рисовалась в ней.

Жена и дети сидели неподвижно вокруг стола и, обняв колени свои, слушали со вниманием эту песню, грустную песню прекрасной «Страны утреннего спокойствия». Могучий Великий океан вторил этой песне, и шумели, набегая одна за другой на песчаный берег, холодные волны вечного прибоя...

Впервые опубликовано и печатается по:
Байков Н.А. В горах и лесах Маньчжурии. Петроград, 1915. С. 440-463.

ВЕЛИКИЙ ВАН
(*Отрывки из повести*)

II. Рождение Вана

За два дня до рождения маленьких тигрица не выходила из своего гнезда и лежала на подстилке из сухой травы и листьев. Только утром рано и вечером она спускалась к ключику, весело журчавшему в расселине скалы, и утоляла жажду.

На третью ночь появились на свет тигрята. Их было двое – самец и самочка. Они были малы, неуклюжи и крайне беспомощны. Величина их не превосходила небольшую домашнюю кошку. Самец отличался от самки ростом, величиной головы и более массивным сложением. Мордочки у них были как были приплюснуты, глаза закрыты, и ушки плотно прижаты к голове. Мать в течение пяти дней находилась при них безотлучно и, почти не переставая, облизывала их, согревая своим телом. Первые дни после рождения тигрята были чрезвычайно слабы и еле-еле шевелились, причем мать сама подталкивала их мордой к своим сосцам. Наевшись до отвала, они моментально засыпали и в таком состоянии находились до следующей кормежки. Только на шестой день, на рассвете, тигрица оставила свое гнездо и торопливо сбегала на водопой. Возвратившись, она внимательно ог-

лядела своих спящих детей и все логовище, стараясь заметить что-либо подозрительное; но, не найдя никаких перемен в окружающем, она успокоилась и снова легла рядом с детьми, спиной к задней стенке логовища, чтобы всегда иметь на виду выход на случай внезапного появления врага.

Из предосторожности тигрица никогда не испражняется вблизи своего гнезда, так как она по опыту знает, что другие тигры, в особенности самцы, по этим следам могут легко найти ее убежище и причинить вред детям.

Солнце пряталось уже за гребнями сопок, и из глубоких падей повеяло вечернею прохладой. Тигрица только что окончила туалет своих малышей, собираясь отдохнуть и понежится в теплых лучах заката, как до чуткого уха ее долетели сперва неясные, а затем определенные звуки, нарушавшие невозмутимую тишину тайги. В тихом шелесте листьев, в шуршании сухой травы, в звуке сломанного сучка и в звуке сорвавшегося камешка она сразу уловила что-то необычное и, комбинируя факты, получила уверенность в том, что звуки эти имеют особое происхождение. В них она ясно услышала шаги какого-то приближающегося зверя. Мгновенно вся фигура ее преобразилась, подтянулась, как бы съежилась; уши встали по направлению звука, и зрачки сузились. Одну секунду она постояла у входа в логовище неподвижно, а затем скользнула в заросли и, припав на ноги, поползла сквозь их чащу, как змея, извиваясь между стволами деревьев и торчащими камнями. Отдаленные крики сорок убедили ее, что к логовищу приближается зверь одного с ней вида, так как по собственному опыту она знала, что эти назойливые птицы преследуют своим беспокойным криком только тигров и тем выдают иногда его присутствие. Спустившись к ручейку у места водопоя, тигрица остановилась в ожидании, притаившись за выступом гранитного утеса. Звуки шагов слышались все яснее, и, по мере приближения зверя, все мускулы ее тела напряглись, играя под гладким бархатистым мехом. Подходивший зверь, очевидно, не заботился о скрытости своего движения и шел свободно, игнорируя производимые им звуки, иначе его движения не уловил бы даже изощренный слух тигрицы.

Как только фигура тигра показалась на фоне зарослей, тигрица ринулась к нему с угрожающим ревом и, замахиваясь грозными лапами, наседала на него настойчиво и упорно, не давая опомнится.

Это был огромный старый тигр, забредший в эти глухие места случайно, в поисках добычи и новых охотничьих угодий.

По величине он превосходил тигрицу раза в полтора и мог бы дать ей отпор шутя, но, тем не менее, видя перед собой самку и отчаянную ее решимость, могучий зверь не выказал ни малейшей злобы и без сопротивления попятился назад, съежился и, как бы конфузясь, поспешил поскорее удалиться, уступая поле слабейшему.

Тигр-самец понял побуждение, вынудившее тигрицу броситься на не-

го, и решил отступить, зная, что это мать, защищающая своих детей. Великий закон природы руководил обоими: в ней говорило материнство, в нем инстинкт самца – продолжателя рода.

Когда удаляющиеся шаги тигра замерли в чаще, тигрица подошла к ручью и с жадностью начала лакать холодную, как лед, воду. Утолив жажду, она тут же совершила свой вечерний туалет, пригладив своим шершавым, как щетка, языком взъерошенную шерсть.

Сороки и сойки, эти лесные сплетницы, по-прежнему не унимались, крича на весь лес, суетясь и летая над тигрицей, что ей, очевидно, не понравилось, так как она быстро юркнула в кусты и, меняя направление под защитой густых зарослей, вышла с противоположной стороны логовища.

Назойливые птицы бросились за ней, но, потеряв ее из виду, постепенно отстали, рассаживаясь на ветках старого дуба на ночлег.

Пернатые пользуются остатками пищи после трапезы зверя; опыт показал им, что настойчивость их в преследовании почти всегда венчается успехом.

Возвратясь в логовище, тигрица нашла все в порядке. Дети ее безмятежно спали, прижавшись друг к другу, от вечерней прохлады уткнувшись в бока своими тупыми розовыми носами.

Обнюхав свое сокровище и решив, что дети сыты и проснутся не скоро, тигрица осторожно, не производя ни малейшего шума, вышла из логовища и на некоторое время замерла, как изваяние, прислушиваясь к звукам леса, улавливая всякие подозрительные шумы и шорохи. Убедившись, что ничего не угрожает детям и в окрестностях спокойно, она отправилась, наконец, за добычей, чувствуя признаки нестерпимого голода.

Выйдя на ближайший узкий гребень горного отрога, она двинулась по нему, зорко всматриваясь в чащу редкого дубняка, где жируют обыкновенно кабаны.

Заметив группу толстокожих, состоящих из нескольких свиней и прошлогодних поросят, тигрица моментально прильнула к земле и начала их скрывать. Солнце уже закатилось, но на небе горела еще вечерняя заря.

С наступлением темноты свиньи располагались уже на ночлег. Мамаши со своими поросятами улеглись под стволами старых деревьев, а взрослая молодежь все еще не могла угомониться и веселилась, пользуясь отсутствием надзора старших.

Тигрица наметила себе группу расшалившихся легкомысленных юнцов и, прикрываясь мелкими дубовыми кустами, быстро приближалась.

Не прошло и четверти часа, как она была уже в нескольких шагах от животных, затаившись за стволом старого дуба. Все внимание ее, зрение и слух были сосредоточены на молодой свинке, бегавшей взапуски за своей подругой среди зарослей орешника. Хищник выжидал только удобного момента, когда беспечное животное приблизится к нему на расстояние ко-

роткого прыжка, т.е. на 6-7 метров. Легкий ветерок тянул от кабанов на тигрицу, так что специфический запах хищника не мог быть ими услышан, что, конечно, учитывалось зверем и было им точно рассчитано. Вот, наконец, в порыве шаловливой резвости молодая свинка, описав небольшой полукруг, подбежала к стволу дерева, за которым скрывалась хищница. В мгновения ока стальные мускулы задних ног ее расправились, и упорное тело всей своей тяжестью обрушилось на бедную свинку, успевшую только издать короткий пронзительный визг. Ударом могучей лапы она была сбита с ног, и в следующие мгновенья острые конические клыки колоссальной кошки вонзились в шею своей жертвы и перекусили ей шейные позвонки. Смерть наступила моментально, и тигрица, не теряя драгоценного времени, принялась с жадностью насыщаться горячим кровоточащим мясом, начиная с задних окороков животного.

Посмертный крик погибшей свинки послужил тревожным сигналом, по которому все стадо ринулось вверх по косогору, спасаясь от смертельной опасности. Не прошло и двух секунд, как шум убегающего стада замер вдали, и в тайге наступила прежняя тишина, нарушаемая только чавканьем челюстей тигрицы, хрустом ломаемых костей на гигантских зубах зверя и довольным мурлыканьем.

Около часу насыщалась тигрица. От животного остались только ноги с копытами и содержимое брюшины, остальное все поместилось в объемистом желудке хищника.

Облизываясь и напевая про себя любимую песенку, тигрица поднялась с земли, выгнула свою упругую спину, потянулась, подошла к стволу старого дуба, поднялась на задние лапы, а передними начала царапать кору дерева, как это делают обыкновенно наши домашние кошки. Глубокие продольные борозды проводили по стволу дерева острые серповидные когти хищного зверя. Голова его в это время была поднята к верху, и выражение морды изображало удовольствие: хвост вытянут параллельно земле, и самый кончик его как змея. Вонзив свои когти несколько раз в мягкую кору, тигрица отошла от дерева и замерла на одну секунду, прислушиваясь к тишине ночной, затем быстро зашагала к своему логову, где остались ее любимцы.

Тигры имеют обыкновение царапать кору деревьев в период смены когтей, когда отжившее роговое вещество заменяется новым.

Из деревьев они предпочитают породы с мягкой корой, бархат, орех, кедр и лиственницу.

XXIV. Тайга шумит

Обитатели тайги узнали, что охотник погиб в когтях Великого Вана. Все толковали об этом событии.

Местные звероловы злорадствовали и были довольны, что Великий

Ван вступился за них и мстит пришельцам за поругание священной тишины вековых лесов и за уничтожение охотничьих угодий.

Пред алтарями лесных кумирен возносились горячие молитвы Горному Духу, призывно звучал чугунный колокол в тишине лесной. Тайга шумела.

Видя разгром и уничтожение заповедных убежищ и древних, унаследованных от предков, кормовых угодий и пастбищ, четвероногие и пернатые аборигены тайги присоединились к двуногим и объявили непримиримую войну пришельцам.

Каждый по мере сил старался вредить им и не упускал случая уничтожить плоды их рук и всяческие ухищрения их ума.

Случалось нередко, что стада кабанов подрывали телеграфные столбы, валили их на землю и рвали телеграфную проволоку, тем прекращая связь главной линии с ветками.

Поля и огороды новоселов в притаежных районах подвергались нападениям многочисленных стад кабанов и медведей и уничтожались полностью, причем не помогали никакие пугала, трещотки и костры, разжигаемые по опушкам лесов.

Осенью медведи взлезали на телеграфные столбы и рвали проволоку, предполагая, что внутри столба находится пчелиный улей.

Был случай, когда медведь, выйдя на полотно железной дороги, увидел идущий на него поезд. Предполагая, что это невиданный зверь, мишка пошел ему навстречу с целью помериться силами, но, конечно, был смят, раздавлен и погиб геройской смертью.

Вертлявые бурундуки, выйдя из тайги, уничтожали посевы поселян, делая себе в тайге запасы на зиму.

Красавцы фазаны, тетерева и куропатки не отставали от грызунов и наводняли поля многочисленными стадами.

В дремучей тайге охотники нередко становились добычей хищников. Великий Ван, неограниченный повелитель тайги, является представителем этой борьбы.

На жителей поста и линии железной дороги гибель охотника Арсеньева в когтях тигра произвела огромное, ошеломляющее впечатление.

До сих пор хищники тайги избегали встречи с новым человеком, боялись его и уступали ему дорогу, удаляясь в глубину лесов. Теперь же положение изменилось.

В психологии таежных обитателей произошел перелом. Великий Ван, уничтожив пришельца, сбросил с его имени ореол непобедимости.

Шпионы сойки и сороки делали свое дело, сплетничали и кричали, ругали и клеветали, стараясь разжечь обе стороны.

Дикие песни тайги становились громче, и грозные раскаты их приближались к поселениям человека.

Солнце подымалось все выше и выше над диким Шу-Хаем, и в воздухе слышался весенний шум.

Старый Тун-Ли, закончив свои дела, собирался опять в Нингуту, к празднику Нового года.

Берестяная кошелка его, наполненная мехами и увязанная ремнями из оленьих жил, стояла снаружи у стены.

Совершив моление Горному Духу, Великому Вану и ударив в колокол три раза, он взвалил кошелку на свою старую, согнутую годами спину и подтянул ремни. Взглянув на солнце, стоявшее над лесом, он бодро зашагал по тропе, направляясь на восток, вниз по долине реки Хайлин-Хэ.

Старик спешил, чтобы к ночи добраться домой, в Нингуту. Старческие ноги его обладали юношеской силой и выносливостью и быстро несли его по набитой тропе.

Мысли таежного ветерана были далеко и летали, как быстрокрылые птицы, над могилами предков, куда давно уже стремилась душа его.

Проходя по тому месту, где он встретил несколько лет тому назад тигра, старик остановился передохнуть и сел на колоду, поставив кошелку сзади себя.

Вспоминая былую встречу, он вперил свой взор в то место тропы впереди себя, где тогда стоял хищник.

Что это, наваждение или бред старческого воображения?!

На том же месте темнеет огромная фигура тигра.

Только размеры ее как будто больше.

Зверь стоял на тропе и смотрел пристально на старого зверолова.

Жутко стало Тун-Ли от этого тяжелого, пронизывающего взгляда. По спине его пробежал холодок, и старческие руки дрогнули.

Но не дрогнуло старое, закаленное житейскими бурями сердце его.

Убедившись, что это действительность, а не галлюцинация, Тун-Ли встал как ни в чем не бывало, подтянул ремни кошелки и, опираясь на длинную палку, двинулся вперед по тропе.

Не спуская глаз с тигра, стоявшего неподвижно на прежнем месте, зверолов приближался к нему смелым, решительным шагом.

Великий Ван (это был он) стоял неподвижно, как статуя, высеченная их мрамора, и даже хвост его не шевелился, вытянувшись как струна.

Взгляды человека и зверя встретились. Расстояние сокращалось.

Не допустив до себя Тун-Ли ближе чем на двадцать шагов, Ван медленно сошел с тропы и, грузно шагая по глубокому снегу, исчез в ближайших зарослях.

Человек и зверь поняли друг друга.

В памяти воскрес образ старого зверолова Тун-Ли, и впечатление это осталось навсегда.

Решительность и уверенность движений, несокрушимая воля, све-

тившаяся в его взоре, импонировали царю тайги, и он пощадил старого ветерана, как и тогда, уступив ему дорогу.

Прошли звериные ночи, и Вана потянуло в родные места, в район Татудинзы.

Полный воспоминаний далекого прошлого из времен своего нежного беззаботного детства, он находился под очарованием этих сладостных грез, и картины былого как живые вставали перед ним.

Желая увидеть знакомые места, он обошел всю Татудинзу.

Побывал во всех ее пещерах, на старых лежках и в логовищах, и какое-то неиспытанное чувство закрадывалось в его закаленное, ожесточенное борьбой за существование сердце.

Он поселился в пещере, где родился и где протекали первые дни его жизни.

Все здесь оставалось по-старому, и ничто не изменилось за эти пятнадцать лет. Только как будто уменьшились размеры логовища, и огромное тело его едва помещалось под низкими каменными сводами.

Здесь, в районе Татудинзы и верховьев Хайлин-Хэ, ведя уединенный образ жизни, он остался на продолжительное время.

Летом, в жаркие душные ночи, он с наслаждением купался в холодных струях Хайлин-Хэ, ложился поперек реки, и быстрое течение несло его вниз, пока встречные камни и пороги не подхватывали грузное тело и бурные волны не выкидывали его на низкий берег.

С годами Ван стал разборчив в пище, и его не удовлетворял однообразный стол, состоящий из мяса кабанов и коз. Он искал разнообразия как истый гастроном, стараясь раздобыть лакомые и пикантные блюда среди представителей самых разнообразных отрядов животного царства.

Так, он с увлечением, достойным иного применения, просиживал на берегу реки, подкарауливал быструю форель и жирную таймень, подхватывая их лапой и выбрасывая на берег.

Неуклюжие черепахи, греющиеся под лучами горячего солнца в прибрежном песке, также становились его добычей.

Жирные, отъевшиеся на бобовых полях, фазаны не были гарантированы от его когтей. Выслеживая их на лежках, он сгонял птицу, которая спасалась от него бегством; хищник, делая большой круг, заходил ей навстречу, и фазан взлетал; не давая ему набрать высоту, поднявшись на задние лапы, тигр хватал когтями птицу на лету.

Время летело незаметно. Промелькнули своей неизменной чередой лето и осень.

В середине октября выпал снег, и зимоспящие обитатели тайги спешили занять свои зимние квартиры.

Опоздавшие с этим делом медведи бродили по лесам, осматривая берлоги, и брали те, которые попадутся, так как разбирать было некогда.

Ван, увидев однажды на снегу свежие следы молодого медведя, пошел его скрадывать, но хитрый мишка, подозревая недоброе, решил залечь в берлогу в дупле ближайшего тополя, но чтобы не дать туда следа, повернулся задом и задом же пошел к тополю, предварительно спутав свои следы петлями.

Хищник, идя по горячим следам мишки, остановился в недоумении, видя его обратный след. Пока он распутал все его мудреные петли и догадался, что простачок, таежный увалень его перехитрил, добыча ушла от него в безопасное убежище и спокойно улеглась в своей квартире, расположенной в бельэтаже векового тополя.

По следам хищник дошел до самого дерева. Мишка услышал его шаги и высунул из дупла свою лобастую голову.

Что сказал тогда Вану таежный комик Топтыгин, осталось тайной между ними, так как случайно не было никаких свидетелей, а лесные кумушки отсутствовали. Тайга тихо шумела, напевая свою печальную осеннюю песню.

Печатается по: Байков Н.А. Великий Ван: Повесть; Черный капитан: Роман. Владивосток, 2009. С. 59-64, 168-173.

ХУНХУЗЫ

Глухая ночь. По едва заметной звероной тропе пробираются два охотника. Темный дремучий кедровник шумит. Стонут вершины могучих великанов. Холодный северный ветер качает ими, с ревом проносясь над землей, застывшей под леденящим его дыханием. Старая угрюмая тайга рокочет, напевая свою грозную величавую песню.

– Где же фанза? – произнес один из охотников, обернувшись к своему товарищу.

– Должно быть близко! Вот пройдем немного, и за поворотом будет фанза, – отвечал другой, рассматривая со спичкой свежие следы китайских ул на тропе.

Пошли, но фанзы все нет; тропа вьется по берегу горной речки, то взбегая на крутые, обрывистые скаты, то спускаясь на лед.

Прошло около часу. Изредка перекидываясь словами, шли не спеша охотники и остановились у раздвоения тропы.

Куда идти? Вправо или влево? Поговорили и условились идти по двум направлениям: один пошел влево, по течению реки, другой вправо, по косогору сопки. За охотниками шли две собаки белой масти, типа гольдских лаек. Постояв в нерешительности на распутье, они стремглав пустились вдогонку за охотником, свернувшим влево. Жутко одному в

темную беспросветную ночь пробираться по зверовой тропе в девственной тайге Маньчжурии. Стараешься беззвучно ступать мягкими подошвами суконных сапог, часто останавливаешься и прислушиваешься к звукам и голосам таинственных лесных дебрей. Хрустнет ли валежник под неведомой стопой, прокричат ли таежный зверь и птица, зашумит ли ветер в сухой листве прибрежных зарослей, внимательнее всматриваешься в темноту, напрягая до крайности зрение и слух. Постоишь, послушаешь, затаив дыхание, и опять зашагаешь по тропе, перелезая через камни и гигантские стволы упавших местных великанов.

Собаки идут сзади; они так же, как и человек, чувствуют свою беспомощность в ночной тьме и чутко прислушиваются ко всему, что улавливает их изощренное ухо. Тонкое обоняние их, реагируя на малейшие запахи, предупреждает об опасности своевременно и на большом расстоянии. Их не слышно; они останавливаются вместе с хозяином и сознательно подражают ему, понимая все его действия.

Где-то вдалеке прокричал филин, ему отозвался другой в вершине темного кедра.

Тропа, шедшая по косогору, спустилась к речке. Пройдя по берегу еще верст пять, охотник остановился в нерешительности. До фанзы было далеко; усталость валила с ног; надо было подумать о ночлеге.

Выбор места для ночлега в морозную ночь не так прост и легок, как это кажется новичку и непосвященному в тайны таежной жизни.

Прежде всего надо обезопасить себя от взоров и внезапного нападения, для этого необходимо отойти от тропы на такое расстояние, чтобы огонь костра не бы заметен; но этого мало, надо, чтобы дым от костра не тянул на тропу, иначе по запаху гари привал будет обнаружен.

Такое место найдено в двух верстах от тропы, у таежного ключика, журчащего среди камней под тонкою корою льда.

Найдя уютное местечко под старым кедром и очистив его от снега, охотник разложил костер, для чего пришлось воспользоваться сухостоем и смоляными щепками упавшей лиственницы.

Вскоре приветливый огонек запылал в чаще и закипел медный котелок с ароматными пельменями.

От времени до времени охотник уходил в сторону от костра, прислушиваясь привычным ухом к музыке леса. Собаки настораживались и, отойдя в другую сторону, застывали в позах напряженного внимания. Умные животные отлично уясняли себе обстановку, сливаясь в одно целое с человеком.

Но вот они что-то начуяли, и черные влажные носы их обратились в одну сторону, втягивая в себя морозный воздух. Острые пушистые уши их, как радиоприемники, уставились в одном направлении. Вся фигура их говорила о высшей степени напряжения и переживания впечатлений.

В таком положении они находились довольно долго, пока не уяснили себе в точности происхождения звуков и запахов. Тогда только они отошли к костру и, стараясь обратить внимание хозяина, поджав хвосты, сподняв-шейся на загривке шерстью, стали жаться поближе к ногам человека, как будто ища у него защиты.

По поведению собак охотник сразу сообразил, что к становищу по-дошел тигр, так как всякого другого зверя собаки не испугались бы.

Надо было принять необходимые меры предосторожности.

Навалив в костер побольше валежнику и увеличив площадь огня, та-ежник на некоторое время застраховал себя от нападения хищника; но впереди была еще целая ночь, и заготовленных дров могло не хватить. Во-лей-неволей пришлось отойти от костра на значительное расстояние, для сбора сухостоя и дров. В это время были ясно слышны осторожные мягкие шаги зверя по мерзлому снегу и его сдержанное ворчанье, подобное клоко-танью воды в бочке. По временам в темноте светились его круглые глаза, как два фонаря, и затем снова быстро исчезали. Хищника привлекали главным образом собаки, которые это чувствовали инстинктивно и искали спасения у огня, зная, что эта стихия одна может служить надежной защи-той.

О сне уже нечего было и думать, но усталость брала свое, и, лежа на мягкой подстилке из еловых лап, охотник дремал, не выпуская из рук ка-рабина. Собаки пристроились тут же у огня и, свернувшись калачиком, лежали с открытыми глазами, все время поводя ушами в сторону каждого подозрительного шума.

Как только угасал огонь и надвигалась зловещая темнота, собаки на-стораживались и в беспокойстве поднимали головы, прислушиваясь к шу-му лесных дебрей; тогда просыпался усталый охотник и подбрасывал дро-ва в потухавший костер. Огонь разгорался с новой силой; пламя подыма-лось к темным ветвям старого кедра; каскады искр неслись в вышину, и враждебная тьма отступала в недра дремучего леса.

Хищник всю ночь бродил вокруг становища, рассчитывая на оплош-ность человека и в чаянии внезапным нападением добыть собак, но спаси-тельный костер горел ярким пламенем, удерживая голодного зверя на поч-тительном расстоянии.

Свою досаду и нетерпенье он выражал в сдержанном ворчаньи, кото-рое иногда переходило в грозное рыканье, приводившее собак в трепет и панический ужас, они тогда лезли в самый огонь, и шерсть на их боках шипела, обугливаясь и распространяя удушливый запах.

Владыка тайги предъявлял свои права, но великая стихия огня была враждебна ему, и перед ней он был бессилен.

Это был канун Нового года. Декабрьская ночь, казалось, будет беско-нечна. Только перед самым рассветом, когда на востоке зажглась утренняя

заря и в небесной вышине начали меркнуть звезды, хищник удалился в горные хребты, откуда, постепенно ослабевая, доносился его грозный голос. Почуяв отступление своего врага, собаки успокоились и улеглись поудобнее в снег, предварительно потоптавшись на одном месте. Теперь уши их бездействовали и были прижаты к голове, пушистые хвосты закрывали нос. Их хозяин также прикорнул у костра, и крепкий, но чуткий сон овладел всем становищем.

Костер потухал, еле мерцая в сумерках наступавшего дня.

Солнце довольно высоко поднялось над лесом, когда бивак зашевелился и охотник, напившись чаю и покормив собак мерзлым мясом, собрался в дальнейший путь. Осмотрев следы хищника, бродившего вокруг становища, он направился в сторону от тропы на перевал, предполагая выйти напрямик к фанзе, где должен был заночевать его товарищ.

Подъем на перевал был очень крут и усеян каменными россыпями. Только к полудню охотник достиг седловины хребта, где по самому гребню извивалась среди каменных глыб и зарослей аралий битая тропа с ясными следами зверей.

Это была так называемая «звериная тропа», по которой таежный зверь совершает передвижение, избегая глубоких падей, где снег лежит глубокими сугробами.

Здесь собаки насторожились и, почуяв подозрительные запахи, втягивали воздух влажными носами. Постояв на месте и делая свое заключение об источниках этих запахов, они стремглав понеслись по тропе и исчезли в зарослях аралий. Охотник, выйдя на тропу, остановился в ожидании результатов разведки своих четвероногих помощников.

Ждать пришлось недолго. Вскоре послышался дружный лай собак, и охотник, взяв наизготовку карабин, последовал за ними.

Какого же было его удивление, когда он, выйдя на гребень седловины, увидел своего товарища привязанного к дереву! Собаки прыгали вокруг него и, выражая свою радость, лаяли, стараясь лизнуть его в лицо.

Когда связанный был освобожден, тогда только он пришел в себя, и к нему возвратилась способность речи.

Вот что рассказал он, когда приятели после радостной встречи сидели у костра в глубине пади и «баловались» чайком с сухарями.

– После того, как мы разошлись, – говорил он, – я направился вправо по тропе, которая, перевалив через высокий хребет, спускалась в глубокое ущелье. Я знал, что фанза близко и шел уверенно вперед. И, действительно, через полчаса показался в темноте огонек. Перейдя через ручей, я стал подниматься на крутой берег к фанзе. Мой шаги были услышаны, и из фанзы мне навстречу вышло человек пять китайцев с винтовками в руках. Это были хунхузы. Отняв от меня карабин и нож, висевший на поясе под полушубком, они втолкнули меня в фанзу, где на канах сидело еще чело-

век десять полуголых китайцев. Я понял тогда, что попался в лапы Корявого, самого жестокого и дикого предводителя хунхузских шаек.

Корявый лежал на канах и курил опиум. Его желтое скуластое лицо, изрытое оспой, имело зверское выражение и не предвещало ничего хорошего. Увидев меня, он перестал курить и, смерив мою фигуру долгим испытующим взглядом, сказал по-китайски:

– Это тот русский охотник, который выдал наших китайским властям в прошлом году. Пощады ему не будет! Теперь звериная ночь, и Великому Вану нужна человеческая жертва. Отведите его на перевал Лао-Сун-Лин и там привяжите к дереву. Если Ван пощадит его, – значит так угодно Всевышнему! Если нет, то справедливый суд совершится! Я сказал. Идите!

Сказав это, он снова лег на циновку и, не обращая ни на кого внимания, занялся курением.

Четверо здоровенных хунхузов, поговорив между собой и связав мне руки крепкой веревкой, вышли из фанзы. Затем, приказав мне следовать за собой, двинулись по тропе, вверх по косогору на хребет. Передний хунхуз освещал путь смоляной лучиной, которая горела, как факел, бросая красноватые лучи в чащу леса.

Шли мы довольно долго, вероятно часа полтора, причем, не доходя до перевала версты две, свернули в сторону и, выйдя на тигровую дорогу, быстро достигли седловины. Здесь меня поставили спиной к старому кедру и, закинув руки назад, привязали, туго закрутив узлы веревок. Ноги мои были свободны, но я не мог сойти с места и должен был стоять в ожидании прихода Великого Вана, судьи и палача.

Сделав свое дело, хунхузы ушли, пожелав мне на прощанье «доброй ночи».

Таким образом, я остался один на высоком горном перевале. Со всех сторон смотрела на меня темная дремучая тайга. Вверху, над горными хребтами, сияло звездное небо. Мороз был сильный, но я не ощущал холода, так как находился в возбужденном состоянии, стараясь освободиться от веревок, крепко притянувших мои руки к стволу дерева.

Но, не смотря на все мои усилия, я не мог ослабить веревочных петель! Проклятые хунхузы стянули их «мертвыми узлами».

Положение мое было безнадежно! Я усердно молился Богу, прося его избавить меня от мучительной смерти в когтях хищника! Почему-то я был уверен, что молитва моя будет услышана!

Всматриваясь в темную чащу леса, я видел там горящие глаза кровожадных зверей и их полосатые могучие фигуры! Но это было только в моем воображении! Недра тайги были по-прежнему безмолвны и непроницаемы для взора.

Я чувствовал, что рассудок мой начинает мутиться при одном представлении появления тигра и мучительной смерти от удара его ужасных

лап и зубов! Я знал, что по этой тропе каждую ночь ходит старый хищник, и просил Бога отклонить его путь в другую сторону.

Как прошла эта кошмарная ночь, я плохо помню, но, когда на востоке загорелась заря, я воспрянул духом, и у меня появилась надежда на спасение! Откуда оно должно было прийти, я не знал, но вера эта с увеличением света и нарастанием дня все увеличивалась.

Когда я увидел первый солнечный луч, пробившийся сквозь темную чащу хвои, я понял, что Бог услышал мою молитву и спас меня. Теперь, при свете дня, я с новой энергией начал освобождаться от веревок и освободился бы, если бы ты не пришел сюда.

Я уверен, что твой путь на перевал указан был тебе свыше, иначе я не могу объяснить своего спасения. Видно, мне не судьба погибать в когтях тигра!

Так описывал мне свои кошмарные переживания мой товарищ по охоте, но, когда я рассказал ему свою ночевку у костра в ближайшем соседстве с хищником, он воскликнул, сделав крестное знамение:

- Да! Теперь я вижу, что меня спас сам Бог! Он отвел тигра, шедшего на перевал! Если бы не это, он растерзал бы меня, как кот мышонка!

Я вполне разделял его мнение, еще более убеждаясь в проявлении воли Всевышнего и в неизбежности судьбы.

Всматриваясь в своего собеседника, я был поражен происшедшей с ним переменой: вся голова его с пышной раньше шевелюрой темно-каштановых волос была белой! Он поседел в одну ночь! Черты лица его как будто также изменились; морщины на лице, в углах рта стали глубже, нос заострился, и в глазах появилось какое-то скорбное выражение.

Только сильные душевные переживания и нравственное потрясение могли произвести такую небывалую метаморфозу во внешности человека! Впоследствии я заметил перемену и в его характере: из веселого жизнерадостного юноши он стал угрюмым нелюдимым человеком.

Этот жизненный эпизод, перевернувший всю его психику, оказал влияние на всю его жизнь: он навсегда отказался от охоты, хотя природу любил по-прежнему, до обожания.

Посидев еще немного у костра, мы двинулись по компасу к северо-востоку, на линию КВжд, избегая троп и звероловных фанз, где могли снова встретиться с шайками хунхузов Корявого.

Через два дня скитаний по тайге мы вышли на станцию Ханьдаохецзы, где по моему указанию была сформирована из заамурцев команда разведчиков, под начальством известного охотника и стрелка, поручика Альбова, получившего задание во чтобы то ни стало уничтожить шайку Корявого.

Команда его состояла из двадцати надежных солдат, с которыми поручик Альбов и отправился к югу от Ханьдаохецзы в дремучие кедровники

Мотяньлина, где хунхузы находили надежное убежище.

Задача была нелегкая, так как шайка Корявого состояла из ста человек, прекрасно вооруженных и знакомых с местностью, но благодаря находчивости и смелости заамурцев шайка была ликвидирована.

Головы Корявого и шести его помощников были принесены заамурцами на станцию Ханьдаохецзы и по приказанию китайских властей вывешены на частоколе у китайского поселка для устрашения других хунхузов, скрывавшихся среди мирного населения.

Эти трофеи долго еще висели на столбах частокола, пугая своим видом мирных обывателей станции.

Огромная скуластая голова Корявого повешена была выше всех. Открытые глаза ее, с желтыми белками, смотрели мертвым взглядом на далекие лесистые горы, и, казалось, веки их шевелились, но это был обман зрения: большие зеленые мухи под лучами весеннего солнца оживились и летали роями над частоколом, садясь на глаза и оскаленные рты хунхузских голов. Длинные черные косы их, блестя на солнце, извивались, как змеи, в палках частокола, и налетавший ветер развевал космы волос, шурша желтой листвой, сохранившейся в ветвях изгороди.

У некоторых голов глаза были выклеваны воронами, и они производили еще более страшное впечатление своей дикой уродливостью.

Сбоку на шесте, у самой дороги виднелась доска с китайскими иероглифами, гласившими следующее:

«Здесь находятся головы семи разбойников, убитых с оружием в руках, среди них голова главного вождя Корявого, который не подчинился закону, за что и понес заслуженную кару. Так будет со всяким, нарушившим справедливые законы Китайской Империи».

Русские, проходя мимо этого лобного места, смотрели с любопытством и отвращением на головы хунхузов и про себя говорили: «Собаке собачья смерть!» Китайцы читали надпись и, созерцая окровавленные головы своих соотечественников, глубоко вздыхали и молча продолжали путь.

Печатается по: Байков Н. У костра. Таньцзин, 1939. С. 35-45.

ЛАНЦЕПУПЫ

Полстолетия тому назад Восточная Сибирь представляла собой действительно «Далекую окраину» или «Дальний Восток», как ее обыкновенно называли российские обыватели. Чтобы добраться до ее крайних восточных пределов, то есть до берегов Тихого океана, надо было «скакать» десять тысяч верст через всю Сибирь или «болтаться» по «морю-океану» сорок дней и сорок ночей! Обыкновенно тех, кто решался ехать в эти «гиб-

лые места», провожали, как на тот свет! И недаром, так как люди, забравшиеся на Дальний Восток, почти никогда не возвращались к себе на родину и, постепенно теряя с ней связь, становились «камчадалами», то есть людьми со своей особенной психологией и мировоззрением.

Эта оторванность от родины, суровые условия жизни в диком безлюдном крае, отсутствие культурных интересов и сравнительная материальная обеспеченность выработали особый тип дальневосточной интеллигенции, отличавшейся от коренной российской своим широким размахом, деловитостью, энергией и предприимчивостью, но в то же время бесшабашным легкомыслием, самодурством и беспечностью.

Служилый элемент, хорошо обеспеченный материально и не угнетаемый исполнением своих обязанностей, в большинстве случаев не знал, куда девать свободное время. Культурных развлечений, библиотек и научно-просветительных учреждений в то время здесь не было вовсе, но зато в изобилии представлены были кафэ-шантаны, кабачки и различные игорные притоны, поэтому ничего нет удивительного, что многие здесь опускались окончательно, спивались и влачили жалкое существование.

На этой почве возник здесь знаменитый «орден ланцепупов» или общество людей, поставивших себе целью, за отсутствием каких бы то ни было культурных интересов, сильные ощущения.

Члены этого необычайного общества давали клятву подчиняться выработанному уставу под страхом жестокой кары, а также хранить тайну деятельности и собраний ланцепупов. В члены общества принимали с большим ограничением и разбором только людей вполне надежных, выдержавших целый ряд предварительных испытаний.

Само собой разумеется, главным двигателем и возбудителем энергии у ланцепупов была водка, спирт, коньяк и вообще крепкие напитки, под влиянием которых совершались такие дела, от которых трезвый благоразумный человек мог прийти в ужас. Но надо отдать справедливость господам ланцепупам, все деяния их, по существу, не имели в себе ничего преступного, безнравственного и противообщественного. Они не задевали ничьих интересов и не причиняли никому зла.

Власть предержащая смотрела на них сквозь пальцы, так как в ланцепупах состояли иногда люди «с весом» и с положением.

С течением времени, когда связь с Россией была налажена постройкой Сибирского Великого пути и КВжд, когда край приобщился к культуре и просвещению, когда появились здесь другие люди с иными взглядами, идеями и мировоззрением, ланцепупы начали вырождаться, сокращать свою деятельность и, в конце концов, исчезли совершенно, оставив по себе легендарную память в виде трагикомических персонажей далекого прошлого.

Любители сильных ощущений и искатели приключений, ланцепупы

пользовались благосклонной снисходительностью общества и до известной степени покровительством сильных мира сего, в силу чего все их причуды и экстравагантные выходки сходили им с рук и были даже предметом восхищения скучающей окраинной интеллигенции.

В своем искании сильных эмоций и душевных переживаний они были чрезвычайно изобретательны и всегда находили способы и случаи испытать свою смелость, доходящую до безумия, выдержку и хладнокровие даже там, где предприятие сопровождалось смертельным риском.

Психологически это явление можно объяснить избытком потенциальной духовной и физической энергии, а также отсутствием культурного развития большей части нашей дальневосточной бюрократии, поле деятельности которой в диком малоисследованном крае могло быть огромно и даже безгранично.

Азартная игра в карты, беспробудное пьянство, кутежи и опасная охота по крупному зверю не удовлетворяли вкусов и желаний ланцепупов: они искали более сильных ощущений, связанных с риском для жизни.

Излюбленным развлечением у ланцепупов была «игра в кукушку», она состояла в том, что играющие запирались в большую комнату с заряженными револьверами в руках; тушился свет; по очереди один из играющих кричал кукушкой, тогда все остальные стреляли на голос; открывался свет и проверялись результаты выстрелов.

Само собой разумеется, все играющие были без обуви, чтобы не было слышно шагов; играющий, крикнув кукушкой, моментально бросался в сторону или на пол, иначе ему грозил расстрел. Игра продолжалась до тех пор, пока все присутствующие не прокричат «куку».

Справедливость требует упомянуть, что пьяные в игру не допускались, как и во всех выступлениях ланцепупов.

Игра в «Звездочку» состояла в том, что участвующие садились на пол, ногами друг к другу и головами врозь, посредине ставилось ведро с водкой. Играющие кружками черпали водку и пили до тех пор, пока, потеряв сознание, не откидывались назад, то есть на спину. Кто ложился последним, тот выигрывал банк. В конечном результате, под конец игры, играющие располагались на полу в виде звезды.

Игра в «Тигра» в общем напоминала игру в «Кукушку», с тою разницей, что очередной не кричал «куку», а бегал среди играющих, которые стреляли в него, по звуку его шагов. Эта игра считалась наиболее опасной и рискованной, так как роковую пулю мог получить не только «тигр», но и любой из «охотников».

Не менее опасной была игра в «Рыбку». Играющие выезжали на шлюпке в море, взяв с собой ведро водки или коньяку. Пили до тех пор, пока играющие не ложились на дно лодки. Все искусство заключалось в том, чтобы не упасть за борт в пьяном виде. Шлюпка с «мертвым» грузом

носилась по волнам, пока не прибивало ее к ближайшему берегу. Случалось, что ее уносило в море и тогда погибали все играющие.

Летом ланцепупы устраивали пикники в тайгу, которая подходила тогда к самому Владивостоку. Здесь, на лоне природы, они придумали оригинальную игру в «Хунхуза». Играющие разделялись на две партии и расходились в тайге шагов на пятьдесят-сто. Посредине между ними на пне дерева ставился банк, то есть коробка с деньгами.

По свистку играющие шли к банку с целью его захватить. Стрелять разрешалось только один раз на шорох, так как игра производилась ночью в глухой чаще. Игрок, захвативший банк, делил его между членами своей группы.

Изобретательность ланцепупов была неистощима, так что перечислить все их «игры» нет никакой возможности. Достаточно и приведенных, чтобы составить себе понятие о «невинных» развлечениях доблестных россиян, заброшенных судьбой на пустынные берега Тихого океана. У моего почтенного читателя, вероятно, явится недоуменный вопрос: сколько же убитых и раненых оставили после себя храбрые ланцепупы?

На это могут ответить только они сами, так как в свои тайны они никого из посторонних не посвящали, и начальство смотрело на все их проделки «сквозь пальцы». Лично я не вижу в этом ничего преступного и предосудительного. Как ни странно, но в этом выражались широта натуры, удаль и самобытность русского человека.

Печатается по: Байков Н. У костра. Таньцзин, 1939. С. 46-50.

КОНТРАБАНДИСТЫ

В первые годы советовластия в Уссурийском крае граница не охранялась так строго, как впоследствии, и ее можно было перейти в любом месте, даже в непосредственной близости от постов погранстражи, которая смотрела сквозь пальцы на перебежчиков и даже в большинстве случаев помогала им, извлекая из этого значительный доход деньгами или натурой.

Это обстоятельство способствовало развитию контрабанды, которой в то время занимались не только профессионалы, местные жители приграничной полосы, но и люди интеллигентные, выкинутые за борты отечественного корабля, захлестнутого волной нашей «бескровной» революции. Не имея никаких средств к существованию и никаких возможностей заработать себе на кусок хлеба, эти люди, в силу необходимости, должны были заняться таким «предосудительным» делом как контрабанда, рискуя не только потерять «доброе имя», но и самую жизнь.

Контрабандный товар доставлялся из больших городов Маньчжурии

к советской границе, а оттуда переносился на руках или вьючным способом в Никольск, Барабаш, Новокиевское и Посьет для дальнейшей переотправки во Владивосток, где находились главные склады контрабанды.

Само собой разумеется, ремесло это, сопряженное с большим риском, давало значительный доход контрабандистам, но редкому из них удавалось «поработать» более одного года, так как большая часть погибала от пуль своих же коллег или хунхузов и, в лучшем случае, бросала это дело вследствие полученных ран или болезней.

Наиболее выгодным товаром считался спирт, для переноски которого употреблялись особые жестяные сосуды, укреплявшиеся на спине.

Вес и количество переносимой контрабанды всецело зависели от выносливости и физических сил контрабандистов. В исключительных случаях этот груз достигал веса в 3 или 4 пуда! То есть предельного веса вьюка для лошади!

Среди контрабандистов встречались и женщины, но мужской костюм, скрадывая женскую фигуру, уничтожал разницу.

Почти вся приграничная полоса от Кореи до озера Ханка покрыта дремучей непроходимой тайгой, не имеющей никаких путей сообщения, кроме редких и едва заметных в зарослях тропинок, проложенных самими контрабандистами, хунхузами или зверями.

Под покровом лесных дебрей контрабандисты совершали свою «работу» партиями или артелями, двигаясь по тропам «гуськом», причем впереди шли дозорные на случай засады или внезапного нападения. Все они были вооружены револьверами и винтовками и имели при себе карманные электрические фонари. Артель обычно состояла из 10-15 человек и была подчинена своему выборному «атаману», власть которого распространялась только на время «работы». В смысле коммерческом каждый работал сам для себя, на свой страх и риск. Организация артелей вызывалась только необходимостью общественной солидарности на случай обороны при нападении.

Мой приятель В.В. Троицкий, занимавшийся одно время контрабандой в Приморье, рассказывал мне много интересных и захватывающих эпизодов из своей богатой приключениями жизни. Между прочим он передал мне один эпизод, запечатлевшийся в моей памяти.

Это было осенью 1922 г. Испробовав все возможности и способы заработать себе на хлеб во Владивостоке, мы с Недомерковым решили заняться контрабандой, для чего необходимо было приобрести знакомство в среде контрабандистов, купцов и местной приграничной администрации. Когда все это было устроено, мы примкнули к одной артели, состоявшей исключительно из интеллигенции; нашими компаньонами по «работе» были: учителя, офицеры, адвокаты, приказчики магазина, чиновники, музыканты, купцы и один парикмахер. Во главе всей этой «теплой» компании стоял

старый таежник-зверобой из-под Никольска Никита Мороз. Он взялся провести нас до границы и оттуда назад звериными тропами к Барабашу, где был главный приемный пункт контрабанды.

Мы с Недомерковым взялись за спирт, который должны были нести от границы до Барабаша на расстоянии 60 верст, причем половину пути надо было идти лесом.

Большая часть членов нашей артели, конечно, не были подготовлены к совершению трудных переходов по горам и по тайге, и уже на полпути многие совершенно выбились из сил, изорвали обувь, искалечили ноги и расписались в своей неподготовленности. В особенно отчаянном состоянии оказался парикмахер и приказчики. После первой же ночевки в тайге они заявили, что дальше не пойдут и вернутся во Владивосток. Мы их не удерживали, и они с понурым видом и почти босиком отправились восвояси. Нас осталось десять человек, решивших во что бы то ни стало дойти до границы. Мы шли налегке, неся на себе только продукты и оружие, и то с непривычки многие страдали, проклиная свою судьбу. Недомерков шел молча и пыхтел, как паровоз, расправляя свои богатырские плечи и вдыхая полной грудью ароматный смолистый воздух темного кедровника, в который мы вступили, не доходя 25 верст до границы. Мы двигались без всяких мер охранения, так как нападать на нас никто не собирался.

Всю дорогу и во время привалов нас развлекал своей веселостью и неистощимым юмором адвокат К. Его анекдоты и остроумные шутки заставляли хохотать даже угрюмых и неисправимых пессимистов, не говоря уже об остальной братии, которая покатывалась со смеху. Даже молчаливый наш проводник «Дедушка Мороз», как мы его называли, улыбался себе в бороду, дымя трубкой-носогрейкой.

От его шуток, всегда невинных, доставалось каждому из нас, особенно пузатому тромбонисту, еле поспевавшему за нами на своих коротких кривых ножках. Но никто из нас не сердился на весельчака, так как он разгонял нашу грусть-тоску и невеселые мысли.

На второй день, к вечеру, дошли мы до границы без всяких приключений. Здесь переночевали на высоком горном перевале у китайской кумирни и утром, чуть свет, спустились на маньчжурскую сторону, в глубокую падь, где стояла большая фанза со складами всевозможных контрабандных товаров. Здесь состоялась сделка, и мы нагрузились. Кто взял себе шелковые материи, кто галантерею, кто парфюмерию, кто табачные изделия, а мы с Недомерковым навьючили на себя бидоны со спиртом.

Я взял себе один бидон весом около пуда, и этот вес казался мне предельным для моих сил. Недомерков же, смеясь над моим бессилием, и вызывая удивление всей артели, нагрузил на себя четыре бидона весом около 3-х пудов.

Зная выносливость и исключительную силу своего приятеля, я не

удивлялся, но китайцы были поражены силой русского и выражали сомнение в его выносливости.

Плотно позавтракав и напившись чаю, мы двинулись в обратный путь через границу. Проходя мимо пограничного каменного столба, мы задержались на полчаса, отдав положенную дань погранохране натурой, после чего беспрепятственно пошли дальше на восток, углубляясь все более и более в кедровник, который принял нас в свои темные недра и шумел над нами, качая вершинами своих старых великанов.

С непривычки нести пудовую ношу довольно трудно, и я чувствовал, что она давит на мою спину и гнет меня к земле. Я изнывал, но самолюбие не позволяло сознаться в слабости, и я шел через силу, напрягая волю и все свои ресурсы. В конце концов я свыкся со своей ношей и кое-как дотащил ее до привала. Недомерков согнулся под тяжестью груза и шагал впереди меня, как верблюд; на его лице не видно было большого напряжения, но все жилы на его бычачьей шее надулись, как веревки. Видно было, что всем тяжело, так как у всякого груз был предельный по тяжести. Музыкант Аполлонов, сверх всякого ожидания, нес на себе огромный тюк с галантереей и парфюмерией; получилось впечатление, что двигается один тюк на коротких ножках. Он буквально обливался потом, и его рачьи глаза готовы были выскочить из орбит от напряжения; но он не унывал, рассчитывая на хороший «бизнес». На все шутки юриста он отвечал куплетами из опереток и гримасами, которые приводили всех в веселое настроение.

Первый привал в тайге был довольно продолжительный, так как многие изорвали вдребезги свою обувь и до крови натерли плечи и спины от непривычки таскать тяжести. Пришлось починяться и приводить в порядок израненное и помятое тело. Здесь же на привале подошла к нам другая партия, шедшая к границе. Среди ее членов оказались общие знакомые из Владивостока. Пошли разговоры, угощение табаком и папиросами и непременное чаепитие у костра. «Будьте осторожны! – говорили прибывшие. – В Чертовой Балке засели подозрительные личности! Они вооружены винтовками и намерения у них самые определенные! Назад мы пойдем другой дорогой, чтобы миновать Чертову Балку. Хотя она и длиннее, но безопаснее».

Это известие немного нас смутило, так как мы не знали сил врага и не были уверены в своем превосходстве. Мнения разделились. Решили поставить вопрос на голосование, то есть идти через Балку, или кружным путем целиной. Долго спорили и рядили и наконец, по большинству голосов, решили идти через Балку. Мы с Недомерковым были за это решение и на нашу сторону стали все офицеры, юрист и даже комик-музыкант.

Проверив оружие и патроны и поручив командование отрядом одному из офицеров генерального штаба, мы двинулись дальше по тропе с соблюдением всех тактических приемов походного движения в горном де-

филе.

Был выслан вперед дозор из двух человек под командой старого таежника Дедушки Мороза.

Мы продвигались очень медленно благодаря нашей нагруженности. Приходилось часто делать привалы для передышки и отдыха.

К Чертовой Балке мы подошли вечером, когда солнце уже скрылось за зубчатыми гребнями лесистых гор и тайга погрузилась в мрак. Решено было на «военном совете» заночевать на большой поляне, чтобы иметь кругозор на случай обороны. В сторону предполагаемого «неприятеля» выставили секреты.

До Чертовой Балки было не более пяти верст, и мы решили пройти ее под покровом ночной темноты, которая являлась нашей союзницей, так как при дневном свете нас всех могли бы перебить, как куропаток.

В эту ночь, конечно, никто не спал. Сидя вокруг костра, мы вели тихие беседы и прислушивались к неумолчному шуму тайги и реву изюбрей, оглашавших горы и леса своими зычными голосами.

Наш почтенный адвокат даже в виду предстоящей опасности столкновения с «таежными волками» не изменял себе и сыпал своими анекдотами и прибаутками как из мешка. Несмотря на протесты более «мрачных пассажиров», мы его поощряли, так как он поддерживал в нас бодрость и прогонял прочь уныние и пессимизм. Один только музыкант Аполлонов ни на что не обращал внимание и, беспечно развалясь около весело трещавшего костра, спал богатырским сном, и храпел во все «носовые завертки». Его спокойствию можно было позавидовать! Даже Дедушка Мороз, смотря на его безмятежную сонную улыбку, говорил:

– Ну и барин! Видно, душенька его чиста, как голубь! Не боится смерти, которая, может быть, смотрит нам в глаза!

Ночь приближалась к концу. Предрассветный ветерок потянул из Чертовой Балки холодом и сыростью. Изюбри перестали кричать.

Навьючив на себя поклажу и повинуясь выборному «атаману», имея наготове оружие, мы двинулись в ночную темноту, спускаясь по тропе в глубокое горное ущелье, именуемое Чертовой Балкой.

На душе у каждого из нас было неспокойно. Было сознание неизбежности смертельной борьбы с жестоким беспощадным врагом. Тяжелый груз, давивший наши плечи, еще более удручал нас, стесняя движения и свободу действий.

Мы шли ощупью, не видя ничего перед собой и чувствуя направление только по звуку шагов впереди идущего человека.

Спуск остался позади, и мы вошли в узкое горное дефиле, заросшее старым дремучим лесом. Где-то вблизи журчал ручей и в вершинах кедров перекликались филины.

Вдруг среди этой торжественной тишины спавшего леса раздался

резкий звук близкого револьверного выстрела. Пораженные этим звуком, мы сразу остановились, взяв наизготовку винтовки и карабины.

Защелкали затворы заряжаемого оружия.

Настала та зловещая тишина, которая всегда предшествует буре.

Мы насторожились, готовые дать отпор нападению, и стояли молча, сжимая в руках оружие.

Но вот в этой напряженной тишине раздался глухой человеческий голос, исходивший казалось из самой преисподней:

– Стой! Не шевелись! Какие люди идут здесь, сколько их и какие товары несут с собой? Кому не хочется умирать, пусть тот положит оружие и товар на тропу, а сам идет дальше и продолжает свой путь! Через минуту будет открыт огонь с двух сторон!

После этого снова наступила тишина. Я слышал учащенное биение своего сердца, и в моем мозгу мелькнула мысль: «Пришел конец! Надо исполнить приказание или смерть!» Такие мысли, вероятно, были у каждого из нас. Мы стояли в нерешительности, ожидая расстрела.

Не прошло и полминуты, как раздался в тишине тайги другой голос, нашего проводника Дедушки Мороза; он говорил громко, и слова его до сих пор врезались в мою память:

– Нас одиннадцать человек! Все с винтовками! Товару много у каждого! В проводниках я, Никита Мороз! Если можешь – возьми товар, но без боя его не получишь!

В наступившей после этого тишине чувствовалась особенная критическая напряженность! Казалось, что вот-вот грянут выстрелы и начнется смертельный бой в темноте в рукопашную, и тогда, конечно, пощады, никому не будет. Такие мысли приходили мне в голову, когда со стороны невидимого врага раздался тот же «загробный» голос:

– Проходите! Проходите!

Мы все сразу поняли, что критическая минута прошла! На душе стало легче и даже, как будто, звериная злоба, обуявшая сердце, сменилась на добродушное презрение к врагу.

Снова воцарилась прежняя тишина, и мы, один за другим, потянулись по тропе, стараясь сблизиться, для уверенности в шаге.

– Знаешь! А я думал уже, что мы пропали! – проговорил Недомерков, шагая впереди меня, сгибаясь под тяжестью товара, булькавшего у него за спиной.

– Ничего! На этот раз пронесло! – ответил я ему, чувствуя подъем новых сил после перенесенных испытаний.

К утру мы вышли из тайги и расположились лагерем на берегу горной речки, правого притока Суйфуна.

Сидя у костра и обсуждая между собой все перипетии минувшей ночи, мы благодушествовали, радуясь наступившему лучезарному дню и сво-

ей жизни, которой угрожала несомненная опасность.

От Дедушки Мороза мы узнали, что шайка бандитов, остановившая нас, ошиблась в расчетах, так как она поджидала другую партию контрабандистов, плохо вооруженную и состоявшую наполовину из корейцев. Откуда он имел эти сведения, для нас осталось тайной.

После этого случая я бросил рискованное ремесло контрабандиста и занялся другим делом. Хорошего понемножку!

Печатается по: Байков Н. У костра. Таньцзин, 1939. С. 56-65.

ЧЕРНЫЙ КАПИТАН
(*Отрывок из романа*)

Поединок

Как-то перед Рождеством, будучи у меня в гостях на станции Ханьдаохыцзы, Алатаев предложил мне прогуляться с ним по тайге до станции Хайлин через сопки, куда он должен был отправиться по делам службы для производства дознания.

Напрямик до Хайлина было не более сорока верст, и мы предполагали выйти к цели за один день, принимая во внимание битую тропу, соединяющую станцию Ханьдаохыцзы с Хайлином.

Одевшись по-таежному и взяв с собой чайник и продукты на два дня, вооруженные винтовками, мы выступили чуть свет, направляясь к юго-востоку через густые, дремучие кедровники, окружавшие в то время станцию, где я жил.

По пути мы решили стрелять только рябчиков, так как охота на зверя задержала бы нас в тайге на неопределенное время.

Как назло, нам постоянно попадались следы различных зверей, в особенности кабанов и изюбрей, и мы даже вспугивали их с лежек; но, не соблазняясь добычей и трофеями, мы продвигались довольно быстро по тропе, стреляя иногда глупых рябчиков, взлетавших из-под ног и садившихся тут же над нами на березы и кедры. Стрелять их приходилось в голову, чтобы не разбить туловища. Обезглавленный рябчик обыкновенно падал к нашим ногам, но некоторые, зацепившись за ветки, оставались на дереве, тогда вторым выстрелом, срезавшим сучок, освобождали птицу. К полудню у нас за спинами уже болталось по десятку рябчиков. На этом мы и успокоились и, найдя красивое уютное местечко под скалой у корней векового кедра, расположились на отдых. Вскоре запылал костер, и тучи искр понеслись в вышину, теряясь в густой, темной хвое лесного великана. Пока закипал чайник, наше жаркое из печеных рябчиков было уже готово. Способ этот называется хунхузским и состоит в следующем: потрошеную, но

неощипанную птицу зарывают в горячую золу костра, где она зажаривается в собственном соку. Жаркое это очень нежно, сочно и вкусно, но отдает немного дымом, что особенно пикантно в таежной обстановке при наличии волчьего аппетита.

Съев по одному рябчику, мы только раздразнили свой аппетит и в конце концов уничтожили полдюжины птиц без хлеба и соли. Для придания кушанью остроты взамен соли и перца мы начиняли рябчика ягодами рябины, отчего мясо становилось ароматным и вкусным. Чая и сахара мы с собой не взяли, но заменили все это стеблями лимонника, дававшими полную иллюзию чая с лимоном.

Пообедав плотно и опорожнив по пяти кружек чая, мы двинулись дальше и вскоре пересекли совершенно свежий след колоссального тигра.

– Эге! – произнес мой приятель, измеряя рукой гигантский круглый след владыки тайги. – Я таких следов еще не видел! Вероятно, это сам Великий Ван. Дядя с весом! Пудов на двадцать! Не пойти ли нам за ним? Авось подфартит нам, и мы добудем его скоро. Любопытно даже посмотреть на такого великана! – сказав это, Алатаев посмотрел на меня вопросительно.

– Ну что ж! – отвечал я. – Идти так идти! Времени терять нечего: осталось до заката солнца немного. Может быть, на наше счастье зверь не ушел далеко.

Осмотрев свое оружие и посоветовавшись, мы двинулись по следам хищника, которые увели нас в противоположную сторону, то есть к северу, где вздымался крутой отлог главного кряжа, поросший частым ельником. Предполагая, что тигр заляжет на гребне хребта, мы пошли наперерез его направлению и вскоре услышали характерный звук его шагов по замерзшему насту, образовавшемуся на самом гребне в снежных надувах. Зверь шел недалеко от нас, но разглядеть его в густых зарослях молодого ельника не было никакой возможности. Мы ускорили шаги, стараясь его догнать, но тонкий слух хищника предупредил его об опасности, и он, постояв несколько секунд на перевале, спустился по другую сторону гребня и ринулся вниз под откос прыжками. Когда мы достигли перевала, тигр был уже далеко и преследовать его уже не было смысла.

– Экая досада! – произнес Алатаев, снимая папаху и вытирая платком вспотевший лоб. – А счастье было так возможно, так близко! Ну, Пенсне! Теперь для очистки совести спустимся в падь и посмотрим, куда он пошел дальше. Если нам не по пути – плюнем на него и двинем на Хайлин.

– С тобой хоть на край света, мой милый Черный капитан! – отвечал я в тон своему приятелю, подтягивая потуже пояс.

Идя по следам хищника, мы убедились, какие гигантские прыжки может делать эта кошка. Один из прыжков, измеренных нами, достигал пятнадцати шагов!

Спустившись в глубокую падь, мы вышли на тропу, которая привела нас к фанзе зверолова. Услышав наши шаги, хозяин, старичок маньчжур, вышел нам навстречу и пригласил к себе «суте» и «чифань», то есть спать и кушать. Было уже поздно. Солнце пряталось уже за лесистым гребнем Чжан-Гуанцайлина, и в тайге протянулись ночные тени. Луна всходила поздно, а идти по дремучему лесу в темную ночь нам не улыбалось, поэтому мы решили заночевать в фанзе, приняв приглашение старого зверолова. На этот раз мы для ужина сварили трех рябчиков в котле и угостили хозяина. В свою очередь он угостил нас ароматным китайским чаем с эйнемовским печеньем, что привело нас в недоумение. На наш вопрос, откуда у него русское печенье, старик не мог нам толково ответить, и мы терялись в догадках. Найденные нами трехлинейные патроны и гильзы на одной из полок в фанзе вместе с печенье навели нас на мысль, что здесь бывают хунхузы. На наши вопросы старик отвечал:

– Хуза мэю!

Но мы ему не поверили и на всякий случай, ложась спать, не разделись и винтовки держали при себе. На теплых канах было так уютно, что вскоре мы заснули, накрывшись меховым одеялом, чистота которого находилась под большим сомнением.

– Что, тебя кусают? – спросил меня сквозь сон Алатаев.

– Конечно, кусают! – отвечал я, почесываясь и переворачиваясь на другой бок. – Но это пустяки в сравнении с вечностью и соленым огурцом. Не обращай на это внимания и покорись судьбе. Сегодня мы ели вкусных рябчиков, а ночью нас будут есть насекомые. Все это в порядке вещей и вполне естественно, а потому рекомендую тебе поскорее погрузиться в объятия Морфея, или, как говорят брамины, в нирвану.

Старый зверолов долго еще возился у очага по хозяйству, но наконец и он улегся рядом с нами на кан и вскоре захрапел.

Под утро, когда тусклое бумажное оконце начало светлеть, я проснулся от какого-то шума, доносившегося из тайги. Слышались голоса и далекие сигнальные свистки. Хозяина в фанзе не было. Накинув тулуп, он куда-то вышел. Алатаев крепко спал, завернувшись с головой в одеяло. Зная по опыту значение этих звуков, я сразу понял, что это хунхузы, а потому, недолго думая, бросился к дверям, чтобы запереть засовом, но тут же столкнулся с хозяином фанзы, который взволнованным голосом проговорил:

– Капитан! Шибко худо есть! Хуза юдеши ю! Ига сот хуза. Старшинка Корявый требует сдачи оружия!

Алатаев, услышав сквозь сон последнюю фразу пика, вскочил как ужаленный с кана и, схватив Щитовку, выбежал из фанзы, крикнув мне на ходу:

– Пенсне! За мной!

Выбежав во двор, Алатаев остановился посреди поляны и, положив

винтовку на плечо, крикнул повелительным голосом, обращаясь на китайском языке к хунхузам, засевшим на опушке леса вокруг фанзы:

– Я – Черный капитан! Если ваши пули и убьют меня, то знайте, что полтораста казаков и заамурцев придут сюда, и ни один из вас не уйдет живой! Все вы погибнете! Ваши пули мне не страшны! Вас много, нас двое. Вы прячетесь, как трусливые зайцы, в кустах. Пусть один из вас, если вы храбры, выходит на бой со мной и стреляет в меня первый, – сказав это, Алатаев не спеша снял с плеча винтовку и приготовился к стрельбе.

Тогда на окраину опушки вышел один хунхуз и, крикнув что-то товарищам, стал целиться из карабина в Алатаева. Это был сам предводитель Корявый, славившийся храбростью и удачей.

Раздался выстрел. Все ожидали, что Черный капитан будет сражен пулей на столь близком расстоянии, но он стоял как ни в чем не бывало и, подняв винтовку к плечу, произнес:

– Я знаю, что ты храбрый человек и хороший стрелок, но твои пули застревают у меня в кармане. Я мог бы тебя убить немедленно, но твоей смерти мне не надо. Возьми обратно свою пулю, может быть, она пригодится тебе когда-нибудь, – с этими словами Алатаев опустил свою винтовку и, подозвав к себе Корявого, передал ему свинцовую пулю, вынутую из кармана.

Корявый был до того убит и угнетен всем происшедшим, что производил впечатление загипнотизированного. Чтобы не потерять окончательно свое обаяние и престиж у хунхузов, он дружески поздоровался с Алатаевым и громко проговорил, чтобы все слышали:

– Я не знал, что имею дело с Черным капитаном. Я не хотел убивать тебя и стрелял в воздух, но ты мою пулю перехватил, так как ты чародей. В тебе сидит душа Великого Вана. Иди своей дорогой, а мы пойдем своей. Прощай! Встречу с тобой я никогда не забуду, – произнеся эти слова, предводитель отдал приказание своему отряду двигаться дальше, а сам подошел к маленькой божнице, стоявшей вблизи фанзы, и зажег молитвенную свечу, ударив семь раз в чугунный колокол, висевший на нижних ветвях старого кедра. Басовые звуки его, вибрируя на одной ноте, неслись в глубину тайги и медленно замирали в ее недрах. Вождь хунхузов молился великому духу гор и лесов и благодарил его за спасение от смерти. Постояв на коленях перед изображением Великого Вана и посмотрев на восток, где разгоралась розовым пожаром утренняя заря, он встал и, вскинув за плечи карабин, отправился вслед за своим отрядом.

Старый зверолов, на глазах которого Черный капитан одержал такую блестящую победу над хунхузами, по уходе Корявого бросился на колени перед Алатаевым и, кланяясь ему в ноги, просил прощения за то, что не предупредил нас своевременно о появлении хунхузов.

Подняв дрожавшего старика, Алатаев обласкал его и, хлопая его по плечу, сказал по-китайски:

– Не бойся, старик! Я не сержусь на тебя, так как я раньше тебя знал о приходе хунхузов и был уверен, что они нас не тронут! Спасибо за гостеприимство и приют, а это тебе плата за ночлег и за беспокойство.

С этими словами Черный капитан вынул из кармана золотой в десять рублей и подал старику.

Сначала тот наотрез отказался взять деньги, а потом, подумав, взял монету и, заложив за щеку, ушел к себе в фанзу готовить завтрак и чай.

Закусив жареными рябчиками и напившись чая «с лимоном», мы вышли на тропу и направились на юг, к станции Хайлин, до которой было не менее тридцати верст, к полудню мы вышли из темного кедровника в светлые дубняки, где на каждом шагу попадались свежие следы зверей и даже тигров, но это нас не соблазняло, и мы ходко шли по битой тропе, делясь впечатлениями минувшей ночи, чреватой интересными приключениями.

– Знаешь, Вадим, – говорил я своему другу, шагая ему вслед, – я думал уже, что нам придется бежать в тайгу и там отстреливаться от хунхузов, но вышло иначе после того, как ты вызвал Корявого на поединок. Но я не могу еще до сих пор понять, почему он тебя не убил? Ведь стрелок он хороший.

– Видишь ли, мой друг! – отвечал мне Алатаев, не оборачиваясь и не убавляя шага. – Здесь главную роль играет психология. Я воспользовался только моментом и, зная психику этих детей природы, сразу взял инициативу в свои руки. Если бы мы бежали, то нас перестреляли бы как куропаток. Вызвав предводителя на поединок, я подействовал на их воображение, а пуля Корявого, которую я якобы перехватил, находилась в моем кармане на всякий случай. Это произвело на них огромное впечатление, и они убедились в правдивости слухов о моей неуязвимости. Их воля была подавлена и подчинилась моей воле. Корявый целился в меня хорошо, но в последний момент рука его дрогнула, и пуля просвистела у меня над головой. Перед тем, как нажать на спуск, он понял, что перед ним стоит страшный Черный капитан и что стрелять бесполезно. Как видишь, Пенсне, ларчик открывался просто. А в общем, все это ерунда в сравнении с вечностью и соленым огурцом, как говорят оптимисты вроде тебя... А вот, кстати, видна уже станция Хайлин! Еще осталось ходу полчаса.

Мы спускались с последнего увала и приближались к поселку. Прощальные лучи заходящего солнца горели золотыми бликами в окнах станционных зданий и переливались радужными огнями. Темнело быстро. Дым из фанз китайского поселка подымался столбом к темно-синему небу, в глубине которого ярко блистала Вечерняя звезда. Алатаев был в хорошем настроении и, по обыкновению, насвистывал какой-то веселый мотив шансонетки.

Печатается по: Байков Н.А. Черный капитан. Изд. 2-е. Брисбен, 1959. С. 105-109.

Проза

ДАНЬ ВЕЛИКОМУ ВАНУ

В прежнее время наилучшие охотничьи угодья находились к югу от станции Ханьдаохецзы, в верховьях рек Хайлинхэ и Лалинхэ, в районе горы Татудинза, скалистая вершина которой вздымалась к небу на высоту 2000 метров, в центральной части станового хребта Лао-Лина. Здесь, в дремучих лиственных, смешанных и хвойных лесах, было много всякого зверья, как мясного, так и пушного. Здесь находился центр пушных зверей: соболя и белки.

Весь район этот, с самых древнейших времен, был разбит на промысловые участки, где находились фанзы звероловов, обыкновенно на берегу горного ручья или речки. От фанзы шли таежные тропы по ловушкам. Расстояние между фанзами было не менее пяти километров и не превышало десяти с таким расчетом, чтобы хозяева участков не мешали друг другу.

Весь район, занимавший огромную площадь в 10000 квадратных километров, изрезан высокими горными хребтами, покрытыми девственной тайгой, которую местные жители обыкновенно называли «Шухай», т. е. Лесное море.

Здесь была своя особенная жизнь и сохранился древний быт, очень далекий и чуждый современной культуре и цивилизации. Здесь доминировал «Закон тайги», жестокий с точки зрения обывательской морали, но рациональный и неизбежный. Властелином здесь был не человек, а дикий зверь, которому подчинялось все живое, не исключая и человека.

Царем и владыкой Шухая был, несомненно, Великий Ван, т. е. тигр, пользовавшийся не только почетом и уважением среди маньчжуров-таежников, но и особым обаянием, как существо высшего порядка, обладавшее сверхъестественной силой и духовными качествами.

Мы, русские охотники, промышлявшие зверя в этом районе, конечно, не разделяли взглядов полудиких маньчжуров-таежников и на Великого Вана смотрели как на обычный объект охоты наравне с кабаном, медведем, оленем и косулей. Это не только коробило и возмущало местных аборигенов тайги, но и побуждало их предпринимать свои меры для защиты священного животного от нападений жестоких «северных варваров». Спасая жизнь Великого Вана, они угоняли его вглубь тайги, подальше от пуль русских зверобоев. Умный зверь как будто понимал своих защитников, но это лишь как исключение – т. е. на их обозных лошадей и скот он все равно нападал, и им приходилось отражать его нападения

Во время моих скитаний по тайге восточной Маньчжурии мне, конечно, неоднократно приходилось встречаться с тиграми и даже охотиться на них, но ни разу я не подвергался внезапным нападениям. При встречах они всегда спешили уйти, и только раненые бросались на меня из засады.

Зимой, во время ночевок у костра, тигры очень часто бродили вокруг становища, но огонь всегда удерживал их от нападения. Но вот, однажды, после удачной охоты на кабанов, мы с промышленником Афанасенко перетащили всех трех убитых кабанов к табору, после чего мой товарищ, напившись чаю, отправился на ближайший хутор за подводой для вывоза дичи к линии железной дороги.

Я остался один на таборе. Настала темная таежная ночь. Подбросив дрова в костер, я собирался уже расположиться у костра на ночлег, как услышал сначала далекие, а потом совсем близкие голоса зверей. Это были тигры. Их рев напоминал отдаленные раскаты грома.

Наступили так называемые «звериные ночи», когда тигры сходятся вместе, дерутся из-за самок и ревут, приводя в трепет всех обитателей тайги.

Зная, что огонь удержит их от нападения, я был совершенно спокоен и, засыпая, прислушивался к этим звукам первобытного леса как к чудной симфонии или гимну первозданной природы.

Но вот голоса стали громче. Хищники подошли к самому становищу, потрясая своды дикой тайги своим оглушительным ревом. Я слышал уже их хрустящие шаги по мерзлому снегу, их сердитое ворчанье и хриплое дыханье из гигантских легких. Всматриваясь в темноту зарослей, я видел блуждающие огни их круглых зрачков, направленные на меня. Судя по этим огням, хищников было не менее трех. Они бродили вокруг становища, и было видно, что их удерживал от нападения только лишь огонь костра.

Кабаны были сложены нами в одну кучу в шагах в десяти от костра. Не было никаких сомнений, что они видели и чуяли легкую добычу, и намеревались ею овладеть, но костер сдерживал их порывы.Очевидно, звери были голодны и способны на все для утоления голода.

Чтобы напугать зверей, я сначала хотел стрелять в них из винтовки, но потом раздумал, так как на верный выстрел в темноте нельзя было рассчитывать, а выстрел наугад мог раздражить хищников и побудить их к нападению.

Держа винтовку в руках и стоя у костра, я все время вертелся, как волчок, оборачиваясь в ту сторону, откуда ждал нападения. Положение становилось критическим и почти безвыходным, но вот в мозгу у меня мелькнула мысль: отдать голодным зверям одного кабана, тогда они оставят меня в покое!

Но как это осуществить? Я терялся в догадках и наконец решил оттащить одного кабана в сторону от костра.

Не долго думая, взял на всякий случай в левую руку винтовку и горящую головню, а в правую – веревку, привязанную к рылу кабана, я стащил его с общей кучи и поволок в сторону от костра. Отойдя шагов сто, я

остановился и, бросив кабана, двинулся в обратный путь, все время кругообразно махая горящей головней.

Этот маневр мне удался вполне: тигры затихли, внимательно наблюдая невиданное и необычное зрелище. Очевидно, они были до того ошеломлены и озадачены, что на время потеряли способность соображать, а когда опомнились, дело было сделано! Это так подействовало на их психику, что они долго не издавали ни одного звука и сидели в чаще, притаившись, смотря во все глаза на человека, вокруг которого пылало и искрилось огненное кольцо!

Только когда я вернулся к костру и занялся его увеличением, подкладывая побольше дров, они решили подойти к туше кабана, и один из них, вероятно, старый самец, оттащил его подальше от табора, шагов на триста в чащу, где они его и начали пожирать, громко чавкая и мурлыкая от удовольствия.

Так как кабан был небольшой, всего пудов на пять, я оттащил им в то же место еще одного молодого, пудов на шесть, так как один не мог удовлетворить их аппетита. У нас на таборе остался один большой кабан, пудов на десять, что для нас было вполне достаточно.

Покончив с одним кабаном, тигры принялись за второго и, оттащив его в сторону, занялись насыщением, причем слышались их голоса, мяуканье и шипение, как это делают кошки во время еды. Это продолжалось почти до рассвета. Утолив свой голод, хищники ушли в глубину тайги, и могучие голоса их постепенно затихли.

Само собой разумеется, в ту ночь спать мне не пришлось, так как мне было не до сна. Я должен был спасать свою жизнь, пожертвовав частью охотничьих трофеев!

Рано утром, едва только первые солнечные лучи осветили скалистую вершину Татудинзы, мой приятель вернулся на табор с подводой. Узнав от меня о ночном визите тигров, которым я отдал часть нашей добычи, он рассмеялся и сказал:

– Ну что ж! Великому Вану надо было заплатить дань, как полагается по закону тайги! Тут ничего не поделаешь! Вот вывезем свои трофеи на станцию, а потом опять придем сюда и сделаем визит самому Вану, иначе он обидится и подумает, что мы неучи и не знаем приличий!

Маньчжур-возчик, узнав, что здесь ночью были тигры, сильно перепугался, опасаясь за целость своих лошадей, но мы его утешили хорошей порцией крепкого рома, после чего он изъявил согласие везти кабана на станцию, до которой было не менее сорока километров.

Исследовав следы хищников, мы выяснили, что их было четыре: один старый самец пудов на 15, затем большая самка пудов на десять и два молодых тигра пудов по шести, вероятно, ее дети. От наших кабанов почти ничего не осталось, если не считать требушины и кишек, которые тигры не

едят.

Через неделю мы снова были в тех местах, но нанести визит Великому Вану так и не удалось, так как звероловы, узнав о наших намерениях, угнали хищников из этого района далеко, в верховья Лалинхэ, к западу от горы Татудинзы, куда мы, конечно, не пошли за дальностью расстояния от линии КВжд.

Звериные ночи кончились, и тайга по–прежнему была тиха, безмолвна. Только изредка ее оживляли крики филина, писк рябчиков да постукивание дятлов в вершинах сухих кедров.

Впервые опубликовано и печатается по: Австралиада. 2003. № 34. С. 43-45.

Борис Васильевич БЕТА (1895-1931)

Поэт и прозаик Борис Бета (настоящая фамилия Буткевич) родился 10 июля (ст. ст.) 1895 г. в имении Надеждино Уфимской губернии в дворянской семье. После окончания классической гимназии поступил в Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге. Штабс-ротмистр 5-го гусарского Александрийского полка. Под псевдонимом «Борис Бета» печатал стихи во владивостокских газетах «Владиво-Ниппо», «Голос Родины», «Вечерняя газета». Жил в Харбине, Шанхае. В 1924 г. переехал во Францию, жил в Марселе. Работал портовым грузчиком, пастухом, носильщиком, кочегаром. Много бродяжничал. Печатался в коллективном сборнике «Парнас между сопок» (Владивосток), газете «Возрождение» (Париж), журналах «Новый дом» (Париж), «Новый корабль» (Париж), «Числа» (Париж), «Врата» (Шанхай), «Рубеж» (Харбин) и др. Входил в русско-сербскую литературную группу «Ступени» (Белград). Умер 8 августа 1931 г. в госпитале Консежион в Марселе от туберкулеза. Испытывая жестокую нужду, еще при жизни продал свое тело, и после смерти поэта оно было отдано в анатомический музей.

Ист. и лит.:

Берберова Н. Смерть Буткевича // Последние новости. 1931. 3 сентября.

Гребенюкова Н. Одиночество в раме. Жизнь и творчество Бориса Беты // Словестница искусств. 2010. № 25.

Щербаков М. На смерть Б.В. Буткевича // Понедельник. 1931. №2. С. 156–160.

СНЫ

Н.М. Ямаучи

Рассказывать об этом почти не возможно – по трудности заинтересовать читателя. Ибо сны – всегда чересчур личны, они обязательно нуждаются в пояснениях, которые протяжны и путаны.

Жизнь сладостна. И прелесть существования, радость пользования чувствами, тайная внутренняя дрожь, – это порою открывается уставшему духу в снах, в их аттической прохладе и безмолвии – так в снах заряжаемся мы жаждой жизни.

Сны прекрасны. Истома сновидения порою живет до вечера, до забвения, до потери сознания, когда в темноте устроишь покойно голову на прохладной подушке, уже забываешь настойчивые шелесты, дуновения в открытое окно… Но можно ли желать непробудного сна, можно ли жить только снами, их невыполненной тревогой, божественным безмолвием летейских просторов.

Но случается, живешь день в день спокойно и равнодушно, пересаживаешь незабудки на клумбах и окучиваешь, точно картофель, угрюмое сознание; за обедом говоришь о политике – о том, что пишут в газетах и совершенно чужды все эти конференции; и вот опять перед сном читаешь комфортабельного бродягу Крымова или вспоминаешь пыль Заволжья над

молодым Толстым, – о, все это бытие, как бабушкин гарус, а ночами ничего не снится. Ибо достаточно сонно было весь день.

…Утро началось для меня в седьмом часу. После трех дней серых небес, настойчивого дождя – баснословно гляделась лазурь и сверкающие медленным, точно музыка Шумана, облака и густая темная зелень. А непросохшие дорожки, качая тени и солнечные пятна, представлялись дорогами одинокого полного счастья. Прекрасна была отразившая зелень кустов, лужа на теннисе – почти во всю длину левого коридора.

Самое лучшее в такое парное утро – отправиться в пешую прогулку. Так я и сделал. Я начал путь с мокрой от умывания головой, опираясь на белую освежеванную палочку. Ранняя прохлада поощряла меня.

Залив был точно завешан, затянут вплотную над водой серебристым шелком, но вода проступала лазорево. Горы на том берегу были туманны, не остры. Было полное безлюдие на песке вокруг купальных будок, а сами будки казались свежеокрашенными…

Почти в одиночестве прошел я три с лишком версты. Лишь двое ходей разминулись со мной на обочинной дорожке у рельс: подтанцовывая, пронесли свои плавные шесты с повешенными корзинами – ледиска, молковка, салада, иба…

А удалившись в сопки, на широкие повороты военной дороги, вглубь от взморья, – я повстречал японский броневой автомобиль: грязнозащитный, украшенный зелеными ветками, он буксовал, шумел с перебоями на одном месте, а вокруг хватались солдаты, уже разомлевшие в зной, расстегнутые, занавесившиеся короткими полотенцами – семь человек. В моторе трещало. «Подшипники купить», – подумал во мне влюбленный в автомобили, а память тотчас изобразила, как лопнет алюминиевый картер и тавот как черная кровь, выльется на песок… Я миновал броневик. Я вспомнил, что на днях видел одного из этих желчно-смуглых людей, раздавленным поездом: измятый труп лежал между рельс, как мусор, был закидан травой и песком; протянутая на весу рука уже гляделась восковой, сделанной из воска, с неживыми, стеклянными ногтями; нечто крававо распоротое на бледной коже угловато торчало – не то бок, не то разбитое безобразное лицо, мягкие крошки, обрубки свежей говядины прилепились к рельсам, к шпалам… Смерть солдата в чужом краю, об этом поют песни. И я стал думать о войне, о воинских опасностях, вспоминал, как забавно и жутко-стремительно запрокидываются люди под расстрелом: я почувствовал острую свободу – возможность потерять жизнь, - и заговорил про себя с неведомым собеседником.

– Это все – как спорт. Иногда это матч. Единоборство с достойным, а иногда это охота, но не столько ради потехи, а суровое уничтожение зловредного, пакостного…

Две версты безлюдного подъема военной дороги, и я пришел в гости. Черный легавый Бобка залаял на цепи басисто, когда я проходил в новую некрашеную калитку, а инженер в пенсне окликнул меня из окна сеновала над приставленной лестницей, белея оттуда еще ночной рубашкой. Тени на дворе были длинные, окна в дому были раскрыты. Мой друг вышел на крыльцо босой, в купальном халате.

Все эти дни я был вдвойне угрюм. В весенние дни падали на меня осенние листья. Я писал сонеты о Стерне, о Новалисе, но это были тщетные попытки рассеяться, приобщится к иной жизни. Город опостылел мне. В него въехать не хватало у меня силы.

– И в это утро среди зеленых сопок, высоко над морем, видя и чувствуя отважную пустоту солнечного воздуха, – я вдруг понял, что смысл жизни – в путешествиях…

Позже мы лежали на большом нагретом одеяле среди кустов, на солнцепеке, – нагие загорали, принимали ванны зноя и ветра. В тенистом, пронзительно-холодном ручье мыл я ноги, обливал голову. Но отовсюду, – из-под влажных кустов, из зарослей папоротника, из глубины между облаками, в нытье автомобиля, который на первой скорости одолевает, берет где-то за деревьями подъем, – отовсюду глядела молча моя одурь, мой безмолвный сплин.

К обеду приехали гостьи. Я нисколько не обрадовался им и нарочно обедал в валенках, что забавило всех. Перед городскими белыми платьями я был совершенно спокоен со своей четырехдневной бородой, в полуразвязанном галстуке. – А потом на расстеленных одеялах, на подушках, но уже в тени, одна из гостей рассказала нам судьбу по нашим ладоням. У меня оказалась редкость на руке: царственное запястье, обещающее долголетие. Мой большой палец изобличал исключительную волю, берущую верх над рассудком, – упорное безрассудство. У меня были три линии искусства. А холм Марса развился на моих ладонях, как ни какой иной холм: храбрость, воинские способности…

– Не начать ли мне писать военные обозрения? – сказал я, смотря на волосы гадалки, испытывая ее прикосновения. Она рассмеялась.

– Больших путешествий нету… – продолжала она.

– Или вот большое путешествие… Браки. Брак один, по взаимной склонности, но он только намечается…

– И не состоится? – спросил кто-то.

– Трудно определить. Возможно, что после упорной борьбы… Но какой у вас законченный характер!

К вечеру гостьи уехали. Я лежал в темной комнате лицом к открытому окну. Мои ноги, грудь и руки до локтей открыто принимали вечернюю свежесть. Береза под окном изламывалась, шумела листвой от напористого

ветра. И мне было отрадно думать, что еще много таких вечеров я буду помнить о себе и о своих дорогах…

Спали мы с инженером на сенокосе. Мы лежали там в темноте навзничь, сосали леденцы. Темнота пахла сеном, коровьим запахом и конюшней – снизу. Звезды глядели в открытое окно, напористый теплый ветер врывался к нам… Инженер говорил:

– Помните у По рассказ об усадьбе Аргейм?

Мне очень часто помнится, точно виденное во сне, как там ведут от дому к колодцу каменные плиты, и между ними растет зеленая трава… Я это здорово хорошо вижу!..

Я промолчал. Он позевнул и сказал еще:

– Однако, я помаял сегодня хозяйку на теннисе! Голова заболела у бедняжки… А они славные, в общем, люди… Какой это Олюшке вы читали вчера сказки, уединившись?

– Олюшке? – пробормотал я, уже глубоко в мягком оцепенении дремы. – Что за чушь…

– Ну, рассказывайте!..

И вот во сне мне стало видеться чудесное и томительное. Правда, теперь, за день, я уже многое забыл, и оно волнует меня смутно. Но вот что я помню – пью медленно жаждой воспоминания:

Я видел библиотеку. Возможно, что это была национальная библиотека в Париже. Я видел только край книжных высоких полок, разноцветные корешки, тисненные золотом. А передо мной была раскрыта книга.

… И вот близко протянулась обнаженная выше локтя женская рука. Казалось, протянула неизвестная женщина у самых моих губ руку к полкам. Я увидал глаза, лицо ее. Глаза стали смотреть на меня. Мы были в странной близости: у женщины не было тела, только рука и лицо, у меня не было тела, только глаза и губы. Рука была упрямо близко, совсем касалась моих губ, обнаженная, тяжеловатая рука статуи, светлая женская рука, ясная теплотой и рисунком голубых вен. Она замедлилась. И, приняв ее своей загорелой костистой рукой, я приник губами к изгибу в локте, – ветреная свежесть сновидения…

Я проснулся. Новое утро гляделось в окно сеновала. Простыни и одеяла инженера были смяты, покинуты.

– Ты едешь в город? – кричал снизу мой друг.

– Нет! – ответил я громко и закрыл глаза. Но я открыл их тотчас, – да: ветер, опаловый залив там, в провале, голубая облачность… жизнь, жизнь…

19 июня 1922 г. Красный Мыс.

Впервые опубликовано и печатается по: Владиво-Ниппо. 1922. 2 июля. С. 2.

Проза

ЧУДЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Четырнадцатилетним, Сергей Шкляр увидал во сне, что он – взрослый, с усами и участвует в хмельном побоище, ломает мебель, посуду, выбегает на улицу вблизи какого-то вокзала, и тут человек кавказского обличья поражает его бутылкой в лоб!

Сергей проснулся.

Апрельское утро было еще розово над Москвой, в комнатах, – в квартире жили четвертые сутки, – было сонно. Новое московское утро, память переезда из Харькова, временная свобода от гимназии – все это поднялось счастливой волной, прозрачно опрокинуло сон.

Жизнь Сергея Шкляра складывалась очень просто. Отец его был членом судебной палаты. Он был единственным сыном этого добродушного юриста. После двух гимназий – харьковской и московской – Сергей поступил на юридический московского университета. Это было в четырнадцатом году, и в декабре Сергей уже поехал в Тверь – в кавалерийское училище…

Все эти обязанности Сергей выполнял с готовностью, но без особого одушевления: переводить Тита Ливия или подзубривать экстерьер, дежурить в столовке на Воздвиженке или обучать смену новобранцев на полковом манеже в Борисоглебске, – почему бы не так? Но не случись войны или закройся, скажем, все юридические факультеты, Сергей, наверное, принял бы участие в конкурсе путейского института.

Все сказанное изложено отнюдь не с целью, чтобы читатель мог решить: вот непутевый юноша. Ибо это вовсе не так: разве мало между нами людей, весьма похожих на Сергея?

Итак, летом восемнадцатого года демобилизованный поручик кавалерии Шкляр находился за Волгой под Самарой в армии Кочума, комитета членов учредительного собрания: попал он сюда из пензенской губернии вместе с двоюродным братом, которого убили под Сызранью.

Война за Волгой была отлична от войны с Германией. Но и это времяпровождение надлежало вести исправно – белее или менее. А впрочем, размышлять над всем этим поручик Шкляр нашелся много позже.

В сентябре он был ранен в ноги и была убита его чалая тонконогая кобыла «Леда», реквизированная под Симбирском. В конце ноября он получил отпуск. Но ехать было некуда, ближайшие родные места остались за Волгой. Четыре дня провел он в номере старосветской уфимской гостиницы, развлекаясь – армейской шменкой, выигрывая и расплачиваясь вексельными филипповками, опять придумывал перед сном, куда бы выправить литер, пока не познакомился за обедом с неким поручиком автомобильных войск Першиным: поручик этот весьма быстро уговорил ехать на одну из станций, погостить в эшелоне, поохотиться на куропаток («хоро-

шая штука – тушеные с картошкой, со сметаной… Важно под стопку проходят!»).

Жизнь в эшелоне Шкляру поглянулась: тишина, тепло, сыто и даже пьяно в меру. Каждое утро штабс-капитан Диваев, проснувшись, взглянув в окно, еще раз определял, что окрестность воистину альпийская, и растерев на руках шерстяные чулки, начинал одеваться, сразу же определял себя на кухню – поджаривать что-либо на завтрак, например, вчерашние пельмени, заказывались которые едва ли не тысячами и почти каждый день Аграфене Федоровне, жене станционного весовщика. Завтракали, разумеется, со спиртом, а спирт был трех сортов: ректификат, сырец и сырец с эфиром. После завтрака шли на охоту, если позволяла погода. Обедали в час, в два, опять выпивали из манерочной пробки и, сытые, протягивались отдохнуть. А по вечерам – винт, преферанс, шменка, разговоры о германской войне и о настоящей…

Так прошло почти две недели. Неожиданно получился приказ-депеша о продвижении части грузовых машин в Бирск. Поручик Шкляр, – а это происходило за обедом, – тотчас припомнил, что и он шофер, черт возьми, хоть и холодный, но учился на форде у тетки Надежды, а на фронте однажды двух генералов возил!

– Ну, так едешь? – спросил Диваев.

– Определенно, дорогой капитан…

Выехали на следующий день после обеда. Поручик Шкляр принял в свое ведение полуторатонный уайт и в компании помощника, шофера Ларсена, эстонца, отбыл со станции на заснеженные дороги последним.

Погода была мягкая, мороз не выше десяти градусов и безветренно. На пятой, на шестой версте начались некоторые мытарства: не оказалось цепей, колеса буксовали – рыхлый снег летел из-под них веселым фонтаном, а поручик Шкляр с кавалерийским остроумием поминал общепринятую мать.

Путь замедлился, а время склонялось к сумеркам… И вдруг запахом, густым паром – открылось, что протекает радиатор. Понадобилось в него накладывать снег, заодно пришлось соорудить канатные обвязки на задние колеса. Уже мерцали звезды, в небе стало дымно, всходили снеговые облака с пасмурных горизонтов, мотор был раскрыт – пахучая гарь веяла навстречу теплом. Уже совсем в темноте открылись рассыпанные внизу огни села, пели под горой в темной улице самарские артиллеристы: «ах, шарабан мой»…

В селе Шкляр прожил два дня. Большая часть грузовиков оказалась без цепей, – начали в местной кузнице ковать скобы на колеса. Шкляр в своем коротеньком полушубке и в лисьей шапке с оборванным ухом ходил в кузницу, курил с шоферами махорку, рассказывал анекдоты и бил вполне хорошо за молотобойца… Но спирта не было и за обедом.

Может быть, что по этой причине поручик Шкляр решил на третий день ехать обратно, воспользовавшись местом на облучке фиата, который потянули буксиром четыре крестьянских коня.

В поле было не спокойно – задувало, крутил снежок, начиналась, видимо, метель. Сосед у Шкляра был шофер-татарин, он угрюмо сидел за рулем и разговора не поддерживал.

– Однако, погодка, Маттиэ Батистини, – думал Шкляр, подвигаясь, подсовывая длинные полы шинели, изрядно легкой от времени. Вообще поручик был легко одет: холодное белье, полушубок выше колен и в року распоровшийся, перчатки – рукавицы он забыл в печурке… Ему хотелось курить – но кисет и трубка были в кармане френча. В лицо дуло, студило ниже пояса и в рукава; стало покалывать пальцы ног. «Сидеть бы в избе, – думал Шкляр, щурясь от метели, надуваясь и мигая, – что-то поделывает Диваев? Определенно, устроил какой-нибудь "шулюм" и выпивает… Да, кабаре…»

Он мерзнул и старался меньше двигаться. Татарин за рулем сидел совсем темный, парни подскакивали на конях уже неразборчиво – последний, разве…

И вот в этой дреме, в неподвижной, стынущей злобе, – на кого, почему? – Шкляру явилось прекрасное. Да, скучающий по водке уланский поручик Шкляр, замерзая на облучке буксирного грузовика на метельной дороге по отрогам Урала, – почувствовал, что он блаженно слепнет – так невыразимо засияло виденье: в небе, которое было черное, в небе встала женщина в одеждах желтых и лучезарных; видны были пальцы ее босых ног; она развела руки; рукава откинулись в широком благословении, а лицо, светлее платья, широкоглазое, особенное линией бровей, – лицо улыбалось…

Очнулся поручик от падения с облучка на снег на темном товарном дворе, куда уже привезен был грузовик, и шофер настойчиво разбудил офицера.

Постылое возвращение на землю! Шатаясь, до ломоты испытывая, как он промерз, Шкляр с помощью безмолвного татарина добрался до вагона. Печи отопления просвечивали алым жаром. Диваев лежал в купе поверх одеяла, но в белье, благодушествовал.

– Ну, здравствуйте, – вымолвил пьяным голосом Шкляр и ударился на свой диван, – каюк!..

– Что такое? – встревоженно облокотился Диваев.

– Замерз, как… змея!..

Но побелели лишь ноги; но и они отошли.

А все же надлежало подумать, как получше использовать до конца отпуск – Шкляр выехал на восток, предполагая, что в Екатеринбург. В Челябинске в буфете, поедая под шум вокзального полдня котлеты маре-

шаль, он увидал, что штаб-ротмистр в коричневой бекеше – его однокорытник Отлетаев, – и они расцеловались тут же у стола.

С Отлетаевым Шкляр выехал в Омск. В Омске он прожил до конца свой отпуск и остался далее, благодаря отлетаевскому покровительству. Жить было вполне хорошо… И в Омске, на Атамановском хуторе, за сотню шагов от вокзала в ресторанчике под странной вывеской «Встреча Друзьев» поручик Шкляр одним веселым вечером попал в переделку и был привезен в госпиталь в беспамятстве, оглушенный бутылочным ударом в голову…

Да, жизнь чудесна. И чудеса зачастую выполняются безо всяких предзнаменований: часто принимаем мы чудо как должное явление.

И если поручик Шкляр поправился от своей раны, в этом никто не увидал чуда, и если поручик Шкляр не погиб от сыпняка под Канском, в этом еще раз никто не увидал чуда, – ни один из его друзей, с которым он пировал, после полуторалетней разлуки, в Харбине в ресторане «Кишинев».

И было ли чудо в том, что в вагоне № 78 трамвайного маршрута в г. Сан-Франциско студент политехникума и рабочий завода телефонных аппаратов С. Шкляр встретил девушку, пронзительно схожую с той, которая мнилась замерзающему сознанию на горной дороге западного Урала?

Вечер американского обширного города был рыж. За стеклами вагона мелькали, прядали, разминались-облетали тени и изображения – лица, рекламы, автомобильные лакированные плоскости, – девушка в сером костюме, в коричневых носатых ботиках, незнакомка с удивительным лицом, избегая взгляда, но не смущаясь, подняв с колен, понюхала бутоньерку гиацинтов.

Впервые опубликовано и печатается по: Гонг. 1923. №1. С. 7–10.

О ЛЮБВИ К ЖИЗНИ

I. Шанхайская шляпа

Я шел по улице Греньян от консула. Консул опять отказал мне в документах – я оставался бродягой, предоставленным воле жандармов.

При ярком зимнем солнце неистовствовал мистраль в узких улицах, ноги скользили по вылущенным бурей камням.

Я вышел к каналу, на набережную. Густая синева с твердыми плюмажами так волновалась в бухте Старого Порта! Прекрасные парусники – яхты для обеспеченных прогулок – особенно торжественно блистали медью и полировкой, вздымаясь, опускаясь.

Я шел узким тротуаром, широкоплечая тень моя опять оказывалась у

ног моих, как только освобождался тротуар передо мною; шанхайская шляпа также оттенилась. Я вдыхал стремительную свежесть зимнего моря, иногда глядел во встречные глаза женщин, невзрослых, коротко одетых, угловатых от зябкости; пестрые шарфы на их плечах кидались концами… И вдруг моя десятидолларовая шляпа, вспорхнув с головы, покатилась кубарем, умчалась от меня, – а я бросился вдогонку.

Некий мальчуган – наверное, из магазина, – решительно наступил на нее. Бормоча благодарность, я ударил шляпу о колено, стал выпрямлять на кулаке, очищать и – увидал на мостовой, у левой ноги, смятую голубую бумажку. Я нагнулся, поднял, спрятал в карман и, надевая шляпу, пошел прочь.

Через квартал я разменял десять франков в угловом табачном баре: купил желтых папирос, спичек и две коротких сигары по четыре су; еще я заказал панаше и, помолодевший, стоял у высокого прилавка.

Опять я вышел на солнце, почти семь франков в кармане сообщали мне бодрую невесомость…

Я думаю, что пошатнуло мое равновесие, смутило благие мои какие-то намерения событие в американском – для иностранных матросов – баре.

Я отворил плавную дверь туда и, встречая спокойствие тепла, услыхал фокстрот механического джасса. Я сел у стеклянной матовой стены, за которой жила музыка, и спросил Кап-Корса. Именно здесь я был в последний раз с затравленным Леней: мы пили пиво. Однако, думал я, отхлебывая вино, чертовски холодно было и ему, которого везли в легион, броситься с парохода в декабрьское море. Все-таки… но тут думы мои смешались: две женщины, совсем подростки телосложением, потрясываясь дробно, помахивая стриженными кудрями, выскользнули из-за перегородки и стали танцевать совсем около меня. Я прихлебывал внимательно из стаканчика, стараясь не смотреть в их искательные глаза. Но танец их волновал меня – телодвижения и косые лукавые взгляды. Так цепко держались тонкие пальцы, и чередовались два нежно синеющих подбритых затылка…

Решительно поднявшись, пошел я к дверям – в баре никого больше не было. И тут они ухватились за меня, лепеча забавно по-английски, пытались удержать, приникая, и так как я тянул их к выходу, – та, что была в сером пальто, решилась на последнее: она поцеловала меня.

Этот поцелуй я вынес на губах на улицу. Отнюдь он не был отличным, поцелуй на лету девицы из бара. А голова моя закружилась.

И вот я свернул с набережной вправо, в переулок, пошел по сырым камням мостовой – по капустным листьям, скорлупе улиток и прочей необходимости старинных марсельских улиц. На верхней улице я нашел нужное: купил полкило ломаных бисквитов. С пакетом в руке я опять спустился вниз и вошел в угловой бар, небольшое и темноватое помещенье.

Место было знакомое: тень несчастного Лени, мутные его глаза чуди-

лись мне и здесь, на стене, где умерший, наверное, живописец изобразил Старый Порт в былое время. Я заказал литр красного и вскрыл пакет с бисквитами.

Итак, здесь, уединившись от ветра и ожесточившихся прохожих, я подумаю кое о чем. Вот сегодня я видел во сне мать: где-то в темном и узком закоулке я лежал и услышал ее ласковый голос: «Маленькая стеночка, маленькая стеночка». Я насторожился и разобрал иное: «Милый мой сыночек, милый мой сыночек». Господи Боже, ведь матери моей, моей мамы нет на этом свете: два года назад, летом, в Харбине, на людном углу, один человек остановил меня, удивился встрече, а потом в разговоре сообщил, между прочим, что мать и отец мои умерли от голода… Стало быть, их нет. Стало быть, этот голос потусторонний… но я оглянулся.

Немолодая женщина в клетчатой юбке разговаривала с бледным юношей за стойкой, – шотландский цвет устремил меня к воспоминаниям: я увидел (вашу) сине-зеленую юбку, (ваш) индийский колониальный загар, и глаза (ваши) мне усмехнулись тут, поверх старой живописи простого сердцем художника…

Кружилась моя голова, а вино заедал я бисквитами. За первым я спросил второй литр. Два раза я выходил через задние двери освежиться. А когда я вернулся во второй раз, не оказалось моей шляпы на столе. Улыбаясь, – а я еще мог чувствовать, наблюдать за собой, – я сказал об этом юноше за стойкой. Два игрока, два старых картежника подтвердили мои слова, один из них помянул араба, только что заходившего. Юноша открыл двери, вышел и, обойдя угол, вернулся в левые двери. Он свистнул и, постояв, прошел за стойку. Вернулся он с клетчатой коричневой каскеткой.

Я отказывался, но меня уговорили принять возмещение. Махнув рукой, я надел каскетку и сел допивать литр. Все-таки шляпа была моим неодушевленным другом, живым воспоминанием, памятником. И, хотя я работал в ней в порту, она была вполне хороша…

II. Коврик у постели

В общем я просидел на месте до второго часу ночи. Я что-то задолжал любезному юноше, франка четыре или больше: спрашивал вина, съел порцию макарон с сыром. Все очень жалели о моей шляпе, столь загадочно исчезнувшей, а я находился в состоянии, когда жалость во мне засыпает: кажется, настойчиво, но осторожно я искал случая ошеломить кого-либо удачным кнок-оутом. Но, видимо, моя осторожность была разгадана юношей: еще более осторожно он проводил меня до дверей. И я остался один на тротуаре, на свежем воздухе.

Горели фонари на кронштейнах в узкой улице. Свистал мистраль, было безлюдно. Я пошел, сунув руки в карманы, на набережную. «Черт возьми! – думал я. – Как хорошо теперь сидеть у камелька в безлюдном

кубрике в одной из этих прелестных яхт. А впрочем, там, наверное, паровое отопление? Или водяное?».

Я шел, пошатываясь, преодолевал мостовую. На трамвай у меня не осталось денег, да и куда было ехать?

Вдруг я отшатываюсь, – автомобиль проносится, мужчина и женщина сидят там за стеклами. Выждав, я иду своей неверной походкой по темному следу и – останавливаюсь, изумленный: автомобиль стоит.

– Иди сюда! – кричит мужской голос в дверцу.

Я приближаюсь.

– Ты очень устал, мой друг? – спрашивает мужчина задорным голосом.

Я отвечаю:

– Добрый вечер.

Они смеются.

– Где ты живешь?

– У Нотр-Дам.

– А, в госпитале?

– Нет, в церкви, – отвечаю я медленно.

Они опять смеются.

– Послушай, может быть, ты кюре?

– Ты испанец? – перебивает женщина.

– Да, мадам, я испанец…

И они опять весело смеются.

– Полезай сюда, – говорит мужчина. – Живо!

– Куда вы меня повезете?

– Мы повезем тебя в Испанию! – отвечает женщина.

– Идет. Я ваш, – с этими словами я полез внутрь, воспринимая забытый запах духов, уселся на передний поднятый стул, и шофер помчал нас.

Так сказочно мы стремились куда-то! Смутное освещение и хмельная близорукость мешали мне – да я, кажется, просто задремал.

– Господин кюре! – прокричала женщина мне в ухо. – Выпейте за наше счастье, мы ведь только сегодня поженились!..

– А-а, – бормочу я в непонятном блаженстве.

Мы начали петь, т. е. пели они двое, я не знал слов этой песенки о марокканском солнце и только, подпевая, гудел. Женщина хохотала, она бушевала, пьяная от своего женского счастья. Она сорвала с меня каскетку и дергала меня то за ухо, то за волосы. Мы пили коньяк прямо из бутылки, а потом Марсель (так звали мужчину) выбросил бутылку за окно – или это мне показалось.

Я вспоминаю теперь тот ночной страх, с которым я поднимался по незнакомой лестнице в неведомый этаж. Помню, лестница была в большой чистоте, ступеньки натерты воском. Я поднимаюсь нетвердо, ударами пер-

чаток по затылку подгоняют меня сзади молодожены, и Марсель кричит время от времени «жа» и «е» – как кричат французы на лошадь, чтобы она повернула налево или направо.

Марсель открыл дверь квартиры, и мы вошли. Вслед за женщиной (я так и не запомнил ее имени) я очутился в спальне – а, может быть, это была единственная их комната. Меня поразило почему-то голубое, с рыжими драконами одеяло на раскрытой постели; драконы светились на шелку, как бы присмирев, а женщина, оставшись в красном платье без рукавов, подергала меня за нос. Я сел на низкий пуф у большого зеркала. Драконы и белизна огромной подушки отражались там. Женщина поднесла мне высокий стакан. И пораженный ужасной спиртной смесью, сквозь слезы последнего сознанья я видел, как хохочет она, ударяя себя по коленям.

Когда, очнувшись, я поднялся, голова моя закружилась тихо. Я спал сколько-то времени на ковре подле кровати с голубым одеялом – спал, точно альковный страж. Люстра горела ярко, в тишине перемежалось дыхание спящих. Маленькая подушка лежала возле моей головы; кукла, желточерный Арлекин аршинного роста, раскинулась рядом. Я был в пиджаке, в ботинках, только мой шерстяной галстук был развязан, а ворот свитера расстегнут.

Осторожно я поднялся. Они спали крепко на своей широкой кровати, шелковое одеяло сползло одним краем. Женщина лежала нагая, а мужчина в расстегнутой пижаме. Усталы, скорбны были их лица. Я отвернулся.

На столе, на разостланной салфетке остался нетронутым холодный ужин. Но мне нужно было раньше освежиться. Я выбрался в темноту, осветил спичкой переднюю, зажег электричество и замер, прислушиваясь, ожидая, что буду захвачен, как преступник. Переступая, стал я приближаться к дверям, ошибся, подошел к другим и, наконец, осветил белую засиявшую ванную.

Мне очень захотелось вымыться всему, но я поборол это искушение. Я вымылся по пояс, причесал волосы – брился я вчера. Затем, потушив свет, перетащился я к дверям спальной и вошел в нее.

«Что ж, – думал я, точно отвечал внимательному ребенку, – раз я кюре, я могу, следовательно, поужинать за счет паствы». Я сел к столу, отрезал хлеба – холодный ростбиф и масло привлекали мое внимание всецело. Но предварительно я налил в стаканчик коньяку.

И вот, закусывая, я вдруг замедлил движенья и оглянулся. Я как бы просыпался во второй раз: вся эта ярко освещенная ночная комната, безмолвие, неподвижность спящих, сам я с едой во рту – все предстало нагло и пронзительно, повторяясь в ясном зеркале как чужое…

Второй стаканчик успокоил меня. Теперь я стал слышать тиканье часов, – я присмотрелся: золотые часики с женской руки лежали на столе у изголовья.

Они показывали четверть шестого. «Как мало, однако, я спал: уснул не раньше трех, проснулся около пяти, наверное», – думал я, а сам смотрел на смятые деньги, на кольца и бумажник из красной кожи…

Очень скоро я насытился вполне. Тогда я взял блокнот и чужим стило написал крупно: «Кюре поел и уходит. Dominus vobiscum». Оглянувшись еще раз, я заметил возле перчаток мелкие деньги и написал еще: «Кюре взял двадцать су за требу. Te Deum laudamus».

Так, с франком в руке, вышел я благополучно из этого ночного дома, спустился осторожно по лестнице, открыл американские замки.

На улице пахло морем, но ветра не было, еще не начинало светать. В синем мраке, сквозя огнями, шел ранний трамвай. Я поехал на площадь Жолиетт.

III. Когда болит сердце

Оно начало болеть после двух черных кофе – в баре. Я перестал курить и даже приоткрыл рот, пережидая одышку, сердечный хватающий трепет.

И, может, было мое счастье в том, что я не попал на работу в это утро. Гудели и завывали сирены в половине восьмого, непрерывно грохотали грузовики-телеги с высокими козлами, бичи стреляли над жирными крупами здоровенных дышловых коней, – а я пошел на мол.

Было это утро облачно. Мистраль стих. В море был туман, вода едва колебалась. Я сел ниже тротуара на один из волнорезов и закурил.

В тумане палевого цвета проходили медленно и беззвучно моторные катера рыбаков. Сердце млело, я выпрямился. Вода ластилась к пористым бокам камней, набегала, набегала – то ли гекзаметром, то ли ямбом.

Я стал думать о Герцене («гекзаметр прибоя») и о Гумилеве («грустят валы ямбических морей»), но мне было трудно думать, и сердце не утихало. Я перестал курить и прилег. Два безработных негра прошли надо мной. Дрема опускала мои веки, сердце отпускало железный обруч, благодать спокойствия взяла меня за плечи…

Почти весь день провел я на молу. И сколь прекрасна была моя боль во сне! – Я шел по глубокому снегу среди высоких деревьев, поднимался на склон – мыс Гольденштедт, парк Гондатти… А вот и дача Толмачевых. Я вхожу на веранду, на мне мое широкое пальто, мохнатый шарф, оленья шапка. Я открываю дверь, она осыпает снег – удивительно пахнет снегом. Вот комната, деревянные панели, винтовая лестница наверх. И еще я вижу серое пальто в плетеном кресле у камина.

Это вы. На серую шляпу с круглым дном, на широкие поля ее поднята черная вуаль с лица (я уже сижу справа от вас), глаза полузакрыты, сумрачны. Руки покоятся в большой серой муфте на коленях, серый воротник лежит по плечам. Молча я оглядываю комнату. Она освещена снеж-

ным полднем. Над панелью по всей стене на длинной полке стоять каменные и костяные китайские болванчики; фотографии – я различаю Толмачева в мундире пажа. Все по-прежнему, только вместо круглого стола стоит бильярд, и на него брошены пальто и шубы. Мне кажется, я узнаю зеленую со скунсом; но я спокоен.

– Да это Кексгольмского полка? – указываете вы мне на грудь, приподнимая лицо.

Я, опустив глаза, вижу крест, похожий на мальтийский.

– Ведь я же никогда не служил в Кексгольмском, – отвечаю я. – Я числился по кавалерии, если вы помните? А теперь…

– А теперь? – ваши зеленые глаза удивительно спокойны, они равнодушны.

– А теперь я верю, что единственно прекрасный бой – это бой один на один с жизнью. Не как с врагом, а как…

Но, продолжая наблюдать равнодушие, я опускаю глаза. Я вижу ваши желтые лондонские ботинки, сердце мое вздрагивает, и я начинаю задрожавшим голосом:

– А помните вы тот вечер, когда мы втроем сидели за чаем: вы, Вера Ивановна и я? Вера Ивановна назвала вас королевой за вашу точность, а меня вы упрекнули, что я всегда опаздываю. И когда я стал оправдываться, Вера Ивановна воскликнула: «А, он хочет быть королем!». Я смешался; тогда и в вашем лице, в глазах, мне кажется… Да, я, боясь покраснеть, сказал, что вы похожи на «Золотую Пору» Альмы Тадемы…

– Ну, а дальше? – говорите вы, и лицо ваше розовеет.

– Боже мой, эти же слова сказали вы тогда! – восклицаю я. – Дальше?.. А дальше ничего не было. Правда, ничего?.. Я вспомнил все это отчасти в связи с историей двух подруг: Нетти и Сенди. Одна из них была больна свинкой, они ежечасно обменивались письмами.

– Зачем вы это мне рассказываете? – спрашиваете вы негромко.

– Бог знает! Может быть, потому, что Сенди любила «Разговор с дьяволом» Успенского и…

– Нет, нет, нет, – повторяете вы, – я…

Но в это время дверь наверху отворяется, контр-мэтр третьего секциона Гастон кричит мне оттуда, чтобы я нагрузил на лифт одну пустую большую тачку.

В самом деле, сидим мы не у камина, а у темной пасти товарного лифта…

Этот сон я вспоминал на Жолиетт, сидя недалеко от фонтана. Я вспоминал и закрывал глаза, а в свежем воздухе вечера фонтан все плескался. Здесь пахло водой и крепко веял запах конской стоянки: днем тут стояли ломовики. Я слушал фонтан и вспоминал холодные утра в декабре, мрачную, еще ночную площадь и этот плеск, желтые огни барок и заревые

облака над высокой темнотой крыш.

В первом часу я постучался на кухню ресторана к Тромбергу. Он уже кончил уборку, снял свой синий фартук, сидел за столом под лампой – писал письма. Меня он встретил молча. Молча и я стал готовить себе постель: положил рабочую синюю куртку и штаны, покрыл их свитером. Газеты были моими простынями, крышка стола – кроватью, пиджаком я покрылся.

Я лежал в тени и смотрел на угрюмое лицо Тромберга. Дрема заводила глаза.

IV. Восемнадцать часов

Проснулся я в третьем часу, и мы разговорились. Тромберг от написанных писем (двум невестам: в Нарву и в Тверь) казался охмелевшим – ему необходимо было высказаться до конца. Он разыскал где-то бутылку Барзака, положил на стол папиросы, – и я вынужден был спуститься с моей кровати.

А в двадцать минут шестого я был на Жолиетт и тотчас же попал на первый секцион в экип Канари: мы начали на час раньше, начали возить на больших тачках и таскать на себе, возить по триста кило, таскать на спине сто и сто десять.

Таким образом я работал до обеда пять часов и после обеда еще пять. Последние дни, голодные, но хмельные, сказались во время работы: я потел, колени тряслись, когда я нес на спине мешок. Временами я отчаивался, намеревался бросить, уйти, но веселый корсиканец опять кричал веселое, хлопал меня по плечу, и я ободрялся.

Когда-то я любил спорт: десять часов тенниса в знойный день были мне нипочем. Или прыжки с шестом… А вот теперь я устаю, тоскую. Не правы ли психотерапевты, утверждая, что причиной душевных (и прочих) недугов является ремесло не по нраву?

В половину шестого я получил деньги и пообедал под навесом у итальянки Морисы. Не скажу, чтобы я много съел… Но когда я вышел из-под навеса, намереваясь купить сигару, – мое рабочее счастье воссияло еще раз: казак Василий пригласил меня на ночную работу – на австрийский экспресс.

– Тяжело будет? – спросил я.

– Да Господи ты Исусе! – возразил он. – Ящички там какие, почта – все барахольное. Не то, что днем. Понятное дело: шеф смирился за день, а люди еще поболе, я думаю. Ну, так как – са ва?

– Идет.

– И чудесно! Ну, первым делом провизией запасемся: по литру вина и какой-нибудь чепухи на закуску. Табак имеете? – спрашивал он уже на ходу.

В девять часов мы начали работу, – литр белого вина прирастил мне крылья насмешливой бодрости. На больших тачках подвозили мы ящики с французскими винами. Обвязанные, взмывали они пачками на высоту к палубам. Как во сне, удивительно невесомый в призрачном свете высоких ламп, возил я свою тачку из пакгаузов, где, как воспоминания, дышали приторно колониальные запахи, – потом шел каменной мостовой к высокой стенеокеанского парохода. А там, наверху, тоже ярко горели огни, и порою какая-нибудь леди смотрела через перила, рассматривала нас.

Там на палубах били в гонги, созывая к вкусной еде, играла труба, созывая команду. Потом, после нашего полночного завтрака, огней стало меньше... В это время и я почувствовал тоску, и спасла меня «бабка», старая француженка: я выпил в ее лавочке на колесах два стакана белого с лимоном. А потом еще три раза мне пришлось подойти к бабке, ибо все тяжелее становилась тачка.

В половине пятого кончился наш лошадиный труд, без четверти пять я получил деньги. Теперь стали заметней темнота и сырой холод. Ноги мои точно выросли: я шел и спотыкался, меня пошатывало. И ни о чем я не думал.

На углу я дождался трамвая, и, когда сел в него, яркий свет доконал меня, я уснул без видений и, проснувшись внезапно, заторопился сойти.

Свежесть рассвета приблизилась ко мне. Я оглянулся – да, я приехал на мол! «Но все равно, – подумал я, – у Тромберга теперь спать осталось меньше часу. Судьба: пойдем на «Николай» к Лукьян Матвеичу».

В баре Гарибальди, сев в угол, я заказал пиво и попросил хозяина разбудить меня, когда придет за молоком русский старик Лука. И сон сморил меня над первым же стаканом…

Я спал весь день и всю ночь до утра. В кубрике горела свеча в фонаре. При свете ее и в отсвете печурки полуголый мускулистый человек (черные волосы падали ему на глаза) стирал белье в большой лохани, и вода исходила паром.

Я заворочался, и мы разговорились. Амос Голубенко, бывший матрос, предложил и мне постираться и помыться. Он сам принес мне горячей воды, уступил мыла, нашел вторую щетку. С радостью обласканного, принялся я за мытье.

V. Мадам Мари и ее друзья

Во втором часу солнечного дня я вошел с Амосом к мадам Мари. Пить мне вовсе не хотелось, но я предполагал отблагодарить Амоса, а приехали мы так далеко потому, что только здесь я мог встретить Василия, когда он не работал: его тоже следовало угостить стаканом вина.

В комнате, неметеной и темноватой за отсутствием окон (свет проходил через стеклянную дверь), за круглым столом против готического плана

колониальной выставки в Лондоне сидела компания – Василий первый закричал мне. Тут я увидел ротмистра Поллака, лейтенанта Оглоблина, пожилого казака Якова Петровича; всеони были очень веселы в обществе двух уличных женщин. Нам очистили место.

Конечно, и на этот раз не обошлось без обычного спора, ссоры, когда противники вскакивают, вино разливается, и прячутся за спины соседей малодушные женщины.

Однако недоразуменье между Поллаком и Василием мы разрешили быстро: Яков Петрович обнял Поллака, я схватил за руку Василия, а соседка моя Жермен отвела пальцем лужу на столе.

Стало опять весело, но тут, пересекая разноголосицу нашу, заговорила, входя, решительная Марья Михайловна, сестра общежития:

– Господа, я к вам с убедительной просьбой: помогите перенести покойного капитана Ершова из его кабины в церковь. Я уже битый час ищу людей, но все решительно ловчат. Алексей Андреевич, Яков Петрович?..

Мы вышли за ней немедленно, – один Василий, виновато улыбаясь, признался, что «дюжо захмелел».

Гусем вошли мы в кабину, увидали разоренное смертью жилище, туберкулезного покойника на занавешенном простынями столе, мертвое лицо его в углу под широким окном и синеву в окне, и заплаканные глаза маленькой вдовы.

Очень дружно и быстро переложили мы тело в гроб, оклеенный белой бумагой. А потом стали совещаться, как вынести гроб.

– В коридоре вам не развернуться, – говорила Марья Михайловна, став над покойником.

– В коридоре не развернешься, да, – повторял Яков Петрович и посмотрел на меня. – Знаете что, ступайте-ка вы с вашим другом во двор, принимайте, а мы отсель, значить…

Достаточно неловко было принимать гроб в окно. Близость покойника стесняла движения. Я почувствовал испарину и все задерживал дыханье.

Когда мы вернулись к мадам Мари, молчанье пришло вместе с нами. Никто не тронул стакана. Первым заговорил Амос:

– Ну, снимаемся, ваше высокородье? – спросил он меня. – Чтой-то не пьется больше.

– Пойдем, – ответил я.

– Да и я, пожалуй, до хаты, – поднялся Яков Петрович.

«Я поссорился с женой (она была беременна и часто раздражалась) и уехал из Лиссабона в Испанию. Я сносно говорил по-испански, и все сходило вплоть до Севильи. Однажды меня задержали в ночном баре жандармы. Мне угрожала высылка в Советскую Россию, – я записался в легион. Получив на руки деньги, я один, без провожатых, выехал в Африку…», – так рассказывал мне Тромберг.

Хрестоматия

VI. Happy day

Однажды в Аржентейле, вернувшись в июльский полдень из Парижа, я пошел домой не обычным своим путем, – дорогой в Саннуа, – а перешел под железной дорогой на ту сторону, где было много молодых палисадников и новых небогатых вилл. Там я увидал этот небольшой кирпичный дом в плюще, белые жалюзи и эмалированную дощечку на столбе калитки: «Happy day». Фокстерьер стоял молча за калиткой, а во втором этаже скрипка играла вальс Сибелиуса.

Все это припомнилось мне утром, когда в праздничном пиджаке брился я на площади Карно, пил кофе, чистил ботинки.

Happy day! – Я отправился в трамвае к Нотр-Дам.

На лестнице, что вела в гору, припекало. Я шел не торопясь, останавливался, оглядывался. Шире и шире развертывались морская окрестность, зеленые сады, каменные соты города, – и тайная радость трогала мое сердце.

А церковь, мавританская, двухэтажная, с башней в пять этажей, где стояла позолоченная большая Мадонна, благословляя со своей высоты город, лежащий в котловине, – церковь приближалась ко мне медленно, венчая гору.

Я еще раз оглянулся. Теневая пыль стояла над пропастью города. Я прищурил глаза и увидел узкие улицы и открытые магазины, лоск стекол, лакировку бесчисленных обнов, тесноту на тротуарах, блестящие женские глаза, нежную кожу щек и затылков, походки, услышал запахи, картавые голоса…

В нижней сводчатой церкви не было службы. Ее освещал полыхающий свет паникадила, старичок в белой куртке менял свечи, большое распятье было освещено снизу этим светом: бедро у Христа язвилось кровью, голова в терниях поникла, а вокруг и выше развешаны были разнокалиберные костыли и восковые слепки ног. И, как прибой морской, ходил ветер за толстыми старыми стенами…

Счастье свободы, позолота, синева в окнах купола сияли высоко в верхней церкви! Едва колебались модели шхун и пароходов, подвешенные к люстрам. Играл орган. Священник в кружевах молился у кружевного престола перед золотой Девой, а по стенам звездами прибиты были старые французские палаши, кресты и медали умерших героев… Колокол ударил, загудел над головой, и я вышел на воздух.

Я обходил террасу вокруг церкви, ступал медленно, выжидая случая зажечь спичку за ветром, – как детский берет подкатился к моим ногам. Я подхватил его и выпрямился, видя: льняные волосы мальчика топорщились от ветра, благовоспитанная сестра вела его за руку.

Они оба поблагодарили меня. Я указал им место, где ветра не бывает на этой террасе. Я их проводил и остался стоять, наблюдая.

Я видел молодую француженку почти в профиль: темный румянец ее щеки, укороченную линию носа, изгиб над сомкнутым внимательным ртом, нежную бледность шеи, выступавшей из черно-золотистого кашне. Дочь винодела или адвоката? Нет, она говорит и смотрит иначе: дочь профессора или офранцуженная англичанка, дочь офицера. Светло-коричневое меховое пальто, коричневые чулки, все это я заметил…

А разговаривали мы очень мало. Я назвал себя после того, как перечислил окрестности. Может быть, она была рада, что говорит с иностранцем. Она читала Толстого и Чехова. Она думала ехать в Россию после совершеннолетия. Теперь обстоятельства изменились… Но все, надо полагать, изменится к лучшему, и я вернусь на родину, о которой, конечно, скучаю…

Оставшись один, я сел на выступ в стене и на остатках блокнота начал рисовать ее, холодную улыбкой француженку. Я рисовал ее в профиль и удивлялся сходству – не всегда я бывал столь удачлив… Тень пала мне на бумагу: какой-то старик, болезненный, в широком пальто, с тростью. Это он следил за мной.

– Извините меня, – сказал он, – покажите, пожалуйста, вашу работу.

Я встал и протянул ему. Он надел пенсне.

– Хорошо, – проговорил он просто, – где вы учились?

– Нигде, – ответил я. – Отдельно рисованию не учился.

– Да?.. не русский ли? – продолжал он по-русски, внимательно смотря на меня поверх пенсне.

– Да, я русский.

– Ну, будем говорить по-русски. Но сядем предварительно, – говорил он по-русски с некоторым усилием.

Он сел, и одышка, которая проступала между его слов, стала заметнее. Потом он заговорил:

– У вас, на мой взгляд, способность к графике. Не знаю, как у вас с колоритом… А средств учиться нет?

– Нет.

– Хотели бы учиться?

– Хотел бы.

Он помолчал, медленно моргая длинными ресницами, опустив голову.

– А чем вы занимаетесь?

– Работаю в порту.

– Неважная работа… А помощь могли бы принять вот такую: вам находят службу – не портовую, а лучше, предоставляющую возможность учиться… Что вы скажете?

– Я скажу, что буду очень благодарен тому, кто предоставит мне такую работу…

– Прекрасно, – перебил он меня, – прекрасно… Но вот еще что: вдруг это лицо – еврей, а вы – офицер белой армии несомненно? Вас это не будет шокировать?

– Нет.

Он оглянулся. Невеселые глаза его посмотрели на меня. Потом он отвернулся, опять наполняясь страданием, тщетно дыша…

Он посмотрел на часы и, опираясь на трость, поднялся.

– Больше я не свободен, к сожалению, – сказал он, глядя на меня. – Я вручу вам мою карточку. Пожалуйте ко мне завтра к одиннадцати утра, и мы потолкуем обо всем досконально. До свиданья…

Я проводил его вниз, мы вместе спустились в фуникулере. На улице он сел в такси.

Я остался один. А в городе, по-видимому, начинался праздник…

VII. В зоологическом саду

Без четверти одиннадцать я слезал с трамвая. Номер восьмой я высчитал сразу же и уже не терял его из глаз, так как на дверях его были черные с серебром портьеры бюро похоронных процессий.

– Может, это и к счастью, – подумал я, входя под невеселую арку.

Я миновал столик с траурным листом, дверь у консьержки была открыта: старушка в кресле назвала мне первый этаж, налево.

Я поднялся по короткой лестнице и вошел в незакрытые двери. На мой кашель в переднюю вышла пожилая женщина в провансальской косынке на плечах.

– Господин Рогановский? – спросил я. – Могу я его видеть?

– Видеть? – переспросила она. – Пожалуйста, мосье. Вы уже знаете?

Озноб прошел по моей спине.

– Что? – воскликнул я невольно.

– Мосье Рогановский умер сегодня в пять часов утра.

Мы смотрели друг на друга. Но, право, я не помню лица этой женщины, я помню лишь ее траурную наколку…

– Пожалуйста, мосье, войдите, – сказала она с участием.

Я вошел и увидал большую темного дерева кровать, человека в сюртуке на ней. Лицо, странно похожее на вчерашнее, отражалось на лице покойника. Черные ресницы плотно лежали на запавших подглазицах.

Я оглянулся, увидал гравюры, услыхал запах раньше мне никогда незнакомого жилья, и комната слезно затуманилась передо мною…

Крылатая тень упала на весь мир. Я выпил на углу в баре две рюмки коньяку.

Часа в три я оказался в зоологическом саду.

Я долго следил за львом, как он, избегая, – не пряча, а спокойно отводя куда-то мимо взгляд, – минуя глазами глаза любопытных, прохаживает-

ся стесненно, мягко кружит по клетке, останавливается, что-то нюхает гордо, смотрит поверх, мимо нас, и веки его напоминают веки гордого бедняка, больного почками.

Потом я наблюдал нищенские, преступные глаза гиен. Кормил булкою старого, встающего на дыбы, медведя.

Здесь же в саду, у длинной изгороди курятника, меня нанял к себе на ферму круглолицый француз с трубкой. Он сам предложил мне 220 франков на всем готовом.

Когда я вторично проходил мимо льва, он по-прежнему казался зевакам гордым босяком (шерсть его местами свалялась), а я уже был работником с фермы, по-праздничному гуляющим заодно с хозяином.

И хозяин мой оказался большим шутником…

Впервые опубликовано и печатается по: Новый дом. 1926. № 2. С. 17-30.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮСЬЕНА

Sa vida e sueno.
Кальдерон.

Морские небеса стояли над Марселем, смеркался октябрьский день, человек, вышедший из хорошего дома возле площади Кастеллян, ничем, собственно, не выделялся среди остальных прохожих. Правда, он был без шляпы, но в наши дни многие ходят без шляп – и еще он был чрезвычайно бледен.

Итак, он шел по улице, ничем внимания к себе не привлекая, и очутился в конце концов на Кастеллян. В это мгновение вспыхнули фонари, зажглись трикира вокруг фонтана, якобы бесконечно обозначилась аллея Прадо и менее протяжно, но люднее и по-городскому заманчивее, осветились другие прилежащие улицы.

Человек без шляпы обогнул фонтан, пошел через площадь, приостановился, пережидая цепочку трамвайных вагонов, вступил на тротуар…

Некоторое время спустя его можно было увидеть на Канибьере. Там на переполненном тротуаре он выступал по-прежнему бледный, хотя бледность была присущна многим в этом ярком освещении широкой улицы, в коловращении, в мигании всяческих реклам.

Выйдя к началу Бельгийской набережной, он замедлил: то ли она, эта встречная близость моря (а на море уже царствовала ночь, тьма под звездами), то ли веселое радио на отъезжающих в морскую прогулку катерах его заинтересовали, но он остановился, заложил руки в карманы пиджака. Его обходили, миновали, вокруг переговаривались, теснились, перекликались, кое-кто отплывал в море, за маяки, к замку д'Иф – вечер был удивительно

благодатный, с такой старинной проникновенностью отражались, двоились огни в темной воде!

Затем этот прохожий оказался в большом ослепительном кафе на углу – перед высокой стойкой, где белые гарсоны с обезьяньим притворством наливали в стаканы и в рюмки. Он заказал себе Блисса, – не оттого ли, что кто-то по близости пожелал выпить этого портвейна. Вслед за Блиссом он спросил Сен-Рафаэль – и опять-таки в ответ на чей-то голос, потребовавший Сен-Рафаэль. Но никто, решительно никто им не заинтересовался, даже его явное недоумение над вынутыми деньгами никого не привлекло: медленно положил он на прилавок билет в сто франков и еще медлительней, неуклюжей собрал сдачу и ничего не оставил на блюдечке.

Вечер продолжался, вечер пустел понемногу, приобретал ночную резкость, быстрее прокатывали такси, гремя опускались ставни колбасных, позакрывались кое-где узенькие бистро… Было за полночь, когда этот странник, окончательно потерявшийся человек обосновался в темноте на скамье подле кафедрального собора, ощупывая, но не вынимая две пачки английских сигарет, глухо прокашливаясь от морской сырости.

Сюда, к собору, он поднялся по одной из каменных, вечно загаженных лестниц. А здесь редкие газовые фонари, одинокие скамьи, огромная соборная тень на пустынном возвышенном плацу – все это, казалось бы, никак не располагало ни ко сну, ни к уюту. А он, между тем, все умещался на скамье, все переставлял ноги.

Таким образом он и уснул – тихо, лишь поскрипывая зубами. Всего раз прошел мимо него полицейский, но не тронул, не приостановился, а лишь сладко зевнул, проходя. И вот, время спустя, появился Бог весть откуда, бессонный, простуженный, перхающий осторожно – подлинный бродяга. Он подступил к спящему, мягко ощупал его и с бережной ловкостью вытащил из карманов бумажник, часы, две пачки сигарет, два платка, сдачу из жилета и булавку из галстука. Ближайший, но совершенно отдаленный газовый фонарь как бы задувало с моря, темные призраки летели над морем, а этот, перхая, точно трубя, легчайшими шагами, неслышный в своих вдребезги рваных туфлях улепетывал через пустынный плац.

Когда человек на скамье проснулся, утро наступило воочию. Светило солнце, внизу на набережной, мимо больших бочек, проныл трамвай. Вокруг собора было по-прежнему пустынно, один полицейский, молодой еще человек хорошего роста, наблюдал в отдалении за странным бездомным; а тот сидел, мигая, пораженный утренним блеском, изрядно продрогший, с отекшим лицом – затем встал и тронулся прочь.

Чудесное утро было на самом деле свежо, хоть и солнечно. Начинался день рабочий, но не всегда ведь работают все. Так что ничего удивительного не было, если в опустевшем по-утреннему баре Феликс, неподалеку от форта Сан-Жан, засиделся докер Марсель Кулон и, довольный

(или прикидываясь довольным, ибо похмелье – вещь малоприятная), весело беседовал со стариком хозяином в вязаном жилете. Марсель говорил без умолку, лишь бы не прислушиваться к внутренним угрызениям, хозяин отвечал спокойно, перемывая неторопливо стаканы, а в это время в бар вошел человек из города, без шляпы, с растрепанными волосами, – явно, что кутил где-то. Хозяин спросил его о кофе с ромом, и он равнодушно повторил: кофе с ромом…

Он стал неловко размешивать. Воротник на нем был заметно смят, рука, державшая ложечку, приобрела тот металлический отблеск, что свойствен холеной коже, которую забыли помыть этим утром. Он отвернулся к окнам и начал прихлебывать, положенная на самый край ложечка упала на пол, но чудак не пошевелился. Марсель, приумолкший над своим двойным ромом, довольно покрутил головой – ведь вот же какая птица попадется и страдает. Как наш брат, – но старик Феликс, перемывая посуду, неотступно, подозрительно следил.

Да и дальнейшее вполне оправдало эти подозрения: у странного посетителя не оказалось ни одного су. Без особой живости он шарил по карманам и нигде ничего не находил, и поднял на старика неподвижный хмельной взгляд. Старик порозовел от гнева, с сердцем встряхивая мокрые пальцы, но Марсель подбросил метко четырнадцать су на цинк – eh, alors?

После этого он первый обратился к чудаку (он продолжал стоять, как не выспавшийся) с предложением выпить чего-нибудь – пожалуйста, без стеснения. И когда тот молча согласился и присел за столик, Марсель, потирая руки, заказал два двойных коньяка.

Гость, однако, оказался не из разговорчивых, что-то у него сидело на сердце, дело заключалось не в одном похмелье, но Марсель духом не падал: на худой конец ему подвернулся покорный слушатель, что и требовалось ему с самого утра.

Они выпили, закурили, выпили еще по двойному рому, после рома выпили по эльзасской белой. Тут-то, вскоре за эльзасской, Марсель заметил, что слушатель его мирно спит. Что же, следовало приютить беднягу, все равно в комнате есть пустая кровать, – и, расплатившись, Марсель вывел нового друга на улицу.

По дороге он узнал очень немногое: что у чудака нет дома, нет работы, – и Марсель сам начал отвечать на свои вопросы, он значительно толковал о соблазнах богатой жизни, о слабостях человеческих и о тюрьме, наконец: а все-таки, она вещь не плохая, эта тюрьма; понятно, лучше ее миновать… но вот он, Марсель Кулон, дважды вкусил казенных харчей…Жизнь пропала, черт побери, приходится гнить тут, среди негров и алжирцев!..

Без особого труда, даже не повстречав никого на лестнице, они поднялись на шестой этаж, вошли в низкую комнату на троих. За раскрытым

окном в узкой улице привычно висело вымытое белье, было бессолнечно, уединенно, в углу Рафаэля висела гитара на белой стене. Марсель сам раздел своего гостя, уложил, заботливо прикрыл. Потом с трубкою он сел к окну подумать.

Ну, разумеется, он не пьян, и, даже проспавшись, он не оставит этого чудака. Он будет работать в порту, завтра пойдет на работу. Правда, на первое время из него работник… посмотрите-ка на эти руки. А амуницию эту следует сейчас же продать и купить рабочее (тут Марсель поднял с пола и недоверчиво посмотрел на легкий, хоть и с двойным рантом полуботинок).

В седьмом часу вечера бледный, начисто выбритый человек (без усов лицо его как-то постарело, сделалось угрюмым) сидел против Марселя в погребке у известного Франсуа. Второй литр вина, круглый омлет с луком, кило хлеба – все это поглощалось в молчании. Но и пережевывая, Марсель поглядывал на своего нового друга с удовольствием. Эта синяя роба, исправно залатанная, будет носиться долго – настоящая шанхайская; ботинки совсем новые и не тяжелые; рубашка, каскетка, новенький шелковый платок на шею за девять франков, сбритые усы, – да сам черт не узнает теперь утреннего интеллигента, что без единого су забрел пить кофе к сумасшедшему Феликсу… Еще очень нравилось Марселю спокойствие Люсьена (так он начал называть своего товарища, перейдя без лишних слов на ты): ведь ни слова не возразил он, когда узнал, что все его великолепие пошло (ну да, по пьяному делу) за сто семьдесят четыре франка.

На следующее утро он, этот выбритый, печальный человек, представлял из себя любопытное и смехотворное зрелище: он работал, он стоял вместе с другими двумя на помосте, на который кран с парохода отпускал связки по шестнадцать мешков с рисом, и носильщики один за другим подходили к помосту (высотой им по плечу) и уходили в ангар, неся сто десять кило риса в тугом мешке. На обязанности этого чудака было отстегнуть круг кранной цепи, подвесить на клюк свободный из-под мешков канат и еще помочь двум другим откачнуть, подтолкнуть связку, чтобы опустилась она правильно, – почетная, легкая работа, но как он выполнял ее! Крюк у него не цеплялся сразу, набитый пустой канат дважды падал в воду, когда цепь взмывала вверх и шла по воздуху на пароход; однажды он сам было едва не полетел с тридцати метров, а в другой раз связка с мешком столкнула его с помоста на пол; он был весь в поту, рубаха его потемнела, кругом хохотали, зубоскалили, и только Марсель не смеялся, а яростно переругивался со всеми, в том числе и с самим шефом, краснолицым Пуле, который уже несколько раз посылал «интеллигента» вниз на позорную работу – носить мешки.

На другой день Люсьен не мог пойти работать – он совершенно ободрал нежные неумелые руки свои, все тело его ломило. Тогда решил ос-

таться дома и Марсель; все равно есть работа: следует постираться. Рафаэль, который нежился в кровати, был назначен в поход на рынок – затеивался небывалый буайбес.

В этот же самый час старый Феликс в своем солнечном баре, улучив, наконец, свободную минуту, взялся за газету; постепенно (не было в баре никого) дошел он до третьей страницы – и тут довелось ему посмотреть проницательно поверх газеты, поверх пенсне на старую стенную живопись, где уже шелушились море, небо и парусники между ними: бледное лицо, перекосившийся галстук, кофе с ромом, четырнадцать су нетрезвого докера – ведь это он, этот самый господин, изображен сегодня в газете: адвокат, после контузии страдает припадками, ушел из дому позавчера, жена умоляет за вознаграждение…

– Марк! – возгласил кто-то, зашедший с улицы.

Под буайбес было выпито вполне хорошо, ибо буайбес способствует чудесной жажде. Всех ударило в испарину после третьей тарелки. Рафаэль, который один изо всех спускался за вином, даже вроде набросил полотенце на плечи.

Люсьену из-за рук не пришлось работать и в субботу. Не работал также и Рафаэль Кассини. В час завтрака, в начале девятого, спустились они вдвоем на улицу.

В общем уже всюду царствовали безмятежный туман, туманная тишина. Если бы он, Люсьен, попытался найти дорогу в порт, он бы ее не нашел, – он подумал об этом, но смутно и без горечи.

Жизнь проблескивала подобно солнцу за мглистыми облаками. Например, каков из себя Рафаэль? Неизвестно. Существует голос Рафаэля, молодой, повелительный. Голос приказал зайти к Франсца, пить вино, закусывать корсиканским сыром. После голос Рафаэля соскучился, голос начал чередоваться с позевками, с кашлем от затяжки – и Рафаэль куда-то ушел.

А он продолжал коротать время наедине ни с чем. Впрочем, после вина солнца как бы прибавилось, жизнь приближалась. Узкие улицы, белье вверху, а еще выше – туман лазури. Слева, в глубине покатых, темневших переулков, где догнивали какой-то сор, какая-то мокрая зелень, – блистала голубая бухта. В тенистом бистро играло механическое пианино. На порогах выстраивались полуодетые женщины, будто рябня, почти лиловые от пудры.

На работу он вышел через три дня. За это время Марсель подыскал новое место – работать в трюме.

И вот в первый раз спускаясь по стене, придерживаясь за ступени-скобы, Люсьен впервые почувствовал сердцебиение, опасность – сорваться с высоты четвертого этажа, потеряться где-то!

Однако внизу оказалось совершенно легко, свободно и не очень свет-

ло. Но никак не в первый день заметил Люсьен, как старается, гримасничает от усилий, тащит и пихает за двоих его товарищ. Правда, он сам был весь в поту, но особенного значения этому не придавал. Наоборот, любопытство, несмелая улыбка его обращались к постороннему, к ротозейству: вот длинный Мучелли заговорил с трюмным сторожем-индусом, и в это время другой рабочий ловко вскрыл ящик в углу, потянулись из ящика шелковые дамские чулки, и взломщик со внимательной поспешностью начал обматываться этими чулками, приспустив на себе расстегнутые штаны. В другой раз выплеснули воду из бидона и с той же решительной осторожностью полились в бидон шампанское, вермут, виски, вино. И как весело одурел тогда Люсьен, с какой отвагою кидался он растаскивать ящики, раскатывать бочки, – чудо лишь или просто неусыпное внимание Марселя спасли его от увечья.

Да, Марсель присматривал за ним неустанно. Утром он покупал для каждого на франк будена, четверть хлеба и половину вина. В полдень они вместе обедали где-нибудь на воображаемой террасе подслеповатого ресторанчика, под открытым небом, за облупленным железным столиком. После работы они выпивали по анису, После супа Марсель любил поиграть в карты, но не позже десяти. Люсьену карты были скучны, он молчаливо сидел подле, курил, прихлебывал кофе или пиво, если мучила жажда. Теперь его все знали и многие полюбили, даже фамилия у него теперь была: Брюн, Люсьен Брюн, кузен толстого Марселя.

Когда начались холода, Марсель купил две пары бархатных брюк и два поношенных пиджака. Денег у них было достаточно, они работали часы и ночи, обзавелись теплым бельем, шерстяными жилетами и шарфами. Несколько раз Марсель запивал, попадал тогда в шикарные заведения на улице Лисицы, платил втридорога за сигары, за вино, а ночевал обязательно с блондинкой в длинном платье; Люсьен тоже следовал наверх, снизойдя к какой-нибудь из женщин, хмельно усмехаясь.

Теперь он достаточно хорошо знал ближайшие улицы, рынок, мог приторговать кусок мяса. Однажды с Марселем он попал в бар Феликса и почти вспомнил его, но сам старик никого не узнал, да никто, впрочем, ему ни слова не напомнил.

Дни проходили за днями. По утрам порою морозило – доводилось выпивать натощак по несколько ромов, но утром стало совершенно темно. Зато сколь отрадно было подняться во время работы из трюма наверх покурить: в ушах, правда, звенело не переставая, грохотали цепи лебедки, шумели кругом на всех пароходах, шум разносился над водой, но зимнее солнечное безмолвие стояло над мачтами, простиралось за молы, к водному горизонту.

Дни проходили за днями и ничем не отличались друг от друга, разве что вчера работали лишних три часа, а сегодня попалась партия трубок.

Наконец, объявилась весна. Сделалось светло по утрам и после работы, уже лишним стало носить пиджак и скоро можно будет забросить за окно тряпичникам жилет из шерсти. Но чувствовал ли он еще как-нибудь весну, этот Люсьен? Например, слышится смех молодой, очень грудастой рыбницы, у которой поверх чулок на круглых икрах – лиловые шерстяные носки, и она постукивает своими сабо, напевая: «O, ma Rosa – Marie-a!..». Да, какое-то стеснение в груди, но сладость его весьма ненастойчива; и самое лучшее после работы – сытым пораньше залечь спать.

Наступило лето. Уже давным-давно до позднего часу засиживаются за тротуарными столиками, кричат дети в узких улицах, путаются под ногами на маленькой площади, где целыми днями (да и ночами, наверное) сидят на двух единственных скамьях, бродят скучно обносившиеся иностранцы, вечно бессонные, ночующие на пустых из-под угля баржах или под брезентами на набережной.

В июле обоим им придавило пальцы железным бочонком, – случилось же такое счастливое совпадение, ибо один, без Марселя, этот неисправимо мешковатый Люсьен пропал бы сразу, был бы рассчитан в первый же день, став в пару с незнакомым.

Итак, они зажили за счет страхового общества. Целые дни проводили они на море, забирались в глухие места, облюбовали песчаную бухточку, куда пробраться можно было через скалы. Там они лежали на солнцепеке, загорали, спали там, закусывали неприхотливо, запивая в меру вином, оба похудели, почернели, – и как зловонно, как мрачно представлялась по вечерам старинная комната о тех кроватях.

Пальцы поздоровели, но Марсель не торопился с работой. Прошло четыре дня, пока он вечером над неотпитым стаканом аниса, на долгое время занявшись каким-то письмом, – не объявил решительно, что завтра они выезжают в деревню, в имение господина Фора на сбор винограда; eh, alors?..

В конце августа к господину Фору приехала его единственная дочь, двадцатидвухлетняя Андриенн, парижская студентка. Через год она должна была окончить факультет права, а сейчас приехала из Жуан-Ле-Пена, где больше месяца купалась и играла в теннис. Вдовый старик был чрезвычайно растроган этим приездом, но спортивной парижанке жизнь в старосветском провансальском доме посреди царства виноградников (у ее отца было до полмиллиона кустов) предвещала невозмутимую скуку. Книг с собой у нее было мало, за книгами приходилось ездить в Арль, море находилось за четырнадцать километров, при доме был какой-то пыльный сад, вернее огород, переходивший в люцерное поле. Одно удовольствие для Андриенн составляла музыка, рояль Гаво, – и вот всякий вечер она подолгу играла: при отце курить она все-таки избегала.

Этот вечер был на редкость душен, беспокоил, а весь день Андриенн

ждала, как бы равнодушно, давно обещанное письмо из Парижа. После ужина она пошла к себе и села за рояль. Играла она с решительным упрямством.

Руки начали уставать. Андриенн подняла упавшие ноты и закурила – вслед за щелканьем зажигалки, послышался короткий кашель из сада: кто-то прикашлянул, но мало ли кто? Она положила сигарету к китайскому болванчику, нашла и заиграла веберовское Приглашение к танцу. Потом наступило опять молчание, Андриенн потянулась за дымящейся сигаретой и приостановила руку: короткий кашель повторился. Тогда, разом вскочив, неслышная на креповых подошвах, она раздвинула цветные висюльки в дверях и выглянула в сад.

На ступеньках стоял неизвестный, по-видимому, рабочий ее отца.

– Что вы здесь делаете? – спросила Андриенн негромко.

– Слушаю вашу игру, – ответил он и неторопливо встал, – у вас весьма отчетливый удар. Только на мой взгляд, вы чем-то обеспокоены, вы искажаете что-то. Правда эти новеллы звучат прелестно, например, в последнем Вебере…

– Как видно, вы любите музыку, – сказала Андриенн, помолчав.

– Да, люблю.

Он возбуждал любопытство. От него остро пахло конюшней, конским потом, давленным виноградом или просто вином, но Андриенн предложила ему войти. Однако и при свете он продолжал держать себя по-прежнему: невозмутимая простота, благосклонная, удивительная при его одежде, любезность. Кто он такой?

– Может быть, вы сыграете сами? – сказала Андриенн, садясь в длинное кресло.

– Охотно, – отозвался он, – например… менуэт Боккерини?

– Превосходно.

Он сел за рояль, отодвинул табурет, ибо был выше ее, положил руки на колени. От винограда его руки казались окровавленными – да, десять часов, а он еще не успел умыться, подумала Андриенн, прикрывая глаза при первых звуках рояля – и широко открыла глаза: невероятный тарарам, глупейшая какофония разразилась за началом менуэта. Андриенн поднялась с кресла, встал игрок. Она глядела на него пристально: шутник, помешанный, – нет, он был мертвецки пьян, этот тип, он лишь отдувался бессловесно. И отступив, Андриенн пропустила мимо себя спотыкающегося, ничего не видящего – о, Боже мой!..

Проснувшись не совсем рано, Андриенн задумалась над вчерашним происшествием – загадочный случай. Фернанда, дочь старшего рабочего, внесла ей шоколад. Приняв деревянный поднос на колени, она задержала девочку, расспрашивая безразлично. Кто из этих рабочих был вчера сильно пьян? Вот именно, в синей рубахе. А, Люсьен. Приехал на виноградни-

ки с кузеном, с толстым Марселем? Так. Что же, он часто выпивает? Не особенно. Работает с лошадьми, прилежный, но не очень сильный? А кто он такой сам по себе? Работал здесь раньше? А, работал в Марселе? Ну, идите, спасибо Фердинанда.

Около одиннадцати она вышла во двор. После затененных комнат блеск зноя поразил, как широкая молния. Андриенн пошла по дороге к виноградникам, под ногами то и дело попадались полусмятые грозди, упавшие с повозок.

Одновременно она увидела подводу и там, дальше, как мелкие цветы среди винограда, пестрые платки и чепцы рвальщиц. Она остановилась и стала ждать. Видно было, как влегают в хомуты лошади, идущие гусем, а рядом шагает неторопливо человек в широкой соломенной шляпе. Вот уже слышно тяжкую и короткую поступь лошадей, их пофыркивание, постук колес… Андриенн узнает вчерашнюю синюю рубаху и нетерпеливо переступает.

– Добрый день! – кричит она, когда повозка почти равняется с нею.

Рабочий неуклюже подымает шляпу:

– Добрый день, барышня.

– Как вы себя чувствуете? – кричит она еще и коротко улыбается.

Он натягивает вожжи, они намотаны на левую руку, а руки опять будто окровавлены. Он отвечает вяло:

– Спасибо, барышня. Все идет хорошо.

Андриенн рассматривает его, потом смеется.

– Послушайте, вы не только пианист, вы превосходный актер!.. Итак, когда же вы доиграете менуэт до конца? Хотите сегодня вечером? Что?

– Да, барышня, – отвечает он, а лицо его малоразличимо в тени шляпы.

– Да перестаньте же, – говорит Андриенн с укоризной, - за нами никто не наблюдает… Стало быть, сегодня вечером в девять? Только, пожалуйста, не напивайтесь по-вчерашнему.

Она поворачивается, идет бесцельно по дороге к виноградникам. Позади ее раздается зычный крик, лошади подчиняются, и стучат колеса.

Андриенн пришла к себе в половине девятого. Она заиграла с особенной охотой, со вниманием. После Приглашения к танцу, она встала и выглянула в сад: возможно, что этот ценитель музыки опять сидит на приступке. Но никого там не было. Она вернулась к роялю, села и стала курить, глядя на свечу справа.

Без четверти десять Андриенн закрыла крышку, затушила свечи и вышла в сад. Вне всякого сомненья, этот человек проникнул с луга, через канаву. Усмехнувшись, она вошла во двор через калитку.

Во дворе было совершенно тихо, по-ночному; луна положила большую тень от конюшен, от деревьев подле. Окна рабочей столовой были

прикрыты жалюзи, там было безмолвно. Откинув полотнище в дверях, Андриенн вошла в коридор, налево была дверь в столовую.

Там горела прикрученная лампа, со столов было уже убрано, какой-то рабочий спал, положа голову на руки. Андриенн прибавила свету, мухи залетали, зажужжали несметным роем… и, разумеется, это был он, любитель музыки, полный стакан вина стоял перед ним.

– Добрый вечер, барышня, – сказала, входя с посудой, жена старшего рабочего.

– Это Люсьен? – спросила Андриенн, не оборачиваясь.

– Он. Раньше этого не было. А теперь он все повторяет, – тут женщина засмеялась, – что ему ваша музыка портит настроение, – ну, что вы скажете?

– Вот как? А нельзя ли разбудить его? Я хочу послать его завтра утром…

– Пожалуйста, барышня. Я сейчас подниму его.

Поставив тарелку, она обошла стол и тронула спящего за плечо:

– Люсьен, о, Люсьен, Люсьен же!

Потом она стала дергать его за волосы, ущипнула за ухо. Человек отмахнулся и поднял лицо от рук. Щека у него зарубцевалась, он перележал ее, волосы упали на глаза, рот был слюняв. Он почесался еще – и громкий, постыдный звук раздался в комнате.

– О, свинья, – воскликнула кухарка, совсем не сердясь, однако, – барышня здесь…

Но Андриенн уже вышла из столовой, она широко отпахнула полотнище в дверях и прямо взглянула на месяц. Месяц лучился…

Виноград кончился, пришла пора расчета. При выдаче денег и рабочих удостоверений господин Фор предложил: не согласен ли который из двух остаться на зиму? И Люсьен согласился. Марсель вознегодовал, его не успокоили ни две корзины винограда, ни десять литров белого вина, которые он повезет с собой, – но Люсьен остался. Он выбирал спокойствие. На зиму ему обещана теплая одежда и печка в комнате, где он будет спать всего вдвоем.

Сначала они косили люцерну и убирали ее. Затем подошла запашка виноградников, сбор дров на зиму, укутыванье виноградников соломой – неторопливая, хорошая работа с неторопливыми, незлыми людьми.

Так прошла зима, для горожан теплая, а в полях мистраль не стихал по неделям. Ничего особенного за зиму не произошло, разве что хозяин подарил на новый год выходной костюм и от крепкого виноградного спирта у Люсьена произошел сердечный припадок. Случай этот всех изрядно напугал – о, Люсьен, тебе надо поменьше выпивать, слышишь!

Наступила, однако, весна, а за нею, своим чередом, распустилось лето. К осени поспел виноград и приехал Марсель. Друзья обрадовались друг

другу и два дня их не было видно на работе. А на третий день Люсьен едва не умер от второго припадка.

Но кончился виноград, и Марсель уехал восвояси. Перед отъездом он пытался сманить с собой названного своего кузена, но Люсьен остался у господина Фора еще на одну зиму.

В ноябре пришло письмо от Марселя. Он сильно разбил себе руку на работе, пожалуй, кое-что отрежут – неужели не приедешь, Люсьен, навестить старого товарища?

Письмо это читала вслух жена старшего рабочего, сам Люсьен плохо разбирал писанное. По общему совету он сел за ответ, но дело это не ладилось; ему даже предложили очки отца Бернарда, который всегда работал на быках, но очки не помогли. И только перед рождеством Люсьен собрался в марсельское путешествие. Он вез с собой подарки: хорошее вино, пару бутылок виноградного спирта. У господина Фора он взял две тысячи.

Борниоль проснулся в совершенной темноте, сердце его замирало. Откинув тяжелое одеяло, он сел, передыхая. Что-то непривычное, раздражающее и уже непоправимое существовало не только в этой полночной тьме, но и в нем самом.

Кажется, накануне он был пьян. Это подтверждал вкус во рту, это чувствовалось во всем теле. Но как происходило все, где началось, этого он не мог вспомнить…

Сердце билось с ожесточением, но голова была свежа. Он протянул руку к столику, к лампе, но рука его коснулась женского обнаженного плеча, он стал различать сонное дыхание подле, – как его жена осталась с ним в постели? Поистине странно! И откуда эта широкая кровать?

Столик с лампой отыскал слева. Борниоль включил свет, огляделся и зажмурился, прикрыл глаза рукой. Нет! Неужели он сошел с ума? Нет, что с ним случилось?

Рядом спит незнакомая женщина, эту большую комнату он видит в первый раз, руки его каким-то чудом темны, мозолисты, почти поломаны, и сам он одет в какое-то солдатское белье!..

Он соскочил босыми ногами на пол, зажег люстру, и таинственное ночное зеркало отразило как бы его самого, как бы его двойника, потемневшее, осунувшееся лицо, изрядную седину в плохо подстриженных волосах.

Он отвернулся, посмотрел по комнате. Женщина по-прежнему тихо спала на правом боку, но женщина его не привлекла. Он заметил бутылки на полу, календарь на стене…

Борниоль закурил английскую сигарету со стола женщины, на своем столе он нашел трубку и серый табак. Он сидел в кресле на чьем-то платье, сидел неподвижно. Он не помнил, он не мог даже смутно хоть что-нибудь

припомнить, что с ним случилось за два с лишним года.

За оцепенением родилась спешка. Он начал одеваться на ходу, торопился словно в ярости. Рядом с трубкой он нашел бумажник. Там оказалось около тысячи франков, какие-то удостоверения на имя Люсьеня Брюна. Бумажник был явно чужой, но он сунул его в карман просторного пиджака. Большой клетчатый платок пахнул дешевым мылом.

Из дома Борниоль вышел без труда – везде было темно, все спали. Он повернул английский замок нижних дверей и переступил на улицу.

Было месячно, стоял глухой час почти морозной ночи. Он пошел наугад, достигнул угла, повернул налево, затем повернул направо, едва не упал, поскользнулся, раздавив бумажный пакет, выброшенный, наверное, из верхних окон. Наконец, началась улица шире и чище. Он миновал пустой крытый рынок, вышел на узкую площадь. Через площадь за мостовой блистала месячно вода – ага, Старый порт, знаменитые места, которые он раньше знал понаслышке. Впрочем, по этому набережной он должен был проезжать с женой и девочкой во время автомобильный прогулок…

В угловом баре пробивался свет сквозь двойные щели, будто раздавались голоса. Двери оказались, действительно, незакрытыми, Борниоль вошел на яркий свет, в густое тепло и заказал себе грог у стойки. Тут же он увидел шофера в фуражке гаража Маттеи и нанял. Он даже угостил шофера ромом.

После он мчался по ночным опустошенным улицам и весь дрожал. И не от холода, а от того, что так неистово дрожало сердце или вдруг замирало. Тогда поднималась слабость, тошнота, он просовывал руку за жилет… но сердце оживало неудержимо, и опять сквозь слезы неслись, лучились перед ним фонари ночного, сурового, давно не виданного города!...

Шофер подъехал вплотную к тротуару, остановил и приготовился к расплате, снял перчатку с левой руки. Но седок медлил. Может быть уснул? Тут шофер постучал пальцем в стекло. И так как ответа опять не последовало, шофер соскочил на мостовую и открыл дверцу отделения. При слабом электрическом свете, при мерклом пламени своей зажигалки он увидел бледное незрячее лицо седока; послушная, прохладная рука снова упала на колени.

Потерял сознание или умер? Раздумывать над этим, однако, не приходилось, следовало позвонить, в доме, конечно, знают этого человека.

Шофер вошел на ступеньки и позвонил. Месяц дробно светил в черных окнах нового богатого дома, ни одного огня не замечалось по этажам, да и неудивительно было: часы показывали без четверти четыре.

Прошло некоторое время, прежде чем за матовыми пузырчатыми стеклами, за лакированной решеткой вспыхнул свет, послышался шорох, дверь поддалась, и шофер, приняв на себя приятное тепло, заговорил со щуплым старичком – консьержем. Старик любезно, послушно сошел к автомобилю, и шофер снова засветил свою зажигалку. Не было сомненья, –

это они решили согласно, – что седок был мертв.

– Вы знаете его? – спросил шофер.

– Конечно. Господин Борниоль жил у нас около трех лет.

– Тогда… – начал было шофер, но консьерж, не замечая ночного холода и что ветер шевелит и дымит его длинные седины, продолжал:

– Видите ли, более двух лет назад господин Борниоль таинственно исчез. Да, вышел из дому за сигаретами и газетой и больше не вернулся. Все публикации и розыски оказались бесполезными. Год тому назад госпожа Борниоль вторично вышла замуж. Т. е. это не совсем гласно, но у нее в данное время другой муж, понимаете? Как же можно в столь поздний час беспокоить людей?.. Самое лучшее вам отвезти его в госпиталь.

– Тогда я пойду поищу полицейского, – сказал шофер не совсем довольно и пошел прочь.

– Советую вам пройти налево, – добавил старичок.

Только тут он почувствовал сколь пронзительно, неприветливо этой ночью. Искреннее волнение его упало, он пошел к дверям, – но как все-таки изменился господин Борниоль…

Впервые опубликовано и печатается по: Числа. 1931. № 5. С. 47-63.

ЛЕЛЬ

1. Песнь о Роланде

Полдень. Дождя нет, безветренно, но туманная облачность мелко сеет сырость. Мы проиграли на пианино все, что умели: ты – «марш веселого полка» и «вальс дам», а я – сигнал «рысью».

– Ну, расскажите какую-нибудь историю, – попросил ты, умещаясь у меня на коленях повыше. – О богатырях.

– О богатырях? Хорошо…

И я рассказал, как песнь о Роланде.

– Понравилась тебе эта история?

– Нет! Мне не нравится, зачем он умер. Не нужно, что бы он умер…

И воистину лишне было отвечать тебе, что трувер Тальефер пел эту песню 13-го октября 1066 года в долине Гастингса, когда полки Гаральда и Вельгельма готовились вступить в бой, что еще тысячу раз пелась эта песнь, что Роланд не умер, что он вовсе не какой то старинный «Britannici legitis praefectus», а он – наша мужская красная кровь, – ты догадался обо всем и без моих путанных слов:

– Знаете что, давайте поиграем, – предложил ты, спускаясь с колен. – Да, в богатырей. Идемте!..

И мы пошли. Я взял твой лук, а ты свое сеульское ружье; ты стрелой умчался на кухню к Нюре – за «пулями» – и догнал меня, зажимая в кулаке

горошины.

Осторожно выступили мы на огород. Почти тотчас мы присели в засаду, за гороховой изгородью, потому что…

– Две с половиной тысячи воинов! – шепот твой тороплив. – Или нет: триста тысяч, четыреста, да!.. Я стреляю!

И ты выстрелил.

– Пять, пятьсот тысяч убито! – ты зарядил свое чудесное ружье для нового залпа.

– Стреляю! – воскликнул и я, но, признаюсь, я волновался, и никак не мог наладиться со стрелой. Наконец я выстрелил – в грядку с баклажанами.

– Отступают в бегстве! – воскликнул и я, поднявшись, шагнул за стрелой.

– Кто? – спросил ты, недоумевая.

– Враги!

– Но мы же всех убили!

– Ну, какие то всадники. Скачем вдогонку! – и мы поскакали.

Право, тебя ни сколько не тревожило, что нас только двое, что я скверно стреляю, а врагов за каждым кустом по двести тысяч. Ты смело мчал и стрелял без промаху; ни один миг ты не сомневался в нашей победе.

А оно так и случилось. Усталые после победной скачки, вернулись мы аллеей от ворот. Попугай приветствовал нас вежливо-торопливым (с калитки на теннис):

– Поп-чка, поп-чка.

– Что за зверь? – спросил я, приостанавливаясь.

– А это пленный король, – ответил ты. – Он же попал к нам в плен!

Мы вошли в комнаты. На пианино лежали газеты, но я не подумал читать их – Господи, да газеты всегда пишут неправду: они, например, никогда не напишут, что мы непобедимы и что Роланд вовсе не умер!

2. Наполеон и его два друга

– Вы будете Наполеоном, а я буду начальником, – предложил ты. – Хорошо?

– Хорошо. А попугай кем будет?

– А попугай будет вашим адъютантом. Хорошо?

– Хорошо.

– Ну, я сейчас приду к вам в гости, – ты отошел к дверям в кабинет и постучал.

– Войдите! – отозвался Наполеон и кашлянул.

– Здравствуйте! – вошел генерал шести лет. – Вас можно видеть?

– Пожалуйста. Очень рад… Как ваше имя?

– Зовите меня… Талейран Иванович.

– Ах да! Ну, как живете, Талейран Иванович?

– Очень хорошо! А как вы?

– Очень плохо. Пришлось распустить всю армию. Даже гвардию и ту распустил.

– А что такое гвардия? – спрашивает генерал тихо.

– А это лучшие солдаты, – отвечает Наполеон вполголоса. И громче: – Да, нет фуража, нет оружия.

– Ну… Хотите мою армию? Очень хорошая.

– Очень?

– Да. А где ваша жена Жозефина?

– Она? Она в Париже.

– А почему?

– Видите ли, ей опасно здесь. У меня нет солдат. А потом ей не нравится здесь: нет музыки, мало народу…

– Ну, почему так? – брови твои шевельнулись. – Ну, пусть она приедет!

– Но она не хочет.

– Ну пусть хочет!

Наполеон помолчал и ответил:

– Значит вы предлагаете мне свою армию?

– Да, мою армию, – повторил генерал. И прибавил: – И гвардию.

Наполеон помолчал.

– Но ведь я ни с кем не воюю!

– Ну, начинайте войну.

– С кем?

– С врагами!

Тогда Наполеон взялся за подзорную трубу – нужды нет, что это были обыкновенные ножницы.

– Ого! – сказал он и прищурил глаз. – Ого!... Пожалуйста, пошлите два корпуса кавалерии. Мы должны сбросить врагов в залив.

Глаза генерала блеснули, он потер руки.

– Уже! – ответил тон.– Враги сброшены!..

– Молодцы, ваши кавалеристы! Пожалуйста, пошлите узнать, согласны ли враги на наши условия: нам все оружие, всех лошадей, все корабли, аэропланы и четыреста миллионов золотом.

– Уже послано, – ответил генерал.

– Ну, и что же?

– Они не согласны. Они хотят драться!..

И бой продолжается еще ожесточенней. И если враги были бесчисленны и все пополняли и пополняли свою пехоту, и стреляли из новых пушек, то и у Наполеона все время вполне хватало войска.

И неинтересно, что бой кончился тем, что генерал должен был сесть к столу – есть овсянку, а Наполеон, насвистывая, сошел с террасы к клумбам.

Досадно было, конечно, что Жозефина не приехала. Но, ведь, не все же время думать об этом! Интересно воевать, а женщины в войне ничего не понимают: они заняты пустяками и боятся, что попугай будет щипать их за ноги, и только – адъютант и поручик.

3. Разговор с доктором

Дождь намочил виноградные лозы за перилами, но на террасе только прохладно. Я сел в длинное кресло, протянул ноги и раскрыл над собой розовый зонт – просто в шутку, но тебе тот час улыбнулась новая игра.

– Знаете что, – заговорил ты, – вы будете дамой, а я буду доктор и приду лечить вашу девочку. Хорошо?

– Хорошо, – ответила дама и поправила зонт.

– Меня зовут Александр Владимирович, а вас Маруся Петровна… Здравствуйте! – вошел доктор.

– Здравствуйте, Александр Владимирович, – отозвалась дама. – Вот хорошо, что зашли! У меня нездорова девочка. Боюсь, что ангина. Посмотрите ее, пожалуйста!

– Хорошо, сейчас. У вас есть трубка? – спрашивает доктор.

– Нет.

– Ну, у меня есть. А где девочка?

– А вон на перилах. Видите белый хвост…

– Ну зачем «хвост»? – поднял брови. – Это же не попугай, а девочка! Она в ночной рубашке.

– Ну извини!... Да, пожалуйста, выслушайте, доктор!

– Я сейчас… – и ты подошел к попугаю и постучал ему пальцем в палец – грудь и крылья. Потом, серьезный, ты вернулся ко мне.

– Ну что? – спросила дама под зонтиком.

– У вашей девочки поражение… аппендицита, – проговорил Александр Владимирович.

– Это опасно.

– Да, это опасно. Один процент выздоравливает, а две тысячи умерло.

– Ужасно! – отозвалась дама. – Но девочка поправится?

– Я не знаю, – пожал Александр Владимирович плечами и сказал: – Какой у вас красивый зонт! Где вы покупали?

– В Сан-Франциско, – ответила дама. – Но чем лечить девочку?

– Я сейчас скажу… Давайте ей рыбий жир.

– Но она не любит его.

– Ну, давайте его так: возьмите березового соку и сахару, сделайте сладкую-сладкую водицу – и ложку рыбьего жира...

– Чайную или столовую?

– Чайную... Да, а все это средство называется «Колодерма»…

– Понимаю, – отозвалась дама и, усмехнувшись, посмотрела на свои загорелые руки.

Наступило молчание.

– А мы, кажется, встречались в Петербурге? – спросила дама, успокоив свою веселость.

– Да, встречались, – ответил Александр Владимирович и добавил: – Ведь у меня тоже есть дети.

– А какой вы моложавый! Сколько вам лет?

– Да, я очень моложавый. Мне сорок четыре года.

– А дети большие?

– Да, дети у меня большие. Моему сыну уже пятьдесят два года.

Но тут дама начала хохотать, хохотать, зонтик трясся в ее руке, – и засмеялся Александр Владимирович. Наконец, ты сказал мне весело и своенравно.

– Ну, чего вы смеетесь!...

Да, это, конечно, все пустяки: и то, что аппендицит ты лечишь колодермой, и то, что сын у тебя старше тебя на восемь лет. Все, все пустяки! И ты, безусловно, отлично знаешь немецкую теорию относительности и знаешь новую теорию о происхождении молекулы. И еще ты знаешь, что и немцев обойдут, и Энштейна, и другого, – и вот хорошо пахнущая Колодерма лечит у тебя кишечник, а над временем ты просто смеешься.

И ты прав. Уверяю тебя!

Впервые опубликовано и печатается по: Врата. Кн. 1. Шанхай, 1934. С. 87-92.

ПЕПЕЛ

Я очень зяб в этот вечер. В трубу камина столь яростно завывало – дуло, что мне из-за искр приходилось сидеть на два шага от решетки. Я был в шерстяных чулках, ноги мои стояли на высокой скамейке, – и все-таки я замирал от озноба, несмотря на мехом подбитый плащ, которым я прикрылся по настоянию Луки.

Пылкое освещение камина и замирающих свечей отражалось на раскрытых страницах, на моих высоких коленах… Латинские слова начинали казаться греческими, – глаза мои устали. Я откинулся на спинку кресла, зажмурился, слушая бур.

Вошел осторожно Лука. Не открывая глаз, я попросил его принести мне воды. Мое спокойное одиночество, мысли о латинских поэтах продолжались. Лука принес мне цыпленка и белого вина. Испытывая голод озябшего, я уже приготовился начать ужин, как Лука доложил о приходе старика Беппо, дворецкого моего дорогого друга Виженто.

– Что случилось, Беппо? – спросил я, так как лицо старика являло вдохновенье тревогой.

– Ужас, – ответил он коротко и, шагнув, приостановился. – Простите,

сеньор, что я не целую вашу руку: очень возможно, что и я заражен… Ужасное, сеньор! Ваш друг, а мой добрый господин, заболел черной болезнью…

– Что ты говоришь? – поразился я, и книга, не задержанная моими руками, соскользнула с колен на ковры.

– Увы! Это определилось еще с утра. И теперь даже слепой, слыша ужасный кашель, перестанет сомневаться… Это ужасно, сеньор! – и старик издал птичий возглас рыданья.

Я прижал кулаки к горячим щекам, погрузился в кресло. Я слышал звоны пульсов. Пламя в очаге камина ярко вздувалось и осыпало искрами…

– Хорошо, – ответил я, убирая ноги со скамейки. – Я пойду с тобой, Беппо!

– Погода, сеньор… – начал было Лука, но я перебил его:

– Оставь! – и взял с соседнего кресла меховые перчатки.

Лука молча подал мне шляпу и трость – подарок Виженто.

Беппо молчал в это время:

– Я не звал вас, дорогой сеньор! И Лука прав, упоминая о погоде, – на улице так скверно, сеньор! И мой больной господин не наказывал передать приглашение…

Но я, делая вид, что не слышу, молча заканчивал сборы. И, твердо ступая, вышел из комнаты.

Буря на улице тотчас сделала нас почти невесомыми. Стояла темень новолуния. Неаполь точно вымер в эту августовскую ночь. Фонарь Беппо – он пошел особняком – вскоре задуло, но фонарь Луки бережно освещал мне дорогу. Крепко прижимая к лицу три надушенных платка, дыша в них, я шел, пожалуй, без боязни. Мне одного не хотелось: что бы вихрь обнажил мою голову, напылил, спутал мои длинные волосы… Мы были благополучны в нашем пути – правда, он не был продолжительным. И лишь однажды я вздрогнул от стона в темной нише дома, который мне с детства казался особенно счастливым…

Наконец, мы дошли. Продолжая дышать духами своих кружевных платков, я начал подниматься по знакомой лестнице, не чувствуя себя ни спокойным, ни удовлетворенным.

Там, в той комнате, было достаточно светло. Виженто!.. Его длинная фигура сидела спиной к камину в кресле без спинки.

– А, вы пришли! – послышался дорогой мне голос, будто забытый мною. – Но не ступайте дальше, мой добрый друг! Нет, не стоит!..

– Что с вами? – сказал я очень громко и, как мне казалось, бодро.

– Ничего опасного, – ответил мне ясный мужественный голос. – Я только… умираю…

Наступило молчанье. Виженто повернулся. Канделябры с высокой

полки камина теперь осветили его лицо. Оно было спокойно, и даже зной смертельной болезни не окрасил обычной бледности. Но глаза казались драгоценными камнями. Еще было заметно, что моему другу тяжело дышать. Он усмехнулся. Я отнял платки от лица.

– Нет, прикройтесь! – приказал он. – Этим нельзя шутить… Ведь и мне неприятно умирать, поверьте..

– Вы не умрете! – воскликнул я, шагнув невольно.

Он поднял навстречу свою бледную, заметно дрожащую ладонь.

– Осторожно, – сказал он протяжно. – Я вовсе не хочу, чтобы вы…

Но приступ судорог кашля прервал его. Он втянул воздух, он заметно слабел, сидел сгорбившись, держась за боковинки кресла. Длинные ноги его казались чужими. Но раскосые глаза улыбались ласково.

Отдышавшись он заговорил:

– Мне досадно, что я… уйду, не кончив трех задач. Первая – научить Вас понимать апофемы Тертулиана, – глаза моего друга усмехнулись ласково. – Вторая моя задача – это закончить комментарии к Пьетро Бембо, показать всем глупцам, что «Asolai» вовсе не безнравственная книга. И третья…

– И третья? – повторил я.

– И третья… – погладил, донес он руку до своих коротких темных волос. – Третья, мне хотелось убедить дону Франческу, что действительное отсутствие двух диезов в ее последней канцоне лишают слушателя очарования…

Он замолчал. Я не находил, что ответить ему: вся внутренность моя дрожала поднимающимся рыданием.

– Действительно, – продолжал он и склонил голову, облокачиваясь и подпирая щеку своей большой узкой ладонью, – если бы она поняла! Но едва ли это так будет… Вы заметили, мой друг, что в каждой песне нашей дорогой певицы не хватает чего-то? – и он посмотрел на меня, опустив руки между колен.

– Да, – ответил я невольно, но на самом деле я даже не представлял лица донны Франчески, – я что-то слушал, к чему-то присматривался, – и рыданья и слезы, которыми прорывалась мое оцепененье, возмутили моего несчастного друга на новый ужасный кашель. Увлекаемый из комнаты, я, оборачиваясь, видел за плечом кровавую мокроту на его подбородке…

Больше я его не видел. Он меня не пустил к себе. Кашель совершенно не давал ему говорить. А в темноте, у дверей, во мне вдруг проснулся страх за свою жизнь. И я не особенно настаивал на свидании.

Мы с Лукой вернулись домой столь же благополучно. Цыпленка я не мог есть, но с жадностью выпил вино. Спал я вполне хорошо.

А утром мне стало известно, что Винженто умер перед рассветом.

Я, конечно, не пошел проститься с ним. Я передал Беппо через по-

сланца, чтобы сторож задержал моего друга и, по возможности, даже скрыл самую смерть. Дело в том, что я вспомнил одну просьбу Винженто, которую я поклялся исполнить.

Это произошло в апреле месяце, еще до появления черной болезни, во время одной из наших прогулок по морю. Мы высадились на берег и, отъединившись от общества, рассуждали обо всем. Берег в одном месте был очень узок, его венчала черная скала. Винженто сказал оглянувшись:

– Дорогой друг, дайте мне слово исполнить мое последнее желание!

– Охотно, – ответил я, чувствуя сердцебиение, – очень охотно даю вам слово, если это не повредит вам…

Он нагнулся и сорвал голубой цветок.

– Вот здесь, – начал он негромко, – вот здесь вы сожжете мой прах, когда я умру. – И, помолчавши, он прибавил: – Помните, вы дали слово!...

И я опустил тогда голову.

Теперь я решил исполнить волю усопшего. Это стоило мне многих минут, но они закончились успешно. При закате я находился на борту бригантины «Аспазия», принадлежавшей маркизу Андреа де Веччи, который еще в самом начале марта уехал в Рим, но управляющий его охотно исполнил мою просьбу, предоставив прелестный парусник до утра в мое распоряжение.

Вместе со мной на бригантине находились донна Франческа Спорца и ее две девушки. Мы сидели с донной на корме, в покойных креслах, стоявших на ковре. Одна из девушек напевала, сидя на подушке у ног госпожи. Море было просторно и трогательно освещено закатом; облачности не было совершенно. Красные паруса нашей бригантины были свернуты, мы стояли на якоре ввиду черной скалы. Мы молчали, наблюдая море и закат. На низком мавританском столике между нами стояли сладости. Донна Франческа, одетая в платье зеленого бархата, с жемчужной шапочкой на светлых волосах, была спокойно и добродушно молчалива. Когда она поворачивала голову, длинные подвески от висков щекотали ее бледную шею; она щурилась и отправляла рукой серебренное кружево воротника.

Она сказала:

– Однако, долго нет этой полубарки!.. Скоро на море будет сыро, и мы можем заполучить простуду.

Я ответил ей:

– Будьте терпеливой, мадонна. Не забывайте, что это какая-то полубарка везет тело нашего общего друга!..

Ее продолговатые глаза оглянули меня.

– Я это знаю, – ответила она и взяла с золотой тарелки финик.

Мы молчали.

– Мой друг, – начал я, – очень сожалел, что не смог передать вам несколько слов…

– Каких? – спросила она, не отворачиваясь от моря.

– Он говорил, что в ваших канцонах не хватает не только диезов, он говорил, что в них нет чувства…

Она пожала плечами.

– Если бы он был музыкантом, я бы поверила ему. Но ведь он кто? Поэт! Или даже философ…

Я усмехнулся:

– Но разве поэты не ценители музыки?

У нее зачесалось около носа.

– Лучия, принесите мне плащ снизу, – приказала она девушке у своих ног.

Девушка поднялась.

– Поэты, – продолжала донна, – мне кажется, что поэты знатоки в латыни. Не так ли?

Я больше не возражал ей.

Солнце закатилось. Почти тотчас мы заметили приближение черной барки. Я отдал приказание, чтобы готовили лодку…

Уже после заката довелось заканчивать костер. Он вышел огромным. Я стоял поодаль и отдавал, возвышая голос, приказания Беппо, который с непокрытой головой помогал своими стариковскими неверными руками приехавшим людям. Донна стояла под прикрытием скалы. Нашу лодку, – которую держал матрос, а остальные два сидели, уже совсем темные, – качало стремительно. Поднимался ветер, взошли тучи.

Ко мне приблизилась девушка и позвала к донне. Я пошел туда.

– Отпустите меня в город! – приказал мне звучный голос из-под капюшона. – Это становится страшно, я не могу!..

Я обернулся. Начался поджог костра. Люди с факелами угнетали, как и эта черная ночь при морском ветре, как мысль об умершем…

– Но как это сделать? – ответил я. – Было бы достойнее, если бы мадонна осталась помолится…

– Я буду молится! – ответила она, и я заметил, как сверкнули ее глаза. – А здесь вам нужен священник… Право, отпустите меня! О! – и она прикрылась полой.

Я, не оборачиваясь, по движению всего окружающего узнал, что костер вспыхнул. Я обернулся: там гудело багровое текучее пламя, оно охватило весь наш странный ковчег, и золотистое озарение пало на всех, захватив даже бригантину, а у темных людей, тушивших черные факелы, – у них легли сзади тени…

Донну Франческу мне пришлось отпустить меньше, чем через час, ибо она рыдала, а я никогда не мог перенести женских слез. Зубы ее стучали, она потеряла, неизвестно как, одну из подвесок. Я отдал ей в лодку еще свой меховой плащ, оставшись в одном бархатном.

Ветра не было. Мне были слышны голоса с бригантины, а полубарка, стоявшая ближе, справа, была нема. Я сидел на камне прячась, кутаясь в плащ.

Костер продолжал гореть восемь часов. Рассвет застал меня бессонным, утомленным, но удивительно легким. Мои ночные думы казались мне только досадными. Но, воистину, все проходит, и когда-нибудь наши потомки даже не будут понимать чудесного языка. И вот стоит ли рассказывать о своих горестях?

Пепла было очень много. Разбуженный, спавший прямо на песке, старик Беппо помогал могильщикам ссыпать золу в большую белую амфору с голубыми ручками и павлином.

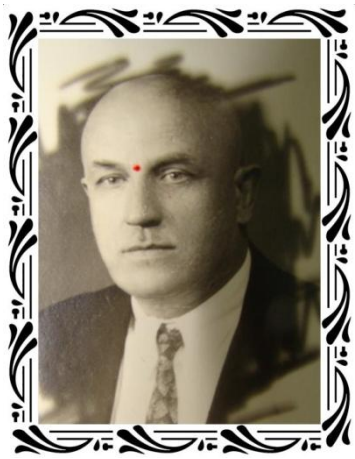
Я пошел пешком в Неаполь.

Через три дня, ни с кем не простившись, я выехал во Флоренцию.

Разумеется, донна Франческа отказалась от пепла моего друга. В это время умер Беппо и мне стоило больших затруднений выписать амфору к себе.

И сознаюсь: около месяца я держал ее в саду. И только после я велел поставить ее в библиотеку. Но когда я переехал в Венецию, амфора осталась…

Впервые опубликовано и печатается по: Врата. 1935. №1. С. 117-122.



Анатолий Прохорович ВЕЛЕЖЕВ *(1887–?)*

Прозаик и журналист Анатолий Вележев родился 8 августа (ст. ст.) 1887 г. в городе Бирюч Воронежской губернии. Окончил Воронежскую духовную семинарию, затем юридический факультет Варшавского университета. После окончания университета состоял помощником присяжного поверенного при Воронежском окружном суде. Участник Гражданской войны. Редактр войскового журнала «Сибирский стрелок» (Чердынь). Был ранен, после чего некоторое время занимался частными уроками в Новониколаевске (ныне г. Новосибирск) и Владивостоке. В ноябре 1922 г. прибыл в Харбин. Зарабатывал частными уроками, коммерцией, юридической практикой. В начале 1930-х гг. занялся журналистской деятельностью. Печатал (в том числе под псевдонимом «А. Волин») статьи по вопросам культуры, международной жизни, истории и военным событиям. В разные годы был секретарем и редактором газет «Русский голос», «Русское слово» (1931-1934 гг.), «Гун-Бао»(с 1934 г.), «Голос эмигрантов» (с 1938 г.), «Заря» (с 1937 г.), «Боевой друг» (с 1942 г.), журналов «Луч Азии»(с 1935 г.), «Русский настольный календарь» (с 1936 г.). С мая 1945 г. начальник отдела пропаганды Бюро российских эмигрантов в Маньчжурии (БРЭМ). В августе того же года арестован и депортирован вместе с женой и сыном в лагерь. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист. и лит.:

Кривченко Л.А. История жизни А.П. Вележева в эмиграции (По документам БРЭМа и эмигрантским печатным источникам) // Пятые Гродековские чтения: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Хабаровск, 2006.

ТРИ РОЖДЕСТВА

Рассказ офицера

Зимой восемнадцатого года воевали мы на Урале.

Хорошее было тогда время. Пермяки, уже хлебнувшие вдоволь советской власти, смотрели на белых как на избавителей и помогали нам, чем могли. Особенно тепло – другого слова не подберу – встречала нас деревня, где мы парились до одури в банях, объедались пельменями и с помощью добровольных проводников выходили таежными тропами в тылы красных. Правда, временами приходилось нам выдерживать бои, и жестокие, но это лишь в тех случаях, когда против нас действовали добровольческие и коммунистические части, укомплектованные матросами, рабочими и бывшими военнопленными, – эти дяди умели воевать, а при случае – и ответ держать. Зато мобилизованные от боев явно уклонялись и сдавались в плен при всяком удобном случае: перебьют своих комиссаров – и к нам.

И хоть приходилось нам делать сорокаверстные переходы, и шинельки у нас были на рыбьем меху, и животы, случалось, подводило от голода, – но были тогда молоды, сильны духом и телом, верили в успех на-

шего дела, и крепко сидела в нашем сердце надежда, что не успеет еще сойти снег с полей, как дойдем мы до кремлевских стен, и среди великого поста запоют в Белокаменной пасхальный канон – вестник избавления России от советской власти.

Оттого так легко, бездумно и весело шли мы тогда вперед.

Но после взятия нами Перми что-то изменилось к худшему, как будто сломалась пружина, от которой зависел успех всего нашего дела. То ли мы выдохлись, то ли красные набрались сил, но наше наступление задержалось, словно река в половодье, прегражденная плотиной. И, незаметно, как-то само собой, на снежных пермских полях ломанными линиями обозначились контуры фронта.

I

В морозное солнечное утро вызвали меня в штаб полка.

– Здравствуйте, юноша, – встретил меня командир, полковник Зеленцов. – Раздевайтесь и садитесь – вот здесь.

Зеленцову не было и тридцати лет, и чтобы чем-то компенсировать эту непростительную для своего чина и должности молодость, он напускал на себя начальственную строгость и всех офицеров своего полка называл юношами, в том числе и меня, хотя я был старше его года на два.

– У меня к вам, юноша, дело, и серьезное. Вам эти места знакомы? – полковник указал на двухверстку, где красным карандашом была начерчена фигура, отдаленно напоминающая Каспийское море.

– Да, немного знаю, г. полковник.

– Так вот. Разведка сообщает, что здесь, – Зеленцов ткнул пальцем в середину Каспийского моря, – накапливаются красные. Вы понимаете? Очевидно, пронюхали, черти, что у нас на этом участке прореха, и решили нажать. Говорят, их там уже не меньше полка. Что вы на это скажете?

– Полагаю, г. полковник, что прежде всего нужно заткнуть прореху.

– Вот именно, – даже как будто обрадовался Зеленцов. – Для этого самого я вас и потревожил. Придется вашему батальону продвинуться влево и изображать из себя пробку. Иначе мы пропали.

– Но, г. полковник, одного батальона для такого участка будет мало. Если красные поведут наступление целым полком, мы не выдержим.

– Что поделаешь, дорогой мой юноша. Сами знаете, какие у нас силенки. Да вы не особенно беспокоитесь: я вас подкреплю одной ротой, можно еще придать пулеметный взвод. Ваши-то пулеметы в порядке?

– Так точно.

– Ну, вот и хорошо. Одним словом, действуйте. Главное внимание обратите на дорогу, что ведет из села Лабзина на тракт, в сторону красных. Смотрите за ней в оба, очень уж она мне не нравится. Ну, помогай вам Бог, – сказал Зеленцов, вставая, и в голосе его что-то дрогнуло.

Чтобы сократить путь, я поехал назад прямиком через лес. Огромные и прямые, как телеграфные столбы, кедры, то раздувались, образуя просторные поляны, то сбивались в беспорядочные группы. Сквозь тонкий переплет ветвей, изысканно и нежно убранных кружевом инея, голубела непорочная бирюза неба. Лес стоял, как зачарованный, и только иногда, встревоженные моим появлением, неуклюже взметывались вверх вороны, и пришедшие от этого в движение ветви долго осыпали меня роем снежных блесок.

Признаюсь, вся эта красота мало меня трогала. От разговоров с Зеленцовым у меня осталось неприятное зудящее чувство. По всем признакам, нам предстояло очень серьезное дело, может быть, даже сегодня ночью. Что-то принесет нам эта ночь?

У моих ротных вытянулись лица, когда я, собрав их, изложил им задачу, возложенную на наш батальон.

– Все это так, – сказал командир 2-й роты, поручик Гончаренко, – только с какими же силами мы будем противника встречать? У меня дай Бог, чтобы 60 штыков набралось. А в других ротах, я знаю, и того не будет.

– Что поделаешь? – ответил я словами командира полка. – Сами знаете – служба. Что приказали, то и приходится исполнять.

Было около трех дня, когда я в легкой, на морозе, дохе, верхом на лошади поехал в объезд своего нового боевого участка. Центральное место на нем, то самое, по которому пролегала дорога, так беспокоившая полковника Зеленцова, заняла вторая рота. Солнце пухлым багровым шаром скатывалось вниз, к ожидавшей его на западе туманной мгле. И уже начало темнеть, когда я не без труда разыскал поручика Гончаренко, который со своим взводом, составлявшим ротный резерв, расположился в пустой заброшенной избе. Вероятно, в нем жил прежде лесник.

Гончаренко был наш общий любимец. Был он очень красив той правильной, смуглой и яркой красотой, которая встречается только среди уроженцев нашего Юга. Привлекала в нем широта натуры, его веселость, остроумие, компанейский характер. Такие люди, как правило, не имеют врагов и не знают, что такое жизненные неудачи. При всем том, он был отличный офицер, и его рота ставилась в пример остальным командирам.

Обстоятельно и без лишних слов Гончаренко доложил мне о положении на участке своей роты.

– Лыжников в дозоры выслали? – спросил я.

– Так точно, – ответил он, – через час ожидаю от них донесений.

И уже другим тоном добавил:

– Чаю не желаете?

В широкогорлой русской печи яростно гудел огонь. Ни лампы, ни свечи не было. Отсвет пламени беспокойно метался на противоположной от печи стенке, блестевшей от выступившей сырости. На скамьях и на полу

бесформенными грудами лежали солдаты и, казалось, спали. Пахло распаренной шерстью, табаком и тем запахом, который присущ, кажется, всем солдатам мира.

Обжигаясь, я с удовольствием тянул из большой эмалированной, с зазубренными краями, кружки крепкую, без сахара, жидкость, так хорошо согревавшую иззябшее на морозе тело.

Неожиданно до нас донеслись звуки колокола.

– В Лабзине ко всенощной зазвонили, – сказал Гончаренко и пояснил, – сегодня ведь сочельник.

– Сочельник! А я про него и забыл.

– Да, сочельник, – задумчиво повторил поручик. – А завтра – Рождество. Вы когда-нибудь были у нас на Украине? – спросил он.

– Да, но только проездом.

– И не знаете, как у нас Святки празднуют?

– Не имею представления.

– Жаль. В наших святочных обычаях много любопытного, чего в других местах не встретите. Я ведь сам из Полтавщины, родился и вырос на хуторе, и Рождества без колядок и колбас не представляю.

Гончаренко помолчал немного.

— В сочельник у нас колядуют, – заговорил он опять. – Читали гоголевскую «Ночь под Рождеством»? Ну там про эти самые колядки и говорится. А в самый праздник у нас виршуют: ребята с утра, чуть свет, ходят по домам и стихи говорят, с Рождеством поздравляют. А под новый год щидруют – тоже не слыхали? Забавная, я вам скажу, вещь.

В прихотливой игре светотеней я отчетливо видел его красивое, словно выточенное, лицо. Выражение его было грустно и нежно.

– Замечательное было время – Святки, – продолжал он. – Сколько поэзии и радости вносили они в нашу жизнь, каким весельем наполняли они эти дни. А как встречали у нас гостей, званых и незваных. Бывало, зальешься в первый же день с визитами по хуторам, дай Бог, чтобы в родительский дом на четвертый день вернуться. А как вкусно пахло в домах, какие окорока, колбасы, птица подавались к праздничному столу.

Один из солдат яростно сплюнул и повернулся на другой бок.

– Ты что? – спросил я.

– Курить дюже охота, г. капитан.

Я вынул пачку сигарет «Золотой Шлем» и протянул ее солдату.

– Бери и соседям дай.

Сонные фигуры вмиг ожили, и со всех сторон к пачке потянулись закорузлые пальцы.

– Да, – продолжал Гончаренко, – так и проходили Святки, словно в угаре.

Не успеешь вдоволь навеселиться, в школу пора возвращаться. И, Бог

ты мой, сколько в эти дни ехало нашего брата-учащегося, какая толчея творилась на вокзалах, сколько было приятной суматохи, волнующих встреч, какие интересные завязывались знакомства! У меня, помнится, было одно дорожное приключение; даже не поверите, до чего оно, как бы вам сказать, неправдоподобное что ли. Хотите расскажу?

Но рассказа его я так и не услышал. Тревожно запел полевой телефон. Гончаренко схватил трубку и через минуту, оторвавшись, сказал изменившимся голосом:

– Дозоры противника показались...

Вдвоем мы вышли из избы. В застекляневшем от мороза воздухе гулко стучали отдельные ружейные выстрелы.

Как я и ожидал, бой оказался для нас тяжелый. Красные всеми силами наваливались на вторую роту и совершенно ее растрепали. Сам Гончаренко был ранен в голову, и с тех пор я его уже не видел.

Жив ли он, умер, попал в плен к краснымпри отступлении наших частей – не знаю.

II

Ровно год спустя мы уходили от наседавших на нас советчиков. Фронт уже рухнул, и, словно листья, гонимые осенней непогодью, несло нас все дальше на восток. Сзади оставалось красное безумие, впереди была неизвестность. Тысячеверстной ниткой вытянулись по сибирскому рельсовому пути составы с сыпнотифозными, ранеными, беженцами, «поезда смерти», как их тогда называли. А вправо и влево от железной дороги, туда же на восток мчались десятки тысяч саней, обозначая свой путь брошенными подводами и трупами павших лошадей.

Широкой дугой, радиусом верст в шестьдесят, мы обогнули Красноярск с севера. «Мы» – т. е. полк. Зеленцов, начальник хозяйственной части, я, десяток младших офицеров и человек пятьдесят солдат – все, что осталось от нашего полка. От красных мы уже оторвались, и ехали без особых приключений. Лишь утром в сочельник имели стычку с небольшим отрядом партизан, устроивших нам засаду в тайге, и в полдень подъехали к селу, название которого теперь уже и не помню.

Сразу было видно, что здесь живут новоселы. Село было чистенькое, новенькое, правильно распланированное. Небольшая, красивой архитектуры, церковь, немного поодаль от нее – школа, волостное управление и больница. К селу вела широкая, хорошо наезженная дорога, остолбленная с двух сторон, с мостиками, водоотливами, с насыпями в низинах. Все эти блага цивилизации, создавшиеся в Сибири трудами Переселенческого управления, много помогали нам тогда при отступлении.

Решили остановиться и дать лошадям отдых. Нас встретила женщина лет сорока, хмурая и неразговорчивая. На вопрос – где хозяин, ответила,

что уехал несколько дней назад в город и до сих пор не возвращался. Две девочки-погодки и мальчик лет десяти, забившись в самый угол, с пугливым любопытством косились на наши винтовки. С полатей доносилось старческое кряхтенье, прерываемое вздохами и молитвенными причитаниями.

На просьбу покормить нас, хозяйка ответила, что ничего не стряпала. Есть только сметана, соленые огурцы и вяленая рыба, – если желаем, может подать.

– А денег мне ваших не нужно, – сказала она. Нескрываемая насмешка слышалась в ее голосе.

У начхоза были пельмени, которые уже не раз выручали нас на остановках. Мы заказали хозяйке сварить их, развели бутылку спирту, поели, выпили и как-то отмякли душой.

Вошел начальник команды разведчиков, капитан Георгиевский. Увидав наше пиршество, он словно сконфузился, но от предложенного стакана водки не отказался и, осушив его одним махом, принялся за пельмени. И застарелый голод и тоска по вкусной еде чувствовалась в работе его челюстей.

Наконец и он отвалился от стола.

– А я тут, г. полковник, двух рябчиков около поскотины зацарапал, – сказал он, обращаясь к Зеленцову. – Оба с берданками. Спрашиваю, вы чего тут бродите, отвечают – на охоту вышли. Не иначе, однако, как партизаны. Что прикажете с ними делать?

– Задержите их, юноша.

– Вообще село какое-то подозрительное, – продолжал Георгиевский. – Мужиков, как метлой вымело, ни в одной хате их не увидите. Одни старики да бабы остались. И везде ответ: кто по дрова в лес поехал, кто на охоту ушел, кто на Енисее рыбу ловит. Это под Рождество-то.

– Сейчас бы в баньку сходить, – мечтательно сказал начхоз. – Чувствую, что весь соленой корой покрылся.

– Тоже выдумаете – баня, – отмахнулся Георгиевский. – Говорю вам – в самое партизанское логово забрались. Они нам такую баню покажут, что и костей отсюда не вынесете. По-моему, как только кони отдохнут, так и айда дальше. Вы как полагаете, г. полковник?

Зазвонили ко всенощной.

– Что же, так и сделаем, – сказал Зеленцов. – Только вот что, господа, не сходить ли нам в церковь?.. А? Ведь завтра Рождество, а я и не помню, когда слушал службу.

– Это кто как хочет, – ответил Георгиевский, – а мне разрешите к своим разведчикам податься. Проверю посты, да на всякий случай пулемет выставлю. Так будет надежней.

Молящихся в церкви было немного. Бревенчатые стены источали

слабый смолистый запах. Кое-где мерцали свечи, борясь с обступившей их темнотой. Служил молодой священник, явно оробевший при нашем появлении. На правом клиросе пел невидимый для глаз женский хор. Молодые, высокие голоса, слившись в один звуковой поток, дружно и красиво отвечали на возгласы, идущие из алтаря.

Мы купили целый пук свечей, и в церкви сразу стало веселей. А когда запели «Слава в вышних Богу», и я по старой привычке опустился на колени, волна щемящей и в то же время приятной грусти охватила все мое существо. Словно, после долгих мучительных блужданий я, наконец, завидел приветные огни родного дома.

Около нас выросла вдруг фигура Георгиевского.

– Г. полковник, пора сматываться, партизаны подходят.

Когда мы садились в сани, несколько пуль пролетело над нашими головами.

– Из берданок стреляют, – угрюмо пробасил Георгиевский. – Ну, подождите, ошарашим вас из пулемета, долго будете этот праздник помнить. Да вот еще г. полковник, что прикажете с задержанными делать? Помните, я давеча вам докладывал?

Зеленцов ответил не сразу.

– Отпустите их, юноша, – сказал он, наконец. – Сегодня ведь мир и в человецех благоволение. – Он криво усмехнулся. – Так ведь, кажется, поется? – спросил он, ни к кому собственно не обращаясь.

Через десять минут мы были уже за околицей. Молодой, еще не набравший силы, месяц тусклым расплывчатым бликом светил на мутном пологе неба. Снизу, с сухим хрустом, неслась поземка. Широкое, с черневшим по краям лесом, поле словно исходило вокруг нас белыми парами; в их зыбко-изменчивой пляске было что-то фантастическое и страшное.

До Байкала оставалась еще тысяча верст. Доедем ли?

III

Это время – конец девятнадцатого и начало двадцатого года – все мы, тогда уходившие от большевиков, будем помнить до самой смерти. Страшные, незабываемые дни! На пространстве тысячи верст, среди ледяного безмолвия сибирской пустыни, разыгрывались трагедии, которых человеческое воображение не могло и представить. Матери теряли своих детей, на глазах жен расстреливали их мужей, родные и близкие расставались на полчаса, чтобы больше уже никогда не встречаться. И чем дальше уходили мы на восток, тем безнадежней рвались нити, связывающие нас с Россией...

В апреле 1920 года я был ранен под Сретенском: осколком снаряда раздробило голеностопный сустав. Лето я пролежал в одном из читинских госпиталей, а затем к осени всех нас, раненых, эвакуировали в санитарных

поездах в Приморье.

Наш поезд обосновался на станции Хорватово. Рядом с нами поставили состав с беженцами из Забайкалья, все больше женщины и дети. Иногда, в хороший солнечный день, я взбирался с помощью костылей на отлогую сопку – оттуда вся станция была видна, как на ладони. Две длинных улитки, одна серая – наш состав, другая красная – беженский, вытянулись около больших коричневых коробок – станционных зданий, притулившихся к самой горе. За полотном дороги, где блестели паутинки рельс, чернел ивняк, сплошь закрывший маленькую, всю в неожиданных изломах речушку. Бурели склоны противоположных сопок, и мягкими лиловыми волнами уходили вдаль.

Дни шли за днями, до тошноты похожие один на другой. Главными событиями нашей жизни были перевязки, обед и ужин, промежутки между которыми мы старались заполнить хоть каким-нибудь содержанием. Впрочем, было развлечение, которому все мы платили дань – встреча экспресса, приходившего три раза в неделю из Маньчжурии во Владивосток и обратно. Экспресс, стремительный, нарядный, весь сверкающий огнями красавец, задерживался у нас на пять минут, и мы с каким-то настороженным, недружелюбным вниманием наблюдали через прозрачность зеркальных стекол чужую жизнь, роскошную и для нас недосягаемую, жизнь среди хрусталя, бронзы, цветов и красивых женщин. И всякий раз, возвращаясь в свои вагоны, мы испытывали такое чувство, будто нас ограбили или обокрали.

Днем было еще ничего, но когда в вагон прокрадывался вечер, с которым не могла совладать свеча, одиноко горевшая в своей стеклянной тюрьме, и прорезанный в потолке вентилятор затягивал однообразную песню, душу охватывали тоска, сознание прожитой впустую жизни, чувство безнадежности и злая скука. В такие минуты по пустякам вдруг вспыхивали беспричинные ссоры, и в глазах самых закадычных друзей горели огни взаимной злобы, почти ненависти.

Страшная вещь – вынужденное безделье!

Дни золотой уссурийской осени вдруг оборвались, резко и грубо. В Николин день мы ходили встречать экспресс в одних гимнастерках, но к вечеру вдруг завыл вентилятор, и вагон стал вздрагивать под ударами тайфуна, который с разрушительной яростью бушевал два дня, отрезав нас от всего мира. И когда, наконец, мы вышли на воздух, белая пелена, вся в сугробах, резала и слепила глаза, и безмятежно сияло чистое, еще недавно засыпавшее нас снегом небо.

В тот же день узнали мы новость, которая, говоря газетным языком, произвела среди нас сенсацию: оказывается, в одном из вагонов нашего поезда будет церковь. Новость подтвердил и Лисин, агроном по образованию, исполнявший при поезде обязанности кладовщика, слесаря, столяра,

вообще технической рабсилы.

– Утварь и облачение у нас есть, – сказал он. – Богослужебных книг маловато, но нам обещает их дать батюшка из Сергиевки. Служить будет о. Константин, наш штатный краснокрестный священник. Делается иконостас. Вероятно, в сочельник уже будут служить.

Новость взбудоражила и захватила всех обитателей поезда – и больных, и персонал. Все хотели принять свое посильное участие в создании церкви. Старший врач поезда, д-р Петров, оказался хорошим регентом. Нашлись неплохие голоса и скоро в пустующей по вечерам канцелярии стало слышаться пение – то сколачивался и обучался новый хор. Сестры делали бумажные цветы и шили чехлы для подсвечников. Пригодился даже Овчинников, инвалид с ампутированными обеими ногами, человек вывихнутый и совершенно раздавленный своим несчастьем. Он добыл откуда-то липовую чурку и с помощью одного ножа вырезывал замысловатый, очень красивый канделябр.

– Что, брат, хорошо? – спрашивал он своих совагонников, и его квадратное, чуть тронутое рябинами лицо светилось тихой детской улыбкой… – Знай наших – вятских. Мы к дереву привыкшие.

На раме тормозной площадки повесил три куска рельса. Один большой, два других поменьше. И когда в сочельник, в предвечерней мгле вдруг поплыли мягкие звуки, так напоминающие колокол, все заулыбались, и на душе стало теплее.

Я пришел в церковь, когда служба еще не начиналась. Батюшка, уже в облачении, привычным жестом выправлял из ризы волосы и что-то вполголоса говорил своему псаломщику. Пахло хвоей, ладаном, нежно и наивно розовели самодельные цветы, украшавшие иконостас.

Сначала хор пел неуверенно, немного громко, голоса, видимо, еще не успели приладиться друг к другу. Но потом певчие успокоились и после «Свете Тихий» запели стройно и тихо. А когда дошли до «Хвалите», все молящиеся, услышав знакомый напев, начали подпевать хору, и доктор Петров высоко поднял вверх свою управляющую руку, чтобы ее было видно поющим.

Я стоял и слушал пение, и душу мою волновали новые, впервые пришедшие мысли. Почему мы, русские люди, поняли по-настоящему всю красоту нашей церковной службы только теперь, когда страшное горе камнем придавило наши души? Вот стоят в этой походной церкви врачи, бывшие судебные деятели, инженеры, офицеры. Стоят и молятся так, как никогда, может быть, не молились. Почему же раньше они этого не делали? Почему мы прозрели именно теперь, когда произошло что-то непоправимое и ужасное?

* * *

В нашем вагоне было чисто, прибрано, тепло. На столиках белели свежие скатерти.

– С праздником, г. капитан, – сказал мне санитар Басков, тихий и спокойный человек, но во хмелю непереносимый. – Сейчас за ужином для вас сбегаю. А вот вам сестры к праздничку прислали.

На моем столике красовалась порезанная тонкими ломтиками кета, стояла открытая коробка сардин, и вкусно смотрел большой кусок пирога.

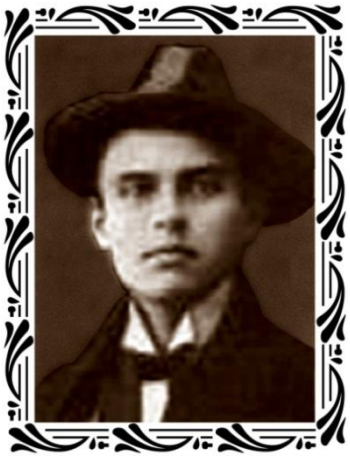
– Что же, выпьем, ради праздничка, – сказал я Баскову.

Не присаживаясь, он осушил стопку; лицо у него было торжественное, словно у причастника.

– Больше не буду, – заявил Басков, когда я хотел налить ему вторую.

Уже ложась спать, я впервые за несколько лет почувствовал, что жизнь в тридцать четыре года не потеряна, и что чем страшнее испытания, выпадающие на нашу долю, тем больше должны мы ценить те радости, которые дает нам жизнь.

Впервые опубликовано и печатается по: Луч Азии. 1939. № 12. С. 11–17.



Николай Павлович
ВЕСЕЛОВСКИЙ
(1899-1968)

Прозаик и журналист Николай Веселовский (настоящая фамилия Выговский) родился 10 сентября 1899 г. в городе Алатырь Симбирской губернии в семье потомственных дворян. Окончил Казанскую гимназию, затем юридический факультет Иркутского университета (1922). В 1919 г. прошел обучение в Офицерской Екатеринбургской Военно-инструкторской Школе (произведен в порт.-юнкера, а затем в подпоручики). Участник Белого движения (принимал участие в военных действиях на Волге, в боях, сопровождавших отступление на Уфу, в Ледяном походе от Барабинска до Иркутска). Работал военным корреспондентом газет «Сибирская Речь», «Русская Армия». Летом 1925 г. прибыл в Маньчжурию из Благовещенска. Жил в Харбине, занимался журналисткой деятельностью. Печатался (в том числе под псевдонимами «Н. Черноярoв» и др.) в журналах «Рубеж» (Харбин), «Луч Азии» (Харбин), «Прибой» (Харбин), газетах «Заря» (Харбин), «Русское Слово» (Харбин), «Харбинское Время» (Харбин), «Голос эмигрантов» (Харбин), «Возрождение» (Париж), «Новое Слово» (Берлин), «Россия» (Нью-Йорк). В соавторстве с Б. Юльским выпустил сборник рассказов «Восток и Запад» (1943). В 1946 г. был арестован и приговорен к 10 годам лагерей. После освобождения в 1955 г. поселился в Челябинске, где и прожил до конца своих дней.

Ист. и лит.:

Ларин А. Четверть века литературной работы // Время. 1944. 5 февраля. С. 5.
Родные о Н.П. Веселовском // Русская Атлантида. 2004.
Таскина Е. Николай Павлович Веселовский // Русская Атлантида. 2004.

ФЕЛЬДМАРШАЛ СУВОРОВ

Олег Боярский просыпается в светлой большой комнате, разделенной на две половины голубой портьерой.

В распахнутое окно из сада вливаются раскатистый смех, звуки вальса и откуда-то издалека протяжно-зовущие голоса пароходов.

Мальчик повернул на подушке опаленное жаром лицо, и в провалившихся черных глазах загорается радость.

Каждой весной, когда кончались занятия в классах, они уезжали Волгой в родовое имение. Это были лучшие дни за весь год, счастье, выше которого ничего даже представить себе невозможно.

И вдруг опускается мрак. Прощай река, широкая палуба, мерное дрожание каюты.

Олег вспоминает, как сегодняшней ночью, когда на короткий миг приходил в себя, за портьерой говорили домашний врач, крохотный доктор Меньшиков, и любимая мама, красивая, не по годам седая.

«Докторчик» – его так называли за маленький рост – предупреждал грустным шепотом, неуверенно запинаясь:

– Боюсь, Серафима Петровна, до утра не дотянет… Что с ним поде-

лаешь, с ползучим воспалением легких, фокус все время скачет… Надо быть ко всему готовым…

Олег тогда заметался, хотел что-то сказать, но снова поглотил кипящий, бредовый вал.

Сейчас, когда повторился в сознании подслушанный приговор, показалось – гаснет солнечный свет и смолкают голоса в саду.

К кровати подходит седая дама. Ее встречает немой укор, она видит слезы на исхудалых щеках.

– Ты что, родной?

– Ничего, я все слыхал ночью.

– Успокойся, милый. Кризис прошел, докторчик, к счастью, ошибся, ты будешь жить…

Первый раз они повстречались два года спустя, на крохотной волжской пристани, южнее Самары.

Был август. Боярские возвращались назад в Казань. До ночи предстояло ждать запоздавший «Кавказ» – меркурьевский пароход. Тройка, брызнув переливом бубенчиков, рысцой покатила обратно, в Уралово. За экипажем, приняв небрежно независимый вид, распустив по ветру султаном хвост, затрусил грудастый дворовый пес Мальчик – победитель во множестве драк.

Взрослые принялись пить чай, услужливо поданный пристанским конторщиком. Олег, теперь длинный худой шестиклассник, отделившись от остальных, скользнул под разогретую тень чистых, сероствольных кленов и вскоре пробрался к сторожевке приятеля своего, Терентия Лукича, матроса и рыбака.

Терентий Лукич коренаст и могуче широкоплеч. В рыжей густой бороде и в редеющих волосах порядочно белых нитей. Лицо несметное число раз облуплялось загаром, босые ноги похожи на красно-сизые гусиные лапы. На груди и руках какие-то фиолетовые рисунки, неясного для длинного шестиклассника содержания.

От Терентия Лукича пахнет махоркой, смолой и солнцем. Несмотря на года (пятьдесят с хвостиком) и заметную округленность талии, он подвижен и цепок.

– Так, так… – невольно огорченно тянет Лукич, восседая на корточках. –Уезжаешь, значит, до самой весны не увидимся. Ну, давай, Карандаш, я тебя на прощанье воблушкой угощу.

Матрос берет ободранную янтарно-желтую рыбину и четко бьет ее об угол крыльца, потом густо мажет маслом два ломтя ситного и старательно умещает сверху куски рыбьих боков.

– На, кушай, милок, на здоровье – самое поволжское угощенье. В городской жратве один только форс, а настоящего вкуса, настоящей силы, шалишь, брат, не сыщешь…

Олег ест с удовольствием. Солоновато, но замечательно аппетитно.

Доев ломоть, машинально произносит «мерси».

– Не стоит вашего мерсиканья, – отвечает рыбак и, лукаво блестя крохотными голубыми глазами, весь заливается бисерным добродушным смехом. Смеется он так заразительно, так от души по-детски, что Олег невольно принимается вторить.

Насмеявшись до слез, Лукич вдруг становится таинственно важным:

– Знаешь что, Карандаш? Я намедни царя рыбьего видел, омутовую щуку, здесь под левым обрывом живет. Толщенная, длинющая, поди с телеграфный столб будет…

– Старый, а врешь, – обиженно возражает Олег. Ему кажется, что рыбак над ним потешается.

–Ну, столб не столб, – легко уступает речной волк, – но уж полтора человеческих роста беспременно будет. На восходе ее заприметил. Поднялась, на зарю взглянула, хвостом – жжик… и назад. Богу, значит, молилась.

Заметив прежний укор во взгляде приятеля, рассказчик дипломатично меняет тему.

– На каких отъезжаете, на меркурьевских? Хильдмаршала Суворова ждете? Первейший во всей навигации пароход. Ход бодрый, вид форсистый, а рык, как племенного быка, такой трубный… Не пойму, как это он подкачал… Подожди малость! – почесавшись и повздыхав, возвращается к заветным любимейшим разговорам Лукич. – Скоро соловей тутоти станет наяривать. Эдакий прилетел голосистый, что твой Шаляпин.

Олегу смешно, как соловья можно сравнивать с громоподобным басом, но он деликатно не возражает.

– Давеча, – продолжает матрос, – рыбачили ночью. Осетрищу тащили пудов, поди, на двенадцать.

– Вот и опять соврал!

– Ну, хочешь, побожусь монастырским заклятьем, – Терентий страшно выпучивает глаза.

– Божиться нехорошо, грех.

– Ну, верь не верь – твое дело: икры было – как только брюхо ему не порвало! Посолили и деревянными ложками пошли жрать. Да, милый ты мой смугляшек, – переходит на лирический лад матрос, – нет жизни славнее волжской. Таких золотых мест не сыскать во всем свете. Ты только дыхни, какая здесь благодать. Богатство, легкость! До самых краев все наполнено. Молчи и любуйся!

Торжественно попрощавшись с другом, Боярский пробирается к самому берегу.

Опускается вечер. От бегущих струй пахнет острой речной свежестью. Пахнет лесным дымком, мокрой землей и прибрежными пряными травами.

Ложатся голубые и серые тени. Легкая мгла постепенно скрывает зыбкие дали. Олегу чудится, что, замирая, где-то дрожит туго натянутая струна и что сам он вот-вот растворится в неясном великом потоке. Все плывет, все уходит, все становится полусном.

Мгла сменяется бархатом ночи. На небе и на воде, страшно далекие, замерцали огни. Где-то сбоку приятный тенор поет вполголоса под гитару:

– Дивный месяц плывет над рекою, все в объятьях ночной тишины…

Боярский видит, как посередине течения, медленно приближаясь, переливается бриллиантовый червячок. Точно несколько звезд, сцепившись, упали с бездонной выси.

– Хильдмаршал Суворов снизу… – негромко кричит из сторожки Терентий Лукич.

Олег особенно любит с радостным замиранием погружаться в пароходные недра ночью. Его отец утверждает, что мальчишка – неисправимый романтик. Романтику плавучий дворец с его гордой роскошью рисуется вестником из далеких неведомых стран.

Неплохо представить, что сейчас он вступает в замок бородача-черномора, что за ярким сияющим входом, где-то там, в полутемных каютах, спрятана заколдованная принцесса.

Никаких принцесс нет, Олегу о том давно уж известно, но думать так хорошо и сладко.

На этот раз с привычным радостным предвкушением мешается тихая грусть. Навсегда уйдет дремотный обрыв с речным дурманом, огнями и колдующей тишиной.

Родится печальная мысль, сразу переходящая в непреклонное убеждение: лучше, прекраснее только что пережитого ничего нет, не было и больше уж не будет.

Идя по трапу на борт «Суворова», мальчик видит склоняемую у перил девочку в коричневой шали. Две косы перекинуты через плечи, глаза большие, серые, направлены на него со строгим, вопрошающим любопытством.

– Вот и принцесса, – решает Боярский, еще не стряхнув с себя волжского вечера.

В ту же секунду, заглядевшись на косы, он, споткнувшись, летит через четыре ступеньки вниз.

В строгих глазах – искра веселья. Барышня, запрокинув головку, откровенно смеется. Ее верхняя губа уморительно морщится.

Гимназист, растерявшись, зачем-то срывает фуражку. В ответ – горделиво небрежный, чуть заметный кивок.

Снимают трап…

Олег учился неплохо, но, получая хорошие баллы, никогда не возносился до гордой мечты о медали. Вдобавок кто-то сказал, что Толстой счи-

тал ее патентом бездарности.

Сильнее проявилось тщеславие «предков». Перед окончанием курса Серафима Петровна с изумлением, приятным и гордым, обнаружила, что сыну недостает всего лишь одной пятерки и что награда совсем близехонька.

С ним заключили настоящую сделку: добьешься «серебряной» – получишь визитку, сто рублей чистоганом и что-нибудь вкусное, что хочешь и сколько хочешь.

Игра стоит свеч. Толстому легко рассуждать, он граф и писатель, а рядовому студенту (он уже мыслит себя студентом) есть смысл попытаться. Катеньки, визитки и трехфунтовые банки зернистой искры на полу не валяется.

Мысль об икре, осетровой, черной, пришла сразу, как эхо рассказа Терентия Лукича об «осетрище» пудов на десять. «А есть будем непременно деревянными ложками, так же, как там рыбаки».

Сговорился с косноязычным словесником Валентином Еропкой, что исправляться «на пять» станет у него по словесности, пригласил к «ночному бдеянию» Васю Тельянова, первого классного литератора; в качестве гонорара за дружеское содействие предложил участие в «трехфунтовой зернистой оргии».

Все сошло изумительно. На другой день в «Фермопильском проходе» (между кафедрой и доской) Еропка понес жестокое поражение. Он покинул поле сражение, оставив вместо трофея маленькую, каллиграфически точную цифру пять. За «позор», за «патент на бездарность» пришли все обещанные мирские блага.

– Тон делает музыку, как говорят французы, – философствует Вася Тельянов. – Твоя икра требует надлежащего антуража. Ты не возражаешь против балкона на Меркурьевской пристани? Там живет старикашка Панкрат, отцовский бывший приказчик, густопсовая бестия.

Предложение с восторгом принято. Есть икру в обстановке речного берега куда колоритней. Оба друга летят быстролетным трамваем к заветному «устью». С ними две деревянные ложки, завернутые в бумагу.

Пристань оглушает привычным радостным гудом. Грохочут телеги, трамваи, извозчики. То там, то здесь на разные голоса ревут басы пароходов. Катят огромные бочки. Не видать под тюками зашитой в рогожу поклажи крепышей-грузчиков. Повсюду движение, суета, бодрость. Бьет в нос рыбой, дегтем и свежей краской. Очертания тонут в столбах пыли.

Кажется, что всем здесь весело. Даже распоследняя жуткая брань из одних зычных уст перепахивает в другие без всякой злобы.

Приятели видят, как черноусый квадратный парень принимает на богатырскую спину солидное пианино и, пружиня могучие ноги, спокойно идет по сходням с причала на берег.

–Вот, – говорит Вася Тельнов, – она, академия русской силы, о натюрель. Отсюда выходят «парад аллэ» сверх-чемпионы Поддубный, Заикин и разные прочие. Серьезная, погляжу я, штука.

Подбегает Панкрат и, обдавая легким «букетом», почтительно предлагает:

– На пароход пожалуйте! Стоит «Фельдмаршал Суворов». По причине поломки машины пассажиров всех взял «Двенадцатый год». На палубе – свежесть, комфорт, а здесь, извините, свинство и никаких горизонтов. С буфетчиком все устрою-с…

Оргия начинается. Икра в серебряной чаше обложена льдом. Целый лимон разрезан на четыре ломтика. У каждого прибора по стопке хлеба.

Когда уходит официант, оба Лукулла незаметно вынимают свои деревянные «черпалки». Икра убывает быстро и верно.

В самый разгар еды до Олега доносится приглушенный смех. Обернувшись, он видит глаза, испытующе-любопытные.

– Какие обжоры, – кажется, говорит их лукавый огонь.

И вдруг кольнуло воспоминание – да ведь это же та насмешница-принцесса, из-за которой чуть не сломал ногу. Как она бесконечно похорошела. Какие пепельные, пушистые волосы, а ножка, а талия!

И как тогда Боярский снимает утром купленную студенческую фуражку.

Познакомились. Барышню зовут Леля. У нее грудной, воркующий говорок и занятная, немного смешная манера выражать свои мысли.

– Леля, как странно. Мы с вами всегда встречаемся на «Суворове».

– Мой двоюродный брат, медик, летом работает здесь за врача. Я к нему приезжаю бесплатно кататься. Как видите, вовсе не странно.

– Вы волжанка?

– Нет, я харбинка. Некоторые никогда не слыхали про такой город.

Олег начинает усиленно вспоминать. В учебнике географии названия подобного не было, но где-то читал. Ах да, «Огонек». Бараки с красным крестом, люди в халатах.

– Позвольте, там, помнится, бушевала холера?

– Не холера, не чума. Некоторые запоминают неточно. Мой папа по-прежнему у себя в Маньчжурии. Он служит в Русско-Китайском банке, но меня в эпидемию отослали к тете в Казань. Харбин – мой, а Волга – ваша, красивая, но чужая… Некоторые не хотят посмотреть на харбинский талисман Лели?

Появляется сморщенное, черно-зеленое подобие скорлупы.

– Это что же такое?

– Недозрелый грецкий орех, они там не доходят, у вас таких нет.

Олег предлагает пойти с ним завтра на Услонские горы, где сейчас цветут яблони. Леля почему-то смеется, и опять сейчас видит Олег смеш-

ную гримаску верхней губы.

В трамвае назад едут молча. Между друзьями пробежала кошка с пушистой пепельной шкуркой. Вася сидит нахохленный, настоящий совенок, подмоченный дождиком.

Услоны в сплошной душистой бело-розовой пене. Осенью на смену цветам придут миллионы увесистых яблок. Сады растянулись далеко.

Сегодня земля еще дышит весенней особенной сыростью, с которой мешается крепкий, цветочный дух. Повыше гудит дружная капелла шмелей.

Девушка потянулась к ветке. Боярский видит, как солнечный луч, прокравшись в листве, золотит нежный пушок на руке, от кисти до локтя. Задумалась, в широко раскрытых глазах что-то строгое, даже хищное.

«Русалка», – возникает образ в уме пленного кавалера. Прихоти ради скользнула на пароход. «Фельдмаршал Суворов» катает «Ундину»…

Она тряхнула белое дерево, и дождь лепестков, как фатой, покрыл дымку волос. Взор потемнел. В его настойчивом блеске Олегу чудится и призыв, и насмешка.

– Леля, – вырывается у него дрожащий шепот, – простите, я страшно люблю вас…

– Почему страшно? – удивленно подымаются брови, и тотчас меняется тон. – Если некоторые желают встречаться, они не должны болтать ерунду, иначе кто-то сразу уедет к тете.

– Слушаюсь, – виновато лепечет жертва русалочьих чар.

Они молча сидят на самой вершине, уставшие от хмельного воздуха, от ходьбы и полноты впечатлений. Нет ни желаний, ни мыслей. Оба околдованы голубым майским вечером. За ним многоглазая волжская ночь.

На острове – огневой столб от костра рыбаков. Казанский берег, переливаясь, струится морем огней. Издалека, снизу, мягко стонет гармоника.

Наверху не слышно воплей газетчика о победах генерала Брусилова. Не видно ни косматой, багрово-траурной тучи, тяжко и грозно встающей над райскими берегами.

* * *

Во время гражданской войны Олег добровольцем сражался в составе речной флотилии.

Когда уходили на Каму, крапал осенний, холодный дождь. С Богородской горы уехали пушки. Черные волны дыбились, рассыпая седые гребни. На одном из корабликов команда из молодежи запела старую, еще при Разине гремевшую песню. Гудящий ветер далеко мчал слова про удалых гребцов, белый парус и «хозяина во наряде». Последний раз ловил Боярский мутные очертания родимого края.

В разгаре отступления по частям сжигали эскадру. На склянках пробило полночь, когда в толпе солдат и матросов сошлись Олег, Вася Тельнов и Терентий Лукич в коротком военном бушлате.

Исполинским факелом пылает «Фельдмаршал Суворов». С грохочущим злобным скрежетом пламя глодает стройный деревянный кузов. Дым, сливаясь с угрюмым мраком, льется стремительным адским потоком. Мерещатся сатанинские вороньи кони, и прожигают торопливые искры их далеко развеянные гривы.

Терентий Лукич, постаревший, уставший, смахивает слезу:

– Господи, что ж творится! Первейший по всему Поволжью пароход. Кончилась благодать. Порешилась Рассея…

Олегу тоже кажется, что все кончено. Кто-то там расплескал до краев налитую чашу. Сгорает прекрасный, светлый мир. Дымный плащ от умирающего гиганта навсегда ляжет серой могильной тенью на землю отцов.

Во время Ледяного похода, когда мороз перешел за 30, Терентий Лукич, задержавшись, попадает в беспощадные руки партизан анархиста Лубкова.

– Ты что ж, борода? Сам, поди, голоштанник, а с буржуями снюхался. Сымай все, чтоб в чем мать родила… Заголишься и дуй нагишом; до своей бело-банды добежишь, твое счастье.

Лишь только Лукич разделся – неистовый гогот.

– Ну, старый хрен и затейник. Весь в картинках, глянь-ка, парястенная газета.

Матрос, все также молча, поднялся, поежился, крякнул и быстро засеменил ногами, еще крепкими и волосатыми. Вслед понеслось улюлюканье. Один высокий мотнул башкой в лохматой ушанке: «Сурьезный старик, правильный…».

Терентий Лукич бежал недолго и скоро, скрючившись, упал у дороги.

В последний миг он видит алое солнце, всходящее над утренней Волгой. Речной царь всплывает из омута. Дальше все разом меркнет…

Вася Тельнов заболел тифом. Когда бросали санитарный поезд, начиналась агония. Умирая, он кого-то жалобно звал, предлагая пойти посмотреть на яблочный цвет в Услонских садах.

Олег встретил Лелю вблизи Иркутска. Она казалась спокойной и бодрой.

– Пусть некоторые проберутся в Харбин, папа по-прежнему служит в банке. У него назначаю вам встречу. Мне вас жаль, вы остались без родины.

– Моя родина там, где вы.

Встреча осмыслила для Боярского его крестный путь, дала цель и силы.

Проза

* * *

Ледяной поход позади. Лег на углу Вокзального и Бульварной. Почтенный банкир встречает радушно, но когда разговор коснулся Лели, растерянно мнется и смотрит в угол.

У юноши холодеют лоб и щеки, ноги становятся ватными.

– Не понимаю, их все еще нет. Ни дочери, ни сестры. Очень странно. Остается по-прежнему ждать.

Олег, боявшийся худшего, облегченно вздыхает; ждать он готов тысячу вечностей.

Через год – наваждение.

У Эльги Эрнестовны бледное, без кровинки, лицо. Глаза, как узкие изумруды, полузакрыты ресницами. Длинный, ярко накрашенный, искривленный рот. Рыжеватые волосы стянуты матовым обручем. Она много курит. Тонкий коралловый мундштучок похож на струйку брызнувшей крови.

Эльга Эрнестовна – законченный тип «фам рафинэ» (балерина, художница, поэтесса). В ее комнате – голубой полумрак. Движется медленно в платье, похожем на тунику. Скупо роняет слова умирающим голосом.

Фам рафинэ называет Олега «моя игрушка». Переехав в Шанхай, «игрушку» берет с собой.

Харбин, про который кто-то сказал, что это «родная свечка на перекрестке чужих дорог», Боярскому нравился. Шанхай не полюбился вовсе.

Эльга Эрнестовна танцует перед публикой почти донага раздетая. Ее окружают иностранцы-поклонники, нагловато-лощеные. Раздражает ее манера беседовать с ними: подойдет вплотную, почти прижмется и глядит, становится тряпкой.

Его тянет к «перекрестку чужих дорог», но порвать все сразу не хватает решимости.

Эльге Эрнестовне тоже надоел молодой друг, но она боится вульгарных сцен. Мальчишка, ей представляется, по-прежнему без ума.

Как-то раз в их общей столовой он видит открытку, положенную текстом кверху. Читая, слышит, как стосильным мотором застучало сердце.

– Итак, мы, наконец, приехали. Если некоторые не совсем забыли, приходите на угол Вокзального и Бульварной. Я потеряла приезжий маленький талисман, а новый посылаю вам. Будем хранить вместе…

Письмо без обращения и подписи, но кто автор – понятно и так. Однако, где же посылка? Неужели затеряна почтой?

Повернув машинально открытку, Боярский, задохнувшись, опускается в кресло. Серый шаблонный снимок. Река, пароход, дымок за кормою. Наверху – одной растянутой строчкой:

«Волга – "Фельдмаршал Суворов"».

Милый погибший друг. У Олега по щекам текут слезы. Закипает вол-

на торжественной музыки. В груди словно выросла заветная яблоня и роняет белые лепестки. Он опять на вершине горы, а из мерцающей бездны – густой, низкой октавой доносится суворовский бас.

Цепи упали, разбились.

Эльга Эрнестовна облегченно вздыхает – наконец-то. В длинных пальцах чуть дрожит красный мундштук, похожий на струйку крови.

А он уже растворился в шанхайском зное. Душа рвется погреться у сияющих серых огней «родной свечи». Чемоданы уложены. Через неделю увидит Лелю.

Впервые опубликовано: Рубеж. 1942. № 20;
также: Веселовский Н., Юльский Б. Восток и Запад. Харбин, 1943.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
В 10 т. Пекин, 2005. Т. 3. С. 328-338.

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР

Лихие люди, в третий раз обокрав Гришу, оставили на клочке «Вечерней Москвы» дерзкого содержания записку:

«Какой простофиля, уходя, не запирает квартиру? Ленин умер, но ленинизм жив. Бывайте здоровы. Пока…».

На подкупающе-ясном, с правильными чертами, лице Гриши – мимолетная тень досады. Он, вздыхая, бросает на пустую рогатку студенческую фуражку и вдруг видит кровать с подушкой и одеялом.

По счастливому свойству характера герой-любовник студии Фердинандова не способен глубоко огорчаться. Кровать цела – можно прилечь, отдохнуть, остальное – неважно.

У входа стук.

– Рискните, дверь не закрыта, – спокойно откликается пострадавший. У него грудной бархатный баритон. Гостя встречает с приятным, но лишенным всякой бурности лица.

– Саша Стрельцов, какими судьбами?

Вошедший, стараясь скрыть нахлынувшее волнение, протирает снятое с длинного носа пенсне. Гость высок, сухощав, волосы русые.

– Надолго, знаешь, застрял в Петербурге. А вот приехал и попал на «Испанцев» с твоим участием. Кстати, вы их недурно поставили. Слушай, Гришка, откуда в тебе эдакий огнедышащий темперамент? В жизни – настоящая тямтя-лямтя, а на сцене – вулкан. Отелло. Между прочим, голос звучал отлично. В общем, Фернандо, на первый класс.

– Брось, где уж там первый класс, – немного смущается «тямтя-лямтя», опять успевший забраться на уютное ложе. – А ты, перекати-поле, к какому берегу соизволил причалить?

Стрельцов близоруко смотрит поверх стекол.

– Я же тебе говорил, что за кулисами долго не удержусь. Вернулся назад к своей медицинской науке. Теперь с головой залез в новое – в психоанализ. И, подумай только, мои первые пациенты – актеры. При помощи метода Фрейда обнажаю больные лицедейские души, до самых корней обнажаю…

Молодой врач уже ухватился за любимую тему. Теребит белокурую прядь на лбу. Пенсне то вскочит, то снова слетит с переносья.

– А знаешь, Григорий, что говорит фрейдизм? Самолюбие, действительно, правит миром. Самолюбие, тщеславие – это, брат, проявления одного и того же основного инстинкта. В нем, милый, пожалуй, главный подсознательный винтик всех наших поступков.

С такой точки зрения мы признаем ряд профессий опасными, способными, как бы тебе сказать, вывихнуть душу у гордого «хомо сапиенс». Среди политиков, адвокатов, спортсменов и, особенно – заруби себе на носу! – актеров, немало форменных психопатов, истерических маньяков славы. Ничего не попишешь: аплодисменты, публика, конкуренция. Упор идет на самую жгучую из стихий, на «винтик», о котором сейчас была речь. Сжирается без остатка всякий покой. Сцена, дружище, отрава… Ее работники почти поголовно, выражаясь медицинским жаргоном, «клинический материал». Вспомни ту, прежнюю нашу компанию, с которой вместе стали актерить. Какая была культурная, здоровая молодежь! А вот пронеслась два-три лицедейских года, и баста, у всех мозги набекрень. Где тщеславие – там интриги, зависть, обиды. Как итог – нарушенное сознание.

– Ну, это ты, брат, немного того… – робко оппонирует Гриша. Его большие мечтательные глаза отчего-то становятся грустными.

– Ты, тямтя-лямтя, не в счет. У тебя нрав особый, добродушно-телячий. Зато остальных не узнать – теперь отменные неврастеники.

Беседа оживленно скачет с темы на тему, незаметно летят часы, подходит время ехать Грише на вечернюю репетицию.

У трамвайной площадки дуэль воробьиных стай. Воробьям глубочайше безразлично, что пришел НЭП, что багровый поток террора мешается с мутной волной спекуляцией, что опрокинутая интеллигенция, уходя от водоворота, растерянным, разномастным стадом хлынула в театральный, актерский загон, почему-то признанный политически безопасным. Воробьям единственно ясно, что над Москвой дует теплый июньский ветер и что какие-то наглые птицы из чужих птичьих кланов посмели проникнуть сюда на их законную землю.

Серо-коричневые комочки, ежом запрокинув перья, смешно прыгают друг на друга.

Трамвай, проведенный недавно в Серебряный Бор, где проживает хозяин обворованных комнат, кажется неуместным в лесной просеке. Такая

кругом ясная тишина, так целомудренно пахнет сосной.

Подошедший вагон пуст.

– Послушай, Гриша, – говорит Стрельцов, – ты не встречал Ираиду Кнабэ?

– Теперь не Кнабэ, а Дольская, потом, не падай, пожалуйста, в обморок, Ира – моя актерская спутница жизни.

– Вот оно что? Поздравляю. Но странно, уж очень разные люди.

– На искусство тоже смотрим по-разному, – меланхолически замечает Гриша. – Она у пресловутого Мейерхольда, я – с Фердинандовым. Талантище, будьте любезны…

– А, кстати, – понизив голос, продолжает доктор, – ты все еще не сходил на офицерскую регистрацию?

– А зачем?.. Новое беспокойство… станут расспрашивать… В документы вписал псевдоним – Ратимиров. В общем – неважно…

– Балда ты телячья, псевдоним Ратмиров. Докопаться – капут.

– Кроме тебя и Иры, никто ничего не знает. Она, полагаю, не скажет, ты тоже…

В вагон входит совсем юная барышня, хрупкая, стройная. Кожа на полудетском лице чуть покрылась золотистым загаром. Свежий рот. Наивно раскрыты задумчивые глаза.

По тому, как вошедшая пробирается к месту, садится, поправляет волосы, можно заметить некую мягкую музыкальность движений.

– Очаровательный поросенок, – шепотом говорит Стрельцов. – Античное личико, и точеная вся. «Откуда, прелестное дитя?».

– Вероятно балетная дива. Уж очень пластично движется статуэточка, – откликается друг.

Гриша, деликатный, ясный, упорно скрывает от всех заветный уголок интимного мира. Он, крадучись, любит мечтать, часами жить среди образов и картин, рожденных полетом ушедшей в себя фантазии.

Сейчас барышня с вопрошающим взглядом вдруг представляется фантазеру на тенистой лесной поляне.

Почему-то и хорошо, и страшно…

Когда подъехали к остановке, видения исчезло, «балетная дива» слезла раньше.

– Кстати, – стараясь войти в прежнее настроение, громче обычного говорит Ратмиров, – недавно поступил в ГИТИС – государственный институт сцены. Шум вокруг грандиозный. Ира заделалась в класс Мейерхольда, я, разумеется, к Фердинандову. Третий руководитель – Форегер, австриец, – поставил танцы машин.

– На открытии этот кретин призывал штурмовать академические твердыни (Малый, Большой, Художественный) с кулаками, но выходило у него «с куяками». Подумай, какая чушь: на Станиславского, на «Вишневый

сад» и вдруг – «с куяками». Тогда обнимались, крепили дружбу, а прошел всего месяц – вконец распевались… Мейерхольд, имей в виду, редкостный негодяй. Всех надул, обошел, абсолютно беспринципная гадина…

Стрельцов снова за свой любимый анализ.

– Актерская беспринципность, брат, вещь очень условная. Актер слишком часто, слишком глубоко влезает в чужое, в роли… И, заметь, чем больше талант, тем залезание глубже…

– Разве не поучает «Старик», что надо себя «развинтить», помнишь, его наставления: разбудят вас среди ночи, скажут – вы Чацкий, сразу должны переплавиться в Чацкого, скажут – Хлестаков, должны в Хлестакова… Переключайтесь из одного человека в другого, вживайтесь, убейте в себе самого себя.

– Ему хорошо учить, а что в таком развинченном дяде, сто раз переключившемся, «вжившемся», остается? Ничего своего, ничего твердого. Начинает и в жизни играть одну роль за другой. Тоже спешит воплощаться, как ему больше нравится, как прикажет тщеславие. И, заметь, все это самым искренним образом, не замечая подсознательной лжи. Случай, мой друг, повторяю, вполне клинический. Вся Мельпомена – сплошная клиника!

– Ну, – мягко прерывает Гриша, у которого рассуждения приятеля начинают рождать неясное беспокойство, – смотри, капище Мейерхольда. До чего противное здание! Игра на репетиции «Великодушного рогоносца», зайдем, я тебя проведу…

* * *

Ираида Кнабэ предпочитает сидеть к собеседнику боком, насмешливо щурясь, кривя тонкие губы.

У нее красивый, отчетливый профиль, но фигура – гитарой. Массивные плечи, широкие бедра. Она носит юбки длиннее обычного. Лоб обнажает, волосы сзади скрепляет узлом. Облик несколько старосветский, но актриса таким гордится – человек это стиль.

Ира считает себя самой умной, самой красивой и развитой в студии.

Эгоцентризм и апломб развились еще с гимнастических лет. Она действительно не глупа, но, как заметил комик Ильинский, несет свой ум впереди на блюде, настойчиво предлагая каждому обонять ароматы.

Постоянный упор на свое превосходство, привычка едко подтрунивать отпугнули встреченных на пути кавалеров. С 18-ти до 30-ти лет кладезь всех совершенств, лишенный главного совершенства – быть женственной, напрасно ждала сначала принца из сказки, потом влюбленного без ума рядового мужчину, неважно какого… Но ни принц, ни влюбленный дерзко не появлялись…

На встречных представителей непрекрасного пола Кнабэ-Дольская

постепенно стала смотреть с раздраженным недоумением. Взгляд ее вопрошал удивленно: «В чем дело? Вы разве не видите, кто перед вами?.. Где же ваши рука и сердце?.. Ну?».

На это призвание «ну» долго, унизительно долго не находилось желающих прошептать «да».

Портился и без того неприятный характер. Мучили головные боли. Уязвленное женское самолюбие копило озлобленность.

В сцену она влюбилась с истеричностью старой девы. Сцена отблагодарила Гришей. Они встретились на случайной халтуре, вспомнили, что вместе учились на юридическом факультете. За ужином много выпили изюмного самогона.

«Этот красивый пентюх может быть неплохим мужем, на худой конец – подходящим любовником, – деловито решила Кнабэ. – Он хорошо воспитан, талантлив, его все любят. Такого милого медвежонка легко подчинить, смять, как смяла Шопена Жорж Санд».

Ей к тому времени надоело до ужаса притворяться ледяной недотрогой. «Для острого ума гораздо больше подходит тип холостячки свободных взглядов».

Тогда, в тот вечер, она вдруг решилась. Пододвинулась к Грише и, раздувая ноздри, бросила как бы небрежно:

– Есть женственные мужчины и сильные женщины. Последние сами выбирают друга: я выбираю вас.

Тот что-то промямлил, вроде обычного – это не важно, но не смог избежать нежданного плена.

– Горе тому, кто обидел единого от малых сил. За младенца Гришутку Ирод-Дольская навсегда лишится блаженства, – еще раз сострил тот же комик.

Вопреки правилу, вчерашняя старая дева не влюбилась в своего первого победителя. Больше того, глухая обида на многие годы горького одиночества вскоре толкнула ее на две злорадных измены. При свободных взглядах дозволено все.

В Грише ее остзейскую педантичность коробит небрежность: всегда опоздает, никак не может бросить неудобную дачу, склонен летать в облаках.

Приходится снова жить с престарелой теткой, высохшей и наивной.

Впрочем, тетка из чувства семейной дружбы все находит в Ираиде прекрасным. Раз детка так поступает, значит так нужно…

* * *

Кнабэ, Стрельцов и Гриша сидят в огромном неуютном (настоящий сарай) зрительном зале.

Репетиция идет вяло. Мейерхольд – блудный сын Скандинавии –

больше похож на восточного человека (курчавые волосы, нос горбатый), злыми глазами смотрит на сцену. Там один из актеров «Великодушного рогоносца». Муж ревнует жену. Отойдя к самой рампе, ревнивец принимается имитировать рвоту.

– Что это значит? – таращит стекла пенсне Стрельцов.

Гриша презрительно пожимает плечами:

– Идиотский мейерхольдовский трюк – это значит, что его вырвало ревностью.

– Какая гнусная фальшь!

– Ничего не попишешь, Саша. Он – заслуженный артист. Его приказано величать «мастер». Значит, молчи и мастерством восхищайся… Похабщина…

Барышня, севшая впереди и на два ряда, трясется от приглушенного смеха.

– Здесь вам не цирк, здесь храм, сюда приходят молиться искусству.

Допустившая непростительное кощунство, грешница испуганно прижимает руку к груди.

Гриша даже встает от радости.

…Она… Серебряный Бор, встреча в трамвае… Какая удача!

* * *

Раскаленность асфальта и каменных стен, вместе с чудовищным уплотнением, зарождает в Москве времен НЭПа новый обычай. Каждое воскресенье, каждый праздничный день исполинский котел спешит расплескать по близким и дальним окрестностям большую часть одуревшего, истомленного зноем живого месива.

Дачные поезда отходят с вокзалов каждые полчаса, консервно забитые людьми, припасами, самоварами.

Сегодня Гриша и Ираида Кнабэ едут врозь. Она бросила коротко: «Деловое свидание, мне так нужно…» Он не стал возражать.

Ираида в обществе двух новых поклонников. Гриша с Наташей – девицей, дерзнувшей смеяться на репетиции. Там же, в зале, они познакомились. Ираида не сказала, что собиралась в Царицыно. Туда же поехал тоже ничего не сказавший Ратмиров.

Вокруг небольшого пруда – старые, двухсотлетние липы. Десятки компаний разместились по берегам. Разгоряченные лица, костюмы самые облегченные.

Какая-то разбитная блондинка хлопочет у самовара в полузастегнутом лифчике. Кое-кто из мужчин разделся до пояса.

Кнабэ и два кавалера чопорно пьют в полинявшем киоске лимонад с коньяком. Все трое сидят на одной скамейке. Ира посередине. Так лучше – оказалась в профиль к обоим.

Справа Илюша, театральный критик «Вечерней Москвы», – небольшой, чернобровый с фигурой парадоксально дамской. Илюша – шустрый, болтливый и, как утверждают, влиятельный.

Второй спутник – Илюшин знакомый, товарищ Крысин, мрачный, небрежно одетый пожилой партиец. У него нездоровая кожа, угреватосерая кожа. Искривленный нос, глаза узкие, рыбьи. На подбородке пучком редкие, тоже серые волосы, как проволока жесткие. Сутулится, много курит, жует губами, говорит редко, глухим, почти старческим голосом.

Когда Крысин на минуту отходит к двум вихрастым верзилам, Илюша поясняет значительно:

– Его очень ценят, вот, действительно, карающий меч революции.

– Вы знаете, слишком много белогвардейцев окопалось у нас за кулисами. До сих пор на таких скороспелых актеров смотрели сквозь пальцы, считали, вроде как третьим полом. Но теперь баста! Предстоит чистка. Товарищ Крысин получил огромные полномочия.

Кнабэ верит в свой, не всеми еще оцененный талант (увы, вовсе микроскопический), но еще больше склоняется верить в протекцию сильных мира сего. Кругом интриги, надо иметь свои связи…

Она замечает, что Илюша, очевидно, неравнодушен к ее особе, но он трусоват и боится Гриши… Как глупо!..

С пригорка Ираида вдруг замечает Ратмирова. Рядом с ним хорошенькая шатенка, почти ребенок.

«Кажется, новая наша студийка, о которой так благосклонно говорил мастер», – вспоминает она.

Ревность, актерская ревность к самой возможности чужого успеха, родит неприязнь. Насмешливо поднимаются брови.

Никого не заметив, Гриша важно плывет со своей робко потупленной спутницей. Его широкие плечи с закинутой головой уже за стволом старого дерева.

Незаметно подходит ночь, всегда мистическая в светлое полнолуние. Назад к пруду возвращаются новой, другой тропинкой, хотят свернуть вбок и вдруг погружаются в сказку.

Перед ними навеки заснувший, недостроенный великан-замок. Массивные стены сплошь поросли травой и небольшими березами. Сквозь камень цепко пробились узловатые корни. Словно шали испанских красавиц, картинно свесился плющ. Волшебно-прекрасный высится призрак, залитый голубым серебром.

– Вы знаете, – говорит Гриша вполголоса, – князь Кантемир строил этот дворец для Екатерины Великой… Старой царице, начавшей уже бояться смерти, здание не полюбилось. Сказала, что похоже на гроб. Огорченный вельможа приказал прекратить работы. Так и стояли зеленые, обросшие вековые руины…

От пруда несутся обрывки тумана. Грише мерещится, что это в белых придворных одеждах царским торжественным полонезом проходят тени. Вот они над порталом. Впереди сама божественная Фелица. С ней блистательный князь. Сверкают бриллианты. Бесшумно скользят кавалеры и дамы. Глухо, словно очень далеко, звенит музыка. В разгаре бал, которого никогда не было.

Наташа сидит на камне также другая, затихшая. На обнаженной руке слабо переливается лунный отблеск.

Грише вдруг кажется, что вся его жизнь, нелепый роман с Ираидой Кнабэ, работа у Фердинандова – бессмыслица, пустота. Главное – здесь, главное в ней и в полуночной балладе, покорившей обоих.

Наклонившись, он робко целует Наташины волосы.

* * *

Через день в большом зале консерватории собрание ГИТИСа.

Частных посетителей отправляют в амфитеатр. В партере по классам разместились студийцы. Наверху, в публике, нетерпеливое ожидание. Внизу заговорщицкий шепот и предвкушение грозы.

Наконец, на фоне органа-чудовища появился весь институтский синклит. Какой-то бритый толстяк в роговых очках, расплывшись в сладкой улыбке, собирается говорить. Его отстраняет Гришин учитель, здоровяк Фердинандов. Обращаясь к Мейерхольду, он декламирует зычным, хорошо поставленным голосом:

– Я уважаю вас, как большого мастера, но в жизни вы – негодяй и подлец.

В наступившей тишине эти слова звучат, словно удары хлыста. Мейерхольд что-то бормочет, извиваясь, как Мефистофель, и вдруг, скрючившись, мгновенно исчезает за соседние спины.

Фердинандовцы с пением: «Позор Мейерхольду, позор подлецу» – покидают зал.

Ираида Кнабэ, задыхаясь от бешенства, видит среди уходящих Гришу. Он идет, как всегда, вежливо-безразличный. Ей даже слышится в общем хоре сочный Ратмировский баритон.

Почти бегом догоняет его в вестибюле. Перед удивленным артистом искривленное, налитое злобой лицо, белое, в пятнах.

– Даже вашей дурацкой башкой вы бы могли понять, что причастность к омерзительной выходке может мне повредить… Вы за это ответите, и не смейте больше являться… Убирайтесь к вашей ничтожной девчонке… Я все знаю… тоже, подумаешь, покоритель невинных дур…

Ираида Кнабэ спешит домой. С лица еще не сошли пятна гнева.

«Противно пачкаться, – прикидывает брезгливо, – а есть возможность неплохо с ним рассчитаться. По существу, он – в моих руках. Одно слово

Крысину – и берегитесь поручик Платонов, мигом сорву с вас белогвардейскую маску…».

Под вечер, на репетиции Ираида слышит, как мастер поясняет «помрежу»:

– Для роли, конечно, больше подходит новая Наташа, что ли… Внешность Ундины, и, кроме того, имеется дядя, знаменитый профессор – лечит вождей… У нашей же Ираиды фигура ступкой и никаких протекций, если не считать романа с тем лирическим жеребцом из конюшни подлеца Фердинандова.

Кнабэ-Дольская почти теряет сознание. Ее талант хотят отдать в жертву ничтожной девчонке. Мастера против нее настроили, шепнули ему о Григории.

Минуту-две она сознает себя жалкой, беспомощной женщиной, но тотчас крепко сжимаются тонкие губы – нет, за свое дарование она будет, она обязана биться, топтать всех врагов, рвать зубами, когтями…

«Девчонка неуязвима, – остро работает мысль, – дядя лечит вождей. Но остается Ратмиров. Если с ним что-нибудь приключится, та влюбленная тварь, вероятно, не сможет играть. Прекрасно. На удар отвечу двойным ударом.

Сразу чувства съезжают на нужные рельсы. Недавно играла комсомолку-энтузиастку, которая партии ради предала мужа и брата. Моя партия – сцена. Смерть тем, кто на дороге Дольской».

Крысин ждет в вестибюле. В прошлом он, сельский учитель, был человек смирный, тусклый. Потом жена убежала с красивым студентом. С тех пор не проходит постоянная свинцовая ненависть.

На допросах, присуждая к расстрелу, отправляя «в расход», покинутый муж мстит им всем: молодым, красивым и барственным.

Ираида Кнабэ входит бледнее обычного.

– Вы один? А где же наш выдвиженец Григорий Петрович?

– Выдвиженец? – на бледном лице артистки трагическая усмешка.

В рыбьих глазах Крысина подобие мысли:

– Вы что-то хотите сказать?

Ираида Кнабэ выпрямляется гордо, почти величаво, и опять вливается нужный поток эмоций. Ей хорошо удалась Немезида в клубной инсценировке… Вот именно Немезида.

– Да, мне есть что сказать, – чеканит она твердо.

* * *

Стрельцов уезжает в Питер, Григорий его провожает. Оба искренне любят друг друга и расставаться досадно.

– Во мне, – говорит доктор, – возня с душевной болью людей породила способность предчувствовать. Очень уж ты, милый мой, человек Божий,

не вяжешься с теперешним бытом. Сожрут тебя в один прекрасный день. Удирал бы ты, что ли.

– Да перестань каркать, – негромко протестует Гриша. – Как-нибудь проживу.

– Будем надеяться… Да, к слову: я вчера провел больше часа с твоей просвещенной подругой… Еще раз прочти правду-матку – до чего Ираида теперь неприятна… Самомнение – дальше идти некуда. Стала еще жестче, еще злей. Появилась и новая актерская беспринципность, о которой я тебе говорил… Можешь меня обругать, можешь порвать старую дружбу, но мой сердечный совет – разойдитесь пока не поздно… У вас это просто. Лучше отдай свое сердце Наташе. Оба вы одной голубиной породы. Даже во внешности что-то неуловимо общее. Дядя, – уже смеясь продолжает Стрельцов, – лечит вождей, глядишь, и тебя, дурня, при случае выручит.

– Саша, ты ломишься в открытую дверь. Я уже получил отставку без мундира и пенсии. Дружбе нашей ничто не может угрожать…

На обратном пути, близ Петровского парка, сломался трамвай.

Домой Гриша идет пешком. Ночь. Где-то вдали, приближаясь, полыхают зарницы. Ветер мягко шумит в черных верхушках сосен.

«Да, – сам с собой рассуждает артист. – Саша, пожалуй, прав… Странная стала жизнь: все почему-то злятся, торопятся, люди не хотят мечтать. Да и то, что он об актерах умствовал, тоже как-будто верно… Кажется сам начинаю завидовать. Гадость…».

Двери его квартиры открыты. Горит свет. Все перевернуто. Шаркая сапогами, неторопливо идет человек в форме. За ним два солдата. Рыбьи, неморгающие глаза товарища Крысина глядят без всякого выражения. Молча, по-козлиному, дергает бороденкой.

Крысин видит статного, красивого барчука с открытым чистым лицом, мягким взглядом бархатных глаз, не то удивленных, не то смущенных. Видит его цветущую юность и старую студенческую фуражку.

Наслаждаясь, ждет, жует губами и вдруг с внезапно брызнувшим торжеством режет голосом, сразу помолодевшим:

– А ну-ка, поручик Платонов, за мной… с вещами…

В открытую дверь ярче блеснула молния и раздался первый глухой гром. Гроза вошла в Серебряный Бор…

Впервые опубликовано: Веселовский Н., Юльский Б. Восток и Запад. Харбин, 1943.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 3. С. 362-373.

Борис Николаевич ВОЛКОВ *(1894–1953)*

Поэт и писатель Борис Волков родился 17 мая 1894 г. в городе Екатеринославле (ныне Днепропетровск). Гимназические годы провел в Иркутске. Учился на юридическом факультете Московского университета. Участник Первой мировой и Гражданской войн, Георгиевский кавалер. Осенью 1918 г. был отправлен с секретным поручением в Монголию. Был женат первым браком на Е.П. Витте, дочери бывшего советника России при Монгольском правительстве. Уходя от преследований барона Унгерн-Штенберга, приговорившего его к смертной казни, перебрался в Китай. Работал торговым агентом. Был сотрудником харбинской газеты «Русский голос». В 1925 г. (по другим данным в 1923 г.) уехал в США. Работал портовым грузчиком и поденным рабочим. Участвовал в работе литературно-художественного кружка в Сан-Франциско. Сотрудничал с пражским журналом «Вольная Сибирь», харбинским «Рубежом» и рядом других. Участник альманахов и коллективных сборников «Дымный след», «Калифорнийский альманах», «У золотых ворот», «Земля Колумба» и др. Автор поэтической книги «В пыли чужих дорог» (Берлин, 1934), неопубликованных мемуаров «На чужих берегах» и романа «В царстве золотых Будд», отдельные части которого были напечатаны на страницах журнала «Азия» и альманаха «Врата». В годы Второй мировой войны нашел профессиональное применение знанию русского языка, став преподавателем и переводчиком. Работал в военной школе Монтерей. Занимался журналистикой. В конце 1940-х гг. принимал активное участие в организации Русского центра и Музея русской культуры в Сан-Франциско. Участвовал в антикоммунистическом движении в США. Скончался 9 июня 1953 г. в Сан-Франциско от ранений, полученных в автомобильной катастрофе.

Ист. и лит.:

Автобиография // Вернуться в Россию – стихами...: 200 поэтов эмиграции: Антология / Сост. В. Крейд. М., 1995. С. 613-614.

Александров Е.А. Русские в Северной Америке: Биографический словарь. Хэмден – Сан-Франциско – Санкт-Петербург, 2005. С. 111.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 78.

ПОТОМОК ЧИНГИС–ХАНА

Трава быстро росла. Зеленый ковер покрывал степь. Наступили теплые дни. Трава и теплые дни давали надежду на успех побега через степи, туда, в Китай.

Судя по всему, и бдительность Намсарая-тайчжи или благородного Намсарая, монгольского чиновника и офицера, прикомандированного ко мне, была усыплена.

Я числился в командировке монгольского министерства внутренних дел, за несколько сотен верст от Урги. На самом деле я старался держаться, на всякий случай, как можно ближе к этой священной столице Живого Бога, где друзья подготавливали похожий на экспедицию побег.

В начале июня вернулся посланный мною в Ургу надежный монгол. Он привез записку. На бумаге карандашом было набросано несколько

условных фраз. Я понял, что дела Цянь-Цзюня, охранителя границ государства, Возрожденного Бога Войны, генерала Унгерн-Штернберга, на русско-монгольской границе неважны.

Четыре месяца тому назад, 2-го февраля 1921 г. с семьюстами русских и монголов, обутых в «вечный сапог» (сырая кожа сшивается и застывает на ноге), им была взята Ургa и обращен в бегство 12-тысячный китайский гарнизон. Согласно «традициям» отряда были перебиты, невзирая на пол и возраст, «жиды и сочувствующие большевикам». Было приступлено к уничтожению «всех, так или иначе не подходящих к заданию отряда». Для монголов был вновь коронован Живой Бог, для русских был объявлен «законным хозяином земли русской – Император Всероссийский Михаил Александрович, видевший шатание народов»[1]. И мы все, русские офицеры и солдаты разбитых в Сибири белых армий, которым удалось скрыться от красных в диких просторах Монголии, были мобилизованы на новый поход «на Русь». И доктор, лечивший «самого генерала – барона», поведал мне под большим секретом о том, что «в настоящее время» он приготовляет дл барона порции морфия – «не менее чем в 50 порошков».

Записка сообщала о том, что красный Троицко-Савск, пограничный русский город, не удалось захватить с налета. «Сумасшедший барон» расстреливает и вешает офицеров пачками. Очередь подходит к нам. Я понял, что круг суживается все больше и больше и что, пожалуй, из этого круга не уйти. У тех, кто остался в Урге, было достаточно оружия и военного снаряжения, но не хватало для путешествия через степи, а, может быть, и через пустыню Гоби, лошадей. Эта задача должна была быть разрешена мною…

Приблизительно в шестидесяти верстах от Урги мне посчастливилось найти уединенную долину, закрытую с трех сторон лесистыми горами и выходящую одной стороной в холмистую степь. То, что называют сибиряки, «падь». Долина была покрыта густой травой, посередине протекал ручей. И, главное, была она в стороне от всех возможных дорог.

Я распорядился расседлать коней. Больше всех обрадовался остановке и связанному с ней полному безделью Намсарай-тайчжи, благородный Намсарай. Он с удовольствием крякнул, повертел пальцами левой руки несколько седых волосков под нижней губой, нечто вроде эспаньолки, поправил длинную заправленную сзади за кушак косу и, не торопясь, отдал соответствующие приказания монгольским солдатам.

У ручья быстро выросли два конусообразных желтых шатра. Военные китайские шатры, отбитые у китайцев монголами. В одном шатре помещался я, в другом Намсарай. Вокруг желтых шатров засинели синие шатры

[1] Из Приказа Русским Отрядам на территории советской Сибири. Мая 21 дня нов. ст. 1921 г. № 35.

монгольских солдат. Благородный Намсарай тотчасже выпросил на время мой новенький японский карабин и исчез куда то на целый день.

Монгол-переводчик, грузный монах-лама, где-то научившийся русскому ломанному языку, вытащил из-за пазухи халата клочки бумаг и огрызок карандаша, подобранные у меня. Лег прямо на полу у шатра на живот и предался любимому занятию: артистически выводил он на бумаге контуры различных животных. Его рисунки напоминали мне поражающие своей реалистичностью и красотой рисунки доисторического человека, находимые современными учеными на стенах пещер. В степи погибал крупный талант.

Полдюжины монгольских солдат расселись полуголыми у палаток на траве. Они будут сидеть так, совершая туалет на солнце часами. Расплетать и заплетать друг другу косы и просматривать одежды, бережно опуская пойманных насекомых в траву: правоверный ламаит считает даже жизнь вши священной. Это не помешало старшему, нечто вроде сержанта, зарубить при взятии Урги трех китайцев. На его голой могучей груди болтается зашитый в просаленную грязную тряпицу амулет, предохраняющий от пуль.

Мне оставалось, как всегда, одно: лежать в шатре, наблюдая на желтом фоне освещенного солнцем полотнище мелькающие тени. В голубом весеннем небе кружились коршуны. И ждать. А когда надоест думать и лежать перечитывать свою «библиотеку»: томик русских стихов и самоучитель английского языка.

* * *

На другое утро, обходя лагерь, я заглянул в шатер Намсарая, думая, если удастся, незаметно навести разговор на покупку лошадей. Старого плута вновь не было дома. Свой шатер он старался устроить совсем, как у меня, и даже выложил какие-то монгольские бумаги и повесил на колышек бинокль, совершенно излишний его ястребиным глазам. Рядом с поставленными друг на друга полированными ящиками-божницами, рядом с богами знаменитая картонка для парадной шляпы и особый футляр – с ее павлиньим пером.

Намсарай был высоким, по-юношески стройным, не смотря на свои 60 лет, стариком. Он носил простой монгольский терлык, но необыкновенной длины – не менее 15 футов – кушак, стягивающий, подобно корсету, талию, а расшитые разноцветной кожей монгольские сапоги с подтянутыми вверх острыми носками выказывали несомненное степное щегольство. Сзади за поясом был заткнут нож. Впереди на поясе блестел прибор для добывания кремнем огня. И прибор, и ножны ножа были затейливо изукрашены старинной чеканки серебром. Такие вещи передаются веками из рода в род.

Намсарай двигался медленно и величественно. Но особенно поражало его потемневшее от степной непогоды и от степного солнца лицо с похожими на старые шрамы морщинами. Прямой нос, смело глядящие в упор глаза, седая эспаньолка под нижней губой.

Эти необозримые, похожие на волнующееся море, зеленые степи, где на одного человека, в среднем, приходится почти две мили, казались мне тесной, замкнувшейся тюрьмой. И тюремщиком моим был Намсарай. Вначале все в нем раздражало меня. Особенно медлительность и плавность движений, высокопарные речи по пустякам и лень. Такого ленивого человека я не встречал еще никогда.

– Куда торопиться? Что делать? Все переделано до нас давным-давно! – говорил Намсарай.

Иногда, посматривая на его старого образца винтовку, бьющую без промаха в его опытных руках, я думал о том, что весьма возможно, она прекратит мои полные тревоги дни.

Первое столкновение произошло, когда подошли мы караваном к вздувшейся от дождей реке. Мутные воды несли щепки и стволы деревьев. Как известно, по всей необозримой стране Живого Бога имеется всего-навсего десять деревянных мостов. Намсарай подъехал верхом к реке, заглянул в воду и медленно отъехал назад.

Вскоре, в разбитой по его приказанию на берегу палатке состоялось своеобразное военное совещание. Намсарай говорил с обычным красноречием, пересыпая речь свою высокопарными оборотами и цитатами из священных книг. На этот раз он цитировал главным образом книгу Ли-Цзы, книгу китайского хорошего тона. Подробно обрисовав создавшееся положение и заметив, что даже лошадям противно переплывать подобную воду, он особенно долго останавливался на плавании вообще.

– Ни один уважающий себя человек, – сказал Намсарай, – без особой на то нужды не поплывет. Почему? Очень просто. Кому приятно нелепыми движениями своими уподобляться лягушке? Больше. В той особо мутной воде, которая преградила нам дорогу, легко, не разобравшись, наскочить на рыб.

Лица всех слушавших выразили неподдельное отвращение.

– Есть рыб, – сказал Намсарай, – не только грешно, но и омерзительно, ибо рыба, как известно каждому образованному человеку, в конце концов не больше как водяная змея или водяной червь.

Ждали моего слова.

Я начал так же размеренно и торжественно, как и Намсарай. Я даже, сдерживая раздражение, стал подражать его плавной жестикуляции. И приказал переводчику, под страхом строгой ответственности, перевести мою речь слово в слово.

– Благородный Намсарай, монгольский офицер, – сказал я, – очень

начитан. Приведенные им цитаты из Ли-Цзы, книги хорошего тона, неоспоримы. Но для меня лично важнее небольшая бумажка – предписание перейти реку, и реку мы перейдем. Если же конь благородного Намсарая, потеряв под ногами почву, поплывет, – то, как это ни прискорбно, офицеру придется прибегнуть к унизительным телодвижениям. Ибо, в ином случае, не Намсарай скушает рыбу, а рыба скушает Намсарая, не задумываясь над тем, грех это или нет.

Не один мускул не дрогнул на лице Намсарая. Он величественно повернул голову к почтительно ожидающему приказаний солдату и обычным своим торжественным тоном сказал:

– Русский найон[1] приказал.

Я хотел поставить «этого дикаря» на место, а вышло, что дикарь поставил на место меня.

– И на кой черт, – думал я, – я обидел старика! Разве не был он всегда со мной всегда изысканно вежлив? Разве не стрелял он для меня дроф и диких коз и не отдавал лучшие куски мне?..

И улучив удобный момент, я сам предложил Намсараю, собравшемуся на охоту, взять вместо его устаревшей винтовки мой новенький японский карабин. Карабин бил дальше и вернее. Карабину всегда завидовал Намсарай.

Изрытое морщинами обветренное лицо Намсарая, казалось, говорило без слов о том, что семь столетий, достаточное количество предков и даже само китайское иго не могли, как говорят здесь, «разжижить густую, бьющую сильной струей, кровь Чингис-хана».

Для меня стало ясным, что в сердце старика, как и в сердце его народа, бьется два начала: одно – уходящее вглубь веков, овеянное гудением бубна шамана и тайнами Черной Веры, давшее монголам славу воинов, едва не покоривших весь мир; другое – искусственное, привитое китайцами в целях обуздать беспокойного соседа, берущее начало в рассуждениях ламаизма, превратившее воина в «пастуха чужих (главным образом, китайских) стад».

Поняв это впервые, я наблюдал, как старик по обычаю, принятому и у нас в сибирских лесах, быстро наклонившись, перекусил крепкими желтыми зубами горло подстреленного глухаря.

Кроме того, чисто практически я понял, что несмотря на лень и полную беспечность, он, для которого в степи нет секретов, вовремя обнаружит опасность – бродячую шайку разбитых китайских солдат. Намсарай мог определить по легким следам на песке и траве не только количество всадников и их национальность, но даже узнать груз, которым нагружены были прошедшие вьючные кони и верблюды. Мне невозможно было разо

[1] Найон – господин, князь.

браться во всех этих диких степных делах, и я предоставил все Намсараю, принимая сам почет и, когда приходило время, покорно садясь в седло.

* * *

Не застав Намсарая дома, я приказал оседлать для себя коня и выехал на прогулку в степь. Было раннее утро, и было так хорошо, что не хотелось ехать быстро. Я пустил коня шагом и жадно вдыхал полной грудью степной воздух, пропитанный ароматом просыхающей от утренней росы травы.

Всюду начиналась деятельная жизнь. На сухих пригорках весело паслись тарбаганы, жирные и неуклюжие, они становились на задние лапы и, посвистав немного, удивленно смотрели на меня, пока я совсем приближался к норе, затем быстро ныряли в отверстие ее. Высоко в воздухе парили коршуны, высматривая молодого зазевавшегося тарбагана. Опытный глаз всегда может найти местность, заселенную тарбаганами, по изобилию хищников. Коршуны парят в воздухе, на высокой скале сидит орел или два; иногда даже днем случайно можете увидеть линяющего волка. Бока уже гладкие и ровные, а спина покрыта пучками старой длинной шерсти. Для всех них тарбаган является лакомым куском.

Я задумался и ослабил поводья коня. Неожиданный прыжок его в сторону чуть не сбросил меня с седла. Из-за ближайшего холма вынырнуло нечто странное на коне.

Опять этот старый дурак, Намсарай!

Намсарай придержал коня и, приветливо и церемонно кланяясь, подъехал ко мне. На нем был мой желтый непромокаемый плащ. Его голова была обмотана двумя полотенцами, причем концы их, свисая наподобие громадных ушей вниз, трепетали и бились от ветра и резких движений коня. В руках он держал мой карабин и нечто, похожее на хвост.

Я понял, что Намсарай приготовился к исполнению знаменитого «Волчьего балета», ибо я знал, что после составления баллад и игры на лютне «Волчий балет» является любимейшим развлечением этого потомка Чингис-хана.

По просьбе Намсарая, я соскочил с коня и лег на траву, а сам Намсарай, к моему удивлению, спешившись и бросив коня, сделал несколько шагов, стал на четвереньки, приставил хвост к надлежащему месту и запрыгал, исполняя странный – действительно «волчий» – балет. Вскоре я заметил вдали маленький бугорок выброшенной из норы глины и около него – толстого, поднявшиеся на задание лапы, подобно молодому щенку, зверька. Он любопытно присматривался к тому, что скачками в разные стороны, медленно, но неуклонно, приближалось к нему. Создавалось впечатление, что зверек близорук и внимательно, прищуриваясь, всматривается. А это «что-то» прыгало на четвереньках, вертело хвостом, хлопало ушами, сви-

стело, затем в нескольких шагах от норы прогрохотал выстрел, и через миг Намсарай поднял над головой окровавленную добычу – убитого зверька. К тарбагану трудно подойти, но он очень любопытен и, увидя нечто новое, все забывает. Его надо бить в голову, наповал, иначе заползет даже смертельно раненным в нору, и тогда придется, в лучшем случае, долго капать. Для этой охоты нужно много терпения. Иногда часы требуется для того, чтобы подкараулить зверька. Намсарая ни за что не вытащишь из палатки, но сколько угодно часов он готов провести у тарбаганьей норы.

Намсарай был доволен охотой. Правда, с тех пор, как правительство призвало его вновь к ответственной деятельности, а также благодаря любезности русских найонов, он имеет всегда барана, и добыча для него не столько необходима, сколько спорт, но было время…

– Бедность – не преступление, найон, и сам Великий Чингис–хан, мой предок, до того, как поднял стяг свой – девять белых хвостов яка – и покорил мир, в детстве питался кореньями и луковицами растений, которые собирала для него мать, а в зрелой юности, будучи голодным, съедал даже полевую мышь…

* * *

В разговоре с Намсараем я, как бы случайно, упомянул о моем давнишнем желании – закупить-три десятка хороших коней. Настоящее время представляло исключительный случай: вблизи, несомненно, были большие табуны. Намсарай пристально посмотрел на меня, но не задал ни каких вопросов. Он заметил лишь, что не советует ехать к табунам.

– Разве знатным людям подобает это? Мы пошлем за ними, и, если нам будет нужно, они пригонят табун и перекочуют сами к нашим шатрам.

Вечером этого же дня он торжественно пригласил меня в свой шатер. На нем был новый синий халат, его коса была заплетена особенно тщательно, а на ногах красовались расшитые цветной кожей парадные сапоги. В шатре было дымно, пар валил от котла на жаровне, и лица присутствующих сильно лоснились. Я уселся на почетном месте, и Намсарай, с риском обвариться, долго шарил в котле и, вытащив особенно лакомый кусок баранины, преподнес его мне. Затем длинными щипцами, которыми достают угли из жаровни, пододвинул от огня ближе ко мне жестяной сосуд с перехватом посредине, наполненный горячим китайским вином.

Дав всем по куску мяса, Намсарай почти бросил последний сидящему в стороне атлетически сложенному молодому монголу. Тот почтительно принял его на ладони сложенных вместе рук и сильно зачмокал губами, чем, как благовоспитанный человек, показывал восторг от предложенного угощения.

Это был тот надежный человек, который привез мне только что

записку из Урги, «хамчалга» Намсарая, – его личный, правда, единственный раб. Великий Канси (каждый чтит его память) разделил всех потомков Чингис-хана на князей шести степеней, которым назначил жалованье и содержание, и на тайчжи – дворян, которые получили для своих личных услуг в «хамчал» (рабство) от трех до двадцати четырех семей харахнов, тяглых монголов.

Когда Намсарай совершенно издерживался и охота на тарбагана не была удачной, он приезжал в юрту к своему рабу, который, предоставив хозяйство, жену и домочадцев своему господину, старался на это время куда-нибудь исчезнуть. Ибо со времен Чингис-хана вассал чтит закон, доставляя сюзерену лучших добытых им женщин и коней. Раб привез своему господину новый халат, который тот в настоящее время усиленно мазал стекающим с пальцев бараньим салом, ибо сальные пятна на халате служат показателем достатка владельца, питающегося «жиром земли».

Намсарай не вытянет ног вперед и не переплетет их, не коснется ножом огня, не заложит рук за шею или спину и не выплеснет чая из чашки. Он очищает свои крепкие, слегка пожелтевшие от шестидесяти лет зубы длинным, не менее полтора дюйма длиной, ногтем мизинца, и все, что добудет в них, ловким щелчком двух пальцев, отбрасывает далеко от себя.

Он рыгает вовремя, после каждого угощения, чтобы доказать уважение к хозяину и то, что доволен он и вполне сыт. Вообще, он в совершенстве изучил все 112 правил приличия, преподаваемых в ламаистских университетах Урги.

Среди многочисленных новостей, которые привез раб Намсарая из столицы Урги, была одна, вызвавшая всеобщее внимание: в одном из монастырей, недалеко от Урги, среди бела дня на улице появилось чудовище – полу-женщина, полу-волк. В мгновения ока оно растерзало двух монахов.

Громадный воин с амулетами на голой груди поспешил рассказать, что его покойный брат, погибший при взятии Кобдо, незадолго до атаки, будучи на часах, увидел подобное же чудовище и даже, приняв его вначале за волка, стрелял в него. Но когда различил ужасное старушечье лицо, то выронил винтовку из рук.

Очевидно, появление полу-старухи, полу-волка не было явлением из ряда вон выходящим, но всегда предвещало какое-нибудь несчастье, главным образом, войну.

Монголы-солдаты, набившиеся в шатер, слушали, сидя на корточках, курили и, многозначительно качая головами, чмокали губами.

Когда последний солдат вышел из шатра, я решил выспросить Намсарая и, желая задобрить старика, начал с того, что состроил печальное лицо и заметил, что как это прискорбно, что два монаха, судя по всему, весьма почтенные люди, были растерзаны так нелепо на улицах монастыря.

– Есть ли еще какие-нибудь новости, благородный Намсарай?

– Есть, найон, – ответил Намсарай, – но эти новости не для простых солдат.

Смелые глаза старика в упор остановились на мне. Я понял, что Намсараю известно и о неудаче под Троицко-Савском, и о последних казнях и, быть может, о судьбе, которая ждет меня.

– Найон помнит, конечно, – сказал Намсарай, – о том, как Возрожденный Бог Войны – вы называете его «бароном» – разошелся в степи с главными силами китайцев, и китайцы оказались неожиданно под самой Ургой, и как мы, выйдя из Урги, преградили им путь. Сердца китайцев были объяты отчаяньем, и они слепо шли в атаку за атакой на холмы. На одного монгольского всадника приходилось пятнадцать китайцев, на одного русского – тридцать. Мы отбили китайцев и долго гнали в степи. Несомненно, «орус» – русские – храбрейшие войны, и Бог остается Богом… Но почему все это делает Возрожденный Бог Войны?

Несомненно, под словами «все это» Намсарай подразумевал казни и пытки.

Его вопрос застал меня врасплох. Я начал как можно издали и осторожно:

– Несомненно, Намсарай-тайчжи лучше меня знает знаменитое изречение Конфуция. Я говорю его на память, и, если ошибусь, Намсарай простит меня. Конфуций сказал: «Если человек, занимающий выдающее положение, храбр и беспощаден, но не обладает чувством справедливости, он является угрозой государству. Обыкновенный человек, храбрый и беспощадный, без чувства справедливости, не более, как бандит».

Наступила долгая пауза.

– Найон знает о том, – вновь неожиданно задал вопрос Намсарай, медленно и отчетливо произнося каждое слово, – что чахары привезли из похода мешок с золотом, который дал им награду Возрожденный Бог Войны?

Я невольно вздрогнул – это был прямой вызов. Старик, очевидно, говорил о самом выдающемся побеге из отряда Возрожденного Бога Войны, барона Унгерн-Штернберга. Вся передовая русская застава, состоявшая из лучших мобилизованных офицеров в количестве 38 человек, самовольно снялась и ушла по направлению Китая, на Хайлар. Офицеры были хорошо вооружены и решили дорого продать жизни. Барон Унгерн-Штернберг, не надеясь на русских, послал в погоню чахар. Это были испытанные разбойники одного из самых воинственных племен Внутренней Монголии. Барон пообещал за каждую голову 100 золотых рублей. Чахары, как степные коршуны, кружились, не решаясь напасть. За все время русские лишь раз позволили себе неосторожность: почти дойдя до Китая и почувствовав безопасность, они не выставили обычного ночного охранения. Этого было

достаточно. Чахары добыли 38 голов.

Я смотрел на Намсарая. Безразлично, казалось, он мешал длинными железными щипцами догорающие угли в жаровне, и кровавые огненные блики падали на его строгое, мужественное лицо.

– И найон знает, – продолжал он так же медленно и раздельно, как и в первый раз, – о том, как по приказу Возрожденного Бога Войны, молодой офицер на глазах солдат за побег был сожжен живым на костре?

Это был личный адъютант барона Унгерн-Штернберга. Об его смерти рассказывал мне офицер, которому было приказано закопать обгоревший труп…

…Одной из особенностей монгольских весны и лета являются холодные ночи даже после палящего дня. Развернув в шатре своем меховой мешок, я, по обыкновению, внимательно осмотрел оружие – револьвер и карабин и примостил их под рукой. Закутываясь в мех на ночь, я думал о Намсарае. Грозит он мне или пугает, желая остановить меня, дабы избежать случайностей, за которые в ответе может быть он сам? Но почему-то отчетливо припомнилась громадная юрта, застланная белым войлоком, средневековая канцелярия монгольского министра. Лохматые писцы спешно заносили тушью при помощи кисточки последние значки в бумагах, которые я должен был взять с собой.

И стало мне казаться, что лица писцов, да, пожалуй, и лицо самого товарища-министра, подавшего на прощанье по-европейски мне руку, таили уверенность в том, что я при первом удобном случае сбегу.

– Что, если Намсарай-тайчжи получил секретное приказание – смотреть на меня «сквозь пальцы»?..

* * *

Слух о том, что мы покупаем лошадей, быстро распространился по степи. Одного за другим приводили к нашим палаткам конные монголы продажных, в большинстве случаев, необъезженных, коней. Намсарай священнодействовал. Он очень жалел, что в его распоряжении не имеется для взвешивания кусков серебра, которым мы платили за коней, весов с тремя различными палочками – коромыслами: белой, коричневой и черной. Одна только белая отмечает приблизительно верный вес. По ней китайские фирмы принимают серебро друг от друга. По коричневой, показывающей преувеличивающий вес, отпускается монголам серебро, а по черной, показывающей преуменьшенный вес, принимают плату у них. Добродушный кочевник не разбирает этих тонкостей и теряет на серебре не менее десяти процентов. Но Намсарай видел, слава Богу, на своем веку людей, и самый дошлый китайский купец не проведет его. Он показывал свои знания всевозможными способами, стараясь дискредитировать продавца и доказать наглядно полную его ничтожность.

Обыкновенно храпящего и упирающегося коня подводили к палатке. Намсарай и солдаты всячески испытывали его, давали бесчисленные советы, и кончалось тем, что я, повозившись порядочно с дикарем, оседлывал его своим седлом и испытывал на деле. Затем, не показывая, что конь мне понравился, я давал Намсараю условный знак. В результате, Намсарай и продавец схватывались крепко правыми руками, совершенно закрывая кисти их длинными рукавами халатов, дабы посторонний не мог заметить их манипуляции. Незримо, хотя на глазах у всех, начинался бешенный, но молчаливый торг. Продавец пожимает руку покупателя три раза и это означает: «Подходит или нет?» Ответное пожатие означает: «Да», – два раза: «Нет». Нажим одного большого пальца – цифра один, десять, сто и так далее; двух – два, двадцать, двести и так далее. Четыре согнутых пальца, коснувшись четырех согнутых же пальцев, прикрытых концом бархатного рукава, молча говорят: шесть, шестьдесят, шестьсот…

Купцы достигают невероятной виртуозности в этом молчаливом торге и знают сотни оттенков «нажима». Полная тишина. Лишь по временам вырывается у торгующихся весьма энергичные выражения. Несколько раз, разняв руки, оба бросаются к забавным китайским счетам с маленькими костяшками. Начинается щелканье и гвалт.

Сотни маленьких лохматых лошадок промелькнули перед нами в эти дни. Лошади из табунов монголов – результат улучшенной породы, с красивой нервной головой, большими пугливыми глазами, изящной шеей, крепкой спиной и стройными ногами. Маленькие горбоносые лохмачи со щеткой на ногах, достигающей до земли, о которых никто никогда не заботится, которые растут, плодятся и размножаются на этой бесконечной степной равнине. И те, и другие чрезвычайно выносливы, летят, как ветер, и быстро привязываются к своему хозяину.

Ах, только тот, «кто вдыхал живительный запах степных трав», может оценить значение коня! Было время, когда на всем громадном пространстве «степного четырехугольника» (от Хингана до самых Карпат), грозя залить Западную Европу, бушевали кочевнические волны; отхлынув, оставляли они на протяжении трех тысячелетий в степи курганы. Поросли травами курганы, эти огромные холмы-могилы, степной вечер затягивает их синеватой дымкой, к закату солнца на них спускаются степные орлы. В поисках «вечной жизни», лопата археолога нарушает сон степных могил. И в самых древних курганах – «скифских» – ученый натыкается прежде всего на костяк «обузданного коня»: рядом с воином спит вечным сном его конь. История кочевий начинается лишь с момента «обуздания коня». Когда это случилось? Кто знает! Китайские ученые говорят – шесть тысяч лет тому назад.

* * *

Мы отобрали с десяток коней, когда почетный, дородный старик-лама подъехал верхом к нашей палатке. Его сопровождал хуворок – послушник, мальчик лет двенадцати, ведя в поводу красивую спокойную лошадь. Старик, кряхтя, сошел с коня, и Намсарай поспешил выйти к нему навстречу, сгибая туловище и протянув для приветствия руки ладонями вверх. И по тому, как говорил Намсарай, и по тому, как отвечал старик, я понял, что лама имеет высшее посвящение и пользуется большим почетом. Послушник предупреждал каждое движение его и не спускал с него больших карих, не по-детски серьезных глаз.

Приведенный конь дал спокойно надеть на себя европейское седло и понес меня, как вихрь. Давно я не видел подобного коня. Это был иноходец, и недаром говорят ламы, что в иноходцах перерождается боевой товарищ Чингис-хана, его верный любимый конь, а китайцы, связав попарно особыми путами ноги своих коней, терпеливо учат их выбрасывать поременно стороны – тому, что называем мы «иноходью».

Я не мог скрыть своей радости, но и Намсарай не торговался, а лама назвал сразу цену. Все оживление Намсарая исчезло. Он степенно молчал, вздыхал, иногда произносил фразы, пересыпая их изречениями из священного писания, и даже презрительно отозвался о торговцах, кричащих и волнующихся, ибо в конце концов все бренно в Сансаре – этом материальном мире, и «да поможет им Намсарай – его патрон – бог грабежа и наживы, приобрести десять белых добродетелей и уйти от десяти черных грехов». И на это старик ответил словами священных книг:

– Да освободятся все одушевленные существа от сильных и несильных страстей и вспышек, и да пребывают равнодушными. Да будет он твоим, – ласково сказал мне старик, указывая на купленного коня, – и да принесет он тебе на своих быстрых, крепких ногах счастье!

Ламы – старик и мальчик – долго ласкали проданного коня и что-то шептали ему в уши, а когда наши монголы взяли его, чтобы отвести в табун, – маленький послушник зарыдал. Он плакал долго и неутешно. Тщетно старик пытался его успокоить.

– Крайность, только крайность заставила их разлучиться с конем, найон! – сказал, хмуря брови, Намсарай-тайчжи.

И он добавил тихо:

– В сердце найона – тревога. И кажутся закрытыми все пути. Старый лама обладает тайной жизни и смерти. И я могу провести найона к юртам старика.

– Лама покажет чудо? – спросил я.

– Больше, чем чудо, найон, – ответил Намсарай. – Чудеса – для простых солдат…

…На другой день, по приглашению старого ламы, мы – Намсарай, я

и переводчик – верхами выехали к чернеющему вдали покрытому лесом горному хребту, где в одной из многочисленных щелей приютилась его юрта. Меня заинтересовали рассказы Намсарая о нем. Старик принадлежал к числу тех святых лам, которые, погрузившись в созерцание, блуждают вне времени и пространства среди звезд. Иные миры, бесчисленные, как песчинки, встречают их. И те, кто давно покинул землю, те, о которых люди привыкли думать: «Он умер», говорили устами маленького послушника с не по-детски серьезным лицом. Мы поднимались по горной тропинке, когда ветер донес до нас сладковатый запах падали и запах гари, который остается долго после пожара.

– Не посещай место гибели и зла, – сказал Намсарай, но я повернул в эту маленькую долину и увидел выгоревшую траву, обгорелые бревна, кучу тряпья и камни. Вот что-то белеет внизу. Я соскочил с седла и поднял вызолоченную статуэтку будды. А вот сломанное «хурдэ» – большой деревянный барабан с молитвами, который крутят богомольцы, и он механически совершает молитву за них. А дальше, в траве – обглоданные череп и кости, и я наткнулся на труп монгола. Обрывки красного одеяния говорили о том, что владелец их был монах. Это все, что осталось от уединенного монастыря старого ласкового ламы – созерцателя, у которого мы купили коня. Кучка китайских солдат, отбившихся от своего отряда, случайно попала сюда.

Под тяжелым впечатлением от увиденного, я вернулся к Намсараю и переводчику, которые ждали меня на тропинке, и мы тронулись в дальнейший путь. Как находил дорогу Намсарай – одному ему известно, но совсем неожиданно, за поворотом, мы увидели несколько серых простых юрт. Мы подъехали к крайней из них, и вышедший к нам навстречу, едва сдерживающий громадную мохнатую собаку монгол долго шептался с Намсараем.

– Если б тарбаган не показался из норы, как мог бы охотник убить его? Найон, не говори никому, что мы были здесь, – произнес тихо Намсарай, делая вид, что поправляет стремя.

Мы спешились и вошли в юрту.

* * *

Это была простая юрта, ничем не отличающаяся от юрты кочевника среднего достатка. Лишь прекрасный верблюжьей шерсти ковер, седло дорогой отделки, брошенное у порога, да старинной чеканки статуэтки богов говорили опытному глазу о другом: есть вещи, к которым так привыкаешь, что даже в бегстве берешь с собой прежде, чем воду и хлеб…

Первые приветствия, вопросы и ответы истощились. Наступило молчание. Мы полулежали на мягком войлоке. От углей жаровни в центре юрты тянуло теплом. Не хотелось говорить. Какое-то спокойствие и уют охва-

тили нас. Мягко и ласково глядели на меня глаза созерцателя-ламы. Он сидел, поджав под себя ноги на мягком красном шердыке. Он застыл в позе, подобной той, которую придают статуэткам любимых учеников Будды, и легкая улыбка слегка озаряла его полное, добродушное лицо.

И то, что хотелось сказать мне, вырвалось у Намсарая словами священного писания:

– Чтоб золотое пламя подымалось ровным светом, светильник ставь там, где есть защита от всех ветров.

Но, к удивлению моему, старик-лама возразил на эти слова:

– Некий путник, – сказал он, – изнуренный зноем, приблизился к белому от пены, быстро несущему воды потоку и остановился на берегу, боясь погрузиться в прохладные волны. Но, не вступив в поток, как может он освежиться? И разве каждому дает судьба возможность поставить светильник свой вдали от всех ветров? Не бойся жизни! Книги говорят: «Кто не исполнил возложенного на него – напрасно жил». Что больше всего в жизни страшит человека? – ответил он вопросом на многочисленные наши вопросы.

– Бедность, – сказал Намсарай…

Намсарай думал, очевидно, о своей приближающейся старости, о том, что он имеет лишь одного коня и одного раба.

Я думал в этот момент о монгольском плато, объятом огнем войны. Мне предстояло проскочить в этом огне около полутора тысячи миль. И встреча с любой враждующих шаек: барона Унгерна, китайцев или красных – означала для меня во всех случаях одно и то же – смерть. Поэтому, невольно для себя я ответил:

– Смерть!..

Старик ласково взглянул в мою сторону.

– Да, смерть! Много столетий тому назад привели мудреца к неправому судье, и судья, мудро посмотрев на мудреца, сказал: «За преступную проповедь твою, согласно закона, я прикажу палачу отсечь твою правую руку!» Но мудрец, к удивлению судьи, улыбнулся. Он откинул плащ, и все увидели, что правая рука его давно отсечена палачом.

Если больше всего в жизни страшит человека смерть, то есть небытие, то, что может устрашить мудрого и познавшего тайны, который сам стремится к небытию?

Странно пали на лица и скользнули по стенам юрты багровые тени от горящих углей жаровни. Расширились и стали неподвижными громадные глаза на бледном личике маленького послушника. Глубоко задумался Намсарай, степной поэт и аристократ, и крутил пальцем несколько седых волосков под нижней губой – род эспаньолки.

Старик-лама перевел взгляд свой туда, где мистически неумолимо надвигалась ночь.

– Но кто может побороть того, кого Великий Чингис–хан называл «Вечное Синее Небо»? – задумчиво произнес он…

…Мы возвращались теми же тропинками. Так же шумел лес.

Я сдержал коня. Сильно пахло смолой. Сквозь ветви сверкали яркие звезды.

Далеко сзади, меж стволами двух кедров, блестел ровный золотой огонек: должно быть, полог юрты старика-созерцателя, достигшего состояния Даяны, состояния, в котором, оставив землю, блуждаешь меж звезд, был открыт.

И разве священные книги не говорят: «Врата Даяны, как сосуд из алебастра, – белы и прозрачны: внутри горит спокойно золотой огонь».

Намсарай подъехал и наклонился ко мне с седла. Передо мной отчетливо чернело дуло винтовки, выглядывавшее из-за его плеча, и одетая на макушку парадная шляпа с длинным павлиньим пером. Лицо Намсарая было необыкновенно строго и торжественно:

– Думают, – сказал он, – что степи совершенно открыты, что всюду в степи путь. Не так, найон! Запутаны степные дороги. Их стерегут древние боги, которые пропускают лишь тех, кто победил в сердце своем страх. Святой лама не хотел быть до конца ясным. Я переведу его слова на наш грешный язык: «Будь достойным! Иди!»

Я понял, что это говорит Намсарай, воин и шаманист, и что он и старый лама открывают передо мной степной путь…

Кони шли осторожно. Тишина. Лишь вздыхал временами Намсарай, вновь правоверный ламаит. О, этот старый грешник отлично сознавал, что для него, как для каждого достигшего пятидесятилетнего возраста, уважающего себя монгола, наступила давно пора забыть суету мира, обрить голову и дать первый монашеский обет, запрещающий, во-первых, убивать какое-либо существо, во-вторых, вести брачную жизнь, в третьих, произносить лживые слова, в четвертых, употреблять вино и обязывающий произносить ежедневно от десяти до ста тысяч раз мистическую формулу: «Оммани-падмэ-хум», – смысл которой никому не известен.

* * *

Я лежу на мягком шердыке (войлоке) и записываю в записную книжку неожиданно пришедшие в голову слова Лао-Цзы:

«Я слышал, что тот, кто обладает секретом жизни, путешествуя заграницей, не побежит от тигра или единорога и войдет, не думая об оружии, в неприятельский лагерь. Ни тигр, ни единорог, ни вражеский солдат не тронут его.

Но почему?

Потому, что он превзошел смерть».

Монгол-переводчик рисовал на бумаге зверей. На этот раз таких зверей, которых изобразить может только дикая фантазия или инстинкт, донесший до нас память далеких доисторических дней. Монгол-солдат с восхищением знатока, разбирая и собирая мой карабин, смазывал его в десятый раз.

Пламя жаровни неверным светом озаряло полотнище шатра. Мешая угли большими железными щипцами, Намсарай, по обыкновению вслух, переделывал слова любимой былины о богатыре Бум-Эрдени и об его коне:

– Под утренним желтым светом выезжает он в степь и, поглотив пространство девяти тысяч лет пути, под вечерним пылающим солнцем прибывает к ставке учителя – Будды…

* * *

Я всегда с величайшей благодарностью вспоминаю благородного Намсарая-тайчжи. Он укрепил мой дух… Хотя нам и не удалось организовать наш побег.

Вскоре после моего визита в уединенную падь ламы-созерцателя, пришла в Ургу с фронта телефонограмма от «Сумасшедшего барона» с приказом расстрелять четырех человек. Мое имя было среди них. По счастливой случайности, телефонограмму о расстреле принял один из приговоренных, бывший в тот день дежурным офицером. Все четверо бежали в Китай. Один погиб в пути.

Сан-Франциско.

Впервые опубликовано (на англ. яз.) в американском журнале «Азия».
(Текст был задуман как глава из готовящейся к печати книги
«В царстве золотых Будд», которая так и не была издана).
Печатается по: Врата. Шанхай. 1935. Вып. 2. С. 35-52.

Игорь Николаевич ВОЛКОВ *(1910-после 1945)*

Писатель и журналист Игорь Волков родился 1 декабря (ст. ст.) 1910 г. на станции Вавилово. Учился в Екатеринбургском лесотехническом институте, закончил химический факультет Томского университета. Работал инженером, затем директором лесохимического завода под Хабаровском. Был арестован, судим и отправлен в лагерь на 10 лет. В марте 1938 г. бежал из лагеря и перебрался в Маньчжурию. Жил в Харбине. Был сотрудником газет «Заря», «Голос эмигрантов»; журналов «Рубеж», «Луч Азии», «Мушкетер» и др. Писал под псевдонимами «И. Гор», «И. Горей». Автор романа «Солнце всходит на Востоке» (1939-1940) и сборника рассказов «Комсомольцы и студенты»(1941). В 1945 г. был арестован и депортирован в СССР.

Ист. и лит.:

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 78-79.

ГАММА

Аудитория. Семинар по высшей математике. У доски – студент Сычев. На стуле, прислонившись спиной к холодной голландке, – профессор Симбирский. За столами – студенты. В окне – мутно-серые блики пасмурного дня и бескрайняя ширь грязно-бурого брандмауэра.

В аудитории тишина. А в ней – поединок чувств... Сражались двое: студент Сычев и профессор Симбирский; остальные были безмолвными свидетелями. Но за маской внешнего спокойствия бушевали страсти. Только они не проявлялись ни в аплодисментах, ни в криках «болельщиков», а лишь в невозмутимо-сосредоточенном молчании.

Эта напряженная и своеобразная борьба происходила вокруг задачи: прямая в пространстве относительно двух взаимно-пересекающихся плоскостей. На доске белели декартовы оси координат, пересекающиеся плоскости и злополучная прямая. Были обозначены и углы пересечения: альфа, бета...

«Что же он не пишет гамму? – думал профессор, прикладывая свои ладони к холодной печке. – Почему он не обозначает угол гамма? А какой он странный, это студент! Ему, наверное, чуть больше тридцати, а такая огромная лысина. По краям багровая... Голова очень большая. А как он смотрит на доску? Словно там не белые меловые линии, а его злейший враг... Ну и взгляд! Этот убьет и глазом не моргнет. И убивал, вероятно, не раз. Вон из-под рубашки револьвер торчит. Дико! Вчера только заметил. Идти в институт с наганом на поясе, не понимаю! Живой экземпляр военного коммунизма и революционного разбоя. Кто он тут у них, партийный

секретарь, что ли?»

А Сычев тем временем стоял у доски и не знал, что делать. В нем клокотала злоба. Он сейчас казался сам себе таким нелепым, словно нагим перед огромной толпой. Ни уйти, ни спрятаться. Свирепым взглядом он пожирал доску и все на ней написанное. Он ненавидел оси, плоскости и прямую. Он ненавидел самую доску, в которую крапинками въелся мел, отчего доска казалась изрытой оспой. Он пылал злобой к своему учителю Симбирскому, ненавидел его исступленной ненавистью бессильного. Более нелепого дурацкого положения, как сейчас, Сычев себе не представлял.

«Эх, попался бы ты мне лет пятнадцать тому назад! – думал он про нелюбимого профессора. – Попался бы! – думал Сычев, кусая губы и кроша мел. – На мороз бы тебя вывел, голенького. Челюсть бы твою вынул, сел бы перед тобой так же, как ты сейчас сидишь, и заставил бы произносить себе надгробную речь. Ух, и послушал бы я, что бы ты заговорил!.. Мало я вас, паразитов... вот ты еще остался!», – и мел тоненькой струйкой сыпался из пальцев Сычева.

А студенты – одни:

– Сычев опять ни черта не сделал... Не может решить такой простой задачи. Пил – по башке видно. Ну, какая ему высшая математика, этому «Рыжему Биллю?»

Вспоминали рассказы Сычева о гражданской войне и его работе в Особом Отделе ЧОН. Любил рассказывать.

«Кровь, мольбы и стоны – вот, говорит, моя стихия. Трагедия, драма на сцене – ерунда! Там, где плачут, я или смеюсь, или удивляюсь. Когда все это в жизни, у твоих ног – интересно».

– Что ему делать здесь, в «храме науки», когда для него понятия высшего – понятия глупости? Скажи ему: «Храм науки», – он захохочет в лицо и ответит: «Идиоты»!

Другие:

– Ну и Симбирский, черт!.. Видит же, что человек не знает, как решать, – чтобы помочь, – нет, сидит, прижавшись к печке, и дремлет. Подсказал бы, спросил бы – все же легче. А то молчит и молчит... Настоящий инквизитор! Лучше посади, но не мучь. Вот отрыжка старого. Бедный Сычев, как он нервничает! А этому – хоть бы что! Погоди, скоро сыграют тебе похоронный марш! И так уж высох весь – кожа да кости...

И в аудитории стояла тишина. Тяжелая, густая. А в ней – напряженная борьба чувств: безразличие с одной стороны, лютая ненависть с другой и сочувствие в отдельности тому и другому со стороны остальных. А бесстрастная прямая, как рапира, пронзала две пересекающиеся плоскости и образовывала три угла: альфа, бета...

– Ну, и что же дальше? – разорвало, наконец, тягостную тишину. Это был первый снаряд артиллерийской бомбардировки. Упав в тишине, он отдался особенно гулко.

– Я не знаю, как пишется гамма, – ухнуло в ответ, и белая пыль тонкой мучнистой струйкой полетела вниз, к ногам Сычева.

Профессор резко поднялся со стула. Внешней сонливости как не бывало. Высокая тощая фигура стала, как будто, еще выше. На морщинистой шее выступили синие черви вен и прильнули к безукоризненному белому воротничку. Черный галстук словно ожил. Грудь часто поднималась, и черный френч, на манер английского, с поясом, – шевелился. Длинные ноги в черных брюках дрожали. Руки назад, пальцы нервно переплетались между собой, носок левого ботинка нетерпеливо и часто отбивал непонятный сумбурный такт. Тонкие губы сжались плотно-плотно. Под впалыми щеками видно было, как играли желваки. Все существо профессора говорило о каком-то внезапно вспыхнувшем возмущении.

– Вы что? – голос его прерывался. – Думаете, что я... пришел сюда... учить вас... греческой азбуке?.. Вы, может быть... принимаете меня за... Кутейкина? Неслыханно! Это же позор! Тридцать семь лет преподаю... двадцать пять в высшей школе – и вот... Мои студенты не знают как писать простые буквы! До чего ж я дожил!? Вы чему...

Звонок. Перерыв. Все разом вскочили, но никто не трогался с места. Профессор Симбирский с опустившимися плечами, размякший и расслабленный, неровной походкой вышел за двери.

В аудитории несколько мгновений стояла тишина. Сычев, повернувшись, не уходил от доски, скованный тишиной. Багровая кайма на голове стала шире. Кто-то сказал:

– Расстроился профессор. Убил ты его, Сычев.

– Что это с ним?

После этого все разом зашумели, заговорили, заволновались.

***

В рапорте на имя директора института говорилось: «Прошу уволить меня от занимаемой мною должности. Мне уже много лет. «Перестраиваться» поздно. Профессор Симбирский».

Впервые опубликовано: Рубеж. 1939. № 50.
Печатается по: Волков И. Комсомольцы и студенты: Новеллы и рассказы. Харбин, 1941. С. 5-8.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ НА ВОСТОКЕ
(Отрывок из романа)

Часть 2
Гл. 35. Пожар

Полонский приехал на Падун для общего ознакомления с ходом лесозаготовок и оказания практической помощи Кедрову в наиболее слабых местах. Следуя твердо установившейся традиции, он привез с собою фотографа (Александр Александрович), который должен был заснять командировку со стороны ее быта, производства, главным образом, и людского состава (стахановцы, ударни-ки, администрация). Со стороны производства решающим сейчас являлись лесовывозки, поэтому Полонский первонаперво пошел на конюшню. Там стояла только «богадельня», да Елка выделялась своим настоящим «лошадиным» видом на фоне общего убожества.

– Это что за лошадь? – удивился Полонский.

– Это моя Елка.

– А ну-кось, выведи ее на свет! Вот же черт, тут лес возить не на ком, а у него в стойле такое богатство стоит. Засними-ка его, Александр Александрович, вместе с лошадкой. Я потом покажу этот снимочек, где надо. А хороша лошадка. Блузе моей не уступит, пожалуй! Завтра же свою Елку на баланы.

– А если я пешком буду ходить по участкам, то нам и к июлю не выполнить плана.

– Ничего, другую возьмешь, похуже.

– Да и эта была хуже всех, – пытался было Кедров отстаивать свою любимицу, но безрезультатно. Полонский если на чем упирался, переубедить его было невозможно.

С конюшни пошли на завод. Сделали несколько снимков в цехах, на бирже, на складах.

– Ну а теперь с пролетариатом своим снимись, – сказал Полонский, улыбаясь и маленькими, серыми глазками осматривая столпившихся рабочих.

Филипп приказал всем выйти к главным воротам. Старики, в особенности Потягов, разглаживали свои бороды и усы и устанавливали так, «чтоб видно было». Кедров поместился в центре, как того хотели рабочие.

Кедров попытался было оживить группу смехом, но безуспешно. Все смотрели в объектив с пытливо-сосредоточенным видом, выражавшим уважение перед «техникой».

Покончив со съемками, Полонский сказал:

– Ну, пойдем поедим да и в лес поедем к Ковалеву. Посмотрим, что у него там творится.

Когда Елена подавала на стол, Полонский посмотрел на нее, на Кедрова, но ничего не сказал, только взгляд красноречиво говорил:

– Твердишь вам постоянно, а все зря, ни черта не понимаете.

В лесу пробыли долго: и на вывозке, и у саперов, и на трелевочных свалках, и у заготовщиков. Полонский строчил Кедрова и Ковалева за то, что клепка заготовляется без соблюдения требований ОСТа, в результате чего процент брака очень велик. Полонский раскидывал клетки набитой клепки и принимался сортировать, сердито отбрасывая на сторону забракованную.

– Це що? Рази то клепка? По шеям вам надавать такой клепкой. А кричите: у нас стахановцы-рекордисты! Туфтовые ваши стахановцы!

Придирался он и к обделку баланов: то сучья остались, то вершина не ошкурена, то откомлевка не произведена.

– Не стыдно тебе, старому лесовику? – обращался он к Ковалеву. – Неужели ты на подрядчика так работал? Разве это пень? Кто так делает залысину? А сучья почему не сожжены? А вершина почему не обделана? Кто будет штраф платить? Я? Нет, вы будете платить. Лагерники вы, одним словом, а не начальники. На баланы вас обоих.

– Эх, Григорий Константинович, когда сами с пилой ходили, то небось норовили десятников околпачить? – сказал Ковалев.

– А у десятника на то и глаза во лбу, чтоб смотреть. Лагерник, он просто рассуждает: сегодня ты ему спустил, завтра спустил, а если послезавтра не спустишь, он тебе морду набьет. Лиха беда – поводок дать, а там уж трудно удержать. Запрягут и поедут.

Он продолжал их пилить по всем статьям. Но Кедров и Ковалев чувствовали, что пилит Полонский по особенному, без придирки, без злорадства за представившуюся возможность «уесть» и всыпать лагернику.

Он ругал не для наказания, а для помощи.

Когда пришли в бараки, здесь он напустился на Кедрова:

– Что это за порядок? Кругом загажено, ногой ступить некуда. Кто у тебя здесь живет? Люди, чи свиньи? А чего публика эта шатается? Больные? Мозги у вас всех больные. Не хочу я тут больше быть, поехали на командировку. Ну ты, Ковалев, с нами или остаешься?

– Да я останусь, работу принять надо будет.

– Ну добре. К вечеру приходите со всеми десятниками и бригадами.

И дорогой Полонский не оставлял Кедрова в покое. Дорога местами была извилистая. Чтоб укорить работы, не рубили новую просеку, а только расширили старую. А старая была проложена давно таежными охотниками. Они шли, выбирая места получше, посуше, не думая о том, что по их шляху потом будут лес возить. И на самом деле, некоторые повороты были настолько круты, что подсадники с бревнами разворачивались с трудом, задевая близко стоящие деревья.

– Ну что это за дорога? Кривая, как бык набродил. Я тебе что говорил? Провизировать и расширить. А ты?

– Григорий Константинович, так это только здесь. Маленький уча-

сток, а дальше видите, как стрела.

– Стрела! Хорошая стрела! Эх, только начни с вами по-хорошему разговаривать, вы сразу и руки, и ноги сложите. Матом крыть беспощадно, тогда доходит до сознания.

– Мат для тех, кто не понимает.

– И ты ни черта не понимаешь. Нет, брат, когда я сам эту лямку тянул, с нами так не разговаривали. Это теперь субординация да разбор, а тогда мало того, что покроют, не взирая на лица, а еще гляди – и в морду надают. И все в дело лезут. Знаешь, что иной ни уха, ни рыли – терпи. Ты не думай, что я все время начальником ПТЧ работаю. С самых низов начинал. Пять лет отматунил. Потом технору́ком поставили. Начальник лагеря ставит, а Третий отдел убирает. И сколько раз так. Сегодня ты в кабинете, а завтра баланы режешь.

– Ну-ка, поправь, – сказал он, передавая вожжи. – А я закурю. И Блуза со мной состарилась в лагере. Ослепла. Бросать жалко.

– Свою жалко, а мою нет?

– Нельзя, Кедров, понимаешь, нельзя. У нас лошадей не хватает, а тут, скажут, начальник Падуна выездную имеет. И так разговоров хоть отбавляй.

Когда выехали из лесу, Филипп тронул Блузу. Она, высоко неся маленькую голову, пошла своей красивой, подлинно царственной рысью. Недаром даже комсостав из полка восхищался, когда Полонский на Блузе проезжал верхом.

– Ну, Блуза, не подгадь, – подбадривал ее Полонский. – Сегодня ты в руках товарища Кедрова.

И Филипп давал слабину тяжелым ременным вожжам. Кошевка мягко шуршала по накатанной дороге. Широкий круп Блузы начинал лоснится от пота.

Подъезжая к командировке, Филипп сдержал разгорячившуюся кобылицу. Впереди на дороге стояли Елена и жена лекпома, Гала. Филипп хотел им крикнуть: «Посторонитесь!», – но Гала предупредила его, бросившись к ним навстречу. Черные волосы растрепаны, лицо белое, как под ногами лежавший снег.

– Филипп Георгиевич, завод горит! – крикнула она, прижимая к груди свалившийся платок.

Кедров так подстегнул Блузу, что та от неожиданности присела на задние ноги, а затем рванулась вперед. Вывернувшись из-за барака, в котором были каптерка и контора, Полонский и Кедров увидели страшную картину: завод, стоявший на склоне и бывший отсюда в 400 метрах, пылал

огромным алым костром. Стены завода сверху донизу были охвачены пламенем, и его красные языки, поднимаясь снизу множеством алых платков, вверху образовали огромное полотнище, рвущееся к небесам. Порой эта красная стихия разрывалась громадными черными клубами дыма, поднимавшимися высоко вверх в крутящимся полете. Из этого ада вылетали горящие головни и, подхваченные какой-то неведомой силой, носились в нагретом воздухе, падая на землю лишь там, где они вырывались из сферы вихрящихся потоков огня.

На ходу Филипп выскочил из кошевки и бросился бежать. Сердце выбивало бешенный такт, и, казалось, что ноги налились свинцом. Завод как будто не приближался, а оставался на месте, запечатлевшись в глазах в своем судорожно-трепещущем издыхании.

Когда Филипп подбежал к заводу, первый из людей, кто бросился ему в глаза, был Александр Александрович. Он из казенной «лейки» стрелял по бушующей стихии. Когда фотограф перебегал для «обстрела» на другое место, в это время рухнула крыша, и две высокие железные трубы остались стоять в каком-то печально-стыдливом одиночестве. После падения крыши трубы сделались как будто выше и стояли, словно нагие. Но стояли они недолго. Казалось, они понимали неестественность своего нового положения. Одна за другой с печальным звоном и лязгом они упали вниз. Того, что делало завод живым организмом, являлось для него вроде головы – этого не стало. Теперь завод представлял обезглавленный труп, только догорающие развалины, хотя часть стен еще не упала.

С приходом Кедрова и Полонского усилия до этого бесполезно топтавшейся толпы были направлены на локализацию бедствия. Пища же для огня, кроме самого завода, была огромна: бочки со смолой, дегтем, маслами, скипидаром. Сотни тонн древесного угля, осмол, березовая кора.

И как в подтверждение того, что разрушающая сила огня еще не ослабла, снизу, из пековарочного цеха, ринулись к небесам огромные клубы сизо-черного дыма и багрово-кровавого пламени. Это горели несколько бочек смоляных масел, находящихся внутри цеха. Агония умирающего про-должалась долго. Рваные полотнища уже не трепыхались высоко в небе, а в виде множества ярко-алых живых пик щетинились внизу. Их рубили холодными струями воды, и, вслед за этим, там, где было ослепительно ало, с шумом поднимались пухлые облака бело-черного дыма.

Завод исчезал.

И только когда стало смеркаться, Кедров и Полонский, грязные, мокрые и усталые, пришли домой. Только теперь можно было что-то подумать, представить себе все значение случившегося.

– Да, теперь все, – тихо, как бы про себя сказал Кедров, неестественно остановившись посреди комнаты и почему-то глядя на портрет в кедровой раме за стеклом.

Полонский ходил по комнате и кусал верхнюю тонкую губу. Привычка, характеризующая его крайнюю внутреннюю взволнованность. Лицо у него было серое.

– Ничего не все, надо разобраться, – остановился он у стола, беря папиросу и закуривая. Пальцы у него дрожали. – Отчего это?

Прямо поставленный вопрос вернул Кедрова к действительности. Он как бы просунулся и, будто вспомнив о забытом, крикнул:

– Прокофьич, вызови Гришу!

Старик, тоже не менее грязный и мокрый, чем начальство, только более перепуганный, побежал на пепелище, где еще маячили темные силуэты людей. Вскоре Гриша пришел в комнату:

– Как было дело? – обратился к нему Кедров, опускаясь на стул.

– Точно не знаю, – ответил Гриша, – потому что дежурил не я, а Китаев. Но как будто так: разгружали пековарочный куб. На дне в кубе оставили ведра полтора пеку. Так как в топке огонь был убран не дочиста, пек загорелся. Побежали за брезентом. Перепугались. Не накрыли брезентом, а бросили его прямо в куб. Брезент загорелся, и пламя перебросилось на крышу. Только после этого ударили тревогу. Я прибежал, когда пековарка была уже вся в огне и горела крыша сортировочной. Китаев с перепугу упал и угодил руками в разгрузочный котел с пеком, который они только что выгрузили из куба. Его увели вниз. Ну, а с сортировочной быстро перебросилось на ретортный. А там уж пошло и пошло, – закончил Гриша.

В это время прибежал посыльный снизу и обратился к Кедрову.

– Товарищ начальник, вас к телефону.

– Ладно, я приду сейчас, – ответил за него Полонский. – Идите. А ты соображай, с чего начинать теперь.

– Начинать уж нечего, кончено.

– Ни черта не кончено, ерунда! – сердито сказал Полонский, уходя.

Через некоторое время после его ухода опять прибежал посыльный:

– Товарищ начальник, вас к телефону зовет начальник лагпункта!

– Сейчас иду, – сказал Филипп, одеваясь.

Когда он пришел в контору, Полонский уже разговаривал с кем-то:

– Не мог он… Потому что был на пожаре. Да. Ничего особенного. Сгорела? Ну, стены, крыша, так себе. Реторты? А что им сделалось? Они ведь железные. Ничего, все исправимо. Да, остаюсь здесь. Надо заняться восстановлением. Добре, пока!..

– Ничего, ты не нужен, – сказал он Филиппу, вешая трубку. – Я уже поговорил.

Когда ночью Полонский с Кедровым сидели и составляли план быстрейшего восстановления завода, им доложили, что приехал сотрудник Третьей части и ведет следствие.

– Ну и пусть, это их дело, – ответил Полонский.

Перед утром Кедров пришел в контору. Зачем, он сам не знал. В голове было пусто. На душе тяжко, как после смерти близкого. В конторе не спали. Филипп в изнеможении сел на табуретку и облокотился на стол. Лукашин рассказывал.

– Как загорелось, бросился бежать на завод. Потом вернулся. Думаю, контора, дела, документы… Прибегаю, воспитатель у телефона, звонит на Центральную: пожар, говорит, завод горит. Потом убежал, долго ничего не было, вдруг телефон. Я – к трубке. Слышу: Югеров: «Кто у телефона?» – кричит. Мол, Лукашин. «Что вы там?!» И кроет только на чем свет стоит. «Всех посажу». Я слушаю. «Позвать мне Кедрова!» Я отвечаю – на пожаре. «Позвать – не разговаривать!» Послал кого-то. А вас все нет и нет.

– Ко мне пришли, когда все кончилось.

– Вот-вот. А он не уходит и все время разносит. Тут приходит уполномоченный. Разговор начался. Должно быть, спрашивает, кто был из вольнонаемного начальства. Этот отвечает – Полонский. Потом спрашивает: «Посадить? Кого? Обоих?» Я понял, что вас и Полонского. Тогда уполномоченный отвечает: «Тогда могу, а это не имею права». Т. е., дескать, Кедрова могу, а Полонского, должно быть, руки коротки. Ну, после этого Югеров, видимо, сказал, что утром приедет, на месте разберется и уполномоченный ушел.

Чуть рассвело Полонский пошел в контору и, усевшись к телефону, поднял на ноги весь лагпункт. Вскоре приехал начальник пожарной команды лагпункта. Принялись за составление акта и приблизительных размеров убытка. Акт писал Кедров под диктовку Полонского, а начпож только ему поддакивал (разве можно возражать Полонскому?). В это время на развалинах завода появился Югеров. Он ходил там с портфелем в руках и временами ударял каблуком по обмуровке, точно убеждаясь, хорошо ли кирпич прокалился во время пожара. Затем вошел в квартиру и, поздоровавшись с Полонским, обратился к Кедрову, указывая в окно:

– Это что такое?

– Это остатки от пожара.

– Прогулял завод! – в глазах искрилась злоба, которой раньше Кедров у него не видел.

Эта была злоба не за потерянные ценности, а приблизительно за следующее: «Сволочь ты. Жаль, что тебя не расстреляли раньше. Теперь наверняка расстреляют, а на освобожденное место лагерника посадят меня. И все из-за тебя. У-у… раздавил бы!».

– Баранова здесь?

– Здесь, но она никакого отношения к пожару не имеет.

Югеров ничего не ответил и повернулся к уполномоченному.

– Кончил следствие?

– Так точно, товарищ начальник.

– Сколько виновных?

– Четыре человека, товарищ начальник.

– Кто именно?

– Рабочий пековарочного цеха Макушевский, пожарникИванов, сменный мастер инженер Китаев и…

– И?

– И директор завода инженер Кедров. Что прикажете делать?

– Всех немедленно арестовать и отправить на центральную.

– Есть, товарищ начальник!

После этого сотрудник Третьей части многозначительно посмотрел на Кедрова. Тот понял его взгляд и акт о пожаре отложил в сторону.

– Вы давайте оставьте-ка нас, – обратился Полонский к присутствующим.

Все вышли. Вышел и Кедров. Остались в комнате Полонский и Югеров.

Филипп пошел вниз предупредить Елену. Он не видел ее с обеда вчерашнего дня, если не считать того, что она на мгновение мелькнула в его глазах, когда он услышал крик Галы о пожаре.

Елена, перепуганная несчастьем вчерашнего дня, терзаемая самыми мрачными предчувствиями за дальнейшую судьбу Филиппа, сидела у Галы и плакала, не осушая глаз. Она боялась куда-либо показаться, так как на командировку понаехало разного начальства. Когда Филипп сказал ей о своем аресте, она, рыдая, бросилась к нему на грудь. Теперь уже не он, а она теряла его. И теряла может быть навсегда. От нее брали отца ею ожидаемого ребенка, от нее брали человека, которого она любила. Она теряла человека, к которому она бежала, спасаясь от преследования Лагеря, разинувшего волчью пасть. Теперь она остается подлинно одна, беззащитная и доступная всяческому надругательству.

Она билась в руках Филиппа, содрогаясь от рыданий. Он и сам готов был разрыдаться. Он уже не думал об ожидавшей его судебной расправе, горе Елены заслонило все. Ее горе было повторением страшного расставания с матерью, когда его увозили на Дальний Восток.

Не будучи в силах это больше выносить, он позвал Галу и, кое-как вырвавшись из объятий Елены, выскочил на улицу.

Рабочим уже стало известно о случившемся, и они, собравшись в кучу, стояли у пепелища.

Он видел неподдельное сочувствие на их загрубелых, старых и молодых лицах. И когда он сказал: «Ну, прощайте, товарищи. Простите, если что…», многие отвечали: «Нас простите, Филипп Георгиевич», – отворачивались и смахивали непрошенную слезу. Это окончательно сломило самообладание Филиппа и, кусая губы, глотая подкатившийся к горлу ком, даже не вытирая катившиеся непрошенные слезы, он пошел прочь.

Навстречу ему попался стрелок с винтовкой в руке и подсумком на поясе. По старой привычке он обратился к Филиппу не как к арестанту, а как к своему начальнику:

– Товарищ начальник, подвода ожидает.

– Хорошо, я сейчас. Я приду сам.

Подходя к домику, он услышал крупный разговор Югерова и Полонского. В нерешительности он остановился у двери. Входить или нет? Филипп был все еще мокрый и грязный, и ему надо было переодеться. Еще успеешь завшиветь в карцере… Поэтому, не спрашивая разрешения, он вошел и, достав свежее белье, стал переодеваться. Полонский сидел. Югеров нервно ходил по комнате.

– Ты куда? – обратился он к Кедрову.

– Как куда? Меня ждут стрелок и подвода.

– Никуда не поедешь. Оставайся.

– Я выполняю отданный мне ранее приказ – собираться.

– А я говорю, что ты остаешься.

– Не нужно мне ваших подачек! – истерически крикнул Филипп. – Я в милости вашей не нуждаюсь. Я лелеял этот завод, как дитя, я вырастил его и заставил жить, я людей вам на нем создавал, которые работали у меня не за страх, а за совесть. И этот завод мне жаль не меньше, чем вам, потому что он был не вашим, а моим детищем. Слышите вы – моим!

– Ну ты, Кедров, того, успокойся, – сказал Полонский, – успокойся и оставайся тут. Надо скорей его опять заставить жить.

– Нет, я ухожу! Я не останусь! Вот там деньги – 700 рублей, возьмите – казенные…

– Что я за деньги твои буду отвечать? – не зная, что сказать, ответил Югеров.

– Ну хорошо, я передам их счетоводу, – и забрав пачку с деньгами, Кедров вышел за дверь. В догонку ему крикнули: «Вернись!».

Во время передачи денег пришел Владислав. Его послали сюда сверху.

– Пойдем-ка! Пойдем к лепкому! – взял он Филиппа за рукав.

– Ну чего ты дурака валяешь? – начал Владислав у лепкома. – Чего ты этим достигнешь? Будешь сидеть, дело дадут, вот и все. Ты же видишь, что Полонский взял Югерова за узду и посадил на место. Он же доказал ему, что ты не причем. И что только ты поставишь завод на ноги. Не будет тебя, не будет завода. Ведь Югеров боится за свою шкуру больше всего на свете. А оборот вышел не из приятных. Полонский это доказал Югерову. И тот согласился. Поэтому ты пойми, что, спасая тебя, они спасают себя.

Женщины, услышав такой разговор, бросились к Филиппу и начали его тоже уговаривать. Наконец, тот уступил, видя резонность их доводов.

Югеров уехал, а Полонский сказал потом Кедрову:

– Баранову увезут на Центральную. Будет там жить. Соскучишься, позвонишь мне, всегда сможешь приехать. Да накажи ей, чтоб не бегала. А то дело только испортит…

Когда повезли Китаева, Иванова и Макушевского, повезли и Елену. Она безропотно подчинилась. Она сознавала, что приносит жертву ради любимого. Прощаясь, она горячо обняла Филиппа, но не плакала. Только глаза ее говорили, как она сильно любит и не менее того страдает.

Печатается по: Волков И. Солнце всходит на Востоке. Харбин, 1940. С. 25-47.

КООРДИНАТЫ ТОЧКИ

Следователь Носов вызвал Маковского для того, чтобы лично со слов проверить еще раз правильность поступивших от него агентурных сведений. Маковский рассказывал путано и длинно. Носову, наконец, надоело слушать.

– Нельзя ли короче? По существу?

– Я по существу и хочу…

– Ну, и что он? Конкретно?

– Про Зиновьева: «Вот, говорит, была голова! Зря угробили». Потом про конституцию. Я с ним разговор завел, а он: «Все равно выберут, когда надо. Так что конституция – это в роде декорации».

Эти данные уже имелись в сообщении Маковского. Носов подчеркивал их красным карандашом.

– Дальше.

– На практике они были где-то у границы. Съемку производили. Потом в институте вспоминали об этом. Симаков и говорит: «О, если бы те координаты…»

– Чего?

– Координаты… – Носов записал незнакомое слово на отдельную бумажку.

– Ну?

– «Если бы их, говорит, заграницу продать, много денег дали бы».

– Ерунда! Спекуляция нас не интересует. Дальше.

Маковский удивленно глянул на своего шефа и продолжал:

– Говорков Павел. Этот про вождей неприличные анекдоты рассказывает. Начнет говорить, все общежитие соберет.

– Какие, например?

– Да все те, что у меня тут написаны, – указал Маковский на лежавшую перед Носовым бумагу. Анекдоты были занумерованы: первый, второй… Носов отчеркнул их синим карандашом.

– Еще что?

– Зорькин Никита. Больше молчит. Но однажды за столом сидели. Чай пили. Жвачку разжевал, да на портрет товарища Ленина приклеил. «На, говорит, Владимир Ильич, поешь колхозного хлебца, ты ведь не едал».

– Стервец! – не удержался Носов. – Ну а студенты как?

– Засмеялись все. Ничего не сказали.

– Что еще?

– Он же. Недавно говорил: «Кирова убили, Куйбышев умер, и мне, говорит, что-то не здоровится».

Теперь уже Носов посмотрел на Маковского недоуменным взглядом. Как понимать: то ли шутка, то ли серьезное. На всякий случай отчеркнул и это красным карандашом.

– Дальше. Что еще есть?

– Да пока, кажется, все.

– Все? Тогда можете идти. Где пропуск?

Маковский подал пропуск, Носов поставил на нем треугольную печать, дававшую право на выход из помещения сектора НКВД, и отпустил сексота. В коридоре Маковский повстречал молодую девушку, которая даже не взглянула на него. Она быстрыми шагами шла в комнату общего отдела.

– Тебя спрашивает кто-то, – сказал делопроизводитель, показывая на телефонную трубку, лежавшую на столе.

– Алло! Я слушаю. Кто это? А-а, Дима! Здравствуй. Ну… и что? Со мной? Я ничего не имею, но только после занятий. Так можно. А когда мы вернемся? Прекрасно. Хорошо… Ну, пока. Что? Куда? К твоей маме? Хорошо, приду. Пока.

– Куда это ты собираешься?

– Прогулка на катере по реке.

– Возьмите меня!

– Я и сама-то в качестве пассажира. А притом, где двое, там третий…

– Лишний?

– Я думаю!

– Тогда, конечно…

– Сами понимаете, – сказала Фива, направляясь к себе.

Носов ломал голову над непонятным для него словом.

– Хотел продать координаты. Хм… Продать координаты… Продажа меня вовсе не устраивает. Вести следствие за спекуляцию не в нашей компетенции. Да и к чему мне это дело, когда я его по пятьдесят восьмой, как миленького?.. Как это? Ко… ко… координаты. – Достал словарь и начал перелистывать страницы.

– Коржик… конь… Ну, это и так понятно, что лошадь. Коньяк…

Носов невольно облизнулся и тот час же поймал себя на этом. Улыб-

нулся. Продолжал дальше.

– Конюшня… Напишут всякой ерунды, а потом ищи нужное слово. Какой дурак не знает, что такое конюшня? Коньюктивит, корреспонденция. Нет, не то… Кооперация, кооптация, координаты… Во! Что это значит? «Величины, определяющие положение, точки на плоскости или в пространстве. Могут выражаться в градусах, минутах и секундах». Хм… Попробуй, разберись. Что же это, в конце концов, такое? Величины – это градусы и т. д., а точка на плоскости или в пространстве. Точка в пространстве. Ха-ха-ха-ха… Что он мне голову морочит? Какой дурак будет покупать точку? Ну и загнул! Наклал полную сумку точек и пошел продавать… ха-ха-ха… Вот дурак…

Неожиданно зазвонил телефон. Еле сдерживаясь от смеха, Носов взял трубку.

– Я слушаю. Носов. Ха-ха… Не говори, Вайнштейн… Сдохну… одна точка останется…ха-ха-ха… А? Дело 2536? Готово. Я сдал его начальнику отдела. Слушай, товарищ Вайнштейн. Скажи, что такое, – смотрит в словарь, – координаты? Да. Так, так, правильно. Так какую же ценность может иметь эта точка? Да?

И по мере того, как Вайнштейн объяснял, Носов повторял за ним.

– Расположена часть… стратегическое сооружение… наблюдательный пункт… железнодорожный мост… Вот как! – и Носов опять разразился смехом. – Да как же все это может поместиться на одной точке? Что? Математическая точка… точка прикладного значения…Ориентир…Да, да…Так, так…

Лицо Носова начало меняться, вытягиваться, искры смеха исчезли из глаз.

– Понял, понял… Спасибо. До свиданья. Выходит, он хотел продать местонахождение какого-то военного объекта? Вон оно что! По-онял!

Носов принялся энергично строчить что-то на бумаге. Писал долго. А когда кончил, отнес материал машинистке. При этом сказал:

– Фивочка, сверхсрочно, вне всякой очереди. За ударное исполнение – крепкий поцелуй.

– О, не велика радость! Для жены побереги..

– Ну, тогда ужин, – Носов ласково смотрел на Фиву.

– Это еще туда-сюда…

– В общем, как можно скорей, – сказал следователь, уходя.

Вернувшись в кабинет, он позвонил на коммутатор:

– Соедините меня с Журавлевым. Это товарищ Журавлев? Здравия желаю, товарищ прокурор. Говорит Носов. Дело в следующем: мне нужен ордер на право ареста группы студентов. Три человека. Материал? Материал сейчас будет. Мне бы хотелось получить ордер до конца занятий. Без данных? Ну, что вы, товарищ прокурор, не знаете меня? Чай, не первый

раз. Данные – во! – при этом Носов поднял большой палец. – Закачаешься! Пойдут по шестому, десятому и одиннадцатому. Да, да по шестому. У меня паренек один работает – мировой! Да, да, уверяю вас. Абсолютно верное. Да. Тогда разрешите зайти? До свиданья.

Фива взглянула на черновик. «Три экз.» Привычными руками заложила бумагу и начала печатать:

«…Сектору НКВД из агентурных данных стало известно, что в астрономо-геодезическом институте из числа студентов старших курсов организовалась антисоветская контрреволюционная группа…»

Сердце Фивы екнуло. Там учится Дима.

«…в которую вошли, студенты Зорькин, Говорков и Симаков Дмитрий…»

Девушку бросило в жар. Широко открытыми глазами она уставилась в знакомое имя. Перестала печатать и быстро, строчку за строчкой, стала читать материал по черновику. Неровные буквы носовского почерка рябили в глазах. Все стало ясно. Стиснув руки и закусив пальцы, Фива в отчаянии откинулась на спинку стула.

Неужели это правда? Дима… которого она любит… «глава контрреволюционной группы»? Что делать? И вдруг… «сверхсрочно… вне очереди…»

Принялась снова печатать:

«Сблокировавшись между собой, участники этой группы проводят среди студентов института контрреволюционную агитацию, направленную на дискредитацию вождей партии и правительства и на подрыв мощи советского государства».

– Что будет! О, ужас! Что только будет!?

«Кроме того, глава этой группы, Симаков Дмитрий, будучи на практике и занимаясь съемкой местности, занятой под оборонно-стратегическое строительство, пытался продать иностранной разведке координаты важного военного сооружения».

– Боже мой! Это же расстрел! Верный расстрел! Что мне делать? – руки опустились. Глаза полны ужаса и слез. Но… «вне всякой очереди…»

«Полагаю, что агентурные данные вполне достаточны для того, чтобы привлечь подозреваемых лиц к ответственности по статье 58-й – пункты 6, 10 и 11 Уголовного кодекса РСФСР.

Так как пребывание на свободе указанных лиц небезопасно для общества и, ввиду того, что они могут скрыться от законного преследования, считаю необходимым в качестве меры пресечения избрать содержание их под стражей в доме предварительного заключения при секторе НКВД».

– Дима… Дима… Что делать? – девушка не находила себе места. Но вдруг ее осенила мысль. Быстро стала собирать бумаги и вновь клала их на

стол. Открывала сумку и не знала, что ей необходимо взять оттуда. Повязала на шею платочек.

– Сейчас, сейчас же пойду в институт… А подписка? – девушка застыла на месте. – Подписка? О сохранении служебной тайны? Арест… и… без суда и следствия… внутренним порядком…

Фива в ужасе заметалась по комнате. Вошел Носов.

– Ты что уже пошла? А материал? Готов?

– Вот он… готов…

Принимая бумаги, Носов взглянул на девушку.

– Фива, что с тобой?

– Ничего… больна… долж…

– Какое больна! Ты испугана чем-то? В чем дело?

– Ничего, право, ничего… – девушка изо всех сил старалась взять себя в руки, чтобы тут же не разрыдаться. – Извини… я пойду домой… Все равно сейчас конец…

– Иди, иди… Только сказала бы в чем дело?

– Честное слово, ничего, – ответила Фива, толкая дверь.

Носов даже и подумать не мог, что его материал – причина смятения машинистки. Не в первый раз Фива печатала такие документы.

– Странно, – пожимал он плечами, идя к себе в кабинет. – Координаты причуд.

Ему понравилось неожиданное сравнение, и, почти позабыв то, что ему показалось эпизодом, он довольный уселся за стол.

Опубликовано (с подзаголовком: «Из повести "Фива"») и печатается по: Литературный Однодневник харбинской группы писателей-динамических реалистов. Харбин, 1941. С. 17-20.

ЛЮБОВЬ САМОЕДКИ

Окутю стоял возле оленьей упряжки и держал в руках надломленный хорей[1]. Нажимал на него рукой и видел: вот-вот сломается. Растерянно переводил глаза с хорея на оленей и обратно. Один из них закинул на спину ветвистые рога и, подняв морду кверху, жевал мокрыми губами таявший снег. Два другие чесали друг другу холки, осторожно теребя зубами мохнатую кожу.

Окутю по бедности своей не мог обновить упряжь и ездил на том, что досталось ему после смерти отца. В общем-то Окутю не очень тяготился своим недостатком, он не чувствовал потребности не только в богатстве, но даже в тех предметах и вещах, которые для других казались безусловно не-

[1] Хорей – длинный шест для управления и погони оленьей упряжи.

обходимыми, а для него они были просто лишними. Но в хозяйстве часто недоставало кое-чего такого, без чего никак нельзя было обойтись. Вот хотя бы сейчас: собрался ехать на озеро Пяко-То ставить морды, а хорей надломился, и, если его не поправить, он останется без такой принадлежности упряжки, которую ничем заменить нельзя. Беда еще в том, что во всем чуме не найдешь лишнего сыромятного ремешка для починки и некому делать кожу. Окутю одинок, у него нет жены. А чтобы жениться – надо большой калым. Легко сказать – калым, а где его взять? У Окутю одна упряжка в три оленя, и это все его богатство. Правда, даже для одинокого это совсем ничтожная собственность, но поехать куда надо он мог. Поэтому не отдавать же последних оленей за жену. Ее не запряжешь в нарту. Он говорил Нангли, не пойдет ли она за него замуж. Нангли сказала, что пойдет, но братья и слышать не хотят о том, чтобы их сестра выходила за бедняка. Когда Окутю заикнулся им об этом, Солиндеры долго смеялись над ним:

– Уж не думаешь ли ты, Окутю, что мы отдадим тебе Нангли за твою последнюю лгушку[1]...

Молодому парню очень обидно было выслушивать насмешки самодовольных братьев, и он ушел из чума своих богатых соседей, не докурив второй трубки. Идя обратно, он думал про себя: «Зачем братьям Солиндерам калым? Они не знают счету своим оленям. В их косяках оленей будет, пожалуй, сот пять или шесть. У братьев здоровые жены. Они выделывают кожу и жилы. На всю семью шьют малицы[2] и кисы[3], обтачивают кость, мастерят из бересты туески[4]. А Окутю одинок, и его никто еще не баловал вкусным бурдуком[5], у него в чуме не разносился приятный запах этого любимого кушанья самоедов. Плохо, надо искать жену», – и Окутю сердито выбил трубку об ноготь большого пальца. И вот он стоит сейчас возле нарты с треснувшим хореем в руке, чешет за ухом и не может сообразить, как ему все-таки ехать. Запасного у него нету, а чтобы вырубить новый, надо доехать до Пяко-То, а как туда доберешься со сломанным. Это все равно, что в лодке без весла. Со стороны чума братьев Солиндеров показалась Нангли. Она бежала на лыжах. За плечами у нее болталась кожаная котомка и сачок. Нангли пошла в садок за мороженой рыбой – патанкой. На девушке была надета легкая и дорогая малица из пешки, а на ногах – белые кисы из лап молодого оленя. Подошва из желтовато-серебристой щетки, а переда и голенища отделаны красным, синим и зеленым сукном. Два черные пряди волос туго перевиты ало-зеленым гарусом, а монисты из медных

[1] Лгушка – олень-подросток.
[2] Малица – род верхней одежды мехом во внутрь.
[3] Кисы – обувь из оленьих лап.
[4] Туесок – берестяная посуда.
[5] Бурдук – лакомая пища всех туземцев, приготовленная из муки, заваренной на каком-либо мясном бульоне.

блях и серебряных полтинников тяжело висели вдоль спины и, густо позванивая, блестели на солнце.

– Видишь, Нангли, – сказал Окутю, поздоровавшись с нею и разведя обломками хорея, – если бы ты была моей женой, у нас в чуме всегда были бы в запасе и сыромятные ремни, и оленьи жилы. Была бы и кость для крючков и петель.

– Я согласна жить с тобой и квасить кожи в твоем чуме, но Хатьева и Хабичи, мои братья, и слышать об этом не хотят. Они говорят, что отдадут меня тому, кто даст калым не меньше ста и пяти десятков оленей, и чтобы араки[1] не меньше двух ведер.

Окутю смотрел на Нангли так, словно она уговаривала его совершить ужасное преступление. Настолько чудовищными казались ему эти требования. Девушке было искренне жаль Окутю. Кроме того, он нравился ей. Его широкие скулы, длинные и узкие, как щели, глаза, густая грива иссиня-черных волос, грубых и прямых, как иглы; зубы, белые, как песец зимою, и прочные, как у медведя; немного кривые ноги, несколько десятков жестких волосков на верхней губе, медлительно-спокойный характер – все нравилось Нангли.

Они закурили трубки, и Нангли, выпустив струйку синего дыма, спросила:

– Ты собрался за рыбой, но у тебя сломался хорей.

– Он старше, чем дедушка этого вожака, – ответил Окутю, кивая на оленя. – А главное – нет запасного.

– Я сейчас схожу в наш чум и принесу тебе, только ты, когда вернешься и сделаешь новый, отдай. А то Хабичи меня побьет, если узнает. Наш с костяным шариком.

– Я верну такой же, если что случится. У меня есть сухие кости из старого оленя.

Когда Нангли принесла новый хорей, Окутю собрал оленей в запряжку и, издав характерный звук, означавший «пошли», быстро помчался по направлению к озеру Пяко-То. Мело. Как полевая крупчатка, катилась по тундре поземка. Олени бежали весело и податливо.

Хотя и мало их было у Окутю, но он не заезжал их частыми и тяжелыми перегонами. И когда он легонько тыкал хореем в сытый круп боковика, он сразу же подхватывал, а вместе с другим и вожак устремлялся вперед со всех ног. Нарту подбрасывало на снежных буграх и кочках, сзади оставался широкий след от полозьев, от оленей начинал клубиться пар, таявший за спиной Окутю. Острым глазом он видел перед собой далекие очертания громадных согюк Сыр-Сово-емын тагат – священного места самоедов из рода Солиндеров и Худи. На белом поле занесенной снегом

[1] Арака – самогон.

гладкой и ровной тундры отвесные голые кромки огромных камней казались странными, взявшимися здесь невесть откуда, дикими. Окутю охотно миновал бы это место без остановки, но ягель, что рос здесь в изобилии, нужен был его оленям как пища. До Сыр-Сово оставалось еще не менее трех верст, как вдалеке замаячила движущаяся точка. Она все время увеличивалась в размерах. «Кто-то едет навстречу», – определил Окутю и тотчас же сдвинул на затылок капюшон своей малицы, а руки высвободил из рукавиц. «Мороз нам нипочем», – таков был смысл приготовлений к встрече незнакомого человека. Густые пряди черных волос Окутю развевались на ветру, голыми руками он держал в руках хорей и затейливую паутину тонких ременных вожжей. Вот он ясно различил богатую упряжку из семи рослых, упитанных оленей. На нарте, ссутулившись, сидел человек в белом, как кипень, кумыше[1]. Поравнявшись, встречные остановились. Воткнув длинные шесты в снег, поздоровались, сели на корточки между нарт, и, достав трубки и кисеты, закурили. Это был Мидику из богатого рода Худи, большого и многолетнего, кочующего возле озера Пяко-То. Куда ехал Окутю, видно было по поклаже, чего нельзя было сказать про встречного. Поэтому Окутю спросил:

– Мидику едет в гости?

Тот долго пыхтел трубкой. И лишь после большой выдержки ответил:

– Сейчас самая охота на песца, и в гости ехать могут только лентяи. Тебя удивляет мой праздничный вид. Так я скажу тебе. Мидику Худи едет к братьям Солиндерам, Хабичи и Хатьева, сватать за себя их сестру Нангли. Тут лежат большие подарки, – скосил Худи мышиные глазки на свою нарту.

Окончив торжественную пышную фразу, Мидику лукаво глядел на Окутю, страшно заинтересованный, какое впечатление произвела эта новость на молодого, но бедного парня. Окутю почувствовал, как у него сердце будто сломалось. Он захлебнулся от глубокой затяжки и закашлялся.

– У Окутю, пожалуй, плохая махорка, – сказал Худи. – Закури моей, я еще прошлый год выменял ее на белок в самом Сургуте.

Окутю не взял протянутый кисет, богато обшитый бусами, и ответил:

– Не надо, у меня махорка хорошая. Я брал ее за лисицу у русских в фактории Самбург.

– Тогда Окутю не надо ездить в мороз и ветер с открытой родовой, – сказал Худи, вставая и направляясь к своим оленям. – Так можно простудиться. Однако, прощай.

Окутю ничего не ответил, молча кивнул головой и поехал дальше. Когда он оглянулся назад, упряжка Худи уже исчезла из вида. Вместе с

[1] Кумыш – верхняя одежда мехом наружу.

этим он представил себе, что и Нангли тоже пропала для него навсегда. Ее увез Худи, и все скрылось, завеянное поднявшейся поземкой. Сердито тыкая в зад оленя набалдашником, Окутю решал, что оставаться ему на старом месте нет смысла и он перекочует теперь на озеро Пяко-То или в устье Пура. Он поселится там, где кочуют такие зажиточные семейства как Кузелимы-Пяк или Хелю-Пяк. В озере много нельмы, пыжьяна, сырка. Там и белка есть, недаром Пяко-То значит «лесное озеро». Совсем по-новому заживет Окутю. Он теперь тоже будет стремиться стать богатым, тогда Солиндеры или Худи не будут над ним подсмеиваться.

Когда Окутю через три дня вернулся в свой чум и привез полную нарту свежего пыжьяна и сырка, ему показалось здесь еще более неуютно и тоскливо, чем раньше. Кто порадуется тому добру, что привез Окутю. Никто не будет хлебать с ним из одной чашки жирную щербу[1] и есть свежинку. Он молча сидел перед огнищем и курил трубку. Серые думы давили его. Прикидывал, что самое большее через неделю он начнет свертывать свой чум. Надо торопиться, а то скоро весна. Вдруг дверь поднялась, и в чум вместе с холодным паром неслышно проскользнула Нангли. С ее широких щек катились слезы, и она часто швыркала маленьким, как пуговка, носом. Нангли долго не могла успокоиться, Окутю не расспрашивал, и она заговорила только после того, как закурила трубку.

– Братья продали меня Худи Мидику за восемь десятков и семь оленей. Они рядились целых два дня. Завтра он увезет меня с собой. Я не хочу жить с Худи Мидику. Я сказала, что все равно убегу от него. Тогда Хатьева избил меня. Но мне все равно, я снова стала говорить, что не буду жить с Мидику. После этого меня бил Хабичи. Тогда я убежала в твой чум. Но они вернули меня отсюда на ремне. Они сейчас пьют там араку и могут скоро меня хватиться. Прощай, Окутю. Мы больше с тобой не увидимся. Если бы ты жил на Пяко-То, я убежала бы к тебе...

– Я там и буду жить, я решил сначала перекочевать на Пяко-То, а потом на Пур.

– Вот если бы у тебя было десять десятков оленей, ты купилбы меня.

– У меня нету десять десятков, а только три оленя. Да вон висит одна шкурка лисицы. Тебя за такой маленький калым никто не отдаст.

Нангли ушла, а Окутю остался сидеть у огнища, которое еле-еле горело. Наконец он встрепенулся, достал кусок посема[2] и, запивая его горячим кирпичным чаем, стал ужинать. Движения его сделались быстрыми, энергичными, и весь его вид говорил о том, что он спешил, боялся не успеть, приняв какое-то важное решение.

Одинадцатилетняя Нангли проявила исключительное упорство.

[1] Щерба – уха.

[2] Посеем – сушеная рыба

Мидику не мог оставить чума своего без того, чтобы не привязать жену. Он надевал ей на шею ременный ошейник, запиравшийся на висячий замок, и на цепь привязывал к столбику, крепко вкопанному в землю.

Сколько бы ни пытался Худи уговаривать свою жену смириться, ничего не помогало. Тяжкие побои сыромятными ремнями тоже не оказывали никакого действия. Нангли оставалась непримиримой и делалась еще более злой. Только некоторое время тому назад, когда никто из русских еще не появлялся здесь (они придут после их праздника Петра и Павла), Нангли как будто переменилась, стала менее угрюмой, охотней отвечала мужу и сделалась как будто добрей. Мидику решил, что наконец-то он сломил упрямство этого маленького зверка. Но он ошибся. Мидику не обратил внимания на свой разговор с Кузелимы-Пяк, когда тот проездом останавливался в их чуме. Они разговаривали про охоту, про добычу рыбы. Кузелимы-Пяк рассказывал, что в этот год охота на Усть-Пуре и ниже была очень удачной. Даже такой бедняк, как Окутю, – он теперь кочует там же, – и тот добыл около двух десятков песцов и много белки. Он доходил до Уренгоя и в тамошней фактории хорошо променял пушнину на провиант, товар и мережу. Про себя Кузелимы говорил, что и они собираются осенью податься на Таз, может быть там охота будет еще лучше.

Нангли крепко запомнила этот разговор и задумала какое-то тайное дело. Своей видимой покорностью она решила усыпить бдительность Мидику. Ее расчеты оправдались. Однажды Мидику стал собираться на озеро, по крайней мере, он так говорил, и, уходя, он как будто забыл привязать Нангли на цепь. Когда Мидику со своими двоюродными братьями скрылся в стороне сопок Сыр-Сово, Нангли решила бежать, но тут же передумала: а может быть Худи испытывает ее. Так оно и случилось. Хотя муж должен был вернуться домой не ранее истечения трех дней, однако он появится в чуме к закату солнца. Мидику нашел Нангли мирно работающей: железным скребком она сдирала жилы и болонь с кожи постельного оленя. Теперь Худи окончательно уверовал в полную покорность Нангли. И когда он с артелью своих родственников ушел в тундру на промысел, Нангли, не теряя ни минуты, покинула чум и направилась прямо на Пур, в те места, где кочевал род Пяков, туда, где она надеялась встретить Окутю.

Она взяла на дорогу маленький туесок моголя[1], несколько щучьих поземов и кусочков десять уликты[2]. Ей предстояло идти не один, не два дня, а, может быть, неделю. Она вскоре оставила тропу, что вела из Сургута в Самбург, и пошла прямо согрой[3].

Только воодушевленная горячим стремлением во что бы то ни стало вырваться из ненавистной ей семьи Худи, Нангли могла преодолевать

[1] Моголь – жир из печени рыбы.

[2] Уликта – вяленое оленье мясо, нарезанное круглыми кусочками.

[3] Согра – травяное болото в лесу, низкое сырое место.

возникавшие на ее дороге трудности. Высокая болотная осока с острыми зубчатыми краями до крови резала голые руки, кочкарник и глубокие ямы с водой утомляли беглянку до изнеможения, сырой прелый воздух непросыхающего болота давил на легкие, затруднял дыхание, мутил свет в глазах, делал голову непомерно громоздкой и тяжелой. Унылый, зеленовато-серый вид бескрайней согры убивал волю идти вперед, и только необыкновенное упорство, пренебрежение к трудностям и страх возвращения назад заставляли идти все дальше и дальше. Временами Нангли попадала в рям, болото, покрытое мелким низкорослым, с киластыми стволами, сосняком, и, казалось, что нет ему ни конца, ни края. Или вдруг земля, поросшая муравой, напоминавшей свежую отаву, начинала зыбиться под ногами, подаваться, ступни проваливались, из многочисленных круглых отверстий пузырилась красноватая вода, распространявшая вокруг тяжелый запах гнили, – и опасный для жизни зыбун окружал Нангли со всех сторон.

Окутю поселился на берегу Пура в 17 песках от становища Кузелимы-Пяк и в 9 песках от городища Ялпын-Ма, что ниже по течению реки. Несколько раз проезжая мимо, Окутю видел на крутом яру следы древних валов, что правильным прямоугольником опоясывали стоявшие когда-то здесь постройки. Теперь эти валы заросли багульником и черничником. Ялпын-Ма – святое место, и о нем среди самоедов из рода в род с благоговением передавалось предание.

Так давно, что никто этого точно не помнит, жил в этом городище весьма богатый и всеми уважаемый князь Мунумутту. Он был очень высокого роста и громадной силы. Однако был так добр, что ни один человек не мог с ним сравняться в этом. Однажды напало на князя большое войско остяков. Завязалась горячая битва. Столько крови в землю ушло, что на другое утро она багровым паром стала подниматься вверх. Но не мог князь Мунумутту одолеть врага и с остатками войск своих ушел из городища через болото, которое до тех пор считалось непроходимым.

Перед тем как уйти отсюда совсем, он закопал в большом железном ящике все свои сокровища, не имея возможности захватить их с собой. Ушел князь и больше не вернулся. И с тех пор по ночам на месте клада зажигается синий огонек, но найти клад никто не может. Ходит слух, что кольчуга и громадный лук князя Мунумутту как святыня передаются его потомками старшему в роде, кочующими где-то далеко по реке Ляпину. Дух великого князя остался здесь и одиноко бродит по городищу.

Самоеды, проезжая мимо, почтительно держатся противоположного, правого берега. К левому они приближаются только в случае крайней нужды и непременно без женщин. Жители этих мест верят, что суровый князь неотлучно охраняет оставленный им здесь клад. Окутю не раз приходила в голову мысль – не поехать ли на поиски этого клада. Вот как легко можно сделаться более богатым, чем Худи Мидику или братья Солиндеры.

Можно пристать к берегу выше городища, а потом проследить ночью, как загорится синий огонек. Заметить это место, вешку поставить, а потом днем прийти и начать копать, если клад действительно тут, то на другую ночь синий огонек непременно загорится снова. И так копать до тех пор, пока железный ящик не выйдет наружу. Но только Окутю представлял себя роющим землю на святом месте, его обуревал такой страх, что он старался как можно скорее забыть свое недоброе намерение. Собираясь ехать за Ялпын-Ма на промысел, он все думал и думал об этом. И тут же, стараясь отвлечься от нахлынувших на него нехороших мыслей, Окутю с необычайной для него торопливостью стал делать приготовления к отъезду. Ему надо было ставить запор. Вода стала на меру, и приходилось спешить. После того, как она пойдет на убыль, рыба из соров[1], где она кормилась, тронется в реку. Этот момент никак нельзя упустить. Рыба пойдет тогда сплошной стеной. Если сделать все во время, только успевай черпать. Однако до чего плохо, что Окутю все еще один. Все приходится делать самому: и промышлять, и рыбу пластать, и жир топить. Будь бы у него жена…

– Окутю... – раздался голос за спиной.

Окутю от неожиданности даже присел. Отсюда 17 песков до ближайших юрт, кто мог назвать его по имени.

– Окутю...

Как-то из-под руки, неловко изогнувшись, он посмотрел вверх. Над ним стояла Нангли.

– А-яй, – изумился Окутю. – Ты как сюда попала?

– Я убежала от Мидику... Не могла больше жить в его чуме. Через три дня они стали меня догонять. Но я обманула их. Там, где Сургутская дорога идет через самый большой рям, я повернула назад. Они увидели мои следы и подумали, что я заблудилась. Мидику послал своего двоюродного брата Аелю домой проверить – в юртах ли я, а сам с другим братом теперь пришли к Кузелимы-Пяк. Они, наверное, скоро будут здесь. Худи ни за что не согласится с тем, чтобы я убежала от него. Окутю, я буду твоей женой, стану пластать рыбу, варить жир, квасить и выделывать кожи, только спаси меня от Мидику... Я не хочу жить, если он повезет меня в свои юрты...

Окутю даже забыл про свою работу. До того все случилось неожиданно. Но практическая сметка скоро вернулась к нему, и он сказал:

– Я собираюсь сейчас за Ялпын-Ма ставить запор. День-два – рыба уходить станет. Мы вместе поедем… Может быть, они не догадаются, куда я уехал. А если и догадаются, то все равно...

– Что «все равно»? – не терпелось Нангли.

– В той протоке, где мы остановимся, по воде далеко видно. Все равно я успею тебя спрятать, если они приедут. Теперь ты будешь моей женой, –

[1] Сор – заливной луг.

решительно закончил Окутю, и на его узких губах заиграла хитрая усмешка.

– Что тебе смешно, Окутю?

– Мне смешно, что я не буду за тебя платить калым. Хотя Окутю теперь и не такой бедный, как раньше. Худи Мидику не получит восемь десятков и семь оленей, которые он отдал за тебя твоим братьям. Эти олени пропали у него, как от чумы. Ты стала моей женой даром. Однако ты хочешь есть. Вчера я убил гуся, там, в чуме есть немного муки. Ты умеешь варить бурдук?

Нангли укоризненно взглянула на Окутю и принялась за дело с таким видом, как будто она здесь уже несколько лет была хозяйкой. А довольный Окутю, затянув однообразную песню про хорошие дела, которые случаются совсем неожиданно, стал собирать снасти.

Когда солнце свернуло на вечер, по гладкой светло-желтоватой поверхности Пура скользила до краев нагруженная моржовка. В ней сидело два человека, и они энергично махали веслами. Мокрые лопасти, как посеребренные, попеременно сверкали на солнце. Одна справа, другая слева. Сзади, за кормой, такой же узкий, как и нос лодки, оставался нежный струйчатый след.

Окутю, сидевший у кормы, изредка оглядывался назад: нет ли погони. А тем временем тремя песками выше на четырех греблях в ту же сторону шел каюк. За кормовым веслом стоял Кузелимы-Пяк, а возле мачты, на вершине которой болтался узкий грязно-синий раздвоенный вымпел, сам Худи Мидику. Лишь только каюк огибал изголовь, Худи подымался на цыпочки и маленькими мышиными глазками старался просверлить все плесо. И когда ничего не обнаруживал на светлой поверхности реки, оборачивался к своему родственнику Кузелимы и вопросительно смотрел на него.

– Ты думаешь, что, – отвечал на его взгляд старый Кузелимы-Пяк, сплевывая в воду. – Они тоже едут. Только они едут в два весла, а мы – еще солнце не сядет, как мы их догоним. Эй, ребятки, нажали, – подбадривал он гребцов.

Их смуглые лица давно уже покрылись потом и стали как полированные. Они дружно заводили греби назад, секунду замирали неподвижно, разом опускали лопасти в воду, и, когда выгребали, из всех четырех грудей вырывался один тяжкий вздох:

– А-а-ах...

Навстречу плыли зеленые берега, один крутой, обрывистый, с прожилками красноватой глины, другой низкий, песчаный, где узкие и светлые косы создавали причудливые очертания береговой линии: с заливчиками, курейками[1], ямками. Местами с обоих берегов к самой воде

[1] Курья – пересохшее русло реки, протоки, образовавшее залив.

подшибались густые заросли тальников, мочивших в реке низко нависшие ветви. На закате солнца, когда на землю и воду легли багряные блики, а до Ялпын-Ма оставалось два песка, в самом конце плеса зачернела какая-то точка, но вскоре скрылась за мысом.

– Вон... – неистово закричал Худи, протянув обе руки вперед, как будто взывая к кому то невидимому. – Ребята, греби... догоним... – кричал он без умолку.

Каюк пошел еще быстрее, сердито пробуравливая воду приподнятым носом, который с каждым взмахом гребцов оседал вниз, в воду, и она недовольно журчала под бортами. Теперь, когда беглецы попали в поле зрения, на каюке все пришли в необычайный азарт. Даже гребцы, уставшие за долгие часы погони, оживились и как будто посвежели. Они вкладывали в греби силу свою с удвоенной энергией. Старый Кузелимы и тот вышел из обычного спокойствия и в такт гребцам подавался всем телом вперед, как будто это могло увеличить скорость движения. Большой каюк постепенно настигал маленькую моржовку. Если вначале она скрывалась из глаз каюка вскоре после того, как тот выезжал из-за мыса, то теперь каюк приблизился к моржовке настолько, что между ними было расстояния не больше половины песка. Погоня продолжалась до самой ночи. Нангли уже окончательно выбилась из сил, и Окутю греб почти один. Но и его силы стали постепенно таять. А его только что приобретенная жена, бессильно опуская в воду весло, то и дело повторяла:

– Я пропала, я пропала...

И когда они подъехали к самому городищу Ялпын-Ма, каюк Кузелимы-Пяк был уже за кормой. Охрипшим голосом Худи Мидику кричал Окутю всякие оскорбительные слова. При этом он перегибался с крыши каюка так далеко, что казалось вот-вот упадет в воду:

– Ты – вор, ты – голодный медведь, ты украл мою бабу... Я тебя закопаю в землю... – махал он руками в сторону Нангли.

Мимо мелькал высокий отвесный берег из серого суглинка, в этом месте голый и неприветливый. А дальше на яру трава в рост человека казалась великой, как лес, с резкими очертаниями на фоне потемневшего вечернего неба, ставшего густо-синим. Где-то за тальниками и травой, на невидимом тихом озере, хлопотливо крякали утки. Над головами неслышно проносился ястреб и нырял в темноту, высматривая поживу. Только безумолчные кузнечики да крики преследователей нарушали величественную тишину приполярья. Окутю сознавал, что борьба проиграна. Как только на каюке не догадаются зацепить моржовку багром? Или они хотят заехать вперед и, став поперек, прижать Окутю к земле. Вот и святое место Ялпын-Ма. Надо отворачивать к правому берегу. И Окутю взял круто вкось по реке. Но не к правому берегу, а наоборот, к левому. У преследующих заминка. Как ехать? Кузелимы крикнул своим: «Жми» – и продолжал держать

каюк прямо по стрежи. Окутю знал, что совершает большой грех, но в отчаянии решил выиграть расстояние любой ценой. Там за городищем недалеко протока, в которую каюк не сможет пройти. Надо продержаться самую малость. Он уже ехал под самым городищем, не взирая на то, что в его лодке сидела женщина. Старого Кузелимы трудно было провести, он хорошо знал древнее предание. В его каюке сидели одни мужчины, поэтому великому князю Мунумутту не было основания серчать на старика. Каюк, описав большую дугу, двинулся прямо на моржовку.

– Пропала! – вскричала Нангли и вскочила на ноги.

– Сиди, вывалимся, утонем! – сам не свой закричал Окутю, но было поздно.

Огромный каюк с разгону ударился носом о маленькую лодчонку. Нангли взмахнула руками и полетела в воду, а Окутю еле успел схватиться за уключину и, оттолкнувшись, несколько смягчить силу удара. Моржовка, зачерпнув воды, прижалась к борту вражеского судна. Там все были на ногах. Каждый старался перекричать другого. Но все постепенно поняли одно: Нангли утонула. Крики начали стихать. Возбуждение улеглось. На смену ему пришла растерянность. Оба судна несло вниз по течению реки, крутило, поворачивало вперед то кормой, то боком, и никто не пытался править. А впереди в нескольких саженях плыло легкое и изящное весло (Окутю сам делал), которое выпало из рук Нангли в момент ее падения.

– Вот тебе баба, получи, – с ненавистью глядя на Худи, сказал Окутю и ткнул пальцем в дно реки. – Ты хуже, чем голодный медведь. Ты паршивый волк, живого человека съел, – и с этими словами Окутю оттолкнулся от каюка, вычерпал воду из лодки и, перевалив через Пур, пристал к берегу против городища. А каюк медленно пополз обратно, вверх по течению. Его серая тень и высокая мачта некоторое время виднелись под берегом, и долго еще слышал Окутю мерные всплески гребей, раздававшиеся в ночной тишине. А потом все стихло. Только где-то справа, за талом, плескались и крякали утки.

* * *

Не разводя огня, Окутю сидел на песке, горько поникнув головой. Он каялся, ругал себя, но это не облегчало его души.

– Прости меня, великий князь Мунумутту. Я нарушил твой закон: духом нечистой женщины оскорбил берег твоей земли, испоганил воду реки твоей. Ты был еще милостив ко мне, оставив меня живым, великий князь. Но ты наказал меня. Ай-я-я-я-яй-яй... – уже вслух начинал причитать Окутю, качая головой. – Ай-я-яй-яй-яй... Какой ты плохой человек, Окутю!Счастье твое, как хитрый горностай, всегда проходит мимо чирка-

на[1]...

Еще долго сидел Окутю и раскачивался из стороны в сторону. Между тем до слуха его стали доноситься какие-то неясные звуки. Он стал прислушиваться. Где-то за рекой, напротив, раздавались слабые стоны. Филин. Нет, не филин.

«Это стонет обиженный дух князя Мунумутту, – решил Окутю, и вдруг его озарила мысль, ясная и величественная в своей простоте. – Это он зовет меня... Да, зовет... Слышишь, Окутю. Великий князь Мунумутту требует, чтобы ты кровью своей искупил вину перед ним... Ты должен это исполнить... Надо держать ответ...»

С загоревшимися глазами, в которых появилось что-то звериное, Окутю поднялся с земли. Его движения стали странными как во сне. Он ощупал на пояске ножны и направился к лодке. Выбросив на берег все снасти и провиант, он сел в лодку и быстро переехал через Пур. Поднялся на берег, вынул нож и, приготовившись принести себя в жертву, перешагнул через древний земляной вал. Где-то тут, на священной земле, близко все еще слышались стоны и легкие всхлипывания. Окутю шел медленным шагом, прислушиваясь к внутреннему голосу, который, казалось, должен был указать ему нужное место, где Окутю ляжет на жертвенник. Вот он, этот плачущий дух, уже здесь, в нескольких шагах. Окутю остановился над чем-то темным, лежащим на земле...

Медленно поднял нож. Холодное лезвие обожгло горло. Но в то же мгновение раздался крик:

– Окутю, стой! Ах... – и кто-то схватил его за ноги.

Окутю чуть было не упал. Очнулся. У ног его лежала мокрая, дрожащая всем телом Нангли.

Немного времени спустя Окутю стоял коленями на сырой от росы земле и, протягивая руки к небу, говорил:

– Спасибо тебе, великий князь Мунумутту. Ты очень добрый, как мой старый олень.

А далеко, на краю земли, уже занималась алая заря.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1944. № 17. С. 1-4, 8, 10-11, 14.

[1] Чиркан – деревянный лук с приспособлением для ловли мелкого зверя.

ГеоргийИванович
ГРАНИН
(1913–1934)

Поэт и прозаик Георгий Гранин (настоящая фамилия Сапрыкин) родился 22 июля 1913 г. на станции Пограничная КВЖД в семье железнодорожного служащего. В 1923 г. переехал с матерью в Харбин и поступил в 7-й класс гимназии им. А.С. Пушкина. Некоторое время учился в Харбинском политехническом институте; в начале 1930-х гг. занимался на курсах английского языка в ХСМЛ. Участник объединения «Молодая Чураевка», был секретарем и вице-председателем кружка. Исключенный из «Молодой Чураевки», Гранин примкнул к фашистской партии К.В. Родзаевского. Печатался в газетах «Молодая Чураевка», «Наш путь», «Авангард»; журналах «Рубеж», «Парус», «Прожектор» и др. Покончил жизнь самоубийством (вместе с поэтом С. Сергиным) 6 декабря 1934 г. в гостинице «Нанкин».

Ист. и лит.:
Георгий Гранин // Россияне в Азии. 1996. № 3. С. 3–10.
Забияко А.А. «Пусть ничего и не было на свете…»: Георгий Гранин // Забияко А.А., Эфендиева Г.В. «Четверть века беженской судьбы…» Художественный мир лирики русского Харбина. Благовещенск, 2008. С. 305–328.
Забияко А.А. Прозаические штудии харбинских лириков // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 3. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2009. С. 80–103.
Перелешин В. Два полустанка: Воспоминания свидетеля и участника литературной жизни Харбина и Шанхая. Амстердам, 1987.

РАССКАЗ НА ТЕМУ

Фуражка на нем была старая. Вылинявшая. С наполовину оторванным козырьком.

Подходящая пара к тужурке: потрепанной, заплатанной, с единственной пуговицей на левом обшлаге.

Он задержался на минуту у порога.

Шагнул на улицу.

Остановился.

В сероватом свете осенних сумерек худенькая фигура смутным пятном маячила на фоне давно небеленой гимназической стены.

Шел мелкий монотонный дождь. Главная улица узловой линейной станции пустовала. Только изредка мелькали фигуры в дождевиках: служащие торопились к приходу вечернего поезда. Со станции доносились глухие свистки маневрировавшего паровоза.

Миша обернулся.

Широкое окно, выходившее в зал, было мрачно и торжественно. Выгоревший на солнце переплет от покрывавшей его воды казался блестящим и новым. По мутно-синим стеклам медленно падали светлые дождевые капли.

Миша подошел и прильнул к стеклу.

Зал был пуст. Другое окно, в боковой стене, казалось узким голубоватым параллелограммом. Недавно выкрашенный пол прорезывался полосой электрического света, падавшего через стеклянную дверь пятого класса.

От этой полосы зал казался еще темней и торжественней…

Как это случилось?

Кажется так…

На перемене играли в пятнашки. Играли все мальчики пятого класса. Было весело и шумно.

А потом… а потом играть перестали.

И без всякого перехода Миша ясно представил, как он стоял в учительской. Рядом на диване сидел Федька Данилюк, прозванный за щегольство Афродитой. Одной рукой он держался за грудь гимнастерки. Другая была опущена. Концы согнутых пальцев почти касались пола.

«А если он выпрямит пальцы, он как раз достанет до пола», – подумал Миша.

Учителя, бледные и серьезные, рассматривали мишин перочинный нож.

Потом они все, кроме историка Николая Викторовича, вошли в директорский кабинет и о чем-то долго спорили.

Наконец учителя вернулись, и классный наставник взволнованным голосом сказал, что по постановлению педагогического совета ученик пятого класса Михаил Воронов исключается из гимназии.

Данилюка сторож увел домой. Педагоги разошлись по классам. А Миша долго стоял в раздевалке и старался уяснить происшедшее.

Машинально нахлобучил фуражку. Одел потрепанную тужурку и вышел на улицу.

Жидкая грязь сочно чавкала под ногами. По бокам тянулись унылые кирпичные дома. На станции глухо посвистывал паровоз.

Худенькая фигурка медленно брела по улице. Прямо в омут мутных сумерек.

На углу фигурка остановилась. Оглянулась. Помедлила. И растаяла за поворотом.

Главная улица стала совсем пустой.

Только изредка проплывали фигуры в дождевиках: служащие торопились к шестичасовому поезду.

Шел мелкий осенний дождь…

……..

– Ну, – сказал я, – и все? Надо признать, ты сегодня не в ударе. Импровизация не из важных.

Шурка молчал, предоставляя мне высказаться.

– Во-первых, мы условились импровизировать рассказики, а не стихотворения в прозе. Во-вторых, надуманные имена. Михаил Воронов – явная беллетристика. Такие фамилии себе придумывают только начинающие поэты.

– Возможно, – усмехнулся Шурка, – но это на самом деле было. Я только фамилию другую придумал.

– Дальше… финал неясен. Что сделал этот самый Михаил Воронов: бросился под поезд, повесился, утопился в луже?

– Нет, конечно. Он просто вернулся домой. Его хорошенько отодрали и отправили доучиваться в Харбин. Здесь он окончил гимназию и, между делом, начал пописывать стишки. Он даже состоит членом Чураевки.

– Интересно бы знать, кто это такой?.. Как его настоящее имя? – спросил я, глядя поверх лохматой Шуркиной головы.

– Его зовут… – растягивал Шурка и отчеканил громко и торжественно, – Его зовут Георгием Граниным.

Впервые опубликовано и печатается по: Молодая Чураевка.1932. № 4. (Приложение к газете «Харбинские Ежедневные Новости». 1932. № 56. С. 4).

ОНА

Люди входят и уходят,
Позже всех уходит та.
Гумилев.

Всякий поэт сентиментален. Во всяком случае – иногда.

Всякий поэт ждет Ее. Во всяком случае и всегда.

От пергаментов Брюсова – до белобедрых Есенинских берез. От асфальтовых мостовых Маяковского – до голубых Блоковских вершин несется вопль о Ней.

«Она все та ж: Линор безумного Эдгара». И по ту сторону границы. И на западе. И здесь в Харбине.

У отчетливого, почти законченного Арсения Несмелова:

И на сон недавний
Сердце не ответит,
Только плачут скрипки
Золотой тоской…
Я пишу рассказы
И стихи в газете,
Вы кроите платья
В модной мастерской.

У порывистого, ищущего Алексея Ачаира:

Много песен невыпетых есть.
Много игр, – на лугах и на скалах…
Только верно: пославшая весть
Этой вестью живою не стала.
У ветрового, недоверчивого Николая Щеголева:
И в биеньи нерусского вальса,
«Sunny boy» и танго «Аргентин»,
Ты вселяешься вся в мои пальцы
Над просторами клавишных льдин.
У осторожного, кабинетного Николая Петерец:
Но напрасно, отпрянув назад
От исписанной мелко страницы,
Снова вижу большие глаза,
Снова вижу густые ресницы.

И у всех наших Чураевских молодых и начинающих в стихах незримо присутствует Она.

Блоковская ли Незнакомка.

Та ли, с которой Гумилев хотел уйти – искать увянувшие розы и слушать мертвых соловьев.

Украденная ли Джиоконда Маяковского.

Но везде. У всех поэтов парит предчувствие Ее.

Она все та ж: Линор безумного Эдгара.

Она все та ж.

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка. 1932. №7. С. 3.

РАДОСТЬ
(Отрывки из романа)

Томас Берк в книге «Карьера музыканта» приводит слова Габриэля де-Флоран:

«Красота не успокоительное лекарство. Если она тебя не волнует, если не причиняет страданий, – тогда это не красота! В экспрессии человеческого стремления и тоски нет ничего сладкого и умиротворяющего».

Илья Эренбург говорит:

«Иней на стеклах рассказывал другим, обыкновенным детям сказки: о звездах, о страусах, о колдунах… Где-то среди рождественских сугробов девочка Андерсена, замерзая, жгла за спичкой спичку. Мир был путаным и нежным, как метель».

Это было у детей. У других детей.

Проза

Из главы 1

Он говорит:

– В нашей жизни случается столько замечательных вещей, что мы даже не всегда о них и помним.

У каждого человека бывает однажды неповторимое: чаще всего – встреча.

Вот идут через огромных мир двое людей. Вокруг громоздятся скалы, вздымаются горы, возвышаются сопки – через все это надо пройти. И они проходят, и они даже не очень несчастны и одиноки.

Мимо них часто мелькают тени других людей, тоже ищущих и тоже не очень несчастных, не очень одиноких.

Проходят они мимо и не окликают друг друга, словно не существуют, словно во сне увидели и забыли.

И вот, наконец, те двое выходят на какую-то ясную равнину: и солнце светит, и трава зеленеет, и небеса невероятно глубоки, словно омут прозрачный.

Здесь, среди этих бесплотных людей-призраков, они замечают друг друга. Дороги их пересекаются, и на одну секунду их взгляды скрещиваются. Этой крохотной пылинки времени, такой же ничтожной перед их дальнейшей жизнью, как перед Альпами, этого микроскопического кусочка времени достаточно, чтобы запечатлеть след на всю жизнь.

Пойдут они: один направо, другой тоже направо, только немного наискось и будут вспоминать, как на один миг заглянули в чужую человеческую душу.

Заглянули и увидели: один недоверчивость и надежду, другой искание и тоже надежду. И еще успели сказать их глаза, что оба они одиноки. Пусть даже не очень, но более чем достаточно для людей.

Так они встретились и так разошлись. Больше они никогда не увидятся. Они когда-нибудь будут счастливы и, может быть, даже сумеют дать счастье другим.

Но ни один из них: ни тот, ушедший направо, ни ушедший тоже направо, только немного наискось, – ни один из них никогда не догадается, что и счастье-то это произошло от какой-то встречи, о которой и позабыть уже почти успели оба…

Глава 5

На фоне беззвездного станционного неба ровным кружком прорезывается луна. Она не прямо посредине, а сбоку, недалеко от верхушки почти правильного овала сопки.

В воздухе чувствуется запах сильно подтаявшего днем, еще сохранившегося у забора снега.

Тень от длинного, высокого дома (такие дома-бараки возводили при

постройке дороги) разделяет двор на две неравных половины: узкую – светлую и широкую – черную.

В окнах темно, только стекла крайнего отражают ровный немигающий отсвет: очевидно, бабушка Чернышка теплит лампадку.

На заборе, когда-то крашенном, а теперь вылизанном трудолюбивыми линейными дождями, упираясь в нижнюю перекладину и держась за обрубленные, в виде пирамидок, концы штакетин, висит Ленька Герасименко.

Висит он уже давно – минут пятнадцать. Висит и смотрит только по двум направлениям: на окно рядом с отсвечивающим Чернышкину лампадку и на небо, точнее, на луну.

Висит, смотрит и думает. И много мыслей рождается под этой, пока не обтрепанной, крепко оттопыривающей уши гимназической фуражкой – все эти мысли немедленно отпечатываются на веснушчатом, ничем не характерном, как у всех девятилетних, лице.

Там, вот в этой квартире, за этим самым окном, живет она, эта самая Женя, из-за которой в тетрадях для письма и изложения, вместо бывших раньше «хорошо», «см», а иногда и «отлично», попадается теперь и «плохо», и «неряшливо». Попадается, правда, иногда и «см», но только с припиской рядом в скобках – «небрежно».

Это та самая Женя, из-за которой его дразнят в школе Фартучником и Латузом.

Первое прозвище не так привилось, да и не такое оно страшное, вот Латуза – и непонятно, и обидно.

И все это из-за Жени…

Вот и теперь он околачивается на заборе целых пятнадцать, а может, и больше минут.

Подождет еще немного, пока руки окончательно не устанут, и медленно пойдет домой.

Пройдет через пустой, незастроенный участок и остановится у одноэтажного кирпичного здания.

Крутая лестница с обломанными перилами и большая высоко отстоящая от земли веранда.

Отсюда тоже хорошо (жаль только, что сбоку) видны и освещенные лампадкой, и темные рядом окна.

Отсюда можно глядеть на почти правильный овал сопки и представлять, что где-то там, в каких-нибудь двух десятках верст, протягивает аванпосты таинственная неведомая земля, носившая когда-то (говорят) имя – Россия.

Отсюда же можно будет потом, через несколько дней, познав первую горечь маленькой, но никогда не забываемой измены насмешливой Жени, отсюда, именно отсюда, глядеть на небо и думать, что оно похоже на вогнутое ледяное озеро со светящейся прорубью сбоку.

Глава 9

Он прям, худ и высок. Носит размочаленную черную бороду.

Иногда, неизвестно для чего, начинает ее постепенно подбривать. Со дня на день все больше и больше обнажаются худощавые, цветом в недожаренный пирожок, челюсти. Наконец, остается просвечивающая проседью эспаньолка средних размеров. Тогда дальнейшая эволюция прекращается и возобновляется месяца через два, не раньше. Иногда позже.

При абсолютном отсутствии слуха голос имеет громкий и металлический, наподобие лопнувшей от жара плиты, о которую бьют тяжелым.

Преподает в гимназии латынь и в младших классах арифметику.

Именуется Антонием Кириллычем.

Учительская – небольшая, заставленная шкапами, увешанная потрепанными географическими картами.

Кожаный вышорканый диван. На поручне, из-под складок обивки, высовывается клок светло-коричневой шерсти. Будто кто-то длинный и мягкий прячется в сиденьи. И если потянуть за этот локон, то вытащится сначала безгубая, бледноглазая голова, а потом будет бесконечно долго выползать плоское амфибиобразное тело.

Антоний Кириллыч сидит на диване. Коротким обкуренным пальцем трогает светло-коричневые шерстинки.

Смотрит через стол на внутреннее окно, выходящее в шестой класс. Там, как раз влево от стоящего посредине подоконника глобуса, с неправильными, от преломления света в плохом стекле, чертами – лицо.

Разделенные прямым пробором волосы с нарочито растрепленными кончиками. Благодаря выступающему подбородку – резкий лицевой угол.

Если всмотреться – глаза рассеянно ищущие: глаза слегка запоздавшего переходного возраста, когда девочек начинают называть девушками.

Антоний Кириллыч нервно щелкает старым портсигаром.

– Все это понятно. Отчетливо и понятно, – бормочет он, выпуская дым из-под редких, напоминающих зубья грабель зубов. – Но почему у других через год, через два, в семнадцать, в восемнадцать лет. У меня, наконец, сын… а тут еще этот…

Он вскакивает, задирая голову вверх, смотрит на часы. Стрелки висящего над диваном циферблата равнодушно сливаются над двумя ровными римскими палочками.

Неподалеку в коридоре хлопает дверь.

Антоний Кириллыч шагает поперек комнаты: от дивана к столу.

Он забыл. Он совсем забыл про этого, как его, Леонида… Леонида… Ге-ге-ге… что-то Тургеневское… Евгений Базаров… Кирсанов… Записки охот… Герасим и Муму!.. Совершенно верно – Герасименко. Отчетливо и понятно.

Он затягивается свежей папиросой, сейчас придет вызванный им шестиклассник Леонид Герасименко.

Стук в дверь и неуверенное:

– Разрешите войти?

– Можно! – раздается громкое и металлическое, наподобие выженной плиты, о которую бьют тяжелым.

Антоний Кириллыч усаживается плотнее:

– Видите ли, я хотел с вами поговорить относительно вас и моей воспитанницы Нины Войковой. Дело в том… я все, конечно, понимаю. Ничего предосудительного быть не могло…

В учительской горит электрическая лампочка, и лица кажутся темными и какими-то сконфуженными.

Герасименко, у него напомаженный пробор, очень узкий ворот гимнастерки и 14 лет. Как-то мимо ушей пролетают рассыпанным железным ломом слова:

– Кино… поздно… письмо… родители… прогулки… парк… сами понимаете…

Здесь, вперебив словам, неожиданно отвешивает быстрый, почти поясный поклон; поворачивается и уходит, прикрыв двери, – воспитанник Пограничной Общественной Гимназии, ученик шестого класса, Герасименко Леонид.

Преподаватель латыни и – в младших классах – арифметики, а в частной жизни воспитатель шестиклассницы Войковой Нины, бросает в пепельницу потухшую папиросу.

Короткие обкуренные пальцы выдергивают шерстинки из набивки дивана.

Антоний Кириллыч смотрит во внутреннее окно. Там, влево от глобуса, – лицо.

Темные волосы, резкий лицевой угол. Глаза рассеянно ищущие. Глаза слегка запоздавшего переходного возраста, когда девочек начинают называть девушками.

В учительской горит неяркая лампочка, и, очевидно, от этого лица кажутся темными и какими-то сконфуженными.

Глава 12

Сегодня 30 июля 1928 года. Утро. Сегодня вечером уезжаем в Харбин.

В квартире беспорядок. Голые стены.

На оконных рамах висят обрывки шнурков от снятых занавесок.

Глава 14

По левой стороне улицы, скрипя и оседая, медленно ползет арба. На мешках – очевидно, с известкой – сидит китайчонок.

Рукой в рукавице из собачьей шкуры держит камышовую рукоятку кнута. Изредка рука подымается, и раздается щелкающий звук. Тогда колеса начинают вращаться быстрее, но потом с равномерным замедлением приобретают прежнюю скорость.

Арбу везут две низкорослых лошаденки. Ближайшая к повозке – грязно белая, с обрезанной гривой, – прихрамывая на левую заднюю, равнодушно влегает в хомут.

Передняя же – вся какая-то взъерошенная – мотает хвостом, храпит, выпуская клубки пара.

От ощущения полуденного воздуха, а – главное – от чувства удовлетворения, что она ловко взваливает всю тяжесть на заднюю, она переступает даже как-то боком.

Поглядывает на тротуар. Прислушивается к двум голосам: высокому – юношескому, низкому и гортанному – девичьему.

А там говорилось примерно так.

Она:

– Ну-у, конечно, я понимаю, только это не так уже просто.

И он:

– Нет, Юля, Вы не отвиливайте от прямого ответа… Предположим, что я согласен, но как тогда с Ленькой?

– Что ж тут думать. Леньчик милый мальчик, но знаете, Федя, нельзя же серьезно думать о нем… Он два месяца ухаживал за мной и в конце концов осмелел до того, что попробовал поцеловать руку…

– Ну?

– Ну, я даже как-то растерялась и не позволила. Попыток новых он не делал… Не то, что другие.

– Хм, да… А, знаете, Юля, у Вас сегодня вечер свободен, давайте-ка с Вами…

Доскрипев до угла, арба сворачивает на Артиллерийскую.

Китайчонок с ленивой методичностью щелкает кнутом. Равнодушно влегая в хомут, прихрамывает на левую заднюю одна лошадь, и поматывает хвостом другая.

Из одного из нижних мешков через плохо зашитое отверстие сыпется известка. Едва заметная белая струйка – точно пар – медленно оседает на снег.

А потом здесь проходят люди и тончайшие пылинки извести, вместе с прилипшим снегом, разносят на подошвах по своим уютным и неуютным, приземистым и высоким, горестным и счастливым домам.

Глава 32 (последняя)

Дверца полузеркального гардероба. В правом верхнем углу стекло надтреснуло. Откалывающийся треугольник отмечен пятном сурика.

В полированном стекле отражаются стол с пепельницей и поручни кресел за столом.

В кресле сидит человек. Курит сигарету. Пристально смотрит на свое отражение и говорит низким детонирующим голосом:

– Ваше Величество, сядьте в профиль. Мне больше нравится ваше оформление именно так.

Мне симпатичен ваш гордый облик Бурбонов. «Почему?», – спросите вы. Я отвечу:

– Хочу.

Ваше Величество, Генрих Четвертый по прозвищу Великий, ровно 320 лет тому назад, Вы любили женщину.

Ее звали Габриель д'Эстре.

Вы ее действительно любили. Помните еще писали из Фонтенебло письмо, которое отрывками я знаю наизусть:

«Слава Богу, я совершенно здоров, но болен от желания видеть Вас».

«Желание короля было законом», – повторяю слова историка. И она, Габриель д'Эстре, чуткая, ясная Габриель, приехала из Парижа в охотничий замок скрашивать уединение влюбленного монарха.

А скажите мне, Анри, по совести, знаете ли Вы, что такое радость?

Не поворачивайтесь ко мне своим насмешливым анфасом. Сидите как и раньше.

Я вам задал вопрос – Вы подумайте, но не отвечайте. Подумайте и скажите самому себе: была ли у Вас, прожившего огромную жизнь, у Вас, имевшего невероятное число любовниц и возлюбленных, у Вас, отказавшегося любить прекрасную Маргариту Валуа, – вот именно вы, скажите мне: была ли у вас радость?

Говорят, что невозможно определить словами ни счастья ни – тем более – радости.

А знаете, король мой драгоценный, я на днях сумел определить ее словами.

Понимаете, Анри, я единственный человек в мире, сумевший это сделать, то есть не формулировать (это не важно), но органически почувствовать, что это именно так и есть.

Вот, может быть, такая секунда (продолжительность не играет никакой роли), такое небывалое мгновение, когда все исчезает. Вы растворились в невозможном, и ничего, кроме совершающегося, нет и не должно быть.

Такой момент, в который мир может остановиться, и ничего от этого не изменится.

Вы не учтете этого, потому что сознание исключает все. Но Вы потом вспомните, когда-нибудь.

Ваше Величество, можно мне сказать то, о чем Вы думали в начале

семнадцатого века. Наклонитесь ко мне, чтобы никто не услышал то, что Вы таили в своем опустошенном сердце.

Слушайте, Анри, хорошо слушайте – я Вам скажу, точнее, спрошу нечто, в чем Вы и самому себе не признавались.

Я говорю:

– Анри, а вдруг – не счастье (счастье доступно), но радость, радость – есть? Понимаете, Анри, а вдруг она есть?!.

Человек бросает потухшую сигарету. В комнате два стула. Неуклюжий комод-туалет.

Умывальник крашеной жести. На дверном косяке кнопка звонка: номер третьеразрядной гостиницы – два с полтиной, три рубля в сутки.

Десятый час мартовского утра глядит через невымытые стекла.

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка. 1933. № 3. С. 4-5.

МОННА ВАННА
(Из цикла «Неврастения»)

1

Странного формата – узкий и длинный, похожий на расчетную книгу – том Метерлинка.

Титульный лист давно вырван. Только неровная каемка бумаги прикрывает начальные буквы строк первой страницы.

Читаете укороченные имена действующий лиц: …нна Ванна, жена Гвидо; …инчивалле, начальник войска на жалованьи у Флоренции; …ивульцио, комиссар республики.

Перелистываете продолговатые страницы.

Сцена во дворе Гвидо Колонна, который не хочет пожертвовать честью жены ради спасения города.

Сцена в лагере осаждающих. Палатка начальника войска: Принчивалле и Монна Ванна. Когда он был ребенком, его звали Джианелло, ее – Джиованна. А Джианелло и Джиованна любили друг друга. Им только не посчастливилось: Джианелло потерял и не мог потом отыскать ее, а Джиованна не дождалась его.

Сцена опять в доме Колонна. Возвращается Монна Ванна, с ней Принчивалле. Он изменил Флоренции, спас город ради маленькой Джиованны, которую когда-то любил. Гвидо заключает Принчивалле под стражу, и, может быть, только в эту минуту Монна Ванна, наконец, осознает, что еще не все потеряно, что все еще может быть:

ГВИДО (подбегает и берет Ванну в объятия)
Моя Ванна. Она улыбается… Моя Ванна. Я никогда не сомневался… Те-

перь все кончено и все забудется ради отрадного мщения… То был дурной сон…

ВАННА (открывая глаза, слабым голосом)
Где он… Да я знаю… Но дайте мне ключ… Ключ от его тюрьмы… Не нужно, чтобы другие…

ГВИДО. Стража скоро вернется… Они тебе вручат ключ…

ВАННА. Я хочу одна владеть этим ключом, чтобы быть уверенной… Чтобы никто другой… То был дурной сон… Светлый сон начинается… Светлый сон начинается.

ЗАНАВЕС

Вам не хочется читать дальше. Вы бросаете книгу на стол. При ударе она слегка раскрывается, и вам виден угол сложенного листа нелинованной бумаги.

Ленивым движением лист вытащен и расправлен. Он – измят, покрыт складками, уписан неровными заметками – двумя почерками.

Всматриваетесь. Вчитываетесь. Соображаете: диалог-переписка. Очевидно, двое сидели – на лекции, на докладе – и переписывались: один карандашом, другой самопишущим пером.

Удивляясь нарочитой стройности записей, слишком похожих на реплики разговора, перечитываете…

2

– Все когда-нибудь в мире кончается,
И тоска безнадежно сверлит,
А ведь радостный сон начинается –
Уверяет седой Метерлинк.

– Это чье?

– Ранний Бальмонт.

– Врешь – твое!

– Ну, конечно, мое… Как ты думаешь: радостный сон начинается?

– По-моему, в наше время не могут существовать такие люди.

– А ведь это грустно?

– Или смешно: одно из двоих.

– По-русски не говорится: одно из двоих, а – одно из двух.

– Неважно, это я из оригинальности.

– Забавная оригинальность… Посмотри на барышню, сидящую в пятом ряду возле окна. Кого она напоминает?

– Никогда не говори барышня, говори – девушка. Никого она не напоминает.

– Всмотрись внимательней, в связи с нашей сегодняшней перепиской.

– Не понимаю. Кого?

– Монна Ванну.

– Ничего подобного, она совсем не такая: у Монны Ванны должно быть необычайное выражение в глазах.

– Почем ты знаешь, может быть, у нее тоже в глазах что-нибудь необычайное?

– Я вижу.

– Во-первых, она сидит слишком далеко, чтобы ты мог разглядеть. А, во-вторых, я вообще мало надеюсь на твою дальнозоркость. Несмотря даже на твои очки.

– Пожалуйста, не обижай меня, я прекрасно вижу. Вот у окна, в синем платье, блондинка, сидит в профиль…

– Совсем не она! Слушай, ты совсем не о ней думал. Смотри: пятый ряд, около окна, на крайнем месте… Смотри, скорей, она уходит!

– Где?

– Боги! Налево в боковую дверь…

……

– Ушла.

– Ушла!.. Близорукий болван! Проглядеть такую барышню.

– Не все ли равно? Вот сидела она там в темном платье, задумчивая, может быть, ждущая…

– Тебя, например.

– Не вырывай лист!.. Может быть, и тебя… Сидела она, мы на нее смотрели и думали, что она похожа на Монну Ванну. Потом она встала и пошла. Мы думали, что, может быть, мы видели ее в последний раз. А ведь это могла быть или твоя, или моя девушка. Единственная в мире девушка, которая предназначена каждому из нас.

– Слишком сентиментально.

– Ничего… Теперь ее нет, и мы думаем о том, что могло быть и чего не было.

– Не пиши мне фраз из «Рубежных» рассказов!

– Многое могло быть, но она ушла…

– Это, наконец, скучно!

– Или грустно: одно из двоих.

– Ага, вот ты и ляпнул, по-русски, кажется, говорится – одно из двух?

– Это я тоже из оригинальности…

3

Вы дочитали найденный листок до конца. Небрежно сложили его и бросили на стул.

Вы думаете о странных нелепых людях, живших пять веков тому назад.

Вы думаете о неповторимой Монне Ванне, о Гвидо, Принчивалле…

По непонятной ассоциации вам почему-то вспоминается Борис Модестович, упорно пожимавший на встрече Нового года вашу руку.

И еще более непонятная ассоциация заставляет вспоминать ваше первое увлечение.

Помните, вы жили еще там, где-то возле Таганрога, а рядом была дача какого-то князя.

Ему было – девять, а вам – шесть. Вы с ним прохаживались под руку вдоль по заброшенной аллее: туда и обратно.

Помните: туда и обратно.

Он был самым настоящим князем, и пленило вас в нем именно это самое настоящее джентльменство.

Однажды, когда вы гуляли, он громко икнул и тут же, прикрыв рот платком, сказал полное удивительного благородства слово:

– Извините…

– Извините, Людмила Павловна! Вас к телефону просит господин Цейтли! – прерывает вас доносящийся из-за двери голос квартирной хозяйки.

Минутная пауза и ответ:

– Скажите Борису Модестовичу, что я больна, лежу в постели. Пусть он заедет ко мне!

Вы становитесь сразу веселой. Прибираете на столе, подходите к зеркалу, привычными движениями приводите в порядок лицо.

Все как будто ничего. Все как пять-семь лет тому назад. Только складки у губ стали чуть тверже, да чуть глубже едва заметные морщинки у глаз.

Тут вам приходит в голову мысль, что в сущности радоваться нечему: Борис Модестович женат и совсем не похож на таганрогского князя.

И тогда вы медленно-медленно садитесь на кушетку, раскрываете Метерлинка и погружаетесь в «Синюю Птицу». Но читать с прежним вниманием вы уже не можете.

Вы постоянно поглядываете в окно на подстриженные осенью кусты жимолости, окантовывающие газоны, теперь покрытые снегом.

Поглядываете – пустым, отсутствующим взглядом.

Вам или скучно, или грустно.

Одно из двоих.

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка. 1933. № 8. С. 2.

ПРИКОСНОВЕНИЯ

Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе.
Ап. Павел.

Улица была темной и пустынной.

Справа, через забор, к тротуару протягивались недлинные обпиленные пальцы – ветви тополей. Противоположная сторона бугрилась кучами песка и кирпичного лома. Выше – через широчайшие косяки окон и дверей недостроенного крыла лаборатории – отсвечивала громада Политехникума.

А еще выше февральский вечер разбросал по голубовато-синему сафьяну тлеющие окурки.

Были они разные: солидной честной сигаретой плыла луна, ровным светом колебались папиросы звезд, экспансивно подмигивали окурки звездочек-сигарет.

Четко слышны в морозном воздухе шаги.

Идут двое.

Она бледна, в темно-темно-черном мехе. Глаза усталые или очень спокойные. Так спокойны бывают самоубийцы за минуту до смерти.

Он выше ее. Сутуловат. Из поднятого воротника шубы видно остроскулое, со впалыми глазами лицо. На лице едва заметная усмешка – либо очень простодушная, либо очень хитрая. Скорее – второе.

Они говорят. О чем? О чем-то важном – кажется, о том, что бывает, вот такая степь, гладкая, гладкая. И в ней растет дерево, одно большое старое дерево.

А потом еще бывают такие высокие вязы. И, если мимо них идти ранней весной, то сквозь нечеткую сетку веток можно увидеть небо. И это небо будет совсем другое, совсем необычайное.

По тому, как он смотрит на нее сбоку, видно, что – влюблен, давно и безнадежно. Во всех отношениях.

Неожиданно нависающие справа ветки тополей обрываются. Улица пересекается очень освещенным проспектом.

Как раз над серединой асфальтового ложа протянут металлический трос. Невдалеке на нем мелькают голубоватые искры, и слышится гул: приближается трамвай.

Пробегает вереница авто. Чтобы перейти на ту сторону, придется обождать.

В этот момент она оглядывается и видит у закругленного угла забора маленькую скорчившуюся фигурку.

Подходит ближе: в лохмотьях ватной тужурки, в опорках сапог (из носков торчат завернутые в грязное ступни) – лежит на мерзлом асфальте нищенка. Спит.

– Что там? – подходит и он.

Оба наклоняются. Нищенка лежит неподвижно. Из-под закинутых рук не видно лица. Сбоку, между воротником и платком, обматывающим

голову, – клок волос. Грязных, замаслившихся, но видно, если отмыть, – будут мягкие и светлые.

Она глядит на эти волосы и почти не слушает, как он говорит о безработице, о количестве попрошаек, о том – что всех не отогреешь…

Она почти не слушает, но где-то внутри у нее растет чувство неприязни к нему. К его всегда улыбающейся физиономии. Даже к его ленивому, не по годам низкому голосу.

– Пойдемте, – говорит он и, немного погодя, повторяет с оттенком раздражения, – да пойдемте же! Если на всех оборванцев любоваться, то придется на это в сутки уделять часов по двадцать семь!

Он берет ее под руку и ведет через отсвечивающий длинными острыми бликами фонарей асфальт.

Она глядит усталыми глазами в темь продолжающейся по ту сторону улицы и думает о многом и даже о радости, о маленькой бледной радости сознания разделенного участия.

Еще несколько шагов и проспект будет пройден, но тут – он неожиданно бросает ее руку и быстрыми шагами возвращается.

Она оборачивается и видит, как он пропускает встречный автомобиль… вот он на тротуаре… вынул что-то из внутреннего кармана…

И наклонился…

Минуту спустя они уже идут по слабо освещенной, пустынной улице.

– Но ведь всех не отогреешь – какую разницу составит ваш двугривенный? – спрашивает.

– Все, – как-то отвернувшись, отвечает, – все, что было… с кошельком.

Она мгновенно останавливается.

Темная поперечная улица. Они стоят друг против друга. На голубовато-синем сафьяне неба разбросаны окурки.

Он отдал все.

Ровным светом колеблются папиросы звезд.

Он отдал все!

Солидно горит честная сигара луны, и экспансивно подмигивают окурки звездочек-сигарет.

Все с кошельком!!!

Она вплотную, чуть снизу, смотрит в его глаза, и вдруг в этот момент, на тысячную долю секунды – осознает, что есть что-то такое ужасно большое, такое невероятно нужное, что дается редким из миллионов.

Как будто с глаз сорвали повязку, и становится понятным, что все блистательные подвиги с триумфальными арками, все неисчислимые творения великих поэтов – все это совсем неважно. Дело совсем не в этом.

Еще она поняла (да, наверное, суть и есть в этом), что этот остроскулый сутулый мальчишка, сам того не сознавая, открыл свою душу. И душа была ясная и честная. И немного жалкая.

Они медленно идут по тротуару.

Над их головами протягиваются обпиленные пальцы тополей. За тополями высятся какие-то длинные здания со слепыми окнами.

На другой стороне тротуар граничит с массивной выщементированной стеной. За стеной – сад. В нем, среди других деревьев, растет старый (его даже не подстригают) вяз. Стоит он возле стены, раскинув косыми мачтами стволов паруса сучков и веточек.

А сквозь эту нечеткую сетку видно небо. И это небо другое какое-то. Совсем не такое, как всегда.

Совсем не такое.

Впервые опубликовано: Парус. 1933. № 15.
Печатается по: Россияне в Азии. 1996. №3. С. 35-38.

СТИХИ

(Глава из романа «Небо»)

1

Как это началось?

Когда впервые проснулось и зазвучало чувство ритма, заставляющее подбирать слова в равномерные певучие строки так, чтобы окончания их давали созвучие – рифму?

Как это началось?

Как получилось, что робкий застенчивый Ленька стал охотно выходить на эстраду, чтобы своим глухим голосом читать то, что называется стихами? Как нарастало волнение, как – сквозь холод и снег, тишину и громыхание города, ночную гульбу и тихий шопот – бережно нес память о несказанном и грезящемся, но никогда не достигнутом чуде?

Как это началось?

2

Бабушка Чернышка поджимала старушечьи губы и кивала на стол:

– Кушайте, кушайте… Все равно кушайте, раз поставлено.

Ленька с опаской брал мятые, отдававшие нафталином пряники и монпасье, похожее на кусочки туалетного мыла.

Чернушка кивала:

– Все равно, раз поставила…

Мама в накинутом на плечи платке зябко притуливалась к печке:

– Вот помню у нас в Малороссии подруги мои ели на ночь наперсток соли, чтоб жених приснился. Дурные были подруги.

Улыбалась и оправляла платок:

– И я тоже дурная была. Мне приснился сын нашего священника… Как думала, так и приснился: пить во сне подносил…

Бабушка Чернышка поджимала губы:

– У нас в Сибири девки ложились спать на другом месте, не там, где всегда…

Сердито кивала Леньке:

– Кушайте, раз поставлено… Ложились и говорили: «Ложусь на новом месте, приснись жених невесте».

Укладывая Леньку спать в этот вечер, мама почему-то долго смотрела на него и, отходя, зачем-то прошептала:

– Как думала, так и приснилось… Пить подносил…

Пытливо морщил лоб над этим и еще над другим: девки говорят – ложусь на новом месте, приснись жених невесте, а как ему – Леньке – говорить надо.

Ворочался с боку на бок, попеременно засовывая то левую, то правую руку под подушку – такая у него была привычка – и думал.

Только засыпая уже, приоткрыл склеившиеся веки и для чего-то приподнял голову:

– Придумал.

И звучало так: «Ложусь на новом меху, приснись невеста жениху».

Повторяя это, заснул. Но невесты во сне не увидел. Наверное, потому, что не на новом меху спал.

3

На другой день долго копался в сундуке, искал папашину шпаргалку. Была такая книжечка, сшитая из писчей бумаги, были в ней мелко-мелко нарисованы окопы и разные штуки. По ней папа держал экзамен в военной школе.

В ней однажды Ленька записал свое первое.

Было оно такое – со всеми переносами и орфографией:

Береза, ты бер-
Еза, березоньк-
А моя, под тобою дев-
Ушки хороводы вод-
Ят.

И – ниже – подпись:

«Писал поэт Пушкин».

Ленька сначала думал на этом остановиться, но потом приписал:

… Герасименко.

И получилось:

«Писал поэт Пушкин-Герасименко».

4

Потом, уже в третьем классе гимназии, он узнал, что «ложусь на новом меху, приснись невеста жениху» было распространенной присказкой, а произведение поэта Пушкина-Герасименко давным-давно приведено в хрестоматии в качестве народной песни. Тогда Леньку опечалило все это. Но потом он забыл.

Так все забывалось. И только немногое потом вспоминалось.

Вспомнилось и это, и – главное – через много лет со странно щемящим чувством вспомнил, как однажды ночью повторял: «Приснись невеста жениху», и невеста не приснилась.

Как жаль, что нового меха не было.

Впервые опубликовано: Авангард. 1934. № 3.
Печатается по: Россияне в Азии. 1996. №3. С. 38-40.

ДУЭЛЬ

1

Недавно я прочел в очень историческом рассказе:

«Ваша ладонь была лиловой от вишневого сока, и вы свернули ее трубочкой, ссыпая ягоды. Я унес косточки во рту. Я посадил дерево в память о том, что вы меня не любили. Оно цветет».

«Вот видите: я был осмеян, тогда мужествен был Борис Михайлович, победивший вас, я был мечтателен, инфантилен. Я искал в мире дрозда, пока вы целовались. Я был романтик. Но вот смотрите: твердое мужественное дерево выросло из зерна романтики. Вы знаете: вишневый цвет – это душа мужчины. Смотрите: стоит низкорослое крепкое дерево».

«Поверьте, романтика – мужественная вещь, и над ней не стоит смеяться…».

Это рассказ о человеке, который любил девушку, не пришедшую на свидание. «Неразделенная любовь делает память нищей и яркой, – твердит человек, сажая на пустыре вишневую косточку, – через пять лет, весною, мы встретимся у нового дерева. Мы станем по обе стороны – вишневые деревья невысоки: можно, поднявшись на носки, шевельнуть самый верхний цветок. Будет ярко светить солнце…».

2

Станционная ночь всегда прозрачна, тиха, прохладна. Весенняя ночь. Если подняться по неширокой аллее, опоясывающей холм парка, можно

смотреть. Посмотришь направо – поблескивает китайский базар. Прямо перед глазами разбрасывает бисер стрелок вокзал. Налево уходят вдаль сопки, позади тоже.

Только позади сопки – особенные: по расширяющейся прощелине вьется насыпь, проехав три туннеля, попадешь на разъезд Рассыпной, потом – Сосновая Падь и Гродеково…

Там начинается Россия…

Там…

Стоишь у беседки полуразрушенной, полурастащенной. На оставшихся основных крестовинах вырезаны, вычерчены, выцарапаны мысли и фразы. Как всегда в уединенных местах.

Апрельская ночь не только тиха, но и торжественна. Особенно после случившегося.

Я стою, опираясь на исчерченный столб. Он холоден, как камень, и тверд, как кастет.

Путаются мысли, возвращаются назад, к сегодняшнему вечеру. Из хаоса, из лихорадочной неразберихи возникает, колеблется и звучит с убедительной непреложностью только одно слово:

– ДУЭЛЬ…

3

В сумерки, когда играют в лапту, мяч мягко проламывает воздух. Словно этот синеющий воздух тормозит его. Представляю руки, но мяч уже рикошетирует о забор.

– Спичка в нос! Спичка в нос! – подпрыгивает Рита. Вокруг ее востроносого лица развеваются концы волос.

– Ма-аладе-ец, – растягивает сидящий на параллельных брусьях Петров. – Шурка-Бурка молодец, как соленый огурец.

– Помалкивай, гуран…

Когда поднимаешь мяч с еще приомороженной земли, он шершав и холоден, как обточенный ком кирпича.

Обрывая пальцы («Не смейся, гуран!»), швыряю его поддавале. Мне кажется, что мяч летит прямо в руки Пермаку, но сумеречная перспектива обманывает. Мяч отскакивает от стены далеко за играющими.

– Спичка в нос! Спичка в нос! – хохочет звонко Рита.

Пермак молча опускается на необтресанное бревно:

– Сам иди…

– Хлюзды, хлюзды, – размахивает лаптой Рита.

– Разыграли шестиклассника, – ухмыляется Петров.

– Тебе какое дело! – кричу. – Тебе-то что. Помолчал бы ты…

Петров невозмутим. Но я знаю его уязвимое место: прозвище, которо-

го он терпеть не может.

Накаляясь сам и остро чувствуя, как нарастает его враждебность, выкрикиваю:

– Ты – Минна Клаулей!.. Минна Клаулей!

Легкий прыжок с брусьев, и его рука уже мотается около моей физиономии.

– Повтори еще раз, повтори…

– Минна Клаул…

Я разом замолкаю, чувствуя, как все напряженно затихают и как по щеке расползается ощущение резкого удара.

Небо как будто надвигается на гимнастический двор.

В горле появляется горький комок.

Голос дрожит:

– Ты!.. Ты!..

Я произношу страшное, невероятное слово, от которого еще глуше сумерки и еще ниже апрельское небо.

– Сатисфакция, – говорю я, со страшным трудом размыкая губы.

И со всей накопившейся злобой и слезами в голосе кричу:

– Сатисфа-акция-а-а!!!

4

Весенняя ночь прозрачна и тиха. В глазах брезжит бисер станционных стрелок. Уходят смутные сопки слева и позади. Налево – сопки обычные. А позади другие: разъезд Рассыпной, Сосновая Падь, Гродеково.

Там Россия…

Путаются мысли, возвращаются к сегодняшнему вечеру.

Читаю бессмысленно вырезанные на столбах надписи: «Урс и Володя», «Люся-Котик», «Костя-старый ос…».

Вынимаю перочинный ножик с обломанным шилом и долго – до боли в ладонях – черчу.

Медленно спускаюсь по неширокой аллее. Дубы парка огромны и темны. Лунный свет вычерчивает корявые лапы веток на земле.

Молча иду вниз.

Домой.

А на обсосанном ветрами и дождями столбе беседки белеет свежая надпись: «САТИСФАКЦИЯ».

5

Кладбище далеко за станцией.

Покосились кресты на обползших могилах за оградой, и полиняли красные колы, толпящиеся около нее. Это – «православные» и «большевики».

Тишина царит везде одинаково. И у православных, и у большевиков.

Так же шелестят жестяные ленты венков. Так же обвиваются вокруг могильного дерева обесцвеченные ленты.

Смерть уравняла всех.

От кладбища мимо пологой площадки глубоко врезается рытвина.

Я стою около нее и слушаю, как смертельный ток струит ветер с кладбища.

Апрельский ветер, всегда разный.

Если ехать в поезде, он треплет волосы и уносит прошедшее вместе с клубами паровозного дыма.

Если идти по улице, он забивается под воротник пальто и напоминает о встречах, которые должны случиться сегодня.

Апрельский ветер немного грустен. В нем обещание лета и еще последние вздохи минувшей зимы. Он похож на ленивого котенка, который после оживленного дня, укладываясь спать, лицемерно вздыхает.

Кладбищенский ветер в апреле гнетет. Он задирает сзади фуражку и шевелит полами пальто.

Поворачиваюсь к нему лицом и вздрагиваю: навстречу мне идут они – маленький, в долгополом пальто Пермак и одетый в гимназическую тужурку Петров. Он без фуражки, и по лбу у него мотается прядь. Тонкой камышевой полочкой сбивает верхушки бурьяна.

Поет:

Па Дону гуляет,
Па Дону гуляет,
Па-а Дону гуляет
Казак мала…

Останавливается и смачно плюет.

Плевок относится ветром.

Молча, словно по заранее разработанному плану, ссовываемся в рытвину.

Спрыгиваю неловко вслед за молодцеватым Петровым. Слышу, как сзади осыпает комья земли Пермак.

Петров невозмутим, даже когда Пермак подает ему новенькую самоделку, дуло которой хорошей белой меди.

Для меня достается старая пермаковская – залатанная и запаянная, но зато у нее курок от настоящего револьвера.

Путаются в длинном пальто пермаковский ноги, когда он отмеряет шаги. И голос тоже путается и дребезжит:

– … адцать… четырнадцать… атнадцать…

Я стою у расщепленного, вросшего в дно рытвины камня. В пяти са-

женях за кустом бурьяна невозмутимый Петров. Самоделка в левой, правая беззаботно сбивает колючки с куста:

О чем, дева, плачешь?

О чем, дева, плачешь…

Пермак неуклюже влезает наверх. Когда он поворачивается – лицо его напряженно и серьезно.

О чем, дева, плачешь?

О чем слезы льешь…

Самоделка странно легка. Как карандаш.

– Я считаю до трех! – сипло выкрикивает, почти оглушая меня, Пермак.

Тишина нависает, как полог. Как старое одеяло, под которое я прятался от темноты, когда был маленьким.

– Раз! – хрипит Пермак.

И почти одновременно в апрельский воздух падает:

– Два.

Слово невесомо и прозрачно.

Так ранней осенью брошенная на поверхность реки гайка, легко проломив тонкий хрусталь льда, отпускается на дно.

С кладбища бросается ветер. Фуражка слетает. Но я не замечаю этого. Вся жизнь сосредоточена в узком радиусе рытвины.

В центре стоит Петров.

Намасленная прядь делит его лоб на две неравных части.

В протянутой вперед руке блестит белой медью дуло самоделки. Словно он держит какое-то злое животное с узкой светящейся головой.

– Три…

Воздух разрывается от неистового грохота. И тотчас же в локте ощущается боль отдачи. Я только сейчас замечаю, что в вытянутой вперед руке дымится самоделка.

У ног осколки полураздробленного камня.

Подымаю голову. Петров стоит, полуопустив блистающее дуло.

Пермак скатывается сверху. У него лицо бледно и губы сини.

Он что-то говорит.

Но я не слышу.

Я срываюсь. Иду прямо. Через комья земли. Кучи слежавшегося мусора. Кусты полыни. Колючки цепляются за пальто.

Ветер шевелит волосы. Забивается за воротник.

Еще одно-два мгновения, и мы встретимся. И пожмем друг другу руки. И навсегда забудем о дуэли. Но эти два мгновения я не променяю на

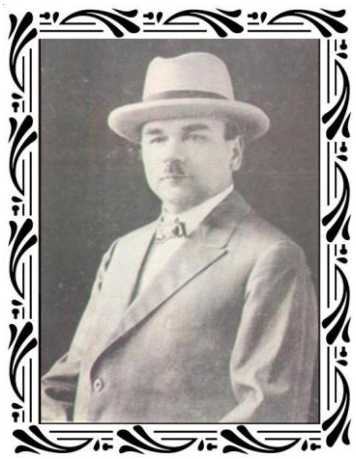
года.

Я иду навстречу Петрову.

Навстречу ветру – кладбищенскому, несущему неуловимый запах тления.

Навстречу наступающей – секунду тому назад наступившей – весне с ее зеленой травой, щетинящейся на склонах пологих сопок, с щебетанием живых линейных воробьев и с весенней мягкой пылью, стелящейся на незамощенных станционных улицах.

Впервые опубликовано: Авангард. 1934. № 5.
Печатается по: Россияне в Азии. 1996. №3. С. 40-45.



Федор Федорович
ДАНИЛЕНКО
(1875–после 1946)

Писатель и общественный деятель Федор Даниленко родился 7 августа (ст. ст.) 1875 г. в селе Дубовый Гай Прилуцкого уезда Полтавской губернии. С родителями переехал во Владивосток, где окончил гимназию (1907) и китайско-маньчжурское отделение Восточного института (1911). Принимал участие в подавлении Боксерского восстания в Маньчжурии. Участник русско-японской и Первой мировой войн. С 1918 г. жил в Харбине. Один из основателей и преподавателей института ориентальных и коммерческих наук в Харбине. Автор романов «Вилла "Вечное спокойствие"» (1930), «К жизни» (1931), «Безумие ревности» (1938) и др. В октябре 1945 г. арестован, депортирован в СССР и приговорен к 10 годам лагерей. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист. и лит.:

Штерн О. О дальневосточных писателях // Багульник. Харбин, 1931. Кн. 1. С. 187-189.
Булгаков В. Словарь русских зарубежных писателей. Нью-Йорк, 1993. С. 45-46.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 104-105.

ОТОРВАННЫЙ
(Отрывок из повести)

Часть первая
Детство

Было начало лета. Вишни и сливы уже дозревали, наливались яблоки и груши; тянулись к солнцу золотистые диски подсолнечников; пахло мятой и васильками; в гуще калины, у несложного своего гнездышка, ворковали дикие голуби; резво кружились над долиной с капустой острокрылые ласточки, а в глубине сада заливалась иволга.

Я сидел на пестром ковре клевера и срывал его пушистые розовые головки. Изредка я поглядывал на мать, которая, нагнувшись до пояса, пасенковала табак. Временами она выпрямлялась, хваталась обеими руками за поясницу, тяжело вздыхала и вновь принималась за свою работу.

Эти тяжелые вздохи вызывали во мне желание помочь ей. Недолго думая, молча я забрался в высокие сочные кусты табака и так же, как и она, стал обламывать побеги. Этой операции я подверг несколько рядов. И только что хотел похвастаться своей помощью, как вдруг мать оглянулась и, увидя мою работу, с ужасом воскликнула:

– Боже мий, ну що ты наробыв, уси насинныки загубыв.

– Яки насинныки? – с удивлением спросил я.

– А тый, що батько, не насиння оставив.

– Я не знав цего, ій же Богу, мамо, не знав! Я тильки хотев помогты

тоби, – оправдался я.

– А не знав, то будешь знать, – вскрикнула мать, и, вырвав тут же растущий куст крапивы, она, не слушая моих оправданий, спустила штанишки и начала стегать меня по мягким частям тела до тех пор, пока от крапивы не остались лишь одни корешки. Затем, ударив в придачу ладонью в подзатылок, проговорила:

– Иды з моих очей, щоб я тебе бильше не бачыла!

Мне было обидно за то, что я так старался помочь матери, даже зубы в трудных случаях пускал в оборот, но за это старание не только не заслужил похвалы матери, но еще подвергся наказанию. Я сейчас же бросился под куст калины, упал на землю и начал жалобно плакать в полной уверенности, что мать все-таки поверит моим оправданиям, пожалеет, подойдет и приласкает. Но, к моему большому горю, она, уткнувшись в грядку, продолжала свою работу, не обращая внимания на мои вопли. Такого безжалостного отношения к себе я больше не мог вынести и так громко разрыдался, что даже она подошла ко мне, взяла на руки, и, гладя своею мозолистою, жилистою рукою по моим взъерошенным волосам, ласково промолвила:

– Петрусь, не плачь, сам виноват, зычым шкоду робыш.

– Мамочка, – дрогнувшим голосом сказал я, обвиваясь ручонками вокруг ее шеи, – я бильше николы не буду, ей-Богу, я не нарошно, я тильки хотив помогтив тобы.

– Ну, добре, диточка, перестань, як не нарошно зробыв, то не сердись на свою маму, да бильше ничего без спросу не роби.

– Не буду, – успокоившись, пообещал я.

* * *

После этого события, положившего начало сознания, что я существую, как Петя, жизнь моя как-то ушла из сферы моих наблюдений, и, только спустя приблизительно с год времени, я вновь нашел себя. Это было весенним утром. Отец с моим старшим братом уехал пахать поле. Мать, вытопив печку и убрав в хате, позвала меня: «Петя, я иду по дилу, а ты посыды дома, та гляды, не чыпай сули, що стоит на припечку».

Достаточно было этих слов, чтобы вызвать во мне любопытство к той вещи, на которую я сам никогда не обратил бы внимания; но теперь, как только вышла из хаты мать, я сейчас же забрался на печку, осторожно наклонил бутыль, вынул пробку и приложился к горлышку. Так как жидкость показалась мне сладкой и на вкус приятной, то у меня сейчас же явилось желание поделиться этим напитком со своим товарищем Гришей. Стремглав я выбежал на улицу и закричал:

– Эй, Грицю, иды налывку пробовать!

Повторять приглашение не потребовалось: Гриша со своими това-

рищами в один миг очутился в хате.

– Пробуй, Грицю, – предложил я, указывая на бутыль, – тильки гляди, не богацько.

Гриша приложил губы к горлышку.

– Ах, страсть яка смашна, – похвалил он, облизывая губы.

– Дай и мыни хоть трошки покоштувать, – попросил другой мальчик Миша, хватаясь за горлышко.

– Можно, тильки не богацько, – разрешил я.

После этого горлышко стало переходить от Гриши к Мише, от Миши к Андрюше, и так далее. Видя, что жидкость быстро убывает, я отнял бутыль, закрыл рукою горлышко и объявил:

– Годи, бо маты узнае, дуть буде.

– Не узнае, – возразил Гришка, – мы водою дольем, давысь яка вона густа, дай я еще покоштую.

Я не только разрешил, но и сам не отставал от них: горлышко сули переходило от одного рта к другому до тех пор, пока в ней не показались вишни.

– Знаешь що, Петрусь, – предложил Гришка, – давай покоштуем и ягоды, чи добры воны, чи ни.

– Можна покоштуваты и ягоды, – расщедрился я, – тильки щоб мати не узнала.

Гриша опрокинул сулию и вытрусил в большую миску ягоды, которыми ребята и начали полными горстями набивать себе рты. Потом я уже ничего не помнил: и мальчики, и вишни потонули в какой-то мгле.

Пришел я в себя уже на руках у матери, и, когда взглянул в ее печальные заплаканные очи, то от стыда опустил глаза, покорно ожидая ее заслуженного наказания.

– Петрусь, ты ж обищав мыни николы ничого не робыть без спросу, – неожиданно для меня ласково заговорила мать.

– Забув, ей-Богу, бильше не буду, – обрадовавшись такому обороту дела поклялся я.

Обещание свое я старался выполнять, но, к сожалению, жизнь оказалась сильнее моей воли: мне пришлось несколько раз нарушать его.

* * *

Была зима. Тускло горел каганец. Из мокрых, покрытых плесенью углов нашей маленькой хатки сочилась вода, пахло удушливой гарью. Мать сидела за гребнем и пряла пряжу. Отца не было дома. Малыши спали. Старший братишка Иван с книгой в руках сидел у каганца и зубрил наизусть: «Поздняя осень, грачи улетели». Он сначала прочитывал стихотворение по книге, а затем, подняв полузакрытые глаза к потолку, пытался повторить прочитанное. Это ему не удавалось. Он начинал снова, и так да-

лее. Вслушиваясь в его чтение я, незаметно для себя, запомнил стихотворение и начал ему подсказывать.

– Мама, скажи Петру, щоб вин не мишав мыни учиться, – пожаловался мой брат.

– Петро, отстань, не мишай, – прикрикнула на меня мать.

– Я не виноват, що вин не може выучить такого пустяка, – сказал я. – Дывиться, вин учив, а я выучив, – и, отбежав к двери, без ошибок прочел ему стихотворение.

– Ну и чорт з тобою, – заявил брат. – Я тоже уже выучив.

Обрадовавшись своему такому неожиданному успеху, я подошел к матери и заявил:

– Мамо, мыни тоже пора ходить в школу.

– Я сама знаю, що пора, но у тебя чобит еще нема.

– А почему же вы их мне купите? – спросил я.

– А потому, що у нас грошей нема.

– А почему у нас грошей нема? – допрашивал я.

– Потому, що ты ще дурачок и ничого не понимаеш.

– Ни, я ни дурачок и все понимаю, у мене чобит нема потому, що у нас батько пьяница и вси гроши пропивае, все сусиды та кажуть, да и ты його цим упрекала. Сегодня вин тоже прыйде до дому пьяный.

– Замовчи ты, противный хлопец, грих батька осуждать.

Я хотя и замолчал, но был убежден в том, что мать согласна со мной, только не хочет в этом сознаваться.

Я был прав: отец вернулся пьяным и так буянил, чо мы всю ночь не спали.

Наконец прошли зима, лето и наступила осень. Мои сверстники начали ходить в школу. Мне тоже страшно хотелось учиться, но у меня все еще не было сапог. Глотая слезы, я сидел у окна и с завистью смотрел, как мои товарищи, прилично одетые, с веселыми криками шли в школу. Мне было обидно на отца за то, что он до сих пор не купил мне сапог, чтобы я мог, как и другие мальчики, ходить в школу. Мать, увидя мои слезы, подошла ко мне, положила мне голову на руки, и засматривая в глаза, участливо спросила:

– Чого, Петрусь, зажурывся?

- Мыни тоже хочыться в школу, но у меня до сих пор чобит нема, – со слезами на глазах ответил я.

– Потерпы, Петрусь, скоро батько тютюн продаст, тодди и чоботы купыть.

Я слушал мать, но в душе осознавал, что отец все равно сапог мне не купит. Я решил позаботиться сам о себе. Зная, что на чердаке лежат давно заброшенные старые отцовские сапоги, я достал их, зашил толстой ниткой дырки, положил в них соломенную стельку и, намотав портянок на ноги

побольше, одел их. Затем, нарядившись в свою старую поношенную свитку, взял в карман кусочек черного хлеба и пошел в школу. Было очень рано; учеников в школе еще не было, только сторож подметал грязные полы, поднимая страшную пыль.

– Чого так рано прилытыв? – с видимым неудовлетворением заворчал он. – Ишь, який рьяный, куды прешь, хоть сапожищи-то свои вытри, бычыш, яки воны у тебе здоровенны, и сам у их сховаешься.

– Вам ниякого дила нема до моих чобит, – сердито ответил я.

– Подумаешь, який важный, чый ты будешь-то?

– Нычый, – огрызнулся я и, вытерев сапоги, вошел в класс, сел за первую парту и с нетерпением стал поджидать прихода учителя.

Вскоре классы наполнились учениками. Здесь были девочки и мальчики. Многих я знал, но большинство из них встречал впервые. Среди учениц сразу привлекла мое внимание одна девочка. Ее темные волосы с красным бантиком, вышитая сорочка из белого тонкого полотна и новенькая рипсовая юбка показывали, что ее родители не нуждались в средствах, а белое личико с темными бровями и карими очами отличалось редкой красотой. Она мне так понравилась, что я не мог оторвать от нее взора.

Наконец вошел учитель. Ученики встали. Я последовал их примеру.

Учитель сразу же заметил меня, подошел ко мне и, касаясь слегка рукою моего подбородка, ласково спросил:

– Как твоя фамилия?

– Петя Катажок, – несмело ответил я.

– А, помню, ты записан, но почему же ты так долго не являлся в школу?

– У меня чобит не було.

– Жаль. Что же я буду делать с тобой, ведь ты отставать будешь.

– Не знаю, – со слезами на глазах ответил я, боясь, как бы учитель не отказал мне в посещении школы.

– А ты читать умеешь?

Я смутился, не зная, что ответить. Но, вспомнив, что я уже знал наизусть много стихотворений, которые выучил при помощи брата, ответил:

– Умию.

– А ну-ка прочти вот здесь, – сказал учитель, показывая пальцем в раскрытую книгу.

Я взял книгу, и, водя глазами по строчкам, без запинки начал читать наизусть стихотворение «Поздняя осень, грачи улетели…»

– А почитай еще здесь, – сказал учитель, перевертывая страницу.

Я вновь начал читать наизусть: «В небе хищный ястреб высоко летал, удалого сокола там он повстречал…»

– Хорошо, тогда почитай еще вот здесь, – еле сдерживая улыбку, повторил учитель.

Я начал: «Над Невою резво вьются флаги пестрые судов…».

– Молодчина, – ласково похвалил учитель, – все-таки старайся знать не только наизусть, но и уметь читать по книге.

На большой перемене ученики начали завтракать. Кто ел хлеб с салом, кто с колбасой, кто с маслом, а кто пироги с творогом. Я тоже хотел кушать, но стыдился вынуть из кармана свою краюху черного хлеба.

– А ты чого не снидаешь? – спросил меня Гриша.

– Мыни не хочется, – ответил я.

– Бреше, – вмешался Макар, рослый парень, – вин ів бы, да ничого, бо его іду батько пропыв.

Я вспыхнул, хотел было уже вступить в драку за честь отца, но вспомнил, что я нахожусь в школе, отложил свое решение для более удобного случая.

К концу занятий учитель подошел ко мне и с прежней улыбкой спросил:

– Хочешь пойти со мной ко мне на квартиру?

– Хочу, – смутившись, отозвался я.

– Тогда идем.

После этого учитель надел шубу, взял меня за руку и, к зависти всего класса, повел к себе. Вскоре мы подошли к большой крестьянской избе. Войдя в сени, учитель подержал руку над трубой небольшого медного самовара и сказал: «Отлично, готов, пойдем». На пороге нас встретила молоденькая женщина в белом платье с удивительно красивыми синими глазами. Учитель поцеловался с ней.

– Вот, Наташа, я привел тебе настоящего феномена: он, не зная ни одной буквы, читал мне книгу.

– А ну-ка почитай-ка и мне, – с милой улыбкой обратилась ко мне жена учителя, давая небольшую книгу в сиреневом переплете.

Я развернул ее и начал с выражением, бойко, наизусть читать: «Както раз пред толпою соплеменных гор…» Жена учителя, открыв свой маленький ротик, слушала, не спуская с меня глаз, а когда я закончил свой репертуар, она заключила меня в объятия и начала порывисто целовать в щеки, глаза, губы.

– Митя, милый, – говорила она, – ты только подумай, он и книгу-то держал вверх ногами, все наизусть читал.

– Я же тебе говорил.

– Как же ты научился читать? – спросила меня учительша.

– А так, брат учыв, и я выучив.

– Молодец. В гимназию определить бы его!

– К сожалению, у него родители очень бедные, видишь, какие на нем сапоги, – пояснил учитель.

После этого учитель принес самовар, и тут я впервые попробовал на-

стоящего чая со сладким печеньем… Дома я рассказывал о своем посещении квартиры учителя, не забыв также сообщить, что он называл меня «хвеноменом».Значение последнего слова всех нас так заинтересовало, что отец вынужден был пойти к учителю за разъяснением. К сожалению, кроме родителей, я похвастался этим словом среди товарищей, за что и получил от них кличку «хвеномен».

Впервые опубликовано и печатается по:
Даниленко Ф.Ф. Оторванный (Записки Пети Катажка). Харбин, 1930. С. 5-15.

Фаина Леонидовна
ДМИТРИЕВА
(1917–1990)

Поэтесса Фаина Дмитриева (в замужестве Кононова) родилась 10 мая 1917 г. в городе Харбине в семье сотрудника российского генерального консульства. Росла на Восточной линии КВЖД – в Ханьдаохэцзы, где и окончила гимназию. Работала делопроизодителем. Участница литературно-художественного кружка им. поэта К.Р. Публиковалась в журналах «Рубеж», «Прибой» и др. Автор сборника стихов «Цветы в конверте» (1940). Писала также прозу. В 1954 г. вернулась в СССР, жила в Свердловске (Екатеринбурге). Скончалась 20 декабря 1990 г. после продолжительной болезни.

Ист. и лит.:
Дело Ф.Л. Дмитриевой // ГАХК. Ф. 830. Оп. 3. Ед. хр. 13126.
Таскина Е. Памяти Фаины Дмитриевой // Харбин. 1991. № 1 (апрель). С. 7.
Таскина Е.П. Поэты русского Харбина // Проблемы Дальнего Востока. 1989. № 4. С. 120-121.

ЦАЙ-ШИН – ДОБРЫЙ БОГ

Тропинка круто заворачивало налево, и сразу за поворотом перед Верой открылась площадка, утрамбованная песком. Две невысоких ступени и за ними дорожка, выложенная белым горным камнем, вели к высоким воротам с красными круглыми столбами. За воротами под черепичной крышей дремал монастырь.

Вера была в этом монастыре последний раз лет семь тому назад, в год окончания гимназии. Тогда с нею были Раиса и Вадим – «неразлучное трио», как в то лето называли их дачники. Какое чудесное было это лето, освещенное ярким солнцем, юностью и их хорошей, крепкой дружбой!

Вера поднялась по ступенькам, направляясь по белой дорожке к воротам храма. Появившийся бесшумно китайский монах прервал ее воспоминания.

Низко склонившись в церемонном поклоне, монах жестом пригласил ее войти, и, когда Вера вошла за ворота, он выпрямился с любезной улыбкой на бледно-желтом, бесстрастном, еще нестаром лице. Молодая женщина, ответив ему легким кивком головы и такой же легкой улыбкой, направилась прямо к главному корпусу храма.

Во дворе монастыря было так тихо, что казалось – кроме нее и монаха, никого не было. Безмолвие нарушали только ее шаги. Монах ступал совершенно бесшумно в мягких туфлях, заложив руки в широкие, свисавшие рукава и слегка подметая землю складками своей длинной одежды.

Через открытые двери Вера вошла в храм. Во всю длину большой продолговатой комнаты тянулся узкий лакированный стол, прислоненный к стене, на которой в один ряд висели изображения богов с темными и светлыми лицами. Выражения этих лиц были настолько характерны, что без труда можно было сказать, какой бог носил название «бога гнева» и какой был «богом добра». Посреди стола стояла медная статуэтка Будды, перед которой курились тонкие свечки. Струйки пряного дыма расплывались по комнате.

Здесь, как и во всем монастыре, царила тишина. Было прохладно. Вера немного постояла, рассматривая изображения богов и вспоминая их имена. Вот этот, с искаженным лицом, большими глазами и торчащими вверх усами, – это Чжан-фый, один из трех богов войны. Красное лицо его внушало ужас.

«Если ему молятся, то не потому, что его любят, а потому, что боятся», – промелькнула у Веры мысль.

Рядом висел другой, с более светлым лицом и коварной улыбкой на полных губах. Вера напрягла память. Это – Лю-бый, советник и главный руководитель в военных делах. Есть еще третий бог войны, Гуан-гун, брат Чжан-фыя, но он, как наиболее уважаемый, находится в отдельном маленьком павильоне. Вера решила пройти и туда. Безмолвной тенью за ней последовал монах.

Единственная комната павильона была совсем крошечной. Во всю ее высоту, от пола до потолка, стояли рядом фигуры двух богов из раскрашенного дерева. Первым от входа стоял знаменитый Гуан-гун, уважаемый бог войны, с красным мужественным лицом, с горящими глазами. Он не внушал такого ужаса, как его брат Чжан-фый, но все же – «и ему молятся из страха», – опять подумала она.

Вера повернулась к другому богу. Совершенно белое плоское лицо с узкими глазами улыбалось.

«Цай-шин, бог денег, добрый бог» – вспомнила Вера пояснения старого монаха в их последнее посещение монастыря. Взгляд ее скользнул вниз и удивленно замер, – на тонком красном шнурке, обернутом вокруг ладони бога, висела небольшая серебряная монетка с двуглавым орлом. Русская монетка в пятнадцать копеек. Царские деньги! Как странно было видеть ее висящей на руке смеющегося Цай-шина. Сразу вспыхнула мысль:

«Боже мой, да ведь это монетка Раисы! Ее дар богу денег!»

Волной нахлынувшие воспоминания опять перенесли Веру на семь лет назад, к тому яркому солнечному дню, когда она в последний раз была

здесь со своими друзьями – Раисой и Вадимом.

* * *

В то утро на пляж отправились раньше обычного. Отделившийся немного в сторону Вадим издал победный клич, и девушки бросились к нему. Он стоял у края дороги и показывал на видневшуюся в траве тропинку, ведшую в гору.

– Хотел бы я знать, в какую сказочную страну ведет эта дорога? – спросил он.

– Если хотите, мы можем пойти туда, – предложила Вера. – Немного дальше, за поворотом, будет китайский монастырь. Ты когда-нибудь была там, Раиса?

– Нет, и с удовольствием пойду. Времени у нас достаточно.

Они стали подниматься в гору и через пятнадцать минут пришли в монастырь. Их встретил старый добродушный монах, сразу заговоривший на ломаном русском языке. Он с видимым удовольствием показывал им монастырь, называл богов и объяснял значение их имен.

Когда пришли в павильон с двумя богами, возвышавшимися до потолка, монах рассказал вначале о Гуан-гуне, а потом повернулся к другому богу. Его лицо расплылось в улыбке, глаза зажмурились, и он проговорил:

– Цай-шин, бог денег, добрый бог!

И, посмотрев по очереди в лица троих друзей, продолжал:

– Его шибко любит, когда его мало-мало подарки давай. Его потом назади много денег давай.

Раиса живо повернулась к Вадиму.

– Есть у вас копеечки? Дайте мне, пожалуйста.

Вадим торопливо зашарил по карманам, потом вывернул их и молча развел руками.

– Фу, какой вы несносный! – протянула Раиса, чуть не плача, и беспомощно оглянулась кругом.

Вадим был явно смущен.

– Нужно было мне находить дорогу к этому монастырю, чтобы перед лицом двух древних китайских богов получить такое страшное оскорбление, – проворчал он.

Раиса отмахнулась от него. На тонкой руке звякнул браслет из серебряных монеток. Девушка снова подняла руку и радостно вскрикнула. Две монетки свешивались с браслета на тонкой серебряной цепочке. Раиса попыталась оторвать одну из них. Потом нетерпеливо протянула руку с

браслетом Вадиму. Он потянул монетку и оторвал вместе с цепочкой. Раиса схватила ее и, повернувшись к монаху, передала ее.

– Пожалуйста, это вашему богу, – она указала на фигуру Цай-шина.

Затем встала напротив него, сложила ладонями руки и закрыла глаза.

Вера удивленно оглядела всех. Ласково улыбался старый монах, держа в руках серебряную монетку с двуглавым орлом. Вадим стоял рядом с Раисой и, скосив глаза в ее сторону, смотрел на нее, слегка наклонив голову, чтобы видеть ее лицо. Легкая улыбка дрожала на его губах.

А Раиса молилась. Молилась языческому богу с такой страстной верой, что ее подруге стало как-то не по себе. Все безмолвно ждали, когда Раиса кончит. Было тихо.

Странную картину представляла группа находившихся в китайском павильоне. И самой странной была, конечно, тонкая фигура замершей в молитве у ног языческого бога девушки с золотыми волосами, с длинными опущенными ресницами, трепетавшими на золотистых от загара щеках.

«А красиво! – невольно промелькнула мысль Веры. – Это похоже на прелюдию к танцу Мата-Хари у статуи языческого бога».

Наконец, Раиса открыла глаза, обвела присутствующих затуманившимся взглядом и молча пошла из павильона. Все последовали за нею. Раиса, не оглядываясь, быстро прошла за ворота и исчезла за поворотом тропинки. Было слышно, как под ее ногами скатывались с горы мелкие камешки.

Монах сказал, указывая ей вслед:

– Хороший девушка! Цай-шин, добрый бог, его много-много деньги давай потом…

Вера и Вадим, поспешно распрощавшись с монахом, последовали за Раисой. Они догнали ее уже внизу горы. Молча дошли до пляжа.

Раиса, еще на ходу, стянула через голову платье и закинула его в кусты. Оставшись в зеленом купальном костюме, она бросилась на песок, потянулась стройным загорелым телом и, закинув за голову руки, закрыла глаза.

Вера села рядом, прислонившись к дереву, а Вадим устроился у ее ног.

Несколько минут стояла тишина. Вера первая прервала молчание.

– А я не знала, Раиса, что ты мечтаешь о богатстве. Неужели, по-твоему, все счастье в деньгах?

Раиса взмахнула ресницами. Ярко сверкнули зеленые глаза.

– Не все ли равно, в чем счастье? – лениво проговорила она. – Все на

свете относительно, а счастье тем более. У каждого свое, и каждому свое.

– А ты не боишься, что твоя просьба, обращенная к этому Цай-шину, будет исполнена? – спросила Вера.

– Боюсь? – удивленно переспросила Раиса. – Зачем же мне было просить, если бы я боялась исполнения желания?

– А я вот этого боюсь, – сказала Вера. – Боюсь, что твое богатство, если ты будешь его иметь, не принесет тебе счастья. Ты ведь сама не знаешь, в чем счастье. И, во всяком случае, можешь быть уверена, счастье – не в деньгах.

Раиса лениво потянулась:

– Ну, если я сама буду несчастной, то, по крайней мере, своими деньгами смогу кому-нибудь помочь, сделаю его счастливым и, таким образом, буду удовлетворена.

– Фу-ты ну-ты, какие они умницы! – поднял вдруг голову Вадим. Он сел и смеющимися глазами оглядел подруг.

– Вот, что называется, не убивши медведя, делить его шкуру. Так вам деньги с неба сейчас и посыпятся. Держите сумочки пошире!

Девушки рассмеялись. Напряженная атмосфера была рассеяна. Вадим продолжал шутить.

– Итак, сеньорита Раиса, вы мечтаете о богатстве и думаете сделать счастливыми каких-нибудь несчастных, вроде меня. А пока что ваш покорный слуга стал еще несчастнее, чем был. Подумать только, никаких шансов покорить ваше сердце своей блестящей наружностью у меня не осталось, так как даже копейки не шевелится в обширных карманах моих единственных старых брюк. Жизнь моя разбита! Покорно уступаю дорогу обольстительному, шикарному Уманскому, который сможет дать вам рай на земле, а сам иду топиться. Прощайте, коварная! Прощай, Верочка!

Он комично помахал рукой и, широко шагая, направился к реке.

Вера взглянула на порозовевшую Раису.

«А Вадим, кажется, угадал, – подумала она. – Рая неравнодушна к Уманскому».

Уманский был видной фигурой на дачном горизонте. Еще нестарый, красивый, свободно распоряжавшийся деньгами, он был постоянным спутником друзей на их вечерних прогулках.

«Они будут красивой парой», – подумала Вера, глядя на подругу.

Вернувшийся Вадим прервал ее мысли.

– Пойдем купаться, Верочка. И это чудо заморское, – указал он на Раису, – также может идти с нами. Купаться ей не запрещается, потому все

жить «хочут». И к тому же я уже не сержусь.

Раиса также встала и пошла за ними. Они долго барахтались в воде. Потом Вера и Вадим сели на прибрежном песке, а Раиса уплыла к другому берегу.

Неожиданно Вадим серьезно обратился к Вере.

– Хотел бы я знать, в чем ты думаешь найти свое счастье, Верочка. Мы с детства дружим с тобой, я знаю все твои тайны, но ты никогда не делилась со мной своими мечтами о будущем.

– Видишь ли, Вадим, – сказала Вера. – Я ужасно старомодна. Как жаль, что мы живем в такое время, когда все неустойчиво и у нас не может быть такой простой, патриархальной жизни, какая была у наших бабушек. Ты помнишь, у меня в комнате висит картина Поленова «Бабушкин сад». Это моя любимая картина. Я ужасно хотела бы быть вот такой бабушкой с той разницей, чтобы в моем саду бегал целый выводок маленьких, толстеньких карапузиков – моих внучат, а я бы варила варенье, массу варенья, и давала бы им лакомиться пенками от него. Вот эта идиллия и является моей мечтой о счастье. Не правда ли, как просто?

– Гм… – промычал Вадим. – По-моему, чересчур даже сложно. Прежде чем сделаться бабушкой с выводком внучат и пенками от варенья для них, необходимо быть матерью и воспитать прежде своих карапузиков. Не так ли?

– Ну да, – кивнула головой Вера. – Я ничего не имела бы против целой дюжины ребят. Подумай, как интересно уже одно – придумывать для них имена. А потом следить за их ростом, главным образом, духовным. Ведь каждый будет иметь совсем особенный от других характер. Это такая интересная книга без конца. Книга жизни.

– Ну, конечно, – согласился Вадим. – Во всяком случае, желаю тебе, Верочка, поскорее выйти замуж и иметь хоть и не двенадцать, но одного-двух детишек. А о том, чтобы стать бабушкой, пока не стоит думать. Успеется. Ну а я буду приходить к тебе в гости и возить на спине сначала твоих ребят, а потом и внуков, и продолжать любить и боготворить тебя всю жизнь.

– Ну, хватит, – отмахнулась Вера. – Если уж на то пошло, то изволь выкладывать, каково твое представление о счастье.

– У меня совсем неосуществимая мечта. Я бы хотел стать хирургом. Удрать бы как-нибудь в Германию.

– По-моему, вам следовало бы пойти на юридический факультет, – сказала подошедшая и слышавшая конец их разговора Раиса. – Уж очень

хорошо у вас язык подвешен.

– Сеньорита Раиса, пожалуйста, не язвите, – пробурчал Вадим. – А не то я скажу Уманскому, что вы вошли в контакт с языческим богом, чтобы покорить его сердце.

Раиса снова порозовела. Задорно сверкнули глаза.

– Верочка, помоги мне набить этого противного болтуна, – попросила она подругу, грозно наступая на Вадима.

* * *

Вера не отдавала себе отчета, сколько времени она стояла перед изображением Цай-шина, погрузившись в воспоминания. Наконец, она очнулась и взглянула на монаха. Глаза их встретились. Неожиданно он заговорил совершенно чисто и правильно по-русски:

– Вы удивлены, что увидели русские деньги в руках нашего бога. Это одна ваша девушка принесла их в дар ему несколько лет назад. И она здесь очень хорошо молилась. Цай-шин, добрый бог, конечно, исполнил ее молитву, и эта русская девушка теперь должна быть богатой.

– Да, вы правы, – ответила Вера. – Эта девушка – моя подруга. И у нее сейчас много денег, так много, что она не знает, куда их девать.

Узкие глаза монаха блеснули.

– Я рад услышать это. Теперь мы сможем рассказывать всем посетителям, что Цай-шин услышал просьбу русской девушки с золотыми волосами за то, что она принесла ему в дар монету. Это очень хорошая монета. На ней знак вашего царя.

Вера утвердительно кивнула головой. Она снова взглянула на полное улыбающееся лицо Цай-шина. Как странно, однако, что исполнилось все, о чем они мечтали в тот яркий, солнечный день. Должно быть, в счастливую минуту высказали они свои желания.

Раиса вышла замуж за Уманского осенью того же года. Он оказался более богатым, чем можно было думать, и создал для жены настоящий рай, как шутливо пожелал ей в тот день Вадим. Но была ли Раиса счастлива в своем сказочном богатом доме, Вера так и не могла сказать. Раиса с ее узкими зелеными глазами была загадкой для нее. Скрытная и холодная и раньше, она после замужества еще более замкнулась в себе, и за ее очаровательной улыбкой никто не мог прочесть правды – скрывались ли за ней слезы или неподдельное счастье.

Но замужество Раисы непосредственно отразилось на судьбе ее друзей. Вадим уехал в Германию и учился в университете на хирурга. Раиса

делала счастливыми других своими деньгами. Уманский оплатил Вадиму дорогу до Германии, дав ему адрес своего брата в Берлине, имевшего там свое дело. Вадим учился в университете, одновременно работая у брата Уманского, копил деньги для уплаты в университет и для отдачи своего долга за проезд в Германию и писал Вере восторженные письма.

– Вот никогда не думал, что у заморского чуда может быть настоящее русское сердце, – как-то однажды обмолвился он. – Во всяком случае, этому чуду я благодарен так же, как и добренькому Цай-шину, если он имеет к этому какое-либо отношение. И вообще, все на свете чудесно, даже без всяких чудес, – закончил он.

«Что-то с ним теперь? – подумала Вера. – И так же ли он верит чудесному в жизни, как верил еще недавно?»

Наступившая в Европе война отрезала друг от друга надолго, быть может, навсегда. Замужество Раисы имело влияние и на судьбу Веры. На ее свадьбе она познакомилась с Игорем. Он был ее шафером. Завязалась дружба, вскоре перешедшая в любовь. Игорь стал ее мужем. Вера была счастлива, как может быть счастлива любящая жена и мать.

Молодая женщина вспомнила о муже, которого она оставила у реки смотреть за спавшей в тени кустов Оленькой с тем, чтобы он пришел за ней, когда проснется девочка. Она решила пойти встречать его и, сопровождаемая монахом, вышла во двор монастыря.

От ворот навстречу, по белой дорожке из горного камня, бежала маленькая кудрявая девочка.

– Мамик, – раздался радостный тонкий голосок, и с протянутыми руками Оленька бросилась к матери.

Вера подняла ее на руки.

– Как выспались мои глазенки? – нежно спросила она.

– Отлично, – ответил подходивший Игорь, с любопытством осматриваясь кругом.

Вера обернулась к монаху.

– Моя подруга очень, очень богатая, – сказала она. – Но я богаче ее. У меня есть вот это, – и она показала ему Оленьку.

Монах понимающе закивал головой.

– Да, правда. Это тоже большое богатство. Это больше денег, – согласился он.

Игорь, бегло осмотрев главный храм, прошел в павильон. Вера с Оленькой на руках подошла ко входу и остановилась в дверях.

– Верочка, смотри: царская серебряная монетка. Что это значит? –

удивленно спросил он.

– Я тебе все объясню потом. Осматривай все скорее, и пойдем. Я и так долго задержалась здесь.

Вера посмотрела на монаха. Он низко поклонился.

– Ничего, не беспокойтесь. Я рад встретить вас. Вы мне рассказали о девушке, которая молилась здесь. Я очень рад.

Игорь, бегло осмотрев все, посмотрел на них. Вера сделала ему знак, и они, попрощавшись, пошли к выходу.

Бесшумно проводил их до ворот монах и долго смотрел им вслед узкими черными глазами, в которых дремала мудрость. Он подумал о том, что еще много раз будут приходить посетители и расспрашивать о русской царской монетке, висящей на руке их бога Цай-шина.

Пройдет время. Умрет он и те, кто живет здесь с ним. Рассказ о русской девушке превратится в легенду, но будет жить всегда, пока будет существовать этот монастырь.

И еще много-много времени, может быть, целую вечность, будет улыбаться их бог денег, добрый бог со светлым лицом, Цай-шин, держа на вытянутой ладони серебряную монетку со знаком русского царя, которую принесла ему в дар девушка с золотыми волосами.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1943. № 3. С. 4-8, 10.

ВСЕ-ТАКИ МОЯ

1

Когда после закрытия магазина Лидия вышла на улицу, уже освещенную фонарями, у нее было только одно желание – как можно скорей добраться до дома и отдохнуть. Одно представление о домашней обстановке, одно воспоминание о детских родных личиках и о ласковом спокойном взгляде мужа вызвало невольную улыбку на ее губах. Она плотнее затянула широкий пояс своего пальто, глубоко засунула руки в карманы и торопливо пошла к набережной.

Улица жила своей обычной вечерней жизнью. Проносились автомобили, бежали разносчики вечерних газет, бесконечной вереницей проходили мимо, обгоняя и сталкиваясь, люди.

Внезапно этот поток машин и людей оборвался. Пересекая главную улицу, уходила в обе стороны тихая улочка, темнея в правом своем конце

густыми деревьями городского парка. Сразу за ней стало темней и тише. Реже светили фонари, еще реже попадались прохожие. Лидия прибавила шаг. Чаще застучали каблучки ее туфель, гулко отдаваясь в тишине улицы.

До набережной оставалось несколько кварталов и, так как прохожих совершенно не было, Лидия торопилась как можно скорей пройти слабо освещенное пространство. Впереди длинной цепью тянулись матовые фонари набережной. Уже чувствовалось влажное дыхание реки, которое приносил с собой дувший резкими порывами ветер.

Внезапно впереди, в свете фонаря, в нескольких шагах от Лидии, выросла фигура человека, медленно шедшего с ней в одном направлении. В неторопливой плавности походки, в широко раскинутых плечах, во всей элегантной фигуре мужчины Лидии показалось нечто неуловимо знакомое, полузабытое и волнующее. Мужчина шагнул за черту освещенного фонарем круга и как бы растворился в темноте, но, когда Лидия также прошла фонарь и сделала несколько шагов, она невольно на мгновение остановилась.

Всего в пяти шагах от нее она увидела стоявшего вполоборота к ней человека. Тревожно упало сердце, но Лидия тотчас же успокоилась. Мужчина закуривал папиросу, слегка склонив голову над поднятыми на уровне лица руками. Порывистый ветер моментально гасил слабый огонек. Лидия двинулась дальше. Мужчина снова зажег спичку и, быстро подняв ее к лицу, резко повернулся спиной к набережной, спасая огонь от нового порыва ветра. Спичка ярко вспыхнула и сразу зажгла конец папиросы, затлевший ярким рубиновым зрачком.

Лидия еще раз остановилась. И еще тревожнее, чем первый раз, забилось сердце. В свете вспыхнувшей на одно короткое мгновение спички рельефно выступили из темноты знакомые до боли черты. Смелый разлет густых бровей, видных даже в тени, падающей от широких полей шляпы; тонкий красивый нос с глубокими черточками, идущими от него к уголкам рта; резко очерченный суровый рот и властный подбородок – все давно ушедшее, давно, казалось, забытое… давно, так давно любимое.

Мужчина поднял голову и напряженно всмотрелся в неподвижно стоявшую перед ним Лидию. Она вышла из своего оцепенения и медленно двинулась вперед, с трудом передвигая сразу отяжелевшими ногами. Стук каблуков был робок и неровен. В голове не было никаких мыслей. Необъяснимое чувство растерянности охватило все ее существо. Она не знала, что ей делать, – остановиться ли, вернуться ли или идти вперед, все вперед, чтобы уйти совсем, чтобы опять надолго потерять его, потерять, быть

может, навсегда. Пока машинально она шла вперед. За спиной не слышно было других шагов. Мужчина продолжал стоять на месте.

И, когда, наконец, Лидия решила прибавить шаг с твердым намерением уйти совсем, в напряженную тишину улицы явственно упало ее имя… имя, которым когда-то давно, так давно, называл ее этот человек; имя, которое она слышала только от него и которым после него ее никто не называл. Ей показалось, что она ослышалась.

Быть может, желание услышать это имя вызвало галлюцинацию слуха. Быть может, ветер принес его на своих крыльях… Быть может… Но сзади уже слышались шаги, и снова толос, знакомый, с прежними нежными нотками в нем, произнес ее имя: «Лиля!»

Лидия остановилась, не оглядываясь. Шаги приближались. Еще секунда, другая, и Лидия почувствовала знакомое прикосновение когда-то так любимых рук к своим плечам. Эти руки медленно повернули ее, и она оказалась лицом к лицу с человеком, с которым так неожиданно резко порвала восемь лет тому назад, со своим бывшим женихом Виктором Горским.

Она стояла молча, чувствуя, что окончательно теряется под его пристальным взглядом, не зная, что сделать, что сказать.

Заговорил он – быстро, порывисто, торопясь высказать то, что накопилось за столько лет, как бы боясь, что ветер подхватит и унесет стоявшую перед ним тонкую фигуру, что темнота снова спрячет нежные черты лица с печальными глазами.

– Лиля, как неожиданно, как странно! В первый же день моего приезда, в первый же вечер – ты. Ведь я не знал, где тебя искать. Не знал, где ты, – здесь или уехала куда-нибудь. Но даже если бы и знал, пожалуй, не искал бы тебя, – он горько улыбнулся. – Нет, не искал бы… не смел бы, не зная, что заставило тебя поступить так зло со мной. Но теперь я тебя встретил. Боже, как странно! Этот вечер, эта темнота… поднимаю голову – ты стоишь, смотришь. Я сразу же узнал тебя, но от неожиданности и волнения не мог сразу заговорить, окликнуть, когда ты стала уходить. Неужели ты могла бы уйти от меня так, без слов? Ведь ты узнала меня. Неужели тебе нечего сказать мне? Неужели я для тебя стал совсем чужим? Ведь я не знаю до сих пор, почему ты – такая нежная, такая любящая – стала злой и жестокой? Почему? Скажи же, скажи, наконец!

Он не замечал, что его руки крепко впились в хрупкие плечи женщины, не замечал, что он иногда грубо встряхивал ее, что ее глаза делались все испуганнее и наполнились слезами.

– Виктор, – наконец проговорила Лидия, с трудом найдя возможность вставить слово в тот бессвязный поток слов, который он обрушил на нее. – Виктор, подожди. Не тряси же меня так. Мне больно!

Он опомнился, выпустил ее плечи:

– Прости, я не заметил. Я – сумасшедший совсем.

Она улыбнулась нежной, печальной улыбкой:

– Да, сумасшедший, действительно. Разве можно в одну минуту столько наговорить, задать столько вопросов? – она снова улыбнулась. – Ты даже не поздоровался со мной. Я раньше не замечала, что ты можешь быть невежливым.

Он удивленно взглянул на нее. Хотел тоже улыбнуться, но улыбка не вышла. Только судорожно вздрогнул и снова горько замкнулся рот.

– Как ты спокойна, – уже медленно проговорил он. – Как ты спокойна… И ты можешь быть спокойной, столько лет не видев меня? И ты могла уйти, если бы я не позвал, не остановил тебя? – опять задал он, по-видимому, мучивший его вопрос.

Лидия мягким движением протянула руку и прикоснулась к его плечу:

– Подожди, Виктор, успокойся. Сейчас невозможно все объяснить в одну минуту. И не место здесь для этого. Хочешь, встретимся завтра. В час у меня перерыв на службе. Мы поговорим обо всем. А сейчас я тороплюсь домой. Меня ждут.

Виктор опять горько улыбнулся:

– Прости еще раз. Я и забыл, что тебя могут ждать.

– Меня ждет лодочник, прежде всего, – сказала Лидия. – Ведь я живу по ту сторону реки. Поэтому и тороплюсь. Пока мы переправимся, будет уже совсем темно.

– Ах, вот что! Почему ты в такую глушь забралась? И служишь? Почему?

– Завтра, завтра все узнаешь, а пока до свиданья. Не провожай меня. Я быстрее одна добегу до набережной. Встретишь меня завтра на углу у парка.

И быстро пожав руку Виктора, Лидия почти бегом направилась к набережной.

Он стоял и смотрел ей вслед еще долго после того, как очертания ее стройной фигуры исчезли в темноте, пока были слышны ее торопливые уходящие шаги.

2

Лидия ушла от Виктора и потому, что она действительно торопилась, и потому, что ей надо было собраться с мыслями, привести в порядок свои расстроенные чувства, опомниться от растерянности.

Сидя в лодке, которой правил старик Максимов, их сосед, приезжавший за нею каждый вечер и отвозивший ее утром на службу, Лидия против обыкновения не разговаривала с ним, не расспрашивала о доме, а молча сидела на корме лодки.

Мерно скрипели весла в уключинах, журчала вода, плескалась о бока лодки. Мысли Лидии постепенно пришли в порядок, как разрозненные страницы книги, терпеливо собранные в одно целое. Лидия закрыла глаза, и, по ее желанию, книга воспоминаний открылась на нужной ей главе жизни.

Это было так давно и так недавно. Виктор Горский, молодой, многообещающий инженер, уезжал на службу в большой приморский город. Они расставались на год. Срок большой, но они верили, что их любовь выдержит испытание долгой разлуки. Через год Горский должен был приехать. Должна быть свадьба, после которой Лидия уезжала с ним к новой, счастливой жизни. Но этого не случилось. Прошел год. Горский не приехал к назначенному сроку. Ему не дали отпуска. Приезд его откладывался на два месяца, а за это время случилось нечто, изменившее все в их жизни. Лидия получила письмо. Узкий сиреневый конверт. Неровные, короткие строчки, набросанные нервным женским почерком. Бессвязные слова. Казалось, чья-то холодная рука крепко-крепко сжала сердце и больше не выпускала. От этого прикосновения сердце Лидии закаменело, замерзло, превратилось в льдинку. Она не стала разбираться, что было правдой в этом письме. Не стала писать. Не стала требовать объяснения.

Через неделю, когда Владимир Александрович Ольшевский, с которым она всего три месяца как познакомилась на весеннем балу, сделал ей предложение, она ответила ему согласием, причем лицо ее было так же спокойно, как и ее слова, глаза холодны, а губы не ответили на его поцелуй.

– Вы – настоящая русалка, – сказал ей Ольшевский. – Когда я увидел вас впервые на балу в кружевном зеленом платье, когда пожал при знакомстве вашу тонкую руку, взглянул в ваши глаза и утонул в их прозрачной глубине, я почувствовал, что от всего вашего существа веет холодком. И тогда же подумал о вас: «Русалка, прелестная, холодная, замкнутая и чужая». Но чужой вы не остались для меня. Русалочка стала бесконечно любимой.

Правда, по-прежнему холодной, но я думаю, что ненадолго. Под лучами моей любви, я надеюсь, ваше сердце потеплеет.

Лидия слегка улыбнулась и неожиданно и для него, и для себя попросила:

– Нельзя ли нам повенчаться скорее, Владимир Александрович? Может быть, можно через две недели?

Свадьба состоялась через две недели, а накануне Лидия последний раз написала адрес Виктора Горского на конверте. В конверте был запечатан квадратный кусок бристольского картона с золотым обрезом, на котором золотыми же буквами, казавшимися Лидии черными, как буквы траурного объявления, было напечатано извещение об ее бракосочетании с Владимиром Александровичем Ольшевским.

Когда Лидия бросила конверт в почтовый ящик, ей показалось, что холодный камень, который был в ее груди вместо сердца, оборвался, и в груди не осталось ничего. Там была томительная холодная пустота, от которой было мучительно тяжело.

А еще через неделю эта пустота сменилась острой болью, когда Лидия получила новое письмо в сиреневом конверте. Тот же почерк, те же короткие строчки с бессвязными словами, в которых Лидия с трудом разобрала мольбу о прощении, просьбу забыть предыдущее письмо, в котором не было ни слова правды, которое было написано в отчаянии, оттого, что «неожиданно узнала, что Виктор Горский, любимый, обожаемый, о котором столько мечталось, чью холодную неприступность надеялась сломать своим сильным чувством – только для этого нужно было время, – оказался женихом, стремился к своей невесте, для него никого не существовало. Узнала адрес… написала письмо, а потом…». Письмо кончалось просьбой ничего не говорить Виктору. «Пусть он навсегда сохранит обо мне хорошее воспоминание, как о дружелюбно настроенной к нему сослуживице, пусть никогда не узнает о моей любви к нему и о том, что эта любовь чуть не разбила его счастье, что я чуть не стала его врагом. Желаю вам счастья, как может желать этого счастья та, которая мечтала о нем. Еще раз простите. Теперь я снова смогу жить как нормальный человек, а до этого сознание, что я совершила нечто ужасное, не давало мне покоя».

Письмо опоздало. Лидия с трудом дочитала его. Чувство бесконечного отчаяния охватило все ее существо. Она не помнила, сколько времени просидела неподвижно с опущенной головой, держа в похолодевших руках письмо. Только когда в соседней комнате раздались шаги, она подняла голову и удивленно осмотрелась кругом, как бы не узнавая окружающую

обстановку.

Раздался стук в дверь. Вошел Владимир Александрович. Лидия поднялась ему навстречу. Встретив его полный нежности взгляд, заставила себя улыбнуться. Сознание неисправимости дало ей силы для этого. Она понимала, что, несмотря ни на что, нужно молчать, нужно жить, нужно улыбаться.

Время проходило, а Лидии казалось, что его не существует. Только через два года боль в ее душе заменилась тихой радостью, когда спустя три месяца после рождения дочери она, наклонившись над ее колыбелькой, увидела открытые ей навстречу огромные синие солнышки детских глаз. Что-то вздрогнуло внутри нее. Там, где была пустота,снова забилось сердце, полное материнской любви.

Лидия впервые за долгое время смогла заплакать. И с каждой слезой уходила боль. С каждой слезой чувство умиленной радости входило в сердце.

Владимир Александрович, нежно и благоговейно любивший жену, первый заметил в ней перемену. Холодная, замкнутая русалка наконец превратилась в нежную, любящую женщину и мать. Рождение сына принесло новую радость в их семью.

И вдруг случилось несчастье. Нарыв на пальце, неудачная операция, заражение, и Владимиру Александровичу ампутировали кисть правой руки. Потеря обеспеченной службы, неудачные поиски какой-либо новой, продажа ценных вещей и имущества – быстро следовали одно за другим. Переехали за реку, где была собственная дача, на которой жили круглый год, чтобы сэкономить деньги на квартирной плате. На скромное жалованье Лидии, поступившей продавщицей в галантерейный магазин, жить приходилось с трудом.

Владимир Александрович взял на себя роль хозяйки и няни своих детей. Немного подрабатывал, делая левой рукой игрушки. О том, как тяжело ему было со всем справляться, о том, какие нравственные муки он испытывал, Ольшевский никогда не говорил, никогда не жаловался. Молча переносил все, зная, что Лидии, избалованной, привыкшей к обеспеченной жизни и независимости, было еще тяжелее.

А она, забыв о прежней беззаботной жизни, боролась за настоящее, стиснув зубы, настойчиво и упорно, чтобы иметь счастье редкие минуты отдыха отдать всецело своим детям и мужу, чью душевную муку понимала своим чутким, научившимся любить и жалеть сердцем.

Время проходило размеренно и однообразно. Лидия привыкла к своей

жизни, похожей на тихое пламя, горящее спокойным, ровным огоньком. И вдруг неожиданная встреча с Горским в темный ветреный вечер, и – как от внезапного порыва ветра – заколебался, забился тревожно тихий огонек ее жизни.

3

Прошел месяц. Лидия не жила, а горела в сомнениях, в тревоге и муке. После первого же объяснения Горский стал настойчиво требовать, чтобы Лидия исправила свою ошибку, ради него бросив семью.

– Все эти годы я не жил, а мучился только потому, что стал жертвой недоразумения. Я имею право просить у тебя жертвы с твоей стороны, тем более что вижу, как тяжело тебе живется самой. Уедем со мной, Лиля. Я смогу дать тебе счастье, сумею залечить твои раны. Ты забудешь все.

О том, что Лидия любила детей, о том, что она страдала бы в разлуке с ними, он не думал. Лидия видела перед собой человека, по-прежнему полного любви к ней, но любви эгоистичной и требовательной, и это пугало и отталкивало ее. Она сама за эти годы научилась любить, жалеть и быть самоотверженной. Нанести своим уходом удар мужу, сделать его несчастным – она не могла из чувства долга и жалости. Потерять детей было выше ее сил. Сознание, что она не сможет по вечерам читать с ними молитвы, укладывая их спать, не будет видеть их сияющих наивных глаз и улыбок, с которыми они встречали ее приход, не слышать их лепета, приводило ее в отчаяние. И, тем не менее, она не переставала думать об этом, чувствовать, что это может совершиться, и мучилась в сомнениях.

Виктор любил ее. Виктор требовал жертвы, и, главное, Виктор обещал спокойную, обеспеченную жизнь, то, что, оставаясь с Ольшевским, она никогда не могла надеяться иметь.

Лидия, презирая себя, сознавала, что последнее было главным стимулом, из-за которого она могла бросить семью, разбить сердце Ольшевского, оставить детей. Прежнего чувства к Горскому не было. Оно растворилось за эти годы. Вся ее любовь обратилась на детей, принадлежала им, и эта любовь не давала ей силы уйти к Виктору. В таком смятении и раздвоении Лидия жила последнее время. Не жила, а мучилась, вся уйдя в свои переживания.

Был обеденный перерыв. Лидия медленно шла по улице мимо знакомых витрин магазинов, машинально останавливаясь у некоторых, рассматривала их без всякого внимания и шла дальше.

– Лида! – окликнул ее звонкий голос с противоположной стороны

улицы, и, оглянувшись, она увидела двоюродную сестру мужа, Зою Красинскую, стоявшую у дверей модного кафе.

Лидия медленно перешла к ней. Они поздоровались.

– Ты куда? Завтракать в молочную? – задала вопрос Зоя. – Пойдем лучше в кафе. Выпьем кофе. Я угощаю. Идет?

Она взяла Лидию под руку и потащила к дверям. В уютном розовом кафе от спущенных штор стоял мягкий полумрак. Пока Зоя заказывала кофе, Лидия усталым движением опустилась в кресло и, снимая перчатки, оглянулась кругом. Народу было мало. У окна в профиль к ней сидел Виктор Горский, и она слегка вздрогнула, как вздрагивала всегда при виде его, настолько неожиданным казалось ей его присутствие в одном городе с ней.

Они не виделись несколько дней, и когда Горский, повернув голову, встретился глазами с Лидией, его лицо осветилось лучом радости. Суровый рот дрогнул в улыбке, отразившейся в глазах. Он, слегка привстав, поклонился ей. Лидия ответила легким кивком головы и, сразу же отвернувшись, взглянула на Зою. Та, слегка прищурившись, смотрела на Горского, потом медленно перевела взгляд на Лидию. В глазах ее был молчаливый вопрос, но Лидия сделала вид, что не поняла его.

– Ну, как ты живешь? – спросила она Зою. – Все порхаешь?

Постаралась улыбнуться, но улыбка вышла деланной, и она рассердилась сама на себя. Лидия заметно нервничала, чувствуя не поворачиваясь, что Горский следит за нею. Зоя щебетала что-то о новом платье, о последней симфонии, и Лидия, с трудом слушая ее, напряженно вспоминала неожиданно пришедшее ей в голову стихотворение, недавно напечатанное в местном журнале, которое она случайно заучила. Стихотворение так подходило к настоящему моменту, было озаглавлено «В кафе», а вот автора и одну строфу из него Лидия вспомнить не могла, и это ее мучило.

– Почему же ты не пьешь кофе? – услышала она вопрос Зои и, встряхнув головой, чтобы отогнать ненужные мысли, протянула руку к дымящейся чашке.

– Как дети и Вова? – снова спросила Зоя.

Лидия совсем опомнилась:

– Ах да, Зоя! Что же это я? Ведь мне нужно было поговорить с тобой относительно ребят. Весь вопрос вот в чем: идешь ты на осенний бал?

– Это послезавтра, в субботу? Нет, ты ведь знаешь – у меня в этот день всегда маджан.

– Ну пока к тебе соберутся на маджан, дети будут уже спать и не помешают. Я хочу их забросить к тебе с утра, чтобы взять их на следующий

день.

– О Боже, какой сюрприз! Жаль только, что ты их заберешь так скоро. Погостили бы у меня недельку, если не хочешь отдать их мне совсем.

Лидия слегка нахмурилась. Зоя задела больной вопрос. Бездетная, богатая, скучающая – она давно просила Лидию отдать ей детей на воспитание, но Лидия не соглашалась. Они часто ссорились из-за этого, и сейчас, заметив, что Лидия недовольна, Зоя поспешила примирительно сказать:

– Ну не сердись, Лидок. Больше не буду. А скажи, пожалуйста, почему это ты решила меня осчастливить своими ребятами послезавтра?

Лидия грустно улыбнулась.

– Владимир пригласил меня на бал. Решил меня побаловать. Если бы ты знала, как мне не хочется ехать. Я уже отвыкла от подобных удовольствий. Но не хочется огорчать Владимира. Ему самому не мешает встряхнуться. Ведь он ничего не видит, кроме нашей лачужки и бесконечных уродливых игрушек, – голос ее дрогнул.

Зоя сочувственно смотрела на нее.

– Одеваться будешь у меня?

– Еще не знаю, – Лида взглянула на часы. – Пора идти. Я опоздаю на службу.

Они поспешно собрались. Направляясь к двери, Лидия невольно обернулась в сторону Горского и попрощалась с ним чуть заметным наклоном головы. Он проводил ее грустным взглядом. От Зои не укрылась эта немая сцена, и она вся загорелась любопытством.

– Я пройдусь с тобой до твоего магазина, – предложила она Лидии, когда они вышли из кафе.

– Если ты думаешь, что я могу пройтись, то ошибаешься, потому что мне нужно бежать. Мне осталось семь минут.

– А, ну тогда беги. Значит, до послезавтра! – и, не утерпев, Зоя спросила: – Кто этот интересный господин, что сидел у окна в кафе и пожирал тебя глазами? Не секрет?

– Это? – Лидия на минуту остановилась. – Это тот, кто, может быть, сумеет заставить меня отдать тебе моих ребят.

И, нервно засмеявшись, Лидия быстро пошла через улицу, на ходу кивнув головой Зое, оставшейся в полном недоумении от этой загадочной фразы стоять на месте.

4

После обеда в магазине было душно. Лидия чувствовала себя особенно

утомленной от неожиданного нервного взрыва после напряженного состояния в кафе. С трудом заставляла себя быть внимательной и любезной с покупателями. Кончив отмеривать очередной покупательнице ленту и складывая ее, она глазами поискала талонную книжку и снова вздрогнула, как в кафе. В дверях магазина стоял Горский. Он направился прямо к Лидии, но, заметив, что она занята, остановился у одной из внутренних витрин, сделав вид, что рассматривает выставленные в ней галстуки.

Лидия бросила в его сторону недовольный взгляд. Она просила его никогда не заходить к ней на службу, во-первых, чтобы избежать лишних толков, и, во-вторых, потому, что ей было неприятно, что он увидит ее в непривычной роли. Отпустив покупательницу, Лидия отнесла покупку в экспедицию и вернулась за прилавок. Горский тотчас же подошел к ней.

– Будьте добры показать мне перчатки, – громко сказал он и, когда Лидия разложила перед ним несколько пар, он, как бы выбирая, наклонился над ними. – Лиля, мне нужно поговорить с тобой. Могу я встретить тебя сегодня? – тихо спросил он, не поднимая головы.

Лидия молчала, не зная, что сказать. Она так устала от постоянных тяжелых сцен с Горским, так боялась их, что просила его в последнюю встречу дать ей некоторое время, чтобы отдохнуть и успокоиться.

Горский поднял голову:

– Лиля, я в воскресенье уезжаю. Может быть, это наша последняя встреча. Неужели ты откажешь?

– Хорошо, – согласилась Лидия также шепотом и громко добавила: – Значит, вам не подходят? К сожалению, больше ничего предложить не могу, – стала собирать разбросанные на прилавке перчатки. Когда она, сложив их в ящик и задвинув его на полку, обернулась, Горского в магазине уже не было.

Томительно тянулись часы. Вереницей проходили больные мысли в голове. «Скорее бы конец. Конец всему. Зачем нужна была эта встреча? Зачем ему нужно было приезжать?».

Совсем стемнело, когда Лидия и Горский встретились у ворот городского парка.

Поцеловав Лидии руку, Горский протянул ее себе под руку, и они, молча, пошли по широкой аллее, свернули в боковую и, подойдя к скамейке, на которой всегда сидели, опустились на нее.

Несколько минут продолжалось молчание. В парке было пустынно. Чуть шумели деревья высоко над головой. Еще выше над ними сверкали яркие звезды холодным осенним блеском. Сухие листья, медленно кружась

в воздухе, с чуть слышным шорохом падали вокруг.

– Итак, Лиля, – начал Горский, – в воскресенье я уезжаю. Сегодня я просил тебя встретиться со мной, чтобы окончательно решить нашу судьбу.

Он помолчал немного. Молчала и Лидия.

– Так вот, решай, – снова заговорил Горский. – Или это наша последняя встреча, или в воскресенье ты уедешь вместе со мной!

Лидия вздрогнула.

– Уехать с тобой? – не проговорила, а прошептала она от волнения. – Уехать с тобой? Боже, как ты меня мучишь! Как вы все измучили меня. И ты, и Зоя, и все… – и она неожиданно расплакалась, как маленький обиженный ребенок.

Горский растерялся. Он склонился к Лидии, взял ее руки в свои и заговорил. Требовательные нотки в голосе сразу изменились на нежные:

– Лиля, милая, прости меня. Я и не думаю мучить тебя. Если бы знала, как я сам измучился. И при чем тут какая-то Зоя? Не плачь, пожалуйста. Объясни, в чем дело?

Лидия улыбнулась сквозь слезы:

– Зоя – это та дама, с которой я была сегодня в кафе.

– Ну и что же? – удивленно спросил Горский.

– Она спросила меня о тебе, и я ответила, что ты тот человек, который сможет заставить меня отдать ей детей. Она каждый раз просит у меня их. И мучит меня всегда. И ты тоже.

Она на минуту замолчала. Потом продолжала порывисто и нервно.

– Временами мне кажется, что я тебя ненавижу, что я никогда тебя не любила, никогда не мучилась из-за тебя так, как мучаюсь сейчас, и за это ненавижу. Сегодня в кафе мне казалось, что я задохнусь, так были натянуты нервы. Все время и там, и целый день в магазине – стихотворение. Хочешь, скажу его тебе? Вот, слушай!

Лидия умела читать стихи. Вкладывать в каждое их слово значение, оттенять мысль. Так и сейчас, читая стихи, вся ушла в их певучий ритм. Над головой, как аккомпанемент к ним, шумели деревья.

Увидела знакомый резкий профиль
И, как девчонка, опустила взор.
На столике давно остыло кофе.
Я не пила ни кофе, ни ликер.

И то, что говорил мне собеседник,
Казалось мне ненужным и смешным.
Я знала лишь – за столиком соседним
Есть пара глаз, холодных и стальных.

Чужие лица проплывали мимо,
Как будто бы в тумане, в полусне.
Взяла со столика букет увядших примул,
Пробормотавши что-то о весне.

И к собеседнику прилив внезапной злобы
Почувствовала, в сердце затая.
Ведь тот, другой, прочтя во взгляде робость,
Наверно, скажет: «Все-таки моя!»

Лидия кончила. Несколько минут молчали. Горский вынул портсигар, открыл его, постучал по крышке взятой из него папиросой и, не закуривая ее, медленно проговорил:

– Все-таки моя?! Как бы я хотел иметь право и уверенность, чтобы сказать эти слова. Но у меня их нет. А ты? Ты не дашь мне это право, Лиля, когда-нибудь назвать тебя своей? – вопрос прозвучал тоскливой мольбой.

Лидия молча сидела рядом. Горский закурил. Вспыхнувший огонек спички выхватил из темноты резкие, красивые черты его лица. Лидия вспомнила встречу у набережной месяц тому назад. И вдруг внезапно решилась.

– Виктор, послушай меня. Сейчас я не могу тебе ничего сказать. Мне трудно придти сейчас к определенному решению. Нужно подумать. Два дня мы не должны встречаться совсем. В субботу вечером осенний бал. Ты будешь там, хорошо? И там узнаешь мой ответ. Не подходи ко мне, не спрашивай. Только увидишь меня и уже поймешь. Если на мне будет черное платье, значит, молча, не прощаясь, – прошу тебя об этом, – постарайся уйти с бала. Черное платье будет значить «нет». Если же я буду одета в зеленом, также не подходи, но жди меня в два часа в саду, у беседки. Я выйду к тебе, уйду с тобой, а утром ты меня увезешь. Я боюсь объяснения с мужем. Уеду так, не прощаясь. Потом напишу. Так будет лучше. Не нужно больше говорить, не нужно встречаться. Сейчас простимся, и я пойду. Не провожай меня.

Она встала со скамьи. Поднялся и Горский, отбросив в сторону папи-

росу. Лидия протянула ему руку, к которой он приник губами.

– Прощай, Виктор. Не сердись на меня, если моим ответом будет «нет». Постарайся понять меня тогда.

– Лиля! – тоскливо сорвалось с губ Горского ее имя.

– Не надо, Виктор, не надо. Мыуже решили. Не говори больше ничего!

И, подняв руки, Лидия обвила ими шею Горского и, наклонив его к себе, нежно поцеловала. Он хотел прижать ее к себе, но она отстранилась и, шепнув еще раз: «Прощай, милый», – повернулась и легкой тенью заскользила от него по аллее.

Шаги ее замолкли вдали. Горский продолжал стоять на месте. Легкий поцелуй Лидии, как дуновение ветерка, холодел на его губах.

Над головой по-прежнему шумели деревья, и холодные равнодушные звезды сияли в вышине.

5

В субботу утром Лидия по дороге на службу завезла детей к Зое. Пока шумно встретившая их Зоя душила детей в объятиях, а потом раздевала их, Лидия, не снимая пальто, стояла рядом, безучастно наблюдая за ними. Холодная тоска давила ее сердце.

«Боже, неужели конец? Неужели я их больше не увижу?».

Дети, попавшие в новую обстановку, соскучившись по всегда веселой, добродушной и ласковой Зое, были всецело заняты ею и забыли о присутствии матери. Первая обратила на нее внимание Зоя.

– Лидочка, ты что не раздеваешься? Ах да, ведь тебе на службу. Платье привезла?

– Нет, я буду одеваться дома, – медленно, как бы что-то обдумывая, ответила Лидия.

– Дома? Как же ты успеешь? И в лодке в бальном платье? Ведь неудобно же…

– Я сегодня без обеда, до трех. А с платьем ничего, надену поверх пальто дождевой плащ.

– Ну, как хочешь. Я с удовольствием бы помогла тебе одеться. Ночевать к нам?

– Ночевать? – Лидия удивленно взглянула на нее. Подумала: «Боже, какое мучение. Ведь она ничего не знает».

– Ну, чему же ты удивляешься? Кто же ночью переправит вас на ту сторону? Переночуете, погостите у меня воскресенье. Хорошо?

– Ну да, конечно, спасибо, – согласилась Лидия и, встрепенувшись, сказала: – Мне пора, опоздаю. Дети, прощайтесь со мной.

Первая подбежала Ирочка. За нею, смешно переваливаясь на толстых коротких ножках, подошел маленький Толя.

Лидия судорожно прижала их к себе.

– Мои сокровища. Родные мои!

Губы ее вздрогнули. Слегка отстранив, она принялась по очереди крестить их. Потом снова прижала к себе. Девочка, как бы что-то почувствовав, неожиданно заплакала. Глядя на нее, громко всхлипывая, залился плачем мальчик. Лидия, сдерживая слезы, снова поспешно закрестила их.

– Боже, что это с вами? – удивилась растерявшаяся Зоя. – Что за драматическое прощание? Я могу обидеться. Как будто ты детей оставляешь не у меня, а у какой-то Бабы-Яги. Разве можно так распускать их? Не навсегда же прощаешься? Давай их сюда, целуй меня и отправляйся на службу. Счастливо тебе веселиться на балу, а мы будем веселиться здесь, как нам хочется.

И решительно отстранив детей от Лидии, Зоя поцеловала ее, а затем, повернув за плечи, шутливо подтолкнула к дверям:

– Иди, иди, не мешай нам.

Лидия обернулась на пороге. Толя, уже весело смеясь, обхватив руками шею Зои и болтая ногами, висел на ней. Ирочка же стояла и смотрела на мать. В глазах ребенка таился вопрос.

«Никуда я от них не уйду», – сразу решила Лидия и, почувствовав, что тяжелый камень сомнения, давивший на сердце, исчез, ласково и спокойно улыбнулась дочери.

Словно отразившись в зеркале, ясная улыбка озарила личико Ирочки. Подбежав к матери, она порывисто обняла ее еще раз и, целуя, шепнула:

– Не беспокойся, мамуля, все будет хорошо.

Лидия нежно поцеловала ясные детские глаза и со спокойной душой вышла из дома Зои. Твердое решение остаться с детьми и мужем придало ей силы и радости.

До трех часов время в магазине промелькнуло незаметно. В четыре часа она была уже дома и, весело улыбаясь, раскладывала перед мужем принесенные с собой покупки.

– Ограбила совсем магазин. Набрала в счет жалованья. Вот тебе новые носки, воротничок, запонки, а себе рискнула купить чулки. Ты не будешь сердиться на меня за расточительность? Да, впрочем, посмей только. Сам

виноват, что затеял этот бал. Ну, давай скорее обедать. У меня еще столько работы. Платье еще не готово.

Владимир Александрович принялся помогать жене накрывать стол. Жизнерадостное настроение Лидии передалось и ему.

После обеда Лидия, приготовив все для глаженья, подошла к гардеробу и, не раздумывая, сняла с вешалки черное атласное платье.

Собираясь натянусь его на гладильную доску, Лидия неожиданно услышала голос мужа из соседней комнаты.

– Нет, нет, Лидочка, только не это платье, прошу тебя.

И Владимир Александрович, войдя в комнату, взял платье из рук жены и положил его на стул. Лидия растерянно взглянула на него.

– Но у меня нет другого, кроме еще зеленого.

– Я и хотел просить тебя пойти на бал в зеленом платье. Оно такое воздушное, так идет тебе. Оно напоминает мне нашу первую встречу на балу. Помнишь? Ты тогда тоже была в зеленом платье, правда, в кружевном, но это так похоже на то. Пожалуйста, Лида, сделай это для меня. Не нужно этого мрачного платья. Я хочу вспомнить прежнее.

Лидия попыталась возражать.

– Но, Володя, что за фантазия… Ведь это же будет только иллюзия прошлого.

Но, встретив умоляющий взгляд мужа, замолчала. Подумала: «В конце концов, не выйду, как обещала, в два часа в сад к Горскому. Просто постараюсь уговорить Владимира уехать с бала до двух часов, и все будет в порядке».

Черное платье снова исчезло в шкафу, и под утюгом, в быстрых руках Лидии, замелькали нежно-зеленые оборки пышного шифонового платья.

Лидия была спокойна. Принятое с утра решение не оставляло ее. Она помогла одеться мужу и в то время, как он ждал ее в соседней комнате, принялась одеваться сама.

В десять часов Лидия была уже одета. Оглядев себя в зеркало последний раз, она вдруг бессильно опустила руки.

Нежное исхудавшее лицо казалось бледнее и тоньше от зеленого цвета. Огромные глаза на этом похудевшем лице светились лихорадочным блеском, но в глубине их таилась привычная грусть. Во всем облике молодой женщины была душевная усталость и надломленность.

«Что во мне осталось прежнего? – подумала Лидия. – Разве я не говорила Владимиру, что будет только иллюзия».

Медленно, с внезапно пропавшей охотой ехать на бал, она стала собирать сумочку, платок, перчатки. Так же медленно с потухшими глазами вышла к мужу.

Он поднялся ей навстречу из кресла, тоже бледный, похудевший, с рукой, висевшей на черной ленте. Невольное сравнение с Горским промелькнуло в мыслях. Поток сомнений снова нахлынул на нее. Она испугалась их.

«Может быть, лучше не ехать на этот бал? Уговорить Владимира. Если бы он знал. Ведь я могу не вернуться с ним оттуда».

Она судорожно сжала руки.

– Готова, Лидочка? – с восхищением глядя на нее, спросил Владимир Александрович. – Как ты хороша! Мне кажется, лучше, чем прежде. У тебя в лице сейчас больше одухотворенности.

И, подойдя к Лидии, он обнял ее здоровой рукой и нежно поцеловал в лоб:

– Я приготовил кофе. Пей скорее. Я успел выпить. Максимов уже приходил, просил торопиться с переправой. Говорит, на реке затишье, как бы не было бури.

«Если бы он знал, какая буря у меня в душе, – тоскливо подумала Лидия. – Попросить остаться – огорчится. А потом, если уйду, еще сильнее огорчу».

Лидия, не допив кофе, отошла от стола. Владимир Александрович стоял, держа ее пальто, поверх которого помог ей набросить длинный дождевой плащ. В свою очередь Лидия помогла ему надеть пальто. Последние приготовления были окончены. Они вышли из дому и сразу погрузились в глубокую темноту.

Пока Владимир Александрович запирал дверь, Лидия оглянулась кругом. Стояла томительная тишина. В темном небе, затянутом тучами, не было видно звезд. Изредка сверкала молния. У берега на корме лодки, ожидавшей их, горел одинокий фонарь.

Они быстро спустились под откос. Максимов, куривший в ожидании их, бросил папиросу и помог Лидии и Владимиру Александровичу сесть в лодку. Затем, оттолкнув ее от берега, сел сам.

– С Богом! – сказал он, взявшись за весла, и легко вынес лодку далеко от берега. – Как бы успеть до бури вернуться назад. Буря осенью! Редко это бывает.

Лидия молча сидела рядом с мужем. Мысли и сомнения вихрем кружились в голове.

«Вернуться назад до бури… А я вернусь ли? Может быть, последний раз еду с ними, с этим милым Максимовым. Зачем я еду? Лучше вернуться сейчас… Увижу Виктора… встречусь с ним взглядом… и уйду с ним. А дети? Боже мой, обязательно уговорю Владимира уехать пораньше с бала».

Лодка была уже на середине реки. Сильное течение в этом месте относило ее вниз, но Максимов уверенно правил и постепенно подвигал ее вперед.

Огни города, разбросанные по берегу, приближались к ним. Небо было еще темнее, и тяжелые тучи, казалось, нависли над самой рекой.

Внезапно яркая стрела прорезала их и как бы расколола надвое небо. Раздался продолжительный, раскатистый удар грома, и сильный порыв ветра рванул лодку резким броском в сторону. Максимов с трудом удержал весла в руках и только что направил лодку, как новый порыв ветра бросил ее в другую сторону, и, наклонившись, она зачерпнула воды.

Лидия, почувствовав, что ее тонкие парчовые туфельки промокли, испуганно вскочила, и от этого внезапного движения лодка мгновенно перевернулась. Все очутились в воде.

Первая мысль Максимова была о Владимире Александровиче, и он бросился к нему на помощь. Но когда, подплыв к нему, он хотел обхватить его, Владимир Александрович крикнул:

– Спасайте жену! Меня не надо, – и, оттолкнув его рукой, исчез под водой.

Максимов попытался крикнуть, позвать Лидию, но новый удар грома заглушил его крик. При свете молнии он на мгновение заметил что-то светлое прямо внизу, уже далеко от себя. Снова наступила темнота. Максимов, борясь с течением, продержался несколько минут на одном месте, прислушиваясь. Все было тихо, и стрик, поняв всю безнадежность попытки спасти молодую женщину, принялся бороться за свою жизнь, плывя к берегу.

Лидия, очутившись в воде, несколько минут продержалась на поверхности, сумев отстегнуть и сбросить плащ, но длинное, сразу намокшее платье, запутавшись в ногах, потянуло ее вниз. Молодая женщина, с трудом борясь с течением, все еще пыталась плыть.

«Владимир, бедный… Он не сможет плыть… Но Максимов… он поможет, не оставит его… Боже, помоги им… Дети… Ирочка… – мелькали отрывки мыслей, и вдруг одна из них ярко, как молния, сверкнула в голове. – Вот и хорошо. Не надо ничего думать, ничего решать. Так хорошо».

Лидия перестала бороться и в ту же минуту погрузилась в воду.

Яркая молния сверкнула последний раз в глаза, а затем темнота, продолжительный звон в ушах, и ей показалось, что она не тонет, а, оторвавшись от воды, летит куда-то в вышину.

6

Горский пробыл на балу до двух часов, все еще надеясь, что Лидия появится. Он одиноко бродил среди разряженной толпы, мучаясь тревогой ожидания, сомнениями и надеждой.

«Не приехала. Значит, все кончено», – наконец решил он и, одевшись, с опустевшим сердцем вышел на улицу.

После прошедшей грозы ярко сверкали как бы омытые дождем звезды.

Горский медленно и бесцельно пошел по улице. Возвращаться в отель, где все было приготовлено к отъезду, с лишним чемоданом для Лидии, ему не хотелось. Он, незаметно для себя, дошел до парка и долго сидел на скамье, где последний раз был с Лидией. Как и тогда, шумели над головой деревья, осыпая мокрые на этот раз листья, сверкали звезды, но в душе были холодная безнадежность и тоска.

Уже совсем рассвело, когда Горский вернулся в отель. Утренний поезд отходил в 8 часов, и, не ложась, Горский закончил последние приготовления к отъезду, выпил кофе и отправился на вокзал.

Целый день в поезде прошел как длинный бредовый сон, и вечером, остановившись в отеле приморского города, откуда утром он должен был отправиться дальше с пароходом, Горский тотчас же лег и, усталый, погрузился в настоящий сон.

Утром он был уже на пароходе и после легкого завтрака вышел на палубу. Ярко сияло солнце, и белые чайки, скользя по волнам, гнались за пароходом.

Поместившись в лонгшезе с газетами, купленными в отеле, Горский медленно развернул вечернюю и тотчас же вздрогнул, как от толчка. Большие буквы траурных объявлений запрыгали перед его глазами. Ему показалось, что он видит страшный, кошмарный сон.

«Лидия Николаевна, Владимир Александрович Ольшевские… соболезнования по случаю безвременной смерти».

Горский нервно перевернул газету и на следующей странице, увидев крупный заголовок «Трагическая гибель супругов Ольшевских», впился глазами в строчки. Ему казалось, что он не читает, а видит все происшедшее на экране.

Драма на реке по словам старика Максимова; поиски утонувших; полный трагизма рассказ Зои Красинской о прощании Лидии с детьми, «как бы предчувствовавшей, что она больше не увидит их»; непередаваемое словами горе девочки, от которой не могли скрыть несчастье, и вот, наконец, описание найденных утопленников.

«По всему было видно, что молодая женщина упорно боролась за свою жизнь. По рассказу лодочника, когда она садилась в лодку, на ней поверх пальто был надет плащ. По-видимому, она сбросила его, так как когда утонувшая была извлечена из воды, плаща на ней не оказалось. Должно быть, ей удалось сбросить его, и она осталась в пальто и бальном зеленом платье, которое, по-видимому, и было главной причиной ее гибели, так как плыть в намокшем, обвившемся вокруг ног, длинном платье было невозможно, и молодая женщина, обессилев, пошла ко дну».

Горский с трудом дочитал до конца. Медленно, бессознательно аккуратно сложил газету. Поток мыслей нахлынул, закружился, забился в голове:

«Прощалась с детьми… чувствовала, что не увидит их. И платье, платье – зеленое платье! Значит, если бы не это несчастье, то сейчас Лиля была бы со мной… Боже мой, какой ужас в этой нелепой смерти. Значит, когда я ждал ее на балу и потом сидел на нашей скамье в парке, ее уже не было».

Вспомнилась последняя встреча, нежный голос Лидии, читавшей стихи.

«Все-таки моя… Она хотела дать мне право, о котором я просил, – право с гордостью назвать ее своей. Она умерла моей, все-таки моей, но разве это утешение?».

Горский почувствовал, что рыдание готово неудержимо вырваться из груди, и, резко поднявшись, подошел к перилам палубы.

Он долго стоял неподвижно, глядя в бескрайнюю синеву моря. По-прежнему ярко светило солнце и белые чайки ныряли в волнах. Жалобно крикнула одна из них, и Горский вздрогнул.

«Может быть, так же жалобно кричала Лиля, теряя последние силы в борьбе за жизнь, которую хотела отдать мне… Может быть, это ее душа следует за мной. Боже мой, я сойду с ума от этих ужасных мыслей!».

И, повернувшись, Горский шатающейся походкой направился в каюту. Вошел, запер дверь, бросился на койку и, больше не сдерживаясь, глухо зарыдал, вскрикивая:

– Все-таки моя… все-таки моя… моя!

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1945. № 7. С. 1, 4–12.

Дмитрий Владимирович ЗАГОСКИН *(1872–1937)*

Литератор Дмитрий Загоскин родился 1 июля (ст. ст.) 1972 г. Потомок (внук) известного беллетриста М.Н. Загоскина. Окончил Псковский кадетский корпус и Александровское военное училище. С 1900 г. служил на Дальнем Востоке. Участник русско-японской и первой мировой войн.Генерал-майор. Инспектор артиллерии войск атамана Г.М. Семенова. С 1920 г. жил в Маньчжурии. Очерки и рассказы Загоскина печатались в журналах «Рубеж», «Луч Азии»; газетах «Заря», «Харбинское время» и др. Автор книги рассказов «Казаки» (1936). Умер 1 мая 1938 г. в харбинской больнице от повторного воспаления легких.

Ист. и лит.:

<Б.п.> Умер генерал Загоскин [некролог] // Луч Азии. 1937.

Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: Биографический справочник. М., 2003.

Лушников А. Потомок Загора // Алтайская правда. 2005. 8 декабря.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 121-122.

МЕСТЬ

По глубокому дну крутобокой промоины «волчьей цепью» спускалась большая конная группа вооруженных людей в самых разнообразных одеждах − от серой солдатской шинели и до бурятского тарлыка включительно. Отделившись от основного ядра сажен на пятьдесят, в офицерских пальто с блестящими золотыми погонами ехало двое.

− Теперь надо полегче, товарищ, − перегибаясь в седле проговорил чернявый с редкой бородкой, опасливо поглядывая вперед. − Поселок-то сейчас за сопкой… Разведать бы надо как и что… Неровен час, на кого-нибудь из белой банды наткнемся.

− Ладно уж, знаю! – недовольно пробурчал в ответ широкоплечий всадник огромного роста. – Тоже не лыком сшит.

Тем не менее он придержал коня и, тяжело отдуваясь, слез с седла. Вслед за ним спешился и его спутник, оказавшийся на земле почти карликом, с длинной талией и короткими толстыми ножками. Его голова в высокой барсучьей папахе еле доходила до плеч товарища.

Ведя лошадей в поводу, оба двинулись дальше пешком, и через несколько шагов перед ними открылись первые домики поселка.

− Ключи, − торопливо подсказал чернявый, быстро осаживая коня.

− Не слепой! – грубо отозвался великан, видимо, от души презиравший посланного ему судьбой в спутники уродца за его убожество.

Он расправил могучие плечи, начальническим взглядом окинул пер-

вые ряды подъезжавших всадников и, делая высоко поднятой рукой знак остановиться, вполголоса крикнул:

− Зеньков! Сюда!

Смуглый казачок выдвинулся вперед, рысью подъехал к великану и, привычным движением ловко соскочив с седла, подбежал к начальнику отряда, волоча за собой упиравшуюся лошадь.

− Все помнишь, чего тебе вчера говорилось? – насупливая густые брови, грозно уставился на него великан.

− Точно так, товарищ командир, – торопливо доложил казак.

− Смотри, не подгадь! – строго погрозил толстым пальцем великан. – Не обмишулься! В оба гляди… А коли все будет благополучно, помаячишь вон там, − указал он нагайкой на крайнюю хату у самого выгона. − Ну, вали…

Когда разведчик скрылся за поворотом дороги, начальник отряда повернулся и начал широкими, размеренными шагами разгуливать взад и вперед по дороге, доходя до первых рядов своих спешившихся всадников и снова возвращаясь к наблюдательному пункту, где на минуту останавливался и, нервно постучав каблуком сапога о землю, снова поворачивался, продолжая свою прогулку.

Чернявый молча бегал рядом с великаном, стараясь попасть и не попадая в такт его шагу. От времени до времени он вскидывал украдкой глаза на лицо спутника, но не решался заговорить с ним первым из опасения быть оборванным в присутствии всей команды.

Прошло около получаса, и из-за крайней хаты поселка показался всадник и стал описывать по выгону небольшие круги.

− Маячит! Маячит! – радостно затараторил чернявый, первым заметивший появление разведчика.

− Отстань! Сам вижу, − рыкнул на него великан. – Эк тебя, товарищ, за язык дергает. Будто старая баба какая, − презрительно добавил он, подходя в своей лошади.

Чернявый побагровел, хотел огрызнуться поядовитее, но сдержался и, молча проглотив обиду, последовал примеру начальника отряда.

При въезде в поселок Ключевской отряд был встречен кучкой стариков, старух и детворы − все рабочее население находилось в разброде по заимкам. Кое-где среди толпы мелькали молодые смеющиеся девичьи лица.

− Хороша девка! – подмигнул чернявый начальнику отряда, ехавшему рядом с ним, на высокую, стройную девушку, стоявшую у ворот одного из домов и с любопытством посматривавшую исподлобья на пришельцев, с шумом и гамом спешивших наперегонки занимать для себя под постой лучшие помещения. – Можно сказать «штучка с ручкой»!

Великан покосился в указываемом направлении, и в глубоко сидящих

глазах его вспыхнул плотоядный огонек.

− Заворачивай! – грубо оборвал он эстетические размышления товарища, дергая лошадь за повод. – Занимаю эту хату под штаб.

− Хи-хи-хи, − мелким смешком рассыпался чернявый, следуя за начальником отряда. – Забрало, Петр Денисыч, забрало! Валяй, брат, валяй! Не девка – мармелад!

По мере приближения вечера равнодушие жителей поселка, встретивших утром прибытие белого отряда довольно «прохладно», начало понемногу переходить в откровенную враждебность.

Депутацию из трех старых казаков, пришедших приветствовать начальника отряда и поговорить о «политике», последний с места в карьер обругал большевиками и объявил, что он покажет им «кузькину мать». Кур, баранов и поросят по всему поселку приезжие стали подвергать поголовному избиению, не удовлетворяясь предложенными им хозяевами яствами местной кухни. Ближе к закату солнца во всех домах вспыхнуло поголовное пьянство. Отовсюду неслись дикие голоса и слышались пьяные песни, временами прерываемые отчаянными женскими визгами и криками: «Помогайте!.. Спасайте!..»

Вырвавшись от насильников, простоволосым молодым женщинам и девушкам, прибегавшим к дому, занятому штабом отряда, пьяный казак, стоявший у крыльца в качестве часового, нагло заявлял, что «командир спит и не велели будить».

Одну старуху-казачку, кричавшую громче всех и угрожавшую обратиться с жалобой «по начальству», часовой так толкнул прикладом винтовки в грудь, что она замертво покатилась на землю. Двух казачат, попытавшихся ускакать на заимки за помощью, избили нагайками до полусмерти и связанных бросили в чулан при штабе.

Разгул, грабеж и насилие длились всю ночь напролет, и только когда, наконец, забрезжил неверный свет приближающейся утренней зари, из дворов стали выезжать тяжело-нагруженные телеги, за которыми шли привязанные коровы и запасные лошади, с забористой матерщиной подгоняемые непроспавшимися, озверелыми всадниками.

Орда грабителей с ревом и уханьем понемногу подтянулась к площади, откуда нестройной, гикающей толпой двинулась из поселка в обратный путь. Начальник отряда вместе с чернявым ехал впереди.

Сразу за околицей навстречу им из предрассветного полусумрака неожиданно вынырнула пара конных силуэтов, и через секунду два молодых казака, без папах и сапог, но с винтовками за плечами, осаживали своих конец, посадив их почти на хвосты.

− Что за люди? Почему грабите, варнаки? – звонким сорвавшимся голосом крикнул один из подскакавших, наклоняясь вперед, чтобы лучше рассмотреть, с кем он имеет дело.

Увидев блестевшие офицерские погоны начальника отряда и его спутника, он резко отшатнулся в седле, обводя вокруг себя совершенно ошалевшим взглядом.

− Ах ты, большевицкая морда… − зарычал великан. – Не видишь, с кем разговариваешь? Получай, мерзавец!

Вслед за выстрелом, гулко прокатившемся в утренней тишине, казак мешком покатился с седла, а испуганный конь, сделав дикий прыжок в сторону, поволок по земле его тело, зацепившееся при падении сапогом за стремя.

Товарищ убитого, не дожидаясь следующего выстрела, волчком повернул своего коня на месте и, низко пригнувшись к луке, полным махом понесся в сторону заимок.

− Ловко срезал! – одобрил чернявый великана, прятавшего наган в кобуру. Теперь все проделали честь-честью, в аккурате… Пущай разбираются… Черта с два догадается гуранье! Как же!

* * *

Вследствие раннего утреннего часа станционная платформа Борзи против обыкновения была почти пуста. Лишь в одном конце, у пыхтевшего паровоза, весело болтал с машинистом атаманского поезда станционным милиционер, да возле дверей залы первого класса одиноко сидел на скамейке какой-то залы молоденький казачок. Он сидел, низко согнувшись, медленными движениями водя концом нагайки по каменным плитам перрона, от времени до времени украдкой скашивая глаза в сторону салона вагона, у входа в который стояло двое парных часовых.

Наконец, на ступеньках вагона показалась широкоплечая, статная фигура атамана в простой защитной рубашке, с беленьким крестиком на груди. Он спустился на перрон и быстрым шагом направился в помещение станционного телеграфа. Следом за ним выскочили из вагона несколько запоздавшие адъютант и начальник личного конвоя и вприпрыжку пустились наверстывать опоздание.

В тот момент, когда атаман проходил мимо одиноко сидевшего казака, последний выпрямился, мгновенно вскочил, словно вскинутый скрытой пружиной, одним броском подскочил к атаману и, выхватив из рукава длинный кинжал, нанес им сбоку короткий удар.

Но еще раньше, нежели удар кинжала достиг намеченной цели, успел адъютант, подметивший подозрительное поведение казака, ударить его по руке с такой силой, что она повисла, как парализованная, а кинжал, выпав из нее, со звоном покатился по каменным плитам. Вторым молниеносным ударом по голове нападавшего адъютант сбил его с ног.

Звон кинжала о камни и глухой стук упавшего тела сразу вырвали из задумчивости спокойно шагавшего атамана. Он круто остановился и по-

вернул голову. Глаза его с удивлением перебегали с лежавшего без движения человеческого тела на кинжал, густо смазанное лезвие которого загадочно поблескивало своей матовой поверхностью. Но ни тени страха или волнения не отразилось на спокойном энергичном лице − одно лишь глубокое изумление, смешанное с любопытством.

Несколько секунд длилось молчание, нарушаемое лишь стуком сапог подбежавших часовых и шипением паровозного пара. Потом атаман, задумчиво глядя на лежавшего, с расстановкой проговорил, обращаясь к адъютанту:

− Ничего не понимаю… Возьми его к себе в вагон и разберись, в чем тут дело… А я пока пройду по прямому проводу.

* * *

− Ну что? – поднял глаза атаман на вошедшего адъютанта. – Разобрался? Сумасшедший?

− То-то, что нет, господин атаман, − недоумело развел руками последний. – Ни черта не понимаю, хоть убейте, сами судите…

− Ну-ну, − с интересом повернулся к собеседнику атаман, − рассказывай, рассказывай… Надеюсь, допрос произведен без пристрастия? – особенно подчеркнуто произнес он последние слова, пристально глядя в лицо адъютанта.

− Согласно вашего приказа, − с почти незаметным пожатием плеч официальным тоном доложил адъютант.

− Так в чем дело, спрашиваю? – подогнал атаман докладчика.

− Спрашиваю его: «Как ты, сукин сын, решился покуситься на жизнь атамана?». А он в ответ давай какую-то чушь нести: «Все равно мне не жить, − орет, − так получайте свою правду, варнаки-грабители!». Тут я, откровенно говоря, господин атаман, его легонько смазал по скуле ради остраски, − виновато ухмыльнулся адъютант, выжидательно глядя в глаза собеседника. – Нельзя же позволять, чтобы он меня, офицера, в глаза ругал.

Атаман поморщился, дернул себя за ус, но вслух своего порицания не выразил.

− Продолжай, − коротко произнес он только, отводя глаза в сторону.

− Как одернул я его, сократился сразу и орать перестал, − бойко стал продолжать свой доклад адъютант, смекнувший, что гроза миновала. – Повторяю свой первый вопрос. «За сестру загубленную и брата угробленного», − отвечает, а сам так весь и трясется. «Да что, атаман что ли твою сестру загубил?» − спрашиваю. «Офицеры ваши, семеновские, – захлебывается он от ярости, − вот кто над сестрой надругался и брата порешил».

− Офицеры семеновские? – изумленно протянул атаман, откидываясь на спинку дивана.

− Божится, что приходили к ним с отрядом и весь поселок начисто

разграбили, − продолжал адъютант ироническим тоном. – Утверждает, что сам видел двух офицеров в золотых погонах.

− В золотых погонах, говоришь, − перебирая что-то в уме, медленно проговорил атаман. – Погоди… Да он какого поселка? – поднял он глаза на собеседника.

− Ключевского, − заглянул адъютант в исписанный листок, который держал в руке.

− Ключевского? – как бы ослышавшись, вопросительным тоном повторил атаман. – Так ведь в Ключи я еще не разу не посылал никого… Это значит, что либо твой казак врет, либо…

Он не договорил и медленно закусил губу. Какая-то внезапная смутная догадка, видимо, промелькнула в голове атамана. Темные брови быстро сдвинулись к переносью, глубокая резкая складка прорезала высокий лоб, синие глаза потемнели и приняли мрачное, угрожающее выражение.

Адъютант зорко следил за изменениями выражения лица собеседника.

− Ну-ка давай сюда твоего красавца, − первым прервал молчание атаман. − Я сам его поисповедую.

− Но как бы он… − замялся было адъютант, не двигаясь с места.

− Съест он меня что ли? – невесело усмехнулся атаман. – Эх, ты, шляпа! – дружелюбно выбранил он офицера за излишнюю заботливость. – Ступай, ступай, − делай, что тебе приказывают, а обо мне не беспокойся!

Несколько времени атаман в глубокой задумчивости расхаживал по салону из угла в угол, причем печать глубокой озабоченности снова легла на его лицо.

− Самозванщина какая-то! – наконец с полуубеждением вырвалось у него вслух.

Заложив руки в карманы шаровар, атаман подошел к окну и стал смотреть на пустынный станционный садик, в котором несколько пестрых кур под предводительством золотистого красавца-петуха деятельно копались в траве.

− Необходимо во что бы то ни стало докопаться и пресечь в корне, − решительно резюмировал атаман свои мысли.

«Докопаться, − промелькнуло в мозгу смешливое сравнение с курами. – Ну, что ж − покопаемся также и мы. Лишь бы добраться до истины».

Вагон слегка задрожал под тяжестью шагов людей, поднимавшихся на площадку.

«Ведут, должно быть», − подумал атаман, поворачиваясь и прислоняясь спиной к стенке вагона. В сопровождении адъютанта в салон ввалился молодой безусый казак, подталкиваемый сзади дружными пинками конвойцев. Руки арестованного были перехвачены в локтях за спиною веревкой. Длинный, вьющийся чуб свисал на лоб, закрывая правый глаз, что

вынуждало казака постоянно дергать головой кверху для водворения непокорной пряди на место. Молодое лицо, только слегка покрытое пухом на подбородке, было неподвижно и мертвенно бледно и оживлялось лишь парой небольших, лихорадочно блестевших, карих глаз, которые он почти все время держал потупленными.

− Развязать! – раздалось короткое приказание атамана.

Освобожденный от сдавливавших его веревок, арестованный несколько раз машинально передернул плечами, восстанавливая кровообращение, и затем снова застыл в прежней позе полной безнадежности и отчаяния.

Атаман с минуту пристально в лицо незадачливого убийцы, затем недоверчиво покачал головой и, обращаясь к присутствующим, распорядился:

− Выйдите все! Кроме него, − кивнул он головой на арестованного. – Ну? Что я сказал? – повысил он голос, заметив колебание на лицах адъютанта и конвойцев.

Оставшись вдвоем с арестованным, атаман прошелся несколько раз по вагону и, внезапно остановившись около казака, спросил, глядя на него в упор:

− А почему ты, паря, говоришь, что у вас в поселке разбойничали офицеры?

Арестованный вздрогнул и сразу поднял на собеседника взгляд, одновременно выражавший страх и удивление:

− В погонах… в золотых… Как же ни офицера? – как бы нехотя выдавил он, наконец, из себя.

− И много их было таких… в погонах? – с острым интересом воззрился атаман на казака, ни на секунду не спуская взгляда с его лица.

− Старики сказали, двое их было, − уже увереннее заговорил казак. – Я и сам двоих видел, когда один из их в брата стрелял.

Под влиянием ровного, почти благожелательного тона атамана арестованный постепенно стал приходить в себя, по мере того, как призрак близкой, неотвратимой − как ему казалось − смерти начал отдаляться, и в глубинах сознания затеплилась какая-то робкая надежда. Впервые за все время поднял он низко опущенную голову и бросил осторожный взгляд на лицо допрашивавшего. Учуяв звериным чутьем малокультурного степняка, что в глубине синих глаз атамана не таится ни тени злобы или издевательства, а лишь одно спокойное внимание, казак сразу посветлел лицом.

− Брось трусить, паря, − ободрил его атаман, присаживаясь к письменному столу и принимаясь перелистывать лежавшие на нем бумаги. – Лучше помоги мне найти этих «господ офицеров», − иронически усмехнулся он. – Подумай и расскажи, как они выглядели.

− Братнина убийцу я вот как заприметил! – не задумываясь и уже ве-

селее ответил казак. − Огромный мужик! Ровно гора какая, на коне сидел… Второй много поменьше будет… Сказывали, вроде как мальчонка какой…

− Как будто они, – проронил вслух атаман, озабоченно роясь в груде бумаг. – Ага. Вот она… − нашел он наконец разыскиваемое донесение и быстро пробежал глазами его содержание.

В полевой записке стояло:

«Доношу, что вчера ночью мною пойманы в пяти верстах от станицы Цаган-Олуевской два подозрительных субъекта, назвавшиеся офицерами, яко бы пробиравшимися в Трехречье, спасаясь от большевиков. Вследствие несоответствия их внешности, особенно одного их них, с офицерским званием, подозреваю в них переодетых комиссаров, почему и направляю их под конвоем в ваше распоряжение. Сотник Мельников».

Атаман встал, быстрыми шагами подошел к открытому окну и, высунувшись из него, громко крикнул:

− Андрей! Немедленно приведи к вагону тех двух. Знаешь? Которых Мельников прислал.

Придерживая рукой болтавшуюся шашку, адъютант рысцой отправился исполнять полученное распоряжение.

− Ну, кажется, могу тебя поздравить, − с довольным лицом, протирая руки, обратился атаман к казаку, стоявшему с разинутым ртом и совершенно ошалевшими глазами. – Да, кстати, уже и себя… Ах, мерзавцы! Провокаторы! – сердито покачал он головой. – Ну, ладно, − свое получите…

Приближающийся топот тяжелых сапог и шум человеческих голосов отвлекли внимание атамана от его гневных мыслей. Он снова повернулся к окну и внимательным взглядом окинул группу, собравшуюся на перроне против вагона. Прямо перед окном, окруженные вооруженными казаками, стояли двое арестованных в офицерском пальто с блестящими, новенькими золотыми прапорщичьими погонами. Огромная, массивная, грубо сколоченная фигура одного из них особенно резко, до нелепости, подчеркивала смехотворно малый, почти карликовый рост его коротконого спутника.

− Несомненный маскарад! – сразу решил атаман, зорко приглядываясь к лицам. – Ну и рожи! Пойди-ка сюда, паря, − поманил он пальцем казака, стоявшего в глубине вагона. − Посмотри-ка на эти образины.

Казак нерешительно тронулся с места и, осторожно ступая, в развалку подошел к окну. Но лишь только взгляд его упал на арестованных, он конвульсивно вцепился обеими руками в переплет оконной рамы и на секунду замер, не спуская загоревшихся бешеной злобой глаз с великана в офицерском пальто. Затем он с силой оттолкнулся от окна и с каким-то нечеловеческим ревом ринулся вон из вагона.

Атаман, хладнокровно наблюдавший за поведением молодого казака,

удовлетворенно улыбнулся и высунулся из окна.

Одним прыжком слетев с площадки вагона, казак, как разъяренный бык, кинулся на великана, ударом головы в грудь сбил его с ног и, не успели окружающие придти в себя от неожиданности, уже сидел верхом на поверженном противнике, обеими руками сдавливая ему горло.

Парализованный ударом, великан только хрипел, и лицо его сразу стало синеть. Опомнившиеся конвойцы дружно бросились отнимать у казака его жертву, но сделать это оказалось нелегко, пока один из них не догадался сам начать душить за горло победителя.

Еще несколько времени после того, как его оторвали от великана, молодой казак все же порывался вырваться из рук державших его и, мотая головой, сипел, разбрызгивая слюну по сторонам, повторяя без конца:

− Убью! Убью! Убью!

Атаман, молча наблюдавший разыгравшуюся перед ним дикую сцену, не торопясь вышел из вагона, спустился по ступенькам на перрон и медленными шагами подошел вплотную к великану, которого двое конвойцев с трудом поддерживали под мышками в стоячем положении.

− Говорите правду… Кто вы такой? – раздельно прозвучал среди гробовой тишины повелительный голос атамана.

Он остановился в шаге от великана, гипнотизируя его стальным взглядом своих потемневших глаз.

По лицу арестованного пробежала заметная судорога. Налитые кровью глаза из-под густых бровей смотрели в пространство, не видя ничего, апатично и тупо. Все могучее тело его, от головы до пят, дрожало мелкой дрожью.

− Кто вы такой? – уже тоном выше и грознее повторил атаман.

Великан дрогнул, как бы пробуждаясь от сна, огромной ладонью потер себе шею и прохрипел сдавленным голосом:

− Десятник ремонта пути Забайкальской…

− Вот это так, − с довольным видом кивнул головой атаман. – А то – офицер! А эта гнида? – указал он глазами на стоявшего рядом карлика.

− Не знаю, − хрипло буркнул великан. − Всего с неделю как его прислали в отряд комиссаром… Ваше благородие! – умоляющим звуком вырвалось из его порванного горла. – Позвольте доложить! Я…

− Довольно болтать! – резко прервал его атаман. – Отвести в юридический отдел, − обратился он к подошедшему начальнику штаба с резко выраженными восточными чертами лица. – Вопрос совершенно ясен, не так ли?

− Совершенно, − согласно наклонил голову полковник.

− А приводить приговор суда в исполнение я назначаю его, − повернул атаман голову в сторону молодого казака, сделавшего новую попутку вырваться и броситься на своего врага, когда его проводили мимо него.

− Эк тебя разбирает, паря, − усмехаясь, положил атаман руку на плечо казака. – Успокойся, твое от тебя не уйдет… Кстати, Николай Георгиевич, распорядитесь, чтобы пострадавшему было возвращено награбленное этими скотами… Прикажите купить все, что надо. Если уж брата мы вернуть не в силах, то хоть пусть этим утешится.

* * *

− Там, господин атаман, двое казаков все добиваются вас увидеть, − доложил несколько дней спустя дежурный офицер, стоя в дверях купе.

− Ага. Хорошо, сейчас выйду, − устало потянулся атаман, поднимаясь с дивана.

Спустившись с перрона станции, атаман оказался перед двумя казаками, стоявшими навытяжку возле его вагона, в полной боевой амуниции и с винтовками за плечами. Старика-казака с длинной окладистой седой бородой он не знал, лицо же другого, молодое безусое лицо, покрытое здоровым загаром, он вспомнил почти сразу и весело улыбнулся:

− А-а, убивец! Здорово, здорово!

− Виноват, Ваше Превосходительство, простите, − растерянно забормотал парень, вспыхивая до ушей, − никогда больше не буду.

− Надеюсь! – от души расхохотался атаман, чем привел в полное замешательство казака, лишив его окончательно дара речи.

− Так что, позвольте доложить, ваше превосходительство, − вмешался старик. – Отец я буду евойный, приказный Шестов, Ваше Превосходительство… Как вы, значит, изволили справедливо рассудить и с его, дурака, за евойную вину не взыскали… за кинжал, то ись... Прибежали мы с ним, значит, проситься к вам на службу в отряд. Большевиков бить…

Старик-казак, видимо, не отличавшийся красноречием и, к тому же, смущенный незнакомым офицерским обществом, несколько затруднялся в выборе слов, и благообразное лицо его заметно побагровело от старанья выразиться покрасивее.

− Ну, спасибо, спасибо, старик, − поспешил атаман вывести старика из затруднительного положения, − рад видеть в своем отряде таких молодцов… А как у вас там в Ключах остальные? Куда больше склоняются − к большевикам или к белым? – неожиданно бросил он вопрос старику.

Последний неторопливо полез рукой за борт мундира и, вытаскивая оттуда какую-то бумагу, слегка смущенным тоном заговорил:

− Оно, что греха таить… Спервоначалу, ровно, к большевикам больше склонялись… уж прости, атаман, на плохом слове… − запнулся он на секунду. − «Офицерье, – говорят, – не наш брат…». А как вышло это дело-то… с сыном, значит, так все назад и поперли на попятный… К тебе, значит…И приговор по случаю этого постановили. Вот он приговор-то, − протянул старик вынутую бумагу.

Атаман бегло пробежал глазами несколько строчек, написанных кудреватым писарским почерком, взглянул на остальную часть листа, покрытую многочисленными подписями, и с просветлившим лицом повернулся к старику.

− Еще раз спасибо, дед. Вижу, твоя это работа, − взволнованным голосом заговорил тронутый атаман. − Образумил ты неразумных… Честь тебе и хвала! Ступайте теперь отдыхать и поесть, а потом сыпьте в Ключи за остальными… Да смотри − больше сыну кинжала в руки не давай: неровен час, кого-нибудь почем зря порешит, − смеясь, крикнул атаман вслед уходившим казакам, направляясь с своему вагону.

Опубликовано и печатается по: Загоскин Д.В. Казаки: Рассказы. Харбин, 1936. С. 1-16.

В ПОСЛЕДНЕЕ МГНОВЕНИЕ
Забайкальская быль

− А потому ваш отец арестован, распрекрасная барышнешечка, − развязным тоном договорил комиссар красного партизанского отряда Яковлев, вставая со стула и подходя к Насте. − Что выходите вы с вашим папенькой, бывшим поселковым атаманом, − иронически подчеркнул он последнюю фразу, − буржуи и, значит, враги народа.

Он наклонился к молодой девушке, стоявшей у стены с бессильно опущенными руками, и придвинул вплотную к ее бледному личику свое лицо распутного пьяницы-мастерового. Грозно выпучил налитые кровью глаза и прохрипел простуженным голосом:

− Поэтому я обязан на основании представленных мне полномочий… Понимаете? Полномочий, − раздельно произнес он, поднимая указательный палец к самому носу Насти. − Вашего папеньку ликвиднуть… В двадцать четыре часа! – неожиданно взвизгнул он. – И никаких гвоздей…

Комиссар отряда, из простых заводских рабочих, состоявший в амплуа «начальства» лишь несколько дней, явно «куражился», стремясь произвести своим величием впечатление посильнее как на расстроенную, перепуганную девушку, так, кстати, и на двух подчиненных красноармейцев, с офицерскими шашками наголо, стоявших у двери в качестве часовых.

− За что же? За что? – еле слышным вздохом вырвалось, наконец, из пересохшего горла Насти, и она невольным движением сложила руки, словно на молитву. Комиссар отступил на два шага назад, подбоченился, покрутил головой с видом глубочайшего соболезнования и глумливо повторил тонким «бабьим» голосом:

− За что? За что? Она не знает, за что… Ах, ты невинная сволота! – рявкнул он, надвигаясь на Настю со сжатыми кулаками. – А зачем отец го-

нял тебя в Борзю? А? Зачем таскалась? Говори, сейчас говори правду. Все равно мы все знаем…

− За солью, − через силу проговорила молодая девушка.

− За солью? – иронически протянул, усмехаясь, Яковлев. А к белобандитам в штаб тоже за солью бегала? – бешеным шепотом бросил он в упор обвинение.

− Пощадите! – жалобно отозвалась Настя. − Я только жениха повидать забежала.

Ее голос оборвался, и она замолчала, не спуская умоляющих глаз с лица Яковлева.

− Гм, гм, − откашлялся последний. – Вот что, товарищи… Выдьте-ка на крыльцо на малое время, − кинул он караульным повелительным тоном. − Надоть мне с девкой еще кой о чем в тайности покалякать.

После ухода караульных комиссар прошелся несколько раз взад и вперед по комнате, затем повернулся к Насте, круто остановился перед ней и, бросив украдкой быстрый взгляд в сторону двери, прохрипел пониженным голосом:

− Хочешь, чтоб отец твой жив остался?

− Голубчик! Век буду за вас Богу молить! – так и рванулась к нему Настя. – Что хотите берите… Все берите, только выпустите папашу.

− Что хотите, говоришь? Что хотите? − сдавленным голосом прохрипел снова Яковлев.

Толстые щеки комиссара налились кровью, и заплывшие зеленоватые глазки затянулись мутной влагой. Одной огромной жилистой лапищей он охватил кисть руки молодой девушки и, привлекая ее к себе другой за талию, промычал в самое ухо:

− Любви твоей желаю... Любви... Понимаешь?

− Что такое?.. Что?.. Что? − отчаянно вскрикнула Настя, выбиваясь из сжимавших ее объятий. − Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!

− И даже совсем напротив, − расхохотался Яковлев. − При полной умственности состоим и весьма прекрасно понимаем, что нынче наша пролетарская воля.

Он выпустил Настю из рук, и молодая девушка, бледная, как мел, шатаясь подошла к плетеному диванчику, тяжело рухнула на него и замерла без движения.

− Ну, ну... Ничего! − изменил Яковлев насмешливый тон на грубоповелительный. − Вот тебе, девка, мой последний сказ.

Он секунду другую помедлил, что-то соображая, и затем, стукнув кулаком по столу, договорил жестким голосом:

− Как только завтра на зорьке отряд провожу, приду к тебе... Ласково встретишь − помилую твоего батьку... Нет − прощения просим... Эй, караульные! Захаров! Камков!

Грохоча подкованными сапогами, в комнату дружно ввалились, толкаясь в дверях, оба красноармейца и замерли, вытянувшись в струнку. Комиссар приосанился и не без самодовольства бросил в сторону Насти взгляд, красноречиво выражавший мысль: «Царь и Бог! Хочу с хлебом ем, хочу масло пахтаю».

−Товарищи, − суровым тоном обратился Яковлев к красноармейцам, указывая рукой на полубесчувственную Настю. − Вы мне головой отвечаете за арестованную. Отлучаться из хаты − по одному... Спать − вполглаза, по очереди. Разговоров с арестованной − никаких. Завтра утром приеду и сменю вас сам. Поняли?

− Так точно, товарищ комиссар, − загалдели наперебой оба парня.

− То-то же. Смотреть в оба, − погрозил Яковлев толстым пальцем, выходя из комнаты.

* * *

− Стой! Слезай! − протяжно скомандовал, поворачиваясь в седле, начальник отряда, молодой казачий офицер в бурке и енотовой папахе с желтым верхом. − Вот что, паря, − обратился он к адъютанту, − поезжай и скажи командирам, что мы здесь с час простоим. Пусть кормят коней. И люди чтоб чаевали, − кивком головы указал он на ключик, выбивавщийся невдалеке на полугоре.

С места привала открывалась широкая падь, одним концом постепенно понижаясь и расширяясь, уходившая к далеким берегам Аргуни, другим − упиравшаяся в дикие, крутые хребты Богдатского массива.

Солнце еще не показывалось из-за горизонта, но уже кокетливо бросало исподтишка первые бледные лучи на иззубренные края сопок, причудливо окрашивая их в аметистовые, палевые и пурпуровые краски бесчисленных теней и оттенков. По мере удаления от гребней гор краски постепенно тускнели, покрываясь сероватой пленкой, словно тончайшей вуалью, а ниже, в долинах и в падях, еще царил предрассветный полумрак.

− А и красота же!.. − восторженно воскликнул молодой офицер в гусарских погонах на пальто. − Ведь как будто и материала-то настоящего нет у художника для такой картины, − продолжал он, захлебываясь − Ни ледников, как на Альпах, ни уральских лесов, ни водопадов... Никаких резких, поражающих контуров. Одни холмы да багульник... А вот подите же! Недаром говорят, что природа − лучший художник и в материалах не нуждается. Из всего вылепит такое, что заглядишься.

− Хоть весь свет, паря, обойди насквозь, красивее нашего Забайкалья не сыщешь! − с убеждением в голосе поддержал гусара старик-хорунжий с резко выраженным монгольским типом лица, опушенным седоватой реденькой бороденкой. − Как Господь Создатель все благоустроил, так все и стоит по эту пору нетронутым. Степь да падь, да сопки кругом. Пока чело-

веки беспорядку не натворили: фабрик, заводов и прочей пакости.

− Ну, запел, дед, − рассмеялся, махнув рукой, начальник отряда, − теперь до вечера его не уймешь. А ты, паря, лучше скажи мне, где разъезд твой до сих пор шляется? − переменил он тон на официальный, обращаясь к старику.

− Нигде не шляется, господин есаул, − с обиженным видом козырнул хорунжий, − стоит небось там, где указано и наблюдает за поселком. Вон, должно быть, от него с запиской гонят, − торжественно ткнул он пальцем на темную конную фигуру, резко вырисовавшуюся на фоне бледноголубого неба на противоположном хребте.

− Пока подъедет, успеем с чаем покончить, − решил есаул. − Эй, тащи скорей котелки, − крикнул он казакам, возившимся возле костров.

С десяток офицеров отряда уселось в кружок вокруг разостланной командирской бурки и дружно принялось за холодную баранину в ожидании появления кружек с горячим сливаном.

Молодцеватый молодой казак круто осадил гнедого конька возле группы офицеров и, спрыгнув с седла, двинулся в их сторону неловкой походкой прирожденного конника, цепляясь ногой за болтавшуюся шашку. Стащив на ходу папаху, он достал из под подкладки маленький конвертик и, подойдя, протянул его есаулу со словами:

− От сотника... донесение...

Глаза всех присутствовавших офицеров одновременно впились в лицо начальника отряда, вскрывавшего конверт. По мере чтения на энергичное лицо есаула явственно ложилась печать озабоченности. Он вторично пробежал полевую записку, и на высоком, загорелом лбу обозначилась глубокая, резкая морщина.

− Н-да, штука, − обвел он взглядом кружок офицеров, поднимая глаза. − Совсем другой коленкор получается, черт его подери.

Есаул нервно щелкнул пальцами по бумаге.

− Вот, господа офицеры, − понизил он голос, видимо, не желая, чтобы слова его донеслись до ушей простых казаков и добровольцев, − послушайте-ка, что доносит Седых: «Высота к юго-востоку от поселка Мирного. Четыре часа десять минут. Начальнику отряда.

По-видимому, нашим штабом было получено неверное сообщение о силах красных. В поселке находится не менее шести сотен, а не две, как предполагалось. В настоящее время там замечается сильное движение. Похоже, что красные готовятся к выступлению. Продолжаю наблюдение. Ожидаю распоряжений. Сотник Седых».

Офицеры несколько времени молча переглядывались. Затем взгляды их снова сконцентрировались на начальнике отряда.

«Как-то мы вывернемся из этой истории и выполним поставленную нам задачу?», − красноречиво спрашивали их недоумевающее взоры.

Но ни тени страха, растерянности или нерешительности не замечалось на их мужественных лицах, что с нескрываемым удовольствием отметил про себя начальник отряда. Мрачная складка сразу исчезла с его лба, как бы стертая чьей то рукой. Голубые глаза сверкнули удалью и решимостью, и, резким движением сбив папаху на затылок, он выбросил отрывистым тоном несколько коротких, законченных фраз:

− Приказ атамана всем известен. Разогнать красных, собравшихся в поселке Мирном. Предполагалось, что там их две сотни. Оказывается, их шесть. Желаю слышать мнение каждого из вас. Что делать?

После короткой паузы, нарушая общее молчание, есаул повернул голову в сторону старика-хорунжего.

− Пусть, как оно полагается, наперед выскажется младший в чине. Говори, дед, свое мнение. Да не тяни кота за хвост. Руби сплеча, по-казачьи.

Старик-хорунжий вынул изо рта трубочку-носогрейку, которую непрерывно посасывал, недовольно покосился на есаула, сплюнул и коротко буркнул:

− Известно, что делать, − он сердито сверкнул из-под густых, нависших, клочковатых бровей блестящими черными глазками и, стукнув кулаком по земле, выкрикнул с вызовом в голосе: − По-нашенски. По-казачьи... Замахнулся, так бей!

− Ай да дед! Согласен! Правильно! Молодчина! − радостным гулом дружно приветствовал заявление старика хор возбужденных молодых голосов.

− Тише, тише, господа! − поднял руку начальник отряда, сдержанно усмехаясь.

− Ишь как дед растревожил огонь, очень рад, что все мы думаем, как один. Через четверть часа мы выступаем, а там, что Бог даст, − с довольным видом потер он руки.

Кроме явной причины удовлетворенности начальника отряда − обнаружившегося полного единомыслия командного состава, − не меньшую, если не большую роль сыграла и тайная мысль, с момента выхода из Борзи непрерывно точившая душу есаула.

Ночью ли, днем ли, но лишь только он закрывал глаза, перед ним мгновенно вставал смеющийся образ Насти. Отвагой и задором сверкали черные очи, и белоснежными нитями блестели два ряда мышиных зубов, когда она повторяла ему на прощание:

− Не боюсь я их, Андрюша, нисколько! Чего они мне, бабе, сделают?

«И зачем я только отпустил ее вперед? − мучился есаул денно и нощно. − С другой стороны, невеста − не жена. Своя у нее воля – не прикажешь. «Еще за отца, чего доброго, возьмутся, если не вернусь. Беспокоюсь я шибко. А тут соль привезу − ну, значит, все подозрения в сторону. Догады-

вайся, что я вас на них натравила…» Приласкала, облестила, колдунья, а теперь трясись, как бы ее не обидели».

Таким образом, долг и сердце шли в унисон, укрепляя энергию и решимость, крайне необходимые есаулу впоследствии предстоявшей схватки с втрое сильнейшим противником.

− Я так думаю, дед, − обратился он к старику-хорунжему после минутного раздумья. − Забирай свой второй взвод и дуй к Седых. Будет вас там ровно полусотня. Захватишь один пулемет с собой. Обойдешь поселок с востока – и начинай гвоздить по нему из пулемета. А полусотней пугай. Как? Сам знаешь. Не маленький. Не мне тебя учить. А уж я отсюда с остальными полутора сотнями... Ясно?..

− Так точно, господин есаул, − официальным тоном отчеканил хорунжий, прикладывая руку к папахе. − Все в аккурат понял.

− Ну с Богом, если так, дедушка, − хлопнул старика по плечу начальник отряда, − да смотри, не задерживайся. Неизвестно ведь, когда и по какой дороге красные двинутся. Да вот еще что, − спохватился есаул, − коли они поторопятся, двинутся раньше, нежели ты поспеешь обойти, пропусти и бей по хвосту. Ну, теперь все. Езжай.

Через несколько минут невдалеке от оставшихся офицеров по каменной осыпи заскрипели копыта и взвод старика-хорунжего справа по одному начал скатываться по крутому склону в долину, резкими зигзагами обходя огромные валуны, точно чьей-то циклопической рукой разбросанные по пути. Верткие, коренастые коньки, опустив косматые головы, ловко съезжали, почти сидя на крупах. В середине колонны на вьюке виднелся пулемет.

− Только бы успел проскочить, − сквозь зубы нервно вырвалось у начальника отряда.

− Успеет, − успокоительно протянул гусар. − Большевики, видно, не больно-то спешат, − кивнул он в сторону поселка, спрятавшегося от взоров наблюдателей за хребтом, занятым разъездом Седых.

С наблюдательного пункта белого отряда от всего поселка виднелись лишь пара колодцев да несколько изгородей для загона скота. Загоны были пусты, возле колодцев не было заметно ни души.

Докатившись до подошвы, взвод на ходу перестроился в колонну по три и наметом пошел по ровному месту. Достигнув противоположной стороны долины и перейдя в шаг, взвод быстро вскарабкался вверх по скату и почти тотчас же скрылся за перегибом.

− Фу! − с облегчением выдохнул из себя воздух есаул. − Теперь я спокоен. Эй, тащи сюда пулемет, − крикнул он, сложив руки рупором.

Быстро и сноровисто снятый с вьюка пулемет уже через пару минут стоял, хищно притаившись за гигантским гранитным обломком среди густых зарослей цветущего багульника, плюща и дикого винограда. Кроме

пулеметчиков, на позиции оставались лишь сам начальник отряда, адъютант и гусар, командир пулеметного взвода.

Воцарившаяся тишина нарушалась только редкими пофыркиваниями лошадей и приглушенными окриками на них казаков.

Неожиданно, как-то сразу из-за обрывистого зубца отдаленной высокой сопки брызнул яркий, ослепляющий луч, матовым серебром отразившийся на гладком стволе пулемета, и через несколько мгновений на бледную небесную синеву начал выкатываться огненно-пурпурный солнечный диск.

Одновременно с этим из-за гребня, прикрывавшего поселок, поползла узкая темно-серая полоса, медленно вытягивающаяся, подобно змеиному корпусу, в направление наблюдательного пункта белого отряда. Невооруженным глазом стало скоро заметно, что это ползущее змеиное туловище подразделялось на отчетливо различаемые членики.

−Раз, два, три... пять... шесть, − медленно подсчитал есаул. − Шесть сотен, − обернулся он, вопросительно глядя на гусара.

− Верно, и я подсчитал шесть, − согласно кивнул головой последний.

За тыловой сотней показался ряд троечных подвод с какой-то кладью. Колонна красных двигалась по пади, выходя на ту дорогу, по которой недавно пришел белый отряд, видимо, безо всяких мер охранения, совершенно не подозревая об их близком присутствии.

− Наши будут, − с непоколебимой уверенностью обронил есаул, − это уж как пить дать.

− Многовато их больно, − с оттенком некоторого сомнения возразил адъютант, не отрываясь от бинокля.

− Ничего, ничего! Сейчас увидишь, как дед их в оборот возьмет, − усмехнулся начальник отряда. − Гляди уже проходят его...

Сухой треск пулемета, многократно повторенный многоголосым эхо в горах, падях и распадках, подтвердил уверенность есаула, что старик-хорунжий момента не прозевал и свое дело выполнил в совершенстве.

В хвосте колонны красных поднялась сильнейшая сумятица. Часть подвод стала заворачивать обратно в поселок, часть кинулась в сторону высоты, занятой есаулом с его отрядом. Вдоль конной колонны в разных направлениях заметались одиночные всадники. Одна из сотен целиком вырвалась из общего строя и полным карьером понеслась также прямо на наблюдательный пункт, инстинктивно стремясь удалиться от опасного места.

В два прыжка гусар подскочил к пулемету, оттолкнул пулеметчика и быстро повернул ствол в сторону несущегося противника.

− Стой. Не торопись! − раздалось спокойное предупреждение начальника отряда. − Бей пока в середину колонны.

Через секунду резко застрекотал пулемет гусара и стройное туловище змеи оказалось порванным в самой середине. Десятки всадников выска-

кивали в стороны и группами неслись в разных направлениях. Паника охватила весь красный отряд. Управление людьми выпало из рук начальников, и люди метались взад и вперед безо всякого смысла, охваченные лишь одним непреодолимым стремлением спастись, во что бы то ни стало выйти из сферы огня, найти какое-либо укрытие от беспощадного ливня пулеметных пуль, крестивших воздух во всех направлениях.

В двух местах часть конных даже спешилась, рассыпалась в цепь, залегла и открыла беспорядочный огонь по невидимому противнику. Голова колонны, никем не тревожимая, махнувшая рукой на принцип взаимной товарищеской выручки, взяла просто в нагайки и, оторвавшись от центра, полным махом уходила с поля сражения.

− Коня! − повелительно крикнул через несколько минут начальник отряда и, поворачиваясь к пулемету, скомандовал гусару:

− Теперь лупи по этим! Огонь!

На полугоре в сотне саженей от гребня показалась длинная линия всадников. Кони, вымотавшиеся на подъеме, тяжело храпели, широко раздувая кровавые ноздри. Всадники, лежа на седлах, ударами нагаек выбивали у лошадей последние силы, чтобы скорее взобраться на гребень, который своим кажущимся безлюдьем сулил им безопасность.

Свист стального бича, внезапно ударившего по неприятельским всадникам и вырвавшего из их рядов большое число жертв, явился ударом грома с чистого неба и уничтожил сразу всякую тень пригодности к сопротивлению. Послышались отчаянные крики «назад, назад», и уцелевшие конные фигуры стали быстро исчезать, торопливо спускаясь с горы.

− Полусотня за мной! − громовым голосом гаркнул начальник отряда в эту минуту, выпуская своего коня. − Крепче держать коней!

Дикий рев, гикание, свист и крики «ура», раздававшиеся за спиной отступавших, превратили их отступление в беспорядочное бегство. Кое-где лошади, потерявшие равновесие, либо споткнувшиеся о валуны, предательски скрытые под буйной растительностью, опрокидывались через голову и всадники летели с седел и разбивались о камни. Там и сям лежали кони с переломанными ногами, тщетно пытаясь подняться. Некоторые всадники, отчаявшись уйти конными, соскакивали с седел и, бросив винтовки, скатывались с горы на спинах или прятались в густых зарослях багульника, подползая под кусты.

Когда полусотня есаула спустилась в долину, перед ней оказалась лишь жалкая кучка от целой сотни, которую есаул и погнал прямо на остатки колонны противников.

− Молодец, дед, догадался! − указал он шашкой скакавшему рядом адъютанту на высоту, занятую перед тем стариком-хорунжием. – Не зевает!

От высоты по гребню параллельно движению отходившего противника быстро неслась небольшая группа конных, среди которой скакала

вьючная лошадь с пулеметом.

− Орел! − крикнул в ответ адъютант, перекрикивая топот коней. − Он им перцу прибавит. Теперь до Соктуя их не остановить...

Возвращаясь после преследования разбитого противника, есаул чувствовал себя на седьмом небе. Поставленная ему задача была выполнена в полной мере, причем вместо предполагавшихся двух сотен, он разогнал целых шесть. Потерь в отряде у него не было почти никаких, за исключением трех легко раненых и пары покалеченных лошадей.

Но когда в недалеком расстоянии уже замаячили крайние хаты поселка Мирного, у него вдруг сильно екнуло сердце, и неприятный холодок быстро пробежал по спине.

«Настя как?», − сверкнула тревожная мысль. Он попытался успокоить себя соображеньем, что в самом поселке никто не сражался, а следовательно, ей ничто не могло угрожать. Но тут же он опроверг сам себя, вспомнив все рассказы о кошмарном поведении большевистских комиссаров в занятых городах и селениях в отношении несочувствующих. «Вдруг ее взяли на подозрение за поездку в Борзю?!.»

При одной мысли о подобной возможности есаула всего кинуло в жар, и он почувствовал, как красная кровавая волна захлестывает мозг, туманя зрение. Он постарался взять себя в руки, сделал нечеловеческое усилие и, выпрямившись в седле, скомандовал ровным голосом:

− Прибавь шагу!

* * *

Во всех хатах поселка стали гаснуть огни, и лишь в двух-трех местах еще продолжали нарушать чернильную темноту безлунной ночи слабые отблески потухавших костров.

Словно завороженные ночной тишиной, мирно дремали лошади партизан, опустив низко к земле свои косматые головы. Временами доносился откуда-то из темноты неожиданный храп испуганного коня, вслед за которым следовал ленивый окрик сонного человеческого голоса:

− Тише! Черт!

Быстро проходила короткая летняя ночь, и начинал легонько потягивать прохладный, предрассветный ветерок. Третьи петухи уже звонко завели свою утреннюю перекличку, и только в одном окне домика поселкового атамана продолжал одиноко светиться слабый огонек. Возле овального обеденного стола подремывали вполглаза, свесив головы на грудь, оба караульных. Изредка вскидываясь во сне, они полуоткрывали глаза, но, убедившись, что пленница все еще находится на старом месте, снова поникали головами и продолжали мирно клевать носами.

Настя просидела всю ночь, упершись локтями в колени, судорожно запустив пальцы в свои густые, волнистые волосы, тихо, с регулярностью

маятника покачиваясь из стороны в сторону. Изредка из ее нервно сжатого рта вылетало подавленное восклицанье «Господи!.. Господи!» или просто тихие, едва слышные стоны.

Неразрешимая задача, поставленная молодой девушке безжалостным врагом, своей непереносимой тяжестью камнем давила на ее мозг.

То с ужасающей отчетливостью представлялось ее мысленному взору мертвое, залитое кровью тело отца − и тогда она вздрагивала и впивалась взглядом безумной в икону Богоматери, висевшую в углу над столом, в то время, как ее помертвевшие губы автоматически повторяли:

− Не попусти, Владычица! Не попусти, Владычица!

Минутами горячечное воображение рисовало ей с беспощадной четкостью полупьяную, наглую физиономию фабричного с вызывающе закрученными рыжеватыми усиками, причем явственно слышался его сиплый голос:

− Любви твоей желаю! Любви...

В эти минуты Настю потрясали приступы жесточайшего озноба и молодая, цветущая, здоровая девушка впадала в полуобморочное состояние для того, чтобы через некоторое время снова придти в сознание и снова без конца биться в заколдованном кругу тяжких переживаний.

Порой, словно маленькая, светлая искорка мелькала среди калейдоскопа бурнокрутящихся мыслей какая-то крохотная надежда на спасение, на какое-то чудо, но тот часже гасла.

Резкий, предрассветный утренник, ворвавшийся в открытое окно, отвлек на время внимание Насти от тяжких дум. Она невольно подняла опущенные глаза, воспаленные от бессонницы. Небо светлело и становилось прозрачным. Привычное для ее уха перекликание петухов шло вовсю. В предрассветной мгле начинались возня и чирикание воробьев. По всему поселку раздавались людские голоса и слышался топот копыт коней, выводимых на водопой.

Приближение момента рокового ответа подхлестнуло молодую девушку и придало ей новые силы. Она напрягла всю свою волю, чтобы собрать разбросанные мысли и почти мгновенно пришла к неожиданному, но непреклонному решению умереть. Жить обесчещенной, отказаться от любимого человека, который, несомненно, с брезгливостью отшатнется от нее, казалось ей выше ее сил.

В поисках способа самоубийства лихорадочно блуждавший взгляд молодой девушки остановился на столе, возле которого безмятежно подремывали красноармейцы. На середине стола лежал наган, положенный одним из караульных, спавшим откинувшись назад, на спинку стула. Другой похрапывал, охватив винтовку обеими руками.

Настя медленно и неслышно потянулась, встала и, как тень, неслышно пододвинулась к столу. Не спуская глаз с красноармейца, сидевшего к

ней лицом, она понемногу стала протягивать руку к револьверу и уже почти касалась его пальцами, когда взгляд ее встретил широкооткрытые глаза проснувшегося красноармейца. Последний мгновенно покрыл ее руку своей и, прижав к столу, свободной рукой сгреб наган, назидательно проговорив без малейшей тени насмешки:

− Брось, девка! Не балуй!

Покачиваясь, как пьяная, Настя медленно отошла от стола и тяжело опустилась на диванчик.

Конский топот за окном стал понемногу усиливаться и приближаться и вскоре в посветлевшей рамке окна вырисовались первые ряды проходивших всадников. За первой сотней прошла вторая, затем третья. Сколько их еще было, девушка не считала, охваченная одной доминирующей мыслью: «Сейчас он придет!».

Вслед за последней сотней потянулся длинный ряд троечных подвод с реквизированным зерном. Прошла последняя подвода, и вновь наступила тяжелая давящая тишина.

Проснувшиеся караульные недовольно позевывали, потягивались и протирали глаза. Один из них вскоре вышел на крыльцо, но тотчас же вернулся обратно. Лицо его выражало чувство полной растерянности.

− Чтой-то наши стреляют под самым поселком! Пулемет тоже, − недоумевая, развел он руками, глядя на товарища.

− Ишь ты, − как-то нелепо удивился тот, − пойти послушать.

Оба торопливо вышли на крыльцо, позабыв о своей пленнице. Настя быстро подскочила к окну и высунула голову наружу. Против воли растерянность красноармейцев влила в ее сердце целительный бальзам надежды.

С той стороны, куда только что прошел отряд красных партизан, кроме методического татакания пулемета, доносились и еще какие-то крики, приближающийся стук колес и топот сотен конских ног. Прошла минута, другая, третья. Сидевшие на телегах люди с искаженными от страха лицами и перекошенными ртами дико орали во всю силу легких:

− Семеновцы!.. Семеновцы!.. Семеновцы! – и неистово хлестали кнутами бешено мчавшихся лошадей.

Вслед за первыми подводами нестройной массой, по несколько телег в ряд неслись остальные повозки обоза. Пролетев домик поселкового атамана, две телеги сцепились осями и одновременно опрокинулись. На них налетели задние, и тотчасже образовалась каша из подвод, людей и лошадей. Получился непроходимый затор. Возницы начали соскакивать и убегать в соседние дворы, бросая лошадей.

В эту минуту с неистовым гиком и свистом показалась группа всадников в однообразной казачьей форме и желтых погонах. Впереди на сером коньке скакал старик-хорунжий, бешено размахивая шашкой.

− Стой! − скомандовал он, осаживая коня перед образовавшейся баррикадой.

В этот момент взгляд его упал на окно, занятое Настей, которая, конвульсивно вцепившись в подоконник, не спускала глаз с неожиданно явившихся спасителей.

− Батюшки мои! Никак Настя! − радостно раскрыл свои щелочки старик. − Здорово, милая! Принимай гостей! Сейчас и Андрюша будет.

Напряженные нервы ее не выдержали последнего резкого перехода от смертельной тоски к невыразимому счастью, и девушка медленно сползла с подоконника на руки подскочивших к ней караульных, бережно и почтительно подхвативших ее падающее тело.

Опубликовано и печатается по: Загоскин Д.В. Казаки: Рассказы. Харбин, 1936. С. 137-154.

ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Роб Рой шел эластичным, сдержанным галопом, разбрасывая по сторонам клочья густой белой пены, сползавшие с мундштука. Мягко покачиваясь в седле, Нина Анатольевна полной грудью вдыхала прохладный бриз, слабо доносившейся с моря сквозь плотную листву деревьев Александровского парка. Позади себя она слышала дробный топот копыт лошади грума, скакавшего в некотором отдалении.

– Groom, – на английский манер произнесла она вслух улыбнувшись, –groom… а имя – Трофим! Какая глупость! Как раз под стать этому малому, – вспомнился ей несколько придурковатый вид юноши, с какой-то собачьей преданностью таращившего на нее при встречах свои светло-голубые глаза.

Переведя лошадь в шаг, Нина Анатольевна инстинктивно повернулась в седле и встретилась глазами с пристальным взглядом грума, который он поторопился отвести в сторону, вспыхнув до ушей.

– Какая гадость! Только этого не доставало еще, – с брезгливой миной красивого рта передернула плечами молодая женщина, отворачиваясь. – Придется этого идиота прогнать.

Самолюбие одной из красивейших женщин Одессы было слегка «оцарапано» подобной смелостью какого-то ничтожества. Она могла квалифицировать ее как «наглость», требующую самого свирепого воздействия.

Но, по мере приближения к выходным воротам парка, гневные мысли стали понемногу блекнуть, заменяясь цепью приятных картин безоблачного настоящего и интригующих перспектив ближайшего будущего, щекочущих утомленные нервы избалованной женщины.

– Нечего торопиться, -– взглянула она на часы-браслет. – Пусть подождет мой милый флирт, – с высокомерной усмешкой подняла Нина Анатольевна верхнюю короткую губку, чуть-чуть затягивая поводья. – Не шалить! – ласково прикрикнула она на гунтера, недовольно мотнувшего головой в знак протеста против такого стеснения его порыва.

Вскоре показался скалистый берег Ланжерона и запестрели ряды вычурных дач и длинная зеленая крыша ресторана-веранды. Нина Анатольевна поправилась в седле, выпрямила свой стройный стан, словно облитый темно-зеленой амазонкой, и едва заметно тронула стэком Роб Роя.

Спускаясь по крутому спуску к морю, Нина Анатольевна заметила знакомую фигуру в белоснежном костюме и светлой панаме. Отделившись от стены, фигура двинулась ей на встречу.

«Ага! Караулит мой милый флирт! – пронеслась торжествующая мысль в голове красивой амазонки. – Посмотрим, что будет дальше».

Она продолжала ехать, не ускоряя шага лошади, бросая по сторонам рассеянные взгляды, и только в нескольких саженях от мужчины в белом равнодушное выражение лица Нины Анатольевны сменилось удивлением.

– Вот не думала никогда, что вы – такая ранняя пташка! – с ласковой насмешкой низким грудным голосом произнесла холодная женщина, делая приветливый жест стэком. – Я была более чем уверенна, что эти утренние часы вы посвящаете скучнейшим докладам об овечьей шерсти и виноградниках… Оказывается, вы, Пантелей Викторович, вместо того, как влюбленный гимназист, вздыхаете на берегу лазурного моря, – с искусственным пафосом закончила она, бросая поводья и соскакивая на землю без посторонней помощи.

Во время всей этой длинной тирады Пантелей Викторович Синанов, известный всему югу России под кличкой «виноградный король» и «овечий герцог», стоял молча, приподняв панаму, причем на его смуглом, горбоносом лице выступали попеременно то выражение недоумения, то злости.

– Но ведь вчера за обедом у Ржевских вы мне сказали, что около восьми часов утра вы каждый день ездите в сторону Ланжерона на прогулку, – сверкнув черными, глубоко прорезанными глазами, многозначительно подчеркнул Синанов.

– А-а, – иронически протянула молодая женщина, усмехаясь, – значит, «непобедимый» Синанов решил, что я ему назначаю свидание с места в карьер после месячного знакомства? Недурно! За кого же вы меня принимаете?

Темный румянец выступил на смуглых щеках собеседника Нины Анатольевны, но он быстро овладел собой и, подавив смущение, отпарировал тоном протеста:

- За прелестнейшую женщину Одессы и только! Нашу же встречу – за

счастливую случайность… для меня…

С веселым смехом взяла Нина Анатольевна своего собеседника под руку, говоря:

- Браво! Брависсимо! Премило вывернулись: по-рыцарски сказано. Мир! А в знак примирения разрешаю вам напоить меня лимонадом. Смертельно пить хочу!

Молодая женщина изящным движением ловко подхватила длинный трэн амазонки, обнаружив слегка узкий носок высокого лакированного сапожка с серебряной шпорой, и красивая пара двинулась, весело болтая к воротам ресторана, грум пристально, не отрываясь, беспокойным взглядом следил за нею. Он видел, как они прошли в ворота и повернули направо, миновали столики открытой веранды и подошли к низенькому зданию отдельных кабинетов. Он увидел, как к Синанову подскочил лакей и, что-то сказав, побежал вперед собачьей трусцой, и с низкими поклонами распахнул дверь, за которой все трое и скрылись. В светло-голубых глазах юноши появилось выражение беспомощной потерянности и застыло в них неразрешимым вопросом.

Через некоторое время тот же лакей вылетел из кабинета, куда-то побежал и вскоре вернулся с подносом, уставленным бутылками, снова вышел и встал неподалеку от двери, обмахиваясь салфеткой.

Не отводя глаз от двери кабинета, грум опустился на скамейку, держа в руках поводья, и усиленная мозговая работа отразилась на его лбу глубокой морщиной.

Красивая хозяйка была для него недосягаемым идеалом, божеством, которого не должна была касаться какая-либо непристойная, плотская мысль. Мужа Нины Анатольевны грум понимал как какой-то необходимый, неизбежным придаток к своей «королеве» и ровно никакого чувства ревности к нему не испытывал, принимая его как нечто узаконенное, а потому естественное. Настоящий же случай до основания разрушал все здание капища «согрешившей богини», и в разгоряченном мозгу юноши понемногу утверждался такой невероятных хаос мыслей, что он только нервно сжал виски обеими руками и, упершись локтями в колени, так и застыл в позе безысходного отчаяния.

Прошло около получаса, как неожиданно над самой головой раздался смеющийся голос хозяйки:

– Да он, кажется, спит!

* * *

Нина Анатольевна и сама не отдавала себя ясного отчета в том, что именно подвинуло ее на такую не совсем приличную «эскападу» с Синановым. Физического влечения к нему, вообще холодная по натуре, она никакого не испытывала. Скорее всего, влекло ее властолюбивое стремление

видеть шествующим за ее «победной колесницей» миллионера, на которого со всех сторон шла планомерная, продуктивная охота всех местных «Дев».

К мужу, представительному и корректнейшему, «гоноровому» Мечиславу Мечиславовичу Подгорельскому, Нина Анатольевна относилась весьма «прохладно», и, если не изменила ему ни разу за пять лет совместной жизни, то произошло это частью от лени, частью от отсутствия темперамента, так как кандидатов на звание «фаворита» признанной красавицы города вокруг нее вертелось великое множество.

– Какая ты ледяная! – нервно жестикулируя и волнуясь, часто говорила ее приятельница баронесса Штрамм. – У всех порядочных женщин Одессы имеются любовники, одна ты, как пальма в аравийской пустыне, живешь без толку: ни себе, ни людям. Даже у моей старшей горничной Юлии, – хохотала она, – двое: пожарный и какой-то писарь. На что уж она личиком не вышла…

– Дорогая, Катишь, – лениво улыбаясь, отшучивалась обыкновенно молодая женщина, - довольно с меня моего почтенного супруга. Не имею ни малейшего желания вносить в свою жизнь какие-то лишние треволнения. Мое душевное равновесие мне дороже всего...

И в настоящем случае молодая женщина не собиралась доводить завязавшейся интриги до конца, предполагая ее капризно оборвать, когда этот флирт ей надоест. Но пока эти «случайные» встречи тешили и льстили ее самолюбию, свидания на Ланжероне стали временами повторяться, и так тянулось дело почти целый месяц

Грум худел, бледнел и, видимо, изводился от терзаний мучившей его ревности.

– Что это ты, Трошка, ходишь точно дюжину мух заглотал? – зубоскалил в людской старший кучер Иван Степаныч. – Человек ты молодой, собою видный, ездок, можно сказать, первеющий… А поглядишь на тебя – плюнуть хочется!

– Должно быть, Трофим Макарыч влюблены, – фыркнула в передней шустрая горничная Даша. – Это, сказывают, завсегда так бывает, значит, без взаимности… Другие так даже руки на себя накладывают от любви от этой самой, – поучительным тоном заключила она свою речь.

– Ну, и дураки! – отрубил словно припечатал старик лакей. – Из-за бабы... Тьфу! Драть таких надо!

– Какая баба, – многозначительно подчеркнула горничная и кокетливо повела плечиком.

– Правильно, Дарья Петровна! – поддержал ее кучер, косясь на «обильный» бюст шустрой девушки.

Из всех присутствовавших в людской один лишь грум не принимал участия в интересных дебатах, продолжал сидеть «ровно столб соляной»,

по определению стряпки, и относясь с полным безразличием к шуткам и приставаниям сослуживцев.

Почти все свободное время проводил он в конюшне с лошадьми, замывая, скребя и зачищая их без конца. Особенного же внимания удостаивал грум светло-гнедого гунтера Роб Роя, холя и натирая его до золотистого глянца, словно желая усиленной работой отвлечь себя от какой-то idée fixe, крепко овладевшей его мозгом.

Тем временем свидания на Ланжероне шли своим чередом и понемногу превратились в ежедневные...

Грум, наконец, не выдержал, и, выбрав время, когда Нина Анатольевна выехала из дому с визитами, зашел на господскую кухню и потребовал от горничной, чтобы она доложила «самому барину» о его приходе.

– В посаженные отцы Мечислава Мечиславовича просить пожаловали? – ядовито полюбопытствовала Даша, обиженная на грума за равнодушие к ее прелестям.

– Иди, иди, язва! – мрачно подтолкнул ее в спину грум. – Не твое дело…

* * *

Крупный одесский делец Мечислав Мечиславович Подгорельский-Збышко больше всего в жизни ценил: во-первых, деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих, деньги, а в-четвертых, свою супругу Нину Анатольевну. Последнее, т. е. Нину Анатольевну, ценил он, главным образом, потому, что она своей красотой невольно содействовала попаданию этих самых денег в карман Мечислава Мечиславовича. В этом отношеннии Мечислав Мечиславович стоял на так называемой «практической» точке зрения, рассуждая не без основания, что там, где сам дьявол ничего поделать не в состоянии, зачастую может помочь только женщина.

От Нины Анатольевны требовалось поэтому красиво председательствовать на интимных обедах, даваемых Подгорельскими разным промышленным, торговым и административным «тузам», эффектно блистать «родовыми» бриллиантами в ложе бенуара и затмевать своей красотой дам местного бомонда, привлекая всем сказанным к своим изящным ножкам тех или иных персонажей, необходимых Мечиславу Мечиславовичу в его «игре».

Порою люди, любящие совать свой нос в чужие дела, задавали аборигенам города, близко знакомым с Подгорельскими, вопрос:

- А скажите, пожалуйста, на какия средства так широко живет ваш знакомый?

В большинстве случаев ответы получались мало вразумительные, причем обыкновенно упоминались богатейшие каменноугольные копи на Урале, рыбалки на Белом море, четырехэтажные дома в Варшаве... Словом,

делались ссылки на такие статьи дохода, до которых скачи – век не доскачешь.

Менее деликатные или же прирожденные скептики обычно отделывались кратко:

- А черт его знает... Может быть, фальшивками торгует, а может быть, и девчонок в константинопольские лупанары поставляет... Темная копейка...

Но так как добрая половина Одессы искони состояла из «темных копеек», то применить остракизм к Подгорельскому никому и в голову не приходило, и он продолжал спокойно процветать, собирая на своих обедах, славившихся особой изысканностью, сливки местного общества.

В сношениях с людьми Мечислав Мечиславович корректностью отличался самой совершеннейшей, слова цедил сквозь зубы с надменностью английского лорда и прислуге своей всегда говорил «вы», даже кучеру: чем тот чрезвычайно гордился.

После того, как Мечислав Мечиславович с непроницаемым лицом прослушал несколько несвязный рассказ грума о конспиративных встречах на Ланжероне, на его благообразной физиономии, украшенной длинными, пышными бакенбардами, не дрогнула ни одна жилка. Он спокойно поднял глаза на болезненно-худое лицо доносчика, с полминуты подумал и, сделав величественный жест рукой в сторону двери, раздельно обронил лишь два слова:

– Можете идти.

В тот момент, когда грум уже открывал дверь, чтобы выйти, за спиной его раздался металлический голос, проговоривший с угрозой:

– И не болтать!..

Несколько минут Мечислав Мечиславович сидел, задумавшись, перед своим огромным письменным столом, заваленным толстыми цветными папками с «делами», о чем-то размышляя, что-то взвешивая. Затем он сразу вскочил на ноги, с юношеской стремительностью пробежался раза два по кабинету, вульгарнейшим образом щелкнул пальцами в воздухе и рассмеялся.

* * *

Пантелей Викторович Синанов быстро распахнул дверь знакомого кабинета ресторана и обомлел на пороге... Вместо ожидаемой Нины Анатольевны, на него смотрело с дивана любезно-ухмыляющееся лицо Мечислава Мечиславовича.

– Вы?.. Вы? – машинально вырвался у него вопрос.

– Разумеется, я, собственной своей персоной, – весело осклабясь, произнес Подгорельский, вставая с дивана и дружелюбно протягивая руку. – Вот если бы вместо мужа вы здесь нашли жену, – как будто ни с того, ни с

сего прибавил он, продолжая улыбаться, – тогда я бы еще понял ваше удивление, дорогой друг.

– Позвольте, позвольте... причем здесь Нина Анатольевна? – растерянно пробормотал Синанов. – Я не понимаю... я...

Усмешка продолжала змеиться на тонких губах Мечислава Мечиславовича, но одновременно с этим карие с прозеленью глаза его жестким взглядом буравили лицо собеседника.

«Понимаешь, брат!», – отчетливо говорил этот взгляд, в то время как он шутливым тоном ронял слова объяснения:

- Это я так... к слову... А за словом пойдет дело, – уже совсем откровенно рассмеялся Подгорельский. – Очень, очень рад нашей «случайной» встрече, – подчеркнуто произнес он слово «случайной». – Я рассчитывал встретиться здесь с другим лицом, но, раз уже нас столкнула судьба, я попрошу вас оказать мне небольшую дружескую услугу

– Весь к вашим услугам! – нерешительно поклонился его собеседник, стараясь овладеть собой и понять, к чему клонится весь этот разговор.

Мечислав Мечиславович вопросительно уставился на Синанова.

– Мне бы крайне хотелось иметь ваш автограф, дорогой друг, – полушутя, полусерьезно заговорил он после небольшой паузы, вынимая из бокового кармана пиджака пачку вексельных бланков. – Между нами говоря, – понизил он голос, – моя Нина Анатольевна наделала за последнее время порядочно-таки долгов, чем поставила меня временно в затруднительное положение...

«Почему он опять упоминает про Нину? – молотом загвоздила в мозгу Синанова тревожная мысль. – Он что-то знает или подозревает...»

Но вслух он только повторил:

– Весь к вашим услугам.

Подгорельский небрежным жестом бросил на стол пачку бланков.

– Сколько? – решительным тоном справился собеседник, доставая самопишущее перо.

– О, пустячок!.. – успокаивающе поднял Подгорельский обе руки ладонями к верху. – Пятьдесят тысяч всего, но как на грех сегодня у меня срочный платеж.

Не раздумывая ни секунды, Синанов торопливо подписал векселя и отодвинул их от себя.

– Merci, – небрежно засунув пачку в карман, процедил сквозь зубы Мечислав Мечиславович и, сухо кивнув головой, вышел из кабинета.

– Какой отпетый мерзавец! – гадливо поморщился Синанов. – Бедная Нина!.. – невольно вздохнул он, сжимая кулаки.

* * *

С удовольствием проглотив последнюю ложечку земляничного кре-

ма, Мечислав Мечиславович медленно поднял глаза на жену, задумчиво помешивавшую свой послеобеденный кофе, и заговорил веским тоном с подчеркивавшими и многозначительными паузами:

– Милая Нина... вы бы очень обязали меня, если бы прекратили... ваши утренние прогулки в... сторону Ланжерона... Они мне не нравятся...

Сквозь тонкую кожу молодой женщины пробился нежный румянец и волной разлился по лицу. Некоторое время она молчала, словно не решаясь задать интересующей ее вопрос. Затем высокомерным движением она высоко вздернула красивую головку и, презрительно глядя в бегающие глаза мужа, спросила спокойным тоном:

– Почему?

Мечислав Мечиславович нервно заерзал на стуле, понемногу утрачивая свой надменно корректный вид, побагровел почти до синевы от сдержанной злости и, наконец, не выдержав, крикнул визгливым, сорвавшимся голосом:

– Я так желаю... Тысяча дьяволов!

Молодая женщина медленно поднялась, смерила мужа оскорбительным взглядом с головы до ног, криво усмехнулась и, не произнеся ни слова, вышла из столовой.

* * *

Нина Анатольевна навзничь лежала на низеньком турецком диванчике в своей гостиной, заложив руки за голову. Она тщательно обдумывала спортсменский костюм для очередного яхт-клубского пикника…

– Барыня, вы не спите?.. Барыня! – неожиданно раздался за ее головой прерывистый шепот вошедшей Даши.

Молодая женщина лениво повернула голову и встретила взглядом исковерканное ужасом лицо своей горничной.

– Что случилось? – на мгновение теряя самообладание, тревожным звуком отозвалась Нина Анатольевна, садясь и спуская ноги с дивана. – Да говори же, наконец, толком! – повелительно прикрикнула она на Дашу, дрожавшую всем телом, словно в жесточайшей лихорадке.

– Трофим… Назарыч... повесились... – стуча зубами, раздельно выдавила из себя горничная. – На вожжах... в конюшне...

Нина Анатольевна в полном недоуменна широко раскрыла свои темно-серые глаза и на секунду даже усомнилась, в здравом ли уме ее собеседница.

– Какой Трофим Назарыч?.. Зачем повесился? – машинально переспросила она, пристально вглядываясь в лицо Даши.

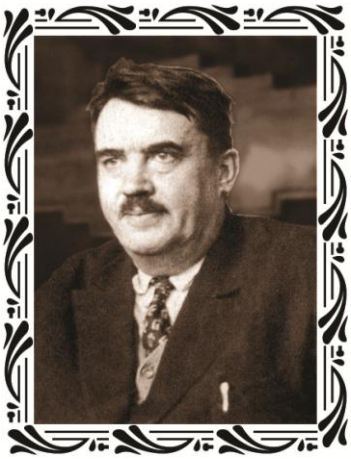
– Грум ваш... Трофим... На вожжах... – бессвязно продолжала лепетать девушка. – Барин их после завтрака рассчитали, а они... возьми да повесься...

Едва заметная тень недовольства проскользнула по красивому лицу Нины Анатольевны, и, пренебрежительно усмехаясь, молодая женщина сухо отчеканила:

– Умный человек не повесится... Вот что, – после минутного раздумья приказала она, – передай кучеру, Даша, чтобы завтра к восьми часам утра мне была бы подана маленькая пролетка… Да вытри слезы, а не то подумают, что ты была влюблена в этого... как ты сказала?.. да, Трофима, кажется?

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1937. № 9. С. 1-4, 6, 8, 10.

Хрестоматия



Всеволод Никанорович ИВАНОВ *(1888-1971)*

Писатель, журналист и общественный деятель Всеволод Иванов родился 7 ноября (ст. ст.) 1888 г. в городе Волковыске Гродненской губернии в семье уездного учителя рисования. Окончил Костромскую гимназию и историко-филологический факультет Санкт-Петербурского университета. Участник Первой мировой войны. Работал в газетах Перми («Народная свобода», «Сибирские стрелки»), Омска («Наша газета», «Сибирская речь»), Владивостока («Слово», «Вечерняя газета»). В 1922 г. эмигрировал в Китай. Сотрудничал в газетах «Свет» (Харбин), «Русское слово» (Харбин), «Гун-Бао» (Харбин), «Заря» (Харбин); журналах «Рубеж» (Харбин), «Понедельник» (Шанхай) и др. Уехав в Шанхай и получив советское гражданство в 1931 г., работал в шанхайском отделении ТАСС. Автор книг «В гражданской войне. Из записок омского журналиста» (Харбин, 1921), «Крах белого Приморья. Из записок журналиста» (Тяньцзин, 1927), «Мы. Культурно-исторические основы российской государственности» (Харбин, 1926), «Рерих – художник, мыслитель» (Рига, 1937), «Огни в тумане: Думы о русском опыте» (Харбин, 1932), «1905 год: Роман молодой души» (Харбин, 1929), «Повесть об Антонии Римлянине» (Харбин, 1932), «Поэма еды» (Владивосток, 1921; Харбин, 1928), «Беженская поэма» (Харбин, 1926), «Сонеты» (Токио, 1922; Харбин, 1930) и др. В феврале 1945 г. вернулся в СССР, жил в Хабаровске, где продолжал заниматься литературным творчеством. Умер Вс.Н. Иванов 9 декабря 1971 г. в своей постели. Врачи констатировали запущенный диабет, на который наложилась пневмония. Похоронен на Центральном кладбище Хабаровска.

Ист. и лит.:

Официальный сайт писателя // www.Vs-N-Ivanov.narod.ru.

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник. М., 2006. С. 281-282.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 134–135.

Якимова С.И. Жизнь и творчество Вс.Н. Иванова в историко-литературном контексте XX века. Хабаровск, 2001. 258 с.

1905-Й ГОД. РОМАН МОЛОДОЙ ДУШИ
(Отрывок из романа)

Вторая глава

Домохозяин Чечевицын, кривой, редкозубый и редкобородый, сидел целыми днями в своей лавчонке «Торговля чаю, сахару и бакалеины», как значилось на вывеске, а Переломовы жили у него в соседнем домике. Псы заливались, лаяли, чего же им, псам, делать, а Николай обошел кругом домика с закрытыми ставнями за стрекозиными прыжками босой по ледку Федосьи и, поднявшись по темной, залитой помоями щербатой лесенке, стал щупать, где отстало ухо у обитой войлоком двери. Потянув за войлок, он ступил в низенькую переднюю. Прямо, в столовой, где висела семейная гордость – яркая керосинокалильная лампа «Молния», было темно. Значит, отца еще не было дома. Направо, в комнате с лежанкой, у лампы с

зеленым колпаком сидела бабушка Настасья Ивановна и, шевеля губами, читала «газетенку» «Русское Слово». Она была москвичка, истая и неистовая, и потому никакого другого органа печати не признавала. Из комнаты дышало жаром – она очень любила, чтобы у ней было потеплее. В комнате налево, за ломберным столом, озаренный керосиновой лампой с синим стеклом, младший брат Константин выжигал по дереву. Белый дым струился из-под раскаленной докрасна иглы, пшикала резиновая груша, но он стоически выносил едкость гари и только морщил свой приплюснутый нос. Он хорошо рисовал, и отец, посылавший работы своих учеников в Академию Художеств, гордился тем, что Костя получил оттуда похвальный отзыв, из которого он, впрочем, немедленно устроил крестовку (змея), соблазненный добротностью бумаги.

– Ты, Колюшка? – спросила бабушка, сдвигая очки на кончик носа, и исподлобья всматриваясь в темноту серыми глазами.

–Я, – ответил кряхтя, Николай, снимавший в это время пальто. – Ужинали?

– У нас, брат, сегодня и ужин – каша жареная! – звонко расхохотался Константин. – Не больно попотчуют!

– Попотчую я вас, ребята, об лавку носом, – весело сказала бабушка, снимая на момент очки и набивая ноздри табаком; она любила нюхать табачок. – Ишь, разносолы, котлеты вам подавай.

– Где папа? Не вернулся еще? – спросил Николай, входя и причесывая гребенкой длинные волосы. Расстегивая пояс и курточку, он уселся на сундук, стоявший в голове высокой перинной бабкиной постели и в этом разделанном под орех объеме хранивший богатства бабки.

– Отец-то? Завей горе веревочкой, загни его колечком, – отвечала старуха, добродушно непочтительно отзываясь о своем единственном сыне. – Где? Конечно, ухрял – все туда же!

– Опять, значит, будет выпивать, – мрачно заметил Николай, сдвинув вместе носки сапог и смотря на них прищуренным глазом.

– А как же! — гневно всколыхнулась бабушка. – Нужно же с муженьком компанию держать... Намедни, сам помнишь, утром какой явился, в «реальную» не пошел. Записку написать – не может… А все она змея подколодная, все она!

У Николая Переломова всякий раз, как подходили к этому пункту жизни переломовского семейства, замирало сердце. Простой и прямой, в то же время подсматривающий за самим собой каждую минуту, он чувствовал, как у него останавливается дыхание; отчасти это было известное почтение к отцу. Что бы там ни говорили в гимназии и в кружках, так же ясно и просто, как чувствовал он голод, жажду, усталость, радость, он чувствовал, что отец выше его, что в том истоке событий, который грохоча несется мимо и называется жизнью, отец стоит впереди его. Будет время, он это

знал, когда ему придется столкнуться с этим потоком самому, но теперь, пока, как в тишине оранжереи, в его душе расцветали самые диковинные цветы, он был за спиной отца. Поэтому он не мог не подчиниться внутренне отцу. Но, кроме этого чувства бережной любви к своему родителю, в таких беседах его обуревало еще другое, сложное и темное чувство.

Это было чувство заглядывания в бездну, в пучину отношений к женщине... Застенчивый, он просто не понимал товарищей, когда они говорили так о женщинах. Их разговоры, самые неожиданные предметы и фотографии, которые они таскали с собой в класс, не то чтобы не интересовали его. Они просто казались ему декорацией, внешностью иных, более глубоких, сложных и страшных отношений, которые он знал, но которые, как бы насыщая воздух, носились кругом. В романсах отца, которые он напевал в своем кабинете, в углубленном его голосе, когда он говорил с м-м Фиониной, в том его настроении при уходе, по которому можно было угадать безошибочно, куда он идет, во взрывах буйной отцовской ласковости, являвшейся иногда, или наоборот – в его подавленности и суровости, Николай чувствовал какой-то особый, сложный, затягивающий мир, которого хотя он и не знал, но слышал вот так, как иногда ясно слышат в море, далеко от берега, страстный, сладкий, тяжкий дух цветущей земли.

Этой повинности подлежали все. И Федосья, у которой отец однажды извлек из-под кровати соседнего сапожника, присутствие которого учуяла по сапожному духу бабушка. И белошвейка Катя, не раз о чем-то горячо совещавшаяся с бабушкой и жалко плакавшая, утирая нос заказом. Да, наконец, и сама бабушка, начавшая как-то рассказывать, какие красивые шинели носили когда-то студенты, и в пример приведшая такого одного медицинского студента, у которого она испугалась пепельницы-черепа, вдруг коротко как-то рассмеялась и замолчала, поджавши губы.

Он понимал всю сложность этого положения, но ничего не мог выразить или посоветовать, когда бабушка, снявшая черной проволоки очки и аккуратно, с придыханием задвинувшая очешник, гневно наклонясь к нему, взволнованно говорила:

– Колюшка-батюшка! Я понимаю, он мужчина еще в соку, ему баба нужна. Да он – слава Богу, за него всякая пойдет. Нешто мало ему на шею вешалось... Вот француженка, Алиса Петровна-то, уходить не хотела. Я ему говорю: «Антонушка, да ты о детях-то, о вас подумай…Ну, хорошо, возьмешь ты ее со всем хвостом, сраму не оберешься... Да и до своих руки не дойдут…». Нет, против твоей матери, Колюшка, против Елены Васильевны, что ушла она от Антона, большое у меня горе...

– А где она, бабушка? – спросил тихо Николай.

– Где? Ну и живет с ним, ну с этим, знаешь?

Николай молча кивнул головой. Этого он не знал, но об этом дога-

дывался.

– Ну так-то живет и живет, а ведь твой отец, прости Господи, как дурак около своей крали ходит и не видит того, что люди просмеяли… Намедни пошла я к инспекторше Зинаиде Николаевне – славная такая – чайку попить. А она инда заплакала: «Матушка, – говорит. – Настасья Ивановна, – говорит. – Да как-же, – говорит, – это Антон-то Николаич... Ведь мне детей жалко», – говорит!..

– Ну, не ея это дело, – насупился Николай, вспоминая припудренную, чуть подрисованную «инспекторшу» с глухим воротником черного платья, мысочками, ехидно поднятыми к самым мочкам восковых ушей. – Чертова кукла.

– Я тебе скажу, Колюшка-батюшка, – низко наклоняясь к нему, проговорила бабушка. – Я намедни-то ездила на богомолье... Спасибо, хозяин научил – Чечевицын: «Вы, – говорит, – Настасья Ивановна, съездите к старичку одному, колдует и гадает он хорошо Он, – говорит, – это дело сразу вам обтяпает и Антона Николаича ослобонит. Антона Николаича мне очень жалко, – это про отца-то, – очень чу, образованный барин», – говорит. Хорошо! Поехала это я, доехала до станции Кузьмовны, слезла. А Катя, белошвейка, со мной, говорит: «Барыня, а дальше как?». Ну, сбегала она, наняла дровни, поехали в деревню. Подъехали, спрашиваем: «Где Егор Геннадьич живут?». Показали... Хорошо живет. Горница высокая, по стенам да по полатям все травы какие-то развешаны. Худой такой мужчина, постный. Выслушал он меня – как, что и почему, посмотрел вот так в ковшик с водой и говорит: «Вижу, – говорит, – что сделано, – говорит, – ему на пиве. Где-то пил, вот и околдовали...».

– Ну и что же?

– Да вот что... – и бабушка Настасья Ивановна, поднявшись с кряхтением со стула, со звоном отомкнула сундук, достала оттуда зеленую бутылку пива «завода Дурдина» и, торжественно показав ее, спрятала обратно.

– «Вот, – говорит, – это, – говорит, – пиво отобьет все! Дайте только выпить раз и все кончено. Как рукой снимет... Пивко-с». Теперь она, сука, у меня сына не отобьет.

Николай расхохотался.

– Вот штука-то, ха-ха-ха-ха! Так, значит, пивом пиво вышибай. А сколько надо выпить?

– Дура-ак, дура-ак! – укоризненно протянула улыбавшаяся бабушка.

Глухая возня, стук замка – и слышно было, как вошел отец. Он шуршал за стенкой пальто, потом прошел в столовую и долго сморкался. Из притворенной бабушкиной двери лился красный свет лампады и слышался громкий шепот. Она молилась.

Отец медленно, ощупью вошел к ним, наклонился сначала к Косте, а

потом к Николаю, который притворился спящим. Отец перекрестил сына и наклонился, чтобы поцеловать его; Николай явственно услыхал, что от него пахло табаком, водкой и духами той.

Отец вышел, а Николаю захотелось сжаться под одеялом в маленький-маленький комочек и заплакать. Почему его мать не с ним? Почему-то она живет где-то в Польше, имеет свою семью. Почему она не с ними, с ее детьми? Почему их отец занят той? Почему каждый болван смеет так неосторожно прикасаться к ранам сердца?.. Где же семья, как стена нерушимая?

И ему захотелось завыть под одеялом от сдерживаемой тоски. Так легче... становится совсем легко, если шепотом сказать стих Лермонтова:

Прочь, прочь, слеза позорная,

Кипи, душа моя!

Успокоившись, он вытянулся, устроился поудобнее и, замолчавши мыслями, готовился уже кануть в таинственном море сна. Уже в ушах что-то зазвенело, уже поплыли сливающиеся, переходящие один в другой образы, как вдруг он вздрогнул: басом, обрывисто прорезав глухую ночь, нагнетая с силой воздух, такие необычайные – ударили два выстрела.

Залились, зазвенели, заголосили собаки. Волны собачьего лая разбежались по всей Нижней Дебре, поднялись по Богословской и по Губернаторской горам, добежали аж до Русиной и утихли где-то далеко-далеко под мелодичный перезвон часов Кафедрального собора.

Николай приподнялся было на локоть, перекрестился и медленно опустился в сон, в тишину под жаркий шепот бабушкиной молитвы, не помня ничего до тех пор, пока весеннее солнце не уперлось ему прямо в кровать…

Этими весенними мартовскими утрами было так ясно в столовой. От яркого солнца крутые листы фикуса и лапчатые рододендрона просвечивали ярко зеленым. На старую клеенку стола, на чашки, стаканы, на желтый самовар лился беспощадный, веселый свет, и чувствовалось, что за окном должны весело завести свое бормотанье несущиеся по улицам вешние ручьи.

Николай, стоя, отхлебывал из стакана горячий чай и листал учебник всеобщей истории. О, кто когда запомнил бы их, все эти реформации, реакции, всех этих чужих королей…

Федосья вошла невольно.

– Коля, тебя там товарищ спрашивает, – позвала она.

И веселый, оживленный крепким молодым сном, чувствуя, как легко ступают ноги, он спрыгнул с лестницы прямо на доску, что по кирпичам рассстелена была в луже, пустив кругом целый фонтан брызг.

– Пошел к черту! – пробурчал сосавший папироску его одноклассник, плечистый, атлетического сложения Алексей Прозоров. – Дело, брат,

есть…

– В чем дело? — беззаботно спросил Переломов. – Сказывай, девушка, сказывай!...

Но вглядевшись в нахмуренное лицо Прозорова, в его прыгающие губы – он остановился:

– Что с тобой, Алексей? Что случилось?

– Сегодня ночью убит Вася Усов, – сказал Прозоров и неожиданно заплакал, что так не шло к нему…

Человеческая душа – инструмент, первый звук которого кажется неожиданным и пугает. Факты, о которых раньше знали, предстоят в необычности грозного сознавания… Николай Переломов знал, что такое смерть; он никогда не забыл впечатления холода, которое он испытал, прикоснувшись к лобику умершей сестры Люды. Но впервые в сознательном возрасте ударила так близко от него молния смерти.

Первое, что он вспомнил, было то, что Василий оставил у него после гимназии свои ноты, и значит, он их больше никогда не возьмет. И он невольно содрогнулся от лика этого «никогда».

– Где же он теперь? – уставившись в припухшее, обветренное лицо Прозорова, спросил Переломов. Он хотел спросить-то «кто убил», но отзвук мысли об уходе Васи вылился в форму такого вопроса.

– Лежит в полицейском участке на Никольской. Убил его вчера на берегу Волги часовой у интендантства, – отвечал Прозоров и покачнулся. Видимо, он едва держался на ногах.

– А с тобой что? Ты не спал что ли?

– Пойдем-ка, брат, лучше туда, – указал Прозоров на окно сеновала. – Я тебе все расскажу.

Приятели взобрались по шаткой лестнице на сеновал, свиной, мерзлый еще воздух которого был неприятен; сквозь щелястые стены пробивалось солнце, и в нем плясали радужные пылинки.

Прозоров присел на порожке и нервно закурил.

– Видишь ли, вчера поздно вечером собрались мы на массовку на берегу, около акушерки. Прошли мы с ним, ничего не заметили; паролем был «Иван Иванович». Нас провели, собрались вот так же на сеновал.е Нинка Лебедева говорила, толково говорила: «Бастовать, – говорит, – нужно». А Василий и говорит мне: «А ну их к черту, пойдем лучше выпьем пива...». Вышли на улицу, прошли в Дурдинскую портерную...

«И сделано это ему на пиве», – вдруг невольно пронеслось в голове Николая.

– Только присесть успели – полиция. Этот пристав рыжебородый – Слободской-то, сволочь, врывается. «Вот, – говорит, – они оттуда вышли... Бери их». Василий раз ему по глазу, да бежать! «Беги, – кричит, – Алешка!».

Куды тут бежать... Меня сразу схватили, в участке заночевал. А потом смотрю, и его приносят. Он побежал к Волге, городовые за ним; и набеги он на часового... Тот ему крикнул: «Стой», да и пристрелил...

Вот какие выстрелы слышал ночью Николай. Значит, тогда умирал Василий...

И день как-то словно потемнел вокруг Николая. Не стало Николая. Не стало ни солнца, ни весны. Какие-то сложные нити забот вступили в душу.

Подымалось черное светило. Надо бы действовать.

– Кто еще арестован? — спросил отрывисто Николай.

– Были, что в сарае заседали, да их всех выпустили, – отвечал Прозоров. – Анютка Матвеева была, знаешь, красная малинка, потом Серега Огородников. Много на вели, целый участок. Инспектор наш, Алексей Семеныч пришел, начальница из женской. Переписали и выпустили.

– Ну вот что, – сказал Переломов, – ты иди в мою комнату, спи, а я в гимназию пойду...

– А Антон-то Николаич ушел?

– Должно быть. Ему сегодня к первому уроку. Иди!

Но Переломов-старший не ушел, как раз он спускался со щербатой лесенки, когда два приятеля наскочили на него.

– Здравствуйте, молодые люди, – приветствовал он их, медленно закуривая папироску. – Что ж это вы делали на сеновале? Опять очень важное совещание?

Алексей подошел к нему, шаркнул, подал руку. А Николай вдруг взволнованно, потеряв власть над собой, выкрикнул:

– Пап! Сегодня ночью негодяй-солдат убил Васю Усова!

– Что ты городишь вздор! – оторвался от своей папироски отец.

– Да, убил! Убил за то, что они забрались на сеновал тоже для обсуждения своих нужд. Что ж ты на это скажешь?

И Николай в упор смотрел на отца.

– Я, Коля, ничего не скажу! – серьезно ответил отец. – Успокойся и не повторяй прокламаций.

– Да тут и за оружие скоро возьмешься, – истерически выкрикнул Николай и бросился в дом. Отец раздумчиво зашагал в ворота.

Уложив Прозорова на свою кровать, Николай схватил книги, нахлобучил фуражку и помчался в гимназию.

У Николая было два разряда товарищей; с одними он сходился, потому что они были начитаны, образованы, с ними было возможно поговорить. Но он не любил их. Его, напротив, тянули к себе такие простые, спокойные, крепкие люди, как Алексей. Они умели хохотать во все горло, и, если говорили неприличности, то и те не звучали у них отвратительно

грязно. Алексей, например, переплывал Волгу, выжимал пятипудовые мешки… и мог бросить камень так, что тот выл в воздухе. Ни на какие сходки он не ходил и поперся на массовку только потому, что его, наверное, потащил покойный Василий. «Покойный», – подумал Николай, и холодок смерти опять дунул ему в лицо. И Василий-то был противник всех этих массовок, сходок, «истерик», как он говорил, которыми засыпали в тот год учеников гимназии. Начитанный, отличный музыкант и острослов, он умел звонко хохотать над какой-нибудь отчаянной речью той же Нинки Лебедевой в белой шапочке, которая всегда проповедовала малосознательным. «По моменту», наверно, Василий пошел туда, чтобы посмеяться над этими «одержимыми».

Но теперь как-то все это сплыло из сознания Николая, и только одно – месть во что бы то ни стало – жгло ему сознание. Сейчас-же собрать всех в гимназию. Объявить протест. Забастовать. Пусть Аарон скажет там открыто свои слова, что говорил вчера… Прав, тысячу раз прав Аарон. Да, так продолжаться не может.

Он уже вскочил на Муравьевку и бежал, не разбирая луж, в разлетающемся, не застегнутом пальто.

– Эй, Переломов!

Навстречу ему без пальто неслись Соколов Павел и Альбицкий. Сзади неспешно в щегольской фуражке с невероятно большим дном, задранным над тульей, с крохотным гимназическим гербом вышагивал Корольков. Было еще человека четыре.

– Вы куда?

– Ты слыхал? – возмущенно жестикулировал Соколов Павел. – Фараоны убили Усова! Идем к нему в участок.

Внутренне досадуя на себя, что сам не додумался до этого, Переломов помчался вместе с ажитированной парой.

Участок недалеко, на Никольской. Это было невысокое каменное белое здание Николаевской архитектуры; Николай отлично знал его три последних, наполовину заложенных кирпичом ампирных окна с решетками. Обыкновенно, при проходе мимо можно было оттуда услышать ужасающую, богохульную русскую ругань или не менее свирепые протесты против существующего строя. По ступенькам лестницы у фасада, между тем, важевато и чинно двигались городовые в несокрушимых сапогах и в резиновых калошах. И тот же покойный Василий, как-то раз проходя мимо этой роковой для него лестницы, кинул, весело играя глазами:

– Помнишь, в «Сне Якова»? Ангелы восходят и нисходят.

Теперь на ступеньках стояла небольшая кучка гимназистов и гимназисток. Все толпились вокруг одной горько плачущей девочки, которая сидела на ступеньке. Это была Леля Баскакова, «пассия» Василия. «Бедная!», – подумал Переломов.

Они толпой двинулись в участок. Все как всегда: столы, портреты царственных хозяев этого грубого хозяйства, удушливый мужской запах, смешанный с махоркой и портянками..

Справа, у окна на лавке, покрытой холстиной, с синим клеймом на груди «Высший размол Бр. Аристовых» лежал Василий. Мешочина с лица была откинута. Глаза закрыты, а брови удивленно приподняты. Горбинку тонкого носа перелезала неторопливая муха.

И встревоженной стайкой без ободрения и надзора, без утешающего слова старшего опыта около него стояли и глазели мальчики и девочки. Рыжый пристав Никольский с подвязанным глазом спокойно, в шинели с лакированным ремнем через плечо, присел боком к столу и подписывал какие-то бумажки.

«Как бараны! – мелькнуло в голове у Переломова при взгляде на товарищей. – Ей Богу!».

И не успел он всмотреться в спокойное восковое лицо мертвого друга, как разыгралось что-то совершенно нелепое.

Соколов Павел театральным жестом снял фуражку, поправил пенсне на крошечном носу и, отойдя от трупа и став на равном расстоянии между скамьей и дверью, важно начал:

– Товарищи гимназисты и гимназистки.

– Ты, Переломов, говоришь сегодня, как директор. «Вы, учащиеся», – передразнил его Залкинд. – Да, мы граждане, и в качестве таковых нам все равно не дадут…

И он презрительно фыркнул, а Переломов закусил удила и понес:

– Сегодня в большую перемену нужно устроить собрание, принять по этому поводу решение… И никто другой, а именно Аарон должен выступить с речью.

– Я? – переспросил Аарон.

– Да, ты! – твердо, с ударением произнес Переломов. – Согласен?

– Нет!

– Трусишь?

– Считаю несвоевременным. Глупо вылезать без предварительной подготовки. Во всяком случае, если нужно будет кому-нибудь выступить, то пусть выступит Соколов Павел. Я ему поручу…

– Значит ты не желаешь исполнить твоего долга по отношению к убитому. Эх ты…

Он сам с удивлением замечал, что его внутренним скрытым желанием именно было резко и хлестко оскорбить Аарона. Но разгоравшуюся ссору прекратило неожиданное истое явление.

Со звоном растворилась классная дверь, и показался, величественно шествуя, Соколов Павел. Его венчанная пенсне физиономия была важней,

чем когда-либо. Он прямо двигался к своему месту, не снимая фуражки, подрыгивая из-под нее прямо висящими космами.

Кроткий грек прекратил свое никому не интересное вычитывание, оторвался от древнего Гомера и удивленно воззрился сквозь синие очки свои на эту торжественную современную фигуру.

– Соколов Павел! – раздался по классу его носовой тенорок. – Откуда это вы?

– Из-под ареста, – бросил ему через плечо вопрошаемый. — Меня держали под арестом царские палачи.

– Какие палачи?

– Конечно, разве наши люди в футлярах могут знать, что нынче ночью пал смертью храбрых наш товарищ Усов, Антропос!

– Я знаю, что Вася Усов убит, – вдруг неистово взвизгнул Мурашов, – и очень жалею этого юношу. Но как вы смеете разговаривать со мной таким тоном – вы, мальчишка?

Весь класс угрожающе загудел. Мальчишка! Это уж слишком. Извиниться, извиниться должен грек, антропос!

Но Мурашев, сорвавшись с нарезов, продолжал кричать:

– Вы не учитесь! Вы ничего не читаете! Вы невежды! Вы необразованны! Вы ничего не читаете, кроме ваших глупых политических экономий и разной чепухи… Вы безнравственны и антигосударственны, и только моя любовь к вам, молодым мальчишкам, позволяет мне видеть все ваше безумство.

– Николай Васильевич! – звучно прорезал выкрики и гул класса голос Королькова, лениво приподнявшегося со своего места. – Как это будет по-гречески – любовь к мальчикам?

– Вон! Сию же минуту вон из класса! – заорал выведенный из себя педагог. – Вон, или я уйду.

– Я не уйду! – важно сказал Корольков.– Я должен усваивать знания, преподаваемые здесь.

– Тогда я уйду, – закричал Мурашев и, схватив классный журнал, треснул им по столу и с криком «С-с-сволочи!» выбежал из класса.

Класс загудел беспокойно, как пчелы перед роеньем. Дело зашло слишком далеко. Вопрос Королькова был возмутителен, это верно, но нельзя же и учеников обзывать сволочами. Аарон, презрительно улыбаясь, выбрасывал положение за положением. Соколов Павел произносил громовую речь о том, что тут помочь может только оружие. Корольков закурил папиросу и, блестя зубами, о чем-то посмеивался с Садыковым. Сытин встревожено и жалко прислушивался ко всему, что говорилось со всех сторон.

Глубоко засунув кулаки за кушак, Переломов стоял у окна в сад и смотрел. Пушок тонко-зеленого цвета овеял уже вершины обсаженных вороньими гнездами старых берез, и влажная, черная, как бархат, земля

обнаженной вышла на солнце. Из-за деревьев тонко сияли золотые главки всех Святых, а дальше видна была Волга сияющая, ледяная, над которой переливался и дрожал нагретый воздух, колебая с собой заволжские дали. Свет и тишина. Да чириканье воробьев сквозь пропыленные стекла. Что-то видел теперь там Василий?

Как мельник просыпается от тишины остановившейся мельницы, так и наступившая тишина класса заставила вздрогнуть Николая. Он обернулся. У стола, свесив на него свой живот с форменными пуговицами, упершись в стол вторыми фалангами пальцев, стоял инспектор Алексей Семеныч.

– Господа! – сказал он и, наклонил набок седеющий бобрик головы, – неслыханно, господа! Так (он налег на так), так оскорбить вашего преподавателя, как это сделали вы, господа. Едва-ли могли даже самые грубые люди, а не воспитанные юноши с почти законченным средним образованием.

– Я понимаю ваши чувства, господа; эта печальная гибель вашего товарища, Усова Василия, понятно, выбила вас из колеи. Кстати, господа, у меня только что был командир полка. Солдат который стоял на часах – переменив тон, проговорил Алексей Семеныч, – и он обещал мне, что дело будет тщательно разобрано. Кроме того, директором дана телеграмма в имение г-же Усовой. Которая и придет сегодня, чтобы взять тело сына для погребения…

После этих дипломатически-успокоительных фраз Алексей Семеныч продолжал в прежнем серьезно-сострадательным пафосе:

– Все это понятно, господа! Потеря эта тяжела и для нас. Администрации гимназии… Что же делать – эти люди должны охранять государственный порядок и иначе они поступить и не могли. И мы здесь поделать ничего не5 можем – он развел руками назад, - потому что наша область вашего воспитания, образования. А ни как не государственный порядок… Он не касается… Но и начала науки, конечно, не могут снести того, что сказал Николаю Васильевичу ваш товарищ корольков Борис. И мне придется прежде всего просить г. Королькова извиниться перед Николаем Васильевичем… Недопустим далее и тот тон, которым разговаривал Соколов Павел… Ему тоже придется извиниться…

– Не желаю! – громко сказал Соколов, и скрестил руки на груди. – Не могу!

– Как вы на это смотрите, господа? – спросил инспектор еще более вкладывая огорчения в свой примирительный тон.

Снова страстно загудел класс. Но в этом гуле уже не было прежней напряженности.. Да, пожалуй, они готовы извиниться перед классом, потому что нельзя же бранить всех сволочью… Только Аарон молчал и тонко ухмылялся.

Загремел звонок, инспектор удалился. В класс во время перемены

вошла толстая, напудренная вдова Мясникова, у которой жил Усов на хлебах, и стала наводить справки, как произошла эта трагедия. Гимназисты. Толпившиеся около, уже весело передавали ей разные подробности, и так, подобно молодым сатирам, напирали на ее мягкое и сдобное тело, что надзиратель Скорбященский, молодой человек и учитель пения, из семинаристов, в длинном сюртуке в конце концов взял вдову под свою галантную опеку, особенно когда в толпу вмешался Корольков.

Промелькнули уже обычной чередой уроки, и в большую часовую перемену все высыпали на двор и на бульварчик Муравьевку. Переломов сел на бульварчике под чахлой елкой, едва ли не единственным воспоминанием о печальном результате прошлогоднего министерского Праздника Древонасаждения, и глядел на Волгу, когда к нему, путаясь в длинной, опшлепанной шинели, отправился друг Аарон.

«Ну, придется сейчас запутанную конструкцию разбирать!» – подумал с досадой Переломов и, молча, пододвинулся в сторону, чтобы дать место подходящему.

Аарон сел бочком.

– Николай, – хмыкнув сказал он, – мы должны поговорить серьезно.

– Ну?

– Твое сегодняшнее раздражение для меня прямо непонятно. Словно ты задался целью высмеять меня перед классом.

– Конечно! – подхватил Николай. – Давно тебя пора раскрыть. Ты это чего прячешься за спины других-то?

– Как «прячешься»?

– Да так! Ты что вчера говорил у Парфена? И то нехорошо, и это нехорошо…Верно, мы с тобой согласны. А теперь сегодня Усов лежит мертвый. Те, про кого ты вчера так говорил, убили его. Ну, выступай, говори… Помпей над трупом Цезаря. А ты вот давеча сидишь да молчишь… Чужими руками жар загребать – вот твое дело.

И Николай взглянул прямо в лицо Аарону.

– Да что… Э-эх!

– Но ты же должен понять, Николай, что выступать сейчас несвоевременно.

– А Василий погиб своевременно? Эх ты! Поди, полюбуйся. Лежит под мешком. А ты чего бережешь?

– Я – важная революционная сила, – хмыкнув в сторону, уныло выговорил Аарон.

– Чего? – удивился даже Николай. – Важная революционная сила?

Внутренне он так и слышал заливчатый хохоток покойного Василия. Но ему самому было не до смеху.

Бывает так, что когда человек начинает действовать, он уже ничего не

видит, не слышит. Весь мир сдвигается назад, углом, утюгом, и видит человек только тот узкий угол, который обращен к нему. Если посмотреть хорошенько, то все в мире остается, как полагается: и солнце, и небо, и птички чирикают, и самовар кипит. Но в том-то и штука, что для этого для всего надо «хорошенько посмотреть»; этого-то подчас человек и не может. Перед ним угол, отвес, рыло железного утюга, который ему угрожает. Переломов в каком-то журнале для самообразования видал раз картинку: «Как муха видит человека». А вот как она видит: на первом плане огромный, как гора, сапог, а там, уменьшалась кверху – волны одежды, блестит где-то вдали золотая цепь на животе, а уже из-за горизонта, как маленький, затерянный вулкан, возвышается на самом краю из-за видимого горизонта нос.

Вот тут-то и случилось, что Переломов увидал все присущим на него утюгом, каким – он и не понял, а впереди всего, углом самым надвигался на него Залкинд, и что-то грозное мелькало в его черных бархатных глазах.

– Так ты сила? – переспросил Николай, невольно отшатнувшись. – Нет, не думаю, – тихо ответил Переломов.

– Конечно, ты не думаешь, что утром человек с постели встает лучше, чем лег вчера! – тонко улыбнулся Аарон.

– С таким-то прогрессом только на небо живым лезть! – проговорил Николай, вспомнив вчерашние дебаты.

– Зато такие люди очень, очень полезны, – задумчиво произнес Аарон, очевидно думая о Соколове Павле. – Они полезут куда угодно.

Николаю представилась давешня сцена у трупа. Он искоса взглянул на Аарона. У того губы были плотно сжаты, а глаза, не видя, уставились на прыгающего на солнышке воробья.

– Если же люди не хороши, не добры сами по себе и не могут стать лучше, – раздельно выговорил Аарон, – то их нужно заставить быть лучше!

– Что ты говоришь? – изумился Николай. – Кто же тебе дал право заставлять людей поступать так, а не иначе?

– Их глупость, злоба, невежественность!

Громкий взрыв звенящего хохота раздался с нижней террасы бульвара, лежащего уступами по угору; веселая толпа гимназистов сгрудилась там около неизвестно откуда взявшейся пушченки, из которой палили в великие праздники к вящей славе христианства. Одни из гимназистов, здоровенный Саша Виноградов, по прозвищу Мерин, взвалил эту пушку к себе на плечо.

– Ай, Мерин! — раздавались голоса. – Это жеребец, а не мерин... Х-х-ха-ха-ха!..

И здоровый, раскатистый смех звучал умиротворенно, с тем оттенком восхищения без зависти, которое, кажется, рождает одна только физическая

сила, не больше.

По своей привычке думать конкретно Переломов спросил:

– А как же ты заставишь людей делать добро?

– Силой! – отвечал щуплый, сгорбленный, в обмызганной шинели Аарон.

И, порывшись в кармане шинели, выбросив оттуда несколько дрянных бумажек, крошек хлеба, огрызок баранки, который он тут же сунул в рот, Аарон вытянул из недр шинели растрепанную книжку.

– Видишь?

Переломов вслух прочел:

– Химия. Популярные очерки.

– Прости меня, но я ничего не понимаю...

– Я занимаюсь теперь химией, – проговорил Аарон мечтательно. – То есть я думаю ею заняться как следует. Нужно, понимаешь, изобрести такое взрывчатое вещество...

– Ну?

– Которое могло бы взорвать всякого, кто не подчинился бы моей благой воле.

– Ты хочешь, значит, убивать людей так же, как сегодня убили Усова? – жутко спросил Николай.

– Что значит смерть? – задал ему встречный вопрос Залкинд. – Все ведь умрут! Так пускай они умрут с пользой, для блага идеи. Не все ли равно – прожить двадцать лет или пятьдесят?

Химера, жадная, чудовищная, темная! Нет, не все равно – что-то влажно и тепло отозвалось в груди Николая. Жизнь его манила, звала влекущим, несказанным любопытством. Но так вот и захотелось посмотреть – что же будет дальше. И в дымке как бы лунного света будущего вставали перед ним новые, загадочные, прекрасные образы. Когда-то, когда еще мать жила с ними, он, открыв верхний левый ящик ее комода, любил вдыхать пряный, манящий запах духов и пудры, перебирать блещущие искорками разноцветных огней драгоценности. И жизнь представлялась ему как длинный ряд перебирания драгоценностей. Лишаться всего этого ради какого-то залкиндового блага. Какая нелепость!

– Нет, смерть не все равно! – глухо запершись от напиравшей на него силы, сказал Николай. – Такой прекрасный парень, как Васька, погиб напрасно...

– Нет, не напрасно, – вскричал Залкинд. — Его кровь разбудит многих, покажет необходимость этого блага, и тогда те, кто может дать это блага, возьмут на себя и власть.

– Что же это за благо? – хмуро спросил Николай.

– Ты-то, кажется, не должен спрашивать об этом, – презрительно хмыкнул Аарон. – Социализм, что знает всякий сознательный человек! И я

теперь тебя спрашиваю, Николай, – хочешь ты быть партийным или нет? Тебе нужны дисциплина и авторитет. Для тебя лучшим средством для работы будет подчинение своей воли. Ну?

Николай молчал несколько секунд. Милое лицо Василия и его хохоток так и стояли перед ним. Зайду и скажу… «Я подумаю… Пойдем. Звонок…».

Домой Переломов попал только к вечеру: пришлось зайти на квартиру Василия, а потом ехать встречать его мать. Он ее знал раньше, когда она приехала к сыну. Сердце у него сжималось, когда, качнувшись на близкой стрелке, огромный паровоз с красивой поперечиной внизу подлетел к залитой прощальным алым светом платформе. Опять жандарм, опять начальник станции, похожий на снегиря в красной своей фуражке; опять непременная собака, крутящаяся под самым поездом. Из вагона второго класса вышла с саквояжем невысокая, сухая дама, вся в черном. Оглядевшись, она увидела Переломова и кинулась к нему. Он и сам уже с юношеской неловкостью бежал к ней навстречу, расталкивая пассажиров, ушибив себе ляжку об огромную корзину, которую тащил артельщик в белом фартуке с медной бляхой, похожий на муравья. Он припал к ее руке и не мог удержать слез; по тому, как вздрагивает и пульсирует ее рука в черной перчатке, он знал, что она тоже плачет. Потом она вытерла глаза комочком платка и, взяв Переломова под руку, сказала сдержанно:

– Идемте в зал. Вы, Переломов, мне все расскажете!

В зале первого класса они уселись на две минуты на дубовых, тяжелых стульях с гербом и инициалом дороги, таких безучастных к горю своих гостей. От грохота и тяжести маневрировавших промасленных паровозов, закутанных в облака пара, вздрагивали и позванивали разноцветные стаканы на столе, так овеянные, как пылью, железнодорожной скукой. Рядом какой-то железнодорожник ел горячий борщ и со свистом втягивал его в вытянутые дудочкой губы под мохнатыми усами, похожими на усы Ницше. А Переломов прямо перед собой видел серые, скорбные глаза, глаза матери, плававшие в слезах, засевшие в темных кругах горя.

Он рассказывал не более двух минут. С новым взрывом плача, уже обезумев, поняв окончательно, что случилось, мать бросилась к извозчику, забыв свой блестящий, элегантный саквояж… Переломов схватил его, сунул его ей в ноги, едва не падавшей с саней, и, сняв шапку, быстро пошел пешком через Волгу напрямик к дому.

Он не шел, а бежал. Вот та цена, которой куплена «польза» смерти Василия! Э, пусть Соколов подчиняется кому-то. Свобода, доброта и любовь – вот что поведет людей, а не Аароны. Взрывчатое вещество, идиоты!

В лучах уже заходящего солнца за Ипатьевским монастырем лежала перед ним родная Кострома. Горел своими недавно вызолоченными

главами русского барокко Кафедральный собор. Слева от него громоздились розовые прикрашенные, нарядные здания, где жили соборяне, сиявшие багровым золотом отраженного окнами света. Вот женская Григоровская гимназия, духовная семинария. […] Вытянутое здание мужской гимназий стояло рядом с церковью Всех Святых. Внизу, на набережной, дымила – «медведя пускала» – мельница Аристовых. Торчали с реки трубы, мертвые, закутанные рогожей, заткнутые соломой вмерзших в лед пароходов, мачты баржей. Правее, среди розовых, нежных снегов чернели ряды садов, деревянных домиков Татарской слободы, ее прекрасной, иссиня-зеленой, сбегавшей вниз к Волге могучей, кедровой рощей татарского кладбища.

Трудно было идти через Волгу; осенью ледостав был неспокоен, и взгромоздившиеся прозрачные, как магазинные стекла, льдины сияли аквамаринами и сапфирами против закатившегося солнца. Опаловая даль великой реки тянулась вниз, на восток, вольными широкими поворотами, туда, за село Минское, мимо Тиденовских дач…

Спотыкаясь, добрался Переломов до противоположного берега, перебежал по доскам, которые попечением полиции покрывали образовавшиеся окраины, и помчался вверх в город. Миновал гимназию, пробежал две улицы и очутился, наконец, перед домиком, где жил Аарон.

Мерное, занывшее бормотание неслось оттуда; решительно шагнув в темные сени, Переломов отворил дверь в квартиру и попал прямо в столовую. Знакомый дух шибанул в нос, и портрет бородатого, в котелке, Теодора Герцля взглянул на него задумчиво.

Была пятница, и на покрытом скатертью столе стояли горящие свечи. Семья сидела смирно вокруг стола, мужчины были в шапках. Аарон тут же сидел в своем гимназическом картузе и глядел в книжку. Его толстый отец, покрытый полосатым одеянием, нараспев жалобно выкликивал молитву.

Сконфузившийся Аарон выскочил в сени, и Переломов ему сказал прямо и твердо:

– Ты прости, что я помешал вашей семье молиться, но я пришел тебе сказать, что в партию я поступить не могу.

И, словно сбросив с плеч тяжелый груз, он медленно побрел домой по синим, вечерним улицам, где уютно желтели огни в окнах, скорбя душой о дорогом мертвеце.

Опубликовано и печатается по:
Иванов Вс. 1905-й год. Роман молодой души. Харбин, 1929. С. 31-68.

БЕЛЫЙ ДЫМ

Ночь опрокинулась над Пекином, черно-синяя монгольская ночь. А

снизу к ночи поднимались легкие, зеленоватые огни огромного города, наливали собой высокие пекинские каменные стены. Над зубчатой стеной вышел оранжевый ущербный месяц, а с юга вставала черная, тяжелая, как шуба, туча, закрывавшая серебряные звезды и вся вздрагивавшая яркими зарницами. Прерывистый ветер дышал зноем; и безветрие дышало им же, от кислой пыли, от раскаленных Красным Драконом-солнцем сотни тысяч кирпичных и каменных домов в ящике этих каменных стен, откуда – вид на Западные горы, за которыми уже Монголия, зеленая пустыня кочевников.

Мы сидели на плоской крыше четырехэтажного «Немецкого отеля» и пили ледяное пиво, и от пива духота томила еще пуще. На крыше, как ни в чем не бывало, играл джаз и танцевали. Было странно видеть эти фокстротные пары беззаботно повисавшими на освещенных внутри облаках, на фоне грозовых вспышек дальних синих и золотых молний.

Внизу мелькали свежие фонарики рикш, раздавались их гудочки, и вдали, давя все своей проколотой огоньками черной тушей, высился, как некое капище, «Гранд-отель» рядом с черными абрисами деревьев Посольского Квартала, этой «Немецкой Слободы» Пекина.

– Как это все вам нравится? – спросил меня мой спутник, щелкая серебряной сигареточницей. – Не находите ли вы, что это все же особый мир, особая столица Востока?

– Пожалуй, – истомленно согласился он. – Особенно после того, что мы видели с вами в кино, где буйные страсти на экране бледнеют перед переплетенностью интересов среди дипломатической публики… Пусть контрастны там, в этом кино, советские кепки и пиджаки, но все же скучно видеть толпу людей, побывавших друг у друга в постелях и делающих вид, что не замечают этого. Пусть даже встречи и улыбки двух дипломатов лорнируются третьим и четвертым, и весьма многозначительно – но разве, все-таки, столица Востока в этом?

– Что ж, – пожал плечами Александр Сергеевич, – это пустяки, это пыль дней. Это своего рода фантастика… Но разве вы не чувствуете в Пекине особой тишины, многозначительной и величавой тишины тысячелетий? Этот город похож на эти молнии… Он сверкает, но его не слышно… Это – Восток…

– Восток? – переспросил я. – Где же он? В «Вагон Ли Отеле», где пятичасовой чай собирает сухопарых, тонконогих мисс и миссис в роговых очках, приехавших посмотреть Восток и причастившихся к нему в лавках древностей, накупив разных «кюриос» немецкой фабрикации? Или в Дворцовом музее, где почти все, что накоплено было богдыханами, распродано при очередном перевороте?.. Бросьте!.. Где Восток?.. Его нет здесь. Здесь пошлая и невежественная Европа… Мы пьем немецкое пиво, заедая

его немецкими длинными сухарями с солью и анисом. Вот, рядом, европеец отравляет весь необъятный купол неба невероятной Боковской сигарой… Восток! Где же Восток? Восток давно весь экспортирован в Америку вместе с пурпурными ширмами, шитыми стариками в виде богов и богами в виде нищих стариков…

– Хорошо, – сказал Александр Сергеевич, – все правильно… Пойдемте-ка курить опиум.

– Во вкусе Клод Феррера и его «Фюмер д'опиум»? О, эти эстеты из посольских секретарей и моряков, делящих свой досуг между пушкой, трубкой и фарфором фламбоян!.. О, все эти Палеологи, Ферреры, Джоны Пэрисы, лейтенанты Кивгхоллы, все эти неудачные Киплинги, зарабатывающие кое-что на тайнах Востока, пестрых, как дешевые магазины Шанхая! После них представляешь себе Восток вроде музея диковинок или вроде тех открыток с плюшевыми верблюдами под Великой стеной, что продают в холлах всех отелей всего мира рядом с расписаниями поездов… Сплошь фантастика!.. Можно подумать, что тут драконы ходят по улицам, а фениксов продают, как фазанов…

– О, – спокойно возразил Александр Сергеевич, – это отдельный Восток, Восток Кука и Турист-Бюро… Восток – не фантастика, а сама реальность… Правда, он не так пригляден, как эти четыре шара лампиона, повисших над бездной, он коптит, как огонек рикши, но все-таки его надо знать. Едемте… Бой!.. Хау мач?

* * *

Мы лежали оба на прохладном, покрытом циновками канне. Бумажные окна были широко распахнуты во внутренний двор, так напоминавший собой дворик в Помпейских домах. Акация цвела под самым окном, и под ней стояла зеленой глазури большая чаша, в которой тускло поблескивали золотые рыбки. Бедный масляный светильник стоял на каменном столе тут же и пламенел копотно. Небо над стенами вспыхивало зарницами, и на соседних крышах с поднятыми углами вырезывались очертания химерических охранителей-зверей. Окна в домиках направо и налево от нашего были закрыты, и на промасленной бумаге, среди меандра переплетов, бесшумно пролетали иногда черные тени людей.

Мы лежали – я и Александр Сергеевич, а Юн-Пин, высокая молодая девушка с бантом, между нами приготовляла трубки. Из серебряной плоской коробки серебряной же иглой она ловко доставала черно-бурую массу опия, поддевала ее на две длинные спицы и переносила на огонь маленькой лампочки под коротким, пузатым, закапанным стеклом. Опий кипел, пузырился, и она ловко перебрасывала его со спицы на спицу и свертывала в форму кабошона, как гранят драгоценные камни.

Александр Сергеевич внимательно следил за ее грациозными опера-

циями, и на его лице было написано глубокое, тихое и сладостное удовлетворение.

Наконец, в полной тишине агатовый кабошон был готов – и, проколотый посередине, таинственный, сел в центр серебряной чашечки длинной черной трубки, оправленной в серебро и зеленую яшму.

Аромат акаций смешивался между тем со сладким, дурманящим запахом поджариваемого опия; в окно блистали звезды, и к нам то и дело взносил легкий покров сияющего света зарниц. И лицо этой девушки – широкое, точеное, плотно обтянутое желтой кожей – было красиво, сосредоточенно и даже важно. Поддерживая трубку своей изумительно сформированной рукой над самым багровым огоньком лампочки, она протянула чубук Александру Сергеевичу.

– Юн-Пин, сделай еще одну моему другу, – сказал он ей по-китайски и кивнул на меня. – А вы возьмите и сосите – так, как ребенок сосет грудь матери…

И в его трубке что-то методически захлюпало, а изо рта показался тяжелый белый дым.

Признаюсь, я с робостью неофита поднес ко рту агатовый мундштук своей трубки. Александр Сергеевич, этот скромный таможенный чиновник, смотрел на меня со снисходительной и почти такой же важной улыбкой, которая играла на лице Юн-Пин.

Обстановка меня смущала и подавляла. Я свою трубку отложил; Александр Сергеевич курил, молчал, затем перебрасывался клокочущими китайскими словами с Юн-Пин. После пяти трубок он откинулся на циновочные прохладные подушки и медленно сказал:

– Слушайте!.. Я почти всю жизнь прожил на Востоке и больше 25 лет курю опий… Я расскажу вам, что такое опий…

Я курю давно, я больше уже не могу жить без опиума… Когда я был офицером на Германской войне – мне наш штаб выписывал опий из Китая, туда, на фронт, под Молодечно… Что делать – требовалась работа, а для работы нужна острота мозга… Особенно – для шлифовальной работы… И вот что было со мной однажды… Давно, еще перед той войной, когда я служил в Хабаровске, у меня умерла жена…

Я очень любил ее… Я был один в этом городке, тосковал и стал усиленно курить. Помню как сейчас… Тогда была зима, морозная и снежная… Каждый день, отсидев на службе, я приходил домой. Обед денщик Шубин уносил почти нетронутым, а я хватался за трубку и курил, курил… Сколько?.. До 100 трубок в вечер, в ночь…

Вы правы… Лоти и Фарер, вероятно, просто пишут красивую чепуху об опиуме… Об этих снах… На самом деле все гораздо проще. Восток гораздо реальнее, Восток не любит снов, этих побрякушек жизни…Опиум

дает не сон, а реальность… Он так обостряет наши восприятия! И на тот диван, на котором я лежал в опийной полузабытьи, ко мне приходила моя мертвая жена… Да, да, представьте себе… Приходила и сидела около меня… И мы беседовали… Долго… Целыми ночами, длинными зимними ночами…

О чем? Не могу сказать… Но я знаю, клянусь вам, что это было именно так. Опий не давал мне никакой фантастики… Я глубоко верю, что опий просто *давал мне возможность преодолевать какие-то препятствия, которые смерть жены воздвигла между ею и мной*… Вот и все…

И это было для меня большая, очень большая радость. В то же время это было прямо ужасно… Просыпаясь каждое утро, когда по синим снегам разливалась красная заря, я чувствовал ужасную головную боль и был желт, как каждый курильщик… и с ужасом понимал, что еще не это главное, – я знал, что я, наверное, сойду с ума…

Да, еще одно… Жена была хорошей музыкантшей, и она играла, много играла в те дикие ночи…

Днем, сидя в штабе, я ясно понимал, что надо кончить эти экскурсии в запретные миры… И, должно быть, потому, что я думал так напряженно, это же однажды сказала мне и жена… В одну ночь… Она была очень мрачна тогда и сказала, что нам видеться больше нельзя. Потом же мы свидимся… Она сказал, что больше не придет… Я умолял, заклинал ее придти…

На следующий день все было, как всегда… Горела наша любимая лампа с голубым тюльпаном… Она пришла, веселая, ясная…

Да, надо вам сказать, что в гостиной тогда, где происходили наши встречи и стоял диван, была дверь из прихожей, диван же стоял так, что с него, с того места, где сидела обычно жена, через прихожую была видна входная дверь, а мне этой двери не было видно. И вот я вдруг слышу, как примерзшая входная дверь открывается с усилием, рывком, вижу, как целое облако пара стелется по нашему голубому ковру…

На бледном лице жены отразилось изумление, словно она никак не ожидала встретить того, чьи шаги уже звучали по прихожей и кого она видела со своего места. Я же похолодел от тяжелого предчувствия, волнуясь о том, кто этот невидимый пока гость… И я вижу, что в гостиную входит мой младший брат – в ту пору гимназист 8-го класса в далеком российском городе… Входит и направляется к нам.

– Андрей! – закричал я, вскочив с дивана и не помня себя. – Ты не должен быть здесь… Андрей!.. Ты ведь не можешь встретиться с Ксандрой!.. (Ксандрой я звал жену), – и с этим криком я нашел себя стоящим в пустой гостиной. Никого не было…

Страх, непередаваемый, холодящий, сводящий руки и ноги, страх, шевелящий волосы на голове, изливающий холод по хребту, охватил меня. Я не мог оставаться один. Денщик спал далеко. Я рванул одну выходную

дверь, другую и выскочил на улицу, на мороз…

Перед рассветом там клубился седой, морозный туман, стоял такой же ущербный месяц, как был сегодня… Дома вросли в сугробы, по дороге маячила какая-то темная фигура, скрипела сапогами по снегу.

Как был (без шапки, в халате, в туфлях), я бросился к этому человеку. Заиндевелый, он спокойно всмотрелся в меня из-под башлыка и сказал хриплым, стуженным голосом:

– Это вы, ваше благородие?.. А я к вам!.. Вам телеграмма…

Телеграфировала мать… Несчастный случай на катке… Андрей скончался… Он всегда любил спорт…

* * *

– Вот что такое Восток, – сказал, помолчав Александр Сергеевич. – Этого нельзя вывезти ни в какую Америку.

И, грустно улыбнувшись, устало обратился к Юн-Пин по-китайски:

– Еще трубку, Юн-Пин!..

Мы молчали. Пахли акации, пахло опиумом.

Я высосал целую трубку белого дыма, но не испытал ровно ничего, – видно было, что до острова чудес еще далеко от берега этого таинственного моря Востока.

Из домика направо вышли черные фигуры китайцев и ушли на улицу, где буйно завозились рикши. Александр Сергеевич прилег на циновочную подушку и устало закрыл глаза. Юн-Пин посмотрела на него важно, искоса, вышла во дворик, прошла по нему и скрылась…

Пекинская ночь проходила над нами в звездах, тучах и разноцветных щарницах – ночь Востока, пахнущая акацией и белым дымом.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1933. № 19. С. 1–2, 4.

НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ

Ардальон Павлыч выскочил от Змеевых и пустился по Всехсвятской, пылая негодованием. Бобровая его шуба распахнулась грудь под крахмальным пластроном дышала тяжело, черная ассирийская борода и усы колечками встопорщились. Всехсвятская улица тоже бежала рядом с ним вниз, до Площадки, откуда уже она звалась – Разгуляй. На Ардальона Павлыча, и на Всехсвятскую, и на Разгуляй так и сыпало солнце золотые, желтые свои стрелки, напирало ими на высокие сугробины; начинали оттого сугробины те шептать ручейками. И уже звенели сладко капели с сосуль на крышах, и кое-где, на пригорках, на панелях, проглянула черная, теплая уже земля.

Попал в такую землю лаковым ботинком Ардальон Павлыч, выругался:

- Тьфу, что это я! Даже калоши там забыл, а?! Но Анечку я все равно так не отдам… Погоди, Лука Петров, не на такого напал. Вы думаете, что я там адвокатишка какой-нибудь? А я – Ардальон Стебнев, гусар… Да-с, гусар! Не в адвокате тут дело!

Ардальон Павлыч, горячась, махал своей тростинкой черного дерева, испещренною многими монограммами: тут и бутылочки – шампанские и ликерные, и золотые сердца, тут и цветные камешки, и еще кое-что, что всегда пальцем прикрывал Ардальон Павлыч, когда показывал трость свою мало знакомым или молодым дамам.

Ардальон Павлыч бежал, а кругом высились недвижно серые, крепкие, угрюмые наши дома из кондрового леса, что стояли уже лет по сто и, наверное, простоят еще столько же; бежали храмы, где вокруг зеленых куполов шумно громоздились черные птицы; а дальше – развертываясь за Св. Озером угоры, – во-он куда уходили, – крытые рослыми иссиня-зелеными елками.

И когда добежал Ардальон Павлыч до Разгуляя, тут увидел он, как направо, вверх, к Успенскому собору, неслась, грохоча по ухабам, сплошная цепь саней – маленьких эгоисток, больших кошевок, троечных больших саней с бронзовыми решетками, убранных шалями да коврами; рысаки-одиночки шли мерным своим махом, пары и тройки свивали своих пристяжек кольцом, грива по земле, а коренники валили напролом. В санях тех сидел почти весь город наш – все, что было в нем самого правильного, денежного, знатного. Платки купчих и горожанок были в алых розах, в зеленых турецких огурцах и разводах, ротонды их были синих, зеленых, аметистовых, розовых бархатов, жемчужные сетки-ряски приспущены на самые румяные лица, на маленькие глазки, а рядом охранительно высились толстые спины и большие шапки их хозяев. И все это неслось прямо под солнце, словно какой-то весенний поток.

– Масленица! Катаются!.. – скрипнул зубами Ардальон Павлыч и горестно вспомнил, как давеча у Змиевых уговаривал Анечку после блинов прокатиться с ним на его, Ардальона, тройке. Любительская была у него тройка – два года подбирал ее… Были в ней пегие – белые с рыжими пятнами – конишки, а такие что на-поди. И на сегодня был приказ кучеру Пармену – запрячь коней в санки, а санки те покрыть богатым персидским ковром, все приготовить…

И вот вышло так, что испортил все Лука Петрович, старый хрен, Анечкин отец: не захотел стать тестем Ардальона Павлыча, отказал.

– Ах, Анечка, Анечка! – вздохнул Ардальон Павлыч и горестно повел по бороде. – Как же теперь быть?..

В это время скакала мимо белая, как пена, тройка Громова Ивана

Перфильича, того самого, у которого лесное дело. Толпа попов, гимназистов, интеллигентов и баб с почтением взирала с тротуаров, видя, как катается сам капитал.

– У-ла-ла-ла! – кричала толпа. – У-ла-ла!

Поднялся в санях в синей поддевочке статный и седой Громов Иван Перфильевич, купец знатный, и, держа мешок одной рукой, другой стал разбрасывать в толпу серебряные мелкие деньги.

– Ур-р-р-р-ра! – кричала толпа. – Ур-ра!

Тут одна серебряная денежка, просверкнув в воздухе, ударила вдруг пребольно Ардальона Павлыча прямо в нос, а лихой гимназист в синей фуражке скакнул за ней в воздух и потом лягушей прямо в сугроб, как будто пловец на чудесном острове Суматре прыгнул в океан…

Ардальон Павлыч взмахнул предупреждающе тросткой, готовясь сказать громкие хулы, сорвать сердце, но тут вдруг его взяли под руку:

- Мон шер Ардаша! – сказал невыносимо слащавый, улыбающийся голос. – Ты в расстроенных чувствах… Я давно наблюдаю за тобой по Всехсвятской… Что с тобой?

Неимоверно дурен лицом, угреват, но невыносимо воспитан и учтив был поручик местного полка Сигизмунд Юлианович Неконечный, и дышал он на Ардальона Павлыча скукой, водкой, одеколоном и табаком.

– А… Сигизмунд! – сказал Ардальон и притворно зевнул, чтобы не видно было, как он горячился. – А ты почему не катаешься? Вон ведь ваши офицеры едут на вороной тройке. А хороши, хороши кони!

– Васька захромал! – ответил Неконечный и улыбнулся горестно, не разжимая губ, чтобы не показывать дурнейшие зубы свои. – Вестач, сукин сын, заковал! Прямо и не представляю, что делать.

Но словно не понял Стебнев, куда гнул Наконечный: «Как же-с, вместо милой Анечки, повезет он эдакую образину! Держи карман!».

– А знаешь, сейчас этот каналья Громов бросал деньги и мне чуть в глаз не угодил. И чего смотрит полиция, – сердито стал говорить Стебнев. – Какой хамский обычай, однако, бросаться деньгами в публику… Это ведь только народ дразнить! А раздразнят – что будут потом делать? Ведь это – революция же! Поймите, господа!

– А, адвокат! – отмахнулся Неконечный. – Левая душа! Если ты не хочешь кататься, не пройдем ли к нам в собрание, душа моя, по праздничному, скатаем партию на бильярде, а? Там и будет видно, что дальше делать, а то с этими блинами да с катаниями все как с ума сошли…

– Пойдем, – сердито сказал Стебнев, – а деньгами кидаться – в соблазн вводить… Не следует-с!

В офицерском собрании было темновато и уютно; в старинных ампирных комнатах барского дома тоже пахло блинным чадом, табаком,

водкой и одеколоном. Вестовые шмыгали по коридору, а из столовой то и дело доносились взрывы раскатистого барского смеха.

– Должно быть, кто-то анекдоты говорит! – заметил поручик, сбрасывая шинель на руки солдату. – Прими шинель, Чуриков, да воротника не помни… Бери ее нежно, как обнимаешь женщину… Хе-хе!

– Слушаюсь, ваше благородие, – серьезно сказал Чуриков и из осторожности приподнялся с шинелью на цыпочки.

В бильярдной, над зеленым сукном, Ардальон Павлыч выпил мартовского пива, и ему как-то полегчало.

«Что, собственно, произошло, – думал он, приседая на корточки, держась за борт рукой и выцеливая, как тонко надо срезать «четырнадцатого», чтобы мягким ударом сбросить его в среднюю. – Бороться, бороться надо!»

Перед ним вместо шара так и встал опять худой Лука Петрович Змиев, Анечкин отец, в длинном черном сюртуке, в высоких сапогах, с бородой серебряной веревкой, и загудел, сильно напирая на «о»:

– Не скажу, Ардальон Павлыч, тобой мы очень довольны, человек ты хороший, и дела, тово, понимаешь, и судишься хорошо, и наши дела выигрываешь, и все справить можешь, ежели когда и што… Но не могу за тебя Аньку отдать – из-за этого вот самого и не могу. Потому… суди сам – ну рази ты нам ровня?.. Ты вот адвокат, человек образованный, из дворян… А мы… мы…

Тут Лука Петрович завздыхал, смотря на золотокованные образа, перед которыми горели три лампадки, уже белые (по-великопостному), и продолжал:

– Мы ведь люди простые, темные… Как звери из лесу. А ты тем ведь и держишься, что ты учен и можешь то одного, то другого из нас облапошивать. Ты вон на всякаго человека жалобу можешь принести и можешь его в липку засудить, потому что ты законы знаешь. А разве тебя рукой пымашь? Ежели тебя, скажем, в семью взять зятем, так – я это прямо говорю – тебе надобно все имущество отписать, потому ты все равно все высудишь, крапивное семя, чернильная твоя душа… Нешто супротив тебя сустоишь? И рази я поверю тебе, что ты Аньку там полюбил? Кака там любовь – девка простая, худая, и любить-то нечего. Нет Аньке за тебя ходу, нет и нет, не обессудь… Денег ежели нужно – возьми, а дочери – нет, не дам!

Ардальон Павлыч, вспомнив такие речи, с ожесточением засучил киём по левой, меленой руке и тонул «свой» с накатом, но в «четырнадцатого» вовсе не попал.

Сигизмунд Юлианович даже затанцевал в длинном своем зеленом сюртуке вокруг бильярда:

– Тонкая резь хуже известной болезни, дюша мой! – горланил он. – Ого-го! Теперь мой дебют. Десятку в угол направо. Подставка! Климс!

Есть!.. Вестовой, бери и помни!

Досада разъела душу Ардальону Павлычу, когда за десяткой и «четырнадцатый»упал в середину, мастерски срезанный поручиком.

– Тридцать и четыре! – бесстрастно крикнул вестовой у доски.

И тут же Ардальону Павлычу представилась Анечка давеча… Из столовой так и несется стук, звон тарелок, грохот, крик. Черные копны вокруг белого стола – мирские гости; лиловые и зеленые – попы. А на дальнем углу пылают шали, платки, мантильи дам. Лица у всех полные, распаренные, и кажется, что они так же, как и их дома, будут стоять лет по сто еще и никогда не упадут. Башнями между ними на столе блины под салфетками – блины гречневые, пшеничные, пшенные, блины царские, блины со сливками, блины с припекой – со снетком, с лучком, с яйцом, с сыром. Из лавки самого Луки Петровича предоставлен самый отборный припас: балыки янтарные, нежнейшие, белорыбица провесная, белорыбица вяленая, осетрина, семги да лососи розовые, икры – одна, как черный жемчуг, другие – розовая сиговая да желтая щучья, да масла, да сметаны, да огурцы, да грибы… И пестрые бутылки сияли, как иллюминация.

И только она, Анечка, была совсем другой среди этого плотного мира: ангелом, розовым и нежным, в легком своем шелковом платье с воланчиками казалась она.

Она ушла из-за стола, где хозяйничала в ковровой шали ее мать Анна Михайловна, тучная, безбровая и испуганная, и села у черного, блестящего рояля, перебирая клавиши, красивая, как цветок.

Ардальон Павлыч опять и опять зря проверял кий на свой хмельный глаз, смотрел вдоль него на окно и вдруг как-то сразу, нутром понял, что он впрямь не ко двору пришелся этим людям, к этим серым кондовым домам. В чем тут было дело, он понимал смутно, но чудилось ему, что то обстоятельство, что вот он живал в столице, учился там и знает что-то другое, чем одни пироги да блины, да пьяные потом песни, налагает на него какую-то обязанность… Ведь почему-то он понимает, что когда Анечка играет Шопена, то над лакированным чудовищем-роялем встают какие-то образы – замки, шествия, монахи и женщины… А здесь, в действительности, не то, не то, здесь что-то томит, давит душу, здесь тяжелая провинция, сытая, но тупая… И ясно поэтому, что спасти надо Анечку, увезти отсюда, сохранить ее свежесть чувств и восприятий, умчаться с ней, а не только изо дня в день улаживать путанные да грязные кляузные дела клиентов, судиться, консультировать, проводить противозаконные подчас сделки, а потом в благодарность слышать, что ты – «не их поля ягода»…

«Да, не «их»! Это вы, Лука Петрович, правильно изволили сказать», - подумал про себя Ардальон Павлыч и на клопштосе вдруг яростно уложил «девятку»: «Не их, так не их!».

И Стебнев нашел определение, какое искал: «Что ж! Объявить войну этому городу, увезти у Луки Петровича его дочку Анечку, умчать – и все тут…».

Ободренный этим решением, он принялся так класть шары по всем направлениям, что Неконечный возопил:

– О, пся крев, то цо то ест?! Этак то я могу проиграть. Смотрите, а, прошу вас покорно!

И, пока Стебнев, сжав губы, клал свои шары в лузы, из столовой доносились все время говор и хохот, беспечальный и здоровенный; по коридору шмыгали вестовые.

Нет, решительно, так жить было нельзя! Надо рассчитывать на свою силу, ловкость, на саблю, наконец; надо рискнуть отнять свою царевну, умчать ее. Ведь недаром Стебнев когда-то был вольноопределяющимся в гусарском полку и уважал их, этих людей, гусар, за их особую ухватку.

– Партия! – вдруг лениво возгласил маркер-вестовой.

Ардальон Павлыч не спеша вымыл руки под кривым фонтанчиком умывальника, расправил великолепным жестом свою ассирийскую бороду и, выслушав со стороны Сигизмунда Юлиановича смущенное заявление, что проигранную пятерку он доставит завтра же немедленно, простился дружеским рукопожатием:

– До свидания!

В противность этому наружному спокойствию все в Ардальоне Павлыче билось и дрожало как в лихорадке:

– Анечку, Анечку сегодня надо увидать… Попробую на катке!

* * *

Каток в нашем городе был во дворе Общественного Собрания. Сумерки вступали в мир, синее небо было свежо по-весеннему, на нем теплились редкие звезды. Черная махина Собрания чеканилась на рыжей заре, и от этой зари, а потом от больших керосиновых фонарей на столбах, по голубому льду катка цвели золотые и розовые цветы. «Чирк-чирк-чирк!» – слышалось на льду, да изредка всплывал в морозной тишине звонкий смешок, – и вкруг, широким потоком легких теней летели наши знаменитые конькобежцы. Костя Селитренников, гимназист, несся даже на норвежских, поджимая ноги, то одну, то другую, судорожно, к самому животу, а в центре корчились другие – петляли, выписывали восьмерки, вертелись волчком и вообще удивляли сами себя. Девушки мелькали в этой круговой стае, и среди их меховых шапочек, вязанных рукавичек, маленьких муфточек бочонком – Ардальон Павлыч издали увидал почерк Анечки и направился по льду наперерез, в дальний угол, к березам, подальше от фонарей и теплушки.

Полковой оркестр рванул оглушительный марш «Под двуглавым

орлом», и над синим зеркалом льда, над снегами, над деревьями, над погребенным в сугробе фонтаном летнего ресторана с голым амуром взлетели ракеты, разрывались золотом или мягко рассыпались синим, красным, зеленым, соперничая со звездами, скрестились с черными ветками деревьев; замахали на льду, закружили фырча огненные плюющиеся колеса, забухали швермера, катальщики устремились на лед, подпрыгивая на ступеньках, их будки, скамейки – и все это полетело в круговом вихре, сопровождаемое тайными скользящими тенями, неведомыми до того…

Но, черт его возьми, вдруг увидал Ардальон Павлыч, что Сигизмунд Юлианович летел ему наперерез, держа руки крестом с какой-то длинной дамой в белой барашковой шапочке и с белыми обшлагами кофточки; коньки у них сверкали на длинных взлягивающих ногах.

– Га-га-га! – хохотал Сигизмунд Юлианович. – Не на свиданье ли уж?!

Стебнев сказал ему тихонько дурака, и поручик улетел в разноцветную тьму, как пребезобразный чей-то фантом.

И вот уже смотрел Ардальон Павлыч в темные, большие, смелые под взлетающими бровями глаза Анечки, и она дышала от смущения в дырку муфты жарко и сильно.

– Анечка! – говорил Ардальон Павлыч и сам не понимал, откуда у него такой небывалый нежный и милый голос. – Анечка! Я в отчаянии… Я хотел с вами поговорить… Что ж теперь нам делать?

– Папенька очень рассердились, – сказала Анечка, и голос ее звучал свирелью среди медных ворчаний оркестра. – Очень!.. Они говорят, что хотя я гимназию и кончила, за вас идти не могу, потому что я вам не пара… И еще потому…

– Почему, почему же?.. – торопил Ардальон Павлыч. Он уже забыл окончательно, что ему под тридцать, что он адвокат, что у него прекрасная квартира в пять комнат, ковры в кабинете, старое оружие на коврах, и пахнет там старым холостяком, что жизнь ускользает, и мало ли о чем забыл Ардальон Павлыч! Он видел только блеск милых Анечкиных глаз, и она казалась ему душой этого сонного города, представшей ему на весеннем закате, в час, когда творится чудо и от земли к небу летят волшебные разноцветные кометы.

– И потом еще они говорили, – быстро-быстро передавала монотонно Анечка, – чтобы я выходила за Громова… За молодого…

– Это за Мишку-то? – вскрикнул Стебнев. – За этого-то шалопая!

Мишка! Да вот он еще сегодня тройкой правил, когда отец Громов денежкой ушиб нос Ардальону Павлычу. И бросил, значит, подлец, нарочно. Со значением. Нет, этого так оставить положительно нельзя!

Анечка стояла под голыми березами, в тени, и по ней слабыми радугами проносились отсветы фейерверка. И Стебнев чувствовал, что пришел

его конец, конец его вольной жизни, что влюбился он, как гимназист, и даже еще страшней, потому что дело любви шло для него к концу.

Из теплушки вышла какая-то пара в толстых шубах и, держась за руки, спустилась на лед: обыватели пришли посмотреть на ловкое ледяное действо и уселись на скамейку, грузные, как медведи.

Анечка смотрела снизу вверх на Стебнева, и она-то ничего не думала; женская душа ее чувствовала себя подле мужской души – чего тут думать-то! И глядя жалостно то в один, то в другой мрачный глаз Стебнева, она говорила молчанием:

– Я – твоя! Я готова! Куда мне идти?

– Анечка! – глухо крикнул Стебнев и сжал ее руки. – Анечка! Давайте уедем со мной?.. Ей Богу! Любите ли вы меня или нет, Анечка, – все равно, но вам нельзя здесь оставаться. Вас тут просто съедят с блинами и пирогами, да, да, да!.. Вы покроетесь пылью, вы погибнете со всем вашим талантом. А я, если останусь здесь, я сопьюсь с моими клиентами…

Оркестр теперь играл уже что-то нежное, печальное, похожее на угасавшее небо, на исходивший дымом, умиравший фейерверк. За домами вставал багровый щит луны.

– Анечка, – говорил безумно Ардальон Павлыч, – выбирайте же: или эта сонная, жирная жизнь, жизнь до смерти, жизнь прочная, как ваши дома, или же другое – новое, яркое, что мы должны сделать и мы сделаем!

– Я сделаю, Ардальон Павлыч, – сказала Анечка нежно, – все, как вы скажете! Я на все готова.

– Родная!.. Едем?

– Едем!

– Навсегда?

– На всю жизнь!..

– Так слушайте: завтра будьте на дневном разгонном балу в Общественном. Пред концом, когда стемнеет, я подам мою тройку, и – айда… Только нас с вами и видели. Ах, Анечка, на век, на наш долгий счастливый век мы будем с вами!.. На моей тройке Пармен домчит нас до станции, там поезд, Москва, и – поймите, какая новая сильная жизнь перед нами! Я буду работать; вы, конечно, заниматься музыкой… Ах, какая это будет чудесная жизнь, свободная, далекая от этих сонных домов, которые стоят веками и не двигаются!.. Вдали от этих людей, которые вон там вдали сидят, как два медведя…

– Это, вы разве не знаете, кто? – сказала Анечка и тихо засмеялась. – Да это братец, Петр Лукич, с Настенькой, с женой. Они пришли посмотреть да сидят квашнями…

Вальс теперь плыл певуче и взвиваясь, и луна путалась между деревьями и прислушивалась к тому, что говорилось под ними на темнеющем катке.

– Так завтра, Анечка!.. И скачем прямо к московскому поезду и прости-прощай и Ардальон Павлыч, и Анна Лукинична! Правда, правда!

* * *

Сегодня прощеное воскресенье – значит, уж, почитай, Великий Пост, Покаяние и Воздержание. Размышление и молитва. И, чтобы тело было к молитве внятливей, завтра постная, легкая пища. Завтра на базаре горами из наших неоглядных зелено-синих морей-лесов навезут мужики гриб – сушеный, моченый, соленый. И груздь, и рыжик, и белый, и подберезовичек, и опенок… И станет в кадках капуста соленая, шинкованная и рубленная, квашеная – и все что освобожает голову и очищает совесть. И рыба пойдет постная - не богатый осетр, а так, пустяк, Ардальон Павлыч… белозерский, только слава, что рыба, а греха в нем нет никакого, еды почти что нет.

Но это – завтра, а сегодня пока что во всю бушует Масленица. Она еще жива до заката солнца… Еще движутся по улицам катающиеся, и, конечно, – масса пьяных. На льду Святого Озера копошится тоже муравьями народ, старым обычаем готовят там Масленицу, чтобы ее сжечь; делают из соломы огромную бабу, катят смоляные бочки из-под нефти, что вырабатывает Нобель и К°.

Цветной метелью вьется последний перед Великим Постом бал в Общественном. Веселятся русские люди изо всех сил, во как веселятся, потому что покаяться можно будет потом за все грехи сразу. В раздевальной, в конторе внизу столько шуб навалено, что они ворохом лежат до потолка – медвежьи, бараньи, куньи, лисьи…

Кучами же лежат ботики валенные, калоши, валенки серые с красными пятками, черные с золотыми клеймами…

Еле сбросил свою шубу Ардальон Павлыч, когда подъехал на своей тройке к Собранию, еле протискался в ульем гудящий буфет, хлопнул там для храбрости одну рюмку, поднялся наверх, в залу с зеркалами и люстрами, куда смотрело закатное солнце.

Полковая музыка рыкала вальс на хорах, и внизу летела цветная душистая метель материй, бантов, кружев, лент, причесок всех видов и форм… А больше всего это было сверкание глаз, молодых и счастливых, как всегда во время бала.

Вот и Анечка… Она кружилась в вальсе с каким-то черным студентом. Головка в белом веночке склонилась к плечу, к ее иссиня-голубому, небесному платью, и только блестящие глаза показывали, что она как бы отлетала от этого мира.

Увидав Ардальона Павлыча, она улыбнулась и чуть кивнула ему одобрительно. Или, может быть, этот кивок только почудился Ардальону

Павлычу?..

Нет, не может быть, чтобы кивка не было! Был он, был!

И, спустившись опять в буфет, Ардальон Павлыч спросил себе для успокоения стакан густой, почти горькой малаги.

Как медленно приближаются часы, которых мы ждем! Как они цепляются в своем ходе за всякие препятствия! Но, с другой-то стороны, они все равно должны придти! И вот, когда уже синие тени хлынули на небо, когда село солнце, рванул оркестр наверху последний перед Великим Постом марш, и началось шарканье ног – общая променада в зале.

Заслышав, Ардальон Павлыч бросился в прихожую, набросил на себя шубу, и вот видит он, как с лестницы быстро спускается его Анечка, ловко уходит от толстой мамаши своей, Анны Михайловны, завязающей в толпе.

Вот она выскочила из дверей, и, не помня себя, подскочил к ней Стебнев, полы шубы взлетали в воздух:

– Аня! Сюда, за угол!

Бег, последний, решительный бег сквозь толпу, чрез ряды саней, и вот – кошева, и вот – Пармен, и вот – тройка, от нетерпения прыгающая на месте… Гимназисты, купцы, барыни, чиновники – все это неслось на Святое Озеро жечь Масленицу, и всем было не до того, как отлетела прочь знаменитая тройка Ардальона Павлыча. Мелькали, оставались по сторонам серые, кондовые дома, что хранят свои тяжелые тайны связанных душ целые сотни лет, что блазнят роскошью русских праздников. Развязаны колокольцы, гремят бубенцы-шеркунцы, и несется тройка, уже огибает Святое Озеро, где уже в сумерках зажглись, пылают огромные костры из нефти, дегтя и соломы, пляшут, мечут ввысь свои алые лохмотья…

Мягким тулупчиком, теплым и кисловатым, охватил, одел Стебнев Аню, обул ее в припасенные тоненькие чесанки на шелковые чулочки, закутал в оренбургский платок, и гром колокольчиков, бормоток бубенцов, огни на озере и всходившая луна сливались в один гимн матери жизни…

– Аня, – говорил Ардальон Павлыч и целовал ее безответные губы, – Аня… Извини, брат, я по-военному: раз и два… Да и чего же было нам ждать?! Мы любим, мы связываем себя на всю жизнь… Лука Петрович погневается – и обойдется все. А ведь он, пожалуй, правду сказал, что я его могу обойти… Почему же он просто не сказал тогда нам: «Любитесь-де, мол, венчайтесь, и Господь вам помоги…». Нет, это не по нем… Это не по-старому…

И лицо Стебнева казалось бледнее, а борода еще чернее от луны.

Пармен дипломатично смотрел вперед. Кони скакали. Стали уже гаснуть вдали зарева Масленицы, и дорога понеслась изгибами, подставляя лесу то одну, то другую сторону саней. И никого не было уж, кроме Ардальона Стебнева, смелого и решительного, бегущего к новой жизни из этих крепких, темных мест и увозящего с собой душу этих мест – нежную

Аню…

* * *

Но не так легко выпускают старые места души, которые им принадлежат. Что же им самим-то делать без души? Им самим нужно свежее дыхание, ясный взор, тихий шелест платья, чтобы не жить же все на грубых окриках, на храпе после тяжелой еды, на молитвах.

Любил наш город Аню, и пришел к нему на помощь страшный случай…

Жил в нашем городе на самой окраине близ озера мещанин Ларивон Чуваев в том самом месте, где роща монастыря Умиления в белых оградках своих сбегает почти что к самой воде. Тут-то и жил Ларивон, тут-то и чинил он разный специальный снаряд – замки, ружья, часы; был он очень хороший мастер.

Рыжий, конопатый, приземистый, с большой башкой – он дни и ночи сидел в своей лачуге с копченым потолком и стенками. Работал… И не было у Ларивона друзей, а был лишь пес Мухтарка, и потому думал Ларивон, как осчастливить все человечество сразу.

И думал он вот что: почему это так сделано, что у Змеева или у Громова денег сколько хошь, а у него, Ларивона, денег нет? Разве это справедливо? Чего же начальство смотрит? Ларивон работает, не покладая рук, а Змиев только рыбой торгует и жмет народ ценами. А если бы ему, Ларивону, немного денег, то стало бы дело иначе. Он ведь давно уже знает, как построить тот чудесный снаряд, что будет вертеться все время сам по себе и любую машину крутить без расходу…

Вот что удумал Ларивон!.. И планы уж у него готовы.

Но чтоб построить машину, нужны деньги, а денег нет! Значит, надо достать, чтобы народ осчастливить, – ведь не в одном Ларивоне дело… Имеет ли это право Ларивон? Конечно, имеет.

Вот почему Ларивон в пятнадцати верстах от нашего города и засел на тракту, поджидая почтовую тройку. Сегодня воскресенье, да какое – масляничное! Почтальон, Никита Мосеич, несомненно пьян, а ямщик испугается Ларивонова ружья и остановит коней… Правда, может, придется все равно стрелять, но что же поделаешь? Разве иначе поможешь людям, если стрелять забоишься?

Скачет лунным лесом тройка Ардальона Павлыча, несет с собой его и Анечку; мелькают зеленые и синие от луны пятна по звонкой дороге. И вдруг видит Ардальон Павлыч, как какой-то зайчишка сдуру перекатился через дорогу да в кусты…

«Ох, не к добру!» – подумал он, и тут же враз захрапели кони, шарахнулись, стали укорачивать бег в узком заснеженном месте. И стоит распятым

крестом посреди голубой лунной дороги к счастью Ларивон.

И обратно – стоит Ларивон и видит, что вот скачет тройка… Несет она, эта тройка, заветную мечту его голубой души. Надо ведь ему, Ларивону Чуваеву, весь мир осчастливить – так Бог велел!

– Стой! – орет Ларивон, и так властно, как в избушке своей никогда не орывал, – некому орать-то, один пес, Мухтарка, и все тут. – Стой и больше ничаво…

Разгневался Ардальон Павлыч, видя на своем пути такое препятствие, понимает: надо бороться. И вот выхватил Стебнев свой «Смит и Вессон» и стрельнул в Ларивона, в изобретателя.

Мелькнул красный пузырек огня, слабо раскатился выстрел.

– Мни его конями, Пармен! – кричит Ардальон Павлыч. – Пошел!

Стегнул Пармен по коням, взвились кони, поскакали, и отскочил Ларивон в сторону.

– Ах, ах! – тонко вскрикнула Анечка, закрыла лицо руками, повалилась на дно саней. Не любит человек, как человек человека убивает.

Но приложился тут из сугроба к ложу осатаневший Ларивон, ударил из своей винтовки. Синяя струя огня вылетела из дула, нахлестом стегнула по воздуху, закаталась эхом в лесу, и Ардальон Павлыч сник, стал сползать с сиденья на дно, к Ане.

И видит с ужасом Аня, что нельзя уж ей больше уклоняться, лицо прятать, – падает прямо на нее мертвый Ардальон Павлыч, и по белому от луны пластрону его расползается, курится черное пятно…

– Ай! – вскрикнула Анечка. – Ай! Убили. Убили!

Отскакал вперед Пармен, сдержал тройку Ардальоновых пегих, слез с козел, стал смотреть. Потом снял шапку и перекрестился.

– Царство небесное! – сказал Пармен и смахнул слезу. – Эх, барин, Ардальон Павлыч! Думал, я тебя к венцу везу, а вот что вышло! Что ж делать, барышня, – едем назад, вон дело-то какое… Авось, проедем.

И когда тройка пегих вскакала во встревоженный двор дома Змиевых и люди выбежали с фонарями, засуетились, сверху, с лестницы, раздался истошный материнский вопль Анны Михайловны:

– Анька!.. Что ж это? А! Анечка-а!..

Но твердо поднялась бледная из саней Аня, и брильянты броши сверкнули на голубом, черной кровью выпачканном ее платье. Медленно, опустив голову, она подымалась по лестнице старого родительского дома. А когда поднялась, то наверху лестницы со свечой встретил ее грозно отец, Лука Петрович:

– Ну, сказывай, дочка, Анна Лукинишна, где изволила гулять?..

Но еще грозней глянула в ответ на него Аня и молча прошла к себе, в свою комнату, мягко ступая чесанками, что поверх чулочков обул ее в последний раз голубчик Ардальон Павлыч.

И от первого грозного взгляда голубицы Ани – закачался, пошатнулся старый дом.

Опубликовано и печатается по: Рубеж. 1935. № 11. С. 3-4, 6-8, 10-12.

МАТЬ

Бескозырка вольнопера лихо надвинута набекрень – на один палец расстояния от правой брови. Кокарда проверена привычным движением – прямо ли ребро ладони против нее и против носа. Пояс стянул серую, с кислотцой шинель, и настолько, что с трудом под него пролезают два пальца. Штык на левом боку – на два пальца от левой пуговицы хлястика, за которым лежит поясной ремень.

Рекомендуюсь:

– Вот я, лихой вольноопределяющийся 28 пехотного Полоцкого полка, подтянутый, стройный, молодцеватый… Прошу любить и жаловать.

Все промеры произведены. Взгляд на ноги – сапоги чисты. И громко:

– Мама, я пошел!

И слышу медленные, но бодрые, такие бодрые шаги. В нашу маленькую провинциальную гостиную, где скучают диван и предзеркальный стол под бархатной скатертью, с лампой-тюльпаном, на котором уныло, но гостеприимно виснут бумажные под парафином цветы, входит мама. Проститься – это обычай, который нельзя преступить. Она кутается в уютный, серый, оренбургский платок, сейчас лежала после обеда с «Русским словом»: щека красновата, в узоре от подушечной прошивки, и только глаза, чудесные мамины глаза сияют – темно-серые, бархатные, с какими-то необычайно синими белками.

– Ну, в поход? – спрашивает она.

– Да! – весело говорю я.

Она пытливо смотрит на меня, молчит, потом тянется мягкими губами к моему носу:

– Ну что ж. Иди, иди сынок!

Я вижу, что она хочет меня спросить; я знаю, о чем она хочет меня спросить. Поэтому я откозыриваю и вылетаю во двор, прыжком переношусь через лужу, сберегая свои сапоги, с визгом хлопает ветхая, серая калитка, и – я на улице.

Ах, опять весна, весна, законченная пятая неделя Великого Поста… Вот он, воскресный день у матери, отпуск из Учебной команды. Вот они, деревья, тончайшими жилками на синем небе, по которому просыпан желтый тон солнца; на деревьях громоздятся грачи… Улица – в плешинах,

черных и белых, – пегая, расползшаяся, но тротуары сухи, и на них ребятишки дуются в бабки и в свайки. Под солнцем уютно, по-соседски расселились невысокие серые домики нашей улицы, – все больше в три, четыре окошечка, со ставнями, с наличниками, – греются. Из Богоявленского женского монастыря, из его тончайшей рощицы, где разбросаны домики-келейки, – размеренный унылый звон. Вечерня, должно быть! Белые стены взбегают и сбегают по горам; по углам – зеленые шапки башенок с узкими окнами за железными решетками. Под монастырем бушует овраг. Он бурно играет быркой водой, над ним трубно кличут серые вороны, в нем скачут боком маленькие, ледащие галки; пласт, сажня в полтора, бурого снега подточен, и вода несется в ледяную пещеру… Ребята кличут, как галки, и отправляют кораблики в подснежное плавание.

А мне что! Я – солдат! Я казенный человек! Я иду на пружинах моего выработанного, почти гимнастического шага, меня подбрасывает сила моих двадцати трех лет. Я сбегаю и взбегаю по тротуарам, откозыриваю офицерам четко, ловко. Все в порядке, и я весел, как может быть весел вольнопер в отпуске, в праздничный день, в двадцать три года, когда он идет на свидание…

Все в порядке, и тут, на улице, все блестит, словно начищенные на вербовке пуговицы дома – тоже все в отменном порядке. Там распространил надо мною свою душу, словно пуховый оренбургский платок изымать. Там – скала, мягкая и нерушимая, к которой я не прикасался за время университетских умствований, сомнений, исканий, переживаний. А теперь в этом провинциальном городе мать опекает меня, как только может опекать мать, от чего я уже отвык, и ее заботы так откровенно сладки мне.

Вчера, когда я пришел в отпуск, в саду была вытоплена подслеповатая, подкосившаяся баня среди лиловых вечерних снегов. Мать сама свела меня туда, зажгла утлую золотистую свечку, тревожно понюхала печной дух – нет ли угара, и, когда я стягивал уже рубаху, хлопнула по спине, и ушла со словами:

– Ну, мойся, мойся, солдат!

И даже ее голос, словно улыбнулся нежностью. А сегодня утром, в весеннее воскресенье после крепкого сна, она пришла к моему дивану своими мягкими, словно кошачьими, заботливыми, нетревожащими шагами матери:

– Спишь? А то вставай! Чай готов!

И многозначительно вкусно добавила:

– И еще кое-что.

Весеннее утро. Солнце светит на клеенку стола. На желтый пол. На фикус в углу. Моя любимая чашка – синяя с золотом – блестит янтарем чая, и от этих удивительных пряженцев – с капустой и грибами – идет парок!

О, дети-эгоисты! Дети не видят ласки матери, не замечают ее… А вот когда они вырастут, когда поживут одни, когда потоскуют и попьют водки в белые петербургские ночи, когда заглянут в глаза шумной и пыльной жизни столиц, – только тогда они поймут, что такое мать, как нежно прикосновение ее легчайших рук к слегка уже оплешивевшей душе, и, выйдя утром к столу, скажут с восторгом:

– Ва-ажно!

Мать тут же сияет, как это солнце, как эта икона; время в ее присутствии медленно, но легко, и она, погрузившись в наш «Листок», ахает удивленно:

– Ах, ах, ах, опять на Спасской кража... Ах! Агаша! Агаша! Надо куриц-то запирать начать на ночь… Смотри у меня, Агаша. Ответишь!

Мать – это душа в доме, мать – запах дома, потому что материнским запахом – немного пачули, немного сафранора – пропах весь наш дом. Мать – душа нашего дома в пять окошек, бодрствующая, живая душа. Она живет – и все живет вокруг. Умри она – и дом бы умер, перестали бы звенеть хрусталики на канделябре, блестеть зеркала. И обратно: если бы, оборони Бог, случился пожар и дом бы сгорел, пожалуй, и мать умерла бы, ушла бы душа из исчезнувшего тела – из дома, из его сеновала, погребов, чуланов, сараев, баньки, комнатушек…

Вот и теперь я знаю, что делает мать: она, наверное, сидит у себя в комнате, что-нибудь шьет для сестры, гимназистки Сони, и мурлыкает себе под нос, однообразно и уютно, как кошка… И поэтому, стремясь по улице, я несу в душе ее женскую тишину и покой. И поэтому я так уверен в себе.

Я уже за монастырем. Солнце клонится к закату и заливает весеннюю, рыжую, еще голую, неоглядную степь, над которой в синеве плывут белые облака, волоча по равнине вуали теней. На этой равнине крадется в крутых берегах реченька, которую еще пленные турки когда-то после 1877 года отвели от города вторым руслом. Сзади, вправо и влево, сам город на правом берегу, над старым руслом. Солнечным светом, словно сахарной пудрой, припудрены его черные, коричневые сады, зеленые и красные железные крыши, купола, шпили его церквей… А впереди, в полуверсте передо мной, на бесконечной равнине точкой горит издалека красная яркая шапочка.

Я бросаюсь по шаткому мостику над вспухшим льдом, выбираюсь скачками на другой берег речки, продираюсь напрямик сквозь сухой, острый ивняк и режу пространство отделяющее меня от этого красного пятна. Вот оно.

Поднятая на холмике, против плывущих облаков, среди щетины старого трепещущего ковыля, охватив руками поднятые колени, сидит

горестно Лиза. Ветер, степной и вольный, носится тут же, треплет темный локон из-под красной шапочки, шелестит ковылями и, как пьяный, выписывает круги – все шире, все шире и шире. Моих шагов, должно быть, не слышно из-за звонов и ветра.

– Лиза, – кричу я, – Лиза! Вы уже ждете… Ведь вы озябли!

– Удивительно! – бросает Лиза, не покидая своей курганной позы. – Замечательно! Назначать свидание в версте от города!.. Восхитительно! И назначать в такой ветер!.. Я знаю, я знаю! Это все нарочно… Вы боитесь, боитесь подло и мерзко!

– Чего же я боюсь, Лиза? – недоумеваю я и замечаю, что ветер, этот холодный, пронизывающий бродяга, слизывает с моей души прочь краску дня. – Ну как же я мог знать, что будет такой ветер? И я не опоздал!.. Напротив, это вы пришли слишком рано.

– Ах, рано?! – спрашивает Лиза, и бросает обе руки на рыжую землю по сторонам. – Если рано, я могу уйти… Пожалуйста! А чего вы боитесь… Вы не знаете?.. Вы вашей мамы боитесь, Александры Николаевны, вот что-с!..

Лиза говорит запальчиво. Она широко раскрывает свои огромные, чудесные глаза, на которых уже выступают обильные слезы.

– Я знаю, я знаю… – бормочет она и с каждым словом прогибается вперед. – Я все знаю, все ваше дурное отношение ко мне… Не смейте меня обнимать! Не смейте! Вы – гадкий.

Я знаю в чем дело: она ревнует меня к матери…

О, Лиза чудесна! Лиза неповторима. Какие у нее глаза, черные, сплошные – какие-то пятна темноты… У нее цвет лица старого жасминового фарфора… У нее чудесные, обильные черные волосы. А голос?

– Удивительно! Прямо замечательно! – говорит Лиза и трясет перекошенными кулачками. – И как это вас мама пустила?! Небось, спрашивала, куда идешь?.. О, и вы, конечно, сказали… сказали, что не ко мне?!

– Нет! – говорю я и смущаюсь, вспоминая, как я убегал от материнского вопроса, словно слыша раздумчивый голос матери:

– Ну, иди!

Но через две минуты Лиза уже забывает свое раздражение и начинает весело болтать…

– Какова погодка! – говорит она, и я вижу, что и впрямь все облистано светом, солнцем, все овеяно чистейшим весенним воздухом. Видно, что шестая неделя… – А вас дома, правда, в коротких штанишках водят? Ха-ха-ха! Как маленького… Ну, дуся! Дуся, не сердитесь… А правда, что Диодоша Ивинский попал под арест? За что?

Она, как наша полковая Маскотта, издали знает о нас почти все. Она живет и сочувствует нашей солдатской жизни, простой, грубоватой, для которой так много значит женщина. Может быть, она и меня хочет

утешить, обласкать и чутьем слышит, как у нее есть соперница. Моя мать… Но она так молода, так искрення, так забавна… И главное – так красива!

Солнце быстро скатывается за бушующий красными протуберанцами горизонт, и на парче заката – черный контур города и высокая крупная звезда. Прямо над равниной, над далеким чернолесьем, подымается овалом золотая луна, и скоро весь горизонт, вся равнина начинает светиться нежным пепельным колдовским светом. Скрипучий ветер пышет нам в лицо, треплет нас за полы, за лица и радуется с нами простой и сильной радостью. Лиза широко шагает со мной к городу, рука ее под моей плотно прижата, она греет обе кисти в муфточке и мелко дрожит – не то от свежести, не то от счастья.

– Сережа! – говорит она и останавливается. – Ах, Сережа, если бы вы знали, какой вы удивительно хороший!.. Прямо замечательно хороший!

И, не выдерживая силы этой мысли, оны выхватывает руку из-под моей, жмет обе щеки, словно у нее больные зубы: луна светит в ее большое лицо с двумя морями темноты, и слезы восторга блестят в них золотыми каемочками. Я целую ее в темный, тугой рот, сильно изогнув назад, почти до земли.

* * *

Окно столовой светится, я стучусь. Сквозь занавеску я гляжу, как со стула медленно поднимается тень… Знаю, это – мать. Она ждет.

Из-за двери, во дворе слышится ее спокойный голос:

– Сергей?

– Я, мама!

Гремит тяжелый крюк. С крюком я намеренно долго вожусь, чтобы мать ушла в сени. Но я знаю – она стоит в передней.

Я намеренно долго раздеваюсь. Долго снимаю шинель. Бросаю неловко штык.

– Тише, – говорит мать, – тише!.. Соня-то ведь спит!

Снимаю тут же, в темноте, мундир.

– Ужинать будешь?

Надо бы не ужинать, а не то ведь мне – 23 года; столько воздуху, столько переживаний. Я знаю – рано ли, поздно, я дойду до столовой, где горит и пищит керосин в висячей лампе, где на уголке в накрытые салфеткой стоят хлеб, молоко и котлеты.

И вот мать опять против меня в своем оренбургском платке. Смотрит, улыбается…

– Ну, – говорит она, – где был?

Я-то самостоятелен?

– Да!

Я взрослый?

– Да!

Я кончил университет?

– Да! Да! Да!

И все равно – этот вопрос неотвратим, потому что это – вопрос матери. Между мной и ею нет стен – я – она. Здесь передо мною сидит сама совесть в оренбургском платке. Сидит и смотрит на меня своими серыми и умными глазами.

– Рассказывай, рассказывай! – негромко говорит она и поглаживает рукой по клеенке. Чуть улыбается. – С ней был?

Она знает: там – закат, пыльный свет луны, ветер, другая женщина. Я куда-то уходил от нее, от матери. Уходил. Это и страшно, но немного – ничего… Вернулся я или нет?

– С кем это – с ней? – спрашиваю я, пробую отвертеться.

– С Бетси, конечно, – вдруг немного в нос говорит мать. – С кем же… Весь город говорит. Что ж, она была интересна?

Она знает все. Фарфоровое лицо. Темные пятна глаз…

– Ах, мама, мама, – залезаю я носом в стакан с молоком. – Да, очень интересна. Очень!

– В какой шляпе? В этой красной, с черным пером? Пожалуй, это к ней идет. Но слишком как-то экстравагантно. Она, знаешь ведь, как-то простовата.

Мать играет со мной, как кошка с мышкой. Мать хитрит. Я знаю – я могу встать, уйти. Могу не говорить о том, что еще звучит симфонией во всем теле. Но я знаю – уйди я, я бы обеднил сам себя. Стихия – огромная, ласковая, материнская стихия идет на меня.

– Ага! – продолжает мать. – Значит, это она так долго не пускала тебя домой. Удивительные свидания по шесть часов подряд!.. Где же вы были?

Я молчу.

– Чем же она тебе нравится? – допытывается мать. – Ну, скажи, – чем? И очень нравится? А?

Да, Лиза или Бетси, как с чуть заметной, легкой усмешкой зовет ее мать, мне нравится. Правда, она экстравагантна. А эта шляпа – кто ее не знает в нашем городе? Но, черт возьми, как же объяснить матери, как она, все же несмотря на все это, чуть заметно расхолаживающее, хороша.

Я молчу. Мать тоже молчит, раздумчиво качает головой.

– Что ж, – говорит она наконец, – ты взрослый… Ты, вероятно, возмущаешься, что я втираюсь в твои дела? Видит Бог, я не хотела бы этого… Но если бы я не сделала этого, я не была бы матерью. А ведь во всем мире, в целом мире, сынок, ни один человек не встретит тебя вот так, как я, не будет тебя ждать, не будет волноваться за тебя… Вот вы гуляли там… я не знаю, где, не знаю, что вы делали… Целовались, может быть. А у меня изболелось все сердце, вся душа… Потому что ты… – она остановилась и с

трудом сделала глоток. – Уходишь от меня… Это – судьба! Но куда ты уходишь, вот – моя забота. К женщине… Но мы знаем, мы, женщины, знаем лучше вас, что такое женщина… Скажи, ты ее любишь или нет?

– Мама, это же мое дело! – восклицаю я с отчаянием.

– Знаю, Сережа, знаю, – говорит мать. – Ты не можешь ответить на этот вопрос – значит, тебе о нем и думать некогда. Ты ведь об этом и не думал… Ага! А я думала. Ты силен, молод, в тебе сила бушует – вон ты какой… когда ты родился, и я стала кормить тебя в первый раз, ты укусил меня за грудь так, что потекла кровь… Где тебе думать от твоей силы. А кому же думать за тебя, как не матери? И вот я думаю про Бетси… У нее бедная душа. Ты посмотри, сынок, как она одевается, посмотри на все эти ее кофтулечки – как они сидят на ней. Бедно? Да не в этом дело. Безвкусно – вот что беда!.. А этот романс ее, который, знаешь, она всегда поет, этот… ну, как его? «Уголок» что ли. И как она плохо поет его. У нее сильное тепло, но ведь этого мало…

– Мама! – говорю я. – Объясни мне одно: ты когда-нибудь говорила с ней обо мне?

– Спаси Бог, сынок, – говорит мать и даже крестится. – Что ты! Что ты! Ведь что-нибудь говорить о тебе – значит, признать, это…

– Почему же она так не любит тебя? Почему она мне сегодня сетовала, что ты не пускаешь меня к ней?

– Что ж, она права, – говорит мать и тянется к моему стакану, чтоб подлить еще молока. – Все это очень просто, она – женщина, и я – женщина. А мы устроены иначе, чем вы, мужчины. Ты думаешь, я не знаю, что ты делал, где ты был?.. Знаю! Сердцем знаю! Вот и она, поверь, сердцем тоже знает, что мы вот сейчас тут сидим и разговариваем. О нас поговариваем… Завтра к бабке побежит, бедная! Ах, Сережа, мы боремся за тебя, и не явно боремся, как вы, мужчины, а так, как умеют бороться только женщины… Мы боремся взглядами, словами, мыслями, проклятиями или благословениями, и это наш женский мир, Сережа, в котором вы ничего не смыслите. Да, да! Но есть между нами и разница: она борется за себя, а я – за тебя, не за себя… Я могу быть искренней, а она – нет.

Мать помолчала, потом сжала на груди руки крестом, повела приподнятым плечом:

– А, впрочем, делай, как знаешь. Но помни, сынок, одно: не начинай роман с конца! Пожалей ту женщину... Ведь после этого она пропала, она уже не блестит, она остается с грязью в теле, с грязью в душе… Ну, иди спать. Я тебе постелила. Иди! И я лягу.

И, засыпая в гостиной на диване в свежих простынях, от которых тоже пахло матерью, я слышал как будто шепот…

Мать молилась.

Проза

* * *

– Поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения, – раздельно и важно произнес среди своих густых эполет командир нашего полка, полковник Корнаковский. – И желаю… Желаю, чтоб… Дай Бог… Христос Воскресе!

И полез в карман за словом, но вытащил только надушенный белоснежный платок, чтоб начать христосоваться.

– Воистину Воскресе, ваше высокоблагородие! – дружно подтвердили мы, вся учебная команда, incorpore.

Сияли офицеры, сияли лампы, начищенные до безумия, до феноменальности, сияли лампады перед образами святых Кирилла и Мефодия, сияли и мы. На всех нас были мундиры первого срока, все мы были чисты, бриты, все мы были страшно сильны, молоды, и все мы стояли в разведенных шеренгах, и к нам, как к изваяниям прикладывалось начальство, седой строгий командир, начальник и веселые наши младшие офицеры. Потом были разговены колбасой и яичком, потом была здравница, и, наконец, словно потухла половина ламп: начальство уехало к своим веселым пасхальным делам.

– Господин подпрапорщик, разрешите домой! – метнулся я к нашему Ивану Федоровича Рускакову.

– Ах, нет, вольноопределяющий, ах, нет-с, оставьте, не лукавьте, – пропел хрипло фельдфебель, и его малиновый лик расцвел во всех направлениях. – Покамест вы со мной не выпьете на посошок, уволить вас по уставу службы праздничного распорядку никак невозможно-с… Прошу-с!

Выпили. И, когда я выскочил наконец из казармы под черное, теплое, искрящееся огнями небо, на меня пахнул уже тот свежий воздух, который приходит только после полуночи и льется все чище и чище к рассвету.

А кроме этой свежести, ночь дышала березками, топольками, какой-то травкой, которые тоже вышли в мир к этой Пасхальной ночи, и, должно быть, тоже хотели, чтобы с ними христосовались или хотя бы с ними радовались, их поздравляли. И высокие лампы пролетали надо мной, как дымные облака на фоне звезд

Шинель плащом вилась за моими плечами, штык я придерживал и мчался вперед, туда, к городу, над которым вставало зеленое марево от огней на улицах, откуда доносился дальний звон и где всходили, означая церкви, золотые дуги ракет. Собор на горе казался прозрачным от бенгальских огней, от полыхающего зарева смоляных бочек, словно тут и там в городе вспыхивали веселые пожары. И, когда я бежал уже по улицам, во всех окнах был свет, никто не спал, и по тротуарам, по мостовым бежали темные фигуры с задранными белыми подолами, с узлами съестного в руках.

Какая была ночь! Какая счастливая ночь!

«Лиза! – думал я с отчаянием, – Лиза!... Я опаздываю… Я задержался в команде, в красных казармах. Бежать прямо в собор?.. А мать?.. Надо ее поздравить! А если я там задержусь?.. А если мать меня не пустит? Замечательно будет!».

На темной улице пять желтых четырехугольников – дом. Я влетел во двор, рванул в дверь, неистово загрохотал.

– Кто там? – тоненько спросила сестра. – Кто-о? Ты, Сережа?

– Я. Отпирай скорей!.. Кто у нас?

– У нас мно-о-ого! – восторженно зашептала сестра в темноте, тоненько, счастливо засмеялась и положила мне руки на плечи. – Скорняковы, Дьяконовы, потом этот… ну, пьяница Ершов… Все, все!.. Нарядные! Тебя только не хватало… А какое у меня платье!.. Ай, Христос Воскресе! Я грешница и забыла!

И она серьезно, мерцая в темноте белым бантом на голове и благоухая помадой и одеколоном, припала к моим губам своими мягкими губами.

Я бросил шинель в темноту, на сундук, где пахло куличами и вином, и проскочил прямо к матери.

Мать в белом, причесанная, свежая и моложавая, командовала в ажитации на кухне.

– Мама! Христос Воскресе!

Она сразу обернулась, подошла, взяла мою голову своими сильными ладонями, качнула вправо и влево, посмотрела в глаза и трижды звучно поцеловала.

– Христос Воистину Воскресе, сынок! Спасибо! Спасибо! Спасибо!

– За что спасибо? – недоумевал я.

– А за то спасибо, – говорила она и вся искрилась от теплого и широкого чувства, – за то спасибо, что сразу не удрал, негодяй, туда, куда, наверное, убежишь, а зашел поздравить мать. За это. За то самое, что не забыл! Ах, сынок, если бы ты знал, как матери мало нужно!.. Ну, а теперь – беги! Иди… Повертись только для приличия в столовой и исчезай! Твоя судьба! Моя жизнь прошла…

И она тихонько смахнула набежавшую слезу, выбирая какую-то слишком поджаристую миндалинку из второочередного кулича с пышным розаном и в белой сахарной шапке.

* * *

Четверть века минуло с того времени. Прошла война, пробушевала революция, всех нас завертело, унесло, засыпало снарядами, пулями, словами, ненавистью, упреками… Но всякий год, как приближается этот Великий Праздник, я опять вижу нетленной, неизбывной ту удивительную

ночь, в которой вокруг меня было столько женской любви.

Когда я извлек Лизу из собора на бульварчик, – на который смотрела с нашего луга темная ночь, от собора лился свет, а с иллюминованной колокольни сыпались медные звуки, – она заплакала.

– Такая ночь! – говорила она. – Такая ночь, а вы не могли придти пораньше! Я давно уж вас жду! Вероятно, у мамы спрашивались?.. Удивляюсь!

От зарева бочек было видно, что у нее жалко жмурились глаза, но губы морщились от улыбки.

– Милая! – сказал я. – Милая Лиза!.. Не надо гневаться в такой праздник. Не надо!.. Мать отпустила меня сама в эту ночь, отпустила от себя, отпустила потому, что она – мать, что она хочет, чтобы мое счастье было моим счастьем, а она о себе не думает…

И до сих пор, в каком-то чуланчике неизбывной памяти, вижу я до боли ясно, как мы с Лизой сидим у них дома за столом, а потом, на свету, выходим в сад, который залит вишневым и яблонным цветом, и сквозь цветы всходит розово-золотистое солнце, и маячит густо-синее небо.

Но всего крепче в сердце память мне врезала маму – маму в белом платье, над глупым куличем с шелковым розаном, как она вынимала пригоревший миндаль крупными белыми пальцами, на одном из которых такое знакомое заветное кольцо с тремя цветными камнями – с якорем, сердцем, крестом.

Тогда она отдала меня, своего сына, навсегда жизни, и это была последняя Пасха, когда я был с матерью.

Где хранится это все, что ведь было когда-то в те «баснословные года»? Было – или нет! Время коснулось нас своим жестким крылом, душа наша огрубела, постарела, одеревенела от бурь, крови, передряг, боев и клеветы. Она словно не верит даже, что то и впрямь было… Да и где же он, этот стройный юноша в черном мундире с синими погонами, с цифрой «28» на них, вокруг которого так явно вздымались тогда волны любви, плещущей в мире, двигающей все вещи и замирающей все больше и больше теперь?

– Прошло... Прошло!

Впервые опубликовано и печатается по:
Рубеж. 1935. № 18. С. 7-9, 11, 14-16.

Наталия Иосифовна ИЛЬИНА *(1914–1994)*

Писательница и журналистка Наталия Ильина родилась 6 мая (ст. ст.) 1914 г. в городе Петербурге в дворянской семье. В 1920 г. вместе с родителями уехала в Харбин. Окончила гимназию ХСМЛ, училась на ориентальном факультете Харбинского института ориентальных и коммерческих наук. В 1936 г. уехала в Шанхай. Писала фельетоны под псевдонимом «Мисс Пэн». Публиковалась в журнале «Рубеж» (Харбин), газетах «Шанхайская заря» (Шанхай), «Новая жизнь» (Шанхай). Организовала сатирический еженедельник «Шанхайский базар». С 1941 г. сотрудничала с ТАСС. В 1948 г. вместе с группой репатриантов возвратилась в СССР. Закончила Литинститут. Печаталась в журналах «Крокодил», «Юность», «Новый мир» и других как критик и фельетонист. Автор книг «Возвращение» (1957-1963), «Дороги и судьбы» (1985) и др. Умерла 19 января 1994 г. в Москве.

Ист. и лит.:

Ахмадулина Б., Бакланов Г., Можоев Б. Памяти Н. Ильиной // Литературная газета. 1994. 26 января.

Бикбулатова К.Ф. Ильина Н. // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: Биобиблиографический словарь. М., 2005. Т. 2. С. 92-94.

Биуль-Зедгинидзе Н. Литературная критика журнала «Новый мир» А.Т. Твардовского (1958–1970 гг.). М., 1996.

Грекова И. Разветвление дорог // Октябрь. 1983. № 10.

Иванова Т. Наталья, Ольга, Мариетта // В мире книг. 1986. № 12.

Киреев Р. Обретение лада // Знамя. 1985. № 11.

Рощин М. Долгие дни возвращения // Новый мир. 1966. № 5.

ШАНХАЙСКИЕ ДЕТИ

Было воскресенье − благословенный день, когда не нужно идти в салон, мерить платья и лицемерно восхищаться фигурами капризных толстых дам. Вера Сергеевна вспомнила, что сегодня она решила взять детей в церковь к причастию.

Из соседней комнаты уже доносилось монотонное, успокаивающе ворчанье амы и капризный голос Мирика:

– Ай но уончи плей уис ю! Уходи!

Вера Сергеевна опять с тоской задала себе вопрос, что будет дальше с тремя ее белоголовыми произведениями. Четырехлетий Мирик говорит на странном англо-русском жаргоне, двухлетняя Киска вообще ни одного слова по-русски не знает. Одна Майка, рассудительное и спокойное существо шести лет от роду, совсем хорошо говорит по-русски. Но надолго ли? Уже полгода она ходит во французскую школу. Скоро и она будет мешать русский язык с французскими словами.

Шум в соседней комнате усиливался. Плакала тоненьким Киска. Ама стойко уговаривала Мирика надеть чулки, а он упрямо твердил:

– Но уончи! Уходи!

Выступила Майка:

– Тише, Мирик. Она спит. Она – это мать.

– Мирик, – строго позвала Вера Сергеевна, – пойди сюда.

В соседней комнате все испуганно затихло. Только Киска продолжала жалобно хныкать. Через несколько секунд в дверь просунулась белая кудрявая голова.

– Мирик, ты почему не слушаешься амы?.. Если ты будешь так себя вести, то уходи от меня. Мне такого мальчика не нужно.

Мирик засопел и часто заморгал глазами.

– Я больше не буду, мами. Я не уходи, да?

– Посмотри, на кого ты похож? Без чулок. Ты же простудишься... ну, тэйк колд, понимаешь?

– Понимаешь, – покорно вздохнул Мирик и вскарабкался на кровать.

– Ну, расскажи, что ты видел во сне?

– Пони… И еще – ты.

– Тебя, Мирик.

– Тебя.

Мирик посмотрел в угол, где по случаю воскресенья пред иконой теплилась лампадка, и добавил задумчиво:

– А Боженька дринк ти.

Потом Мирика увели одеваться и явилась Майка. Она села на край кровати и озабоченно вздохнула.

– Мам, возьми нам гуверняню, тебе будет меньше хлопот.

Вера Сергеевна не стала объяснять, что на «гуверняню» нет денег, а вместо этого сказала:

– Ну, вот что – мы сегодня пойдем в церковь. Ты иди, Маечка, а я буду одеваться.

– Ничего, мам. Ты одевайся, а я буду посидеть.

Через полчаса все семейство ехало в трамвае. На руках у амы моргала и улыбалась Киска. Веру Сергеевну вывела из задумчивости какая-то глухая борьба, происходившая рядом, и голос Майки:

– Пусти меня! Я тоже хочу посидеть…

– Майка, оставь Мирика. Ты же большая девочка.

– Но, мам, он же должен мне уступить место: он же кавалер, а я кавалерия.

В церкви дети стояли смирно. Майка широко крестилась и низко кланялась – точь-в-точь как ее учила няня, умершая два года тому назад. Вышел священник со Св. Дарами:

– Со страхом Божьим и верою приступите.

Громкий шепот Мирика:

– Майка, Майка, что Боженька говорит?

Детей повели причащаться. Шепотом говорила Вера Сергеевна имена:

Екатерина, Владимир, Мария…

– Глотай, глотай скорее, – торопил батюшка медлительную Майку.

А на обратном пути в трамвае Майка жаловалась:

– Мам, зачем он мне так говорил? Это же не в животик я глотала, это в душу.

Майка все знала. Она была воспитана няней, которая умерла. Старая няня была – еще из России. А вот кто будет воспитывать Мирика и Киску?

После обеда Киска спала в детской, а Вера Сергеевна у себя думала невеселые думы… Жалованья не хватает. Все так невозможно вздорожало. Даже две маленькие комнаты в бординге скоро станут не по карману.

Из задумчивости вывел голос Мирика:

– Мами, а мы сегодня пойди дэдди?

– Непременно пойдем. Вот когда Киска проснется. Поиграй пока.

Странно подумать: вот уже два года, как она не видала их отца. С самого рожденья Киски. Уж очень сильно оскорблена была тогда. Решила никогда больше не видеться с ним.

Знала, что живет он неважно, женился второй раз. Детей водит к нему амка по воскресеньям. Майка еще, вероятно, помнит их совместную жизнь. А Мирик – смешно подумать – никогда даже не видел их вместе. Вернее, совсем этого не помнил.

Майка играла в углу со своей куклой-солдатиком, носящем странное имя – Горошин. Когда ее спросили: «Майка, почему ты так его назвала?», она ответила: «Ну, как же, мам, ты же мне сама рассказывала сказку про принцессу на горошине. Принцесса у меня уже есть, а это будет Горошин».

Из коридора послышался звонкий голос Мирика:

– Анти, можно ты дом?

– Господи, опять он пошел мешать соседке Софье Петровне!

Мирик страшно любил ходить в гости и, когда за ним не смотрели, обходил все комнаты бординга.

– Майка, пойди, приведи сюда Мирика.

Майка взяла в объятия своего Горошина и пошла исполнять поручение. Через несколько минут в углу торчали уже две белокурые головенки.

Майка укачивала Горошина и пела тоненьким голосом:

– Ноэль, Ноэль, скоро будет Ноэль!

– Ноэль, – подпевал Мирик, – и придет Санта-Клаус.

– ...и принесет много, много игрушек...

Надо еще подумать, откуда взять эти «много, много игрушек».

Пришел соседский мальчик Глеб звать детей играть на двор. Тот самый, которому Майка как-то раз нежно сказала:

– Глебочка, я хочу на тебе венчаться.

– Но уончи играть двор, – заявил Мирик. – Мы идем дэдди.

Когда дети ушли, стало сразу пусто и тихо. С ними легче жить. Меньше как-то идут в голову ненужные, тяжелые мысли.

Пришли поздно – в 7 часов. Мирика и Киску ама сразу повела мыться и укладывать спать. Майка явилась поговорить с матерью.

– Ну, расскажи, хорошо было у папы?.. Что вы делали? Играли?..

– Сначала пили чай, – сказала Майка, – потом немножко гуляли с папой. Потом играли во дворе, там был новый мальчик – Коля.

Майка замолчала и о чем-то задумалась.

Вере Сергевне мучительно хотелось задать ей несколько вопросов: расспросить подробно об ее отце, о его новой жене, о его жизни... Но нельзя же ее впутывать во все эти истории. И потом это как-то так унизительно выспрашивать у ребенка...

– Мам, я все-таки думаю, что Коля лучше.

Вера Сергеевна не сразу поняла:

– Что? О чем ты говоришь?

– Коля. Новый мальчик. Я думаю, мам, я лучше на него буду венчаться. А Глебочка пускай будет помощником.

Майка была легкомысленна и изменчива.

В Сочельник Вера Сергеевна украшала елочку. Удалось достать все-таки. Елочка маленькая, чахлая, но зато настоящая. Под ней лежали игрушки, правда, не «много, много», но дети, вероятно, все же будут довольны. Они сидели в соседней комнате и торжественно ждали, когда их позовут посмотреть на елку.

А потом послышался стук, и... вошел «он».

Вера Сергеевна в первый момент даже не поняла и не узнала. Руки задрожали, стеклянный шарик упал на пол и разбился.

– Зачем вы пришли?..

– Вера, можно мне провести с вами и с детьми всего один час? Мне так мучительно захотелось побыть с вами в этот вечер!..

И она любила когда-то этого человека! Мелкий, ничтожный, легкомысленный человек. Дешевенькие эффекты (ну совсем как в трогательных рассказах) – придти в Сочельник или встретиться на Заутрени. Вера Сергеевна ничего не чувствовала, кроме раздражения и внезапной усталости.

В дверях стояли Майка и Мирик и смотрели на отца и мать удивленными испуганными глазами.

– Майка, Майка, – прошептал Мирик, совсем округлив глаза, – они знакомы?..

– Ну, конечно, – ответила разумная Майка, – они же венчались.

Впервые опубликовано (под псевдонимом «Мисс Пэн») и печатается по: Рубеж. 1939. № 2. С. 12, 16, 18.

Хрестоматия

Мария Павловна КОРОСТОВЕЦ
(1899?–1975)

Поэтесса и переводчица Мария Коростовец родилась (предположительно в 1899 г. в Петербурге) в семье российского дипломата, синолога-лексикографа П.С. Попова. В эмиграции жила в Пекине. В 1943 г. переехала в Шанхай. Участвовала в литературном кружке «Пятница». Стихи М. Коростовец печатались в журнале «Рубеж» (Харбин), сборниках «Остров» (Шанхай, 1943), «Песни с Востока» (Аделаида, 1989) и др. Писала также прозу. В начале 1950-х гг. уехала с семьей в Австралию. Умерла 18 июня 1975 г. в Брисбене после продолжительной болезни (инсульта).

Ист. и лит.:

Бакич О.М. // Встречи. 2007. № 31.
Мейя Н.В. Уход М.П. Коростовец // Оккультизм и йога. 1976. № 64. С. 149-150.
Штейн Э. Поэты русского Китая (иконография) // Новый журнал. 1997. № 206. С. 150-151.

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАМОК

Так славно поскрипывает снежок под ногами!

Ботики новые, серого сукна, опушенные полоской меха. На блестящей, в мелкую клеточку нарезной подошве посредине – ярко-красное клеймо «Треугольник». И в них тепло.

Конечно, поддеты вязаные длинные гамаши, а суконная шубка – на беличьем меху. Меховые наушники у шапочки опущены – тепло. Только вот руки зябнут, несмотря на пуховые варежки, а муфту брать не к чему: трудно управиться одновременно и с ней, и с туго набитым ранцем.

Алла Батурина легкой походкой идет по запорошенному снегом тротуару. Сегодня был дополнительный урок, практические занятия по химии; потом задержались с разговорами в раздевалке, и вот, когда вышли из гимназии, уже темнело, и начали зажигаться фонари. Но лезть в душный трамвай определенно не хотелось – уж очень сказочно падают, тихо кружась, крупные снежные звезды, оседают на плечах, на рукаве, на завитках волос. Коварно заваливаются за воротник и холодят шею.

Но они такие красивые, такие фееричные, что хочется долго-долго, далеко-далеко шагать сквозь их замедленное, нежное круженье, и даже не тянет домой, в уютное тепло, к письменному столу под спускной на блоке лампой с зеленым абажуром.

Конечно, таким и должен быть вечер накануне сочельника. И, конечно, в такой вечер просто грех не пошататься немного по улицам.

Подруги – Алла идет с любимой товаркой своей, Женей Кречинской, – останавливаются у ярко освещенной витрины магазина: за большим

зеркальным стеклом вперемежку, но с изящной аккуратностью, разложены писчебумажные принадлежности, игры для взрослых и много красивых безделушек, ненужных, но для подарков соблазнительных.

Посредине – небольшая, пышная елочка, мигающая яркими разноцветными огоньками электрических свеч, то вспыхивающих, то угасающих. Под елкой разложена вата, искрящаяся кристаллами разбросанной по ней борной кислоты, и по стальной ленте круглящихся рельс с легким треском обегает вокруг елки миниатюрный поезд, ныряя в тоннели, проносясь по мостам, мимо нарядной станции с узким перроном, мимо поднимающихся и падающих полосок семафоров.

Совсем прижавшись к смолистому стволу дерева, добродушно улыбается, взирая на это торопливое «perpetuum mobile», классический Дед Мороз в красном кафтане, опушенном ватой, в островерхом шлыке и высоких черных сапогах. Борода у деда длинная, широкая, а за плечами – объемистая корзина с подарками и неизменной розгой.

Рядом с ним задумчиво сидит коричневая плюшевая обезьяна, на суконном лице – рот до ушей и глаза, блестящие плоские черные пуговицы. Немножко поодаль – голубой бархатный бульдог с высунутым лоскутиком красного языка и огромным бантом.

Почему – голубой!?..

Алла Батурина смахнула кончиком варежки всю длинную полоску пушистого снега с загибающейся медной рампы, охраняющей стекло витрины, и, оперевшись на металл, с интересом разглядывает чудесные предметы по ту сторону прозрачной преграды.

Алле недавно минуло пятнадцать лет, но масса вещей из заманчиво там разбросанных ее пленяет. Даже голубой бульдог…

А вечное перо и набор принадлежностей для маникюра в синем сафьяновом футляре – просто желанны.

Интересно, что она получит на елку?.. Несмотря на войну, несмотря на тревожность истекающего шестнадцатого года, елка у них обязательно будет – завтра, в сочельник, после всенощной.

Это своя, домашняя елка – просто посидят все вместе в гостиной при мягком свете елочных свеч, обменяются подарками. Сестра будет играть на рояле что-нибудь рождественское, и трудно будет оторваться от наваленного на подносы рождественского угощения – изюм на ветках с маленькими цветными бантиками; винные ягоды и липкие финики; длинные палочки пастилы – самая вкусная рябиновая! – и склеенные помпончики зефира; пряники темные и пряники мятные – легкие, с шероховатой поверхностью.

Отдельно орехи: грецкие, мелкие волошские и длинные американские, с такой твердой скорлупой… Зато миндаль очищается легко, даже зубами. Фисташки уже сами расколоты, для них не нужно щипцов, хотя

щипцы непременно будут лежать тут же рядом, на подносе, – никелированные, перекидные, с витыми ручками…

А в самый день Рождества – обед своей компанией у Кречинских – у Жени всегда так оживленно и весело! А после – бал, то есть не совсем бал, ведь сейчас война, а просто танцы, но молодежи, по-видимому, соберется много. Зажгут елку… Женя говорит – елка чуть ли не под потолок!

Алла весело улыбается, предвкушая такую уйму удовольствий.

– Посмотри, посмотри, что за прелестное личико!.. Справа, вон сероглазая, в синей шубке…

Два молоденьких офицера, натягивая перчатки, стоят на ступеньках известного ресторана, темными силуэтами выделяясь на фоне ярко освещенной открытой двери.

Алла инстинктивно оборачивается направо, ища сероглазую особу, привлекшую их внимание, и вдруг густо краснеет, сообразив, что сероглазая особа – она сама.

«Какие симпатичные!» – невольно мелькает у нее в голове, и она улыбается весело и благодарно.

* * *

На обед к Кречинским Алла, конечно, чуть-чуть не опоздала. Днем еще, наспех, Женя телефонировала ей и сообщила последнюю новость:

– Ты знаешь, ужасно кстати… Оказывается, Сережа Свиягин третьего дня приехал в отпуск с фронта и только что нам звонил по телефону. Мама, конечно, его пригласила на сегодня, и он обещал приехать к обеду… Я так рада, что ты с ним, наконец, познакомишься!.. Он такой умный и веселый…

После этого разве можно было попасть вовремя!?..

Прическа никак не хотела выходить, широкий черный бант в волосах не ложился ровной бабочкой, и Алла, нервничая, снова и снова перекладывала туго заплетенные косы, раскидывая шпильки по толстому стеклу туалета.

У чулок поползла петля… В последнюю минуту отлетела кнопка на поясе. Словом, тысяча и одно несчастье… Зато когда она, наконец, в полной боевой готовности взглянула в зеркало на свое отраженье во весь рост – она осталась очень довольна собой, волновалась недаром. Но теперь – скорей, скорей галоши, шубку, перчатки и – на извозчика. Она уже опаздывает…

Еще из передней, раздеваясь, Алла слышала доносящийся сдержанный гул голосов и шум отодвигаемых стульев и, наскоро поправив перед зеркалом смявшийся бант прически и тоненькую ниточку жемчуга на шее, проскользнула прямо в столовую, как раз вовремя, чтобы, незаметно

смешавшись с рассаживающейся толпою гостей, занять единственный оставшийся свободным стул.

Усевшись поудобнее, она расправила платье, раскинула на коленях салфетку и тогда только принялась незаметно изучать своих соседей.

Справа от нее очутился Юра Колосов – незначительный и неуклюжий юноша, слегка шепелявящий. Неинтересно.

Слева… Алла глянула и обомлела. Слева от нее собственной персоной сидел никто иной, как тот самый молодой офицер, который вчера со ступеней ресторана обратил внимание своего товарища на ее сероглазое очарованье.

Сомнений быть не могло. Как ни мимолетна была встреча, как ни плохо освещено было его лицо, Алла отлично запомнила и упрямый подбородок, и карие смеющиеся глаза за стеклами пенсне, и умный, резко очерченный рот под стрелкой подстриженных усов – так редко кто носит усы.

Кто же бы это мог быть? Она его еще никогда не встречала, а между тем она знает, кажется, решительно всех молодых людей, бывающих в доме Кречинских.

И вдруг неожиданная догадка мелькнула у нее в голове: да, конечно же, это – Сергей Свиягин! Какая она глупая, сразу не сообразила…

Разумеется, он. Она внимательно изучала его уголком глаза сбоку. Очень интересный – Женя права. Не красив, но лицо умное и приятное. И как странно, что вчера они уже встречались, и он сразу обратил на нее внимание!..

В общем, конечно, с его стороны это было дерзостью, и она могла бы даже обидеться. Но кому придет в голову в пятнадцать лет обижаться на такой явный, такой искренний комплимент!.. При воспоминании о нем Алла почувствовала, как снова непрошенный румянец заливает ее щеки. Так глупо…

Молодой офицер в свою очередь разглядывал ее, не стесняясь, в упор и с легкой усмешкой, видимо, наслаждаясь ее смущением.

– По-моему, мы с вами уже на днях встречались, – наконец сказал он. – И не скрою от вас, что сегодняшнее наше соседство явилось одной из приятнейших неожиданностей в моей жизни… Итак, выпьем за нашу вторую встречу и за много-много встреч в будущем! Ваше здоровье! – он приподнял в ее сторону свой бокал. – А теперь я хочу угадать ваше имя.

Алла, смеясь, тряхнула головой:

– Ну, это-то вам как раз и не удастся! У меня имя не совсем обыкновенное.

– А вот подождите, я попробую. Ведь вы не знаете, что я немножко колдун! – он на минуту замолчал, и лицо у него стало серьезным, почти напряженным. Алла ждала со скептическим любопытством.

– Алла, – наконец нерешительно произнес он.

Девушка взглянула на него в изумлении:

– Откуда вы знаете?

Но на его лице уже снова играла прежняя, чуть насмешливая полуулыбка:

– Ведь я сказал вам уже, что я колдун!

Алла с недоверием покачала головой.

– Ну, хорошо, – сказала она. – Но я все-таки вас перещеголяю: вы угадали только мое имя, а я скажу вам не только ваше имя, но и фамилию. Вы – Сергей Свиягин.

– Верно, – засмеялся он. – Не хватает только отчества. Впрочем, и не надо – зовите меня просто Сережей. Но все-таки – вы-то откуда догадались?

– Ну, я не так таинственна, как вы, и сразу открою вам свои карты – мне Женя сегодня звонила и предупредила, что вы приехали и будете у них на елке, а так как я всех здесь знаю, и единственный для меня незнакомец – вы, то ясно, что вы и есть Свиягин.

– Логично, – засмеялся он и лукаво прибавил, – только я не совсем согласен с тем, что я для вас незнакомец. А как же вчерашняя встреча?

Так болтали они весело и непринужденно, как будто знакомы уже были тысячу лет. После обеда танцевали оживленно и радостно, почти все время друг с другом.

А в десять часов зажжена была елка. И, когда догорела последняя свечка на самой верхушке, около звезды, предложено было каждой даме унести с собой на память какое-нибудь из украшений.

– Подождите, – слегка пожимая руку девушки, шепнул Сергей. – Я сам выберу вам что-нибудь по своему вкусу. Идет?

Он взял ее под руку, не выпуская маленькой ручки, и медленно-медленно обошел с нею дважды вокруг елки, внимательно всматриваясь в пышные, изукрашенные ветви.

– Вот, – наконец сказал он уверенным голосом, протянув руку.

Почти на самом кончике ветки, прямо над ее головой, висел прелестный, как серебряная мечта, средневековый замок с подъемным мостом, высокими, узкими окнами и легкими стрелками башен.

– Вот в таком замке, – улыбался он, снимая картонаж, – мы будем жить с вами вдвоем. Всю жизнь. Хотите?

– Когда? – наивно спросила Алла, поднимая на него свои большие серые глаза. – Вы знаете, мне только пятнадцать лет.

– Пятнадцать лет… Как хорошо!.. Кончится война. Пройдет года два. Я подожду, и тогда мы, наверное, поселимся в таком же чудесном замке. И он будет даже не серебряный, а золотой, потому что вы – солнышко!.. А

пока я обязательно хочу, чтобы вы познакомились с моими родителями. Я с вами сговорюсь об этом в начале той недели через Женю. Можно? Или, еще лучше, я сам приеду просить об этом вашу маму. Да?

* * *

Алла Русанова задумчиво шла по неширокой модной и бойкой улице, идущей от Дипломатического квартала прямо на север. Справа и слева тянулись магазины, вперемежку китайские и европейские, и оживленная смешанная толпа густым потоком двигалась вдоль тротуаров.

Люди, особенно европейцы, входили в магазины и выходили нагруженные пакетами. Седоки на рикшах исчезали за горой картонок разной величины и формы; у многих в ногах пышно цвели сказочные зелено-красные кусты зимних рождественских роз.

Чуть темнело. Кое-где загорались огни витрин. Нежно кружась, падал тихий мокроватый снег, но не таял. Под ногами незаметно вырастала снежная пелена.

Да, ведь завтра – сочельник! Недаром в воздухе чувствуется особое, предпраздничное, приподнятое настроение. И погода какая – как по заказу, настоящая рождественская. И снежок такой ласковый…

«Совсем как тогда!» – вдруг вспомнила Алла, и услужливая память с необычайной ясностью нарисовала ей вот такой же снежный тихий вечер – поморознее, два мужских силуэта в рамке освещенной двери, сероглазую, совсем юную девушку в синей шубке – ее самое – и буйную радость жизни – желанье все охватить, все победить…

– Как же, победишь! – горько усмехнулась Алла, а потревоженная память, как фильма, выбрасывала из недр сознания еще и еще воспоминания.

«Посмотри, посмотри, что за прелестное личико там, справа!..».

Где-то теперь Сережа Свиягин, ее первая хрупкая любовь? Так неожиданно налетевшее знакомство и так же неожиданно канувшее в Лету. Елка у Кречинских и игрушечный замок из папье-маше с подъемным мостом и стрелами башен…

Она так ясно представила себе пышную зелень елки и стройную фигуру юноши, вдруг ставшего таким близким, любимым… Как волновалась она тогда, возвращаясь домой, вся – гордость, вся – возбуждение!

Еще бы! Предложение ей делали в первый раз. И не всякая получает предложение в пятнадцать лет – в сотый раз углублялась она тогда **в** воспоминание этого знаменательного вечера. А вдруг это все было лишь шуткой? В конце концов, совсем определенного он, в сущности, ничего не сказал.

Но… он так тепло держал ее руку в своей! И потом, если бы это было не всерьез, зачем же он хотел познакомить ее со своими родителями? Алла улыбнулась, припоминая, как страшно она волновалась. Даже есть не могла,

даже похудела немножко. Под разными предлогами заводила она с Женей беседу о Свиягине, скрыв от нее знаменательный разговор под елкой.

– А вдруг это все было только так?! Тогда будет ужасно стыдно…

Алла вздрагивала от каждого звонка, выбегая с трепещущим сердцем на каждый телефонный вызов. И, гуляя, неуклонно проходила мимо подъезда «того» ресторана, в тот же примерно час.

А на туалете ее, отражаясь в тройном зеркале, пристроился хрупкий серебряный замок из папье-маше…

Какой невидимый стрелочник, иногда совсем незаметным движением, переключает ход нашей жизни на вовсе неожиданные рельсы? Ведь вот тогда могла ли она, Алла, представить себе, что все кончится так коротко и просто!

Телефонного звонка она дождалась, но то, что она услышала, больно резнуло ее по сердцу разочарованием.

– Мне ужасно, ужасно жаль, что продолжение нашего знакомства придется отложить. У меня сестренка заболела скарлатиной, и мы все сидим в карантине. Я все же надеюсь, что в самом конце отпуска мы все-таки увидимся. Благополучно ли довезли до дома наш замок?

Он так и сказал: «Наш замок». Но из встречи следующей ничего и не вышло. Случайно узнала она потом от Жени, что Свиягин впопыхах и до срока уехал обратно в полк, вызванный телеграммой (почему же не позвонил?). А через месяц чуть ли не так же срочно она сама, Алла, уехала с матерью на Кавказ. Врачи настаивали на этом отъезде во что бы то ни стало.

Тут Алла инстинктивно остановилась и обернулась по сторонам. Так и есть, она так задумалась, что пропустила поворот в свой переулок. Она поежилась, зашагала назад и потом направо, вдоль бесконечной слепой серой каменной стены.

Толкнула небольшую дверь, проделанную в массивных красных деревянных воротах с блестящими медными бляхами, и через квадратный, вымощенный каменными плитами дворик прошла в обширное помещение китайского типа с передней стеной из сплошных окон, которое она занимала.

Каменный пол затянут был большим синим ковром. Наискось от двери, у жарко натопленной печки, стояло кресло в синем чехле с атласной подушкой, на которой золотой дракон, извиваясь, держал в лапах красный шар. На печке приятно булькал пузатый медный чайник, ослепительно начищенный.

Алла бросила на стол перчатки, сняла шубу, шляпу и, взяв книгу, опустилась в кресло. Но потревоженные воспоминания не хотели угомониться.

Как она плакала тогда! Как она плакала тогда… Все мечтала вернуться

домой, встретиться снова. И не вернулась, и не встретилась. Постепенно острота обиды на судьбу сгладилась. Нахлынули новые впечатления, замелькали новые лица. Воспоминания, постепенно сглаживаясь, уходили в туман. Но долго еще стоял на письменном столе игрушечный замок, не серебряный уже, а сероватый от въевшейся в него пыли.

Потом куда-то исчез и он.

Алла вышла замуж за Русанова и, овдовев после девяти лет не очень удачного замужества, не пожелала возобновлять опыта, хотя к тому и представлялись случаи. Она предпочла прокладывать самостоятельную дорогу в жизни и ухватилась за кстати подвернувшееся предложение: иностранная семья искала солидную образованную даму в качестве не то гувернантки, не то компаньонки к шестнадцатилетней барышне в отъезд в Китай.

Алла по сердцу была мысль, как-то совсем по-новому в новой стране направить ход своей судьбы и, кто знает, может быть, найти то счастье, о котором в глубине души мечтает каждый из нас, редко умея определить, в чем он его полагает.

Вначале пестрая смена непривычных впечатлений, иной уклад жизни захватили ее, но скоро стала томить жизнь в чужом доме, по чужому расписанию, шумному, противоречащему ее привычкам.

Вереница поверхностных знакомств утомляла, отсутствие близких друзей часто ощущалось болезненно. И когда юная воспитанница ее вышла замуж и уехала обратно в Европу, Алла переселилась в один из тихих переулков полюбившегося ей, засыпающего Пекина, занялась уроками и повела жизнь замкнутую и уединенную, тяготясь иногда своим одиночеством и, вместе с тем, не желая, а может быть, не умея из него выйти.

А сегодня, в предпраздничный суетливый вечер, когда мысли о тепле, уюте, семье, казалось, носились в самом воздухе, когда каждый каждому хотел что-то подарить, едва ли не единственный день в году, когда почти все люди, даже самые закоренелые эгоисты, думают не только о себе, а пытаются какое-то заботливое внимание проявить хотя бы по отношению своих близких, своих друзей, в такой вечер одиночество серой, холодноватой змейкой сковывало и жалило сердце.

Алла вздохнула, протянула озябшие ноги к огню и раскрыла книгу.

Простая до жути, героическая книга «История одной души», написанная совсем молоденькой девушкой, в пятнадцать лет добровольно и сознательно отвергнувшей и семью, и тепло, и уют во имя высшего идеала.

Твердо зачеркнувшая землю, так как в душе своей она уже ощущала касания неба, и решительно, через холод, голод и изнурительные приступы болезни, через тяжелые, темные провалы сомнений, ломившаяся в двери рая.

Но для этого надо было быть святой Терезой, ибо только святая,

ценой всей своей жизни добившаяся, наконец, рая, могла так легко и просто отдать его другим: «Мое пребывание на небе хочу употребить на то, чтобы делать добро на земле...»

С неослабевающим интересом, страница за страницей, следила Алла за великой борьбой, незаметно для мира протекавшей за стенами кармелитского монастыря, в неизвестном дотоле городке Лизье, всего каких-нибудь пятьдесят лет тому назад.

Дочитана последняя страница. Алла с сожалением захлопывает книгу и бережно кладет ее на стол.

Два часа ночи.

Господи, как поздно! Но завтра сочельник. Уроков нет. Завтра она приглашена завтракать к чуть ли не единственной приятельнице своей, Люсе. Люся замужем за богатым немцем, и у нее двое очаровательных ребят. Натягивая одеяло, Алла соображает, какие подарки купить завтра детям. В голове почему-то мелькает серебряный замок. Мысли сонно путаются. Ночь.

* * *

Завтрак у Люси как всегда изысканный и обильный. Но особенно хорошо потом, сидя в глубоком мягком кресле маленькой гостиной, потягивать горячий, дымящийся кофе из тоненькой фарфоровой чашечки, на стенках которой в причудливом беспорядке густо переплелись «тысячи цветов».

Алла сидит и задумчиво смотрит на стройную елку, стоящую в углу на столе. Все деревцо густо завешано игрушками и блестками. Только свечи электрические – жаль. Все-таки вечером, когда зажгут, будет очень хорошо.

– Так люблю Рождество! Так люблю, – щебечет Люся, быстро шевеля спицами вязанья. – Хоть один день можно провести мирно, в тесном своем кругу! Я нарочно услала детей на каток, чтобы закончить последние приготовления. Муж хочет одеться рождественским дедом, позвонить у дверей и войти с подарками. Но ты знаешь его фантазии – это будет стилизованный китайский рождественский дед! Действительно, как-то неудобно в древнем Пекине являться нашему Деду Морозу или Санта Клаусу. Среди китайских вышивок и статуй он будет чувствовать себя неловко… Посмотри!

Она вышла в соседнюю комнату и вернулась с большой глубокой картонкой, из которой торжественно вытащила темно-лиловый китайский халат, отороченный белым мехом; огромные бархатные туфли; кругленькую шапочку с коралловым шариком и длинную узкую седую приставную бороду.

– Ну, конечно, и неизменная розга!

Алла засмеялась.

– Действительно, концепция оригинальная.

– Я надеюсь, что детям понравятся подарки, – продолжала тараторить Люся. – Я выбирала их очень тщательно, чуть ли не за неделю все магазины избегала. Да они сами тебе их завтра покажут… Приходи завтра к вечеру, мы опять зажжем елку. Мы будем ее зажигать по-нашему – до Крещенья каждый вечер…

«Почему – завтра?» – недоуменно подумала Алла, ставя кофейную чашечку на стол.

– Мужу подарю теплый свитер… Я сама вязала его тайком. Ты знаешь, теперь надо привыкать к полезным подаркам. Но что он мне подарит – представить себе не могу. Страшно интересно. Такой чудный праздник – Рождество!..

Темнело.

Бесшумный слуга, войдя в комнату, длинной бамбуковой тростью сдвинул тяжелые портьеры и удалился. Пробило половина пятого.

В глубине своего кресла Алла блаженно молчала. Люся прислушалась.

– Вот, кажется, и муж вернулся. Он хотел только на минутку заехать в клуб. Дети придут через полчаса. Пока они умоются, переоденутся, в половине шестого зажжем елку… Мы никого не приглашаем в этот день. Муж настаивает на том, что это семейный праздник. А завтра придет много детворы, чуть ли не двадцать человек. Ты мне поможешь управиться с ними, не правда ли? Я чувствую себя совсем беспомощной с такой толпой.

Алла кивнула головой. В комнате наступило молчание. Пробило пять. Внизу раздались детские голоса. Люся вышла и вскоре вернулась. Она выжидательно взглянула на подругу.

– Ты хочешь пройти? Я тебе мешаю? – Алла подобрала ноги.

Люся подошла к окну и слегка откинула портьеру.

– На улице уже совсем темно, и все небо в звездах... Хороший вечер! – она помолчала. – Ты будешь у себя зажигать елку? Ты, кажется, говорила, что ни одного года не провела еще хотя бы без еловой веточки?

– Да, у меня куплено маленькое деревцо, и я запаслась пачкой разноцветных свеч.

– Ну, так вот... – Люся замялась. – Вот, видишь, я хотела бы, чтоб ты еще сегодня получила мой подарок, – она быстро выдвинула ящик письменного стола и вытащила из него изящно перевязанный красным шнурком пакетик в пестрой рождественской бумаге. – Пожалуйста, положи его сегодня себе под елку.

Алла недоумевающе на нее посмотрела и, взяв сверток, машинально отметила про себя: «На ощупь — чулки».

– Но почему же... – начала было она и вдруг осеклась, заметив выражение легкого нетерпения на знакомом лице подруги. Ярко блеснувшая мысль внезапно ее осенила: «Да весь Люся с нетерпение ждет ее ухода, чтоб остаться в своей семье, зажечь свою елку, иметь свою радость, и поделиться этой своей радостью она вовсе не желает даже с ближайшей своей подругой. Она никому не хочет уделить кусочка своего счастья. И сегодня – в рождественский вечер – Алла здесь лишняя...

– Ты не хочешь передать мне его на завтрашней елке? – закончила она начатую фразу, с легкой заминкой изменив ее на лету.

Внезапная горечь острой болью пронизала ее сердце и слезами обожгла веки. «Только бы не расплакаться!» – подумала она и, повернувшись спиной, медленно натянула шубу, сброшенную на диван.

Под шубой лежало два пакета. Она взяла их в руки и обернулась, усилием воли прогоняя внутрь твердый клубок, застрявший в ее горле.

– Вот, Люся, от меня твоим пупсам на елку, – сказала она. – Пусть им передаст рождественский дед. Я побегу скорей домой.

Люся в некотором смущении приняла подарки, но подругу не удерживала.

– Все-таки возьми свой подарок сегодня. И вот, постой... – она взяла с письменного стола кусок бумаги и, высыпав в него лежавшее в сухарнице печенье, неловко завернула и сунула Алле в руки. – К елке...

Алла молча кивнула головой и вышла.

– Ты прости, что я тебя не провожаю…

– Ну, что ты, что ты, Люся…

* * *

Алла вышла из ворот и пошла медленно, шаг за шагом. На душе было пусто, серо, тоскливо. Таково, вероятно, чувство приблудившейся собаки, которую из жалости накормили на теплой кухне и потом с чувством выполненного долга вновь выгоняют за ворота в бездомный холод и тьму.

Насколько легче жилось бы человечеству, если бы люди приучились не хранить так ревниво своей радости, своего комфорта для своего исключительно пользования, попытались бы пробить хоть узкую брешь в каменной ограде личного эгоизма, которым они ограждают себя...

Бедная Люся и не подозревает, что своим легкомысленным желанием радости только для себя она больно и незаслуженно ранила чью-то душу, доверчиво искавшую тепла у нее в рождественский тихий вечер…

«Неужели в такой вечер я буду совсем одна?» – в жгучей тоске подумала Алла, пройдя несколько шагов и вновь останавливаясь. Она прислонилась к красной кирпичной стене, бесцельно смотря прямо перед собой в пространство, и по холодной щеке ее тихонько сбегала непрошенная слеза.

Под ногами лежала грязноватая пелена нерастаявшего еще снега. Врезанные в темное небо блестели крупные переливающиеся звезды.

– Какой вечер!.. Господи!!.

У противоположной стены как будто что-то колыхнулось, точно легкое облачко тумана. Но нет, это не туман, а смутная фигура в полутьме быстро сгустившихся сумерек.

Коричневая длинная одежда и нежное девичье личико в рамке белой косынки... Большие синие глаза так сияют, что, кажется, освещают все лицо мягким лучистым светом. И в руках – охапка белых-белых роз...

Алле кажется, что до нее доносится их тонкое, свежее благоухание.

Вся подавшись вперед, Алла бросает на землю свертки, которые держала в руках, и печенье рассыпается по земле.

– Если я не нужна никому, – с горечью думает Алла, кажется, вслух, – то не нужно и мне от них ничего, что не идет от сердца. Но от тебя, от тебя, я буду ждать подарка, потому что я в тебя верю, и ты меня любишь, даже злую, даже пустую, даже ничтожную! Ты ведь любишь всех, и ты мне дашь радость!..

Коричневая монахиня чуть улыбается уголками пухлого, детского рта и тихонько роняет из рук белую розу. Алла невольно делает несколько шагов и нагибается, чтобы ее поднять, но на земле нет никакой розы.

Она поднимает голову – на грязной белой стене длинное пятно облупившейся известки. Кругом ни души. Но на сердце у Аллы стало вдруг радостно и тепло, и ощущение такое, как будто ей вымыли душу изнутри.

Она задумчиво идет домой и, равняясь с двумя молодыми европейцами, ловит обрывок разговора:

— Ну, этот сочельник надо считать прошедшим. Будем ожидать следующего…

В пустом переулке, из-за угла появляется фигура старой нищенки в ватных рваных штанах и вылинявшей голубой кофте. Она с любопытством поднимает с земли подмокший пакет и вытягивает из него две пары тонких шелковых европейских чулок.

Подслеповатыми, слезящимися глазами она осматривается кругом и, присев на корточки, начинает подбирать рассыпавшееся печенье.

Худая, скелетообразная собака с торчащими клочьями шерсти, неизвестно откуда взявшаяся, опасливо хватает откатившийся большой кусок кекса и, отбежав в сторону, давясь, его пожирает.

Кому-то и это Рождество принесло неожиданную радость...

* * *

«7 января, в день Рождества Христова, в здании русской гимназии в городе Циндао состоится детский спектакль «Путешествие Деда Мороза» – пьеса в двух действиях с пеньем, танцами и апофеозом. После спектакля

елка. Детям, записавшимся заранее, сделаны будут подарки. Начало спектакля ровно в 3 часа».

Заманчивое объявление привлекло много детворы, да, пожалуй, не меньше и родителей. Стоя у высокой, нарядной, под потолок елки с блестящей переливающейся звездой на верхушке, Алла едва успевает отыскивать по номеркам подарки, грудой наваленные на столе, и раздавать их жадно толпящейся вокруг нее детворе.

Алла еще в августе уехала из Пекина отдохнуть от изнурительной жары и провести самые мучительные три недели на берегу моря. Но подвернулись неожиданные уроки, получила предложение преподавать вот в этой самой гимназии, и так приглянулся ласковый зеленый город, протянутый вдоль берега, что Алла подумала, подумала и осталась. В конце концов, не все ли равно, где жить?

Здесь, правда, она уже почти совсем никого не знала. Даже Люси не было.

– Вот посмотри, Лидок, какой славный домик висит на елке! Видишь, красный с трубой? – худощавый господин с проседью слегка пригнул непокорную ветку, показывая игрушку пухлой девочке лет восьми в синем бархатном платьице с кружевным воротничком. – У нас в России игрушки были куда наряднее. Давно-давно я снял с елки чудесный серебряный замок для одной большой девочки с серыми глазами. Только она не захотела в нем жить.

– А разве она могла бы жить в таком игрушечном доме? Это неправда. Да?

– Могла бы…

Алла, вся подавшись вперед, заглядывает в лицо неизвестного господина и ищет в нем знакомые черты. Узнать все-таки можно. Те же чуть ласковые, чуть насмешливые глаза под стеклами круглых роговых очков…

– Почему же вы не позвонили мне по телефону тогда, перед отъездом? – срывается с ее губ вопрос, мучивший ее чуть ли не двадцать лет.

Господин вздрагивает и, быстро оборачиваясь, хватает ее за руку и всматривается в ее лицо.

– Вы?.. Вы здесь, в Циндао!?.. Алла, это не бред, не сон? Ради всего святого, как вы сюда попали?

– Так же, как и вы, – тихонько смеется она. – Вероятно, только несколько иными судьбами... Но неужели вы еще помните мое имя, Сережа?

Она так и сказала невольно – Сережа.

– Как же мне было забыть ваше имя! Ведь вы тогда разом и навсегда вошли в мое сердце. С первого взгляда. Потом много было женщин, но это все было не то, не то. Вы на всю жизнь остались единственной – принцессой серебряного замка! – он крепко держал ее руку, как будто боясь, что

она исчезнет, растает, как облачное виденье. – А чем больше я всматриваюсь в вас, тем больше признаю, хотя вы, как и я, как все мы, достаточно изменились за эти годы.

– Но почему же вы не позвонили мне? – повторила она свой вопрос.

– Звонил, – с горечью ответил Свиягин. – Звонил три раза, но меня каждый раз спрашивали, кто говорит, и отвечали: «Ошибка». К телефону подходили не вы, а те, кто подходили, очевидно, не знали моей фамилии. А раз, по-видимому, горничная ответила: «Барышня с барыней уехали…». Ни заехать к вам, ни написать записки я не мог из-за еще не кончившегося карантина, а посвятить в свою тайну Женю Кречинскую я не хотел, пока не буду уверен в том, что мои надежды воплотятся в жизнь. И потом, кто же мог предположить, что вы так внезапно уедете? Ведь я вернулся через два месяца и пришел в отчаяние, когда узнал, что вас уже нет. Но это уже просто была судьба, как просто судьба то, что мы с вами встретились здесь сегодня…

– Это ваша дочь? – спросила Алла, с некоторой тайной болью смотря на девочку в синем платье.

– Нет, это моя племянница, Лида, дочь моей сестры, из-за которой я и приехал сюда на Рождество из Шанхая, и без нее мы с вами так бы и не увиделись. На горе всем нам, она у нас грамотная и, прочитав объявление в газете, так приставала ко мне с этим «Путешествием Деда Мороза», что пришлось мне принести себя в жертву и идти с ней в эту детскую толкотню. И видите, как я чудно вознагражден за это самоотверженное согласие дать кому-то радость за счет маленького собственного неудобства! И сероглазая принцесса вернется теперь в свой серебряный замок! Да?

Алла стояла с растерянной счастливой улыбкой. Теплая дружеская рука сжимала ее руку, и на минутку ей почудилось, что на фоне зеленой елки коричневая монахиня с охапкой белых роз в руках приветливо ей улыбнулась.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1944. № 4. С. 1–11, 14.

Юстина Владимировна КРУЗЕНШТЕРН *(1903-1983)*

Поэтесса и журналистка Юстина Крузенштерн (в замужестве Крузенштерн-Петерец) родилась 19 июня 1903 г. в городе Владивостоке в семье кадрового офицера. Впервые попала в Харбин вместе с родителями в 1906 г. После гибели отца в 1915 г. вместе с матерью и братом уехала во Владикавказ. В 1920 г. семья вновь вернулась в Харбин.Сотрудничала в газете «Гун-Бао» и журнале «Рубеж». В 1930 г. переехала в Шанхай и продолжила свою журналистскую деятельность. Печаталась в газетах «Шанхайская заря», «North China Daily News». Писала фельетоны под псевдонимом «Merry Devil». Участвовала в шанхайском литературном кружке «Пятница». В 1934 г. вышла замуж за поэта и публициста Н. Петереца. В начале 1950-х гг. уехала в Бразилию, а затем переехала в США. Работала комментатором на радиостанции «Голос Америки». Продолжала печататься в русских эмигрантских изданиях, была редактором ежедневной газеты «Русская жизнь» (Сан-Франциско). Автор книг «Стихи» (1946), «Антигона» (1948), «Улыбка Псиши» (1969). Скончалась 8 июня 1983 г. в городе Сан-Матео (шт. Калифорния).

Ист. и лит.:

Бакич О.М. Поэзия Ю.В. Крузенштерн-Петерец. Материалы к библиографии и сборнику стихотворений // С другого берега: Прошлое и настоящее русских писателей за рубежом. Торонто, 2003. Т. 3. С. 129-146.

Крузенштерн-Петерец Ю. Воспоминания // Россияне в Азии. 1997. № 4. С. 124-210; 1998. № 5. С. 25-83; 1999. № 6. С. 29-104; 2000. № 7. С. 93-149.

Моравский Н. Ю.В. Крузенштерн-Петерец // Новый журнал. 1983. № 153. С. 302-304.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 172–173.

ПОРТСИГАР ЖЕЛТОЙ КОЖИ

Где вы нашли эту карточку? В старой книге? Ох, уж вы, дамы, до всего-то вы докопаетесь! Спрячьте ее скорее, видеть ее не могу...

Вас интригует почему?

Что ж, так и быть расскажу, чтобы вы не ревновали меня к этой курносенькой гимназистке.

Когда-то мы были с ней большими друзьями... Как сейчас помню ее, сама маленькая, шустрая – желтенькая до пояса косичка, а на затылке огромный бант, как-то эдак на отлет. Я в шутку называл этот бант аэропланом, на что Леночка ужасно сердилась.

Как-то зашел я вечером к ее брату – Борьке (старый мой товарищ по полку), и остался пить чай. Было еще несколько человек молодежи. За столом хозяйничала Леночка, так как мамаша ее куда-то ушла.

В числе гостей был Вика Червинский – бывший гусар, тогда молодой еще человек, очень смуглый и красивый какой-то своеобразной, грубой красотой.

Мне, признаться, он не особенно нравился. Что-то жестокое было в его ястребином профиле и угрюмых, черных глазах, за которые Леночка прозвала его янычаром...

Присев к роялю, Вик меланхолически напевал свой любимый фокстрот, ну, да как его... вот этот – знаете?

Много дней, веря в чудеса,

Сюзанна ждет...

Тем временем молодежь увлеклась охотничьими воспоминаниями. Борька только что окончил трогательный рассказ про собаку, спасшую его от волка.

– Собаки, вообще, умеют и любить, и умирать, – заметил я. – Иногда, кажется, что они чувствуют и переживают все, совсем, как люди!

– Как женщины, господа! Как женщины! – неожиданно обрывает игру Вик. Порывисто вскакивает с места и подходит к столу.

– Вот, – говорит, – могу рассказать вам два забавных случая из своей жизни, очень похожих друг на друга... Была у меня собака, какая-то помесь сетера и дворняжки. Приблудилась она ко мне где-то в походе, в Забайкалье, да так и не отставала. Вид у нее был самый безобразный – худая, облезлая, с противной, заискивающей, мордой... Кроме того, грязнуля, вечно умудрялась щениться, когда это было меньше всего кстати, и отчаянная воровка. Словом, я никогда не встречал собаки отвратительнее и драл ее беспощадно. Она же меня нежно любила и шаталась за мной повсюду. В конце концов, она умудрилась схватить чесотку. Лечить ее не было возможности. Где там, в походе, возиться с собакой?.. Оставалось одно – пристрелить ее.

В сумерки, перед чаем, я позвал Жучку гулять. Она весело побежала за мной. Я вывел ее в поле, скомандовал ей «куш», отошел на несколько шагов и выстрелил**.**

Она взвизгнула, откинулась на спину, раза два дернулась и вытянула лапы… Решив, что она уже кончилась, я спрятал револьвер и, облегченно вздохнув, побрел назад. Но едва я прошел сажени две, как послышался стон... Я оглянулся... Боже мой! Это чудовище было еще живо и, представьте себе, виляло хвостом, и смотрело на меня печальными глазами, из которых катились слезы. Вы не поверите, но собака плакала, и я до сих пор не могу забыть этих глаз, в которых я прочел не злобу, не упрек даже, а одну любовь, бесконечную любовь. И знаете, был момент, когда я готов был броситься перед нею на колени испросить прощения... Выхватив револьвер, я всадил в нее еще несколько пуль…

Всех нас от этого рассказа как-то передернуло, но высказалась только одна Леночка.

– Замечательно красиво, – с отвращением произнесла она. – Ну, а второй ваш случай в том же духе?

– Да, как я уже сказал! – отвечал Вик с бравадой. – Только на этот раз героиней была женщина. Познакомился я, – начал он, – уже здесь, в Харбине с одной молоденькой дамой – вдовой. Сначала она была очень мила, и незаметно мы с ней подружились. И вот, как-то раз, от нечего делать я предложил ей поехать ужинать. Я был уверен, что она откажется, клянусь Богом… Но она согласилась. Расстались мы с ней уже под утро, хорошо, по-дружески и до сих пор, может быть, были бы приятели, если бы она не забрала себе в голову, что эта ночь связала нас на всю жизнь. Надо сказать, что я, в сущности, ни на минуту не увлекался ею, а она возьми, да и влюбись в меня... Да как!

Тут-то и начались мои мытарства... Она стала буквально преследовать меня. Я избегал ее, как только мог, перестал даже бывать в тех домах, где мы могли бы встретиться, но она всегда находила способ поймать меня... Она подстерегала меня при выходе из дому, по часу прогуливалась у парикмахерской, где я нарочно задерживался, а увидев издали, за квартал, летела мне навстречу, как угорелая, расталкивая прохожих.

К чести моей, я никогда ее не обманывал ни нежностью, ни обещаниями… Наоборот, обращался с ней всегда очень холодно и даже клеветал на себя, говоря, что связан с другой женщиной. Но на все это она неизменно отвечала до тошноты монотонным голосом:

– А я вас люблю!

Как-то вечером она устроила засаду в сквере и чуть не силой затащила на какую-то скамейку. Лил дождь, я весь промок и в ту минуту за теплую комнату и сухой костюм готов был отдать всех женщин в мире. Увидя ее, я обозлился и высказал ей все. Она плакала, бормотала что-то бессвязное и, кажется, хотела обнять меня. Я никогда в жизни не ударил ни одной женщины... Но тут совершенно потерял всякое самообладание и, отшвырнув ее, как кошку, ушел.

Однако мне не везло. Пройдя квартал, я вспомнил, что забыл на скамейке портсигар... Дешевенький кожаный портсигар, который я так любил, что решил вернуться за ним, несмотря на дождь.

Вообразите мой ужас, когда я, войдя в сквер, увидел – эта прелесть еще там. Тусклый фонарь освещал ее лицо, мокрое от дождя или от слез – не знаю... Прижав к губам мой портсигар, она смотрела в мою сторону, и глаза у нее были точь-в- точь такие же, как у той, убитой мною собаки... У меня не хватило храбрости подойти... Я предпочел пожертвовать портсигаром.

– Ну и что же потом? – спросила сухо Леночка.

– Ничего особенного! – пожал плечами Вик. – Она куда-то делась! Кажется, умерла...

– Отравилась?

– Возможно! Вздорная была женщина, и истеричка вдобавок!

– А какой был портсигар? Желтый?

–Да, желтый! Но откуда вы знаете эти подробности, Леночка?

– И на нем еще выгравировано одно слово! Подождите!

Леночка вихрем вылетела из комнаты.

– Вот! – взволнованно объявила она, вбегая через минуту с потертым кожаным портсигаром. – На этой стороне выцарапано чем-то острым: «Чевка».

– Да, так звали меня еще в корпусе! Но как он попал к вам? – и Вик протянул руку за своей вещицей.

– Я знала ее! – воскликнула Леночка. – Она служила у нас экономкой. Это была милая, интеллигентная женщина. Она отравилась и умерла в страшных мучениях, все зовя какого-то Вика. А вы? О Боже мой!

Я думал, что она разрыдается, но Леночка вдруг выросла в женщину и тихо с невыразимым презрением отчеканила:

– Вам было жаль вашего портсигара! Получайте же его!

И злополучный портсигар шлепнулся в физиономию Вика.

Разумеется, после этого Вику ничего больше не оставалось, как поднять портсигар и удалиться, что он и сделал.

Весной Леночку отправили в Циндао. Там она и замуж вышла за какого-то американца из Ханькоу. Я встретил ее недавно после трехлетней разлуки там, где никогда не ожидал встретить – в самом низкопробном кабаке...

Да еще с кем бы вы думали? С Виком!..

Из прежней девчурки она превратилась в великолепную женщину, несколько даже чересчур модную. Он наоборот – постарел, подурнел и вдобавок был сильно пьян.

Заиграли «Филибера».

– Много дней, веря в чудеса,

Сюзанна ждет, – стал напевать Вик.

Я видел, как Леночка улыбнулась и что-то сказала. Вероятно, она ему что-то напомнила. Он ответил ей пренебрежительно, через плечо.

Меня это взорвало.

Я подошел к ней, напомнил о себе, пригласил ее на фокстрот.

Она танцевала с закушенными губами, и я чувствовал, как все ее тело дрожало от рыданий.

– Леночка, – сказал я, – что вы с собой делаете?

– Оставьте, – прошептала она. – Это – Судьба! Вспомните Жучку.

Вы знаете, с тех пор я не могу смотреть на этот портрет. Мне кажется, что у него собачье выражение.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. № 3. С. 4-6.

Хрестоматия

ВСТРЕЧА В ПАСХАЛЬНУЮ НОЧЬ

Нас было только двое русских в экспрессе, мчавшемся из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Немудрено, что мы скоро подружились той короткой вагонной дружбой, которая не налагает никаких обязательств, но располагает иногда к самой интимной откровенности.

Нарядный обсэрвэйшен кэр казался таким чужим и неуютным в эту Пасхальную ночь… Ничто вокруг не напоминало о Пасхе с куличами, разговеньем, с трогательными возгласами «Христос Воскресе!».

Вместо этого были сифон, два бокала да наши неразлучные трубки.

Было около одиннадцати часов вечера, но как-то не хотелось расходиться.

Вошедшая пара привлекла вдруг наше внимание.

Это были – сухой, породистый англичанин и стройная дама, одетая с той дорогой простотой, какую можно встретить только у англичанок, принадлежащих к аристократическим кругам своей страны. И в то же время я готов был пари держать, что дама эта не была англичанкой – слишком была она грациозна.

Равнодушно окинув нас серыми глазами, дама села у противоположного окна, вынула из сумки нефритовый длинный мундштук и закурила довольно крепкую сигаретку.

– Вот так фокус! – неожиданно слетело с уст моего спутника.

– В чем фокус? – спросил я, не понимая.

– Да вот – эта дама! Черт возьми! Неужели, она? Да нет. Быть не может!

Несмотря на то, что он старался говорить пониженным тоном и владеть собой, в голосе его слышалось сильное волнение.

– Она вам кого-нибудь напомнила? – осторожно спросил я.

– Да, и очень сильно. Так как я, безусловно, ошибся, то я могу рассказать вам эту историю.

– Вы знаете уже, – начал мой собеседник, – я никогда не был военным. Я вообще ничем не был, так как мои тогдашние средства вполне позволяли мне эту роскошь.

Германская война застала меня в Париже, где я проматывал уже второе наследство, а впереди предстояло еще несколько. Помогала мне в этом приятном занятии очаровательная Мими или, как я ее называл, Мимишка, существо с чертовским темпераментом и таким же характером, состоявшее некогда на ролях камеристки у одной из моих тетушек.

Я похитил ее у тетушки и увез в Париж, где выдавал за свою супругу. Надо отдать ей справедливость, за все время нашего двухлетнего «брака» она ни разу не скомпрометировала меня ни одной выходкой, за что я был

ей чрезвычайно благодарен.

Когда началась война, я решил идти добровольцем во Французскую армию. Решение это возникло у меня совершенно внезапно, и также внезапно я объявил его Мимишке.

Против моего ожидания, она не закатила мне никакой сцены и спокойно произнесла:

– Ну что ж. Это хорошее дело. Не все же жить для себя. Но только имей в виду, Сашка, что и я тогда пойду с тобой!

– Ты? – воскликнул я. – Да что ты там будешь делать?

– То же, что и другие сестры! – пожала она плечами.

Я не стал возражать. В конце концов, что ей было делать в чужом городе без родных, без близких друзей? Да к тому же она была ко мне все-таки привязана, два года – не два дня.

Через несколько времени я оказался рядовым пехотного полка, а еще через два месяца в район расположения нашей части явился летучий отряд Красного Креста, в котором была и моя Мимишка.

Пасха следующего года застала меня в окопах.

Невыносимо тоскливо было мне в Святую ночь среди солдат, с которыми я хотя и сроднился за время войны, но все-таки чужих мне и по крови, и по духу. Вы представляете себе поэтому мое удивление и радость, когда на следующее утро я получил пакет с миниатюрным куличиком, такой же сырной пасхой и несколькими крашеными яйцами, украшенными «Христос Воскресе»…

Это был ее последний привет, последняя весточка ее любви, которую я когда-то считал вполне оплаченной привольной жизнью и роскошью… И мысленно посылая ей ответное «Воистину Воскресе», я дал обет: если останусь в живых, сделать Мимишку своей женой.

А через несколько дней был бой.

Снарядом, разорвавшимся поблизости, меня оглушило и отбросило далеко в сторону. Поле оставалось на этот раз за противником. Вражеские санитары подобрали меня, и весь остаток войны я провел в плену.

Когда я очутился на свободе и приехал в Париж, Мимишки там и след простыл. Оказалось, что в списках французской армии я числился убитым. По получении этого известия, моя Мими оставила свою службу и уехала неизвестно куда…

Больше мы не встречались…

Во время этого рассказа я все время следил за дамой.

Если это была Мимишка, если бы это была вообще русская, она хоть повернулась бы, вздрогнула, выдала бы себя каким-нибудь жестом.

Но она продолжала спокойно читать свой журнал.

– Ясно, что я ошибся, – грустно сказал, вставая с места, мой приятель. – А жаль.

Мы попрощались, и пошли спать.

А когда на следующее утро мы снова встретились за завтраком, он протянул мне миниатюрную карточку, на которой изящным почерком было написано: «Христос Воскресе».

– Мимишка?! – воскликнул я.

– Нет, конечно! В этом же поезде едет один знакомый ее мужа. Я расспросил его. Она – русская эмигрантка, но дочь бывшего камергера, тогда как у моей Мимишки, вероятно, вообще никогда не было отца.

– Тогда чем же объяснить этот неожиданный привет? – спросил я.

– Она слышала наш разговор, – задумчиво ответил мой собеседник. – И как знать… Может быть, у нее тоже когда-нибудь был свой «Сашка». А, может быть, в эту ночь она так же, как и мы, тосковала по родине…

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. № 19. С. 14, 16.

СОДЕРЖАНИЕ

На проселочных дорогах русской литературы: казус харбинской беллетристики 3

От составителей 37

Алексей Ачаир 39
Тайна северной тайги 39
Николай Байков 46
Корень жизни 46
Великий Ван. *Отрывки из повести* 64
Хунхузы 71
Ланцепупы 77
Контрабандисты 80
Черный капитан. *Отрывок из романа* 86
Дань Великому Вану 91
Борис Бета 95
Сны 95
Чудесное явление 99
О любви к жизни 102
Возвращение Люсьена 115
Лель 127
Пепел 131
Анатолий Вележев 137
Три рождества 137
Николай Веселовский 147
Фельдмаршал Суворов 147
Серебряный бор 156
Борис Волков 166
Потомок Чингис-Хана 166
Игорь Волков 182
Гамма 182
Солнце всходит на Востоке. *Отрывок из романа* 184
Координаты точки 193
Любовь самоедки 197
Георгий Гранин 209
Рассказ на тему 209

Она 211
Радость 212
Монна Ванна 219
Прикосновения 222
Стихи 225
Дуэль 227
Федор Даниленко 233
Оторванный. *Отрывок из повести* 233
Фаина Дмитриева 240
Цай-Шин — добрый бог 240
Все-таки моя 248
Дмитрий Загоскин 268
Месть 268
В последнее мгновение 278
Душевное равновесие 289
Всеволод Иванов 298
1905 год: Роман молодой души. *Отрывок из романа* 298
Белый дым 313
На Масленой неделе 318
Мать 330
Наталия Ильина 340
Шанхайские дети 340
Мария Коростовец 344
Серебряный замок 344
Юстина Крузенштерн 358
Портсигар желтой кожи 358
Встреча в пасхальную ночь 362

Содержание 365

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1. Проза: В 3-х частях. Ч. 1 (А–К) / Сост. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева.

Подписано к печати 03.12.12. Дизайн – *Ю.М. Гофман, В.А. Долгов*.
Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 20,58. Тираж 500. Заказ 371.
Отпечатано в типографии АмГУ.

Министерство образования и науки Российской Федерации

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Литература русского зарубежья

Восточная ветвь

ХРЕСТОМАТИЯ

•

Том первый. Проза

•

Часть 2 (Л–П)

Благовещенск
Издательство АмГУ
2013

ББК 83.3 (2 Рос=2 Рус)
Л 64

Рекомендовано
учебно-методическим советом Амурского государственного университета

Рецензенты:
Кафедра истории, философии, литературы ГИТИС (г. Москва);
Ястребов А.Л., заслуженный работник высшей школы РФ, докт. филол. наук, проф. кафедры истории, философии, литературы ГИТИС (г. Москва);
Агеносов В.В., заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, докт. филол. наук, проф. кафедры журналистики и литературы ИМПЭ (г. Москва).

Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1. Проза: В 3-х частях. Ч. 2 (Л–П) / Сост., общ. ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой; вступ. ст. А.А. Забияко; биобиблиограф. ст. Г.В. Эфендиевой; подгот. текстов И.А. Дябкина, А.А. Забияко, К.А. Землянской, Р.В. Поливан, Г.В. Эфендиевой, А.А. Юрьевой. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013. – 428 с.

ISBN 978-5-93493-182-8

В первом томе хрестоматии «Литература русского зарубежья. Восточная ветвь» собраны прозаические сочинения 40 писателей русского Китая. Все подборки сопровождаются биографическими справками и редкими фотографиями авторов.

Издание предназначено в качестве учебного пособия студентам, обучающимся по специальности 031001 / направлению подготовки 032700 «Филология» и других гуманитарных факультетов высших учебных заведений, а также преподавателям и специалистам, занимающимся изучением истории литературы русского зарубежья.

При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта Президента Российской Федерации по проекту МК-6409.2010 «Социокультурный контекст художественного наследия дальневосточных писателей-эмигрантов (текстологический и источниковедческий анализ)».

Подготовка и издание пособия осуществлялись при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 12-21-21001 а(м) «Русские и китайцы: межэтнические отношения на Дальнем Востоке в контексте политических процессов»

© А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева, составление, 2013
© А.А. Забияко, предисловие, 2013
© Амурский государственный университет, 2013

Проза

Яков Львович
ЛОВИЧ
(1896-1956)

Литератор и журналист Яков Лович (настоящяя фамилия Дейч) родился 28 декабря (ст. ст.) 1896 г. в с. Усть-Кара. Сын известного революционера Л.Г. Дейча. В 1915 г. окончил Благовещенскую мужскую гимназию. Учился в Московском университете. Весной 1916 г. призван в действующую армию. В начале 1918 г. вступил в армию А.В. Колчака. Следователь при военно-полевом суде (до 1920 г.), прокурор по политическим и уголовным делам. В ноябре 1922 г. приехал в Маньчжурию из Иокогамы. Работал в библиотеке Д.Н. Бодиско (до 1926 г.), затем стал журналистом газеты «Рупор». Работал в журнале «Рубеж». С 1937 г. жил в Шанхае. Печатал рассказы в журналах «Грани», «Кстати» и др. Автор книг «Ее жертва» (1931), «Что ждет Россию?» (1932), «Офицерская шинель. Белая Голгофа» (1936; в соавторстве с Г. Мурашевым), «Враги» (1940). В 1951 г. эмигрировал через Тубабао в США. 27 августа 1956 г. Я. Лович скончался от рака легких в больнице Стенфордского университета. Похоронен на Сербском кладбище.

Ист. и лит.:

Скопиченко О. Некролог: Кончина Я.Л. Ловича // Русская жизнь. 1956. 29 августа.
Хисамутдинов А.А. Из Благовещенска в Харбин и Шанхай: Журналист и писатель Яков Лович // Руский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 5. Благовещенск, 2012. С. 203–209.
Хисамутдинов А.А. Писатель в изгнании // Новый журнал. 1996. № 201. С. 280-284.

ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ

Лазарь Соломонович был очень стар. Из его глаз смотрела глубокая мудрость.

И потому я всегда любил его слушать. И потому и теперь я насторожился и ждал, что он скажет.

Он снял очки, протер их клетчатым носовым платком и снова одел на горбатый нос. Разгладил большую белую бороду, весело усмехнулся, лукаво посмотрел на меня и заговорил:

– По-вашему, евреи умнее других, а потому счастливее. Вы говорите: «Евреи хитрее других, а потому лучше живут». Ну, и что из того? Я вам скажу, что каждый еврей продаст вам свое счастье за пять копеек, а своему врагу отдаст это счастье даром. Верьте мне, старому еврею.

Скажите мне, когда еврей был счастлив за все дни с сотворения Мира? Жил себе он в раю, и все было хорошо. Так разве еврей где-нибудь может спокойно жить? Ведь ему надо все знать! Я спрашиваю: разве еврей может спокойно жить, если есть дьявол, есть яблоко и есть глупая жена? Ну, так он съел яблоко – и его выгнали из рая.

Это было только начало, а конца я и теперь не вижу. Может быть, вы его видите?

Адам расплодил целый народ, и пошло еврейское счастье бродить по свету. Из Египта вежливенько попросили удалиться, в Палестине так

кричали, что туда пришли римские солдаты, в Испании жарили на кострах, из Франции гнали, из Германии гнали, по России гоняли.

Ну, а гетто? Вы знаете, что такое гетто? Вы знаете, что такое черта оседлости? Слышали?

Это хотели евреев задержать, чтобы они не бегали взад-вперед. Ну, так вы думаете, что из этого что-нибудь вышло? Ничего не вышло: разве еврея можно привязать к одному месту, когда Бог велел ему бегать по всему миру?

Теперь нет черты оседлости, и евреи опять забегали по всему свету – на свою несчастную еврейскую голову. Ой, на свою голову, я вас в этом уверяю!

Вы говорите – еврейское счастье. Я вам расскажу, как пришло это счастье к моему отцу и что из этого вышло.

Это такая история, что из ней можно целый роман с прологом выдумать. Ну, вот, так слушайте же.

Было это в Польше. Моему отцу было тогда лет 35, и был он лесничим в имении пана Скржинецкого в Ломжинской губернии около местечка Замброва.

Скржинецкий был пан как пан: богатый и знатный. Сидел бы себе в лесу, пил бы мед – никто бы его не тронул. Но разве поляк будет сидеть спокойно в каком-то лесу, когда ему хочется в Варшаву – покричать в сейме? И другие паны тоже хотели покричать в сейме.

Ну, и вышла большая война против русских. Ой, что это было! Поляки били казаков, казаки били поляков, а евреев били и казаки, и поляки. Кругом стон стоял, а мой отец в лесу два года дышать от страха не мог.

И вот – разбили поляков. Пан Скржинецкий пропал: говорили, что убит в бою. Приехали в наш лес казаки, перепороли всех в имении пана – тем делои кончилось. Моего отца не тронули, и он был оставлен лесничим.

Но время все-таки было страшное – ой, какое страшное! Нет-нет, да арестуют кого-нибудь из поляков и ушлют в Сибирь. И евреев ссылали – за компанию.

Ну, вот. Было это, кажется, в 1865 году, зимою. Вся наша семья была в сборе – десять человек. Мне было тогда 9 лет.

Была пятница, значит, – шабес. Вы знаете, что такое шабес? Отец одевал на голову штраймель – остроконечную шапочку – и пел молитву. Горели свечи. Десять свечей – сколько в семье человек было.

Потом пили вино,ели фаршированную щуку и опять пели молитвы.

Потом *ели* суп с лапшей и цимес с фасолью и черносливом. И опять пели молитвы.

А кругом – лес, засыпанный снегом, и ветер, и стужа. До местечка верст 25, не меньше.

Ну, поем себе молитвы, и вдруг – трах в дверь, трах в окно. Что тут поднялось! Мать закричала, сестры закричали, я и все младшие под стол залезли.

Отец стоит и не знает, что делать. А через дверь кричат: «Открывай!». Ну, раз кричат – надо открывать.

Отец открыл. Входят пристав и два казака с ружьями. Вот, прошло уже больше 60 лет, а и сейчас помню, что у пристава были толстая, красная рожа и рыжие усы, а у казаков – черные бороды.

Пристав отряхнул снег с шапки, посмотрел на всех, вытащил какую-то бумажку, взглянул в нее и сказал:

– Ну, кто тут Соломон Кац?

Отец ответил:

– Ну, я. А что?

– Одевайся.

– Зачем мне одеваться? Я никуда не собираюсь.

– Одевайся, говорят!

Ну, раз говорят, что нужно одеваться, то нужно одеваться. Мать заплакала, сестры заплакали, все заплакали. Только пристав и казаки не плакали.

Отец оделся. Тогда пристав мигнул казакам. Они подошли к отцу и... знаете, что? Одели ему на руки кандалы! Ой, когда мы это увидели, то такой крик поднялся, что у меня до сих пор в ушах звенит.

Раз кандалы – тут уже не шутки! Тут уже дело государственное. Ну, мы кричим, а казаки тащат отца из избы, а он идет себе – белый, как мертвец.

Мы все высыпали на улицу, даже не одевались. У избы – военная бричка.

Мать как увидала ее, так еще больше закричала, потому что казаки в таких бричках поляков увозили. Усадили отца в бричку. Пристав сел рядом, казаки – на облучок.

Ударили по лошадям и в одну минуту пропали в лесу.

Ну, понимаете, что тут было? На улице – мороз, все плачут, мать в снег упала. Первой опомнилась старшая сестра, Мина, – ей уже 16 лет было.

Загнала всю ораву в избу и привела мать. Всех младших уложила спать, а сама стала разговаривать с матерью: что делать?

Ну, я, конечно, не спал и слушал, что они говорят. А они плакали и говорили, говорили и плакали.

Так я и уснул, и не знал, что они придумали.

Только утром, когда я проснулся, матери не было. Я встал с постели, и вдруг стало мне страшно: отца нет, матери нет. Я и завыл себе потихоньку.

Тогда Мина подошла ко мне, стукнула меня по голове и сказала:

– Мама ушла в Замбров. Ну, и я теперь за старшую. Если будешь вянгать – выпорю.

Вот все, что я помню, Дальше буду рассказывать, как другие рассказывали.

Мина сказала правду: мать пошла в Замбров. Одна, зимою, за 25 верст. Это не шутки! Ну, мать здоровая была, крепкая – не то, что нынешние женщины.

Пришла в Замбров – и сразу к знакомому, Исаю Розовскому. Исай этот был вроде адвоката. Не то, чтобы адвокат, а вроде: писать и читать умел по-русски и по-еврейски.

Ну, мама к Розовскому: может быть, что-нибудь посоветует. Исай подумал, покурил, покурил, подумал.

Спрашивает:

– Ну, а скажи мне: обыск делали?

– Ой, не делали обыска, не делали**...**

– Так ты не плачь: это же очень хорошо, что не делали. Ну, а дома есть какие-нибудь бумажки, книги, что-нибудь письменное?

Мать сказала, что не знает. Тогда Розовский посоветовал:

– Поезжай домой и сожги в печке все бумажки. Все сожги, все бумажки, какие есть. Если найдут что-нибудь, скажут, что Соломон Кац был с поляками. Ну, а если скажут, что Соломон Кац был с поляками, тогда не видать тебе Соломона Каца. Когда все это сделаешь, то приезжай сюда. Может быть, я что-нибудь узнаю.

Мать послушалась, поехала домой. Перерыла всю избу и сожгла в леечке все, что даже только походило на бумагу. У меня были буквари – и их сожгли.

Я ревел, как осел, но мать вздула меня и все-таки сожгла книжки.

Разве она могла не послушаться Исая Розовского? Разве можно было его не послушаться, если Исай Розовский для всех евреев на сто верст кругом был все равно как еврейский губернатор?

Даже сам раввин из Ломжи всегда говорил, что у Исая – голова царя Соломона.

Ну, так мать сожгла все бумаги и снова поехала к Исаю Розовскому. Приехала и спрашивает:

– Ну, что? Где же мой муж? Где мой Соломон?

Исай подумал, покурил, покурил, подумал. Потом говорит:

– Ну, *я* думаю, что это очень серьезное дело.

Мать спрашивает:

– Почему вы думаете, что это очень серьезное дело?

– Почему я думаю? Потому, что Соломона увезли в Ломжу.

Когда мать услышала это, у нее подкосились ноги. В Ломже была уже

настоящая тюрьма, и туда свозили поляков, арестованных за мятеж. Выходило так, что отца арестовали по тому же делу.

– Что же вы посоветуете мне теперь, господин Розовский?

– Что я посоветую? У вас есть деньги?

– Есть ли у меня деньги? Ну, есть немного… совсем немного.

– Ну так поезжайте в Ломжу. Там есть мой приятель, Давид Фишман. Я ему напишу записку, и он поможет вам узнать, где Соломон.

Мать поехала в Ломжу. Разве она могла не послушаться Исая Розовского? Приехала в Ломжу – и сразу к Давиду Фишман.

Ну, так Давид Фишман сказал, что раз ему пишет Исай Розовский, что нужно помочь жене Соломона Каца, то он поможет. Через два дня Фишман узнал, что Соломона увезли в Вильно.

– Что же вы посоветуете мне, господин Фишман? – спросила мать

– Странный вопрос! – пожал плечами Фишман. – Что я могу ей посоветовать? Поезжайте в Вильно. Я дам вам записку к Абраму Капилевичу, и он все узнает.

Мать поехала в Вильно.

А вы знаете, что значит ездить из города в город в те времена, когда никакой дороги железной не было? Ну, так когда мать приехала в Вильно, то она наполовину была больная.

Абрам Капилевич прочел записку Давида Фишмана и сказал, что все узнает. И узнал: отца увезли в Петербург.

- Что же это значит, господин Капилевич? – спросила мать.

- Что это значит? Это значит очень плохо, мадам Кац.

- Ой, что вы, господин Капилевич. А почему очень плохо?

- Почему? Потому что даже поляков судят здесь, на месте. И вешают здесь, а не увозят в Петербург. Раз вашего мужа увезли в Петербург, то это значит что-нибудь особенное.

Мать так и упала на пол. Капилевич и его жена уложили ее в постель, а на другой день посоветовали матери ехать в Петербург и дали ей письма... знаете, к кому?

К Гинзбургу, к самому Гинзбургу. Тому самому Гинзбургу, который потом был русским бароном. Как вам это нравится?

Гинзбург был-таки хороший человек: он сразу все узнал.

И знаете, что он узнал?

Вы не поверите, что он узнал, но я вам все-таки расскажу, хотя это похоже на сказку из тысячи ночей.

Ну, так вот, надо вам сказать, что в это время закончилось завоевание Кавказа. Русское правительство захотело вдруг заселить часть Кавказа русскими.

Но как же это сделать, если никто не хочет этого делать? Скажите мне, что приятного жить в стране, где все ходят с ножами и режут друг

друга?

Ну, вот, так правительство придумало маленький фокус: оно решило разыграть земли в лотерею, по дешевой цене – 50 копеек, один рубль и дороже.

И знаете, сколько можно было взять на главный выигрыш? 5000 десятин земли! Ну, конечно, билетов было несколько миллионов, и распределялись они так: ну, скажем, от 1-го до 1000-го посылали Курскому губернатору, от 1000-го до 2000-го – Рязанскому, и так по всем губерниям России.

Губернатор рассылал таким же образом исправникам, те – приставам и т. д.

Ну, и знаете, что получалось из всего этого? А то, что можно было сразу установить, где и у кого находится билет, скажем, № 1542: в Курской губернии, в таком-то уезде, таким-то исправником продан такому-то.

Ну вот. Настал день розыгрыша. И был он в Петербурге в присутствии, знаете, кого? Самого государя императора Александра П. Он сам следил, чтобы не было обмана.

Вытянули сначала главный выигрыш. Ну, посмотрели: номер такой-то. Записали.

Тут царь и говорит:

– Послушайте, знаете, что? Скажу вам откровенно, что я-таки хотел бы посмотреть на этого счастливца, который выиграл 5000 десятин за 50 копеек.

Ну, если бы мы с вами это сказали – кто бы нас стал слушать? Мало ли кто что говорит. Но тут сказал не я и не вы, а все-таки царь русский!

А если русский царь чего-нибудь захочет, так кто может ему сказать: этого нельзя сделать?

Царь, может, и сказал-то это так, случайно, но вокруг него были генералы и министры с хорошими ушами. Ну, каждый хочет угодить царю, так стали справляться: в какой губернии номер билета такой-то?

Узнали, что в Ломжинской. Приказ от министра внутренних дел: немедленно доставить в Петербург владельца билета.

Ну, вы сами понимаете! Раз приказ от министра, значит, дело серьезное. Справились по записям: билет номер такой-то у Соломона Каца, живущего около Замброва.

А отец действительно купил этот билет у исправника за 50 копеек. Как было не купить, когда исправник сказал, что билеты продает сам царь? Не хочешь да купишь!

Ну, приказали подать в Ломжу Соломона Каца. Приехали за отцом казаки и пристав и увезли его в Ломжу.

Везли в кандалах, потому что в приказе было сказано, что владелец билета должен быть доставлен во что бы то ни стало.

Ну, ломжинский губернатор не знал в чем дело и подумал, что это –

важный преступник. Побоялся, что отец убежит, и велел заковать в кандалы.

Ну вот. Вы, наверное, скажете: ну и что? Слава Богу, что мой отец такой счастливчик: получил 5000 десятин за 50 копеек.

Так вы думаете, он их получил? Совсем напротив!

Гинзбург поехал в полицию, поехал туда, сюда и узнал, что отец сидит в градоначальстве под охраной. Почему? Потому что у него не было с собою билета, на который он выиграл.

Ведь он не мог знать, для чего его везут в Петербург, и оставил билет дома. А без билета его боялись везти к царю.

Тогда Гинзбург повез мою мать к градоначальнику, чтобы засвидетельствовать, что билет такой у отца есть,

Приехали в градоначальство. Мою мать спрашивают:

– А где же, мадам, билет? Покажите его нам.

– Билет? Билет я сожгла!

– Как сожгла?

– Так и сожгла – в печке. Я, господин генерал, боялась, что Соломона из-за поляков арестовали, и все бумаги дома сожгла.

– Гм... Из-за поляков? Каких поляков? Ну-ка, расскажите.

Гинзбург тут испугался: видит, дело иначе повертывается.

Но было немножко поздно. Мать перепугалась и запутала свой рассказ. Тут совсем плохо вышло. Мать задержали и стали наводить справки про отца.

Ну и что вы думаете? Знаете, что они подумали? Что отец – участник восстания.

Ломжинская губерния, имение пана Скржинецкого – гнездо мятежников... Мать сожгла бумаги... путается в показаниях... Дело казалось ясным.

Ну и знаете, чем все кончилось? Вместо 5000 десятин земли на Кавказе отец получил бесплатную поездку в Сибирь.

С первой же партией его сослали в Иркутскую губернию, даже сам барон Гинзбург ничего не смог сделать.

Вот вам и счастливый выигрыш! А вы говорите – еврейское счастье!

Что вы знаете об еврейском счастье?

Опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. № 23. С. 8–9, 12, 14.

РОДИМОЕ ПЯТНО

Кафе было переполнено. Столики, частью вынесенные на тротуар, брались с боя.

В этот жаркий день хорошее мороженое, вино с лимонадом и

ледяной гренадин казались верхом человеческих достижений.

Мне повезло: мой «компаньон по мороженому» был очень веселый и занимательный собеседник.

В этом небольшом городе, с которым я был мало знаком, он был своим человеком. Почти каждому входящему в кафе он давал какую-нибудь характеристику или что-нибудь о нем рассказывал.

В конце концов это стало настолько занятно, что я уже сам спрашивал о каждом входящем:

– А это кто?

В разгар рассказов моего компаньона в кафе вошел старик, который сразу обратил на себя мое внимание.

Гордая серебряная голова сидела на могучих плечах. Огненные глаза смотрели из-под нависших черных бровей сурово и, пожалуй, печально. Старик был высок и тучен.

Он прошел на середину кафе и сел за столик.

– Кто это? – снова спросил я.

– А? Это? – оживился мой собеседник. – Это пан Любомирский из Варшавы. Из тех самых Любомирских... ну, знаете, конечно, из каких... Большой помещик. Когда-то у него под Седлецом свои земли были. Потом разорился. Теперь живет кое-как. Интересный тип!

– Чем же он интересен? – спросил я.

– Ну, батенька, долго рассказывать! Про него ведь в свое время легенды ходили, песни складывали. Деспот и добряк, самодур и первый хлебосол. Человек, сотканный из противоречий, парадокс ходячий. Его пиры, охоты, его истории с женщинами в свое время с языка не сходили.

Уму непостижимо, что он выделывал! Жаловались на него, судились с ним – ничего не выходило. Связи имел большие, деньги большие – что с ним поделаешь? Дуэлянт был первый, бреттер и горячка.

Чуть что – панская честь, польский гонор – и пожалуйте к барьеру. Боялись его все, как огня. Наверное, с десяток человек проткнул он своей шпагой, которую унаследовал еще от Яна Собесского.

Ну и вышло так, что он хозяином был не только в своих землях, а и на десятки верст вокруг.

Были случаи... пробовали против него брыкаться, да ничего не выходило. Любомирский так скрутит да такую дулю под нос поднесет, что не рады бывали те, кто против него шел.

И с русскими ладил он хорошо: угощал их, кормил, поил, а потому на многие проделки сумасбродного пана власти смотрели сквозь пальцы.

– Кактже он дошел до такого состояния? – спросил я, кивнув в сторону старика, о котором шла речь. – Что он, разорился что ли?

– И да, и нет, – ответил мой собеседник, – тут другая история вышла, история сложная и запутанная. Полетел пан книзу, пропал из-за женской

спины... из-за родимого пятнышка.

– Как... из-за спины? – изумился я.

– Да так... Хотите расскажу?

– Конечно, – я поторопился изъявить согласие.

– Ну, вот, слушайте. В местечко Мрозы, недалеко от имения пана Любомирского под Седлецом, приехала однажды из Варшавы некая панна Стася Ружицкая.

Приехала она гостить к своей тетке. И за короткое пребывание в глухом медвежьем углу свела с ума всех местных молодых людей, потому что было она красоты неописуемой. Говорили, что даже в Варшаве ее считали прелестнейшей девушкой Польши.

Ну-с, шептали и другое: что хотя Станислава Ружицкая и была из хорошей дворянской семьи, но… поведение ее в Варшаве было далеко не безупречно...

Так или иначе, открыто об этом никто не говорил, а только шушукались.

И вот случилось, что встретилась она с паном Любомирским. Пан был не стар, вдов, юношески пылок и не знал преград свои желаниям.

Он сразу влюбился в прекрасную панночку. Ну-с, сами понимаете: пан Любомирский – неплохая партия. Богат, еще не стар, знатен и т. д.

Две-три поездки верхом на панских скакунах, два-три бала, специально устроенных для Стаси, – и заговорили о свадьбе.

Съездили к Ружицким в Варшаву. Тем, понятно, такая партия дочери только лестна. Одним словом, через месяц – свадьба в имении Любомирского.

Это было нечто грандиозное: ужин на 300 человек, море вина, море фейерверков, пять оркестров музыки... Говорят, что 20000 рублей стоила пану эта свадьба.

Среди гостей – вся родня Любомирского и именитое шляхетство из соседних городов и Варшавы, помещики, русские офицеры из соседних гарнизонов: гусары, гвардейцы, лейб-казаки...

Среди офицеров, между прочим, выделялся красотой, молодечеством и богатством некий поручик Кексгольмского полка, князь Тарутин. История этого молодого человека было весьма загадочна.

Говорили, что он за какую-то романтическую историю был переведен в Кексгольмский полк из Петербурга, где состоял в стрелковом Его Величества полку.

Ореол таинственности окружал юного офицера и, конечно, только содействовал его успеху у дам и девиц. Нужно, впрочем, сказать, что особенно этим ореолом он не пользовался, был со всеми очень мил и прост в обращении, но неизменно уходил в себя и молчал, если его спрашивали о прошлом, кто он и как попал в Кексгольмский полк.

Надо полагать, что его товарищи по полку отлично знали историю

Тарутина, но на все расспросы о юном поручике не отвечали. Видимо, были на этот счет специальные распоряжения начальства.

Ну, так вот. Во время бала у Любомирского не мало шушуканий вызвало то обстоятельство, что поручик Тарутин буквально не отходил от новобрачной.

Досужие языки, конечно, сейчас же сплели по этому поводу ряд предположений, весьма нелестных для Стаси.

По-видимому, Любомирскому это упорное ухаживание тоже не понравилось. Во время танцев, когда Тарутин и Стася шли в паре, Любомирский внезапно подошел к жене и увел ее во внутренние комнаты. Когда она появилась снова, то уже не отходила от мужа.

В дальнейшем, по рассказам очевидцев, дело произошло так: с двумя-тремя гостями Любомирский вышел на террасу, выходящую в сад. Внезапно он услышал, как в саду кто-то довольно громко среди взрывов хохота произнес имя его жены.

Любомирский тихо прокрался в конец террасы и стал прислушиваться. Бывшие с ним гости последовали за ним.

Веселый голос, который несомненно принадлежал поручику Тарутину, говорил группе молодых людей, по-видимому, офицеров:

– Смейтесь сколько угодно, господа! Конечно, вы можете подумать, что я унижен поведением Любомирского. Он вырвал у меня из рук Стасю во время танцев. Публичное оскорбление, так сказать! Но терплю, господа, я терплю! И не могу иначе поступить. Я не в накладе! Если бы я вам рассказал, что было всего месяц тому назад в Варшаве, когда эта милая паненка дневала и ночевала у меня, вы согласились бы, что я многое могу простить бедному Любомирскому. Хм... как вы думаете?

Взрыв смеха был ответом. Какой-то пьяный голос сказал с неуверенностью:

– Ну, князь, вы уж, кажется, слишком...

– Ротмистр Хренов, – с достоинством ответил Тарутин. – Я никому еще никогда не давал повода сомневаться в своих словах. Прощаю вам вашу нетактичность только потому, что вы мало меня знаете. А, впрочем, я мог бы дать вам немало доказательств того, что знаю Стасю достаточно... близко.

Он вдруг рассмеялся – весело и громко.

– Хотя вам и трудновато будет проверить одно мое доказательство, но я вам его приведу. У очаровательной Стаси прелестное родимое пятнышко в форме сердца величиною с серебряный пятачок... и, знаете, где?

– Где? – хором закричали слушатели.

– На спине, – ответил Тарутин, – точнее... чуть-чуть ниже.

Он сказал что-то шепотом, после чего сад огласился громовым хохотом.

Тут пан Любомирский не выдержал. Он сбежал с террасы и врезался в группу офицеров. Несмотря на бешенство и ярость, он прекрасно учитывал, что имел дело не с окрестным безответным шляхетством, а потому, насколько мог, сдерживал себя.

– Я слышал все, пан офицер! В ответ на мое гостеприимство вы изволите распускать гнусную клевету о моей жене. Немедленно откажитесь от своих слов, или вы подлец и негодяй!

– Я никогда не отказываюсь от своих слов, – надменно ответил Тарутин. – Если вы все слышали, то знаете, конечно, какие у меня доказательства... Могу вас уверить, что я не клевещу. Родимое пятно у вашей жены есть – именно... на том месте, какое я указал. Попробуйте доказать всем этим господам, что родимого пятна нет. Как вы это сделаете?..

Тон Тарутина был явно вызывающим.

Любомирский сжал кулаки и шагнул к офицеру. Но опомнился и, задыхаясь от ярости, заревел:

– Я докажу вам, дерзкий негодяй, что моя жена чиста! Я не остановлюсь ни перед чем. Я дам доказательство, которого требует этот господин, недостойный носить военный мундир! Я прошу вас... и вас... и вас... быть свидетелями!..

Он поочередно указывал рукой на гостей, отобрав несколько солидных помещиков и старших в чине офицеров.

Затем бросился в зал, схватил жену за руку и потащил ее за собой. Почти внес он испуганную, трепещущую Стасю в спальню и, уже совершенно озверев, стал срывать с нее одежды.

Она плакала и кричала, но он обнажил ее тело... и убедился, что Тарутин прав.

Его гнев прошел, как дым, уступив место отчаянию.

Быть посрамленным перед этим молокососом, перед гостями, может быть, – перед всей Польшей! Оскорбленная гордость Любомирского не могла перенести этого.

В эту минуту он даже не думал о том, что слова Тарутина были правдой, он лишь искал выхода, как спасти свое положение перед гостями. Весь ужас был в том, что нужно было немедленное решение.

И оно пришло.

Он бесцеремонно и грубо схватил жену, бросил ее в заднюю комнатушку и запер на ключ.

Потом позвонил. Пришла Зося, камеристка Стаси, преданная и верная дому Любомирских девушка. Пан осмотрел ее с ног до головы. Она подходила для задуманного плана.

– Раздевайся! – коротко сказал Любомирский.

Это сказано было так, что испуганная девушка торопливо

покорилась.

Через четверть часа Любомирский привел в спальню свидетелей. На софе лежала полуприкрытая одеялом нагая женщина.

–Я прошу извинить меня, - сказал Любомирский, – по вполне понятной для женщины стыдливости моя жена покажется не вся. Вы увидите только спину и все, о чем шел спор...

Ну-с, это все свидетели увидели и удостоверили, что родимого пятна там не оказалось. Честь Любомирского была спасена.

Торжествующий, в окружении гостей он подошел к Тарутину:

– Ваши слова, как я и думал, оказались клеветой, Вы – подлец!

Через несколько дней состоялась дуэль, и Тарутин был серьезно ранен в грудь навылет. Вскоре его увезли в Петербург и там он умер от осложнения в ране.

После этого совсем другой стал пан Любомирский. Страшный удар нанесла ему эта история.

Стал пить, вскоре выгнал из дома Стасю, одичал. Забросил дела, запутался в долгах, имение и земли пошли с молотка.

Говорили, что чья-то таинственная рука упорно вредила старику и неизменно губила его дела. Вспомнили и старые грешки Любомирского.

Это преследование объясняли тем, что Тарутин был будто бы внебрачным сыном одного из великих князей, и тот мстил теперь Любомирскому за смерть сына.

Так или не так, но через пять лет Любомирский почти пошел по миру. А теперь... теперь вы видите, что с ним стало...

Я посмотрел на старика. Он поднялся, оставил на столике деньги и медленно побрел к выходу – мимо нас.

– Обратите внимание на кольцо, которое у него на правой руке, – шепнул мой собеседник.

Я посмотрел на руку.

В золотой оправе темнел большой камень в форме сердца.

– Говорят, что в пьяную ночь после свадьбы Любомирский позвал ювелира и приказал ему сделать кольцо с камнем точно такой же формы и цвета, как родимое пятно у Стаси, – на вечную память о лживости женщин. Говорят, что оправа у кольца имела точно такую же форму, как оправа у родимого пятна Стаси. Но потом пану стало неловко носить кольцо такой... откровенной формы. Кольцо было переделано.

Мой собеседник усмехнулся и добавил:

– Как видите, иногда ювелир должен быть знаком и с анатомией...

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. № 29. С. 1–4, 6.

Проза

ПОКОРНОСТЬ

Рассказ о женщине в вишневом кимоно

– Так... хорошо, – сказал мой приятель м-р Стеффен. – Вам не нравятся японки... Ну, а эта?

Он лукаво усмехнулся и, вынув трубку изо рта, показал ею на юную японку и старика-японца, медленно входивших на веранду отеля.

– Эта? – растерянно сказал я. – Да... эта хороша. Это настоящая биджин[1]!

М-р Стеффен довольно захохотал и откинулся в соломенном кресле.

– Биджин! – повторил он. – А сколько таких красавиц вы можете встретить на улицах Иокогамы! Вы не хотите видеть их, вы еще не прочувствовали, не поняли и пока еще не можете понять всей магнетической и страшной силы этих крошечных бабочек. Но вы эту силу узнаете… Таких женщин нет во всем мире!

Теперь, когда эта японка вошла на террасу и села, я не возражал... не мог возражать.

Мы сидели на веранде «Гранд-отеля» – я и м-р Стеффен, американец-художник. Жара спала. Тент над террасой надулся и полоскал от ветра с моря.

Прямо перед нами была иокогамская гавань, пестревшая флагами всех государств мира. Точно каменными объятиями, охватил гавань полукругом железобетонный волнорез. Вода в гавани была ярко-зеленая, безмятежно-спокойная. За волнорезом она билась в белом гневе пенистых гребней, а еще дальше – синела, уходя в бесконечный простор океана. На грязно-желтом «американце» с черной трубой грохотал подъемный кран, таская с плоскодонных баркасов тюки и ящики. Пронзительно пищал катер, выводя за волнорез трехтрубного гиганта французской компании «Мессажери-Маритим», уходившего в далекий Марсель. На горизонте маячила черная точка, прикрытая тучей дыма: шел пароход не то сюда, в Иокогаму, не то в Америку, – далеко, не разберешь.

И здесь, на берегу Великого океана, перед синей бездной, у ворот во все части света, здесь, где можно было говорить о чем угодно, кроме женщины, мы со Стеффеном говорили всегда только о женщине. Почему?

Я не знаю. Я не философ, но... не потому ли, что женщина – центр вселенной, не потому ли, что для нее уходят и приходят вот все эти корабли, скрипят лебедки, пищат катера? Может быть, и море плещет, и солнце светит для нее? Я не знаю. Знаю лишь, что, когда мы вдыхали соленый ветер, смотрели на горизонт и на караваны уходивших кораблей, мы начинали говорить о женщине.

[1] Биджин – красавица.

И спорить. И спорили о том, кто интереснее, – японка или белая женщина.

Я говорил об изяществе француженки, о цвете лица англичанки. М-р Стеффен возражал, что француженки вульгарны, а у англичанок большие ноги. Я говорил о нужном румянце северянок, Стеффен – о неуловимой прелести косого разреза глаз. Я вспоминал славянскую мягкость лица польки и русской, Стеффен воспевал единственные в мире по красоте линий руки японок.

Мы сбивались с языка красок и поэзии на язык вульгарный и циничный. Мы расценивали и разбирали женщин, как лошадей. Мы торговались, как барышники на ярмарке.

Его дифирамбы аристократическому рисунку носа японки я бил, говоря о пышных формах европеянки, мои гимны золоту северных волос он убивал линиями спины и миниатюрной грудью.

А душа? Мы не забыли и души. Европейской простоте и понятности Стеффен предпочитал мистическую загадочность японок. Против рабской покорности фарфоровых женщин я выдвигал самостоятельность, энергию, разум наших женщин. А Стеффен кричал, что это как раз то, что отталкивает его от европеянок. Печать обреченности судьбы, загадочная неподвижность лица, опущенные глаза – вот неисчерпаемая сокровищница прелести японок.

Я яростно возражал, но... но только до тех пор, пока не появлялась на террасе маленькая фигурка в вишневом кимоно. Ее присутствие сковывало мой язык и неизменно давало победу Стеффену. Покорно я признавал прелесть этого юного существа.

Это было странно. Пока не появлялось на террасе вишневого кимоно, я с пеною у рта доказывал, что японки не могут претендовать на мое внимание: они мертвы, у них – короткие ноги и длинное туловище, они все без исключения брюнетки, мне не нравится их походка и т. п., и т. п.

Но стоило вишневому кимоно появиться на террасе отеля – и я замолкал.

Да... мне брюнетки не нравятся, а она – брюнетка. Да... я не люблю маленьких, а она – крошка. Да... я люблю крупную, смелую походку у женщины, а она мелко семенит своими соломенными зори[1].

Но... но такой женщины я еще никогда не видел. Такой изящной, такой грациозной, такой воздушно-легкой, такой благородно-нежной, такой прелестной! Боже мой! Когда ее вишневое кимоно медленно, с божественной грацией движется мимо меня, тогда словно улыбаются море и небо, нежнее становится ветер, ярче переливается изумруд воды, белее пена у берега, крепче любовь к жизни, вкуснее соленый воздух.

[1] Зори – туфли.

И когда я слышал мелодию ее голоса, короткие фразы, которые она пела – да, да, именно, пела! – отвечая своему отцу (мы узнали, что старик – ее отец), то я чувствовал, что сердце сжимается у меня больно и сладко, точно в предчувствии любви, точно готовое сгореть в пламени, точно согласное умереть, разорваться, – лишь бы прижать к себе это вишневое кимоно.

И я ничего не сказал, когда Стеффен посмотрел на меня, что-то понял, задумчиво и мечтательно улыбнулся и протянул медленно:

– А ведь это – любовь, дорогой мой...

* * *

Так больше я не могу. Я хочу говорить с ней...

Я покинул Стеффена и, как покорная собака, побрел вслед за вишневым кимоно.

Японка и ее отец сошли с террасы. Они повернули в сторону Блеффа, европейской части Иокогамы. У самого подъема в гору старик простился с дочерью и пошел в сторону. Она за что-то благодарила его с низким поклоном и мелодично журчала:

– Домо аригато гозаимашта[1]…

Чуть покачиваясь и мелко перебирая ногами, она легко и грациозно заторопилась в гору. Я пошел за нею.

Встречались иностранки – американки, англичанки, француженки... И я невольно сравнивал их, этих крупных рыжеволосых женщин с маленькой девушкой в вишневом кимоно. Теперь мне казалось диким, как я мог отстаивать перед Стеффеном этих грубых, вульгарных, неуклюжих самок с резким смехом, с огромными ногами, с красными руками.

Они - и мое вишневое кимоно! Боже мой! Земля и небо!

Мы миновали английский морской госпиталь и вошли в узенькую улочку, где едва могли разойтись два рикши.

Вишневое кимоно на секунду задержалось возле шинтоисского храма, взглянуло в священное зеркало и поплыло дальше, нежно шлепая соломенными зори.

Как зачарованный, я шел сзади.

И вдруг, точно толкнула меня неведомая сила, – я крупными шагами догнал японку, заглянул ей в лицо, приподнял шляпу и спросил:

– Доко-ни осумай деска[2]?

Она остановилась и робко посмотрела на меня. Не удивляясь моему вопросу, словно так и должно было быть, она почти прошептала:

– Коко-ни[1], – и показала рукою на низкую ограду, сделанную из

[1] Очень, очень благодарна!

[2] Где вы живете?

бамбука и коричневых досок криптомерии.

Ограда зеленела от плюща. Сверху, как голубая шапка, кивали азалии: они росли в земле, насыпанной в узкие ящики, укрепленные на ограде. Через ограду видна узорная красная черепица на крыше длинного строения. Здесь, видимо, жила моя японочка в вишневом кимоно.

Она подошла к воротам ограды. Я снова догнал ее.

– Гомен-асай... икуцу-деска[2]?

– Восемнадцать, – покорно вздохнуло вишневое кимоно.

– Как вас зовут?

– Миура-сан.

Она звякнула медной ручкой калитки и, не глядя на меня, опустив голову, скользнула за ограду. Калитка звякнула снова. Насмешливо улыбалось лицо какого-то божка, искусно вырезанного на косяке калитки.

Миура... Что-то кошачье – точно ласковое, вкрадчивое мяуканье – было в этом имени. Что-то кошачье – гибкое и грациозное – было во всем ее существе... Миура-сан!..

Я вздохнул всей грудью. Все-таки я уже заговорил с нею, и она ответила мне. Следовательно, я не противен ей. Вероятно, своими черными глазами она не раз ловила мое восхищение – там, на террасе отеля. А раз так, все женщины, прежде всего, – женщины, откуда бы они ни были – с Востока или Запада.

Я победоносно посмотрел на коричневую ограду и, весело насвистывая, пошел рассказывать изумрудному морю о своей радости.

* * *

А на другой день я проделал то же самое – проводил вишневое кимоно до ограды ее дома. Но... но уже шел рядом с нею и разговаривал на правах знакомого.

Я узнал, что ее отец – коммерсант, продавец шелковых тканей и кимоно, что в «Гранд-отеле» они бывали только случайно, т. к. в их доме идет ремонт и они принуждены временно столоваться в ресторане (в европейском – по мольбе дочери, которая хотела посмотреть на иностранцев), и что скоро эти посещения отеля прекратятся.

Тогда я сказал, что это будет для меня большим горем, потому что я теперь привык любоваться ею.

Миура-сан быстро взглянула на меня. Это был покорный и благодарный взгляд. И женщины Востока любят поклонение! Тогда я сказал:

– Я хочу быть знакомым с вами. Я приду к вам в дом и познакомлюсь

---

[1] Здесь.

[2] Простите… сколько вам лет?

с вашим отцом.

Что-то похожее на страх мелькнуло в глазах девушки:

– Ийе, декимасен[1].

Изящным движением она молитвенно, беспомощно сложила руки на груди. Горькая складка легла и мгновенно исчезла у подкрашенного ротика.

– Почему? – спросил я, уже догадываясь, уже зная, что она скажет.

– Отец... он не любит иностранцев.

– А вы.. а вы?

– Не знаю.

Я смело взял ее за руку:

- Миура… Миура-сан! Я хочу с вами встречаться. Может быть, я недостаточно хорошо говорю по-японски, но разве мы не найдем, о чем беседовать? Вы сказали, что рисуете... Будем говорить о красках, о море, о вашей прекрасной родине... о вас...

Я смотрел на нежно-розовое прелестное личико, на темные глаза, опушенные изогнутыми стрелами ресниц, на алый рот и влажный перламутровый ряд зубов. И думал, что если я и не найду, о чем говорить с нею, и прилипнет мой язык к гортани, то совсем не потому, что я несвободно говорю по-японски.

Я мог замолчать, замереть – только от восторга, только от счастья, только от преклонения, только от мысли, что рядом со мной волшебное личико этой японки в вишневом кимоно.

– Миура-сан...

Она подняла на меня задумчиво глаза. Точно сказала: «Что тебе, милый?»

– Я буду ждать вас... у моря. Вы знаете где? Вы придете?

Точно шелест ветерка, точно нежный вздох, покорно и ласково:

– Хай[2]...

* * *

И вот мы уже в десятый, кажется, раз пришли на берег моря.

Лунный свет идет к нам с горизонта, бриллиантовым мечом рассекая темную воду. Море тяжелое, словно каменная, застывшая громада. Урчит ласково и добродушно, колотя гранитные крепления берега.

Мы – в саду, который выходит на самый берег моря. Кривая японская сосна тянется к морю и к небу, словно в молитве, и изгибает причудливо-тонкие руки-ветви. Звенят в подстриженном газоне певуче и сладострастно цикады. Соленый ветер гладит по лицу бархатной прохладой. И душит

[1] Нельзя!.. нет… нет…

[2] Хорошо.

странная смесь ароматов – водоросли, йод, азалии, абрикосы, лимон.

Сухая и колючая, кивает морю темно-зеленая пальма.

А над всем этим раскинулось синее глубокое звездное небо со светлым поясом Млечного пути и серебряным ковшом Большой Медведицы.

Позади, за садом, шумит большой город. Слышны назойливый звон трамваев, гудки автомобилей, дробный стук японских гетта[1], тоскливый стон флейты купца с лотком сладостей.

А здесь... а здесь – дыхание Великого океана, огоньки рыбачьих лодок, изредка – прожектор морского гиганта где-то на горизонте, и... вишневое кимоно.

Точно чувствуя, что именно это кимоно ей к лицу, точно зная, что в моих глазах вся она слилась навсегда с вишневым кимоно, Миура пришла все в том же наряде. Она сидела рядом со мной. Бледное ее лицо было обращено к морю – на ту серебряную дорогу, которая тянулась за горизонт.

Лунный свет сделал ее лицо еще мягче, нежнее, призрачнее, прекраснее. Точно растаяло все земное, и сидел со мною добрый дух Японии, нежная душа маленькой страны.

Да... Японии. Все было японское в этом лице – все самое прекрасное, своеобразное, такое, как нигде нет в мире.

Неуловимая прелесть странного разреза глаз, непривычный овал лица, эта высокая, как башня, прическа из блестящих, словно лакированных, волос, пронзенных булавкой из слоновой кости с изумрудным жучком на конце. Широкий оби[2], подчеркивающий гибкость талии, белые шелковые таби[3], крохотные соломенные зори...

Я смотрел на Миуру и думал, что нельзя обнять, прижать к себе такое существо: она была такая крошечная... нежная. Хотелось бережно лишь взять ее за маленькие ручки и гладить их.

Я так и сделал. Она не протестовала. Я гладил эти крохотный теплые ручки и думал, что другой женщины мне не нужно до самой смерти. Я вдруг понял, – здесь, перед лицом необъятного океана и бездонного неба, – что влюблен и не могу жить без этой крошки в вишневом кимоно.

«Вы еще не поняли, – вспомнил я слова Стеффана, – всей магнетической, страшной силы этих бабочек...».

Да, это – не женщина, это – волшебница, небесный дух, пестрая, яркая бабочка.

Я заговорил о любви. Восток и Запад, Иокогама и Барселона – где бы

[1] Гетта – деревянные сандалии.

[2] Оби – пояс из широкой полосы материи.

[3] Таби – короткие чулки.

это ни было, всех завораживают эти пьянящие слова, недоговоренность, сладкая сила интонации, нервная, странная дрожь.

Миура слушала, полузакрыв глаза, потушив ресницами их черный блеск. И сердце ее билось все сильнее... Я знал это, потому что все сильнее дрожали ее руки в моих ладонях.

– Хотите быть моей... навсегда? – шептал я.

Цикады звенели свою любовную песню, все нежнее ласкал соленый ветер, все мелодичнее плескало о камни море. А я все повторял свою фразу, заглядывая в темные глаза.

Ее губы задрожали, и я не услышал, а угадал шепот:

– Это невозможно... Все будет против меня – и люди, и боги. У нас не прощают измены родине… Мой муж должен быть японец.

Я рассмеялся. Я думал, что японки Клода Фаррера и Пьера Лоти ушли в историю. «Измена»... Что же это за измена родине?

Эго было теперь так странно слышать, когда японские пароходы плавали по всему миру, когда дирижабли и аэропланы парили над этой сказочной страной, когда, громыхая и дымя, летали по всей Японии пульмановские вагоны, когда в каждом японском ресторане можно получить кровавый английский бифштекс и кружку шотландского эля...

Но Миура твердила все свое:

– Все будут против меня.

Я проводил ее домой, к коричневой ограде.

На минуту, обессилев в порыве нежной благодарности, она прижалась ко мне. Я осторожно обнял ее и почувствовал, что она трясется от рыданий.

– Миура... вы не хотите расстаться со мной? Тогда... тогда...

Она продолжала рыдать.

– Ведь вы любите меня?

Она зарыдала сильнее. Затем сказала:

– Зачем спрашивать, когда вы знаете?

Подумала и добавила;

– Завтра мы пойдем в храм Мийокоджи, и там... я спрошу...

– Что вы спросите?

– Могу ли я быть вашей женой...

* * *

Желтолицый бритый монах с низким поклоном принял от меня горсть никелевых монет и повел нас по каменным ступеням вверх.

Грозной гримасой встретил нас уродливый бог ветра. Лакированный ярко-красный бог войны был готов ударить меня огромным мечом. Угрюмо и насмешливо улыбался бог землетрясений. Все были настроены здесь против чужеземца – и боги, и монах, и самые своды холодного внутри

темного храма.

Сверкала позолота украшений, блестел лакированный потолок с извивающимся по нему гигантским желто-красным драконом, матово блестели глазированные вазы и курильницы в рост человека.

И, когда крохотная дверь на улицу, на тепло и свет закрылась, когда могильный холод и полумрак охватили меня, я почувствовал почти ужас среди этих страшных масок, которые глядели на меня со всех сторон, под этим бешено извивающимся драконом, который готов был ринуться на меня с потолка.

Миура подошла к огромному медному диску, который висел на толстой проволоке, и ударила в него деревянной колотушкой. Низкий, густой, угрожающий звук наполнил все закоулки храма.

Я знал, в чем дело: так японцы взывают к вниманию Бога.

Потом Миура похлопала в ладоши и быстро, нараспев, униженно и просительно, заговорила что-то дрожащим голосом.

И я замер, точно знал, что сейчас будет ответ.

И ответ последовал…

Откуда-то, словно из пасти дракона, раздался страшный рев – гневный, громовой, уничтожающий. Точно рушилось все вокруг – земля, море, океан, точно мгновенно воцарился какой-то страшный, безумный хаос.

Белая от ужаса, с помертвевшими, неподвижными глазами Миура схватила меня за руку и бросилась к выходу из храма, увлекая и меня.

Солнце ослепило глаза, тепло охватило нас, когда мы закрыли дверь в этот ужасный храм, где еще замирал страшный рев с потолка.

Не останавливаясь, с белым лицом бежала Миура-сан домой, мелко перебирая соломенными зори. Что-то шептала про себя слабым голосом, словно просила прощения у разгневанного божества. Бумажным платком вытирала слезы.

Мы подошли к такой знакомой, такой милой коричневой ограде. Волновался от ветра плющ, кивали азалии. Миура взялась за медную ручку калитки.

– Прощайте... – сказала девушка.

Я схватил ее за руку,

– Боже мой! Миура, что вы говорите? Опомнитесь!

Она мягко, но настойчиво освободила свою руку, Повернула ко мне мертвенно-бледное лицо. Со всей своей нежностью и любовью к этому маленькому испуганному существу я заглянул в темные глаза... и отпрянул назад – на меня смотрели мертвые, чужие глаза. Это была не моя Миура.

– Любимая моя... что с вами?

Бескровными губами она прошептала едва слышно, и ужас трепетал в ее голосе:

- Вы слышали ответ... там, в храме? Неужели вы не поняли, не почувствовали? Прощайте...

Вишневое кимоно мелькнуло в калитке и исчезло... навсегда для меня.

Звякнула медная ручка калитки.

Насмешливо и зло ухмылялось лицо божка, искусно вырезанного на косяке калитки.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. № 46. С. 1-8.

ЖЕНЩИНА ИЗ КОНТРРАЗВЕДКИ

Я взял со стола пакет. На серой, плотной английской бумаге хорошо знакомым почерком было аккуратно выведено: «Старшему лейтенанту А.Н. Серошевскому. Срочно».

Я знал этот почерк. Спокойный размашистый почерк человека, который привык повелевать и отдал морю тридцать лет своей жизни. Как море, почерк был широк, свободен и ясен. Я вскрыл письмо. Коротко и лаконично: «Александр Николаевич, Вы должны быть у меня к 7 часам вечера. Важно. Капитан II ранга Негорюев».

Было пять часов вечера – еще рано. Задумавшись, я подошел к окну номера, который снимал в этой тихой, скромной лондонской гостинице около вокзала Чаринг-Кросс, недалеко от английского Адмиралтейства.

В двух улицах от меня жил и капитан Негорюев. Мы нарочно поселились вблизи адмиралтейства, от которого, как агенты русского морского штаба, вполне зависели.

Итак, я подошел к окну. День был серый, пасмурный, туманный – настоящий лондонский день. Где-то наверху, вероятно, светило яркое солнце: ровный молочно-серый свет пробивался сквозь туман.

Как призраки, неслись по улице автомобили, кэбы, сновали прохожие, закутанные в шарфы, с надвинутыми на лоб шляпами. Октябрьский ветер раздувал полы пальто. На улице было холодно и неуютно.

Зачем я нужен Негорюеву? Опять сводка о положении германских морских единиц в балтийском море? Или командировка?

Я в Лондоне уже три месяца и за это время уезжал отсюда четыре раза: два раза – в Стокгольм, раз – в Париж и раз – в Глазго, где осматривал новое английское морское чудовище с пятнадцатидюймовыми орудиями.

Куда теперь? Негорюев, мой непосредственный начальник, намекал на днях что-то насчет возможной поездки в Россию. Вот хорошо бы!

Мне надоело быть морским агентом. Знаешь, конечно, что

приносишь на этом посту не меньшую пользу, чем в каком-нибудь минном балтийском дивизионе, но… но лучше бы стоять сейчас на стальной палубе и следить за горизонтом – не покажется ли неприятельский дымок.

Там реально, ясно ощущаешь, что вот – делаешь большое, нужное для России дело. А здесь? Доклады, морские сводки, тайные сведения шпионов, новейшие достижения в морской технике.

Все это нужно, важно, но… но не слышишь запаха пороха. Не видишь войны, не видишь моря, которому отдал жизнь. Ах, в море бы!

* * *

Негорюев высок, худ, элегантно одет. Он похож на англичанина. Впрочем, его мать – англичанка. Он курит трубку, а мне показывает на ящик с сигарами:

– Садитесь. Закуривайте. Настоящая Гаванна.

Я опускаюсь в мягкое кожаное кресло. Негорюев посасывает трубку и серыми глазами следит за кольцами. Вынимает трубку. Коротко говорит:

– Александр Николаевич. Завтра вы едете в Петербург.

Я привстаю в кресле. Вот радость!

– Переводят в Балтийский, в действующий флот?

Он усмехается моей горячности:

– Нет… так скоро я вас не отпущу. Вы нужны мне в Лондоне. Нет, это – командировка. Вы повезете английский проект совместных подводных действий в балтийском море. Англичане организуют подводный прорыв в Балтику. Мы должны построить для них базы. Они составили свой проект. Вы его повезете в наш морской штаб.

Негорюев тянет в себя дым и медленно его выпускает.

– Вы поедете с утренним поездом в Гулль, сядете на частный пароход «Плимут» и на нем доедете до Бергена. Дальнейший путь – Норвегия, Швеция и Финляндия.

Еще клуб табачного дыма. Молчание.

– Александр Николаевич. Только исключительное доверие к вам позволяет мне возложить эту страшную ответственность на вас. Вы понимаете, как нужны англичане нам в Балтийском море. И вы понимаете, что будет, если этот проект попадет к немцам. А между тем Англия, а тем более Норвегия, Швеция и Финляндия наводнены шпионами. Это вам хорошо известно. Вы знаете, что ничто не остановит их. Если они пронюхают о вашей миссии, Александр Николаевич, дорогой, я на вас вполне надеюсь.

* * *

Моросит мелкий дождик. Все покрыто его частой сеткой. Туман. Изредка пронизывает холодный ветер с моря.

Оно здесь, мое любимое, безбрежное, могучее море! Оно здесь – за туманом и серой, густой пеленой дождя.

Его не видно, но я слышу, как оно тяжело и громко вздыхает и где-то бьется о каменный мол.

Я жадно, как рыба, раскрываю рот и глотаю этот соленый, ароматный, вкусный воздух. Я снова у моря.

«Плимут» стоит где-то на рейде. Его не видно за туманом. Около пароходной конторы – толпа пассажиров; все они едут на «Плимуте» – мужчины, женщины, дети. Они ждут большой катер, на котором всех нас доставят на пароход.

Что-то странное, какое-то инстинктивное недоверие, даже неприязнь чувствую я к этой толпе. Среди этих мужчин, женщин и даже детей могут быть враги России, союзников… мои враги.

Разве я знаю, кто этот бритый джентльмен в зеленом пальто? Или этот худой старик в темных очках? Или эта женщина с меховым боа, перекинутым через плечо, кто они? Куда едут? По паспорту, может быть, англичане, шведы, норвежцы, датчане, русские. А на самом деле? Кто может поручиться, что среди них нет агентов германского генерального штаба?

Особенно я боюсь женщин. Они – самые талантливые, самые великие шпионы. Они – лучшие в мире артисты. Ложь – стихия женщины, ее мир. Никто так не проведет и не обманет, как женщина.

И как раз среди моих будущих спутников много женщин. Есть молодые и, насколько можно судить издали, – хорошенькие. Подальше, подальше от них!

Впрочем, ничто в мире не заставит меня сейчас отдать свое внимание женщине. Я точно заряжен какой-то силой… каким-то током что ли, который отталкивает меня от женщин. Да, именно, именно от женщин! Мужчин я боюсь меньше.

Подходит большой катер. Грязный, закопченный, с облупленными боками. Пронзительно кричит, выпуская клубы черного, вонючего дыма из огромной, не по корпусу, трубы. Угрюмо, нехотя переругиваясь, три грязных матроса привязывают катер к пристани.

Пассажиры, толпясь и толкаясь, бегут к сходням, и катер мигом наполняется.

Несмотря на дождь, который все усиливается, я остаюсь на носу катера под открытым небом. Подальше от толпы.

Они, эти люди, набитые в катер, как сельди, не могут знать, что у меня под пальто, под толстой, наглухо застегнутой курткой, под фуфайкой и бельем на толстом шнурке, надетом на шею, висит клеенчатый небольшой пакет, в который вложены документы…

Пассажиры этого не знают. Но… но могут узнать. Мало ли к каким

ухищрениям прибегают шпионы. Может быть, за мной следят от самого Лондона.

Я почти уверен, что об отъезде русского морского агента Берлину уже известно. А даром агенты не катаются – их посылают с ответственными поручениями. А потому…

Впереди вырисовывается силуэт парохода. Он небольшой, вероятно, меньше 5000 тонн. Выкрашен так, как красят пароходы сейчас, во время войны: зигзагообразные продольные и поперечные линии, пестрые, самые разнообразные краски…Он похож на зебру. Это делается против подводных лодок, которые в Северном море работают вовсю.

Катер подходит к трапу. Один за другим пассажиры лезут наверх, карабкаясь по колеблющейся лестнице вдоль высокой железной стены парохода.

Наверху – контроль. Два офицера парохода внимательно и кропотливо проверяют документы. Эта процедура длится больше часа.

Я одним из последних подхожу к офицеру, длинному бриту с мордой рыжего бульдога. Он читает мой паспорт. Там отметка английского адмиралтейства.

– Вы морской офицер? – громко спрашивает он, подозрительно глядя на меня.

Черт бы его побрал! Зачем он так кричит? Ведь нас слышат другие пассажиры…А между тем меньше всего я хочу, чтобы они знали, что я – военный.

Я тихо говорю бульдогу:

– Не говорите так громко. Да, я офицер.

Я показываю ему карточку морского агента, подписанную секретарем. Он растерянно смотрит на меня и вежливо козыряет! Я прохожу мимо.

Нельзя сказать, чтобы на этом пароходе была образцовая постановка. Пассажиры мечутся взад-вперед, топчутся, не знают, куда идти. Никто ими не интересуется.

Я ловлю за рукав маленького рыжего стюарта, показываю свой билет.

– Где моя каюта?

– Не знаю! – нагло отвечает мальчишка, вырывается и спешит куда-то.

Нечего сказать – хорошая дисциплина у просвещенных мореплавателей! Останавливаю другого лакея и обращаюсь к нему с тем же вопросом. Он ведет меня в длинный, ярко освещенный коридор и останавливается у двери, на которой блестит медная цифра «29». Он толкает дверь.

Крошечная двухместная каюта. Двухместная! Вот тебе и раз! Адмиралтейство гарантировало мне одноместную каюту: я требовал этого

по вполне понятным причинам.

– Это не моя каюта! – говорю я возмущенно.

– Нет, ваша, – равнодушно показывает стюарт на мой билет.

– Это недоразумение, – волнуюсь я. – Позовите помощника капитана.

– Хорошо, – спокойно соглашается стюарт. – Он не поможет. У нас на пароходе нет одноместных кают.

– Но со мной никого не будет?

– Нет, второе место тоже занято. У нас на всем пароходе нет ни одного свободного места на этот рейс.

Конечно, это какое-то недоразумение. Пойти поговорить с капитаном? Но тогда ему нужно объяснить, кто я такой и с какой миссией еду. Ведь едва ли английское адмиралтейство осведомило его о цели моей поездки. Это в мои планы не входит: мне нужно как можно меньше шума вокруг моего имени.

– Кто едет в этой каюте кроме меня?

Стюарт смотрит в записную книжку:

– Комаро…вская, – с трудом читает он. – Лэди…

Комаровская! Женщина! Женщина! Русская… гм, это еще ничего. Но вообще… поездка с дамой в одной каюте… Стеснять себя, стеснять ее…

Я нерешительно мнусь на месте. Стюарт решает вопрос по-своему: он просто убегает. Вхожу в каюту. Мои вещи уже в сетках над койкой: пассажирский багаж был отправлен на пароход еще утром.

На второй сетке и на второй койке – чужие вещи. На одном чемодане инициалы: Э. В. К. К. Понятно: Комаровская. Но Э. – что за имя? Такого русского женского имени нет…

Внезапно я чувствую, что за моей спиной кто-то стоит. Я оборачиваюсь. На пороге каюты – женщина.

У нее приятное, даже красивое лицо. Она блондинка. Светлые глаза смотрят на меня недоброжелательно, даже враждебно. Я делаю нерешительный полупоклон. Она отвечает кивком.

– Вы мой спутник? – говорит она по-английски.

– Если вы едете в этой каюте…

– Да, в этой каюте. Вы англичанин?

– Русский. Инженер Серошевский.

– Ах, русский? – переходит она на русский язык. – Это приятно. Я тоже русская, – она улыбается, отчего все ее лицо освещается точно лучом солнца. – Я заказывала одноместное купе, но на этом отвратительном пароходе таких купе нет.

Странный, едва заметный акцент… что-то нерусское в лице…Я настораживаюсь. Кто она, эта блондинка? Я должен быть начеку.

– Вы не русская, – говорю я неуверенно.

– Почему вы думаете?

– Случайно… от стюарта… я узнал вашу фамилию – Комаровская. Но меня смущает буква Э. на вашем чемодане. Такого русского женского имени нет.

– Вы очень наблюдательны, – иронически говорит она. – Меня зовут Эмилия Викторовна. По происхождению я немка… из прибалтийских. Мой муж – русский доктор. Впрочем, мы успеем познакомиться потом. Помогите мне снять вещи.

Немка! Гм… Но думать некогда: нужно помочь даме.

Я помогаю ей устроиться. Она держится со мной очень просто и свободно, как со старым знакомым. Враждебность в ее глазах исчезла.

– Куда вы едете? – спрашивает она.

– В Петербург.

– А-а, я тоже. Значит, попутчики. Это очень приятно.

И тут случилось, что во мне вдруг вспыхнуло подозрение… недоверие к этой случайной спутнице.

Я отвернулся от нее и случайно взглянул в небольшое бритвенное зеркало, которое только что повесил на медный крючок над своей койкой. В нем отразилось лицо спутницы, которая стояла сбоку, за моей спиной. В ее глазах, в выражении ее лица вдруг появилась какая-то странная, острая напряженность. Она точно пронизывала мою спину тяжелым, я бы сказал, сатанинским взглядом. Пыталась что-то быстро обдумать, сообразить. Это было мгновенное впечатление, потому что я сейчас же повернулся к ней. Но ее лицо стало снова равнодушно-любезным. Она села на койку и раскрыла книгу. На яркой обложке чернела фамилия английской писательницы.

Инстинктивным движением руки я проверил на мне ли еще драгоценный пакет. Неожиданно и сразу во мне окрепла мысль, что передо мной шпионка. Это настороженное, злое лицо. Острые буравящие глаза, эта притворная любезность…

О, милая моя, ты меня не проведешь! Твоя ловкость и хитрость не помогут тебе, златокудрая немочка! Мы еще потягаемся!

* * *

Мы в открытом море. Туман к вечеру рассеялся, но небо серое и холодное. На горизонте стальные тучи сливаются со стальным морем. Раза два-три, пока еще не скрылись берега Англии, мы видели на горизонте строгие силуэты военных судов. Это верные британские часовые.

После завтрака в кают-компании, где мы сидели рядом под номером 29, я и Эмилия Викторовна вышли на палубу. Мы сидим и разговариваем. Вернее, говорю я. Она предпочитает молчать.

Седые валы колотят наш пароход. Его качает отчаянно. Соленые брызги долетают до палубы.

– Хорошо! – говорит Эмилия Викторовна, и я вижу, с каким наслаждением она вдыхает морской воздух. Качка на нее абсолютно не действует. В глазах – холодное спокойствие и воля.

«Да, из таких и нужно набирать шпионок», – отмечаю я все время в своем мозгу, и сразу же является другая мысль: «Какое обвинение я могу предъявить этой женщине? Почему, на чем основана моя уверенность, что она – шпионка? Не знаю… но чувствую, чувствую…»

На пароходе какое-то волнение. Все бегут к правому борту и смотрят в одну точку. Короткая, встревоженная команда. Я смотрю в море. Темно-серая полоска колышется в полуверсте.

– Подводная лодка! – кричит кто-то истерически.

Бегут матросы. Пароход начинает делать зигзагообразные скачки – вправо-влево, вправо-влево. Это чтобы затруднить попадание миной.

Общая команда:

– Все наверх!

Перепуганных, бестолковых пассажиров разделяют на группы; каждую группу направляют к своей шлюпке. Матросы приготовляют шлюпки к спуску.

Короткие драмы: мужа разлучили с женой, мать – с дочерью, отца – с сыном. Офицеры бледны, решительны, грубы. Непокорных крепко толкают в спины, в шеи…

Я и Эмилия Викторовна становимся около одной из шлюпок. Я смотрю на спокойное лицо женщины. Поразительное хладнокровие! Ни капли волнения в глазах, в складке губ. Да… из таких создают шпионок!

И в ту минуту, когда паника на нашем пароходе достигла апогея, когда плач, крики, истерические вопли создали картину Дантова ада, на темно-серой полоске показался крошечный человечек и развернул на палке большое полотнище.

Это был британский флаг.

Приветственный гул сменил истерику. Лица заулыбались. В глазах заблестело счастье. Все приветственно замахали носовыми платками, зонтиками, шляпами.

Человечек скрылся. А через мгновение лодка стала быстро погружаться и ушла в воду.

* * *

Я не могу спать… Несмотря на все мои просьбы, мне не дали другой каюты: их нет.

Ночь… Ночь в этой душной каюте, под мрачную качку… наедине с этой женщиной, которая внушает мне страх.

С ее койки несется спокойное дыхание. Спит. Спокойно спит. А может быть, притворяется… ждет момента, чтобы сделать свое дело? Что

сделать? Что она может сделать?

На минуту мне становится смешно. Я – здоровый, крепкий мужчина. Как она может взять у меня тот пакет, который у меня на груди? Наконец, если даже она и возьмет пакет, когда я сплю, – куда она скроется с парохода?

Потом пришли другие мысли, поползло в голову все то, что я знаю и учил о шпионах: снотворные средства, яды, фотографические аппараты, которые можно спрятать даже во рту и т. д., и т. д.

Она – эта женщина – может взять пакет, прочесть и запомнить его содержание; наконец, сфотографировать документы.

Хорошо, что мне предстоит только одна ночь на этом пароходе. Я не должен спать! Я не имею права спать!

И когда я решил это, я мгновенно… заснул, точно провалился в черную бездну…

Кошмар душил меня. Кто-то старался вырвать у меня драгоценный пакет, я сопротивлялся, что-то кричал о подводных лодках, о прорыве в Балтийское море.

Я проснулся с криком:

– Шпионы! Шпионы!

И первое, что я увидел, была Эмилия Викторовна. Совершенно одетая, она сидела на своей койке и смотрела на меня. В иллюминатор шел серый свет раннего утра. Я проспал, видимо, несколько часов.

И снова – на мгновенье, на секунду – я увидел настороженный, острый, странный взгляд. Я приподнялся на койке. Взгляд женщины стал любезно-встревоженным.

– Вы больны?

– Я? Нет!.. Почему вы так решили?

– Вы бредили… кричали. Вы все время хватались за грудь, точно у вас что-то спрятано под рубашкой.

– Что… что я кричал?

– Так… что-то непонятное…

Я вижу, что она лжет. Слишком быстро она отвела глаза.

«Шпионка! Шпионка!», – остро сверлит голову навязчивая мысль. Осторожно я прикасаюсь к груди: пакет цел.

* * *

Когда мы высадились в Берлине, я позорно сбежал от Эмилии Викторовны. Я испугался, что мне придется быть ее попутчиком до самой финляндской границы, если эта женщина действительно едет в Петербург, а не морочит мне голову.

Прямо из порта я уехал на вокзал и сел в экспресс, уходящий в Христианию. Я попал в пустое четырехместное купе и почувствовал

блаженство, когда остался один: после того, что произошло, я боялся людей еще больше, я боялся разболтать во сне, что вот – у меня на груди находится драгоценный пакет.

Мимо окна несутся назад скалистые вершины, густой хвойный лес, озера. Живописная, прекрасная Норвегия! Я наслаждаюсь, впиваю в себя эти суровые, величественные пейзажи.

Резко скрипит дверь купе. Я оборачиваюсь – светлые, холодные глаза пронзительно смотрят на меня. Потом суровое выражение сменяется улыбкой.

– Господин Серошевский, – говорит Эмилия Викторовна, – вы сбежали от меня? Невежливо! Я искала вас по всему поезду.

Я вскакиваю, бормочу в свое оправдание что-то несуразное: потерялся в сутолоке, искал, не мог найти…

– Я устроюсь здесь, – говорит она решительно. – Вы ничего не имеете против?

– Ах… что вы!

Проводник приносит ее вещи из другого конца вагона. Точно во сне, внутренне встревоженный и растерянный, помогаю ей, расставляю, укладываю и развешиваю ее вещи.

«Преследование… твердо намеченный план…шпионка, несомненная шпионка!», – проносятся в голове колющие мысли.

– Ну, вот, – говорит Эмилия Викторовна и усаживается напротив меня. – Итак, вам не удалось от меня удрать. Бедненький!..

Она смеется, но в ее глазах я читаю острую настороженность и еще что-то – точно угрозу.

– В такое время как сейчас, – продолжает она, – когда война сделала нравы более грубыми, слабая женщина инстинктивно ищет защиты мужчины. Я – не исключение. И поэтому я так неприятно назойлива. Ведь верно?

Я рассыпаюсь в любезностях.

– Ну, конечно, конечно… – небрежно прерывает она меня. – Конечно, вам ничего, кроме удовольствия, мое присутствие не доставляет. Вежливая фраза, которую я так часто слышала от людей вашей профессии. Моряки – самые любезные в мире люди.

– Моряки? – поднимаю я удивленно брови. – Но я инженер…

– Не втирайте мне очки! – нагло смотрит она мне в глаза и смеется. – Я не принадлежу к тому типу людей, которых можно водить за нос. Вы не моряк? А ваша походка?! А татуировка на правой руке! А типичный морской загар! А ваши морские объяснения, которые вы мне делали на «Плимуте» относительно секстанта!..

– Уверяю вас, вы ошибаетесь! – говорю я. – Секстант – инструмент, о котором каждый инженер должен иметь представление. Я – инженер,

следовательно…

– Ну, хорошо. Оставим эту тему. Я согласна, что ошиблась. Но должна сознаться, что все время считала вас моряком… Морским офицером…

В глазах насмешливый огонек. Чтоб ты провалилась, ведьма немецкая!

* * *

Я не сплю. Я поклялся, что не буду спать, пока не окажусь в полной безопасности.

В купе полутемно: светит лишь ночник, завешанный зеленой занавеской. Уютно стучат колеса вагона.

Я не сплю. Полузакрыв глаза, я слежу за женщиной, которая лежит напротив меня и, вероятно, тоже следит за мной из-под полуопущенных ресниц.

Вот, как будто пошевелилась… приподнимается. Мои нервы готовы лопнуть от напряжения. Но, нет… она снова притихла.

Через полчаса – такая же история: пошевелилась, кажется, открыла глаза. И снова спит. И так – всю ночь…

* * *

И еще одна ночь проходит… Я не могу. Я обессилил. Все богатства мира я готов отдать за сон!..

* * *

Гепаранда… Торнео…

Мы – в России. Слава богу! Поезд подкатывает к перрону, который оцеплен солдатами. Милые финляндские стрелочки.

Мы сидим с Эмилией Викторовной в купе и ждем опроса. Я смотрю на нее, и меня снова восхищает ее спокойствие. Я убежден, что она шпионка. Правда, так как она и не пыталась подобраться к моему пакету, но это, вероятно, только потому, что я был до конца бдителен. Но она все-таки шпионка. Я чувствую это. И потому я восхищен ее спокойствием; ведь она в стране врагов, каждую минуту ее могут разоблачить и арестовать…

Зачем она рискнула ехать в Россию? Какой план сидит в ее смелой головке?

Входит жандармский офицер и человек в штатском – должно быть, из военной контрразведки.

– Ваши документы.

Эмилия Викторовна протягивает им паспорт и, не глядя на меня, спокойно говорит:

– А этого господина я прошу арестовать… Я слежу за ним от самого Гуля. Я уверена, что он – шпион.

Точно небо и земля обрушились на меня. Я вскакиваю и вижу – в

руках штатского револьвер. Жандарм проводит руками по моему пальто – нет ли оружия.

– Следуйте за нами! – говорит жандарм.

– Задержите и ее! – исступленно кричу я. – Она – шпионка!

– Да, – спокойно улыбается Эмилия Викторовна. – Я – шпионка.

Меня уводят. Ровно через десять минут жандарм и контрразведчик рассыпаются передо мной в извинениях и возвращают документы. Я выражаю гневный протест. Вместо ответа жандарм протягивает мне телеграмму. Латинскими буквами написано по-русски:

«Со мной едет товар. Прошу встретить. Эрма Лодис».

– На условном языке, – пояснил жандарм, – это значит, что наш агент выследил германского шпиона и просит его арестовать.

– Кто же этот ваш агент? – начиная догадываться, спросил я.

– Та дама, которая ехала с вами. Это наш самый ценный сотрудник, прибалтийская немка, Эрма Лодис.

Я пробормотал ругательство и вышел на улицу.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1930. № 41. С. 1-11.

ОБ АРТИСТКЕ ЗЫРЯНОВОЙ, О БОМБАХ В СТАНЦИЮ БУХЕДУ, О ЛАШЕВИЧЕ И СОВЕТСКОЙ ДАМЕ, О КОСТЕ ЗУБОВЕ И О ТОМ, КАК ОСТРОУМОВ ПРИКАЗЫВАЛ РАСТИ ТРАВЕ И ЦВЕТАМ

Шесть отрывков из нового романа

1

Любовь свободна, мир чарует,
Законов всех она сильней…
Меня не любишь, но люблю я, –
Так берегись любви моей!

Кармен – коронная роль артистки Зыряновой. Чудом перенесенная из диких ущелий Сиерры де Гвадаррама в снежные просторы далекой Маньчжурии, ослепительная цыганка так же нежно и бурно любит, страдает, чарует, сводит с ума, как и у себя на родине, в пылающей солнцем Испании. Завораживает низкий, необыкновенного металлического тембра, полный огня голос Зыряновой. И вся она – огненная, подвижная, непостоянная, капризная, кокетливая, как яркий, экзотический цветок, словно черно-желтый порхающий по сцене махаон: черная юбка, желтая кофточка, желтая роза в иссиня-черных, небрежно взбитых волосах.

Меня не любишь, но люблю я, –
Так берегись любви моей.

И кумир харбинок тех далеких времен темпераментный тенор Оржельский ревнивыми, безумными, влюбленными глазами дона Хозе следит, как, сверкая белыми зубами, позвякивая браслетами, пощелкивая кастаньетами, плетет вокруг него паутину любви, коварства и измены эта работница с табачной фабрики, вдруг ставшая для него царицей из волшебного, сверкающего царства.

Артисты увлечены, они завораживают своим темпераментом, они заворожены сами. В зале Нового театра, переполненном, набитом тысячами бледных в темноте лиц, абсолютная, удивительная тишина.

И, словно не маньчжурский мороз за стенами, не харбинские, белые от только что выпавшего, еще чистого снега улицы, а жаркое, золотое солнце Старой Кастилии, густо синее, тяжелое небо, напоенные сладкой, хмельной влагой виноградники, пестрый лагерь оборванных контрабандистов, томное, страстное гудение гитары, похожее на любовное бормотание шмеля.

И перед вечно живой, вечно юной сказкой о любви, о ревности, о страсти вдруг уходят, тают, расплываются старые будни, заботы, думы о страшных днях, воспоминания о недавно пережитом, о кровавой борьбе в сибирских просторах, о горечи поражения, о потере многих, многих дорогих людей. Вся эта тысячная толпа, сидящая в театре, замершая, завороженно следящая за каждым движением Кармен, еще недавно, совсем недавно – два года тому назад – уходила, ощеряясь, огрызаясь, нанося короткие, яростные, отчаянные удары наступающему, беспощадному врагу. Уходила на восток – туда, где грезилось спасение, где можно было отдохнуть, залечить раны, собраться с силами и снова броситься на борьбу.

Эти мужчины были одеты тогда в хаки, сжимали винтовки, шли по снежным сибирским равнинам, по свирепой, звенящей от мороза тайге, падали от голода, холода, истощения, ран, тифа, снова поднимались и, скрипя зубами, шли, шли вперед – к спасению, к жизни, к лучшему будущему, которое они хотели найти на востоке.

Эти женщины, многие из которых одеты теперь уже снова хорошо, тогда, два года тому назад, брели со своими мужьями, братьями, отцами по тайге, оборванные, страшные, похожие на трупы, ехали в санях и на телегах, переполняли теплушки. Они ухаживали за ранеными, тифозными, обмороженными, они кормили на привалах своих мужей теми немудреными продуктами, которые удавалось достать по сторонам великого сибирского пути в разоренных яростной борьбой деревнях. И часто – о, как часто! – они хоронили – наспех, кое-как – в ледяных и снежных могилах своих детей, своих мужей, отцов, братьев. И многих,

многих из них, из этих женщин, засыпали снегом в тех же сибирских просторах, и многих, многих из них выбрасывали настигнувшие большевики из холодных теплушек – уже замерзших, уже превращенных морозом в звенящие от удара трупы со стеклянными, открытыми, скорбными глазами.

Но те, кто вышел из этого ада, из ледяных тисков мороза, кто вспоминал о пройденном страшном пути, как о дурном сне, те хотели теперь жить, жить, жить во что бы то ни стало, закаленные борьбой, посмеявшиеся над смертью, случайно вытянувшие счастливый билетик в трагической лотерее 1920-го года.

Вот почему молчали все они в театре, жадно слушали низкий, страстный голос Зыряновой, следили за муками дона Хозе: знойной сказкой и звоном гитар тушили воспоминания о ледяных ночах в жестокой, угрюмой, мохнатой тайге, сушили сочащуюся еще кровь из ран, гнали смертельную тоску по разбросанным по страшному пути дорогим могилам.

Полунин сидел в круглом амфитеатре этого странного харбинского театра, переделанного из цирка, и так же, как и многие, многие в этом зале, гнал страшные воспоминания. Все в прошлом. Но не забыть этого прошлого…

…Вокзал в Благовещенске, снежная пурга, бьющая в лицо, мешающая стрелять по наступающему врагу.

– Не позволяй им вставать! – кричит Полунину поручик Гурьев и показывает на лежащие цепи красных.

И Полунин поливает из пулеметов большевиков свинцовым дождем, чувствуя, что, если встанут они, бросятся вперед толпой, то всем, кто на вокзале, – конец! Потом ранение, госпиталь, появление солдата с красной повязкой:

– Граждане! Не бойтесь! Никто вас бить не будет!

Бегство в Сахалян, потом возвращение в Благовещенск с Амурским отрядом. «Земское» правление социалиста Алексеевского, затем представитель атамана Семенова Шемелин, потом «уполномоченный по охране государственного порядка и общественного спокойствия в Амурской области» полковник Томилко, потом – атаман Кузнецов. Потом …потом – снова бегство в спасительный Сахалян на китайском берегу Амура. Убийство красными отца, отъезд в Харбин. И вот два года в Харбине. Два года – тяжелых, полных разочарований, лишений, нужды, иногда даже голода…

…Меня не любишь, но люблю я, –
Так берегись любви моей!

Там на сцене в жаркой Испании нарастает гроза. Как метеор, проносится со своей арией артист Торгуд – Торреодор. Потом – заключительная сцена, когда разъяренный, ослепленный ревностью, огнедышащий Оржельский носится по сцене за Кармен, грубо хватает ее, дергает и бросает на декорации.

А потом после спектакля, смывая грим, смиренно просит прощения у разгневанной Зыряновой за синяки на ее руках и плечах. Был лют в игре и однажды растянул сухожилия, и чуть не сломал ногу, когда в «Борисе Годунове» в роли Самозванца выпрыгнул бешеным скачком из окна корчмы.

2

В редакции было больше, чем обычно, суеты, торопливости, деловитого стука машинок: только что получили телеграмму о занятии красными станции Маньчжурия, о поражении китайских войск, попавших в кольцо, и о быстром продвижении советской армии на восток, в направлении Харбина.

В городе была страшная паника. Слухи, один другого ужаснее, распространялись мгновенно. Говорили, что на эту ночь в Харбине назначено восстание большевиков, что эмигранты будут перерезаны. Говорили, что красная кавалерия сделала огромный пробег от станции Пограничная, вышла на южную линию КВЖД и что, таким образом, бежать эмигрантам некуда.

Полунин едва успевал отвечать на телефонные запросы по поводу этих слухов. Он успокаивал, отрицал достоверность слухов, злился, ругался, совершенно охрип. Сотрудники уходили, приходили, уезжали в автомобилях на вокзал, в полицию, в управление и правление КВЖД, поминутно приносили достоверные и вздорные новости.

С санитарным поездом приехал и прямо с вокзала прилетел на автомобиле сотрудник Колпаков, осунувшийся, бледный, перемазанный в угле. Он был послан редакцией на задание в сторону станции Маньчжурия, но до нее не доехал, попав под бомбы с советских аэропланов на станции Бухэду. Все окружили Колпакова:

– Ну что? Ну как?

– Плохо! Как налетели, начали сыпать бомбами!.. Я в это время иду около вокзала, разговариваю с доктором Филипповым… – знаете, железнодорожный врач? В это время гул аэропланов. Смотрю – видимо-невидимо… штук тридцать, наверно! Я кричу доктору: «Мы на открытом месте… бежим, доктор!». Бросились бежать. Доктор-то старик… задыхается… у него сердце больное. Говорит мне: «Бомбой-то, может быть, еще не убьет, а вот если я буду бежать, то обязательно умру… сердце лопнет. Поэтому, дорогой, вы удирайте, а я постою! Авось и ничего».

Чувствуя себя героем дня, Колпаков картинно рассказывал, как рвались вокруг него бомбы, какая поднялась паника, как валились убитые. Окружающие слушали Колпакова разинув рты, хотя отлично понимали, что Колпаков наполовину врет. Сотрудник Педашенко, кроткий и перепуганный, поминутно роняя пенсне от волнения, бормотал:

– Вот, а говорят, что у большевиков плохие аэропланы, что они летать не умеют. Вот видите… сюда прилетят… вот видите!..

– Н-да, – цедил Колпаков. – Натерпелся я страху в Бухэду. Вижу, куда уж там на запад: нужно ноги уносить. Сел в первый попавшийся поезд и – обратно в Харбин. По дороге разговариваю с китайцем: «Как же, – говорю, – вы с большевиками вздумали воевать: у вас и аэропланов-то нету». – «Юдыш-ю! Шибко много! – отвечает. – В Мукедене ю. Наша тележка шибко много есть, наша извозчика нету, мию!..». Сначала ничего не понял, а потом сообразил, что тележками он называет аппараты, а извозчиками летчиков.

Все засмеялись, хотя знали, что Колпаков врет, ибо этот анекдот был выдуман в Харбине, и никакой китаец Колпакову этого говорить не мог.

– Ну, Колпаков, – сказал Полунин, – садитесь-ка за машинку. Описывайте свои приключения. Еще успеем дать в сегодняшний номер. Красок не жалейте – чтобы сочно было.

В самый разгар работы, когда стук машинок походил на пулеметную трескотню, когда Полунин разрывался на части между редакцией, типографией и телефонами, вошел, не торопясь, как всегда немного сонный и вялый, с прозрачными глазами поэт Смелов. Посмотрел на суету, послушал разговоры и промямлил Полунину:

– Послушай Саша. Брось ты всю эту муру! Без тебя сделают. Ну, война, война – не видал что ли? Брось! Пойдем к Гидуляну. У него уха – пальчики оближешь. Пошли, а? Рюмку холодной?

Полунин только отмахнулся, правя телеграммы, едва устояв пред искушением действительно бросить все и пойти со Смеловым. Такие встречи с ним были всегда интересны.

3

В харбинских ресторанах, в харбинских кабаках, в театрах, в кино, в частных домах встречались враги – смертельные, непримиримые враги, враги навсегда, навеки, до «последнего, решительного боя».

Так сложилась судьба, так сложилась история этого удивительного города, что он приютил и белых, и красных. Приглядываясь, изучая друг друга, иногда даже мило друг другу улыбаясь, встречались люди, которые отлично знали, что при других обстоятельствах, в других условиях этот мило улыбающийся встречный перегрызет горло. Нигде в мире, только в Харбине так просто, так мирно не встречались враги, которые не так давно

– всего за несколько лет до этого – расстреливали друг друга в тайге, не знали, что такое пощада к поверженному врагу.

Это было ненормальное, дикое положение, но оно было; обстоятельства, жизнь на чужой территории, общее политическое положение узаконивали этот харбинский быт.

Полунин года за полтора до этого сидел в «Модерне» на каком-то балу: как окруженный крупными экспортерами и их дамами, а также тремя-четырьмя чекистами, восседал за богатым столом Лашевич, бывший красный командарм, сосланный в Маньчжурию оппозиционер, троцкист, – и думал: «Как это может быть, чтобы в одном зале сидели, весело смеялись, пили водку и фокстротили красный комиссар и сидевшие около него чекисты, и царские полковники, несколько белых офицеров, общественные деятели-антибольшевики. Что это? Падение, безразличие, конец борьбы?». Полунин смотрел на Лашевича, вспоминал, что рассказывали о его зверствах во время гражданской войны, и думал: «Что же мешает мне подойти сейчас к нему и раскроить ему голову вот той бутылкой с шампанским, которую он держит в руке, мило улыбаясь своей соседке?»

Но что-то удерживало – выпитая водка, улыбки соседок, томный фокстрот, а еще больше – российская мягкотелость, вялость.

Полунин встретил как-то в «Фантазии» соученика по гимназии, которого не видел больше десяти лет. Бросились друг к другу, обнялись, поцеловались.

– По рюмке водки?

– Непременно! Ну, как, Паша?

– А ты, Костя?

Сели, выпили. Весело, перебивая друг друга, вспоминали математика Корсака, который больше возился с голубями, чем с теоремами, вспомнили латиниста Данилова, который не знающему урок ученику советовал «почесать левой ногой за правым ухом», что было, по его мнению, лучшим способом вспомнить заданное. Вспомнили милейшего Путяцо, который предпочитал читать в классе Чехова, чем диктовать никому ненужные экстемпорале.

Долго говорили – всего не вспомнишь, что было в счастливые годы детства, когда не было ни революции, ни озверения, ни кровавой российской мясорубки.

– А где Ланин?

– Ланин? – нахмурился Полунин. – Замучили чекисты в Красноярске. Понимаешь, эта красная сволочь…

И осекся… Вдруг увидел помрачневшее лицо и судорожно дрогнувшие губы. Что-то молнией сверкнуло между их глазами.

– А ты… ты что делаешь сейчас?

– Я? Заведующий редакцией газеты «Сигнал». Знаешь?

– А! Знаю, знаю… Ты ведь, кажется, офицером был?

– Да, был. А ты что делаешь в Харбине?

– Я на КВЖД.

– У них?

– Ну конечно! Я – партийный.

Кривая улыбка у обоих. Заплатили по счету. Встали. Подавать ли руку? Подали. Во имя далекого прошлого, во имя тех дней, когда еще не были врагами и кровь не стояла между ними.

– Прощай!

– Прощай…

4

Полунин сидел в редакционном кабинете, когда ему сказали, что его хочет видеть дама. Вошла явно взволнованная женщина, хорошо одетая, скромная, хорошенькая, с умеренной косметикой.

– Садитесь. Чем могу служить?

Дама растерянно улыбнулась, умоляюще посмотрела на Полунина.

– Видите ли… обстоятельства необыкновенные привели меня сюда. Я надеюсь… я верю, что вы – джентльмен и никогда никому не скажете об этом случае. Видите ли, я – жена…

Она назвала известную в городе фамилию советского консульского чиновника. Полунин с изумлением уставился в испуганные глаза дамы.

– Я слушаю вас…

– Видите ли… я знаю вашу газету, иногда даже читаю ее. Я знаю, что ваша газета белая… Ах, как вам все это объяснить? Не думайте, пожалуйста, что я сумасшедшая…

– Да вы не смущайтесь, мадам. Говорите. Вы можете быть спокойны, что никто ничего не узнает.

– Так вот… я очень несчастна в семейной жизни. Пока мы жили в СССР, мой муж был под опекой партии… Вы знаете, у нас это очень строго. Но как только он попал в Харбин, он словно с цепи сорвался. Здесь все есть, так дешево, так доступно… Он не вылезает из кабаков, он пьянствует, он изменяет мне… я почти не вижу его дома…

– Мадам, я не вижу, какое это может иметь отношение к нашей газете, чем мы можем вам помочь…

– Вы сейчас поймете и увидите, что помочь можете. Я знаю, что вам это покажется бредом. Но у меня нет другого выхода. Я умоляю вас!.. Понимаете… если вы напишете в своей газете про его похождения, то местные партийные представители обратят внимание на это и отправят мужа в СССР. Вы понимаете… белая газета разоблачает похождения служащего советского консульства, видного партийного работника… Ведь это сенсация для вас! Я дам вам письма его любовниц, его ответы им… Я

иду на все! Я умоляю вас! Вы можете вернуть мне мужа…

– Сударыня… я, право, не знаю, что сказать вам. Такие разоблачения интимного свойства – вовсе не наша задача…

– Как не ваша задача? Ведь вы боретесь с нами, ваша газета должна разоблачать, показывать всему миру советские недостатки. Что же может быть лучше того материала, который я вам предлагаю?

«Что сказать ей? Как отделаться от нее? А вдруг провокация?», – растерянно думал Полунин.

– Видите ли, сударыня. Раз мы боремся с советской властью, то нам выгоднее, чтобы этот процесс разложения продолжался, усиливался. Так что с точки зрения, на которую вы указали, нам выгоднее, чтобы ваш муж продолжал образ жизни, о котором вы говорите. Разоблачения могут отрезвить его, то есть снова сделать его нашим опасным врагом. Зачем же нам это?.. Кроме того, раз уж вы так откровенны и готовы доверить нашей газете свою судьбу, то я должен сказать, что вы на опасной дороге… Нам известно, что большевистский партийный аппарат очень строг к таким разлагающимся, как ваш муж. Вы сами только что говорили, что в СССР за это по головке не погладят. Вспомните случай с вашим консулом Леграном и балериной Саханович. А потому – как бы вам не погубить своего мужа…

– Вы думаете, что это опасно?

– Конечно! Очень опасно.

Дама потерянно посмотрела на Полунина.

– Вы знаете… я как-то не подумала… Пожалуй, вы правы. Я сейчас вспомнила еще несколько примеров… трагических примеров…

Она встала, благодарно посмотрела на Полунина.

– Спасибо! Кажется, я чуть было не сделала большой глупости. Спасибо!

Она протянула Полунину руку. Он мгновение поколебался, но потом пожал ее пахнувшие духами пальцы.

5

Артист Зубов перед своим отъездом в СССР поставил в Новом театре советскую пьесу «Стенька Разин», надеясь заслужить благоприятные референции от харбинских большевиков для будущей пролетарской карьеры в Москве.

Полунин пошел посмотреть пьесу. Зубова харбинцы любили, и Новый театр переполняла шумная, галдящая толпа. Настроение было приподнятое. В театре было примерно поровну сторонников и противников возвращения Зубова в Россию. Споры, перебранки, даже скандалы происходили в каждом антракте.

Пьеса оказалась безвкусной, грубой стряпней, советской агиткой, рассчитанной на абсолютный примитив. Стенька Разин походил на

митингового большевистского оратора с дикими выкриками по адресу царей, дворянства, офицеров, с ходульными фразами, фальшивыми позами.

Полунин ежился от жгучего стыда за талантливого актера, который выламывался на сцене и свой чудесный дар, свою душу выворачивал наизнанку, чтобы доказать свою «солидарность» с новыми хозяевами.

– Как ему не стыдно! – услышал Полунин рядом с собой горячий молодой голос, когда Зубов с пафосом отпустил очередную, сугубо базарную плоскость.

– Что, не ндравится? – подал реплику другой голос. – Не ндравится, когда правду говорят?

– А ты, хамье, не лезь ко мне со своими вопросами!

– А! Белогвардейский щенок!

– Красная сволочь!

Соседи шикали, разнимали готовых подраться парней. Зубову аплодировали красные, шикали белые, в театре стоял шум, ругань, свист. Этот шум превратился в рев, когда перед последним актом к рампе стали подходить ораторы, чтобы передать Зубову, стоявшему на сцене и сильно взволнованному, последнее прости харбинцев, речи были от артистов, от рабочих, от отдельных лиц. Вдруг Полунин увидел Малова, своего соседа по парте на юрфаке, энергично пробиравшегося к сцене. Громко, раздельно, уверенно он сказал Зубову:

– Ты слышал здесь, дорогой Костя Зубов, в течение вот уже получаса много лжи и фальшивой радости по поводу твоего решения уехать в Москву. Скажу тебе дорогой Костя, другое – от своего имени и от имени многих, многих тысяч харбинцев. Мы любим тебя за твой великий талант, и нам очень горько, что ты едешь в Москву метать бисер перед свиньями. Но это дело твое: хочешь пресмыкаться перед убийцами России – пресмыкайся. Все же ради твоего таланта мы готовы простить тебе все. И мы верим, дорогой Костя, что увидим тебя снова – конечно, на сцене. Но на сцене не советской, а императорской.

Аплодисменты, рев восторга, рев гнева, свист, топание, ругательства, крики «браво» проводили Малова. Только, когда полиция заявила, что прекратит спектакль, публика успокоилась. Несколько драк и протоколов завершили проводы Зубова.

Выйдя из театра, Полунин увидел Малова, окруженного рослыми молодыми людьми, одетыми в черные косоворотки с открытой грудью и в черные брюки клеш. Желтые канты и желтые шнуры завершали этот наряд «мушкетеров».

– Вот, вызвались охранять меня! – широко улыбнулся Малов. – Мы, говорят, боимся, что проломят вам голову после вашего выступления.

– И очень просто! – деловито сказал один из юношей постарше,

видимо, начальник.

– Вы здесь товарищей не знаете. Тяпнут из за угла – и след простыл…

– Знать-то мы их знаем, дорогой, и лучше вас: в чистом поле не раз встречались, – похлопал Малов юношу по плечу. – Но все равно, спасибо, ребятки! Только меня не провожайте. У меня здесь машина. Я сейчас в Новый город укачу – пускай догоняют. Полунин, хотите, довезу: вы на Строительной живете?

6

Григоренко приходил со службы веселый, жизнерадостный, сияющий, целовал жену, целовал детей и своим тоненьким голоском, давясь от смеха, рассказывал железнодорожные новости:

– Борис Васильевич-то, Остроумов, какую шутку отколол!.. Приезжает в Чжаланьтунь. А там перед вокзалом сквер, клумбы. Приезжает, а на клумбах – ни цветка, ни травинки. «Н» кричит: «Позвать ко мне начальника участка!». Прибегает инженер, начальник участка. «Это что же такое? – кричит Остроумов. – Июнь-месяц на носу, скоро дачники приедут, а у вас ни цветочка, ни травинки! А?». – «Да дожди, Борис Васильевич, солнца нету». – «Солнца? Вот, дорогой мой: я еду сейчас на восточную линию, пробуду там две недели; когда приеду сюда, чтобы была трава и все прочее». Инженер сейчас же по телеграфу – в Харбин. Прислали какого-то немца-садовника или чеха. Высокий спец! Нагнали китайцев-рабочих. Что-то копают, возят землю, поливают, ночью при фонарях работают… Через две недели Остроумов приехал: красота – изумрудная травка, цветочки разные!.. Вот это «Н»! Одно слово – и трава из земли лезет! Увидел железнодорожный дом с облупившейся краской на крыше. «Проржавеет! Погибнет! Казенного добра не жалеете!». Он шел куда-то на обед. Когда возвращался, то снова посмотрел на крышу и улыбнулся: она блестела и играла на солнце свеженькой краской. Пока он обедал, нагнали маляров и покрасили крышу…

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1940. № 31. С. 1-2, 4, 6-8.

ШАНХАЙЦЫ
(Отрывок из романа)

Часть 1. Японцы на пороге Шанхая

Черная пятница

В этот день – 14 августа 1937 года – был взволнован, потрясен и перепуган весь многомиллионный, интернациональный Шанхай, а вместе

с ним, понятно, и его микроскопическая часть – *бординг* Ангелины Мироновны Пушковой в доме, находящемся на рут Валлон, в самом центре русского расселения. Еще накануне, в пятницу 13-го, т. е. в «Черную пятницу» (по иностранному поверью, мрачный день, ибо пятница и 13-е число – роковое совпадение), город был во власти панических слухов. Слухи родились в результате военных приготовлений китайцев и прихода японской эскадры, которая стала на реке Вампу. Флагманский корабль, крейсер «Идзумо», остановился против Банда – набережной, центральной и деловой части Шанхая. Город гудел, взволнованный и замирающий от ожидания и страха.

Это были те дни, когда опьяненная безнаказанностью всего того, что она проделывала в Китае и Маньчжурии, Япония протянула свои жадные руки и к Шанхаю. Этот огромный порт служил воротами в Китай и торговал со всем миром. Нужно было закрыть эти ворота, чтобы отрезать Китай от мира и продолжать осуществление того плана, который был задуман в тиши токийских кабинетов. Прыжок на материк с японских островов, освоение Китая, порабощение его, создание из него грандиозной японской военной и экономической базы – вот каков был этот план. Шаг за шагом японцы шли к своей цели – неумолимо, беспощадно, с холодной жестокостью. И, помня их по прошлому, зная по настоящему, мирное китайское население в панике бежало отовсюду, где появлялся флаг страны Восходящего Солнца. Та же картина ужаса перед нашествием беспощадного врага была и в Шанхае.

Улицы иностранного Шанхая – французской концессии и Международного сеттльмента – были наводнены десятками тысяч китайских беженцев из Чапея и Хонкью – тех районов города, которые неизбежно должны были стать ареной будущих боев, если судьба не отвела бы занесенного над ними меча войны. У беженцев был отчаянный вид, они были растеряны, перепуганы. Глядя на них, русские эмигранты (постарше годами) вспоминали годы Великой войны, когда таким же потоком текли по бескрайним дорогам несчастные жители Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии, спасаясь от врага, от немцев, вглубь России, навстречу неведомой судьбе. Китайцы-беженцы растекались по всему Шанхаю, а большинство их покидали город, разъезжаясь по деревням. Тем не менее, плотность населения иностранных концессий возросла вдвое. На улицах кишела китайская толпа, тротуары были забиты сидящими и лежащими на циновках и на своем скарбе беженцами. Еще накануне на концессиях была объявлена мобилизация шанхайского Волонтерского корпуса и полиции. Русский полк, состоявший из молодых русских эмигрантов, – муниципальная сила, краса и гордость Шанхая – занял боевые позиции в тех местах, где могли разыграться бои: русскими телами предполагалось прикрыть спокойствие и безопасность делового, сытого, иностранного

Шанхая. Международный сеттльмент опоясался рядом блокгаузов и укреплений из мешков. В сторону Чапея – возможной арены боев китайцев с японцами - торчали пулеметные дула. У города был прифронтовой вид. В ночь на пятницу шумный, кипящий жизнью сеттльмент словно вымер. Грозное ожидание нависло над его улицами и домами. И вот, в «Черную пятницу», к вечеру, первый пушечный выстрел прокатился грозным эхом по всему Шанхаю. Завязалась артиллерийская дуэль – слабая и ленивая. Она длилась около четырех часов и стихла.

Такова была прелюдия к «Кровавой субботе», как было названо 14-е августа – день, который никогда не изгладится из памяти шанхайцев.

Шанхай – огромный город, пятый в мире по величине порт, целый мир. Но он – точка, пятнышко на карте Китая. А Китай – пятно на поверх ности земного шара. А земной шар – песчинка в мировом пространстве. Все относительно. В капле воды – целый мир, говорят биологи. Поэтому населенный пятнадцатью людьми – семью женщинами и восемью мужчинами – *бординг* Ангелины Мироновны, мадам Пушковой, по рут Валлон мы можем также объявить целым миром или хотя бы мирком. И если в упомянутую «Кровавую субботу» *бординг* мадам Пушковой был взволнован событиями в огромном городе, вероятно, больше всех остальных шанхайцев, то объяснение в том, что в этом мирке произошли вдобавок ко всем внешним событиям еще два внутреннего порядка, касающиеся только этого *бординга,* так сказать, «свои», «наши» события. Этими событиями были ранение обитательницы комнаты № 3 в *бординге,* Лолы – партнерши для танцев с улицы Чу-Пао-Сан, и появление в *бординге* новой обитательницы – двенадцатилетней девочки Тани, которая в этот страшный день потеряла свою мать и отчима. Эту девочку привез к своей жене обитатель комнаты № 8 в том же *бординге* – Александр Николаевич Купянский, в прошлом – полковник, а в настоящем – *вочман,* т. е. сторож. Ранение Лолы и появление в *бординге* Тани взволновали всех жильцов мадам Пушковой. Мы пользуемся случаем, чтобы перечислить их всех.

Итак, хозяйка *бордцнга* – Ангелина Мироновна Пушкова со своей дочерью Груней, обитающая в комнате № 1. Комната № 2 – фельдшер Иван Иванович Фоменко, его жена Анна Георгиевна. Комната № 3 – уже упоминавшаяся нами девица Лола. Комната № 4 – той же профессии девица Регина. Все это – первый этаж. Второй этаж (по-русски): комната № 5– присяжный поверенный Григорий Осипович Капустин и его жена, Елена Антоновна; комната № 6 – юноша Валентин Халчев, без определенных занятий, и молодой человек Вася Солод, приказчик из винно-гастрономического магазина; комната № 7 – бухгалтер Селезнев. Третий этаж: комната № 8 – полковник Купянский и его жена Вера Павловна; комната № 9 – их сын Михаил, и, наконец, комната № 10 – журналист Сергей Петрович Нежданов, сотрудник эмигрантской газеты

«Шанхайское утро». Шестнадцатая обитательница *бординга* мадам Пушковой – девочка Таня – появилась в квартире, как мы уже упоминали, только в «Кровавую субботу».

Рут Валлон

Рут Валлон – далеко не аристократическая улица Шанхая, и русский сноб или дама с претензиями, живущие на этой улице, никогда не признаются, что обитают на рут Валлон: это плохой тон. Мы знаем одну милую русскую барышню, которая говорила, что она живет в Гровенор-Хаузе (это, так сказать, аристократический небоскреб). Ее кавалер подвозил ее в машине к Гровенор-Хаузу, она входила во двор и ждала, когда автомобиль (или, по-шанхайски, *кар)* отъедет. Тогда, осторожно выглянув и убедившись, что кавалер уехал, барышня быстро перебегала авеню Жоффр и через Линда-Террас шествовала на рут Валлон в свой мрачный и далекий от аристократизма *бординг.* Не будем строго судить бедную барышню. Да будет этот маленький обман самым большим преступлением в ее дальнейшей – искренне пожелаем барышне – счастливой жизни.

Итак, рут Валлон – улица не аристократическая, даже очень далекая от подобных претензий. Но и на этой улице, заселенной, главным образом, русскими эмигрантами, есть свои деления на преуспевающих и неудачников на жизненном пути. В зависимости от этого и *бординги,* где обитают русские эмигранты, делятся в обывательском представлении на три класса: хорошие, средние и похожие на ночлежки. При самом тщательном и беспристрастном рассмотрении *бординг* мадам Пушковой на рут Валлон мы должны отнести к среднему классу: не то, чтобы хорошо, но и не совсем плохо. Крыша не всегда течет, есть ванна – одна на десять комнат, две кухни – одна на первом, вторая – на третьем этаже, есть две газовых плиты. Во всяком приличном (и даже неприличном) *бординге* должен быть *руф-гарден* – дословно «сад на крыше», а на самом деле – площадка, на которой могут быть не только цветы в горшках и кадках, но и (чаще) старые ящики, уголь, бутылки, рваная и поломанная мебель, битая посуда, тряпки и прочая дрянь. Часто здесь вешают белье на веревках, чтобы высушить его на солнце или на ветру. Вот почему шанхайские *бординги,* если посмотреть на их крышу снизу, поражают обилием красок: пузырятся и играют на солнце, переливаются радугой, слепят глаза красные, синие, зеленые, желтые, розовые рубашки, кофты, юбки и другие более сокровенные детали, главным образом, женского одеяния.

Именно здесь, как ни странно, среди поломанной мебели, среди развешанного грязного и чистого белья, старых ящиков, битых бутылок, мешков с углем, именно здесь, на *руф-гардене,* на крыше трехэтажного дома – *бординга* мадам Пушковой, и начинается действие этой книги. Если такое начало романа не смущает читателя, да последует он за нами на

крышу.

На крыше – как на фронте

В самом центре *руф-гардена* стоит большой продранный соломенный диван со спинкой. Вместо одной отломанной ножки поставлен ящик. На диване сидят четверо: журналист Нежданов, молодой человек – Вася Солод, две девицы – блондинка Лола и брюнетка Регина. Все четверо, задрав головы, смотрят в жаркое, усеянное облачками, голубое небо. Но небо покрыто не только облачками: в небе парит с десяток китайских аэропланов, появляются и тают шрапнельные дымки; в небе густой, зловещий гул аэропланных моторов и характерный треск разрывающихся снарядов. Душно, жарко, но никто жары не замечает: вытирая пот, слепящий глаза, все четверо жадно смотрят в небо. И не только здесь, на крыше *бординга* мадам Пушковой, смотрят в небо четыре пары глаз. Все крыши, все балконы и окна верхних этажей чернеют от десятков тысяч любопытствующих свидетелей невиданного зрелища – борьбы аэропланов с зенитными орудиями и артиллерией крейсера. В этот день мирный, беспечный, бездумный, веселый Шанхай познакомился с тем, что такое современная война.

Это было особенно странно, потому что город не был к этому подготовлен, население не понимало, что ему угрожает самая реальная опасность. Шанхайцы высыпали на улицы, облепили крыши, окна и балконы. В облаках реяли китайские аэропланы, по которым стреляли японские зенитные батареи, не подпускавшие врага к флагманскому кораблю «Идзумо», стоявшему на реке Вампу. Среди облаков рвались снаряды, по всем направлениям свистели шрапнельные и бронебойные пули, на улицах падали убитые и раненые прохожие, но крыши по-прежнему чернели от народа: зрелище было слишком остро, чтобы помнить об опасности.

– Сидим, можно сказать, как в театре, – говорит Вася Солод, один из четырех сидящих на диване. – И за билеты не платим.

У него лицо деревенского парня – простоватое, курносое. Серые глаза, курчавые белокурые волосы. Он невысок, но крепок в плечах, руки большие, грубые, красные. На его лице – восторженное любопытство, детская радость светится в глазах, следящих за белыми и желтыми облачками разрывов.

– Нет, как в кино, – возражает ему сидящая рядом брюнетка Регина. – В театре не мелькает, как здесь, а тут все небо – как экран.

Регина – среднего роста, худощава, стройна. Ей двадцать четыре года. У нее иссиня-черные волосы, голубые глаза – странные, неподвижные, почти немигающие. Очень ярко накрашенные красные пятна на чуть скуластых желто-матовых щеках. Правильный, красивый нос, тонкие,

пожалуй, неприятные, злые губы; Регина делает их больше, чувственнее с помощью кармина. Но основное, сразу приковывающее внимание – это ее глаза: они кажутся прозрачными, холодными, иногда стеклянными, жестокими. Регина – конечно, не ее настоящее имя. Зовут ее Евдокия, и она – дочь мелкого служащего торговой фирмы «И.Я. Чурин и Ко» в Харбине. Но Евдокия в Шанхае «не звучит». Здесь царство иностранцев, царство матросов всех национальностей, царство кино. На рю Чу-Пао-Сан, где служит девушка, ей дали имя Регина. И потому она позабыла свое хорошее, освященное веками, такое простое русское имя.

– Попали, попали! – хлопает совсем по-детски в ладоши соседка Регины по дивану блондинка Лола. – Вон в тот, который поворачивает. Ой, сейчас упадет!

Но аэроплан выправляется, поворачивает и снова пытается пробить огненную стену, которую создали вокруг «Идзумо» зенитные орудия. Атака аэропланов какая-то странная, беспорядочная. Нет системы, боевого строя. Они носятся как угорелые, встречаются, расходятся, снова зловеще гудя и завывая, все ускоряя полет, бросаются вперед, к заветной цели, туда, где стоит на Вампу неуязвимый японский крейсер. И, отбитые бешеным, лихорадочно частым огнем, снова поворачивают назад. Все небо заволокло дымом и медленно тающими облачками разрывов.

– Ой, как интересно! – подскакивает на диване Лола. – Как пожар – небо все горит...

Лола – крупная девушка с наклонностью к полноте, с излишне в ее годы развитыми формами. Ей двадцать два года. Мелко завитые, светлые волосы сиянием окружают ее лицо – простоватое, доброе, румяное. Карие глаза, на солнце совсем желтые, широкий нос, на лбу и на щеках несколько рябинок, впрочем, заметных только на ярком свете, толстые, чувственные губы. Она не красавица, совсем нет, но женственна вся – с головы до ног – и похожа на большого ребенка или куклу. Лола тоже не Лола, а Оксана, Ксения Сидоренко – дочь кондуктора с Китайской Восточной железной дороги. Но по той же самой причине, почему Евдокия стала Региной, Ксения превратилась в Лолу. О, Шанхай – город метаморфоз!

– Не прыгайте так на диване, – с усмешкой говорит Лоле четвертый зевака на небо, журналист Нежданов. – При вашем весе мы рискуем перевернуться с этого трехногого дивана.

– Ну уж вы вечно с моим весом, – кокетливо-обиженно поджимает губы Лола. – И вовсе я не такая тяжелая. Вот снесите меня вниз по лестнице и увидите, что я – как пух.

– Не пух вы, а ух! – дурачится Нежданов, заглядывая в ее желтые веселые глаза. – А тащить вас по лестнице не смогу, ибо не обладаю силой Геркулеса.

– Кто это такой Геркулес? Борец? – спрашивает Вася Солод.

– Вроде, – смеется Нежданов.

У журналиста лицо российского интеллигента, как это принято изображать на карикатурах и в веселеньких фельетонах: жиденькие, рыжеватые усики, волосы, зачесанные назад в поэтическом беспорядке, неопределенного цвета глаза, неопределенный нос и неопределенные губы. Цвет лица – желто-серый, какой всегда бывает у газетных работников, проводящих свою жизнь в душных, прокуренных помещениях, сидящих за машинкой целыми ночами. Под глазами – мешки. Он худ и сутул и выглядит значительно старше своих сорока двух лет.

– Что это пискнуло? – говорит Регина. – Вот еще... Что это?

– Это свистят пули, – встает с дивана Нежданов.

Он давно уже не только с любопытством, но и с беспокойством следит за разрывами в небе. Он был на войне и знает, какую опасность таят эти хорошенькие, пухлые облачка. Он смотрит в небо, прикидывает расстояние и возможную траекторию полета снаряда. Любой разрыв мог накрыть всех сидящих на крыше смертоносным градом пуль или осколков.

– Господа, нам надо уходить с крыши, – говорит он спокойно. – Мы в опасности.

Лола, Регина и Солод удивленно смотрят на него.

– В опасности? Мы? Но ведь стреляют не в нас, а вверх...

– Это ничего не значит. Вы не бывали в таких переделках, а я был офицером, был на войне. Видите, где рвется снаряд? Осколки должны обязательно прилететь сюда...

Нежданов быстро читает маленькую лекцию по артиллерии: траектория, площадь обстрела, рассеивание, стаканы. С пронзительным визгом, видимо, переворачиваясь в воздухе, словно протыкает барабанную перепонку противоаэропланная пуля... другая... третья. Где-то звенят осколки разбитого оконного стекла.

– Надо уходить! – прерывает свою лекцию Нежданов. – Вы слышите? Это пули.

– Просто вы боитесь, – беззаботно смеется Лола. – Ерунда эта ваша трак ... трака ... как ее... тория.

Нежданов растерянно и уже испуганно что-то говорит о бессмысленности сидеть здесь, на крыше, и подвергаться явной и грозной опасности. Но его слова беспомощно натыкаются на желтые, наивные, непонимающие глаза Лолы.

– Никуда я не пойду. Это так интересно.

Пуля с неба

Сноп огненных точек в небе – новые разрывы.

– Ох! – тихо и удивленно говорит Лола и показывает куда-то вниз, на

подол своего ситцевого, в ярких цветах, платья. – Что-то ударило...

Все, кроме Лолы, вскакивают с дивана. Нежданов видит в ситце, туго обтянувшем полное бедро девушки, круглую прожженную дырку.

– Больно, – шепчет, бледнея и морща лоб, Лола.

– Поднимите платье! – повелительно кричит Нежданов. – Скорее.

– Что-о-о?

– Поднимите платье! Вы ранены.

Румянец быстро сползает с лица Лолы. Она испуганно поднимает платье. Выше колена на белом, гладком теле – черное, большое пятно с синеватой каемкой. В середине пятна – кровь, которая начинает быстро заливать ногу. На другой стороне ноги Нежданов видит такое же пятно.

– У вас сквозное ранение, – говорит он. – Скорее вниз – и доктора!

– Ах! – стонет Лола. Ей дурно.

– Ох! – вторит ей Регина.

– Берите ее под мышки! Вы покрепче меня! – командует Васе Солоду Нежданов. – А я – за ноги. Ну, живее!

– Вот, Лола, посмотрим, легче ли вы пуха, – пытается шутить Солод и поднимает девушку с дивана. – Вы посмотрите, сама накликала: «Несите, – говорит, – меня вниз по лестнице. Я – как пух...»

В тот момент, когда полубесчувственную Лолу несли вниз по лестнице, два глухих, страшных удара возвестили о другой, действительной трагедии. В центре города, на одном из самых оживленных перекрестков Шанхая, упали с китайского аэроплана и взорвались две мощных бомбы; тысячи людей заплатили жизнью за небрежность летчика. Именно эти взрывы и были причиной появления в *бординге* мадам Пушковой новой жилицы.

Топот ног по узкой скрипящей деревянной лестнице, свистящий шепот Нежданова (он почему-то говорил шепотом), легкие стоны Лолы, причитания Регины – все это всполошило мадам Пушкову и весь ее *бординг.* По мере того, как несущие девушку спускались все ниже, двери всех комнат раскрывались, и обитатели этих комнат теснились к лестнице, чтобы увидеть, что собственно произошло. На третьем этаже к Нежданову и Солоду присоединился сын полковника Купянского, Михаил, тринадцатилетний крепкий мальчик, и помог нести раненую. Высокая, статная женщина с сильной проседью, с болезненным, бледным лицом, жена полковника Купянского, Вера Павловна, нежно сказала:

– Бедняжка! Куда она ранена? Нужно кипяток, марлю, йод. Я сейчас принесу.

На втором этаже не было дома только жильца Халчева. На лестницу выбежали присяжный поверенный Капустин, толстяк с лысиной во всю голову, краснощекий, пенсне на носу, в халате и его жена, немолодая женщина, но еще стройная, хотя и упитанная, с красивым еще лицом, но с морщинами того вида и рода, которые без ошибки всегда можно отнести к

лицам, познавшим, что такое театральный грим; ей, видимо, было очень жарко в этот знойный шанхайский день: на ней был лишь легкий голубой халат, откровенно рисовавший своими складками формы пышной женщины.

– Боже! – несколько театрально, певуче воскликнула она. – Бедная девчурка. Ранена? Как это случилось, ради Бога? Как это случилось?

Последний в этом этаже был бухгалтер Селезнев – крепкий, широкоплечий человек, постриженный бобриком, с маловыразительным, неподвижным лицом, светлыми глазами и твердым, решительным подбородком. Он ничего не сказал, угрюмо проводил шествие по лестнице и вернулся в свою комнату. На первом этаже, по дороге в комнату Лолы, шествие было встречено значительно экспансивнее. Дочь хозяйки мадам Пушковой Груня замахала руками, заохала, побелев от ужаса. Это была еще молодая женщина, миловидная, с чудесными жемчужными зубами. Но что-то неподвижное, тупое, мертвое было в этом лице. Жильцы *бординга* знали, что эта женщина перенесла очень много невзгод, сильно болела, и все это отразилось на ее психике. Все – и мать в том числе – считали ее дурочкой. Она прижала руки к груди, закатила глаза и зашептала:

– Господи, Господи! Убили, убили! Лолочку убили! Царство ей небесное!

– Что ты, дура, живую-то хоронишь? – крикнула на нее, выплыв из своей комнаты, хозяйка *бординга,* Ангелина Мироновна Пушкова, женщина лет пятидесяти, дородная, с жирным, плоским лицом, маленькими глазками-пуговками, с черными с проседью волосами, расчесанными на прямой пробор, и огромным бюстом, который колыхался и грозил каждую минуту выплеснуться.

– Что ты, дура, причитаешь? Ранена? Куда? В ногу? Говорила – не ходите на улку, говорила – беспременно ранют. Вот и платье испортила... дыра-то какая...

– Фельдшер дома? – спросил ее Нежданов. – Фельдшера скорее позовите!

В комнате № 2 в первом этаже, как мы уже упоминали, проживал со своей женой фельдшер Иван Иванович Фоменко.

– Да что с него толку? – поджала губы хозяйка. – Пьян, поди, опять, отсыпается, дрыхнет.

– Будите его, если спит, – повелительно бросил Нежданов, открывая дверь в комнату Лолы.

Солод, Михаил Купянский и Нежданов внесли Лолу в ее комнату и положили на кровать. Платье девушки сильно пропиталось кровью.

– Мы выйдем, – сказал Нежданов Регине, – а вы снимите платье с нее, обмотайте ногу чистым полотенцем. Я сейчас приведу фельдшера.

Он вышел в коридор и постучался в дверь фельдшера Фоменко.

Дверь открыла маленькая женщина с невзрачным, худеньким лицом.

– Спит, – прошептала она мрачно, оглядываясь на диван за ширмой в глубине комнаты.

– И врешь, Аня, не сплю, проснулся. Как тут спать, когда тут такая пальба идет? Кто там?

Голос был хриплый, низкий. Из-за ширмы показалась всклокоченная голова, голая волосатая грудь. Нежданов объяснил в чем дело.

– Сейчас приду, – скрылась голова за ширмой.

Квартиранты-мужчины столпились у дверей комнаты Лолы, а женщины вошли внутрь, кроме хозяйки мадам Пушковой.

– И чего там, чего разбегались? – равнодушно зевнула она. – Девка молодая, на ней, как на кошке, заживет. Ишь ты, как стреляют... хотела после обеда вздремнуть – так куда там... пуляют. И вчерась стреляли. Иди к себе в комнату, дура, чего не видала?

Последнее относилось к Груне, которая, молитвенно сложив руки, медленно шла к комнате Лолы. Мадам Пушкова шлепнула Груню пониже спины, взяла за руку и увела в свою комнату.

– Бесчувственная какая-то Ангелина Мироновна, – пробормотала жена фельдшера Фоменко, Анна Георгиевна.

– Наша хозяйка? У-у, терпеть ее не могу! – даже сжал кулаки Михаил Купянский. – Сколько она маме здоровья стоит. Чуть запоздала с платой – эта уже скрипит: «У меня в *бординге* деньги вперед платят, у меня в *бординге* порядок, у меня в *бординге...*» У-у, ведьма!..

Появился фельдшер Фоменко – среднего роста человек в очках, взлохмаченный, небрежно одетый. Он вошел в комнату Лолы и плотно закрыл за собой дверь. Минут через десять вышел. Все окружили его:

– Ну, что? Что?

– Ерунда! Кость не задета. Повезло. Через пару недель может снова плясать в своем кабачке. Как из ружья...

Человек, приехавший из ада

Все разошлись по комнатам. Нежданов поднялся к себе, на третий этаж. Его комната была самая обыкновенная, *бординговская*. Оштукатуренные стены цвета беж, побрызганные золотыми кляксами, – копеечная роскошь девяти десятых *бординговских* клетушек в Шанхае. Беленый потолок с потеками от сырости и грязи. Хромоногий стол, прислоненный стене, не то упадет. Два стула с деревянными спинками и вырезанными на этих спинках цветами – что-то похожее на хризантемы. Облезлое, с выпирающей наружу соломой мягкое кресло. Деревянная кровать, скрипящая даже при дуновении на нее. Кое-где следы от раздавленных клопов. Фанерный шкаф, почему-то скосившийся набок и, по-видимому, готовый свалиться на того, кто попробует его открыть. На

стене – полочка с книгами, маленькое зеркало. Единственное окно в комнате упирается в красную кирпичную стену соседнего дома. В комнате по-шанхайски влажно, душно, жарко от накалившейся за день крыши. Беспорядок: на столе неубранная грязная посуда, чайник, пишущая машинка с вложенным в нее листом бумаги; на кровати разбросана одежда, пол не подметен. Ах! – обычная, такая обычная комната русского эмигранта в Шанхае. И еще не совсем неудачливого, имеющего службу, могущего платить за комнату – шутка ли сказать! – пятнадцать долларов в месяц.

Нежданов вытер полотенцем мокрое от пота лицо и взглянул на часы. На службу, в редакцию газеты, ему нужно было еще часа через два. Он подошел к зеркалу, взглянул на себя, подергал за усики, пригладил волосы. Потом сел за машинку, решив написать для газеты впечатления этого богатого событиями дня. Пальцы привычно забегали по клавишам машинки. Профессиональный опыт сразу находил нужные слова, образы, фразы. Нежданов знал, что все это трафарет, все это скучно, бледно и совсем не выражает всей трагичности сегодняшнего дня. Но еще лучше он знал требования газеты. Он знал, что ее редакции и, главным образом, ее редактору не нужны яркие краски и живое, яркое слово: ему нужен был штамп, сухо описанные факты и, главное, – поскорее. Скорее, скорее! – вот основной лозунг газеты, тот газетный Молох, которому приносились в жертву живые мысли, образность, красота стиля или хотя бы попытка грамотно изложить свои мысли. В дверь постучали.

– Войдите, – сказал Нежданов, не отрываясь от машинки.

Вошел сосед Нежданова – обитатель комнаты № 8, бывший полковник Купянский. Нежданов поднялся со стула.

– А-а, Александр Николаевич, пожалуйте, пожалуйте.

Высокий, статный человек с седой головой, в защитной форме *вочмана* вошел в комнату. У него загорелое крупное лицо, темные глаза, темные подстриженные усы. Твердый подбородок, выбритый до глянцевитости, высокий, черный от загара лоб с белой полосой от форменной фуражки *вочмана.* На щеке широкий белый шрам – след от удара австрийским тесаком. Лет Купянскому, вероятно, около пятидесяти.

– Садитесь, сосед.

– Вы не очень заняты? Я бы не оторвал вас от работы, да дело спешное, и вы можете помочь. Дело необычное и касается сегодняшних событий.

Только сейчас Нежданов заметил, что голос полковника дрожит, лицо его взволновано и бледнее, чем все в *бординге* привыкли видеть: полковник отличался завидным здоровьем. В костюме полковника также был заметный беспорядок. К своему ужасу Нежданов вдруг увидел, что ботинки Купянского и низ брюк вымазаны кровью.

– Что это? – испуганно спросил Нежданов, показывая на ботинки. –

Краска или кровь?

Купянский бледно усмехнулся.

– Вы, журналисты, любите громкие, пышные слова. Так вот, Сергей Петрович, вы видите перед собой человека, побывавшего час тому назад в аду. Ну... если не в аду, так на бойне. Называйте, как хотите.

– То есть как это в аду?

– Разве вы не знаете, что случилось в пять часов, вернее, в пять минут шестого?

– Что? Что?

– А еще газетный работник! Ух! Дайте стакан воды... упарился. Да и ужасов таких насмотрелся... на войне такого не видел...

Нежданов налил из термоса стакан воды, подал Купянскому. Тот жадно выпил.

– На площади, где стоит театр «Великий мир», на скрещении Тибет Род и авеню Эдуарда VII... знаете, где? Так вот там упали с китайского аэроплана две колоссальных бомбы... говорят, что это специальные торпеды для взрыва военных кораблей. И вот эти две торпеды уложили на площади тысячи народу... Я только что оттуда. Там моря крови ... что-то потрясающее. Я помогал выносить раненых... и вот – видите?

Он показал на вымазанные в крови ботинки и брюки. Нежданов вскочил со стула.

– Пожалуй, мне нужно раньше в редакцию... Такое огромное событие... У нас в *бординге* тоже происшествие... Вы знаете, что Лола ранена?

– Да, жена уже рассказала. Но я вас, Сергей Петрович, не отпущу в редакцию – как хотите. Редакция с часик обойдется и без вас... Тут такое дело...

Он взволнованно пресекся, закашлялся, потом продолжал:

– Я повторяю, что пришел к вам за помощью, за советом. Почему-то я думаю, что вы можете помочь. Я в совершенной растерянности.

– Но в чем дело? – удивленно спросил Нежданов.

– Я должен рассказать вам одну историю... Это оторвет у вас некоторое время, но иначе вам будет непонятно, о чем я вас хочу просить. Вы можете вооружиться терпением?

– Вы заинтересовали меня. Редакция подождет. Рассказывайте – что случилось?

Рассказ о женщине

– Так слушайте. Вы меня извините, что рассказ будет несколько пространен. Но так я чувствую... только так могу сейчас говорить. Итак, недели две тому назад я шел по одной из тех пахучих улочек, которые примыкают к Нанкин Род. Среди грязной китайской толпы вдруг

мелькнула маленькая фигурка европеянки. Она шла мне навстречу. Я сразу подумал: русская. Подумал потому, что наши женщины одеваются с большим вкусом, чем иностранки. Вы замечали это, конечно? Женщина подошла ближе. Я остановился, пораженный: «Оля! Вы?». Женщина вздрогнула, замерла, посмотрела на меня. Бледное, миловидное лицо на секунду исказилось, словно от испуга. Я знал эту женщину. Я знал ее с детства, почти ребенком. Ее звали Ольга Малова. Ее история была, в общем, на фоне эмигрантских лет несложна, почти банальна.

И дальше Купянский рассказал следующее. Оля Малова была дочерью русского капитана Малова, который в 1920 году вместе с Белой армией сделал знаменитый Ледяной поход через Сибирь. Это была страшная эпопея бесконечных страданий среди снежных, ледяных просторов Сибири, когда изнемогающая, разбитая в боях горсть людей уходила на восток от наступающей Красной армии. На востоке было спасение от ужасов гражданской войны, было тепло жилых домов, была надежда на какую-то сносную жизнь. Позади были террор, расстрелы, голод, издевательства, позади догоняла смерть. Вместе с офицерами и солдатами побежденной армии уходили их семьи, которым грозила от красных не меньшая опасность, чем их главам.

Капитан Малов вез с собою в обозе жену, пятнадцатилетнюю дочь Олю и трехлетнего сына Александра. Первым пал на этом страшном пути мальчик: сибирский мороз вдохнул в нежные легкие смерть. Ребенка похоронили в ледяной пустыне под свист вьюги в наспех вырытой могиле, на которой не поставили даже креста. Где-то в бою у Ачинска сложил свою голову капитан Малов. Он воевал с 1914 года, с самого начала Великой войны, был пять раз ранен в боях с германцами, но погиб от пули, выпущенной русским солдатом с красной повязкой на рукаве серой императорской шинели. Даже трупа капитана Малова не увидели его жена и дочь, потому что нужно было уходить дальше. Боевые товарищи Малова позаботились о его жене, и она продолжала свое страшное путешествие на восток.

Уже на заре своей жизни Оля увидела, что такое стужа, голод и ужасы гражданской войны. Она видела синее тельце своего брата, зарытое в снежную яму; она видела трупы людей, погибших от ран, мороза, сыпного тифа и валявшихся по краям дорог, по которым белые отступали то пешком, то в телегах и санях. Оля видела потрясающие, короткие драмы, когда отцы холодеющими пальцами в последний раз крестили своих детей, когда мужья рыдали у могил своих жен, погибших от болезней и случайных пуль. Весь путь по бескрайней Сибири был покрыт трупами, был залит слезами и кровью.

В Иркутске вдова Малова перенесла тиф, и только летом 1920 года она очутилась с дочерью в Харбине. Она не знала жизни, эта маленькая

женщина, обыкновенная мещаночка, думавшая, что с замужеством кончатся все ее заботы о своей судьбе. Теперь жизнь поставила ее перед своим лицом – и маленькая женщина растерялась: без знаний, без опыта, с дочерью на руках. Но неожиданно в ней проснулся тот героизм, который так часто только теплится где-то в закоулках женской души и вспыхивает тогда, когда этого требуют обстоятельства. Она мужественно начала борьбу за существование. Она бралась за всякую работу, не боялась ничего. Она мыла посуду и полы, стирала, шила, вышивала, была гувернанткой, кельнершей, горничной, билетершей в автобусе, стенографисткой.

Жизнь трепала ее, жестоко била. Из хорошенькой женщины она превратилась с годами в высохшее, желтое, больное, озлобленное существо. Она научилась скалить зубы на жизнь, научилась огрызаться, научилась терпеть и плакать только по ночам, когда дочь спала и не могла слышать этих придушенных подушкой рыданий. Но часто дочь слышала. Все было в их жизни в эти страшные годы – и голод, и обиды, и тяжкий, изнурительный труд, и слезы, и болезни. Оля помогала матери и училась в гимназии. Училась средне: вечная робость, испуганность мешали ей. Она кончила гимназию и поступила продавщицей в магазин. В 1924 году ее матери предложили хорошую службу на станции Маньчжурия. Малова уехала туда. Во время какой-то бестолковой перестрелки китайских солдат с советскими пограничниками Малова была убита шальной пулей.

Девятнадцатилетняя Оля осталась на свете одна. Опять слезы, горе и страх перед людьми, отнявшими отца, брата, мать. Потом встреча с ним. Это был скверный, наглый, грязный человек. Он умел хорошо говорить, был довольно красив и очень опытен. Ему ничего не стоило вскружить голову бедной девушке, не знавшей теплого слова, запуганной жестокой жизнью. Оля переехала к нему. Он оказался негодяем, жестоким, ленивым самцом. Он ничего не хотел делать, жил на деньги Оли, пьянствовал, бил жену. Когда обнаружились последствия их романа и Оле пришлось оста вить службу, ему волей-неволей пришлось позаботиться о дальнейшем су ществовании своем, Оли и родившейся девочки, которую назвали Татьяной. Вместо того, чтобы работать, он пошел на темное дело, был изобличен и арестован. Его судили и дали несколько лет тюрьмы. Некоторое время Оле и ребенку помогали друзья покойной матери. Потом Оля снова поступила на службу. Началась нищенская, полуголодная, страшная жизнь. Девочка была хилая, болезненная. Бессонные ночи у постели дочери, слезы, отчаянная борьба за ее жизнь. Девочка выжила, но жизнь их была по-прежнему страшна.

– Вы меня извините, Сергей Петрович, за мой длинный рассказ, – прервал свое повествование Купянский. – Мне приходится быть пространным, иначе вы не поймете весь драматизм дальнейшего.

– Нет, нет, ничего, – живо ответил Нежданов. – Я слушаю вас.

– Так вот, – продолжал Купянский. – Я знал Ольгу Малову по Харбину. Мы с женой помогали ей чем могли. Но вдруг она исчезла. Случайно мы узнали, что она в Тяньцзине. Мы узнали, что она опускается, стала пить, служила в низкопробных ресторанчиках, даже нюхает будто бы кокаин. Потом мы потеряли ее из вида. И вот – встреча на шанхайской улице, лет через десять.

Кусочек счастья

– Оля! – крикнул я.

Испуганные, по привычке робкие глаза вдруг потеплели и осветились радостью. Ведь я был живым свидетелем многих ее несчастий, всей ее горькой, печальной жизни.

– Вы? – прошептала она. – Вы? Как я рада!

Она пополнела, поправилась, была прекрасно одета. Она схватила меня за руки, нежно жала их. Что-то светлое, радостное было в ее глазах. Это было так необычно для этого бледного лица, которое я всегда видел только печальным.

– Я вас потерял, Оля, совсем потерял. Когда мы с женой видели вас в последний раз? В 1927 году, кажется? А Таня с вами? Большая уже?

– Да, да... конечно, большая. Двенадцать лет уже, – ответила она рассеянно, думая о чем-то другом. Потом быстро, озабоченно добавила:

– Я очень постарела за эти десять лет?

Я посмотрел на нее внимательно. Конечно, постарела... На лбу, около голубых глаз, у рта – скорбные морщины... Прядь седых волос. Сколько ей лет? Припомнил, что, пожалуй, не больше тридцати, а можно дать все сорок. Она встревожено смотрела на меня. Я весело улыбнулся: маленькая сделка с совестью.

– Вы помолодели, Оля. Вы никогда не были такой хорошенькой...

– А ведь мне уже тридцать два года. Старуха!

Я попросил ее рассказать, что с ней было за эти десять лет. Она рассказала все. Партнерша для танцев, неудачные попытки выбиться на поверхность жизни, два-три неудачных романа.

– А теперь? – спросил я ее, когда она закончила свой рассказ. Она улыбнулась – радостно, счастливо, гордо:

– А теперь я – миссис Поллард.

Встреча в дансинге с американцем, еще нестарым человеком, честным, хорошим, симпатичным. Он поверил этой маленькой женщине. Он угадал за грустными глазами простую, хорошую душу, которая сможет дать ему счастье. Оля рассказала, какими заботами и лаской окружил мистер Поллард ее и дочь Таню, какой уют царит в их доме. Ее муж – представитель крупной американской фирмы, и они могли позволить себе многое. У них большая квартира, прислуга, великолепный автомобиль, на

котором они часто совершают прогулки.

– Вы завтра же придете к нам. Слышите? – говорила она мне. – С женой, с Верой Павловной.

– Мы придем, обязательно придем завтра, – сказал я. – Послушайте, Оля, а сколько времени прошло с тех пор, как вы стали миссис Поллард?

– О, немного! – засмеялась она. – Только вчера закончился наш медовый месяц. Я хотела бы, чтобы он длился века.

Мы с женой побывали у них на следующий день. Нам хотелось увидеть мистера Полларда, хотелось убедиться, что счастье маленькой женщины прочно. Плотный, среднего роста, веселый, жизнерадостный американец нам очень понравился. А когда я увидел выражение его глаз, устремленных на Олю, я успокоился совершенно. Бывает так, что один случайно пойманный взгляд открывает человеческую душу. Я успокоился за Олю: это было крепко и прочно. За обедом была также дочь Оли – двенадцатилетняя сероглазая Таня. Она выглядела болезненной, была молчалива и застенчива. По-видимому, горькие годы ее короткой жизни оставили свои следы, и девочка не могла еще привыкнуть к новой, необычной обстановке. Мы пообедали, немного выпили. Поллард был веселым и остроумным собеседником. Он непрерывно смеялся, показывая великолепные, ослепительно белые зубы под щеточкой коротко подстриженных, чуть седеющих усов.

После обеда он предложил прокатиться на его автомобиле в Хонкью. Как вы знаете, именно здесь ожидались первые бои. Мистер Поллард ушел выводить машину из гаража, а Оля, стоя у зеркала и пудрясь, весело смеялась, переполненная радостью. Она протянула мне правую руку – красивую маленькую руку с длинными, изящными пальцами (предмет ее особенной гордости) – и показала новый подарок мужа. Это было кольцо – очень дорогая, прекрасная вещь: две хищных орлиных лапы из темного, словно закопченного золота, держали в своих когтях огромный бриллиант, словно кусок мяса, вырванный из тела жертвы. На белой, прекрасной руке женщины это кольцо было очень эффектно. Вы спросите, почему я упомянул об этом кольце? Вы увидите, что это имеет прямую связь с моим рассказом.

Мы сели в отличную машину, элегантную и очень удобную. Мистер Поллард был за рулем, рядом с ним села Таня. Я, жена и Оля сели позади. По своей вечной привычке автоматически запоминать цифры, что бы это ни было – телефон, номер дома, номер библиотечной книги, – я машинально врезал в свою память номер этого автомобиля – 8080. Мы поехали в Хонкью. Если весь Шанхай гудел, встревоженный, перепуганный, переполненный китайцами-беженцами из Чапея и других районов, которые предполагались ареной будущих боев, то здесь, в Хонкью, было, наоборот, тихо, спокойно, пустынно. Лишь изредка

встречались патрули японских моряков. Дома были мертвы, пусты, покинуты своими обитателями. Улицы всегда оживленного, сверкающего огнями Бродвея, были также пустынны и темны. За этой тишиной чувствовались тревога, ожидание, настороженность. Оля поежилась и сказала:

– Как здесь жутко! Вернемся.

Мы повернули назад.

– Неужели будет война?

Она тяжело вздохнула. Я понял: в ее памяти мгновенно пробежала вся ее жизнь – далекие детские годы, бои с красными, синее, застывшее тельце брата, смерть отца, смерть матери, длинная полоса черных, страшных лет. Это война, это ее работа...

Кисть женской руки

– Я подхожу к концу своего рассказа и не знаю, Сергей Петрович, сумею ли передать вам тот ужас, который и сейчас еще трясет меня. Постараюсь все передать просто, хотя мысли путаются в голове и я не нахожу слов. Итак, сегодня, около четырех часов дня, я отправился на Нанкин Род по делу. Как раз в этот момент начался новый налет китайских аэропланов. Я шел по галдящей, забитой толпой авеню Эдуарда VII, когда услышал далекое гудение в небе и залпы с японского крейсера. Скоро я увидел китайский аэроплан. Он был очень высоко и летел странно неуверенно, переваливаясь с крыла на крыло. И вдруг – невероятный грохот... такой грохот, что земля подо мной затряслась. Меня ударило горячим воздухом. Ни огня, ни дыма я не увидел и потому понял, что взрыв произошел на некотором расстоянии. Аэроплан быстро удалялся. Кое-кто из толпы бросился на место взрыва – как оказалось, на углу авеню Эдуарда VII и Тибет Род. Я побежал в ту сторону. На этом углу, как вы знаете, большая площадь, на которой стоит китайский театр «Великий мир». Я увидел, что из его окон идет густой дым. Но не это приковало мое внимание. Другие сцены потрясли меня.

Вся огромная площадь была завалена – да, именно завалена! – трупами и ранеными. По асфальту мостовой во всех направлениях текли буквально реки крови. Душераздирающие крики и стоны неслись со всех сторон. Я увидел китайца, который корчился, хватая залитыми кровью руками какие-то багровые лохмотья, оставшиеся вместо ног. Повсюду валялись оторванные руки, ноги, головы, искромсанные туловища в обожженной одежде. Прижимая к себе безголового ребенка, выла от боли раненная в грудь китаянка. В некоторых местах трупы лежали грудами. Вывороченные внутренности, зияющие грудные клетки, проломленные черепа, вылезшие наружу ребра. И всюду – кровь; озерами, лужами, ручьями, одуряюще пахнущая на раскаленном от зноя асфальте кровь. На

мостовой, около страшных глубоких воронок от аэропланных торпед, на стенах домов, на заборах, на вывесках. Видимо, людей подбрасывало в воздух силой взрыва и разрывало на куски. Я увидел человеческую сожженную и окровавленную кожу на ветке дерева, куски мозга, прилипшие к забору. Над площадью стоял удушающий запах жареного мяса.

В разных направлениях застряли горящие автомобили, которых взрыв застал как раз на площади. Я насчитал их шестнадцать. Полицейские, волонтеры, добровольцы из публики, пожарные, санитары, спешившие со всех сторон, начали тушить эти автомобили. Санитары оказывали первую помощь раненым и таскали их в прибывшие линейки. Я подбежал к одной из машин. Она горела ярким пламенем. Но ее шоферу помощь уже не была нужна: от него остался только сгоревший, черный обрубок туловища. Весь автомобиль был превращен в решето: сотни отверстий разного диаметра, развороченный кузов, выбитые стекла, лопнувшие и расплавленные шины. В другом автомобиле были три полусгоревших человека, причем один из них был без головы. На сиденье горели английская газета и дамский веер. Из третьего автомобиля вырвало дверцы и человека, сидевшего в нем, выбросило на мостовую – вернее, не его, а то, что от него осталось. Кругом были дым, смрад, стоны, крики, шепот, чей-то сумасшедший хохот...

Я начал помогать волонтерам выносить раненых из этого ада, когда снова замер от ужаса. Я готов был кричать... У одного из чахлых деревьев, окаймляющих площадь, на земле, я увидел кисть женской правой руки. Она была совершенно цела, эта страшная, мертвенно-бедная рука, вернее, кисть руки – с длинными, тонкими пальцами. Кожа нигде не была повреждена, аккуратно подстриженные ногти были покрыты ярко-красным лаком. Запястье представляло из себя обгорелый, лохматый от лоскутьев кожи обрез, из которого торчал белый кусок зазубренной сломанной кости.

Я не сразу осознал, не сразу понял, гнал от себя основное, что я увидел в этой страшной руке: на одном из пальцев был бриллиант, зажатый хищно изогнутыми орлиными когтями. Я скрипнул зубами, собрал всю силу воли, огляделся вокруг. И невдалеке увидел их автомобиль – такой изящный, элегантный раньше, а теперь исковерканный, измятый, искромсанный, словно изжеванный каким-то чудовищем. Я увидел четкие цифры – 8080 – и бросился к автомобилю... Они – или то, что осталось от них, – сидели рядом. Я увидел оскаленные, великолепные зубы, коротко подстриженные, чуть поседевшие усы. Выше их... выше их не было ничего... окровавленная сгоревшая каша... Рядом с ним я увидел что-то бесформенное, черное, с какими-то обрубками вместо рук, с лохмотьями сгоревшей кожи вокруг черепа. И словно удостоверение, что это она, что

это Оля, висели обрывки, полусгоревшие обрывки скромного синего платья с белыми крапинками, того платья, в котором я ее видел так недавно. Здесь, в этом автомобиле, Оля нашла свой конец.

Одна во всем мире

Купянский налил из термоса воды, выпил залпом. Нежданов молчал, взволнованный трагическим рассказом.

– Девочки, дочери Оли Маловой, в автомобиле не было, – продолжал Купянский. – Значит, подумал я, она дома и, конечно, ничего не знает. Ребенок остался один на свете. Я подумал, что мой долг, как старого друга Оли Маловой, сообщить ее дочери страшную правду. Я огляделся. Волонтеры тащили из автомобилей останки несчастных сгоревших, разорванных людей. Куда увезут эти останки? Найдем ли мы потом что-нибудь в общей каше истерзанных трупов? Их наваливали в полном беспорядке на грузовики. Но вдруг я решился. В кармане у меня была газета. Я развернул ее, набросил на лежавшую у дерева оторванную руку Оли Маловой, завернул в бумагу и сунул в карман. Вы знаете, какой сегодня жаркий день... Но, честное слово, Сергей Петрович, меня затрясло от холода, когда я делал это. Если бы кто-нибудь меня увидел в эту минуту, меня могли бы обвинить в мародерстве: ведь кольцо это очень дорогое. Но я решил, что кольцо будет для дочери памятью о матери, а руку... руку мы можем похоронить вместо тела, если этого тела потом не найдем. Все же я подбежал к грузовику, который собирался уже уходить, и успел на белом туфле бедной женщины написать химическим карандашом ее имя, фамилию, вероисповедование, национальность. После этого я бросился со страшной площади прочь.

Из ближайшего магазина я позвонил жене, рассказал ей все, посоветовался, как быть, и мы условились о дальнейших действиях. Жена плакала у телефона. Я взял машину и поехал к Татьяне. «Как сообщить ей о смерти матери? – думал я. – Что делать?» В доме Полларда, кроме китайской прислуги, никого не было. Сказать девочке страшную правду – и уехать, оставив ее в таком горе? С женой мы решили, что Таню нужно привезти к нам и здесь все ей сообщить. Еду я к ней и вдруг вспомнил, что я весь перепачкан кровью. Кое-как стал приводить себя в порядок, вытер руки носовым платком, но брюки и ботинки, как вы видите, так просто в порядок не приведешь. Я решил не вылезать из автомобиля и крикнуть Таню – окна в доме, конечно, все открыты. А вдруг она не пойдет? Ведь девочка на днях только со мной познакомилась, и мы и пяти слов с ней не сказали. Машина катила уже по Петэн – на этой улице мистер Поллард снимает... нет, уже снимал... особняк. Я остановил *кар* около увитого плющом дома. А вдруг девочка ушла куда-нибудь?

– Таня! – крикнул я.

Из окна высунулась китаянка-*ама*.

– Мисс Таня, – повторил я.

Китаянка скрылась, и через минуту в окне показалась девочка.

– Таня, – сказал я, стараясь говорить спокойно. – Папа и мама заехали к нам в гости и просили привезти тебя к нам.

Она удивленно и молча смотрела на меня своими серыми глазами.

– Мама мне ничего не говорила. Сказала, что скоро приедет и чтобы я сидела дома и никуда не ходила.

– Они не предполагали быть у нас, но случайно встретили мою жену и решили заехать к нам. Мама просила тебя обязательно приехать.

Она растерянно смотрела на меня, и я подумал, что, может быть, что-то в моем тоне – напряженность, что ли или излишняя ласковость – испугали ее.

– Я не знаю... – тихо сказала она.

– Да что ты, Танечка, боишься меня что ли? Такая большая девочка... Разве мама не говорила тебе, что я ее старый друг? Мы об этом даже при тебе говорили за обедом, помнишь? Я на тебя обижусь...

– Мама про вас мне говорила. Только почему она не позвонила по телефону?

– У нас телефона нет, – соврал я. – Ну, скорее иди, а то мама рассердится.

– Я сейчас, – сказала она и через минуту вышла, и села в машину.

Старательно пряча свои ноги, как мог, я привез ее, и сейчас она с женой. И вот была неприятная минута, Сергей Петрович, когда первое, что она увидела в коридоре – это телефон. «Вы же говорили, что у вас нет телефона?», – спросила она. «Он испорчен», – снова пришлось врать ей.

– И вы ей все уже сказали? – спросил Нежданов.

– Пока нет, – ответил Купянский.

– Как же вы объяснили ей отсутствие матери и отчима?

– Сказали, что они поехали куда-то в магазин и сейчас будут.

– Но это «сейчас» длится довольно долго, – возразил Нежданов.

– Вот поэтому-то я и пришел к вам, Сергей Петрович, – сказал Купянский, вытирая со лба струящийся пот. – Когда настало время открыть девочке правду, я почувствовал, что у меня нет сил это сделать. А жена... на жене лица нет. Медлить нельзя. Девочка что-то уже стала понимать, порывается уйти, все время спрашивает про мать. Инстинкт. Вот мы пошептались с женой и решили просить вас...

– Что? Меня? – воскликнул Нежданов. – Нет, нет... что вы!

– Дорогой Сергей Петрович, – горячо заговорил Купянекий. – Батальон водил в атаку, изранен, ужасы всякие видел, а сказать правду этому ребенку не могу. Жена у меня больная, тяжелую имела жизнь, нервы у нее никуда... не может она... Ну, по-человечески... войдите в положение...

помогите.

– Да как же я... совсем чужой человек?..

– Вот и хорошо, что чужой! – еще жарче заговорил Купянский. – Вам легче будет говорить. А мне... а я... слишком переволновался сегодня. Ну, пожалуйста, прошу вас! Я знаю, что вы человек добрый...

– Я? В первый раз слышу.

– ... Но с сильным характером...

– Я? У меня?

Купянский упрашивал долго. Нежданов стал сдаваться. Выпил стакан воды. Вытер пот с лица.

– Ну, идем. Ей Богу, не знаю, как это делается...

– Ничего, – обрадовался Купянский. – У нас валерьянка наготове, да и мы с женой поможем. Ну, пожалуйста...

Они прошли по коридору, и Купянский открыл дверь, на которой белой краской была намалевана цифра 8. За столом, посредине комнаты, где был накрыт чай, сидели жена Купянского, Вера Павловна, и худенькая, бледная девочка. Она так испуганно посмотрела огромными серыми глазами на Нежданова, что у того мгновенно снова вспотел лоб и похолодели ноги. Неожиданно для самого себя, он повернулся и вышел из комнаты.

– Вера Павловна, подите-ка сюда, – бросил он на ходу.

Он исчез за дверью, и когда Купянская вышла к нему, он умоляюще сложил руки на груди и зашептал:

– Не могу, ей Богу, не могу!.. Увольте!.. Извините, Вера Павловна, сил нет. Вы уж сами... вы – женщина... вам легче. Посадите ее с собой, обнимите, поплачьте вместе...

– Да я уж вижу, что не можете, – кивнула седой головой Купянская. – Я говорила мужу, что должна сказать я. А он мои нервы жалеет... вас решил позвать. А из вас какой толк? Сами – комок нервов.

Она решительно повела плечами, вытерла рукавом слезу и скрылась за дверью. Нежданов затаил дыхание. Послышался голос Купянской. Она что-то говорила тихо, мягко, убеждающе. Потом Нежданов услышал тихий, плачущий голос девочки.

Нежданов растерянно посмотрел на часы и увидел, что уже давно пора в редакцию.

«Шанхайское утро»

Редакция, контора и типография газеты «Шанхайское утро», в которой работал Нежданов, помещались в одном здании. Когда-то здесь был ресторан, а потому комнаты редактора и сотрудников в прошлом были ресторанными отдельными кабинетами. Это давало сотрудникам газеты материал для бесчисленных гривуазных шуток. Внешне все

помещения газеты были непрезентабельны и неуютны. Потолки были грязны, протекали от дождя, были покрыты пестрыми разводами и потеками от сырости. Когда-то красивые обои – разных цветов в разных комнатах – теперь выцвели, были порваны, во многих местах отстали от стен и висели лохмотьями. По углам раскачивалась пыльная паутина, а пол всегда был покрыт бумажками и окурками; встать, подойти к пепельнице и положить в нее окурок было лень, сотрудники предпочитали бросать окурки прямо на пол, почему он и был густо испещрен черными пятнами.

Посмотрев вокруг, внимательный, склонный к логическому мышлению наблюдатель немедленно отмечал в уме, что это помещение, эти комнаты нелюбимы, может быть, даже противны людям, работающим здесь, и сейчас, входя в редакцию, Нежданов думал, что это, конечно, верно. Нежданов думал, что группа русских людей, работавших здесь, в этой газете, не любила ее, не уважала и на свой труд смотрела, как смотрит на свою тачку прикованный к ней каторжник. Одна из самых интересных в мире профессий – газетная – здесь, в тех условиях, которые были созданы руко водителями «Шанхайского утра», превратилась в бессмысленную, серую, механизированную профанацию живого, нужного и полезного дела. Нежданов думал сейчас, что, называясь эмигрантской газетой, «Шанхайское утро» было далеко от искреннего обслуживания интересов русских эмигрантов; вернее, эти интересы обслуживались, но постольку, поскольку это не мешало, прежде всего, коммерческим интересам владельцев издания. Ничего не понимая в газетном деле, издатели смотрели на свою газету так, как смотрит владелец магазина на свое предприятие, – и это было настолько наивно, откровенно и цинично, что сотрудники газеты иначе издателей не называли как «хозяевами», «нашими лавочниками», «охотнорядцами», а газету, в которой работали, – «лавочкой».

Во главе газеты много лет стоял редактор Николай Лаврентьевич. Нежданов считал его, несомненно, интеллигентным человеком с большой эрудицией, неплохим журналистом. Но Нежданов знал, что в тех условиях, в какие Николай Лаврентьевич был поставлен много лет, в той зависимости от постоянных коммерческих соображений, которые и в его глазах уже давно превратили газету в «лавочку», он растерял с годами и способности журналиста, и умение писать, и простое, человеческое отношение к тем людям, которые работали с ним в одном деле, были подчинены ему и фактически давно уже исполняли не только свои обязанности, но тащили на своей спине и те обязанности, за которые получал жалованье он, редактор. Уже давно потеряв всякий интерес к своему делу, Николай Лаврентьевич смотрел на него так же, как и сотрудники, т. е. так, как смотрит каторжник на свою тачку.

При всякой возможности плохо оплачиваемые сотрудники оставляли

газету и переключались на что-нибудь другое. Не любя свое дело, Николай Лаврентьевич так поступить не мог. Мешали уже годы, круглый животик, который он нажил за годы ленивого сидения в редакторском кресле, мешало отсутствие каких-либо профессиональных знаний, кроме газетного дела. Газета и редакторское кресло давали мираж какого-то общественного положения, давали проблематичное право требовать общественного уважения. И Николай Лаврентьевич перестал искать чего-либо лучшего. В своем маленьком газетном мирке он был генералом – хоть и нелюбимым, и неуважаемым, но генералом; зачем было становиться рядовым в каком-либо другом деле? И, решив так раз и навсегда и успокоившись на этом, Николай Лаврентьевич все неистраченные еще силы направил не на вверенную ему газету, а на чревоугодие: любил покушать. В еде топил всякие лишние мысли, томление духа и прежние молодые мечты о какой-то лучшей жизни. Он был непременным гостем на всех банкетах по всякому случаю, на всех свадьбах и ужинах; избегал только поминок и похорон: покойников боялся.

Нежданов быстро поднялся по лестнице и вошел в помещение редакции. В комнате сотрудников было сине от табачного дыма. Воздух был прокислый, тяжелый, как это всегда бывает в сырых и непроветриваемых помещениях. Дробно стучали пишущие машинки.

– Сергей Петрович, – крикнула сидевшая за машинкой молодая девушка. – Идите сюда. Какой ужас эта история на авеню Эдуарда VII! Вы, конечно, уже знаете?

– Конечно, Мариша, – и Нежданов рассказал о том, что ему пришлось увидеть и услышать за богатый событиями день.

Мариша смотрела на него, расширив глаза. Чувственные, толстые, влажные губы девушки, за которые сотрудники дразнили ее готтентоткой, раскрылись совсем по-детски. Девушка была очень молода, но уже самоуверенна, а иногда и заносчива; впрочем, на это ей давали некоторое право ее «с перцем» написанные маленькие фельетоны.

– Ужас, ужас! – повторяла она, слушая рассказ Нежданова и морщась, словно от зубной боли. – Я места себе не нахожу... Не могу вот писать...

– Но и смешное в трагичном тоже всегда есть, – откликнулся, перестав стучать на машинке, молодой человек в круглых американских очках. – Иду я по авеню Жоффр, а из окна одного дома какая-то толстуха кричит стоящему на тротуаре господину: «Ой, – говорит, – я видела своими глазами: аэроплан летит, а из него выпадывают два пулемета. Черные, крутятся... ужас! Потом – трах-х-х!»

Все засмеялись. Высокий, худой переводчик с английского, у которого вверх и вниз по тоненькой шее словно бегало огромное адамово яблоко, крикнул:

– Вот я вам расскажу. Ровно в пять часов я разговаривал на углу Пер Робер и авеню Жоффр с Соломончиком – знаете, этот, который всегда в

«Ренессансе» фруктовую машинку крутит. Разговариваем и слышим отдаленный гул: это был взрыв на Эдуарде VII. И вот полчаса тому назад звонил по телефону одним знакомым. А они мне рассказывают: «Вы знаете Соломончика? Он сейчас только от нас. Он чуть не погиб на Эдуарде VII. Зашел в один дом, а в это время – как трахнет! Дверь вылетела, все стекла вон, все в крови. На Соломончика труп упал, а ему хоть бы что!». – «Жаль, жаль, что не разорвало, – говорю я. – Меньше бы врал».

В редакцию потоком прибегали и таким же потоком уходили бесконечные любопытные – узнать, что нового, какие еще выяснились подробности сегодняшнего ужасного дня. Каждый из них приносил новые слухи – подчас самые вздорные и вызывавшие общий смех или просто раздражение. Подписчики надоедали и телефонными звонками, которые трещали почти беспрерывно. Все это свидетельствовало о том, что город был перепуган и теперь ждал еще больших ужасов. У прибегавших узнать «что-нибудь новенькое» в глазах светился животный страх, некоторые просто пугали своей бледностью и растерянным видом. И в ответ на докучливые и надоедливые вопросы посетителей сотрудники газеты в некоторых случаях не отказывали себе в злом удовольствии помучить паникеров.

– Ну, это еще что. Это пустяки! Вот что завтра будет!

– А что? Что? – округлялись глаза паникера.

– Завтра, говорят, прилетят пять тысяч бомбовозов. Приказано снести Шанхай с лица земли.

– Нет, правда? Что вы, что вы?!

– За что купил, за то и продаю. Говорят.

Посетитель бомбой вылетал из редакции, а сотрудники хохотали. Вернулся сотрудник, побывавший на Зиккавейском кладбище, куда свозили трупы. Сотрудник был взволнован и бледен, хотя, ведая уголовным отделом, в своей газетной практике видел немало кровавых сцен.

– Вот, господа, настоящий ужас, – рассказывал он. – Сложили трупы штабелями, как дрова, стали считать по ногам. Не выходит никак, расходится цифра с количеством голов: у многих одна нога, другие – без ног. Стали считать по рукам – то же самое. Тогда – по головам. Но и голов многих нет. Тогда рассердились и стали считать по туловищам. Пока зарыли уже несколько сот трупов.

Пришел редактор. Николай Лаврентьевич был маленький, кругленький, с большим животом, жидконогий. Ходил он, как-то странно выворачивая короткие ноги, покачивая животом и отставляя растопыренные кисти рук от туловища. За эту походку сотрудники прозвали его «беременной уткой», и этому прозвищу нельзя было отказать в художественной меткости. У Николая Лаврентьевича было всегда хорошо

выбритое, холеное, красное лицо, апоплексически одутловатое. У него потная, вялая ручка, на среднем пальце правой руки огромный перстень. На бесцветных, всегда бегающих, никогда не смотрящих на собеседника глазах были американские очки. Впрочем, иногда, в особенно важных случаях Николай Лаврентьевич втыкал в глаз монокль.

Своей наружностью Николай Лаврентьевич был очень доволен, считая почему-то себя очень похожим на британского политического деятеля – что-то собирательное от Асквита, Чемберлена, Грея. Перед англичанами и их политической мудростью Николай Лаврентьевич готов был распластаться в своих пространных статьях и распластывался постоянно, неприятно поражая некоторых националистически настроенных читателей газеты «Шанхайское утро». Считая классическую надменность гордых бриттов обязательной и для себя, Николай Лаврентьевич на всех фотографиях, где ему приходилось фигурировать в качестве редактора «Шанхайского утра», принимал всегда гордую позу и придавал своей ординарной физиономии выражение сугубой надменности и брезгливости. Именно таким маленьким уездным Чемберленом он был изображен, по его требованию, и одним неплохим художником: монокль, надменный поворот головы, несколько откинутой назад. Кстати, владея пером, Николай Лаврентьевич часто расходился с законами стилистики и, особенно, грамматики и правописания. Слово «надменный» он писал, например, почему-то через ѣ надмѣнный. Когда ему кто-то в редакции осторожно указал на эту ошибку, он сказал, что это написание через ѣ более отвечает характеру и особенности этого слова. «Так крепче, как-то сильнее и более красиво», – сказал он.

Один доллар шестьдесят центов

Николай Лаврентьевич вошел в редакцию еще более развинченной, вихляющей походкой, чем всегда. И еще более, чем всегда, бегали его глаза под американскими очками. Он как-то поблек, посерел за этот день кровавых впечатлений: личной храбростью Николай Лаврентьевич не обладал. Он неопределенно обвел своими очками всех сотрудников в репортерской комнате и расслабленно сказал:

– Ужасный день! И если этот аэроплан сбросил свои бомбы на самом оживленном углу Шанхая намеренно, по плану, то следующий удар, конечно, будет по нашему углу – вот где находится «Шанхайское утро». Это тоже оживленный перекресток. Ужасно, ужасно, ужасно!

И хотя таких оживленных перекрестков в Шанхае сотни, Николай Лаврентьевич произнес свои слова с печальной убежденностью обреченной жертвы и, не ожидая ни от кого реплик, задумчиво и расслабленно поплыл в свой редакторский кабинет.

– Фью-ю, – свистнул один из репортеров. – А наш Чемберлен-то не в

себе. Здорово испужались, так сказать.

Николай Лаврентьевич позвал к себе секретаря.

– Вот что. Там сотрудники, я вижу, целые романы пишут про сегодняшний день. Не надо. Мне не надо крови, не заливайте ею газеты, меня тошнит от крови. Только сухие факты, без романтики и громких фраз...

– Но, Николай Лаврентьевич, город потрясен, все интересуются, звонят по телефону, требуют подробностей. Это так естественно...

– Только факты, повторяю вам! – надменно повел плечами Николай Лаврентьевич. – Никакой крови, никаких личных впечатлений. Какие там могут быть впечатления у наших писак... безграмотность, чушь, ерунда, глупость!.. Идите и делайте газету. Впрочем, передайте Нежданову...

Через пять минут секретарь сообщил Нежданову:

– Мне очень неприятно говорить вам это, но мне приказано. Один из хозяев звонил по телефону. Он недоволен тем, что вы, верстая газету, два раза пропустили объявление о мозолях...

– Это какое? – удивленно переспросил Нежданов. – «Мозолин» в один дюйм?

– Да. Он просил передать, что если это повторится еще раз, – вы будете уволены.

Нежданов оторопело посмотрел на секретаря. Потом захохотал:

– Вы не шутите?

– Увы, Сергей Петрович, нет.

Нежданов вдруг покраснел от гнева.

– Послушайте! Это объявление в один дюйм стоит восемьдесят центов за помещение его в газете один раз. Два раза – один доллар шестьдесят центов. Если бы я пропустил его еще раз, издатели потеряли бы два доллара сорок центов и уволили бы меня за это – сотрудника издательства в течение почти пятнадцати лет! Но ведь это чудовищно! Я не буду вам подчеркивать, что я интеллигентный человек, пишу статьи, рассказы, наконец, написал и издал несколько книжек. Я редактировал газету в Харбине, у меня общественный стаж... Объявление о мозолях в два доллара сорок центов – и живой, нужный газетный работник! Вы понимаете, какая это чепуха? Это что же – издевательство?

– Нет, Сергей Петрович, – мрачно и в то же время сочувственно проговорил секретарь, – это не издевательство. Это система. Деньги для этих людей – все.

– Вы поймите только, – горячо заговорил Нежданов. – Я русский человек, эмигрант, выброшенный из России, в прошлом офицер, был на германской войне, участвовал в гражданской войне. Ранен, контужен. Я пятнадцать лет работаю в газетах наших издателей. Я попал в случайную зависимость от них, я несу им свои знания, свой труд, лучшие годы своей

жизни, свою кровь, свои нервы, свой мозг. Но я пропустил объявление о мозолях в восемьдесят центов...

– И потеряли расположение хозяев, – покачал головой секретарь. – Эх, милый человек... как вы не можете до сих пор понять нашей обстановки? Ведь мы не люди, мы – служащие! Для хозяев мы не интеллигентная сила, ведущая их газету, создающая им какой-то, пусть проблематичный духовно, но вполне реальный финансовый успех. Мы – приказчики. Да, приказчики в лавке. Понятно? Для наших хозяев контора, сборщики объявлений, инкассаторы, люди, приносящие живые деньги, – дороже, нужнее нас. Мы что-то пишем, но нам нужно платить, мы – прямой расход и никакого дохода. И, кроме того, у нас какие-то вечные требования, мы просим прибавок, мы хотим есть, мы просим авансы, мы иногда бунтуем, так как все наше нутро против явной и ничем не прикрытой эксплуатации, против полуголодной жизни. Нам, интеллигентному пролетариату – мы-то и есть самый настоящий пролетариат! – некуда пойти, наш труд малоприменим заграницей. И потому мы в руках вот таких хозяев...

– Пойду завтра разговаривать с ними, – сказал Нежданов.

– Не советую, – снова покачал головой секретарь. – Вы в возбужденном состоянии. Они грубы, когда дело касается доллара. Наговорите друг другу мрачных вещей – и сделаете здесь вашу работу невозможной. Я посоветую вам другое. Пойдите завтра в контору, расскажите ее управляющему про ваше «преступление» – он, конечно, уже знает о нем – и заявите, что так как издательство, благодаря вашей вине, потеряло один доллар шестьдесят центов, вы просите вычесть их из вашего жалованья.

– И вы думаете, что хозяева возьмут эти деньги из моего нищенского жалованья?

– Всенепременно! И не поморщатся. А инцидент будет ликвидирован. Поверьте моему опыту, у меня уже была такая история, только из-за трех долларов.

– Ну, ладно, так и сделаю, – сказал Нежданов.

Он вышел на балкон. Была уже ночь – черная, душная шанхайская ночь. Журналист шумно вдохнул в себя воздух. На душе было тяжело: день был ужасный во всех отношениях. Где-то за городом изредка бухали пушки. Розовело небо от далекого зарева пожара. К Шанхаю неумолимо и грозно вплотную подошла война.

Впервые опубликовано и печатается по: Россияне в Азии. 2000. № 7. С. 15-39.

Василий Степанович ЛОГИНОВ *(1891–1945?)*

Литератор и журналист Василий Логинов родился 28 июня (ст. ст.) 1891 г. в городе Екатеринбурге Пермской губернии в купеческой семье. Окончил юридический факультет Петербургского университета. В конце 1919 г. уехал из Екатеринбурга во Владивосток, затем эмигрировал в Японию. В 1923 г. переехал в Харбин, где занялся журналистикой. Печатался в газетах «Новости жизни», «Русский голос», «Харбинское время», в журналах «Рубеж», «Казачий клик», в сборниках «Понедельник», «Багульник», «Врата». Писал стихи, фельетоны и статьи под псевдонимами «Капитан Кук», «Лингва». Автор сборника рассказов «Ял-Мал» (1929), поэтической книги «Створа триптиха» (1932) и др. Умер в глубокой нужде в харбинской больнице. По другим сведениям арестован и депортирован в СССР.

Ист. и лит.:
Перелешин В. Два полустанка. Амстердам, 1987.
Резникова Н. В русском Харбине // Новый журнал. 1988. № 172-173.
Таскина Е. Василий Степанович Логинов // Русская Атлантида. 2005.
Химамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 187-188.

ЦАРСТВО ЯЛ-МАЛ
(В сокращении)

Памяти М.К.

(Полуистлевшие письма в шкатулке)
Нужно быть привычным жить на горах.
Ницше

МОЯ ДОРОГАЯ!

Я пишу Вам через месяц после своего путешествия. До сих пор я еще не успел отдохнуть и привести в порядок спутанные мысли. Такие странные и грандиозные впечатления. Иной раз, кажется, что все это сон, что никуда я не ездил, ничего не видал, а просто-напросто проспал целых два месяца, и этот странный, увлекающе многообразный сон принял за действительность.

Не осуждайте меня строго, если я что-либо не доскажу в этом письме, − это весьма возможно, т. к. всех мелочей не запомнишь, хотя моя профессия и обязывает меня их запоминать.

Итак, я начинаю.

В декабре этого года, в маленьком сибирском городишке, где я жил вместе с горсточкой интеллигентов, убежавших сюда от бурь революции, распространился слух. Слух до такой степени странный и неопределенный,

что нельзя было не только его проверить, но даже точнее определить то, что он возвещал.

Помню, что я был в гостях у инженера Крезо, француза, когда впервые услыхал о «Ней».

После обеда Крезо позвал меня в кабинет, тщательно закрыл дверь, пригласил сесть в кресло и, открыв ящик письменного стола, вынул оттуда какую-то вещицу и передал мне.

Это был стальной квадрат, каждая сторона которого была не менее двух вершков. На его поверхности, замечательно искусно зачеканенным золотом, было изображено восходящее солнце. Я долго любовался этой чудесной пластинкой и был вне себя от изумления, когда на вопрос, откуда она, Крезо ответил:

− С верховьев Тапсуя. Нашел вогул Иван Пакин.

И тут я услышал следующее. Где-то в середине полуострова Ял-Мал среди болот и тундр, живет «Она». Кто «Она», зачем она там живет − на этот вопрос никто не мог бы ответить.

Приезжие вогулы, изредка каменные самоеды-зверовщики случайно, находясь на промысле, забредали к ней и, возвратившись, рассказывали, насколько могли, удивительные вещи.

У большого озера стоит дворец − «Белый Дом», по выражению инородцев, огромное здание из какого-то белого, как снег, камня.

«Она» − женщина ослепительной красоты, и слова ее подобны звону серебряных колоколов.

Белые смеющиеся веселые люди окружают ее. Целые табуны оленей к ее услугам, по озеру плавают лодки, которые движутся с помощью таинственной силы, т. к. на них нет ни весел, ни парусов.

Все самоеды, вогулы и остяки, все таежные и тундровые бродяги, уходящие в дебри за сотни верст и случайно попавшие к «Ней», всегда были ласково приняты, накормлены досыта и, отдохнув, уходили. На прощание многим из них «Она» давала стальные пластинки с изображением восходящего солнца. Вот слух, который распространился в нашем городке и который многие, в том числе и я, приняли за инородческую легенду. Ведь это вполне возможно.

Среди коренных обитателей Сибири можно много услышать красивых легенд о святых, о шаманах, о разнообразных подвигах каких-либо героев, чьи имена связаны с туземной мифологией. Обыкновенно все эти сказания сводятся к тому, что есть блаженные страны, где живут могущественные люди, имеющие необыкновенное счастье на охоте, где можно досыта поесть и убить несметное количество оленей.

Легенда о «Ней» имела все признаки местных легенд налицо.

Пока я рассматривал пластинку и слушал рассказ Крезо, в комнату вошел доктор Гралин и принял оживленное участие в нашем разговоре.

Я запомнил его речь потому, что только благодаря ей мы отправились в это далекое путешествие.

− Господа! Здесь нас трое. Все − представители свободных профессий, которые теперь неприменимы к жизни в силу создавшихся обстоятельств. Инженер, доктор и журналист. Мы выброшены за борт, наши знания презирают, и не за горами то время, когда нас поведут к расстрелу только за то, что мы – культурные люди, что мы обладаем известным умственным багажом, и даже за то, что мы говорим другими словами и носим другое платье, чем представители разнузданной черни, захватившей в свои руки Россию.

Мы волей-неволей должны пребывать в небытии, так мы боимся сказать свободное, присущее нам слово, боимся держать себя так, как нам подобает, боимся, наконец, просто-напросто иметь свое собственное выражение лица.

Здесь, в маленьком городишке, мы прислушиваемся к далекому грохоту кровавой анархии и с часу на час ждем, когда эта волна докатится до нас и сметет нас с лица земли. Жить стало невозможно.

Невозможно не потому, что нам грозит смерть. Это было бы лучшее, что нам может подарить действительность. Жить стало невозможно потому, что то, во что мы верили, над чем трудились всю жизнь и что считали краеугольным камнем всякого общественного бытия, злобно, по-дикарски топчется в грязь, уничтожается.

Россия. Русский народ. Искусство. Наука. Все, относящееся к ним…

Благоустроенные имения грабятся и сжигаются, целые библиотеки превращаются в кучи пепла, умные, талантливые люди, на которых вся надежда, которые могли бы дать жизни больше, чем эта многомиллионная разнузданная масса дает смерти, убиваются из-за угла ничтожествами и преступниками.

Я стар. Я не в состоянии преодолевать препятствия, выносить невзгоды далеких путешествий.

Но вы молоды, сильны и энергичны. Отправляйтесь туда, к ней, узнайте, кто «Она». Кто знает, быть может, это не легенда. Может быть, это − Ее царство, лучезарное царство избранных людей там, на Крайнем Севере, где унылые тундры являются прообразом будущего нашей несчастной страны.

Не считайте меня сумасшедшим, я не увлекся легендой, не впал в романтизм.

Но и здраво рассуждать я не хочу. Рассуждать здраво сейчас, в вихре нелепостей и кровавом тумане − просто смешно.

Последнее мое слово вам, которое будет и напутствием, и объяснением моего предложения, – лучше мечта, чем действительность.

И мы решили ехать.

О дальнейшем я вам напишу в следующем письме, так как немного устал, да и хочется спать.

Скажу только, что странное чувство охватило меня, когда наше решение стало бесповоротным.

Мне казалось, что я навсегда расстаюсь с тем, к чему привык, что люблю, − с Россией, с Вами, с родными и близкими людьми. Такое чувство, мне кажется, охватывает переселенцев, которые навсегда покидают свою родину и идут на новые места, чтобы поселиться и жить там. <…>

И в эти минуты – как я любил Россию и ее кровавую неурядицу, если бы вы знали!

Мне много приходилось видеть отвратительно-наглых лиц современных господ положения. Все эти квазипролетарии, развращенные, кровожадные красноармейцы, солдаты, похожие на грубых разбойников.

Как я ненавидел их раньше, до судороги отвращения… И в эти последние минуты я почувствовал, что их люблю, что они − мои, что это − русский народ, несчастный, развращенный, чей прекрасный лик искажен каким-то злобным шутником.

Решение принято. Я покидаю действительность и иду в царство Ее, в лучезарное царство на Крайнем Севере. <…>

Двадцать шестого декабря, на второй день Рождества, я, инженер Крезо и охотник-промышленник Кошуков в 11 часов утра сели в вагон. <…>

В дальнейшем я буду делать выписки из дневника и посылать Вам. <…>

27 декабря.

Великолепное утро. Солнце блестит почти как на юге. Двадцать градусов мороза. Сосны покрыты куржаком, точно белым бархатом. «Станция Льда» стоит на берегу реки того же имени – широкой, с красивыми обрывистыми скалистыми берегами. Сегодня скалы, покрытые снегом, ярко блестят, точно сахарные головы.

Я невольно залюбовался на этот пейзаж с центральной фигурой в нем: парой сереньких низких лошадок, запряженных гусем в удобную высокую кошевку. Эти сибирские кошевки-сани, устроенные из некрашеного дерева и рогожи, чрезвычайно хороши для дальних зимних путешествий: они легки, прочны, мягко и ловко скользят по снегу и не проваливаются в сугробы благодаря широким крепким березовым отводам, устроенным с каждого боку.

К кошевке привязывает вещи Кошуков − черный бородатый мужик, ловкий, как обезьяна, в шапке с наушниками и в широком овчинном тулупе. Рядом с ним стоит Крезо. Низенький, коренастый, в такой же шапке и тулупе, с коротенькой трубкой в зубах. Белая лайка с остроконечными ушками, Соболь, − гордость Кошукова − пушистым

комом лежит на дороге. Последнее рукопожатие с любезным хозяином, и мы едем.

Важно, что захватили изрядно с собой сахару. Сахару дорогой нигде не достать, а нужно его много.

Кругом лес, спящий зимним сном. Дорога узкая с глубокими ухабами.<…>

2 января.

В Пелыме. Это знаменитое историческое местечко, куда когда-то были сосланы Бирон и Миних и предполагался быть отправленным Пугачев, представляет сейчас из себя жалкую груду жалких бревенчатых построек.

Пала гусевая лошадь.

Пришлось купить новую. Отсюда зимняк на Конду. Кошуков плохо знает дорогу. Придется поискать проводника. Удивительный человек этот Кошуков. На все руки мастер. Он и за лошадьми ухаживает, и играет роль повара, и, когда нужно, идет на охоту «спроворить», как он говорит, птицу к обеду. Нет в дороге такой неприятности, из которой он не сумел бы выкрутиться с честью. Был случай, что мы налетели на пень и им разворотило сани. Кошуков тотчас срубил березу, осмотрел ее, сказал: «Подходя…», – и через полчаса наши сани были в исправности.

Он же нашел и проводника. Ясашный Павел − мужик огромного роста с окладистой бородой и румяными щеками, типичный вогул: красивый, как раскрашенный деревянный идол. В Пелыме устраиваем дневку. Послезавтра едем.

8 января.

Мы в Шаимском. Странный случай. Дорогой мы сбились с пути, незаметно для себя свернув в боковую дорожку. Было уже совсем темно. Силуэты елей грозно чернели с обеих сторон, а впереди виднелась бездонная пасть леса. Крезо пробовал шутить, уверял, что мы попали в преисподнюю, но шутки не производили никакого впечатления.

Всем становилось жутко в этом страшном молчании спящей тайги.

Наконец Кошуков, посоветовавшись с Павлом, предложил остановиться и заночевать.

«Дальше ехать − дольше блуждать», − заявил он. Мы, конечно, согласились.

Лошади мигом были распряжены, и яркий костер, треща и стреляя сырой хвоей, заплескал языками пламени в угрюмой чаще. Кругом еще плотнее сгустился мрак. Павел сосредоточенно мешал кашу в котелке, висевшем над огнем. Крезо лежал на разостланном тулупе с неизменной трубкой в зубах, Кошуков рубил смолевые ветви, а я глядел бесцельно на огонь. Вдруг тонкий заливистый звон колокольцев прорезал плотную

ночную тишину. Звуки неслись издалека, и было слышно, как они приближаются к нам. Мы все переглянулись. Через каких-нибудь пять или десять минут раздалось похрапывание лошади, и пара гусем лихо подкатила к самому костру. Из саней вылез кто-то в тулупе и оленьей шапке, подошел к костру и, посмотрев на нас зелеными неподвижными глазами, пробурчал: «Зачем разложили костер на дороге?»

Мне запомнились его седая всклокоченная борода и зеленые, страшно неподвижные, с тяжелым взглядом, глаза. Он вынул из рукавицы трубку, взял уголь из костра и начал им раскуривать.

Раздался ярый треск сучьев, и все исчезло. Ни лошадей, ни человека в тулупе. Только Павел у костра, бледный и трепещущий, что-то бормотал, глядя в лесную чашу.

− Что такое?.. − крикнул я.

− Хозяин вотчинник! − прошептал вогул и стал вдруг кланяться на все четыре стороны. Затем он взял из котла немного каши и, наложив ее на бересту, отнес на ближайший пень.

Кошуков молча и одобрительно на него посмотрел. Мы с Крезо, пораженные, не знали, что сказать.

− Это − приклад, − сказал Кошуков.− Жертва, значит, хозяину. Чтобы не сердился и был нами доволен.

Мы не могли уснуть всю ночь, и никогда мне не было так страшно, как в эти длинные темные часы глухой таежной загадочной ночи.

Много из чудес можно объяснить, но чем объяснить этот случай? Гипноз? Но кто гипнотизировал? Массовая галлюцинация… Но почему она у всех однородна?

10, 11 и 12 января.

Вторую неделю в пути. Ехать ужасно надоело. Бесконечное однообразие утром, с рассветом – чай, процесс запрягания лошадей, садишься в кошевку и не вылезаешь до обеда. Затем разводится костер, Кошуков отправляется на охоту, через полчаса, а иногда и раньше, слышится выстрел, и Кошуков возвращается с глухарем в руках.

К вечеру – опять привал, костер, ужин и молчание, т. к. говорить почти не о чем, обо всем переговорили. Только однажды, когда я спросил Павла, слыхал ли он о «Ней», неразговорчивый вогул неожиданно оказался по-своему красноречивым.

– Я не видел «Ее», но на промысле встретил одного из «Ее» людей. Он был белый и много смеялся, хлопал меня по плечу и подарил мне четверть фунта отличного пороху вместе с медвежьим ножом, который я сейчас ношу на поясе.

Что такое «белый» человек? Почему все слухи говорят о каких-то «белых» людях, окружающих «Ее», загадочную царицу Крайнего Севера?

Я не стал допытываться у вогула, потому что он плохо понимал по-

русски и имел способность молчать, как пень, после двух-трех сказанных фраз, несмотря ни на какие попытки вызвать его на разговор.

Однажды утром мы были разбужены тревожным храпом лошадей. Схватив винтовки, мы побежали по мшистому круглому болоту, какие здесь называют «чашами». Спрятавшись за соснами, мы оказались зрителями невиданного зрелища. Шесть огромных бурых медведей медленно, важно, один за другим, гуськом шли по болоту. Они издавали храп, подобный лошадиному, но во много раз сильнее. Наш Соболь с лаем храбро бросился на них, но они шли, не обращая на него внимания, торжественно выступая, цари угрюмой тайги. И было что-то гармонически величественное в этом необыкновенном шествии зверей по мягким мхам болота на сумрачном фоне елей и пихт. Мы тихо отошли назад, боясь обратить на себя их внимание. А лошади бились в пене. <…>

Февраль.

Мы едем… Тоска давно сжала наши сердца неумолимо жесткими объятиями, и нет надежды на конец нашего пути. Мы едем… Дни бегут за днями. Мерно бегут легкой рысцой косматые лошаденки, запряженные гусем, и изо дня в день деревянные отводы наших саней бороздят глубокий пухлый снег. В мутном экстазе безразличия падают рои снежинок с белого неба на белую землю. Зачем они падают? Может быть, для того, чтобы скрыть унылые буреломы и спаленные лесными пожарами огромные лесные пространства, где мхи да болота прячутся под колючими шатрами столетних елей… Унылые картины бедного дикого севера.

Вот огромный кедр со сломанной грозой верхушкой. Желтые колючие длинные щепы веером торчат у слома и похожи на зубы в оскаленной пасти какого-то чудовища. Умершая вершина повисла над дорогой и образует арку, вот-вот готовую упасть и своей многопудовой тяжестью придавить несчастного путешественника.

От белых открытых пространств лесных пожарищ, давящих своей убогостью и уродством, мы уходим в темное царство ельников.

Там – мрачно и жутко. Тесно стоят столетние ели, перемешавшись с пихтой; их прямые шершавые стволы похожи на странную колоннаду храма лесному божеству. И если есть хозяин здешних лесов, о котором с трепетом говорят вогулы, то живет он, конечно, здесь. Потому что часто чувствуешь тяжелый взгляд его зеленых бессмысленных глаз и часто видишь, как мелькнет и исчезнет его косматая, растрепанная белая борода… Мы едем… Белое однообразие унылых дней, монотонность тоскливых картин гасят в наших сердцах последнюю надежду. <…>

Дни бегут, как наши лошади, – медленно и неуклонно. И нет надежды на конец нашего пути.

Февраль.

Вчера захворал Крезо. У него заболела голова, потом начался озноб. Я

хотел было остановиться, но он, ругаясь, настоял на том, чтобы ехать дальше. Сегодня мы прибыли на речку Тапсуй. Крезо совсем плох. Я давал ему на ночь хины, и, хотя он пропотел, улучшения не было, он часто впадал в бред. На лице появилась какая-то красная сыпь. Я теряюсь в догадках − чем он болен? И не знаю, как его лечить. <…>

Тапсуй − узенькая мелководная речонка с лесистыми дикими берегами. Мы устроили стан как раз на берегу и испугали целое семейство лосей, которые вскачь бросились в лес.

Февраль.

Крезо, всегда бодрый, веселый и энергичный, начал после болезни как-то странно задумываться. Он часто глядел на небо, точно отыскивая там какую-то неизвестную никому звезду, шумно вздыхал и молчал целыми днями. Однажды днем, во время обеденной остановки, когда костер уже трещал и шипел, разбрасывая брызги обгорелой еловой хвои, Крезо молча поднялся с земли, взял лыжи и пошел в лес. Мы ждали его приблизительно с полчаса. Затем я отправился за ним. Он оказался в полуверсте от нашего стана у большого кедра, где вырубил маленькую елочку и ножом старательно очищал ее от ветвей.

− Крезо, что Вы здесь делаете?

− Я вырезаю хлыст.

− Зачем Вам хлыст?

Крезо пристально поглядел на меня и рассмеялся. Мне стало жутко от его смеха, жесткого, как барабанная дробь.

– Я буду бить тех, кто мне помешает найти «Ее». Мы никогда не найдем «Ее», Сабанеев, – вдруг с отчаянием прошептал он и сел на снег рядом с лыжами.

– Успокойтесь, ради Бога. Вы преждевременно приходите в отчаяние. Наше путешествие еще только началось, и никто нам не может помешать его продолжать. Вам только кажется, что кто-то нам мешает. Пойдемте к огню − пора обедать…

− Слушайте, Сабанеев… − сказал Крезо, и слова его звучали спокойно и грустно. – Вы слышите, как проходит время? Медленно, ровными, четкими, но неслышными шагами. Когда я начинаю думать о времени, я делаюсь пустым и прозрачным, как стеклянная колба. Отчего это?

В этот момент меня ничто не интересует. Я отдаюсь всецело созерцанию идущего времени… Идущего времени. И время, его мучительно медлительный шаг создали они, чтобы нам помешать найти «Ее» царство. <…>

Он соскочил со снега и резко взмахнул прутом, который со свистом прорезал воздух.

– Я покажу им. Я их буду бить, как негодных собак. Если же этого будет недостаточно, я их буду убивать… вот так, смотрите.

Он вынул револьвер и выстрелил в дерево.

− Они маленькие, ничтожные, незаметные. Они, как мыши, бегают вокруг нас, и мы их не замечаем, а они опутывают нас крепкой сетью невозможностей и шепчут, шепчут: вы не найдете «Ее». Разве вы не слышите?

Но удивительно, вы знаете, я даже видел одного из них. Я спал у костра и ночью внезапно проснулся. В освещенном круге, недалеко от меня, чернела мордочка маленького зверька, похожего на кошку. Мордочка напоминала человеческую голову. Хитрые, злые зеленые глазки так и впились в меня.

А противный широкий рот улыбался, обнажая острые зубы. Зверек вилял пушистым хвостом и, казалось мне, мурлыкал. Затем он сказал резким, нечеловеческим голосом… назвал мое имя. Я бросился к нему… Он исчез.

И вы знаете: их много, много… они, как туча саранчи, следуют за нами, выслеживают нас, подсматривают за каждым нашим шагом, смеются над нами и шепчут, шепчут, шепчут. Я ненавижу их… Но это бесполезно, – Крезо в отчаяньи бросил свой прутик и встал на лыжи.

− Идемте обедать, − тихо сказал он и тронулся вперед.

По готовой лыжнице мы летели, как птицы. Мелькали чешуйчатые стволы елей, и темная суровая зелень хвои сливалась с белизной снежного покрова. Священная тишина тайги нарушалась только поскрипыванием лыжных полозьев, и это звучало, как трогательная молитва в огромном храме неведомому Богу. Точно все, что сказал Крезо, было сказано тайге и далеким белым небесам, и теперь мы жаловались им, прося заступничества. <…>

После ужина, забравшись в спальные мешки и накрывшись сверху тулупами, мы с Крезо тихо беседовали друг с другом. Спутники наши спали крепким сном. Крезо был бледен и за день страшно осунулся. За обедом он ничего не ел, отказался и от ужина, все время молчал, глядя на небо, точно отыскивая какую-то неведомую звезду, и только теперь, лежа у костра, разговорился.

− Знаете, Сабанеев, в человеческой жизни есть три страшные вещи: любовь, труд и люди. Это три пробных камня, которыми определяется качество человека, его пригодность к жизни. Если выйдешь цельным, гордым и сияющим из горнила любви – ты будешь счастлив.

Не думайте, что сексуальность − пустяки. Это огромная, это важная вещь, почти такая же важная, как религия, с которой она неразрывно связана.

Если в работе ты будешь творцом, если также ловко и четко будешь ковать свое дело, как кует подкову опытный кузнец, − ты будешь сильным. Если ты сумеешь через толпу людей пронести целыми, нетронутыми их

грязными пальцами, их грубыми словами, свою любовь и свой труд − ты будешь желанным для всех, а больше всего для самого себя.

Любить самого себя, восторгаться самим собой, Боже мой, ведь это предел человеческих достижений. Все философы и мудрецы стремились к этому. <…>

Я − только инженер, человек прикладных знаний, любящий свое дело и не умеющий рассуждать о высоких материях. Но чем больше я живу, в особенности у вас, в России, тем чаще приходит мне на ум вопрос: зачем я живу, зачем вообще все живут?

Ведь не для того же я существую на белом свете, чтоб построить два-три моста и сделать несколько железнодорожных изысканий?

Это будет, так сказать, воплощение моего труда в жизнь, того метафизического труда, о котором я вам говорил, как о пробном камне.

Но этого мало. По моей теории выходит, что, благодаря мостам и изысканиям, я делаюсь сильным. Но я не счастливый и не желанный. Значит, я не живу полной человеческой жизнью. <…>

И так все люди: все они смутно хотят жить полной, настоящей, человеческой жизнью, и все они забывают это желание, потому что кто-то им шепчет то же, что и мне. <…>

29 февраля.

Уже третий день мы не двигаемся с места. Крезо лежит в забытьи. Иногда он приходит в себя и начинает говорить, но так тихо, что слов разобрать невозможно. На третий день, вечером, он попросил есть − это мне показалось хорошим признаком. Я смотрел, как он медленно опускал ложку в котел с похлебкой и вынимал оттуда куски мяса.

Как может измениться человек за какую-нибудь неделю! Раньше это был румяный коренастый здоровяк, всегда улыбающийся, с готовыми шутками на устах. Теперь − желтое, изможденное, костлявое лицо с колючей щетиной бороды смотрело куда-то в даль тусклыми бессмысленными глазами.

Он скоро бросил есть, сложил на груди руки и уперся глазами в пространство.

− Крезо, что с Вами?

− Бесполезно… − прошептал он.

− Что бесполезно?

− Вы никогда не найдете «Ее». «Она» для вас недоступна, «Она» вам не нужна, как и вы ей не нужны.

− Но почему, почему?

− Вы не можете освободиться от них. От этих мышей, что бегают вокруг вас.

Они еще многое вам расскажут, подождите. Вы увидите, что есть на свете огромный черный котел, куда сваливают в одну кучу людей,

поджаривают их на медленном огне. Вместо дров на этом костре − сомнения, заботы и прочая чепуха. А самое главное – вам будет скучно без этих зверьков… Вы к ним привыкли, как привыкают к морфию или кокаину. Нет, бесполезно стремиться куда-то… «Ее» царство мы не увидим никогда.

Поймите, никогда! Какое это ужасное слово, какое это мрачно-ликующее слово – «никогда»…

Крезо опустил голову на руки и заплакал. Вдруг он вскочил, как будто какая-то невидимая пружина подтолкнула его. Я даже ясно видел, как в момент сильного прыжка ноги его отделились от земли.

− Я здесь… − закричал он и побежал к березе.

Не успели мы опомниться, как через несколько мгновений он был на самом верху дерева.

Странная картина представилась нам. На западе ярко-красная заря широкой полосой охватила небо, и лохматые сучья мшистых и ветвистых елей мрели в воздухе грозными силуэтами.

Узкая снежная лента Тапсуя, убегая в темноту буреломов и валежника, казалось, вся окрасилась человеческой кровью. На фоне алого неба чернели столбами, молчаливо и загадочно выделяясь, три разбросанных в разных местах сосны, и нижняя часть их стволов переходила в черное сплошное пятно лесных дебрей, где нельзя было различить ни ветки, ни кустика, ни одного резкого очертания. И на самой вершине покрасневшей от заката березы стоял сумасшедший в изорванном меховом пиджаке без шапки. Он смотрел неподвижным взором на запад, вытянув вперед руку и крепко ухватившись другой за колеблющуюся вершину дерева.

Мы замерли. Вдруг раздался звучный голос Крезо: «Прими это сердце…».

Слова эти совпали с револьверным выстрелом. Тело Крезо, ринувшись вперед, повисло на тонких сучьях березы. Гибкая вершина наклонилась, треснула, и Крезо, как подстреленная птица, ломая сучья, полетел вниз.

Мгновение – раздался тяжелый стук упавшего на притоптанный снег тела. Крезо лежал на животе, раскинув руки и ноги, и струйка крови медленно сочилась из его правого виска, окрашивая снег и понемногу впитываясь им. Я помню впечатление алого: оно не изгладится из моей памяти. Алая кровь, алое небо, снега на реке… Мы молчали, с ужасом глядя на труп. Соболь, дрожа, подполз к Крезо, лизнул его лицо и жалобно завыл.

На другой день Павел и Кошуков вырыли могилу на берегу Тапсуя под тенью огромного кедра, который печально склонил над рекой зеленую тяжелую вершину. <…>

Утром после похорон Крезо я, Кошуков и Павел еле заметной тропой направились к северу по направлению к деревне Сом-Ях-Сос-Пауль. Лошади, поминутно проваливаясь в снегу, с трудом продвигались вперед. Мы шли на лыжах по белой унылой равнине, очевидно, болоту. К вечеру, сделав около 30 верст, мы наткнулись на лесистый островок, где устроили стан. Нам всем было как-то не по себе после смерти Крезо; какие-то жуткие предчувствия волновали каждого из нас, но никто не хотел их выразить, хотя всем чувствовалось тревожное настроение товарищей. Павел перед сном усиленно молился своему Хозяину-Вотчиннику и принес ему в жертву целый горшок каши.

Утром, оглядевшись, мы убедились, что находимся между двумя речками, которые, сливаясь вместе, составляют реку Лырягу. К слиянию этих двух рек мы и направились.

В обед сделали привал, Павел остался кормить лошадей, Кошуков отправился на охоту добыть глухаря, а я от нечего делать пошел вместе с ним. Мы шли на лыжах меж редких зарослей карликов. Соболь старался забраться на лыжи, т. к. поминутно проваливался в снег. Вскоре мы спустились в небольшой овраг и остановились, чтобы отдохнуть у корня вывороченной бурями ели. <…>

Едва мы успели закурить трубки, как Соболь стрелой бросился к вывороченному корню ели и, юркнув туда, злобно залаял. В ответ послышалось глухое рычание. Мы быстро вскочили и схватились за винтовки. Как сейчас помню, Кошуков первым делом освободил ноги от лыж, и неожиданно перед ним оказался на задних лапах огромный бурый медведь. Маленькие глаза зверя горели злобным зеленым огоньком, и длинные когти отбивали дробь, похожую на стук кастаньет. Кошуков выстрелил, и медведь заключил его в свои тяжелые объятия.

Я видел, как он одним взмахом лапы вышиб из рук человека ружье и, ворча, начал топтаться на месте. Я побежал на помощь товарищу. И в тот момент, когда я готовился прицелиться и выстрелить, нога моя задела старый полусгнивший ствол какого-то дерева. Я невольно взглянул на него и забыл о медведе.

Передо мной на черном корявом сучке висела стальная пластинка, на которой вычеканенным золотом было изображено восходящее солнце.

Этот момент забвения всего окружающего я никогда себе не прощу. Когда я очнулся и бросился к медведю, Кошуков уже лежал на снегу, и зверь, хрипло ворча, готовился скальпировать его голову.

Внезапно раздался выстрел. Зверь упал на бесчувственного Кошукова; из-за выворотки показалась белая фигура человека с дымящимся ружьем в руках.

Человек подошел к Кошукову, вытащил его из-под медведя и, обернувшись ко мне, сказал чистейшим русским языком с сибирским

акцентом, выделяя «о»:

− Нисколько не пострадал. Только в обмороке.

− Кто вы? − спросил я после некоторого замешательства, вызванного удивлением.

− Моя фамилия Тарсин. Не удивляйтесь, почему я оказался здесь; я вам все объясню. Я − житель Ял-Мала.

− Ял-Мала?! − воскликнул я. − Значит, это не сказка? Значит, царство Ее на Крайнем Севере не мечта, не миф, а действительность! Значит, я не напрасно блуждаю по этим дебрям, стремясь в царство Ял-Мал? Боже мой! Если бы вы явились неделю раньше, мой бедный Крезо не погиб бы так ужасно...

− Как! Инженер Крезо погиб!? − удивился Тарсин.

− Как, вы знаете, что со мной был инженер Крезо? – в свою очередь удивился я.

− Я знаю, что вас выехало со «Станции Льда» трое: журналист Сабанаев, инженер Крезо и промышленник Кошуков.

− Кто дал вам эти сведения?

− Радиотелеграф. Тут ничего удивительного нет. Пойдемте ко мне. Я вам все расскажу. Кошуков уже пришел в себя.

Мы все трое встали на лыжи и направились к небольшой бревенчатой избушке, находящейся приблизительно в 30-ти саженях от убитого медведя.

Сидя на нарах, в уютном охотничьем домике, прихлебывая горячий чай и следя за веселыми языками огня в чувале, мы слушали Тарсина. <…>

– Здесь я встретил Ивана Пакина и многих других промышленников-зверовщиков. Рассказав им о царстве Ял-Мал, для того чтобы они знали, что на севере Ял-Мала для них найдется приют и пища после тундровых скитаний, я всегда дарил им стальные пластинки. Восходящее Солнце − эмблема нашего царства, и «Она» хочет, чтоб люди знали об Ял-Мале и помнили о нем. Потому так щедро раздаются пластинки. Кстати, пластинка моя, и я рассудил, что вы непременно побываете здесь.

Я − летчик-авиатор и летаю большей частью для пробы аппаратов, также и потому, что здесь великолепная охота на крупного зверя. Получив известие о том, что вы направляетесь к нам, я вылетел к вам навстречу, рассчитывая вас встретить здесь.

Между прочим пластинка, которая чуть было не сыграла такую роковую роль, была также моей, и потерял я ее при осмотре берлоги медведя, думая сегодня на него поохотиться.

Но вы предупредили меня и чуть было не поплатились за это. <…>

− Скажите точно, где находится царство Ял-Мал?

− 71 градус широты и 39 градусов долготы. Точное определение местонахождения нашего царства.

Я волновался. Шесть часов отделяет меня от Ял-Мал, только шесть часов. Через шесть часов я мог быть там, куда стремилось все мое существо, куда стремился покойный Крезо и за свое стремление поплатился рассудком и жизнью. Я думаю, что полярные путешественники, открывающие Северный полюс и находящиеся в шести часах перехода от него, едва ли испытывали бы такой трепет нетерпения, как я в данный момент. Что полюс? Пустое, унылое место; Ял-Мал − желанное царство, осуществленная мечта многих поколений. Ял-Мал − маяк, зажженный человечеством… Кроме того, меня охватил профессиональный интерес журналиста узнать что-то новое, необыкновенное, неисследованное…

− Когда мы вылетим?

− Если хотите, сегодня… − с улыбкой сказал Тарсин.

− Хочу ли я? Странно об этом спрашивать…

На широкой белой поляне сидела огромная стальная птица с распростертыми крыльями и блестела медными частями своего механизма. Тут же, рядом, стояли наши скромные лошадки, запряженные гусем, и из кошевки выглядывала бородатая голова Павла, покрытая неуклюжей шапкой с оленьими ушами. Кошуков и Павел с удивлением глядели на невиданную птицу, и по лицу вогула я догадался, что он готов обожествить Тарсина и вот-вот принесет ему в жертву горшок каши. Я вошел в комфортабельно обставленную, маленькую каютку летательного аппарата. Там стояли: письменный стол, два мягких кресла, две койки по образцу пароходных поднимались и прижимались вплотную к стенам. <…>

Тарсин садится на седло, похожее на велосипедное, в переднюю будку, устроенную острым углом для авиатора. Тарсин передвигает какой-то рычаг. Раздается тихое, басовое жужжание; жужжание все усиливается; звук повышается…

В окно видно, как образовался вихревой прозрачный круг вместо неподвижного минуту тому назад пропеллера. У Кошукова и Павла, стоящих в отдалении, смешно затрепыхали оленьи уши шапок. Соболь, видимо, лает и грозно ерошит жесткую шерсть, видя странного, сердито рычащего зверя. Серые лошадки испуганно прядут ушами. И вдруг все это побежало назад… Мы покатились на широких полозьях по снегу… Момент, когда мы отделились от земли, я не успел заметить.

Ровно в шесть часов вечера на высоте 500 метров мы летели над тайгой, неуклонно следя за синей стрелкой компаса.

1-го марта.

Находиться в маленькой, комфортабельно устроенной каютке, освещенной электричеством, слушать грозное жужжание пропеллера и знать, что с каждой минутой приближаешься к заветной цели – что может быть лучше этого? Я курю сигару и смотрю на сосредоточенно склоненную спину Тарсина, который поглощен компасом и своими

рычагами.

Он изредка оборачивается, бросает два-три слова и снова углубляется в свою работу. Иногда я заглядываю в окно. Полярная ночь с ярко-блещущими, похожими на яркие глаза невидимых чудовищ звездами.

Термометр показывает 50 градусов ниже нуля. Иногда громадными мерцающими, дрожащими спиралями играет северное сияние. О, эта вечная ночь с ее невыносимым холодом, нестерпимо яркими звездами и неестественно живыми, молчаливыми мерцаниями полярных сияний! Она похожа на Смерть, величаво царящую в своем царстве. Невольно душа охватывается странной тревогой и истомленностью, и веяние близкого ужаса чувствуется кругом. Я помню, как однажды на севере появился столб белого огня. <…>

Высокие льдины и какие-то странные скалы молчаливыми силуэтами смотрели в огненное небо, озаренное холодным, трепетным, странным светом. И меня подавило тогда впечатление полной и страшной безжизненности всей этой картины. Здесь не было ни человеческой мысли, ни присутствия просто какого-либо живого существа. Были стихийное молчание и стихийные переливы странного холодного света. Была спокойная, бесчувственная, грозная в своей огромности Природа. <…>

2-го марта.

Аппарат пошел вниз. Я смотрю на часы. Ровно 11 по полудню. Легкий толчок… Чувствую, что мы катимся вперед… Остановка… Вылезаем из каюты.

При ярком, мрачном блеске звезд и почти нестерпимом холоде я вижу большую площадку на вершине высокой горы. Толпа людей, похожая на белые волнующиеся волны разгулявшегося моря. Все в белых меховых одеждах, очевидно, из шкур песца.

− Ял-Мал! − говорит Тарсин, указывая куда-то вниз. Я вижу силуэты белых зданий, расплывающихся в темноте полярной ночи.

Итак, мечта осуществилась. То, к чему я стремился, из-за чего терпел все лишения далекого путешествия, пережил страшную смерть Крезо, быть может, осуществленная мечта всего человечества − перед моими глазами.

«Я в царстве Ял-Мал!».

Нерелигиозный человек, скептик по натуре, я в первый раз в жизни искренно и с благодарностью к небесам перекрестился, глядя на белые силуэты невидимых домов желанного города.

− Почему там много людей? − спросил я.

− Встреча вечного дня! Сегодня, 2-го марта, в первый раз появляется на горизонте и начинается шестимесячный день после холодной полярной ночи.

Белое море толпы колыхалось и гудело, точно волны во время

прибоя. Лица всех были обращены к югу, все чего-то напряженно ждали. В середине площадки чернелась высокая кафедра, и какой-то человек, казавшийся снизу маленьким, стоял за ней. Сразу чувствовалась напряженная, сдержанная атмосфера ожидания, когда каждая минута кажется часом, и чем ближе к цели, тем дольше тянется время.

Без 15 двенадцать часов пополудни на юге показался короткий огненный столб. Звезды сразу побледнели, и мне показалось, что стало теплее. Вокруг этого столба заалели легкие, разнообразной формы облака и, то медленно тая, то вновь зарождаясь, чуть заметно задвигались по небу. Высокая белая, покрытая снегом гора, похожая на сахарную голову, вдруг вспыхнула алым огнем. К тому месту, откуда должно было появиться солнце, досадно прильнуло облачко. Ровно в 12 часов из этого облачка брызнули желтые яркие лучи, и все кругом засветлело, помолодело, ожило. Облачко растаяло, и все озарилось ярким, ничем не стесненным светом: льды, дома, горы, толпа людей. Навстречу солнцу грянул могучий хор. Они пели непонятным для меня языком торжественный гимн, и Тарсин, стоя рядом, переводил мне слова. Вот они:

За каменным поясом гор,
За мертвыми тундрами, тихими реками, далями
Пусть твой остановится взор,
Помутневший печалями.
Полярного солнца овал,
Холодного, светлого, ждущего,
Осветит Ял-Мал −
Царство Грядущего.
И синие льдины морей,
Плывущие к берегу с грохотом,
Гремяще-раскатистым хохотом
В душе отзовутся твоей.
А северный ветер дохнет
Морозным, свирепым и мудрым дыханием…
И Бог обогнет
Полярное небо сиянием.
Услышим хорал
Из ангелов Бога, любовь стерегущих…
О, царство Ял-Мал,
Прекрасное царство грядущего!

В это время человек на кафедре после окончания пения поднял руки, все смолкло, и послышался звучный голос оратора.

Вместе с председателем Грилем я вошел в здание Палаты. Это было огромное мраморное здание, по здешнему обыкновению, кубической формы с золотым изображением восходящего солнца на фронтоне.

В вестибюле, где мы раздевались, над большой мраморной лестницей красовалась надпись золотыми буквами: «Судебно-Законодательная Палата». Тут же, на лестнице, висело объявление на широком листе чего-то вроде пергамента. Указывался вопрос, который должен был обсуждаться в законодательном порядке.

Я прочел и расхохотался: закон об обязательном ежедневном метании диска для лиц обоего пола от 17 до 30 лет.

Гриль укоризненно посмотрел на меня.

− Из речей ораторов, − сказал он, − вы поймете, насколько важен этот закон. Не забывайте, в царстве Ял-Мала нет гражданских отношений между людьми; здесь все направлено к созиданию человеческой личности и ее духовно-физическому совершенству.

По широкой лестнице мы вошли в большой зал, где стояли белые скамьи из какого-то вещества, похожего на цемент. Несколько трибун возвышалось посредине.

Был день, и свет лился в широкие окна, но, кроме него, белый, ровный искусственный свет падал с потолка, благодаря чему в помещении не было ни одного неосвещенного угла. Источника этого света я не мог найти, т. к. ни ламп, ни электрических проводов не было видно. В зале находилось человек 400.

Странно было видеть бородатых солидных людей, некоторых в очках, одетых в белые одежды, похожие на греческие тоги, с живописно-декоративными складками.

Все это самые обыкновенные врачи, адвокаты и инженеры, вдруг превратившиеся в древних греков.

Председательское место занял Гриль, при появлении которого все встали.

− Объявляю заседание Законодательно-Судебной Палаты царства Ял-Мал открытым… − резко прозвучал голос председателя. Я стал слушать и смотреть.

Резко очерченный, благородный профиль Гриля, бритое лицо, спокойно-бесстрастное выражение которого подчеркивалось резкими точными словами, красивыми движениями тела, облаченного в белые одежды, − все это делало его похожим на римлянина. Да и от всего этого странного парламента веяло чем-то античным, в особенности, когда начались прения по вопросу дня.

Выступал эстет-литератор. Он доказывал необходимость применения закона, причем в его речи фигурировали уже специальные медицинские термины и авторитеты. Так закончил он свою речь.

− Человек в царстве Ял-Мал до 30-тилетнего возраста не имеет права отговариваться от занятия спортом нездоровьем или отсутствием интереса к нему. Спорт просто как физическое движение и как движение, имеющее

в себе элемент красоты, здесь является потребностью человека. Вся атмосфера Ял-Мала, атмосфера здоровья, культуры, труда и красоты внушает людям включить в ряд приобретенных ими полезных привычек также и привычку к спорту. В частности, если смотреть узко на предлагаемый закон, метание диска необыкновенно развивает мускулы живота и, в силу этого, укрепляет пищеварительные органы. Это является еще лишней причиной принять закон без всяких оговорок и немедленно провести его в жизнь.

После врача выступило много ораторов. Некоторые высказывались против законопроекта, мотивируя тем, что обязательность его нарушает свободу личности и уважение к индивидууму, которое в Ял-Мале является одним из основных законов.

В конце концов, после всестороннего и тщательного обсуждения закон был принят.

Обязательность его устранялась в случае нежелания кого-либо ему подчиниться распоряжением Верховной Власти в каждом отдельном случае.

«Она» могла отменить этот закон по отношению к любому, кто пожелал бы к ней обратиться. <…>

Я стоял на лестнице и наблюдал, как медленно с громким гулом разговора сходила вниз по мраморным ступеням белая толпа.

Мелькали такие обыденные, казалось, интеллигентские лица, слышалась трескуче-шипящая английская речь (английский язык в Ял-Мале считался государственным).

Все эти золотые пенсне, бритые и бородатые лица, строгие докторские и нервно-худощавые физиономии юристов или профессорски-ученый вид некоторых − все это так знакомо и так часто встречалось в России.

Но было в них что-то неуловимое, что в России или другой стране никогда не найдешь.

Это была, я бы назвал, гордость самим собой; каждый из них, казалось, гордился своей собственной личностью, высоко ценя ее, и эта гордость, и эта высокая оценка самого себя не возбуждала ни в ком ни чувства раздражения, ни зависти, потому что она не имела ничего общего с заносчивостью, потому что это чувство было вполне понятным в царстве Ял-Мал. Здесь каждый был самим собой, извлек из себя тип того человека, к какому наиболее приближалась его духовная сущность.

Это были настоящие люди.

Гриль взял меня под руку, и мы вышли на улицу Ял-Мала. Широкая, прямая, она вся была заполнена прохожими в белых песцовых шубах. Посередине, по широкой полосе льда с веселым криком мчалась на коньках детвора. Огромное здание театра, вспыхивая сигнальными

электрическими фонарями, показывавшими, в каком отделении началась пьеса и где кончилась, принимало в себя беспрерывно льющиеся толпы граждан.

Было около 40 градусов мороза, но от этого оживление нисколько не уменьшалось, и веселая послетрудовая жизнь чувствовалась во всем.

− Дорогой мой, − сказал Гриль, − пойдемте ко мне пообедать. Я после этого Вам кое-что покажу.

У Гриля была большая квартира, устроенная на европейский лад. Там мало что напоминало Ял-Мал. Высокие, в готическом стиле, дубовые стулья… Кабинет с кожаной мягкой мебелью, массивным письменным столом и библиотечными шкафами.

Сняв верхнее платье, Гриль, извинившись, прошел в спальню и через пять минут явился джентльменом − в смокинге, в белоснежном крахмальном белье.

− Видите эту доску, похожую на распределительную электрическую? На ней много кнопок. Это меню Ял-Мала на сегодняшний день.

Мы выбрали кушанья, нажали соответствующие кнопки, и на середину обеденного стола по маленьким рельсам прикатила миска с супом из открывшегося отверстия на стене.

− Итак, − начал Гриль, принимаясь за суп, − вам нужно начинать с азов. Прежде всего, государственное устройство Ял-Мала. Оно крайне несложно и необыкновенно упрощено.

Дело в том, что у нас нет народа в точном смысле этого слова, т. е. невежественной или полуневежественной массы, которая нуждается в руководителях и в уголовных наказаниях. <…> Ял-Мал − государство аристократическое, т. е., в том смысле, что в нем находятся исключительно люди науки, образования и культуры.

То, что у вас в России называется интеллигенцией.

Все, кого бы вы ни взяли из наших граждан − или инженеры, или медики, или юристы, или профессора, или художники. Все люди свободной профессии, которых, в силу хотя бы университетских дипломов, нельзя упрекнуть в отсутствии культурности. Здесь вы не найдете ни одного чернорабочего, ни одного недипломированного университетом или каким-либо высшим учебным заведением купца, ни одного из так называемых полуинтеллигентов. Вы видите, что Ял-Мал – государство аристократическое, в самом лучшем и благородном смысле этого слова. <…>

Наш Парламент − Судебно-Законодательная Палата: как видите, Судебная власть совмещается с Законодательной по той простой причине, что нашим законодателям нет никакой возможности не доверить судебную власть, т. к. это действительно наши лучшие люди. Мы их выбираем по действительной оценке их ума, образованности и талантов. Того, что

существует в Европе, – политических партий, шумных, предвыборных агитаций, благодаря которым попадают в парламент ничтожества, у нас нет.

Избирательное право всеобщее, прямое, равное и тайное, причем принадлежит оно лицам, достигшим 21 года, а лица, могущие быть избранными, должны быть не моложе 25 лет. В настоящее время избирателей в Ял-Мале насчитывается 5568 человек. Кандидатуры выставляют обыкновенно сами избиратели, это, своего рода, государственная повинность и, я считаю, не из очень тяжелых, т. к. законодатели у нас выбираются только на 1 год. <…>

Исполнительной власти нет совсем. Было бы смешно, если бы мы, культурные люди, сами не проводили в жизнь то, что сами же постановили.

Высшей верховной властью является «Она». «Она» обладает правом абсолютного «veto», и через «Ее» утверждение должен проходить каждый закон. Кроме того, если хотите, «Она» является представительницей неограниченного абсолютизма, несмотря на наш Парламент.

«Ее» мероприятия могут проводиться в жизнь без всякого рассмотрения Палатой, если «Она» того захочет. Иначе говоря, «Она» вполне самодержавна, и Судебно-Законодательная Палата постольку действительна, поскольку «Она» ее утверждает.

Вам это кажется странным, т. к. подобного совмещения абсолютизма с конституционным устройством мир еще не видал, но дело в том, что мы, культурные и образованные люди, создали здесь свой культ.

Предметом этого культа является «Она».

«Она» для нас богиня, и не только потому, что так верится, что наше благоговение перед «Ней» безгранично. «Она» создала этот особый идеальный мир, где люди живут не ради борьбы за существование, ради самих себя, где человек есть самодовлеющая цель, где красота человеческого тела и сила человеческого интеллекта ставится выше всего.

Значит, оспаривать «Ее» благое и естественное самодержавие было бы смешно. Наш Парламент может заблуждаться.

«Она» − никогда.

Мне вспомнилась стальная пластинка с изображением восходящего солнца, и я спросил о ней.

− Это символ «Ее», − сказал Гриль, − так странно совпадает с национальной эмблемой Японии. В одном отношении Ял-Мал сходен с этой страной. Обе страны молоды, и обе подают огромные надежды.

Вот все.

− Мне бы хотелось знать, как появилась «Она» и как удалось «Ей» создать царство Ял-Мал, откуда взялись бесчисленные машины и технические приспособления, о которых в прошлый раз вы мне говорили.

− Откуда «Она» появилась − не знает никто, равно как большинство из нас не знает, как сюда попали все граждане, да никто и не интересуется этим. <…>

Что же касается машин и технических приспособлений, то это вам, быть может, известно, в северной части полуострова тянется горная цепь северного окончания Урала, постепенно спускающаяся к морю. Здесь неисчислимые запасы всевозможных руд и других ископаемых от золота и платины до нефти включительно.

Наши гениальные инженеры сумели использовать эти природные богатства.

В результате − все полезное для нас производится машиной.

Здесь нет черного труда и, значит, нет чернорабочих. Пахота, посев, жатва и уборка хлеба производятся машиной. Ткани для одежд и сами одежды – все это дело машин.

Разные хозяйственные и нужные в обиходе вещи, все, что создается в Европе руками тысяч и миллионов рабочих, все это делают, точно и быстро, сложные, хорошо устроенные машины.

Для человека остается благородный умственный труд да искусство, где он является и творцом, и работником. И вот то, что вы слышали сегодня в Палате, − странные для вас обсуждения вопроса об обязательном метании диска − сейчас должно быть для вас понятным.

Гимнастика и спорт постольку важны для нас, поскольку вообще важен для нас человек, как существо, имеющее мозг и тело.

И то, и другое необходимо развить, чтоб приблизиться к идеальному человеку. <…>

Теперь пойдемте.

В кабинете Гриля, слегка жужжа, быстро нагревался красивый ящик-камин с литой чугунной дверкой, украшенной барельефными изображениями каких-то чудовищ.

Рядом, в маленькой комнатке, двигалась странно-сложная машина с тонкими блестящими иглами и разнообразными зубчатками. На моих глазах с быстротой разговорной речи создавался − не шился, а именно создавался – из плотного черного материала великолепный смокинг последней европейской модели. <…>

Гриль встал с кресла, закурил сигару и подошел к окну.

Я последовал его примеру.

Перед нами была широкая площадь, вся залитая этими странными белыми толпами людей в песцовых одеждах.

В середине на трибуне стоял в гордой позе человек и что-то говорил, подтверждая свою речь красивыми жестами.

Гриль снял с подоконника трубку, похожую на телефонную, и передал ее мне. Я услышал следующие слова:

«Мы ушли от Христа далеко вперед. Он любил людей, мы любим человека. Нам не нужна безликая любовь к массам. Для того, чтобы любить, нам нужен красивый профиль, крепкие мускулы, индивидуальный ум, звучные прекрасные слова. Человек с телом древнего грека и знаниями современного академического профессора нам дороже миллионной массы, сытой, грамотной, хорошо воспитанной на демократических принципах и лепечущей пошлые лозунги социализма.

Мраморная статуя Аполлона Бельведерского нам дороже учения Маркса, потому что она показывает, каким должен быть человек, а учение Маркса предсказывает, каким будет человечество. Нам не интересно человечество без людей. <…>

Человек, человек, человек!!!

Пусть в ваши души, как стальной клинок, вонзится это слово, потому что нет слов, в которых было бы так много: вся земля, весь мир, вся вселенная. И помните еще: мы молоды, наши сердца пылают таким же алым молодым огнем, как и восходящее солнце нашей страны, потому что каждый из нас – человек.

Скажите, где, в какой стране, кроме нашей, пылают сердца, как солнце?..»

− Кто это? − спросил я.

− Поэт! − ответил Гриль.

Примечание: Потеряно несколько листков из дневника.

Я увидел «Ее». В «Ней» не было ничего поражающего, ничего ослепительного. Ничто не подавляло воображение. «Ее» простое прекрасное лицо только располагало к себе, вызывало чувство радости и удовлетворения. «Она» сидела на кресле из мамонтовой кости в белой мраморной комнате, такой строгой, белоснежной и чистой. В огромное квадратное окно из толстого цельного стекла глядела ярко-алая вечерняя заря, и мглелись мертвые пространства тундры.

В углу, в огромном камине, похожем на нишу, ярко горели еловые бревна − поленья, и их треск резко нарушал тишину строгой комнаты. Мраморный человек величиной в два натуральных человека в античной позе метателя диска играл роль экрана. Сейчас он был отодвинут и, казалось, собирался бросить свой диск в желтое пламя камина. Ярко-алая тяжелая бархатная портьера резко выделялась на фоне белых стен, закрывала четыре входа, и этот контраст − алого с белым – еще сильнее оттенял девственную строгость зала.

Ничего не было на стенах − ни картин, ни украшений, и только в углу, с суровой и скорбной простотой, белело мраморное тело Христа, распростертого на кресте − символ любви, так странно осуществленной в

жизни здесь, на севере, среди мертвых тундр и жестокой природы.

«Она» сидела в кресле из мамонтовой кости и задумчиво смотрела на вечернюю зарю.

В отдалении стояли три женщины в белых одеждах, похожих на греческие хитоны, − лица их были прекрасны и полны мысли. Вот все, что я успел заметить около «Нее». «Она» была в длинном пурпурном одеянии, похожем на одеяние стоящих за ней трех женщин, свободном и декоративном, обвивающемся вокруг «Ее» тела, в шапочке из меха белого песца, где разноцветно переливался крупный бриллиант − единственное украшение. «Она» повернула ко мне голову. Я пал ниц. Я пал не потому, что «Она» поразила меня своим взглядом, своим лицом… Нет, я был поражен идеей, воплощенной в «Ней», тем, что я нахожусь лицом к лицу с прекрасной Мечтой, к которой стремилось человечество, что за этими стенами, за тысячу верст от этого белоснежного дворца, мечутся в диком ужасе обезумевшие люди, стараются создать себе маленькие островки счастья и других достижений в клокочущем море глупых страстей.

И эти острова разрушают другие, и вновь копошатся люди над созиданием того, что вновь и вновь уничтожается ими же самими.

А здесь, в этой женщине, воплотилось то, к чему они стремятся! Вся их многотысячелетняя жизнь должна пойти насмарку, потому что цель ее здесь, в этой женщине, и они ее никогда не достигнут, копошась в своих залитых электричеством и кровью городах.

И вся их ненависть, и вся их любовь, все их улыбки и слезы, движения и слова с сотворения человека и до настоящего времени – все направлено к «Ней», к этой женщине в белой шапочке, только «Ею» осмысливались и только благодаря «Ей» были понятны и нужны. И разве мог я не пасть ниц перед Мечтой, перед той, к которой стремится все человечество и которую достиг только я да немногие избранные.

«Она» просто сказала:

− Встаньте, пожалуйста.

И тут я увидел «Ее» лицо.

Это было лицо девушки, круглое девическое лицо с румяными щеками, с каштановыми волосами, выбивающимися из-под белой шапочки. Молодость и жизнерадостность светилась в ее серых глазах, алые губы, казалось, вот-вот раскроются для чарующей веселой улыбки. Низкий, грудной голос звучал мягко, как струна виолончели. Легкое грациозное откидывание головы назад еще более увеличивало впечатление нежности и придавало словам иногда даже оттенок легкомыслия.

Но иногда соболиные, сросшиеся брови слегка нахмуривались, серые глаза внезапно темнели, и из алых уст вылетали спокойные важные слова, которые нельзя было забыть. И что меня поразило, это ее лоб − низкий, как

это ни странно, полуприкрытый с обеих сторон прядями каштановых волос, белый, точно первый снег.

− Почему вы здесь? − спросила «Она».

− Я здесь потому, что всегда стремился сюда, и царство Ял-Мал было всегда моим царством.

− Расскажите мне о вашем путешествии.

Я рассказал все, начиная с того момента, как инженер Крезо позвал меня в кабинет и показал пластинку с изображением восходящего солнца. И, когда я кончил, «Она» сказала: «Идите. Вы можете остаться навсегда, можете уйти, если вам не понравится. И, если останетесь здесь жить, помните мой закон, единственный закон, который звучит сурово, но который никогда не был суров: взять от человека все, что он может дать и заставить его стремиться к тому, чтоб он дал все, что может дать». «Она» встала, красный отблеск зари упал на ее лицо, и бриллиант на шапочке превратился в ало-сверкающий рубин.

Я поклонился и вышел.

Впервые опубликовано: Логинов В. Ял-Мал: Сбрник рассказов. Харбин, 1930; отрывки из повести опубл.: Гун-бао. 1928. 25 ноября, 2 декабря.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 235–273.

МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА

Под Новый год всегда случаются происшествия необыкновенные.

Это такой закон природы, который стал непреложным. И немудрено, что на этот раз в глухом лесу, в сибирской тайге, где трещат морозы и падают птицы на лету, охваченные жуткой смертью от дыхания стужи, где стоит огромное белое, замерзшее озеро, покрытое саженным пологом белого снега, а на его заваленном сугробами берегу курится синий прямой, как свеча, дымок из бревенчатой избы, где днем алмазы искрятся и темные ели дремно мечтают о чем-то, наклонив разлапистые ветки, там случилось необыкновенное происшествие.

Там ночью мрак, холод, яркие звезды, мерцающие на бархатном небе, и великое и мудрое молчание, таящее за собой смерть, единственную властительницу этого хмурого царства.

«Челом» медвежьей берлоги или «пастью» называется маленькое отверстие, полузанесенное снегом, в которое осенью медведь лезет в свое зимнее жилище; а зимой из этого отверстия выходит легкой струйкой пар: это дышит Михайла Иваныч, король сибирской тайги или, в крайности, ее именитый боярин.

Спит он крепким сном, видит чудесные сны – о кобыльей падали, вкусно пахнущей, что отведал он накануне того, как полез в берлогу; яркие

красные ягоды земляники, которые привык собирать он по островам, раскинувшимся среди топких болот.

Видит ржавую воду в болотном оконце, которая заменяла ему вполне шампанское, и много других прекрасных, теперь уже недоступных вещей.

Егорка и Димка – парни крепкие, веселые, оба рябые и оба курносые. Верные друзья, всегда бродили они вдвоем по родной тайге, выискивая белку, которую били мелкой дробью из старых берданок с отпиленным стволом.

Гулко охали старые ружья, и мелькал серый пушистый хвост, когда летел вниз подстреленный зверек, обламывая маленьким гибким тельцем сухие сучья высокой хмурой темно-зеленой ели.

В ближайшем селе Починки сдавали мальчишки убитых белок по пятнадцать копеек за шкурку и были счастливы до отказа от этого первого своего промыслового заработка.

Иван Палыч, лавочник, что покупал у них пушнину, тоже не оставался в накладе: иначе не давал бы он парнишкам в долг и дробь, и порох, и патроны, и прочее охотничье снадобье вплоть до огромных караваев хлеба, до сушеной воблы и крупной грязной соли, которую всыпали парнишки в котелок, когда варилась в нем немудреная похлебка.

Будущие солидные промысловые охотники вполне ясно намечались в этих двух беловолосых крепких малышах с курносыми носами и голубыми глазами, осторожно и быстро пробирающихся по занесенному снегом лесу на березовых, подбитых шерстью лыжах. Звероловы и зверобои, так сказать, наследственные, они отлично разбирались в следах, знали каким голосом облаивает остроухая лайка глухаря, каким косача и каким рогатого лося, быстроного и быстролетного, как птица.

Знали парни, где ставить силки и малые плахи для птицы и зверя, как налаживать самострел для диких козлов и рыть глубокую яму для оленей и медведей; умели узнавать север и юг по мху на деревьях, по длине и величине сучьев, по разным, незаметным простому смертному приметам…

Дом на берегу озера, откуда струился синий дымок, уходя в белесое морозное небо, был кордоном, который стоял на перепутье между двумя богатыми сибирскими селами, и каждый вечер останавливались на его широком, обнесенном плетнем дворе огромные обозы, груженные рогожей, паклей и звериными шкурами. То сибирские промысловые мужички тянулись из своих медвежьих углов в богатую, хлебную и торговую Тюмень сбывать свое добро, наживать кровные денежки.

Егорка и Димка обосновались в этом домике, устроив его своей охотничьей базой. Федор, сторож, явно им покровительствовал. Был он мужик кроткий, сектант-двоедан, с рыжей бородкой-мочалкой и гнусавым ласковым тенорком.

Зато баба его Настасья была король-баба. И она покровительствовала

ребятам, ибо от их промысла нередко перепадали ей и рябчики, и куропатки, и глухари, а иногда и дикий таежный козел, изумительно вкусный, в особенности в сибирских пельменях, которые стряпала Настасья.

Парни устроили здесь склад пороха, дроби и съестных припасов, а кроме того, тут же находилась добытая ими пушнина – белка, горностай, рыжий колонок, бурундук.

Хорошо жили ребята… Настасья им каждый день готовила горячий ужин – уху из местных окуней, пирог с кашей или наваристые щи, да еще пельмени… Ребята отъедались до отвала и чувствовали себя королями.

Под Новый год грянули январские жгучие морозы с потрескиваниями льда на озере возле прорубей, с падением на лету мелкой птахи в ельниках, с яркими, лихорадочно горящими звездами на черном, как чернила, небе…

Жутко стало и людям, и птицам, и зверям.

На кордоне Настасья жарко топила печь так, что в горенках дышать было нечем. Федор сидел босоногий целыми днями на полу у печки и потренькивал на гармонике «В далекой тайге за Байкалом…»

Обозы, как по сигналу, перестали тянуться длинными черными змеями по накатанной, промасленной дороге, и не харчился никто из сибирских мужиков у Настасьи и Федора.

А под Новый год, тридцать первого декабря, даже цепной пес Соболь – мохнатый, кудластый, свирепый, клыкастый, таежный пес, которому не страшны были никогда никакие морозы, запросился в избу, изнемогая от лютого холода.

Он лежал, вытянув цепь во всю длину на полу, на животе и жалобно скулил. Федор отстегнул цепь и втащил Соболя в дом.

Собака легла у дверей, и уже никакими силами нельзя было ее вытащить обратно.

И вот тут смекнул Егорка, что настало их время.

– Слышь, Димка, теперь птице не до нас… Стужа лютая. В такую стужу птица человека не боится. Не до человека ей. Лишь бы самой укрыться от холода. Идем бить косачей.

Димка замотал белесой головой и сразу отказался:

– Не… не пойду. Страшно. Дюже холодно – еще поморозимся.

– Дурак ты, – сказал Егорка. – Нешто не понимаешь, что наше счастье. Косач сейчас в лунках сидит. Хоть голыми руками его цапай. Слышишь?

Действительно, тетерева в это время забирались в «лунки» – маленькие ямки, вырытые в снегу, которые они выкапывали, прикрывая себя снегом.

В этих снежных домах уютно было и тепло дикой лесной птице –

никакой мороз ее не брал. Живи себе да отлеживайся, пока не пройдет жестокое время. Не каждый человек имеет в жизни такое хорошее убежище, а хорошо, если б каждый имел.

Обыкновенно в таких случаях охотники тихонько бредут по снежной целине на лыжах, держа ружья наготове.

Наткнется лыжа на «лунку», и вспархивает тяжело встревоженная птица.

Выстрел – и кувырком летит убитый косач.

Вот на такую охоту и подбадривал Егорка Димку, зная, что пожива будет большая.

Надели парни шапки-ушанки – оленьи пушистые, мягкие, как пух. Романовские дубленые коричневые полушубки, подпоясались красными кушаками. На ноги – теплые пудовые валенки. На руки – меховые рукавицы. Опоясались патронташами, а в них патроны, заряженные самой мелкой дробью – бекасинником, чтоб не очень разбивать нежную птицу. Сунули в карманы по баночке вазелину – неровен час, поморозятся. И – марш вперед.

Был уже полдень, когда вышли они на коротких, подбитых мехом лыжах со двора прямо вглубь густой и белой тайги, в заповедные охотничьи места, где человек теряется в царстве маленьких лесных божков – леших да русалок, да веселых, смешных чертенят.

– Ну, Димка, держись… – весело крикнул Егорка и заскользил, что тебе моторная лодка, по мягкому, пухлому снегу.

Димка ринулся за ним по накатанной лыжнице. Мягко свистели лыжи, осыпался снег с закуржавевших сосен, тихо было в лесу, как в церкви, и казалось ребятам, что попали они в заколдованное царство какого-то волшебника, которого они не видели, но чувствовали, и перед которым ощущали суеверный ужас.

Прошло уже около часа. За это время пять птиц чернело в сумках ребят – пять жирных подстреленных косачей.

– Хорошо… – одобрил Егорка, не переставая передвигать ногами, весело скользя все дальше вглубь, в чащу, в самую пасть тайги.

Димка дружно тянулся за ним.

И вот, за малой снежной полянкой после ржавого, даже зимой не застывшего болота, открылся им выворотк-бурелом – огромный, величиной с маленькую избу, корень гигантской лиственницы, поваленной бурей.

Медленно тянулись ребята на своих лыжах к этому бурелому, намечая возле него несколько косачных «лунок».

И видит Егорка, что из выворотка, от самых его корней, вьется беловатый пар, точно дымок.

Вокруг этого пара на мерзлой желтой земле, на извилистых

коричневых конях настыли ледяные капли – растаял и застыл снег.

Это было «чело» или «пасть» медвежьей берлоги.

Сидел там Михайла Иваныч, сын Топтыгина, крепко сидел, сосал лапу и дожидался теплых весенних денечков, наслаждаясь прекрасными снами и невозмутимым покоем.

Хорошо ему жилось, бурому, не боялся он ни мороза, ни зверей, ибо какой же зверь рискнет нарушить покой лесного боярина.

Ребята сообразили все это сразу и струхнули.

– Егорка, а Егорка! – зашептал Димка, не замечая, что от страха заструился у него по лбу обильный пот. – Вертай назад. Плохо нам будет.

– Подожди, – зашептал Егор. – Может, и так обойдется. Надо втихомолку, а то зашумим, разбудим.

Егорка начал заворачивать лыжи. И вот на крутом завороте случайно попала одна лыжа в мягкий снег, который слабо хрустнул и вдруг провалился. Нога ушла по колено и попала в самую медвежью берлогу, где-то сбоку.

– Ай! – завопил Егорка истошным голосом.

– Батюшки святы! – заверещал по-свинячьи Димка. – Задирает!.. Караул!.. Бяда!..

Глухое рявканье раздалось из-под земли.

В «чело» берлоги высунулась треугольная бурая медвежья морда.

– Ры-ык… – громко раздалось снова по лесу.

Димка почувствовал, что его штаны стали влажными. Егор обернулся.

Прямо на него смотрела медведица маленькими злыми, дикими зелеными глазами… Егор нацелился на нее из своей старой берданки-обреза.

И вдруг вспомнил: берданка заряжена мелкой бекасиной дробью, специально для птицы. Рассуждать было некогда. Некогда было и бежать. Медведь пер вперед. «Чело» трещало, но никак не хотело сдаться, ибо крепка была ледяная корка, что спаивала его в монолитную, почти стальную по крепости стену.

Медведь создал себе неприступную крепость, и сам же попал в нее, как в ловушку.

Тем не менее, ледяная броня трещала и явно начинала поддаваться под могучими усилиями бурой, лохматой и могучей морды.

– Бум-м-м… – раскатился по лесу выстрел егоркиной берданки.

Морда замоталась в «челе», и снова дикий рев огласил мертвые пространства тайги. В реве медведя на этот раз явственно слышались нотки боли.

– Бум-м-м! – еще раз раскатился выстрел.

– Ай!.. Ой!.. – в диком ужасе завопил Димка. Завернул лыжи и

кинулся бежать по гладко укатанной лыжнице.

– Стой! – заорал, как сумасшедший, Егорка. – Побеги только!.. Сейчас же в зад пущу зарядом. Стой, сволочь, ни с места! Погибать, так вместе!

Он выбросил из берданки пустой патрон, живо засунул новый и выстрелил снова. Опять рев раненого зверя. Слышно было, как трещало ледяное «чело» берлоги.

Выстрелы Егора превратились в ураганный огонь. Никогда в жизни он не разряжал и не заряжал так быстро свое допотопное ружье, как на этот раз. Можно было подумать, что он буквально изрыгал бекасинник. Мелкая дробь сыпалась от него дождем, застревая в голове несчастного зверя.

Димка не переставал выть тоненьким голоском, весь трясясь от ужаса и не смея двинуться вперед.

– Бум!.. Бум!.. Бум-м-м! – сыпались горохом выстрелы.

Тайга гудела от медвежьего рева и от частых выстрелов из берданки.

Наконец, звериный рев прекратился.

Возле «чела», на мягком нетронутом снегу алели капли свежепролитой крови. Медведь замолк.

«Неужто убит?..», – промелькнуло в ошалевшей егоркиной голове. Он прекратил стрельбу. Медленно и опасливо продвинулся на лыжах вперед. Медвежья треугольная голова не шевелилась. Егорка подъехал вплотную к берлоге.

– Готов! – завопил он радостным голосом. – Димка!.. Слышь ты?.. Глаза выбиты! Вот тебе и бекасинник, вот тебе и мелкая дробь. Ура!..

– Ура!.. – орал восторженно Димка, забыв про мокрые штаны. – Ай да Егорка!!! Герой ты наш! Спаситель!..

Парни вытащили из-за кушаков топоры и начали обрубать лед берлоги. Теплый труп Михайлы Ивановича Топтыгина обнаружился перед ними во всей красе. Егор затянул вокруг его шеи свой красный кушак, поднатужился, прикрикнул на Димку, и оба враз потащили зверя к выходу. Огромное бурое тело лежало теперь на белом снегу, постепенно холодея на лютом морозе.

– Димка, валяй на кордон! Зови Федора с санками! Одним не справиться.

Димка встал на лыжи, посопел, покряхтел и легко заскользил в чащу, в ельник, в трущобу, прямо к заветной избе.

– Ну, парни! – говорил Федор, тряся козлиной бородой и распахнув тулуп, не замечая лютого мороза. – Ну, парни… Ну, молодчаги… Медведя убить бекасиной дробью, самой что ни на есть мелкой?.. Чудеса!.. Ну и чудеса.

Парни стояли героями, подбоченившись и лихо заломив ушанки на затылок.

Теперь, брат, их голыми руками не хватишь. Теперь, брат, не каждый промысловый охотник с ними сравняется. Теперь, брат, они хоть и холостяки, но любого женатого за пояс заткнут.

И всей гурьбой, с санками, на которых лежал медведь, направились к кордону, где уже ждали их проезжие мужики-возчики.

Вот какое необыкновенное происшествие случилось под Новый год в глухой сибирской тайге, в урмане, в царстве хмурого, мохнатого, зеленоглазого таежного Бога, который любит и людей, и зверей, и птиц.

Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 40-46.

ЗАБЫТЫЕ ТЕНИ

Гостиные тогда были уютные – кисточки, пуфы, валики на диванах и мягких креслах, шелковых и бархатных, обязательно розовых или голубых. Где-нибудь в углу красиво возвышалась огромная лампа на металлическом затейливом постаменте. На отлично отлакированных, покрытых тончайшего и искуснейшего кружева салфеточками столиках лежали альбомы из кожи и бархата с серебряными застежками с инкрустациями из слоновой кости и перламутра. В альбомах солидно красовались полковники и генералы с густыми эполетами времен последней турецкой войны. Штатские снимались обязательно в длинных сюртуках с толстыми золотыми цепочками на жилетах и огромными стоячими крахмальными воротничками. А дамы – про дам один малыш в возрасте приблизительно восьми лет совершенно серьезно думал, что у них руки на плечах имеют природные колоссальные утолщения вроде наростов. Ибо такова была мода – кофточки с буфами. Буфы эти были обязательны для каждого платья и для каждой дамы. Поэтому неудивительны представления малыша.

Было начало девятисотых годов – эпоха парижской выставки, крепкой франко-русской дружбы и союза и небывалой мощи Российской Империи, оставленной, как наследство, русскому народу Императором Александром Третьим. Были чеховские времена – кондовой, крепкой обывательщины, на почве которой незаметно накопились знания, энергия, страсти и творчество. В глухой тихой провинции жили своей жизнью и чеховские интеллигенты, и начинающий поднимать голову купеческий класс, только что одевшийся в европейское платье после традиционных поддевок.

Одним словом, русские люди – жили.

А я – молодая, красивая, романтическая женщина, готовившая себе

карьеру актрисы, – сидела как раз в описанной выше гостиной у своей матери после последней моей ссоры с мужем, где были взаимные слезы, упреки, клятвы, мольбы и прочее.

Сидела и ждала Иртеньева, потому что знала, что в этот час он непременно приедет сюда на своем кровном английском скакуне, в своем полужокейском костюме, со своими манерами английского лорда, со своими холодными и страстными в то же время глазами, со своей воспитанностью, корректностью и выдержкой.

Правда, в настоящем он был небольшой человек, всего-навсего акцизный чиновник, хотя и был достаточно богат, чтобы не служить, но в прошлом – блестящий офицер, любимец женщин, дуэлянт, картежник и вообще романтическая личность.

Был он немолод, шевелюру имел седую, но его слава сердцееда от этого нисколько не померкла. Был он влюблен в меня безумно, бесповоротно, окончательно и безусловно. А я противилась изо всех сил этой ненужной мне любви и должна была сегодня выдержать последнее бурное объяснение, после которого с помощью мамы должно было наступить примирение с мужем.

И вот – в гостиной, где пуфы, валики и подушки голубели, розовели при уходящем свете вечерней зари, я сидела и с тревогой в сердце ждала Иртеньева.

Он вошел, как, вероятно, входил когда-то Евгений Онегин в комнату Татьяны, вошел и декоративно замер в дверях – высокий, стройный, изящный и мужественный. Я робко взглянула на него, и сердце мое упало, чувствуя остроту момента.

– Садитесь. Иртеньев… – слабым голосом сказала я. А он не сел, а бросился к моим ногам и стал безумно целовать мои руки.

– Все кончено, Иртеньев… – сказала я. – Я очень жалею, что допустила легкий флирт, который чуть не привел нас с вами к ужасным, непоправимым последствиям. Пора все кончить сегодня же, теперь же, забыть друг друга и расстаться навсегда.

– Ольга, вы говорите совершенно бессмысленные вещи… – крикнул он. – Ведь вы любите меня. Ведь вы презираете вашего мужа. Ведь то, что вы хотите сделать сейчас, противоречит всем божеским и человеческим законам. Неужели мое безграничное чувство не дает вам понять, что нужно поступить как раз наоборот. Ведь вы женщина, ведь вы должны инстинктивно чувствовать правду. Хорошо. Я вызову вашего мужа на дуэль и убью его. Тогда вы будете моей. Отвечайте, будете моей?

– Не делайте этого. Это совершенно бесполезно. Это не нужно. Вашей я не буду никогда, и вы прекрасно знаете почему: я не желаю разрушать семью, не хочу морально калечить мужа, не хочу, чтобы из-за меня пострадало серьезно, быть может, на всю жизнь столько человек.

Я заплакала.

– Ольга! Ольга! Что вы делаете? Вы приговариваете меня к смерти. Пред вами выбор – или муж, или я. Один из нас, по-видимому, не должен жить. Отвечайте в последний раз: муж или я?..

– Между нами все кончено… – сказала я и опустила голову.

Он поднялся с полу, посмотрел на меня долгим печальным взглядом, долго целовал мне руки и много раз пытался говорить, но прерывал сам себя и замолкал, не докончив речь.

Вечерняя заря почти уже догорела, алый свет кровавился на голубых подушках дивана, и никогда в жизни мне не было так грустно, как в этот момент.

Я, быть может, расставалась со своей молодостью, с молодыми порывами сердца, заставив его замолчать ради жертвенной необходимости. В первый раз в жизни я была жертвой, сознательной жертвой, какой бывает, в конце концов, каждая русская женщина, и сознание, что я – обычная, легкомысленная эгоистка, ветреная порхающая женщина, на этот раз принесена на заклание условностям, быту и морали, это сознание было очень тяжело.

Я снова заплакала. Он в последний раз поцеловал мне руку, затем внезапно с жаром обнял меня и поцеловал в губы – долгим прощальным поцелуем. Затем быстрой походкой, не оборачиваясь, поспешно вышел из комнаты.

Я осталась одна.

Некоторое время я всецело была занята горем и не обращала внимания на окружающее. Затем, внезапно пораженная дикой мыслью, я вскочила с дивана.

– «Или муж, или я… – сказал он. – Один из нас – приговорен к смерти». Значит, я его приговорила к смерти. Значит, он сейчас должен покончить с собой. Быть может, вот в этот момент он приставляет холодное дуло револьвера к виску. Вот здесь, за нашей калиткой. Какой ужас. Надо спасти, во что бы то ни стало спасти. А вдруг опоздала. А вдруг – сейчас выстрел. Вот-вот момент, и…

Я, как ужаленная змеей, в безумном ужасе завертелась по комнате. С быстротой молнии я выскочила в переднюю, хлопнула выходной дверью – птицей пролетела в сад и выскочила за калитку. Остановилась. Вся дрожа, огляделась.

– Иртеньев, – крикнула я. – Иртеньев…

И вдруг заметила его высокую фигуру, стоящую направо.

В сгустившихся сумерках мне показалось, что он поднес к голове руку.

Я кинулась к нему.

Проза

***

В сгущенной, бархатной тьме на фоне темно-розоватого, засыпающего неба, его лицо казалось белым круглым куском сахара – до такой степени оно было бледным… Правая рука держала у виска черный твердый предмет.

«Револьвер», – мелькнуло у меня в помутившейся от ужаса голове. Как безумная, бросилась я к нему…

– Ты, ты, ты!.. – залепетала я каким-то истерическим детским лепетом. – Ты – и смерть?!.. Разве это возможно?!.. Разве это допустимо?! Ты – милый!.. Ты – единственный!.. Любовь моя!.. Радость моя!.. Счастье мое!.. Пусть все погибнет, лишь бы ты жил… Лишь бы мы жили!.. Лишь бы жила наша любовь!..

И с этого вечера все, словно в тумане, завертелось у меня в голове: мама, муж, сцена, родные, знакомые…

Все это стало казаться каким-то старым, полустертым сном, расплывчатым и неясным. И только навсегда память сохранила мою уютную, милую гостиную, где так славно и сладко мечталось под тихие звуки маленького пианино.

Запомнились на всю жизнь огромная лампа на металлическом постаменте, тончайшие кружева салфеточек, альбомы из кожи и бархата, лежащие на изящных столиках, их инкрустации из слоновой кости и перламутра и их генералы и полковники с пышными усами и густыми эполетами.

Точно под знаком этой гостиной – уютной, затейливой и жеманной – прошла вся моя жизнь с ее бурными страстями, ошибками, взлетами и падениями.

Опубликовано и печатается по: Харбин в зеркале прессы. Ежегодник объединения русских журналистов в Маньчжу Ди Го. 1937. С. 44-46.

ВРУБЕЛЬ

И было ко мне Слово Господне.
Пророк Иезекиль.

1

Павильоны всероссийской выставки в Нижнем Новгороде, открытой в 1896 г., раскинулись на обширном участке земли. Выставка открылась в ознаменование коронации императора Николая II. Всероссийская выставка в Нижнем должна была показать весь блеск, всю роскошь мощного цветения России, – наследия Александра III, – огромного государства, где кипела индустриальная и торговая жизнь, где экономикой ведал

гениальный Витте, где кристаллизовалась постепенно, как класс, крупная буржуазия, где начинали говорить громким голосом науки и искусства университеты и театры.

И выставка была грандиозна. Отдел промышленности был заставлен блестящими машинами, завален образцами фабрикатов, тюками и грудами всевозможных товаров. В отделе торговли были диаграммы роста продуктивности и расширения рынков.

Громадный художественный отдел вмещал сотни полотен лучших российских художников. И только рядом со зданием художественного отдела одинокий павильон, построенный в русском стиле, невольно резал глаза, был он каким-то отщепенцем в общем стройном хоре выставочных помещений, построенных по строгому плану.

Это московский купец-миллионер Савва Иванович Мамонтов, железнодорожный подрядчик, эстет и меценат, построил отдельное здание для картин своего любимца Михаила Врубеля. Картины были забракованы художественной комиссией для выставки. Было что-то невероятное в этих картинах: вакханалия красок, странные циклопические фигуры и необыкновенное настроение, которое, пожалуй, можно назвать космическим. Члены жюри разводил руками. Они привыкли к строгому классицизму рисунка, к реальным фигурам, к фотографичности пейзажей. Врубель казался им сумасшедшим. Но Савва Иванович не захотел считаться с мнением судей. Врубеля он отыскал в Киеве за росписью собора и навсегда был покорен его живописью.

– Не хотят – не надо… – сказал он. – Построю для Михайлы отдельный павильон, – и построил. «Микула Селянинович» и «Принцесса Греза» мало привлекали публику, а кто приходил, тот уходил, пожимая плечами и неопределенно улыбаясь:

– Декаденщина какая-то…

Но Савва Иванович не обращал внимания на посетителей. Для него важно было выставить Врубеля, а как к нему относится публика – безразлично. И в это ясное летнее июльское утро, когда с Волги тянул свежий приятный ветерок, а за Волгой зеленели яркие от солнца луга, Савва Иванович входил в свой павильон, как всегда, с особенным душевным подъемом.

– Входи, Федя, не стесняйся… – говорил он высокому белобрысому молодому парню в поддевке, в смазанных сапогах и в картузе, типичному выходцу из Вятской губернии. – Нечего в своем отечестве стесняться.

Парень заморгал белесыми ресницами и проговорил приятным баритоном:

– Да я не стесняюсь, Савва Иванович. И без вас сюда много раз заглядывал. Сначала было как-то странно смотреть на эти картины. А потом ничего. Точно обтерпелся. А вот теперь жить без них не могу. И с

вами, и без вас только и торчу здесь, смотрю на этого былинного Микулу Селяниновича вместе с Вольгой, на «Принцессу Грезу», от которой в голове какая-то ослепительная радуга… Что это такое?

– Это гений, дорогой Федя, вот что это, – ответил Савва Иванович, проталкивая Федю в павильон. – Это влияние гения, которое еще не поняли, не разобрали как следует, забраковали…Ну еще бы. По сравнению с этими гладкими академическими картинами врубелевское художество – кричащая наглость. Пятна, блики, хаос красок, нелепые изломанные или невероятной сказочной мощи фигуры. Разве поймут все эти члены жюри? Кто они такие? Красильщики, и больше ничего.

– То-то, чем больше я смотрю, тем сильнее меня сюда тянет. Видите, разница между обыкновенными картинами и врубелевскими такая же, как между музыкой Мусоргского и «Травиатой», – Федя даже пристукнул кулаком по ладони.

– Ага! – сказал Савва. – Понял-таки… А все потому, что ты сам большой артист по натуре. Смешно было бы, если бы ты не понял Врубеля.

– Да ведь и вы артист, Савва Иванович, даром, что занимаетесь железнодорожными подрядами. Недаром в молодости, живя в Италии, хотели сделаться певцом. Когда я ехал в Москву знакомится с вами – мне заранее было сказано: «Это один из крупнейших меценатов Москвы, натура глубоко артистическая».

– Ах, Федя! – со вздохом сказал Савва Иванович. – Что вспоминать прошлое… Хотел стать певцом, а стал подрядчиком. Человек предполагает, а Бог располагает. О, я знаю, что будучи подрядчиком, я оставлю свое имя России, как имя человека, тесно связанного с расцветом русского искусства.

– Еще бы… – сказал Федя, любовно оглядывая Савву Ивановича. – Когда я увидал вас в первый раз, вы сидели за столом – плотный, коренастый человек с монгольской головой, с живыми глазами, энергичный в движениях. Одно ваше слово, и я понял, что я – ваш. Такое чувство испытывают все артисты, знакомясь с вами.

Савва Иванович приосанился, и глаза его засверкали.

– Да, искусство для меня – все. И люди искусства чувствуют это бессознательно. Вот, видишь, создал сейчас оперный театр, пригласил туда тебя. А ты и понятия не имеешь, о том, что такое ты. Вот пройдет десять лет, и Шаляпин загремит по всему миру. И все потому, что я его открыл. Сейчас это никто не понимает. А потом поймут. То же и художники. Сейчас вокруг меня вот какие люди: Серов, Васнецов, Коровин, Якунчинова. И вот – Михайла Врубель. Врубель – это целая эпоха. И никто этого не понимает сейчас. А я это чувствую не головой, а всем нутром своим. Вот почему, когда художественное жюри выгнало картины Врубеля с выставки, ибо не считает его художником, я построил для него специальный павильон, независимо от их выставки. И ты увидишь, скоро

увидишь, что русский купец не ошибся, поставив на ноги русского художника. Кстати, ты слышал, что Государь, осматривая художественную выставку, несколько дольше задержался именно на врубелевском павильоне.

– Как же, как же… – оживился Шаляпин. – Во всем Нижнем только об этом и говорят. Государь заинтересовался картинами Врубеля, которые жюри и за картины не признало.

– Видишь? – сказал Мамонтов. – На такого человека как Государь картины Врубеля произвели впечатление. Значит, что-то в них есть. В общем, мне вся история с затиранием художника своими же собратьями надоела. С удовольствием бы уехал в свое Абрамцево отдохнуть на лоне природы, покупаться, половить рыбу, забыть дрязги.

– Это ваше имение?

– Да. В Московской губернии. Там когда-то сам Сергей Тимофеевич Аксаков ловил рыбу. Абрамцево было его подмосковной дачей. При Аксакове в Абрамцево наезжали гостить Гоголь, Загоскин, Тургенев, Грановский. А теперь, когда я приобрел это имение, у меня всегда в гостях все художники. И Серов бывает, и Коровин, и Антокольский, и Врубель. Эти ребята построили там по своему вкусу маленькую церковку. Можешь представить, какая это красота. Церковь, сделанная Антокольским и Васнецовым. Я уже и в завещании написал: когда умру, пусть меня похоронят в этой церкви. Заезжает ко мне в Абрамцево и милый человек – Антон Павлович Чехов. Однако что же не идет наш художник? Время обедать.

– В самом деле, куда же запропастился Михайла Иванович? – сказал Шаляпин, оглядываясь на дверь.

Шаляпин с Мамонтовым уселись в глубокие покойные кресла и погрузились в созерцание «Микулы Селяниновича». Циклопический богатырь глядел на них каменным нездешним взглядом и точно давил всей своей сказочной мощью.

В это время в павильон вошла молодая изящная, худощавая дама вся в сиреневых тонах, в шляпке с весенними цветами, с нервным подвижным лицом.

– А где мой муж? – недоуменно спросила дама, остановившись перед собеседниками.

– Мы его ждали вместе с вами, – ответил Шаляпин.

– А я была у сестры, думала, что вы все трое здесь, потому и заглянула в павильон. Однако очень жаль, что Миши нет. Я уже успела о нем соскучиться.

– Вот влюбленные друг в друга супруги, – сказал Мамонтов.

– Точно попугайчики-неразлучники, – подтвердил Шаляпин.

– Ах, и не говорите. Ведь еще году не прошло, как мы женились. Где

же тут разлучаться. Я не могу полчаса без него пробыть.

– А скажите, Надежда Ивановна, быстро произошло ваше сближение? Вероятно, Михайла Иванович ухаживал за вами, подносил цветы, рисовал портреты, – полюбопытствовал Шаляпин. – Я думаю, год прошел прежде, чем состоялась ваша свадьба.

– Что вы, что вы… Мы и виделись-то всего два раза,– энергично запротестовала Надежда Ивановна. – Первый раз на банкете, а второй – у нас в театре, когда шел «Фауст». Я пела Маргариту. Миша пришел ко мне за кулисы, в уборную, и буквально обрушился на меня, как буря, со своей любовью. Это было что-то стихийное. Как все, что он делает.

– Такое же стихийное, как его живопись? – спросил Федя.

– Да, вы правы, именно такое. Как вот все эти яркие пятна, блики, хаос красок на его картинах. Он заявил, что умрет, если я не буду его женой. Что он так меня любит, что по первому моему слову выпрыгнет немедленно из окна, а окно на пятом этаже. Что я для него – единственное в жизни. Все остальное – прах, тлен, вздор, чепуха, даже искусство. Что, если я немедленно не соглашусь, он уйдет домой и зарежется бритвой. Я была буквально ошеломлена, поражена, сбита с толку; перед таким горячим натиском безумной страсти не устоит ни одна женщина. Надо было видеть его глаза, мечущие искры; его лицо, искаженное судорогой; его молящие жесты… И я, конечно, сейчас же дала согласие быть его женой. Нужно было видеть его радость. Она, как молния, пронзила все его существо. Он весь вспыхнул, точно электрическая лампа. И наш первый поцелуй был такой, какой больше не повторится.

Савва Иванович с напряженным вниманием слушал речь жены художника.

– Да, натура стихийная… – сказал он. – Недаром он художник, художник с большой буквы. Он не только для России: он для человечества.

В это время скрипнула дверь, и в светлом четырехугольнике появилась темная фигура.

Вошел Врубель и повернул лицо в сторону разговаривающих Всклокоченные волосы, небольшая русая бородка и седые тревожные глаза – все это сразу осветилось лучом солнца, падавшим из окна.

– Я сейчас сделал новый набросок моего «Демона», – сказал Врубель. – Отлично удался.

– Дай посмотреть, – сказала Надежда Ивановна.

– Смотри, муза… – и художник протянул ей картон, на котором углем был набросан эскиз. Все сгруппировались около Врубеля и стали рассматривать рисунок. Эскиз изображал летящего Демона – угловатого, с острыми крыльями, с резкими дугами бровей, с пронзительными, нездешними глазами. Художник, весь уйдя в созерцание своей картины, вдруг зашипел низким голосом:

Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит,
Лишь только мир волшебным словом
Завороженный замолчит,
К тебе я буду прилетать
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать.

Он крепко обнял жену и с нежностью заглянул ей в глаза.

– Миша, ты эдак задушишь свою музу, некому будет тебя вдохновлять, – сказал Мамонтов.

– Нет, Савва Иванович. Я свою музу не задушу. Меня моя муза задушит, пророчески это предсказываю. А теперь… вы видите, как я люблю свою женушку, – он страстно обнял Надежду Ивановну и поцеловал ее.

– Ну, голубки, достаточно наворковались, – ворчливо заметил Савва Иванович. – Пора обедать. Мы вас ждем здесь Бог знает сколько времени.

– Идем, идем обедать, – весело затараторил Врубель, – мой «Демон» хочет есть, хотя он и дух бесплотный.

– Почему вы так упорно пишите «Демонов», Михаил Александрович? – спросил Шаляпин. – Почему эта тема так завладела вами?

– Как, неужели вы не понимаете? – искренне удивился художник. – Вы – артист, вы – большой художник. Человек как объект – вот тема эстетическая. Тема искусства вообще. А человек – это падший ангел. Человек – это «Демон». Разве вы не ощущаете в себе заклятого демонизма, который незаметно мучит человека всю жизнь? Быть может, это отклик первородного греха – я не знаю. Как только человек захочет быть самим собой, захочет быть своим «я», резко очерченным индивидуумом, его начинают терзать демонические ощущения. Ибо упавший и разбившийся «Демон» – это трагедия лучших сынов человечества. Вот почему я занят этой темой; буду занят ею всю жизнь, и с таким наслаждением пишу иллюстрации к лермонтовскому «Демону». Кстати, мой любимый поэт – Лермонтов. Выше, гениальней, глубже, чем он, я не вижу никого в мировой поэзии.

Федя Шаляпин все время с напряженным вниманием вслушивался в слова художника.

– Но если так, – сказал он, – если человек подвержен заклятию, если он упавший и разбившийся «Демон», к чему тогда искусство, к чему творчество, которым мы все дышим? Значит, все это ненужно, бесполезно и бесцельно?

– Конечно, цели искусства – неизвестны, – сказал Врубель. – Но оно, значит, тем и велико, что оно не подчиняется ни природе, ни логике. Для

чего растет, скажем, дуб? Какая ему польза сто лет тянуть из земли соки? Что ему за интерес каждый год покрываться листьями, потом терять их и, в конце концов, кормить желудями свиней? Вся польза и интерес жизни этого дуба именно в том и заключаются, что он просто растет, просто зеленеет, так, сам не зная зачем… Таково искусство.

– Довольно философии, – басом провозгласил Савва Иванович. – Обедать, обедать, господа. За кофе еще можем поговорить об искусстве. Надежда Ивановна, руку…

Он подхватил Надежду Ивановну под руку и энергично двинулся к выходу, с шумом отодвинув кресло. Шаляпин и Врубель последовали за ними. Художник, заломив шляпу набекрень, взял под руку Шаляпина, а последний тихим, но замечательно выразительным голосом стал напевать:

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил…

И вся компания направилась к Савве Ивановичу Мамонтову на квартиру обедать.

2

Много воды утекло. Россия, как мощный локомотив, все сильнее и сильнее развивала свою скорость на путях прогресса. Начало девятисотых годов было ярким расцветом во всех областях российской жизни. В области искусства завоевал право на существование символизм. Русские символисты-поэты – Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Блок – зазвенели своими музыкальными стихами. Книжный рынок запестрел многообразными обложками декадентских книжек. Декадентский стиль зданий был как-то по-особенному покрашен своим собственным, российским, Московским декадансом – по существу, чрезвычайно утонченным и оригинальным. В музыке появился Скрябин. В театре – Шаляпин. Появились политехникумы, построенные по последнему слову науки. Появилась блестящая профессура. Михаил Александрович Врубель стал знаменит.

О его творчестве помещали большие статьи солидные эстетические журналы. Вокруг его имени зашумели споры жрецов искусства. Выставки его картин ломились от публики. Его полотна знала заграница и восхищалась им. Но жизнь его уже клонилась к закату. Злая болезнь терзала гениальный мозг художника – он был на грани безумия. Ни самоотверженный уход безумно любящей Надежды Ивановны, ни миллионы Саввы Мамонтова, ни знаменитые врачи – ничто не помогало. Художник угасал, как свеча, у которой выгорел весь воск. И в это лето

Надежда Ивановна решила приехать вместе с ним в подмосковное имение Саввы Ивановича Мамонтова, знаменитое Абрамцево.

– Там тишина, покой, деревенская обстановка – это успокоит его измученную душу… – так решила Надежда Ивановна, и с ее решением тотчас же согласился знаменитый профессор, лечивший Врубеля.

В подмосковном имении Саввы Мамонтова Абрамцево был просторный деревенский помещичий дом с верандой, откуда открывался вид на реку, с огромным садом, откуда веяло свежестью, ароматом цветов, запахом трав. В это яркое, солнечное июльское утро на веранде в уютных креслах-качалках сидели Врубель и его жена. Перед ними стоял стол, покрытый белой скатертью. Блестящий самовар горел на солнце. Вкусно дымились кузнецовские чашки, наполненные ароматным кофе. Ветчина, масло, сыр соблазняли своей деревенской свежестью.

Врубель сидел нахмуренный, мрачный. Иногда вдруг лицо его прояснивалось, и светлая улыбка блуждала по губам. Надежда Ивановна, как зеркало, отражала его лицо своим собственным лицом.

– Пей, Миша, кофе. Хочешь, я тебе бутерброд сделаю?

Миша не пил и не ел. Взор его рассеянно и бессмысленно блуждал по блестящей излучине реки, видневшейся за садом.

– Кто это сидит там на реке с удочкой? – сказала Надежда Ивановна, слегка прикрыв глаза ладонью и взглядывая в даль за садом.

– Кажется, это Савва Иванович, – сказал Врубель.

– Да, несомненно, он. А правее его в широкополой шляпе – Федя Шаляпин. Слышишь? Поет.

Действительно, послышалось отдаленное пение. Мощный бас Шаляпина красиво вибрировал в свежем прозрачном утреннем воздухе. С реки отдаленно зазвучала волжская бурлацкая песня – широкая и раздольная, как сама эта русская великая река.

Эй, ухнем,
Эй, ухнем.
Волга, Волга, мать река.
Глубока ты, широка.
Эй, ухнем.

Песня все ширилась и ширилась, и вдруг замерла на высочайшей ноте, мастерски взятой певцом.

– Хорошо, – вздохнул полной грудью Врубель. – Замечательно поет парень. А давно ли был белобрысым вятским мальчишкой с белесыми ресницами. Талантище. Так и видишь простор Волги, тяжело груженую баржу, гурьбу бурлаков, которые тянут ее бичевой, ноги вязнут в желтом песке. Лица измученные. Пот каплет с загорелых лбов.

– Эй, ухнем! – в последний раз донеслось с реки.

– Миша! – шепотом, умоляюще вдруг сказала Надежда Ивановна.

– Что? Что, Надя?

– Согласись немного полечиться. Тебе нужен полный покой. В Москве в Петровском парке есть лечебница доктора Усольцева, замечательная лечебница, там идеальный уход, врачи, сиделки, тишина… Если бы тебя туда, хотя бы ненадолго…

Врубель встревожился.

– Ты, кажется, в самом деле думаешь, что я схожу с ума. Нет, Надя, не верь тому, кто обо мне рассказывает эти сказки. Я не схожу с ума, а действительно слышу голоса с неба. Это – откровение мне, художнику, откровение, которое я ждал всю жизнь. Недаром всю жизнь я писал картины. Я творил, чтобы найти истину… И вот теперь – голоса с неба…

– Миша, ты опять?

– Ну, не буду, не буду. Ты не сердись на меня. Ужасно не люблю, когда ты сердишься. А вот и наши рыболовы идут.

Тяжело отдуваясь, забирался по ступенькам на веранду Савва Иванович Мамонтов. Он был в белой расшитой русской рубашке-косоворотке; на голове широкополая соломенная шляпа. За ним шел Федор Шаляпин – могучая фигура в холщевой поддевке и в высоких сапогах. Оба с удочками, в руках ведерки, в которых плескалась и трепыхалась пойманная рыба.

– Уф! Жарко! – охнул Савва. – Десять карасей, пяток карпов. Вот моя добыча. А у Феди язи.

– А у меня язи, — отозвался Шаляпин. – Вы, Савва Иванович, подсекать не умеете. У вас раз пять срывалось.

– Ты думаешь, что раз ты знаменитый певец – значит, и знаменитый рыболов! Врешь, брат. Добычи-то у тебя меньше. Не удишь, а лапти плетешь.

– Да вы не сердитесь, Савва Иванович, – сказал Шаляпин. – Ведь в самом деле у вас срывалось.

– Ну, и срывалось… – действительно рассердился Савва. – Ну и Бог с ним. Налейте-ка мне, Надежда Ивановна, кофейку. Хорошо сейчас кофейку да с густыми сливками, да с пенкой.

– И мне тоже... – низким басом сказал Шаляпин.

Надежда Ивановна захлопотала.

– Пожалуйте, пожалуйте, господа. Савва Иванович, хотите бутерброд с маслом? Федя, вон там свежие пирожки с мясом. Горячие, только из печи.

– Благодарствуйте, – сказал Шаляпин. – А все-таки, Михаил Александрович, ты мне объясни, почему мне не нравятся портреты Серова, а твои нравятся. В чем тут секрет?

– Секрет простой… – ответствовал Врубель. – Есть такое немецкое

слово «aufschwung». По-русски его можно перевести «натиск». Такая особенная, молниеносная динамика в портретной изобразительности. У Серова нет совсем aufschwung. И еще – восторг. Это яркое, до боли острое чувство восторга, которое пронизывает художника, когда он создает портрет. Особая, подсознательная острота зрения, которой в обычном состоянии нет. И восторга у Серова нет. А у меня есть и aufschwung, и восторг. Вот поэтому тебе нравятся мои портреты и не нравятся серовские.

– А пейзажи как? – спросил Шаляпин.

– Да и в пейзаже почти также, – ответил Врубель. – Вот этот натиск есть, например, у Гоголя и Чехова.

– Ты рассуждаешь о писателях как о художниках.

– А как же!

И Врубель удивленно взглянул на Шаляпина:

– Гоголь и Чехов – два великих русских пейзажиста. Гоголь воспел дорогу, Чехов – степь… Вспомни-ка…

– М-да... действительно.

И Шаляпин замурлыкал серебряным басом какой-то неведомый напев, раздумчиво разглядывая свои ногти.

– Ну, господа, – сказала Надежда Ивановна, – вы пейте кофе, кушайте все, что есть на столе, а мы с Мишей пойдем погулять. Ему врачи предписали прогулки в такие солнечные, светлые утра на деревенской природе. Это хорошо действует на нервы, успокаивает душу… Пойдем, Миша…

– Да, да… Пошли, Надя. Где моя шляпа?

Художник с женой встали. Врубель взял Надежду Ивановну под руку, и оба спустились по ступенькам веранды в сад. Вскоре их фигуры в белых платьях исчезли за поворотом дорожки в ближайшую боковую аллею.

– Да, жаль человека, – сказал Савва Иванович, глядя им вслед. – На наших глазах разрушается. Какого художника теряет мир!

– Да, Врубель накануне полного безумия, – сказал Шаляпин. – Врачи говорят, что положение его безнадежно. Хорошо бы его устроить в лечебницу.

– Не соглашается, – с досадой произнес Савва. – Он не верит в то, что сходит с ума.

– Для него, пожалуй, нет грани между безумием и здоровым мышлением, – сказал Шаляпин. — Ведь с общечеловеческой точки зрения все его творчество – безумие, хаос красок, странные, нездешние лица, необычайные фигуры, испещренный какими-то знаками фон. Я, например, во всем его художестве ощущаю нечто космическое. Вспомните, Савва Иванович, глаза его портрета или картин: нет живых глаз. «Муза», «Пан», даже собственная жена – все они смотрят какими-то остановившимися, нездешними глазами и смотрят прямо в вечность. И

что-то видят… Что?.. Видят какую-то надмировую истину, которая нам непонятна…

– А вместе с тем такая любовь к жизни… – задумчиво заметил Савва. – Столько солнца, яркости, улыбок, движения. Вспомни его панно «Венеция».

– Да. И в то же время космическое довременное начало. Вот его картина «К ночи». Лошади, ярко-красные цветы, фавн в углу… Все овеяно чем-то нереальным, нездешним, жутким…

– Да, Врубель должен сойти с ума. Вы посмотрите, какое несоответствие – такой великий дух в таком тщедушном теле. Тело не сможет выдержать. Оно стишком хрупко, чтобы быть вместилищем необъятного и мощного гения.

В это время послышался какой-то шум в кустах, растущих у веранды, треск сучьев, потом тяжелые, быстрые шаги. На веранду, прыгая через две ступеньки сразу, вскочил растерзанный, бледный, взлохмаченный Врубель. За ним бледная, с перекошенным лицом, бежала по дорожке Надежда Ивановна. Мамонтов и Шаляпин мгновенно вскочили со стульев, точно ошпаренные кипятком.

– Опять… опять… – закричал пронзительным, визгливым голосом художник. – Опять он – дух-искуситель с каменными глазами, с крыльями, опаленными пламенем измученной мысли. Он зовет меня, он кричит мне: «Пора, пора, пора». Я вижу его дьявольское лицо, искривленное усмешкой. Он смеется надо мной, Врубелем. Он говорит, что я также упаду с неба и мое бедное, изломанное, истерзанное тело будет истекать кровью на голых острых скалах. Помогите мне, помогите. Помнишь, Федор, ты пел «Бориса Годунова». Борис умирает, к нему идет патриарх, чтобы постричь его в монахи. Он видит это, он в ужасе, он еще не умер, он кричит: «Я царь еще, не подходите. Я царь еще…». Вот тогда я в первый раз услышал голос с неба, увидел искусителя и ужаснулся, ужаснулся… О, Боже!

Врубель упал на пол веранды и забился в судорогах. На губах его показалась пена.

– Воды, воды скорей. Доктора! Доктора! – истерически завопила Надежда Ивановна. – Миша! Миша! Очнись, дорогой, любимый, это я, твоя жена. Это я держу твою голову в своих руках, я глажу твои волосы, целую твои глаза. Никого нет. Тебе просто почудилось.

– Бегу, бегу за доктором… Не пугайтесь, Надежда Ивановна, – засуетился Мамонтов. – Федя, немедленно беги к телефону. Кричи Антипу, чтобы запрягал. Немедленно на станцию. Телеграфируйте Усольцеву – пусть тотчас же выезжает. Все расходы беру на себя. Скорее, скорее.

Мамонтов и Шаляпин торопливо разбежались в разные стороны. Врубель слегка успокоился. Судороги перестали его мучить. Он затих.

Через некоторое время послышался его слабый голос:

– Надя, это ты? Ты – любимая, муза моя? Да, я узнаю твои руки, твои теплые нежные руки, я не вижу тебя. Почему? Я ослеп. Да, я ослеп. Но разве ты не слышала голос с неба, грозный голос, который повелительно говорил: «Умри». Да, я умру… я должен умереть… А жизнь так прекрасна… Краски, звуки, запахи… О, земля, земля. Как я обожаю тебя. И разве не изобразил я всей твоей прелести в своих картинах? Впрочем, вся ты – земная жизнь – только символ. Только прекрасный радостный символ будущей жизни, о которой говорит Христос. И этот символ – это то, что я видел, создавая свои картины. Мои картины – символ будущей жизни. А как она не вяжется с действительностью. Нет… смерть… смерть… смерть лучше. Только смерть примеряет все противоречия. Но… Боже. Опять голос с неба… Опять Демон с каменными глазами, с изломанными крыльями… Опять он кричит. Виденье… виденье… Я вижу виденье свыше… Пророк Иезекииль… Истерзанный страшными муками пророк… Я писал с него картину… Вокруг него – мечи, цветы... и драгоценные камни… Надя! Надя, спаси меня!..

– Бедный, бедный мой… Страдалец… Мученик…

И Надежда Ивановна с рыданиями опустилась на колени, прильнула к помертвевшему лицу своего мужа.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1944. № 20. С. 1-10.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Хозяйственный и крепкий мужик Иван Сидорыч Воронов скоро вышел в купцы. Дом его был ладный, пятистенный, с дворовыми пристройками, амбарами и стайками для скота, крытый железом.

С сотню десятин засевал он пшеницей, разводил хороший убойный скот, торговал на всех ярмарках Приуралья, занимался по малости «золотишком», т. е. кустарной золотопромышленностью, продавал лес, скупал меха, словом, работал не покладая рук.

В результате в селе Караульском не было зажиточнее, дельнее и хозяйственнее его человека. Считался он тысячником, имел пару дорогих рысистых коней, до которых был вообще большой охотник; имел большую семью – красавицу жену Дуню, тещу Авдотью Марковну и пятерых ребятишек. Женился он по любви. Не такой был человек Иван Сидорыч Воронов, чтобы жениться по расчету. Жена Дуня, кроме своей красоты, ничего ему не принесла. Да еще, пожалуй, пылкую, горячую супружескую любовь. Все было хорошо. Жизнь текла, как по маслу, – сытно, привольно, спокойно. Одно только портило все дело – характер Ивана Сидоровича

Воронова. При огромной силе воли, работоспособности, настойчивости и уме он был невероятно азартным человеком. В азарт его вводило все, что только способно было ввести в азарт: карты, ссоры, лошадиные бега, драка «на кулачках», даже самый невинный спор.

Бывало, разгорячившись, выходил он из себя, клялся, божился, делал разные глупости.

И вот тут-то выступала на сцену Дуня с ее красотой и ангельской кротостью. Стоило ей подойти, обнять мужа, шепнуть пару ласковых, умиротворяющих слов, и Воронов успокаивался, отходил, делался прежним рассудительным человеком.

В последний день масленицы широко развернулся Иван Сидорович Воронов. Устроил он российские обильные блины в огромном количестве, с балыками, семгами, икрой, со сметаной и маслом. Выставил к ним несколько четвертей водки, заграничного коньяку, пива. Позвал гостей, все дружков, таких же лихих дельцов и купцов, как и сам. И заварил пир на славу.

Гости пили, ели, развязывали хмельные языки, похваливали хозяина, отпускали шуточки хозяйке и делались все веселее и веселее. Иван Сидорович, хватив изрядно хмельного, расхвастался.

– Все у меня есть! – кричал он, стуча кулаком по столу. – Дом есть, хлеб есть, деньги есть, и только самому себе я обязан своим благополучием.

Он поднял свои жилистые, мозолистые руки.

– Вот этими руками все сделано. И вот этой головой, – он указал на свою бородатую большую голову. — Никому не обязан!.. Только самому себе... Вот каков есть человек Иван Сидорович Воронов!

Гости слушали, поддакивали; хозяйка усердно подливала в рюмки и стаканы; гости чокались с хозяевами и провозглашали: «Во здравие хозяина и хозяюшки!». И шли лобызаться с подгулявшим хозяином. А один из гостей, молодой холостяк Парфен Григорьевич, налил свою рюмку, чокнулся с хозяином да и крикнул на весь стол:

– Гости дорогие и хозяева дорогие. Верные слова сказал Иван Сидорович, золотые слова. Все свое благолепие создал он собственной головой и собственными руками. Умный мужик, деляга, что и говорить. Только в одном он обчелся. Есть у него пара тысячных кровных рысаков. Хорошие лошадки, что и говорить! А только супротив моего Сокола не устоят. Куда им! Мой Сокол их, как стоячих, обойдет!

– Что-о-о?! – побагровев и задохнувшись, протянул Иван Сидорыч, войдя внезапно в азарт. – Как ты сказал?! Обойдет, как стоячих? Это чтобы моих Паву да Коршуна обошли, как стоячих! Врешь, парень!!! – и он так стукнул кулаком по столу, что разбил тарелку и уронил бутылку с драгоценной влагой, и порасплескал все рюмки. – Этому не бывать! – крикнул он во все горло. – Какой угодно ставлю заклад, что обойдут твоего

Сокола! Всем имуществом отвечаю.

– Идет! – сказал Парфен Григорьевич. – Согласен, ставлю пятьсот в заклад.

– Принимаю! – крикнул Воронов. – Еду на Коршуне – он слабее Павы, а даром, что Коршун твоего Сокола обойдет.

Хозяин и гости, облачившись, вышли на крыльцо; работникам был отдан приказ, и через двадцать минут на двух санках, запряженных рысаками, мчались оба единоборца по широкой трактовой дороге.

Парфен Григорьевич победил. На Воронове лица не было от злобы и азарта.

– Бери свои деньги! – кричал он, отсчитывая пятьсот рублей. – Но помни! Если еще раз поедешь со мной – я поеду на Паве, ставлю против тебя дом, пятьсот рублей и… и жену.

Как это слово сорвалось у него с языка, он и сам не понимал. Но слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Молодой Парфен Григорьевич, чернобородый красавец и известный в округе сердцеед, лукаво ухмыльнулся и промолвил:

– Принимаю. Смотри только не спяться на слове.

Но тут вступилась в дело Дуня, жена Воронова. Гневная, растрепанная, в наспех наброшенной шубейке на плечах, еще более красивая, чем всегда. Она выскочила на крыльцо и накинулась на обоих соперников.

– Да вы оба с ума сошли! Парфен Григорьевич, как тебе не стыдно! Или не видишь, что человек пьян и ума решился? Как ты можешь принимать такой заклад – есть на тебе крест или нет?!.

Она раскраснелась, разрумянилась на морозе и была неописуемо хороша.

– Иван! Муж ты мне или не муж! Как ты можешь меня, свою жену, в заклад поставить? Столько лет жили душа в душу, пятеро ребятишек у нас, а вдруг: доверяешь своей кобыле. Обойдет – я твоя; нет – я его. Сумасшедший пьяный дурак. Чтобы ничего этого не было.

– Ну, ладно! – сказал озадаченный Иван Сидорович. – Видишь! Жена не позволяет. Ставлю пятьсот, как и в первый раз.

– Согласен! – ответил Парфен Григорьевич. Соперники снова помчались в санках по тракту, и снова Сокол обошел Паву.

Воронов выложил новые пятьсот рублей, широко перекрестился, вытер вспотевший лоб и сказал:

– Ну, спас Бог от разоренья и позора.

* * *

Наступил Великий пост. Зазвенели печальные колокола, засинели задумчиво весенние сумерки, заалела заря на западе, меланхолично и

проникновенно, окрашивая в пурпур талый снег и белые березы. Казалось, вся природа переживала особенную тишину, умиротворенность и смирение.

Сидел в своей комнатушке-кабинетике перед столом, где валялись конторские счета и разные бумаги, Иван Сидорович Воронов. Сидел, вздыхал и с раскаянием вспоминал угарные, пьяные, буйные дни масленицы. Вспоминал, как он – солидный, деловой, женатый человек, отец большого семейства – бахвалился пред людьми, кичился самим собой, спесивился своим богатством, непристойно превозносил себя до небес и многим гостям вместо полной пятерни протягивал два пальца.

– Ох, грешен, грешен, грешен... – шептал, кряхтя и морщась, Иван Сидорович. – Как еще только земля держит меня, окаянного.

И вспомнил он разгульную картину своего масленичного состязания на рысаках. Вспомнил и схватился за голову от стыда.

– Боже мой! – говорил он сам себе. – Ведь был бы сейчас нищим, голым и голодным. Не вступись жена, и дом, и деньги – все бы пошло прахом из-за пьяного дикого чванства. Столько лет труда, столько лет напряженных усилий – все ради одного глупого слова, все полетело бы в пропасть. А все она ангел-хранитель – Дуня моя ненаглядная. Не будь ее, я бы не человеком был. А я еще, низкий грешник, вздумал и ее на заклад поставить! Доколе же Бог будет прощать мои прегрешения, все мои низкие, недостойные человека поступки?! Загордился я! Возвысил себя не в меру! Думал, что выше меня и человека нет на земле... Ну вот и наступило Божье предупрежденье – опомнись, Иван! Ты на краю гибели…

Так сидел в своей клетушке Иван Сидорович Воронов, горько каялся и терзался муками совести.

А великопостный вечер медленно плыл над оттаявшей весенней землей, навевал тихие грезы, смиренные мысли о тщете всего земного, о страданиях Христа, Великого Искупителя всего человечества.

Строго, тихо и печально было в природе. То же было и в человеческих сердцах, точно вовеки не царил в них варварский масленичный разгул с блинами, тройками и балаганами. Когда же поплыл гулкий величественный великопостный перезвон колоколов и встрепенул ожившие исканием Бога человеческие души, Иван Сидорович Воронов встал, оделся и, выйдя на улицу, тихонько побрел к церкви.

Церковь стояла белая, скромная и сиротливая, в черных ветвях не проснувшихся еще от зимней спячки берез… Войдя на паперть, Воронов оглянулся и – точно встретился с вечерней зарей, печально догоравшей раскаленным углем на сиреневом небе. В благоуханном синем дыму чуть сверкала позолота иконостаса. Теплились лампады перед строгими ликами икон. И священник, вставший на амвоне, проникновенно провозгласил простые и мудрые слова молитвы Ефрема Сирина:

– Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, празднословия и любоначалия не дождь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, смирения и любви даруй ми, рабу Твоему!

И пал на колени Иван Сидорович Воронов и, припадая к холодным плитам пола, всей душой почувствовал величие смирения и целомудрия.

В русскую простую мужицкую душу вошел Великий пост с его стенаньями, покаянием, смирением – с его очищением человеческого сердца накануне великого чуда Воскресения Христа.

Умиленный, просветленный, точно вымывшийся в бане вернулся Иван Сидорович Воронов домой. Дома царило великопостное настроение – пахло маслом, рыбой, редькой.

Дуня деловито возилась в кухне, гремя горшками и ухватами. Иван Сидорович прошел в горницу, где тихо теплилась красная лампадка перед образом Спасителя. Иван Сидорович взглянул на образ, и невольно рука поднялась для крестного знамения. Столько было скорби, любви и всепрощения в страдальческом взгляде огромных глаз, над бровями которых нависли капли крови, бегущие из-под тернового венца.

– Боже, прости, помоги и помилуй! – зашептал торопливо Иван Сидорович, отбивая земной поклон. – Дуня, Дуня! – крикнул он. – Иди сюда, голубка.

Дуня вышла из кухни, раскрасневшаяся, с засученными рукавами.

– Что тебе, Сидорыч? От работы отрываешь – не до тебя сейчас.

– Дуня! Голубка! – повалился ей в ноги Иван Сидорыч. – Прости ты меня, окаянного, за мой масленичный грех. Вот сейчас был в церкви: отмаливал его и не могу успокоиться, пока ты сама меня не простишь. Как только подумаю, что бы было, если б тебя пришлось отдать чужому человеку, – даже волосы дыбом становятся. Грешник я, окаянный, нет мне названия на земле… Родную жену в заклад поставил, точно вещь какую, точно рубль с копейками… Пожалей ты меня, окаянного. Прости. Без твоего прощения с колен не встану. Голубка моя ненаглядная… Бог спас тогда и меня, и тебя.

Дуня стояла над мужем, призадумавшись. Хороший человек был Сидорыч, хороший муж и семьянин, но пагубная страсть, дикий азарт губила его. И Дуня поняла, что настал момент, когда она может исцелить мужа от этого злого порока, портящего жизнь им обоим.

– Хорошо! – сказала она. – Я прощаю тебя, но только тогда, когда ты мне дашь слово, что не будешь больше играть в карты, ставить заклад на лошадей, биться об заклад. Не будешь больше азартничать. Дай мне такое слово, и вот тебе мое прощение.

Сидорыч встал с колен и торжественно направился к иконе Спасителя.

– Вот, Дуня, видишь, перед иконой Творца, Господа нашего Иисуса

Христа, даю тебе честное слово, что никакими азартными делами больше заниматься не буду. Будь я проклят, если не сдержу этого слова. Христос тому свидетель.

Дуня обняла своего грешного мужа и крепко прижала его буйную голову к своей трепещущей груди.

И с этого дня жизнь их потекла спокойной, могучей, полноводной рекой: дом – полная чаша; хорошо налаженное хозяйство; большие неторопливые коммерческие дела; во всем изобилие и щедрость; хозяева, полные здоровья и радости жизни. Точно кто-то задумал нарисовать с них обоих картину сочного, красивого, богатого русского быта – купеческого быта, такого яркого, основательного и красочного.

И никогда больше не вспоминали супруги своей злосчастной масленицы.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1944. № 10. С. 1-4.

ДИТЯ ПРИРОДЫ

Дядя Егор Коркин, первый промысловый охотник деревни Тайга, имел совершенно квадратную внешность. Если прямо взглянуть на него, получалось впечатление, что из колоссального квадратного куска картона выкроили очень неудачно фигуру широкобородого, серого, как кремень, мужика.

Ноги, линия рук и туловища представляли почти одну прямую линию. Рыжая, лопатой, борода, чрезвычайно мясистый нос, дремучие рыжие брови и узкие синие глазки, пронзительно впивающиеся во все предметы, − вот дядя Егор Коркин.

От него всегда пахло сосновой хвоей, сырым мясом освежеванной дичины и ужасной махоркой-самосадкой, которую он выращивал на собственных плантациях за баней.

Плантации эти представляли из себя квадратную сажень скверной земли, почти голый песок, но тем не менее дядя Егор Коркин собирал с них табаку ровно на год, чем весьма гордился.

В ясное тихое утро в глухом бору, верст за двадцать от деревни, тихо брел он по сосновым прошлогодним шишкам, выставив вперед громадную бороду, не стукнув, не звякнув, изредка прислушиваясь и обегая острыми глазками каждую сосновую ветку и каждый чернеющий в дебрях бурелом.

На ногах его были одеты поршни-сапоги из конской кожи, подтянутые к бедрам ремешками, на плече, как копье, тянулась длиннейшая берданка старого солдатского образца, винтовка,

рассверленная под дробовой патрон.

Егор стрелял из нее и пулей, и дробью, бил и глухарей, и медведя, даже белку и рябчика − бил без промаха, устраивая животным ужасные раны по вершку и по полтора шириной, т. к. экономил порох, почему пуля била боком и слабо.

Называл он свое оружие «бердяной», ухаживал за ним, как за ребенком и берег пуще глаза.

Длинная сермяга под цвет прошлогодней травы и сосновых стволов, такая же войлочная шляпа, рыжая борода и серое лицо – все это совершенно сливалось с красно-серо-зеленым колоритом угрюмого урамана.

Разве только очень острый глаз мог отличить дядю Егора Коркина от сосен и буреломов, когда он шел по следу в лесу.

Точно сохатый или олень, он имел покровительственную окраску и мог идти, все видя и оставаясь невидимым.

Тихо шел дядя Егор Коркин, прислушиваясь к каждому звуку и наблюдая каждое движение в лесу.

Солнце ярко бросало желтые лучи на темную зелень трав и деревьев. Вверху по синему небу лебедями плыли белые облака. Вершины сосен звенели и пели свою старинную могучую песню.

Попалась быстрая, клокочущая, покрытая пеной, лесная речонка Моховка.

Она фыркала, плевалась, злилась и мчала куда-то на север свои сердитые воды вместе с кувшинками и листьями лопушника.

Егор снял свою «бердяну» с плеча, отстегнул от пояса жестяную кружку, перекрестился, зачерпнул воды и выпил.

Поглядел на солнышко.

− Четыре часа.

Шагнул два раза по серым камням, лежащим в русле, и снова углубился по ему известной звериной и утоптанной тропе в дебри.

II

Компас ему был не нужен.

По тому, как растут вершины деревьев, − где больше и длиннее сучья, – по мху на коре стволов, по солнцу, Егор безошибочно определял направление севера и юга. Подняв свою бороду, как красную лопату, кверху, он нюхал воздух своим мясистым носом и шел туда, куда ему было нужно.

Если бы ему завязали глаза и отвели от родной деревни верст за триста в глухой урман, он через четыре дня был бы дома, ибо чутье его и инстинкт действовали всегда безошибочно, как хорошо намагниченная стальная стрелка.

Перейдя Моховку, наткнулся Егор на медвежий след.

Встав на колени и рассмотрев его, определил, что прошла самка, видимо, тяжелая медвежонком или плотно пообедавшая, прошла всего часа четыре назад.

Подумал и решил пойти по следу.

Серебристые березки с зеленым мхом на белой коре и черностволые, темно-хвойные сосны трепетали над быстро мчавшейся речкой Моховкой, струи которой вели торопливый разговор.

И казалось Егору, что и березы, и сосны, и речка Моховка славят великого урманного Бога, имени которого он не знал, но грозное дыхание и могучую всевластность чувствовал всегда.

Остановился Коркин, вынул из кармана лепешку, испеченную на сохатином сале, и благоговейно положил ее на обугленный лиственичный пень.

− Вот тебе приклад, хозяин.

Сказал, поклонился пеньку и, совершив жертву, неслышно заскользил дальше, маяча своей длинной «бердяной» на плече.

Идя по медвежьему следу, незаметно вышел он на большую широкую поляну, услышал человеческие голоса и остановился в тени огромного кедра.

Посмотрел. Женщина. Белое платье и алая шапочка на голове.

«Э, да это нашего лесничего дочка!..».

С ней стоял какой-то молодой, вихрастый, в маленькой фуражке, с двустволкой на плече. На краю поляны мирно пощипывали траву стреноженные оседланные лошади.

Егор прислонил свою «бердяну» к стволу кедра, сел на землю, свернул козью ножку, набил ее своей ужасной махоркой, задымил и стал наблюдать.

«Должно, любовь крутят», − подумал он, видя, что молодые люди, оживленно жестикулируя, горячо о чем-то разговаривают.

«Господа всегда язык чешут. У нас не так».

Вихрастый взял руку девушки, горячо и выразительно пожал ее, поднес к губам и почтительно поцеловал.

«Эка! Да чтоб я своей Авдотье руку целовал. Какая сласть?», – искренно удивился Коркин и продолжал наблюдать.

Вихрастый взял под руку девушку, и они медленно направились к лошадям, продолжая разговаривать.

«Значит я Авдотье руку должен совать под мышку? Зачем? Что она охромела что ли… или больная какая. Ежели больная, так на что такую бабу? Чудеса!».

Наблюдая дальше, Егор увидел, что парочка подошла к лошадям. Несколько мгновений они стояли, смотрели друг на друга, точно

любуясь собой, освещенные желтым солнцем на яркой зелени поляны, на темном фоне сосновых стволов.

Потом вихрастый раскрыл объятья, она упала ему на грудь, и они слились в долгом горячем поцелуе.

Затем сели на лошадей и тихо направились вглубь леса.

«Только-то и всего!.. − хмыкнул Коркин. – Так и не слюбились. Э-э-эх! Так ни зверь, ни птица, ни человек не делают. Одни господа. Как только у них ребята родятся?..

И на что такие живут...».

Он презрительно выплюнул «цигарку» изо рта, встал и снова заскользил своим оленьим шагом по свежему следу медведицы. Снова зачернели мрачные бурые отводы сосен, пихт и кедровника, затаились в дебрях осторожные звериные тела и загудела суровая, затаенная, беспощадная лесная душа в перезвонах высоких деревьев.

Только там, наверху, весело смеялось желтое солнце, прячась за белые облака, лебедями плывущими по синеве.

Впервые опубликовано: Логинов В. Ял-Мал: Сборник рассказов. Харбин, 1930.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 281-284.

ТРОЙКА

Помню широкую радость и ощущение крепкой, как вино, силы, которые я испытал тогда, в золотой разгар осени, в один из военных годов в России. Дело было в глухом лесу на Урале, на берегу громкой, как водопад, горной речонки Каменки, на кордоне у Васюхи-полесовщика.

Румяным вечером солнце обзолотило верхушки сосен, елей, пихт, небо с одной стороны стало сиреневым, а с другой − красным, как раскаленный уголь.

Я и Васюха сидели на завалинке у тесовых, свежевыструганных ворот, которые сладко пахли. Вдруг по тракту из-за пригорка задымилась пыль. В плетушке-коробке ехал стражник Юдин. Стражник − как жук. Черный, с большой кудлатой бородой, цыганскими вороватыми глазами. Таких много было тогда по деревням. Шашка торчала наружу − для показа, чтоб все знали, что едет начальство. Стражник откозырял. Стражник охнул, как полагается. Стражник слез с плетушки. Стражник зыкнул начальственным басом:

− Здорово, Васюха, и вы, Илья Ильич.

− Здорово, Юдин. Зачем пожаловал?

− Привез тебе, Васюха, повестку. Твой год собирают. Готовься завтра ехать в заводское управление. Повоюй за царя и отечество.

Из окна выглянула Таньша, молодуха Васюхина, русоволосая, крепкотелая, полногрудая.

− Свет ты мой…− завопила она. − Убьют тебя на войне, не ходи ты туда, миленок мой.

− Брось, Таньша, − сказал Васюха. − И получше нас умирают, ежели смерть придет. А я умирать не хочу. А воевать буду, ядрена-зелена.

И он крепким словом точно припечатал немцев.

− Поезжай, Юдин, к Фоме. Пущай приезжает. Скажи, что рекрута отправляют. Проведем ночку повеселей. Да у него запас пива и водки — пущай все везет. За все плачу.

Юдин застегал Воронка, тронулся шибкой рысью дальше, к соседу Фоме, а мы стали готовиться к пиру.

И вот тут я увидел, как весело, озорно и храбро собирался Васюха на войну.

— Таньша! − покрикивал он. − Ходи веселей. Мы ему покажем, ядрена-зелена.

А Таньша ходила − веселая, полногрудая, крепкотелая – и такой же плясала с красным платочком под заливистый визг трехрядной гармоники.

I

А рано утром у крыльца стояла тройка гнедых жеребцов, молодых и горячих, запряженных в плетушку, и на козлах сидел Гайнутдин, татарин, Васюхин батрак, перебирал вожжи и чмокал толстыми губами, чуть проросшими колючими серыми усиками.

− Садись, хозяин… И ты, садись…

Мы с Васюхой уселись в плетушку. Таньша стояла рядом и не выпускала Васюхиной руки.

− Поминай, Таньша, нашу лавочку в баньке почаще да смотри, не шали без меня. Писать буду − отвечай. Айда, залетные!

Кони рванулись, плетушка загремела коваными колесами, пыль заклубилась сзади, исчезла и Таньша, и кордон, мелькнули седые струи речки Каменки, и в свежее, ясное осеннее утро стрелами вонзилась широкая раздольная радость. Вздохнули − и грудь наполнила крепкая, как вино, сила.

Воздух свистал навстречу, точно буря поднималась; пар шел из лесу; сырость клубилась над придорожными канавами; веяло от травы утренними ароматами, точно травы кто-то полил крепкими духами; сосны стояли в тихих туманах; на красных, синих и желтых цветах блестели капельки обильной росы. Желтый край солнца только что показывался на востоке.

Тишина кругом звонко вспугивалась нашими бубенцами и колокольчиками.

А небо было такое же сиреневое, как и вечером, и на нем − ни облачка.

Сзади тарахтел Юдин на своем Воронке.

− Валяй, Гайнутдин, по всем по трем. Рекрута везешь. Вези веселей.

− Латна, хозяин. С горы пойду −держись, – Гайнутдин подстегнул ретивых коней еще лишний раз, и мы окончательно превратились в птиц.

И вот взлетели на высокую гору, чье имя − Поклонная, откуда вид на все четыре стороны, где на вершине стоит каменный идол неизвестно с каких времен, откуда синеет в глаза круглое горное озеро с островами, с утесами, со стаями уток, плавающими у мшистых берегов, с табунами лебедей, точно играющими на арфе — так музыкальны и звонки их крики.

Взлетели. Как будто остановились на минутку. И ринулись вниз.

II

И вот тут началось.

Пять верст был спуск. Спуск был по каменистой, кремнистой почве. Спуск был извилистый и колеистый. Спуск был ухабистый — весь в рытвинах и ямах. Словом, это была русская дорога. Звон наших бубенцов и колокольчиков слился в один пронзительный тонкий визг, снизу шла частая дробная бомбардировка острыми мелкими камнями в дно плетушки, кони распластались, вытянулись, превратились в один гнедой вихрь, и двенадцать ног бешено, почти неуловимо выбрасывали заряды пыли и твердых комков земли.

− Ух ты-ы-ы… — визжал, как одержимый, Гайнутдин. − Имянинники!..

И ременный длинный кнут сумасшедшей змеей вился в воздухе.

Васюха встал, схватил Гайнутдина за кушак, глаза его расширились, лицо побледнело, он ревел что-то невообразимое и махал левой рукой в воздухе, точно отсчитывал такт.

А такт был, и был ритм − бешеного, безудержного веселья, широкой, невыразимой радости и крепкой, как вино, силы.

Мускулы напрягались, кулаки сжимались, грудь, как мехами, забирала воздух.

– У-ух-х ты… — завыл снова Гайнутдин.

Васюха уже обнимал его за плечи. Я также оказался на ногах и обнимал Васюху. И вся эта странная группа летела странной бескрылой птицей бомбометно в неизмеримое пространство.

Мелькали какие-то зеленые кусты. Пара ворон круто замахали над нами крыльями. Какой-то полубелый зайчонка в ужасе заскакал рядом и вдруг пропал в придорожной канаве. Воздух свистал в уши, как гигантская дудка.

− Ух ты-ы-ы... − еще тоньше, пронзительнее и восторженнее завыл Гайнутдин.

Гнедой вихрь в своем бешенном вихревом движении, казалось, втягивал в себя серую ленту дороги. Дальше… Дальше... Дальше...

«Ры-ры-ры-р-р-р-р…», − рычали колеса. Визг татарина, вопли Васюхи и белая пена, вдруг клочьями полетевшая с коренника, − все это создавало почти религиозный экстаз. Должно быть, хлысты нечто подобное чувствуют во время своих радений.

И – вдруг…

Татарин повернул к нам свое жидкоусое рябое лицо:

− Вась, а Вась... о-обры-ыв...

− Де-ержи-и-и… − закричал Васюха и разом сел в плетушку. Грохнулся и я рядом с ним.

И тут Гайнутдин показал себя.

Вдали мерещился желтый почти отвесный обрыв, видимо, сделанный во время ремонта тракта и еще не засыпанный.

Серая лента дороги вдруг прекращалась, грозно чернела гранная черта.

И дальше опять начинала виться − каменистая, ухабистая, колеистая.

Татарин был в красной кумачевой рубахе. Татарин был в плисовой поддевке-безрукавке. Татарин был в лиловой, шитой золотом тюбетейке. Татарин был с засученными рукавами. И его руки − узловатые, мускулистые, жилистые, синие даже при розовой утренней заре − стали, точно отлитыми из чугуна.

Они затвердели, окоченели, застыли в одном гигантском непередаваемом усилии. Несколько толстых синих жил набухли, налились кровью, стали похожи на крепкие канаты. Бицепсы и двуглавые мускулы задышали неровно, точно гигантские жабы. Откинув весь свой жилистый, крепкоплечий, тонкопоясный торс назад, Гайнутдин тянул вожжи, как паровая лебедка. От него запахло едко и пронзительно человеческим потом. Шея его побагровела, стала ужасной, потому что казалось, что вот-вот лопнет на ней кожа и фонтаном брызнет оттуда красная горячая кровь. Из горла рвался басовый прерывистый хрип. Под ногами трещали от свирепого упора рябиновые дроги.

И вот, когда обрыв уже налез вплотную, когда мы должны были вертящимся и грохочущим кубарем стремглав полететь в бездну, когда смерть спокойно и просто заглядывала всем в глаза, разом вздыбились все три коня.

На дыбах повернул их Гайнутдин вправо и на дыбах же заставил отвести плетушку на роковой шаг назад.

И мы спаслись.

III

На берегу того горного озера, что было видно с Поклонной, где

острова, утесы, табуны уток и табуны лебедей, играющих на арфе, остановилась наша взмыленная тройка с дымящейся плетушкой.

Пар шел от коней. Бока были круто втянуты. Гнедые борзые жеребцы, час тому назад такие ярые, стояли, понурив гривастые огромные головы.

Мы сидели, еще полные экстаза и предсмертного ожидания.

− Таньшу бы сюда...− прохрипел Васюха, стараясь улыбнуться.

– Куда вас черт гнал? − послышался начальственный голос Юдина, и крепкое слово зазвучало сзади.

− Таньшу бы сюда... – мечтательно прохрипел снова Васюха. Я лежал рядом с ним и понемногу отходил.

Гайнутдин слез с козел, постоял неподвижно, потер себе плечи и поясницу, взглянул на дымящихся жеребцов, взглянул на нас.

− Уф!.. − вздохнул он широченной грудью. И пошел купаться.

Впервые опубликовано: Рубеж. 1930. № 9.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 314-318.

Венедикт Николаевич МАРТ *(1896-1937)*

Поэт и прозаик Венедикт Март (настоящая фамилия Матвеев) родился 27 марта 1896 г. в городе Владивостоке в семье известного писателя, краеведа Н.П. Матвеева (Амурского). Писал стихи, поэмы, прозу, занимался переводами. Автор около 20 книг. Первые известные стихотворения датированы 8 августа 1913 г., а первая книга стихов «Порывы» вышла в 1914 г. в типографии отца. В конце 1914 г. выехал в Москву, а затем в 1915–1917 гг. жил в Петрограде. В 1918 г. путешествовал по Японии, писал танка и хокку, посылал путевые заметки в дальневосточные журналы. Являлся активным участником группы футуристов «Творчество», редактировал журналы «Искусство», «Великий Океан», сотрудничал в изданиях «Бирючь», «Воскресенье», «Заря», «Неделя», «Петроград» и др. В 1919 г. уехал из Владивостока в Харбин, где прожил около 5 лет и опубликовал несколько книг собственных стихов и переводов древнекитайских поэтов. В 1923 г. (по другим сведениям, в 1924-1925 гг.) вместе с сыном вернулся в СССР, издал ряд прозаических книг, в том числе на восточные темы. В 20-е годы В. Март в соавторстве с Н. Костаревым (под общим псевдонимом Никэд Мат) написал приключенческий роман-трилогию «Желтый дьявол» о Гражданской войне на Дальнем Востоке. В 1928 г. в Москве вышли сборники его рассказов «Логово рыжих дьяволов» и «Сборник рассказов».В этом же году впервые арестован, сидел в Бутырском политизоляторе. Выслан на 3 года в Саратов. В начале 1930-х гг. жил в Ленинграде, где вышли его книги: «Речные люди: Повесть для детей из быта современного Китая» (1930), «Золотой поезд» (1931), «Китайские рассказы» (1932). Активно участвовал в неофициальной литературной жизни Ленинграда, сблизился с Д. Хармсом, стал прототипом «поэта Сентября» в романе К. Вагинова «Козлиная песнь». С 1934 г. поселился в Киеве. Здесь В. Март опубликовал книгу «Дэрэ – водяная свадьба». Повторно арестован 12 июня 1937 г. по обвинению в шпионаже в пользу Японии. 16 октября 1937 г. расстрелян. Реабилитирован посмертно в мае 1989 г.

Ист. и лит.:

Гребенюкова Н. Прочитай, как был изъят человек из жизни... // Рубеж. 1998. N3. С. 217-224.

Евтушенко В. Пощечина самолюбию // Евтушенко В. Древо плодоносящее: Биография уникальной литературной династии Матвеевых. Владивосток, 2004. С. 32-47.

Катеринич В. Футуристы на Дальнем Востоке // Дальний Восток. 2002. N 5-6. С. 287-297.

Кириллова Е.О. Дальневосточная гавань русского футуризма. Владивосток, 2011. С. 116–137.

Кузнецова Т. Март Венедикт // Кузнецова Т. Русская книга в Китае (1917-1949). Хабаровск, 2003. С. 224-225.

Розенблит В. Не канул в лихолетье... // Утро России. 1997. 10 октября. С. 7.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 198.

РАСПЕЧАТАННЫЕ ТАЙНЫ
(Миниатюры)

Женщина

Я много ласкал их – и всегда они были непонятны мне. Если я понимал на миг, то не мог ласкать больше, – ибо тогда моя ласка унижала их и пригибала…

Я целовал ноги, колени, живот, руки, глаза, рот – все у женщин, но никогда не целовал их пятки и за ушами…

Когда поцелую пятки и за ушами, тогда женщины будут скучны мне и больше не нужны.

Впрочем, я полюблю горбатую и шестипалую.

* * *

Женщина под одеялом всегда виновата пред тобой, если ты думаешь молча.

– Зажги лампу или спроси ее о чем она думает. Это ее отвлечет и утешит.

* * *

Когда женщина зевнет, спроси ее о любимом цвете платья – она растеряется и полюбит тебя на миг – до следующего зевка… Тогда ты зевни вслед за ней, и она будет ревновать и бояться тебя…

Ты победил ее.

Можешь тушить лампу…

* * *

Женщина, если умна, – несчастна или скучна, как пень. Умную женщину надо ласкать при свете…

* **

Женщины любят любовников, когда те спят. Они тогда присматриваются к ним жадно и знойно.

Спящий возбуждает женщину, но она боится его, пока не оглянется или не разбудит.

** *

В темноте женщину ласкаешь иначе, чем при лампе. Лампа как-то мешает и заставляет думать. Лампа заставляет лгать или уверять даже телом. Тело устраивается лучше, чем душа. Тело не оправдывается, а душа доказывает что-то.

Женщина отдает тело любовнику и тянется к его душе. А он возьмет ее тело и переляжет на другой бок – спиной к ее телу и лицу.

Женщина плачет.

Старая дева

Старая дева отражалась в зеркале.

Пышные красноватые волосы падали на лоб, и от этого лицо казалось не в меру чувственным. Синие глаза в темных рамках век горели желанием. На щеках ярко рдели лепестки румянца. Губы пылали.

…Вошел юноша и поцеловал руку старой девы.

Проза

* * *

Когда они лежали утомленные, юноша неожиданно сказал:

– Зачем ты говоришь о своих летах!.. Поверь, мне вовсе не интересны молодые женщины – они такие неопытные в страсти… Вот ты…

– А ты разве знаешь женщин?!

– Конечно! – и он удивленно усмехнулся, а она разрыдалась. Отошла от него. Быстро одела платье. Села у камина. Задумалась.

Заговорила тихо, медленно:

– А я думала – ты девственнен. Я хранила себя так долго! Моя чистота стоила слишком дорого: несколько жизней. Умирали влюбленные, потому что никому не отдавались…Все мое очарование скрывалось в этом… в чистоте…

Юноша смущенно слушал. Вдруг рассмеялся:

– Вот видишь… а ты говоришь о летах!.. Разве молодая девушка придумает что-нибудь подобное… Ну иди же – я хо-чу…

Старая дева прогнала юношу.

* * *

Через час она целовала грудь и бедра юной приятельницы, у которой были серые глаза, пепельного цвета волосы и маленькие, тугие, неразбутонившиеся губки.

Камень безымянный

В тонкий мизинец левой руки вдето кольцо. Хризолиты окаймляют красный безымянный камень.

Она говорит, что это капли крови в прозрачной капсуле.

Если ее белые руки обнимают возлюбленного, красный камень загорается ярче, и алый отблеск играет на хризолитах.

Когда она умрет – красный камень примет цвет ее глаз. И тринадцать следующих владетелей кольца рано умрут от безумной, неудовлетворенной страсти к неизвестной безымянной.

После тринадцатой смерти камень вновь станет красным.

Так сказал странный китаец, который подарил ей это кольцо.

У нее синие глаза.

Уют

Белые шторы и свет лампы спугнули сумерки. В зеркале отражалась голая стена.

– Войдите?

– У вас так неуютно!.. Можно на диван?..

Сняла боа и шубку.

* * *

Когда ушла, подумал: «Если б было уютнее, она отдалась бы… Надо повесить японские циновки над кроватью, а в углу – между «Христом в терновом венце» Гвидо Рени и «Богоматерью» Мурильо – привешу розовую лампадку.

Прислуга внесла молоток и гвозди и безразлично тупо сказала:

— Только гвоздочки маленькие…

Засыпая вспомнил, что в чемодане есть несколько оригинальных офортов.

За окном

Вот кто-то опустил веки, и краски стыдливо вспыхнули на серых лохматых странниках неба.

Снег бледный, синеватый лежит на дороге, перерезанный только что умчавшимся куда-то зеленым автомобилем. С голой ветки березы у самого ствола свесилось, как растерзанная черная голова чудовища, забытое воронье гнездо и, точно одурманенное чарами чутких сумерек, смотрит безглазое, жадное на перерезанный снег.

Вот на дорогу вступает лошадь с санями, в которых дрова, две корзины и человек с заспанным лицом – он дремлет. Лошадь, упрямо понурив голову, смотрит на снег, и кажется: она угрюмая не хочет поднять голову – боится увидать кровь заката.

Печально и медленно удаляются, словно кортеж лошадь, сани, дрова, две корзины и человек.

И краски на небе бледнеют.

Новые шрамы на снегу еле заметны: сумерки, как заговорщики, сбегаются, крадутся и скрывают их.

Снег темнеет.

Впервые опубликовано и печатается по: Окно. 1920. № 2. С. 8-10.

ЛАПА МИН-ДЗЫ

Так и состарилась на чужбине Мин-дзы.

Лет тридцать назад – еще бойкой, расторопной – выбралась она случаем из родной деревушки. Зазвал ее на чужбину заезжий проходимец Ван-со-хин, бывалый делец, не однажды посетивший и таежный Амур, и тихие берега спокойной Кореи, и дальний приют белого дьявола Хай-шин-вей.

Ван-со-хин развозил по китайским незатейливым селеньям

побережья, ближайшего в Чифу, всякую ходкую всячину: и спрессованную морскую капусту, и лакомые трепанги, и чечунчу прочную, и напраздничные раскрашенные картины театрального действа с изображениями длиннобрадых старческих ликов богов, и наряды готовые, и безделушки любимые, и всякую неожиданную чужестранную невидаль.

А иной раз Ван-со-хин умело припрятывал и завозил страшный драгоценный таян – опийные слитки.

В то время черный дурман яро свирепствовал, сочился по всей стране.

Чадный дым пьяного невидного дракона густо и смутно выстилался, проползал из синих развалин – затаенных фанз – по всему побережью…

Запекшиеся в комьях почерневшей крови, отрубленные головы уличных опийщиков все чаще свешивались на придорожных столбах в назидание еще не уличенным опийщикам.

Эти кошмаром чернеющие угрозы вовсе не смущали отчаянного Ван-со-хина. Он даже пошутил как-то над одной из таких выставленных голов: хлопнул ладонью по выбритому лбу мертвой головы и нараспев прокричал:

- Вот ты этак не треснешь, Ван-со-хин, когда его забубенная головушка будет отдыхать на твоем почетном возвышении!

* * *

Покидая родную фанзу китайского побережья второпях, Мин-дзы захватила всего лишь несколько пестрых, цветистых обмоток ножных и две пары остроносых прочных туфелек для своих уродливых крохотных ножек. Это Ван-со-хин предупредил ее: в Хай-шин-вей, мол, мало женщин и трудно достать хорошую пару остроносок.

Захватила еще Мин-дзы кое-какие нарядные пустяки.

Особенно бережно Мин-дзы увернула в старую материну материю наследную, почерневшую, уже ссохшуюся тигровую лапу.

С необычайным вниманием и осторожностью, пуще всего берегла Мин-дзы эту вещь. Еще дед завещал отцу, а отец ей передал тигровую лапу.

С детства далечайшего запомнила Мин-дзы множество родовых россказней о целительных, чудных свойствах тигровьей лапы…

* * *

Так и покинула фанзу родимую Мин-дзы с проходимцем Ван-со-хином.

И только в чужом неприветливом Хай-шин-вей опомнилась она и досыта оплакала свою жестокую неладную участь.

Ван-со-хин, заманивая Мин-дзы, насулил, наболтал ей полное

благополучие и обилие в новой жизни; ожег ее доверчивое воображение заманчивым будущим, в ее настороженном сердце вспалил радостную тревогу и жгучее выжидание.

Очутилась же Мин-дзы в темной, неприютной конуре какого-то затхлого, грязного дома.

Каждый вечер Ван-со-хин натаскивал в эту конуру чужих, грубых людей, которые делали с ней все, что хотели.

Нередко Ван-со-хин уезжал куда-то по каким-то темным делам и оставлял ее на произвол судьбы или – еще хуже – на произвол своих подозрительных приятелей.

Однажды, исчезнув так же, Бог весть куда, Ван-со-хин не возвратился вовсе.

Мин-дзы не удалось и разведать-то толком о судьбе своего тирана: была ли отрублена голова Ван-со-хина, и болталась ли она где-нибудь на придорожном столбе, или же его труп был сожжен и схоронен по-человечески. Никто из приятелей Ван-со-хина ничего не мог сказать о его судьбе.

Впрочем вскоре Мин-дзы перестала интересоваться этим. К тому же она подружилась с богатой китаянкой Кун-ны, с которой впервые на чужбине поговорила словами открытого, уязвленного сердца о своем тусклом, убогом житье.

Встреча с Кун-ны была точно послана незабвенной душой умершей матери Мин-дзы – так решила несчастная женщина.

Кун-ны оказалась доброй и ласковой и по доброте великой приютила Мин-дзы у себя в богатой теплой фанзе на краю города. С годами Мин-дзы привыкла к Хан-шин-вей, примирилась с чужбиной.

Иная, спокойная, ровная жизнь вовсе стерла с ее памяти жестокое время, пережитое с беспутным обманщиком Ван-со-хином.

И только однажды, когда в темный вечер набросилась на нее собака и разорвала ее ножные новые обмотки, Мин-дзы вдруг остро и четко вспомнила исподлобного, всегда вздорно придирчивого Ван-со-хина, который почему-то особенно сильно раздражался от какой бы то ни было ее удачи или обновки.

«Наверное, душа Ван-со-хина перенеслась в этого злого щенка», - подумала с ужасом Мин-дзы, убегая от назойливого лая.

Благодарная Мин-дзы охотно помогала по кухне, в хозяйстве своей ласковой покровительнице и со временем выучилась легко и бойко приготовлять изысканные, затейливые кушанья из свинины, водорослей всяких, из всевозможных морских животных, чилимсов, крабов, сушеной мелкой рыбы и прочих продуктов. Мин-дзы прославилась даже в кругу обширных знакомых богатой китаянки удивительно удачным и острым приготовлением особого лакомства из сушеных трепангов в соусе с

какими-то твердыми морскими растениями, а также и заваркою – ю-цао-мяо – китайского кофе.

И так до старости прожила, тихо и спокойно, поварихою Мин-дзы у доброй Кун-ны.

* * *

Но вот несказанное горе постигло вдруг Мин-дзы: ее покровительница умерла.

Не могла больше оставаться в богатой фанзе Мин-дзы без своей дорогой, незабвенной Кун-ны.

И снова очутилась в грязи и нищете. Правда, Мин-дзы была уже исполнена чужбинного опыта; к тому же за долгие годы службы у Кун-ны в ее тряпицах появилось несколько денежных сверточков и кой-какие пригодные вещицы.

Но не было у нее прежней бойкости и расторопности, и потускнела сила в костях, поослабла и пригнулась Мин-дзы, и превратилась в неуклюжую, без толка кропотливую старушенку.

К зиме приютилась Мин-дзы в соломенном уголке нар черного таян-гвана – ежедневного приюта опиекурильщиков.

* * *

И теперь-то пригодилась старушке наследная тигровая лапа, уже ссохшаяся и почерневшая.

С детства далечайшего запомнила Мин-дзы множество родовых россказней о целительных чудных свойствах тигровой лапы…

И вот что особенно запомнилось ей:

Ничто не может спасти человека, проглотившего рыбью кость, если кость эта застрянет в самом горле.

Так и будет торчать в горле.

Ни туда, ни сюда.

Не умрет несчастный, но жизнь его превратится в сплошную, безысходную муку. Вечная жестокая помеха – застрявшая кость, жутко отравит остатки дней его.

Все знают старые люди – мудрые китайцы – белобородые, почтенные.

Знают, как быть и в такой беде.

Нужна тигровая лапа, лапа, срезанная толком в кисти, ниже локтя.

Только она может спасти несчастного человека с костью, застрявшей в горле.

Только лапа тигровья.

Пусть хоть стара, хоть и застолетняя – чудодейство целебное ее не иссякает от времени.

Только цельною надо сохранить ее – с несбитыми, ровненькими когтями.

А лечить-то ею – легче легкого.

Лапа ласково берется в горсть руки, держать ее надо когтями растопыренными, выставленными к горлу человека с застрявшей костью.

И, вот, легонько, в чуть-чуточку проводится лапа – цап-царап, цап-цапыньки, сверху вниз – и снова – сверху вниз, и еще, и опять, и потом… проводится лапа расправленными когтями по горлу.

А человеку-то с застрявшей костью в горле должно стоять вытянуто, горлом напрягаючись, выжидаючи, головой вскинутой, кадыком на выступ выдвинутом и так терпеть, пока лапою проводится по горлу.

Цап-царап, цап-цапыньки – сверху вниз, и снова – сверху вниз, и еще, и опять, и потом… минута, другая – глянь! И кость-то выскочила из места насиженного…

Как рукою сняло!

Свободно человеку несчастному, легко и радостно по-небывалому…

Все это понаслышала и запомнила Мин-дзы из родовых россказней, перечетов и насказов нараспевных на тигровую лапу при дарениях от деда – отцу, от отца – ей.

И теперь, настари, и пригодилась Мин-дзы наследная ссохшаяся лапа тигровья.

О лапе этой разузнали люди, и ходила весть среди китайцев Хай-шин-вей.

На несчастье, где зазывали иногда старуху, кость вынималась из горла. И старая Мин-дзы сбиралась без толку кропотливо, сжимала в морщинистых, в трещинах скорюченных пальцах старую черную лапу тигровью, пробиралась на эти зевы – кость вынимать из горла…

Цап-царап, цап-цапыньки – сверху вниз, и еще, и опять, и потом… водит, проводит старушенка без толку кропотливой рученкой… минута, другая - глянь! – кость-то и выскочила из места насиженного…

И заплатят на радостях старухе. Тут же и накормят тем, что и без зубов – лакомо.

И прославилась Мин-дзы лапою в Хай-шин-вей.

Грамотный весельчак Сян-шин, прислужник таян-гване, так тот даже в уголку над лохмотьями постели Мин-дзы набил затейливую иероглифическую надпись: «Знаменитая и единственная специалистка по вытаскиванию рыбных костей из горл – Мин-дзы».

Смышленый Сян-шин забил это объявление вместо гвоздей целою рамочкой острых рыбных костей, различнейших форм и размеров, чтобы это служило наглядным доказательством старухиного искусства: она, мол, вытащила из горла эти кости. Впрочем, в таян-гване отлично знали, что все эти кости были однажды выбраны предприимчивым Сян-шином из котла соседней рыбной харчевки. Посмеивались над старушкой, но тайну ее обмана хранили ненарушимо.

По близ рамочки свешивалась тоже на вбитой в стену кости ловко

завернутая в материную материю тигровая лапа.

Эту затею с рыбьими костями Сян-шин перенял у китайских зубных врачей, которые на подоконниках своих приемных, вместо витрин, обычно слаживают все вырванные зубы своих пациентов, и, чем больше и выше зубная гора – красноречивей памятник дантиста, тем знатнее считается он и пользуется соответствующим почетом и должным доверием пациентов.

* * *

И доныне, до сегодняшнего дня, где-то в черных, сумрачных провалах среди бесконечных грязных пристроек, надстроек и построек одного из затхлых, потускневших домов китайского Владивостока – великого града трепангов, Хай-шин-вей, - в тусклом, незатейливом уединении ютится зябко уже слепнущая, еле движущаяся крохотная старушонка Мин-дзы – «знаменитая и единственная специалистка по вытаскиванию рыбных костей из горл».

Впервые опубликовано и печатается по: Март В. Тигровые чары. Владивосток, 1920. С. 3–10.

ДОЛГ ПОКОЙНОГО

– Туго придется – возьмешь у соседа, что ж делать! Пуще всего помни об этом долге, то и знай: соображай, как вернуть бы… чем платить-то?! Так и не забывай, шевели мозгой, – учил с ворчью седой Ку-юн-сун племянника, подростка Син-дзы. – Ой, никогда не отбивайся, не отпирайся от долга, что бы ни приключилось – худо будет! Говори лучше: «Завтра отдам, сегодня нет денег». А если и завтра не станет, опять скажи: «Прости, соседушка, нет денег, повремени, соседка, посля верну…»

Подолгу Ку-юн-сун поучал Син-дзы.

И вот что узнал племянник от своего дядюшки.

Умер человек, не выплативши долг, – все равно. И после смерти не выкрутится, как раз до копеечки отдаст, не деньгами, так работой отработает…

Три души у человека. После смерти расходятся они.

Одна душа уходит в иной, загробный мир и повторяет земную жизнь усопшего.

Душа другая остается в могиле с мертвецом.

А третья душа покидает прах, вселяется в родную фанзу, ютится в дощечке родовой с начертанным именем покойного.

Как будто бы и умер человек – ан, нет! Жива его душа и бродит в мире…

Бродит, ходит, переходит – бродит душа, пока не приткнется куда, в

брюхо какое, разбухающее от пледа: в коровье ли нутро, в лошадиное ли чрево, в собачий живот што ли…

И вот, с телятко̀й, жеребеночком ли, щенком что ли и выродится душа снова на землю – жить-поживать, сызнова канителиться да плодиться на той же земле, под тутошним солнышком.

Таков наказ бытовой! Шиворот-навыворот в оборот пущать душу никогда неутратную и вовсе безысходную.

Одно душе снисхождение положено: не один путь открыт ей, а пути…

Брод душий…

Куда свернет, туда и вынырнет.

Не путь, а пути.

Есть птичий полет – перелет: на испугу – огляда фазана, на курей, домоседок заботниц, на ласточку косолеточку-стремглавку, на серяка воробья-перескоку, на воронье – гниль-лакомье, на коршуна-быстроглаза, на синицу, хрупицу, на иных, на всю леть-перелеть-крыль небоходную – высью путь душе прокрылен, расстилается…

Есть и зверий след – на фанзовый скот: на коровушку добробрюхую, на коня-зоркоуха, на собаку-покорницу, на кошку-проворницу, на мышь-тишь, на того и другого, и на зверя полевого, на обезьянку-глазьехлопку, передразницу, на дикого зверя зубастого и волка выжидалу, на медведя-растопырю, хоть на самого тигра-жуть исподтишка лютого – во все норы, во любую прореху, всякую ноздрю-щель – след-копыть душе значится, дебрится, выложена.

А то есть и сновий путь, плавь-ползь-скользь-взлазь чуткая – в водяных глыбах, в недрах: на рыбу-слеломорду, на краба задомладного, на чилимса-усача, расторопу, к трепанге-сочнице, в страшного спрута-многолапа; на капусту-непритрогу, на инаку, плавающую тварь, в подкаменную водь, в нырливую живь, в поджабрую чудь – волна душе приоткрыта.

А и четвертая – крылья тропа значится: на мелюзгу, мельк летучую, на мошку расторопную, на мошкару непокойную-трескщелкучую, на комара, сверляка тупоногого, на муху-соньлакомку, на жука дремночинного, на бабочку-бесполезницу, на стрекоз-проворниц – душе перепуть-леть-перекрыль попутчица.

Одно душе снисхождение положено: не один путь открыт ей, а пути.

А душа выбирай: куда свернет, туда и выпрыгнет.

Не сама – так выкружит-выкинет с разгона в брюхо какое разбухающее от плода иль в яйцо, в плод, в семь, в икру – в меть какую, в скидь, снос – в плодь попутную…

Выворачивайся покойничек на жизнь сызнова, канителится да плодится на той же земле, под тутошним солнышком.

Таков наказ боговий.

И вот теперь, после многих лет, когда Син-дзы окреп необычайно, возмужал и обзавелся своим хозяйством, теперь ему слово в слово вспомнились рассказы Ку-юн-суна о долге.

И вот почему.

Только на днях Син-дзы одел белый наряд и в косу вплел белый шнурок: умер почтенный любимый дядюшка Ку-юн-сун, который заменял Син-дзы родного отца.

И вот теперь не дают покоя Син-дзы рассказы дядюшки именно о долге умершего человека: ведь недавно, незадолго до смерти Ку-юн-сун, как нарочно, занял у него деньги и так не вернул вовсе свой долг…

* * *

Приснился сон Син-дзы – будто кто-то говорит ему: «А дядя-то вернулся к тебе с долгом – ишь!»

Чудно стало Син-дзы – он и пронулся как раз в ту минуту, когда в комнату вбежал работник его – Гун-дзы.

Впопыхах говорит Гун-дзы – себе на перебой:

– Новость у нас, хозяин… Только что кобылка жеребеночком разрешилась…

И побег с работником в конюшню.

Бежит, сердце придерживает – рука на груди…

Ну и порешил Син-дзы, что дядя покойник вьютился в жеребенка-то и явился в его двор – отрабатывать долг свой.

Порешил, так и жеребеночка Дядей прозвал.

* * *

Дядя подрастал в заботе неотрывной Син-дзы и его работника.

Приказал Син-дзы кормить его только отборным овсом, не утруждать, лаской встречать, слова нежные перебирать, ладонью по мордочке проводить и пуще всего, всей скотинки беречь, холить.

И выходили Дядю в стройного, уверенного красавца-жеребца на восхищение всякого, кто взглянет, – так заглядится, на радость достойную Син-дзы.

Пришла пора приучать к работе Дядю – не стоит, а ходуном пляшет без делу, просится, на волю подбивается.

И вывел Син-дзы коня на пашню.

Ходит в полосе Син-дзы за Дядей, улыбается, радуется: что за конь! Как человек, все понимает, ко всему догадывается. И обойдет, где след, остановится-то вовремя и свернет толком, как раз у межи – никак на чужь соседову не переступит и не помнет, чего мять – не дело, и нет в нем устали! Ну, такой конь ладной! Степенная тварь!.. Не конь, а наваждение!..

Подойди кто чужой не так – с обидою – и не отступится, ухом не дотронется, не дрогнет. Куды!.. Нет! А вот скажи ласково, с сердцем: «Отойди, Дядюшка», – и отойдет в сторонку, смотрит натянуто, выпрашивает: «Не надоть, де, еще чего?». «Назад, Дядька», – и отступит, повернется, как надо… Такая тварь суразная!

* * *

Засуетился как-то Син-дзы на ярмарку – через два села объявлялась.

Кобыла как раз занемогла – пасмурнется, неможится: куды там через два села, на село не доскачет.

«Ну, – думает Син-дзы, – что задумываться – Дядю впрягу, хоть и даль, пристанет Дядюшка, что ж станешь, коль «надо» угораздило».

* * *

Вкруг припоселкового колодца на поле пораспахнулась большая бойкая ярмарка – на году первая.

Народу – ни пройти, ни проехать…

Распряг Син-дзы передышать Дядю и так пустил, без привязи, – уж больно надеялся на него. «Никаких хлопот не допустит – умный конь!», – думал Син-дзы.

И как раз, точно человек, переступая в сутолоке промеж людей, телег и товаров всяких, запросто по земле накиданных, заходил Дядя важно так по ярмарке, словно к чему-то приценяться желая.

Люди дивятся, толкуют на него:

– Ладной конь!

– Добрый конь!

– Крепкий конь!

Так со всех сторон сыплется.

Тот в зубы заглядит.

Иной по морде к ноздре растопыренной ладонью проведет…

Этот шлепнет, любя, по заднице опрокинутой пятерней костяшками.

А вот и овса в горсточке к зубам сунут…

– Не продажный ли коняга?!

– Дурной продавать такого…

Увлекся Син-дзы закупками да сговорами с купцами, Дядя отстал от него в сторону.

И не думает о коне.

Только вдруг зазвенело, зашумело, затрещало поодаль. А потом – и крик, и шум неладный с того же места… разобрал: коня на чем свет костят…

Вздрогнуло сердце. Син-дзы – ну на шум.

Так и есть Дядю за уздечку сдерживает кто-то, а Дядя отбивается, по

черенкам горшечным перебитым переступает боком – не дается...

А вокруг народ ходит, без толку переспрашиваясь…

Пропустили Син-дзы к коню, узнали – его конь.

Не успел протискаться, с криком налетел к нему горшечник, старый знакомый из соседнего села, корявый Ван-вей…

– Это твоя, сказываешь?! Эх, ты пень расторопный!.. Разве можно шалопаю такому волю отпускать? Голова твоя сучковатая! Коня такого спелого по чужим товарам хозяйствовать допускать, голова твоя молодая!.. Ишь, он все мое добро распотрошил – три горшка пощадил. Поплатишься ты, голова твоя заштопанная! Не то коня отберу!

– Не кипятись, Ван-вей. Ведь ты не конь – горшки разбивать! Проглоти на минуту язык, коль отпирает, аль откуси малость… Что ж делать – заплачу тебе сполна, мой конь! Сосчитай расход – займи язык, чтоб зря на воздухе не болтался…

– Ну и заплатишь!

Горшечник принялся пересчитывать цену перебитой посуды. Насчитал семь рублей двадцать копеек и вымолвил.

Впервые огорчил Дядя Син-дзы. Син-дзы взял коня под уздечку, отвел печально и замотал головой:

– Что же, Дядюшка, ты сделал со мной. В какой расход ввел меня! Отдам, вот, деньги и не останется на покупки – так с голыми руками и вернусь в фанзу!.. Ох, Дядя, Дядя!

Подслышал и полюбопытствовал горшечник:

– А к чему ты его Дядей называешь? Ведь я с твоим покойным дядей в ладах жил. Не пристало обижать покойника – лошадью обзывать, голова твоя молодая.

Син-дзы порассказал Ван-вею все: и про дядины рассказы о долге, и про себя, и про сон, и про рождение дядьево через жеребца…

Полез было Син-дзы рукой за пояс – деньги вынуть, но горшечник вдруг обмяк, схватил его за руку, остановил:

– Не трудись, Син-дзы… Не надо мне вовсе твоих денег… Я, вишь, твоему дяде-покойничку так и остался, не выплатил, а был должен как раз 7рублей 20 копеек – копеечка в копеечку… Вот он и пришел за своим долгом… квиты теперь…

Впервые опубликовано и печатается по: Март В. Тигровые чары. Владивосток, 1920. С. 11–18.

НА ЧЕРНОЙ НИТКЕ
Шутка покойника

– Ну, вот, я расскажу вам о последней шутке деда Евдокима.

Чудной был деда: шутник из шутников… По гробовую доску не мог

угомониться, набалагурить досыта… Что я по гробовую доску! Доску уже вытесали, гроб сколотили для него, – умер когда деда… – так он и в гробу покойничком не успокоился… и в гробу!!

Не верите?! Так, вот, поверите.

Слушайте.

Умер это деда Евдоким. Ну, честь честью, как полагается – пообмыли прах, переплакались, все такое. С утра скончался деда, а в вечер – как сейчас помню – точно и не умирал вовсе: совсем как живой лежал наш деда в гробике. А вокруг – Бог весть откуда только – старушья понабралось, точно вся окрестная дряхлость свои морщины приволокла, а вокруг гробика дедова старуший плач да хнучь ходуном стоит, неречет шепотком, гулом нараспевным не умолкает.

И все-то «старушье» перепрелое… Толечко я один в комнатушке – молодой, я только да еще какая-то не в моготу сутулая, желтолицая, рыжьекуцая – ну прямо лампадочное масло – какая-то монахинька Перепетуя, хоть и молодая не по годам, да ни с какого бока не живая – не живь, а окись человечья… Затхлая, костлявая – ну только грибку или плесени на ней не заводится… Так вот, промеж старушья я да монашенка Перепетуя, из молодежи возле дедова гробика преем. Правда, был еще в доме Петенька, деда покойного Евдокима внук, – совсем еще нерослый мальчуга, годков под тринадцать. Так тот с обеду куда-то стерся вовсе, да и так не показывался… К тому о нем и не заметили – уж больно не к лицу было в старушечьем гнезде путаться, канителиться на покойнике…

Темно так… – все сумерки на гроб в окна всочились… полумрак какой-то душный, тяжелый, затхлый. Темно, только лампадка маячит, баюкается, да три свечи зябко вздрагивают, словно не фитильки, а нервы в огоньках корчатся из телесного воска!.. Свечи мерещат, вздрагивают, и от них по углам да по кропотливым старухам тени и пятна желтые – смутные отсветы отпрыгивают, путаются, перескакивают… Смотришь – будто темень в отсветах, как с перепуга, ежится, словно кошка, хохлится, сжимается взъярено перед расходившимся псом… Жутко так, на спине муравьи позавелись, муравейник налаживают…

Темно все… Толеньки деда Евдоким один озарен со свечей… – но этого куды не веселей.

Старухи перешептываются, ворочаются по углам, локотятся на подоконниках возле горшков с гераньками, платками ерзают старухи, хнычат, извиваются, носами истекают, дергаются. Ну, кромешная канитель, право!.. И все точно по уговору какому-то кладбищенскому, угрюмому…

А монашка… и откуда с такого жилья прыть этакая выскочила?! – терещит. Разогналась, губы в припляс пустилися, перенотные листья Псалтыря так и скачут в раскаленных, прытких пальцах. Монашка не

читает, а наплясывает, нашептывает своим сухогубьем щелкучим… Язык без костей, говорят. А у ней словно гольная кость заместо языка по зубам терещит… Кажется, покойник и то не выдержит этакую пулеметную расторопь.

Гладкая прическа моя – под полку в ежика норовит соскочить: именно волосы на дыбы лезут… Кожа с губ от пересоху того и гляди шелушиться станет… Жу-у-утко-о что-то, не в моготу… В груди – словно мышь промеж ребер копошится: так, кажется, сердце и выскользнет на поту под пояс…

Ну, думаю, подошло… Не выдержу!..

Круги у меня от глаз расходятся… матовые такие, желтые шершавые: как огонь в угаре, в чаду, круги сквозь старух липко проступаются, от глаз мутятся… словно кто в гладкую гладь озера камнем запустил…

Нет, думаю. Встану, от духоты все это: надышали старые дрожжи… от ладана в голове неладь вязкая… тяжесть…

Думаю, в сени сойду, не то – так рядышком к дедушке-покойничку выкачусь, застыну…

Привстал было…

А-а-а-ах!

Вот тут-то и шутнул покойничек-то – дедок Евдоким…

Ну, и не сказать, что случилось…

Уж такое… Ну, по-ни-ма-е…

Вдруг дедова – покойника – рука приподняла надгробный покров, и заходила мертвая рука за бортом гроба!!!

В первый момент вся старушечья свита в один ком посередь комнаты спуталась, перемещалась и закружилась…

Только вижу – одна монашенка особняком; как стояла – в руках псалтырь, так и прилипла в угол, под иконы… Зубами высунутый язык цедит, стиснула… а глаза так и норовят на лоб выбиться-соскочить.

А деда-мертвец словно дирижирует всем этим – по воздуху рукой плавно проводит…

Кое-как кто куды порасталкались, распугались старухи…

Тетка Аграфена с перепугу выхватила из сеней полено, и ну покойничка поленищем по руке хлестать, пока не выломила по локоток дедову руку, мертвяги… только тут ее и оттащили, спохватившись…

О-о-ой, и что это было!

Ну никак не распотрошить языком – растопырей… Ну-у… О-ой.

– Не верите?! Так, вот, поверите!

По утру все выяснили на заднице Евдокимова внука… Уж и высекли же Петеньку, хоть и покойник возле лежал… очень просто…

Оказалось-то вот че.

Гроб с дедой как раз у окна стоял. Петенька смастерил щелочку,

протянул черную нитку (при лампадочном освещении и не приметно)… Заранее привязал нитку к дедовой руке одним концом, а другой – вытянул во двор… Вот когда стемнело вовсе, он и начал подергивать ниточку – ну рука и заходила… ожила мертвь.

Хотя Петок и уверял, что это дедова затея, что, де, дед перед смертью ему эту штуку завещал выполнить, да так никто мальчугану и не поверил: уж, больно сурьезным был покойник, лежа в гробу, и точно упрек даже выступил на его губах после поломанной руки…

Почем знать… а может быть, Петька был и прав…

Уж такой шутник был этот деда Евдоким – ну всем шутникам шутник, и тому шутник.

Опубликовано и печатается по: Вперед // ХККМ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1225.

ХУН ЧИЭ-ФУ

Хун Чиэ-фу – старик. И если изо дня в день, с утра до поздней ночи он добывает свою чумизу и гаоляновые лепешки парой жилистых упругих ног, то можно подивиться крепости и гибкости его организма.

Рикша, этот человек-лошадь, редко может проработать пятнадцать-двадцать лет. Самая могучая грудь, самое крепкое здоровье не выдержат ежедневной тяжкой пытки лошадиного бытия. Ведь рикша впрягает себя вместо лошади в коляску и беспрерывно бегом развозит пассажиров.

Всего три года бегает со своей коляской по пыльным, загаженным улицам Хун, как раз с того мучительного времени, когда он нацепил белую шишечку на шляпу и надел белые туфли[1] в знак траура по казненному сыну – единственному Ли.

Всего три года, а уже все чаще и чаще кажется ему, что вот-вот разорвется его сердце, не выдержит грудь… Намедни его плевки окрасились кровью, и Хун ждет того неизбежного часа, когда на трудовом посту, где-нибудь в торгашеской сутолоке грохочущих улиц он вдруг грохнется замертво наземь.

Смерть ничего, она – единственная желанная последняя встреча на осиротелом тупике его жизни. Волнует и пугает старика забота о деревянной дощечке с его именем. Умрет Хун, и некуда будет приткнуться его опустошенной душе[2].

---

[1] Траур у китайцев обозначается не черным, а белым цветом.

[2] В китайской темной массе до сих пор не изжит культ предков. Они верят, что у человека три души и после смерти одна из душ вселяется в особую дощечку, на которой написано имя покойного. Такие дощечки с «душами» обычно сохраняются в семье покойного на почетном месте.

О, Хун знает: будь сын Ли жив, он преподнес бы ему драгоценный подарок – сосновый гробик для останков[1].

Проклятые белые дьяволы-чужестранцы! Из-за англичанина топор разлучил голову с туловищем Ли, и отца с сыном…

Хун везет ненавистного белолицего чужестранца. Вот почему так мучительно четко в его памяти проплывают кошмарные видения недавнего прошлого…

Мальчика Ли Хун отдал в бойки[2] к богатому англичанину – мистеру Стеку.

При редких свиданиях с отцом Ли неизменно жалостно выл, как собачонка, прижимаясь к Хуну, и умолял взять его обратно в фанзу.

Для каждой такой встречи у мальчика скапливалась груда обид, и он в жалобах нараспев выплакивал отцу свое горе. Изо дня в день мальчик переносил побои и издевательства в барском доме своего хозяина.

Прошли годы.

Ли вырос в забитого, покорного юношу-раба. Казалось, он смирился: теперь при встречах с отцом сын не жаловался, а только угрюмо молчал, глядя исподлобья.

Хун вспоминает последнюю встречу с сыном.

Грязному рабочему-старику отцу было вовсе запрещено появляться даже во дворе возле дома мистера Стека. Но когда Хуна постигло несчастье – из Чифу пришла весть о смерти жены – не выдержал Хун и пошел к сыну поделиться общим горем…

Задним ходом, как вор, прокрался отец к сыну на кухню.

У порога его встретил Ли.

– Мой сын, тебя постигло несчастье, – скорбно-торжественно заговорил Хун, – умерла твоя мать Кун-ня, моя достопочтенная жена, которая…

Но старик не успел закончить.

В воздухе просвистела плеть… Мистер Стек незаметно подошел сзади и набросился на старика.

Напрасно что-то выкрикивал Хун, напрасно силился слабый Ли удержать сильную руку озверелого англичанина, – пока Хун не сбежал с лестницы, на каждой ступени на него опускалась плеть.

Дверь захлопнулась…

Только на другой день узнал Хун, что Ли заступился за отца. Не успела еще захлопнуться дверь, как он схватил топор и ударом в лицо встретил поднимавшегося по лестнице мистера Стека.

---

[1] У китайцев еще при жизни отца сын заготовляет гроб для старика, и это является доказательством особой сыновней почтительности.

[2] Бойка – мальчик, слуга.

Стек упал, обливаясь кровью.

Уже впоследствии Хун узнал, что у англичанина, которого все-таки «починили» искусные европейские врачи, лицо было обезображено сплошной впадиной шрама и отсутствием правой ушной раковины.

Конечно, Ли казнили на площади, как разбойника… И в тысячной толпе сновал обезумевший Хун…

Как в бреду, в его памяти встает картина казни.

…Ли, со скрученными назад руками, склонил голову над небольшой ямой. Палач взметнул топор… Ах! Ли дернулся в сторону, и топор врезался ему в плечо… Ли грохнулся наземь. Но он жив. Он судорожно вскидывает голову…

Толпа, как море, волнуется, ревет…

Нечеловеческим голосом кричит Хун:

– Добей! Не мучь мое дитя!

И крик этот точно повис одиноко среди сдержанного человеческого шума.

Палач опускается на одно колено. Новый удар – и от лежачего тела откатывается голова и останавливается почему-то на самом краю ямы. Палач ногой небрежно поддевает под щеку, и мертвая голова – в яме…

Хун отчетливо вспоминает каждый миг этих страшных минут. Он помнит даже, как палач сразу же после казни впихнул себе в зубы сигаретку и о сукно брюк чиркнул спичкой…

Все до последней мелочи помнит Хун…

Пот градом стекает по лицу за ворот, голова точно вымазана липким жиром, редкие волосы слипаются в сальном поту… На лбу, на шее, точно надутые резиновые трубочки, прыгают в такт бега вздувшиеся жилы.

И Хун бежит, бежит, бежит… точно убегает от своей памяти.

Ноги ноют, горят.

Руки будто прикованы к коляске. Пальцы врезаются в дерево.

Вокруг звенят, жужжат, кувыркаются в звуках и красках пестрые вертлявые улицы.

Пассажир Хуна с сигарой в зубах развалился удобно и уютно в коляске, в руках у него газета. Он не видит, он забыл, ему нет никакого дела до старика рикши.

И Хун бежит... бежит... бежит...

И вдруг в памяти прорываются последние судороги воспоминаний.

...Хун расталкивает толпу, пядь за пядью пробивается к обезглавленному сыну. Ему в человеческой гуще уже не видно, что делается там, на кровавых подмостках публичного зрелища.

Наконец он прорвался к первым рядам. Увы! – и голову и туловище уже уволокли нищие калеки – хоронить…[1] Он видит лишь свору этих человеческих отрепьев… Они сняли одежду с его сына Ли и делят между собой…

И бежит... бежит... бежит Хун, человек-лошадь.

***

Сегодня Хун с утра не может найти седока.

Пасмурный день. Люди сидят в домах. К тому же на днях появились эти проклятые автобусы. Они отнимают последний кусок хлеба у бедного рикши.

«Машина скорей бегает, чем старые ноги», – с горечью думает Хун…

Насквозь продрогший, Хун устал бегать в поисках седока и остановился у огромного дома. Здесь много европейцев – здесь их клуб.

Хун не один. Десятки рикш стройно вытянулись от подъезда вдоль стен.

То и дело выходят белые люди, садятся в коляски, и рикши впрягаются и везут их.

Наконец, очередь дошла и до хуновой коляски.

Заболтался Хун с молодыми рикшами и не заметил, как в его коляску сел страшный англичанин, мистер Стек.

Кровь бросилась к шее, затылку и залила все лицо Хуна. Забегали судорожно в узких щелях раскосые глаза китайца. В них промелькнуло что-то зловещее…

«Как хорошо, что мой сын, незабвенный Ли, оставил на твоем лице "пометку"», – думал Хун, вглядываясь в обезображенное, безухое лицо мистера Стека, пока тот указывал ему, куда ехать.

Стек вовсе не узнал Хуна. Да ему было и не до этого, он торопился и уже весь спрятался в коляску, со всех сторон закрытую стенками.

Старик впрягся и повез седока.

Трудно передать, что делалось в возбужденной голове, в уязвленном сердце Хуна.

Никогда он так быстро не вез седока, как в этот раз. Теперь за его спиною, всей своей тяжестью надавливая на его грудь, был тот, кто лишил его сына, кто принес ему так много горя…

Надвигалась гроза. Хун торопился. Вот уже раздался раскат грома. Как-то сразу ударил порыв ветра, и вдруг крупные капли хлынувшего дождя застукали по коляске, застрекотали по улице, по домам.

Насквозь промок Хун.

---

[1] В Китае труп казненного нередко достается нищим – курильщикам опия и морфинистам. За вознаграждение натурой (одеждой, обувью) они зарывают труп.

И старик не мог бежать уже так быстро по взрыхленной дождем грязной дороге. То и дело приходилось обегать лужи.

Надвигался самый настоящий свирепый тайфун. А англичанина надо было еще далеко везти.

Хун остановился, чтобы перевести дух. Но тотчас же приоткрылась передняя стенка коляски, и острый конец зонтика несколько раз подряд вонзился в тело китайца – это мистер Стек подгонял выбившуюся из сил «скотину»…

…И откуда только взялись вдруг силы у старика. Не успела коляска закрыться, как Хун, точно ужаленный, отпрянул в сторону и снова впрягся, но уже не обычно, а задом наперед – лицом к седоку.

Хун знал теперь, что ему делать…

Он быстро покатил англичанина, но не туда, куда нужно, не вперед, а в боковую улицу, которая упиралась в крутой берег реки.

Англичанин, видимо, почуял это. Но не успел он еще приоткрыть переднюю стенку коляски, как Хун выпустил ее из рук, и она с грохотом покатилась вместе с седоком по крутому каменному откосу вниз, в самую пасть разбушевавшейся от тайфуна реки…

Один Хун с пустынной набережной видел, как дважды над волнами взметнулись колеса его тележки…

Опубликовано и печатается по:
Март-Матвеев В. Сборник рассказов. М., Л., 1928. С. 5–13.

В ЯПОНСКОМ МЕШКЕ

Корейская быль

В безлесной степной низине разбросался Чжин-Чу – выселок корейцев-хуторян.

Только окраинная мазанка Чон Чу-чына висит на пригорке.

С утренней прохладой, на росе, Чон выходит медленной важной походкой за порог домика, усаживается на корточки лицом к восходящему солнцу и кропотливо закуривает длинную, в два локтя, камышовую трубку.

Чон щурит блеклые глазенки, любовно обозревая маленькие поля-гряды и мазанки выселка.

Семьдесят семь лет старику, но он крепок, здоров, сам справляется с огородом, засеянным чумизой, гаоляном, картофелем и кукурузой. Сам возится в рисовом болоте, ковыряется мотыгой в земле…

Проза

***

С тех пор, как пришли ненавистные японцы и превратили «Страну утреннего покоя» – Корею – в свою провинцию Чосен, – все пошло прахом в семье Чонов.

Японцы убили единственного сына старика Бен-чу Чона. До полусмерти замучили палачи чудовищными пытками и сына Бена, внука старика – Як-су Чона, оставив жуткие следы-шрамы на лбу и щеках...

Это было семь лет тому назад. И с тех пор скрывается где-то обездоленным и мстит за отца и родину Як-су японцам. Как затравленный зверь, Як-су не может придти даже к любимому очагу – его схватят и бросят в тюремную яму.

«Только увидеть Як-су!» – последняя мечта Чона.

Долгих семь лет разлуки, каждый день думает старик о единственном, последнем детище рода Чонов, и с каждой новой луной Чон относит в ближайший храм молитвенные записки, прикрепляет их к статуям богов, просит даровать встречу с внуком.

***

Сегодня утром, когда Чон по обычаю сидел на корточках за порогом мазанки, мимо трижды – волной – пронырялa юркая сорока.

«Весть!» – и улыбка задержалась на мудро-спокойном лице Чона.

В тот же день к полудню из хутора в хутор, из уст в уста сельские странники передавали новость: умер последний император Кореи – И-ван.

В народе шептались о каких-то событиях, о свержении власти японцев, о похоронах императора И-вана всем народом…

Из хутора в хутор, гуськом ходили какие-то чужие люди и зазывали хуторян в Сеул, на похороны-восстание.

И к Чону пришли чужаки.

Кто-то шепнул:

– Старик, в Сеуле твой внук Як-су. Он будет на похоронах в толпе людей Тхендошо – «Небесного пути».

И вестник исчез.

Небывалой тревогой забилось сердце Чона. Старик тотчас надел белый парадный траурный наряд и на шишку волос напялил высокую шляпу с металлической сеткой.

А вечером Чон на трясучей арбе уже ехал в Сеул.

***

Восемнадцать лет Чон не отъезжал от родного поселка дальше ближайшего храма, с тех пор как насильники-японцы захватили родину.

И не узнал встречные хутора, селения, города. Пядь за пядью вся страна в трауре. Всюду незваные японцы.

Там, где прежде зеленели поля хлеборобов, Чон увидел дымящиеся заводские трубы. В заводах, как в аду, в грохоте машин трудились корейцы для пришельцев-поработителей.

Ближе к Сеулу все дороги, все тропы, как в плотном тумане – в подымающейся пыли от тысяч пешеходов и арб, запряженных волами… И селяне, и хуторяне, и горожане спешат на великие похороны своего последнего императора И-вана.

Мудрый Чон знает: скорбь, плач и траур объяли страну вовсе не из-за смерти императора… Нет, это – скорбь, плач и траур порабощенных корейцев, потерявших национальную свободу.

На окраине Сеула Чон оставил в постоялой харчевне арбу и быстро-быстро понесся по городу… Он бестолково расспрашивал людей, где прах И-вана, где демонстрация, где люди «Небесного пути»…

Но вскоре человеческий поток увлек Чона, и не надо было расспрашивать людей – все стремились на похороны.

Только один юркий рябой кореец прислушался к стариковым расспросам.

Он с вежливым, церемонным поклоном обратился к Чону:

– Вам нужны люди «Небесного пути» – революционеры? Кого вы ищете?

– О, здесь столько людей, что вряд ли вы знаете, любезный человек, Як-су Чона из Чжин-Чу.

– А кто вы?

– Чон Чу-чын…

Рябой кореец зачем-то полез в боковой карман, вынул незаметно какие-то списки, просмотрел их за спиной старика… Глаза его загорелись жадно, он заулыбался и, спрятав списки, стал шептать скороговоркой Чону:

– Я вас сведу с Як-су… Я тоже из революционеров, из союза «Небесного пути»…

Рябой кореец ласково взял, мизинец о мизинец, старика и уже не покидал его…

Весь город казался громадным военным лагерем: всюду сновали отряды полицейских, тянулись цепи японских солдат, пожарные команды, грозные жандармы.

Толпы корейцев в белых нарядах текли по всем узким улицам, заливали площадь, сливались на перекрестках… И Чону казалось чудом встретить в недрах этих сотен тысяч людей родного Як-су. Но он верил юркому спутнику, бывалому городскому человеку.

Ссохшимися губами старик, как в бреду, твердил возлюбленное имя внука.

– Як-су… Як-су… Як…

Вдруг где-то возле Чона, над древними ярко-красочными хоругвями, религиозными и национальными знаменами, взвились, вспыхнули красные флаги, и разом грянул революционный марш…

И все смешалось.

Выстрелы… Крики… Стон… Невероятная давка…

И Чон помнит остро лишь последний момент: что-то тяжелое опустилось на его голову, и вдруг перед глазами искаженное злобой лицо рябого юркого спутника…

И все потухло…

Очнулся старик в страшном полицейском чонно.

В бреду Чон не помнит, сколько дней и ночей он томился в человеческой гуще, среди стонов и криков обезумевших, истерзанных людей, в смраде и духоте человеческого пота и испражнений… Иногда чья-то товарищеская рука совала ему в запекшийся рот чашку чумизы или ломоть гаоляновой лепешки.

Однажды, когда сознание стало возвращаться к Чону, он услышал свое имя в маленькое отверстие кованой двери.

Полицейские пинками вывели старика из общей камеры и втолкнули в полное света помещение.

Освоились глаза после тьмы…

Возле столов у стен стояли связанные, окровавленные люди, лежали без памяти в лужах крови, висели, привешенные за два пальца к потолку…

Каким-то странным, неведомым инструментом (электричеством) пытали юношу-корейца.

В углу висел вниз головой человек со стеклянными, бессмысленными глазами, раздутым лицом, и палачи вливали в его ноздри горячую воду…

Редкие волосы заходили от ужаса на голове старика – он попал в кабинет пыток.

Чона подвели к столу, за которым в ворохе бумаг рылся человек.

Старик остолбенел – это был юркий рябой кореец, его спутник.

– Чон Чу-чын, родом из Ян-Яна, разыскиваемый японской сыскной полицией, восставший против существующего государственного строя, член преступной тайной организации «Хваехой» – революционного «Союза огня». Последние годы проживал в Китае, в городе Кантоне. К похоронам императора И-вана ожидается с партией агитаторов в Сеуле…

Рябой остановился и злорадно взглянул на старика.

– Говори толком: кто прибыл с тобой из Кантона?

Чон заулыбался жалкой рабской улыбкой, помялся и робко вымолвил:

– Любезный господин, я действительно Чон Чу-чын, но родом не из Ян-Яна, а из Чжин-чу, откуда и прибыл… Это ошибка, любез…

Рябой вскочил и наотмашь ребром ладони ударил старика по лицу.

– Говори, разбойник, кто прибыл с тобой из Кантона, старая крыса?!

– Любезный господин… Я – Чон Чу-чын, родом… это ошибка… любез…

– Накалить железо!.. А пока – камышовых игл под ногти, чтобы вспомнил, откуда родом! – приказал рябой палачам.

***

Вторую неделю больной Чон в камере тюрьмы.

Он не помнит пыток чонно. Но на теле старика четко начертаны японские знаки… Вывернуты суставы, все тело в побоях, ожогах, ссадинах…

Вокруг Чона такие же изуродованные люди «Северного ветра», «Союза огня», «Небесного пути» и других революционных тайных организаций…

Как-то старик узнал от соседей, что его скоро освободят: его смешали с другим Чон Чу-чыном, ныне пойманным японцами.

И каждый раз, когда открывалась дверь, Чон ждал: вот-вот войдут тюремщики и отпустят его на волю… Тогда он уйдет навсегда в свою далекую мазанку – в Чжин-Чу, чтобы умереть на родной земле.

Последняя мечта Чона – встретить внука Як-су – рушилась.

Прошел уже месяц, и Чону объявили об ошибке палачей.

– Завтра ты будешь освобожден, старик! Твой однофамилец найден и уже распрощался с этой землей для действительного небесного пути, – сказал старший тюремщик, – а пока иди поработай за даровой хлеб…

И старика, как безопасного, случайного арестанта, повели на уборку в тюремный кабинет пыток.

Чон с ужасом вошел в страшное помещение. Ему дали воду и тряпку смывать с полов и стен кровь человечью…

А к вечеру старика повели во внутренний двор тюрьмы подмести его.

Чон бамбуковой метлой мел просторный тюремный двор, залитый сочным электрическим светом.

В углу копошились тюремщики с мешками.

Чон вздрогнул – в кожаном мешке, туго стянутом шнурами, билось живое существо.

Тюремщики подвесили на поперечную балку мешок, принесли воду и принялись обливать мешок водой.

Кожаные стенки мешка, облитые водой, стали быстро съеживаться, стягиваться, морщиниться, и из мешка слышался нечеловеческий сдавленный крик-хрип…

Вдруг в мешке смолкло.

– Привести его в сознание! – крикнул старший.

Тюремщики расшнуровали слегка мешок, и металлические палки с острыми наконечниками зашарили куда попало в теле жертвы.

Но в мешке было так же тихо.

– Вываливай прочь эту падаль! – опять скомандовал старший.

Как туша, выпало тело наземь и вдруг точно ожило на миг, и сквозь хрип вырвались крики:

– Мы-сы!.. Мы-сы!.. Мы-сы!..

Чон вздрогнул. Мы-сы – имя покойной жены его сына, матери Як-су.

И старик бросился в сторону крика.

Раздутое окровавленное тело, висящие клочья мяса, вырванный истекающий глаз, седые клочья волос не скрыли незабвенных черт и шрамов на лбу и щеках Як-су – Чон наконец встретил внука…

Старик без памяти грохнулся на бездыханное тело замученного революционера.

***

Утром чуть свет старика выгнали из тюрьмы.

Первая фигура, показавшаяся на безлюдной улице, был японский полисмен.

Подойдя к полисмену, Чон упал на колени к его ногам, заулыбался рабской жалкой улыбкой и, вынув из-за пазухи казенную бумагу, которую дали ему в тюрьме при освобождении, раболепно произнес:

– Любезный господин полицейский, разрешите вытереть стены и полы вашего мундира… на них много… очень мно-ого крови…

Чон Чу-чын потерял рассудок.

Опубликовано и печатается по:
Март-Матвеев В. Сборник рассказов. М., Л., 1928. С. 14–23.

РЕЧНЫЕ ЛЮДИ

Повесть

На Голубой реке

Лодка Ку Юн-суна остановилась на ночлег как раз у зеленого островка около города Чжень-Цзяна.

С лодки жадно смотрят черные глазенки маленького Ку-Сяо, сына Ку Юн-суна.

На реке так много развлечений и все интересно для Ку-Сяо.

Вот быстрыми стайками проносятся расторопные джонки – большие парусные лодки. На носах у них выступают вырезанные из дерева два рыбьих глаза. Сяо слышал, что эти глаза нужны лодкам, чтобы они видели опасность.

А вот проплыла почтовая лодка. Письма, вложенные в непромокаемые сумки, привязаны к веслам. Весла – как спасательные круги: если и разобьется в бурю лодка – они уцелеют, всплывут, и их подберут.

Шмыгают туда-сюда от берега к берегу неугомонные, вертлявые лодочки-шампунки. На каждой шампунке по одному веслу, которое прикреплено к лодке сзади, как хвост у рыбы. В этих лодочках живут речные люди, бедняки, у которых нет ни земли, ни дома. Они работают, едят, спят в лодках. Как крестьяне питаются тем, что дает им земля, так и эти люди питаются тем, что дает им вода.

Сяо родился в такой же лодке-шампунке. У него, как и у всех речных людей, не было родины. Родина для него везде, где может уместиться маленькая плавучая фанза – изба-лодка.

В лодке Ку Юн-суна живет семь человек: сам Ку Юн-сун, отец его – старик Ку Ляо-ин, жена Ку Юн-суна – Ку Нюй-ля и его дети: восемнадцатилетний сын Ку-дзы, шестнадцатилетняя дочь Ку-Ня, тринадцатилетний сын Ку Син-дзы и самый младший – Ку-Сяо, которому всего-то семь лет.

Ку-Сяо помнит – ему кажется, что это было совсем недавно – как он, крошечный, только-только начинал ходить по неровным доскам лодки. Мать тогда привязывала его одним концом веревки за ногу, другой же конец был прикреплен к борту лодки. Несколько раз Ку-Сяо вываливался в воду, и всегда его быстро втаскивали в лодку за эту веревку.

Теперь Ку-Сяо самостоятельно двигается не только по лодке, но и на воде. Он плавает и ныряет, как рыба.

Иногда случается семье бывать в больших городах, где стоят иностранные пароходы. Белые матросы, европейцы и американцы, забавляясь, бросают медные монетки в воду, и Сяо, с ватагой таких же ребят, с лодок ныряет в воду под самый пароход и нередко со дна реки достает одну из брошенных монет.

…Жадно смотрит Ку-Сяо на птиц, у которых в клювах большие куски рыбы. С утра в лодке никто ничего не ел. Проклятый тайфун – сильный ветер – сорвал ночью с лодки рыболовную сеть и унес ее. Нечем теперь ловить рыбу. И все запасы пищи съедены.

Вдруг Сяо радостно вскрикнул: со стороны зеленого островка, огибая неровный берег, показалась знакомая шампунка с золочеными рыбьими глазами на носу. Так и есть: у кормы стоял, ворочая с боку на бок веслом, корявый Ван-Вей, старый друг семьи Ку Юн-сунов.

Ку Юн-сун оторвался от удочки. На его мрачном лице заиграла улыбка: он забыл о нужде и голоде при виде старого друга, с которым не встречался больше года.

Лодки столкнулись бортами, Ван-Вей, не покидая своей шампунки, поздоровался с друзьями, низко поклонившись всем в пояс[1].

С лодки Ку Юн-суна также все одновременно отвесили низкие поклоны, отчего лодка чуть было не перевернулась: ведь семь человек наклонились разом в одну и ту же сторону.

Через час на лодках пировали: у Ван-Вея оказались большие запасы всякой провизии. Тут были и трепанги – бородавчатые морские черви – и водоросли, морские травы и сумейная каракатица, плавники акулы, бобовый сыр, тухлые голубиные яйца, ласточкины гнезда и, конечно, рис, без которого не обходится настоящий китайский обед. Ван-Вей жил одиноким бобылем в лодке, и ему было, конечно, легче, чем большой семье, заготовлять запасы пищи.

Вся семья вместе с гостем жадно съедали одно блюдо за другим из маленьких глиняных чашек. У каждого в руках было по две тоненьких длинных палочки, которыми они ловко и быстро опоражнивали из чашек вкусную снедь.

После обеда, когда посуда была уже вымыта в реке и чашечки поставлены вверх дном на корме сушиться, Ван-Вей рассказывал о своих путешествиях.

Оказалось, за год он успел проехать чуть ли не весь Ян-Цзы-Цзян – самую большую реку в Китае.

Ван-Вей рассказывал, как он был наверху реки, где вода мчится со страшной быстротой среди подводных камней, утесов и скал.

Теперь он возвращался снизу, из Шанхая, громадного города, в котором живет много «белых дьяволов» (так называют китайцы иностранцев).

В Шанхае ходили тревожные слухи: говорили, что весь юг Китая восстал против иностранцев и китайских генералов. С юга, с Ян-Цзы-Цзяна, на Шанхай шла большая революционная армия.

Напряженно слушала речная семья новости. На реке никто не знал толком, что делается у себя же на родине. Ведь сюда почти никогда не попадали газеты, а если бы и попадали, все равно некому было бы их читать. Каждое китайское слово пишется особым знаком, и сколько слов – столько и знаков. Чтобы научиться как следует читать, нужно заниматься десятки лет. Конечно, бездомным беднякам негде и некогда было учиться.

Особенно жадно слушал рассказы Ван-Вея маленький Ку-Сяо. Он только издали на пароходах видывал «белых дьяволов», когда они бросали монетки в воду, но он много наслышался о них.

[1] Китайцы не здороваются за руку, как у нас, а кланяются друг другу при встречах, складывая на груди ладони рук.

Когда на лодках вокруг уже горели маленькие коптилки-лампочки с бобовым маслом, а наверху, в небесах, сияли звезды, Ван-Вей объявил Ку Юн-суну, что он пробудет вместе с семьей до окончания речного праздника Драконов. Был конец апреля, а праздник Драконов начинается 1 мая и тянется до 5 мая.

Праздник Драконов

Чтобы веселее провести праздник, обе лодки, по предложению Ван-Вея, направились к самому городу Чжень-Цзяну. Сюда съехались тысячи разнообразных лодок.

Над всеми лодками, а на берегу, в городе, над дверями всех фанз (домов) были развешаны пучки древесных листьев, камыша и чеснока. По поверью, эти листья, камыш и чеснок могут отогнать страшных злых духов и чертей, в которых еще верят китайцы.

Возле самого берега стояли в ряд несколько десятков узких, длинных лодок. Какие-то люди спешно украшали их флагами, разноцветными материями и лентами. Издали лодки были похожи на громадные букеты ярких цветов.

Сяо, как и все речные люди, знал, что эти лодки украшают по случаю праздника Драконов. В пятый день пятой луны, то есть 5 мая, в последний день праздника будут устроены интересные гонки: чья лодка приплывет первой к назначенному месту.

1 мая Ку-Сяо проснулся чуть свет в своих лохмотьях под соломенным навесом. Рано утром весь город и река принарядились по-праздничному, и всюду было весело и оживленно.

Семья Ку Юн-суна расположилась на двух лодках, которые стояли рядом: взрослые – у Ван-Вея, младшие – у себя. На маленькой жестяной печурке уже кипел чай.

Когда разлили всем горьковатый чай без сахара, Ван-Вей на миг нырнул в свою крошечную лодочную спаленку и выполз из нее с большой корзиной, в которой оказались подарки для семьи. Тут были сладкие рисовые лепешки, завернутые в бамбуковые листья, рыба, соленые яйца и «пи-ба» – особые китайские плоды, которые очень любят ребята. Все это обыкновенно ставится на стол как раз в праздник Драконов.

За чаем и вкусной праздничной снедью Ван-Вей рассказывал о том, как произошел праздник Драконов… Сяо в соседней лодке было слышно каждое слово рассказчика.

– Очень, очень давно, больше двух тысяч лет назад, в Китае было царство Чжоу. Владел этим царством жестокий, злой царь, который всячески издевался над народом. У царя был добрый министр, знаменитый поэт Цюй-Юань.

Однажды Цюй-Юань сказал всю правду в лицо царю о его жестокостях и несправедливости. Разгневанный царь сослал поэта-министра в далекую ссылку.

Поэт не хотел больше жить в рабской стране, бросился в реку и утонул в ней. Долго жители реки, которые любили справедливого человека, искали труп Цюй-Юаня, но так и не нашли его. У поэта осталась четырнадцатилетняя дочь. Когда все поиски оказались напрасными, она по примеру отца бросилась в реку и утонула в ней. Через несколько дней жители нашли на берегу два трупа вместе: мертвая дочь держала в руках мертвого отца.

Оба трупа были с почетом похоронены как раз здесь в Чжень-Цзяне. И теперь каждый год в пятый день пятой луны, то есть 5 мая, в тот же день, когда поэт Цюй-Юань бросился в реку, народ празднует праздник Драконов.

Сяо жадно слушает каждое слово Ван-Вея и, конечно, верит всему этому, хотя в этой народной китайской легенде больше выдумки, чем правды.

Едва кончил Ван-Вей свой рассказ, как со стороны города послышался сильный шум, и вскоре на набережную с маленьких переулочков выступила громадная толпа людей. Над толпой развевались красные флаги, знамена.

– Это кули, китайские рабочие, студенты и городская беднота празднуют по-своему праздник Драконов. У них сегодня свой рабочий праздник – 1 мая, – объяснил бывалый Ван-Вей речным людям.

С лодок хорошо видно, что делается на берегу. Вот толпа разом грянула песню. Песня новая, какую еще не слышали речные люди: в этой песне рабочий люд проклинает врагов китайского народа – «белых дьяволов» – иностранцев и генералов.

Маленький Сяо дрожит. Взрослым жутко. Насторожились на лодках: что будет?!

«Как люди могут петь такие песни? – не понимает Сяо. – Ведь вот стоят иностранные суда со страшными пушками, обращенными на город. А в городе, должно быть, много солдат, которые служат у генералов!»

И только Сяо подумал о солдатах, как с другой стороны набережной, с таких же маленьких переулочков, быстро-быстро, один за другим, цепями выбежали полицейские, а за ними солдаты. В руках у них – ружья.

На реке тревога – как перед грозой. На джонках наспех разворачиваются паруса. На шампунках люди бросаются к веслам.

Трах… рах! – на берегу раздались первые выстрелы. Как испуганные стаи птиц, вверх и вниз по реке понеслись тысячи лодок. Мирные речные люди уплывали подальше от выстрелов, от пуль, оберегая свои семьи.

И среди этих лодок рядом плыли шампунки Ван-Вея и Ку Юн-суна. Ку-Сяо было так обидно, так досадно: ему ведь хотелось увидеть настоящую войну. Войну людей с красными флагами и солдат, вооруженных настоящими ружьями.

Первый раз на земле

Ку-Сяо так и не удалось увидеть настоящую войну.

Не удалось ему посмотреть и на гонки разукрашенных лодок. Отец отплыл далеко-далеко вверх по течению, и обе лодки остановились у обычной речной стоянки лодок, близ небольшой деревушки Хон-Да.

Одно было развлечение Ку-Сяо: смотреть на плавучие пашни.

Такие пашни, кроме Китая, во всем мире не увидишь.

Люди, у которых нет земли, устраивают на реке большие плетеные плоты. Эти плоты покрыты толстым слоем ила и земли, и на них сажают хлебные зерна.

Плоты выстроились в длинный ряд. С них брошены в воду тяжелые якоря, чтобы «поле» не унес ветер.

Сяо смотрит, как полуголые люди в лохмотьях возятся на своих водяных плавучих пашнях.

«Вот бы хорошо нам такое поле!» – думает китайчонок.

Ведь только что уплыл Ван-Вей, и в лодке опять наступил голод. С каждым днем все хуже и хуже. Отец и старшие дети с раннего утра до позднего вечера удили рыбу. Мать с малыми ребятами вылавливали из воды большими шестами арбузные корки, банановую шелуху. Иногда удается нацепить на шест и трупы маленьких животных или выброшенные с берега гнилые овощи. Этими подаяниями реки и кормились речные люди.

Как-то однажды, проснувшись ночью в своих лохмотьях, Сяо услышал странный разговор.

– Надо раздать детей: продать Ку-Ню; за нее дадут хорошие деньги: таэлей (рублей) двадцать. А Сяо можно подбросить к какой-нибудь богатой деревне. Он не умрет с голоду: его подберут, – говорил хриплым голосом отец.

– Я не отдам своих детей, – рыдала мать.

– Ну, тогда мы все сдохнем с голоду вместе с твоими детьми. Куда мне столько ртов! Сяо будет лучше. Его научат какому-нибудь делу, и он не будет влачить проклятую жизнь речных людей.

– Не отдам... не отдам... не отдам! – захлебывалась мать в слезах.

Всю ночь ворочался неспокойно в куче тряпья маленький китайчонок и никак не мог сомкнуть глаза...

Через полмесяца голодная семья распрощалась с Ку-Ней: девушку продали на шанхайскую шелкопрядильную фабрику за 25 серебряных таэлей.

Каждый день совещалась семья; куда употребить такую уйму денег.

Наконец, Ку Юн-сун объявил семье: завтра он вместе с Сяо сойдет на берег, чтобы в ближайшей большой деревне купить рыболовную сеть.

Небывалой радостью забилось сердце мальчика: Сяо, рожденный на воде, ни разу еще не ступал на землю.

На другой день лодка причалила к берегу близ «плавучих пашен». Маленький Сяо спрыгнул вслед за отцом на зеленый берег, как раз у большого камня, похожего на черепаху.

Земля! Китайчонку было так чудно, так забавно стоять на неподвижной земле. Ведь он и вынянчен-то на волнах, в лодке, как в люльке. С непривычки даже закружилась голова.

Высокие роскошные травы подходили к самой реке, а выше росли кустарники, узорные папоротники и над ними вековые деревья, обвитые диким виноградом.

Отец с сыном прошли узенькой тропинкой между скалами.

Вот потянулись поля хлопка, за ними ряды тутовых деревьев, целые леса абрикосовых, персиковых и ореховых деревьев.

Дальше пошли рисовые поля, залитые водой, и, наконец, показалась большая деревня. Жители далеко вокруг славились искусной выделкой рыболовных сетей.

Сяо не уставал идти за отцом: ему было так весело, так интересно ступать по земле.

Отец купил сеть, зашел с сыном в харчевню, где они вкусно пообедали, и Ку Юн-сун прикупил целый мешочек гаоляновых лепешек и всякой снеди.

– На, неси мешок, Сяо: он не очень тяжел. Это будет гостинец для братьев и деда.

И они покинули деревню, но не с той стороны, с которой пришли, а с противоположной.

– Куда мы еще идем? – спросил Сяо, которому показалось странным, что отец идет с ним не обратно к лодке, а куда-то дальше.

– Мы обогнем деревню, спустимся и пойдем по берегу, тут ближе, – ответил Ку Юн-сун.

Когда деревня оказалась далеко позади и они вышли в открытое поле, отец вдруг спохватился:

– Ай, ай, ай, сынок! – вскрикнул он. – Я совсем забыл: ведь я обещал купить матери новое платье, которого она ждет вот уже несколько лет! Ты посиди здесь и обожди меня. Без тебя я скорее справлюсь, а я сбегаю обратно в деревню.

– Папка, ты оставь сеть-то, а то тебе тяжело таскать ее туда и обратно, – сказал Сяо.

– Нет, нет! Сеть нельзя оставить с тобой. Ты маленький – у тебя могут ее отобрать.

Ку Юн-сун повернулся обратно в деревню, остановился вдруг и крикнул:

– Но только ты не отходи ни на шаг от этого места, пока я не приду.

Сяо показалось, что на глазах у отца выступили слезы, и голос его почему-то не был похож на обычный, отцовский. И ему стало жутко оставаться одному на незнакомой земле.

Но китайцы терпеливы – и взрослые, и дети.

Сяо поставил мешок с гостинцами на землю и уселся ждать отца.

Как-то сразу стемнело.

А Сяо все еще сидел на тропинке между рисовыми полями.

Уже прошел не один час с тех пор, как отец ушел «за обновкой для матери»…

Вместе с темнотой росли тревога и страх.

Вдруг где-то близко на деревьях, между полями, вскрикнула ночная птица. Крик ее был похож на жалобный плач ребенка… Сяо не знал, что это кричит ночная птица, – ему стало страшно.

Не выдержал Сяо и заплакал… Все громче и громче плакал мальчик и плачем отпугнул птицу: теперь она кричала где-то далеко-далеко.

Глазенки Сяо слипались. Он тер личико кулачком и плакал все тише и тише.

Утомленный первым необычайным днем на суше, китайчонок незаметно для себя скатился головкой на мешок с гостинцами и заснул.

Снилась ему родная лодка. Тесно в ней, но зато здесь мать, дед, отец, братья… и даже проданная сестра Ку-Ня по-прежнему живет в лодке.

Добрый Ван-Вей раздает гостинцы из большого-большого мешка. Что-то говорит, улыбаясь, корявый Ван-Вей, но слов его не слышно: где-то кричит птица – страшно кричит и мешает слушать Ван-Вея.

Мечется и бредит мальчик на голой земле.

– Где я, где?.. Мама!

И почему-то только теперь, спросонья, перед мальчиком ясно-ясно в памяти выплыла картина.

Ночь в лодке. Он пробуждается в лохмотьях постели и слышит шепот:

«А Сяо можно подбросить в какую-нибудь богатую деревню», – шепчет отец.

«Я не отдам своих детей!» – рыдает мать.

И Сяо так захотелось теперь прижаться к матери, согреться теплом ее тела. Холодно-холодно в утренние сумерки в поле!

Сяо вскочил и бросился бегом в деревню – туда, куда ушел вчера отец.

«Добегу до берега и прямо – в лодку, к маме! Мама не даст отцу бросить меня!»

Мальчик бежал и сквозь слезы твердил одно и то же слово:

– Мама... мама... мама...

Вот и деревня. Заспанные крестьяне с мотыгами через плечо уже стоят возле своих фанз (изб) и молча покуривают длинные тонкие бамбуковые трубки. Они собираются на поля.

Китаянки еле-еле плетутся, переваливаясь с боку на бок на своих крошечных уродливых ножках, как на ходулях... Они спешат к общественному колодцу за водой.

Никто не обращает внимания на мальчика. Часто через деревню пробегают ребята в сельскую школу: школьник торопится не опоздать, чтобы не рассердить учителя. Китайские учителя жестоко наказывают детей бамбуковыми палками.

Быстро-быстро бежит мальчик. Вот и деревня позади.

Впереди блеснула серебристая река. Солнце только-только выглянуло краешком из-за гор. Сяо спустился к реке.

Направо – лодки рыбаков, плавучие пашни на плотах.

Налево должна быть отцовская лодка.

Но вот и камень, похожий на черепаху. Здесь отец с сыном сошли на берег.

Лодки возле этого камня не было!

Все пропало! Сяо остался один на страшной незнакомой земле.

И мальчик упал на камень. Слезы смывали грязь с желтого лица.

***

Как бы сильно ни было несчастье – все равно; когда наступает время, человек хочет есть.

Так и Сяо... Проголодался, расшнуровал мешок, вытащил первую попавшуюся гаоляновую лепешку и жадно принялся за нее.

«Значит, отец для меня купил эти гостинцы, чтоб я не умер с голода». И чувство благодарности проснулось у Сяо к отцу, бросившему его на чужом берегу.

Солнце высушило слезы на лице мальчика, и он с лепешкой в зубах вовсе не казался брошенным на произвол судьбы.

Встреча с Красной бородой

Сяо не заметил, как к нему подошел какой-то человек.

– Дай и мне лепешку, – раздался голос за спиной. Сяо испуганно оглянулся.

За ним стоял высокий китаец в отрепьях. Человек похож был на скелет: кожа да кости.

Сяо раскрыл мешок и протянул незнакомцу лепешку.

Не успел Сяо зашнуровать мешок, как незнакомец уже проглотил лепешку и потянулся опять к мешку.

Сяо дал вторую лепешку.

– Кого ты ждешь, мальчик? – спросил голодный человек, доедая третью лепешку.

Сяо всхлипнул: горе с новой силой охватило его. И мальчику захотелось вдруг рассказать о том, что он оставлен отцом и не знает, что ему теперь делать, куда идти.

Бродяге стало жаль мальчика, когда он услышал его печальный рассказ.

– Как тебя зовут? – спросил он.

– Сяо, сын Ку Юн-суна.

– Ну, Сяо, сын Ку Юн-суна, зови меня просто «хунхузом». Так меня зовут и друзья за то, что я в молодости, когда был здоровым и сильным, разбойничал.

Сяо стало страшно. Он много слышал рассказов о хунхузах. Хун – это значит красный, хуз – борода. В старину они нацепляли красные бороды, чтобы быть страшнее. И раскрашенные, с нацепленными красными бородами, они нападали на богатых купцов.

Сяо так испугался, что даже отодвинулся подальше от незнакомца, который тоже присел на камень. И мальчик спрятал мешок с гостинцами за спину.

Красная борода рассмеялся, когда заметил, как Сяо прячет мешок.

– Не прячь, не бойся… Сяо, сын Ку Юн-суна! Хоть и страшно я называюсь, но тебя не обижу! Э-эх, если б знал я раньше твое горюшко, то и голодный не съел бы лепешки – тебе нужнее. А теперь к делу: ты хорошо посмотрел мешок, знаешь ли ты толком, что, тебе оставил отец? Нет?! Ну, покажи-ка мне, маленький бродяжка, свое богатство!

И Красная борода так хорошо улыбнулся, что мигом у Сяо рассеялись все страхи.

– Разворачивай! Разворачивай!

В мешке оказалось десятка два лепешек и несколько сладких рисовых пирожков, замотанных в бамбуковые листья. На дне мешка лежали связки денег и два письма.

– О, да ты, дружок, богатей! – вскричал Красная борода, потрясая в воздухе связками монет.

Среди бедняков-китайцев до сих пор в ходу круглые медные монетки с дырочками посредине. За серебряный рубль можно получить до 1 000

таких монеток. Обычно китайцы нанизывают их, как бусы, на веревку и связывают штук по 100-200, чтобы удобнее носить.

– А теперь возьмемся за письма. Я-то ведь немного грамотный!

Эти письма, видимо, были написаны уже давно, тайно от семьи, каким-нибудь лодочным грамотеем: сам Ку Юн-сун был неграмотен.

– В этом конверте твой документ. Береги его! – и Красная борода протянул первый конверт.

– А это – письмо тебе от отца.

«Мой дорогой сын. Я тебя оставляю одного на берегу. Но ты не вини старого, бедного отца. Если бы я не продал твою сестру Ку-Ню и не оставил тебя на земле, то все мы вместе с матерью и старым дедом умерли бы с голода.

Когда ты останешься одиноким на берегу, не пугайся. Иди в деревню, где мы купили сеть. В этой деревне много богатых людей, и, может быть, кто-нибудь бездетный возьмет тебя в приемные сыновья или же в ученики. Ты научишься плести невода и сети, это хороший и прибыльный труд.

Когда ты подрастешь и скопишь деньжат, отправляйся в Шанхай. Там много людей работает в больших-больших фанзах (домах) на иностранных фабриках. Там же работает твоя сестра на японской шелкопрядильной фабрике Кину-но-Учи. Отыщи ее, и помогайте друг дружке.

Будь всегда во всем бережлив, не вини, а почитай своих бедных родителей, бросивших тебя из-за нужды великой.

Твой отец Ку Юн-сун».

Слезы катились по лицу мальчика, пока Красная борода читал отцовское письмо.

– Знаешь что, Сяо… Теперь, когда я прочел это письмо, мне еще больше жалко тебя. Поверь мне: не ходи в эту проклятую деревню! Там ты не найдешь работы. Послушай меня: иди прямо в Шанхай. В этом громадном городе много-много людей, и для тебя там найдется горсточка пищи и кров. А может быть, ты отыщешь сестренку. Ей легче будет с тобой.

Старый бывалый бродяга и бездомный мальчик, только вчера впервые вступившей на землю, решили вместе пойти на большую побережную дорогу, ведущую в Шанхай.

Весь день шли Красная борода и Сяо по пыльной дороге в сторону Шанхая.

Под вечер странники остановились перекусить возле моста, под которым журчал быстрый ручеек с чистой ключевой водой.

Сяо улегся ничком на землю и жадно прильнул губами к холодной воде. Красная борода набирал воду в горсть и подносил ее ко рту.

Нищий на собаках и мальчик с обезьянкой

Только что пройденная дорога далеко была видна отсюда: она, извиваясь, поднималась все выше и выше; мост же с ручейком лежал на самом низу, в овражке.

Поэтому, когда сверху по дороге показалась странная, причудливая группа, Сяо легко мог ее различить.

В деревянной тележке, запряженной восьмеркой собак, среди отрепьев и всякого хлама раскачивалась фигура человеческого обрубка – старика без ног. Вокруг калеки в неуклюжем просторном коробе телеги барахтались лохматые слепые щенки, по бокам и сзади повозки плелось еще несколько псов, которые были навьючены котомками и мешками.

Несколько поодаль собачьего каравана едва поспевал тощий китайчонок. Он был нагружен длинными шестами, веревочной лестницей, ящиком через плечо и цветными побрякушками.

Шествие замыкала нарядная обезьянка, которая бежала, подпрыгивая, за китайчонком.

Сяо первый заметил странную группу. Она показалась мальчику настолько необычайной, что он растерялся.

Красная борода в это время подремывал, сидя на корточках.

– Красная борода, что это такое? – мальчик дернул за лохмотья бродягу и указал пальцем на дорогу. Глаза Сяо были расширены не то от испуга, не то от изумления.

Красная борода протер глаза, отшатнулся от неожиданности и радостно заулыбался.

– Сун! Здравствуй, «песий мандарин»! Откуда и куда? – крикнул он.

Обрубок тоже что-то кричал беззубым ртом, улыбался и радостно кивал головой.

Оказалось, пеший бродяга, Красная борода, и безногий старик, бродяга на собаках, были давнишними приятелями.

Ради такой неожиданной встречи Сун, как звали безногого старика, и мальчик Ли-Тай, акробат с обезьянкой, остановились у моста.

Так и решили бездомники: отдохнуть и переночевать всем вместе возле ручейка.

– Вот и горячий чаек будет! – проговорил Красная борода, завидя большой чайник, привязанный к спине одной из собак.

Но Сяо не слышал слов спутника. Он смотрел на смешного зверька – обезьянку в выцветшей лиловой рубашонке, с бубенцами на шее.

Обезьянка, по-видимому, привыкла к собакам из своры Суна и ничего не имела против их соседства. Но, впрочем, когда какая-нибудь осмелевшая собака подходила уж больно близко к ней, чтобы понюхать ее сзади по собачьему обычаю, обезьянка неожиданно оборачивалась и метко била по морде или по уху четвероногого нахала.

Расправа обезьянки с собаками забавляла Сяо больше всего.

Тем временем у старика закипела своя работа. Он, оставаясь в тележке, распряг упряжных собак. Собаки-носильщики подступили к самой тележке, ложились под ее бортами, и Сун развязывал веревки, освобождая их от ноши.

По какой-то смешной команде старика, похожей на кашель, собаки вдруг рассыпались по окрестностям. Через некоторое время они со всех концов несли в зубах добычу – щепки, валежник, сучья.

– Смотри-ка, Сяо, как собаки помогают Суну! Это они несут топливо на костер, – пояснял Красная борода.

Все делали собаки за безногого Суна, и ему оставалось только командовать своей песьей артелью и распределять отдельные поручения между смышлеными четвероногими работниками.

Вскоре под мостом, у самого ручья, где собрались бродяги, весело потрескивал костер, над которым покачивался большой прокопченный чайник.

Сяо уже узнал, что старик Сун и мальчик-акробат Ли-Тай случайно встретились несколько дней назад на этой дороге и направлялись в Шанхай.

А когда чай вскипел, Сун согласился взять себе в попутчики и Сяо. У бедных людей, которые легко понимают друг друга, такие дела решаются сразу: если нужно помочь, значит, помогай, чем можешь!

– Вот тебе и спутники, мальчонка! – радостно промолвил Красная борода.

Вскоре у костра шел пир горой… Правда, это был пир нищих бродяг. У старика Суна нашлась припрятанная в телеге под лохмотьями бутылка гаоляновой водки «ханшин», которую и распили взрослые, закусывая сушеной морской капустой и ласточкиными гнездами.

Ли-Тай извлек из походного ящика засахаренный жареный ячмень и бобы в патоке, а Сяо решился по такому случаю распотрошить из зеленых бамбуковых листьев сдобные пироги из липкого риса…

За чаем, по предложению Красной бороды, каждый из спутников по очереди рассказывал о своей жизни.

– Я покину вас, – сказал Красная борода, – а вам троим долго придется вместе брести до Шанхая. Вот почему вы должны знать друг друга.

Первым рассказывал о себе калека Сун. И многое узнал Сяо от словоохотливого старика.

Сун рассказывал, как двадцать лет блуждает он по миру нищим – с тех пор, как проклятый паровоз «белых дьяволов» – иностранцев – перерезал ему обе ноги…

Живучий и смышленый человек-обрубок окружил себя такими же, как сам, никому ненужными бродячими собаками и выдрессировал их для своих нужд.

Вот уж, поистине, «всякая собака знает» Суна! По всему Ян-Цзы-Цзяну и даже в далекой Маньчжурии, родине старика, у него друзья: сотни и сотни собак! Китайцы так и называют шутя Суна: «Кочевой песий мандарин» (мандарин – это важный китайский чиновник).

Тысячи километров вдоль и поперек по полям и через сопки избороздил калека на своих псах.

У старика для каждой встречной собаки в запасе дружеское слово, добрый взгляд, ласковый привет, вкусная кость или ломоть хлеба. Для всякого пса своя кличка, особая затея, отличная шутка… Упряжные собаки и собаки-носильщики были подобраны им щенками и верно служили ему. На привалах Сун вступал с ними в беседу. Кроме призывного горлового крика и команды, похожей на кашель, – «за сучьями», у старика было много «слов» для собак: восклицания, высвисты, постуки, чмоканье, цыцкание и др. И собаки охотно слушали и, казалось, понимали его.

Уже стемнело, когда к рассказу своей жизни приступил Ли-Тай, мальчик-акробат, которому шел уже тринадцатый год.

Родился Ли-Тай близ Желтой реки – Хуань-Хо. Это – вторая по величине (после Голубой реки – Ян-Цзы-Цзяна) река в Китае. Она также впадает в Тихий океан, как и Голубая река, но севернее ее. Страшная это река, в народе ее за непостоянство зовут «Печалью Китая»: иногда она меняет свое направление, и тогда вода сносит все на своем пути – крестьянские хозяйства, поля, сотни деревень, тысячи людей и скот.

Там, где течет река, на много-много километров кругом лежит «желтая земля», которая называется «лессом»…

Есть черная земля – чернозем, лесс же – это желтозем, жирная плодороднейшая земля…

Но такая земля требует много влаги… Вот почему вся родина Ли-Тая вдоль и поперек изрезана канавами, водоемами, каналами и водными бассейнами.

И там есть особые деревни, каких нет во всем мире: деревни под землей.

Желтозем достаточно крепок, чтобы не похоронить под собою людские жилища вместе с их обитателями. Вот почему бедные люди решаются рыть свои фанзы (избы) в самой утробе земли.

В таких деревнях под землей вырыто много улиц, которые в дождливую пору похожи на ручьи, устроены земляные лестницы – выходы на поверхность земли.

Деревня «Тигровая ловушка», в которой родился Ли-Тай, была одним из таких подземных селений.

Все было в подземельи «Тигровая ловушка»: подземные трактиры, подземные парикмахерские, школа и даже подземный маленький храм.

В маленькой земляной норке-фанзе, без окон и дверей, с входным отверстием на крутую уличку, появление на свет младенца Ли-Тая никого не обрадовало: в семье уже копошилось четверо детей мал мала меньше.

В своем детстве Ли-Тай знал лишь постоянный голод, колотушки со всех сторон, кротовую тьму да слезы матери…

Далекая теперь родина кажется Ли-Таю смутным желтым сном: все там желто – и люди, и глиняные фанзы, и Земля, и редкие придорожные деревья, покрытые желтой пылью, и ручьи, размывающие желтозем.

Особенно ярко помнит Ли-Тай «желтые ветры», когда со степей бешенно неслись тучи плотной желтой пыли, которая заслоняла иногда само солнце. Как снежная пурга забивает все снегом, так и эта пыль покрывала все на своем пути.

Совсем крошечным ребенком голодная семья продала Ли-Тая на учебу бродячему старому акробату, фокуснику Утеги…

Утеги взял мальчика и повел его в чужие села и города, обучая по пути ремеслу акробата. Вместе с ними бродила обезьянка.

О, эта учеба! Кости трещали от нее. Как беспощадно бил Утеги маленького Ли-Тая, чтобы сделать из него искусного акробата. И каким только цирковым номерам и трюкам ни обучал старый акробат мальчика.

Особенно страшным и ненавистным для Ли-Тая был номер с кинжалами. И теперь, когда он рассказывает об этом номере, раскосые глазенки, освещенные отсветами костра, сверкают ненавистью к «учителю» Утеги, который обращался с ними куда хуже, чем старый Сун со своими собаками.

Утеги ставил оголенного по пояс Ли-Тая с вытянутыми по сторонам руками к широкой доске и на расстоянии нескольких шагов метал, казалось, прямо в мальчика, острые страшные кинжалы… Кинжалы вонзались глубоко в доску, как раз вокруг головы, груди, подмышек мальчика, на расстоянии медной монетки от самого тела… Промахнись хотя бы раз Утеги, и кинжал пригвоздил бы китайчонка к доске.

Все заработанные гроши Утеги неизменно уносил в тайные притоны, где люди курят опиум – яд, который страшней и разрушительней водки. А мальчик с обезьянкой питались впроголодь случайными подаяниями.

Вот почему, когда год тому назад умер Утеги, Ли-Тай впервые вздохнул свободно и тотчас же продал мяснику ненавистные кинжалы.

С тех пор Ли-Тай сам себе хозяин, бродил только с неразлучной обезьянкой по селам и городам необъятного Китая, устраивая свои уличные представления.

Последним рассказывал свою жизнь маленький Сяо-дзы, «речной человек».

Красная борода отказался почему-то и слово вымолвить о своей жизни.

– Вот теперь я совсем спокоен за тебя, мой маленький Сяо-дзы, сын Ку Юн-суна, – весело заявил Красная борода. – Ты нашел себе хорошего товарища – Ли-Тая… Для вас обоих не хватило места родиться на земле: один родился под землей, в норе; другой – на воде, в плавучей фанзе… Хорошая пара. Такие товарищи должны понять друг друга и крепко сдружиться.

Не успел Красная борода закончить своих слов, как далеко по дороге послышался топот множества лошадиных копыт: так скакать мог лишь солдатский конный отряд…

Заслышав топот, Красная борода насторожился тревожно, наспех простился с друзьями и вдруг шмыгнул в заросли гаоляна.

Солдаты проскакали мост, вовсе не обратив внимания на бродяг у костра: они, видимо, куда-то спешили.

– А ну-ка, кликните Красную бороду, – предложил Сун ребятам, когда лошадиный топот стал утихать далеко впереди.

Напрасно ребята кричали во тьму: Красной бороды и след простыл.

Логово «рыжих дьяволов»

С памятного вечера под мостом, когда наши путешественники потеряли Красную бороду, прошло много дней.

Странная группа – безногий старик на собаках, мальчик с обезьянкой и Ку-Сяо – приближалась к логову «рыжих дьяволов», к Шанхаю.

Чаще попадались незарытые человеческие трупы на полях, падаль животных, рвы свалок, мусорные бугры.

– Вот скоро город, – сказал Сун, когда среди мусора и свалок показались люди.

Эти люди собирали в отбросах кости, истлевшее тряпье, заржавелые гвозди, консервные банки, битое стекло, никому ненужную рухлядь… И сами эти люди, кой-как завернутые в лохмотья, прикрытые джутовыми мешками, казались отбросами, выволоченными сюда вместе с мусором.

При приближении суновых собак с придорожных чахлых трав лениво поднимались отъевшиеся вороны и с недовольным карканьем отлетали вперед.

Возле самого города в дорожной пыли лежали страшные люди – без носов, с отвалившимися пальцами, с гниющими телами. Это были нищие-прокаженные.

Только когда Сун бросил им несколько медных дырявых монеток, прокаженные пропустили старика и мальчиков в город.

Въехали они в Шанхай со стороны утреннего солнца.

С самой окраины безногий старик приступил к работе: он стал нараспев попрошайничать. И тотчас толпы зевак облепили его необычайную повозку.

Ку-Сяо и Ли-Тай простились с Суном и быстро-быстро побежали по узким шумным улицам громадного города.

Перед мальчиками мелькали прилавки, заваленные фруктами, сахарным тростником, кореньями, снедью, сластями, затейливыми безделушками.

Вот они пробежали улицу, где люди в синих нарядах торговали только колясками для рикш, которые впрягаются в коляски и развозят пассажиров.

Свернули на улицу гробов... За этой улицей – улица чемоданов, улица шляп. В Китае в больших городах существует множество улиц, на которых торгуют исключительно только одним каким-нибудь товаром.

Люди что-то делали на глазах у прохожих, что-то продавали, предлагали, о чем-то кричали, кого-то останавливали… И Ку-Сяо казалось, что весь город торгует.

По узким улицам бесконечной вереницей проносились люди-лошади – «рикши», сновали бродячие торговцы, кочевые ремесленники: цырюльники, швеи, сапожники, массажисты, музыканты, фокусники, лудильщики, акробаты. И все эти люди, каждый по-своему, выкрикивали, свистели, тренькали, барабанили, пищали, пиликали, гудели в свои смешные ремесленные инструменты, стараясь обратить на себя внимание.

Ку-Сяо, впервые очутившемуся в громадном городе, пестрые шумливые улицы казались сказочным сном. Он еле-еле поспевал за своим товарищем.

На улице харчевен с мальчиками встретился белый человек – англичанин. Белый держал за руку девочку в богатом голубом наряде. Голубая девочка забила в ладоши, увидев обезьянку.

Белый знаками приказал мальчикам следовать за ним.

Миновав вонючие, тесные и грязные китайские кварталы, они вошли в роскошный сетлмент – европейскую часть города.

Китайчата, хотя и побаивались «рыжего дьявола», все же покорно следовали за ним.

Белый человек открыл золоченую калитку. В пышном тенистом саду стоял его мраморный дом. Возле самого дома оказалась прекрасная площадка, посыпанная цветным песком. В лучах солнца искрились и перевивались синие, красные, оранжевые квадраты, треугольники – узоры цветного песка.

Англичанин с девочкой поднялись в тень на террасу, а китайчатам палкой было указано место для представлений – на площадке возле белокаменной лестницы.

К двум зрителям на террасе присоединились вышедшие из дома три нарядные белые женщины и до десятка слуг богатого англичанина.

Голубая девочка не могла найти себе места от нетерпения: хлопала в ладоши, взвизгивала, смеялась до слез. Ли-Таю приказали приступить к представлению, и на площадке мигом закипела привычная работа.

Обезьянка открыла ящик; деловито, не торопясь, отыскала смешную широкополую соломенную шляпу, надела ее на голову. Затем она вынула из ящика платье балерины и нарядилась в него. Наконец, из этого же ящика были извлечены веер и зонтик.

И обезьянка-«танцовщица» с веером и зонтиком в лайках взобралась мигом на канат, который натянул Ли-Тай на двух высоких шестах, воткнутых в песок.

Обезьянка проделала на канате ряд забавных номеров и головокружительных трюков.

Вслед за «канатной плясуньей» начался номер с быстрыми переодеваниями. Обезьянка скинула наряд танцовщицы, и из ящика одна за другой появлялись маски и необходимые предметы той или иной профессии.

Обезьянка натягивала маску на мордочку, и перед зрителями выступали самые разнообразные лица.

То белобородый поп, перебирая четки, усердно на все четыре стороны отмахивал молитвенные поклоны.

То парикмахер со страшной бритвой в лапах свирепо брил кого-то невидимого.

То водонос с ведрами на коромысле вытанцовывал забавные «калачи» под тяжестью своей ноши.

То кокетливая девица приводила в порядок свой сложный туалет перед воображаемым зеркалом.

То кули, грузчик, сгибался под рогулькой, нагруженной непосильной тяжестью.

Смерть обезьянки

Голубая девочка прыгала от удовольствия по террасе. Кто-то дал ей орехи, и она принялась швырять их в обезьянку.

Как раз в это время обезьянка кончила свой номер и отдыхала. Ее заменял Ли-Тай, который показывал свое акробатическое искусство.

Ли-Тай кувыркался в воздухе так быстро, что трудно было разобрать отдельные части его гибкого, проворного тела… То он кружился по земле, как волчок, сделав из своего тела «колесо»… То расхаживал вверх ногами на руках…

Сяо больше всех волновало мастерство товарища, и он гордился им.

У обезьянки образовался целый ореховый склад: в горстях лап, на зубах, даже в карманчиках кофты у нее были орехи.

Орехи, наконец, привлекли внимание Ли-Тая. Он набрал до десятка орехов и принялся ловко жонглировать ими…

Голубая девочка выбежала на площадку.

Напрасно Ли-Тай, который не умел говорить по-английски, силился предупредить девочку, чтобы та не подходила к обезьянке и не дразнила ее.

Голубая девочка подскочила к зверьку и для забавы потянулась отобрать орехи из цепких лапок.

Обезьянка прыгнула прямо на обидчицу.

Раздался пронзительный крик, перешедший в неудержимое рыдание.

Вмиг англичанин подскочил к обезьянке и наотмашь ударил ее палкой как раз по темени.

Ли-Тай страдальчески скорчился, точь-в-точь как обезьянка, одновременно с ней, словно удар с той же силой пришелся и по его темени…

Англичанин удалился на террасу. Девочку на руках унесли в комнаты.

На обезьянку точно столбняк напал: она так и осталась неподвижной и скорченной на оранжевом треугольнике песка среди рассыпанных орехов.

Ли-Тай смотрел на зверька, и слезы прыгали из раскосых глаз; на лице выступили желтые полоски смытой грязи... Испуганный Сяо тоже плакал: ему было жаль и обезьянку и акробата.

Мальчики принялись собирать свое достояние. Напрасно обезьянка попыталась помочь своему хозяину-товарищу: ей не удалось даже донести до ящика зонтик… Зонтик, который так легко и ловко кружился в ее лапках, когда она плясала на канате, выпал из ослабевших лапок.

Когда Ли-Тай вскинул ящик на плечи и все привел в походный порядок, с террасы к его ногам мелькнула большая серебряная монета: целый даян (китайский доллар, немного больше рубля).

Никогда в руках Ли-Тая не было таких денег. Но щедрость «рыжего дьявола» вовсе не обрадовала мальчика. Он с тупым безразличием нагнулся и поднял монету.

Китайчата быстро-быстро зашагали прочь.

Обезьянка не могла идти сама: она на каждом шагу как-то странно валилась набок. Ли-Тай поднял ее и бережно усадил к себе за плечи на ящик. За золоченой калиткой обезьянка вдруг закашлялась; ее тело трепетало в лихорадочной дрожи.

Ли-Тай не на шутку встревожился.

Обезьянка была единственным живым существом, близким Ли-Таю. Она – его кормилица: не будь ее – что бы делал подземный мальчик-сельчанин, заброшенный в чужие края?..

Подымался ветер. Ударили первые крупные капли дождя... Мальчики прибавили шагу, хотя толком не знали куда идти.

И вдруг сразу косой стеной хлынули воды тайфуна...

Китайчата шмыгнули в первую попавшуюся харчевню...

В харчевне приветливо пахло вареным, пареным, жареным кушаньем. Из кухни тяжело стлался густой ползучий пар: готовились пельмени на пару.

– Давай проедим сразу все эти проклятые деньги «рыжего дьявола», – предложил Ли-Тай, когда мальчики уселись за один из столиков, покрытых красным лаком,

– Разве два мальчика смогут проесть сразу целый даян?

Даян казался Сяо громадной суммой.

– Проедим! – и Ли-Тай заказал дорогой соус с мясистыми бородавчатыми морскими червями – трепангами, отбивной медузы в приправе с сочными водорослями, бобового сыра, огромного краба и две больших чашки пельменей. Для обезьянки особо: порцию моченых бобовых орехов и сладких лакомств.

Мяо жалобно всхлипывала и лапкой беспомощно показывала на темя... учащенно моргала, корчила плаксивые гримасы и то и дело тянулась к Ли-Таю, капризно требуя от него неотступного участливого внимания.

Обезьянка дрожала. Ли-Тай снял с себя верхние отрепья и бережно укутал больного зверька. Пересели ближе к теплу кухни.

Толстый маленький татарин с круглым бабьим лицом подал на двух подносах богатый обед.

Ли-Тай ласково погладил обезьянку, провел ладонью по ее дрогнувшей мордочке, придвинул к ней лакомства, приглашая к трапезе.

Но Мяо не дотронулась до лакомых блюд. Казалось, ее раздражал даже вид пищи.

И когда Ли-Тай поднес к ее мордочке горсть моченых орехов, обезьянка вдруг снова закашлялась, и из горла и ноздрей обильно хлынула густая горячая кровь.

Желтый мальчик задрожал от страха… На омытом недавними слезами лице выступила меловая бледность.

Обезьянка забилась в мучительных судорогах.

Несколько раз, через короткие ровные промежутки, вздрогнула Мяо, всхлипнула глубоко и протяжно и издохла…

…Все кончено… Все! Все! Все… Кончено… Кончено… Кончено…

Ли-Тай не верил глазам.

На руках у желтого мальчика покоилось желтое тельце обезьянки… И сам мальчик, вместе со своей ношей, упал на руки взрослых китайцев… Возле потерянной Мяо Ли-Тай потерял сознание.

Как собачонка, выл Сяо: ему казалось, он никогда не видел такого горя…

№ 3737

Когда Ли-Тай пришел в сознание, мертвая обезьянка лежала рядом с огромным многолапым красным крабом. Кто-то в суматохе выхватил ее у мальчика и положил на лакированный стол.

Надо сказать, что наши китайчата очутились в Шанхае в очень тревожное время. В городе каждый день происходили облавы, аресты и массовые казни.

– Облава… Гоминдановцев ловят! – крикнул кто-то в харчевне.

И тут произошла невообразимая суматоха. Мирные люди, среди которых, может быть, не было ни одного гоминдановца, бросились кто куда, оставляя на столах вкусную ароматную пищу, опрокидывая табуретки. Прыгали в окна, теснились к дверям, кто-то шмыгнул в кухню и скрылся среди пельменьевого пара.

Сяо не помнит, как его оттеснили от Ли-Тая, как он оказался на улице, где люди носились во всех направлениях. Весь квартал кишел встревоженным муравейником.

Из-за угла выскочили солдаты. Теперь и Сяо знал, куда ему бежать: пустился в противоположную сторону от людей в серых военных куртках.

Тысячи лет китайский народ знал лишь несправедливость и произвол мандаринов и прочих властей. Еще недавно в Китае, когда убегал преступник, в тюрьму сажали его родственника, а если не было родственника, сажали соседа сбежавшего преступника.

Вот почему китайцы, как от чумы, разбегаются от какой бы то ни было облавы.

«Что сталось с Ли-Таем?» была первая мысль Ку-Сяо, когда он остановился где-то за несколько кварталов от злополучной харчевни перевести дух.

Вокруг спокойно. Люди медленно проходили возле домов под черными, золочеными и красными вывесками. Облава не докатилась до этих мест.

Сяо отдышался и повернул назад к харчевне искать Ли-Тая. Улицы, по которым проходил он, были похожи одна на другую… Еще и еще улицы, а знакомой харчевни не видать. Затревожился Сяо.

– Скажите, сударь, как пройти на улицу харчевен? – остановил прохожего китайчонок.

Прохожий улыбнулся.

– В Шанхае, малыш, сотни улиц с харчевнями. Вот тут направо три таких улицы. Да и налево с полдесятка.

Так Сяо и не нашел харчевни, где оставил Ли-Тая с мертвой обезьянкой.

Толпа на улицах редела. Тушили огни. Время подходило к полуночи. Но где-то впереди, словно пожар, темно-фиолетовое небо было насквозь пронизано светом. На этот свет бежал одинокий мальчик.

И Сяо оказался на берегу реки Вампу, на которой стоит Шанхай.

С двух сторон по набережным тянулись громадные грохочущие фабрики, из окон которых лился яркий электрический свет. На реке светились тысячами разноцветных огней громадные суда с рядами пушек. Здесь были океанские великаны – пароходы американцев, канонерки французов, крейсера англичан… На мачтах ветер разворачивал японские, немецкие, итальянские, голландские флаги. С некоторых судов по городу шарили быстрые полосы света прожекторов.

Рядом с громадными судами иностранцев к берегам жались тысячи крошечных лодчонок речных людей.

На Вампу светло, как днем. И даже вода казалась насквозь пропитанной сочным электрическим светом.

Сяо захотелось вздремнуть. На набережной лечь было рискованно; китайчонок видел, как полицейские бамбуковыми палками поднимали спящих кули.

Сяо то и дело шнырял под мосты, в закоулочки, по канавам, в неожиданные подземные щели, которых немало на побережьи большого города. Но увы! Всюду, где мог уместиться хотя бы один человек, ночлеги были заняты: свернувшись калачиком или прижавшись тесно друг к другу, спали бездомники.

Наконец и Сяо нашел свое гнездо. Он шмыгнул под мост, влез в отверстие широкой сточной трубы, нащупал нишу и улегся на каком-то возвышении…

Сяо не знает, сколько времени он проспал в своей затхлой норе. Проснулся он от громкого свистящего храпенья, которое заглушало несмелый щебет катящихся по трубам вод. Сверху глухо доносился ворчливый грохот пробуждающегося города.

Выбраться Сяо из углубления ниши оказалось невозможно. Поперек ниши, как раз у выхода, крепко спал взрослый человек, храпение которого разбудило китайчонка. Сяо пытался пролезть и между ног, и поверх живота спящего великана, но не тут-то было.

Сяо неосторожно задел соседа по носу. Сосед привскочил испуганно, стукнулся о какой-то выступ головой и крикнул яростно:

– Кто посмел забраться в мою квартиру?

Китайчонок не на шутку струсил.

– Это я, маленький Сяо, сын Ку Юн-суна, – пропищал сквозь слезы Сяо.

– Вот и хорошо, я тебя тут же съем в этой конуре вместо завтрака. – И сосед расхохотался хриплым громким хохотом.

Видимо, только спросонья он был свиреп, а когда очухался от сна, зашутил.

– Ну, рассказывай, головастик, как ты тут завелся в водосточной трубе? Да не бойся. Если ты воришка, говори всю правду: у меня в хоромах паспортов не проверяют.

– Нет, я не воришка, я речной мальчик…

И Сяо подряд рассказал о своей жизни.

– А теперь полезем наверх, – заявил сосед, выслушав рассказ мальчика.

Озираясь по сторонам, бездомники нырнули под мост, поднялись на набережную и смешались с многолюдной толпой. Утренние косые лучи солнца уже бороздили холодные камни набережной.

Сяо рассматривал спутника.

Это был рябой, подвижный, на редкость рослый китаец. В узкой косой щели век сверкал черный юркий смеющийся глаз. Казалось, этот человек должен был и родиться одноглазым, чтобы его лицо приобрело то хитрое, насмешливое выражение, с которым он смотрел на мир.

КуТе-ги то и дело балагурил, шутил, сыпал прибауточки. Но в его весельи не было доброй беспечности; это было ехидное хищное веселье человека, в себе что-то замышлявшего, кого-то перехитрившего.

– Ку-ку-ку, – закуковал Ку Те-ги, и в его единственном глазу заерзала хитро-хищная мысль. – Из ку-ку-ку мы сделаем дело. Ты говорил, что у тебя сестра на фабрике Кину-но-Учи работает. Пойдем, я тебя сведу к ней.

– Пойдем, – вне себя от радости крикнул Сяо.

– Но это дело нелегкое. Ты должен будешь молчать и не удивляться, что бы я ни говорил на фабрике, и называть меня «дядей». Если ты скажешь хоть одно слово не вовремя, нас могут палками выгнать с фабрики.

Вскоре они сидели уже в конторе громадной фабрики.

Сяо от счастья не понимал, что делалось вокруг него. Он даже не слушал толком, о чем шептался «дядя» с белыми людьми и нарядными китайцами-конторщиками. Сердце мальчугана билось радостью ожиданья. Скоро-скоро он увидит родную сестренку. Мальчик мечтал о том, как он будет жить вместе с ней, помогать ей в работе.

– Как тебя зовут? – перебил его мечты один из конторщиков.

– Ку-Сяо.

– А как зовут твоего дядю?

– Ку Те-ги.

– Ну, иди сюда, Ку-Сяо, и распишись на этой бумаге рядом с подписью дяди… Не умеешь писать – поставь тушью черточку.

Рябой «дядя» хитро мигал китайчонку единственным глазом и мотал одобрительно головой.

– Ляй-Ляй! – один из конторщиков громко хлопнул в ладоши, и, как из-под земли, возле Сяо выросли две китаянки. Одна быстро-быстро остригла Сяо волосы, другая скинула с мальчика отрепья и обрядила его в новые синие бумажные штаны и кофту. Мигом к кофте была вшита сзади большая красная заплата, на которой четко значилось: № 3737.

Пока стригли и обряжали Сяо, «дядя» огреб с прилавка в карман горсть серебряных рублей, поклонился раболепно конторщикам и незаметно для Сяо улизнул из конторы.

– Ну, а теперь марш на работу. Ведите его в шестой корпус на фосфор, – крикнул китаец-конторщик.

Сяо почуял что-то недоброе.

– Где дядя?

– Его ты не увидишь пять лет, пока не кончится срок твоей работы.

– А кто поведет меня к сестренке Ку-Не?

– Какая там сестренка? Вот твоя сестренка, – и китаец показал мальчику плеть. Конторщики захохотали.

– Вот договор: твой дядя продал тебя на нашу фабрику ровно на пять лет.

Сяо вскрикнул, пытался рассказать правду, но его вовсе уже никто не слушал, вытолкали пинками из конторы во внутренний двор фабрики и поволокли в шестой корпус.

Побег с фабрики

В Шанхае сотни фабрик. В Шанхае больше полумиллиона рабочих; среди них множество женщин и детей.

В Шанхае бывают случаи, когда дети рождаются за фабричным станком и их детство проходит в угарных фабричных помещениях, среди грохота и визга машин.

Одиннадцатилетний Тин, новый приятель Ку-Сяо по шестому корпусу английской спичечной фабрики, принадлежал именно к таким фабричным детям.

Его родиной была иностранная текстильная фабрика; его первой колыбелью оказалась куча сырого хлопка; его первый крик врезался в гул прядильных веретен.

Грудного ребенка, Тина мать привязывала к себе за спину и так работала с живой ношей по двенадцати часов в сутки.

Детство Тин проползал на каменном полу среди груд неразобранного хлопка. Хлопковая пыль забивалась в нос, рот, в глотку.

Вместе с Тином с места на место ползали по хлопковой массе такие же маленькие грязные детишки, мешая матерям перебирать хлопок.

Подрастая, Тин помогал матери в ее кропотливом труде. Но недолго пришлось ему быть возле матери. К семи годам мальчик осиротел: мать умерла от непосильного труда.

Сиротку перевели в шелкопрядильню той же английской компании.

По двенадцати часов в сутки изо дня в день работал Тин на новой фабрике. Особенно трудным было чесание коконов в метательном отделении. Работать приходилось над чаном с кипящей водой. Пальцы, размачивая коконы, поневоле касались кипятка, покрывались болезненными волдырями-ожогами, с них слезала кожа.

Нестерпимо трудно было работать в атмосфере, наполненной горячим паром, запахом мертвых коконов.

«И моя бедная сестренка Ку-Ня работает так же» – с горечью думал Сяо, когда Тин рассказывал ему о шелкопрядильне.

– Три года я работал на коконах. Не выдержал и сбежал… Проходил с месяц голодным по городу и снова продался к белым дьяволам на эту проклятую спичечную фабрику. Ничего, Сяо, и отсюда сбежим, – закончил рассказ Тин.

Мальчики подружились, так как им пришлось работать рядом. Спали они тоже рядышком на общем собачьем мате, на грязных соломенных нарах.

И на этой фабрике работали по двенадцати часов кряду в смрадной атмосфере ядовитого белого фосфора.

Надо сказать, что белый фосфор – страшнейший яд. Употреблять его запрещено на европейских фабриках. Но для Китая закон не писан. Иностранцы заставляют работать с белым фосфором даже и малых ребят.

Длинными рядами возле рабочих столов стояли сотни маленьких ребят. Они перебирали спички, коробки, наклеивали этикетки. От непрерывного стояния ноги отекали; ребятки поочередно поджимали в коленках то одну, то другую ногу, подтягивая их к тощим животам.

К концу трудового дня на зеленых лицах липла холодная испарина. Вялые движения казались искусственными движениями мертвых театральных кукол, которых дергают со стороны за ниточку.

Сяо уже третью неделю работает на фабрике, и не будь возле Тина, кажется, не выдержал бы он и умер от изнурения, тоски и обиды.

Как жестоко обманул его одноглазый «дядя»!

Прижавшись измученными телами друг к другу, мальчики по ночам мечтали о побеге с фабрики.

Убежать невозможно. Вокруг – высоченные заборы. У ворот – круглые сутки страшные бронзолицые бородатые люди в оранжевых тюрбанах. Это – свирепые сикхи, туземцы, вывезенные из Индии для

охраны английских фабрик. С фабрики детей не выпускали вовсе во весь срок их работы.

– А все-таки убежим, – утешал Тин маленького друга, – а если и не убежим, нас все равно скоро освободят южные революционеры, – таинственно добавлял он.

Тину, как более взрослому мальчику, часто приходилось работать в фабричном дворе, где бывало немало кули – рабочих-поденщиков с воли. Мальчику удавалось подслушать разговоры рабочих о каких-то надвигающихся революционных событиях.

Как-то вечером Тин вбежал в фабричное общежитие в сильном возбуждении. Расстилая собачий мат, он отчаянно корчил таинственные гримасы Сяо – говорить было трудно: возле стоял надсмотрщик.

Вечером ребята забились под драные одеяла из джутовых мешков, и Тин тотчас, прильнув к уху приятеля, быстро-быстро зашептал:

– Сяо, ты заметил, надсмотрщики сегодня вышли не только с плетьми, но и с ружьями через плечо… Говорят, к Шанхаю уже подходит революционная армия… Завтра, говорят, сюда пригонят много кули: хозяева будут вывозить товары на пароходы.

Вокруг так же таинственно шептались на собачьих матах маленькие пролетарии. Встревоженные ребята заснули только под утро.

Чуть свет Сяо и Тина с группой других ребят прогнали во внутренний двор, где уже стояла толпа оборванцев-кули возле грузовых автомобилей.

Сяо и Тин оказались рядом в крытом складе. Ребята укладывали в большие ящики пачки спичек, приклеивали наклейки к ящикам.

В самый разгар работы – в открытую дверь склада было видно – во двор вбежали стройными рядами несколько сот вооруженных солдат, английских стрелков и индийцев. Сердце Тина упало.

– Ну, Сяо, теперь мы пропали, – шепнул он товарищу, – эти заморские разбойники будут защищать фабрику!

В ворота вкатывали пушки и пулеметы.

На склад то и дело вбегали оборванцы-грузчики, забирали наполненные ящики и относили их на грузовики.

– Красная борода? – вскрикнул вдруг Сяо, не веря своим глазам.

Один из кули взглянул на него. И старые друзья кинулись друг к другу.

На фабрике происходила небывалая суматоха. Надсмотрщики бегали, как угорелые, размещая прибывающих солдат… Поэтому нашим друзьям легко и просто удалось примоститься на ящике и мирно потолковать.

– Ну, Ку-Сяо, сын Ку Юн-суна, велика наша Поднебесная страна, но и в ней могут встретиться добрые друзья… Рассказывай, рассказывай,

речной человек, как ты попал в это дьяволово пекло?

– А ты, Красная борода, как оказался здесь? – перебил Сяо, цепляясь за большую руку бродяги.

– Как я оказался в Шанхае – долго рассказывать… А как на фабрику попал – очень просто: подвело живот, а тут работа сама в руки лезет… Ну и нанялся к белым дьяволам на поденную работу…

Торопясь, захлебываясь, то и дело озираясь по сторонам – не увидели бы надсмотрщики – Сяо рассказывал старому другу о своих последних злоключениях.

Когда мальчонка говорил об обмане Ку Те-ги, его пальцы сжались в кулачки, на глазах загорелись слезы:

– О, попадись он мне теперь, я бы выбил ему последний глаз!

Закончил Сяо рассказ встречей с Тином и поделился мечтами о побеге.

– А где твой Тин?

Сяо показал на мальчика, расклеивающего рядом этикетки на ящиках.

В это время в склад вошел надсмотрщик. Сяо вмиг возился уже со спичками, а Красная борода взвалил ящик за плечи на рогульку и бросился к выходу…

Когда Красная борода снова показался на складе, надсмотрщика там уже не было. Хун стукнул обоих ребят ладонями рук по плечам и тихо скомандовал:

– Бегом к стене за ящики, там никто не увидит нас.

И все втроем оказались за ящиками.

– Мы закончили беседу на вашем желании бежать из фабрики. Дело хорошее… Будем продолжать наш добрый разговор: лезьте оба в этот пустой ящик!..

Ребята растерялись, ничего не понимая.

– Что я вам говорю? Лезьте живо, а не то я вас сам запихаю туда! – свирепо прошипел Красная борода и вдруг так хорошо улыбнулся, что и у ребят на изнуренных лицах, отвыкших от смеха, показались улыбки.

Тут-то ребята поняли, в чем дело. Миг – и они уже сидели на дне ящика.

– Вас повезут с товарами далеко. Будут везти около часа, – скороговоркой нашептывал Красная борода сверху. – После отъезда через минут десять-двадцать приоткройте крышку и – кубарем на дорогу… Немного побьете носы, но зато будете свободными… Я поставлю ящик с вами в самом верхнем ряду, сзади, на самый последний открытый автомобиль… Ну, до следующей встречи, Ку-Сяо, сын Ку Юн-суна.

Красная борода хлопнул крышкой, взвалил ящик с ребятами на рогульку за плечи и бегом-бегом пустился по мосткам.

Лэй-ла, хуа-ла, ханд-ла…
Лэй-ла-хуа-ла, ханд-ла…[1]

Весело напевал тоненьким фальцетом Красная борода песенку китайских грузчиков, пронося через огромный двор, мимо англичан и надсмотрщиков, свою живую ношу.

На баррикады

Неуклюжий грузовой автомобиль быстро мчался по гладкой пыльной дороге.

Китайчата, как спрессованные, тесно-тесно прижавшись друг к другу, лежали на дне ящика. Оба отсчитывали минуты:

«Раз... два... три...» – до шестидесяти и снова... Отсчитали пять минут с момента отхода автомобиля с фабрики... И вдруг издали послышались крики:

– Сто-о-ой!.. Держи их!..

– Подпаливай!

– Стреляй!

...Трра-та-та-трах!

Ребята замерли в ужасе...

– Оой-ой-ой!.. Погоня за нами!.. Сейчас изловят и растерзают нас!.. Прощай, Сяо!..

...Ттрах... тзззы!..

Что-то лопнуло и зашипело под ними... Обдуманный выстрел: пуля пробила шину, и автомобиль, заковыляв колесом, остановился.

Ребята взвыли... Лица горели в липких жгучих слезах... На лбу от испуга холодная испарина...

Ближе крики. Выстрелы. Топот сотен ног бегущих людей…

Вокруг автомобиля уже бесновались люди… Как мертвые, неподвижно распростерлись китайчата на дне спичечного ящика.

– Подпалим!.. Сожжем это дьяволово добро! – надрывался кто-то в толпе.

Обезумевшим китайчатам казалось, что вот-вот разом вспыхнут ящики со спичками.

К горлу подступала давящая спазма, как от едкого удушливого дыма...

– Стой! – взревел могучий голос. – Пусть эти ящики будут нашей трибуной и нашими баррикадами!

[1] Я иду, дайте мне пройти…
Я иду, дайте мне пройти…

И мальчики расслышали, как кто-то вскочил на автомобиль, взобрался на ящики и остановился как раз над тем крайним ящиком, в котором находились они.

– Товарищи! – раздался тот же могучий голос. – Слушайте меня. Я – представителе вашего штаба – Сун-Фу... В этот великий час мы должны быть рассудительны и организованы. Не надо погромов, которые могут привести к замешательству... Вместо того, чтобы сжигать зря эти товары белых собак, мы их раздадим нашей бедноте, а ящики, автомобили пойдут на баррикады!..

Ребята не понимали, что происходило вокруг автомобиля.

– Сяо, ты слышишь?! – шептал в самое ухо соседу изумленный Тин. – Кто это там такие?! Почему они до сих пор не трогают нас?

И вдруг пронеслось где-то близко:

– Да здравствует революция!

– Долой иностранных собак!

Крышка самого крайнего ящика, как раз под ногами оратора Сун-Фу, приоткрылась, и, как из игрушечного ящика, вынырнули две стриженые головы.

Толпа шарахнулась от неожиданности, загудела в недоумении.

Сун-Фу наклонился к ребятам:

– Вы, пострелы, как сюда попали?! – добродушно воскликнул он.

– Мы: – рабочие спичечной фабрики… Убежали от проклятых белых дьяволов, – разом ответили Сяо и Тин.

Сун-Фу сообразил, в чем тут дело... Его раскосые глаза превратились от смеха в маленькие прыгающие щелочки... Но он тотчас же оборвал неуместный смех.

Оратор, жестикулируя, загремел над толпой:

– Товарищи! Вот, вот видите: на их спинах номера, как на мешках с бобами!.. – Сун-Фу ловко повернул ребят спиной к толпе. – Это – наши китайские дети, занумерованные белыми собаками! Они только что сбежали с фабрики...

– Хао! Хао!! Хао!!! – неистово приветствовала толпа юных беглецов.

– Это – наши дети, которых тысячами скупают белые дьяволы, чтобы, выжав из них все соки, выкинуть больных, как мусор, на улицы или мертвых на свалку. Эти два маленьких пролетария – наше будущее, и если мы зальем своею кровью улицы Шанхая, поверьте, что они продолжат наше правое дело!

– Хао! Хао!! Хао!!!

– Если мы не увидим, они, наши дети, увидят свободный советский Китай!..

Ребята уже забыли недавние страхи и ликовали вместе с народом.

– К оружию! Русские белогвардейцы и генеральские солдаты!

Сун-Фу метнул ребят в толпу в протянутые руки кули и сам ловким упругим прыжком спрыгнул наземь и смешался с толпой.

Это были боевые дни знаменитого шанхайского переворота... Сяо и Тина толпа оттеснила назад. Ребята очутились на окраине китайских кварталов.

Опять на реке

В европейском сетлменте, опутанном со всех сторон изгородью проволочных заграждений, притаились самые страшные враги китайской революции – иностранцы-империалисты. На европейских улицах стоят пулеметы, сверкает оружие.

Сяо опять один. Тин только что убежал добровольцем в революционную армию.

Сяо разузнал о фабрике Кину-но-Учи: она в европейском квартале. Но напрасно он рыщет вокруг сетлмента – всюду на пути металлический терновник, колючие шипы непроходимой проволоки... Не пробраться к сестре!

Когда «речной мальчик» попадал на берег реки Вампу, ему становилось тяжко: с новой силой выступала тоска по родимой семье...

Среди речных людей, маячащих по грязным волнам в скорлупах-шампунках, мальчонка различал знакомые фигурки... То ему казалось: у весла, юлы, раскачивается большое тело угрюмого отца; то в оборванной китаянке, свесившейся через борт черпнуть воды, мерещилась мать; седые лохмы рыбака напоминали ворчливого деда; в полуголых ребятах он различал знакомые черты братишек.

Часто бывает так: идешь по улице и думаешь о ком-нибудь. И вот, то там, то тут, среди прохожих, видишь человека, как будто очень похожего как раз на того, о ком думаешь...

Так случилось и с Сяо. Однажды ему показалось, что в шампунке, отходящей от берега, он действительно видит родную семью.

– Мама! Мама! Подождите! – не своим голосом закричал мальчик...

Лодка скрылась за гигантским пароходом...

Раздался плеск воды, и среди шампунок, шаланд, джонок и судов над водой запрыгала головка китайчонка: Сяо вплавь бросился за «родной» лодкой...

Речной мальчик, рожденный на Ян-Цзы-Цзяне, казалось, в воде чувствовал себя уверенней, чем на земле... Он быстро-быстро плыл, подгребая руками под себя...

Вот уже и гигант-пароход... Сяо юркнул возле самого носа судна... Перед глазами – лодка, за которой погнался Сяо... Она почему-то остановилась... Китайчонок ясно различил: в лодке были чужие люди!..

Силы от отчаяния оставили мальчика. Слезы застилали глаза. Обессиленные руки не повиновались, но он – на середине реки… Надо возвращаться на берег…

Сяо, еле-еле перебирая руками, проплыл мимо гиганта-парохода… Вдруг, как на зло, навстречу быстрый катер пронесся в нескольких саженях от Сяо. Высокая волна захлестнула мальчика. Он попытался что-то крикнуть.

…Буль-буль… В рот, в ноздри хлынула вода…

С невероятными усилиями Сяо вырвался на поверхность… Его заметили. На английском крейсере матросы, развлекаясь, хлопали в ладоши, хохотали… Спорили: доплывет ли китайчонок.

Судорога свела ноги Сяо… Точно какую-то тяжелую вещь привязали к пяткам, и эта тяжесть потянула обезумевшего мальчика на дно реки…

…Приторный едкий запах жареного бобового масла, острый аромат чеснока щекотали ноздри… Это были первые проблески сознания… Казалось, через нос в Сяо входила жизнь.

…Приподнял отяжелевшие веки. Заморгал. Перед глазами запрыгали, замаячили мачты, небеса, паруса, облака, какие-то люди, тюки товаров… Сяо лежал на палубе, возле судовой кухни.

– Ну что, мальчонок, наглотался водички, а? – над Сяо склонилась забавная фигура толстого кока – судового повара.

– Где я?.. – еле слышно пролепетал Сяо.

– О, маленький друг, ты уже далеко от Шанхая… но мог бы быть еще дальше, на том свете, если бы я тебя вовремя не вытащил за уши со дна реки на этот свет.

Добродушный повар с веселыми прибаутками рассказал мальчику, как перед самым отходом парохода он заметил утопающего китайчонка. Повар быстро сбросил с себя халат, нырнул прямо с борта судна в воду, и через несколько минут Сяо уже был на палубе.

– Совещались мы: куда тебя деть? «Уж коли я его подобрал на дне реки, пусть он будет моим помощником», – заявил я капитану… Ну вот, и будешь ты судовым мальчиком, в помощь мне. По рукам? – Повар приподнял Сяо с палубы и усадил его на бочонок с соей. – А пока что очухайся как следует. Мне недосуг: пойду поварить!

Так Сяо вновь оказался на родной реке Ян-Цзы-Цзяне.

Вниз-вверх проплывали несметные, самые разнообразные суда. Вниз – с плодородной богатейшей долины Ян-Цзы-Цзяна сплавляли в чудовищную пасть прожорливого Шанхая сырье: лес, руды, кожу, щетину, шелк, чай, бобы, рис… и все это – иностранцам!

Вверх по реке направлялись суда, нагруженные готовыми изделиями: мануфактурой, папиросами, опиумом…

Богатое китайское судно, на котором так неожиданно очутился наш китайчонок, было одним из таких торгово-пассажирских судов, переправляющих готовые изделия иностранцев вверх и сырье вниз по реке.

Сяо впервые попал на такое большое судно. И едва он пришел в себя, как уже принялся, по ребячьему обычаю, исследовать вдоль и поперек судно…

Наступало время ужина. Озабоченный кок с трудом отыскал его где-то в пекле машинного отделения: Сяо пучил глазенки на громадные машины…

– Ну, паренек, пора и за дело приняться!.. Живо на кухню!

Вскоре Сяо разносил пассажирам ароматную парную снедь в цветочных чашечках на лаковых красных подносах.

Забегался Сяо и в суматохе не заметил, как стемнело. На реке запрыгали отраженные звезды...

Было тревожное время, и капитан не решался ночью идти вверх по реке. Всюду, особенно в узких местах реки, можно было ожидать засады... По берегам разбойничали одичавшие солдаты; тайные боевые отряды крестьян нападали на богатые суда.

Капитан приказал причалить к берегу. Стали на якорь.

К бортам парохода подплывали шампунки, джонки... На китайских реках так принято: суда и лодки по вечерам собираются тесней к берегу, чтобы вместе переждать ночь…

Капитана радовало множество лодчонок: он боялся за богатый груз…

Но опасность притаилась как раз там, где ее меньше всего мог ожидать капитан.

Ровно в полночь, когда на судне четырежды пробили склянки, в маленьких лодчонках вдруг, как по команде, вспыхнули факелы, и сотни людей, вооруженных пиками, ринулись с гиком на палубу парохода.

Под видом мирных «речных людей» на ночлег к самому судну пробрались «Красные пики»…

…Вскоре капитан, команда и пассажиры, в большинстве – купцы и торговые агенты – сидели связанные друг с другом в кучке на берегу реки… Даже мальчонку Сяо привязали веревкой к развесистому баньяну…

Несколько «Красных пик», с ружьями на изготовке, охраняли зябнущих молчаливых пленников.

С судна в джонки наспех перегружали тюки с мануфактурой, ящики сигарет и опиума, консервы. Нагруженные доверху джонки одна за другой быстро уплывали куда-то вверх по реке и исчезали во тьме.

Сяо прозяб… Он со страхом разглядывал загорелых, полуголых людей, вооруженных пиками и ружьями…

– Ван-Вей! – неожиданно вскрикнул Сяо и рванулся от дерева. Веревка больно врезалась в обнаженное тело.

Из группы «Красных пик», освещенных факелами, выделилась давно знакомая нам фигура Ван-Вея…

И старый друг семьи Ку Юн-суна, радостно оскалив большие лошадиные зубы, бросился к маленькому Сяо.

«Красные пики»

Много врагов у китайского крестьянина.

И вот в среде многомиллионного народа возникают тайные боевые общества: «Красные, Черные, Желтые, Белые пики», «Большие ножи», «Тройная польза», «Твердые сердца», «Старшие братья» и пр.

Конечная цель всех этих тайных обществ, объединяющих преимущественно крестьянскую бедноту, – полнейшее освобождение Китая от помещиков, генералов и, наконец, от иностранцев.

Среди крестьянских тайных обществ ярче всего выделяются «Красные пики», которые так называются потому, что на оружии членов этого общества, на пиках, привязаны ленты красного цвета – символа революционной борьбы.

«Красные пики» – детище старинных тайных обществ. У «Красных пик» сохранились обычаи средневековья, таинства и обряды старины. В некоторых местах кандидат в общество проходит длинный искус под руководством наставника: в течение ста дней искуса он выполняет сложные обряды, непонятные ему испытания.

Однако в последнее время «Красные пики» приобретают все более и более характер современной революционной боевой организации, кой-где эти общества отбросили даже вековой таинственный покров, и в селах, на которые распространяется их влияние, открыто развеваются красные флаги.

Отряд «Красных пик», который напал на судно, был одной из таких боевых организаций крестьянства провинции Ань-хой.

***

На английском крейсере и миноносцах, которые поднимались из Шанхая к Ханькоу, заинтересовались необычайным ночным оживлением, горящими факелами на пустынном берегу.

Электрические огни на черной массе реки показались ближе: военные суда взяли направление на берег.

В это время пароход был весь разгружен. Последняя джонка с тюками скрылась во тьме.

– Туши факела! По шампункам! – скомандовал старшина.

И мигом «Красные пики» вскочили в лодки.

Только один Сяо из всех пленников был отвязан Ван-Веем от дерева и взят на шампунку. Остальные так и остались, привязанные друг к другу, на берегу…

Расторопная флотилия «Красных пик» легко вспорхнула вверх по реке и неслышно скрылась во тьме.

Не пройдя и километра, лодки одна за другой вильнули веслами и юркнули в маленькую, узенькую Ган-пу. Это была одна из несчетных речонок, впадающих в гигантский Ян-Цзы-Цзян…

– Ну, Сяо, тут уж до нас ни один белый черт не доберется, – переводя дух, наконец вымолвил Ван-Вей.

Это были его первые слова за все время пути. Ван-Вей стоял на «юле»: работал веслом, и ему было не до разговора.

Сяо притулился на дне лодки, в ногах у Ван-Вея.

Нужно было хорошо знать путь и быть ловким гребцом, чтобы ночью плыть вверх по извилистой, взбаламученной, каменистой речонке. То и дело лодка скользила по песку и плоским каменьям.

Уже светало, когда живописная пестрая флотилия «Красных пик» остановилась среди каменистых скал и ущелий.

«Красные пики» ловко и быстро втащили лодки на берег, перевернули их и замаскировали ветвями тальника среди камней и песка.

Гуськом – один за другим – вооруженные люди поднялись вглубь леса по еле приметной звериной тропе…

Шли молча.

Трудно было представить, что здесь, в этой глуши, можно было бы встретить человека. И вдруг Сяо увидел в дикой, может быть, несколько столетий тому назад заброшенной каменоломне множество людей… Полуголые, с бронзовыми загорелыми телами, с красными галстуками или красными шарфами на голых шеях и грудях, эти люди возились с оружием, которое состояло из ножей, серпов, вил, кос, пик и старинных неуклюжих ружей.

Здесь был тайный привал, главная база «Красных пик».

В глубине каменоломни, в искусственной пещере, в синих сосудах, наполненных золой, торчали курящиеся ароматные свечи. На каменных стенах в нишах – революционные красные флажки крест-накрест свисали над лысыми черепами веселых добродушных толстяков-божков.

Возле божков прямо на стене был приклеен большой лубочный портрет белого человека. Белый человек, прищуря умные глаза, казалось, подсмеивался над Сяо, который не понимал: «Зачем "белого дьявола" повесили в кумирню?»

Если бы Сяо был грамотен, то он разобрался бы в иероглифах. Эти иероглифы под портретом лысого белого человека, с хитрецою в улыбке, означали: «Ленин – друг китайского народа».

У входа в пещеру над жертвенником виднелись скрещенные пики и огромные заржавелые кривые мечи, разукрашенные ярко-алыми бантами.

Ван-Вей подтолкнул Сяо:

– Смотри: вон в глубине пещеры старик. Это наш Великий учитель «Красных пик».

Несмотря на то, что Сяо стоял близ самой пещеры, он только теперь различил неподвижную, точно приросшую к каменной нише фигуру старца с серебряной по пояс бородой…

Чтобы никто им не помешал, Сяо и Ван-Вей пробрались на бугорок над каменоломней и укрылись в гуще дикого винограда.

– Ну, Сяо, сын Ку Юн-суна, теперь я могу рассказать все подряд о себе и кое-что о твоей семье... Вскоре после того, как отец оставил тебя на земле, я встретился с твоей семьей. Мы соединились и вместе занялись рыбным промыслом. Наши дела неожиданно пошли настолько хорошо, что мы решили спуститься в Шанхай, выкупить твою сестренку Ку-Ню из фабрики и отыскать тебя… На этом особенно настаивала твоя мать... Она поседела с тех пор, как потеряла вас.

И вот мы уже были в пути к Шанхаю. Как раз в это время в Шанхае произошел революционный переворот… Мы добрались до древнего вольного города – Нанкина и – стоп… Дальше нас не пустили… Трудно тебе рассказать, что происходило в Нанкине в эти дни. В городе еще стояли северные войска, а в это время южане уже заняли нанкинскую гавань Сягуань…

Мы, мирные речные люди, были сбиты в кучу и жались к берегам, не смея сдвинуться с места… Над городом нависала гроза…

На Шечешанском холме, приблизительно в двух километрах от гавани Сягуань, собралась кучка англичан, американцев и других иностранцев. Им нельзя было переправиться через реку: они оказались в двойном кольце. Первое кольцо образовали северяне, а второе – окружившие северян южно-революционные войска… И вдруг в панике северяне подняли беспорядочную стрельбу… Шальными пулями, попавшими на холм, был убит англичанин и ранен другой английский консул.

Этого было достаточно для белых собак. Стоящие на реке чудовища, английские и американские военные суда, открыли по городу бешеный огонь… В двадцать минут белые собаки разгромили город!.. Семь тысяч беззащитных женщин, детей трудящихся Нанкина залили своею кровью улицы города!

Как я очутился без лодки на левом берегу Ян-Цзы-Цзяна – не знаю…

Славный Нанкин был разрушен… Вокруг громадными кострами пылали целые кварталы…

О, Сяо, целую неделю бродил я диким зверем, голый, голодный, по опустошенному краю!.. И тогда я поклялся всю свою кровь, все свои силы отдать революционной борьбе с проклятыми белыми собаками… Истерзанного, издыхающего от голода меня подобрали на границе провинций Ань-Хой и Цзяньсу люди из этого отряда «Красных пик», среди которых ты меня нашел…

– А мой отец? Моя мама?.. Дед?.. – перебил Сяо, предчувствуя новый удар.

– Не падай духом, Сяо! Смерть пришла и к нам, речным людям, когда несколько снарядов ударили к самому берегу, где теснились наши нищенские лодки… Люди камнями попадали в покрасневшие волны… Как я, оглушенный, очутился в воде – не помню… Что сталось с твоей семьей, поверь мне, мой маленький друг, не знаю!..

Ван-Вей глубоко-глубоко вздохнул и стал рассказывать еще что-то, но Сяо едва слушал Ван-Вея. По лицу растекались обильные горькие слезы. Перед мальчиком неизменно стоял образ матери. Его мысли были полны семьей.

– Мужайся, Сяо, – успокаивал его Ван-Вей. – Может быть, они и живы. Вот тебе, Сяо, деньги. Их хватит надолго, и с ними ты, может быть, найдешь семью.

Ван-Вей долго рассказывал мальчику, как безопасней выбраться отсюда, где скорей всего можно найти семью.

Снова в семье

Чтобы не обратить на себя внимание, Сяо решил отойти пешком подальше от каменоломни и на обыкновенной попутной шампунке подняться вверх по реке.

В эти дни на всех пристанях происходили беспрерывные обыски, облавы, следили за всяким прибывающим и уходящим судном.

Так Сяо и сделал. Вышел пешком. И, конечно, никто не обратил внимания на шагающего по берегу малыша.

Весь день Сяо шел по вязкому, илистому берегу вверх по реке.

Как нарочно, все встречные близ берега лодки направлялись не в ту сторону. Несколько шампунок прошло вверх, но все они шли на противоположный берег или куда-нибудь к ближайшей пристани. Некоторые шампунки хотя и плыли далеко вверх, все же их хозяева отказались взять странного маленького пассажира, направляющегося в далекий У-хан.

Так весь день Сяо без толку искал попутную лодку и все дальше и дальше удалялся от каменоломни.

Уже темнело.

Усталый Сяо остановился в безлюдном месте отдохнуть и перекусить. Скинул с плеч маленький мешочек, набитый всякой снедью и связками чохов – медных дырчатых монеток, намененных на дорогу.

Сяо отыскал удобный камень и уселся на него. Вынул вкусную засахаренную мучную лепешку и жадно принялся грызть ее.

Ему вспомнилось почему-то, как он так же на берегу великого Ян-Цзы-Цзяна сидел на камне и грыз лепешку. Это был первый день на земле оставленного семьей речного мальчика… И камень показался Сяо похожим на черепаху. Но теперь знакомая земля не страшила его. За короткую жизнь маленький мальчик перевидел и пережил больше, чем другой взрослый человек.

Выступили звезды над Ян-Цзы-Цзяном, и их серебристые отражения рассыпались по воде. А маленький Сяо все сидел на камне и вспоминал свою большую, необычайную жизнь.

Вдруг он заметил огонек на реке. Это, безусловно, плыла лодка вверх по реке.

Огонек поравнялся с Сяо.

Мальчик вскочил и что есть сил крикнул:

– Подождите! Подвезите меня! Я хорошо заплачу!

По огоньку видно – лодка задержалась.

– Хао! (хорошо!) – донесся голос с лодки.

Сяо задрожал от этого голоса: в нем было что-то до боли знакомое.

Лодка повернулась и пошла к берегу.

– Ты опять, незаштопанная твоя голова, наступил мне на ногу!

Сяо замер, ясно расслышав ворчливый голос деда.

«Померещилось!»… – не верил Сяо ушам.

Недалеко от берега гребец ловко вильнул широким веслом, лодка повернулась тупой кормой и влипла в самый ил берега.

Сяо не мог вымолвить и слово от радостной неожиданности: перед ним в освещенной тусклым мерцанием фонаря лодке была вся его родная семья.

Даже заспанная сестренка Ку-Ня выглядывала из-за соломенного навеса… Сяо плакал и смеялся, переходя с рук на руки.

Опубликовано и печатается по: Март-Матвеев В. Речные люди. Повесть для детей из быта современного Китая. М., Л., 1930. 51 с.

ДЭРЭ – ВОДЯНАЯ СВАДЬБА

Мохнатые, взъерошенные ветрами-тайфунами ели, пихты и кедры точно лапами уперлись друг в друга; обнялись, перепутались в тесноте иглистыми, коленчатыми ветвями.

Кроны могучих деревьев – сплошные зеленые кровли, крепко сплоченные иглами. И лучу солнца не просверлить эти дремучие заросли, чтобы разбрызгаться золотистыми зайчиками среди тяжелых теней, на мясистые влажные травы, на причудливые ковры кружевных папоротников, на оранжевые саранки и бледные ландыши.

Змеи ползучих лиан, гибкие лозы дикого винограда свивают северную сосну с тропическим пробковым деревом.

Тайга подступила к самым тальниковым берегам путанной бестолковой реки. Китайцы-охотники и искатели целебного корня жень-шеня издавна величают этот извилистый приток амура «Бешеной змеей». Река – таинственная дорога в непроходимом темно-зеленом царстве уремы[1].

Кой-где сваленные бурей хвойные великаны нырнули кронами в самую пасть реки, и их мохнатые зеленые лапы хлопают и хлюпают по серебряной глади. Целые плоты разбухших кедровых шишек прибиты и собраны волной к берегам.

Тайга только что встрепенулась: с моря хлынули первые стайки «матери края» – жирной кеты.

Нерест…

По реке быстро скользит юркий легкий долбленый челнок – улемагда. Улемагду на днях купил гольд Амба у орочена[2]-рыболова за несколько соболиных шкурок, банку спирта и плитку кирпичного чая.

На дне улимагды – богатство Амба: меха, редкостные вещи в мешках из оленьей кожи, блестящие безделушки, спирт, два чугунных котла, китайский шелк – «чечунча», невиданные у туземцев две костяные щеточки и продолговатые жестяные тюбики с белой ароматной массой, которая, извиваясь, жирным червем выползает в узкую щель, если надавить легонько тюбик. Это – таинственный, могучий «хлородонт», от которого даже у стариков могут вырасти зубы. – Так думает счастливый Амба: так сказал ему кореец, продавший за беличьи шкурки два тюбика зубной пасты.

Там, – «где птицы не поют, где цветы без запаха, а женщины без сердца», – там, в таежной глубине – мечта Амба: раскосая, скуластая, синеволосая гильдячка – Джябжя-Змея[3].

Ради нее Амба несколько лет плутал по Амуру, Сахалину и Камчатке. Ради Джябжя бедняк Амба расставлял в снежных лесах соболиные ловушки; добывал редкостного голубого песца; бил на льдинах неповоротливых усатых «морских лошадей» – моржей; промышлял черных

[1] Урема – туземное название лесной чащи.

[2] Орочены – тунгузское племя, обитающее на Совет. Дальн. Вост.

[3] Приводимые в рассказе имена все действительно гольдские, – рядом с гольдским именем автор ставит перевод имени на русский язык.

белок и лису-огневку; ловил горбушу, кижука, кету и огромную лососевую рыбу-чавыча.

Тысячи и тысячи километров – в лодках, на собаках, по мшистым тундрам и снежным холмам избороздил неутомимый охотник-рыболов Амба, чтобы добыть счастье свое: собрать тори[1] для жадного отца Джябжя…

Плывет Амба в быстрой улемагде, смотрит на зеленый пир природы, а мысли его вокруг красавицы-невесты…

– Скоро добуду жену…

Тайга вздохнула, ожила. Ее обитатели потянулись из темных нор, горных гнезд к речным берегам.

Кой-где Амба изредка видел с лодки группки гиляков-кетоловов, которые расставляли рыбные сетяные ловушки с одношестыми кулями, возле «глаголя»[2] – рыболовного заездка.

По соседству – в сотню шагов выше человека – мирно рыбачил медведь. У него свои охотничьи замашки.

Он выхватывает лапой из воды близко подошедшую кету и выбрасывает ее на берег… И тут же отгрызает и съедает голову, а тушки обезглавленных рыб стаскивает в кучу и забрасывает их хворостом валежника и песком. Так деловитый хозяин тайги заготовляет запасы свои про черный день.

По берегам подкарауливали ходовую кету хорьки, лисицы, росомахи. Сверху, стремглав – камнем скатывались на водяную взволнованную поверхность меткие орлы, большущие крикливые прожорливые чайки.

А в одном прибрежном скалистом уступе Амба вдруг заметил своего страшного тезку – священного тигра[3]…

Молодой гольд быстро замотал головой, отвешивая поклоны в сторону «начальника» тайги. Губы задергались в бессмысленном наборе слов заклинательной молитвы.

Тайга вышла на добычливую охоту.

* * *

Стойбище «Лисья прореха» расположилось на издавна облюбованном гольдами глухом живописном месте, возле самой реки.

В гуще деревьев, то тут, то там выступали коврыги хаморанов[4] с заплатанными цветной древесной корой стенами. Тут же возле хаморанов,

---

[1] Тори – калым, выкуп за невесту, которая у гольдов продается в жены за определенную сумму или за обусловленные вещи.

[2] Глаголь – заломанная углом по течению реки деревянная изгородь, – таков способ туземного лова кеты.

[3] Тигр по туземному «Амба».

[4] Хаморан – летнее гольдское жилище.

над ними, возвышались на сваях, точно на ходулях, маленькие покатые амбары.

Над жилищами гольдов, в пышных ветвях перепрыгивали, точно летали, бурундуки; по корявым отводам однообразно постукивали и расхаживали вверх-вниз цепколапые дятлы; в пестрой зелени, над кронами великанов-деревьев ныряли сойки; в самой гуще леса кувыркались, гонялись друг за дружкой разнокрасочные маленькие птицы.

Завидя чужую улемагду с незнакомым человеком, со всего стойбища к берегу сбежались собаки и неугомонным лаем и воем провожали Амба. Собачья цепь растянулась вдоль неровного берега и продвигалась вперед вместе с улемагдой.

Много дней провел на воде, на веслах Амба; ладони рук очерствели мозолями. А вот теперь, возле родного стойбища, усталь свалилась с плеч, и он весело и бойко врезался веслом в податливую волну… Ведь, несколько лет кряду Амба только в непокойных снах видал эти родные коврыги хаморанов… И лай собак – привычный с детства слуху – радовал, бодрил молодого гольда.

На самом краю стойбища, у крутого поворота путанной реки, Амба повернул улемагду и направил прямо к берегу…

Затревожился Амба: вместо маленького берестяного хаморана отца, обычно стоящего в этом насиженном месте, как раз на вершине прибрежного бугорка, обсыпанного багульником, – возвышалась незнакомая, большущая круглая юрта. Серую юрту окаймлял поперечный красный плакат, испещренный белыми буквами лозунга.

– Неужто отец и мать перекочевали с этого насиженного места?! А может быть, их нет уже в живых?

Улемагда скользнула в илистый песок покатого берега.

Амба втащил улемагду на берег и, отбиваясь веслом от подоспевших собак, быстро зашагал к большой юрте на бугре.

В просторной юрте находился лишь старик Еода-Шумящий – бывший сосед семьи Амба по стойбищу. Шумящий сидел на корточках за порогом внутри юрты и сосал тонкую, в два локтя, китайскую металлическую трубку.

– Бачкафу[1], – приветствовал Амба старика.

Старик даже не поднял голову, а лишь закатил выцветшие глазки под белобрысый лоб, чтобы разглядеть вошедшего.

Затем медленно и кропотливо всыпал свежую щепотку зеленой табачной пыли в трубку, раскурил ее и, собрав пучки мельчайших

[1] Бачкафу – гольдское приветствие, соответствующее по смыслу нашему «здравствуйте».

морщинок вокруг прищуренных глаз и поверх носа, неторопливо и безразлично заговорил:

– Эээ, ты есть Амба – сын покойного корявого Сигакта-Овода и его покойной жены – шестипалой Тинхэ-Давящей Вниз… Три весны тому назад ты покинул стойбище «Лисья прореха»…

Старик так же безразлично, неторопливо, в растяжку продолжал говорить обо всем, что касалось Амба и его рода… Слушая старика, можно было подумать, что он говорит сам с собой, испытывая свою старческую память.

Почтительность не позволила сразу же перебить Шумящего.

– «Покойный?» «Покойная?» – эти страшные слова относились к самому дорогому, родному и любимому – к родителям Амба.

– Сигакта-Овод ушел в подземный мир сразу же после прошлогоднего очихэ уйлэори[1]… – продолжал Еода. – Крепкий был старик: вечером он плясал вместе со всеми однофамильцами, под звуки бубен и ямха[2]… а на другой день Тинхэ-Давящая Вниз – жена его полезла под одеяло к трупу и спала с мертвецом, по старинному обычаю нашему.

Еода выбил о борт нар прогоревшую пыль из трубки и опять заговорил вяло и безразлично:

– Тинхэ омыла тело Овода, обрядила его в «сопка каче» и «сабоота»[3], уложила в кедровый гроб и похоронила корявого Овода. Над могилой отца твоего мы закололи его любимую собаку – «Моржа»… Да, я забыл сказать, – спохватился Еода, – в гроб к Оводу мы положили, кроме разной домашней утвари, царские бумажные деньги. Хоть теперь ничего нельзя купить на земле на эти деньги, все-таки, может быть, в подземном царстве они еще в ходу и пригодятся покойнику…

– Через два месяца после похорон твоего отца Тинхэ пригласила родичей-однофамильцев на малые поминки; шаман отыскал блудную душу Сигакта-Овода и уложил ее в «фанью»[4]… Успокоилась Тинхэ, собрала свои пожитки, запрягла собак и по первопутку направилась на далекую реку – Уссури – к своим родичам-однофамильцам.

Старик насовал в трубку зеленой пыли табака, вдавил глубже пыль подушечкой большого пальца и продолжал свой рассказ:

– Этой весной охотники-соболевщики нашли мертвое тело твоей матери на проталине – она, старая женщина, замерзла в пути – (эта зима

[1] Очихэ уйлэори – ежегодное осеннее родовое моление гольдов рода (хала) – однофамильцев (эмухала).

[2] Ямха – гремящий металлический пояс шамана.

[3] Сопка каче и сабоота – халат и сапоги из рыбьей кожи.

[4] Шаман, по поверью гольдов, отыскивает душу покойника и укладывает ее в фанья – особую подушку, которую время от времени родные покойного угощают разной снедью.

была на редкость сурова…) замерзла старая вместе со своими старыми клячами собаками…

– Падем дэрэди гру! (счастливо сидеть!), – не своим голосом, глухо, точно поперхнувшись комом твердой пищи, с трудом прохрипел Амба.

– Падем энэхэна… (счастливого пути), – донесся безразличный голос Шумящего.

Амба, сквозь заросли багульника и колючего чертова дерева, бросился, задыхаясь, к берегу и навзничь упал на дно улемагды.

Собаки, окружившие лодку, усилили лай, заслышав вой, всхлипывания и рыдания человека.

* * *

Собакам надоело безрезультатно крутиться и лаять возле улемагды Амба. К тому же на реке показалась большая выездная лодка, которая держала путь напрямик – к берегу.

Лодка была необычайна для этого глухого места: на ней не было видно весел. Пять человек пассажиров лежали в бездействии, в самых непринужденных позах на скамейках, на каких-то тюках и мешках; лишь один управлял лодкой, держась за руль. Все ясней и ясней раздавался равномерный стук мотора…

Амба по-прежнему неподвижно лежал, уткнувшись лицом в дно улемагды. Даже тучи назойливого гнуса[1], казалось, не могли его сдвинуть с места.

Только когда мотор остановился и лодка врезалась в берег рядом с улемагдою, Амба поднял голову.

Перед моторной лодкой шумно суетились шесть молодых гольдов, необычно наряженных в косоворотки, пиджаки, унты[2] и меховые штаны.

Молодые гольды, казалось, не замечали Амба и его улемагду. Но вдруг один из шестерых бросился вперед:

– Амба!

Амба быстро поднялся навстречу.

Это был Бямби-Боб – коренастый, худощавый, черноволосый парень. Его плоское, скуластое лицо, приплюснутый нос и узкие, косые, черные глаза были слишком знакомы и дороги Амба: с раннего детства Амба жил бок о бок с соседом Бямби-Бобом и был с ним в неразлучной дружбе. Боб заметно отличался от своих товарищей густой татуировкой: на лице между глаз, на переносице, на лбу и на маленьких руках его синели точки крестообразных узоров.

[1] Гнус – таежная мошкара, которая иногда даже заедает зверя.

[2] Унты – типичная туземная мужская обувь, из бараньей или лосиной кожи.

Еще подростком Бямби-Боб дал изуродовать себя шаману, который вдоль и поперек проколол его смуглую кожу иголкою с продетой сквозь нее ниткой, намоченной в ягодном соке и в китайской туши…

– Бямби!

Молодые гольды неуклюже обхватили друг друга маленькими руками, топтались по вязкому песку и, казалось, что-то выплясывали, на радостях, вокруг улемагды.

Вскоре Амба узнал, что Боб с товарищами привез продукты и товары для впервые открывающегося кооператива в «Лисьей прорехе».

Узнал Амба, что Боб – один из первых гольдов вступил в комсомол и сейчас работает в Ивановском охотничье-рыбацком колхозе, в ста километрах от стойбища…

– Хочешь, Амба, мы и тебя возьмем в колхоз?

– Ах, Бямби, я еще не опомнился даже. Всего несколько часов назад я прибыл на родное стойбище. На месте, где был мой родной хаморан, я увидел эту большую чужую юрту… А в юрте я встретил лишь одного старого Еода-Шумящего, который поразил меня страшными новостями, – Амба всхлипывающе вздохнул, – я остался один… совсем, совсем одинок… одинок…

Бямби провел ладонью по лицу Амба:

– Я знаю о смерти твоих стариков, дружище… Тем более тебе нечего делать в «Лисьей прорехе», а колхозу нужны такие, как ты, крепкие люди…

– Нет, Бямби, я не уйду из опустошенного гнезда… построю себе новый хаморан… Бямби, ведь здесь моя невеста, для которой я изъездил годы пути, чтобы добыть тори.

Товарищи Бямби не мешали встрече давнишних друзей; они дружно и скоро разгружали лодку, перетаскивали товары в большую фанзу на бугре к Еода.

– Только она одна осталась у меня на всем свете – невеста моя, с которой я посватан еще мальчиком семи лет… Ты должен знать ее – это дочь Челока-Похлебки и Майла-Трудной… Зовут ее Джябжя-Змея.

– Джябжя? Амба! Да ведь Джябжя продана старому безносому шаману… На днях будет дэрэ[1], на котором мы собираемся гулять…

Последних слов Амба не слышал. Он, как подстреленный, упал на песок и завыл, завыл нечеловеческим голосом.

Напрасно Бямби пытался утешить друга; касался рукой его лица, рук… Слова утешения не доходили.

Но вдруг Амба вскочил, стиснул до хруста руки Бямби и голосом, полным решимости сказал:

[1] Дэрэ – последний свадебный обряд у гольдов. Об этом обряде будет подробно сказано в дальнейшем, в процессе рассказа.

– Никому не отдам Джябжя. Убью старого колдуна, а не отдам Джябжя… Джябжя будет моей…

– И мы тебе в этом поможем, – воскликнул Бямби-Боб и, точно спохватившись, добавил, – но только убивать никого не надо, даже эту собаку-шамана.

* * *

От Еода-Шумящего Амба узнал все до мельчайших подробностей о том, что происходило в доме Челока-Похлебки.

Старик неторопливо, медленно, бесчувственно рассказал, что действительно в доме Челока-Похлебки уже все готово к последней свадебной церемонии – дэрэ.

Уже давно – в прошлом году – прошел первый свадебный обряд-модэрку[1]. Как-то к Челока в дымный дже[2] приехал на собаках старый шаман Фолдо-Дыра, привез пять бутылок спирта и, напоив всю родню Челока, получил согласие отца – отдать Джябжя.

– Весело было на этом модэрку, – вспоминает Еода, – не было ни одного человека, который не вывалился бы в собственной блевотине… Всех от мала до велика напоил богатый Фолдо-Дыра, у которого денег больше, чем блох на моих собаках…

Прошла и вторая часть свадебного обряда – токтолку[3]. Отец продал 17-тилетнюю дочь 68-летнему шаману за 20 червонцев деньгами, 2 чугунных котла, 2 китайских халата, 3 куска мануфактуры и 5 банок контрабандного спирта… И обряд токтолку был залит водкой.

– На токтолку было куда веселей, чем на модэрку, – добавляет Еода, – в однофамильцев (эмухала) нашего рода вошел дух войны, и они набросились на однофамильцев жениха. В драке досталось и нашим и ихним… Но жениховы пострадали куда больше наших: одному выбили совсем глаз – окривел; второму – два ребра, а третьему – скрутили ногу так, что он до сих пор хромает и ходит носками в разные стороны… О вышибленных зубах и побитых носах и говорить не приходится – никто их и не считал…

– Совсем недавно прошла 3-я часть свадьбы – сарин[4]. Старик-жених и девушка-невеста, стоя на коленях и схватившись друг друга правыми

---

[1] Свадьба у гольдов разделяется на четыре части, иногда отделенные друг от друга длительными промежутками времени. Первая часть свадьбы, модэрку, соответствует сговору, помолвке.

[2] Дже – зимнее гольдское жилище.

[3] Токтолку – вторая часть свадьбы, состоит из сговоров родителей невесты и жениха о размере тори (калыма) за невесту.

[4] Сарин – третья часть свадьбы. В старой русской свадьбе сарину соответствует до некоторой степени девичник.

руками, одновременно выпили по рюмке водки. И за этим главнейшим обрядом – «дыра-очини» – несколько дней кряду в доме Челока лилась водка. И снова все были пьяны.

– Ведь во время сарина всех обносят вином без конца, и никто не имеет права отказаться от чарки. А водку пьют без всякой закуски, – так полагается по старому обычаю гольдов, – поясняет Еода. – Осталась последняя четвертая часть свадьбы – дэрэ (умыкание) – мнимое похищение гямакты[1]. После этого обряда Джябжя должна стать женой шамана Фолдо…

– Вовремя ты приплыл, Амба, хоть и нежданно и негаданно: погуляешь, как отроду не гулял: не поскупится Фолдо на водку, ведь у него денег больше, чем блох на моих собаках…

Амба по-своему согласился со стариком – вовремя приехал!.. Молодые ребята, товарищи Бямби, и сам Бямби подбодрили его, вселили в него крепкую надежду.

Амба, которому некуда было деться, остался с товарищами в большой юрте на бугре, предназначенной для кооператива ловца и охотника.

Молодые гольды с увлечением совещались вечером: как бы помочь Амба отбить невесту у шамана.

Наконец был готов полный план.

– Как хорошо, что никто из стойбища не видел, что мы прибыли на моторе! – воскликнул Бямби.

Надо сказать, что в день приезда Амба и Бямби с приятелями стойбище пустовало – почти все население отправилось, по древнему обычаю, на общественную работу по устройству заездка рыбной ловушки, так как со дня на день ожидался массовый ход кеты.

Только потому в день приезда молодежи в большую фанзу на бугре не нагрянули обитатели «Лисьей прорехи» – общительные и падкие до всякой новости гольды.

– Ложись спокойно спать, Амба, – посоветовал Бямби, – родителей твоих воскресить мы не можем, а гямакту твою отобьем для тебя.

Но Амба не мог спокойно спать: всю ночь ворочался и только на рассвете забылся тяжелым сном.

Утром товарищи снарядили Амба в дальний хаморан к Челока – отцу Джябжя.

– Только ты не подавай виду, что знаешь о предстоящей свадьбе Джябжя с Фолдо.

– Не забудь, что старик скуп, как черт, и стяжателен, как шаман. Добейся, какой угодно ценой добейся, чтобы Джябжя была в нашей лодке

[1] Гямакта – невеста.

во время дэрэ… иначе нам трудно будет добыть твою гямакту, – напутствовал Бямби.

* * *

– Бачкафу, – с обычным приветствием вошел молодой гольд в хаморан Челока.

Изумленный Челока, точно не веря своим глазам, в припрыжку подбежал к Амба; стал щупать в плечах, касаться рук и груди молодого гольда.

– Амба?!! Ай-хаа-хаай! Амба? Сын покойного корявого Сигакта-Овода и покойницы шестипалой Тинхэ-Давящей Вниз… он и есть… А мы третью весну считаем Амба спутником своего отца и матери – за гробом – в подземном царстве – «буни». Ай-хаа-хаай!

– Нет, Челока, я жив и явился сюда с богатым тори, чтобы взять в жены твою дочь Джябжя.

Челока пришел в еще большее волнение. Его маленькое старушье безволосое лицо собралось в кулачок; среди несметных морщинок еле-еле можно было разобрать щелки безволосых ресниц, из-под которых чуть-чуть выглядывали узкие желтые влажные глазки.

Челока замахал быстро и бессмысленно кистями вытянутых вперед рук и не скоро нашел подходящие слова для разговора с молодым гольдом.

– Нет, нет, нет… Ты поздно явился, Амба: Джябжя больше не гямакта тебе… Это потому, что мы считали тебя мертвым. А кроме того шаман Фолдо-Дыра сказал, что имя «Амба» – начальника тайги – несчастно, когда его носит человек… И я не мог бы отдать дочь свою за человека с несчастливым именем…

Челока попятился от сурового, мрачного Амба.

– Отдай мне дочь. Отдай мне Джябжя, старик... Я привез тебе из дальних мест голубого песца, соболей, мехов разных, чугунные котлы, китайскую чеченчу, шелка, спирт… много разных вещей… и еще я привез тебе жирного белого волшебного червя... этот червь могучей и чудодейственней и «жень-шеня» – человеческого корня и «хай-шеня» – морского корня[1]... Если этим червем мазать десны, то и у старика повырастут новые зубы. (Амба искренне верил в чудодейственное свойство зубной пасты «Хлородонт»).

Глаза старика загорелись, уши потемнели от волнения...

– Хороший тори ты добыл, Амба. Но я не буду обманывать тебя: Джябжя на днях будет женой шамана Фолдо – я уже прожил с семьей часть

[1] Жень-шень – корень растения, который собирают китайцы и туземцы на Дальнем Востоке. Хай-шень – трепанг – морской червь. Оба они считаются лечебными средствами.

тори, который уплатил шаман за дочь... А кроме того, мы уже отгуляли и модэрку, и тактолку, и сарин... Осталось отгулять только дэрэ... И ты сможешь с нами погулять на дэрэ. Вот все, что я могу сказать тебе.

– Челока, Челока, что ты наделал... Ты был другом моего покойного отца; ты обещал ему отдать Джябжя мне... Тысячи, тысячи верст по снежным безбрежным полям, через льды, реки, моря я носился три года, добывая богатый тори за Джябжя... Много-много раз я был на пылинку от смерти, добывая тори за Джябжя...

Челока чувствовал правду и справедливую обиду в словах Амба. Только жадность и любовь к водке заставили его продать дочь старому шаману, не дожидаясь приезда Амба.

Старику стало неловко.

– Слушай, Амба: я никак не ожидал увидеть тебя живым – нехорошие вести были о Камчатке и Сахалине, куда отправился ты, по рассказам охотников... Но теперь ничто не может изменить дела. Джябжя будет женой Фолдо...

– Лысого, грязного, злого, безносого обманщика-колдуна...

– Не говори таких слов, Амба. Беда случится, – шаман может слышать и на расстоянии. Он все знает...

– Почему же шаман не сказал тебе, что я жив, если он все знает...

– Дело кончено. Оставь шамана... Но ты можешь погулять с нами на дэрэ – много, очень много будет водки на дэрэ. Я сказал все.

Амба, точно покорившись неизбежному, прижал подбородок к груди и начал тихо:

– Ладно, я уступлю Джябжя шаману; я не испорчу кровавой местью ваш праздник – дэрэ... Но за это ты должен дать мне повеселиться как следует на свадьбе Джябжя: пусть Джябжя на дэрэ поедет в стойбище к жениху на лодке со мной и моими друзьями из Ивановского колхоза, чтобы шаман всех напоил водкой до рвоты... Ведь у шамана много денег – больше, чем блох на собаках старого Еода.

Старик задумался; опустился на корточки. И Амба опустился на корточки против Челока. Оба молчали.

– Но ведь по нашему обычаю гямакта на дэрэ едет с молодыми парнями родственниками-однофамильцами, – наконец нашелся старик...

Амба порывисто вскочил. Выпрямился и старик.

– Челока! И твой язык не отсохнет говорить такие слова. Обычай, обычай... Ты сам первый нарушил обычай, отдав мою невесту шаману, а теперь из-за пустяка вспоминаешь обычай.

Челока вновь опустился на корточки. И Амба опустился за ним.

– Если бы ты дал мне того червя, чтобы я отрастил себе зубы, я, пожалуй, разрешил бы тебе отвести Джябжя к шаману.

– По рукам, – вскрикнул Амба, – хлородонт твой.

Челока и Амба одновременно вскочили с корточек, и Амба так крепко стукнул ладонью по протянутой ладони Челока, что рука старика отлетела за спину, и сам старик кой-как удержался на ногах, круто повернувшись на бок.

И снова на прощание оба опустились на корточки.

– Падем дэрэди гру (счастливо сидеть), – вымолвил Амба.

– Падем энэхэна (счастливого пути), – ответил Челока.

* * *

Быстрой походкой приближался Амба к большой фанзе. Под ногами трещал сухой валежник; от тупых носков обуви из кабаньей кожи отскакивали кедровые шишки; к меховым штанам из кабарги липли, цеплялись прошлогодние семена растений. Амба напевал несложную песенку, которую тут же придумал. В этой песенке он рассказывал, как отобьет Джябжя у злого шамана; как счастливо заживет с ней; как построит для нее новый берестяной хаморан... Джябжя родит ему сына, которого он назовет Отнятым… Он будет из тайги, с охоты приносить подрастающему сыну всякие диковинки…

Выдумывая и тут же забывая слова незатейливой песенки, Амба не заметил, как подошел к большой фанзе на бугре.

Навстречу к нему вышел Бямби.

– Ну как, согласился? – были первые слова Бямби.

Амба понял – Бямби спрашивает: согласился ли старый Челока отпустить с ними Джябжя на дэрэ.

– Согласился…

– Так слушай: я нарочно вышел тебе на встречу, – в большой фанзе – много ушей, – там собрались погалдеть люди со всего стойбища. Не нужно ничего говорить о нашей затее… Слушай, Амба: все готово, – к счастью никто не знает о том, что на нашей лодке мотор; мы пока что сняли его и спрятали. Все идет гладко и хорошо… потерпи немного – и Джябжя будет твоей… Тссы!

Амба выслушивал бесконечное число раз одни и те же рассказы стариков о покойных родителях, о предстоящем дэрэ – последнем свадебном обряде его бывшей невесты, Джябжя, со старым шаманом.

Время от времени в эти рассказы вставлял слово невозмутимый Еода:

– Весело будет! Веселей, чем на модэрку, на токтолку и на сарине… Шаман не пожалеет водки для дэрэ – у него денег больше, чем блох на моих собаках, – и старик напихивал новую порцию зеленой пыли в трубку.

Дэрэ – самая веселая, самая забавная и шумная часть гольдской свадьбы. Родители и родственники невесты и жениха назначают особый день для проводов невесты, шуточного «похищения» ее и перехода из дома родителей в дом жениха.

Только после всех этих церемоний дэрэ невеста становится действительной женой уплатившего за нее тори человека.

В летнее время дэрэ проходит на реке. Гяматку – невесту обряжают в богатые подвенечные наряды и везут ее к жениху в большой выездной лодке. На весла в лодку с невестой садятся молодые парни в нарядных костюмах. За лодкой с невестой и молодежью плывут лодки с родителями, родственниками-однофамильцами.

Свадебная шумная флотилия направляется к стойбищу жениха. Жених знает время прибытия невесты и уже заранее готов к встрече ее – возле его фанзы на берегу реки выстроены лодки.

Показалась водяная свадебная процессия, и в миг в самую богато убранную лодку впрыгивают жених и гребцы – молодые ребята женихового стойбища. Лодка жениха и вслед за ней лодки родичей отчаливают от берега наперерез к лодке невесты.

Начинается «погоня»… Лодка невесты круто поворачивается и «убегает» от жениховой лодки… Невеста прячется на дно, и ее покрывают яркокрасочным одеялом.

По реке гоняются лодка за лодкой… И лишь только тогда, когда женихова лодка настигнет лодку невесты, а жених коснется рукой борта лодки, – вся свадебная флотилия направляется с шумом к берегу к жениховому стойбищу, к его фанзе – пировать.

Обычно погоня бывает короткой, так как гребцам всех лодок одинаково хочется поскорей начать пиршество.

На берегу свадебную процессию встречает криками и ликованием все стойбище; охотники салютуют из ружей, ребята трещат китайскими новогодними ракетами.

Все участники свадьбы направляются в фанзу жениха; лишь только тогда, когда жених остается один на берегу, он подбегает к невестиной лодке, срывает с невесты покрывало и ведет ее в свою фанзу.

Еще несколько обрядов: моления идолу Дюлина, или столбу Гуси-на-Мало; жертвоприношение богам продовольствием и русской горькой – и начинается свадебный пир. Таковы вкратце церемонии дэрэ.

Несмотря на то, что шаман был стар, и старики чаще не выполняют полностью обряды, Фолдо решил выполнить дэрэ от начала до конца.

На третий день после приезда Амба все стойбище «Лисья прореха» чуть свет было уже готово к дэрэ.

На рассвете к хаморану Челока подлетела большая разукрашенная лодка молодых гольдов-колхозников; среди них были Амба и Бямби… Борта лодки пестрели свежими ярко-оранжевыми саранками, желтыми, синими лютиками, светлым багульником, белыми большими колокольчиками, розовыми ландышами, лесными розами, фиолетовыми ирисами и множеством других цветов тайги. Лодка, залитая первыми

косыми лучами солнца, казалась громадным пестрым букетом на воде. На дне лодки лежали ковры, меха и шкуры.

Даже Челока, которому не совсем нравилась затея Амба, просиял при виде богато убранной лодки. Губы его, окаймленные засохшей пастой «Хлородонт», собрались в довольную улыбку.

– Ай-да, Амба! Ай-да, Амба! Угодил старику. Не забуду твоих забот: разукрашенной лодки и белого червя… Когда обрастет мой рот свежими зубами, я отдам тебе, Амба, за богатый тори свою старшую дочь, которая овдовела и которой нет еще и сорока лет…

В кругу подруг вышла из хаморана гямакта – Джябжя, и вся девичья группа направилась к цветочной лодке.

Амба впервые узнал Джябжя, после нескольколетней разлуки. Кровь подкатила под кожу его лица. Черные горящие глаза застыли на любимой девушке.

– Ай, красавица!

– Вот так Джябжя!

– Такое солнце отдать безносому хрычу, обманщику-колдуну!

Ребята на лодке в один голос восхищались Джябжя.

На Джябжя было платье из кожи сазана, обшитое тонкими, затейливыми узорами: причудливые фигуры раскрашенных птиц и рыб пестрели на ее наряде. При каждом движении невесты раздавался металлический шум, так как ее наряды были вдоль и поперек украшены несметными побрякушками, безделушками; на обеих руках болтались ряды браслетов… луч утреннего солнца играл, дробился у нее под носом на металлической пластинке, которою оканчивалась продетая через носовую перепонку тоненькая, из серебряной проволоки сережка. Из ушных мочек свисали по самые плечи гирлянды пышных серег.

Джябжя нервно брякнула всеми своими украшениями. Носовая серьга задергалась, заплясала под рассохшимися, взбудораженными ноздрями.

Но Джябжя быстро собрала себя, приосанилась и легко впрыгнула в свадебную лодку.

– Отчаливай!.. – скомандовал Челока.

И вслед за невестиной лодкой с берега отскочили лодки, битком набитые подружками, родичами, однофамильцами и друзьями невесты.

Под смех, шутки, песни и гиканье свадебная флотилия выплыла на середину реки и направилась к стойбищу жениха.

Громче всех раздавались песни, крики, смех в невестиной лодке. Веселье это было искреннее, но это преследовало и тайную цель: непрерывный шум должен был служить ширмой для тайной беседы Амба с Джябжя.

Джябжя, по предложению Бямби, пересела на возвышенное место, покрытое соболевыми шкурами, ближе к рулю, за которым стоял Амба.

– Джябжя, – начал Амба, – ты ведь знаешь, что твой отец и мой покойный отец еще в детстве нашем решили отдать тебя мне… Ты помнишь, как мы дружно и весело играли в Джяпака чури[1]… Помнишь наши думхубури[2]. Мы всегда были вместе; я всегда выручал тебя в игре и в беде… Я называл тебя «гямактой», а ты величала меня – хозяином-мужем… мы были так дружны… так дружны…

– Зачем, Амба, ты вспоминаешь все это, когда я еду в дом будущего мужа?

– Джябжя! Джябжя! У твоего будущего мужа нет волос на голове… и рот его без зубов… и нос его провалился… Он злой и грязный старик… Перед смертью решил взять себе третью жену и выбрал тебя, нетронутый цветок, красавицу, невесту мою.

– Зачем, Амба, ты говоришь такие слова? Ни к чему они. Сегодня ночью я буду под одеялом у старого Фолдо-Дыры.

– Нет! Нет! Нет! Если ты только захочешь, я увезу тебя далеко-далеко отсюда и ты будешь моей женой, – и Амба зашептал знойно и быстро-быстро:

– Джябжя, ты сидишь над машиной… Там под соболевыми шкурками спрятан мотор, который без весел может умчать нас – быстрей рыб и птиц – далеко-далеко, туда, где нет шамана, где девушка становится женой того, кого она любит. Скажи только слово, что ты согласна стать женой моей, и ты не достанешься старой собаке – безносому шаману… и ты будешь моей женой…

– Правильно ли ты говоришь?

В сердце смущенной девушки происходила борьба.

И опять задергалась серьга под носом.

– Ах, Амба. Зачем только ты уехал из «Лисьей прорехи» на несколько весен, – вместо ответа, сквозь слезы, прошептала девушка.

Амба торопливо рассказывал Джябжя о своих смелых рискованных охотах, блужданиях и промыслах…

И все это ради нее, ради тори за нее, за Джябжя.

– О, я был так далеко, – там, где кончается земля и до самого неба плывут льдины по океану. Там я бил для тебя «морских лошадей» (моржей)… Для тебя я добыл голубого песца на Камчатке… Для тебя я расставлял сети на соболя, для тебя я промышлял черных белок и лису-

[1] Джяпака чури – чисто детская гольдская игра, состоящая в бросании и ловле пучка травы (джяпка).

[2] Думхубури – тоже ребячья гольдская игра, состоящая в прыгании через веревочку, вращаемую двумя детьми.

огневку… О, Джябжя, в горах Сахалина я в рукопашную, с ножом в руках, боролся со страшным медведем и не отдал ему жизнь свою, которую сохранил для тебя… Я убил медведя… И неужели теперь я отдам тебя старому псу – блудному шаману… Я убью его, Джябжя, если ты не согласишься уехать с нами на быстром, как птичьи крылья, моторе.

– Делай как знаешь, «хозяин», – по-детски назвала девушка Амба, – ты мужчина, и мой живот через край полон любви к тебе.

– Амба, – вне себя от счастья вскрикнул Амба, – тигр возьмет змею из-под самого носа… безносой Дыры.

– Тише ты, дуралей соболиный, – шикнул Бямби на забывшего всякую осторожность влюбленного гольда, – ты нам все дело испортишь, – видишь: в десяти взмахах весла за нами лодка Челока.

Конечно, молодые гребцы догадались о результатах беседы Амба с Джябжя, – и, точно им поставили новые глотки, – принялись еще громче, веселей и задорней распевать безудержные песни.

«Старик Бибу!

Дай им жизнь хорошую и долгую.

И детей им пошли много-много», – подхватили гребцы правого борта невестиной лодки.

«Мать Фадзя!

Дай им жизнь хорошую и долгую.

И много-много пошли им детей»[1], – еще задорней, точно в ответ, раздалось с левого борта той же лодки.

Старики с наслаждением слушали древние свадебные напевы.

– Ладно поете, ребята. Шаман не поскупится на водку за этакие слова, хоть вы и не вовремя их вспомнили, – кричал Челока из своей лодки.

Ребята продолжали задорно выкрикивать песни «старику Бибу» и «матери Фадзя»: так они по-своему «венчали» Амбу с Джябжя, вовсе не думая о шамане.

Свадебная флотилия подъезжала к стойбищу жениха.

– Подпускай, – тихо скомандовал Бямби, пересадил невесту на середину лодки, сбросил шкурки с мотора и завозился над ним.

Ребята отпустили весла, еле-еле перебирая ими по воде.

– Греби шибче, – командовал расходившийся шаман своим гребцам, – греби, не пожалею водки молодцам.

Расстояние между жениховой лодкой и лодкой невесты быстро уменьшилось…

Несколько дружных взмахов весел, и лодки столкнулись.

[1] Обе эти молитвы-свадебные песни поются на дэрэ, но значительно поздней, у фанзы жениха.

Шаман был доволен тем, что невестина лодка так легко и быстро «сдалась»: его тянуло обратно в фанзу – к водке.

Фолдо схватился рукой за борт невестиной лодки и торжественно вымолвил:

– Готово!

Но тут произошло то, что вовсе не предусмотрено обычаями гольдской свадьбы.

Амба со всего маху веслом ударил по вытянутой руке шамана. Дыра взвыл.

– И у нас тоже «готово», старая собака… Тебе не видать, негодяй, моей Джябжя, как волос на своей сухой голове…

На реке произошло невообразимое замешательство.

Гребцы невестиной лодки налегли на весла. За ними бросились все лодки: и жениха, и со стойбища «Лисьей прорехи». На воде носился шум, крики, проклятия, угрозы.

С берега друзья шамана – свидетели всей этой сцены – вместо ожидаемого салюта в воздух, выпустил заряд в убегающую лодку.

Ничего непонимающие дети некстати пачками поджигали китайские ракеты, которые своим треском заглушили нестройные крики.

И точно в ответ на эти выстрелы и ракетную стрекотню пулеметом затрещал налаженный мотор.

– Бросай весла, – скомандовал Бямби, и лодка без весел стрелой помчалась по реке, все дальше и дальше удаляясь от разъяренных, неистовствующих людей.

«Старик Бибу!
Дай им –
Джябжя и Амба –
Жизнь хорошую и долгую
И детей много-много», – затянули все ребята разом.
«Мать Фадзя!
Дай им –
Джябжя и Амба –
Жизнь хорошую и долгую
И детей много-много»…

Но последний припев не был слышен в лодке Фолдо-Дыры.

* * *

В глухой амурской тайге, на верховьях рек, нет еще радио и телеграфа, – вести быстры, как улемагда рыболова, как пуля охотника.

С уст в уста кочует весть за тысячи верст по следам охотника, искателя жень-шеня, кочевого туземца.

В самый разгар осеннего лова кеты в стойбище «Лисья прореха» и в стойбище шамана все отлично знали, чем кончилось дэрэ.

Амба с молодыми товарищами увезли Джябжя в Ивановский охотничий рыболовный колхоз…

И древнейший обычай «похищения» девушки, дэрэ, был благополучно завершен в колхозном Загсе.

Амба и Джябжя – первая таежная гольдская пара новобрачных, которые записались в Загсе.

Впервые опубликовано и печатается по:
Март В. Дэрэ – водяная свадьба: Рассказ. Киев, 1932. 39 с.

Аполлинарий Дионисович НЕНЦИНСКИЙ
(1893–?)

Беллетрист Аполлинарий Ненцинский родился в 1893 г. в Благовещенске. Окончил Благовещенскую гимназию. С 1928 г. жил в Шанхае. Писал рассказы, стихи, пьесы. Участник содружества «Понедельник». Публиковался в журналах: «Рубеж», «Прожектор», «Парус»; альманахе «Понедельник». Автор сборников рассказов «Человек во фраке» (1937), «Сильнее любви» (1938). Увлекался театром, играл на сцене (участник Русского кружка любителей драматического искусства в Шанхае). Выступал в качестве конферансье, был организатором концертов, постоянным импресарио А. Вертинского в Китае (ездил с ним в гастрольные поездки в Харбин и Тяньцзинь). После издания Указа о реэмиграции, подал заявление о принятии советского гражданства. Однако в СССР (г. Омск) выехала только его жена, а сам он продолжал оставаться в Шанхае. Дальнейшая судьба писателя не известна.

Ист. и лит.:
Жиганов В.Д. Русские в Шанхае: Альбом. Шанхай, 1936. С. 113, 135.
Забвению не подлежит. Книга Памяти жертв политических репрессий Омской области. Т. 1. Омск, 2000.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 218.

ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ

Сухо звякнули костяшками равнодушные счеты жизни. Звук дошел до сознания, зигзагом пробежал по мозговым извилинам и, достигнув центра восприятия эмоций, ясно отпечатал слово «банкрот». Рассудок насмешливо добавил еще одно слово: «жизненный».

— Жизненный банкрот.

Покрываясь седым пеплом, потухали в камине угли. Настольная лампа ярко освещала сидевшего у стола смуглого, с приятными чертами лица человека, одетого во фрак. Его гладко причесанная, с тщательно сделанным пробором, голова низко склонилась над листом бумаги, исписанным бесконечными рядами цифр.

Разбившись о лицо сидящего, свет оставлял всю комнату в полутьме. На стенах, слегка поблескивая позолотой, висели китайские панно. Недалеко от камина – широкая тахта со множеством подушек самых причудливых форм. Небольшой стол для бриджа и медный курительный столик примостились между двух глубоких кожаных кресел. Плотный пекинский ковер покрывал полкомнаты. Через раскрытые двери виднелась часть ярко-освещенной спальни.

Приподняв голову, мужчина встретился взглядом с глазами висящего над столом портрета седого господина в судейском, с погонами, мундире. Глаза портрета смотрели вопросительно и строго. Запнувшись о слова «жизненный банкрот», мысль побежала дальше, и вскоре, нарушив

тишину, прозвучали слова:

— Я знаю, это – грань. И я знаю, что я должен делать. Ты можешь быть спокоен – я никогда не забывал, что ты мой отец.

Человек во фраке встал. Хрустнули тесно переплетенные пальцы. Глаза блеснули не то гордостью, не то презрением. Взглянул на часы – было ровно девять. Вспомнил: гости приглашенные в Мажестик Отель, к столу мистера Коврова, соберутся к одиннадцати.

Значит, осталось два часа. Всего только два часа он имеет на размышление. Но ведь думать больше нечего. Не два часа, а два месяца он бился, изворачивался, думал, комбинировал – все было напрасно. Рука судьбы с убийственной точностью подводила баланс. Как приговоренный к смерти, апеллировавший во все инстанции, он все еще надеялся на помилование. Петля туго захлестнула шею, уже колеблется под ногами табуретка, вот-вот ее вышибут, а он все еще верил, что этого не случиться. И только сейчас, с беспощадной ясностью, он почувствовал, что это, действительно, конец. Можно было мириться со всем, можно было пускаться на всевозможные уловки, можно было тянуть, но всему, но всему есть предел. Через два часа он принужден будет открыто признаться, что он – ничто.

В течение нескольких минут перед глазами Коврова пробежала вся его жизнь, в этом международном, холодном ко всему, кроме денег, равнодушном городе.

Вот, он молодой мичман, прибывший в Шанхай с флотилией Старка – последними остатками белых армий. Не было ничего, кроме смены белья, новенького кителя и огромного запаса сил и энергии.

Недоверчиво хмуро встретил никому не нужных пришельцев закованный в гранитную броню банков город. Было пасмурно на душе. Больно хлестало по самолюбию, когда после разговоров на безукоризненном английском или французском языке спрашивали о национальности и потом разочарованно тянули: «Ах, вы – русский». Но после всего пережитого, ничего не пугало.

Десятки профессий переменил Ковров, со звериной настойчивостью отвоевывая себе право на жизнь. Только во время забастовки судьба как будто улыбнулась ему. Ковров вновь попал в свою стихию.

Громадный «Президент» несколько раз перебрасывал его с мутных волн Вампу к смеющемуся солнцу Калифорнии. Только данное капитану слово после бегства с парохода трех человек команды, не позволило ему остаться в Америке.

Кончилась забастовка, но Ковров быстро нашел себе место в крупной фирме. Жизнь приветливо взглянула на пришельца. Стали появляться деньги. Кто-то посоветовал попробовать счастье на бирже. Повезло. Вскоре бросил службу. Удача шла за удачей. Но Ковров был осторожен, не гнался за большим. Игра на бирже давала возможность жить, ни в чем себе не

отказывая. Появилась своя квартира, текущий счет в солидном банке, двухместный светло-оранжевый «Моррис».

Коврова любили. Выдержанный, с интересной наружностью, он был принят в лучших домах. Однажды у кого-то на вечере он встретился с ней.

Маленькая, гибкая, она несколько раз взглянула на него из-под лениво приподнятых век, большими карими глазами. Он попросил представить. Мадам Бахман – жена крупного коммерсанта. Пара незначащих фраз. И долгий, пристальный взгляд манящих глаз. Оставшись один, Ковров долго думал о маленькой, гибкой женщине. Ему казалось, что лениво приподнимающиеся веки умышленно не хотят показать, что скрыто на дне ее глаз. Казалось, что там должен был существовать неисчерпаемый запас тепла и ласки.

Было много встреч, порой случайных, порой умышленно случайных. И с каждым разом Ковров все больше и больше убеждался, что он был прав, эта женщина напомнила ему спящую царевну. Еще никто не разбил ее хрустального гроба. Ее мужа Ковров видел раза два или три. Мясистый, самодовольный, не молодой делец, он резко отличился от своей «спящей красавицы».

Как-то, во время танца, ее рука слабо вздрогнула и внезапно широко открывшиеся глаза обдали Коврова снопом искр. Искры упали на давно подготовленный горючий материал и зажгли его. Это было начало любви.

Робко, боязливо перешагнула она в первый раз порог его квартиры. Судорожно обвились вокруг шеи ее тонкие, почти детские руки. Маленькая женщина только теперь поняла, что такое жизнь и любовь.

Почти каждый день были встречи. И с каждым днем все сильнее и сильнее Ковров чувствовал, что эта женщина, войдя в его жизнь, стала единственной целью и смысл. Дела, знакомые – все отошло на задний план. Все мысли только об очередной предстоящей встрече.

Но вместе с любовью в сердце проникало и другое чувство. Ковров стал ревновать. Ревновать к ее мясистому, самодовольному собственнику. Сердце больно ныло, когда он начинал думать, что кто-то другой имеет право на его «маленькую». Порой бессильная злоба рассыпала перед глазами зеленые искры бешенства, и он не мог найти себе места. Она клялась ему, что только он один имеет на нее право, что муж всецело подчиняется ее желанием. Ковров не верил. Нередко она стала уходить от него с распухшими от слез глазами.

— Неужели ты не видишь, неужели ты не можешь понять, что я не в состоянии делиться? – говорила она, зажимая поцелуем готовые сорвать с его губ оскорбительные, жестокие слова.

Часто Ковров ловил себя на мысли, что он не должен ничего требовать, так как он не в состоянии дать и десятой доли того, что дает ей муж.

Ковров хорошо жил, удачно зарабатывал, но все же, в материальном отношении, он, по сравнению с Бахманом, быль нуль. Любая безделушка, купленная тем для жены, равнялась чуть ли не недельному заработку Коврова.

Конечно, он мог бы значительно увеличить свои доходы, но это повлекло бы за собой изменение все системы. Ковров должен был бы начать рисковать, ставить на карту и свое благополучие, и покой.

Однажды, во время ненужной сцены ревности, Ковров сказал:

— Я больше не могу. Или ты должна уйти от него, или я ни за что ни ручаюсь.

— Уйти, куда?

— Конечно ко мне.

— Но… – начала, было, она и не докончила. Ее взгляд растерянно прошелся по стенам комнаты. Ковров понял и замолчал. Расстались не так, как всегда. Что-то надломилось, и каждый чувствовал, что теперь всегда будет недоговоренное. С этого дня любовь и ненависть тесно переплелись в душе Коврова. Как и прежде, он с нетерпением ждал встречи, как и прежде ненасытны и жадны были поцелуи, но, кроме этого, хотелось сделать больно, оскорбить, заставить страдать.

Со злобой смотрел Ковров на стены своей уютной квартиры, мысленно сравнивая ее с роскошным особняком Бахмана.

Фальшью звучали ласковые слова, Ковров не мог забыть, не мог простить взгляда, сказавшего, что есть нечто более ценное, нежели его любовь. Часто Ковров сознавал, что он идет к гибели, что его чувство приняло настолько уродливые формы, что рано или поздно это кончится Бог знает чем. И он решил. Он должен добиться. Должен дать ей все.

Жизнь не любит, когда от нее требуют. Ковров начал делать ошибки. Неудача лишила хладнокровия. Через два-три месяца он был нищим. Но еще не все было потеряно. Ему доверяли, а если бы он взял себя в руки, можно было бы медленно вернуться к прежнему благополучию. Но Ковров не мог смириться с мыслью, что он должен уйти, хотя бы на время, от окружающего его общества, отказаться от привычной, дорого стоящей жизни и, следовательно, отказаться от нее. Кому угодно, но только не ей, он смог бы признаться в своих неудачах. Уже были исчерпаны все возможности. Через три дня должен был вернуться не оплаченным его крупный чек. Это означало крест на доверии, крест на всей его биржевой деятельности.

Сегодня встреча Нового Года. Ковров давно, по ее просьбе, пригласил большую компанию, в том числе и ее с мужем.

Он в течение недели искал деньги и не нашел.

Одетый во фрак, с безукоризненным пробором на голове, любимец публики, пригласившей в самый дорогой в городе ресторан компанию в

двадцать человек, он имел в кармане пять долларов.

Ковров встряхнул головой. Очнулся от охватившего его оцепенения.

— Значит конец, – почти спокойно подумал он. – В восемь обещал прийти индус, которому он и так много должен, и принести еще денег, но не пришел. Ковров знал, что он не придет. Знал, что все равно не спасет положения, но ему хотелось эту последнюю ночь в жизни провести с ней, провести шумно, угарно, чтобы потом было не страшно.

Он мысленно представил, как медленно, удивленно будут вытягиваться физиономии приглашенных по мере того, как часовая стрелка начнет приближаться к двенадцати. Как настойчиво зазвенит телефон в его квартире и как он, будучи здесь, около телефона, не будет слышать звонка, не сможет к нему подойти.

— В сущности, что произойдет? – думал Ковров. – Маленький треск, падение, и уже ничто не будет страшно. Не нужно будет любви маленькой женщины, не нужно будет ее дурманящих поцелуев и, что самое главное, не нужно будет по ночам просыпаться и, сжигая одну сигарету за другой, думать, мучительно думать, как найти выход.

Ковров усмехнулся. Интересно, что сказала бы она и все его друзья, если бы они узнали, что он три месяца не платил за квартиру, что его машина не в ремонте, а взята компанией, где он ее заложил и не смог выкупить в срок, что, может быть, через несколько дней ему просто нечего будет есть. Он уволил на днях повара, так как ему было стыдно признаться китайцу, что он не в состоянии давать столько на ежедневные расходы. И, что через три-четыре дня, когда откроются банки, его могут посадить в тюрьму.

Нет, он, Ковров, чересчур горд, чтобы показать им все это, чтобы дать возможность возмущаться, удивляться или жалеть. Жалеть его живого. Нет!

Вспыхнула мысль:

— А вдруг она приедет сюда за ним? Если ее муж будет занят или не захочет, она непременно заедет. У нее есть ключ.

— Я могу не успеть, – подумал Ковров. – А если успею, – значит, сделаю достоянием всего города наши отношения. Так жестоко отплатить ей за любовь и ласку. Ведь, увидев труп, она не станет рассуждать, что прилично, что можно и чего нельзя. Мало того, на нее вообще может быть наброшена тень подозрения. Она первая найдет, и первая даст знать. Кто будет свидетелем, что она нашла, а не убила сама?

— Нет, нужно бежать. Где-нибудь вдали от дома, чтобы не так скоро нашли…

Ковров нагнулся, быстро выдвинул ящик стола, вынул из него небольшой браунинг. Строго-вопросительно смотрели на сына глаза седого господина в судейском мундире.

— Прощай, отец!

Ковров с секунду в раздумии постоял у телефона, затем вызвал машину. Через несколько минут внизу раздался призывный гудок. Набросив на руку пальто, Ковров бодро сбежал по лестнице.

Он не знал куда ехать. Почему-то захотелось к тому месту, где он впервые молодым мичманом вступил на шанхайский берег.

Рявкая на растерянно мечущихся рикш, машина быстро мчалась по Авеню Фош. На Эдвард Севен автомобиль часто тормозил. Улица как всегда была залита светом, заполнена суетящейся, шумливой толпой. На Банде мертвыми громадами застыли банки – цитадель города, посвятившего себя деланию денег. На рейде сверкали бесчисленными лампочками иллюминованные махины иностранных крейсеров.

Отсыревший от близости воды, воздух заставил зябко поежиться. Ковров бездумно смотрел на вьющуюся ленту асфальта. Горбом вырос мост. У спуска пришлось остановиться. Индус, дирижируя палочкой, пропускал к Астор Хаузу вереницу автомобилей. Где-то совсем близко, разрывая воздух, затрещали хлопушки.

В конце Бродвея Ковров вышел из машины. Забыл, где находится пристань, на которую он высаживался. Долго морщил лоб, стараясь вспомнить, как будто это было очень важно. Затем, поймав себя на ненужности раздумий, нырнул в узкий темный проход. Проход, несколько раз вильнув, вывел его на маленькую плавучую пристань. Под ногами тихо плескалась вода. Было холодно. Ковров хотел было надеть пальто, но раздумал. К чему?

Встав на край пристани, начал доставать из кармана револьвер.

С точностью часового механизма, без перебоев, работала мысль.

— После выстрела, если он и не будет смертельным, упаду в воду, значит все равно конец. А, кроме того, может быть, провидение будет ко мне милостиво и волны не выбросят меня, а унесут далеко от людей в море. Никто не будет знать, никто не будет видеть.

Ковров поднял руку, вдруг откуда-то из темноты вынырнул маленький сампан. На ломаном английском языке лодочник стал предлагать перевезти, указывая рукой на середину реки. Ковров машинально посмотрел по направлению руки. Саженях в ста от берега стоял, пуская клубы густого дыма, готовый к отплытию какой-то грузовик. Ковров отрицательно покачал головой. Лодочник не уходил. Взобравшись на пристань, стал медленно раскуривать короткую, тонкую трубочку. Огонек от спички осветил старое, сморщенное лицо. Китаец раскурил трубочку, втянул в себя дым, по лицу расползлась довольная улыбка. Спичка погасла. Блеснувшая из тьмы улыбка на старом сморщенном лице вывела Коврова из оцепенения. Долго, сосредоточенно думал Ковров, глядя на сидевшего на корточках китайца.

— Умение довольствоваться тем, что дает жизнь, – пронеслось в мозгу Коврова. Вдруг, что-то решив, он прыгнул в лодку. – Вези!

Проза

***

Капитан, сухой, костлявый швед, с секунду недоумевающе осматривал поданную матросом карточку. Затем отрывисто бросил:

— Позови в кают-компанию.

Войдя туда, он с еще большим изумлением взглянул на вежливо поклонившегося ему элегантного мужчину в безукоризненно сшитом фраке, с небрежно наброшенным на руку пальто.

— Чем могу служить? – холодно спросил по-английски незнакомца капитан. – Только попрошу вас покороче. Через десять минут мы снимаемся.

Мужчина, еще раз поклонившись, произнес:

— Простите, капитан. Моя просьба может показаться вам дикой или, по меньшей мере, странной, но я прошу вас взять меня в число вашей команды. Я – моряк. Русский офицер. Я не боюсь никакой работы. И я уверен, что я не буду вам здесь в тягость. Я не прошу жалования. За право жить я согласен делать все, что угодно. Это же право, в данный момент, можете дать мне только вы.

Капитан хотел было что-то сказать, но незнакомец его перебил:

— Капитан, я не хочу вас запугивать, но вот вы видите револьвер. – Он вынул из кармана браунинг. – Несколько минут назад я оборвал все нити, связывающие меня с прежней жизнью. У меня не было выбора. И я твердо решил умереть. Но при виде вашего, готового в отплытию, парохода, у меня внезапно блеснула мысль, что я еще смогу начать новую жизнь, но только при одном условии, если я внезапно исчезну, немедленно порву со всем и всеми. Для них я должен умереть. Я молод. У меня достаточно сил для борьбы. Но не здесь. Но, капитан, даю вам слово русского офицера, что я не затаю в своем сердце обиды, если вы мне откажете, я пойму вас.

Говоривший замолчал.

Насупив косматые, седые брови, капитан долго осматривал по-военному вытянувшегося перед ним человека во фраке. Задумчиво пошевелил губами, и, встретившись с глазами незнакомца, резко произнес:

— Вы остаетесь. Отдайте револьвер.

***

Глухо ворча, разбрасывая снопы искр, двигался пароход. Низкие берега все более расширяющейся Вампу, сливаясь с водой, становились неприметными. Стоя на корме, с раздувающимися по ветру фалдами фрака, Ковров смотрел на зарево, стоявшее над скрывшимся за поворотом городом. Зарево жутким пятном, сгустком крови, висело над темным беззвездным небом. Ветер крепчал, но Ковров не чувствовал холода. Сердце порой замирало, разливая по телу ноющую, тупую боль. Но

Ковров чувствовал, что он победит эту боль. И что эта боль поможет выковать надежную броню, которая навсегда защитит его сердце и его самого. Только холодный, бесстрастный ум может руководить человеком.

Подошедший матрос прервал его мысли:

— Капитан просит вас в кают-компанию.

При появлении Коврова из-за стола поднялось несколько офицеров. Подойдя к Коврову и протягивая стакан с пуншем, капитан произнес:

— С Новым Годом, мичман!

Взяв стакан и стукнув каблуками, Ковров ответил:

— С Новым Годом, господин капитан!

Впервые опубликовано: Ненцинский А. Человек во фраке: Сб. рассказов. Шанхай, 1937.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: в 10 т. Пекин, 2005. Т. 10. С. 248–256.

СИЛЬНЕЕ ЛЮБВИ

Ключ упорно не попадал в замочную скважину. Срывался, скользил, царапая медный кружок замка. В конце концов, он заметил, что ключ ни при чем. Предательски дрожала рука. Напряг мускулы, остановил дрожание. Зазубренное стальное лезвие плавно вошло в темную щелку. Дверь открылась. На пороге задержал готовую шагнуть ногу. На секунду задумался, – как же быть. Быстро решил – пока все должно остаться по-старому. Нужно во всем разобраться. И тут же поймал себя на мысли, что, конечно, ничего не будет по старому, что от прежнего ничего не осталось. Он в этом не виноват. Прекрасно сознавал только одно, что он уже не в силах что-нибудь изменить, ввести в прежнее русло.

Умышленно долго снимал пыльник. Знал, что там, за закрытой дверью, самое страшное. В столовую вошел тяжелыми шаркающими шагами. Ноги с трудом отрывались от пола. После полутемной передней в глаза больно ударил яркий, радостно-желтый свет, бьющий в широко раскрытые окна. Зажмурился. От этого прозвучавшие рядом слова показались не естественно звонкими.

— Как я рада, что сегодня так рано.

Открыл глаза, прямо перед собой увидел ее лицо, как всегда оживленное, радостное. Попробовал улыбнуться. Понял, что вышло неудачно, так как лицо напротив моментально изменилось.

— Ты что – нездоров? Что случилось? Ты чем-нибудь расстроен? – град вопросов, на которые немыслимо ответить.

Успокоился. Еще раз напомнил самому себе, что должен взять себя в руки.

Обедали. Жена оживленно рассказывала о встрече с подругой детства.

— Представь себе, ведь мы не виделись двенадцать лет. Понимаешь, что мы обе из себя представляли. Двенадцать лет! Мы были во втором классе, когда они уехали. Казалось, чтобы могло остаться от наших физиономий. И чтобы ты думал? Мы моментально друг друга узнали. Потом мы сами не могли понять, как это случилось, так как, приглядевшись друг к другу, мы пришли к заключению, что от прошлого не осталось ни малейшего следа. Чем ты это объяснишь? Не правда ли странно?

Он соглашался. И в тот момент ловил себя на мысли, что вот, напротив него сидящая женщина – его жена, ничего не имеет общего с той, которую только вчера, нет – сегодня утром, он боготворил.

Внимательно, из-под полуопущенных век, он разглядывал ее. Сочный небольшой рот. Большие серые, с слегка зеленоватым отливом глаза. Тонкие, сильно загнутые книзу без помощи карандаша дуги бровей. Золотистые от пронзивших их солнечных лучей волосы, мягкие и нежные, пересеченные широкими волнами. Ямочка около левого угла губ, углубляющаяся при разговоре. Все то же самое. Все вчерашнее, и все-таки не то. Что-то переменилось. Что-то стало новым. Даже ямочка, всегда приводящая в умиление, показалось неестественной. Если не приподнимать при разговоре щеки, то она не будет углубляться.

Жена встала, вытерла губы салфеткой, оставив на ней ярко-красный свет. Подошла к нему, обняла за шею руками, прижала мягкие ладони к его лицу. От ее рук шел аромат, тонкий, чуть осязаемый «Блюнарцисс». И вдруг показалось, что они пахнут сигаретным дымом. Не поцеловав, отвел от лица.

Равнодушно произнес:

— Я очень устал, хочется отдохнуть.

— Ну, ляг. Ты хочешь в спальне или в гостиной на диване? Я открою радио, тебе не будет мешать?

— Нет, ничего, пожалуйста.

Устроившись на диване, ощущая тепло спины сидевшей около него жены, он попробовал вернуться к истокам мыслей. Но при одном воспоминании делалось до того больно, что хотелось кричать. Чтобы не разговаривать, не отвечать на вопросы, сделал вид, что уснул.

Около двух, осторожно целуя его в лоб, жена напомнила, что пора идти.

Прощаясь, пересилил себя и поцеловал протянутые, чуть-чуть приоткрытые губы. Целуя, ощутил влажность ее проткнутого между зубов языка. Вдруг стало противно. Вспомнил, что этому научил сам. Жена долго не могла понять, что он хочет и почему нужно помогать языком. Поняв, вошла во вкус. Невольно вспыхнула мысль – он ли научил? Не было ли это искусным притворством, желанием показать свою неопытность. Может

быть, этого и не было, но он знал, что теперь всегда и во всем он будет видеть неискренность и наигранность.

На службе все время ловил себя на мыслях о ней, о том, что только что узнал. Временами чувствовал, как по всему телу разливалась горячая волна. Новое, совершенно неизвестное ранее ощущение злобы. Злобы к самому близкому, к самому дорогому существу. Старался успокоить себя, что все это было до него, что Ирина досталась ему нетронутой, незапятнанной. Что она, несомненно, любила его, что за три года их жизни он никогда не имел ни малейшего повода к ревности. Знал, что Ирина вполне довольна той жизнью, которую он ей дает. Знал, что она никогда не бросит его, никогда не променяет на кого-либо другого.

Было всегда приятно сознавать, что он, только один он, имеет на нее право. Что он превратил скромную, застенчивую Ирину в женщину, послушную его желаниям, всегда жадно тянущуюся к его ласкам.

Вначале Ирина испугала своей холодностью и замкнутостью. Несомненно, любя его, она не могла побороть в себе чувства почти физического отвращения к близости, к ласке. Оживленная и радостная, с наступлением ночи она притихала, сжималась, уходила далеко вглубь себя. Никогда не протестуя, она безропотно сносила все, что он с ней делал, всегда оставаясь холодной и чужой. Беспокоясь, нервничая, он никогда не показывал ей, что замечает ее состояние, никогда не спрашивал – почему. Осторожно и нежно он старался найти тщательно скрытую струну, прикосновение к которой заставит зазвучать весь сложно сконструированный инструмент. Медленно, шаг за шагом, он отвоевывал доверие к себе, борол страх и отвращение, будил любопытство. Никогда не бывая грубым и настойчивым, он прибегал к различным уловкам, иногда тонко развратничал, стараясь разбудить в жене крепко спавшую женщину. Постепенно подтаивал лед. Ирина начинала теплеть, любопытно прислушиваться к нарождающимся в глубине ее чувствам. Перестала бояться ночей, близости чужого тела. Прикосновение нежно-ласкающих рук уже не вызывало неприятной дрожи. Хотелось бесконечности прикосновений, напружинивающих тело. Постепенно пропал и страх к самому главному, но она знала, что это еще не все. Он чутко прислушивался, ни на секунду не выпуская ее из поля наблюдений. Осторожно, как заблудившуюся, вел все дальше и дальше по темным, все еще непонятным для нее лабиринтам восприятия новых ощущений. Где-то очень далеко начинала маячить светлая точка. Ирина уже не была тяжелым грузом, она старалась идти с ним в ногу, чутьем угадывая направление, но, все еще, не видя цели. Совершенно внезапно для него, Ирина увидела свет, пропали, сгинули темные, давящие стены лабиринта, теперь это была яркая, радостная дорога жизни, на которой она нашла себя. Ирина бурно переживала переход из тьмы. Перерожденная,

ликующая, она часто спрашивала его:

— Что это? Неужели это правда? Неужели я действительно чувствую все это? Какое счастье. Все ты. Все это сделал ты…

Сильные, молодые, они цепко схватились за подаренное жизнью счастье. Цепко. Ничто не в силах было его вырвать. Но сегодня его не стало.

Счастье Белова, мужа Ирины, сегодня, в одиннадцать с небольшим часов дня, выскользнуло из рук, упало, он никогда не предполагал, что оно могло оказаться таким хрупким, и вдребезги разбилось. Никакие силы мира не в состоянии собрать миллионы искрящихся осколков, ни собрать, ни склеить.

Утром, как всегда рано, Белов завтракал, просматривая газету. Благоухающая пудрой и мылом, подававшая ему завтрак, миниатюрная Сестко-сан радостно сообщила ему, что в их саду за ночь расцвели вишни. Белов был обрадован этим сообщением не менее Сестко-сан. Прожив в Японии около шести лет, он научился любить и ценить многое из того, что любили эти маленькие, всегда упорно идущие к своей цели, самолюбивые люди.

Вишня, нежно-розовая, скромная, как японская девушка, немного неживая, порой кажущаяся искусственной, напоминала ему далекую, бесконечно-родную яблоню русских садов. Цветение вишни всегда было праздником. Глядя на розовые гроздья на тонких голых ветвях, он всегда начинал чувствовать прилив какой-то необыкновенной энергии и силы. Все вокруг начинало казаться приветливым и хорошим. В праздник цветения вишни он встретился с Ириной в Мариама-парке, в Киото.

Белов поспешил поделиться радостной новостью с Ириной. Она только что проснулась, поеживалась, щурилась от солнца. Услышала о вишне, захлопала в ладоши, быстро соскочила с кровати, тонкая, высокая повисла на шее у мужа. В голубом кимоно, с растрепанными волосами, она сбежала с ним по ступенькам невысокого крыльца в их маленький садик. Три небольших вишневых дерева – это все, что смогло в нем поместиться. Белов, Ирина и часто почтительно приседавшая Сестко-сан долго разглядывали только что лопнувшие чашечки бутонов, выпустившие кончики нежно-розовых, почти белых, лепестков.

Выйдя на улицу, Белов несколько раз обернулся. Через низкий палисадник перевесились голубые крылья рукавов кимоно Ирины. Жена посылала ему вдогонку воздушные поцелуи.

В конторе он узнал, что нужно съездить в Осака. Быстро закончив дела, назад он поехал не в трамвае, а в поезде. В вагоне первого класса, он по ошибке купил вместо второго билет первого класса, кроме него было еще только двое иностранцев, по-видимому, приезжих, так как всех живущих в Кобэ он знал в лицо. Один из них, довольно высокий,

рыжеватый, молодой, другой – немного постарше, с сединой в слегка волнистых волосах. Сидели они с другой стороны дивана, на котором поместился Белов. Почти все время говорил рыжеватый. Расспрашивал. Из разговоров Белов узнал, что рыжеватый только что вернулся из Европы, где прожил около трех лет, другой был жителем Токио. Глядя в окно на быстро бегущие навстречу поезду домики, телеграфные столбы, миниатюрные кладбища с маленькими, как бы игрушечными, каменными памятниками, Белов лениво прислушивался к разговору англичан. И вдруг насторожился, ясно услышав имя и девичью фамилию жены. Рыжеватый спрашивал своего соседа, тот попросил повторить фамилию. Рыжеватый повторил. Белов убедился, что он не ослышался.

— Эта девочка служила, если я не ошибаюсь, у Брандель, Смис и Ко, – сказал англичанин.

Белов вспомнил – жена как-то рассказывала, что когда она жила с родителями в Токио, что около года прослужила в крупной экспортной фирме, название ее он забыл, но сейчас он отчетливо вспомнил, что она называлась «Брандель, Смис и Ко».

– Нет, я не знаю, – ответил англичанин с проседью. – А что, почему вы так интересуетесь?

– О, это замечательная девушка. Я хотел бы ее разыскать и возобновить наше знакомство. Действительно, эти русские какой-то особенный, совершенно непонятный народ. С этой девушкой у меня произошел исключительный случай, если хотите, расскажу. Должен сознаться, что она была чертовски хороша. Такие глаза, от которых холодные мурашки бегут по спине. Откровенно говоря, русские женщины в большинстве очень интересны. Эта же выделялась даже среди своих. Мне часто приходилось бывать по делам в ее фирме. Там я с ней познакомился. Она говорила по-английски не хуже меня. Кончила в Японии конвент. Как-то пригласил ее потанцевать. Она поехала, стали довольно часто встречаться. Скажу откровенно – она дьявольски мне нравилась, но всегда держалась с таким достоинством, что у меня пропадала охота быть особенно развязным. Не думаю, чтобы я ей не нравился, но, во всяком случае, она никогда не давала мне повода думать, что это так. Наши встречи, прогулки в машине, посещения кино продолжались месяца три. Мне начало надоедать это сухое времяпрепровождение. Хотя бы один поцелуй. Честное слово, ни одного. Может в этом я был виноват, но она буквально парализовала мою малейшую попытку на активность взглядом своих громадных глаз. Нравилась она мне все больше и больше. Будь она англичанкой, я бы еще сумел разбить лед, сделав просто-напросто предложение, она была из породы тех девушек, на которых женятся. Но, слуга покорный, жениться на русской. Боже сохрани! Русская женщина – это вечно чего-то ищущая душа, полюбив которую, вы невольно попадаете

под ее влияние, отказываетесь от привычного уклада вашей жизни и отдаете ей всего себя целиком, в противном случае она или перестанет вас любить, или, что еще хуже, превратит вашу жизнь в пытку своими бесконечными славянскими страданиями и эмоциями. А кроме того, приближался срок моей поездки в Европу, которую я хотел провести в одиночестве, ничем не связанным. Но и отказаться от такого лакомого кусочка я тоже не мог. Если бы она была из другого теста, я просто предложил бы ей пожить со мной, дал бы некоторую сумму и обещал бы впредь поддерживать, но с ней на такую тему нельзя было говорить – это для меня было ясно. Поэтому пришлось вовсю играть в любовь. В конце концов, я добился поцелуя. Это было колоссальным достижением, хотя я должен сознаться, что целовалась она преотвратительно, но со временем, под моим руководством, она стала подавать надежды. Только дальше поцелуев дело не шло. Для моих рук поле деятельности ограничивалось пожатием ее рук. Но однажды мне удалось ее подпоить. Почти всегда она пила только Кока-Кола и Орендж-Сквош. Я уговорил ее выпить Бренди Лемонейд. За первой порцией последовало еще и еще, щеки ее порозовели. Танцуя, она уже не отстраняла меня, а наоборот, как будто даже начала прижиматься сама. В ее глазах запрыгали такие чертики, что мне самому стало страшно. Я не верил своему счастью. Когда она вышла на минутку в дамскую комнату, я намешал ей в стакан всякую всячину и по возвращении заставил ее это выпить. И я увидел ясно, как я сейчас вижу вас, что она готова, что это единственный шанс, который я ни за что не должен выпустить. Предложил прокатиться и увез ее к себе. Только войдя ко мне в комнату, она сообразила, куда она пропала. Начала было протестовать, но я быстро ее успокоил, усадил на диван, заставил выпить еще, на этот раз Стрет-Бренди. А затем поцелуи, от которых можно было сойти с ума…

Не двигаясь, крепко вцепившись руками в ручку дивана, слушал Белов. Тяжелым молотком били по голове слова, раздававшиеся за его спиной. В голове не было никаких мыслей. Слушать, слушать, что дальше. А голос, сюсюкающий, противный голос, безжалостно срывал покровы с божества, которому молился Белов.

– Короче говоря, довел ее до той точки, когда любая женщина перестает соображать, что она делает и что делают с ней. Руки мои тряслись, пальцы не слушались. Но вы сами понимаете, что в такой момент трудно владеть собой. Я запутывался в каких-то тесемках и рвал их. По инерции она еще слабо сопротивлялась, когда я снимал я нее платье, а потом я уже мог делать, что хотел. Когда упала на пол последняя принадлежность ее туалета, я буквально остолбенел, созерцание ее поистине божественного тела вышибло из моей головы весь хмель. Нет слов описать ее фигуру, белизну ее кожи, форму груди, бедер, изумительность линии стыдливо тесно сжавшихся ног.

Взять ее так просто, грубо, как какую-то уличную девку. О, нет! Это должно быть торжеством, священнодействие.

С мясом вырывая пуговицы, разрывая белье, я стал сбрасывать с себя одежду. Каждой частицей своего тела я должен чувствовать ее. Слиться в одно, без конца ощущать ее всю.

О, дурак! Жалкий дурак! Откуда пришла мне в голову эта идиотская мысль, как я мог терять драгоценное время. Всю жизнь я не прощу себе этого. Совершенно раздетый, я наклонился над ней, смертельная бледность покрывала ее лицо. От длинных загнутых ресниц закрытых глаз падали узорчатые тени. В нижнюю губу впились зубы, казалось, что она в глубоком обмороке, но порывистое и тяжелое дыхание говорило, что это только кажется, от порывистого дыхания слабо вздрагивали пунцовые соски ее груди. Холодными, как лед, руками я осторожно разнял ее ноги, она слабо застонала, я наклонялся к ней все ниже и ниже, лег. Переплел свои ноги с ее, обвил рукой ее шею. Почти каждой частицей своего тела я чувствовал ее, горячую, вздрагивающую до судорог, желанную. И когда до окончательного блаженства победителя оставалась десятая доля секунды, вдруг с невероятной для нее силой, она толкнула меня обеими руками в грудь и сбросила меня с себя. Не ожидав нападения, я не удержался на краю дивана и упал на пол. Я моментально вскочил на ноги, но было уже поздно, она стояла рядом со мной, стараясь руками прикрыть свою наготу.

Совершенно потеряв голову, я как зверь бросился на нее, началась дикая постыдная борьба. Молчаливая, и от этого еще более страшная, борьба ни на живот, а насмерть. Я выламывал ее руки, душил ее за горло, хватал за волосы. Кажется, даже бил по лицу. Она впивалась ногтями мне в шею, кровавыми бороздами разрывала лицо, кусала мои руки, плечи, грудь. Несколько раз ей удавалось вырваться от меня, отбежать в противоположный конец комнаты, но я нагонял ее, схватывал, мы падали на пол, и опять продолжалась борьба. И вдруг, когда она уже начинала обессиливать, я увидел себя в большом, до самого пола, трюмо. Из зеркальной глубины на меня смотрело чье-то звериное лицо. Всклокоченные волосы, оскаленные зубы, кровоточащие полосы, пересекшие все лицо, ото лба до подбородка. Неужели это я. Мне стало до ужаса страшно и стыдно. Я поднялся с полузадавленной тяжестью моего тела девушки. Теперь я видел себя в зеркале во весь рост. С волосатыми ногами и грудью, тяжело дышащий, позорный и жалкий в своей наготе. Почти бегом я бросился в соседнюю комнату. Закрывая за собой дверь, я еще раз посмотрел в ее сторону. Она еще продолжала лежать, уткнувшись лицом в ковер. Золотым сиянием рассыпались вокруг ее головы волосы. От сдерживаемых рыданий сотрясались мраморные, с бурыми пятнами кровоподтеков, плечи.

Сколько просидел у себя в комнате, я не знаю. Хлопнула выходная

дверь. Я вошел в гостиную, на полу валялись обрывки кружев и лент. На ручке кресел сиротливо повисли позабытые ей чулки. Я до сих пор храню этот сувенир. Больше я ее не видел. Она не вернулась на службу. Говорили, что уехала из города совсем.

Англичанин замолчал.

– Да-а-а… – как-то неопределенно протянул его сосед. – Я бы на вашем месте не захотел бы еще раз встретиться с этой девушкой.

Последние слова вывели Белова из охватившего его оцепенения, он тяжело поднялся и, громко ступая, подошел к разговаривающим. Те удивленно посмотрели на молча остановившегося перед ними европейца. Белов быстро нагнулся, левой рукой крепко схватил за лацканы пиджака рыжего англичанина и легко приподнял его с сидения. И в ту же секунду с невероятной силой ударил его в лицо. Моментально окрасившаяся кровью голова англичанина бессильно откинулась назад. Белов ударил его еще два раза. Обмякшее тело англичанина бессильно закинулась назад. Белов ударил его еще два раза. Обмякшее тело англичанина стало страшно тяжелым. Белов разжал пальцы, крепко зажавшие лацканы пиджака. Тело грузно упало на пол. Другой, испуганно соскочивший с дивана при нападении Белова, растерянно смотрел на него, не зная, что делать. Почти безумные глаза Белова задержались на его лице. Медленно, как бы с трудом, ясно разделяя одно слово от другого, Белов произнес:

– Скажите ему, что в следующую нашу встречу я его убью.

Повернулся и пошел к выходу. Поезд подходил к Кобэ.

Проводник, стоявший на площадке вагона, вежливо вняв фуражку, поблагодарил его за поездку и открыл перед ним двери, когда заскрипев тормозами, поезд остановился на Саномия-Стейшен. Отсюда Белову было ближе всего идти к дому.

***

Когда закончились офисные часы, Белов долго в раздумье стоял около выхода из конторы. Жена каждый вечер ждала его коло Рекрейшен-Граунд, вместе они гуляли около часу, иногда заходили в Ориенталь-Отель выпить чашку кофе и послушать музыку, и только потом отправлялись домой.

Но сегодня Белов чувствовал, что он не в силах встретиться с женой. Он еще не успел собраться со своими мыслями, не успел прийти к какому-либо определенному решению. Он знал, что что-то нужно сделать. Но что? Все время вспоминались слова, сказанные им тому, другому:

— В следующую встречу убью его.

Много раз за сегодняшний день Белов думал о том, почему он действительно не сделал этого еще там, в вагоне. Почему, как змею, как самую последнюю гадину, не задушил этого человека, не только

осквернившего его Ирину, но и продолжающего позорить ее и теперь.

Придя после обеда в контору, Белов ловил себя на том, что ему начинало казаться, что все окружающие, все служащие, приходящие в контору клиенты соболезнующе-презрительно смотрят на него. Будто хотят сказать – жаль, а мы не знали, что ваша жена…

Но моментально Белов сознавал всю абсурдность этих мыслей. Но все же он определенно знал, что теперь всегда и везде ему будет казаться, кто-то сказал, что тайна, которую знают двое – уже не тайна. А теперь, кроме него, Белова, об этом уже знал и тот, другой. А кто даст гарантию в том, что этот рыжий мерзавец не рассказал об этом уже десяткам лиц. И теперь каждый встречный может ткнуть пальцами по направлению прошедшей по улице Ирины и, наклоняясь в сторону соседа или соседки, многозначительно подмигнув, сказать: «А вот с этой особой произошла занятная история…». И Белову начинало казаться, что повсюду несется подозрительный шепот: «С этой особой…» И все сильнее и сильнее чувствовал Белов, как в нем нарастает дикая, ни с чем не сравнимая ненависть к женщине, которую он любил больше всего на свете.

— Фактически, что сделала Ирина? Ее напоили, – старался трезво во всем разобраться Белов, – под влиянием алкоголя, никогда до этого не пившая, она не соображала, что с ней делают, но как только у нее на секунду просветлело сознание, она вступила в смертельную борьбу за свою честь.

Белов ясно видел картину этой жуткой борьбы. Видел, как били по лицу его Ирину, как обнаженную таскали за волосы по полу. Его Ирину! Белов до боли, до ломоты в скулах стискивал зубы, сдерживая готовое сорваться с губ дикое рычание бессильной злобы: почему он не убил? И в тот же момент вспыхивала мысль, что тот не так уж виноват, что, может быть, многие на его месте поступили бы точно также. Вся тяжесть вины на Ирине, ведь она проводила с ним целые ночи, танцевала, целовалась, в конце концов, поехала к нему на квартиру. Она не была настолько глупа, чтобы не соображать, к чему это все может привести. Да и, кроме того, ведь не была же она пьяна до бесчувствия. В ней также разгоралась похоть, она хотела этого человека. И вдруг, в самый последний момент, инстинкт сохранения, помимо ее собственной воли, уже подчиненной проснувшемуся желанию, заставил ее бороться. Если бы тот, другой, так грубо не набросился на нее, а применил бы тактику ласки, уговора, осторожных, не пугающих действий, и возможно, что он сумел бы усыпить бдительность инстинкта. Действие рождает противодействие. Об этом, распаленный похотью, англичанин забыл.

Значит, вина ее. Невольно он вспомнил ее. Боязнь жены его близости. Почти панический страх перед постелью. Это был нервный шок. Прикосновение чужого тела в ее мозгу автоматически ассоциировалось с

борьбой, насилием, болью пережитых в течение нескольких минут, там, тогда. А он-то, влюбленный до самозабвения, думал, что новизна всего испугала Ирину, что какой-то неправильный шаг в самом начале сделал он сам.

Вспомнилась первая брачная ночь, когда изнемогая от страсти к лежащей рядом с ним женщине, напуганный ее страхом, он боялся себе позволить лишнее движение, боялся лишний раз прикоснуться к ней. А потом, как часто Белову мучительно хотелось зажечь свет и увидеть жену, но страх, что этим он оскорбит ее стыдливость, не позволял ему это делать. Часто утрами притворялся спящим, а сам, чуть-чуть приподняв веки, все время боясь, что жена может заметить, он наблюдал за ее туалетом. Мог ли он когда-нибудь предполагать, что кто-то другой не только видел Ирину обнаженной, но даже шарил руками по ее телу, обнимал ее, лежал рядом с ней, чувствовал ее всю. Что в том, что он не взял ее, – это почти то же самое.

Белов ясно сознавал, что он никогда не простит этого жене и никогда не сможет забыть. Но что же делать, как быть? Как продолжать жизнь? Вот сейчас он должен пойти и встретить поджидающую его жену. И вот даже этого он уже не в силах сделать. Час, проведенный дома во время обеда, стоил ему колоссального напряжения воли. Сейчас нужно как-то отдалить эту новую встречу с женой. Постараться успокоиться, прийти к какому-то решению.

Озираясь по сторонам, хотя он прекрасно знал, что жена ждет его в другом месте, Белов вышел из конторы. Секунду подумав, он пошел в сторону Дай-мару. Не заметил, как очутился на всегда шумной, заполненной беспрестанно движущимися потоками людей Мото-мачи. Громкоговорители радио оглушительно гремели со всех сторон, расхваливали товары, приглашали зайти в кафе, сообщали последние новости, исполняли оперные арии.

Раньше Белов не любил и, даже после того, что пережил в России, немного боялся толпы. Толпа, случайное сборище совершенно различных людей, конгломерат почти всегда чуждых по настроению элементов, всегда полна неожиданностей и случайностей. Почему именно в сборище себе подобных человек очень часто забывает, что он человек. И почему именно это случайное собрание людей, именуемое толпой, особенно благоприятно действует на пробуждение в людях низменных, порой просто звериных инстинктов? Почти под всеми широтами земного шара толпа одинакова. Но совершенно обособленно отстоит от всех народностей, что особенно ярко бросилось в глаза Белову, японская толпа. Как велика она бывает, врожденная вежливость каждого японца занимает в ней первое место. Двое, случайно столкнувшихся, стараются опередить один другого в принесении извинений. В кинематографах, храмах, на улице никогда не бывает давки, всюду царит дисциплина, желание помочь соседу.

Женщины, дети, старики всегда пользуются особенным вниманием. На самых многолюдных улицах Японии вы никогда не сможете стать зрителем уличного скандала. Даже в увеселительных местах, в парке, во время народных гуляний, встречая подвыпившую, распевающую песни группу, вы можете быть совершенно уверенным в том, что вас никто не заденет, никто не оскорбит, никто не затеет драку.

Присмотревшись к японской толпе, заметив ее особенности, Белов полюбил окунаться в ее гущу, часами бродить внутри нее, жить жизнью вечно куда-то спешащих, всегда занятых людей. Любил прислушиваться к отрывкам фраз разговоров, любил затевать беседы с первым встречным, наблюдая, как куда-то спешивший до этого человек старается как можно более и обстоятельно ответить на заданный вами самый пустяковый вопрос.

Но сегодня Белов не замечал снующих вокруг него людей. Иногда встретившись с чьим-нибудь удивленным взглядом, он приходил на секунду в себя. Взгляд говорил о том, что по всей вероятности, он кого-то толкнул и не ответил на извинение человека, которого толкнул сам.

Уже зажглись большие матовые шары, гроздьями налепленные на вытянутые столбы, образующие что-то вроде светящегося навеса над всей улицей, а Белов все еще продолжал свое бесцельное блуждание. Не заметил, как сделав колоссальный крюк, вышел к Кобе-Тоуэр. Совсем стемнело. Посмотрел на часы. Было поздно. Белов сел в трамвай.

У калитки их сада ждала его жена. По ее лицу он видел, что она расстроена, взволнована. Заметив его, Ирина радостно всплеснув руками, бросилась к нему навстречу. Повисла у него на шее, по-детски дергая недостающими до земли ногами.

— Где ты был? Я так волновалась. Ждала тебя на улице больше двух часов. Ты ушел после обеда какой-то хмурый, я боялась, не заболел ли ты, или с тобой что-нибудь случилось. Я даже плакала. – Застенчиво улыбнувшись, добавила она.

Белов осторожно разнял обвившиеся вокруг его шеи руки жены. Стараясь придать своему голосу всегдашнюю теплую интонацию, он произнес:

— Пришлось опять ездить в Осака, думал, что вовремя вернусь, но задержался. – Но с голосом справиться не удалось, он звучал тускло, деревянно, а глаза, посмотревшие на Ирину, были холодны и злы.

— Послушай, что с тобой? – с тревогой спросила жена. – Что-то случилось, ты совсем другой. Почему ты не хочешь сказать? У тебя неприятности по службе? Сегодня тебя как будто подменили.

— Ах, оставь! – резко оборвал ее Белов. – Ничего не случилось Что за глупые предположения. Меня, – он особенно подчеркнул это слово, – никто не менял.

Быстро взбежав по ступенькам крыльца, он вошел в дом. Растерянно глядя ему вслед, Ирина продолжала стоять в их маленьком садике, в котором, в ночь не сегодня, распустились вишни. В углах ее серых потемневших глаз медленно увеличивались прозрачные капли. За всю их совместную жизнь муж никогда с ней так не разговаривал.

К ужину Ирина вышла с красными заплаканными глазами. Белов уже сидел за столом и машинально тыкал вилкой в лежащий перед ним на тарелке винегрет. Оба почти ничего не ели. На лице всегда жизнерадостной, суетящейся вокруг стола Сестко-сан застыла недоумевающая улыбка. Она никогда не видела своих господ такими серьезными и молчаливыми. Никогда не приходилось ей уносить со стола совсем нетронутые блюда, и никогда не было случая, чтоб хозяин не пошутил с ней и не сказал бы ей что-нибудь смешное.

Тягостное молчание не нарушалось. Ирина с болью и недоумением думала о том, что же, в конце концов, случилось? Но гордость оскорбленного самолюбия не позволяла обратиться к мужу. Изредка она бросала короткие взгляды в его сторону. Белов сидел, низко опустив голову, казалось, что он усердно разглядывает рисунок скатерти. Его, как и Ирину, угнетало молчание, но он боялся его прервать. Боялся начать говорить, так как знал, что говорить сейчас он может только об одном. А что сказать и как? Допытываться подробности – он знает почти все. Заставить ее пережить еще раз то, что она уже однажды пережила? Унизить, оскорбить? Он прекрасно сознавал, что если Ирина узнает об этом, то для нее это будет невероятной мукой. Что от их прежней жизни, прежних взаимоотношений не останется и следа. Что жизнь навсегда будет разбитой. Должен ли он это сделать, имеет ли право? Не обязан ли он попробовать пережить все наедине с самим собой? Попробовать перебороть себя, постараться забыть, вычеркнуть из памяти то, что было вписано туда раскаленными буквами. Ради, если не светлых солнечных дней, которые они пережили с Ириной.

Неужели он такой эгоист, неужели он не в состоянии простить того, что когда-то было? Было до него. Разве не женятся люди на женщинах с прошлым? А если бы Ирина была вдовой, если бы до него она была бы замужем, разве он стал бы любить ее меньше? Или не смог бы любить вообще. Разве сам он до Ирины не имел десятков романов? Разве, даже сегодня, гуляя с Ириной по улицам, он не встречает тех, которые когда-то принадлежали ему, которых он ласкал так же, как Ирину, которых он даже называл такими же ласкательными именами, как ее теперь? И, наконец, разве Ирина не досталась ему нетронутой, девственной? И в ту же секунду перед глазами Белова вставала страшная картина: голое тело Ирины и того, другого. Белов сильно стискивал челюсти, заставляя быстро шевелиться желваки на его щеках.

Белов не слышал, как Ирина встала из-за стола и вышла из комнаты. Когда, наконец, он поднял голову, ее уже не было.

Он вышел на крыльцо. Было свежо. В темно-синий бархат неба впивался светлый столб прожектора с крыши Даймару. Вокруг застывшая тишина, изредка прерываемая звоном пробегающих внизу трамваев. Чашечки цветов на голых ветвях вишни раскрылись еще больше, они казались пушистыми большими снежинками.

Ирина долго лежала в постели. Широко раскрытыми глазами вглядывалась в темноту комнаты, настороженно прислушивалась к тому, что делает муж. Он долго шагал по их маленькому садику. Слабо скрипел под его ногами мелкий гравий на единственной дорожке садика. Ирина ждала. Она чувствовала, что не сможет выдержать характера, что вот еще немного, и она соскочит с кровати и побежит к нему. Ее мозг усиленно и напрасно трудился над тем, чтобы понять, что случилось. Что-то подсознательно нашептывало ей, что произошло что-то очень серьезное, что иначе он никогда бы не был таким грубым и жестоким. Но причем тут она, разве она в чем-нибудь виновата? Разве она не самый близкий для него человек, что он не хочет с ней поделиться тем, что его заботит? Нет. Может быть, он просто не хочет ее огорчать? Может быть, она сама поступила неправильно, обидевшись на него и замолчав?

Белов вошел в спальню. Не зажигая света, стал медленно раздеваться. Приподняв одеяло, лег на самый край постели.

Ирина поняла, что он не хочет, чтобы к нему прикасались. С трудом сдерживая себя, боясь разрыдаться, глотая противные соленые слезы, она с тоской думала:

— Господи, за что?

***

Двадцать восьмого марта, в одиннадцать с небольшим часов утра, душа Белова заболела страшным тяжелым недугом, название которому вряд ли можно найти. В течение трех недель организм Белова прилагал все усилия для того, чтобы побороть болезнь. Но все старания были напрасны. Все принимаемые Беловым меры оказывались паллиативами. Причиняя мучительную боль, прогрессируя с каждым днем, недуг уже поразил важные душевные и мозговые центры. В минуты редкого трезвого мышления Белов ясно сознавал, что с минуты на минуту наступит кризис, в исходе которого он не сомневался.

Три недели страшной, напряженной, молчаливой борьбы. Измученная неизвестностью, напуганная, Ирина с тревогой наблюдала за мужем. Она видела и чувствовала происходящую внутри его борьбу. Ни просьбы, ни слезы, ни отчаяние не помогали – Белов не говорил о том, что с ним происходит. На особенно настойчивые просьбы Ирины он отвечал

резкостью, грубостью, иногда просто отталкивал ее от себя и уходил из дому. Иногда до утра. Часто Белов приходил домой пьяным. В такие дни он бывал особенно страшен. Угрюмый и молчаливый, он с какой-то звериной жестокостью набрасывался на Ирину, исступленно ласкал ее, почему-то всегда стараясь причинить боль, то осыпал ее тело бессчетными поцелуями, то извращенно и цинично чуть ли не разламывал ее тело, заставляя ее принимать самые невероятные позы, от одного воспоминания о которых краска стыда заливала лицо Ирины, то вдруг грубо отталкивал ее от себя, поворачивался к ней спиной и не произносил ни слова. Прекрасно сознавая, что он мучает жену, что рано или поздно он должен будет заговорить, что молчание еще более усложняет положение, что он сам уже не в силах, физически не в состоянии носить все то, что он переживает в самом себе, вместе с тем он определенно знал, что разговор с женой ничего не решит, ничего не изменит, не принесет никакого облегчения, наоборот, еще более усложнит их взаимоотношения.

Целыми днями, в свободное от службы время, Белов колесил по улицам Кобе. Заходил в бары, рестораны, кафе, не отдавая себе ясного отчета, что будет потом, Белов искал встречи. Долгими бессонными ночами, он замучивал себя мыслью, что он поступил не как мужчина. Он не имел права дать тому уйти. Что даже Ирине он сейчас не может ничего сказать, так как он, единственный, кто был обязан вступиться за ее честь, за свою собственную жену, наконец, поступил как какой-то халуй, ударил, разбил физиономию и спокойно ушел. Уважающий себя человек за такие вещи не бьет. Он или убивает или подставляет под выстрел свою собственную грудь. Но где найти, как встретить? Он не знал ничего. Ни имени, ни где тот человек работает. Ничего. Даже не знал, живет ли он сейчас здесь или вообще куда-то уехал.

Единственный выход – спросить ее. Но как? Он боялся, что во время разговора, он не сможет сдержать себя. И тогда вместо этого погибнет Ирина. Иногда Белов ловил себя на жуткой мысли, что может быть это лучший выход из положения. Что от прежнего все равно ничего не осталось, что рано или поздно все равно произойдет что-то страшное. Что никогда ни у него, ни у Ирины больше не будет счастья, что пытка молчанием, которой он подвергнет ее и себя, в конце концов, сведет с ума или его, или Ирину.

Любил ли он Ирину – Белов не знал. Если любовь перегорела, умерла, рассыпалась от прикосновения чужих слов – значит, нет страдания. Нельзя страдать, когда втаптывается в грязь то, что ты уже не любишь – мучительно думал Белов. Но если безумно болит сердце, если все твое внутреннее «я» заполнено диким, звенящим не могущим вырваться наружу криком нечеловеческой боли – значит, ты продолжаешь любить. Да, да, соглашался Белов. Но почему же, рядом с любовью –

символ прощения и забвения всего, почему рядом с ней выросло другое страшное чувство, которое в тысячи раз сильнее любви – чувство невероятной злобы, ненависти, обиды, ревности, презрения, комплекс всех отрицательных чувств, которые могут родиться в человеческой душе. Но почему они, все взятые вместе, могущественные и ужасные, почему они не растопчут в прах сиротливо стоящую неподалеку от них любовь? Почему каленым железом презрения и ненависти они не выжгут ее из измученного сердца Белова? Сильнее любви, как вандалы, победители, прикованную цепями к колеснице, они тащат ее, полуживую, за собой.

Пробуя быть посторонним наблюдателем за тем, что творится в его собственной душе, Белов все больше и больше убеждался в том, что он не в силах разобраться в этом невероятном хаосе чувства. Да, он любил и ненавидел, жалел и презирал, готов был, временами, молиться, глядя на ее затуманенные горем глаза, и втоптать в грязь, еще более чем когда-либо, хотел ее как женщину, и старался ласками причинить боль, унизить, вызвать краску стыда на ее лице.

Видя ее страдания, хотел расплакаться, как ребенок, у нее на груди и, как самого близкого, самого родного человека, попросить помочь ему пережить боль, исковеркавшую его душу. И в тоже время, еще упорнее продолжал молчать, почти злорадно наблюдал за е страданиями.

Кризис в его болезни наступил неожиданно.

Однажды, вернувшись домой, когда жена уже спала, он зажег свет и начал раздеваться. С треском швырнул на пол снятые с ног туфли, шум от их падения разбудил жену. Его глаза встретились с испуганным взглядом Ирины.

Как внезапный хлынувший поток прорывает плотину, так испуг, мелькнувший в глазах жены, отразившись в его мозгу, как будто задел какую-то сложную пружину, до сих пор мешавшую ему заговорить.

Белов почти закричал:

— Ты что уставилась на меня? Испугало появление собственного мужа? Может ты ждала кого-нибудь другого? Своего любовника, рыжего англичанина? Говори!

Полураздетый, с горящими от бешенства глазами, он подскочил к кровати, сдернул с жены покрывало, и больно вцепившись руками в ее плечи, с силой посадил Ирину на постели.

Ничего не понимающая, ошеломленная, чувствуя сильную боль в плечах, Ирина не могла ничего ответить. Слезы градом сыпались из ее глаз.

— Говори, – продолжал кричать Белов. В его голове все перепуталось, перемешалось. Он совершенно не мог владеть собой. Только где-то далеко, в отуманенном яростью мозгу, как сигнальная лампочка радио отправителя, коротко вспыхивала мысль – сейчас убью. Вспыхивала и

потухала. Боялся разжать руки, крепко сжимавшие плечи жены. Знал, что следующим, во что они вцепятся, – будет ее горло. Чтобы как-нибудь разрядить нарастающее несокрушимое желание задушить, сильно ударил ладонью ее по лицу. От удара Ирина потеряла сознание, упала на подушки. Из угла разбитых губ на ее подбородок стекала тонкая струйка крови. Белов схватил с ночного столика кувшин с водой и выплеснул всю воду на лицо Ирины. Слабо застонав, она пришла в себя.

— За что? – захлебываясь от слез, слабо произнесла Ирина, – за что?

— За то, что ты – гадина, мразь, проститутка, – продолжал кричать Белов. – Я все знаю, не притворяйся невинной мученицей. Я все знаю, там, в Токио, к кому ты ездила на квартиру. Кто раздевал тебя? – голос Белова, сорвавшийся на высокой ноте, перешел в шипящий шепот. Отойдя на шаг от кровати, судорожно сжав кулаки своих больших сильных рук, он пронизывал Ирину переполненным ненавистью взглядом. Видел, как смертельная бледность покрывала лицо Ирины, от этого еще ярче выступала красная полоска крови на ее подбородке.

Слова, произнесенные мужем, были сильнее удара. Ирина почувствовала, как куда-то поплыла комната и где-то, совсем рядом с ней, открылась бездна, в которую она вот-вот упадет. «Он знает», – произносилось в ее мозгу. С мучительной ясностью встал весь ужас пережитого тогда, пять лет тому назад. Ужас, о котором она старалась забыть, вырвать из своей памяти. Никогда не вспоминать. О, как трудно было забыть. Только встреча с Беловым, их жизнь, обретенное счастье стушевали картину, сделали нереальной. Помогли поверить в то, что это было кошмарным сном. И если иногда, вдруг неизвестно почему, выплывали образы того, омерзительного, она старалась внушить себе, что этого не было никогда.

В первый же момент, выбежав из квартиры англичанина, Ирина твердо решила умереть. Жить после всего, что случилось, быть так опозоренной, униженной, – нет, она не в состоянии после этого жить. Ирина не помнила, как добралась до дому, в мыслях было только одно, как можно скорее умереть. Она не спала всю ночь, а утром зашла мать, у Ирины был жар, она металась по постели и, может быть, почти в бреду, она рассказала все матери. Сказала ей о том, что больше не будет жить. Помнит, как плакала мать, как на коленях умоляла ее остаться жить ради нее и отца, клялась, что она никогда не расскажет об этом отцу. Ирина пожалела мать, а потом, как только она немного оправилась от пережитого, они уехали все вместе из Токио. Больше года Ирина по-настоящему не могла прийти в себя, окружающие боялись за ее рассудок. Но время, молодость помогли побороть отвращение к жизни. А потом Белов и, наконец, настоящее счастье.

Ирина верила в его бесконечность. Верила в свои силы, в любовь

Белова. Тогда, три недели тому назад, она впервые столкнулась с темной, пугающей изнанкой людей. Впервые в душу запало сомнение в прочности счастья на этой земле. Но она всеми силами гнала от себя эти думы, со страхом глядя на перемену, происшедшую в муже, мучаясь, не в состоянии найти ответа и объяснения, она почти силой заставляла верить в то, что это скоро пройдет, что у него какие-то личные переживания, что, может быть, она не должна бы была замечать происшедшей в нем перемены и, тем самым, углублять ее еще больше, а должна была быть по-прежнему ласковой, внимательной, любящей женой. Быть особенно чуткой, не надоедать своими расспросами. Раз он упорно молчит, значит, он имеет на это основания, нужно было терпеливо ждать, когда все опять станет по-прежнему. Ирина ни одной минуты не могла думать, что она в чем-нибудь может быть виноватой сама, и все же, несмотря на все старания, она не могла заглушить в себе голоса, властно кричавшего ей в душу, что их счастье на краю гибели, что не может человек, готовый молиться на нее, всегда готовый исполнить каждое ее желание, живущий только ей, вдруг, ни с того, ни с сего, совершенно переродиться, стать абсолютно чужим, грубым, резким, жестоким. Но она прекрасно видела, что его жестокость приносит страдания ему самому, что он мучается не менее ее. Что делать, как быть? Сломленная неожиданно упавшим на нее испытанием, с тоской думала Ирина, у кого спросить совета. Ведь она совершенно одна. После смерти матери и отъезда отца, у нее никого, кроме Белова, не было. Он заменил ей всех и все. И с ним, под его надежным крылом, она никогда не чувствовала себя одинокой. И вдруг, что-то страшное вошло в их жизнь, кто-то выхватил ее из-под опекавшего крыла, и Ирина осталась одна, совершенно одна. Похудевшая, осунувшаяся, она с ужасом ждала развязки, не понимая, не видя причины, она чувствовала неизбежность чего-то ужасного. Все, что угодно, могла предполагать Ирина, что Белов разлюбил ее, встретил другую женщину, которая похитила его сердце, он все еще продолжает бороться с новым, всепобеждающим чувством, умышленной грубостью и резкостью старается оттолкнуть от себя жену. Что, наконец, он просто заболел. Переутомление, неприятности или что-нибудь еще отразились на его психике, и он просто не в состоянии владеть собой, не в состоянии взять себя в руки. Все, что угодно, могла предполагать Ирина, но только не это. Он прочел позорную страницу ее жизни. Кто раскрыл ее перед ним? Да важно ли, в конце концов, кто и как. Важно то, что он знал. И она с мучительной ясностью поняла, что никогда в жизни стоящий перед ней человек, с крепко сжатыми в кулаки руками, пронизывающий ее взглядом, не будет больше ее любить, никогда не простит. Такие натуры, как Белов, отдают себя целиком, требуя в ответ то же самое. Они никогда в жизни не идут на компромисс со своей совестью, никогда не делают людям зла и никогда не прощают зла, причиненного им.

Ирина силилась что-то сказать и не могла. Мысли, с быстротой молнии пронизывали ее мозг, парализовали волю, способность к сопротивлению, защите себя и своего счастья. Молча, с ужасом, смотрела Ирина на ставшее совершенно чужым, не похожим на себя, лицо самого близкого, самого дорогого ей человека. Ее губы судорожно вздрагивали, тщетно стараясь открыться, что-то произнести. От этого все лицо Ирины кривилось какой-то неестественной судорогой, похожей на жалкую, виноватую улыбку.

В больном мозгу Белова уже все воспринималось не так, как следует. Гримасу боли на лице жены он по-настоящему принял за улыбку.

— Ах, ты еще можешь смеяться, ты еще в состоянии издеваться надо мной! – исступленно закричал он, бросаясь к Ирине.

Ярость тесным жгутом затянула его шею, сдавила, бросила в голову кровь. От шумящего потока крови потемнело в глазах, и Белов грузно повалился на пол перед кроватью.

От пронзительно крика Ирина проснулась Сестко-сан, стремглав вбежавшая в комнату в распахнувшемся кимоно, проснулись соседи, прибежали в сад и, заглядывая в окна, перебивая один другого, предлагали свои услуги, спрашивая, что случилось.

С помощью соседей и Сестко-сан Ирина положила тело Белова, с побагровевшим лицом, на широкую тахту, стоящую около стены. Долго и тщетно старалась привести Белова в чувство. Кто-то из соседей побежал за доктором. И когда ломающая руки, упав на колени перед телом мужа, Ирина с ужасом прислушивалась к хрипам, несущимся из его полуоткрытого рта, показывающего оскал зубов, – в комнату вошел доктор. Тщательно одетый, с маленьким чемоданчиком в руке, он моментально взял в руки пульс Белова, долго и внимательно выслушивал его сердце, а затем, достав из чемоданчика шприц, сделал Белову укол камфары. А потом, участливо глядя в лицо Ирины, он сказал, чтобы она не волновалась. Что нет ничего опасного, что этот припадок вызван сильным нервным потрясением, что сейчас больного не нужно беспокоить, он будет спать, а утром встанет совершенно здоровым.

Доктор ушел, а затем, один за другим, на цыпочках, вышли и все остальные. Около Ирины осталась бледная встревоженная Сестко-сан, но и ее Ирина отослала спать, сказав, что если что-нибудь будет нужно, она позовет ее.

Постепенно хрипы Белова перешли в порывистое шумное дыхание, а потом он стал дышать все тише, спокойнее.

Белов спал. Не спуская взгляда с его лица, Ирина продолжала сидеть около него. Лицо мужа уже не было таким красным, рот закрылся. Ирина облегченно вздохнула. Уже больше не было страха за его жизнь. Но сердце не переставало мучительно ныть. Боязнь потерять Белова на некоторое

время заглушила, отодвинула на задний план все остальное. Но вот теперь опять, все рельефнее и чудовищнее вставала картина грядущей неизбежности.

— Я должна умереть, – с тоской думала Ирина.

После того, что случилось, после того, как он узнал, – нельзя жить, так как больше никогда не будет счастья, никогда она больше не увидит ласки и любви в глазах Белова. Неужели он не сможет простить. Не сможет понять, что она не была так сильно виновата, что она ничего не соображала, что это может случиться с каждым, помимо его воли. Что ведь он знает о том, как она боролась, хотя, вдруг спохватилась Ирина, почему она думает, что он знает, может, перед ним все было представлено в ином виде. И если об этом начнет говорить она сама, разве он поверит ей. Никогда, никогда в жизни он больше не будет ей верить, никогда не поймет. У нее нет возможности защищаться, бороться за свое счастье.

Все ниже опускается голова Ирины. Затуманенными от слез глазами она смотрит на лицо Белова, от пелены на ее глазах лицо мужа кажется далеким-далеким, нереальным. Кажется, что постепенно оно растворяется, уходит куда-то. Кажется, еще немного и совсем исчезнет Белов и в неуютной холодной жизни останется только она одна – Ирина. Совсем, совсем одна.

***

Назавтра Белов вышел из квартиры только после обеда. Целое утро он лежал на тахте. Во всем его теле была страшная слабость, в голове пусто и бездумно. С каким-то ленивым любопытством он, молча, приглядывался к бесшумно скользящей по комнате, страшно за одну ночь похудевшей Ирине. Она часто подходила к нему, трогала его голову, тихо спрашивала, не хочет ли он чего-нибудь. Меняла компресс на его сердце. Он не протестовал, хотя уже не чувствовал никакой боли и был страшно спокоен. А потом, вдруг, неожиданно для самого себя, он также совершенно спокойно, попросил ее сесть и, не волнуясь, рассказать ему все.

Видел, как внезапно залилось краской, а затем моментально побелело лицо Ирины. Захваченная врасплох его словами, судорожно втянув в себя воздух, как бы задохнувшись, она растерянно остановилась около него. А потом, торопясь, рассказала ему все то, что он уже знал.

Белов слушал. И опять-таки странно картины, нарисованные словами Ирины, уже не будили в его сердце ни гнева, ни ненависти, но не было и любви. Все, абсолютно все, стало безразличным и ненужным. В мозгу начинало что-то постепенно вырисовываться. Сперва неясно, а потом все более и более рельефнее. Почти не слушая слов Ирины, Белов напряженно вглядывался в то, что выкристаллизовывалось в его мозгу. И, наконец, увидел и понял. Увидев, он прервал Ирину:

— Ты не сказала мне главного, его фамилию и где он служит.

Ирина ответила, его фамилия – Лесли Блексмит. Раньше он служил в «Бермингам Стил Воркс».

Услышав, Белов вдруг забеспокоился, начал подниматься. Ирина хотела удержать его. Но он ответил, что он совершенно здоров и что ему непременно нужно быть на службе, что он и так полдня провел дома, никого не предупредив.

Уходившего Белова Ирина вышла провожать на крыльцо. Нерешительно, робко смотрели ее глаза. Печальный взгляд Ирины на секунду вывел его из оцепенения, где-то в глубине души дрогнули какие-то струны, их слабое дрожание сказало Белову, что он все еще любит Ирину, но любовь задавлена внезапно свалившейся на нее тяжестью новых больных чувств, и только тогда она будет прежней, когда он сможет сбросить эти тяжести, совершенно очистить свою душу. А для этого он должен сделать то, что сейчас целиком заполнило мозг.

Есть только один выход, иначе навсегда погибнет в его сердце любовь, захватанная чужими грязными руками.

Белов притянул к себе Ирину, поцеловал ее в лоб и сказал:

— Ничего, все будет хорошо, крепись.

Но когда он спускался с крыльца, он ясно и определенно понял, что никогда и ничего не будет хорошо, что он напрасно лжет. Что, чтобы ни случилось и чтобы он сейчас ни сделал, всегда, как только он будет видеть и чувствовать тело Ирины, перед ним будет вставать образ того, другого.

Выйдя на улицу, он взял такси и поехал в магазин старинных вещей. Приказчик, одетый в европейское, с высоким крахмальным воротничком, подпиравшим его короткую шею, услужливо разложил на прилавке перед Беловым целый ассортимент старинных кинжалов. Белов сосредоточено осматривал их, перебирал, вынимая из ножен, пробовал пальцем острие. И все время ловил себя на мысли, что все это совершенно лишнее, что не играет абсолютно никакой роли, каким именно будет убивать, и все же продолжал выбор. В конце концов, он остановился на коротком, в деревянных ножнах, совершенно прямом, с незаметно сливающейся с ножнами ручкой. Издали кинжал можно было принять за изукрашенный резьбой плоский кусок дерева. Раньше их носили в рукавах кимоно.

Вытащив стальной клинок, жирно смазанный салом, Белов долго смотрел на него. Затем, не торгуясь, заплатил и, взяв положенную в картонную коробку покупку, он попросил дать ему английский путеводитель по городу. Найдя нужный ему адрес, он вышел из магазина и, сказав его шоферу, поехал в «Берминам Стил Воркс».

В машине он развязал покупку, бросил на пол коробку, а кинжал заткнул за пояс и застегнул на все пуговицы пиджак.

Подъехав к высокому серому зданию, он попросил шофера

подождать, по привычке бросив взгляд на счетчик. Счетчик показывал одну иену, восемь сен. В вестибюле здания, найдя на доске нужную ему фирму, он вошел в автоматический лифт и поднялся на третий этаж. Перед дверью с матовым большим стеклом, на котором черными жирными буквами было написано «Бермингам Стил Воркс», он на секунду задержался, а затем, потрогав через пиджак, на месте ли оружие, быстро раскрыл двери в контору и вошел. Белобрысый маленький англичанин, на вопрос Белова, может ли он видеть мистера Лесли Блексмита, ответил, что мистера Блексмита нет.

— Что, он еще не пришел? – спросил Белов.

Но клерк вежливо пояснил, что мистера Блексмита нет вообще в Японии, что он действительно только недавно вернулся из Европы, но через неделю после возвращения он попал в автомобильную катастрофу, которая, как видимо, повлияла на его нервную систему, и врачи посоветовали ему немедленно вернуться на родину.

Ошеломленный услышанным, Белов не хотел и не мог поверить.

— Не может быть, я знаю, что он здесь, – продолжал он настаивать. – О какой это автомобильной катастрофе вы говорите, о ней ничего не было в газетах?

Но англичанин перебил его:

— Уверяю вас, – сказал он, – мистер Блексмит действительно уехал, а катастрофа произошла где-то между Осака и Кобэ, о ней я знаю точно, так как я сам видел забинтованное лицо мистера Блексмита, когда он приходил с нами прощаться.

Не произнеся ни одного слова, Белов вышел из конторы. Спустился вниз и, только сев в машину, он сообразил, что произошло самое ужасное и самое непоправимое.

Шофер несколько раз оборачивался в сторону молча сидевшего пассажира, не отдающего никакого приказания. Природная вежливость мешала ему напомнить чем-нибудь о своем присутствии. Почувствовав, что молчание может продолжаться долго и, не желая пользоваться странным состоянием пассажира, он закрыл мерно постукивающий счетчик.

В конце концов, Белов пришел в себя.

— Поезжайте, – произнес он и запнулся. Он не знал, куда ехать. В контору он не мог, домой тоже. Сказал первое пришедшее в голову название: Кобэ-Тоуер.

Машина быстро понеслась, лавируя между трамваями, на всех парах несущимися мотоциклетами, с доверху нагруженными товарами прицепными платформочками. Через десять минут быстрого хода, она нырнула в темный провал тоннеля и, выскочив из него, как вкопанная остановилась у подножия холма, на котором возвышалась Кобэ-Тоуер.

Белов вышел из автомобиля, заплатил и стал медленно подниматься на холм.

— Для чего я приехал сюда, – старался понять Белов, – а впрочем, не все ли равно куда. Теперь все окончательно безразлично.

У маленького окошечка кассы он купил билет на право входа в башню.

Поскрипывающий лифт долго понимался его наверх. Маленькая лифтгерл, в кимоно с большими желтыми цветами и ярко красным с золотым шитьем оби, спросила, хочет ли он остановиться на предпоследнем ярусе или на самом верхнем.

— Нет, – ответил Белов, – поезжайте до конца.

Неширокий балкон, кольцом охватывал верхушку башни.

Выйдя из темного колодца, по которому скользил лифт, Белов зажмурился от слепящей голубизны неба. На балкончике никого не было. Белов сказал лифтгерл, что его не нужно ждать, что он потом позвонит. Облокотился на перила и стал смотреть вниз.

Совсем маленькими, игрушечными казались суетящиеся там, у подножия холма люди, бегущие автомобили, трамваи. Как на ладони, если смотреть вдаль, раскинулось все Кобэ. Направо голубело море, а налево, поднимались ввысь сопки с как бы вскарабкивающимися на них домиками. Черной лентой перевязала город наземная железная дорога с часто пробегающими по ней в разные стороны поездами.

Белов с грустью смотрел на город, который он полюбил, как свой родной, где он был счастлив, где все улыбалось ему, где счастье его должно было быть бесконечным.

— Неужели ничего нельзя вернуть, неужели нельзя направить на прежние рельсы их общую жизнь, – мучительно думал Белов.

И вдруг, с безжалостной отчетливостью встала картина, как он ударил по лицу Ирину, струйка крови, сбегавшая по ее подбородку из разбитых ударом губ.

А затем – сцены ночных оргий, когда он со злорадным цинизмом издевался над телом Ирины так, как он никогда не позволил бы себе что-либо подобное по отношению к самой последней проститутке.

Лицо англичанина с волнистыми темными волосами с проседью, который тоже «знал».

И Белов окончательно понял, что счастья не будет. Не будет ничего вообще. Что оно умерло почти месяц назад в вагоне надземной железной дороги, по которой случаю угодно было заставить поехать Белова, всегда до этого пользовавшегося только электрическим трамваем.

Как-то особенно внимательно глядя вниз, на мелкими букашками ползающих людей, как будто стараясь отвлечь от чего-то другого, Белов расстегнул пиджак.

Внезапно похолодевшими, с трудом согнувшимися пальцами крепко зажал деревянную с тонкой резьбой ручку кинжала, быстрым коротким движением вырвал из ножен блеснувшее на солнце стальное, жирно смазанное салом лезвие, и со всей силой ударил им себя в живот.

Впервые опубликовано: Ненцинский А. Сильнее любви: Рассказы. Тяньцзинь, 1938.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: в 10 т. Пекин, 2005. Т. 10. С. 3–30.

ПОСЛЕДНИЕ ПОЛЧАСА

Генерал Воронов был занят весь день, а день начался очень рано. Сразу после семи утра, когда его подняли с постели спешным вызовом в Реввоенсовет. Бесконечные аресты и расстрелы командного состава Красной Армии заставляли и Реввоенсовет, и РКК работать днем и ночью. Шла беспрестанная переброска лиц с одного места на другое. Всюду были бреши, которые нужно было затыкать. Но не было достаточно подготовленных кадров, а главное, не было уверенности, что сегодня назначенные – завтра не будут уже обвинены в каком-нибудь очередном уклоне и не будут сняты, арестованы, сосланы, просто расстреляны.

Генерал был целый день на совещаниях, назначал, отстранял, без конца сносился по телефону, даже не смог поехать домой обедать.

А в восемь часов вечера он узнал, что накануне были расстреляны Чернов и Рукавишников. Собрав все присутствие духа, стараясь ничем не выдать волнение, он полуудивленно сказал:

– Вот не ожидал. Казалось, что вернее их нет товарищей.

Начдив, сообщивший новость, процедил сквозь седые усы:

– В старое время, батенька мой, была хорошая привычка, когда кажется – креститься.

Начдива вызвали по телефону, и он вышел из кабинета, задумчиво ероша жесткую, несколько дней не бритую щетину. Воронов остался один. В мозгу настойчиво выстукивало – товарищей уже нет. Погибли. Теперь очередь за мной. Но есть ли за что зацепиться.

Встав из-за стола, нервно потянувшись, он начал шагать по диагонали по комнате. На его переносицу легла вертикальная глубокая линия – признак того, что генерал сосредоточенно думал. Серые холодные глаза прищурились, перед ними разворачивался длинный клубок доказательств его алиби.

Документов никаких. Переписки тоже не было. Только однажды Чернов, заехав к нему, оставил записку, которую ему передала жена. В записке было всего несколько слов – «Там же, где всегда, только не в восемь, а в девять, Ч.»

Воронов сейчас же порвал белый клочок на мелкие куски, а на вопрос жены – в чем дело, ответил, что его вызывают в Штаб Дивизии. Больше не было ничего.

С обоими расстрелянными он встречался только в официальных местах и всегда в присутствии посторонних. А о других встречах никто не мог знать. Двадцать лет революции научили дьявольской конспирации. Мелькнула мысль – а вдруг перед расстрелом сумели выпытать, но сразу же, как живые, вставали лица тех – нет, таких нельзя заставить говорить. Они не Зиновьевы. Да, кроме того, если бы их сумели заставить, то так просто не вывели бы в расход. А сперва – публичное покаяние, предательство правых и виноватых, а потом уже стенка.

Было жаль товарищей не только как людей, но и как немногих, способных на действительно что-то серьезное. Почти все было подготовлено. Осталось совсем немногое. Над Михельсом, Ежевым и даже над «самим» уже была занесена разящая рука, которую, казалось, ничто не могло уже остановить. Как вдруг чья-то шулерская рука ловко передернула карты.

Воронов на секунду задержался около письменного стола. Затемненная сверху синим абажуром лампа бросала столб света на разбросанные по столу циркуляры, приказы, рапорты. Взглянув на них, Воронов почувствовал дикую ненависть к этим бумагам, которые мертвой чернотой букв были сильнее любого из них. Достаточно одной только строчки, равнодушно отстуканной на каком-нибудь исковерканном старом Ремингтоне – и нет Чернова, Рукавишникова, а завтра может и не быть его, генерала Воронова который только накануне сам отдавал приказы. Хотелось сгрести в кучу эти бумаги, сбросить на пол. Топтать ногами. Зазвонил телефон. Вызывали Начдива. Повесив трубку, Воронов посмотрел на часы. Было больше десяти, решил ехать домой.

Шофер долго отогревал застывший мотор.

Глубоко надвинув на лоб «богатырку», морщась от сильного ветра, бросающего на встречу быстроидущей машине пригоршни колючего снега, зажмурив глаза, Воронов посматривал картины, заснятые при его непосредственном участии в течение последних двадцати лет. Не задерживаясь, мелькали кадры. Завод, революция, опьянение, угар, дикая жестокая бойня. А затем учеба. Упорная, с надсадой. Хотелось все узнать, всему научиться. Учась, не замечал, что творилось вокруг. И только после того, как закончил Академию, он вдруг как бы прозрел. Все казалось не тем, к чему стремились. И не ради этого шел он, Воронов, и убивал своих же русских людей. Чувствовалось, что кто-то жестоко обманул, предал. Что все нужно менять. Но как, этого он не знал. Но задумываться над тем, что и как делать, было некогда, на гимнастерке появился золотой ромб.

Воронов, по его собственному выражению, здорово залюбил военное

дело, и отдавшись ему всей душой, решил в политику не вмешиваться, стараясь не замечать того, что особенно было немило. Частые командировки, смена впечатлений, новые лица и новые места помогали.

В 35-м, когда он был отозван в Москву и окончательно прикреплен к РКК, на одно из концертов познакомился с молодой, подающей большие надежды балериной Зырянцевой. Он увлекся балериной и как-то удивительно скоро, он даже сам этого не ожидал, получил от нее согласие стать его женой.

Балерина была стройной, сухощавой брюнеткой с почти синими глазами. Через два месяца законного сожительства, она вдруг бросила сцену, которую, несомненно, любила, генерал был очень удивлен. Но жена объяснила свой уход разочарованием и еще тем, что нет в себе сил стать звездой первой величины, а довольствоваться вторыми ролями или ехать в провинцию она не хочет.

Почти целыми днями жена сидела дома, много читала, всегда была очень серьезной, замкнутой, как бы ушедшей в себя. Воронов знал, что она не особенно его любит, зная, что он не был первым, но жена никогда не давала ему повода опасаться за целость семейного очага, ничего не требовала, ничем не бывала недовольна. И ему, занятому с самого утра до позднего вечера, не приходилось желать лучшей подруги. Генерал все больше и больше привязывался к жене, только иногда ловил себя на грустной мысли, что в их жизни не хватает самого главного – задушевности. Часто, утомленный работой, возвращаясь домой, он хотел поделиться с женой тем, что было у него на душе, – просто, по-приятельски поговорить. Но всегда холодный взгляд синих глаз останавливал. Каждый жил своей жизнью, отгородившись один от другого высоким забором. Но жена все-таки знала, чем интересуется и чем живет Воронов, он не имел ни малейшего представления о том, что заполняет жизнь живущей рядом с ним женщины. Ни родных, ни знакомых у Зырянцевой не было. Даже о ее прошлой жизни он ничего не знал, жена не любила расспросов. Как-то однажды, он сказала, что она круглая сирота и что у нее вообще не было юности.

Вот и сейчас, подъезжая к дому, Воронов подумал, как он одинок. Даже не с кем поделиться тем, что его заботило. Погибли приятели. Где-то совсем рядом притаилась смертельная опасность, угрожающая ему.

Трехлетнее, безвыездное пребывание в Москве окончательно открыло глаза Воронову на творящийся вокруг произвол.

Страны не было, не было государства, не было ничего. Была огромная вотчина начинавшего, а может быть уже сошедшего с ума, деспота, залившего страну потоками крови. Лакеи и палачи творили расправу над своими же вчерашними друзьями по одному мановению страшного властелина. И сегодняшний палач никогда не был уверен, что

завтра он сам же не будет валяться где-нибудь в подвале с простреленным черепом. Закованная в цепи, захлебывающаяся в крови, сгнивающая в лагерях страна замерла. Ужас, смертельный страх за свою жизнь парализовал волю. Не было сильных, смелых людей. Каждый из 170-ти миллионного населения с предсмертной тоской ждал чуда, избавления, которое должно прийти, которое не может не прийти, ибо всему в этой жизни есть предел.

Больше года, как Воронов ушел в конспирацию. Но что-то в корне всех организаций было неправильно. Десятками, сотнями стальные клещи вырвали из недр конспирации очередные жертвы и бросали под ноги тирану.

Агонизируя, Россия ждала Наполеона. Его не было.

Каждый с трепетом смотрел на Восток и на Запад – может быть, спасительный смерч налетит оттуда.

***

Подъехав к дому, отряхивая в подъезде с шинели снег, Воронов заметил несколько темных фигур, прижавшихся к подворотне на противоположной стороне улицы. Беспризорники – подумал он. Перескакивая через две ступени, быстро вбежал на третий этаж. Не успел притронуться к пуговке звонка, как жена открыла дверь. В столовой был приготовлен ужин, жена его ждала. Лицо ее было какое-то особенно грустное, под синими глазами черные полосы.

– Тебе что, Катюша, нездоровится?

– Нет, ничего, немного знобит, – кутаясь в шаль, ответила жена.

– Ты почему ничего не ешь, напрасно ждала меня. Сейчас почти одиннадцать, – сказал Воронов, когда они уже сидели за столом.

– Мне не хочется.

Разговор не клеился, молча пили чай.

– Ты чем-нибудь расстроен? – вдруг спросила Катюша.

– Нет, ничего, – оторвавшись от своих дум, ответил Воронов. – Просто я устал.

Поднявшись из-за стола, он подошел к радио и повернул выключатель. Комната сразу наполнилась крикливым неприятным голосом: «Наш дорогой любимый вождь товарищ Ста…» Воронов в сердцах щелкнул выключатель. Захлебнувшись, голос замолк. Чтобы как-нибудь оправдать резкое движение, сказал:

– Здорово устал, не хочу ничего слушать, пошли лучше спать.

В кровати почувствовал, как от мелкого озноба сотрясается тело жены, хотел встать, чтобы разыскать аспирин, но Катюша не пустила.

– Ничего, скоро пройдет. Ляг поближе, обними меня, я быстро согреюсь.

Прижав к своему сильно большому телу жену, он почувствовал, как постепенно затихает дрожь.

Где-то в глубине сердца Воронова была большая нежность к доверчиво прижавшейся к нему женщине, которая днем всегда казалась немного чужой. Освободив одну руку, он стал осторожно гладить ее по голове. В темноте его губы потянулись к ее рту. Губы были почти сухие. Обожгли. По телу пробежала теплая волна. Катюша редко баловала его инициативой со своей стороны. Сегодня она была особенно жадной. Удивленный и довольный Воронов думал – что с ней случилось, но спросить боялся. Утомленный, засыпая, он крепко прижал к себе стройное и горячее тело жены.

***

Генерал проснулся от яркого света, больно ударившего в глаза. Перед кроватью, одетая в платье, стояла жена. Между неплотно задвинутых на окнах штор, проглядывали синие полосы ночи. Жена пристально смотрела на Воронова, в ее глазах он прочел совсем новое выражение, не то жалость, не то боль.

– Что случилось? Который час? – спросил он.

– Сейчас половина четвертого, ты должен встать, – в ее голосе, как и в глазах, было тоже что-то чужое. Она отошла от кровати. Глядя куда-то поверх его головы, тихо произнесла:

– Ты должен приготовиться, в четыре за тобой придут.

– Кто? – порывисто сев на постель, спросил Воронов.

– Они.

Спрыгнув на пол, схватив ее за руки, он почти крикнул:

– Откуда ты знаешь, говори.

Лицо жены сморщилось от боли, его руки почти раздавили ее хрупкие ладони.

– Я служу у них. Я – сексот. Я предала тебя. Одевайся. Сперва я все расскажу тебе, а потом ты можешь делать со мной все что хочешь, – руки жены показались скользкими и противными, как змеи. Он с отвращением отбросил их от себя. В голове стало как-то странно пусто. Как будто кто-то внезапно вынул оттуда весь мозг и заполнил только одним настойчиво звенящим: «Я предала тебя, и я сексот». Воронов почти машинально, быстро оделся, старательно застегнул на гимнастерке все пуговица, надел портупею и кобуру с наганом. Грузно сел на жалобно заскрипевший стул. По всему его телу пробегали холодные мурашки. С трудом выдавил:

– Ну… только не подходи ко мне близко.

И она заговорила, судорожно сжав руки. Стройная, худощавая, похожая на монашенку в черном строгом платье. Стоя посредине комнаты, боясь сделать хотя бы один шаг в его сторону. Боясь не смерти, не

расправы, а того, что она не успеет сказать ему все. Черные борозды под глазами сделались еще глубже. Побледневшие щеки часто кривит нервная судорога, как бы застыв на месте, слушает ее генерал.

– У нас есть полчаса. Всего полчаса. Собери свои силы и постарайся выслушать меня. Дай мне за всю жизнь сказать всю правду. Ты от меня ее никогда не слышал. Я всегда лгала тебе. Я всегда притворялась. Только в одном я не сумела достаточно хорошо сыграть свою роль. Я не сумела показать тебе, что я тебя люблю. Ты это знал. Это не я захотела стать твоей женой. Мне приказали. Это они связали наши жизни. Я лгала тебе, говоря, что я сирота. Все, все неправда. У меня есть брат, есть отец, который дороже мне всего на свете. Только за то, что мой отец когда-то был чиновником, только за то, что он имел неосторожность быть дворянином – ему никогда не давали покоя. Десятки раз он бывал на волосок от смерти, десятки раз его арестовывали, держали в подвалах, мучили, а затем выпускали, чтобы через некоторое время взять опять. Я сказала тебе, что у меня не было юности, и на этот раз я не лгала. Я родилась за два года до революции. И сколько я себя помню – я не видела ни одного светлого дня. Как только я стала соображать, мой детский мозг всегда был заполнен только одним вечным страхом за отца, мать, а потом за брата. Мать не выдержала и умерла, когда мне было только одиннадцать лет. Часто по несколько месяцев, а иногда и по году, мы с братом оставались совершенно одни. Отец где-то сидел, куда-то ссылался, а мы, дети, должны были сами заботиться о себе. О, как часто, по-детски наивно я спрашивала окружающих, за что мучают моего папу, почему не дают ему жить с нами. Что сделал он плохого этим страшным людям в кожаных куртках, которые приходят к нам в комнату, разбрасывают все наши вещи и, грубо толкая, уводят отца. С годами я поняла, что сделал отец. Он совершил страшную ошибку, он не имел права пережить революцию. Он должен был давно умереть. А он, странный, не мог этого понять. Он хотел жить. Жить, может быть, только ради нас, детей. Вот сейчас я совершенно не могу понять, как мы все-таки существовали, как мы ухитрялись даже учиться. У меня с братом выработался какой-то звериный подход к жизни. Мы твердо знали, что нам никто и никогда ничего не даст, и мы, крепко сжав зубы, сами отвоевывали для себя право на корку хлеба. Если нас, как детей лишенца, социально-чуждого элемента, гнали из одной школы, мы хитростью, обманом, пробирались в другую, пока нас не выгоняли оттуда. И так без конца. Мы ловчились, лгали, унижались и с нетерпением ждали очередного возвращения отца. Каждый раз он возвращался к нам все больше и больше постаревшим, измученным и от этого делался нам еще дороже и еще более усиливался мучительный страх потерять его опять. А последний раз, это было пять лет тому назад, взяли не только его, но и брата. Я никогда не забуду ужаса, охватившего меня, когда я поняла, что

осталась совсем одна. Я ползала на коленях, я охватывала руками сапоги людей, уводивших от меня отца и брата. Я билась головой об пол, кричала диким, не своим голосом: «Не уводите, они не сделали ничего плохого». А потом, целыми днями, я просиживала в приемных различных Лубянок и Бутырок, без конца обивала пороги кабинетов. Просила и плакала. Плакала и просила. Меня выгоняли. Я приходила снова и снова. Однажды я почти силой пробралась в кабинет к самому Шпигелю. Ты прекрасно знаешь этого страшного, обрюзгшего, стоящего по горло в человеческой крови латыша. Вначале он хотел меня выгнать, а потом почему-то разрешил остаться, и даже предложил сесть. Выслушав меня, спросил, сколько мне лет и сказал, чтобы я пришла на следующий день. Я была у него несколько раз. Он все обещал, а однажды заявил мне, что отца и брата должны расстрелять, но что в его силах заменить расстрел Соловками, при условии, что я стану: во-первых, его любовницей, а во-вторых – секретной сотрудницей ГПУ

Голос Катюши дрогнул. Как будто стараясь спрятаться от чего-то неотвратимо страшного, она на секунду закрыла лицо руками. Потом руки бессильно упали вдоль ее тела.

– У меня не было выбора. Жертва. Да, но то, что я отдала себя, не было такой страшной жертвой. Да, в первый момент это был ничем не передаваемый ужас, когда его потные и мясистые руки срывали с меня старенькое заштопанные платье, а потом жадно бегали по моему телу, сжимали мне грудь, делали больно, цинично прикасались к самым сокровенным местам. Дикая, нечеловеческая боль от звериного напора. Полураздавленная, я задыхалась под тяжестью громадного тела, а он все продолжал меня мучить, обслюнявливая своими губами мое залитое слезами лицо. А потом гадливость и навсегда, на всю жизнь, сознание своей загрязненности. Но все-таки самое ужасное было потом. Клятва, которую я дала. Я поклялась до гроба всеми своими мыслями, действиями, поступками, принадлежать только им. На этом свете у меня не должно было быть ничего, кроме долга перед ними. Вечными задолжниками моей клятвы, моей рабской преданности им – те двое. Их они пощадили. Я купила их право на жизнь. Каждые две недели мне передают письма. Письма «оттуда». Почти с того света. И всегда это ответ на мое последнее. Это гарантия того что они живы. Что я обязана хорошо служить. Один неправильный шаг, одна оплошность по отношению к хозяину и за это заплатят те двое. И смерть будет казаться блаженством, по сравнению с теми муками, которые им придется испытать. Ради них я продолжаю жить, ради них я совершаю подлость за подлостью. Они ничего не знают. Мое загрязненное тело ничто по сравнению с моей душой. О, если бы ты смог хотя бы на секунду заглянуть в нее. Шпигель приказал мне идти в балетную школу. Артистке легче всего проникнуть туда, куда не сможет

попасть простая советская служащая. Шпигель же приказал мне понравиться тебе, а потом выйти за тебя замуж. Около каждого, занимающего ответственный пост, должен быть свой человек. Что может быть лучше жена-шпионка. Я не любила тебя. Больше – я так же тебя ненавидела, как всех, имеющих какую-то власть. Вы все, без исключения, прямые или косвенные поработители русского народа. На остриях штыков вашей армии зиждется благополучие тиранов. И когда вас всех пачками начали выводить в расход – я торжествовала. Подходили сроки, бил час возмездия. Год назад мне было приказано удвоить бдительность. Ни одно слово, сказанное тобой, чье-либо посещение, телефонный звонок, письмо, записка – не должны были быть оставлены без внимания. Больше года ты был на строжайшем учете. Два раза в неделю я приходила к Шпигелю с докладом, иногда после доклада он милостиво вел меня на диван. Я все переносила. Я давно перестала быть человеком. Записка от Чернова, прежде чем попасть к тебе в руки, была сфотографирована ГПУ, а потом уже была передана мной тебе. Я знала, что это твой смертный приговор, поданный на подпись моей собственной рукой. Неужели не дрожала моя рука? За годы нашей с тобой жизни я переменила к тебе отношение, может быть даже по-своему полюбила тебя. И все же я должна была предать, иначе я не могла поступить. Ты не можешь себе представить сознание того, что за каждым твоим шагом идет беспрестанная слежка. Ты никогда не бываешь уверен, что тебя не спровоцируют. Телефонный звонок, присланная кем-то записка, о которых ты немедленно должна донести, могут оказаться гнусным трюком твоего хозяина, испытывающего твою верность. Сегодня я могу сознаться, и я не ищу сострадания. Я обо всем передумала, я твердо решила – это моя последняя работа. Я не в силах продолжить низкую игру, я больше не буду жить. Я поняла всю бесцельность того, что я делала. Все равно я не спасу брата и отца. Рано или поздно я поскользнусь на этом залитом кровью пути, и их конец один. А у меня нет больше сил держаться. Пойми, я больше не в силах жить. Я долго старалась уверить себя, что скоро все кончится, что откуда-то придет избавление, но больше не могу ни верить, ни ждать. Я много прочла книг, я многое узнала о том, как было раньше. Я знаю, что, несмотря на то, что в России никогда не было такого произвола, несмотря на то, что раньше каждый мог жить своей личной жизнью, делать то, что он хотел, несмотря на то, что никогда над людьми не висело страшного бича, не позволяющего им даже думать, – все же были недовольные. И эти недовольные шли и убивали. Но страной правили странные люди. Тогда как теперь, даже за несказанное слово, выводят в расход сотни и тысячи, раньше даже за убийство их министров редко казнили. Но среди недовольных были такие, которые все же шли на верную смерть, бросая бомбы, многие из них знали, что эти бомбы разорвут и их самих, и все же

бросали. Надевали мелинитовые жилеты, шли и взрывали сами себя только для того, чтоб от этого взрыва погиб и неугодный им человек. Где же среди вас такие люди? Вы, любящие говорить, что революция закалила вас, сделал из вас бесстрашных борцов, вы трусливо подставляете под топор свои шеи жалкой кучке палачей. Разве вы не видите, как в корчах и муках гибнет ваша страна. Почему вы, обвешанные с ног до головы оружием, бывая в обществе изверга, цепко хватившего Россию за горло, почему вы создаете какие-то детские заговоры, позволяете расстреливать себя за какие-то нелепые уклоны. Почему не найдется среди вас ни одного, который, пожертвовав самим собой, просто не убьет «несравненного, любимого вождя Сталина». Ведь одно сознание, что, разрядив свой наган в голову грузина, он переворачивает страницу в истории России, должно быть дороже жизни, дороже всего на свете. Но до сих пор среди вас не нашлось ни одного, и я знаю – не найдется. О, как я презираю вас всех, таких больших и сильных и таких жалких и никчемных людей.

Все бледнее и бледнее становилось лицо Катюши, голос ее то срывался, доходя до шепота, то становился громким, звенящим в притаившейся тишине комнаты.

Воронов не спускал широко раскрытых, полных ужаса глаз со стоящей перед ним женщины. Хрупкая, почти ребенок, она росла, заполняла всю комнату. Казалось, Катюша – сама Россия, изможденная, измученная, но великая в своем горе и страдании, пришла сюда, для того, чтобы обличить его, Воронова, в том зле, которое он причинил ей. А она все говорили и говорила.

– Да, я самая низкая из низких. Я самая подлая из подлых. Но я не одна. Нас десятки тысяч, если не миллионов, разбросанных по всей стране. Мы задыхаемся, захлебываемся от собственных слез, пролитых наедине, когда мы начинаем думать о тех ужасах, которые мы сотворили. Но кто нас заставил пойти по этому пути? Кто? Вы, только вы. Пойми, я любила тебя. Теперь мне не стыдно сознаться. Да я уже любила тебя. Но я никогда не показывала тебе этого, так как я определенно знала, что рано или поздно ты погибнешь от моей собственной руки. Вчера расстреляли Чернова и Рукавишникова. Вернее просто пристрелили, когда при аресте они оказали сопротивление. Тебя решили взять живым. Мне приказали оставить дверь в прихожую открытой. Ровно в четыре они придут. Будет сам Шпигель. Они должны взять тебя сонного. Они знают твою силу, знают, что без борьбы ты не дашься, а им ты нужен живой, им нужен язык, нужен человек, который стал бы каяться, бичевать себя, топить других. И я решила – сегодня мой день. Ты должен дорого продать себя, я помогу тебе, а потом мы оба умрем. Слышишь? Мы очень дорого должны продать наши жизни. Слышишь?

Как будто что-то надломилось в Катюше. Подогнулись ноги. Сделав

шаг, она стала падать. Воронов успел подхватить падающее тело жены, крепко прижал к себе.

– Не надо, не надо, – тихо шептали губы Воронова, – крепись, ведь ты сильнее меня. Не надо, моя родная, потерпи немного. Прости меня, прости за все. Да, ты права, мы виноваты во всем. Только мы.

Он бережно посадил Катюшу в кресло. Налил в стакан воды, дал ей выпить. Слышал, как зубы жены выстукивали по краю стакана мелкую дробь. Посмотрел на часы – было без семи четыре. Подошел к столу, достал из нижнего ящика большой кольт и запасную обойму. Подойдя к жене, сказал:

– Ты будешь стрелять из него. Хорошо. Из него легче. – Пристально посмотрел ей в глаза, увидел, как в синей глубине зажглись огоньки, понял – рука у Катюши не дрогнет. Взял ее за плечи:

– Катюша, сейчас я счастлив, как никогда в жизни. Счастлив от сознания, что ты любишь меня, что я не одинок. Я давно уже прислушивался к шагам бродящей вокруг меня, что я не одинок. Умирать не было страшно, страшно было сознание, что никому не был нужен, что никто не прольет по тебе ни одной слезы.

Привстав, Катюша обняла Воронова за шею, прижалась щекой к его лицу.

– И я счастлива. Кончился весь ужас. Больше не будет страданий, унижений, бессильной злобы. Счастлива от сознания, что вместе с нами погибнет тот, кто надругался над моей душой… Подожди, слышишь… Мотор…

Воронов потушил свет. Вместе с женой подошел к окну, отдернул шторы. Оба прижались лицами к холодному стеклу. Внизу, из-за угла, глухо стуча моторами, вынырнули одна за другой три машины, остановились на противоположной стороне. Из каждой вышло по шесть человек. Воронов вспомнил – а он-то думал, что беспризорные. Один из приехавших, высокий и грузный, что-то говорил окружившим, затем махнул рукой и пошел через дорогу. Десять человек двинулось за ним.

– Ну, пора, – почему-то шепотом сказал Воронов, – поцелуй меня и пойдем. Да, не забудь – последний патрон себе. Если я буду ранен, ты должна пристрелить меня. То же самое сделаю и я, если будешь ранена ты.

В передней, настежь открыв дверь на площадку лестницы, они замерли, прислушиваясь к шуму, доносящемуся снизу. Те, молча, поднимались наверх. Казалось что громадная подкованная сороконожка, тяжело сопя, поднималась по лестнице. На площадке второго этажа поднимавшиеся остановились, начали вполголоса переговариваться. До Воронова и Катюши ясно донеслись слова, произнесенные с сильным иностранным акцентом:

– Главное, товарищи, быстрота. Приготовить веревки и немедленно

набросить на руки и на ноги. Он здоровый, как бык, а если ноги будут связаны, он превратиться в младенца. Имейте в виду, стрелять в крайнем случае. Ну, пошли.

Притаившись в темном провале передней, Воронов и Катюша не спускают глаз с широкой площадки, слабо освещенной десятисвечевой лампой. В их вытянутых руках крепко зажаты револьверы. Где-то совсем близко раздался прежний голос:

– Что за черт, дверь открыта, но там темно. – Говоривший вышел на площадку. Грузный, обрюзгший, с обвисшими щеками на гладко выбритом лице. Тяжело отдуваясь, он остановился шагах в десяти от открытой в квартиру Воронова двери. За ним столпились остальные. Все в коротких кожаных куртках с меховыми воротниками. У каждого в руке кольт. У троих длинные, толстые жгуты веревок.

– Что делать? – шепотом спросил один из них. – Придется освещать фонарем.

– Зачем, – вдруг прогремел голос Воронова. – Я посвечу вам сам, – и в тот же момент из темного провала передней, один за другим засверкали молнии выстрелов.

Охнув, выронив револьвер, схватившись за живот, тяжело упал на пол Шпигель. За ним еще трое. Беспорядочно отстреливаясь, остальные бросились вниз по лестнице. Выхватив из рук Катюши кольт, с треском вставив в него новую обойму, Воронов выскочил на площадку и, перегнувшись через перила, выпустил в пролет еще пять пуль, в ответ на которые несколько голосов слилось в диком крике боли. А затем он вернулся к Катюше, стоявшей у порога, не спускавшей оцепеневшего взгляда с бесформенной груды тел. Обнял ее за плечи, ввел в квартиру, запер на ключ дверь. Внизу глухо шумели голоса. Шум все нарастал. За закрытой дверью генерала Воронова, один за другим, резко стукнули два выстрела.

На часах-браслете, на мертвой желтой руке Шпигеля, было пять минут пятого.

Впервые опубликовано: Ненцинский А. Сильнее любви: Рассказы. Тяньцзинь, 1938.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: в 10 т. Пекин, 2005. Т. 10. С. 31–44

Арсений Иванович
НЕСМЕЛОВ
(1889-1945)

Поэт и прозаик Арсений Несмелов (настоящая фамилия Митропольский) родился 8 июня (ст.ст.) 1889 г. в Москве в семье статского советника и литератора И. Митропольского. Учился в кадетском корпусе. Участник первой мировой и гражданской войн. Весной 1920 г. попал во Владивосток. Печатался в газетах «Голос Родины», «Владиво-Ниппо». В 1924 г. перешел советско-китайскую границу и поселился в Харбине. Сотрудничал с периодическими изданиями «Рубеж», «Рупор» и др., в том числе печатался под псевдонимами (Н. Арсеньев, Анастигмат, Тетя Розга, Н. Рахманов, Мпольский, Гри, Н. Дозоров). Печатался в журналах Европы и США: «Современные записки» (Париж), «Русские записки» (Париж–Шанхай), «Вольная Сибирь» (Прага), «Воля России» (Прага), «Москва» (Чикаго), «Земля Колумба» (Сан-Франциско) и др. Автор книг: «Военные странички» (1915), «Стихи» (1921), «Уступы» (1924), «Кровавый отблеск» (1929), «Без России» (1931), «Рассказы о войне» (1936), «Полустанок» (1938), «Белая флотилия» (1942) и др. В августе 1945 г. был арестован и отправлен в СССР. Умер в пересыльной тюрьме близ Гродеково от кровоизлияния в мозг.

Ист. и лит.:
Агеносов В.В. «Прошедший все ступени»: Арсений Несмелов // Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918–1996). М., 1998. С. 265–279.
Агеносов В.В., Дябкин И.А. Генезис военной прозы А.И. Несмелова: от «военных страничек» к «окопной правде» // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. Благовещенск, 2012. С. 148–166.
Витковский В. Формула бессмертия // Несмелов А. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. Владивосток, 2006. С. 3–34.
Забияко А.А. «Ледяная гибель» Арсения Несмелова: Между «молотом» пропаганды и «наковальней» искусства // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. Благовещенск, 2012. С. 132–147.
Забияко А.А. «Сердце жаждет поединка…»: Арсений Несмелов // Забияко А.А., Эфендиева Г.В. «Четверть века беженской судьбы…» (Художественный мир лирики русского Харбина). Благовещенск, 2008. С. 217–254.
Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940) / ред. А.Н. Николюкин М., 1997-2006. Т. 1.
Словарь поэтов Русского Зарубежья / под ред. Крейда В. СПб., 1999.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 218–219.

ШПИОН

Платье на нем простое, крестьянское, и не подходит оно к его интеллигентному «тонкому» лицу. Штиблеты в грязи; видимо, не одну версту пришлось шагать по размытой проселочной дороге.

Большое красное солнце низко висит над городом, и холмистая равнина залита розовато-золотым светом. На перекрестке, возле крошечной «каплицы», часовенки со статуей Божией Матери, сидит наш патруль…

– Стой, пан, ты откуда? – спрашивает прохожего рыженький унтер-офицер.

Прохожий останавливается.

– Я не розумем, цо пан муви, – отвечает он, спокойно глядя на

подходящих солдат.

– Мы спрашиваем, откуда ты идешь? – повторяет по-польски солдат-еврей, и незнакомец словоохотливо отвечает солдату:

– Я здешний, из Ржевиц, работал там у пана на цеглярни (на кирпичном заводе), но работы больше нема, и вот я иду к себе в Томашов…

На лицах солдат появляется выражение скуки и равнодушия.

– Отпустить, что ли? – обращается один из них к унтер-офицеру, но черненький еврейчик нацелился взглядом на руку хлопа и ядовито спрашивает:

– И на цеглярни пан заробил-таки персценек?

Прохожий резко рванул руку, на которой красовалось золотое с красным камнем кольцо, и вдруг совершенно неожиданно побледнел.

Солдаты сдались тесней и угрюмо засопели.

– Обыщи-ка его, Хейфиц, – приказал еврею унтер-офицер, но едва тот двинулся, наш незнакомец опустил руку в карман и блеснул на солдат никелированной сталью тяжелого браунинга. Но люди мотнулись вперед, и человек упал, протяжно и жалобно застонав.

Через полчаса офицер головного отряда, удостоверившись, что среди бумаг, взятых у незнакомца, поставленного сейчас между двух солдат у дверей темной и грязной хаты, были кроки местности, строго спросил:

– Ты шпион?

Арестованный пожал плечами.

– Разведчик, если позволите, – ответил он по-русски. – Я лейтенант австрийской армии.

– Садитесь, – мягче сказал офицер и прибавил. – Через час вы будете отправлены в город, где вас…

– Повесят, вероятно? – довольно спокойно попытался догадаться лейтенант и попросил папиросу.

Опубликовано и печатается по:
Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 3-4.

ДЕТИ

Он вышел на крыльцо своей халупы, и, засунув в рот грязный палец, с интересом наблюдал за белыми облачками, которые, треща и визжа, с утра метались над их деревней. Мальчик удивлялся, почему у солдат, проходивших улицей, такие суровые, строгие лица…

Владек к ним очень расположен. Он знает, что это русские, которые пришли сюда бить «пруссов», еще вчера владевших деревней.

Поэтому он чувствовал себя оскорбленным совершенно несправедливо, когда из серых солдатских рядов ему то и дело кричать

непонятные слова.

– Эй, ты, шибзик, марш в избу! – и прочее.

Владек не знает, что значит странное слова «шибзик», но понимает, что это, во всяком случае, не похоже на приветствие.

И вдруг…

Из строя выбежал маленький пожилой офицер, взял мальчика подмышку и понес в хату. А солдаты в это время громко, громко засмеялись…

В хате офицер посадил Владека на лавку и строго спросил:

– Где твоя матка?

– Або я веем? – имел мужество ответить мальчик и объяснил офицеру, что мать ушла еще вчера утром и больше не возвращалась.

Офицер рассердился, запретил Владеку выходить на улицу и сейчас же убежал. Но в хате, такой пустой, без мамки, было скучно, и, посидев в ней с полчаса, мальчик снова вышел на улицу.

Белые облачка над крышами домов появлялись еще чаще, чем раньше, а вправо слышалась непрерывная беспорядочная трескотня.

Солдат на улице не было. Изредка лишь они проходили в обратную сторону с забинтованными руками и повязками на голове.

Владеку стало одиноко и грустно. Он решил уже вернуться в хату, как вдруг впереди что-то зажужжало и загудело.

– Неужели у пана молотилка стала работать? – подумал мальчик и удивился. Но жужжание разом оборвалось, и что-то похожее на черный столб выросло в двух шагах и подняло ребенка…

А потом все исчезло…

Скоро выстрелы стихли, через деревню повели солдат в серо-синих шинелях и низеньких касках. Они отворачивались от ямы, вырытой снарядом, на краю которой лежало что-то маленькое, кровавое и наполовину засыпанное землей.

Два бородатых уральских казака, проезжая мимо, сурово нахмурились, пришпорили лошадей и пронеслись в ту сторону, где над лесов странно-неподвижно повисло красное заходящее солнце.

Опубликовано и печатается по:
Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 4-5.

СТОРОЖЕВКА

I

Поле с далекими перелесками потонуло в белой мути падающего снега; ночь наступала быстро и незаметно.

Укрепленьице для взвода почти готово… Солдаты выравнивают бруствер, похлопывая лопатками по мокрой глине, и снег маскирует его своим белым пушистым покровом.

Кто-то подходит и кричит на солдат, едва различимый в наступающей темноте. Это – офицер; он закутан в башлык, и плечи его белеют от снега.

Солдаты торопятся.

Вот притащили солому для ночующих в окопе и гуськом потянулись к деревне. Она – рядом, в ста шагах, но в вихре кружащегося снега не различить ее построек; лишь желтеет слабый огонек в окне ближайшей хаты.

Лениво, дремотно падают снежные хлопья…

Впереди в полуверсте от линии взводов полевой караул, а перед ними бушующая снегом ночь и в ней – наступающий враг. Где он? – близко или далеко – не знает солдат-часовой…

По скользкой тяжелой дороге тащатся люди в синих намокших шинелях, один ряд, другой, много рядов… Громыхают пушки, скрипит обоз…

Так же, как и у нас…

В такую темь разве увидишь его передовые отрядики! На десять шагов подойти может – не увидишь. Слушать надо, словить каждый звук, каждый шорох!

Чу!.. что такое?

Солдат вздрогнул.

Нет, это собака завыла. Или волк. Есть ли они здесь, он не знает, но в Костромской губернии их сколько угодно.

…Будто тень промелькнула… Мерещится. Ночью всегда так, если пристально всматриваться в темноту. А как не глядеть! Так и тянет к себе взгляд эта черная шевелящаяся шепчущая ночь. Покурить бы, да нельзя… Как раз на огонек прилетит свинцовая птичка…

Приятно в такую ночь наступать! Покуда на штык не упрешься, не увидишь. Тоже, лезут… Мало их били!

Вздрогнул: сзади шаги.

Смена.

II

В просторной избе на полу спят вповалку солдаты, храпят, уткнув головы в солому… Винтовка под боком у каждого.

В соседней каморке за столом, над которым тускло горит крошечная лампочка, сидит офицер. Он не раздевался – только башлык снял, – и не спит, чтобы в случае тревоги каждая секунда была использована вовремя. Но клонит ко сну, борет дрема, и иногда, на мгновения, исчезает храп людей, черное окно напротив и стол с голодным тараканом на углу.

Еще папиросу.

– Так и не купил велосипеда Лене, – думает офицер. – Досадно… Ему очень хотелось.

Но досадное совсем не в этом, а в чем-то другом, – в чем именно – лень разбираться.

Лучше выйти на улицу – сон пройдет.

Снег все идет, и его холодные прикосновения освежают лицо. Но это только вначале. Пронизывающая сырость снова гонит в хату.

Бр! Ну, и ночка! Не могли, проклятые, выбрать получше! А ведь у них сегодня Рождество…

– Ваше благородие, – вырастает рядом солдат. – С третьего караула…

– Ну?

– Так что шляющийся человек замечен. Мы окликнули, а он убег.

– Выслать дозор.

Скоро пять человек молчаливо проходят мимо офицера и исчезают в темноте. Затихли шаги. Сонно шепчет снег, лениво кружась.

– Ук! – мягко падает где-то одинокий винтовочный выстрел.

Офицер ждет… Как поднял руку вытереть мокрую щеку, так и замер, прислушиваясь. Может быть, часовому почудился еще какой-нибудь «шляющийся» человек и он выпалил наудачу – не стоит будить людей.

Но вот второй выстрел, третий… еще и еще – по всей линии полевых караулов.

– Вставать! Живо!

Сгибаясь к земле и еще как следует не проснувшись, бегут солдаты к окопу.

Прыгают в ров и, ложась грудью на бруствер, звонко заряжают винтовки. И ждут, все молчаливые, сосредоточенные и готовые к встрече. Караулы, сделав свое дело, отходят к окопу и сливаются с кучкой зорко всматривающихся в темноту людей.

Наступает тишина. И вот в ней, где-то близко-близко – осторожный, зловещий шорох, позвякиванье, отрывок речи, команда…

Еще секунда, другая…

– Взво-од!

И стало страшно тихо, даже снег будто перестал падать…

– Пли!

Тр-р-р… Разорвалась ночь рвущим звуком залпа, и в ответ ему впереди раздались крики, стоны и отдельные беспорядочные выстрелы.

Бой начат.

Противник залег и стал отвечать огнем…

– А что, ведь его можно отогнать, если сейчас перейти в атаку, – подумал офицер и вылез на бруствер.

– Ура-а! – загремело в темноте.

III

Деревеньки в двух верстах за сторожевым охраненьем спят сном непробудным. Все хаты темны, все набиты солдатами… Изредка скрипнет дверь, выбежит полураздетый воин и, зябко поеживаясь, спешит назад.

В ночной тишине так ясно слышно все приближающееся шлепанье лошадиных копыт по размякшей дороге.

Скачет казак.

Остановился у ближайшей хаты, соскочил с коня и забарабанил, что есть мочи в окошко.

– Штаб полка. Что надо?

– К командиру, донесение…

В чистенькой комнате, где на широкой деревянной кровати спит красивый старик, вспыхнул свет.

– Что? – спрашивает полковник, разом садясь на кровати.

– Донесение… Неприятель встречен, – отвечает казак, снимая папаху.

И, еще не прочитав записки, командир отдает приказание поднимать людей и через десять минут выстроиться у западной околицы.

Ожила деревушка.

Вспыхнули огоньки в окнах; загудели солдатские голоса.

– Выходи, пятая рота! Равняйсь… Девятая напра-во!.. Смирно!..

Черная масса, тяжело шурша ногами, двинулась по деревенской улице. Прогромыхал пулеметный обоз…

И через несколько минут деревушка опустела.

Стало тихо, и в этой тишине родились странные звуки: будто где-то далеко перекатывали горох. Это долетали непрерывные ружейные выстрелы с линии сторожевого охранения…

Снег все падает; медленный и дремотный, окутывает поля пушистым теплым одеялом.

На порог хаты выходит военный доктор и, слушая нарастающие выстрелы, спокойно думает:

– Будет работа!

Опубликовано и печатается по:
Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 11-14.

ДОМИК НАД БУХТОЙ

Эмигрантское

Из казармы, полуразрушенной снарядом с японского крейсера и покинутой солдатами народной армии, ушедшими в сопки и разбежавшимися, Петровский перетащил тяжелые железные кровати и стал устраиваться. Он выбрал для жилья маленький офицерский флигель, застеклил окна в двух комнатах и поправил плиту.

В первой, маленькой, поселился он сам, вторую же, побольше, отдал старой генеральше, жене своего комполка, которую он вместе с ее десятилетней дочкой в полуразбитой крушением санитарной теплушке через тиф и большевиков дотащил до Владивостока.

Домик стоял на горе, под ним голубела бухта, а за ней и над нею поднимался на сопках прекрасный большой город.

Дни были страшные и кровавые.

Огромные иностранные корабли чернели на бухте, как крокодилы в болоте, лениво дымили трубами, и на бортах их матросы говорили на всех языках, от японского и филиппинского до французского.

Генеральша нищенствовала, продавала вещи, которые сумела вывезти, и должала лавочникам-китайцам. Делать она ничего не умела и не хотела, и в комнате ее было не подметено, а от тазика, стоявшего под кроватью, дурно пахло.

Петровский ловил рыбу и кормил женщин.

Брала камбала, ленивая, как ладонь широкая, одноглазая, остро и неприятно пахнувшая. Ловилась и скумбрия, но лучше всего брала морская красноперка, похожая на нашу плотву.

Из красноперки делали котлеты.

Генеральша чистить рыбу не могла: нервы не выдерживали острого рыбьего запаху.

Она пила кофе из великолепного кофейника, единственной вещи, с которой она не могла расстаться. Пила раз семь в день, немилосердно разбавляя кофе водой, угощала Петровского и за жидким пойлом своим становилась разговорчивой, вспоминая Петроград и кутежи с шампанским.

Худенькая Верочка бегала к лавочнику-китайцу, выпрашивая в долг масло и керосин. Раз, придя в лавку, Петровский увидел, как китаец-приказчик мял девочку в углу лавки.

Матери об этом Петровский не сказал: ни к чему!..

Свистнул только:

- Девкой будет!

Вечерами садились на крылечко и смотрели на бухту, на огни города, на зеленые и красные сигнальные фонарики на бортах и мачтах крейсеров.

Слушали музыку, долетавшую из города и с кораблей, и глубоко вдыхали влажную синюю морскую мглу, в которой вспыхивали уже фосфорические точки светящихся мух.

Генеральша рассказывала. Петровский, не слушая, думал о своем.

От Колчака ничего не осталось, но и большевиков иностранцы почти уже вышибали из Приморья. Надо было начинать что-то делать.

- Раз из Омска добрался сюда и не погиб, - думал, - так и здесь не пропаду. Если жизнь тяжела, так есть еще молодость, а она все скрашивает!

И однажды, сходив в город, Петровский вынул спрятанный в подполье наган и сказал генеральше:

- Будем переворот устраивать. Ухожу я…

И ушел из домика навсегда.

* * *

Прошло семь лет. На башне морского штаба, на остром как игла флагштоке давно уже развевался красный флаг Советского Союза.

Уже и выгореть он успел, обсосанный соленым морским тайфуном, уже собирался заменить его новым директор морской обсерватории, помещавшейся в башне.

Давно и крокодилы иностранных крейсеров уползли из бухты, и советский миноносец держал брандвахту. В домике по ту сторону бухты давно уже не было ни Петровского, ни генеральши с ее дочкой.

Школа первой ступени разместилась в отремонтированном офицерском флигеле.

Да, прошло семь лет.

Петровский шел по залитой витринными огнями шумной харбинской улице.

Он был в штатском и одет хорошо, тепло и прочно.

Была зима…

- Театр, кинематограф, кабак? - спросил он себя.

Он выбрал последнее. Потом по скользкой железной лестнице спустился в подвал модного фокстротного ресторанчика, отдал пальто рябому китайцу, вошел в зал и остановился у дверей, потирая озябшие руки.

Танцевало несколько пар. Мимо, обдав запахом разгоряченного тела и духов, скользнула женщина, почти перекинувшая свое тело в руке кавалера, и Петровский подумал, как легко она идет и как красивы ее ноги, тонкие, перехваченные в щиколотках черными лентами шелковых туфель.

Затем он сел за столик, спросив вермут, горько-сладкий итальянский Чинзано, и стал его пить большими рюмками, не разбавляя водой. И скоро ему захотелось танцевать.

Когда вспыхнул свет и девушка, которую он заметил, прошла в угол зала, где сидели кельнерши, и села, Петровский взглянул на нее и увидел, что она улыбнулась ему как знакомому.

И едва Петровский привстал, как она поднялась ему навстречу.

- Здравствуйте, Василий Петрович! - сказала она, когда он обнял ее, чтобы начать танец. - Не узнаете? Верочка!

- Домик над бухтой! - вскрикнул Петровский, уже скользя по навощенному линолеуму и чувствуя, как гибко талия девушки перегибается в его руке. - Неужели вы? Боже мой, ведь уже семь лет. А

мама?

- Она умерла.

Они скользили по залу, лавируя между парами, и в этой алой полумгле, в этих воющих звуках танца разговаривать было просто и легко.

Петровский чувствовал грудь девушки, и ноги ее почти переплетались с его ногами.

Танцевали долго, а когда вспыхнул свет, Петровский посадил девушку к своему столу.

- Ну, как вы живете? Рассказывайте! - сказал он, рассматривая милое личико девушки, очаровательное молодостью и тем идущим изнутри оживлением, имя которому - юность.

- Знаете что, - начала Верочка, как-то наивно, еще по-детски, складывая губы бантиком. – Лучше пойдем в кабинет. Или?..

Петровский понял значение недоговоренного.

- Нет, - сказал он, - деньги у меня есть. Если хотите, пойдемте.

В маленькой отдельной грязноватой комнате они сели рядом на раздавленный неровный диван. Пришел лакей, старик, похожий на гнома, и спросил, чего желают господа.

Появилось вино и шашлык.

А через час Верочка сидела у Петровского на коленях, и он целовал ее голое плечо, спустив на руку легкую надушенную ткань платья.

Потом он напился совсем, ему казалось, что кто-то обидел его, и он кричал, махая руками:

- А помнишь ли ты домик над бухтой? Помнишь, как я камбалу для вас ловил?

И Верочка, побледневшая, скучная и тоже пьяная, сердито отвечала ему:

- Не ори! Лучше закажи еще бутылку Аи.

И узнав, что у него больше нет денег, убежала и уже не вернулась.

* * *

Спотыкаясь, Петровский шел домой. Была злая ночь. С Хингана дул резкий ветер.

- Домик над бухтой, камбала, девочка, играющая в мяч. Когда это все было? Не помню!.. Да и было ли. Лучше забыть!..

Он уперся лбом в фонарный столб и заплакал тяжелыми пьяными слезами.

С Хингана, по-волчьи подвывая, дул жесткий железный ветер. Он звал к борьбе и к мужеству.

Но усталые люди не любят холодного ветра.

Впервые опубликовано (под псевдонимом «А. Арсеньев»): Рупор. 1927.18 декабря. С. 2.
Печатается по: Сибирские огни. 2009. № 1.

БЕЗУМИЕ

Сумасшествие приходит столь же неожиданно, как и смерть.

Правда, врачи, заглянув в зрачки человека, над которым, неведомо для него, нависла шершавая кошма безумия, что-то угадают и о чем-то начнут предупреждать, но ведь не все же вовремя обращаются к врачам.

Да и как связать, скажем, неравномерность зрачков с тем страшным процессом распада разума, который превращает человека в скота, заставляя его, как сумасшедшего фаворита Екатерины II, есть собственный кал.

Никак не свяжешь.

Ведь этот процесс похож на гудение молекул пара в котле, готовом разорваться.

Только специалисты понимают, что значит красная черта на циферблате манометра и как опасно, когда его стрелка переходит эту черту.

* * *

Александр Иванович Смирнов, человек бесцветный, как его фамилия, третью неделю чувствовал странное недомогание.

Да и недомоганием ли это было?

Раньше каждое свое движение тело делало естественно, просто, рука поднималась и опускалась, ноги шли, рот жевал или говорил.

Теперь все это стало трудным. Для каждого движения требовалось повторное приказание воли, которая нашла себе в сознании Александра Ивановича Смирнова грозного и сильного врага в виде какой-то особой лени, на каждое требование действия отвечавшей:

— Да полно! Не стоит!.. К чему все это?

И только в эти дни Александр Иванович Смирнов дорос до понимания страшных слов Екклезиаста:

— Все суета сует и всяческая суета!

Правда, иными путями пришел к этой истине еврейский царь Соломон, путями, на которые и не ступала нога российского обывателя Александра Ивановича Смирнова, но ведь *и пути сует*, ведь и они ведут в небытие, в смерть.

В Александре Ивановиче умирала душа.

Умирала, отгнивая одной частицею за другой, превращая человека лишь в чрезвычайно сложный комплекс клеток, еще подчиняющийся общим законам прозябания.

Но когда и этим клеткам стала грозить гибель, в опустевшем сосуде

души родился страх.

Он был косматым, как лес под осенним ветром, и бесформенным, как осенние тучи.

* * *

Когда царь Давид умирал от дряхлости, к нему на одр положили юницу, чтобы она передала ему свою молодость и бодрость.

Умирающее хватается за живое.

Темный страх, гудевший в груди Смирнова, как сосновый бор в сумерках, погнал его к женщине.

Он нашел ее.

Она была полуитальянкой-полурусской, светлой блондинкой, с кожей нежно-розовой, просвечивающей молодой кровью.

Женщину побеждает не красота и не богатство, а сила желания самца, захотевшего ее. Желание самца гипнотизирует их, связывает их волю и ведет на ложе, может быть, и нежеланное, как лунатичку луч лунного света.

А Смирнов желал.

— Завтра я приду к тебе!

В этот вечер, идя к себе домой, Смирнов искал в своей душе волчьих завываний страха.

Их не было.

* * *

Утром Смирнов проснулся бодрым и жизнерадостным.

Сосед по номеру в гостинице, где жил Смирнов, слышал, как он пел, чего никогда не было.

Вовремя Смирнов ушел и на службу.

Но на углу Китайской и Диагональной он вдруг остановился, озадаченно повертелся на месте и вдруг бросился в противоположную сторону, к магазину, где потребовал себе шерстяной купальный костюм.

Была зима, и приказчик удивился:

— В теплые края едете?

— Какие там края! – жизнерадостно замахал руками Смирнов. – Для управления мне нужен!.. У нас там без купального костюма теперь совершенно невозможно!

— Уж известно! – согласился приказчик, полагая, что в словах покупателя скрыт какой-то политический намек. – Какого цвета прикажете? Вот розовый. Настоящий устряловский цвет. Или оппозиционный – зеленый. Такой костюмчик товарищ Лашевич летом у нас брали. Под «лесного брата».

Александр Иванович выбрал костюм и поехал в управление.

Там он усердно работал, и только конторщик Власов, человек мрачный и нелюбимый сослуживцами, заметил в поведении Александра Ивановича некоторую странность.

Когда он с нужной бумагой или за нею пробирался между столов к месту зава, — он у крайнего стола всегда делал широкий шаг, словно перешагивал через лужу.

— Что, ножки боитесь замочить? — ехидно спросил Власов.

— А как же! — охотно ответил Смирнов. — Ботинки-то новые, лаковые… Жаль… Хотя сегодня поуже стало, высыхает, что ли…

— Шутник! — угрюмо и с завистью сказал Власов и мрачно подумал: «С утра наклюкался… И с чего бы?.. Кажется, не пил человек».

* * *

Женщина пришла, как обещала, в девять.

Подошла к двери номера, на которой висела белая эмалированная дощечка с цифрой «17», и постучала.

«Войдите!» — глухо услышала она и робко отворила дверь.

Ведь даже опытные женщины робеют, входя в комнату мужчины, которому они в первый раз должны отдаться.

Смирнов встретил ее пылко, настолько пылко, что она даже не сразу заметила, что он был… в одном купальном костюме.

Но, разглядев одеяние Смирнова, женщина обиделась.

— Конечно! — сказала она. — Ты знал, что я пришла, чтобы стать твоею, но все же ты должен был бы встретить меня как порядочную женщину.

В том, что она сказала, была оскорбительная для нее бессмыслица, но она не заметила ее, как не поняла безумия в ответе Смирнова:

— Милая, но разве ты не чувствуешь, ведь льет же, льет…

— Не валяй дурака! — строго сказала она. — Я знаю, у каждого из вас свои причуды. Не прикидывайся сумасшедшим!

Но все-таки женщина не ушла от Смирнова. Зеленый костюм шел к нему; у него было сильное белое тело, возбуждающее, пахнувшее. Он был силен.

* * *

Женщина ушла в полночь.

Когда Смирнов затворял за нею дверь, в комнату, как черная мохнатая собачонка, проскользнул страх.

«Он» забился под кровать.

Смирнов долго выпихивал его тростью, но он, сделавшись крошечным, забился в щель.

Всю ночь Смирнов не спал, слушая, как страх скулит под кроватью.

Два раза в комнате сам собою зажигался свет и сам гас.

Утром, все еще в своем купальном костюме, Смирнов выполз из своего номера и «на саженках» поплыл к телефону, преследуемый отчаянно кричавшим от страха боем Василием.

Завладев телефоном, Смирнов повертел диск и, думая, что говорит с завом своего отдела, крикнул:

— Я Ной. В моем ковчеге среди нечистых есть два места. Беру вас с вашей супругой с собою. Торопитесь! Льет все сильнее!..

Потом Александра Ивановича Смирнова отвезли в шестой барак.

В отделе с полчаса поахали.

А дальше Власова посадили на место Смирнова с прибавкой.

— Только смотрите, тоже с ума не сойдите! — ласково пошутил зав.

— Не сойду! — мужественно отшутился Власов. — Мне не с чего сходить!

Жизнь шла своим чередом.

Впервые опубликовано (под псевдонимом «А. Арсеньев»): Рупор. 1927. 25 декабря. С. 2.
Печатается по: Сибирские огни. 2009. № 1.

ЛЕДЯНАЯ ГИБЕЛЬ

Повесть

Разговор на льду

Багровое солнце, опускавшееся на вершины скалистого хребта, протянувшего за бухтой свою драконью спину, предвещало на завтра тайфун. О нем же, указывая его силу и направление, предупреждали и сигналы, – деревянные ромбы и кресты, поднятые на каланче порта.

Зеркальный лед бухты, окоченевшей два дня тому назад, казался стеклянным, освещенным снизу голубым и красным светом.

– Такой пол, – сказал художник Сормов, из-за кормы зазимовавшей шкуны, выбегая на скользкий паркет бухты, – вот, точно такой же пол, как этот лед, я видел в Шанхае, в их шикарном «Мажестике»…

– Ресторан? – спросил Алеша Грызин, весело забалансировавший на льду.

– Дансинг, – ответил Сормов. – Там и едят, но, главным образом, танцуют. Понимаешь, женщины в коротких легких платьях. Свет снизу… Если красивые ноги…

Ледяной ветер, бросившийся в лицо, заставил Сормова повернуться спиной к приятелю, и он не окончил фразы. Мельчайшая, стеклянно-звенящая пыль понеслась по льду. Метла приближающегося тайфуна еще раз начисто подмела бухту.

Алеша Грызин и Сормов (первый – репортер Владивостокской

газеты, другой – художник, работающий при Помголе, – дело происходило в 1922 году) из города, через бухту, перебирались на Чуркин мыс к приятелю, прозванному ими «Камчадалом».

Сормов, разбежавшись по зеркальному льду, покатился как на коньках, затем, споткнувшись о примерзший кусок человеческого помета, – «И здесь уже нагадили!», – чуть не упал, наклонился, замахал руками, выпрямляясь, а когда выпрямился, то восторженно закричал:

– Алексей, смотри! Ну и солнце же, черт его задави!..

Солнце было, действительно, необыкновенное. Обещая тайфун, оно висело, огромное, отяжелевшее, словно вишня в золотистом вермуте коктейля.

Прикрыв глаза черными, побелевшими теперь ресницами, похожими на обмотанные ватой проволочки с загнутыми вверх концами, Сормов, любуясь солнцем, сказал:

– Посмотри, словно чужая планета всходит над землей.

Грызин молча смотрел на светило, которое, коснувшись круглой вершины черной горы, тихо поползло по ее склону, растворяясь в аспидно-синей мгле долины и заливая эту мглу потоками багрового огня.

Но долго любоваться закатом не позволял тайфун. Тысячами колких струек ветер прокалывал демисезоны молодых людей, так что тело уже не чувствовало теплоты одежды и ощущалось как голое. Преодолевая упругий напор воздуха, приятели побежали к скалистой черной стене противоположного берега бухты, возвышавшейся уже близко.

– А представь себе, что солнце завтра не взойдет, – сказал Сормов, карабкаясь на обледенелые камни.

– То есть как? – удивился Алеша.

– А так. Не взойдет да и только. Вот бы рассказ написать. Занятно!

– Не напечатают, – профессиональным тоном ответил Грызин. – Теперь такие темы не в моде. Требуется, брат, производственное.

И молодые люди по скользким камням стали выбираться на дорогу, много лет назад проложенную крепостными инженерами для подвоза снарядов к бетонным казематам ближайшей береговой батареи, увенчавшей мыс еще в то время, когда Владивосток был крепостью, угрожавшей Японии.

Вечером, вернувшись в город с рыбой и червонцем, занятым у «Камчадала», приятели жутко напились в кабачке «Утиная Голова».

«Солнце забастовало»

В шесть часов утра на судостроительном заводе прогудел первый гудок. Еще не светало: декабрьская ночь бархатной синевой придавила город; звезды горели ярко, спокойно.

Но жизнь уже пробуждалась. Заработали динамо-машины

городского трамвая; выполз из парка и подошел к павильону станции первый вагон; открылись хлебопекарни; затопили печи жены рабочих, готовя завтрак мужьям… Завыл второй гудок на заводе – половина седьмого…

Еще не светало.

В типографии «Рабочего дня» гудела ротационная машина, допечатывая последнюю, двадцать шестую, тысячу газеты. На дворе и в смежной с «машинной» комнате уже дожидались газетчики, – целый батальон оборванных мальчишек, юрких, вертких, крикливых, ругающихся из-за очереди. Тут же были и старики, – пять-шесть ветхих старцев, одетых в рубище, по-бабьи под шапками подвязавших от мороза платками головы; старики ругались, били мальчишек сверху по головам и, покрикивая, втихомолку продирались к дверям.

– Дяденька, дай покурить! – попросило лохматое существо, затерявшееся в коричневой латаной женской кофте; голосишко был хриплый, простуженный.

Старик, растолкавший ребятишек, зло посмотрел вниз.

– Я те покурю! – проворчал он. – Такую те сигару отсыплю!..

Не договорил: мальчишка вырвал вертуху и, под общий хохот, исчез в толпе ребятишек.

– Так и надо: не сбивай очереди!

Теперь стариковой вертухой угощались у окна трое: махорка была крепкая, духовитая, пьяная на голодный желудок. Затягивались до отказу.

С завода в порту донесся очередной вой: это был третий гудок, семичасовой. Мальчишки взглянули в окно, – стекла чернели непроницаемо.

– Чего это совсем не светает? – удивился кто-то. – Часы в порту перевели, что ли?

А мальчуган, ограбивший старика, и еще полный лихости и задора, по-рыбьи открыв рот, выпустил серый едкий махорочный дым, сплюнул на пальто соседу и лихо ответил:

– И вовсе не переводили… Солнце забастовало, от того и не светает!

Кругом засмеялись. Потом всей массой затискались к белым, пахнувшим краской, газетным кипам, загорланили, зазвякали медяками и совсем забыли о том, что на дворе, несмотря на восьмой час утра, стояла непроглядная ночь, и звезды на черном холодном небе горели так же ярко, как и в полночь.

Рассвет еще не наступал.

Художник Сормов

Проснувшись, Саша Сормов посмотрел в окно: было абсолютно темно, и голова очень болела.

– Обязательно брошу пить, вчера – это последний раз, – подумал художник и вновь заснул. Через некоторое время он опять проснулся, – стекла были по-прежнему непроницаемо черны.

– Рано, – подумал Саша. Но за стеной уже ворочались, даже очень усиленно, и, что всего удивительнее, слышался плач.

– Хозяйка! – решил Сормов. – Значит, опять муж приревновал и отутюжил… Не могут днем драться, идолы!..

Завернулся с головой и попробовал еще раз заснуть. Но теперь это уже не удалось: во-первых, мучило похмелье (кошки скребли внутренности), во-вторых же, оказалось, выспался. Да и плач за стеной не прекращался: теперь рыдала не одна хозяйка, – ноющий, причитающий бас мог принадлежать только хозяину, лысому бухгалтеру из финотдела.

Хозяйка, воя, говорила:

– Ты бы, хоть вышел, посмотрел… Соседка-то, может, и врет еще!

– Иди сама, если хочешь. Я никуда не пойду!

– Боюсь я, – отвечала хозяйка, – еще пристукнет сем сверху-то!

– Так, ведь, и меня может пристукнуть! – не сдавался хозяин.

– Тебя!.. Ты – мужчина…

Еще ничего не понимая, но чувствуя, что произошло что-то интересное и совершенно необыкновенное, из-за чего стоит преодолеть мертвое похмелочное состояние, Сормов стал поспешно одеваться. Через три минуты он уже был на хозяйской половине.

– Переворот? – спросил он, блестя глазами и уже ликуя при мысли, что теперь, следовательно, не надо срочно отрабатывать аванс, взятый в Помголе под плакат «Пожертвуйте полтинник, и вы спасете голодающих».

– Переворот? Кто захватил власть?

Хозяин, он был в одном белье и даже не подтянул вверх сползающих кальсон, только носом шмурыгнул. Но хозяйка досадливо мотнула головой.

– Какой там переворот! Светопреставление!.. Довели большевики…

Сормов вытаращил глаза, весь загораясь любопытством:

– Ради Бога, в чем дело?

– Да в чем, – очень просто: богохулили, церковь Божию позорили, вот, оно и отпелось, – солнышко-то сегодня и не взошло.

– Как, не взошло?!

– А так: двенадцатый час дня, а на дворе как в полночь! – и она залилась слезами. – Хоть вы, Александр Петрович, выйдите на улицу, поспрошайте у людей, что такое творится… Может, телеграммы какие есть, – мой-то совсем раскис…

Бухгалтер, действительно, выглядел плохо. Ужас распустил его тело, как тесто.

– Что там – телеграммы! – сопел он. С неба телеграмм не бывает… В

церковь Божию теперь надо, вот куда… И всем миром чтобы… «Всевышний граду Константина землетрясенье посылал!» – хриплым, плачущим басом продекламировал он вдруг и упал лицом на стол. Завыла и женщина: не старая, недурная собой, она сейчас была страшна и противна.

У Сормова захватило дух, как от холодной воды. Страха он не чувствовал; гибель, которая была неминуема, если солнце навсегда покинуло землю, – еще не представлялась, но был безумно любопытен город, – люди и вся жизнь в нем, – лишенном света, с огнями, горящими в домах в первом часу дня, с толпой, которая, – он слышал, – уже гудела за стенами дома, со всем, что должен он был увидеть сейчас, в эти дни, может быть, последние для человечества.

Невероятные картины зверского, мгновенного одичания уже рисовались в воображении Сормова. От этого и вздрогнуло его тело, словно облитое ледяной водой. Он схватил пальто и выбежал на улицу.

Сумасшествие улицы

Звезды были необыкновенно сочны. Безветренный горячий мороз обжигал щеки, заставляя непрерывно хвататься за лицо. Главная улица, гудевшая толпой, была темна: электрическая станция, как всегда, в семь часов утра остановила моторы. Магазины не открылись. Окна квартир робко желтели свечами и керосиновыми лампами, принесенными из кухонь, из чуланов.

Люди в толпе уже не могли говорить, – они кричали.

– Кара Божия! – утверждали одни и звали в церкви, отворенные, освещенные, загудевшие похоронным звоном колоколов.

Другие смеялись.

– Затмение! – просто объясняли они. – Солнце закрыто пролетающим небесным телом. Это не может быть продолжительно. Через час, через сутки, наконец, солнце опять появится на небе.

Все злее становились крики. Вспомнилась вражда, еще не изжитая в сердцах. Прогремел выстрел, второй… толпа шарахнулась, завопила и опять сомкнулась, в своем движении ничего не понимая и уже всего боясь. Особенно страшно было оставаться в домах; в куче, на улице, страх не так щемил сердце…

Но появились конные разъезды и оттеснили толпу с мостовой на тротуары. Сначала всадники с трудом разбивали слипшуюся человеческую массу, но лошади, понуждаемые шпорами, упрямо протискивались между людьми, и те останавливались, сдавали, отступали, и улица, отбросив толпу на тротуары, постепенно очищалась.

Вспыхнули и загудели электрические фонари, – электрическая станция получила приказ пустить в ход динамо-машины. Стало веселей и

спокойнее, – ведь, можно жить и без солнца, лишь бы не делалось холоднее.

– Товарищи! – крикнул с лошади молодой голос. – Приказано приступать к обычным дневным занятиям. Прошу расходиться. Из Москвы получено радио, что солнце завтра взойдет.

– Что – Москва! – крикнул кто-то. – Откуда она может знать?

– Там все знают! – весело кричал кавалерист. – Расходитесь, товарищи.

– А в церкви почему больше не пускаете? – кричали женщины. – Молиться теперь надо, а не телеграмм ждать!

Действительно, колокольный звон оборвался. Собор был окружен войсками, и молящиеся оттеснены: идея о светопреставлении дезорганизовывала восприимчивые уже к панике массы.

Бешено светя ацетиленовыми глазами, пронесся автомобиль. Военный, в шинели и в богатырке, стоя в нем, бросал в толпу летучки. Сормов поднял одну и прочел:

«Товарищи! Ревком призывает к спокойствию!

Явление исчезновения солнца не может быть долговременным и не носит характера мировой катастрофы. Можно предположить, что солнце заслонено от земли неизвестным астрономии мировым телом, гигантским метеором, пролетающим в междупланетном пространстве и заслонившем от нас светило. Продолжительность этого полета не может быть велика, и нашей планете, а следовательно, и СССР, затмение ничем угрожать не может.

Мы призываем пролетариат сохранять спокойствие и верить своим вождям. Будьте, товарищи, на своих местах!

Попы и буржуазия пытались бросить в массы идею о «кончине мира», скликая колоколами в церкви своих приспешников и, может быть, подготовляя там открытое выступление против рабоче-крестьянской власти.

С этим, товарищи, покончено.

Предупреждаем притаившуюся контрреволюцию, что с ней будет поступлено беспощадно. Все бандитские выступления будут караться расправой на месте.

Да здравствует мировой пролетариат!

Да здравствует мировая революция!».

Сормов прочел воззвание, сунул его в карман и сразу успокоился.

Солнце исчезло; может быть, земля через несколько дней превратится в стальной от мороза кусок льда, но пока в городе ничего не изменилось и, следовательно, надо было подумать об обеде. Улицы принимали нормальный вид; казалось, наступил обыкновенный вечер, и только башенные часы на здании комхоза, словно издеваясь, показывали

половину второго часа дня.

По приказу ревкома открылись магазины нарпита и рестораны. Начались занятия в учреждениях. Газетчики бежали по темным улицам с экстренным выпуском «Рабочего дня».

– Интервью с астрономом Заксом! – кричали они. – Закс о солнце! Солнце завтра взойдет!

– Все абсолютно по-старому, – разочарованно подумал Сормов. Ожидание необыкновенных картин, очарование непередаваемым драматизмом момента – не сбывались. Что оставалось художнику? Нужно было дописывать плакат и просить аванс на обед. Он так и сделал.

В кабачке «Утиная голова»

В угловом кабинете собрались завсегдатаи. У Павла Васильевича профиль был таким же каменным, как всегда; очки поблескивали так же холодновато, и водку он пил тем же аккуратным движением, опрокидывая рюмку в рот и вежливо ставя ее на стол.

Павел Васильевич придерживался мистической версии, но высказывался больше междометиями, местоимениями и жестами. По его словам выходило, что это совсем другое, что виноват вовсе не метеор, что оно давно уже носилось в воздухе, и некоторые о событиях знали и даже предупреждали. Затем следовали флюиды, выделенные некоей злой волей и на три дня окутавшие солнце непроницаемой оболочкой.

Все помалкивали. Ведь гипотеза о метеоре, заслонившем солнце, тоже никого не удовлетворяла, а потому всякому объяснению были рады, особенно, если оно через три дня обещало возвращение солнца с его светом и теплом.

Было немного жутковато, но вечер наступал самый обыкновенный, жареное мясо насыщало по-прежнему, водка по-прежнему пьянила, и, следовательно, была надежда, что все обойдется.

Когда пришел Сормов, все были уже навеселе.

Лобастый и широкоскулый Зыбин, в резиновом дождевике, несмотря на декабрь, – единственное его верхнее одеяние, не снимаемое ни зимой, ни летом, – Зыбин этот, уже пьяный до покраснения глаз, декламировал новые свои стихи «Об украденном солнце», в такт ритму стиха ударяя пальцем по клавишам облезлого пианино.

Хозяин кабачка, толстый, огромный Сократий Димитрадзе плакал навзрыд. На темном грузинском лице слезы блестели, как стеклянные шарики. Крахмальная грудь сорочки вздулась пузырем и раскрылась по клапану, обнаруживая розовое, волосатое тело в жирных складках.

– Термометр падает, – сказал Сормов, протягивая руку к графину. – Уже около сорока по Реомюру.

– В Реомюре и стольких-то градусов нет, – попробовал сострить

Зыбин. – Это ты о водке вспомнил.

Сормов пожал плечами.

– Ртуть замерзла.

– Что ртуть! – кричал грузин. – Не в ней дело, господа. Пищи скоро не будет. У меня есть пять бычьих туш и муки на полгода. Завтра закрываю кабак, и буду жить, пока хватит кушать… Потом… – он сделал круглый жест вокруг шеи, – секир башка. А сегодня всех угощаю. Чего хочешь, говори: виски пить будем, бенедиктин… Все пить будем, душа мой. Васька!

Из-за плюшевого рыжего драпри, закрывавшего дверь, выскочил малый в лакейском смокинге. Согнулся, оттопырив зад, и заулыбался.

– Садись, душа! – сказал хозяин, – и ты сегодня тоже мой гость.

Малый сбросил фартук, кинул его, скомкав, в угол и сел против хозяина. Павел Васильевич, блеснув на него стеклами очков, налил рюмку золотистого желтого шартреза.

– Пей, Вася! – сказал он ему. – Пей в последний раз в жизни!

– Мы еще поживем, Павел Васильевич! – обидчиво сказал Василий. – У нас шуба теплая. Не как у прочих.

Это был намек на обтертый бушлатик соседа; но Павел Васильевич не пожелал принять намека на свой счет, – сделал вид, что не понял. Его заняла сцена в углу.

Рыжеволосая Ядвига, – та самая, которой грузин предлагал остаться с ним «зимовать», – пьяная, кричала, расстегивая кофточку, что перо, – «вот, это, на костяной ручке», – брошенное вертикально с высоты аршина, не вопьется, а отскочит от ее груди.

– Душка! – хохотал Зыбин, – уверяю тебя – оно вопьется.

– Никогда! Моя грудь упряма, как резина.

– Во-первых, не упряма, а упруга, несчастная полька! Упряма не твоя грудь, а ты!

Кудлатый, завсегдатай «Утиной головы», – фамилию его забыли, а звали пуделем, – единственно с провокационной целью, поддержал Ядвигу. Она стала раздеваться. Груди выскочили из-под прошивки рубашки, как два розовых каучуковых баллона, наполненных воздухом.

– Бросай!

Зыбин встал на колени и поцеловал грудь.

– Ведь раскровяню же!

– Бросай, иначе, ботинком в нос!

– Хоть перо-то спиртом вымой, – заметил Сормов.

Зыбин улыбнулся.

– Неизвестно, что лучше, – замерзнуть через три дня, или умереть от заражения крови? Да и не успеет она, кровь-то, заразиться.

Он поднял перо высоко над округлым возвышением женской груди и разжал пальцы. Белая тяжелая костяная ручка скользнула вниз, и сейчас же

раздался женский вскрик: перо глубоко вошло в тело.

Все засуетились. Грузин кричал низким и глухим басом, схватил столовый нож. Был момент, когда Зыбина могли убить, – круглая красная капля крови на женском теле взорвала мужчин, как крошка гремучей ртути взрывает динамит.

Спасла Ядвига.

Она вскочила, заслонив собою поэта, выставив на грузина свою окровавленную грудь.

– Спятил! – крикнула она. – Думаешь, если солнце погасло, так и убивать можешь, армянская колбаса?! Я, ведь, сама просила.

Она увела Зыбина в угол, и там они занялись друг другом.

Хлопнула дверь в общем зале, соседнем с кабинетом. Там было пусто. Кто пойдет в ресторан в ледяной вечер кошмарного дня? Васька по привычке сорвался с места и исчез за драпри. Через несколько минут он вернулся, пропустив вперед всю заиндевелую, повязанную башлыком женскую фигуру, нерешительно вошедшую в кабинет.

– Погреться просится, – хихикнул он. – Шла, говорит, и замерзать стала… Термометр падает.

– Садись, девушка, ешь и пей, – ласково сказал грузин, медленно двигая пьяными выпученными глазами. – Раздевайся, душа. Сегодня всех угощаю.

Но у пришедшей застыли руки, и Сормов встал – помочь ей раздеться.

Здесь он и познакомился с Раисой Николаевной.

На радиостанции

– Ну, поймали?

– Сейчас... Очень трудно. Со всех сторон вызовы... Сбивают... Есть!

Карандаш быстро забегал по бумаге, принимая депешу, начинавшуюся обращением:

«Всем, всем, всем...».

Телеграфист с телефонным приемником на голове весь ушел в слух; даже глаза, когда ухо изменяло ему, прятал куда-то под лоб, словно и их отправлял на помощь ушам. Был он молодой и старательный, но совершенно измученный работой за сегодняшний день. Председатель ревкома всем своим большим, в кожу одетым телом навалился на стол. Двое других затаили дыхание сзади; у рябоги жгло отмороженную щеку, но он, боясь помешать телеграфисту, терпел, хотя надо было ее растереть.

– Ну?

– Готово! – телеграфист в изнеможении откинулся на спинку стула.

Все трое сгрудились над депешей. Косыми, неразборчивыми буквами телеграфист вывел:

«Всем, всем, всем!

18 декабря, около двух часов дня по московскому времени...».

– По-нашему – в восьмом вечера, – прошептал предревкома.

«...земля, по неизвестной причине вышла из солнечной орбиты и со скоростью, все возрастающей, движется по направлению созвездия Геркулеса. Все человечество стоит перед возможностью гибели. В этот момент перед нами единственная задача, – везде на местах создать условия возможно дольшего сохранения человеческой жизни. Миллионы обречены на неминуемую гибель; для единиц, не теряя ни секунды времени, можно создать условия, при которых они еще могут некоторое время существовать. Приспосабливайте здания по несколько в городе. Москва будет поддерживать радиосвязь до последней минуты. Не теряйте бодрости. Пусть рабоче-крестьянская власть покажет вселенной свою железную волю к жизни. Совнарком».

– Ехать! – крикнул предревком.

Выросла медвежья, в дохе, фигура шофера.

– Нельзя ехать: карбюратор замерз!

– Тогда – пешком.

Телеграфист, сбросив с головы приемник, тоже стал собираться.

– А вы – куда? – спросил, ощетиниваясь, председатель. – Ваше место здесь!

– Мы еще в прошлом году требовали ремонта печей, – слезливым голосом сказал телеграфист. – А теперь на себя пеняйте.

И ткнул варежкой на термометр. В тонкостенной будке радиотелеграфа градусник показывал «– 26°».

Идите ко мне

Раиса Николаевна ночевала у Сормова. Город коченел от холода, и было немыслимо идти на улицу Мучеников Революции, удаленную от кабачка на несколько верст. Квартира художника была рядом.

Добрались не без труда. Зажгли свечу и, не раздеваясь, сели на диван, отдыхая от огненных укусов мороза. За стеной спали; бухгалтер во сне бормотал хриплые жалобы; под полом скреблись мыши, обеспокоенные заползающим в щели морозом.

Пар дыхания выходил изо рта, как плотный серый табачный дым.

Кто она, – замужем ли, девушка ли? – Сормов не спросил у Раисы Николаевны: все эти вопросы уже утратили смысл, как паспорта во время землетрясения. Разве не все равно?

Еще волновало и радовало, что женщина, обреченная эти последние дни существования человечества прожить с ним, – Сормов был уверен, что это так, и что завтра Раисе Николаевне не удастся добраться до своей окраинной улицы, – что женщина эта молода и красива и, несомненно,

если он этого захочет, будет принадлежать ему.

Но уже отмирало животное, телесное. Страх перед гибелью, даже забытый на время, не переставал давить подсознательно на психику, отрезая от нее вчерашнее, – то недавнее, что гибко и живуче извивалось в ней при властительном солнце. Так веревка с тяжестью, незаметно для глаза, перерезает цельную глыбу льда.

Может быть, поэтому, несмотря на вопросительный взгляд женщины, Сормов отдал ей постель и одеяло, а сам лег на диване. Раиса Николаевна сняла шубу, бережно, чтобы не смять, расправила ее поверх одеяла, сняла сырые с меховой опушкой ботики и стала расшнуровывать высокие ботинки.

Потом Сормов закурил и погасил свечу. Долго еще гас и разгорался от затяжек красный уголек папиросы; потом он, описав дугу, полетел на пол. По ровному, спокойному дыханию женщины Сормов решил, что она заснула. Но сам он не мог: было холодно и тяжело от одежды. Промаявшись с полчаса, он потянулся к папиросам и спичкам и, закуривая, взглянул в сторону кровати.

Раиса Николаевна не спала, – огромные темные глаза спокойно смотрели на художника.

– Идите ко мне, – сказала женщина. – Вам, ведь, холодно.

И они легли рядом.

Разделись; благостным показалось ласковое тепло чужого, прикоснувшегося и сейчас же прижавшегося тела.

Заснули крепко и сладко.

Проснулись в такой же темноте, но, должно быть, наступили уже дневные часы, потому что бухгалтер за стеной уже возился у печи.

– Ты слышишь? – сказала Раиса Николаевна.

На улице, время от времени, стрекотал пулемет и гулко бухали разрывы ручных гранат.

Дома-термосы

Мороз подошел к грани, за которой жизнь вне домов должна была скоро прекратиться. Всякое движение на воздухе становилось затруднительным, легкие обжигались воздухом, ноздри закупоривались ледяными пробками и, отмораживаясь, ломались, как гнилое дерево. Улицы были покрыты трупами замерзнувших.

Три четверти домов, – деревянные жалкие постройки бедноты, – вымерзли за ночь со всем своим населением. Жизнь в умиравшем городе судорожно билась лишь около трех огромных зданий, – политехникума, дворца труда и правления трансазиатской железной дороги.

По плану власти, эти здания должны были занять члены профсоюзов с их семьями и там, запасясь углем и продовольствием, отсиживаться, борясь до последней минуты с замерзанием.

Вечером, вернувшись с отмороженным лицом с радиостанции, председатель ревкома сейчас же принялся за осуществление своего плана, но выполнить его, конечно, не удалось,

Телефонная связь еще была, но люди, получив приказание собираться в определенные места и бросившись на улицу, гибли от холода по дороге, чем и объяснялось огромное количество трупов на улицах.

«Термические укупорки», естественно, заполнились жителями соседних домов, захватившими оружие и продовольствие в свои руки, и лихорадочно, всю ночь работавшими над герметической изоляцией их от домов внешнего мира. Вновь прибывающих не впускали. Толпа замерзавших выла у подъездов, но двери были уже заперты, обложены войлоком и заделаны изнутри. Тогда толпа стала вышибать их, но мороз ликвидировал все быстрые движения, требовавшие глубокого вдыхания смертоносного воздуха, – двери даже не пошатнулись. Люди, лишенные надежды спастись, решили погубить и спасшихся: они стали бить огромные стекла окон. Это было равносильно гибели для захвативших термические укупорки.

Но осаждающие успели разбить только несколько стекол... Осажденные ответили метанием гранат и пулеметным огнем.

Окна были заделаны. С углов в обложенные войлоком щели просунули пулеметы и непрерывным, всю ночь длившимся огнем отбрасывали пытавшихся подойти к зданиям.

Жители города, не потерявшие рассудка, стали принимать все меры к закупорке своих собственных домов. Но такие дома-термосы должны были быть снабжены углем, а его не везде было в достаточном количестве. Каждый термос, сосредоточив значительное количество защитников, предпринимал набеги на соседние дома. Разыгрывались потрясающие по драматизму сцены.

Нападение всегда начиналось с уничтожения стекол в окнах соседнего дома-термоса. Затем, перебив защитников, нападавшие врывались в дома и с величайшим трудом перетаскивали уголь в свои кладовые. Для облегчения работы деревянные постройки, не угрожавшие укрепленному дому, зажигались. При полном безветрии это было не опасно, и, к тому же, дома укреплялись исключительно каменные.

Кровавое пламя столбом взносилось в черное небо. Треск горевшего дерева смешивался со стонами раненых, умирающих от холода, сгорающих в огне... Закутанные в меха люди, отбрасывая черные шаткие тени на розовый плавящийся снег, торопливо катили тачки с топливом, переносили жестяные банки с керосином, перекатывали бочонки с нефтью...

Ночь трещала выстрелами. Со всех сторон зарева размахивали багровыми веерами, а над ними, в северо-восточной части неба,

перекатывало синие, розовые и фиолетовые столбы – великолепное северное сияние, никогда еще не виданное в городе.

Западный склон неба был, как и вчера, немного светлее, – мутновато серел, готовый слиться своим цветом с общим, иссиня-черным тоном небосклона, уже изменившего карту созвездий.

Три выстрела

Отброшенные холодом обратно в квартиру, художник и Раиса Николаевна задумались. В комнате горела свеча. Казалось, была полночь, но часы показывали десятый час утра.

– У хозяина есть оленьи дохи и много мехов, – сказал шепотом Сормов.

– Надо взять, – также тихо ответила Раиса Николаевна. От огненного укуса мороза она все еще дрожала.

– Не даст.

– Надо взять.

– Хорошо! – художник пошел к двери.

– Погодите. Возьмите вот это...

Раиса Николаевна подала маленький браунинг.

Когда голоса за стеной стали неистовы, – особенно женский, визгливый и страстный, – женщина села на диван и зажала себе уши. Все-таки выстрелы, – их было три, – она услышала...

Подождала четвертого, не дождалась и опустила руки. Была совершенно спокойна.

Вошел художник, швырнул на пол груду меховых вещей и опять вышел. Вернулся, с трудом протиснув в дверь новый ворох мехов и большой бумажный сверток. За стеной хрипло стонал мужской голос...

Около часу потратили на пригонку камчатской одежды. Надели мехом внутрь и наружу, совершенно закрыли рты, соединив их с маховыми мышками, куда положили угольные японские самогрелки: прежде, чем поступать в легкие, воздух там должен был обогреваться. Рассовали самогрелки по всему телу, между меховыми слоями.

Самогрелки, – они были в свертке, – бухгалтер особенно защищал.

– Теперь, – сказала Раиса Николаевна, – так укутанные, мы можем пробыть на воздухе часа два. Остальное зависит от судьбы.

И они вышли.

– Не надо!.. – шепнула женщина, когда Сормов хотел затворить за собой дверь.

– Почему? – удивился он, но, услышав за собой стоны раненого бухгалтера, упрямо не хотевшего умирать, понял:

– Так скорее.

Над городом метались зарева. Догорающие пожарища рдели

рубиновыми россыпями; но тишина была такая, что каждый маленький треск слышался уже издали и заставлял настораживаться. Снег под ногами хрустел, как стеклянный, его иглы ломались со звонким и решительным звуком. Северное сияние на северо-востоке бесшумно перекатывало свои фиолетовые столбы.

Раиса Николаевна и Сормов шли, почти не ощущая холода: японские грелки прекрасно делали свое дело. На улицы было достаточно светло от мигающих зарев, настолько светло, что путники не спотыкались о валявшиеся вокруг трупы замерзших. Мертвецы лежали в самых неожиданных позах, как застала их смерть. Те, что погибли от пули, были особенно страшны. Поднятые и сжатые в кулаки руки говорили о бессильной злобе; открытые рты словно не вытолкнули последнего крика и одеревенели в судороге.

Впереди был дворец труда. Окна высоких этажей, освещенные изнутри керосиновыми лампами, краснели тускло. Островерхая кровля уходила в розовый веер зарева и отблескивала красным.

Едва Раиса Николаевна и Сормов вышли из-за прикрытия ближайших зданий, как, укрытый где-то внизу, застрекотал пулемет, и пули, с трудом преодолевая металлический от холода воздух, как ленивые пчелы, заныли у них над головами.

– Туда идти бесполезно, – подаваясь назад, крикнула Раиса Николаевна. – Они все равно не впустят!

Они отбежали за угол. Сормов поднял и развернул валявшийся у ног красный флаг и замахал им, – пули посыпались еще чаще. Так же реагировал дом-термос и на белый платок, поднятый Раисой Николаевной.

Было ясно, что политические группировки со всеми их окрасками уже не играли роли в глазах защитников домов-термосов.

К тому же, из темноты цвета сигналов едва ли можно было угадать.

Кабачок-термос

Сормов решил добраться до ресторана грузина и укрыться в нем. Иного выхода не было.

Дом «Утиной головы» небольшой, – теплой кирпичной кладки, имел цементированный подвал, набитый углем и продовольствием.

В нем-то и предполагал отсиживаться грузин, причем сам дом, закупоренный изнутри, играл роль пробки.

Грузин поставил внутри подвала великолепный непрогорающий чугунный камбуз, – он хвастался им в последний вечер, – а дымовую трубу вывел во внешние, прилегающие к стенам, комнаты, герметически закупорив две внутренние. Люк в подвал был в одной из них.

Еще накануне, слушая грузина, Сормов сообразил, что внешние комнаты должны были иметь выход для дыма: иначе в подвале

задохнулись бы. Этим выходом могла оказаться простая форточка.

– Если грузин сейчас топит, мы эту щель найдем, – подумал Сормов.

Взяв Раису Николаевну за руку, он, наклоняясь к ее закрытому лицу, крикнул: «Утиная голова». Женщина поняла, кивнула и пошла рядом. Еще раз они перебежали улицу, боясь подвергнуться вторичному обстрелу из дома-термоса и уже шагом, – физическое напряжение не прошло даром, они задыхались, – пошли по знакомой дороге.

Город был мертв.

Северное сияние мерцало, не рассеивая мрака. В той стороне, где пылало несколько домов, еще слышались стеклянные хлопушки выстрелов, но уже надвигалась бездыханная тишина ледяной смерти.

Свернули в переулок; здесь трупов почти не было, но зато и тишина царила невыразимая. В одном окне нижнего этажа, совершенно обледенелом, был виден свет, – жалкая, мерцающая желтизна. Кто-то боролся со смертью, сжигая последние остатки угля.

Раиса Николаевна замедлила шаг и постучала в окно.

Постучала так, просто: жизнь, последняя жизнь на земле, подала знак другой жизни. Но за окном свет сейчас же погас: человек, сидевший у огня, испугался.

Вышли на главную улицу и приблизились к пожару. Пересекли ее. Сормов на минуту замер...

На каменном приступке подъезда великолепного особняка иностранного консульства в своем сыром дождевике сидел и смотрел на пожар поэт Зыбин. По лицу ползали красные отсветы зарева, глаза были открыты, руки зябко засунуты в рукава и прижаты к груди.

Раиса Николаевна, вздрогнув, схватилась за рукав Сормова. Потащила в сторону...

Лицо мертвеца, казалось, улыбалось...

Опять переулок, поворот на широкую базарную улицу и, наконец, между цинковыми низкими пакгаузами, – тупая крыша «Утиной головы». Дом был невредим, – не было охотников проникнуть в эту малонаселенную часть города, да и небольшие, в сущности, запасы кабачка никого особенно не привлекали.

Путники остановились. Над крышей дома, со стороны двора, спокойная, прямая, поднималась струя дыма. Но как было войти во двор? Ворота оказались заперты изнутри, высокие железные ворота в гладкой ледяной стене. Осталось одно, – разбить звено стекол в ближайшем окне, пролезть в отверстие и затолкать его меховыми мешками, приспособленными для дыхания. В них не было теперь надобности.

Так и сделали…

Во внешнем кольце комнат от каменноугольного дыма першило в горле, но уже было значительно теплее.

– Кажется, спасены! – еще не веря, но уже радостно вслух подумала Раиса Николаевна. Но Сормов оставался угрюмым; в струе выходящего дыма он отогревал маленький замерзший браунинг.

А под полом, в угольной яме, у жарко топившейся печки-камбуза в одном белье сидел грузин и, время от времени, отхлебывая из горлышка бутылки терпкое вино, – хриплой фистулой напевал грузинскую песню.

Вдруг он поднял выпученные белки к потоку, – в них блеснули страх и недоумение: над своей головой он услышал шаги. Выругавшись, он стал быстро одеваться.

Ощупью, опасаясь нарочитых препятствий и ловушек, вытянув вперед руки, продвигался Сормов; за ним, держась за его доху, следовала Раиса Николаевна.

Они прошли через гулкую общую залу, и теперь перед ними был узкий коридор с выходящими в него дверями маленьких кабинетов. Он пугал путников, но нужно было продолжать поиски лазейки во внутренние комнаты. Сормов понимал, что грузин не имел причин радоваться гостям. Прежде всего, это были лишние рты, во-вторых же, он, ничего не зная о намерениях посетителей, мог заподозрить в них угольных грабителей и разделаться с ними, расстреляв из какого-нибудь отверстия, преднамеренно открывающегося.

Поэтому Сормов решил дать знать о себе.

– Сократий! – закричал он. – Гоп, гоп!.. Сократий!

Так дело, по крайней мере, ставилось на чистоту.

Голос художника гулко прокатился по пустым комнатам: где-то скрежещущим шорохом посыпалась штукатурка. Сормов почувствовал, что женщина прижалась к нему и дрожит.

– Кто там? – после короткой паузы услышали они почти рядом с собой.

Впереди была дверь, – художник вспомнил ее, – с падающим люком-столиком, через который из буфетной подавали в ресторан посуду. Видимо, грузин сторожил, приоткрыв люк.

– Художник Сормов и женщина!

Щелкнула дверца, открытая совсем: желтый колеблющийся свет свечи широким косым столбом лег на противоположную стену коридора.

– Лезьте! – спокойно сказал грузин. – Женщина – это хорошо.

Комната, в которой оказались Сормов с Раисой Николаевной, была превращена в кладовую, наполовину заваленную углем; тут же стояли мешки с мукой, вино в бутылках и бочонках, жестянки с маслом и консервами; мясные туши занимали целый угол.

Хотя через эту комнату проходила, местами докрасна накаленная, железная печная труба, температура здесь была ниже нуля: вода в огромных цинковых баках – их было шесть – подернулась льдом.

Но из соседней комнаты, дверь в которую осталась открытой, тянуло благодатным теплом. В полу красным четырехугольником зиял люк, как провал в преисподнюю.

Грузин, поставив свечу на бочонок, поспешно закрыл люк. Он был в дорогой песцовой шубе, накинутой поверх белья. В правой руке он держал длинноствольный тяжелый револьвер.

– Женщина – это очень хорошо! – повторил он.– Очень хорошо! Ядвига убежала с этим, с Зыбиным. Теперь, конечно, – сосулька... Но и ты пригодишься, душа, – снисходительно обратился Сократий Иванович к Сормову. – Ты слугой будешь.

Сормов взглянул на Раису Николаевну: она спокойно освобождалась от внешних меховых покровов, вытряхивая наполовину истлевшие японские самогрелки. Казалось, ничего не поняла.

Они вошли во вторую комнату, столь же заставленную, как и первая. Здесь было очень тепло: из люка подземелья шел сухой багровый жар.

Грузин объяснял: сначала он пользуется лишь припасами и углем из первой комнаты, затем, если холод станет невыносимым, он закупорит дверь и сосредоточит все запасы во второй.

– Потом – туда! – ткнул он пальцем в подземелье. – Можно долго продержаться!

Говоря это, он резал мясо, хлеб; потом налил две большие рюмки коньяку.

– С морозу – хорошо!

Раиса Николаевна уверенно поднесла рюмку к губам и выпила залпом. Потом стала жадно есть. Взгляд художника отметил острую красоту ее профиля и твердость движений.

– Предаст она меня или нет? – подумал он и только сейчас, впервые за все это время, вспомнил о трех выстрелах из револьвера, данного ему Раисой Николаевной. Теперь этот револьвер, уже согревшийся, лежал, в его кармане, и рука, как бы привычным жестом, тянулась к нему. Сормов знал, что слугою он не будет. Он знал, что эту темнолицую, молчаливую женщину он, живой, грузину не отдаст.

И словно поняв все, что делается в душе спутника, Раиса Николаевна повернула к нему голову и, заглянув в глубину его глаз, в расширенные злобой зрачки, ласково спросила:

– Устал, родной?

Сормов вскинул на нее благодарные глаза. Но она взглядом же остановила его, словно сказав: «Тише!»

Сормов понял и разом успокоился. Грузин был огромен и страшен яростью и физической силой; но их двое, – с ним женщина, любящая и безжалостная, как дьявол. Они сильнее.

– Половина второго дня! – зевая, говорил грузин. – А может быть,

ночи. Все время пил и спал, спал и пил... Спутался.

Он тяжело дышал от жары, от выпитого спирта. Багровое круглое лицо текло вниз складками сорокалетнего жира. Щеткой седеющей щетины пробивались щеки, и пахло от него чем-то острым, как от зверя в клетке.

Вот он полез вниз, подкладывать уголь в камбуз, потрескивающий и завывающий внизу. Выло в трубе над головами. Сормова клонило ко сну. Нестерпимо хотелось спать; он пересел на какие-то мешки, готовый рухнуть в сон, как камень в колодец.

Засыпая, он слышал голос Раисы, становившийся неясным, как бы удалявшийся:

– ...Подумай, в два-три дня исчезнет все, что накапливалось миллионами лет. Может быть, останутся жить инфузории, микроскопические споры, жизнь будет тлеть в состоянии анабиоза и уж никогда не поднимется на высоту организованности солнечной эпохи. А может быть, землю тянет к себе огромное мертвое светило, и скоро, от невероятного толчка, земля превратится в бледное пятнышко туманности...

– Она – умная,– подумал Сормов и уснул.

– Спит? – спросил грузин, вылезая из подземелья.

– Уснул,– тихо ответила женщина.

Ее глаза были зорки; грузин приближался, распахивая шубу и обнажая сползающее с жирного тела белье.

Суд

Шли третьи сутки сиденья; вторую комнату пришлось еще накануне заделать: холод в ней становился нестерпимым. Оттуда перекатили баки со льдом из питьевой воды.

Окончательно спутали дневные часы с ночными; просыпались и вставали, как попало, и все-таки, по привычке, заводили карманные часы. У Сормова была половина шестого, у грузина шел третий час. Наконец, напившись, грузин швырнул свои часы в камбуз.

Художник, чтобы упорядочить жизнь, предложил вставать и ложиться в определенный час. В зависимости от этого назначалось и время обеда. Сормова категорически поддержала Раиса Николаевна. Жизнь требовала определенной организованности, иначе подземелье грозило превратиться в зловонную звериную конуру.

Напиваясь, грузин был нестерпим.

Кроме того, его тянула женщина. Огромное жирное тело, позабывшее стыд, откровенное во всех своих естественных отправлениях, ставило вопрос ребром. Проснувшись после своего сна в первый день прибытия в кабачок, Сормов понял, что между грузином и Раисой что-то

произошло.

Грузин был свиреп и настойчиво предлагал Сормову сейчас же приняться за переноску угля из второй комнаты в первую. Раиса Николаевна казалась спокойной, но глаза ее, – Сормов ясно видел это, – сторожили каждое движение грузина.

Потом – как будто обошлось. Грузин непрерывно пил, напившись, – плакал, но даже в пьяном виде к женщине не приставал: казалось, он боялся ее. Грязный, полуголый, он отравлял жизнь.

В момент, к которому относится наш рассказ, в подвале все спали. Раиса Николаевна и Сормов лежали по одну сторону камбуза, грузин – по другую, Камбуз выл огнем; сквозь щели в дверце, сквозь неплотные круги вьюшек вырывался красный мерцающий свет; несмотря на жару от печи, из углов, где высились груды угля, острыми, колючими струйками пробирался холод, – земля начинала промерзать.

Грузин проснулся и натянул на себя сползшую шубу. Потянулся к бутылке, отпил несколько глотков и, открыв себя к стороне печи, стал греться. Огромные рачьи глаза красновато отблескивали.

Грузин слушал и смотрел.

На соседнем матраце, покрытая мехом, свернувшись, спала Раиса Николаевна. Блестящие глаза упрямо уставились на нее.

– Мой дом, мой уголь, мой хлеб, – думал грузин, – женщина – моя. Теперь она не хочет, потому что – Сормов. Если его не будет, она станет моей.

Воображение грузина приподняло доху над женщиной. Мягкое, молодое, теплое тело. Душистое, как только что выпеченный кавказский хлеб. И он, хозяин, привыкший так просто брать женщин, заходивших в ресторан, не может даже приблизиться, пересесть на соседний матрац... А через несколько суток – несомненная гибель от холода, от ледяной смерти.

Грузин не в силах был этого вынести.

Стараясь не скрипеть пружинами, он приподнялся на матраце.

Сделал вид, что поправляет огонь в камбузе, подложил угля. Взял маленький стальной топорик, которым колол растопку. Пять-шесть шагов вправо, верный удар по голове, – и художник забьется в последних конвульсиях.

Шаг…

Раиса Николаевна повернула голову; глаза по-кошачьи пристальны.

Шаг… Грузин ясно видит всю фигуру спящего.

Шаг… Грузин приподнимает топорик… Но за ним – развернувшаяся пружина: гибкая, наклонившаяся назад для удара, фигура Раисы Николаевны…

Грузин рухнул, чуть не опрокинув камбуз. Бутылка разбилась вдребезги; кровь смешалась с кахетинским. Вскочил проснувшийся

художник.

– Зажги свечу! – крикнула женщина. Она, нагнувшись, завладела уже револьвером грузина.

– Он – на тебя?.. Он… – бормотал Сормов, опуская предохранитель браунинга. – Будет!.. К черту его!..

– Осторожней, – он может очнуться.

Действительно, грузин застонал, приходя в себя. Замотал головой, под которой на матраце расплылось темное пятно. Но он был совершенно обессилен.

– Что же теперь? – весь дрожа, спросил Сормов.

– Что? Убить! – крикнула женщина.

– Не могу! – простонал Сормов, опуская револьвер. – Может быть, не надо? Он истекает кровью. Он беспомощен.

– Пусть так! Я не хочу, чтобы он был здесь. Пойми, мы живем последние часы. Это ужасное животное мешает мне любить тебя.

– Но, Раиса, мы же перестаем быть людьми.

– Неправда! Мы без него забудем то, что превращает нас в животных, – страх перед гибелью. Этот человек своей нечистоплотностью, скотством отравляет мне последние минуты жизни. Ты… не можешь?

– Раиса… Ведь, это будет третий!

– Те все равно бы умерли.

– Родная!..

Но зашевелился грузин. Застонал, плача:

– Я – хозяин, а не вы… Мой хлеб, мой дом… Как же меня можно убивать?.. Вы ответите, – разбойничать не велено никому!

Огромный, в окровавленном белье, он был до слез жалок и отвратителен.

Лупоглазые белки поворачивались медленно, с прискорбной укоризной; вялое тело медленно и страшно поднималось на матраце, стараясь сесть. Может быть, он сошел с ума…

Слова из черного, по-рыбьи открывающегося рта вылетали нелепые, детские. Грузин грозил.

– Вы ответите, – настаивал он: – разве можно бить хозяина!?

Становилось нестерпимо. Раиса Николаевна презрительно улыбалась.

Сормов выстрелил…

Кошмар бреда

Был день – или ночь? – Счет времени, связанный с солнцем, окончательно запутался, – были жестокие, медленные часы, когда, казалось, ледяная смерть решительно опускает в подвал свою беспощадную руку, ища спрятавшихся. Словно в агонии, металось пламя в

камбузе: казалось, даже оно замерзало; бледно-желтые языки огня, вытянутые тягой в узкие жала, превращались в мертвые, негреющие ленты, цветом напоминающие серу.

Сжавшись под мехами, Сормов и Раиса Николаевна были уверены в близком смертном часе. Что могло отвратить гибель? Откуда можно было ждать чуда?

Вдруг температура выровнялась; камбуз завыл уверенно и низко; огонь окрасился в обычный красноватый тон. В погребе стало жарко, открыли люк; опять явилась возможность пользоваться первой комнатой, за время приступа холода превратившейся в настоящий ледник, в ледяную пещеру: лед местами едва ли не на четверть покрыл стены и теперь медленно таял.

Откуда шло тепло? Маленький камбуз уже решительно боролся с морозом, и победа, по всем признакам, была на его стороне. А это могло случиться, конечно, лишь в том случае, если температура воздуха поднялась.

К Раисе Николаевне вернулась любовь к порядку.

Хаос, внесенный в их жизнь нечеловеческим холодом, уступил место обычным требованиям. Вновь комфортабельно расположили сдвинутые к печи матрацы, освободили среднюю часть подземелья, сделали постель из груды мехов, которыми укрывались.

– Как думаешь, что значит это тепло? – спрашивала Раиса Николаевна, она откупоривала консервную банку с замерзшим персиковым компотом. – Я верю, что мы приближаемся к солнцу.

Сормов не думал этого. Температура не возрастала непрерывно. Слегка поднявшись, она, все-таки, за стенами дома была, вероятно, нестерпимо низкой.

– Ну, не солнце!.. Пусть – что-нибудь другое... Во всяком случае, мы можем любить друг друга, не корчась под одеялами.

Для Раисы Николаевны это было уже много.

Беззаботно веселая женщина извлекала из своего сильного тела все возможности необыкновенной любви. О мертвом городе, о ледяном доме, о трупе над ними, – обо всем, что в часы самого острого наслаждения не переставало угнетать Сормова, – она не помнила. Багровый зной, гудение камбуза, прикосновения обнаженного тела к нагретым мехам, мертвая тишина, распростертая над ними и даже, быть может, самая обреченность, делающая нелепой бережливость здоровья, – все это заставляло тело искать непрекращающихся наслаждений. Оно пело, как скрипка в руках сумасшедшего виртуоза, готового последним ударом смычка оборвать струны.

Когда усталость овладевала телом, Раиса Николаевна зажигала в рюмке зеленый шартрез и, как инкуба, глотала синее пламя ликера, чтобы

быть опять неутомимой.

Иногда, в минуты все чаще приходившего упадка духа, в минуты тоски о солнце, в тягучие приступы сердечного страха, – Раиса Николаевна казалась Сормову ведьмой: но черные глаза, уже глубоко запавшие в синеву, приближались, нагое, красное в отблесках печи, тело двигалось нежными округленностями, и страсть, казалось, утоленная, опять требовала того, что казалось до дна не исчерпанным.

– Пусть не угаснет память во вселенной о страсти, перешедшей за предел! – продекламировала Раиса Николаевна.

– Что? – удивился Сормов, пораженный жестокой приложимостью строк к их смертельному заточению.

– Это – Брюсов, – ответила Раиса Николаевна. – Разве ты не знаешь?

И она прочла все стихотворение о помпеянке, в объятиях возлюбленного забывшей о гибели города.

– Ты понимаешь, – медленно, словно смакуя, говорила Раиса Николаевна, – они были так счастливы, что забыли Везувий со всей его лавой. Перед великолепием наслаждения – чем была эта глупая гора с ее огнем и пеплом? Собачонкой, лающей на большого задумавшегося человека. Взглянул – и забыл...

Она губами перелила жгучей, маслянистый ликер в рот художнику. Легла в его руки тяжелым теплым телом. Продолжала почти во сне:

– Я любила лишь людей, забывающих о необходимом. Не все ли равно, что заставляет человека незаметно вступать в гибель? Архимед, под мечом воина думающий лишь о чертеже; офицер, пускающий карьером коня на проволочный редут; врач, пробующий на себе чумную прививку, – они равноценны...

Угадала по движению Сормова, что он хочет возразить.

– Знаю, милый!.. Они жертвовали собой ради другого... Человечество, наука и еще что-то. Нет!.. Порыв не допускает мыслей, рассуждений, он – только жест, дающий удовлетворение.

...И опять темная дыра подвала запылала багровыми огнями. Маленькое, верткое слово «страсть», – затертое миллионами губ, вновь приобретало свою первоначальную значимость – наслаждения, сочетанного с болью разрушаемого им тела.

Сколько ночей, сколько дней, ничем не отличавшихся от ночей?!

Два тела, крутясь, полетели в лишенный времени провал. В нем – испепеляющие ощущения, острые, как глубоко вонзающиеся иглы; и – душная тьма.

А потом что?..

***

Раиса упала навзничь...

Охваченный страхом, желая помочь и еще не веря тому, что вторично шло в душную угольную яму, – Сормов неловкими движениями стал поднимать Раису Николаевну.

– Оставь, – тихо сказала она.

– Дай воды...

Грудь ее то высоко поднималась, то почти на минуту оставалась без дыхания. Глаза были открыты, – внимательно, ласково смотрели на художника.

– Милый, ты останешься один. Прости меня... – и, после паузы – Не клади меня рядом с грузином... – Грудь невероятно высоко рванулась вверх, и вдруг глаза, сразу разрушая всю красоту молодого женского лица, безобразно, как у удавленника, выступили из орбит. Грудь упала и осталась неподвижной... Тяжелые, словно слоновьи, затопали над головой ноги.

– Грузин!.. – взвизгнул Сормов, отскакивая от трупа. Надо было бежать, и художник, почти расплющиваясь, повалив стоймя поставленный диванный матрац, прижался к холодным угольным глыбам.

А грузин уже лез в люк. Ноги в окровавленных кальсонах свесились вниз и неуверенно искали упора. Вот он появился весь... Белый, с темными кровавыми пятнами на рубашке, со страшной изуродованной головой.

– Вот, и опять будем жить втроем, – сказал он, садясь на свое обычное место, справа от печки. – Разве можно убивать хозяина?!

Медленно, с трудом, хрипя и ворочая белками закатившихся глаз, – словно ища ими Сормова, – приподнималась и Раиса Николаевна.

– Боишься? – хриплым, старушечьим голосом спросила она.– Подойди же, дурачок. Теперь тебе со мной будет лучше.

– Ложись!.. – крикнул Сормов. – Это позор!.. Ложись! Будь мертвой...

Еще сильные отпрянув, он до острой боли вдавил в тело шершавые зубья угольных глыб.

Мертвецы смеялись тихим, ласковым смехом. Они повернулись друг к другу и уже не обращали внимания на Сормова.

– Теперь ты будешь меня любить? – вялым голосом спросил грузин.

– Конечно, – Раиса Николаевна говорила также вяло. – Ты мне всегда нравился. Ты лучше его. Он верит в Бога, а я – ведьма. Он не догадывался об этом...

Покойница встала, шатаясь, и, нагая, злобно взглянув на Сормова, заскользила к грузину.

– Я знал, что ты ведьма! – крикнул Сормов. – Мертвые – при живом!.. Если хоть минуту любила, – оставайся мертвой!..

Он бросился на покойницу...

Раздался грохот, – женщине показалось, что это вскочил грузин.

Хрестоматия

Красное светило

Люди в легкой меховой одежде с треском выломали дверь в первую комнату. Растаявший лед образовал огромные лужи на полу. Желтые световые конусы электрических фонариков сосредоточились на белой, уже разлагающейся, груди.

– Труп, – сказал первый из вошедших. Голос был скрипучий, профиль каменный, эсквайерский. Поблескивали очки.

– Это ведь Сократий, Павел Васильевич! – равнодушно заметил второй из вошедших, заглядывая через плечо. – Нужно ломать дальше. Судя по дыму, люди, все-таки, есть.

Затрещала вторая дверь. Подавалась легко.

Опять забегали желтые световые конусы фонарей. Но вошедшие не успели ничего разглядеть. Они услышали женский голос.

– Кто там?

– Люди, – ответил Павел Васильевич.

– Тогда помогите! Меня душит сумасшедший!

Каждая женщина, уцелевшая на земле, – была драгоценностью. Давя друг друга, вошедшие бросились в яму. Мужчина, совершенно нагой, душил нагую женщину. Он рычал и кусал ее, и наносил удары.

– Ты – мертвая! – кричал он. – Зачем же ты встала!? Любовь мертвецов при живом, – ведь это же мерзость!..

В левой руке у женщины был револьвер.

– Почему же вы не стреляли? – спросил скрипуче Павел Васильевич, когда Сормов был связан.

И женщина тоскливо ответила:

– Я тоже боялась, что два мертвеца придут любить меня.

– Вас будут любить живые, – не понимая, заметил спаситель.

– На много тысяч верст спаслось едва ли более пятидесяти женщин. И это – на семьсот мужчин. Вы – самая красивая из них.

О том же, что он в сумасшедшем узнал приятеля, Павел Васильевич не счел нужным заявлять: кого это могло интересовать?

Сормов, связанный, дрожал в углу; волчий взгляд его был жалок и затравлен.

Но людей так мало осталось, что даже сумасшедший представлял ценность. Поэтому его и не пристрелили. А может быть, о нем забыли, глядя на прекрасное тело медленно одевающейся женщины.

А над городом стояло большое желтовато-красное светило. В тени было еще холодно, но на припеке снег плавился, и по улицам по-весеннему бежали ручьи, омывая скорченные, всюду валяющиеся трупы.

Земля, пролетев огромное пространство, нашла новое солнце и уже вращалась вокруг него... Лето ли было, или зима, спасшиеся еще не знали, но светило правильно всходило и заходило; – только сутки стали теперь короче.

И, все-таки, земля была пустынной. Погибли звери и птицы: уцелело лишь несколько пар овец и коров. Они спаслись в глубокой каменноугольной шахте, в двадцати верстах за городом, куда их затащили люди. Шахта сохранила жизнь большей половине спасшихся. Впрочем, остались и птицы, – голубь и голубка: ребенок на своей груди пронес их в шахту.

***

– Ну, как? – спросил Грызин, когда Сормов, дочитав последнюю страницу рукописи, подравнял листы на ладони и положил их на подушку кровати, на которой сидел.

Опустив на прекрасные глаза свои черные изогнутые ресницы и наблюдая сквозь их решетку за натянуто-спокойным, окаменевшим в ожидании приговора лицом репортера, художник ответил:

– Очень хорошо, но...

Напряжение, судорогой «тетануса» сковавшее мышцы лица Грызина, мгновенно исчезло. Он вздохнул, как человек, скинувший с плеч тяжесть. Заулыбался радостной и чуть-чуть жалкой улыбкой. Он был награжден, «но» его не смущало.

Что бы ни стояло за этим «но», оно было уже второстепенным: самолюбие писателя уже не пострадает.

– Хорошо, но, знаешь ли, эту вещь «Красное Знамя» не напечатает! – решительно сказал художник.

– Ты прав! – торопливо от нервности и как будто даже радостно заговорил Грызин. – Товарищ Скоблин, ты знаешь его, – наш редактор... Он то же самое сказал: «Хорошо, но напечатать не могу».

– Вот, видишь. Тебе надо было бы показать, какую организованность проявил пролетариат в момент этой катастрофы, так мастерски тобой изображенной. Ведь, он это тебе сказал?

– Да, да! – озабоченно развел руками Грызин. – Именно – это. «Вы, говорит, центром повествования сделали эротические переживания этой дамы и Сормова»...

– Мою фамилию, пожалуйста, выброси! – вспомнил художник.

– Хорошо... «эротические переживания этой дамы и Сормова, а о героизме рабочих, об их организованности, несомненно, проявленной в эти минуты, вы почему-то ни слова не сказали». По его мнению, повесть надо переделать, и тогда она станет замечательным произведением. Он так и сказал, ей Богу!

– Ну, что же, – за работу? – равнодушно спросил Сормов, уставший от чтения и от мало интересовавшего его литературного разговора. Грызина он считал бездарным, и рассказ его ему не понравился.

– Да, я рассказ переделаю, – с готовностью согласился Грызин. – Как

же, обязательно! Да, да, я покажу героизм рабочих...

Он соглашался, потому что был благодарен Сормову за его «Очень хорошо!». Повесть его уже не интересовала, да и знал он, что не сумеет ее переделать так, как ему советовали.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. № 35. С. 1-2, 4-5; № 36. С. 1-2, 4; № 37. С. 1-2, 4-5; № 38. С. 1-4; № 39. С. С. 1-2, 4-5.

ЗОЛОТОЙ ЗУБ

Комендант тыла 25-го армейского корпуса, мрачный, всегда угрюмый полковник Сотов говорил почтительно вытянувшемуся перед ним командиру комендантской роты, узколицему, стройному подпоручику Быстрицкому:

– Предприятие, как сами изволите видеть, довольно безнадежное. Примета единственная: три золотых зуба в верхней челюсти, слева… У кого теперь нет золотых зубов! Даже цвет волос не указан… Хотя и правильно: долго ли волосы перекрасить?

– Но, господин половник, там ведь и еще кое-что есть, – вежливо остановил начальника подпоручик. – В бумаге указано: молодая, хорошенькая, выдает себя за сестру.

И Быстрицкий указал рукой на белевшую на столе четвертушку исписанной бумаги с четко выведенным и подчеркнутым вверху, над текстом: «Совершенно секретно».

Сотов кисло улыбнулся.

– Вы сколько времени не были в отпуску, поручик? – неожиданно спросил он.

– Более полгода… Да, восемь месяцев! – высчитав в уме, несколько удивленно ответил молодой офицер.

– То-то и оно! – вскинув седые косматые брови, многозначительно буркнул комендант. – Скажите, пожалуйста, какая не очень старая и не слишком безобразная женщина не покажется вам привлекательной? А?

Быстрицкий улыбнулся, качнув вперед стройное, вытянувшееся «по уставчику» тело, и от этого движения серебряные савельевские шпоры издали жалобный подтверждающий звук.

– Однако, – вдруг свирепо закричал комендант, звонко шлепая ладонью по секретной бумаге, – хоть данные контрразведки и ничтожны, но поймать бабу надо… И вы, поручик, ее поймаете. Что?

– Есть, господин полковник! – по-морскому, что было модно в штабе, отрубил Быстрицкий.

– Конечно! – прохрипел Сотов. – И каждый день, пожалуйста,

докладывайте мне, что предпринимаете.

И офицеры расстались.

Сотов отправился обедать в собрание, где солдат-официант предложил ему на выбор «бивштекс» или «строганов», а Быстрицкий пошел совещаться с фельдфебелем своей роты, хитрым, щуплым сибиряком Иваном Трофимовичем, что он обычно делал в трудные минуты жизни.

***

Прежде чем продолжать рассказ, необходимо познакомить читателя с содержанием той бумажки с надписью «Совершенно секретно», что мы видели на столе коменданта.

Содержание ее было немногословно, несложно и даже не очень необычно. Каждый месяц армейская контрразведка рассылала по штабам корпусов бумажки приблизительно аналогичного содержания.

В данном случае контрразведка писала:

«По сведениям агентуры, через Швецию в Россию два месяца назад прибыла германская шпионка Эльза Шрирер. Германским генеральным штабом указанной женщине дано задание обслуживать Владимиро-Волынский участок фронта, а следовательно, она должна появиться в районах расквартирования 25-го или 43-го армейских корпусов. Приметы Эльзы Шрирер: три золотых зуба вверху рта, слева. Молода, хороша собой. Говорит с легким польским акцентом.

При совпадении вышеуказанных примет на какой-либо из женщин (так и сказано), проживающих в районе расположения корпуса, означенную предлагаем немедленно задержать и препроводить в контрразведку штаба армии».

Иван Трофимович, сухонький, седенький и чистенький, даже в форме фельдфебеля все еще похожий на лавочника (он им и был в Томске, где до призыва из запаса торговал бакалеей), выслушал Быстицкого строго и минуты две молчал, не торопясь высказаться.

– Что же делать-то, Трофимыч? – побеспокоил его наконец офицер, уважавший старика за ум и находчивость. – Надо бы того, поймать бабу! Сам понимаешь, за такое дело и к чину представят, орден дадут. Ну, что скажешь?

Облизнув сухонькие коричневые губки острым язычком и помолчав еще с полминуты, Трофимыч ответил так:

– Это, ваше благородие, дело не трудное. Даже, можно сказать, плевое дело. Однако на него требуется время.

– Ну-ну, а как? – заторопил фельдфебеля Быстрицкий. – Что ты надумал? Говори!

– Да что надумал, ясное дело! – степенно стал докладывать

Трофимыч. – Много ли баб живет в тылу корпуса? Сестры в госпиталях, мамзели на питательных пунктах да приезжий элемент, – щегольнул словечком Трофимыч, – разные там невесты да жены господ офицеров. Я пошлю ребят побойчее – пошарить, которые из них с золотым зубом. Старух, конечно, тревожить не будем…

– Ты прямо Бисмарк, Трофимыч! – пришел в восторг Быстрицкий. – Прямо министерская голова! И до чего ведь все просто. Ну действуй!

И Быстрицкий ушел, пообещав Трофимычу на целый месяц отправить его в отпуск, как только шпионка будет найдена.

Через три дня командир комендантской роты уже держал в руках первые плоды работы фельдфебеля. Аккуратно разграфленный лист бумаги носил заголовок:

«*Список дамского полу с золотым зубом, проживающим в районе тыла 25-го армейского корпуса*».

Быстрицкий впился глазами в листок, даже не обратив внимания на безграмотность заголовка.

Лист был разграфлен на три столбика. В первом – имя и фамилия, во втором – внешние качества в оценке, сделанной «парнем побойче», подосланным Трофимычем, и в третьем – адрес или «часть».

Примерно так:

Анна Сдобышева, сестра. Очень прекрасная. Волосом черна. Дивизионный госпиталь.

Клавдия Пикуль. Личностью не особенная. Пит. Пункт Пуришкевича.

И так далее – всего семнадцать женщин с золотыми зубами.

Внизу подписка:

«Насчет коренных зубов неизвестно, какие они, природные или золотые, потому что в рот антилигентной даме солдату никак не заглянуть. Тут способнее будет действовать г.г. офицерам».

Быстрицкий помчался к Сотову.

Тот к работе Трофимыча отнесся критически.

– По обыкновению своему вы, поручик, к поручению отнеслись легкомысленно, – строго сказал он, поверх очков взглянув на офицера. – Да-с, легкомысленно! Ведь сказано же три золотых зуба, вверху рта, слева. Понимаете?

– Но как же проверить, господин полковник? – взмолился Быстрицкий. – Фельдфебель правильно докладывает. Блестит во рту, а сколько там золотых зубов, кто его знает. Женщина не лошадь, зубов у нее не сосчитать, тем более солдату.

– А вот вы сами и возьмитесь за это дело! – отрубил комендант. – Небось до трех считать умеете?!

Старый черт! – Чуть не вслух ругался Быстрицкий, выходя от

начальника. – «До трех считать умеете»! Я-то умею, да не зубы во рту у посторонних женщин. Сам считай, чертова кукла!

Но того, что началось, остановить уже было невозможно.

Через день фельдфебель доложил:

– В передовой госпиталь, ваше благородие, прибыла новая сестричка. Слева во рту блестит золото, но на сколько оно зубов – никак не мысленно узнать!

– Слева-то вверху или внизу? – недовольно осведомился поручик, которому уже надоела вся эта история.

– Однако, вверху… И собой пригожа. Придется, ваше благородие, вам самим поехать.

Быстрицкий полетел к коменданту.

– Немедленно же поезжайте! – приказал тот. – Как только сосчитаете зубы, установите наличие акцента и прочее, немедленно же – арест…

– Но это же все не так просто, господин полковник! – взмолился обескураженный офицер. – Инструктируйте меня, как технически это осуществить.

– Представляю дело выполнения вашей собственной инициативе! – напыщенно заявил комендант. – Мало ли как! Вы молоды и интересны. Ну прикиньтесь влюбленным или еще что-нибудь. Ну поцелуйте там, того-этого!.. Словом, это дело вашей находчивости и сообразительности!

– Но ведь время же для этого надо, чтобы влюбленного из себя разыграть… Да и взаимности же надо добиться!

Но комендант уже не слушал.

– Отправляетесь немедленно… И даю вам три дня сроку. Каждый день присылайте донесения. И помните, что комкор уже два раза спрашивал меня, почему я держу вас командиром комендантской роты – вас, еще ни разу не раненого! Что?

– Ничего, господин полковник. Я через час еду.

– Да-с, поезжайте. И помните новый приказ по армиям фронта: на тыловые должности необходимо назначать лишь офицеров, признанных после полученных ранений годными к службе по третьей категории. Что-с?

– Так точно! Через полчаса выезжаю. Ввиду специальных особенностей поручения необходимо же мне хоть побриться и надеть новый френч.

– Конечно, конечно! Я так комкору и заявил. Виду исключительных способностей оставить его на занимаемой должности.

И Быстрицкий уехал.

***

Передовой госпиталь имени одной из великих княгинь квартировал в

деревушке Георгиевке, в двенадцати верстах за штабом в тыл. Прифрантившийся Быстрицкий прибыл в деревню к вечеру, когда начинало уже темнеть, и, расположившись халупе, которую занимал караульный пост от комендантской роты, отправился с визитом в госпиталь.

Главный врач, веселый военный доктор, встретил Быстрицкого очень радушно. Конечно, офицер был приглашен ужинать и вообще «бывать», причем были обещаны и спиртяга, и пулька.

Более удобных условий для выполнения «деликатного поручения» Быстрицкий и желать не мог. В этот же день – вернее, в этот же вечер – он должен встретится и познакомится с новоприбывшей сестрой, и самолично убедится в количестве золотых зубов в ее рту, в наличии польского акцента и прочего.

Так и случилось.

К ужину собрался весь «сестрянник». Свежевыбритый, надушенный щелкающий шпорами Быстрицкий был немедленно представлен всем дамам. Молодой поручик, галантный и веселый, имел определенный успех, но явно очарован был лишь одной из них, правда, изящной и стройной, Анной Осиповной Загржецкой, всего лишь три дня как прибывшей в госпиталь из Киева.

Многие сестры даже обиделись.

– И что он в ней нашел? – удивлялись некоторые из них, разойдясь после ужина по палатам и, по женскому обыкновению, шушукаясь. – Конечно, хорошенькая, но ни тела, ни души. Тонка, как жердь, и все молчит. Да и зубы… Девятнадцать лет, а уже вставные!

–Да уж! – соглашались другие. – Уж эти мужчины! Ни капельки у них вкуса!

Быстрицкий же, сидя за столом в халупе комендантского взвода, строчили на листке полевой книжки донесение коменданту. «Господин полковник, – писал он, – с Загржецкой познакомился и, кажется, произвел на нее благоприятное впечатление. Акцент есть. Зуб золотой есть. Блестит во рту как проклятый, но что за ним – ничего не известно. Надеюсь, что завтра зубы сочту. Поручик Быстрицкий».

Написав донесение, Быстрицкий запечатал его в конверт и, обозначив аллюр тремя крестами, отправил письмо в штаб корпуса с ординарцем.

В это же время Аня Загрженская, готовя шприц с камфарой для раненого солдата, только что привезенного с позиций, не без гордости думала о впечатлении, которое она произвела на молодого интересного офицера.

– Глаз от моих губ не отрывал! – замирая сердцем, думала она. – Значит, правда, что у меня рот красивый. И стиль, конечно, у меня

декадентский, строгий. Так и буду держаться – интересничать. Без улыбок, этак – разочарованно…

И, вспрыснув камфару стонавшему солдатику, все время просившему пить:

– А он, видимо, из хорошей семьи… штабной, к тому же. Ну, что ж!..

Пусть теперь читатель разрешит мне привести четыре полевых записки: две – от Быстрицкого к коменданту и две – в обратном направлении, которыми обменялись за два следующие дня Георгиевка и штакор.

От Быстрицкого к коменданту:

«Доношу, что сегодня прогуливался с известной вам особой по деревне Георгиевка и вел разговор о любовных чувствах, и даже жал руку, но известная вам особа хотя и идет, видимо, навстречу, но грустит о чем-то или напускает на себя меланхолию и вовсе не улыбается. Зуб обозначается только один. Жду дальнейших инструкций».

От коменданта Быстрицкому:

«Атакуйте в лоб. Объяснитесь в любви и добивайтесь поцелуя. После этого, если вы не окончательно глупы, нет ничего легче пересчитать не только зубы, а и все прочее. Помните, что комкор два раза справлялся у меня, почему вы не на позициях».

От Быстрицкого к коменданту:

«Вчера на прогулке объяснился в любви и поцеловал. Сейчас же после этого спросил, сколько у нее золотых зубов. Хотя, кажется, обиделась, но ответила, что у нее только одна золотая коронка. Врет она или нет, не знаю. Не могу же я, господин полковник, просить ее открыть рот и залезть туда пальцами. Большего, господин полковник, я сделать не в силах. Как говорили египтяне: «Я сделал что мог; пусть, кто хочет, делает больше». Не жениться же мне, в самом деле, на ней из-за ее золотых зубов. По-моему, надо сделать так: командир корпуса приказал дантисту всем сестрам осмотреть рты… Я же, господин полковник, не дантист, в конце концов!».

От коменданта к Быстрицкому:

«Если же вы столь недалеки, что не можете сосчитать золотых зубов во рту у любимой девушки, – завтра утром возвращайтесь в штаб. Предписание о возвращении вас в полк уже готово. Остается его только подписать».

***

В этот вечер Быстрицкий пришел в госпиталь к ужину мрачный, как туча. Хотя, ввиду его явного ухаживания за Анной Осиповной, место за столом было ему оставлено рядом с нею, но он занял его без всякого удовольствия.

– Что это вы сегодня такой мрачный? – спросила девушка. – Совсем

как будто вас подменили. Что случилось?

– Эх, – вздохнул офицер. – Неприятности! В полк меня отправляют!

– Но почему? Из-за чего?

– До трех считать не умею! – махнул рукой Быстрицкий. – Так… Интриги!

– Вы мне все расскажете после ужина? Мы ведь пойдем гулять, я сегодня не дежурю, – заботливо и участливо сказала девушка, пожимая под столом руку офицера. – Вы ведь не забыли мой вчерашний поцелуй?

– Что поцелуй! Ты бы мне лучше зубы показала! – чуть не выпалил офицер, но вовремя спохватился и, чтобы отделаться, ответил:

– Да, да, конечно… Только… У меня маленький разговорчик с вашим доктором будет.

– Надолго?

– Два слова.

– Ну, я буду ждать вас у крыльца. Хорошо?

И одними губами:

– Милый, милый, ты покорил мое сердце!

«Знаем вас, шпионок! – хмуро подумал офицер. – Небось зубы-то не показываешь».

* * *

У Быстрицкого остался в руках один шанс, последний: откровенно признаться во всем главному врачу и попросить его под каким-нибудь предлогом заглянуть в рот Загржецкой.

Но, доверяя тайну врачу, Быстрицкий рисковал многим. Если об этом узнает беспощадная контрразведка – ему не поздоровится.

Но другого пути уже не было: возвращаться в полк от тихой, безопасной штабной жизни – тоже не сладко…

– Доктор, на два слова, но – по секрету.

– Ради Бога, милый! – с охотой согласился врач и увел офицера за печку. – Ну?

– Доктор, – начал офицер шепотом. – Дело государственной важности! Разрешите взять с вас слово, что то, что я вам скажу, так и умрет с вами?

– Можете вполне! – твердо сказал врач.

Но Быстрицкий не рассказал еще и половины, как врач разразился неудержимым хохотом.

– Ха, ха, ха… – завизжал он. – Зу…зубы считали у Ани? В… в… любви объяснялись? Же… же… женихались? Ха, ха, ха… Шпионка?! Господи, вот насмешил! Лет пять так не хохотал…коньяком за это напою. Ха, ха, ха!..

Быстрицкий стоял совершенно обескураженный.

Справясь со смехом, главный врач наконец заговорил:

– Эх вы, Шерлок Холмсы! Да знаете ли вы… Нет, погодите, постойте…Вам ведь все равно необходимо знать, сколько у нее золотых зубов?! Да?.. Эй, кто там, позовите сюда сестру Загржецкую!

– Доктор, что вы… Ради Бога!.. Вы меня губите! Хоть без меня! – взмолился офицер. – Ради…

Но было уже поздно.

– Я здесь, Иван Петрович, – томно пропела Загржецкая, появляясь в комнате. – Что случилось?

– Ровным счетом ничего. Вы или кто-нибудь другая. Лучше вы, ведь вы, кажется, подружились с этим галантным офицером.

– Да в чем дело, доктор? Ей-богу, я ничего не понимаю!..

– А вот в чем. Солдаты нарочно, чтобы уйти с фронта, портят себе зубы. Офицерам приказано знать, какие зубы как называются. Кто не знает, из штабов – на фронт. Так вот вы и спасите своего приятеля, который так ухаживал за вами эти три дня. Можете вы ему показать свой ротик, а я буду называть зубы.

– О, конечно! – согласилась девушка. – Отчего же нет? Я теперь понимаю, почему он был такой грустный ужином. Бедненький!..

В довершение комедии главный врач дал Быстрицкому карандаш и лист бумаги и заставил записывать латинские названия зубов.

– Знаете, милый мой, что Анну Загржецкую я знаю с детства. Никогда она за границей не была, зуб золотой у нее один, как вы сами убедились, а что самое главное, так это то, что отец ее, известный киевский нотариус, богат, и Анна для вас – подходящая невеста. Продолжайте-ка, дружок, за ней ухаживать!

В этот вечер Быстрицкий писал коменданту:

«Известная вам особа – дочь уважаемого человека. Золотой зуб у нее в ротике только один. Я сделал предложение и получил согласие. Прошу вас, господин полковник, дать мне отпуск на неделю – для поездки в Киев на предмет получения согласия на брак от родителей моей невесты. Так как я секретное поручение выполнил – смело могу сказать – блестяще, то полагаю, что мне не откажете в исполнении этой просьбы».

Комендант ответил:

«Возвращайтесь в штаб. Отпускной билет готов. От контрразведки получена новая бумага, в которой сказано, что в первой она сообщила неверные сведения агентуры. У этой чертовой Эльзы не три золотых зуба, а два, и не наверху, а внизу. Пусть сами и ищут: мы им не зубные врачи!».

***

Всю эту историю мне рассказала сама Анна Осиповна Быстрицкая (конечно, я фамилию изменил), дама, хорошо известная Харбину. Ее супруг, уже отрастивший брюшко, имеет на Китайской небольшой

магазин.

Под сердитую руку, когда муж возвращается домой навеселе или когда она найдет в его кармане подозрительную записку, написанную женским почерком, Анна Осиповна презрительно фыркает:

– Эх ты, золотой зуб! Туда же!

И все же живут они неплохо.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1930. № 11. С. 1–2, 4–5, 7–8.

ЗОЛОТО

I

Дим выбежал на крылечко и, заложив ручки за спину, – зеленая сарпинковая комбинация обтянула сытый животик, – стал любоваться морем, таким легким и голубым в утренние часы, с маленьким черным пароходиком, уходившим к горизонту и тянувшим за собой коричневую косицу дыма. Глаза у Дима были такие же, как и это июльское море, – бледно-голубые, с легкой белесинкой...

Но море было слишком пустынным, и оно скоро надоело Диму. Он перевел взгляд на домики, рассыпавшиеся на сопках по другую сторону бухты. Он знал, что эти домики называются Владивостоком, а он, Дим, живет на Чуркине. Когда же надоели и домики, Дим задом, упираясь ладошками о ступеньки крыльца, слишком высокие для него, спустился в садик и, осторожно ступая босыми ножками, направился к кусту сирени, за которым, он знал, была скамеечка.

Конечно, Дим немного боялся, – ведь не часто ему приходилось путешествовать по садику одному, да и неизвестно еще, как примет его этот косматый шелестящий куст, не сидит ли на скамеечке за ним то неведомое, что в тайфунные вечера грубым голосом воет в трубе... И Дим недоверчиво покосился на кадку под водосточной трубой – в кадке что-то булькало и шуршало.

Дим шел долго и очень тихо, как котенок, – ставил босую ножку и замирал, выжидая. Несколько минут он стоял над травинкой, на которой качался жучок с бронзовой спинкой, долго следил глазами за бабочкой, отыскивавшей над клумбой свою медовую пищу. Из-за куста к скамье он вышел так тихо, что сидевшие на ней хозяин дома Николай Иванович и жена его Липа, Олимпиада Васильевна, даже не заметили приближения ребенка.

– Перекапывать не надо, – похрустывал шепчущим баском Николай Иванович, повернув к жене конопатое лицо. – Не надо перекапывать, и не думай об этом!.. Лежит у забора – и пусть лежит...

– Ближе-то к дому покойнее, – молящим шепотом возражала супруга. – Прямо, Коля, ночей я не сплю – все думаю... Седни видела во сне, будто пес подошел к месту и лапами землю роет... Как хочешь, не к добру это!

– Глупая! – любовно притянув к себе жену, засмеялся Николай Иванович. – Золото не кость, чтобы пес его копал... А у забора лежать ему покойнее – кто туда сунется?..

Дим глядел на супругов, как на жучка, как на бабочку: неотводно, чуть раскрыв ротик. Так смотрят котята, недавно прозревшие.

Потом в белесой голубизне его глазок что-то дрогнуло, осмыслилось, и, всплеснув ручонками, с криком: «Испугал, испугал!..» – он выбежал к скамейке.

И шаловливый крик ребенка был истинной правдой: оба супруга побледнели ужасно...

II

Все в повести было ходульно и лживо. Энтузиасты-ударники восхищались новой бетономешалкой в выражениях школьников, которым задано сочинение на тему о наступлении эры социализма. Благонравная рабфаковка словами очередного циркуляра ЦК растолковывала своему мужу значение пятилетки. Влюбленный в рабфаковку инженер-американец начинал прозревать и благоговейно впитывал в пролетаризирующиеся легкие воздух сталинского ренессанса...

Ольга Николаевна бросила книгу на пол и вслух сказала:

– А ну вас к черту... Какая тоска!

Вытянувшись на кровати, она закрыла глаза. Нет, больше так жить невозможно. Бедность и ложь, ложь, бедность и тоска. Собственно, что она такое, она, Ольга Николаевна Рыбникова? Безработная – раз, любовница носатого латыша из Дальрыбы, спеца-инструктора по запаиванию консервных банок, – два. Да и не любовница вовсе. Какая уж тут любовь!.. Всего-навсего – конкубина, «женщина для здоровья», как острят дружки Яунзема, то есть – почти вещь; проститутка по нужде, ибо надеется, что баночник протащит ее на постоянное место в учреждении, – не вечно же лишь случайная работа по вызову биржи труда... Да, жалкие подачки, жалкая плата, нужда и недоедание, ибо последний кусок хлеба, последний метр ситца – не себе, а ему – розовому, кудрявому Димику, ее любви и гордости…

Но где же он?

– Димик!..

Дима не было.

– Дим! – громче крикнула женщина и, сев на постели, прислушалась.

Но уже топали ножки по коридору, и, как всегда, от этого мягкого торопливого стука у матери сладко и тревожно сжалось сердце. Сладко: вот

ходит, бегает – значит, здоров и растет. Тревожно: а что будет завтра, послезавтра, через месяц? И ребенок казался ей, давно покинутой жене, сладкой, но непосильной ношей.

А дверь уже задергали снаружи слабые ручонки, едва достигавшие до дверной ручки, и наконец справились с усилием: матери приятно было видеть, как Дим сам отворяет легкую дверь. Вот и он – вкатился зеленый комочек с улыбающимся милым ртом, сейчас перепачканным чем-то коричневым…

С ужасом в голосе и глазах:

– Дим, что ты ешь?

И тут же удивленно поняла: шоколад!..

– Кто тебе дал, Дим?

– Тетя! – Дим с трудом ворочает языком в размякшей сладости. И, проглотив ее: – Ма-мо-чи-ка, что такое золото?

– Золото и есть золото. – Мать никак не ожидала такого вопроса. – Знаешь, такое… Ну, блестит, как эта дверная ручка…

– А зачем дверную ручку закапывать в землю?

– Дим, что ты бормочешь? – испугалась мать, опускаясь перед сыном на колени и одной рукой, с платком, вытирая ему ротик, а другой, левой, щупая лоб: не жар ли?

Но лобик Димика был прохладно-теплым, жара не было.

III

Июльский полдень переполз через бухту и сжег все тени. Трехоконный домик белел под скалою неистово, и неистово звенели кузнечики. Диму казалось, что это звенит у него в ушах, как полгода назад, когда он сильно был болен. И Димик ковырял мизинчиками то в правом, то в левом ухе, думая выковырять оттуда звон. Но на мизинчиках ничего не было, а звон все звенел. И тогда, чтобы перекричать надоевший звон, Дим запел песенку, которую тут же сложил:

Золото, золото,
Золотое золото,
Золотая мамочка,
Золотая тетичка,
Золотой воробушек…

Голос ребенка был звонок – песенка была услышана на кухне. Чистившая красноперку Олимпиада Васильевна закусила толстую красную нижнюю губу и затаила дыхание – сердце от волнения подпрыгнуло к самому горлу и стукнуло перебоем.

Ольга Николаевна даже обрадовалась – «так оно и есть», – но и виду не подала. Засмеялась:

– Сегодня, знаете, мой Димик с утра о золоте болтает… Даже вот

песенку сложил.

И обе женщины внимательно посмотрели друг на друга. Ольга Николаевна ласково и спокойно, словно спрашивая: «Правда?».

Олимпиада первая опустила глаза, выдала себя и лишь через секунду – такую долгую – усмехнулась, колыхнув обильной грудью:

– Уж дети, они такие… Услышат слово и носятся с ним.

И, справившись, наконец, с сердцем, рассказала, как какой-то мальчуган, при котором родители не поостереглись, разболтал своим сверстникам, что у его отца есть припрятанное золото. Ребятишки разнесли это дальше, и пошла писать губерния…

– Полгода по тюрьмам мотали, – закончила Олимпиада свой рассказ, очень довольная тем, что сама перешла в наступление: не про мамашино ли золото болтает мальчишка? Ольга Николаевна смотрела на хозяйку просто и открыто, и та, успокаиваясь, подумала:

«Нет, не разболтал еще Димка про то, что услышал. Забудет, поди… Обойдется».

Но вечером, когда муж вернулся из порта, где он служил по охране, и супруги пили чай в садике, Дим вышел на крылечко, постоял, поглядел на море, вздохнул и сказал:

– Тетя, а золото, оно какое? Всегда золотое?

Николай Иванович поперхнулся, у Олимпиады опустились руки, и заныло внизу живота. Надо было что-то предпринимать, и предпринимать, не останавливаясь ни перед чем.

IV

Ночь пришла красивая, синяя, со светящимися мухами, вспыхивающими как крошечные электрические фонарики. Далеко за бухтой сиял город, и отражения его огней каплями золотого масла растекались по черной воде. Иногда из города долетал мягкий рокот медных труб, игравших «Интернационал».

Уходя в свою комнату, Ольга Николаевна сказала хозяйке:

– Завтра я на биржу пойду, Олимпиада Васильевна… Уж вы не откажите посмотреть за Димиком…

– Хорошо, – ответила та и вдруг испугалась так, что задрожали руки, и, чтобы не выдать себя, она спрятала их под передник, крепко сцепив пальцы.

– Конечно, присмотрю… Не впервой!

«Что это она будто в лице изменилась?» – подумала Ольга Николаевна, но ничего не сказала, только молочную бутылку без нужды переставила со стола на окно. И, пожелав спокойной ночи, ушла к себе.

Дим уже давно спал, голенький, – сбросил с себя одеяльце и раскинул ручонки. Дышал глубоко и спокойно. Ольга Николаевна хотела его

поцеловать, но побоялась разбудить и только блаженно на него посмотрела.

Стала раздеваться, стараясь не шуметь. Снимая кофточку, почувствовала ладонью твердую тяжесть своих грудей, и мелькнула грустная мысль о нелепо уходящей молодости. Вздохнула. Провела ладонями по прохладным бедрам. Подумала с горечью:

– Вся продажная!

Погасила свет и легла. Лежала с открытыми глазами и представляла себе: стоит на коленях у забора в садике и роет землю большим кухонным ножом, каким Олимпиада рубит мясо на котлеты. Вот нож чиркнул по твердому…

Ах, даже вздрогнула и чаще задышала.

…Не жалея ногтей, рвет землю руками, и вот он – клад… Наверно, круглая жестяная банка из-под монпансье… Ах, какая тяжелая, какая сладостно тяжелая, – едва вытащила из ямы! Скорей, скорей! Крышка не снимается, приржавела. Поддела острием ножа, и она, не звякнув, скатилась в яму. И вот рука глубоко, почти по локоть, погружается в холодные, скользкие золотые монеты…

«Возьму только одну горсть, – задыхаясь, думает Ольга Николаевна, – только одну горсть, и то не для себя ведь, а для Дима… Имею же я право! Все равно это не их – все это награблено: он ведь в чека раньше служил, все знают… Нет, одной горсти мало, что – одна горсть! Зачем им так много денег!..».

Ольга Николаевна уже сидит в постели; рука ее судорожно загребает байковое старое, давно не греющее одеяло – загребает воображаемые пятирублевики и империалы. Женщина тяжело, как в припадке, дышит, и глаза ее, устремленные на синий квадрат ночного окна, блестят даже в темноте. Она шепчет что-то и похожа на бредящую больную…

* * *

Но шепчутся, шуршат, как мыши, и в соседней комнате, куда в одно из окон заглянула луна и уперлась голубым лучом в портрет лобастого Ленина. Другой глаз портрета в тени, и от этого кажется, что вождь иронически подмигивает…

– По-твоему, она, стало быть, не догадалась? – спрашивает Николай Иванович, укладывая голову на обвившую его шею руку жены. – Не выспрашивала, не подбиралась со стороны, обиняком?

– Нет, этого нету, – шепчет жена. – Ей, кажись, и в голову не пришло. Конечно, ежели ее пащенок будет и завтра талдырить о золоте – тут уж и дурак догадается… И такая у меня злоба на него – своими бы руками задушила!.. Как кутенка, об угол бы!..

Олимпиада от злости задергала ногами.

– Дела! – вздохнул муж. – Чего делать-то теперь? Ежели бы

откупиться, например, дать ей, скажем, рублей сто, и пусть катится в Харбин.

– И не говори ты мне про это! – в злобе вскрикнула Олимпиада и, опомнившись, торопливо зашептала: – Еще чего!.. Самим в пасть лезть? Лучше уж ты выгони меня и живи с ней, с образованной… Только так и знай, – она отпихнула мужа, – и тебя, и себя погублю: донесу!

– Что ты, что ты! – ловя жену, испуганно забормотал муж. – Разве же я к тому!

– То-то, смотри у меня!.. И до чего же я этого сопливого Димку видеть не могу – прямо трясусь!.. Секачом котлетным пузо бы ему распорола! И распорю, ей-богу, распорю, заикнись только он завтра про наш капитал…

Олимпиада трепетала, как от вожделения, и муж жадно потянулся к ней.

Затихли. Лунный луч медленно переполз через лицо Ленина, и вот портрет подмигнул уже другим глазом, левым. Тикал будильник на столе. Посвистывал носом Николай Иванович, безмятежно дышал Дим. Не спали только две женщины, но лежали тихо, не шевелясь, боясь нарушить каждая ход своих мыслей. А на полке в кухне тускло поблескивал лезвием огромный котлетный нож.

V

Утром, через полчаса после того, как Николай Иванович ушел в порт, Ольга Николаевна поцеловала еще спящего Дима, попрощалась с хозяйкой и, завернув в газетную бумагу пару картофельных лепешек, отправилась на биржу, сказав, что, быть может, не вернется до вечера.

Но до города она не дошла. Когда домик скрылся за поворотом дороги, она, убедившись, что никого вокруг нет, повернула обратно, но уже не старым путем, а карабкаясь все выше по сопке, которая крутым скалистым склоном нависала над домиком. Чтобы не быть слишком заметной в кустах, Ольга Николаевна сняла свой старый дождевик, от времени и приморских дождей из синего ставший бледно-голубым, почти белым.

Скоро домик выглянул снова, но уже внизу, чернея старой железной кровлей, с квадратом садика впереди него. Прячась в кустах, женщина подошла совсем близко и теперь, никем не видимая, наблюдала за собственным жилищем…

Расчет ее был чрезвычайно прост и, казалось бы, безошибочен: Ольга Николаевна думала, что хозяйка, потревоженная болтовней Димика, оставшись одна и не ожидая за собой слежки, так или иначе обнаружит место, где зарыт клад. Может быть, она захочет убедиться, цело ли золото, не вскопано ли место; может быть, просто бесцельно подойдет к нему… Пусть даже этого сегодня не случится – Ольга Николаевна придет сюда завтра, послезавтра, через неделю… Но она добьется своего – узнает, где

зарыты деньги… Она сумеет быть терпеливой!

И выбрав место, удобное для наблюдения, Ольга Николаевна села на траву, подстелив под себя плащ. Моральной оценки того, что она затеяла, совесть ее не делала – ни одной мысли не было об этом. Наоборот, в женщине проснулся азарт охотника, выслеживающего добычу, – темный инстинкт. Ей даже стало весело и очень спокойно, потому что в душе ее зрела крепкая вера в удачу.

Далеко в море дымил пароход, уходивший в Японию.

– Буду и я там! – прошептала Ольга Николаевна. – Буду с Димом. Буду, буду, буду!..

И женщина стала упорно глядеть на домик, словно гипнотизируя живущих в нем. Звенели кузнецы в траве, солнце, поднимаясь выше, начинало жечь землю, и шоссированная дорога, проложенная еще царскими военными инженерами, зажелтела атласно, словно шелковая лента. В одном месте недалеко от домика дорогу пересекал белый бетонный мостик, и по обе стороны его, как спичечные головки, торчали столбики. Ими с левой стороны дорога ограждалась от десятисаженного обрыва к морю, которое шумело внизу, темно-синее, почти черное, цвета спелой сливы.

На руке Ольги Николаевны тикали старые часики, звенели, как кузнечик: это шествовало время.

VI

Солнце поднялось уже высоко над сопками Владивостока, когда в садик выбежал Дим, и Ольга Николаевна, увидев его, подумала:

«Хорошо спал сегодня… Как поздно встал!».

Потом вышла на крыльцо и Олимпиада, и Ольга Николаевна инстинктивно подалась назад, хотя снизу ее, спрятанную в кустах, никак нельзя было заметить. Олимпиада сказала что-то Диму, и Дим побежал за нею снова в дом.

На секунду стыд бритвенным лезвием скользнул по сердцу Ольги Николаевны. «Ведь вот, – подумала она, – Олимпиада заботится о Диме, доглядывает, а я, как сыщик, караулю ее опрометчивый шаг».

Но стыд был подавлен, ибо сейчас же всплыло в памяти носатое лицо спеца по заделыванию консервных банок, который будет ее ждать сегодня после службы на скамеечке у бывшего памятника Невельскому. У спеца необходимо было выпросить хотя бы два червонца – на башмачки Диму, – а это было затруднительно, ибо скупой латыш только на прошлой неделе дал ей пятнадцать рублей и предупредил, что до получки у него денег не будет…

VII

В то время, пока мысли эти суетливо сталкивались в голове Ольги

Николаевны, Олимпиада стояла на кухне и соображала. За десять минут до этого мальчишка, ловя на стене солнечный зайчик, опять пролепетал что-то о том, что этот зайчик золотой и его надо закопать в землю…

Вне себя от ярости и в то же время имитируя порыв нежности, Олимпиада схватила Дима с пола и так сильно прижала его к горячему жиру своих скатившихся к животу грудей, что ребенок запищал, отпихиваясь ручонками. Тогда, тяжело дыша, с потемневшими глазами, Олимпиада стала целовать Дима в ротик, и ребенок доверчиво отвечал ей на поцелуи. Потом, не выпуская Дима из рук, женщина почти упала на стул и, посадив Дима на колени, сначала легко, потом все сильнее стала сжимать рукой его нежное горлышко с артерией, пульсирующей как раз под ее большим пальцем.

Сначала Диму было приятно, и он, жмурясь, поднимал подбородок, но когда стало немного больно, он неожиданно, ловко оттолкнувшись ручонками, вырвался и убежал в сад. В этот момент его и увидела мать, прятавшаяся на сопке… Олимпиада была даже рада, что Дим убежал, – от волнения она едва не потеряла сознания.

Придя в себя и успокоившись, Олимпиада поняла, что едва не совершила безумного поступка. Безумие было не в том, что она едва не задушила ребенка, – это доставило бы ей лишь наслаждение, и, гарантируйте ей безопасность, она бы повторила все сначала, но уже с роковым для Дима концом… Не в этом было дело – Олимпиаду устрашало наказание.

Тогда на глаза ей попал тяжелый, блестевший на полке котлетный нож, и она, достав его, взвесила на руке и представила себе, как это холодное широкое лезвие полоснет по горлу Дима… Но в глазах мелькнула струя крови, и кровь напугала женщину…

– Ох, задушила бы, ох как задушила бы!.. – простонала она и заплакала, вытирая слезы полосатым передником. И вдруг простой и совершенно безопасный способ избавиться от ребенка был ею найден.

Утерев слезы, Олимпиада вышла на крылечко и кликнула Дима, – и это видела Ольга Николаевна и чуть было не растрогалась заботливостью об ее сыне… Олимпиада же была теперь спокойна: садистический порыв, неожиданно опрокинувшийся на нее, был исчерпан слезами.

– Димка, – крикнула она, – ступай домой!.. Сейчас пойдем – покажу тебе золото.

И подумала: «Будешь доволен, пащенок лягавый!»

Собственно, звала она Димика домой напрасно – могла бы и сразу вывести на дорогу. Минуты три Олимпиада все-таки медлила, бесцельно передвигая посуду на полке: собиралась с силами.

VIII

Со своей горы Ольга Николаевна увидела, как Олимпиада, держа

Дима за ручку, вышла из садика, и удивилась:

– Куда же это они?

Даже встала и машинально подняла с земли свой выгоревший, почти белый дождевичок. И чем дальше от домика удалялась Олимпиада с ребенком, тем напряженнее, тревожнее становилось лицо матери. Подозрение недоброго властно захватывало ее сердце, и, уже не боясь, что ее увидят, вся на виду, Ольга Николаевна шла по горе за ними.

Дойдя – пред бетонным мостиком – до столбиков, охраняющих дорогу от обрыва, Олимпиада остановилась…

– Ну, Димка, сейчас и золото увидишь! – сказала она. – Интересное золото!

– Золотое? – поворачивая к женщине личико, улыбнулся Дим.

– Самое настоящее золотое, – хрипловато ответила Олимпиада. – Девяносто шестой пробы… Вот я камушек брошу, а ты что есть силы – за ним… Кто кого догонит?

И, подняв с дороги камень, Олимпиада бросила его за столбики.

Розовый, сияющий Дим, взвизгнув от радости игры, бросился за ним – в пропасть.

И одновременно с этим длинный крик, как необыкновенно высокая по тону, с ума сошедшая сирена маяка, вонзился в голубое небо, и, в ужасе подняв голову, Олимпиада увидела как бы огромную белую птицу, несущуюся на нее с высоты горы.

И Олимпиада бросилась бежать, оглашая пустынные сопки воем звериного страха и бешенства…

А белая птица, докатившись с горы до дороги, на секунду задержалась над пропастью и ринулась туда, где бездыханным кровавым комком лежал трупик Дима.

Впервые опубликовано: Рубеж. 1932. № 39.
Печатается по: Новый журнал. 2006. № 245.

КОНТРРАЗВЕДЧИК

I

Осенью пятнадцатого года в Москве, в госпитале при Вдовьем Доме находился на излечении молоденький поручик Бубекин Анатолий Сергеевич. Было у него сквозное ранение в мякоть бедра. На третью неделю пребывания в госпитале рана затянулась, и Анатоша, как называли хорошенького Бубекина сестры, хоть с палочкой, но уже похаживал по палатам. А еще через неделю стал Анатоша болтаться и по Москве, побывал в Художественном, в Большом и Малом, раз-два посетил и уютные, все в бархате, отдельные кабинеты Мартьяныча, где ужинал и пил

портвейн. И, конечно, в кабинетах бывал он не один.

Офицер спешил, как мог и умел, наслаждаться жизнью, потому что знал – скоро госпитальная комиссия препроводит его на эвакуационный пункт, а там дня через четыре – опять фронт, тошная окопная жизнь-жестянка.

И вдруг такое происшествие…

Возвратясь в госпиталь к ужину, Анатоша нашел на тумбочке у своей кровати казенный пакет со штемпелем штаба округа – поручика Бубекина приглашали в среду, то есть на другой день, явиться в штаб к дежурному офицеру.

Анатоша удивился и даже испугался. Что такое? Зачем и почему? Уж не натворил ли он чего-нибудь, шатаясь по Москве? Нет, тогда бы вызвали к коменданту, – тут что-то другое. Посоветовался Бубекин с сотоварищами постарше, что лежали с ним в палате, с соседом своим, кубанским войсковым старшиной, но никто, конечно, ничего определенного сказать ему не мог.

– Всего скорее, – предположил старшина, – тут какое-нибудь назначение. Чего-нибудь такое приятное даже. Тебе, поручик, беспокоиться нечего.

Словом, на другой день был Бубекин в штабе. Дежурный офицер взял у Анатоши его бумажку, прочитал, заглянул в какую-то книгу и сказал:

– Вас вызывает генерал. Обождите. Присядьте.

И, не объяснив даже какой генерал, занялся своим делом. А минут через пятнадцать Бубекин с несколько одеревенелым от волнения лицом – еще с корпуса стал бояться разговоров с генералами – уже входил в большой и светлый кабинет...

Генерал сидел за письменным столом и что-то писал. Бубекин, остановившись у двери, видел его черноволосую голову, склоненную над столом. Через всю нее белел аккуратный пробор. Дописав и промокнув написанное, генерал поднял на Анатошу веселые глаза – выглядел он молодо и был румян.

– Так! – сказал генерал. – Поручик Бубекин? Садитесь.

Анатоша сел в кожаное кресло неудобно, на краешек, чтобы и сидя можно было бы выпячивать грудь, держаться молодцевато.

– Так! – повторил генерал. – Из военной семьи, кончили корпус и Александровское училище... – посмотрел, щурясь, на потолок, потом ласково, с улыбкой, на Анатошу. — Знал вашего батюшку – однокашники по училищу... И маму знал: танцевал с ней на балах в Елизаветинском институте.

«Стало быть, ровесник с покойным папой, а ни одного седого волоса, – подумал Бубекин. – Крашеный». И деревянно сказал:

– Мамаша в Казани живет.

– В письме передайте ей поклон от юнкера Васи, – улыбнулся генерал. – Но, милый мой… Да сядьте вы, ради Бога, по-человечески. Даже мне неудобно, когда я смотрю, как вы уселись... Ну? Вот так! Курите? Прошу. Вы Н-ского полка?

– Так точно.

– И вот-вот возвращаетесь на фронт?

– Так точно.

– Вы нам нужны. Нам понадобился офицер вашего полка, которому мы могли бы доверить одно поручение. Наш выбор остановился на вас. Вы из прекрасной русской семьи, военного воспитания, отличной аттестации. Спиртными напитками не увлекаетесь... Два посещения Мартьяныча с сестричкой Симочкой не в счет...

– Ваше превосходительство!..

– Не удивляйтесь. Вы нам нужны, мы вами заинтересовались, и, конечно, вы были нами проверены. Словом, так... Завтра вы отчисляетесь в команду выздоравливающих, потом... Впрочем, обо всем дальнейшем вам расскажет капитан Такулин. Но, черт возьми, я ведь еще не спросил вас о самом главном: согласны ли вы вообще помочь нам?

– Ваше превосходительство... Конечно!

– Ну, так я и знал.

Генерал нагнулся и где-то под доской письменного стола нажал кнопку звонка. Вошел вестовой.

– Проведи его благородие к капитану Такулину.

Генерал приподнялся, пожимая руку Анатоше.

II

Голова капитана Такулина была седлообразна. Словно два лба: один обыкновенный и другой – на затылке. Маленькие рыжие глазки стремительно скользнули с лица Бубекина по всей его фигуре, на какую-то долю секунды задержались на носках его отлично вычищенных сапог и снова устремились к его лицу.

«Ишь, хорек, точно сфотографировал!», – подумал Анатоша, представляясь.

– Очень, очень рад, Анатолий Сергеевич! – капитан сделал такое движение, будто собирался вскочить навстречу Бубекину. Казалось даже, что он уже вскочил и засуетился, но все это лишь оттого, что рыжие его глазки бегали и прыгали по всей комнате, в то время как сам он всего лишь приподнялся и протянул руку Анатоше.

– Прошу вас! – и той же ручкой – на стул по другую сторону письменного стола.

Бубекин сел. Сейчас же успокоились и рыжие глазки. Теперь они как бы нарочито старательно избегали глаз посетителя. Но когда все же этот

рыжий взгляд попадал в голубые бубекинские буркалы, то тому делалось как-то не по себе. С генералом было по-другому.

Медленно, раздельно, точно диктуя, капитан стал говорить:

– На Петровке, Анатолий Сергеевич, рядом с рестораном «Трехгорный», где вы уже несколько раз изволили побывать... – укол зрачков. – Рядом с этим рестораном есть гостиница «Прогресс». Гостиница вполне приличная, уверяю вас. Там вам приготовлен номерок, да-с, номер тринадцатый. Вы, надеюсь, не суеверны? Такая жалость, понимаете, – во всей гостинице не нашлось другого номера, а этот, видимо, потому и свободен, что тринадцатый. Неприятная цифра, но я полагаю...

– Пустяки! – пожал плечами Бубекин. – Что вы, капитан!..

– Никак нет-с! – рыжие глазки с откровенной предупреждающей строгостью впились в глаза Анатоше. – В нашей работе нет-с пустяков... Помните из физики Краевича про фраунгоферовы линии?

– Что-то помню, – почему-то испугался Анатоша. – Какие-то черточки. Сначала думали, что они в солнечном спектре случайно…

– Вот-с! А потом оказалось, что линии эти не случайность, а закономерность. В нашей работе тоже не должно быть случайностей – это запомните раз и навсегда. Я приготовил для вас номер тринадцатый, потому что при нем, единственном из свободных, есть маленький чуланчик, где будет спать ваш денщик…

– Но у меня нет денщика! – улыбнулся Бубекин. «Имя-отчество знают, про Симку знают, а тут напутали!».

Но рыжие глазки уже опять строго наставляли Бубекина:

– У вас есть денщик, господин поручик, – снова задиктовал капитан. – У вас обязательно есть денщик, и он уже там, на Петровке, в номере тринадцатом. Его зовут Клим Стойлов. Клим Петров Стойлов, если желаете.

Тут вся эта история, в которую его вдруг начали втягивать, стала Анатоше не нравиться. «Какой-то еще солдат будет около меня, – подумал он с отвращением. – Какой-нибудь переодетый жандарм. Ну их! Не отказаться ли?». Но рыжие глазки уже поняли, что происходило в душе юноши. В них что-то не без хищности сверкнуло, метнулось, затрепетало.

– Никаких беспокойств! – заторопился капитан. – Он – ваш денщик. Понимаете, настоящий денщик. Вы даже ему морду можете бить, если будет за что...

– Этого я никогда не делал, – недовольно сказал Бубекин. – Но я не понимаю… Что, собственно, вам от меня угодно?

– Сейчас.

Рыжие глазки исследовали дверь, плотно ли закрыта, глянули за угол большого шкафа, не прячется ли там кто, с той же целью был брошен взгляд и за плечо, и затем со строгой внимательностью он остановился на лице Бубекина. Глаза медлили, выжидали, думали. Потом спустились на

листок бумаги с какими-то заметками.

– Поближе, пожалуйста, поближе…

Бубекин придвинулся. Изо рта капитана пахло гнилыми зубами и табаком.

Разговор длился около получасу, но уже через несколько минут на лице Бубекина появилось растерянное и даже испуганное выражение. Рыжие же глазки, наоборот, смотрели теперь на Анатошу ласково и успокаивающе. Два раза длинные худые пальцы капитана даже коснулись руки поручика. Капитан шептал:

– Все это значительно проще на деле, уверяю вас!

– Но вдруг мне не удастся, и он уйдет? – с отчаянием в голосе ответно шептал Анатоша.

– Даже это ничего, – успокаивал капитан. – Пусть он даже уйдет, уже этим он провалился, и вся сеть вот-с где! – тонкие пальцы, только что поглаживавшие руку Анатоши, энергично сжались. – В кулаке-с! Самое же главное – не обнаружить себя. Не об-на-ру-жить! – раздельно произнес Такулин. – Понимаете? В этом-то вы уверены?

Уверен в этом Анатоша никак быть не мог, но опасное, страшное дело, о котором он только что узнал, уже влекло к себе его двадцатитрехлетнюю душу, влекло по-детски, как, бывало, в корпусе – строго запрещенное удирание с прогулки за ворота плацов, в Анненгофскую рощу, – и он сказал твердо и решительно:

– Да. В этом да, я уверен. Ах, сукины дети!..

– Почему же сукины дети?.. – даже как бы обиделся капитан. – Они тут, наши там... Профессия! Никогда не следует горячиться. Значит, так: пакет для командира полка я вам вручу на вокзале. Будьте готовы к отъезду в любой день, но живите, ни о чем не беспокоясь: гуляйте, ходите в театр, к Мартьянычу, хе-хе, в кабинеты... Но только лучше не с Симочкой...

– Почему? Что вы, право, все с ней...

– Хе-хе... Она уже занята по другому делу. Но не влюблены же вы, надеюсь?

– Конечно, нет. Но... неужели?

– Именно. Доверяю вам как уже своему человеку. Теперь вы – наш.

И рыжие глазки с веселой внимательностью в последний раз пырнули в дрогнувшие глаза Бубекина. Капитан отлично знал, что это «вы – наш» всегда в данном случае неприятно и даже страшно своей окончательностью и бесповоротностью. И Анатошу покоробило, поежило.

«Но ведь все это я для России!», – мысленно сказал он себе сейчас же…

Но и то, что он сказал себе, капитан тоже знал. Он вынул из ящика стола пакет.

– Это вам подарок от нас, – сказал капитан, – тут триста рублей.

Теперь вам полагаются суточные, так тут за месяц вперед, – и, передав деньги, капитан пододвинул Анатоше четвертушку чистой бумаги. – Распишитесь на любую фамилию.

III

Звон шпор, мельканье мерлушковых папах и над всем этим по временам зычное, меднотрубое вещание обшитого в галуны швейцара у двери на перрон:

– На Вязьму, на Смоленск, на Минск!..

Это усиливало движение в наполнявшей залы толпе; к перронной двери бросались носильщики с вещами, денщики с офицерскими гинтерами, какие-то веселые и нарядные или заплаканные и плохо одетые женщины. И опять до нового меднотрубого выкрика все как бы несколько успокаивалось.

Анатоша пил чай в буфете. Накануне Стойлов сказал ему:

– Ваше благородие, завтра мы едем. В шесть тридцать. Просили вас на вокзале пообождать в буфете.

За двенадцать дней пребывания в конуре при номере – в первый раз это «мы», устанавливающее некую особую общность между ним, денщиком, и его барином, офицером. Невысокий ростом, но широкоплечий и с могучей грудью, Клим Стойлов ничем не отличался от подлинного денщика. Лицо и не мужичье, и не городское, не задерживающее внимания русопятское лицо с носом-дулей. Хохлацкая мягкость говора при литературно правильной русской речи. Несколько сонный взгляд при быстроте и точности ответов на вопросы. И изумительная аккуратность в исполнении несложной денщичьей работы – сапоги почистить, кипяток принести и чай заварить, сходить за папиросами. Аккуратность, вызывавшая уважение и устранявшая возможность недовольств со стороны барина. Аккуратность, говорившая: «Ты там, а я здесь, – и кончено». И именно это подчеркнутое размежевание парализовало у Анатоши желание заговорить с этим человеком по-иному, хоть и не о *деле,* конечно, но все-таки не как с денщиком. Но врожденная, еще маменькина осторожность («Никогда не лезь, куда не спрашивают») удерживала: так, как оно есть, – все очень определенно, просто, и в будущем должно само собою разворачиваться. Стоит ли разрушать то, что уже кем-то обдумано и закреплено?

Сейчас Стойлов, предъявив у коменданта отзывы, устраивал вещи барина в офицерском вагоне, заботился о месте. Анатоша же сидел за столиком в буфетном зале, позвякивая ложечкой в стакане остывающего чаю. Чаю ему не хотелось.

– Ну, вот и отправляемся!

Около столика остановился господин в хорошей шубе с поднятым

каракулевым воротником шалью. Поручик не сразу признал в подошедшем Такулина. Признав, привстал.

– Позвольте присесть, – капитан говорил громко. – Так уж вы будьте добры, Анатолий Сергеевич, передайте письмецо прапорщику Командирову. Не затрудню?

– Пожалуйста! – усмехнулся Анатоша. – Однополчане. Трудно ли?

Рыжие глазки успели уже с рысьей зоркостью осмотреть соседей. Довольные, видимо, результатами своего осмотра, они усмехнулись. Придвигаясь ближе и передавая письмо, Такулин тихо сказал:

– Подтверждение из штаба армии командир лично, с глазу на глаз, получит от наших людей. А пожалуй, уж и получил. Может быть, по рюмке коньяку? За успех?

– Можно! – принимая письмо, согласился Бубекин.

Но появился Стойлов.

– Можно садиться, ваше благородие, – доложил он. – Устроил. На верхней полке.

Сказал с улыбкой удовольствия на лице – вот, мол, как все хорошо сделал. Не взглянул на Такулина, и тот не взглянул на него.

– Ну, что поделать, отставим коньяк до новой встречи! – поднимаясь и застегивая бекешу, Анатоша еще раз попробовал, хорошо ли легло письмо во внутреннем кармане френча. – Будьте здоровы, дорогой мой...

Меднотрубый голос уже возглашал:

– На Вязьму, на Смоленск, на Минск…

Офицер и штатский в хорошей шубе пожали друг другу руки и расстались.

IV

На стенных крюках у окна купе висели шинели, бекеши и поверх них оружие и полевые сумки, снятые вместе с ремнями походного снаряжения. Шашки и револьверы раскачивались от тряски вагона. В черной зеркальности оконного стекла отражалась желтая дверь и уже поднятые верхние места с матрацами в чехлах из тика в белую и красную полоску. Белый свет из матового стеклянного полушара на потолке ровно лился на разложенный на вагонном столике, передвинутом от окна на середину купе, расчерченный для преферанса лист белой бумаги.

– Торгуйтесь, господа!

Прапорщик Собецкий, сдав карты, придерживал прикуп двумя пальцами, чтобы тот не сполз и не упал с подрагивающего столика. Пальцы были длинны и тонки, с хорошо отделанными ногтями. На одном из них сияло бриллиантом золотое кольцо. Было прапорщику лет тридцать. Черные усики над тонким ртом парикмахер подстригал, видимо, только еще сегодня. Среди своих новых знакомых этот офицер

держался со сдержанной самоуверенностью. Так держатся в общественных местах коммивояжеры больших фирм, считающие себя безукоризненно одетыми. Глаза у него не были умными.

– Пики, – нерешительно сказал военный врач, сидевший на руке, и поднял стекла пенсне на рыжеусого капитана.

– Пас! – капитан недовольно сложил растопыренные веером карты. – Опять вы, доктор, выбили меня из масти! – капитан все еще видел перед собою заплаканные глаза жены и дочери. – Куда вы лезете? Ведь опять заремизитесь…

Доктор хотел что-то сказать, но раздумал и промолчал. Играл он плохо, рассеянно…

– Два втемную, – отрубил Бубекин.

Мысль, что вот перед ним военный шпион, ради которого он поставлен на секретную работу, совершенно пришибла его. И самое удивительное, в этом прапорщике, сидевшем напротив него, не было совершенно ничего классически-шпионского: таинственности в обличии, пронизывающих глаз, недоговоренности в речах. Абсолютно ничего от того, чем романисты наделяют шпионов. Но ведь ошибки быть не могло – не стало бы столько умных и важных людей городить весь этот огород из-за пустого подозрения! Стало быть, так, – шпион.

Но как мило и естественно обрадовался прапорщик Собецкий, когда узнал, что он, Бубекин, офицер как раз того же полка, в который и он получил назначение. Собецкий успел в последнюю минуту даже познакомить Анатошу со своей женой, молодой красивой женщиной в шапочке из крота, тоже полькой. В сутолоке отправления, раздевания и, наконец, размещения в купе все это было еще ничего, но теперь, когда оба они сидят друг против друга и надо разговаривать как ни в чем не бывало, теперь это ужасно трудно... Лицо Собецкого так и тянет к себе глаза Бубекина. Против воли своей он явно больше, чем следует, задерживает на нем свой взгляд и сам этого пугается. Но ведь не выдерживать ответного взгляда глаз Собецкого – это тоже недопустимо...

Ужасно, как быть?

И Анатоша решительно говорит:

– Два втемную!

Без азарта, без всякого интереса к игре, а лишь бы сбить то дурацкое состояние духа, которое его мучит и мутит, как похмелье.

– Вы рискучий? – и с любезной улыбкой Собецкий подвигает Бубекину карты. – Надеюсь, к масти?

Две маленькие пики, шеперки. В пренебрежении к игре Анатоша открыл их и отбросил.

– Ну вот! – рыжеусый капитан очень доволен. – А темните! Эх вы, молодежь!..

Карты ужасные, но Анатоша доволен уже тем, что теперь его смущению и дурацкой неловкости есть естественное объяснение.

– На фронт едем, капитан, – говорит он, притворяясь беззаботным. – Что о деньгах думать!.. Все равно убьют.

Капитан недоволен такой философией.

– Уж это вы зря, фендрик! Мировая скорбь по поводу неудачной темной – чепуха. В картах и в бою – береженого Бог бережет. А как о деньгах не думать, если, например, у меня жена, дочь и сын кадет?.. И все-таки – сколько?

– Что же поделать, пики играю.

– Семь-с!

– Так точно.

– Вист. Доктор?

Доктор, наводя на капитана стекла пенсне, нерешительно:

– Я тоже вист.

Бубекин остался без трех. Капитан развеселился. Собецкий же, вопреки интересам стола, искренно посочувствовал Анатоше.

– Зачем вы, поручик? Я, например, никогда не покупаю втемную, – сказал он.

– И напрасно.

– Почему, господин капитан?

– Неинтересный партнер. Пусть каждый по-своему веселится, не надо мешать людям свертывать себе шею, если они этого хотят. Просторней будет на земле...

Кончили играть поздно. Тут же за картами и поужинали. Денщики (их было двое – у капитана и Стойлов у Бубекина) принесли на остановке кипятку. Доктор и капитан кушали домашнее жаркое, у Бубекина же с Собецким были закуски. Зато у этих двух нашлось вино и коньяк. Доктор не пил, но предложил всем отведать своей утки. Капитан же, выпивший водочки, от вина и коньяку отказался, но и жаркого никому не предложил.

Странное дело: после своей карточной неудачи – порядочно проиграл – и душевного сочувствия Собецкого Бубекин успокоился. «Раз пожалел, значит, ничего не заподозрил!». Анатоша прикинулся, будто опечален проигрышем, и обрадовался ноткам пренебрежения в голосе прапорщика.

«Вот и отлично!», – и стал легко глядеть в глаза своего визави. С удовольствием подумал, как охотник, подкрадывающийся к зазевавшемуся зверю: «Теперь ты от меня не уйдешь!».

Перед сном отворили дверь, чтобы проветрить купе. Стойлов сидел на откидной скамеечке у окна и курил. Увидав офицеров, он встал.

– Славный у вас солдат, — похвалил Собецкий.

– Хороший… – согласился Анатоша и вдруг, почувствовав себя

неловко, прибавил, потрепав Клима по плечу, – …когда спит.

Стойлов учтиво ухмыльнулся на господскую шутку.

Поезд громыхал на стрелках, подходя к станции. В черном зеркале оконного стекла промелькнули огни.

– На воздух, поручик? Хорошо перед сном!..

– Ну что ж!

Собецкий шел впереди, легко и уверенно ступая по как бы ускользающему из-под ног полу. Бубекин не без зависти подумал, как хорошо сложен и крепок телом этот человек.

Колюче пахнуло морозом. Придержась за поручень, Собецкий прыгнул на перрон прямо с площадки и сейчас же, не ожидая Бубекина, заскрипел по снегу легкими своими ногами. Бубекин должен был наддавать, чтобы поспевать за ним. И опять он подумал, что мелькнувшее в глазах Собецкого пренебрежение к нему – факт. Прапорщик им, поручиком, неглижировал: значит, он уже сделал ошибочную оценку и успокоился: «Очень хорошо!».

Станция была маленькая и безлюдная. Над вокзальным зданием высились деревья, все в инее. И иней сиял в ослепительно-белых лучах большого шипящего фонаря.

– Как чудесно, а? Поручик, правда, хорошо?..

Бубекин видел, как у Собецкого раздувались ноздри, – так он жадно дышал.

– Как пусто, как мало людей на земле! – продолжал Собецкий. – Как это сказал ваш Лермонтов: «Под солнцем места много всем...» – как это?.. – «...но беспрестанно и напрасно один воюет он... Зачем?».

– Почему *наш* Лермонтов? – не удержался Анатоша. «Что-то, мол, ты ответишь, как вывернешься?».

– Потому ваш, что я ведь – поляк.

Отвечая, Собецкий даже не повернул к Анатоше лица.

Снег скрипуче пел под ногами. Собецкий негромко декламировал какие-то польские стихи. Кажется, что-то о звездах, потому что глядел на небо. С небрежностью старшего, беседующего с подростком, заговорил о Канопусе, солнце мира. Спросил, слышал ли Бубекин что-нибудь об этом светиле…

При других обстоятельствах такой тон прапорщика по отношению к нему, поручику, взбесил бы Анатошу, и он неминуемо резко оборвал бы собеседника. В данном же случае он, еще сам не понимая почему, с неким даже сладострастием радовался этому своему уничижению и, простецки, как неуч, болтая, в то же время думал:

«А не попросить ли мне у него рублей десять взаймы – будто бы я проиграл все, что имел?.. Тогда, пожалуй, он совсем на меня рукой махнет... Попросить или нет?.. Нет, не стоит, – решил он, – уж слишком

настойчиво я буду ему навязывать определенность моего облика».

– Чехов сказал, – говорил Собецкий, идя так же быстро, – что через триста лет все небо будет в алмазах… Вы, русские, восхищаетесь этими словами, а по-моему – неумно: звезды прекраснее алмазов. Мицкевич…

Из станционного здания вышел человек в валенках и три раза ударил в колокол. И не успел еще улететь в синеву ночи последний удар, как позади офицеров пронзительно заверещал свисток кондуктора, и в ответ, тяжело дохнув, паровоз оглушил ночь громогласным гудком. Кондуктор пробежал мимо, маша кому-то рукой. Поспешили и офицеры к своему вагону. У его площадки стоял солдат в папахе, без шинели. Анатоша узнал в нем Стойлова. Подсадив господ, денщик уже на ходу вскочил вслед за ними. Маленькая станция с фонарем-луной скрипуче поплыла назад, колеса долго не хотели раскатываться.

«Пух, пух!», – натужно вздыхал паровоз. Потом он выправил дыхание.

V

Без всяких приключений, благополучно добрались до полка. Бубекин был назначен командующим 12-й роты, а Собецкий – к нему субалтерном.

– Знаю! – поморщился командир полка, прочитав письмо из штаба, врученное Бубекиным. – Этакая мерзость и в моем полку… Нужно вам было соглашаться, боевому офицеру? – и недовольно посмотрел на Анатошу.

– Но, господин полковник, ведь государственная необходимость, – растерялся Бубекин.

Полковник фыркнул в седые усы.

– А на кой черт им надо было впутывать мой полк и моих офицеров в эту необходимость? – недовольно ворчал он. – Не могли иначе устроить? Тут на всю жизнь запачкаться можно. Назначаю этого стервеца к вам в роту, возитесь с ним. Ступайте! – совсем сердито закончил он.

И вот Бубекин с Собецким оказались на позиции 12-й роты, пересекавшей шоссе, несколько возвышавшееся над полем своей насыпью. Так как начальство почему-то не разрешило перекапывать шоссе окопом, то обе полуроты оказались отделены друг от друга. И землянок офицерских было две: ротного, при первом и втором взводах, и субалтерна – по другую сторону шоссе, при остальных.

Такое положение вещей Бубекину не понравилось: а вдруг Собецкий убежит к противнику?.. Он даже на командира полка посетовал, словно нарочно тот усложнил дело. Но Стойлов, с которым Бубекин решил поделиться своими опасениями, успокоил его:

– Как же он убежит? – усмехнулся денщик. – Он же, ваше благородие, при деле, при своей работе. Он теперь рад-радешенек, что остался один,

совсем без присмотра. Нет, положение для нас совсем благоприятное…

«Положение благоприятное, – усмехнулся про себя Бубекин. – Этот тип может выражаться и вполне интеллигентно. Действительно, может быть, и нарочно мне дали роту с таким участком. "Случайностей в нашей работе быть не должно!"», – вспомнил он такулинскую фразу.

Началась окопная жизнь. Позиция противника была далека, ружейного огня почти не было, между нашими и австрийскими окопами лежала болотистая летом долина речки Сервича, и осенью, когда выбирались позиции, противники окопались далеко друг от друга.

Несмотря на отдельные землянки, Анатоша, конечно, проводил почти весь день, да и часть ночи, вместе с Собецким. Вместе обедали, вместе ужинали и расходились по своим норам только поздно ночью.

Собецкий оказался офицером исправнейшим, не лодырем: аккуратно поверял полевые караулы, ползал за проволоку по ночам, занимался в землянках с солдатами словесностью. В одном он только не участвовал – в любимом развлечении Бубекина: подкарауливать с винтовкой в руках одиночных шляющихся австрийцев и постреливать в них. Бубекин, бывало, увидит живую цель, выхватит винтовку у наблюдателя-солдата и садит из нее пулю за пулей...

Садит пулю за пулей и кричит Собецкому:

– А ну-ка, Станислав Казимирович… Берите винтовку – давайте бить дуэтом!

Собецкий отказывался:

– Когда боя нет, как-то неприятно... – говорил он. – Ведь вы же *в людей* стреляете! – подчеркивал он значительно. – Вот когда они сами на нас полезут, тогда другое дело...

– В каких людей! – неистовствовал Бубекин. – Не в людей я стреляю, а во врага... Интеллигент вы!

– Ну какой я интеллигент! – оправдывался Собецкий. – Всего-навсего и окончил только реальное в Варшаве...

– За границей-то вы тоже учились?..

– Нет, там я по коммерческой части работал.

Бубекин уже совершенно освоился с Собецким и часто из озорства задавал прапорщику щекотливые вопросы, задавал их просто и самым невинным тоном: почему, например, не поинтересоваться, что делал Собецкий за границей? И Анатоша уже не боялся, что может вызвать подозрение. Но иногда бывало хуже, иногда Бубекину просто хотелось сказать в глаза Собецкого: «Э, да полно вам вола водить! Я ведь отлично знаю, что вы – австрийский шпион!»

Временами это желание было так сильно, что Бубекин даже пугался. В такие минуты он торопился уйти от Собецкого и, расставшись с ним, начинал придираться к Стойлову – капризничал.

Стойлов же капризы барина переносил покорно, лишь в глазах его появилось какое-то особое, как бы нечто понимающее выражение. И тогда он начинал говорить с Бубекиным тоном врача, разговаривающего с впечатлительными больными. Но этот тон денщика еще более выводил Бубекина из себя.

Ко всему этому прибавилось и то еще, что отношение к Анатоше командира полка, прежде такое отечески-дружественное, теперь явно изменилось. Полковника словно несколько корежило при встрече с Бубекиным, и в жесте, которым он протягивал ему руку, была медлительность, говорившая о неприязни.

«Хоть бы шальная пуля убила этого Собецкого! – мечтал Анатоша. – И на кой мне черт все это!..»

Но Собецкий был жив, здоров и чувствовал себя отлично. Всей этой поганой истории и конца не предвиделось.

Анатоша возненавидел Собецкого, возненавидел ненавистью жгучей, но тщательно скрываемой. И однажды он не мог отказать себе в удовольствии достать у полкового фотографа и показать субалтерну несколько снимков с процедуры приведения в исполнение смертного приговора над двумя шпионами – мужчиной и женщиной, тоже австрийцами и тоже поляками. Они были приговорены к смерти в первый год войны, и приговор приводился в исполнение их полком.

Ах, с какой жадностью ухватился Собецкий за эти фотографии! Анатоша видел, как изменилось, словно вдруг осунулось его лицо, какими человечными, жалеющими стали глаза и как искренно у него вырвалось:

– Ах, бедная!..

«Почему он пожалел именно ее? – не отрывая жадных глаз от лица Собецкого, подумал Анатоша. – Неужели он ее знал? А ведь может быть… Ну, скорее, скорее, говори еще что-нибудь!».

Но Собецкий молчал, не спуская глаз со страшного изображения повешенной. Он даже лампочку-коптилку переставил так, чтобы лучше осветить фотографию.

– Как вытянуты ноги! – шепотом, в котором слышались ужас и горе, сказал он наконец. – И голова… совсем упала на грудь!.. Почему это?

– Позвонки же сломаны, оборвались...

– Как? – Собецкий поднял страдальческие глаза на Бубекина.

– Ну, как! – жестко засмеялся Бубекин. – Очень просто... – он дотронулся пальцем до шеи Собецкого и почувствовал, как тот вздрогнул. – Вот тут петля, этот позвонок ломается, и голова падает на грудь…

Собецкий сделал быстрое движение, чтобы отодвинуться, но Бубекин уже убрал руку.

– Бедная! – опять сказал Собецкий. – Ведь женщина!..

– Что это вы, право! – со злобой и злорадством стал наступать

Бубекин. – Противник у вас *человек,* шпионка – *женщина.* Не офицер вы, а какой-то толстовец...

– Видите ли, – стал поспешно оправдываться Собецкий. – Я правда очень чувствительный, даже сантиментальный… Я же вам уже говорил – рано остался без отца… женское воспитание... я, как говорится, маменькин сынок.

«Как ведь врет, стерва!», – возмутился Бубекин, и острая ненависть горячей волной залила его сердце. И опять захотелось крикнуть: «Врешь ты, не маменькин ты сынок, а сволочь, шпион!». Крикнуть, ударить в лицо кулаком и застрелить из нагана.

Бубекин даже отдернулся от стола, но вдруг в темном углу землянки, там, где топилась железная печурка, от которой полыхало жаром, что-то грохнуло и зашипело, обдав офицеров паром.

– Виноват, ваше благородие! – испуганно вскрикнул Стойлов из полумрака. – Я чайник опрокинул, – и он быстрым движением распахнул дверь в землянку. Пахнуло декабрьским морозом. Бубекин пришел в себя.

VI

Выбрал денщика себе Собецкий не сразу. Он долго приглядывался к тем солдатам, которых фельдфебель предлагал ему в слуги. Сначала его выбор остановился было на жуликоватом ярославце Ядрилине, но вскоре он оказался им недоволен и взял себе полячка Бржезицкого. С солдатней своей полуроты Собецкий явно старался сдружиться – никогда никого не наказывал и подолгу засиживался в землянках, беседуя, не брезгуя писанием писем неграмотным и прочее. Но странное дело, солдаты не любили Собецкого – все в нем было для них чужим…

Постепенно начал Бубекин привыкать к Собецкому, стал как-то забывать о том, что за человек у него субалтерн. Да и командир полка, видимо, позабыл об этом, потому что как в былое время стал хорош с Анатошей. Иногда лишь насмешливая улыбка змеилась под седыми усами полковника – не верил старик в проницательность нашей контрразведки, думал, поди, зря оклеветали полячка – исправный офицер…

Раз только заставил Собецкий Бубекина вновь насторожиться.

Как-то раз сказал он Анатоше просительно:

– А не подарите ли вы мне, Анатолий Сергеевич, те фотографии, помните?.. Или продайте...

– Какие фотографии?..

– А помните, вы мне повешенных показывали…

– Вот еще! – насторожился Анатоша. – А мне самому не надо? Нет, дорогой мой, таким снимкам после войны цены не будет!

– После войны им никакой цены не будет, – усмехнулся Собецкий. – После войны их будут целые альбомы… Впрочем, я готов купить их у вас.

– Четвертной за каждую!..

– Вы шутите.

– Нет, вы заплатите! – Бубекин не спускал глаза с лица субалтерна.

– Почему вы так думаете? – пожал плечами Собецкий и опустил глаза.

– Потому что я помню, какое впечатление они на вас произвели, – Бубекин захохотал, он был удовлетворен. – Конечно, я шучу! – ласково сказал он. – У нашего фотографа вы можете достать сколько угодно копий по гривеннику за штуку. Но зачем они вам?

– Затем же, зачем и вам… Для альбома.

– В гостиной на стол?

– Ну нет! – и в этом «нет» прорвалась значительность…

А уж наступил март, прошел март, и позицию развезло весенней ростепелью. Стали поговаривать о скором наступлении.

В эти дни пришла Стойлову телеграмма. Телеграмму при Собецком принесли из штаба, и было в ней только четыре слова: «Мамаша вчера скончалась. Варвара». Стойлов прочитал телеграмму, вздохнул и вышел из землянки.

– Хороший у вас денщик, Анатолий Сергеевич, – сказал Собецкий. – И не дурак, кажется.

– Ничего. Только угрюм очень.

А вечером, стаскивая с барина сапоги в окопной грязи, Стойлов сказал:

– Телеграмма условная, ваше благородие. Требуют бдительности.

И опять стало Бубекину нехорошо.

– Какой еще, к черту, бдительности! – выругался он. – В отхожее место мне с ним вместе ходить, что ли? Застрелить бы его, негодяя…

– Зачем стрелять! – усмехнулся Стойлов. – Тут тонкая работа нужна, ювелирная. Ну да уж теперь скоро...

– Что скоро?

– Скоро он себя должен будет обнаружить, – и, стащив промокший сапог. – Наша работа трудная, ваше благородие! Тогда с фотографиями-то вы на них нехорошо наседали.

– Ты нарочно опрокинул чайник?

– Конечно. Случайностей в нашем деле быть не должно.

– Иди ты к черту!..

– Слушаюсь, ваше благородие…

Вскоре что-то загрустил и Собецкий. Стал говорить о неприятных письмах из дому: жена очень скучает. Конечно, молодая женщина, как бы не набедокурила. И опять он переменил денщика.

В один из этих дней Стойлов сказал Бубекину:

– Такое дело, ваше благородие… Прапорщик Собецкий ищет себе

подходящего человека в помощь и никак не находит. Не решается открыться. А без помощника он не может работать: ему нужно с нашего участка организовать перекидку своих людей к австрийцам. Ему пишут, его уже торопят, потому что весна, теплое время настало. Придется мне к нему перейти...

– Но как?

– Таким образом, ваше благородие… Завтра или послезавтра вы принесете свое и солдатское жалование. Положите деньги под подушку, а я будто украду и спрячу в сапог...

– Фу ты, черт, какая гадость!

– Ничего не поделаешь. Иначе нельзя. Необходимо.

– Да иди ты к черту! Кто кем распоряжается: я тобой или ты мной?..

Стойлов взглянул на Бубекина строго.

– В этом вопросе мы после разберемся, когда дело будет кончено, – сказал он.

– Да как ты смеешь, каналья, так со мной разговаривать? Стань смирно!

Стойлов беспрекословно вытянулся. Он твердо и спокойно смотрел на Анатошу. Помедлив несколько секунд, солдат сказал:

– Ваше благородие, я докладываю вам лишь о том, чего требует дело. Если вы против моего предложения, я снесусь со штабом армии.

– Ты?

– Так точно.

– Каким образом?

– У меня есть для этого возможности. Но только вы можете провалить работу четырех месяцев… Вас за это тоже не похвалят – с капитаном Такулиным шутки плохи…

– Черт! – выругался, сдаваясь, Бубекин. – Ну, стало быть, деньги найдут у тебя в сапоге. А дальше что?

– Вы на меня должны накричать. Браните меня как угодно. Потом напишите рапорт, чтобы меня под суд. Я же попрошу заступничества у прапорщика Собецкого. Он будет у вас просить за меня, я уверен в этом, вы простите, но прогоните меня из денщиков…

– И все?

– Все. Будьте покойны – он меня возьмет в денщики. Ему надо торопиться…

Все задуманное удалось как нельзя лучше. Бубекин, обнаружив исчезновение денег, приказал обыскать Стойлова. Деньги были найдены в сапоге. Бубекин, накричав на денщика-вора, намахавшись перед его носом кулаками, посадил его под арест в землянку телефонистов, а сам сел за писание рапорта.

Вошел Собецкий, уже побывший у арестованного.

– Анатолий Сергеевич, – сказал он. – Рапорт писать пишите, но

отправлять его пообождите до завтра. Ведь Стойлова за воровство в боевой обстановке полевой суд-то расстреляет… Вы подумали об этом?

И, поломавшись, сколько было нужно, Бубекин согласился замять дело, – пусть только Стойлов полностью отстоит под винтовкой, сколько может дать ему ротный командир всей полнотой своей власти. И пусть ему на глаза никогда больше не попадается.

А уж через неделю Собецкий попросил у Бубекина разрешения взять Стойлова к себе в денщики. Бубекин, якобы в сердцах, плюнул, но согласие дал.

VII

Была тишайшая майская ночь, безлунная, теплая, совсем уже летняя. Вечером отгрохотала первая гроза, и на западе, куда ушла туча, еще вспыхивали зарницы. На позиции не раздавалось ни единого выстрела, лишь с чуть слышными хлопками высоко взлетали выпускаемые австрийскими часовыми белые шарики осветительных ракет.

Бубекин стоял с Собецким на шоссе, или, как они говорили, на водоразделе их владений. У обоих ноги были мокры от окопной, после ливня, грязи, и теперь обоим было приятно чувствовать под ногами щебеной, прочно утрамбованный грунт шоссе.

У противника вспыхнул прожектор и повел своей голубой метлой по нашим холмам; потом упер ее в заголубевшее шоссе – наблюдатель заметил на нем людей. И сейчас же затарахтел пулемет, и пулевой вихрь высоко просвистал над головами стоявших…

– Ну, покойной ночи! – Бубекин спрыгнул в окоп, зацепился за что-то зазвеневшей шпорой – глупое франтовство на позиции – и заскользил в грязи. Чтобы не упасть, он протянул вперед руки и больно ударился ладонью о корень, торчавший из сырой стенки ямы.

– Черт! – выругался он.

Собецкий хохотал с шоссе – пулемет смолк. Луч прожектора полз влево, туда, где зачернели развалины сожженной деревни.

– Чего торчите? – спросил Бубекин, стряхивая грязь с руки. – Спать пора!..

– Мечтаю, – с тихим смехом ответил Собецкий. – Не хочется спать в такие ночи. О жене думаю…

– Эх вы, женатик, – и Анатоша, звеня злополучными шпорами, побрел к себе.

А часа через два Бубекина кто-то разбудил, тряхнув за плечо. Анатоша раскрыл глаза и испугался – землянка была полна людьми. Со сна офицер подумал, что это австрийцы, что он взят в плен. Он вскочил и тут только узнал в человеке, разбудившем его, Стойлова. А среди солдат стоял и трясся так, что слышно было, как стучали зубы, молодой паренек в русской солдатской шинели.

– Что такое?

– Вот, привел, – ответил Стойлов, и Бубекина поразил волчий, хищный блеск его глаз. – Прямо в землянку как миленький за мной пришел: думал, что я его к Собецкому веду. Вставайте, поручик, необходимо сейчас же Собецкого задержать. Теперь он действительно может уйти. А вы, ребята, смотри, – Стойлов кивнул на паренька, – чтобы он ничего не выбрасывал или, Боже сохрани, не глотал…

Не обратив внимания на вольное обращение своего бывшего денщика – «поручик», как равный, а не «ваше благородие», – Бубекин уже ринулся к двери землянки, а Стойлов за ним.

Ночь уже похолодала, и зарниц не было, ярко сияли звезды. Шли быстро и от торопливости спотыкались и скользили в размокшей глине окопа. И оказалось так, что Стойлов теперь шел впереди.

Когда подходили к шоссе, опять у противника вспыхнул прожектор и пополз по нашим холмам. И в его свете оба увидели на шоссе силуэт. Человек стоял неподвижно и, вероятно, услышав шаги, смотрел в их сторону.

– Собецкий! – узнал и тихо сказал Бубекин и подумал: «Стало быть, еще не ложился, ждет!»

Теперь в душе Анатоши было лишь нетерпение охотника, приближающегося к зверю. И офицер на ходу расстегнул кобуру и вытащил наган.

Продолжали идти, не ускоряя шага. Собецкий на шоссе не шевелился. Вдруг он громко спросил:

– Кто идет?

– Я, ваше благородие! – ответил Стойлов. – Тише, тише…

– А кто с тобой?

– Со мной… – начал было Стойлов, но уж Собецкий уловил в тишине ночи знакомый звон бубекинских шпор.

– Поручик Бубекин со Стойловым? – строго сказал он. – Так!

Он поднял руку, и в его руке сверкнул огонь.

Стойлов всей спиной повалился на Анатошу и сбил его с ног. Скользя в грязи свободной рукой и наганом, офицер выкарабкивался из-под упавшего, а на шоссе вспыхивал и вспыхивал огонек, и пули сочно шмякались то в грязь, то в прикрывавшего Бубекина бездыханного Стойлова. Наконец Бубекин все-таки освободил руку с наганом и, словно заледеневший от ярости, выцелил силуэт и выстрелил.

Тогда Собецкий бросился бежать по шоссе в сторону проволоки и рогаток, преграждавших путь к врагу. Там был зигзагообразный ход, который он знал хорошо. По этому ходу высылались секреты и выходили разведчики.

Там ему преградил было путь часовой, но, узнав в бегущем своего

офицера, солдат растерялся, и Собецкий застрелил его. Но за проволокой шпион все-таки был задержан нашим полевым караулом и при приближении к нему с криком подбегавшего Бубекина застрелился, выпустив в рот пулю из последнего патрона, оставшегося в обойме его браунинга.

VIII

Перед отправлением Стойлова в тыл Бубекин зашел в полковой околоток.

Стойлов, – впрочем, он оказался поручиком Рублевым, в удостоверение чего и предъявил соответствующий документ, – этот Стойлов-Рублев был трижды ранен Собецким, но серьезным из этих ранений было лишь первое – пуля пробила правое легкое. Офицер лежал навзничь, как опрокинутая статуя. Голова его низко и мертво лежала на маленькой и жесткой подушке.

– Почему, поручик, – конфузясь, начал Бубекин, – почему вы не сказали мне, что вы – офицер, не доверились мне? Ведь я же сапоги заставлял вас стаскивать – такая гадость!

– Пустяки! – скучливо-деревянно ответил контрразведчик. – Сапоги, подумаешь! – усмехнулся он невесело. – В нашей работе и не то еще приходится делать…

– Вы не доверяли мне?

– Не доверял? Нет, не то. Так было удобнее и вам, и мне. Надел на себя маску, и баста. Не доверял? Нет! Но, конечно, я не был в вас очень уверен. Да и как можно быть уверенным в новичке? Тем более вы нервноваты, да, – Рублев повернул голову в сторону Анатоши и усмехнулся. – Что он нас так встретил там, на шоссе, в этом, пожалуй, вы виноваты. Зачем вы ему карточки-то повешенных показывали?.. Не надо было. Вы его взвинтили ими на это – умереть, но не даться в руки. И вообще, в нашей работе чем больше шуму, тем меньше результат. Между прочим, – Рублев опять выпрямил голову и стал смотреть в потолок, – между прочим, баба-то эта, повешенная, знаете кто?

– Кто? – вздрогнул Бубекин.

– Он говорил, сестра его, – с полнейшим равнодушием словно выдавил из себя Рублев. – Сказал – сестра, а может, и соврал. Он очень хотел эти карточки на ту сторону переправить.

– Неужели сестра? – даже задохнулся Бубекин. – А я-то ему…

– А какая разница, – усмехнулся Рублев. – Сестра, брат, мать… Вы ведь очень правильно тогда ему говорили… Помните, когда я чайник-то опрокинул: нет ни человека, ни женщины – есть враг... Все-таки ничего, все-таки как помощник вы были удовлетворительны, я так и доложу…

– Помощник? Чьим же я был помощником? – удивился и даже

несколько обиделся Анатоша.

– Моим, конечно, – усмехнулся Рублев. – Но я вас, да, я вас похвалю – задатки у вас есть.

– Вы думаете, что я буду продолжать работу? – и пугаясь, и уже довольный, спросил Бубекин. – Видите ли, я хочу с вами поделиться… Я со стороны командира полка замечал какое-то как бы неприязненное ко мне отношение: контрразведчик, мол, что-то вроде жандарма. А теперь вот… Выполнили мы с вами нужное и опасное дело, ведь то, что мы сделали, это не пулемет взять наскоком, – это и труднее, и сложнее, а мои приятели, ей-Богу, морды от меня воротят. Ну, не прямо, а все-таки чувствуется. Словно я сразу им всем стал несколько противен.

– Это всегда так, – зевнул Рублев. – Болит немного, – дотронулся он до правой стороны груди. – Да, к такому отношению со стороны окружающих привыкнете. Это оттого, что все нас побаиваются. Мысли-то у людей разные, мыслей-то больше поганых, – вот люди и думают, что мы и мысли их можем читать. Примерно так. А от нас вы уж теперь не уйдете, наша работа затягивает.

В тот же день Рублев был отправлен в тыл. А через два дня вызвали и Анатошу в штаб армии. И в полк он больше не вернулся.

Впервые опубликовано: Рубеж. 1938. №№ 9, 10.
Печатается по: Несмелов А. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2. Владивосток, 2006. С. 140-160.

СТОРУБЛЕВКА

Перед праздниками, недели за две до Нового года, редактор вечерней газеты Яков Львович давал своим сотрудникам специальные задания для двух праздничных номеров – новогоднего и рождественского. Призван он в свой кабинет и репортера Костю Кранцева. В хорошей, дружно склоченной редакции «вечерки» отношения между старшими и младшими служебными рангами были самые товарищеские, – все с друг с другом были на «ты».

И редактор Яша сказал репортеру Косте:

– Ну, тебе, Кранцев задание стандартное. Соберешь анкету новогодних пожеланий. Есть?

– Есть! – ответил Костя.

– Конечно. Тебя не учить, ты наш премьер. К балерине Андогской заглянешь. Понимаешь?

– Конечно! – мотнул головой Костя. – За ней же наш издатель ухаживает. К доктору Крошкину тоже надо будет зайти, он мою жену лечит.

– Валяй, он поговорить любит. Коммерсантов не забудь, которые

дают нам рекламу. К Ивану Ивановичу Рогозинскому загляни, он нам всем вроде папаши. К Степану Гавриловичу тоже надо будет. Кто из нас Ощепкову не должен?

Словом, в пять минут редактор и репортер наметили всех анкетируемых, и Костя уже хотел было покинуть кабинет, как вдруг у Яши, помешанного на желании оживлять газету, то есть снабжать ее оригинальным материалом, блеснула в голове новая мысль.

– Стой! – сказал он Кранцеву. – Вот что, Костя. Ты уголовный репортер, сколько твоя память хранит всевозможных необыкновенных случаев из городской жизни. И страшных, и смешных. Не напишешь ли к рождественскому номеру рассказик, понимаешь, рассказик из нашей городской жизни? Сможешь?

– Смогу, конечно! – не подумав даже, ответил Кранцев. – Случаев у меня, конечно, за десять лет работы в вечерке накопилось сколько угодно. А рассказ написать, что же, долго ли? Например, о гайке, помнишь?

– Нет, о гайке не годится, – поморщился Яша. – Тут, понимаешь, что-нибудь этакое, рождественское надо. Высокое даже, но с ужасом, с нечистой силой, что ли. С призраками!

– Есть и с призраками, – тотчас же откликнулся Карцев. – В Московских-то казармах, помнишь? Дом с приведениями? Когда еще я, по твоему поручению, всю ночь привидение подстерегал в коровнике. И подстерег. Привидение-то соседом оказалось. Романтическая история.

– Ну, хотя бы в этом роде. Но ты постарайся! Может быть, у тебя талант беллетриста обнаружится. Многие репортеры так в большие писатели выкарабкались, например, Диккенс, а у нас Леонид Андреев. Вот и все.

– Ладно! – усмехнулся репортер. – Ты меня славой Леонида Андреева не прельщай, ты лучше хороший гонорар заплати, скажи там в конторе, – и Кранцев отправился в сотрудническую отписываться.

II

Косте, пареньку неглупому и даже с образованием, казалось, что написать рассказ также просто, как «верхушку» в газете – т. е. большую сенсационную заметку о каком-нибудь ограблении, людоворовстве или пожаре с человеческими жертвами. Однако дело оказалось не так. Заметка требовала лишь точного описания того, что видели глаза и слышали уши. Вот и все. Для построения же рассказа этого оказалась недостаточно. Надо было описать то, что глаза не видели, надо было создать жизнь: быть хотя бы маленько, но все-таки творцом.

Это во-первых. Но это было еще, так сказать, полбеды. В описаниях, в «разговорах», т. е. в диалоге, помог бы Яша, известный беллетрист, автор нашумевшего романа, переведенного на несколько иностранных языков.

Было и нечто другое, что мешало Косте выполнить прибыльное задание шефа.

Это другое заключалось в том, что те сюжеты, которые были интересны в пересказе немногими словами, при попытке уложить их в распространенный рассказ сразу же становились скучными. Интриги не получалось, завязка не завязывалась, не было неожиданности и в развязке.

– Ничего не выходит у меня с рассказом! – жаловался Костя своей супруге Раичке. – Какая-то жвачка получается, а не рассказ.

– Ну, и плюнь! – утешала Раичка мужа. – Очень тебе нужно возиться! Пойдем лучше ужинать к Татосу.

– Жалко! Все-таки четвертную за рассказ заплатили бы. Как раз к праздникам!

И хотя Костя, прервав муки творчества, шел к Татосу кушать купаты, шашлык и пить кахетинское № 5, но все-таки, в конце концов, написанный рассказ, – так и не увидел света. Но это случилось уже по совсем другой причине.

Собирая новогоднюю анкету пожеланий, Костя, как и хотел, заглянул к доктору Крошкину. Крошкин был богатым человеком и считался в городе лучшим эскулапом. Конечно, как это всегда бывает в отношении врачей, кое-кто поругивал его коновалом, но разве на всех угодишь?

Во всяком случае, если другие врачи отказывались лечить, то шли к Крошкину, рассуждая так:

– Уже или уморит в раз, или вылечит. Решительный мужчина!

Но на вид Крошкин не производил впечатления решительного человека – скромный, тихий и даже застенчивый, большой любитель поговорить на высокие темы: об искусстве, о литературе и науке и даже о вечности и о Боге.

Между прочим я хочу предупредить читателя, что рассказ наш относится ко временам давно прошедшим, еще гомидановским. Все с той поры в нашем городе радикально изменилось, улучшилось, конечно; и событие, давшее репортеру Кранцеву сюжет для рассказа, в наше время, к счастью, уже произойти не может. Другими словами, все это дело давно минувших дней и старины глубокой. Давно уже нет в городе и симпатичного доктора Крошкина.

Так вот, Костя сидит в его кабинете.

Между доктором и Костей обширный стол, прикрытый поверх традиционного зеленого сукна еще толстым зеркальным стеклом. Под этим стеклом какие-то фотографии, картинки, – все это Косте уже не в первый раз посылаемому к Крошкину, хорошо знакомо. И вдруг он среди подстекольного содержимого видит нечто новое: не первой свежести кредитный билет в стоиенного достоинства.

В те времена в городе ходили блаженной памяти даяны, курс иены

был высок; кто имел к этому возможность, иены приберегал, скапливал. И, конечно, сторублевка, да еще как на показ, положенная под стекло письменного стола в докторском кабинете, не могла не заинтересовать репортера даже чисто профессионально.

– Фальшивая? – спросил он.

– Нет, самая настоящая, – ответил Крошкин. – Храню как память. Это мой гонорар из недавних визитов. Замечательный случай!

– Медицинский случай замечательный? – спросил Кранцев, навастривая репортерские уши.

– Нет, в медицинском отношении случай самый заурядный – абсцесс на ладони, вызванный занозой. Замечателен он в ином смысле. В смысле необыкновенности положения, в какое у нас в городе могут попадать врачи.

– Расскажите, доктор! – попросил Костя, вытаскивая из кармана блокнот. – Вы за сколько же визитов получили эти сто йен?

– Всего за один, – ответил Крошкин. – Но он мог мне стоить жизни!

– Доктор, ради Бога, я слушаю, – даже затрепетал Костя, предчувствуя наличие сенсации, «верхушки» на третью страницу вечерки строк на 250 с заголовком «квадратным» на все семь копеек.

И доктор не стал томить репортера.

– Дней десять назад, – начал он, – когда я уже заканчивал прием, ко мне явился китаец. Одет хорошо, даже богато, но как-то не по росту, точно не в свое. Ботинки явно велики, а штаны коротки, пиджак тоже сидит на могучих плечах так, что сразу видно, что он едва натянут, вот-вот по швам треснет.

Вы знаете, я по-китайски не говорю. Знаю всего слов десять: тунда-путунда, ю-мею. У меня переводчик. Зову его. В чем дело? И вдруг замечаю, – я ведь человек наблюдательный, – что мой Ли, который приступая к исполнению своих обязанностей, обычно с пациентами-соотечественниками держится гордо, надменно, чем меня, скромного человека, часто заставляет сердиться, – теперь вдруг словно переродился. Кланяется, сгибается в три погибели, лепечет униженно. А с прочими он словно сам доктор, а я у него за помощника. Что такое, думаю, и спрашиваю:

– Что это за человек, Ли?

– Его, – отвечает тот, – шибко важный люди!

– Генерал?

– Нетуля. Его не казенный люди, его купеза. Но очень важный купеза. Шибко богатый.

Меня это удовлетворило. Зная, как китайцы преклоняются перед богатством, перед деньгами, я поверил Ли.

– Что у него болит? – спрашиваю я. – На что жалуется?

– Его нету больной, – отвечает переводчик. – У него мадама больная есть. Он вас просит поехать к нему. Его машина ждет.

– Далеко ли?

– В Чэньхэ.

– Такая даль! Впрочем, машина есть?

– Машина есть, – повторяет Ли. – Его говорит, что он, сколько ваша проси, столько и заплатит. Только просит поскорее ехать. У мадам рука распухла, она кричи есть.

– Хорошо, скажи ему, что через полчаса я закончу прием, и мы поедем. Ты поедешь со мной.

Мне показалось, что предложение ехать со мной, которое Ли принимал обычно с охотой, ибо от больных перепадало кое-что и ему, на этот раз было принято им без удовольствия. Он почтительно сказал несколько слов посетителю, который, отвечая, отрицательно затряс головой. Ли перевел мне, что в переводчике нужды нет, что, мол, капитанов бойка хорошо говорит по-русски.

Я попросил посетителя подождать меня в приемной и скоро к нему вышел. В прихожей, надевая пальто, он вытащил туго набитый бумажник и дал Ли десять даянов.

У подъезда моей квартиры стоял автомобиль. Это была карета с шофером-китайцем. Мы сели и помчались. Садясь так вот, с неизвестным мне человеком, я часто думал, что в условиях нашего теперешнего быта с разными убийствами, ограблениями и похищениями, – врач совершенно беззащитный человек. Вот везут вас будто бы к больному, а завести могут черт знает куда. И все концы в воду – ищи ветра в поле. Но на этот раз даже этих мыслей у меня не было, – на душе у меня было совершенно спокойно.

Едем. Добрались по ужасной дороге до Чэньхэ. Думаю, ну, сейчас увижу дворец этого самого ходеньки. Добираемся до окраины поселка. Шофер уменьшает ход. Наконец-то! Уже совсем темно. Останавливаемся. Я собираюсь вылезать и поднимаю свой чемоданчик со шприцами, некоторыми инструментами и лекарствами, который я всегда беру с собой, когда собираюсь визитировать.

Машина остановилась. Обе дверцы распахиваются, в карету вскакивает несколько китайцев, одетых простонародно, и я бьюсь в их, вдруг схвативших меня, руках. Пытаюсь кричать, но мне уже зажимают рот, мне завязали глаза.

И мы снова мчимся.

Вы можете представить, что я переживал? Я, конечно, тотчас же понял, что я попался на их примитивную хитрость, что я почти пропал. И я отлично понимал, что о сопротивлении нечего и думать, что при первой же попытке, скажем, к бегству я буду моментально убит. Мне оставалось только одно – покориться. В таком случае за мое освобождение на меня

будет наложен выкуп, вернее, ограбление, но что же делать, жизнь дороже денег.

Так мы и мчались. Я молчаливо, с завязанными крепко глазами, мой же пленитель о чем-то говорил с китайцами, заскочившими в машину. Ни какой враждебности они ко мне не проявляли. Даже наоборот, кто-то из них сунул мне в рот сигарету и сказал:

– Ваша кури, пожалуйста! – и дал мне огня. Закурил я с наслаждением. Табак успокоил нервы.

Сколько прошло времени? Ах, не спрашивайте! Мы мчались и мчались, а может быть, были уже за его чертой.

И вдруг – стоп, остановка.

Я слышу голоса многих подбегающих к машине людей, их китайскую речь, и думаю на оперный мотив:

– Что час грядущий мне готовит?

Дверь нашей кареты раскрывается. У меня все еще завязаны глаза, но я чувствую это по волне пахнувшего холодного воздуха. Мне снимают повязку, закрывавшую глаза. Я выхожу.

Темно, но не так уж чтобы не различить ближайших предметов. Передо мной фанза и около нее несколько землянок. Два окошечка фанзы освещены. Китаец, привезший меня, жестами указывает, что я должен следовать за ним. Я повинуюсь.

И тут, у самых дверей фанзы, я вижу невысокий столб, врытый в землю. К этому столбу привязан китаец в халате.

Выражение его глаз, когда он глянул на меня, до сих пор не могу забыть: так могут смотреть, такой взгляд может быть лишь у приговоренных к смертной казни! Ну, конечно, замерзнуть через несколько часов привязанным к этому столбу. И только тут я по-настоящему испугался, я понял, что дело нешуточное, что может быть, и меня ждет такая же участь. Не окажусь ли я через час рядом с ним у этого же самого столба?

Но как я мог изменить свою судьбу? Я должен был делать то, что мне приказывают.

Я вошел в фанзу.

Она была дурно освещена маленькой керосиновой лампочкой, и я не сразу разобрал, кто поднялся из-за стола мне навстречу. Лишь через несколько секунд глаза мои освоились с обстановкой, и я мог разглядеть того, перед кем так подобострастно склонился китаец, похитивший меня из дому и привезший в эту трущобу.

Это был китаец огромного роста, одетый просто, но тепло – на нем была ватная куртка, крытая хорошая материалом, и ватные штаны, запрятанные в сапоги. На боку его болтался деревянный ящик – кобура маузера. Глаза с изрытого оспой лица смотрели смело, мужественно.

– С изрытого оспой лица? – спросил Кранцев, на секунду приостановив свой бегающий по бумаге карандаш.

– Да, да! – доктор значительно поднял глаза. – С изрытого оспой лица. Передо мной был сам Корявый!

– Господи, Господи, – пролепетал Костя. – Сам Корявый! Да ведь это же вот какая сенсация!

III

Сделаем маленькое отступление. Теперь имя, вернее кличка «Корявый» нашим молодым читателям ничего не скажет. Но лет пятнадцать тому назад наводила она трепет на жителей Харбина.

«Корявый» – это была кличка атамана шайки хунхузов, терроризировавший не только Харбин, но и его окрестности. Никакой особенной храбростью бандиты из шайки Корявого не отличались, даже больше того, они были трусами и убегали при малейшем же намеке на возможность сопротивления их жертв. Весь ужас для населения заключался в том, что Корявый работал в полном контакте с существовавшей в то время гоминдановской полицией.

Именно это и делало Корявого неуловимым (его никто не пытался ловить) и действительно грозным для беззащитного населения.

Но продолжаем рассказ доктора Крошкина.

– Мы рассматривали друг друга, я – с душевным трепетом, он – довольно добродушно.

– Здравствуй, – сказал мне он, – Ваша доктор Крошкин?

– Да, – ответил я. – Я доктор Крошкин.

– Моя мадама больная есть, – пояснил бандит. – У него рука ломайла, – и только тут я обратил внимание на то, что в фанзе кто-то стонет. Взглянув направо, я увидел на канне лежащую человеческую фигуру.

– Ваша моя мадама лечить могу? – опять обратился ко мне Корявый.

– Могу, – ответил я. – Но надо осмотреть больную.

– Конечно, – Корявый сказал несколько слов по-китайски. Женщина с канна стонущим голосом ответила ему. Вероятно, это означало, что она не в силах подняться, потому что привезший меня китаец, уже скинувший с меня пальто, бросился к канну и стал помогать больной.

Я попросил Корявого посветить мне. Он бросил кому-то несколько слов по-китайски. Чьи-то услужливые руки схватили лампочку со стола и приблизили к больной. Я увидел совсем юное женское личико, весьма привлекательное – китаянке едва ли было больше 16-17 лет. Это личико пылало от жара.

Кисть левой руки у больной оказалась замотана грязной тряпкой.

Я стал возиться с ее рукой. Попав в профессиональную плоскость, я спокойно занялся своим делом, совершенно забыв о том, где нахожусь. Я

обнаружил абсцесс на ладони, вызванный как мне сказали, занозой. Вся рука была вымазана какой-то черной мазью, остро пахнувшей керосином. Кроме того, кисть руки оказалась перетянутой шнурком, что и усложнило воспалительный процесс.

Я выругался, перерезал шнур, потребовал горячей воды и стал обмывать отвратительную мазь. Теперь уж я распоряжался, как и подобает. Затем я достал из своего чемодана все, что мне требовалось для маленькой операции, т. е. для вскрытия нарыва: инструменты, вату, марлю, дезинфицирующие средства.

Увидев ланцет, китаяночка испугалась и стала хныкать.

– Ваша режь хочу? – спросил меня Корявый.

– Да, – ответил я.

– Ее говори не надо резать.

– Тогда ее помирай есть, – строго сказал я. – Обязательно помирай.

Китаяночка еще похныкала, но помирать не захотела.

– Ее говори, режь могу, – дал разрешение Корявый.

Я приступил к делу. Не прошло и получаса, как нарыв был вскрыт, гной удален, рана промыта и рука забинтована. Китаянка сразу же почувствовала облегчение; когда же я еще дал ей проглотить таблетку укрепляющей патентики, то она совсем воспрянула духом и попросила кушать.

Тут я сказал, что свое дело я сделал, что больная через несколько дней будет совсем здоровой, но что ей ежедневно надо делать перевязки, пока ее рука совсем не заживет. Я с полчаса еще растолковывал Корявому, как надо делать перевязки, и снабдил его запасом марли, ваты и бутылочкой риванола.

Корявый поблагодарил меня и пригласил к столу: подали очень вкусные пельмени и предложили горячей ханы.

Тут Корявый сказал мне:

– Ваша видел люди у столба?

– Видел, – ответил я.

– Его тоже доктор есть. Китайский доктор. Его плохо моя мадам лечи. Моя думаю совсем кончай его. Моя так думай: хороший доктор – хорошо, плохой доктор – совсем плохо. Такой люди совсем не надо живи.

Итак, пока я возился с больной, разговаривал с Корявым и угощался его пельменями, в десяти шагах от меня замерзал человек. Я, конечно же не мог отнестись к этому равнодушно. Но, с другой стороны, я и сам еще не знал, что будет со мной. Отпустит меня домой с миром или Корявому все-таки захочется взять с меня выкуп? А то, может быть, меня еще заставят жить в этом разбойничьем гнезде до тех пор, пока рука бабенки совсем не заживет. Вы понимаете меня, мое положение?

– Еще бы. Конечно! – не отрываясь от записывания, ответил Костя. – Дальше, доктор, пожалуйста!

– И вот, – продолжил Крошкин, – я самым вежливым и даже нежным тоном, каким говорят с капризными детьми или со слабоумными, стал доказывать моему хозяину, что вины за китайским доктором большой нет, что он просто неуч, как большинство китайских врачей-самоучек. Лучше, мол, было бы простить его, взяв с него обещание никогда больше не заниматься врачеванием.

Но на Корявого моя логика не подействовала.

Он отрицательно мотал головой. Он говорил, что если бы отпустил его, но только бы за хороший выкуп. Но доктор беден, взять с него нечего, поэтому пусть лучше он замерзнет.

– А ваша, – закончил он свою речь, – может теперь ехать домой. Ваша от наша спасибо. Моя сразу видит, что теперь моя мадам хорошо есть, – тут он вытащил из своего пояса толстенную пачку денег, выбрал из нее вот эту самую сотенную бумажку, – Крошкин постучал по стеклу, – и, протянув ее мне, сказал: «Ваша скоро праздник, пожалуйста, возьми за работу».

Я бы, конечно, с удовольствием отказался от этого гонорара, но мой отказ обидел бы, быть может, бандита. За стеной фанзы уже затарахтел заводимый мотор автомобиля, привезшего меня в это разбойничье гнездо.

Я поблагодарил и взял сторублевку. Один из бандитов предупредительно держал мое пальто. Я должен был одеваться.

Но ведь в десяти шагах от меня за стеной фанзы погибал человек! Нет. Я не мог уехать, я должен был сделать еще попытку спасти его.

Ведь человеческая жизнь! Эту жизнь надо было спасти во что бы то ни стало! Ей-богу, я бы встал на колени перед разбойником, если бы имел хоть малейшую надежду размягчить его бандитское сердце. Но разум мне подсказывал, что тут надо было действовать иначе.

– Ведь китайцы народ практичный, – подумал я, и блестящая мысль осенила мою голову.

Я сказал:

– Слушайте, начальник! Давайте мне этого доктора. Я буду с ним заниматься, обучу его, и он станет врачом. Тогда он будет работать для вас и заплатит вам выкуп. Так вам будет от него польза. Если же он замерзнет, то пользы вам не будет от этого никакой.

Корявый подумал и сказал:

– Это правильно. Ваша хорошо говорит.

Словом, несчастный эскулап через несколько минут был введен в фанзу. Ему дали горячей ханы, пельменей. Видимо, живучий от природы, он быстро отошел и, когда ему рассказали, в чем дело, бухнулся в ноги сперва перед Корявым, а потом передо мной. Мой отъезд, таким образом, несколько задержался.

Скоро я, опять с завязанными глазами, уже несся домой. Рядом со мной сидел и выручeнный мной китайский лекарь. Нас довезли до первых домов Чэньхэ и здесь высадили. Машина унеслась куда-то, я же знаками

объяснил лекарю, чтобы он шел куда хочет, что мне теперь нет дела до него.

– Моя не касайся! – сказал я, и он меня понял.

Еще раз бухнулся передо мной в ноги, он исчез в темноте, а я дошел до остановки легковых машин и поехал домой. Вот и все.

IV

Дня через два Костя принес свой рождественский рассказ, – он понравился и Яше, и всем нам.

– Из тебя, Костя, – говорили мы приятелю, – если не Диккенс, то уж Леонид Андреев обязательно выйдет. Вот оно, где таланты скрываются, оказывается!

Но, увы! Чудесный рассказ Кости так и не увидел света – в печать он не попал.

И вот почему: доктор Крошкин вдруг обратился к Яше со слезной мольбой – рассказа о визите его к хунхузам не печатать. Оказалось, что спасенный им китайский лекарь все-таки явился к нему и потребовал, чтобы он исполнил обещание, данное Корявому, то есть учил бы его всем тайнам европейского врачевания.

Крошкин прогнал нахала. Лекарь ушел, но сказал, что будет жаловаться Корявому. А тут еще это рассказ! Вдруг о нем узнает Корявый – что тогда будет!

Доктор так нервничал, что решил даже покинуть Харбин навсегда, переехать в Шанхай, что позже им и было выполнено. Правда, Костину работу он все-таки оплатил, выдал ему за ненапечатание рассказа двадцать пять Гоби, что автора несколько утешило. А то уж он начал было ворчать:

– Вот и сделайся тут, в Харбине, Леонидом Андреевым. При наличии Корявых, управляющих нашей жизнью!..

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1938. № 12.

ЛЮДОЕД

Лет двадцать тому назад еще во Владивостоке пришлось мне встретиться с людоедом и при этом не с «профессиональным», так сказать, каннибалом, не с дикарем из недр Африки или с какого-нибудь Богом забытого островка в Тихом океане, а с соотечественником и даже стихотворцем, а именно – фельетонистом из владивостокской коммунистической газеты «Красное Знамя». Настоящую фамилию его я не знаю, имени тоже не помню, стихотворные же фельетоны свои он подписывал псевдонимом Игорь Северный.

Мой Северный явился во Владивосток в двадцать втором году из тайги, где он партизанил с красными. Это был высокий мужчина, худой, жилистый, очень физически сильный. Судя по тому, как он владел пером стихотворца-фельетониста, он был не без образования, писал грамотно. Но ударения в иностранных именах и фамилиях он перевирал ужасно, что говорило о том, что даже средней школы он не окончил, *интеллигентом* не был.

Словом, о прошлом Северного я знаю очень мало. И вот почему: кто-то из общих приятелей мне шепнул, что новый знакомец мой в прошлом каторжанин, освобожденный от многих лет наказания революцией. Но что касается своего прошлого, то Северный не был разговорчив, в откровенности не пускался.

Но он мне нравился. Очень добрый, отзывчивый, всегда готовый помочь, услужить, выручить из беды. Как боец в партизанских отрядах в прошлом и сотрудник коммунистического органа в настоящем Северный должен был быть партийцем или кандидатом в члены партии (об этом тоже я его не спрашивал), но ничего подчеркнуто коммунистического или даже просто советского ни в речах его, ни в поведении не было. Просто хороший мужик, рубаха-парень, такой же представитель богемы, как и я сам. Пришел Северный на помощь и мне, когда меня как бывшего офицера и сотрудника белых владивостокских газет никуда на службу не принимали. Надо было стать членом профсоюза, а для этого требовались рекомендации. Северный дал мне свое поручительство, и так началось наше знакомство.

Встречались мы не часто, но всегда дружески, причем обычно обращаясь ко мне с душевным: «Ах, милый поэт мой!» – Северный всегда тащил меня куда-нибудь «посидеть», т. е. выпить, закусить, поболтать. Я не отказывался. Материальные дела его были во много раз лучше моих, ибо, несмотря на его рекомендацию, меня все-таки в профсоюз не приняли, и существовал я только на случайные литературные заработки. Да и приятели у меня все были такие же, как и я, неприкаянные в советских условиях люди, та самая «компашка», с которой я позднее бежал в Маньчжурию.

И вот однажды летом 1923 года сидим мы с Северным на «Веранде», как назывался чудесный ресторан над самым морем, над голубой, уже вечереющей бухтой. Низкое солнце освещает ее справа, и паруса рыболовных судов, входящих в нее на отдых, нежно-розоваты, и розоваты вершины пологих, тихих волн. И дальше море, уже злое, и на границе его пурпура, уже у горизонта, чеканятся хребтастые очертания острова.

Столик наш у самых перил террасы и накрыт на двоих. В лица нам веет с моря йодистая соленая свежесть, сменившая тяжелый зной городского дня. И сиди я с кем-нибудь другим, а не с Северным, было бы

мне удивительно хорошо. Но к Северному у меня всегда почему-то держится в душе настороженность, и я сам не могу объяснить себе ее причину. Почему бы? Отчего? Ведь человек этот ко мне расположен, и, конечно, искренно. Но я, разговаривая с ним, словно как бы оглядывался на то, что сказал. Нет у меня к нему полной веры, чужой он мне, но с другой стороны, – нужный человек для меня, висящего в советских условиях на волоске, на *липочке*... Как же его избегать?

И вот мы сидим, и официант подходит к нам с карточкой:

– Выбирайте, граждане!

На водочке и на закуске к ней сходимся единогласно.

– Дай ты нам, дорогой товарищ, – говорит Северный, ко всем обращающийся на «ты», – дай ты нам грибков да огурчиков, да кеты отварной. И скумбрии еще дай маринованной – толковая рыба.

– А из горячего чего?

Северный думает, а я говорю:

– Мне, пожалуйста, телятины дайте.

И вдруг моего знакомца передергивает, будто я его этими словами как пилой по больному месту провел.

– Пожалуйста, милый мой поэт, – пылко говорит он мне, – не заказывай телятины: видеть я ее не могу! Чего хочешь бери, но только не ее. Очень прошу тебя!

Я, конечно, не стал возражать: мало ли каких блюд некоторые не переносят; я, например, вымя видеть не могу, от вкуса его меня с души воротит.

– Хорошо, – говорю, – Бог с ней, с телятиной. Дайте мне, официант, солянку по-московски.

И стали мы выпивать и насыщаться, поглядывая на отличное море, любуясь им. У Северного же, когда он становился навеселе, был такой жест: выпьет рюмку и ножкой ее постучит по голове. При этом он как-то так надувал щеки, что получался гулкий звук. И, постучав, Северный, дурачась, говаривал:

– Пустовато, еще малость влезет! – и наливал рюмку снова.

Все это проделал он и сейчас, и потом, зорко взглянув мне в глаза (бывал у него иногда этакий острый, въедчивый взгляд), сказал мне:

– А почему, милый мой поэт, ты меня никогда ни о чем не спросишь, никаких вопросов мне не задаешь? Я к тебе, прямо скажу, всей душой, а ты все как будто побаиваешься меня. Словно с прирученным медведем обходишься: приручен-то, мол, приручен, а как бы не укусил.

Этими словами он, конечно, если говорить правду, попал в точку, и я несколько смутился и не совсем толковое ответил насчет воспитания, кажется; с детства, мол, меня приучили не напрашиваться на откровенности.

Впрочем, Северный на мои слова не обратил внимания, а приказав

еще подать водки, он сказал:

– Вот хотя бы о телятине. Каждый бы на твоем месте спросил, что такое, почему телятины не ешь? А ты, как валдайская девица, глазки вниз и молчишь. А между прочим тут бо-ольшущая вещь открывается. Тут для настоящего писателя сюжет. Ты ведь с кем сидишь, а? – и он поднял на меня строгие глаза.

На взгляд его я ответил непонимающим взглядом, и он продолжал:

– Ты ведь с людоедом сидишь, милый мой поэт. С настоящим людоедом! Не с человеком, которому человеческого мясца пришлось отведать по случаю или по незнанию, а с таким, что мясом этим сознательно напитался!

– Ты шутишь, – ответил я, хотя отлично видел, что никакой шутки в словах моего собеседника нет. Но как бы я иначе мог реагировать на такое признание? Когда вам вдруг признаются: я – вор, я – предатель, я изнасиловал малолетнюю, и прочее, и тому подобное, – во всех таких случаях полагается встать и сказать: «Если так, то простите, я должен вас оставить, так как с таким человеком (вор, предатель, насильник) порядочному человеку общения иметь не полагается».

Но... людоед? Ведь это какая-то совершенно особая категория человеческого падения, к которой нельзя подойти трафаретно. Тут или безумие, разновидность садизма, или озверение, вызванное муками голода. А может быть, даже извращение чувств, в основе своей глубоко героических: например, мать в Поволжье убивает умирающего от голода ребенка, чтобы мясом его накормив его брата или сестру, *своих же детей*, которых она еще надеется вырвать из когтей голодной смерти. Может быть, – возможно представить, – что для спасения этих же детей она и сама подкормится этим мясом, ибо если она умрет от истощения, ее детей сожрут озверевшие соседи. Так что к факту людоедства надо подходить с осторожностью.

– Да нет же, не шучу я! – даже гневно вырвалось у Северного: он понял, что своим «ты шутишь!» я хочу отклонить от себя некий нелегкий суд над тем, что произошло с ним когда-то, отклонить, отстранить, как трудное, сложное и неприятное дело. И я должен был выслушать рассказ моего приятеля.

Необходимое вступление к этому рассказу я передам своими словами и возможно короче. Отряд, в котором партизанил Северный, принадлежал к Тряпицынской группе, уничтожившей город Николаевск-на-Амуре. Группа эта не была однородной в отношении изуверств и кровавых дел, не все составившие группу партизанские отряды одобряли бешеную линию поведения руководителей – Тряпицына и Нины Лебедевой, но все же под угрозой обвинения в измене и собственной гибели линии этой в той или иной мере все должны были следовать. Но к весне, т. е. к началу

навигации, стал нарастать страх и перед возмездием за все содеянное со стороны Ниппона, его военного флота. И тогда тот отрядик партизан в числе около шестидесяти бойцов, в состав которого входил и Северный, решил уйти от Тряпицына, чтобы самостоятельно пробраться в те населенные пункты, где была уже стабилизованная советская власть.

Я не помню маршрута, который избрали для своего следования эти отколовшиеся партизаны, да и не в этом дело. Уход их осуществился благополучно – они покинули Тряпицынский лагерь, выбрались из охраняемых пространств и углубились в тайгу. Конечно, ими были взяты с собою некоторые запасы продовольствия, но в достаточном количестве провиантом разжиться не удалось, так как сборы проходили потаенно. Легкомысленное русское «авось» и надежда на мясо, которое можно добывать в пути охотой, – все это положило конец колебаниям: отряд на походе.

Но пусть рассказывает сам Северный.

Сверля меня тем своим острым, буравчатым взглядом, о котором я уже упомянул, он, многое, видимо, упуская, подходил к главному.

– Заголодали мы, – говорил он, – очень скоро, и оттого, главное, что все мы были народом недисциплинированным и начальнику нашему – каторжанину старому Александру Арефьевичу по прозвищу Старик – почти не подчинялись. В бою, конечно, другое дело: в бою или, скажем, перед боем, в виду белых, он нам как царь был. Убить, кого надо, – убьет, и все молчат. А как из боевой обстановки выйдем – все равны, хоть самого Старика за бороду таскай. Словом, сам знаешь, какова партизанская дисциплина.

Правда, Старик предупреждал нас. Старик говаривал:

– Для ча, – ворчал, – запасы зря жрете? Когда еще до местов жилых дотащимся. Смотрите, друг друга свежевать начнете!

А мы ему:

– Не трепись, Арефьич! Мало ли в тайге мяса? Изюбря убьем, сыты будем!

– А ты поищи его в тайге, изюбря-то!

И действительно, что-то нам дичины в тайге не попадалось на глаза, но мы думали – оттого это, что пока мы сами за дичиной не доглядываем. Однако, милый мой поэт, прав был Владимир Клавдиевич Арсеньев, когда писал, что тайга зимой пуста от зверья, хоть шаром в ней покати. Лишь местами зверье держится, по окраинам урмана что ли. Ведь Арсеньева-то ты, чай, знаешь или читывал?

– И читал, и знаю лично, – ответил я.

– Хорошо о тайге пишет, по-настоящему, – похвалил писателя Северный. – Но это так я, между прочим, – о себе я буду говорить. Так вот, заголодали мы. Пришел такой день – нечего жрать. А кругом лес и мороз.

Мороз и лес – тьма, холод, глушь. И глушь эта гудит, стонет. Ветер издали тяжелой волной идет, волну эту несет и вдруг, деревья закачав, пронесет над тобой дальше.

– Красиво! — вырвалось у меня.

Северный взглянул на меня почти с ненавистью.

– Красиво! – злобно вырвалось у него. – Свистун ты стихотворный! Не красота – пытка этот шум тайги, если он изо дня в день над тобой. Даже для нас, привычных, да еще на голодное брюхо! Как зубная боль он. Впрочем, может, тебе этого и не понять. Но дальше. Лошаденка с нами шла, тащила во вьюках снедь. Тащить нечего стало – зарезали. Едим – суп варим. Однако на шестьдесят-то человек надолго ли лошаденки хватило? Два что ли, три дня – и нет лошаденки, и вот он, голод, уже перед каждым, не угодно ли кору глодать! Белок, правда, стреляли, раз глухаря удалось найти и снять, но что это все на шестьдесят голодных мужиков – варево это только раздразнит! Каждый на другого, который в котел ложку опускает и на ней голову беличью тащит, как на врага смотрит. А котлов у нас было два, и по их числу на две группы мы разбились. И у каждой группы свои охотники, стрелки лучшие. Но не каждой группе одинаково везло. Той группе, с которой Старик был, лучше везло, лучшие стрелки в ней оказались, я в ней был.

Получилась вражда, и она-то разбила нас надвое, с особыми начальниками у каждой. Старик не возразил.

– Хорошо, – говорит, – идите своим путем. Разберемся. Может, это и к лучшему. Только уж пусть никто из вас на нашем ходу не попадается.

– Да и вы тоже, – отвечают, – на нашу мушку не садитесь!

– Знаем! – и разошлись.

Теперь, милый мой поэт, ведаешь ли ты, что такое голод? Нет, не знаешь! Кушать хочется, аж мутит! Совсем другое! Ты вот, скажем, курить бросил, потому что тебе это строжайше запрещено доктором. И ты согласился с ним, понял, что папироса для тебя – что ровно яд, что сулема. И ты решил твердо: не курю. И не куришь там час, или два, или день даже. И думаешь: вот какой я молодец, не курю ведь, поборол, кажется, свою страсть. И гордость в тебе. Но вдруг идешь ты и видишь – лежит на столе чей- то паршивый окурок с желтым, замусоленным, мокрым от слюней мундштуком. И вид этого окурка разом все в тебе переворачивает. Впрочем, даже и не переворачивает, ибо никаких чувств, мыслей, внутренних борений и всего прочего в тебе даже и нет вовсе, а просто чужая сила, табачная сила, тянет тебя к этому окурку, и ты хватаешь его, ищешь в кармане спичек и жадно, одним махом докуриваешь. А потом уж начинается всякая психология, раскаяние, стыд, страх и прочее. И ты снова даешь себе слово не курить, не повторять малодушного поступка. До нового окурка, конечно, до того, милый мой поэт, пока ты не поймешь, что бессилен бороться со своей дурацкой страстью.

Это – первое. А второе вот еще что. Вот ты, например, голоден, то есть тебе очень хочется кушать. Ну-ка, что ты, например, тогда в своем уме представляешь?

– Я? Горячую, хорошо поджаренную котлету. Знаешь, нажмешь ее вилкой, а из нее сок!

– Вот! Один котлету себе представляет, а другой, скажем, просто краюху хлеба. Но так скажем: идет перед тобой, голодным, здоровая чушка. Идет, хвостиком своим вертит, хрюкает. Представляется ли тебе в аппетите твоем кусок ее кровавого мяса, мяса кровоточащего еще, теплого, на тарелке лежащего?

– Нет! – с отвращением и решительно сказал я.

– Так, стало быть, ты и голода еще не знал! – торжествующе заметил Северный. – Голод, дорогой мой поэт, начинается тогда, когда в человеке кровожадное существо пробуждается, когда его даже *к сырому мясу потянет*. Вот! Когда до этого человек дойдет и когда *этого* ему как курить захочется, тогда он и людоедом становится.

– Но каждый разве? – с отвращением спросил я.

– Этого не знаю. Я ведь не проповедую и не лекцию читаю, а о живом случае говорю. *О себе говорю.*

– *Я* сырого мяса, как и каждый из нас, сначала тайком попробовал, – продолжал Северный. – Убил как-то три белки и думаю: утаю одну, поем вдосталь. Но как утаить? Да просто же: сырую съесть, благо соль в мешке солдатском имеется. Только бы никто из товарищей не увидал, а то убьют еще! И как пес голодный, забежав в чащу, за кустом ободрал и сожрал ее. Только уж очень жестко сырое мясо, ох, жестко, не по зубам человеческим! Где тут разжевать его второпях. А потом отрыгать стал парной свежинкой, чуть не сорвало, но скрепился, волей рвоту преодолел, страхом: вырвет кусками мяса – улика. Так, значит, я сырого мяса отведал, а на другой, на третий день уж и попривык к нему.

А потом, так как все это делали и, конечно, дознались до того, то и вошло у нас в обычай, коль принес ты на табор четыре или более белки, то одну отдавать добытчику – пусть, если хочет, сырьем жрет. И стали мы входить во вкус сырого мороженого мяса.

Все-таки слабели мы, да и белка кончилась, когда вышли к одной реке и пошли по ней, замерзшей, вверх. Кедровника нет, и белки нету, да и сил нету подальше от становища отходить. Отощали очень. А о другом отряде, как разошлись, ни слуху, ни духу. Сначала их охотничьи выстрелы все-таки слышали издали, потом, когда дальше разминулись, не слыхать их стало. Но однажды на привале услышали два выстрела. Один, потом минут через пять – другой: значит, где-то поблизости пробираются, дичь постреливают. А в эти дни нам уже очень плохо пришлось, совсем заголодали.

Один из нас и говорит:

– А не податься ли нам к Безухому? – так атамана их звали. – Может, у них лучше, чем у нас? Так все-таки будет поддержка.

Старик, однако, не соглашается.

– Не думаю, – ворчит. – Тем более раз они по обиде на нас отошли. Предупреждаю, только неприятности могут быть. Однако раз в той стороне они что-то постреливают, в ту сторону и нашим бы охотникам сунуться. Может быть, хоть белка там есть. Такое дело правильное.

Однако никто особой охоты идти на выстрелы не выказал. Дело под вечер, костры разложили, трех каких-то птиц в котле разваривaем – все-таки и тепло, и хлебово. Но один все-таки встает, берет винтовку, говорит:

– Посмотрю малость. Только похлебки мне оставьте.

Это говорит партизан по прозвищу Иван Кайло – мощный такой и веселого нрава мужчина, отлично свыкшийся с сыроедением. Из каторжан сахалинских, убийца.

– Свирепый? – спросил я.

– Как тебе сказать? – пожал плечами Северный. – Если, скажем, в театральном смысле, то вовсе нет. Веселый, говорю, и даже добродушный. Взгляд только у него был нехороший: стоячий взор. Уставится, умолкнет и смотрит. И нехорошо становилось каждому от такого взора.

Вот он и ушел. Сколько проходит времени с его ухода, не скажу – не помню, но только не так далеко от нас вдруг раздается выстрел. Немного погодя – второй и потом еще два. Что такое? Это же ясно, не по дичи. Почему такая перестрелка?

– Не на сохатого ли напали? – соображает кто-то. – Или на медведя?

Старик же, подумав, говорит:

– Нет, это, пожалуй, не то. Однако надо идти: помочь надо, а может, и выручить.

Тут несколько человек поднялись, и я с ними. Пошли. Уже чуть светло в тайге – вечереет. Проходим некоторое расстояние и слышим, кто-то нам навстречу тяжело тащится. Маленько опосля видим, что валит на нас сам Иван Кайло и тащит что-то за собой на лямке. И до чего же все мы в тот момент обрадовались! Вот, думаем, убил Кайло кабана или медведя и к нам волокет, – кончено наше голодание!

Но не кабана и не медведя тащил к нам Ваня Кайло, а застреленного им сотоварища нашего из другого отрада, мужичка по фамилии Кульбасов, неизвестно как и зачем к нам приставшего.

Старик спрашивает Ваню:

– Зачем убил?

Тот рапортует:

– Так и так, мол. Шел я по тайге, скоро на следы набрел. Иду по следу. Иду и вдруг замечаю, что на крики мои: «Эй, добрый человек, свои идут», – который впереди не то что не выходит, а закруживать меня

начинает, норовит позади меня выйти. Мать честная, думаю, что такое, что сей сон значит? И я тоже тогда кружить начинаю, и кружим мы друг вокруг друга, точно два тигра. Потом он меня высмотрел все-таки и выстрелил. Вон она, пуля-то саданула, – и Ваня показал нам срезанный пулею лопоух ушанки. – Тогда я, конечно, в него. И еще раз он в меня, и я в него. Тут он и пал.

– Да для ча же он в тебя палил? – помолчав, с сомнением спросил Старик.

– Это уж сами рассудите. Не иначе как на мясо меня метил, – хмуро ответил Кайло.

– А ты зачем его тащишь к нам? – это кто-то из нас спросил, не помню кто, и Ваня Кайло не ответил на этот вопрос, да и не ждали мы ответа. Только бросил он тут убитого с развороченной пулей головой и угрюмо сказал:

– Как хотите. Тащить больше не буду – устал.

И пошли мы к табору, оставив мертвеца неподалеку в тайге.

В таборе костры горят, народ спать устраивается. Каждый покалечен, поморожен, брюхо пустое – в чем душа держится. Погаснут невзначай костры, и никто не проснется, потому что клонит ко сну смертельно, и нет от него спасения. А вокруг тишина мертвая, лесная, снежная, и звезды что подсолнухи по небу рассыпаны. Заснул я сразу, но спал, наверное, мало. А проснулся я от такого сновидения: приснилось мне, что будто какая-то женщина из горла русской печи противень вытаскивает, и на нем здоровенный кусок жареного мяса, и дух от мяса чудесный идет. Вот этот-то дух меня и пробудил.

Пробуждаюсь и что же – весь сон исчез, конечно, а *запах жареного* остается. Поворачиваю голову вправо, к костру, и вижу, что Кайло Ваня сидит у костра и жареное мясо ест, а другой кусок на углях жарится, и от него-то и дух.

И тут, как курильщик к окурку, потянулся я к этому мясу: ничего не соображая, ничего не думая, только дай! И, представь себе, милый мой поэт, ведь охотно дает мне Ваня порядочный кусок мяса, и я его проглатываю, чувствуя вкус телятины, и еще прошу. И еще дает мне Ваня мясца. Но на просьбу мою в третий раз говорит:

– Поди сам и отрежь.

– Куда поди?

– А туда, – и головой на тайгу, – в ту сторону, откуда мы вечор пришли.

Рассказчик умолк и с жалкой, несчастной улыбкой, мучительно искривившей его бритые губы, посмотрел на меня. Я молчал. Я отвернулся и смотрел на море – уже завечеревшее, ближе к нам темно-синее, но еще алое вдали.

Но все-таки надо же было что-нибудь сказать, и я, преодолев отвращение, взглянул на Северного и заговорил о голоде в Поволжье. Потом я сказал, что мне некогда, что я очень тороплюсь, и, расплатившись, мы вышли из ресторана.

После этого я с Северным долгое время не встречался; до известной степени избегал его, – кому приятно общение с человеком, который пусть даже против своей воли однажды людоедствовал? Однажды? Нет! Не сам ли Северный, приступая к рассказу, заявил, что он человеческим мясом (видимо, в дальнейшем) питался *сознательно.*

Но все же меня очень интересовало недосказанное в его мрачнейших из повестей о человеческом падении. Неужели, думал я, человек, насытившийся мясом себе подобного, только тем и отреагировал на это ужасное дело, что теперь «не может есть телятины», вкусом своим напоминающей ему те куски человеческого мяса, что он глотал ночью у костра? Неужели же Северный не был покаран чем-то или как-то?

И все-таки мне пришлось встретиться с Северным и дослушать его рассказ. Небезынтересно, что он, увидав меня, даже с некоторой горечью посетовал на мое уклонение от его *исповеди.* Именно так он и сказал:

– Вы, мол, интеллигенты, – чистоплюи, вам бы только самим не запачкаться, не попасть в отходники. Оттого вас так народ и ненавидит. Ты вот даже исповедь мою прослушать не хочешь. Тебя с души воротит.

– Если уж исповедь, так исповедуйся, – хмуро ответил я. – Но гожусь ли я в духовники? Ты бы лучше к священнику пошел.

– Нет! – ответил Северный на это. – Мне отпущения не нужно. Может быть, я грех-то свой уже искупил? Мне высказаться хочется. Только пойдем куда-нибудь подальше от людей.

И мы пошли на ту высоченную сопку, что поднимается за морским штабом, вправо от улицы Петра Великого. Винтообразная дорожка вела к ее вершине, увенчанной каким-то метеорологическим сооружением вроде башенки. Была там и скамья, на которую мы уселись. С этого высокого места открывался чудный вид на город, на убегающие на запад сопки с бетонными, блестевшими на солнце как серебряные, очертаниями фортов. А на восток было море, голубое, дымчато сливавшееся с горизонтом. И у горизонта чернела точка уходящего парохода, и за этой точкой тянулась тонкая и длинная ниточка дыма.

Мы сели на скамью, но Северному не удалось сразу приступить к рассказу. Снизу раздался тоненький детский голосок, что-то лепетавший, смеявшийся. На сопку по нашему следу поднималась молодая женщина с шести-семилетней девочкой: мать и дочка. Девочка, прелестный, упитанный, розовощекий ребенок с сытыми, точно ниточками перетянутыми в запястьях ручками, запыхавшись от подъема, побежала к нашей скамье и упала на нее животиком, крича матери:

– Мама, мама, а все-таки я первая, ты опоздала! – и, поглядев на нас, недовольно, – Но скамейка уже занята какими-то дядями!..

– Ничего, малюлька, мы уйдем! – ласково сказал Северный и погладил ребенка по голому плечику. – Ишь какая пышка!

Мне стало до тошноты отвратно. «Уж не оценивает ли этот людоед девочку как хороший кусок мяса?», — враждебно подумал я и поспешно встал, чтобы уступить скамью матери и ее чудесной дочке. Мы обогнули метеорологическую башенку и, несколько спустившись, сели на каменном скате сопки.

И тут я дослушал окончание рассказа Северного.

– Ты представь себе такое, – начал он. – Ты представь себе, милый мой поэт, тридцать мужиков, уже две недели досыта не евших и с неделю по-настоящему голодающих. Все они исхудали, поморозились, и еще ест их вошь, Бог знает откуда взявшаяся. Спят они между кострами, и спят только потому, что сон их – все равно что обморок. Обморок этот продолжается часа два – голод снова приводит их в чувство, и ощущение его похоже на то, что в желудке твоем сидит крыса и этот твой желудок грызет, поедает внутренности: такая в кишках боль! Говорят, что вот даже от зубной боли с ума сходят, петлю на себя накидывают... Так ведь зуб-то вышибить можно, а кишки из себя не вытащишь! Конечно, голодать можно и по сорок суток, как некоторые голодают, – так ведь это в тепле, лежа на постели, да еще с горячим чайком. И главное, по доброй воле: надоело или не под силу показалось – и покушал. И сознание пользы тебе от этого голода есть: я, мол, потерплю, а потом мне зато хорошо будет. И к тому же не надо тебе из последних сил, да и не из сил уже, а от крайнего твоего изнеможения, – сухостой для костров рубить и ветки для подстила. И вши тебя не грызут, и одичалого рычащего соседа радом с тобой нет, и главное, может быть, – нет у тебя мучительного сознания, что продержись ты еще неделю или полторы – и кончатся все твои муки в первой же избе встречного поселка, и жив останешься.

Страх смерти и муки голода очень быстро превратили каждого из нас в зверя. И мы стали смотреть друг на друга как волки. И, как потом выяснилось, не одни мы с Ваней Кайло попробовали тогда человеческого мясца. И другие его отведали, но только все молчат об этом. И вот однажды на рассвете один из нас не поднимается: умер ночью, замерз, может быть. Самый бессловесный был, истощенный, и его на дальний край от костров оттесняли. Фамилию его не помню, а звали его Митяем. Так мы этого Митяя и скушали.

– Как? – вырвалось у меня.

– Поделили по руке, по ноге, по мягким местам – одно название, конечно, мягкие-то, кожа только, – и сварили. И когда дух супяной из котла поднялся, так крыса-то, которая в брюхе у нас сидела, чуть не

загрызла каждого. Едва сырьем человечину из котла руками не повытаскали. Старик с маузером над котлом встал. «Убью, – кричит, – благо все равно теперь друг другом нам придется кормиться, раз уж мы до людоедства дошли». Осадил он нас, дождались варева, насытились. И представь себе, милый мой поэт, подлость человеческую – ведь повеселели все.

Молчим, конечно, о том, что сделали, но в головах такие мысли: он, мол, Митяй-то, все равно мертвый, ему все равно, мы ли его съели, медведь ли. А нас он поддержал. Не помирать же! Может, это и предрассудок, что человечину при нужде есть нельзя. Больше, пожалуй, от попов такие рассуждения, а попов революция раскассировала. Вот живого убить и съесть – это конечно, это другое дело! Так и тому подобное.

И дальше пошли.

Тут по речке нашей стали мы подниматься на перевал. Старик, знавший эти места, говорит:

– Теперь, если хребет перевалим, до первого жилья не больше, чем сто верст. Теперь по нашей ходьбе с неделю ходу осталось. Эх, дичину бы Бог послал – дотащились бы, подхарчившись!

Ваня Кайло замечает:

– На перевал поднимемся. Тут самые пустые, безличные места. Голое место! Тут только изюбри ходят, да разве занесет его на нас.

– Это ты к чему каркаешь? – строго спрашивает Старик.

– Между прочим, – отвечает, – говорю. А соображать сами на утро будете.

И замолчал. А мы понимаем, к чему он эти слова подвел.

Должен я тебе, милый мой поэт, еще одну главную вещь сказать, а именно, что ведь один-то из нас все-таки Митяя не ел! Партизан Шкурин его не ел и к котлу даже не подошел. Никто из нас не спросил его, почему не ешь; ясно, конечно, почему: не хочет погаться. Только Ваня Кайло над ним пошутил:

– Не кушаешь, Шкурин, значит, самый первый ты кандидат в котел!

И на это Шкурин ответил:

– Я не в осуждение не ем, жрите как псы. А я образа и подобия терять не хочу.

– Ну, говорю, – и попадешь в котел!

– А это мне, мертвому, без значения будет.

Строгий был мужик.

А нам, парень, после того, как мы человечины отведали, совсем плохо стало. Она в нас разврат сделала. Пока голодали и не дошли до нее – все-таки терпели. Кору жевали, ремни варили, корни какие-то к вареву прибавляли, откопав: обманывали голод! А здесь, после мертвечины, невтерпеж стало. Ведь вот оно, мясо-то, телятина-то эта самая человечья – рядом с тобой шагает. И полезут в голову мысли, как бред вязкие: а не

саданут ли пулей в затылок того, кто перед тобой шагает?

– Но, – начал я, чувствуя ужас и отвращение к рассказчику, – но Шкурин-то как? Ведь он-то сохранил себя. Разве из другого теста был человек?

Северный развел руками.

– Этого и мы не понимали, – ответил он. – Мы ведь даже обыскали его, думая, что он сухари таит.

– Ну?

– Ни крошки не нашли. Кору грыз, как и мы. Но наконец стало и его покачивать. И это только и спасло меня.

– Спасло вас? Как?

– А вот слушай. Ведь бросили мы все-таки под конец жребий на мясо, не выдержали! Под вечер это уже было и в месте страшенном. Совсем уже почти на самом перевале были. Речка в ручей превратилась, в три сажени ее русло стало. И с одного берега скалища над ней навесилась, почитай, до пяти саженей. Голо кругом и ветер как стальная плеть – хлещет и замораживает. Тут, в русле, под скалой, мы и затаборили. Скала-то – прикрытие от ветра. И представь себе – даже топлива для костров достаточно нет. Все-таки кое-чего набрали, развели огоньки, положились около них.

Ваня Кайло говорит:

– Если не поедим – завтра пропали. Не протащиться нам эти сто верст, хотя с перевала и пособнее будет идти.

– Это так, – соглашается Старик, и сам у костра, что лесовик белобородый, вся в сосулях да в инее борода!

– Так что же делать? – спрашиваем мы.

– Известно что, – отвечает Старик. – Кто-то один за всех должен положиться. Верстов сто всего до места-то. Обидно теперь всем погибать. Одного теперь хватит, – с перевала сойдем, все-таки птица будет попадаться.

– Да, – говорит Ваня Кайло. – Не иначе как надо нам жребий метать!

И, парень, жребий этот мы все потянули. Все, кроме Шкурина, – его не неволили: не ешь, если брезгуешь человечиной, так и голову свою не подставляй. Кроме того, что греха таить, совсем уж плох был Шкурин в этот вечер, многие думали – не дотянет до утра, стало быть, на него смотрели как на мясной запас. Однако все-таки жив человек, и на насильное убийство никто из нас идти не хотел. Сотоварищи ведь! Этого у нас не было.

И вынул Ваня Кайло из мешка своего старую засаленную колоду карт, стасовал, Старику дал снять. На туза пик загадали.

– Тащи, командир, потом я потащу, – говорит Ваня Кайло.

Запротестовал Старик.

– Мне, – говорит, – атаману вашему, тащить карту не полагается. Нет

такого устава, чтобы командиров жрать, не для этого я с вами мытарился, выводил вас из тайги, от Тряпицына увел. А если не согласны, так сначала, пока я еще карту не потянул, нового командира себе выберите.

Тут малость поспорили. Одни согласны, другие возражают. Но ведь надо нового атамана выбирать – канитель, до того ли? И порешили: пусть Старик карту не тащит, освободить его от этого. Поручили Старику держать колоду, чтобы обмана не было.

Потянул карту Ваня Кайло: десятка треф – пронесло. Другой руку тянет.

И вот что я тебе, милый человек, скажу: в этот момент, на время это, даже про голод мы забыли, крыса рвать нам внутренности перестала. Такого страха никогда я в жизни своей не испытывал. Говорят вот, что когда все свое состояние на карту ставят, так трясет таких людей. Что там состояние! За жизнью или смертью потянул я руку свою и вытащил из колоды пикового туза!

И тут все замолчали и от меня отошли. И остался я один. Постой, парень, дай-ка я закурю.

Достав из кармана папиросы, Северный долго не мог закурить: дрожали руки, он, взволнованный воспоминанием, все ломал спички. Наконец, закурив, он стал продолжать свой рассказ.

– Я один остался, – начал он. – Понимаешь, один, хотя вокруг меня были все те же люди, хорошо известные мне ребята. Но они как бы не замечали меня, избегали встречаться со мной глазами, отворачивались, когда я смотрел на кого-нибудь из них. Меня, как Северного, как их товарища, для них уже не было. Я стал мясом, убойной скотиной, которая может мычать, ржать или хрюкать, но никому уже нет дела до того, какие именно и как она будет выражать чувства.

И я как-то на четвереньках отполз от костров к самому навесу скалы и сел, прижавшись спиной к ее ледяному камню. Мне хотелось что-то сказать, обратиться к товарищам с какими-то словами, но я понимал, что этого делать не нужно, что я, пожалуй, даже не имею на это права. Ведь сам, милый мой поэт, подумай: к врагу еще можно обращаться с какими-то словами, ну хотя бы бранить его. Ведь враг все-таки *человек*, он только убьет тебя, а не съест! Но разве можно вступать в разговоры с волчьей, например, стаей, которая кружит вокруг тебя, как кружили вокруг меня мои товарищи, может быть, уже сговариваясь о том, как убить меня, чтобы пожрать. Я уже со страхом смотрел на каждого из них, если он приближался ко мне, я *зыркал* глазами, как потом мне рассказывал неунывающий Ваня Кайло.

Разве можно обращаться с человеческими словами к людоедам, которые видят в тебе только мясо? Представь себе чушку, которая вдруг обратилась бы с человеческой речью: «Не режь меня, я жить хочу!». Такая

просьба убоины вызвала бы в мяснике только смех – ведь чушка и создана для того, чтобы идти на мясо! Да, мясник захохотал бы... Но мои *мясники* пришли бы в ярость, если бы я обратился к ним с этими же простыми и естественными в человеческих устах словами: ведь я же *сам* ел человечину и сам тянул карту, участвуя в мясной лотерее. Этим я сам дал право на собственное съедение.

Заскули я, заканючь, и меня бы с яростью немедленно же убили! Я это очень понимал. Ведь оставить мне жизнь значило не только не съесть меня, но еще и накормить меня человеческим мясом, то есть убить кого-нибудь другого из нашей же среды, ибо иначе не позже чем завтра мы должны были бы все погибнуть.

Мое положение было безвыходно. Страх смерти, охвативший меня, даже убил во мне чувство голода, родил ту подсердечную тошноту, что заставила смолкнуть все мучительные ощущения моего желудка и кишечника. Но я знал, что мой покорный вид, моя угнетенная поза только разжигают эти самые ощущения во внутренностях моих товарищей. Мне спасения не было, ибо если в ком-нибудь из моих товарищей-людоедов и пробудилось бы вдруг чувство отвращения к убийству и людоедству, то на протест его другие бы ответили:

– Ладно, пусть Северный живет, но тогда мы тебя заколем!

Смерть и пожирание другого – вот какова была цена моего спасения, цена невероятная!

Но меня все-таки медлили убивать, видимо, еще не сговорившись окончательно, как это сделать. Ведь если мы уже пожирали человеческую падаль, то убийство, да еще своего товарища для этой цели, – было еще делом новым, являло собою новую и уже глубочайшую черту оскотинения. Следовательно, еще требовалось некоторое преодоление того последнего человеческого, что еще в нас оставалось.

И в эти ужасные для меня минуты, когда Ваня Кайло отозвал уже в сторону Старика, и они о чем-то зашептались (обо мне, конечно), вдруг раздался слабый голос Шкурина, лежавшего около самого костра.

– Товарищи! – начал он. – Товарищи, послухайте, что я вам скажу. Дюже худо мне, и не доживу я до утра. Верно говорю – не доживу.

– Ну и что? – равнодушно спросил кто-то.

– А вот что... Не убивайте Северного... Падло человеческое ели – туда-сюда. Смалодушничали, не вытерпели – Бог простит. Живого человека засвежуете, хуже псов себя на всю жизнь чуять будете. Меня поутру съешьте, даю мое согласие и ваш грех отпускаю. Послушайте меня, образ и подобие не теряйте! – и Шкурин умолк, утомленный с трудом произносимыми словами.

А для меня, поэт мой милый, эти слова как музыка зазвучали, одним словом, они во мне отдались – *спасение*! И тут я уже смело стал искать глаз

моих товарищей, упираться в них взглядом своим – неужели, мол, и теперь меня убивать на мясо будете? А товарищи глаза свои от меня отводят, смущаются.

Старик же, подошедший к костру, молчит. То на меня, то на Шкурина смотрит.

Первым Ванька Кайло, удивительный человек, слово подал. А удивительным я его вот почему назвал – веселей и храбрей парня в отряде не было. И подлее тоже. И все ему как с гуся вода. На убийство первый и на песню первый, ни мысли, ни жалости, ни колебаний, кайло железное! Ни кусочка души в нем не было, оттого и лихость его шла.

И Ваня Кайло говорит:

– Ты, Шкурин, стало быть, как вроде на подвиг идешь для спасения души. Против этого мы, конечно, не возражаем, но только чего ради мы ждать будем твоей отходной? Половина-то нас до утра без пищи, глядишь, и поколеет. Вы понимаете, товарищи, к чему я эти слова произношу?

Тут меня опять страх смертный скрутил, аж закорежило всего. А товарищи молчат. Шкурин же чуть этак слышно говорит в ответ:

– Что ж, добейте, если надо, если вам невмоготу. Все равно жизни я уж не чувствую, не надо мне ее... Пострадать хочу! Очиститься...

И умолк. И моя жизнь висит на липочке. И чувствую я, что надо мне молчать в тряпку, ибо хоть на самую малость выдай я желание спастись ценою жизни Шкурина, как озлобятся все ужасно, и тут мне конец. Чувствую я, что надо мне молчать, героем быть, будто и не обо мне речь.

И вот Старик, лесовик белобородый, гмыкнул носом, шагнул вперед. И такие, мне показалось, тут молчание и тишина настали, что слышно, как у каждого сердце стучит. А Старик еще раз гмыкнул и говорит:

– Вольному, – говорит, – воля, а спасенному рай. И такой мой будет постанов. До утра подождать, не подохнем! Северного пока что от жребия освободить, но пусть жребий за ним остается: до жилья еще сто верст, – и глазами всех обвел, нет ли, мол, возражений. Однако никто не сопротивляется. И тогда я встаю и низко всем кланяюсь. И говорю, *степенно говорю*, сдерживая запрыгавшее от радости сердце:

– Как товарищи велят, так тому и быть. Мое дело маленькое.

И беру топор, чтобы рубить сухостой да подстилку себе устраивать на ночь. Я возвращен в человеческое общество, пока это общество опять не проголодается, сожрав Шкурина, и не вспомнит обо мне. Но иронизирую я сейчас довольно подло, конечно, ибо разве я не член этой же банды людоедов? И еще неизвестно, буду я или нет пожирать мясо моего спасителя? Ведь если рассуждать холодно и строго логично, без давления того, что называется совестью, то почему бы мне и не подкрепиться мясом этого святого человека? Ему уж все равно, и тем более он сам добровольно отдал свое тело на съедение, а меня это спасет от смерти. Хотя, конечно,

спасет, может быть, лишь только для того, чтобы на втором или на третьем привале неунывающий Ваня Кайло раздробил мне череп топором, подкравшись сзади.

Но истощение ли мое, дошедшее уже до того предела, когда чувство голода гаснет, или нервное потрясение, вызванное пережитым, когда я сидел обреченный на немедленное съедение, – но то, что было всего мучительнее, а именно боль во внутренностях, похожая на терзание их небольшим, но свирепым животным, совершенно угасла. Мной овладело безразличие, чувство полного равнодушия ко всему – такая лень, такое желание покоя, сна, что когда удаленная от пламени костра спина начинала мерзнуть, во мне не было уже сил переменить положения тела, повернуться спиной к огню.

А наступила уже ночь. Здорово вызвездило, как всегда в мороз. Я засыпал, может быть, замерзал. Память хорошо сохранила тонкий и высокий звук в стеклянном, ледяном воздухе. Словно кто-то на заунывной трубе подал далекий сигнал. Потом еще и еще – несколько труб, и вой их сливается вместе, становится слышнее, отчетливей, может быть, ближе. Кто-то рядом со мной встает, ясно вижу черный силуэт на фоне отсветов костра. Вставший щелкает затвором винтовки, кричит: «Волки!». Поднимается еще партизан. А вой волчьей стаи все ближе.

Он обрывается над самой моей головой. Я тоже пытаюсь подняться, встать. И в этот миг черное огромное существо пролетает над нашими головами и, издав тонкий вопль, падает за кострами, вздымая облако снежной пыли.

Я хотя и испуган, но все еще ничего не понимаю, товарищи же мои уже палят в черную тушу, которая бьется на снегу. Другие открывают огонь по парным огонькам, что замелькали вправо и влево от нас, по волкам, обежавшим скалу и уже спустившимся в овраг. Преследуя изюбря, парень, стая эта загнала его на скалу и заставила прыгнуть вниз!

Северный замолчал, его утомил рассказ. Глаза его устало глядели вдаль, на море, совсем бирюзовое. Потом он долго закуривал, но уже пальцы у него не дрожали.

— Собственно, и все, – начал он опять. – Дальше уже ничего особенного не случилось, только вот Шкурин все-таки умер, хоть мы его и отпаивали горячей кровью зверя. Да с волками еще бой пришлось выдержать – нахально они лезли на нас, на свежий мясной дух. Но которых мы подстреливали, тут же на наших глазах остальные разрывали и жрали. Вели себя, в сущности, совсем так же, как и мы до этого времени. А потом мы наелись и спали, спали чуть не сутки. И когда сытые стали вспоминать наши голодные дни, как мы мертвую человечину ели, то было нам и стыдно, и противно, и дали мы друг другу слово никому об этом никогда не рассказывать. И, может быть, только я один это слово нарушил,

рассказав тебе про наше людоедство. Да Ваня Кайло посмеивался, называя всех нас нервенными барышнями.

— Чего ж особенного? – искренно удивлялся он. – Если человек по подлой охоте человечину жрет и даже для этого людей убивает, так его, конечно, истребить надо. А если, как нас вот, нужда заставляет, так что ж, погибать что ли? Да гори оно синим огнем, чтобы я от голоду сдох, когда мясо, хоть и человечье, рядом! Я твой окорок, Северный, вот как бы еще обглодал! – и, сытый, довольный, веселый, он хохотал вовсю.

А потом мы Шкурина похоронили – это, парень, сделали от всего сердца. Не о себе только говорю, а каждый понимал и благодарен ему был, что он нас от убийства остановил... Набросали мы на него, покойного, каменья с гору. Только опытные партизаны говорили, что ни к чему это, – все равно волки разгребут кучу-то, доберутся до мяса, как и мы добирались до него через все запреты Божеские и человеческие. Так-то, дорогой мой поэт, вот отчего я теперь телятину не ем – скотство она мне мое напоминает, людоедство мое. А суди ты меня, как хочешь, я тебе уж за то благодарен, что ты имел терпение эту пакостную историю выслушать. А слушал ты ее хорошо, даже в лице менялся. Спасибо тебе, сердцем вижу, исповедь мою ты принял и меня облегчил. А теперь, если хочешь, пойдем водочки выпьем...

И мы поднялись и стали спускаться в город.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1942. № 45.

Хрестоматия

Людмила Алексеевна НИКИФОРОВА
(1881?-1965?)

Писательница и журналистка Людмила Алексеевна Никифорова родилась предположительно в 1881 г. в Петербурге в семье корабельного инженера А. Грехнева. Печаталась под псевдонимом «Л. Никитин» и др. Дебютировала в литературе рассказом «Ветка герани» («Нива». 1903. № 35). Выйдя замуж за студента Н.В. Никифорова, жила трудно, сотрудничала в журналах в жанре стихотворной политической сатиры, частушек-лубков, стихотворных шаржей. В 1908 г. познакомилась с М. Горьким, переписывалась с ним и под его влиянием обратилась к прозе, однако рассказы этого периода остались неопубликованными. С 1913 г жила в Чите, сотрудничала в местных газетах, публиковала рассказы в журнале «Театр и искусство». В Харбин приехала с мужем и дочерью в 1920 г. из Читы. Публиковалась в местных газетах и журналах («Русский голос», «Китеж», «Архитектура и жизнь», «Рубеж» и др.). Автор романа «Сила Земли» («Русское обозрение. 1920). Один из рассказов премирован на конкурсе Союза писателей и журналистов. Осенью 1934 г., после продажи КВЖД, с эвакуацией советских граждан вернулась вместе с дочерью Ольгой (1909 г.р.) в СССР (будучи к тому времени в разводе с Н.В. Никифоровым). Жила в Ленинграде. Литературным трудом в СССР не занималась (по др. сведениям – писала пьесы). Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист. и лит.:

Голоса АрхипеЛАГа. Письмо №4. «Жить невыносимо. Хочу бежать. Помоги» // Голос Эпохи. 2011. № 2. Письмо печ. по автографу: ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1481. С. 139-140.

Крадин Н.П. Н.В. Никифоров – издатель архитектурного журнала в Харбине // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 5. Благовещенск, 2003. С. 268-274.

Неваленная Т.А. Поэтика юмора в рассказах Л. Никифоровой // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 2. Благовещенск, 2008. С. 98-104.

Писатели, ученые и журналисты на Дальнем Востоке за 1918-1922 гг. Владивосток, 1922. С. 47.

Писательницы России: Материалы для биобиблиографического словаря / Сост. Ю.А. Горбунов // Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского. Екатеринбург, 2004–2011. URL: http://book.uraic.ru/elib/Authors/Gorbunov/index.htm

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 221.

КИТАЙСКИЙ БОГ

1

…Если революция отняла у человека все: здоровье, веру в жизнь, состояние, – это можно было бы простить во имя блага многих. Но блага от революции не получил никто. Даже те, ради которых она совершалась. И вот, за бессмысленность перенесенного страдания в душе поднимается бунт, порыв гнева… Когда улягутся гневные чувства, – в душе становится тихо и пусто. Хочется просто уйти от страдания, уйти к чужим небесам, окунуться в чуждую жизнь – и там найти примирение и покой…

Так думал Михаил Гернет, сидя в вагоне «Orient-Expressʹа», который мчался по просторам китайских равнин все далее и далее, вглубь страны. Он решил уехать в Китай, чтобы там успокоиться, отдохнуть, попытаться как-нибудь наладить жизнь. У него сохранились остатки состояния в заграничных банках, что давало ему возможность исполнять свои прихоти.

Пережив много горя, он стремился уйти от европейской культуры, с ее аффектами, эксцессами, мудрствованием. Его давно уже тянуло в Китай, – как будто изученный, знакомый, столько раз описанный, – но все-таки загадочный и грозный.

Он перечитал о Китае все, что ему удалось достать. И в его обостренной фантазии уже выявлялся облик этой станы, такой неподатливой к чужой культуре, с крепкой верой, с любовью к старине. В укладе китайской жизни ему нравилось даже то, что обычно принято было порицать. Китайская письменность, требующая для усвоения ее долгого упорного труда, внушала ему уважение. – Там, у нас, отлынивают от дела, стремятся всячески облегчить усвоение знания, а у них труд – основа жизни. Для них знание – награда, а не ступень к чинам, окладам, командировкам…

…В чем они черпают свою силу? Кто им дает ее? Какой бог? Какая вера? – мысленно задавал он вопросы, вглядываясь в убегающие дали.

Убаюканный тряской вагона, он закрыл глаза и задремал. Дремота его была тревожной и чуткой. В забытье все время врывалась действительность, путаясь с набегавшей волной грез. И смутно казалось ему, что тесноту купе окутывает какой-то сумрак и в затененности внезапно сгустившегося полумрака выступило вдруг чье-то лицо, – изжелта-коричневое, с высоким лбом, с раскосыми глазками, с тонкими губами, на которых змеилась загадочно-презрительная улыбка. В темных, глубоко запавших глазах чувствовалась мудрость, сознание власти и спокойная, безгневная жестокость…

…Китайский бог! – смутно промелькнуло в сознании. И Михаил Гернет с трепетом стал вглядываться в загадочное лицо. В нем была такая властность, такая нравственная сила, что Михаил Гернет, европеец, скептик и атеист, – упал к ногам китайского бога.

– Научи меня жить! – с глубокой тоской шептал он. – У нас все разбито, все отнято. Мы так жалки со своей мудростью, со своей гордыней! Мы не могли, не сумели ничего спасти… А без святынь, без заветов – мы не знаем, как жить. Помоги же мне!!

И он молил, метался и плакал. Целовал холодный камень грубо изваянных ног… Но китайский бог был недвижим и бесстрастен. Только еще презрительнее сжались тонкие губы, и огонек ненависти блеснул в темных звериных глазках.

Тогда в сердце европейца загорелся безумный гнев. Он бросился на китайского бога, сдавил его шею, налег на него всем телом, с неистовством, с бешенством… Но бог не дрогнул, не пошатнулся. Он продолжал улыбаться той же насмешливой, каменной улыбкой. Михаил Гернет изо всех сил толкнул его и от этого усилия… свалился с дивана. Ничего не понимая, он поднялся, сел. С недоумением оглянулся кругом. В купе было

тихо и пусто. Косые лучи заходящего солнца вырывались из-под низко нависших туч и бросили в окно поток ало-золотистого света. В этом свете дрожали и искрились мириады пылинок. Горячим отсветом было залито все купе… Михаил Гернет глубоко вздохнул.

– До чего у меня нервы расшатались! – с усмешкой прошептал он. – До заправских галлюцинаций дошел! Но жутко как-то… И лик этот запомнился. Так и вижу перед собой это темное лицо, с презрительной улыбкой на губах…

Он встал, вышел в коридор и стал закуривать папиросу. Руки его дрожали, сердце сильно билось. Он невольно оглянулся, не покажется ли в узком проходе загадочное, каменное лицо китайского бога. Стараясь успокоиться, он стал смотреть на мимо бегущие равнины, с пятнами фанз, огородов, кукурузовых порослей… И ему казалось, что дух загадочного божества должен неотходно реять над молчаливыми просторами бескрайних равнин…

2

Невыносимо жаркое солнце озаряло своеобразную жизнь огромного, пестрого, вонючего огорода. Колорит пейзажа был резким и ярким, контуры – грубыми и четкими. Ярко-синее небо упиралось на скаты ярко-желтых гор, низкими склонами уползавших вдаль. Ярко-пестры были дома с приподнятыми углами крыш, с тонкой резьбой, со змеями, с крылатыми драконами, увешанные фонарями, пестрыми лоскутьями. Улицы кипели жизнью. Дикий, адский гвалт стоял в раскаленном воздухе. Ревели ослы, им вторили погонщики, хлопавшие длинными бичами. Кричали носильщики паланкинов, невыносимо скрипели арбы, визжали продавцы с кувшинами воды, с чашечками риса, с корзинками плодов, – ловко сновавшие среди густой толпы.

Михаил Гернет с жадным любопытством вглядывался в течение чуждой для него жизни, присматривался к суетливой толпе. В каждом лице он улавливал сходство с тем загадочным ликом китайского бога, которого он видел во сне. И в его возбужденном сознании рождалась мысль, что этот бог живет среди китайской толпы, что дух его витает над нею, зажигая на желтых лицах тупое любопытство, странно близкое к ненависти. Гернет порою думал, что этот бог – мудрый, жестокий, властный – уходит иногда из тишины и мрака раззолоченной погоды, бродить по смрадным путям жизни. Бродит – и с жаркой ненавистью смотрит на то, что творится в пределах его земли, осквернённой пришельцами. Видит он, как страну наводнили чужеземцы, своими обычаями осквернили крепкую старину, ревниво хранимую многие тысячи лет. И в сердце бога загорается глухой гнев, желание отомстить за поругание заветов старины… И те же отсветы

затаенной ненависти чудились ему порой в глазах многоголовой толпы, объединяя ее одним мощным, всеобъемлющим чувством…

…В чем сила, в чем тайна этой наивной культуры? – не раз спрашивал себя Гернет. – Почему они сумели сохранить свой национальный облик, всю колоритность своего быта? Почему наша высокомудрая культура так-таки и не могла проникнуть в толщу их жизненного уклада, освежить его новыми сказаниями? И тщетно на эти вопросы искал ответа он, так гордившийся образованностью, мудростью, знанием и опытом…

И потому-то он все более поддавался очарованию окружающей его жизни. Целыми днями бродил он по улицам, подолгу сидел в лавчонках, где старые, точно высушенные, китайцы торговали редкостями и безделушками. Там он любовался амулетами чудесной чеканной работы, вазами, пестро разрисованными, чашками, статуэтками. Он перебирал китайские шелка, то мягкие, нежные, то упругие, жесткие, расшитые золотом. Мало-помалу банальный комфорт его отельной комнаты затушевывался нашествием «китайщины». Венская кровать скрывалась за ширмами темно-лилового шелка, с вышитыми золотом драконами. На этажерке стояли китайские божки из темной бронзы, на стенах – наивные китайские пейзажи, где живопись мирно уживалась с вышиванием.

Он заходил во все пагоды и кумирни, куда только пускали иностранцев, и подолгу простаивал перед загадочными изваяниями богов – властителей жизни и дум этой страны. И он чувствовал, что власть их была огромна, непостижима для скептика европейца. Гернету казалось, что могущество этих богов создает здесь особую среду, где жизнь еле тащится медлительным движением. Атомы жизни прошедших веков здесь не распыляются в пространстве, а оседают в толщах бытия, напитывают воздух, овевают собой людей, все предметы, подчиняя все власти прошлого. Здесь прошлое – владело настоящим, здесь талисманы, амулеты – не выдумка, а сила… И если где можно обрести примиренность духа, растворение своего «я» в море жизни – то это именно здесь, в этой загадочной стране. С возрастающим вниманием он вглядывался в загадочные лица идолов, такие похожие на желтые, бесстрастные лица бонз, с истовой важностью исполнявших наивные обряды китайского культа. И все чаще и чаще в его мятущейся душе европейца зажигалась зависть к этим желтолицым куклам, напряженным в такие странные, пестро-расшитые балахоны, но достигшим такого великолепного спокойствия.

3

Однажды Гернет забрел далеко на окраину города. Среди ужасающей грязи и вони, где кишмя кишела китайская детвора, среди

жалких лепившихся друг к другу хижин, – он увидел небольшую кумирню. Эта кумирня представляла собой навес в виде купола яйцевидной формы, стоявшего на четырех, разукрашенных резьбою, столбах. Под этим навесом возвышалась какая-то огромная глыба камня, гладко обтесанная, но матовая, без малейшего блеска. Подойдя ближе, можно было рассмотреть, как из недр каменной глыбы выступало подобие человеческой фигуры, огромное, грубое, внушающее трепет огромностью массы. А лицо… Гернет вздрогнул, когда увидал это лицо. Темное, как земля, с желтоватыми отсветами сожженного зноем камня, с глубоко-впалыми глазами и змеящейся улыбкой каменных губ, – оно имело жуткое сходство с лицом китайского бога, когда-то виденного им во сне…

К этому идолу благоговейно стекались почитатели, перед ним жгли бумажные, пестро изукрашенные полоски, душистую смолу, навевая голубой дымок на каменное лицо большими веерами. Гернет видел, как старый калека-нищий с трудом полз по пыльной дороге, положил к ногам божества горсточку риса и благоговейно припал головой к каменному подножию.

Все китайцы с враждебным любопытством смотрели на чужеземца, которого так часто видели задумчиво стоящим около их божества. Иногда бросали ему в лицо частую дробь каких-то непонятных слов… И Гернет, находясь среди потных, грязных тел, пахнувших чесноком и бобовым маслом, не чувствовал ни брезгливости, ни отвращения. Он подолгу всматривался в загадочное каменное лицо, и порою ему казалось, что под толстым покровом камня живет и бьется странной таинственной жизнью дух народа, великий дух этой загадочно-грозной страны.

Не сразу осмелился Гернет ближе подойти к идолу, коснуться его каменного тела… Но когда он робко дотронулся до его сложенных на груди рук, то это прикосновение произвело на него странное впечатление. Солнце за день так накалило камень, что даже к вечеру он еще был теплым, как живое тело. И Гернет почувствовал, как суеверный страх охватил его, как сильнее, тревожнее забилось сердце.

С этого дня он стал часто приходить к этой кумирне, куда влекла его какая-то странная прихоть. Подолгу простаивал перед каменным изваянием, жадно всматривался в его лицо, изучал в нем каждую трещинку, каждую шероховатость и углубление. И от этого напряженного всматривания он улавливал странную «жизнь» этой материи, преображенной в подобие человеческой фигуры…

Каменное лицо бога не было застывшим, однообразным. Вот, уста его сомкнуты в спокойном бесстрастии, темные глаза величаво взирают на человеческую жизнь. Так же взирали они на мир много веков тому назад. Здесь тысячелетие было мгновением, здесь над жизнью неотходно реяло дыхание вечности… Многие тысячи лет тому назад здесь лепились друг к

другу такие же хижины, около которых копошились такие же полуобнаженные, смугло-желтые тела. Так же высились здесь груды отбросов, гнили, человеческого праха. И в этой жизни лучились отблески великой космической правды, – того вечного завета, который вещает человеку: «ты – земля еси!» Вещает, что человек должен жить той же безхитростно-мудрой жизнью, какой живет Земля. А тот, кто в гордыне мудрствования ушел от этой жизни, – тот ушел от покоя, от счастия…

А порой каменное лицо, казалось, трепетало каким-то странным волнением. В углах каменных губ залегали тени, складки и морщины делались резче, в глубоких впадинах глаз теплились какие-то искристые блики. В такие минуты чудилось, что китайский бог вот-вот заговорит глухим рокотанием каменных недр:

– Что тебе нужно, чужеземец, среди наших святынь? Зачем ты пришел осквернять их своими нечистыми помыслами, жадными, беспокойными глазами? Уходи отсюда!

И Гернет опускал глаза, весь замирая от страха. Он ждал этого каменного проклятия и в глубине смятенного сердцп верил, что оно возможно.

Население относилось к нему все более подозрительно и враждебно. Уходя от кумирни, Гернет зачастую чувствовал, как в синих южных сумерках за ним крадутся какие-то тени. Иногда он слышал за собой чье-то горячее дыхание, какой-то гневный шепот… И обернувшись, – он видел обычные тупо-безучастные лица. Но эта враждебность, эти преследования не пугали его, а еще увеличивали странное мистическое очарование, которое влекло его к изваянию китайского бога.

4

И это очарование все сильнее и сильнее захватывало его. Все чаще и чаще приходил он к древней кумирне и подолгу простаивал перед каменным изваянием, прислонясь к резному столбу. Иногда приносил цветы, плоды, связки колосьев и – трусливо озираясь по сторонам, стыдясь самого себя, – тихо клал их у каменных ног. Склонялся в немой тоске к каменному подножию, о чем-то молил, чего-то ждал от его бесстрастного могущества. И часы были для него мгновением…

Однажды, забывшись в жутких, неясных грезах, он вздрогнул от прикосновения чьей-то руки. Обернувшись, он увидел перед собой монаха, в черной рясе, в скуфейке, с безжизненно-бледным лицом аскета.

– Отойди, сын мой, от этого идола, – сказал он ломаным английским языком. – Смотреть на него – грешно христианину и опасно для иностранца.

И он увел Гернета с собой к монастырю, который возвышался на близлежащих холмах, – весь розовый от лучей заходящего солнца. Там в тихой келье, пропитанной запахом ладана, сухих трав и деревянного

масла, он усадил его в кресло, налил стакан терпкого, темно-гранатного вина. А сам долго молился перед резным Распятием, перебивая кипарисовые четки. Потом подошел к Гернету, который сидел, склонившись на руку, благословил его и сказал:

– Я давно уже живу в этой стране, сын мой. Я знаю здешнюю жизнь. И я знал многих, околдованных этим идолом. Это не простой идол. В нем – «бесовское наваждение», какое-то проклятое колдовство. Уезжай отсюда, сын мой, как можно скорее! В этой нечестивой стране возможно то, чего нам и не снилось, что мы никогда не считали возможным!

Гернет уже успокоился, овладел собою. Миновал странный припадок слабости и волнения, овладевший им.

– Что это за идол? Расскажите мне, отец мой, что вы знаете о нем?

Монах задумчиво покачал головой.

– В этой стране, сын мой, все так дико, так странно! Много еще нужно потрудиться нам, служителям Христа, для того, чтобы эти язычники обратились на путь истины. Про этого идола я слышал много, очень много. И долго не мог допытаться правды. Я расспрашивать о нем многих туземцев, – богатых, знатных, ученых – и все они прикрывались неведением, говорили, что этот идол ничем не отличается от многих других. Наконец один из мандаринов, у которого я вылечил единственного сына, почти умирающего, – тот поведал мне древнее сказание. Этот идол, сын мой, – сама Земля. Некогда, в давние времена из недр земных родилась огромная глыба, с едва намеченными очертаниями человеческого тела. Была она рыхлой, и плодоносной, и любящей. Припадали к ней люди в тоске, в жажде успокоения – и уходили от нее, благословляя жизнь. Весной убиралась она травами и цветами, зимой укрывалась под легкой снежной порошею. И была тогда жизнь простой и прекрасной…

Шли века за веками: зло и грех умножались. Люди тянулись к соблазнам греха и плотской похоти. Мир ожесточался, и земляная глыба слеживалась, твердела. На ней уже не росла трава, а лишь мох и седой лишайник. Бледнела счастьем жизнь… И с каждым днем твердело тело Духа Земли, превращаясь в камень. Теперь он окаменел весь. Но в недрах его еще теплится, живет и бьется великое сердце Земли. Оно тоскует о прежней воле, о радости, о содружестве с людьми. И оно ненавидит «инглезов», «белых дьяволов», пришедших с Запада и оскверняющих крепкую старину. Силой своей ненависти этот бог околдовывает иноземцев, тянет их к себе. У китайцев ходит поверье, что тот, кого манит к себе бог Земли, – того он избрал своей жертвой. И тот иностранец, кто бы он ни был, – должен быть убит, а его кровью должен быть окроплен каменный идол. И с каждой новой жертвой каменный бог будет становиться все мягче и мягче – пока наконец он не сделается опять глыбой рыхлой земли. И тогда станет опять жизнь простой и прекрасной.

Гернет молчал.

– И теперь ты понимаешь, сын мой, почему я советую тебе уезжать отсюда как можно скорее?

Гернет пожал плечами.

– К чему уезжать? – сказал он. – Мне гораздо интереснее испытывать новые ощущения, окунуться вглубь этой легенды, которая может быть истиной…

Монах с испугом поднял руку и осенил его крестным знамением.

– Боже мой! – продолжал, отдавшись своим мечтам, Гернет, – не зло ли на самом деле вся эта наша культура, которой мы так гордимся? Не лучше ли было бы отречься от нее, уйти, ринуться в те глубины жизни, где царят великие заветы Вечности, не тронутые ложью?

– Сын мой! – строго произнес монах – отдать жизнь за веру, за родину, за ближних – великий подвиг. Но отдать ее из-за праздного любопытства желтолицым дьяволам – столь же великий грех!

Гернет не стал спорить. Он чувствовал какое-то утомление, слабость всего тела. И в то же время смысл легенды всецело владел его помыслами. Хотелось остаться одному, разобраться во всем, только что услышанном... Чувствовал он впервые в жизни, ясно и мощно, трепетание какой-то большой нечеловеческой правды, которая шла вразрез с тем, что он издавна считал благом и истиной. И ему казалось, что это была – правда мира, правда космоса, дыхание Вечности. И он чувствовал себя слабой ничтожной песчинкой, назначение которой – в слиянии с мириадами других песчинок – творить жизнь вселенной. Это ощущение, показавшееся бы ему прежде обидным и унизительным, – теперь наполняло отрадой его душу.

Он дружески простился с монахом, поцеловал его сухую, жесткую руку и ушел, весь охваченный наплывом взволнованных дум, которые туманили его разум, рождали в нем стремление к познанию новых откровений…

…К шумному многолюдному городу подошла ночь, – синяя, знойная, навевающая грезы. Измученным дневной суетой людям принесла она тишину и сладость забвения. Несла она с собой влажную свежесть океана, ароматы далеких просторов… А ей навстречу дышала смрадом измученная, загаженная отбросами земля. Жаловалась, задыхаясь и жадно впивала волны прохлады, навеваемые златозвездным покровом ночи.

Михаил Гернет быстрыми шагами ходил из угла в угол по своей комнате. Им владело странное беспокойство. Иногда он подходил к окну, вгдядывался в темные ночные дали, в неясные контуры строений, сливавшиеся в смутную массу…

Наконец он не в силах был противиться каким-то смутным, волнующим зовам. Он вышел на улицу и пошел, все ускоряя шаги, по знакомой дороге. В европейском квартале еще кипела жизнь. Сияли огни,

проносились щегольские ауто, где слышалась музыка. Но по мере того, как он углублялся в китайскую часть города, все тише и пустыннее становились улицы. Кое-где еще горели тускло-желтые огоньки, мелькали людские тени, слышался гортанный говор.

Из-за пологих гор показалась луна, облила все бледным сиянием. И навстречу ей поднялась, затрепетала тихая жизнь ночи. Наметились иные контуры, иные краски, – то воздушные, голубые, серебристые, то тяжелые, иссиня-черные… Высокий купол древней кумирни весь светился дрожащими бликами, резной дракон на крыше отбрасывал причудливую тень, – мрачную и тяжелую. А сам дракон, голубой и легкий, точно парил в синезвездных просторах…

Каменный бог улыбался. Темнота его глаз казалась еще глубже, еще загадочнее на ярко-освещенном лице. У подножия его склонилась какая-то темная фигура.

Это был Михаил Гернет.

Он прижался лицом к холодному, чуть влажному камню, и это прикосновение было для него невыразимо отрадным. Казалось, чья-то спокойная, любящая рука ласкает его голову, дает ему несказанную сладость забвения и мира душевного…

…Вдруг кто-то охватил его тело, потянул к себе. Гернет крепко уцепился за каменное подножие. Но его тащили, напрягая силы. Он слышал за собой чье-то жаркое, прерывистое дыхание. Удар в сердце заставил его разжать судорожно сжатые пальцы. Теплая волна захлестнула его… Черный мрак надвинулся, – мрак небытия и покоя…

Полная луна поднималась все выше и выше, казалась белесой и тусклой на глубокой синеве ночного неба.

Каменный бог предавался ликованию. Он улыбался, весь блестел и лоснился при ярком свете луны. По его лицу, по могучему телу стекала мелкими струйками какая-то жидкость.

Два старых китайца стояли перед ним и с робким благоговением ощупывали тело – не смягчился ли камень?.. Не стал ли он, окропленный жертвенной кровью, рыхлым и мягким, как увлажненная росами грудь земли?..

Опубликовано (за подп. Л. Никифорова) и печатается по:
Русское обозрение. 1920. Декабрь. С. 270–280.

С ДАЛЕКОГО ЮГА

…Белое кружево пены тихо бьется о серые камни. Только у самого берега слышны нежные всплески волн, а дальше стелется голубая гладь,

сливаясь вдали с туманной лазурью. Потоки золота льются с неба и обливают и море, и скалы, и маленький городок, раскинувшийся в тени оливковых рощ и виноградников.

По уступам скал, поросших купами душистого ломоноса, пятнами золотистого дрока, лепятся хижины, издали похожие на птичьи гнезда. Около каждой хижины копошатся бронзовые полуголые ребятишки с шапками черных спутанных кудрей. Яркими пятнами пестреют на солнце кофточки, юбки, выделяясь на светлой зелени виноградников.

Даже в этой благословенной стране люди в поте лица добывают хлеб свой. Мужчины с рассветом уезжают в море на рыбную ловлю, женщины или занимаются домашними работами, или под палящими лучами солнца карабкаются по скалам, собирают землю в большие глиняные кувшины и ссыпают ее в виноградники. Здесь, на камнях, сожженных солнцем, каждая капля воды, каждая горсть земли – редкое сокровище, бесценный дар Божий…

Тихо идет женщина, несет на плече корзину с бельем. Смуглое лицо ее прорезано морщинами, на темном шелке волос резко белеет седая прядь. Встречные, вместо обычного ласкового bon giorno! молча дают ей дорогу. Потом долго смотрят ей вслед и шепчут:

– Это Мариуччия…

Радостной и беззаботной, как солнечный день, была молодость Мариуччии. Выросла она среди нищеты в узких и смрадных закоулках Неаполя. Мариуччия ходила в лохмотьях, никогда не наедалась досыта, но все ее существо было переполнено радостью. Она страстно любила жизнь, синее море, шумный певучий город, свою молодость. Рано развилась, как все женщины далекого юга. Ей не было и семнадцать лет, как она полюбила красивого смуглого Луиджи, который и увез ее на скалистый остров.

Здесь для Мариуччии настала иная жизнь, расцвели иные радости. С неистовой пылкостью переживала она счастье первой любви - сладкой и опьяняющей, как виноградный сок. Утром, когда Луиджи должен был уезжать в море, она обвивала его шею жаркими, смуглыми руками. Все ее существо – большие черные глаза, алые губы, гибкое горячее тело – все без слов страстно молило: «останься». Зажмурившись, стиснув зубы, он с тоской вырывался из сладких объятий и поспешно уходил, не оглядываясь. Сильно билось сердце, ключом кипела горячая кровь, тело страстно тянулось к любви, но… смешон тот мужчина, который поддается женщине!

Мариуччия оставалась одна. С детской беззаботностью скоро забывала свое горе. Убирала комнату, стирала, болтала у водоема с соседками. С удивлением и жалостью всматривалась в их увядшие лица,

согнувшийся отяжелевший стан. Слушая их бесконечные рассказы о родах, болезнях, о грубости, пьянстве и изменах мужей, думала:

…«Нет, нет, у меня так не будет. Мы с Луиджи крепко любим друг друга».

Смущенная, уходила к себе, садилась в тени и принималась чинить сети или плести веревочные туфли. Звонко-хрустальные песни бросала она в голубую даль… туда, куда уехал ее милый, и в каждом переливе голоса посылала ему свою любовь.

А солнце поднималось все выше. Невыносимым палящим зноем обливало землю. Громко трещали цикады, по скалам в запыленной зелени шуршали юркие ящерицы. Пряным, истомным ароматом дышали согретые травы. Мариуччия погружала разгоряченное тело в голубые волны и после купанья долго лежала на горячем песке, каждой жилкой тела впивая красоту и радость жизни.

Медленно тянется время… Кажется, конца не будет знойному дню… Но, наконец, солнце склонилось к западу, бросило по лазури моря снопы дрожащих золотых стрел, розовыми отсветами залило дали. По земле потянулись сине-прозрачные тени. Мариуччия стоит на берегу и напряженно вглядывается в даль… И, наконец, ее зоркие глаза различают в золотистом тумане черные точки… Все яснее и яснее вырисовываются очертания рыбачьих лодок. Наконец, глаз начинает различать яркие пятна курток и колпаков, смуглые, обожженные солнцем, лица, мускулистые руки. Другие женщины тоже приходят на берег. Говорят о том, каков будет улов, о своих домашних нуждах и горестях. И только Мариуччия молчит, не отрываясь следит блестящими глазами, как мерные взмахи весел бороздят голубую гладь. Так и рвется навстречу лодкам и, наконец, не может выдержать: подобрав юбки – бежит в воду. Смеется, что-то кричит звонким, веселым голосом. И когда лодка врезывается в песчаную отмель, Мариуччия бросается на шею мужу…

А кругом слышится веселый говор, смех. Волокут лодки к берегу. Наклоняются и рассматривают улов. В лодках чуть трепыхается рыба, блестя на солнце тускло-серебристой чешуей, бледной многоцветностью морских глубин. Тут жирные мурены, с черно-атласистой спиной, матово-черные угри, гигантские крабы, те крупные рыбины из породы небольших акул, которые называются здесь «морские собаки» за их огромную пасть, усеянную острыми зубами. У них дивные зелено-бирюзовые глаза, которые еще светятся фосфорическим блеском. Тут же и мелкота: сардины, плоская «вопа», которой в дешевых отелях угощают приезжих форестьеров. Вся эта куча опутана тиной и водорослями, усыпана ракушками, моллюсками, ноздристыми ветками кораллов, пропитана терпким запахом моря.

Тут же на берегу делят улов, свежуют рыбу, выбрасывают в море кровавые внутренности. Потом женщины начинают жарить рыбу, поливая

ее золотистым оливковым маслом. Раскрываются настежь двери, из всех хижин валит клубами удушливый чад. И над Marina Granda стелется голубой дымный полог. Едят под открытым небом – на большом камне, на скамье у дома. Запивают рыбу красным кислым вином, от которого загораются румянцем смуглые щеки, громкий раскатистый смех носится в прозрачной свежести вечера. После обеда идут наверх, в город, продавать рыбу в лавки, в отели. Покупают соль, серый витой хлеб, макароны, пачки дешевых сигар.

Мариуччии муж подарил красную ленту, и она вплела ее в пышные темные кудри. Разгорелись радостью щеки, в алом изломе губ блестит матовый жемчуг зубов. Вся она сияет красотой, счастьем, искрометной, как вино, молодостью. На Мариуччию заглядываются встречные форестьеры, и она весело кивает им головкой, говоря:

– Buona sera, signor!

Ярким, как солнце, счастьем пронизана весна жизни Мариуччии… Звенит она песнями, цветет любовью, озарена отсветами блаженной радости тела.

***

Через год у Мариуччии родился первенец-сын – здоровый, красивый мальчуган. Гордилась им молодая мать, баловала малютку, но теперь уже реже ходила на берег встречать мужа, реже болтала с соседками. Пухлые ручонки крепко держали ее дома. Еще не начал он ходить, а молодая женщина уже носила в себе новую жизнь. Как сама природа плодовиты женщины далекого юга…

Энрико рос здоровым и сильным, как молодой бычок, но до трех лет не говорил ни слова. Был тихим и смирным, но необычайно прожорливым. Мариуччия спокойно говорила в ответ на соболезнования соседок:

– Разными уродит Бог детей. Иной кричит день и ночь, не уймешь его ничем. Другой же молчит как устрица, но зато растет и толстеет не по дням, а по часам. Вырастет – добрый работник будет отцу и матери.

Так говорила она – и улыбалась, в то время как сердце ее разрывалось от горя. Мариуччия понимала, что ее первенец, ее Энрико – идиот, и считала это несчастие – испытанием, посланным Богом. И думала, что грешно роптать и жаловаться, нужно безропотно терпеть то, что Он посылает…

Что ни год – то рождались дети, а заработок не прибавлялся. В скромную хижину на берегу моря стала заглядывать нужда. Мариуччия сильно изменилась: отяжелел ее стройный стан, обрюзгло лицо. Стала она сварливой и грубой, то и дело покрикивала на ребят, цеплявшихся за ее юбку. Бралась за всякую работу, лишь бы добыть несколько сольдо для семьи, и никогда уже не пела звонких и страстных песен.

Понемногу судьба обрывала лепестки с ее пышного цветка счастья. Луиджи стал покучивать; в том отеле, где Мариуччия брала стирку, хозяин обанкрутился и закрыл заведение. Нужда еще крепче сдавила их, и Мариуччия, забыв былую покорность воле Божией, с озлоблением спрашивала себя порой в часы раздумья, чем еще может покарать ее Господь Бог?..

Осенью, когда дует сердитый «трамонтано», море становится серым и гневным. По его простору бегут зеленые валы с белыми гребнями и яростно бьются о скалы. А по небу несутся клубами свинцовые тучи и застилают ясную даль сеткой холодных дождей. В такую погоду хорошо сидеть дома и греться у очага. И еще лучше забраться в кабачок и, попивая винцо, слушать рассказы бывалых людей о дальних странах, о том, что творится на свете…

В один из таких дней унесло в море лодку Луиджи, которую он поленился вытащить подальше, на отмель. Когда об этом узнала Мариуччия, она пришла в ярость и как тигрица набросилась на мужа.

– Га-а!.. в то время, когда ты будешь таскаться по кабакам, нам придется издыхать с голоду! Мало того, что ты пропиваешь деньги, которые годились бы на хлеб, ты не можешь еще усмотреть за своим добром! Хорош рыбак без лодки! Посмотрю я, что ты будешь делать? Когда все добрые люди поедут ставить невода, а ты будешь сидеть и хлопать глазами или клянчить, чтобы тебя взяли в лодку!

Она кричала, рвала на себе одежду, била себя кулаками в грудь, предавалась горю со всем неистовством южной натуры. Луиджи, смущенный и оробевший, стоял перед нею и, видя, что она не слышит его клятв и обещаний, вывернул свои карманы и отдал ей все, что у него было, до последнего сольди.

Чувствуя свою вину, он на другой же день пошел искать работы. Ему удалось найти заработок в каменоломне. Нужно было дробить на щебень куски плитного камня. Тяжелая это была работа, особенно с непривычки. К вечеру нестерпимо ныло все тело, а от вдыхаемой пыли сухой кашель надрывал грудь. Разбитый, озлобленный приходил он домой, наскоро ужинал и ложился спать. А с утра нужно было идти на ту же постылую работу. Луиджи становился угрюмым и мрачным, то и дело бранился с женой, наделял колотушками ребятишек и горько жаловался на свою тяжкую долю.

В эту пору неудач он начал ненавидеть своего сына-идиота и часто ворчал на него, что он объедает всю семью. Однажды ему пришла мысль попытаться заставить Энрико работать в каменоломне.

– Малый силен и крепок на диво, – говорил он жене. – Грешно ему есть даром отцовский хлеб. Пусть приучается к работе.

Энрико покорно пошел за отцом. Когда ему дали в руки молот и начали объяснять, что он должен делать, то юноша только сопел и усмехался. Ни угрозами, ни увещаниями его нельзя было заставить приняться за дело. Наконец, старший, выведенный из терпения, дал ему пинка в спину. С яростным ревом вскочил идиот и с поднятым молотом бросился на обидчика. Если бы тот не успел увернуться, молот Энрико размозжил бы ему голову. Несколько человек набросились на идиота, повалили его, связали и уже связанному дали пару-другую хороших ударов.

Когда все принялись за работу, Энрико удалось ослабить веревки. Он освободился от пут и убежал домой. Мать с тихой жалостью обмыла ему ссадины и раны, надела чистую рубаху. Вечером Луиджи с бранью накинулся на сына и замахнулся на него кулаком. С яростью вскочил Энрико… В руке у него тускло сверкнуло лезвие ножа. Мариуччия с криком ужаса бросилась между ними. На разъяренном лице идиота мелькнула искра сознания. Он с нежностью взглянул на мать, бросил нож в угол и успокоительно закивал головой…

– Ма, ма, ма-а-а! – мычал он, а Мариуччия плакала горячими, обильными слезами, прижимая к себе кучу испуганных темноволосых головенок. Бледный, как стена, просидел целый вечер Луиджи и ни слова больше не сказал в тот вечер. Больше он не делал попыток заставить работать старшего сына.

Энрико опять целыми днями грелся у очага, жадными глазами следил, куда мать прятала съестное, и с безошибочным чутьем собаки находя съестное, поедал его втихомолку. И пока вся семья жила впроголодь, он один непомерно толстел, наливался и зачастую искал от переполнения желудка кусками сухой неудобоваримой пищи.

***

Между тем там, где-то далеко, в шумном неведомом мире разгорался пожар войны. Точно какой-то яростный бог гнева и мести реял над землею, зажигая на своем пути вражду и озлобление.

На счастливом скалистом острове, обласканном голубыми поцелуями ласковых волн, – там мало беспокоились о том, что делается в мире. Только по вечерам, когда мужчины собирались в одну из любимых trattoria, курили трубки, прихлебывая вино, – начинался порой разговор о войне.

– В Австрии все война, – говорил один. – Да поможет нам святая Мадонна и святой Дженнаро остаться в стороне от грызни, но подоспеть к дележке добычи!

– Огэ, какой ты ловкий! – возражал другой. – Не ездивши в море, хочешь выловить рыбу.

– Где храбрые теряют, там плуты выигрывают! – подхватывал третий. И каждый глоток терпкого итальянского вина кружил головы, зажигал румянцем смуглые щеки и все глубже погружал тело в блаженность легкого опьянения.

Как стая встревоженных чаек, стали все чаще и чаще долетать вести о войне на скалистый остров. Будили в людских сердцах любовь к тому смутному и далекому, что зовется «родиной»… Спит в сердце эта любовь, и пока она спит, сердце чутко откликается на зов мелких радостей и печалей, из которых сплетается жизнь. Но иногда один миг, одно слово, одна тревожная весть – разрывают эту нить, ранят сердце острым толчком внезапной боли или радости… И проснется оно, затрепещет. Почувствуешь тогда, что родина – больше мира. Сначала она – близкая и любимая, – а потом уже мир, потом своя жизнь, свои радости и печали…

Такая волна восторгов, порывов, любви всколыхнула всю страну, далекую от туманного севера, где шла эта великая схватка. Заставила-таки ее броситься в борьбу за видениями славы, за миражем победы.

И несметные толпы народа, со знаменами, с пением, колыхались по улицам городов и местечек. Вспоминалась исконная ненависть к северному игу, к чужеземному владычеству, под которым изнывали когда-то отнятые области… Не настало ли теперь время вернуть их, прижать к трепетному народному сердцу?.. И каждый откликался на эти зовы борьбы, победы, восторга. И заставляли толпы людей из тишины голубой лазури, от золотой ласки солнца стремиться к зловещим тучам, к жуткому мраку войны.

И этот вожделенный миг настал. По всей стране, из конца в конец, пронеслась весть о том, что война объявлена. Старый padre Antonio прочитал манифест короля после воскресной мессы. Женщины испуганно вздыхали и плакали, а тихий рокот взволнованных мужских голосов пронесся под сводами церкви:

– Да здравствует Италия! Да здравствует король!

На другой же день в муниципалитете, под наблюдением толстого синдика, стали составлять списки подлежащих призыву. И прежняя беззаботная жизнь сменилась нарастающей тревогой. Женщины забыли свои мелкие ссоры, нескончаемые пересуды и, собираясь по вечерам у водоемов с кувшинами, толковали о войне. Только война была у них на устах и в сердце – война жестокая и безжалостная, которая отнимала у них мужей, кормильцев семьи и взваливала на них борьбу с жизнью.

Мариуччия тревожно спрашивала мужа:

– Скажи, Луиджи, ты ведь не пойдешь на войну? Не пойдешь?

– Если все пойдут, как же я могу не идти? – отвечал он, блеснув черными, как уголь, глазами в бархатистой синеве белков.

– Но дети… кто же будет кормить детей? – в страстной тоске взывала она.

Он виновато опускал голову и молчал. Что он мог ответить ей на этот вопрос? И все чаще и чаще уходил из дому, стараясь держаться подальше от этого возмущения против того, чего нельзя изменить, с чем нельзя бороться. А для Мариуччии только этот один вопрос и имел значение из целого ряда других вопросов, встающих из недр потрясенных устоев жизни. «Кто же будет кормить детей, если Луиджи возьмут на войну?» – думала она днем, во время работы, ночью в долгие бессонные часы. Тот же вопрос вставал перед нею, когда она жарко молилась перед маленькой терракотовой статуэткой Мадонны.

…Те, кто берет отца на войну, те и должны кормить детей, – наконец решила она. – Потому что я одна, я не могу их прокормить. Их семь, скоро будет восьмой, а я одна. Что же я буду делать? Madonna mia, сжалься надо мной и над детьми, оставь нам Луиджи! – взывала она с наивным эгоизмом ребенка.

Мадонна не исполнила ее мольбы. Луиджи взяли и увезли вместе с другими. Когда маленький белый пароходик отходил от острова, покачиваясь на иссера-синей зыби, – на берегу, как волчицы, выли женщины… Рвали на себе волосы, с неистовством южной натуры посылая – жалобы небу и проклятия земле.

***

Коммуна выдала женам призванных на войну пособие в 50 лир. Мариуччия выбивалась из сил, чтобы заработать несколько лишних сольдо для семьи. В отчаянии она даже ходила в каменоломню, просилась на место Луиджи, но ее просьба вызвала ряд грубых шуток над ней, над ее располневшим станом. Ошеломленная раскатами смеха, она беспомощно озиралась кругом и твердила:

– Но ведь их у меня семь… Понимаете, семь! Скоро будет восемь, а я одна. Работает один, а ест восемь. Что же я буду делать?

С удивительной быстротой таяли 50 лир, казавшиеся Мариуччии неисчерпаемым богатством. Она знала, что как только будет истрачено последнее сольдо, в их хижину войдет голод… Да и не мудрено: ест восемь, а работает один! Если бы не Энрико, еще как-нибудь можно бы было жить. Но даже прежде, при сравнительном достатке, Энрико был бременем для семьи. А теперь, с наступлением нищеты, он обжирал их всех.

Он по-прежнему таскал съестное у матери, но так как теперь Мариуччия не могла иметь никаких запасов, то идиот был постоянно голоден. Он отнимал куски у своих маленьких братьев и сестер, пользуясь тем, что был сильнее их. Ребята бежали жаловаться к матери, но она не всегда могла дать обиженному другой кусок взамен утраченного. Иногда

она только крепко прижимала к себе косматые головенки, и в ее темных глазах загоралась ненависть. Все чаще и чаще закрадывалась в ее сердце мысль:

…если бы не Энрико!..

И однажды, в тишине ночи, от этой мысли родилась другая и, как змея в ущелье, вползла в бедное слабое сердце. Вся в холодном поту, сползла Мариуччия с кровати и склонилась на каменном полу перед статуэткой Пресвятой Девы.

– Святая Мадонна! помоги и спаси, – шептала она. И жаркие слезы, одна за другой, падали на каменный пол. Долго молилась и плакала Мариуччия – до тех пор, пока ей удалось прогнать от себя ужасную мысль, порожденную одиночеством и горем. Но как только она легла, она опять почувствовала, что бессильна бороться с искушением. То, что она задумала, было ужасно, чудовищно… Но вокруг нее, как белые чайки, вились мысли соблазна и оправдания. Они твердили ей о ее горе, беспомощности, одиночестве. Подсказывали оправдания…

И она покорялась им.

Отказавшись от борьбы, она стала обдумывать, каким образом привести в исполнение задуманное дело. Она вспомнила, как прошлой весной у Кармелы-Бьянки коза подавилась какой-то колючкой. Всю ночь мучилось и жалобно блеяло животное, и не было сил смотреть на его мученье. Кармела сбегала к аптекарю, и он ей дал какого-то белого порошку. Размешав часть этого порошка в воде, Кармела вылила ее козе в рот. После этого коза раза два вздрогнула всем телом, забилась в судорогах – и издохла. Так вот… если пойти к Кармеле и сказать, что ей, Мариуччии, нужен этот белый порошок, чтобы потравить крыс, которых много развелось в подполье?.. Она даст порошок, он ей не нужен. И тогда…

Утром Мариуччия объявила детям, что она сварит им сегодня рыбную похлебку. Оделась, пошла в город, чтобы купить соли и овощей. На пьяцце ей встретился синдик, который давно уже чувствовал какое-то недомогание и постоянно бывал не в духе. У него совсем не было аппетита, и доктор предписал ему гулять ежедневно по часу, чтобы у него явилось желание поесть. Синдику тяжело было бесцельно, как ему казалось, носить тучное тяжелое тело, и он брюзжал, злился на весь мир… Встретивши Мариуччию, он обрадовался возможности остановиться, поболтать с ней.

– Э, Мариуччия, это ты! Ну, как живешь?

– Плохо, синьоре, – ответила Мариуччия. – Дети просят есть, а накормить их нечем.

– Как? – удивился синдик, – но ведь тебе недавно дали пособие в 50 лир. Неужели вы их уже съели?

– Нас восемь, синьор, – смиренно проговорила Мариуччия.

– Боже мой, как можно так много есть! – ужаснулся синдик. – В таком случае не мудрено, что вы постоянно нуждаетесь. Сами на себя и пеняйте.

И он, недовольный, отошел от нее, не ответив на поклон. Мариуччия никак не могла понять, за что на нее рассердился господин синдик?..

По дороге в город она зашла в одну из хижин, лепившихся по склонам горы, и через несколько времени вышла оттуда, что-то завязывая в уголок шейного платка. Долго, со слезами молилась у ног мраморной Мадонны в гроте. Пересохшими губами шептала Ей, страдавшей Матери, о своей материнской тоске и муке. Мрамор стал живым и теплым от ее поцелуев и слез.

***

Со строгим, спокойным лицом она варила похлебку в закоптелом чугунке. Никакими угрозами нельзя было теперь прогнать ребятишек из дому. Все они толпились у очага и жадно вдыхали вкусный запах рыбы, луку и перцу. Свежий хлеб на полке приковывал к себе их жадные глаза, дразнил румяной, обсыпанной мукой, корочкой.

Вошел Энрико и также втянул носом вкусный запах похлебки. Увидя хлеб, взял его с полки и отломил большой кусок. Мать вспыхнула, сделала было движение, чтобы отнять у него кусок хлеба, но остановилась. Уже без гнева, печально и ласково посмотрела она на сына и сейчас же отвернулась. А ее загорелые пальцы уже нервно теребили узелок шейного платка.

Когда похлебка была готова, Мариуччия отлила почти полчугунка в большую глиняную чашку. Отвернулась, развязала уголок платка и наклонилась над чашкой. Выпрямилась, страшно бледная, но спокойная. Подала чашку Энрико, а к чугунку позвала детей. Сама же она не могла есть. Отломила себе маленький кусочек хлеба и вышла из хижины. Села на большой камень и задумалась, устремив глаза вдаль…

Погасал день, сиявший яркими красками. Подходила черная южная ночь, бережно уносила его сияющие краски и золото. Темно-синее небо раскидывала над дремлющим морем, убирала его путаными узорами ярко-розовых звезд, от которых змеистые блики играли на темных волнах…

Мариуччия горячо любила ярко-синее море, серо-лиловый скалистый остров. Срослась с ним той крепкой неразрывной связью, которая притягивает человека к тому клочку земли, где он живет, старится и где ляжет на вечный покой. Много раз она видела златозвездное небо, темное море в ожирельи далеких огней Искии и Прочиды… Но никогда, никогда все это не казалось ей таким прекрасным, как сегодня! Она подумала о тех, кто не увидит ни темного неба с бледным серпом молодого месяца, ни моря с дрожащими отблесками золотых узоров, не услышит задумчивого плеска волн, тоскующей песни, которую кто-то звенящими

переливами бросал в даль… Страшной жестокостью казалась ей смерть. Жил человек – любил, радовался, страдал – и вдруг не стало его на земле.

Она вздрогнула. Из хижины вышел Энрико, громко икнул и уселся на камне. Мариуччия пошла в хижину, осмотрела чашку и чугунок. Все было чисто вылизано: ни кусочка картофеля, ни перышка луку на стенках. Она уложила детей, потом принялась за уборку. Вошел Энрико и как всегда улегся на лавке. Мариуччия погасила огонь и лежала с сильно бьющимся сердцем. Пережитые волнения утомили ее, и она крепко заснула.

***

Глубокой ночью она проснулась. При бледном сиянии месяца увидела, что Энрико большими глотками пьет воду из кувшина. С грохотом выпал кувшин у него из рук, и сильный приступ судорог схватил его. С воплями катался он по полу, бился в конвульсиях… Хотелось закрыть глаза, зажать уши и бежать от этой пытки… Но принуждала себя не спускать с него взора, жадно следить за каждым его движением. Могучее тело долго боролось со смертью, не хотело поддаваться ей. Только к утру окончилась эта борьба.

Тогда Мариуччия подошла к умершему. Поцеловала холодный и влажный лоб, оправила черные, сбившиеся волосы. Вымыла лицо и одежду, запачканные кровавой пеной. Встала на колена и долго без слов молилась у трупа сына. Потом вышла из хижины на встречу ясному, золотому утру. Поднялась в горы, принесла свежих веток кипариса и лавра, забросала ими неподвижное тело. Хотела втащить его на кровать, но не могла. Так и остался он лежать, распростертый на полу. К изголовью она хотела поставить статуэтку Мадонны. Подошла к полочке и случайно взглянула на себя в зеркало. Иссера-бледное лицо, с темными ввалившимися глазами смотрело на нее. Что-то белое легло на темном шелке волос. Провела рукой, чтобы смахнуть, – но белое пятно осталось. Тогда она взяла в руки зеркало и увидела на иссиня-черных волосах седую прядь. Отделила ее, намотала на палец, хотела оборвать по волоску, но раздумала:

…к чему?!

Эта седина – ее мука, ее скорбь.

***

Через месяц у Маруччии родился ее последний ребенок – хилый и слабенький. Мариуччия терпеливо и безропотно возится с ним по ночам, отдавая ему последнее, что у нее оставалось для себя – сон. Она приносит

эту жертву с радостью, потому что это – последний. Больше их у нее не будет.

Эта мысль придает ей бодрости. А ей нужно быть бодрой и сильной, чтобы кормить семью. Она втянулась в работу, обрюзгла, пожелтела, стала неряхой. Никогда уже не болтала с соседками, чуждалась людей и одиноко носила в себе страшную тайну.

Все кругом знают, отчего умер Энрико. Но все молчат. Только при встречах с Мариуччией, вместо обычного ласкового bon giorno, молча дают ей дорогу, а потом долго смотрят ей вслед и с тайным страхом говорят:

– Это Мариуччия!..

Опубликовано и печатается по: Архитектура и жизнь. 1921. № 2. С. 76–85.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ БЫТ

I
УТРО

Супружеская чета сидит за утренним кофе. Муж читает газету, а жена, громко причмокивая, пьет кофе из нарядной, расписной чашки. Лицо ее угрюмо, на лбу собрались морщины тоски и думы. Она старается решить уравнение со многими неизвестными; с кем и на какие деньги мог ее муж кутнуть вчера в ресторанчике. Но… вопрос не разрешим за отсутствием каких-либо данных.

По улицам города бродит ласковая голубая весна, а у бедной женщины – ад в сердце. Ни новой шляпки, ни свежих перчаток, а со стороны мужа – полное равнодушие и попытки повеселиться плутовским образом… И это в то время, как она целые дни вертится как белка в колесе, не отходит от грязной работы, от помойного ведра…

– У-у, кровопийца! – ворчит она.

– Что ты, мамочка? – удивленно отозвался он.

– Денег мне нужно, – заявляет она.

– Денег?! Но ты же отлично знаешь, что денег у меня нет.

– А для того, чтобы напиваться, есть?

– Напиваться… Как ты, милая, резко выражаешься! Встретил приятеля, он меня угостил. Только и всего. А ты уж сейчас…

– А вот «это» у вас в кармане тоже от приятеля? – язвительно произносит она и что-то бросает на стол.

«Это» оказывается дамской замшевой перчаткой. Длинная перчатка, выше локтя, мягкая, душистая…

Он смущенно откашлялся.

– Милая, это я нашел на улице. Иду и вижу… лежит вот эта перчатка. Сначала думал пройти мимо, а потом вернулся и поднял. Думаю себе, замша – это вещь полезная в хозяйстве. Что ты так смотришь, мамочка? Думаешь, я не понимаю? Замшей хорошо самовары чистить, а пальцы – отрезать и, если когда палец заболит, то надеть…

Ее губы надуты, по щекам торопливо бегут слезинки, нос бессовестно краснеет.

– Кровопийца ты, варвар, аспид! Много ты думаешь о самоварах! Я тебя, подлеца, насквозь вижу! Ты…

– Барыня, – докладывает прислуга, – там, на кухне ходька с товаром пришодчи. Будете что брать?

Барыня встает и через несколько минут возвращается, сияющая как майское утро.

– Знаешь, я ходьке фальшивую иену подсунула, – с восторгом сообщает она. – Он и не посмотрел, прямо в кошель положил.

– Уж ты у меня хозяйка на славу! – говорит муж и, пользуясь минутным затишьем, торопливо хватает портфель с бумагами и исчезает.

II
ДЕНЬ

Супружеская чета обедает. Он красен, лицо его лоснится от сытости, от физического довольства. Она то и дело подкладывает ему лучшие куски. Муж кряхтит и вздыхает:

– Ох, матусенька, закормила ты меня совсем!

– Ничего, кушай, кушай.

– Да не могу больше. Сыт по горло.

– Ты постарайся хоть через силу. А то прислуга съест.

– И пусть ее есть.

– Ну уж извини. Сколько ей ни дай, она все сожрет. Она ужасно много ест. Лучше уж самим, понатужившись, доесть.

– Ну, что тут экономить. Провизия здесь не дорога.

– Как сказать! – озабоченно говорит она. – Вон говядина на копейку подорожала. Огурцы у нас отмякли, пришлось в помойку выбросить, убытки на каждом шагу. Тебе-то, конечно, все равно. Ни до чего дела нет. Только бы пьянствовать.

– А вот и ошибаешься, матусенька! – говорит муж. – У нас на службе лотерея была. Платье и какое-то манто разыгрывались. Я на твое счастье три билета взял.

– Хорошо бы манто выиграть! – вздыхает она. – У меня жакет старомодный. Не в чем выйти. А еще лучше и манто и платье. А какое платье? Хорошее?

– Наверно хорошее… Кажется, какое-то не то кисейное… не то этакое… ну, как тебе сказать?

– А какого цвета?

– Признаться, не помню… Не то розовое, не то…

– Да ты вовсе их не видел! – с негодованием воскликнула она. И через минуту авторитетно добавила:

– Все лотереи – одно мошенничество.

– Вовсе нет…

– Нет, уж ты, пожалуйста, не спорь. У меня подруга была. Хорошенькая и негодяйка ужасная. Всегда за ней мужчины бегали. Так вот ей как нужно денег, так она сейчас лотерею устраивала и всем поклонникам билеты раздавала. Ну и всегда либо сама выиграет, либо кто выиграет и ей подарит.

– Матусенька, тут совсем другое дело…

– Ох, что-то у меня переносица чешется. К гостям это.

Муж, подавив отрыжку, расстегнул стеснявшие его пуговицы жилета и промолвил:

– Пойдем-ка, матусенька, отдохнуть. А то целый день работаешь, работаешь…

– Твоя-то какая работа, – отвечает она с усмешкой. – Сиди да пиши. Отписал – иди обедать, на готовое. А я вот целый день как белка в колесе хлопочу, за каждую копейку как собака грызусь…

– Уж ты у меня хозяюшка на редкость! – говорит он, зевая и похлопывая свою дражайшую половину по спине. – Я за тобой как за каменной стеной.

И оба, кряхтя и переваливаясь как откормленные гуси, плетутся в спальню к широкой кровати, с горой подушек. И через десять минут в спальне слышится храп. Один солидный, басовитый, а другой с легким посвистом… Тих и крепок супружеский сон – дар сытого желудка и чистой совести.

III
ВЕЧЕР

Супружеская чета сидит в столовой и с глубокомысленным видом раскладывает пасьянс. Часы с глухим хрипеньем бьют семь.

– Если пасьянс сойдется, тебе к празднику награду дадут, – говорит жена, томно улыбаясь и делая попытку лукаво стрельнуть в супруга парой красивых, но увы! – заплывших глаз.

– Что ты, матусенька, это пасьянс марьяжный! – говорит он. – А марьяжным пасьянсом на денежный интерес нельзя загадывать. Ты уж на марьяжный интерес и загадывай.

– Какой же для меня теперь может быть марьяж! – вздыхает она.

– Ты у меня еще женщина в самой поре, – говорит муж, улыбаясь, разнеженный уютом, сытостью и теплом. – Такую-то, как ты…

Раздается стук в дверь. Сначала слабый, потом сильнее. Оба испуганно переглядываются.

– Экспроприаторы! – шепчет жена и, колыхая располневшее тело, спешит в прихожую. – Даша, не открывайте, не спросясь кто!

Но уже поздно. Дверь открыта. Вваливается другая супружеская чета.

– А мы к вам! – радостно заявляют пришедшие. – Сидели, сидели, я и говорю мужу…

– Милости просим, гости дорогие! – говорит хозяин.

– Калошу проклятую не могу снять, – ворчит гость, тяжело пыхтя. – Такая у меня подлая нога…

– Здравствуйте, душечка!

– Здравствуйте, милочка. Как я рада вас видеть!

– Понимаете? Шестой номер мал, седьмой – велик. Возьму седьмой – калоши шлеп-шлеп… Возьму шестой – вот так и бьюсь!

– Вы бы сели, – предлагает хозяин.

– Благодарю покорно, не беспокойтесь. Я уже снял.

Идут в столовую. Чинно рассаживаются у стола.

– Что, пасьянсик раскладывали?

– Да, так… от скуки.

– А мы сидели-сидели, я и говорю мужу…

– А уж как мы испугались, когда вы постучали! Так и думали, вот эти налетчики в масках.

– Полно, матусенька. Кто к нам пойдет. Ну, как поживаете?

– Благодарим Бога, живем понемногу.

– А что новенького?

– Да ничего особенного. Живем, знаете, помаленьку. Как говорится, день да ночь и сутки прочь. А вы как поживаете?

– Да плохо. Ноги вот что-то ломит. И желудок плох. Иногда прямо сил нет.

– А у меня, знаете, зуб ноет. И так ни с чего. Сижу, сижу и вдруг заноет… Надо бы к зубодеру сходить, да денег нет.

В тишину домашнего уюта падают грузно и лениво избитые, давно знакомые слова… А дамы щебетали весело и игриво, как птички:

– Ах, милочка, вы не можете представить, какая прелесть! Донце беленькое, а тулья – бордо. Сбоку дульки этакие, вроде ягодок, поля гнутые, а назади – экспри… То есть такая красота!

– А я, душечка, сколько дней все блузкой любовалась. По дымчатому шифону и золотом вышито… Все так в перековырку, в перековырку, а кругом – петельки и стрелки, петельки и стрелки…

– Ах!!

Минутное молчание. Раздается голос хозяина.

– А что, господа?.. Не будем терять золотого времени…

Общими усилиями раскрывают ломберный стол и садятся за пульку преферанса. За дешевую, до смешного, цену упиваются азартом. Переживают и трепет риска, и восторг победы, и позор поражения. Ссорятся, говорят колкости.

– У вас странная манера подсиживать… Терпеть не могу!

– Странно, право, так рассуждать. А я не люблю рисковать.

– Все-таки вы должны были отходить трефы…

– А вы не должны были ходить с маленькой пики… Уж если не умеете играть…

– Кто? Я-то не умею? Ну, уж извините! Мне всегда говорят, вам бы только в клубе играть…

– Посмотрел бы я, что бы сказали ваши партнеры…

Все это тянется с удручающей монотонностью до ужина. За ужином хозяйка угощает гостей прямо с каким-то остервенением:

– Кушайте, душечка! Ради Бога, кушайте. Вот я вам из этой формочки заливного положу. Здесь лучше застыло.

– Ах, ради Бога… я совсем, совсем сыта… Уж разве паштета кусочек, ужасно хорошо вы этот паштет делаете!

– Все сама, все сама! – со вздохом говорит хозяйка. – Ведь «их» (выразительный кивок в сторону кухни) только корми, пои да плати им жалованье. А толку от «них» никакого нет.

– Батенька, еще рюмочку? Этакую рюмашечку-мамашечку?

– Ох, не много ли будет?

– Что вы! Знаете, как говорят: «и курица пьет»! Хе-хе-хе… А уж нам-то с вами и Бог велел.

– Разве что из-за курицы… чтоб не отстать!

– Вот то-то и есть!

– Милочка, икорки еще! – надрывается хозяйка. – Вот я вам другую тарелочку дам и вилочку переменю...

– Да не нужно…

– Нет уж, поаппетитнее будет…

– Гости дорогие! Да кушайте же! – умоляет хозяин таким жалобным тоном, точно от аппетита гостей зависит его спокойствие и благоденствие. – Понимаете? Если гости мало кушают – хозяину и хозяйке обидно. Значит плохо, не вкусно.

– Да полноте… совсем закормили…

– А вы ростбифа… да со хренком, со хренком… Отличная вещь…

И так тянется долго. Хозяева настойчиво угощают, гости столь же настойчиво жеманятся. Одни делают вид, что по горло сыты, другие – что им ничего не жалко. Лица красны, потны. Слышатся возгласы:

– Ох, не могу больше!

– А вы через «не могу»!..

IV
НОЧЬ

Супружеская чета проводила гостей. Муж блаженно зевает, а жена с надутым и злым лицом убирает со стола.

– Ох, матусенька, на боковую пора! – благодушно говорит он.

– Какая там «боковая», – огрызается жена, – опять проиграли.

– Да, невезенье ужасное.

– Мне так нужны были деньги! Я с тем и садилась, чтобы выиграть.

– Э-э, матушка, никто не садится с тем, чтобы проиграть.

– А они жульничают. В карты подглядывают.

– Ну, матусенька, пустяки все это…

– Нет, не пустяки. Отчего они постоянно выигрывают? А мы никогда. Ну-ка, скажи отчего?

– Так уж… судьба. И потом, бывает, и мы выигрываем.

– Мы-то редко. Оттого, что мы не жульничаем. А они оба хитрющие. А уж сколько едят – ужасть! Я удивляюсь, как им не стыдно.

– И пусть едят. Для того и на стол подано.

– Все-таки нужно приличие соблюдать. Ты посмотри, сколько они съели. Заливного – две формочки целиком. Паштета – только два кусочка осталось. Ростбифа – самые лучшие ломти уничтожены. Я думала, на завтра еще нам жаркого хватит, а теперь завтра придется снова на базар идти. И масло сливочное… я смотрю – она на хлеб с палец толщиной так и намазывает. У себя дома масла никогда не подает, говорит, что ей жирное вредно, а у нас – прямо одно масло ест. И сахару… ты подумай, по четыре куска в стакан кладут. Я нарочно три положила и сахарницу подальше отставила – так требуют!.. «Передайте, душечка, сахарницу», – передразнила она гостью. – Ведь это ужас что такое!

– Д-да.. гости… оно, конечно, – бормочет муж. – Водку вот тоже почти всю выпили. Теперь, если нужный человек придет – угостить нечем. Снова надо покупать.

– У тебя только и заботы об водке, – с раздражением говорит жена.

– Надо будет скорее к ним пойти, чтобы и у них так же все съесть. Пусть узнают, как это приятно. И электричества сколько выгорело!

И она гасит лампочки в люстре, оставляя только одну. Тускло горит она, освещая стол. Наконец, гасится и эта последняя лампа. Пиршества и убытки – все покрывает ночной мрак.

Супружеская чета шествует в спальню. И через несколько минут раздается храп. Но… соло. Не дуэт! Жена лежит с широко открытыми глазами и шепчет с отчаянием:

– Господи! Две формочки заливного… По четыре куска в стакан! Ведь есть же бессовестные люди! А варенье… А яблоки! И последние три рубля,

которые себе на перчатки из хозяйственных денег отложила, пришлось отдать…

И по ее щекам на подушку сбегаются горячие слезы обиды и боли…

Опубликовано и печатается по: Архитектура и жизнь. 1921. № 5. С. 177–183

Валерий Францевич ПЕРЕЛЕШИН

(1913-1992)

Поэт и переводчик Валерий Перелешин (настоящая фамилия Салатко-Петрище) родился 20 июля 1913 г. в Иркутске в семье железнодорожного инженера. В 1920 г. вместе с матерью приехал в Харбин, где окончил гимназию Христианского союза молодых людей (1930), а затем Юридический факультет (1935). Член литературного объединения «Молодая Чураевка». Публиковал стихи в журнале «Рубеж», газете «Рупор» и др. В 1938 г. принял монашеский постриг с именем Герман в Харбинском Казанско-Богородском монастыре и переехал в Пекин. В 1943 г. окончил богословский факультет университета в Харбине. С 1943 г. преподавал в русской духовной миссии в Пекине. В 1945 г., сняв с себя сан, перебрался в Шанхай. Работал переводчиком в отделении ТАСС в Шанхае. Автор сборников стихов: «В пути» (1937), «Добрый улей» (1939), «Звезда над морем» (1941), «Жертва» (1944) и др. Писал также под псевдонимами «Сигма», «Монах Герман» и др. В 1953 г. эмигрировал в Бразилию. С 1957 по 1967 гг. стихов на русском не писал (только на английском и португальском). Много переводил с китайского, французского, испанского, латинского языков. Издал первую антологию бразильской поэзии на русском языке «Южный крест» (1978), антологию китайской классической поэзии «Стихи на веере» (1970). Автор воспоминаний о литературной жизни русского Харбина и Шанхая 1930–1940 гг. «Два полустанка» (1989). Постоянный автор журналов «Континент», «Новый журнал», «Грани», «Современник» и др. Умер 7 ноября 1992 г. в доме престарелых в Рио-де-Жанейро. Похоронен на английском кладбище.

Ист. и лит.:

Бузуев О.А. Творчество Валерия Перелешина. Комсомольск-на-Амуре, 2003. 145 с.

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Ред. и сост. Ю.В. Мухачев; под общ. ред. Е.П. Челышева, А.Я. Дегтярева. М., 2006. С. 432–434.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 236.

ЗАМОК БЕЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

I

Решение профессора Грассена было для меня полной неожиданностью.

– Ульм – моя родина, – сказал он. – Да и люди в мои годы больше хотят покоя, чем славы.

Мне нужно было решать – следовать ли за профессором или остаться в Берлине. Делать карьеру в провинции всегда легче, чем в столице: ни особого везения, ни особой гениальности не требуется. Все же я принял предложение профессора быть его ассистентом в Ульме не без колебания.

Обосновавшись на новом месте, я сразу же занялся практикой. Обстоятельства мне благоприятствовали, я хорошо зарабатывал. С профессором я виделся уже не так часто, как в Берлине, но все же он неизменно вызывал меня для консультации. И я, как раньше, чувствовал

при этих вызовах известную гордость: не забывайте, что Грассен был очень знаменит в то время.

В тот раз, о котором я собираюсь вам рассказать, звонок профессора не очень обрадовал меня, – я сговорился провести вечер с другом и его женой. Но профессиональная этика, в особенности обязательная для молодых врачей, не позволила бы мне ни в коем случае предпочесть развлечения своему долгу.

– Мне нужна ваша консультация, – сказал профессор Грассен в автомобиле, – вы слышали что-нибудь о замке графов Корфиц? На этот раз я везу вас туда.

Я хотел промолчать, чтобы не признаваться в том, что знаю о замке графов Корфиц не больше, чем о могиле Аттилы, но в тоне доктора мне послышалось что-то многообещающее. Поэтому я отважился предстать в его глазах круглым невежей.

– Это – замок Белой Женщины… Вы, северяне, – скептики, а ваши поверья слишком грубы и прямолинейны, – прибавил Грассен, видя мое недоверие. – А мы, уроженцы юга, не умеем забыть того, что каждый день ступаем по чудеснейшим страницам истории. Двадцатому веку принадлежат у нас только города с их трамваями и электричеством, да и то многое придется вычесть, – ратуши, церкви, дворцы архиепископов, князей и гильдий, оружейные палаты, крепости, площади… Музеев я не называю нарочно: в них современность наивно гримируется под старину… Замок графов Корфиц расположен в получасе езды от Ульма почти на берегу Дуная, и Корфицы, несмотря на его дурную славу, живут в нем. Там нет даже электричества, – замок остается в неприкосновенности. Я лечил почти всех членов семьи; старик граф Бернгард умер от астмы на моих руках. Его смерть была очень мучительной – он метался, бредил и гнал от себя какую-то ведьму…

– Вероятно, это была его жена? – насмешливо спросил я.

– Нет, жена умерла где-то в Италии, в самом начале войны. Вскоре умер и их сын, офицер… Во время отпуска с фронта он приехал домой, в замок. Его нашли в спальне мертвым с признаками удушья… В другое время прокурор заинтересовался бы этим обстоятельством, но тогда была война, и человеческая жизнь ценилась недорого; смерть приписали кровоизлиянию в мозг или еще чему-то. Единственный наследник и нынешний носитель титула – молодой граф Бруно. Я нашел у него дифтерит; шея и гортань сильно отекли. Больной задыхается, бредит. Боюсь, что придется прибегнуть к крайним средствам – инкубации гортани, а то и трахеотомии…

В это время справа от шоссе показалась деревушка Гаммерсдорф; за ней виднелись строгие, мрачные очертания замка. Через некоторое время мы вышли из автомобиля и постучались в чугунные ворота.

Ветхий сторож бесконечно долго кружил нас полутемными коридорами, и свеча плясала в его неверных пальцах. Тени ложились резко и угловато, высокий потолок тонул в непроницаемом мраке. То и дело под ногами шныряли с громким писком крысы, казавшиеся особенно крупными в темноте. Несколько раз мы едва не наступали на них. Гнетущая скудость непрогреваемых, толстых стен, ниши в них и узкие окна, похожие на ниши и снабженные решетками, тоже располагали к суеверной задумчивости.

Когда мы вошли в первую жилую комнату и на пороге ее увидели девушку, прекрасную как волшебница, я вспомнил об Ариадне, выводящей путника из лабиринта, черного, как Стикс. Она была замечательно хороша собой; царственные глаза, синие, как протекавший под южными окнами замка Дуная; волосы, темные, как средневековая ночь, в которой всегда таится буря… Такая красота никогда не сулит добра. Я невольно начинал чувствовать себя причастным к каким-то необъяснимым событиям, несмотря на полную обыденность происходящего.

Сиделка встретила нас, как мне показалось, недоброжелательно, но скоро переменила тон и стала чрезвычайно любезной.

Осмотр больного подтвердил опасения Грассена – юноша был в сильнейшем жару, вскакивал с постели и порывался бежать. В виду этого профессор нашел нужным, чтобы я остался ночевать в замке.

– В таком случае, фрейлейн, – обратился я к красавице-сиделке, – я думаю, что вы можете ехать домой вместе с профессором. Вы, вероятно, устали, несмотря на ваш бодрый вид.

– Нет, нет, я останусь здесь, – я чувствую себя отлично. Здесь найдется место для всех. Я прикажу затопить камин в детской, а вам уступлю библиотеку.

– Я нахожу это целесообразным. Ваша помощь может понадобиться д-ру Иегеру, и вы должны находиться поблизости, – резюмировал профессор и уехал, сделав сиделке кое-какие наставления.

Едва я устроился в библиотеке, как в дверь постучали, и сиделка вошла ко мне под тем предлогом, что забыла здесь какие-то свои вещи. Не обращая на нее внимания, я просматривал книги по корешкам, выбирая что-нибудь для чтения.

– Вы собираетесь читать ночью? – спросила девушка. – Здесь все читают о Белой Женщине… – и она как-то странно засмеялась.

– В самом деле! – воскликнул я, обрадовавшись этой мысли.

Девушка отыскала книгу, – вернее, рукопись, написанную на пергаменте, хотя и не очень старую, – но все не уходила.

– В чем дело, фрейлейн?

– Я… я думаю, что мне лучше переночевать в Гаммерсдорфе. Я так

устала, что едва держусь на ногах. Кроме того, я боюсь, что я заразилась сама…

– Как вам угодно. Но оставьте ваш адрес… на всякий случай.

– Пожалуйста, – она написала его на клочке бумаги, который я сунул в карман. – Спокойной ночи, доктор.

– Спокойной ночи.

«Наглая особа, – подумал я. – Конечно, я справлюсь и один, но все-таки, мне будет трудно обойтись без нее, если что-нибудь придется искать. Я не знаю даже, где живет сторож».

Мне вдруг показалось, что я в замке совершенно один. Только что пережитое ощущение потерянности в безвыходном лабиринте вернулось и, несмотря на все трезвые доводы рассудка, не оставляло меня ни на минуту. Тогда я решил заняться чтением.

II

Граф Эбергард Гаммерштейн был очень жестокий рыцарь. С пленников он сдирал кожу и, так как она не была ему нужна, ибо книг он не читал, обтягивал ею барабаны вместо того, чтобы жертвовать ее в монастырь. Слугу, воровавшего у него вино, он утопил в бочке; когда у него сдохла лошадь, он велел привязать конюха к двум лошадям и пустить их в противоположные стороны, чтобы бедняга был разорван надвое…

Никто, конечно, не был в праве вмешиваться в домашние дела графа, но гаммерсдорфский священник выразил ему порицание при народе. Граф промолчал, но в ту же ночь с дюжиной конюхов прискакал к дому преподобного, оторвал его от ложа сна, вытащил на двор и, завязав в мешок, сбросил в реку.

При этом граф Эбергард хулил Бога, говоря, что теперь в Дунае нельзя больше ловить рыб, ибо преподобный обратил их всех в христианскую веру. Этим он навлек на себя проклятие Господа, который в виде кары наслал на его дом множество крыс.

Но и этот знак не образумил грешника, который в очерствении сердца дошел до того, что заключил собственную жену в подвал своего замка. А в этом подвале крыс было столь много, что они ели друг друга от голода.

На Дунае не было женщины прекраснее Констанции, хотя она и была из семьи простого суконщика, – ни венгерские, ни валашские красавицы не могли похвалиться такой белизной лица, такой синевой глаз и такими черными кудрями, которые были похожи на прекрасные волосы Магдалины.

Граф очень любил свою жену, пока не вздумалось ему жениться на дочери могучего соседа, графа Цоролин. Церковь не позволяла развода, и тогда злодей замыслил отделаться от несчастной Констанции.

Эбергард был решительный рыцарь, и Констанция была брошена в крысиный подвал.

Через короткое время глаза ее померкли от непроницаемого мрака и беспрерывных слез, волосы стали седыми, как у древней старухи, и выпадали целыми прядями, ногти же отрасли чрезмерно. Во время весеннего разлива Дуная в подвале выступала вода, и оттого тело прекрасной графини покрылось язвами, и заживо гниющее мясо отваливалось кусками.

Эбергард, между тем, возвестил народу о ее смерти и женился на Матильде Цоролин; однако не оставил своих дурных обыкновений. Совесть его ни сколько не мучила, как проклятого Богом, и, хотя он, наподобие Каина, не погибал ни в бою, ни на турнире, его не оставлял страх, что Констанция выйдет из темницы и призовет на его голову мщение.

Так он загорелся нетерпением, чтобы она умерла, но Господь не посылал ей смерти, хотя отвратительные звери глотали ее тело.

Среди своих страданий она забыла все молитвы и впала в отчаяние. Наконец, когда на голове у нее не осталось и сотни волос, и она уже могла только выть и хохотать, к ней стал являться дьявол, который предлагал ей подчиниться его власти и обещал за то спасение.

Рассудок уже оставил ее, и она согласилась, после чего крысы перестали ее трогать.

Граф же, одержимый страхом и ненавистью, однажды ночью после пиршества, когда гости только что разошлись почивать, с фонарем и мечом в руках спустился в подземелье, чтобы умертвить Констанцию. Едва он вступил туда, где ожидал найти лишь изглоданный скелет красавицы, как оттуда на него бросились летучие мыши, совы, крысы и змеи, которых было столь много, что графу показалось, будто на него падает целая стена.

В середине этой живой стены стояла Констанция одетая в белое платье невесты и прекрасная, как в дни, предшествовавшие ее заточению. У ее ног лежали череп, глаз, ржавый кинжал, вязанка прутьев и сухих листьев, корни мандрагоры, волчий зуб, кости и камни; подле них высилась большая чаша с человеческой кровью… Между всем этим ползали ящерицы и прыгали черные жабы.

В ужасе граф устремился назад, но было уже поздно: вся нечисть бросилась вдогонку со страшным воем, свистом, шипеньем и хлопаньем крыльев. Оглянувшись, граф видел, как Констанция обернулась черной кошкой, которая стала расти и скоро стала величиной с теленка.

Закричав, граф упал без чувств и опомнился только после того, как его внесли в церковь и отслужили мессу. Рассказав обо всем, что с ним случилось, приходскому священнику, он испустил дух. Похоронили его в углу кладбища и головой в сторону, противоположную Святой Земле, ибо

он был великий грешник.

В ту ночь кошки передушили всю птицу в окрестностях замка и во всех печных трубах бушевал ветер.

С тех пор Констанция появляется в замке графов Гаммерштейн; и от этого в нем не живут кошки, и дети в семье графов часто умирают во младенчестве.

III

За стеной послышалась громкая возня. Вероятно, это метался больной юноша. Для чего-то затаив дыхание и стараясь ступать так, чтобы не производить ни малейшего шума, я, прикрывая пламя свечи рукой, подошел к выходу из библиотеки.

Едва я заглянул в комнату больного, как ледяной холод пронизал меня насквозь, и я почувствовал, как мои ноги тяжелеют и прирастают к полу, а дыханье встречает в горле какой-то комок и не может прорваться наружу.

Ночник погас, но в комнате был полумрак. У постели больного стояла сиделка из города, но теперь на ней было широкое белое платье, туго подхватывавшее грудь, а на голове была старинная, очень высокая шляпа, похожая на тиару, и с верхушки этой тиары свешивалось парчовое покрывало, не доходившее до плеч.

Свет, лишенный лучей, словно пропущенный сквозь матовое стекло, исходил, казалось, от самого воздуха, – все вещи были обрисованы четко, между тем как тени нигде не было. Девушка стояла, наклонившись над больным. Обе ее руки охватили его шею. Юноша отбивался, но уже слабел, а руки, похожие на змей, теснили его – медленно, без малейшего напряжения…

Мое оцепенение внезапно исчезло. Едва соображая, что я делаю, я громко закричал и бросился вперед. Еще мгновение, и мои руки, стиснутые в кулаки и черпавшие огромную силу в страхе и отчаянии, опрокинули бы душительницу.

Но в это мгновение окно распахнулось настежь, в комнату ворвался сильный порыв ветра, моя свеча погасла, и я остался в непроглядной темноте.

– Кто здесь? – услышал, или, скорее, угадал я чей-то еле ощутимый голос, от которого все во мне захолонуло. С быстротой молнии в голове замелькали, как в калейдоскопе, все страхи и образы, гнетущие нас во время тех страшный снов, когда мы, охваченные смертельной тоской, как в погребе, который заливают водой, стараемся убежать, но не знаем, что бежать некуда и что непостижимая, но и неизбежная опасность настигнет везде…

Сердце мое бешено колотилось о стенки грудной клетки, язык был

как будто чужой, я не мог произнести ни слова. «Боже мой, – вдруг словно ударило меня, – да ведь это больной!..»

– Это я, доктор Иегер, – назвался я. – Как вы себя чувствуете?

– Очень плохо. Ужасные сны… меня душила Белая Женщина…

– Белая Женщина? Мне показалось, что это была…

– Все Корфицы, как и все Гаммерштейны, наши отдаленные предки, умирают от Белой Женщины.

– У вас, во всяком случае, просто дифтерит. Не верьте во все это, иначе вы не поправитесь, – внушал я юноше, мгновенно забыв недавний ужас. – Кризис миновал. Утром я вызову профессора Грассена, а вы пока должны хорошо выспаться…

– Умоляю вас, зажгите свет и не покидайте меня одного! Завтра я уеду из этого замка, чтобы не возвращаться никогда, но сегодня она может еще вернуться!..

– Нет, она ушла ночевать в Гаммерсдорф и не вернется до завтра, – успокаивал я больного, хотя и сам не испытывал никакой уверенности. – Это обыкновенная сиделка. Она даже оставила мне свой адрес. «Констанция Берг, сестра милосердия, 40, Улица Суконщиков», – прочитал я.

– Вы говорите, что это была сиделка? А я скажу вам и вы должны будете мне поверить, что это была Белая Женщина, – графиня Констанция Гаммерштейн, дочь безымянного суконщика, жившего некогда на той самой улице Суконщиков, которой не существует уже двести лет…

Опубликовано и печатается по: Рубеж. 1936. № 20. С. 4, 6, 8-10.

БУРЬЯН

I

Едва ли не каждый день попадаются нам газетные объявления, подобные этому. Тем обесцвеченным, нарочито выразительным слогом, который приличествует случаю, оно извещало мир о том, что участок земли мерою во столько-то квадратных саженей, выкупленный с постройками на нем: домом-особняком, фаршированным, по наружному обмеру столько столько-то квадратных саженей, сараем деревянным, крытым железом, летней кухней и проч., дешево продавался.

Ничего необычайного не было и в том, что на это объявление по указанному адресу шли люди разных званий и намерений, приходили, пытливо осматривали владенье, расспрашивали, записывали, восклицали: «Ну, это дорого по нынешним-то временам!», – и уходили.

Некоторые возвращались потом с женой, со знакомым инженером,

который «большой дока по этим делам», смотрели снова – и снова задавали те же вопросы о сырости, о глубине фундамента, о сроке аренды. Более наблюдательные интересовались еще и тем, почему в саду было столько бурьяну.

А бурьяну было действительно много: начинаясь от парадного крыльца, выходившего в сад, он подымался могучей стеной почти в человеческий рост, густой, как щетка. Это было сплошное разгульное зеленое море стеблей и листьев; косматыми волнами подымались в нем кусты полыни, лебеды, репейника, чертополоха, крапивы… Обреченными островами казались среди этой травянистой стихии невысокие яблони и акации, и только один исполинский вяз гордо уходил к облакам, похожий на Тенерифский пик, растущий прямо из моря.

Каждую весну Сергей Павлович радовался молодой травке, к Благовещенью высыпавшей, как сыпь, по всей широкой груди участка. Сергей Павлович любил природу и, хотя был техником, мечтал в детстве стать сельским хозяином. Юная, неокрепшая еще травка наполняла его сердце умилением как всякая жизнь, пробивавшаяся сквозь враждебную толщу смерти и холода.

Но в начале лета Сергей Павлович уже хмурился: его огород заглыхал, хирел так быстро, что становились необходимы спешные меры, и тогда Сергей Павлович принимался яростно истреблять наступающую стихию хлорофилла, извивавшуюся вверх легионами стеблей, листьев и курчавых зеленых соцветий.

Срезанные травы становились дряблыми и никлыми; сваленные в большие кучи, они испускали сильный, пряный запах, который победоносно заполнял садовый воздух и отравлял легкие Сергея Павловича какой-то задумчивой ленью. Сергей Павлович знал, что ведь стоит ему на три-четыре июльских дня согнуться над чертежами и счетной линейкой, как, выйдя, он уже не отыщет и следа своей моркови и гороха.

Зеленая кровь уже пропитала землю, уже оживила сонмы дремлющих в ней зародышей, уже влила в тело Сергея Павловича усталость и пассивность, чуть-чуть закружила ему голову. Лето. Душно, утомительно работать на воздухе, – и Сергей Павлович оставляет поле сражения, оставляет ежиться и тлеть под частными ливнями горы зеленых трупов, оставляет жалкую фасоль в жертву грядущим мстителям-варварам.

Молодой человек уходит к своим книгам и чертежам, утомленный и счастливый, чувствуя себя немного убийцей или посетителем морга, и вслед ему облегченно и траурно вздыхал израненный бурьян.

Катя иногда тоже невольно вздыхала: она знала, что Лепнины еле дышат, что их дом у них отберут, как только этого пожелают кредиторы. И, может быть, еще потому вздыхала Катя, что ее знакомство с Сергеем Павловичем Лепниным все как-то не налаживалось: правда, когда она

растворяла дверь своей террасы, выходившей как раз против Лепнинского парадного хода, он неизменно раскланивался с ней, отделенной от него травяными джунглями, с учтивостью старомодной и трогательной, – но и только.

Прежде всего, это была одна усадьба, но потом Лепнины обеднели и продали половину ее Катиным родителям; на месте прежнего фруктового сада стоял теперь опрятный каменный домик с веселой террасой, но соседей все еще разделял один лишь редкий забор с заделанной калиткой посредине, да еще это море сорной травы.

Лепнины жили тихо и замкнуто. Сухая, худощавая Анна Филипповна неслышно, как мышь, двигалась по дому-особняку, мыла, чистила, скоблила и стряпала, изобретая дешевые кушанья.

Покой ее вдовства нарушился только один раз: телеграммой от племянницы, Елены Георгиевны, русской американки, богатой разводки: «Приезжаю 17. Елена».

II

Сергей Павлович не сразу втянулся в эту новую жизнь. Слишком скромный и слишком бережливый, он почти не знал ночной жизни шумных кабарэ, где самодовольные мужчины танцевали с изящно подкрашенными девушками, а горделивые дамы царственно отражались в огромных зеркалах, прекрасные и соблазнительные.

Сергей Павлович видел весь этот мир, как в телескоп с другой планеты: между этим миром и им, застенчиво заказывавшим вдвоем с приятелем бутылку пива, лежала целая пропасть.

И вот, по мановению волшебной палочки, по единому слову Елены Георгиевны, он погрузился в самую кипь, в самое сердце этого чудесного мира танцующих счастливцев, их расширенных от бессонницы глаз и громкого взволнованного смеха.

Выезжали большой компанией, Елена Георгиевна платила за всех. Сергей Павлович сначала был лишь одним из многих, безликим кузеном. Но скоро, очень скоро он стал Сережей, излюбленным кавалером, непременным спутником американской гостьи. Ему уже почти не случалось танцевать с другими дамами, хотя их и влекла к нему его забавная застенчивость; ему уже не следовало, в сущности, и разговаривать с ними, ибо Елена Георгиевна откровенно ревновала его ко всем.

А между тем в доме Лепниных мало что изменилось, хотя по ночам к воротам стали часто подъезжать блестящие, величавые автомобили, откуда неслись песни и задорный смех. Анна Филипповна все так же мела и скоблила, изобретая дешевую стряпню из картошки. А рядом – летели на ветер сотни долларов, покупались ненужные вещи – виктрола, пластинки, конфеты огромными коробками, цветы, вазы, фрукты…

Анна Филипповна скоро стала тяготиться присутствием племянницы, тем более что стоило Сергею Павловичу заработать рубль или два, как Елена Георгиевна под каким-нибудь предлогом ухитрялась взять их у него взаймы. Это возмущало Анну Филипповну, которая видела в этой манере жадность; на самом же деле Елена Георгиевна вовсе не нуждалась в грошах своего друга, а только хотела, чтобы у него не было ни одной собственной копейки, – тогда он будет крепче привязан к ней властью ее богатства.

Она рассуждала правильно. Сергей Павлович был ей вполне покорен. Может быть, он и старался порой подавить в груди невольный вздох, когда ему приходилось отшучиваться в ответ на настойчивое приглашение какой-нибудь другой дамы потанцевать, – но внешне она не могла бы от него и желать ничего большего.

Анна Филипповна теперь уже одна принимала проблематических покупателей и прикидывалась перед ними столь же счастливой и обеспеченной, сколько перед поставщиками старалась быть несчастной и бедной. Она была одна целые долгие дни, ибо днем Сергей Павлович и Елена Георгиевна спали очень поздно, а затем тотчас же уезжали и возвращались лишь на рассвете – какие-то чужие, но зато странно близкие друг другу, с блестящими глазами, обведенными синевой, сильно пахнущие вином.

Иногда они привозили вино с собой, заводили виктролу, и тогда над тихой улицей бойко и с надрывом разливался тенор:

Ты едешь пьяная и
очень бледная
По темным улицам
– совсем одна…

Анна Филипповна утыкала лицо в подушку и силилась спать, но сердце болело жалостью и стыдом, а за стеной раздавались резкие взрывы смеха Елены Георгиевны и незнакомый, вкрадчивый голос Сергея Павловича. Иногда долетали и слова:

– Ты как бездомная собака, Сережа! Вот я приласкала тебя, и ты теперь совсем мой, мой навсегда. Ведь если понадобится, ты поедешь за мной – хотя бы в трюме! Правда, ведь, дорогой? Скажи, что это правда!..

Анна Филипповна нарочно громко ворочалась и вздыхала: «Ну, хоть бы не целовались при мне, ведь я же все слышу».

В одну из таких ночей она резюмировала кратко и отчетливо, как приговор: «Пора кончать. Довольно».

III

Г-жа Томилина успела уже полюбить усадьбу, даже неукротимый бурьян напоминал ей детство, когда она в коротеньком платьице играла с братьями в африканскую охоту в таком же точно саду.

У нее тоже был сын, Женя, совсем еще мальчик, с фарфоровым, кукольным личиком и поразительно голубыми глазами, которым уже мерещилось полное уединение за этими высокими заборами. Среди травы он очистит для себя площадку, поставит шезлонг и будет греть на солнце свои обремененные легкие.

Одно только не нравилось Жене: слишком редкий забор со стороны соседей, на который так и напирала чужая терраса. Да, это необходимо будет переделать!

В тот день, когда г-жа Томилина подписала договор с Анной Филипповной Лепниной, Сергей Павлович приехал только утром, привезя совсем беспомощную Елену Георгиевну.

Однако она в тот раз долго его не отпускала, и он должен был сквозь отвращение целовать ее скучные губы и ласкать ослабевшее, отравленное вином тело.

Наконец, она заснула, и Сергей Павлович тотчас же вышел в сад – как был в легком халате. С трудом продираясь сквозь бурьян, он медленно приближался к соседской меже. Его одолевали дурные мысли, возбужденное воображение услужливо представляло ему красивых женщин, когда-то влекших, но недоступных ему из-за ревности Елены.

Полынь пахла истомой и плотью, лебеда – каким-то терпким напитком, репейники еле уловимо подпевали оглушительному концерту запахов. Напряжение самой Жизни, неисчерпаемой творческой силы Земли, томящейся о завтрашней похоти полуденного солнца, все это море живых соков, трепещущих листьев, жадных тычинок незримых цветов било в голову Сергею Павловичу, хмелило его…

– Сергей Павлович, это вы? – внезапно окликнул его кто-то.

– А кто… да, это я, Катя! – голос Лепнина был какой-то неверный, нечестный, еще полный дурного возбуждения нечистой июльской ночи. – Но почему вы не в постели? Дети давно спят.

– Не спится, Сергей Павлович. А вы отчего не спите?

– Да тоже не спится. Но для вас я просто Сережа, ведь мы соседи.

Они были уже почти рядом, разделенные редким забором с заделанной калиткой посредине.

– Ах, Катя, зачем только потеряли мы столько времени! Ведь мы давно могли так встречаться, как сегодня встретились случайно, – говорил Сергей Павлович через несколько минут, заглядывая в глаза девушке и сжимая ей руки.

– В особенности последний месяц вы совсем не выходите в сад! Я не видела вас с того дня, как к вам приехали квартиранты…

– Забудьте про нее, то есть про них. Теперь мы будем встречаться здесь каждый вечер как Ромео и Юлия; к тому же, кто мешает нам…

И Сергей Павлович торопливым, но ловким движением распутал проволоку, привязывавшую калитку к столбам. Через минуту он крепко обнял девушку и, ликуя, повлек ее к себе, в свой сад, на свою землю, густо заросшую зеленой, многолистной, мохнатой шерстью…

IV

Хохот начался сразу с высокого, надтреснутого звука, с каким бьется стекло. И почти мгновенно он превратился в человеческий визг, в сплошной вопль, в котором смешались воедино слезы подступающей старости, бешенство страстного тела, которое оттолкнули сапогом, мольба последней иллюзии, изо всех сил цепляющейся за мир реального, но осужденной уже рассыпаться в ничто, растаять как атлантический призрак.

Это хохотала Елена Георгиевна.

Беспокойство, сверхъестественное ощущение опасности отогнали ее сон, и ей в то же мгновение захотелось свежего воздуха, который начинался на крыльце.

Дверь, оказавшаяся открытой настежь, изумила ее; вглядевшись, Елена Георгиевна уловила в глубине сада, за бурьяном, две обнявшиеся фигуры, вынырнувшие из-за отворенной калитки.

Сергей? Да, сомнений не было! Тогда и разразился этот сумасшедший, истерический хохот, этот припадок бессильной ярости (дай ей волю, и она показала бы…), непоправимого отчаяния – вслед рухнувшему, как замок, обману.

Одна фигурка проворно канула в калитку, другая же медленно, сохраняя собственное достоинство, направилась к крыльцу. Но встретить сейчас Сергея, говорить с ним, – нет, это выше сил Елены Георгиевны! Она захлопывает дверь ему в лицо, бросается в свою комнату, щелкает дверным замком и, сквозь рыдания, слепая от слез, мечется от шкафа к сундуку, от сундука к шкафу, мнет прекрасные платья, швыряет их на дно вперемежку с драгоценностями, с хрупкими шляпами, с флаконами, щеточками, щипчиками, ножичками, со всеми этими женскими ларчиками, хранящими тайны обаяния и многократной юности.

А между тем Сергей Павлович стучит в дверь, – сначала тихо, потом все настойчивее и зовет:

– Елена, открой же! Елена, ну, чего ради ты обиделась? Ведь я просто пошутил… Елена Георгиевна, не заставляйте меня мерзнуть на улице в одном халате.

Но его голос еще больше бесит Елену Георгиевну. Как заставить его уйти, замолчать?! Елена Георгиевна хватается за первую подвернувшуюся

ей мысль; улыбка перекашивает ее лицо, но через мгновение, при первых же звуках забытого с вечера романса, она вновь слабеет и, совсем изникшая от слез, падает на постель.

Ты едешь пьян-ная…
и очень блед-ная…
По темным улицам…
совсем одна…

Все можно стерпеть, но это беглое, торопливое, а затем вдруг вытягиваемое, расплывающееся на конце «совсем – одна-а-а…», – оно захлестывает Елену Георгиевну какой-то несносной, теплой, трогательной волной жалости и нежности к себе самой, от которой хочется уткнуться носом в подушку и тихо скулить.

V

Елена Георгиевна уехала рано утром, не прощаясь ни с кем.

Но в доме уже не было спокойно: Анна Филипповна суетилась, как вспугнутая мышь, терла и скребла еще больше. Занавески никогда не подымались теперь на окнах в доме-особняке Лепниных, которые прятались за ними от знакомых и кредиторов.

Однажды Анна Филипповна подождала на крыльце, когда появится Катя на своей террасе, и подозвала ее к ограде.

– Катюша, вы нам друг, не правда ли? Нам очень нужна ваша помощь. У нас везде долги, нас не выпустят со двора. Сделайте доброе дело: отвезите наши вещи на вокзал; Сережа пронесет их к нашим воротам через эту калитку. Сегодня мы уезжаем из Харбина…

На извозчичьей пролетке, нагруженной Лепнинским скарбом, Катя поехала на вокзал. Следом, ежась от страха под своими бледными пыльниками и надвинутыми на самые глаза шляпами, крались по улицам Анна Филипповна и Сергей Павлович.

На вокзале Лепнины разыгрывали провожающих: пожимали Кате руки, произносили сердечные напутствия. А между ними шепотком:

– Завтра приедут новые хозяева нашего дома. Так вы уж передайте им ключ. А занавески пусть повисят два-три дня, будто нас просто нет дома.

По сигналу протяжного гудка Лепнины вскочили на площадку вагона. Вся дрожа, Анна Филипповна издали перекрестила Катю, а та, плача, еще долго взмахивала вдогонку уехавшим увлажненным платочком.

VI

На следующий день вокруг необитаемого, но все еще притворявшегося жилым домом бродил юноша, который не стал стучать,

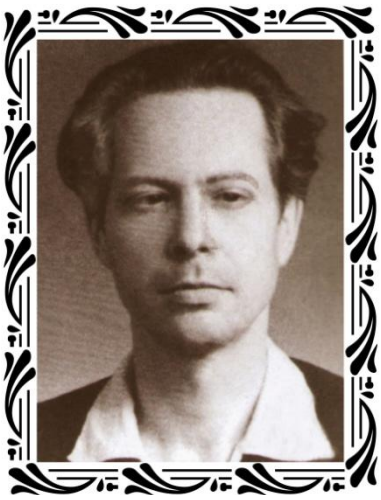
но все же подергал дверные ручки, как будто надеялся, что найдет двери незапертыми.

Он бродил так не менее получаса, пока, наконец, его не окликнула через редкий забор, который необходимо было переделать, молоденькая девушка, сигнализировавшая ключом, который она держала в своих нежных пальчиках.

От смущения юноша даже не сумел поблагодарить ее; неуклюже по-медвежьи он схватил ключ, размашисто сунул его в карман и, не оглядываясь, ушел.

Девушка некоторое время смотрела ему вслед. Она вовсе не думала об этом, но как-то само собой выходило, что очень хороши у нового хозяина Лепнинского дома, только притворявшегося жилым, изумительно голубые глаза и тонкое, ребячье личико фарфоровой куклы. А бурьян тоже только притворялся неподвижным и праздным: он был страшно занят ростом, накоплением жизнетворных соков, бурных солнечных сил.

Опубликовано и печатается по: Харбин в зеркале прессы. Ежегодник объединения русских журналистов в Маньчжу Ди Го. Харбин, 1937. С. 27-31.



Николай Владимирович ПЕТЕРЕЦ

(1907?-1944)

Поэт и журналист Николай Петерец родился предположительно в 1907 г. в Риме в семье известного политического деятеля, социалиста-революционера Владимира Рихтера. После развода родителей получил фамилию матери и уехал с ней во Владивосток, а затем в Харбин. Там он окончил гимназию и поступил на Юридический факультет, увлекся поэзией и журналистикой. Участник харбинского литературного кружка «Молодая Чураевка». Его стихи, статьи, рецензии печатались в газете «Молодая Чураевка», журналах «Рубеж», «Парус», «Сегодня». В 1934 г. переехал в Шанхай. Зарабатывал журналистикой. Интересовался политикой. Редактор газеты «Родина» (в 1941 г. преобразована в «Новую жизнь»). Один из организаторов шанхайского кружка «Пятница». Соавтор коллективных сборников «Семеро» (Харбин, 1931), «Стихи о Родине» (Шанхай, 1941), «Остров» (Шанхай, 1946). Своего поэтического сборника не издал. В 1946 г. в Шанхае посмертно был издан сборник его статей. Умер 11 декабря 1944 г. в Шанхае от воспаления легких.

Ист. и лит.:

Бакич О.М. Поэзия Николая Петереца. Материалы к библиографии и сборнику стихотворений // С другого берега: Прошлое и настоящее русских писателей за рубежом. Торонто, 2004. Т. 4. С. 113-132.

Бакич О. М. Остров среди бушующего моря // Новый журнал. 2005. № 239. С. 174-200.

Крузенштерн-Петерец Ю.В. Воспоминания // Россияне в Азии. 1999. № 6; 2000. № 7.

Русская поэзия Китая / Сост. В. Крейд, О. Бакич. М., 2001. С. 689-690.

«Сын вольного штурмана» и тринадцатый смертник «смертник» процесса с.-р. 1922 г.: Документы и материалы из личного архива В.Н. Рихтера / Сост., К.Н. Морозова и др. М., 2005. 655 с.

ДВЕ РАЗВЯЗКИ

Стол, крытый зеленым сукном.

Над столом – голова – лысая, только у висков седенькие висюльки, уступами лоб… Брови – мохнатыми совиными крыльями – есть такие белые совы, а где – Бог их знает… Глаз не видно за веками – припухшими, красными.

На зеленом сукне рука, если смотреть лишь на нее – думается – на слоновой кости, но какая желтизна и мертвенность. Кроме руки, на столе папки – синие, красные, зеленые – что в них? Об этом думают и думают… и думают многие. Лампа – бронзовая – слепой пастух, пасущий ягнят – льет свет – спокойный и ровный…

В комнате холодно, хотя термометр показывает 20. Во всяком случае ежится и потирает руки секретарь, склоняясь над папками…

– Газеты пишут, Ваше Превосходительство.

Костяная рука перелистывает вырезки. То там, то тут мелькает характерное лицо – брови – совиные крылья, лоб уступами, седенькие висюльки на висках.

Шорох бумаги, шепот секретаря, покашливание.

Красные веки внезапно приподнимаются, открывают глаза, глаза скользят по озабоченному юному лицу, нащупывают, выщупывают зрачки.

Кажется – в притихшем кабинете только глаза – безжизненные, цвета талого снега и молодые, черные.

Старик опускает веки:

– У вас что-то новое?

В комнате становится еще холодней. Дрожащей рукой секретарь поправляет галстук, старается придать лицу более бодрый вид:

– У меня… люблю… девушка… разрешите…

Лысая голова медленно поворачивается в его сторону. Она удивительно похожа на безглазый греческий бюст или – на гипсовую маску покойника… Молчание. Сухой голос:

– Мой принцип – холостые сотрудники.

Зима врывается в комнату.

Непокорные пальцы вынимают аккуратно сложенный лист.

Лист – на зеленом сукне… Лист – с лаконической надписью – карандашом толстым и красным – снова в ледяных пальцах.

Секретарь уходит…

Голова поворачивается к столу.

Шелестят вырезки.

И раздается короткое слово: «Дурак!»

***

События нарастают с катастрофической быстротой; у редакции – толпы народа, на бирже – горячка…

Около каждого мало-мальски осведомленного лица – хвост интересующихся… Впрочем, кажется, все одинаково осведомлены, если можно считать осведомленностью – предположения… Могли бы рассказать кое-что – человека два-три. Но разве к ним доберешься? Даже проныры-журналисты и те, как волны о скалу, разбиваются о сомкнувшуюся армию секретарей, подсекретарей и их помощников.

Ничего неизвестно и известно главное.

Приближается война…

Приближается великая война.

Приближается вторая мировая война.

Армии накануне мобилизации… Пульс старушки Европы снова дает лихорадочные скачки…

И мысли всех – от королей и президентов до скромного клерка старой банкирской конторы, обращаются к одному.

Так – пересечение фигур дает поверхность, плоскостей – линию, линий – точку.

Точка – лысая голова с седыми висюльками. Это он хочет войны, это он ее подготовлял в комнате, где слепой пастух мирно пасет курчавых

бронзовых овечек…

Тайна синих, красных, зеленых папок, скрывавших, как веки – глаза, свое содержимое – ныне открыта. Но слишком поздно приподнялись веки, раскрылись папки. Война неизбежна. Старый дипломат может быть доволен…

Еще один выигрыш…

Глубоко в кресле утопает сухощавая фигура, блестит лысина, хмурятся брови. Изредка звонит телефон – всегда важное, необходимое – целой системой переключений охраняется покой государственного деятеля.

И лаконично – сухим лаем – отдаются распоряжения.

Настаивать, требовать, не уступать.

Спокойно льет свет бронзовая лампа. Старик думает, старик вспоминает. Он прожил 60 лет и как прожил. Он знает людей – умных и глупых, глубоких и пустых, талантливых и бездарных. И у всех – всегда находилась ниточка, за которую их можно было дергать. И они подпрыгивали, как плясунчики. Да и у него была ниточка – властолюбие. И покорный ей – он кричал в рупор радиоприемника, ездил из города в город, писал статьи, читал лекции, раздавал деньги, льстил, играл на плохих и хороших чувствах и инстинктах. Чаще на худших.

Он давно уже привык к власти.

И сейчас толпились вокруг него люди, чего-то ждущие, чего-то требующие. Он почти физически чувствовал их присутствие.

Телефонная трубка, диктофон, вечное перо были рычагами, которыми он поворачивал их, свою страну, Европу, мир…

Но – рядом с этим – рядом со всеми достижениями в последнее время он ощущал пустоту. Вспоминал – ледяные пальцы, аккуратно сложенный лист, свою резолюцию…

В юности решил – выбрал – не любовь – власть. И при всяком появлении сентиментальности смеялся сухим и спокойным смехом. Пересматривать решение было поздно. Любовь уже не смела прийти – думать о ней значило бы потерять трезвость, а он был трезв, работоспособен и спокоен как никогда.

И в этом спокойствии было самое страшное. В спокойствии было – безразличие. В последнее время пристрастился к чтению книг, говорящих о любви, книги были бездарны и глупы, но будили ассоциации.

Перед ним проходила радуга глаз – синих, зеленых, карих, голубых, черных… И думалось – может быть, хоть в одной паре из них крылось счастье…

У него было много любовниц, но все они – были не те. Одни делили его объятия с другими знаменитостями – восходящим баритоном и заезжим боксером-негром, другие позировали в его ореоле и, если бы

можно было жить только с мундиром, охотно вытряхнули бы его из блестящего сюртука, третьи… Впрочем, он сам хотел этого – он не мог тратить времени на пустяки. Он шел вверх, и вот теперь – на вершине. Костяная рука лежала на зеленом сукне. Отражала электрический свет лампа…

И – вдруг – отчетливо, отчетливо сквозь припухшие веки – в помутневшие зрачки заглянули глаза – женские глаза, полные той неопределенной лучистостью, которая рождается с любовью и тухнет с ней. Лучистые, синие глаза…

Задребезжал телефонный звонок…

Костяная рука потянулась к трубке.

Кто-то, захлебываясь на другом конце провода, говорил скороговоркой, преисполненный важностью передаваемого…

И вдруг замолк, застыл – удивленный и озадаченный.

Министр что-то сказал.

Министр, кажется, выругался.

Министр дал отбой.

Телефонная трубка звонко придавила рычажок.

В комнате тихо…

С улицы доносится едва слышный шум – наверное – патриотическая демонстрация…

Безжизненными, цвета талого снега глазами старик оглядывает свой кабинет, оглядывает жизнь.

И раздается короткое слово: «Дурак!»

***

Гостиница – не плохая, но и не хорошая… Для жильцов благородных, спокойных и не особенно богатых… Для солидных жильцов.

Комнаты с мебелью и без. Если подняться по узкой лестнице и повернуть направо – в конце коридора – желтая дверь с жирным номером 7. Раньше на двери висела визитная карточка, теперь ее сорвали дети владельца гостиницы…

Ее снова не повесили – зачем?

В комнате – женщина с глазами, быть может, не менее лучистыми, чем те, что почудились старому дипломату. Черные вьющиеся волосы… Рот красивый, немного безвольный. Чуть-чуть вздернутый нос… Руки – маленькие, нежные и должно быть прохладные. Так прохладен мрамор знойным томительным летом. В таких женщин влюбляются тихо и почти всегда безнадежно – их боишься разбить.

Перед женщиной – стол – покрытый белой скатертью, на скатерти газеты, пахнущие типографской краской. Заголовки и он, он, он – маленький человек с лысым черепом и совиными бровями.

Над газетами взлохмаченная голова, лицо молодое, помятое,

озлобленное…

Женщина тихо встает, подходит, кладет руку – красивую, узкую – на взъерошенные волосы. Вспоминает – недавно еще они были гладкими, даже чересчур. Был пробор.

Голова мужчины резко дергается.

– Брось – что за глупости!

И быстрым шепотом, как бы боясь, что не дадут высказаться, говорит, стуча кулаком по газетам:

– Видишь? Видишь? Ведь я бы сейчас был около него. Он мне доверял. Я бы сделал карьеру, я получил бы власть… Я, я, я!!!

Мужчина задыхается.

– Проклятье! И все потеряно из-за какой-то чепухи. Любовь – подумаешь… – он смеется, и смех его сух и желчен.

Встает – надевает шляпу. Хлопает дверь. Идет по коридору – спускается по узкой лестнице… А там – по ту сторону двери – сухими, неподвижными глазами, усталыми, как будто жили они век, смотрит в окно женщина. И в синих глазах, вместо слез – пустота.

На улице появился он… Идет, нервно сжимая ледяными пальцами трость, воспаленные сухие губы искусаны в кровь… Он трет себе лоб, как будто стараясь что-то припомнить, угадать, может быть… И раздается короткое слово: «Дурак».

Харбин, декабрь 32 г.

Опубликовано и печатается по: Чураевка. 1933. № 8. С. 3.

Проза

Алексей Владимирович ПЕТРОВ
(1896—?)

Писатель и журналист Алексей Петров родился 17 марта 1896 г. в Петербурге. Штабс-капитан, участник Первой мировой войны. Работал в газетах Приморья и Маньчжурии. Редактор харбинской газеты «Восток». Печатался в журнале «Рубеж», газете «Рупор» и др. изданиях. Использовал псевдоним «Полишинель». Автор сборника юморесок «Мужчина на закате» (Харбин, 1929); составитель либретто песен и романсов «Любимые песенки любимых артистов: А. Вертинский, Л. Виталье, И. Грановская, А. Кармелинский, М. Садовская, Е. Силинская, А. Шеманский» (Харбин, 1930). С 1930 г. жил в Шанхае, редактор газеты «Вечерняя заря». В 1946 г. вернулся в СССР. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист. и лит.:

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Ред. и сост. Ю.В. Мухачев; под общ. ред. Е.П. Челышева, А.Я. Дегтярева. М., 2006. С.С. 436.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 238.

ХАРБИНСКАЯ ФАМИЛИЯ
Случай по Чехову

Два приятеля беседовали между собою.

– Вот, – говорил один, – давно я не видал этого… ну, как его…

– Севрюгина?

– Нет, не Севрюгина. Ну, как же, Боже ты мой?.. Ведь вот, на языке вертится!

– Вертопрахова?

– Ах, совсем не Вертопрахова... Да вы же его знаете – еще такая харбинская фамилия... типичная харбинская фамилия.

Оба приятеля подняли глаза кверху, точно на небе была написана эта фамилия, и стали вспоминать.

– Сунгарийцев, – вспоминал один. – Нахаловкин... Бесподданный... Беженцев...

– Нет, не то, – бормотал другой. – И как я забыл?.. Позавчера еще о нем говорили.

– Пройдошенко... Арапов... Шахермахеров?.. – подсказывал приятель. – Может быть, Прогорелов – самая харбинская фамилия?

– Нет, нет, еще более харбинская.

– Еще более? Ну тогда Фокстротников... Чарлстоненко... Кабаков... Рюмкин... Стопкин... Бутылкин?

– Стой, погоди, я, кажется, сам вспомню.

И закрыв глаза и шевеля, словно нащупывая, пальцами, он бормотал:

– Юбиляров... Панамский... Адюльтеров... Хапугин... Флюгеров... Экая ведь проклятая фамилия – хвостом перед самым носом вертит, а в руки не дается!

– Ну черт с ней! – воскликнул он. – Эдак еще можно с ума сойти. Потом вспомню... Все равно...

Приятели разошлись.

Один из них отошел уже шагов на сорок, когда вдруг остановился и крикнул:

– Постойте! Не Распродаженко? Нет?

– Нет, – уныло послышалось в ответ. – Да вы ничего... не беспокойтесь... я сам...

Забывший фамилию шел домой и боролся с собой.

Неотвязная мысль о фамилии, несмотря на все старания, упорно преследовала его.

Задумавшись, он чуть не попал под автобус.

И тотчас же в голове замелькали новые догадки:

– Билетеров... Шоффферович... Гудков... Давиленко... Катастрофов... Фордятников... Фу ты черт! – подумал он. – Всякая чепуха в голову лезет!

– А? Капитана! – окликнул его китаец-фруктовик. – Когда твоя чена плати?

– Потом, завтра... – отмахнулся он в ответ и тотчас же непроизвольно зашептал:

– Ченов... Неплатежевич... Долгов... Счетоподписалький... Кредитников...

Дома, снимая пальто, он говорил жене:

– Понимаешь, вот на меня напасть накатила! Никак не могу вспомнить фамилию этого... как его... Ну, помнишь, летом у нас был и твой любимый стакан разбил.

Жена прищурилась и покачала головой.

– Нет, что-то не припомню.

– Вот беда!.. Самое обидное, что фамилия-то простая... Такая типично харбинская...

– Харбинская? – переспросила жена. – Хм... может быть, Ловкачев... Изворотливый.... Пострелов? Может быть, Продувной?

В переднюю вышли сын-гимназист и дочь, барышня на выданье.

– Папа! – крикнул сын. – Я знаю...

– Ну? – обрадовался отец.

– Конечно. Раз харбинская фамилия, значит, – Мушкетеров.

– И ничего подобного, – возразила дочь. – Может быть еще Ловеласов... Поцелуйкин... Холостяков...

– Ну, милая, – отозвалась мамаша. – У тебя всегда на уме только холостяки.

– А у тебя – женатые? – съязвила дочь.

– Не дерзи! – прикрикнул отец.

За обедом он рассеянно болтал ложкой в супе, катал из хлеба шарики и без конца думал об упорно не шедшей на память фамилии.

Сыну-гимназисту не сиделось и он, вертясь, спрашивал:

– Папа, может быть, Подзатыльников? Или – Мордобоенко?

– Отвяжись ты, пожалуйста... Совсем не то...

– Не то? Ну тогда, наверное, – Широкоштанов, Фашистенко, Кастеткин?

Дочь, надувшись, обиженно молчала.

Вечером жена ласково поглаживала мужа по голове и приговаривала:

– Милый, брось ты эту дурацкую фамилию... И чего она тебе далась?.. Что тебе прибыль от этого какая, что ли? Ложись-ка лучше спать...

– Ладно, не мешай, – упорно отвечал он. – Лягу, не беспокойся.

Но он не ложился и до поздней ночи, как маятник, ходил по кабинету взад и вперед.

В руках у него был харбинский адрес-календарь.

Но и там не было ничего, что могло навести на мысль о забытой фамилии.

– Странно, – бормотал забывший. – Очень странно... Кажется, уж все перебрал. И Двуподданного, и Протекдионова, и Серпомолотова, и Белобандитенко...

Ночь он спал тревожно.

Снилась какая-то ерунда и скверные рожи, а потом мозг пронзило вдруг яркое, как молния, слово.

– Вспомнил, вспомнил! – воскликнул он и тотчас же проснулся.

Второпях напялив халат, он помчался к жене, взъерошенный, с широко открытыми глазами, дико размахивая руками.

– Вспомнил! – завопил он, дергая перепуганную жену за руку. – Ура-а-а! Вспомнил, наконец!

– Как же? Как?.. – зараженная его волнением, спрашивала жена.

– Фу-у! – он отер росинки холодного пота со лба и широко, солнечно улыбнулся.

– И ведь фамилия-то простая – М а м а н д и! Настоящая харбинская фамилия! Типичная харбинская фамилия!

Впервые опубликовано: Рупор. 1927. 15 декабря. С. 3.
Печатается по: Россияне в Азии. 1996. № 3. С. 310-312.

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА

Из сборника «Мужчины на закате»

Вспыхнул и зашипел слепящий свет «юпитеров», затрещал

съемочный аппарат, началась очередная сцена из фильмы «Билль, пожиратель женщин».

Билль в жизни — бывший русский эмигрант Иван Степанов, а теперь — мистер Джон Степп — появился из-за кулисы и стал подходить к аппарату. На бритом лице его играла наглая усмешка. С небрежностью салонного льва он развалился на кушетке и, не торопясь, с подчеркнутой элегантностью движений, закурил сигаретку.

Героиня фильмы Мэри горько рыдала в кресле. Ее крохотный кружевной платочек был обильно смочен… одним из помощников режиссера. На ее нежных, как персиковый плод, щечках застыли две великолепные глицериновые слезы.

— Билль! – воскликнула Мэри, ломая руки. – Билль, если ты покинешь меня, – я умру!..

Билль сатанински усмехнулся и выпустил красивое колечко голубого дыма.

— Я не могу жить без тебя! – продолжала Мэри. – Я готова быть твоей рабыней! Целовать твои ноги! Быть твоей покорной собакой!..

Билль презрительно выпятил нижнюю губу и, насмешливо глядя на несчастную Мэри, поманил ее к себе кивком головы.

А когда она на коленях приползла к нему, жалкая и трепетная, – он отбросил ее кончиком своей лакированной туфли.

— Давай сюда мои драгоценности, тварь! – грубо сказал он. – Ты знаешь, что я презираю женщин, – нет? Так знай же, что я их увлекаю только для того, чтобы потом издаваться над ними... Да! Я смеюсь над вашими мольбами, мне весело от ваших слез!

В своем бешеном, почти зверином гневе Билль был великолепен.

Даже придирчивый режиссер, никогда никого не хваливший, здесь выругался длинно и с явным удовлетворением, что означало, что он доволен игрой.

А хорошенькие статистки, наблюдавшие эту сцену со стороны, с восхищением проводили взглядом выходившего из студии Степпа.

— Как он мужественен! – сказала одна.

— Как он горд! – воскликнула другая. – Настоящий мужчина!

Степп не успел сесть в свое авто, как из-за угла показалась массивная фигура его жены Дарьи Васильевны (теперь – Доротеи Степп).

Выражение превосходства и самолюбования моментально сбежало с лица артиста. Он сразу как-то съежился, учащенно заморгал, беспокойно заерзал на подушках авто.

— Ты это куда? – сказала тихо, но с опасным шипением в голосе, Доротея. – Наверное, за девчонками бегать?.. Сейчас же марш домой!

— Я.. я и так домой, м... милочка... – залепетал Джон. – Я... я хотел встретить тебя.

Доротея Степп влезла в мотокар, перекосив его на свою сторону, и он,

сорвавшись с места прыжком раненого зверя, понесся по сверкающей на солнце асфальтовой дороге.

Через пять минут супруги были дома.

— Мой руки! — командовала жена. — Где мой капот?.. Ты опять, кажется, курил до обеда?.. Открой рот! Дыхни!

Джон то бледнея, то заливаясь румянцем, плясал перед женой по струнке. Этой приземистой женщины с маленькими усиками и густыми бровями он боялся, как черт ладана.

После обеда он читал ей вслух книгу, вымыл чайную посуду, и затем ему было разрешено съездить на час по делу.

Завернув на другую улицу, Джон облегченно вздохнул. И сразу же, точно переродившись, лицо его приняло надменное выражение, голова откинулась назад, нижняя губа презрительно выпятилась.

— Боже мой, Джон Степп! — говорили встречавшие его на улице. — Посмотрите, как он шикарен! Это – самый гордый артист в Голливуде.

— Да, да! — щебетали женщины. — Настоящий мужчина!

Опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. № 51. С. 16.

ЗЛАЯ ШУТКА
Шанхайская быль

Дни стояли сияющие, великолепные, с небом цвета непередаваемой нежности, с солнцем, светящим не злым летним драконом, а ласково льющим весенние золотые лучи…

Дни стояли великолепные, но настроение мистера Прайса было не только не великолепное, а просто скверное.

Он зло грыз мундштук своей дорогой трубки, сидя в небольшом, но мило обставленном кафе на авеню Жоффр.

Ухаживание за Таточкой мистеру Прайсу не удавалось, хотя продолжалось оно уже свыше двух месяцев.

И это тем более бесило Прайса, что он чувствовал, что оставить это ухаживание он не в силах.

Иначе говоря, как мыслил и повторял Прайс на своем английском отечественном языке, он «фалл ин лов», «упал в любовь».

До сего времени он не допускал мысли, что можно полюбить не англичанку.

Он был патриот в том своеобразном стиле, который самими же англичанами прозван «твердолюбым».

Он считал себя представителем единственной и ни с кем более несравнимой нации и ко всем остальным народам и странам относился с чувством добродушной снисходительности: «Ну, что же, мол, цыпленки

тоже хочут кушать»…

Поэтому на свои шанхайские встречи с иностранками он смотрел просто, как на приятное времяпровождение.

Тем более что фирма, командировавшая Прайса из Ливерпуля в Шанхай, давала своему представителю все возможности приятно проводить время.

Он жил в небольшом, но очень уютном особняке, имел дорогой марки автомобиль, коллекционировал кюрио и тратил немало денег на Рейс-Корсе, держа там несколько резвых монголок.

Ростом Прайс был умеренно высок, фигуру имел статную, походку легкую, выражение лица самоуверенное, а само лицо атласно выбритое, но одухотворенностью не блещущее.

Характера Прайс был типично британского.

Он был достаточно сдержан, достаточно настойчив, очень самолюбив и бесконечно самоуверен.

И вот Таточка, сероглазая Таточка, эмигрантская русская барышня, первая заставила дрогнуть это самоуверенное британское сердце.

Служила Таточка в модном большом салоне манекеншей, на какой службе, как известно, требуется хорошая фигура, изящная грация и пластичность движений.

Таточка, или полностью Татьяна Павловна Суровцева, всеми этими данными обладала в полной мере.

Ее нельзя было назвать красавицей, но она была удивительно женственна и очаровательна нежной девичьей прелестью.

В ней не было ничего от шанхайской герл, девушки с печатью облика той или иной кинематографической героини.

Шанхайское к Таточке как-то не приставало, хотя она жила в этом городе уже третий год.

Не было в ней и стремления переделывать себя на иностранный лад, и любовь ко всему русскому была в ней очень сильна.

Родившись в Харбине, Таточка не знала настоящей России и рисовала себе ее всегда в возвышенном, опоэтизированном образе.

Она много и вдумчиво читала, любила театр, немного рисовала и пела без особенного искусства, но с большим настроением, приятным грудным сопрано элегические русские романсы.

Простенькие платья и шляпки Таточки казались на ней туалетами и созданиями дорогого модного дома, а ее немножко иронический ум позволял с ней не только болтать, но и занимательно беседовать.

С Прайсом Таточка познакомилась на благотворительном зимнем балу, продавая цветы в киоске.

Серые с золотой искоркой глаза девушки заставили самоуверенного британца задерживать на ней свой взгляд, а затем и попросить разрешения

с ней познакомиться.

Прайс, как он это делал обычно, попытался сразу же произвести впечатление на Таточку своим положением ни в чем не стесняющегося, живущего на широкую ногу джентльмена.

Он щеголял своим блестящим автомобилем, приглашениями в дорогие рестораны, присылкой пышных корзин с цветами и разнообразием своих отменно модных и великолепно сшитых костюмов.

Но Таточка была очень мила, любезна, но ни удивления, ни восхищения прайсовским антуражем не проявляла совершенно.

Напротив, знаки внимания к себе Таточка принимала как нечто должное, а над Прайсом нередко подтрунивала, делая это, как и все, что она делала, с изящной легкостью.

Однажды во время автомобильной прогулки за городом (это было, кажется, в начале второй недели их знакомства) Прайс решил, что срокам Таточкиной неприступности пора положить конец.

Его начинала уже немного раздражать эта маленькая «рошен герл», которая имела смелость держаться положительно как английская мисс.

В Прайсе было уязвлено чувство его превосходительства. Он привык к легким победам, к тому, чтобы «осчастливить» своим вниманием, а не добиваться его в отношении себя.

И воспользовавшись резким креном машины на быстром повороте, он крепко прижал к себе девушку и властно повернул ее головку к себе, предвкушая сладость первого поцелуя.

Но «литтл рошен герл» как змейка выскользнула из крепких рук англичанина и голосом, в котором слышалась возмущенная гордость и приказ, сказала:

— Мистер Прайс, прикажите шоферу остановить машину! Остановите машину моментально, или…

Она не договорила, что именно «или», но сноп гневных искр из ее глаз дал понять, что в этом «или» действительно кроется нечто значительное и опасное.

Прайс, самоуверенный, редко теряющийся Прайс растерялся.

Он просил извинения, он лопотал что-то о случайном толчке машины, он уверял, что останавливать ей машину среди китайских деревушек совершенно невозможно.

Таточка настояла на своем, и машина была остановлена.

Выходя из авто, она вдруг услышала тихий шепот: «Молодец, барышня!»

Таточка нервно оглянулась и увидела, что шофер, на которого она раньше не обращала внимания, сочувственно улыбается ей одними глазами.

«Шофер то русский… Какой позор!», – стегнула ее сознание острая

мысль и она почти бегом бросилась по дороге, конец которой тонул в спускающихся сумерках.

Мистер Прайс был глубоко обескуражен.

Он «проконвоировал» на своем авто быстро шагавшую девушку до первого встречного автобуса и затем, в некотором отдалении стал следовать за ним.

Примирение с Таточкой Прайсу досталось нелегко и когда он его достиг, то почувствовал, какой дорогой ценой заплатил он за эту сомнительную победу.

Больше уже не было «литтл рошен герл» и самоуверенного британца.

Он убедился в этом за последние недели.

Была волевая, управлявшая его настроениями, слегка ироническая «она» и потерявший свой стиль гордой самоуверенности «он».

И вот, сидя в небольшом, но уютном кафе на авеню Жоффр, Прайс зло грыз мундштук своей дорогой трубки.

Он злился на все, а прежде всего на самого себя.

— Неужели я действительно полюбил? Неужели я за несколько недель растерял все свои твердые принципы? Неужели я, Ричард Прайс, тридцать восемь лет бронировавший свое сердце от любовных покушений, теперь капитулирую?

Он взглянул на часы.

Вот уже двадцать минут, как они должны встретиться, а Таточки нет, как нет.

Она манкирует знакомством с ним.

С ним, Ричардом Прайс, общества которого ищут немало дам британской колонии.

О, так дальше продолжаться не может.

Глупо млеть, как мальчишке, или разыгрывать из себя провинциального воздыхателя…

Прайс ожесточенно стал выбивать пепел из трубки о каблук ботинка.

Или вот еще – в последний раз Таточка заявила категорически, что он должен учиться по-русски. Иначе он ни на что рассчитывать не может. И что же? Он стал зубрить русские фразы.

Он вызубрил к сегодняшнему дню несколько таких фраз при помощи своего русского шофера.

Он, Ричард Прайс, который до сего дня был уверен, что англичанин может учиться только одному языку в мире – английскому…

Прайс вынул бумажку, на которой было написано английскими буквами четыре русских фразы, составленных ему шофером.

Правда, шофер – бывший русский офицер, но все же… И потом не мог же он, Прайс, выдавать себя и учиться у кого-нибудь другого.

Британец взглянул в окно и увидел, что Таточка переходит улицу, направляясь к кафе.

Прайс невольно любовался Таточкой.

Как она была изящна! Как гордо несла свою очаровательную головку! Как к лицу была одета! Нет, вкус есть, очевидно, не у одних только англичан…

Таточка была весело оживлена.

Грызя сухое пирожное, она мило болтала о разных пустяках.

В кафе было почти пусто, и Прайс, поборов в себе волнение, решил обрадовать девушку сюрпризом, своими русскими фразами.

— Таточка, – сказал он, слегка запинаясь, – я исполнил ваше желание. Слушайте, я буду говорить по-русски.

Таточка сделала комически-серьезную мину.

— Я вся внимание, мистер Прайс. Итак, экзаменуйтесь!

— Олл райт! Я скажу вам пока четыре фразы. Вот.

И сделав торжественную паузу, он заговорил с расстановкой, потешно коверкая произношение и ударения.

— Вы… умный… девушка, а я… глупый большой осел… Я люблю… вас… до… расстройства… желюдок. Скажите… мне… пошель… вон… Зачем… я… маленьким… не… умер…

Прайс выговорил последнюю фразу особенно торжественным тоном. Шофер объяснил ему, что только что сказанные им фразы по-русски будут означать: «Вы и я созданы друг для друга. Я вас люблю, я вас обожаю. Вы должны быть моей навсегда. Я обещаю вам все, что вы хотите!».

И когда Прайс с ожиданием поднял свой взгляд на Таточку, он был поражен словно столбняком.

Девушка качалась от приступа беззвучного, припадочного смеха.

Она хотела что-то сказать, но не могла и только махала руками.

На глазах ее стояли слезы, так силен был охвативший ее пароксизм безудержного смеха.

Прайс встал негодующий и оскорбленный.

А Таточка, отхохотавшись, вдруг стала серьезной и сказала:

— Мистер Прайс, наше знакомство окончено. Нет ничего хуже и непоправимее, чем видеть одураченным и смешным такого сноба, как вы. У меня точно спала пелена с глаз. Теперь только я вижу, что вы и я, мы совсем друг другу не пара.

— Я ничего не понимаю… – растерянно говорил уже по-английски Прайс.

— Поймите, что над вами сыграли злую, а надо мной целительную шутку. Я получила хороший урок.

И попрощавшись, Таточка вышла из кафе.

Личико ее было серьезно, но в серых глазах весело вспыхивали золотые искорки.

***

Шофер, как выяснилось потом, не дожидался возвращения мистера Прайса.

Он оставил свое место сам и теперь переменил профессию, недурно устроившись в большой конторе.

Говорят, между прочим, что в последнее время его и Таточку несколько раз видели вместе.

Опубликовано и печатается по: Шанхайская заря. 1935. 28 апреля. С. 4.

Проза

Виктор Порфирьевич ПЕТРОВ
(1907–2000)

Писатель Виктор Петров родился 22 марта 1907 г. в Харбине, в семье священника. Окончил русскую гимназию и юридический факультет Харбинского университета. В 1928-1929 гг. работал репортером в газете «Харбин Дейли Ньюс». В 1930-1940 гг. жил в Шанхае, где занимался журналистской работой, выпустил свои первые три книги: роман «Лола» (1934), сборники рассказов «Под американским флагом» (1933) и «В Маньчжурии» (1937). Один из организаторов литературного объединения «Шанхайская Чураевка» и содружества «ХЛАМ». В 1940 г. переехал в США, где продолжал заниматься литературным трудом, вел активную научную и преподавательскую деятельность. Автор 27 книг на русском языке, более 300 статей в русских зарубежных газетах и журналах, посвященных русским первопроходцам в Америке, истории русской эмиграции в Китае и Америке. Скончался 18 августа 2000 г. в Рокквилле (шт. Мэриленд).

Ист. и лит.:

Александров Е.А. Русские в Северной Америке: Биографический словарь. Хэмден – Сан-Франциско – Санкт-Петербург, 2005. С. 393.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 238-239.

РАССТРЕЛ

Ранним теплым майским утром, когда уже закипела деловая жизнь города, широко раскинувшегося в центре Маньчжурии, когда уже стали замолкать громкие возгласы китайцев-продавцов овощей, птицы, рыбы и всякой снеди, когда жаркое маньчжурское солнце уже стало забираться в вышину, начался тихий, безмятежный день провинциального города, полный обыденными заботами, беготней, работой, меня неожиданно резко полоснули по сердцу внезапно раздавшиеся звуки военной трубы – слишком знакомые звуки для каждого маньчжурского старожила.

Труба резко и в то же время заунывно выводила медлительную, тягучую, непритязательную китайскую мелодию, мелодию смерти…

– Кого-то везут на казнь!..

Содрогнулся от ужаса. Как можно в такой день, полный весеннего очарования, аромата цветущих деревьев и ярких солнечных лучей – кого-то убивать, расстреливать?..

А труба все ближе и ближе, все громче раздаются ее тоскливые звуки, как необыкновенно чутко подобрали китайцы эту мелодию смерти, в которой, казалось, изливался весь ужас души приговоренного, жить которому осталось несколько мгновений и который через несколько минут будет трупом. Или же гениальный музыкант, создавший эту мелодию, намеренно излил в ней всю тоску человека, ожидающего смерти, чтобы в

самый последний миг, в предсмертный час душа закоренелого преступника-хунхуза, хладнокровно, без содрогания убивавшего свою жертву, в этот миг могла проснуться и содрогнуться от всего им содеянного.

Во всяком случае, эти звуки трубы всегда производили на меня неизгладимое впечатление, оставляли глубокий след…

Вышел на улицу…

Толпа китайцев с жадным любопытством смотрит в сторону приближающегося кортежа, но это любопытство – не жадное сострадательное внимание или, наоборот, злорадство европейского зрителя, в глазах которого можно видеть его чувства, а простое любопытство постороннего человека, пришедшего посмотреть на интересное зрелище, театральное представление. Куда не кинешь взор, кругом одни и те же лица – сплошная безразличная маска любопытных зрителей.

Кортеж медленно приближается. По обеим сторонам улицы цепочкой у тротуаров едут конные китайские солдаты с винтовками за плечами, впереди два горниста по очереди выводят беспрерывную мелодию.

Между рядами солдат видна тяжелая китайская арба на громадных колесах, поскрипывающих в унисон трубам горнистов, на которой сидят два хунхуза – два живых трупа.

Руки крепко стянуты позади веревками. Между спиной и связанными руками поднимается над головой доска, на которой выведены иероглифами все преступления хунхуза. Толпа с любопытством читает надписи.

Медленно ползет, поскрипывая, старая страшная арба; медленно, сурово, молчаливо движутся серые тени солдат на маленьких мохнатых китайских лошадках; медленно, шаркая мягкой китайской обувью по горячим камням мостовой, движется за кортежем смерти молчаливая толпа.

Процессия вытягивается на главную улицу города. Заунывные ноты труб смерти вдруг заглушаются праздничным перезвоном колоколов городского собора, где идет воскресное богослужение. Русская публика в белых майских нарядах, веселая, оживленная, в праздничном настроении торопящаяся в собор, в недоумении оглядывается на процессию; лица, только что искрившиеся весельем и отражавшие на себе безмятежную глубину неба, на фоне которого пылает золоченый крест собора, вдруг меняют выражение. Девушки, только что весело смеявшиеся чему-то, испуганно останавливаются, провожая взглядом налившихся слезами глаз двух осужденных. Их взгляды, казалось, говорили: «Как можно в такой день, как можно в такую погоду кого-то убивать, кого-то везти на казнь?!» Точно убивать можно только в пасмурный день или глухую ночь…

Некоторые из тех, кто только что весело торопился в собор, поворачивают обратно, следуют за кортежем. Толпа растет… К тому времени, когда процессия приблизилась к окраине города, к месту, носящему странное название «Подол», зрителей насчитывались уже сотни.

Тихо, замолкли трубы, еще несколько минут, арба спустится вниз с обрыва, к «Подолу»… несколько мгновений, и все будет кончено.

Китайцы рассаживаются на зеленой траве холма, как на трибунах Колизея… Арба со скрипом ползет вниз. Оба хунхуза, казалось, безучастно относившиеся к своей судьбе, точно проснулись. Первым, подавшим признаки жизни, был старик с голой бритой головой, глубоко запавшими глазами, сидевший до этого с опущенной головой, погруженный в какие-то свои мысли.

Старик вдруг встрепенулся, окинул толпу взглядом своих острых глаз, мертвенно-бледное лицо несколько оживилось. Во взгляде, которым он окинул всех нас, любопытных, я увидел – нет, не страх, не ужас смерти, не ожидание неизбежного, нет, – а какую-то жгучую невыносимую ненависть ко всем нам, остающимся жить, ко всему миру, ко всему, – что мне стало не по себе.

Старик судорожно раскрыл рот, отчего натянулись на шее старческие жилы и резко выступил кадык, раскрыл рот таким движением, каким разевает клюв ястреб, и вдруг из его рта полилась такая грязная похабная ругань, какую трудно было вообразить.

Я оглянулся на китайцев. Ругань на толпу не подействовала. Видно, им не привыкать смотреть на казни, так же как не привыкать выслушивать последнюю предсмертную брань осужденных. Лица также бесстрастны, и только когда старик изощряется в особенно сильных выражениях, в глазах некоторых я мог подметить чуть промелькнувшую искорку удовольствия…

Брань старика разбудила его «коллегу». Этот совсем юнец, не старше двадцати лет. Давно ли он бегал где-нибудь на задворках своей деревушки голышом, гоняясь за черными свиньями, или барахтался в мутной воде деревенской речушки со своими сверстниками?! Видел ли он жизнь? Что заставило его присоединиться к братству рыцарей сопок и тайги? Что ему нужно было у хунхузов? Может быть, он мог бы рассказать о себе многое, может быть, нужда, отчаяние, еще что-нибудь заставили юнца бежать из родной деревни! Кто знает!

Грабежи, убийства, звериная жизнь, и вот – финал, расплата, конец человека, в сущности, еще не жившего.

Молодой, сидевший до этого недвижно, с полузакрытыми глазами, бледно-желтым лицом, также встрепенулся, проснулся от своей летаргии, бросил тоскливый взгляд на бархатную зелень весенней травки, ужас исказил его лицо, но в один момент он страшным усилием воли взял себя в

руки, также яростно посмотрел на толпу и, присоединившись к старику, начал выкрикивать грязную брань…

Еще несколько секунд, и арба медленно остановилась. Стало тихо… замолчали и хунхузы… Издали уже не видно выражения их лиц, но в эту минуту они, должно быть, поняли, что их бравада излишня, что она ни к чему, что все их напускное спокойствие, что все их крики и брань, – только развлечение для толпы, а им не все ли равно, смело ли, бесстрашно ли они переступят порог небытия или же не выдержат, выдадут свой ужас перед неминуемой смертью… Не все ли равно, что думает о них сейчас вся эта толпа, все это многоголовое любопытное чудовище, не все ли равно для тех, кто через несколько минут не будет видеть ни солнца, ни зеленой травы, ни голубого неба, ничего, кто будет трупом.

Солдаты сняли хунхузов с арбы, провели несколько шагов. Группа остановилась. Перед ними – два массивных, крепких китайских гроба. Крышки гробов откинуты в сторону, и хунхузам ясно видны днища двух свежевыструганных гробов – куда будут положены их тела…

Грубым толчком солдаты заставили обоих приговоренных опуститься на колени, руки по-прежнему связаны за спиной…

Все отходят в сторону. Тихо отделяются от группы солдат двое, останавливаются в десяти шагах позади обеих коленопреклоненных фигур. Медленно поднимаются винтовки. Офицер махнул рукой, и резко, точно удары бича, хлестнули воздух два выстрела, один за другим…

Толпа глухо ахнула… Фигурки даже не пошевельнулись. В десяти шагах и не попасть в людей!..

Оба палача подошли ближе…

Что в это мгновение промелькнуло в мыслях хунхузов? Может быть, в них зародилась надежда, что они помилованы и что этими выстрелами их хотели только устрашить? Может быть, сейчас их повезут обратно в тюрьму?

Палачи подошли вплотную. Дула винтовок подняты почти в упор, в затылки. Вновь поднял руку офицер…

Грохнули одновременно два выстрела, и один за другим хунхузы ткнулись лицами в землю.

Две жизни прервались…

10 мая 1936 года. Кантон.

Опубликовано: Петров В. В Маньчжурии. Шанхай, 1937.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 7. С. 282-287.

20 ЛЕТ НАЗАД…

Приближаются новогодние и рождественские праздники, и мне почему-то вспомнилось Рождество 1914 года, а затем через несколько дней и встреча Нового 1915 года…

Шутка ли!.. А прошло ведь ровно 20 лет с тех пор.

Кажется, давно ли это было? Так ведь недавно… Неужели 20 лет?!

Почему у меня в памяти так крепко задержалось именно это Рождество и эта встреча Нового года, тогда как более поздние празднования совершенно улетучились из памяти? – трудно сказать. А ведь я тогда был совсем малыш, учился всего только второй год и едва-едва научился читать без запинки.

Вероятно, это Рождество удержалось в памяти, потому что тогда впервые, насколько я себя помню, я отправился в «дальнее» путешествие с братом из Харбина, погостить к бабушке на станцию Пограничная, находящуюся на границе между Россией и Маньчжурией и бывшую тогда чудным, захолустным, полу-русским, полу-китайским местечком.

Захолустьем, провинцией был тогда наш край – молодая благодатная Маньчжурия, медвежий уголок, где привольно жилось русскому населению, русским служащим различных официальных учреждений и железной дороги, знаменитой Китайско-восточной железной дороги, название которой в последнее время не сходило со страниц газет всего мира.

Крепок суровый маньчжурский предрождественский мороз, пощелкивает заиндевевшими деревьями, приятно пробежаться по морозцу по перрону небольшой станции, пока стоит поезд на пути на Пограничную, стоящую от Харбина недалеко, по нашим понятиям, всего около 1000 километров, а по европейским понятиям ведь это громадное расстояние.

Свистнет паровоз, лязгнет поезд буферами вагонов, плавно тронется с места… На ходу заскочишь на подножку вагона, зайдешь внутрь, где встречает уютная теплота жарко натопленных пульмановских вагонов.

Публики немного… Купе почти свободно. Устроишься поудобнее на мягком сиденьи… Возьмешь книгу… Плавный ход поезда незаметно укачивает в сумерках наступающей ночи, и через несколько минут ты уже спишь, не замечая, как быстрый маньчжурский «Почтовый № 4» мчится по самым красивым местам Маньчжурии, по лесистым и горным районам, по малозаселенной местности, где изредка только можно увидеть крестьянскую фанзу или хутор и где скорее можно встретить бродячие хунхузские шайки, подкармливающиеся у этих редких крестьянских

селений.

Тот, кто бывал в этих местах, тот никогда не забудет путешествия по восточной линии «Китайской Восточной», не забудет одних названий станций, как Шитоухэцзы, Гаолинцзы, Ханьдаохэцзы, Шаньши, Хайлин, Муданьцзян, Тайпинлин, Даймагоу и другие, каждая из которых сразу же вызывает в памяти чудные картинки этих станций, имеющих общий маньчжурский лесисто-гористый колорит и в то же время имеющих каждая свою оригинальную особенность.

Одно название – Шитоухэцзы сразу же вызывает в памяти большие зеленые горы, лесные концессии, леса; а за станцией – дальше в направлении Пограничной – живописный железнодорожный путь, один из красивейших на дороге, который может сравниться только со знаменитой Хинганской петлей на западной линии.

Затем Гаолинцзы, известная обилием хунхузских шаек, буквально терроризировавших этот район; живописна станция Тайпинлин, заброшенная на перевал, откуда поезд мчится под уклон как бешеный, с трудом сдерживаясь на всех тормозах; Даймагоу со своими туннелями – нет, трудно найти такую красоту где-нибудь еще в мире.

* * *

Пограничная мне сразу же понравилась своим большим красивым вокзалом, к которому нужно подниматься высоко по ступеням, вокзал много лучше харбинского, к стыду столицы Маньчжурии.

Улицы покрыты мягким белым снегом, кое-где протоптаны тропинки, солнце слепит глаза, отражаясь от белой пелены снежного покрова.

Движения по улицам никакого, извозчиков нет, да им и невозможно подниматься на крутые горы, по которым разбросана станция; здесь можно ходить только пешком.

Прибыли мы с братом как раз накануне Рождества, в самый Сочельник. Под вечер улицы оживились «народом», в кавычках, конечно, потому что на обычно пустынных улицах показались отдельные фигуры, человек пять-шесть, вот и весь народ.

Это позже уже в последние годы станция стала кипеть, превратилась в большой город, наполнилась темным элементом, контрабандистами, благодаря близости к границе; тогда же это было тихое местечко, где каждый знал всех жителей станции, где все были знакомы между собою и дружны, когда не было еще двух лагерей – красных и белых.

Шумно и весело прошли рождественские праздники, беспрерывные визиты по домам приятелей, а главное – это катания на салазках по улицам городка. Заберешься с ватагой ребятишек на вершину горы и оттуда по оледеневшим улицам мчишься вниз до самого вокзала.

Часто сцеплялись целым поездом по десятку салазок и так носились целый день, наполняя улицы городка шумом и гамом.

Самым же интересным развлечением для нас были экскурсии за город в район китайского базара, где в эти дни происходили казни китайских бандитов-хунхузов, захваченных как раз перед Рождеством.

Эти казни были для нас самым веселым и приятным рождественским развлечением и удовольствием, особенно же нас восхищала «чистая» работа громадного китайца-гиганта палача, который одним взмахом тяжелого широкого китайского меча отхватывал голову бандита (оригинальное развлечение для молодежи!!!)

Вокруг площади обычно задолго выстраивалась терпеливая китайская толпа, падкая на подобные публичные зрелища. Тут же в толпе и мы, десяток мальчишек.

Терпеливо ждем… Наконец вдали раздаются печальные напевы кавалерийских труб. Это конные трубачи провожают в последний земной путь осужденных хунхузов. Везут десять человек. Все со связанными позади руками, с длинной доской за спиной, на которой крупными иероглифами описаны все преступления осужденного. Сидят по двое на одной арбе. Далеко по морозному воздуху разносятся их ругательства, выкрикиваемые в последний раз своим палачам, которые не могут заглушить даже трубы.

Никто их не останавливает. Такова традиция. Большинство из осужденных пьяны. На пути на лобное место они приказывают останавливать арбу почти у каждого магазина, из которого выносят им по чашке крепкого алкогольного напитка – ханы.

Наконец путь кончен. Осужденных снимают с арбы. Большинство твердо держатся на ногах, с презрением относясь к смерти, редко у кого побледнело лицо, когда они увидели перед собой ряд тяжелых китайских гробов, приготовленных уже для них. У одного подкашиваются колени, может быть, от ужаса перед видом этих гробов, в один из которых ему придется лечь через несколько минут на вечные времена, а может быть, просто от чрезмерного потребления ханы… Трудно сказать, его лицо ничто не выражает.

Хунхузов по очереди солдаты подводят к палачу, тот уверенно толчком бросает свою жертву на колени, захватывает косу, перекидывает ее вперед, открывая шею, оставляя в таком положении. Затем берет свой тяжелый меч, взлетает на воздух блестящая сталь… тяжело, по-мясницки ухает палач и молодецким ударом специалиста он, как бритвой, отделяет голову от туловища… Земля заливается кровью, моментально замерзающей на морозе, туловище валится вперед, а голова откатывается в сторону.

Подводят вторую жертву, и с каждым мастерским ударом палача толпа удовлетворенно в один голос издает дружный возглас одобрения:

«Хо!!!»

Закончено представление, обезглавленные тела буднично, привычно укладываются солдатами в приготовленные гробы, дальше уже не интересно, и мы отправляемся по домам.

На следующий день – повторение представления, новая партия казненных и так – три дня. Впечатлений масса!!!

Закончились, наконец, рождественские праздники, приближается Новый год. Мы дома деятельно готовимся к этому торжеству, которое для нас интереснее и веселее, чем рождественские праздники, так как в новогодний вечер мы, по установившейся китайской традиции, встречаем обычно «новорожденного» грохотом громадных двухзарядных китайских ракет.

Тем, кто жил в России, этот обычай покажется непонятным и диким, но мы, родившиеся в Китае и сроднившиеся с его обычаями, наблюдавшие, как торжественно целый месяц китайцы празднуют свой Новый год обязательно грохотом ракет, мы также привыкли встречать свой праздник именно ракетами, без которых встреча Нового года, как бы торжественно она не обставлялась, казалась будничной.

В Харбине обычно под Новый год, когда в соборе служился молебен, мы собирались перед собором и, как только раздавался радостный перезвон колоколов, поджигали фитили ракет, те взвивались в воздух со страшным грохотом и там давали второй взрыв, потрясавший воздух, затем опять и опять.

Гул становился неимоверным.

На Пограничной мы с братом решили поддержать эту традицию и, накупив больших и маленьких ракет, заранее явились со своими приятелями к церкви, где в это время уже шло богослужение.

Только раздались звуки колоколов, публика повалила из церкви, как у нас началась потеха. Загрохотали пулеметом связки маленьких ракет, орудийными взрывами покрыли тишину ночи залпы двухзарядных ракет.

Перепуганная публика шарахнулась в сторону, но потом присоединилась к нам, принесли еще ракет, и в течение получаса по всей станции стоял такой шум и грохот, что все станционные собаки охрипли от испуганного лая.

Через несколько дней, в Крещенский вечер, мы все собрались в доме бабушки и решили заняться гаданием. Решили гадать особенно серьезным способом, перед зеркалом, по бокам которого зажжены свечи.

Садятся гадальщики по очереди перед зеркалом в пустой комнатушке, смотрят в стакан с водой, на дне которого лежит золотое кольцо, напряженно смотрят, но не думаю, что они что-либо видели там, хотя наши девушки утверждают, что видели в кольце своих суженых. Не могу судить, насколько это верно, но когда я сел перед зеркалом и стал

смотреть в стакан, то сколько я не напрягал своего зрения, сколько не щурился, а ничего там не увидел.

Последней села с трепетом и страхом прислуга бабушки, 15-летняя Фекла, глупая, недалекая девчонка, искренне верившая во все эти гадания.

Прикрыла двери и удалилась… Долго мы ее ждали, кричать не хотели, чтобы ее не потревожить. Я осторожно подкрался к двери, тихонько приоткрыл ее и увидел, что она сосредоточенно смотрит в стакан.

– Смотрит! – тихо шепнул я другим.

Вдруг мне в голову пришла шальная мысль. Я потихоньку вытащил из кармана маленькую китайскую ракету, чиркнул спичкой, поджег фитилек и бросил ракету в комнату, угодив прямо в стакан с водой.

Ракета разорвалась как раз над водой. Феклуша в ужасе отшатнулась, думая, что какая-то нечистая сила вырвалась из стакана. Раздался душераздирающий крик, и она с грохотом, потеряв сознание, повалилась со стула на пол.

Я, перепугавшись, выскочил на улицу; все бросились на помощь к Феклуше. Долго с нею отваживались, пока она не пришла в себя.

Мне, конечно, крепко влетело, и у меня надолго отбило охоту повторять подобные шутки.

Фекла так до самого моего отъезда из Пограничной не разговаривала со мною…

Кончились, наконец, рождественские праздники, отгуляли Крещенье, нужно возвращаться в Харбин. Уже начались занятия в школе.

Не хочется покидать так понравившуюся станцию, но и домой тянет. Как-то в Харбине сейчас? Быстро собираемся. Опять на поезд. «Почтовый № 3» мчит нас по маньчжурским лесам и горам, ближе к Харбину – домой!

Декабрь 1937 г. Шанхай.

Опубликовано: Петров В. В Маньчжурии. Шанхай, 1937.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 7. С. 276-282.

В ЗАДУМЧИВОМ ПАРКЕ

Получил письмо… Приятель пишет из родного медвежьего уголка Маньчжурии.

– Ты себе не можешь представить все то очарование, которым проникнут ваш Умхский «задумчивый» сад… Все кругом бело от массы бесчисленных цветущих деревьев. Как нарочно, в этот первый год, когда ваша семья не приехала на дачу, зацвел весь сад, слегка запущенный

теперь, но такой красивый!.. Цветут сирень, груши, яблони, сливы и черемуха. Далеко-далеко по всему станционному поселку разносится благоухание из вашего сада. Ведь знаешь, на всей станции ваш сад остался единственным местом, куда можно пойти и отдохнуть, а также и… помечтать. Может быть, эти слова у тебя и вызовут усмешку, но ведь я же молод… а тут весна разошлась вовсю…

«Задумчивый сад»… как тонко он подметил, дал определение нашему большому, когда-то шумному и веселому, а теперь запущенному и заброшенному саду. Вернее, нужно его назвать парком, а не садом, хотя бы потому, что он занимает целую десятину леса нашего дачного имения на одной из железнодорожных станций в Маньчжурии, в 130 верстах от Харбина.

Парк в 1920 году был отрезан для нас из дикого леса прямо на глаз без всякого обмера, и границей ему, с одной стороны, служила небольшая горная речка, а с другой, – заброшенная насыпь полотна железной дороги.

Впереди ближе к станции был расчищен клочок земли, быстро построен дом, поставили различные хозяйственные постройки, а все остальное так и было оставлено под диким девственным лесом.

С каждым годом мы все больше и больше старались расчистить парк. Так и здесь появились прямые стрелы аллей и узкие, искривленные, зигзагообразные тропинки, по которым так хорошо было прогуляться вечерком по границе парка вдоль речки…

Каждое лето дача и парк наполнялись шумом молодых голосов, наезжали ватаги молодежи. Всегда там жило несколько семей, размещавшихся по всему дому, большой застекленной веранде, чердаках и сараях.

По утрам с 5 часов дом закипает оживлением. Быстро все поднимаются, торопятся на реку, бегом через весь парк, принять утреннюю студеную ванну в реке, а там… чай на свежем воздухе при первых лучах солнца, пробившегося через листву деревьев…

Днем – бесконечные купания, экскурсии в лес за цветами, позже – за спелой черемухой, пикники; под вечер – крокет, волейбол и, наконец, вечером – разные игры, гулянья и танцы под собственный импровизированный струнный оркестр.

С каждым годом станционные служащие меняются, уезжают одни, приезжают другие, но наш дом и время не берет – все по-старому.

Правда, с каждым годом все становятся более взрослыми, появляются другие развлечения, но жизнь все также кипит, бьет ключом, и, как стемнело, смотришь, – со станции, потянулись группы знакомых железнодорожников к нашему саду, откуда раздаются звуки струнного оркестра или пение.

Вся эта жизнь, несмотря на невзгоды последних лет, продолжалась до

1933 года…

После этого дом затих, посерел; парк умолк, также притих, и даже веселые певчие птицы и те как-то настроились на грустный лад.

Хунхузы – этот бич Маньчжурии, заставили, наконец, покинуть свою усадьбу.

Дом брошен, все оставлено на произвол судьбы и хунхузов… Изредка по комнатам пройдется, снимая паутину, древний Лю Цимо, но он так стар, что с трудом передвигает ноги, чаще сидит у себя на огороде или копается на грядках, и дом принимает все более и более запущенный вид.

Конечно, в парке нет столетней липы, навевающей воспоминания о прошедших десятилетиях, нет изящных скульптурных украшений, нет ничего того, чем гордятся обычно владельцы старых родовых усадеб и поместий там, в России, – нет, хотя бы и потому, что три с половиной десятка лет тому назад здесь только впервые проложили ленточку железной дороги, впервые только эти леса увидели человека, и этим человеком был русский пионер – русский инженер и строитель, смело боровшийся с лишениями, смело пробивавшийся через леса и горы Маньчжурии, чтобы провести здесь первый рельсовый путь.

Я никогда не был в России, я не видел красот моей родины, и поэтому мне кажется, что лучше и красивее моей родной Маньчжурии нет страны в мире, нет ничего красивее блестящей ленточки полотна дороги, пробивающейся через стройные кедровые или березовые леса, пролетающей через быстрые горные речушки, выбивающиеся между взгромоздившихся сопок…

А разве можно забыть чистенькие станционные поселки, окруженные массой зелени, садов и окруженные высокими горами, покрытыми лесом… Верно, что сейчас уже многое из этих красот ушло в область былого, леса порублены, выкорчеваны, и на месте их появились китайские поля, китайские огороды, но все же еще кое-где осталась прежняя красота маньчжурской природы…

Нам парк дорог по воспоминаниям своего детства и затем уже по воспоминаниям более позднего времени, когда даже будучи на службе каждый из нас, тем не менее, пользовался каждой свободной парой дней, чтобы побывать на своей даче, побродить по парку, почистить и прополоть где нужно травку, покупаться на реке, а то и поохотиться.

Тогда дом и парк были полны веселья и шума, теперь же парк действительно принял «задумчивый» вид, да и как ему не задуматься, не вспоминать бурного, шумного десятилетия.

Прошелестит по прошлогодней, осыпавшейся, никем не прибранной листве шустрый воробей, прочирикает что-то согнувшейся под тяжестью лет древней черемухе, поникшей над самой речкой.

Ствол черемухи уже давно причудливо искривился, раздался в стороны, ягоды на ней почти не бывает, очень мало, но зато самая крупная

и самая вкусная.

Рядом цветущая сирень и яблони сочувственно кивают верхушками своих веток в праздничном весеннем наряде и также чутко прислушиваются, не раздастся ли вновь взрыв смеха, не кинется ли врассыпную молодежь, играющая в прятки, не промчится ли кто на велосипеде по причудливым аллеям.

Нет… изредка появится старый сторож «караулка» Лю Цимо, вытащит острый топорик и… р-раз… звонко ударит острием по стволу какого-нибудь дерева.

Будь это вяз или яблоня, клен или черемуха, ему все равно – за ягодой на дерево ему не забраться, все равно все попадает, осыплется. А ему нужно топливо.

Парк большой. Топлива хватит надолго, до конца дней старого Лю Цимо… Все меньше и меньше становится самых больших и крупных деревьев…

* * *

Самым шумным и веселым был первый год, когда мы только что обосновались на лето на этой даче.

Все как-то ново для нас, горожан. Все – интересно и занимательно. Целые дни пропадаем на воздухе, на солнце, на реке…

Часто всей станцией, человек в 25, отправляемся на реку Майхэ за три версты от станции со специальной целью – собирать черемуху.

Бредем по лесу узкой тропкой один за другим. У каждого в руках корзина или две, которые обратно уже несем наполненными ягодой.

Способ же собирания черемухи у нас был довольно варварский и оправдывался только обилием леса…

Подходим к берегу реки Майхэ, где можно остановиться пикником, выбираем самое большое черемуховое дерево со сладкой ягодой, быстро топором дерево валится на землю, каждый отламывает себе по громадной ветви, и начинается очистка дерева от ягоды, каждый в свою корзину.

В шутках, прибаутках работа быстро продвигается вперед, а там и полдень, нужно готовить обед, купаться, играть.

Затем еще час-полтора по очищению срубленного дерева от ягоды и – в обратный путь.

* * *

В тот год впервые я стал самостоятельно ходить на охоту с настоящим охотничьим ружьем.

Мне только что исполнилось 13 лет…

Помню, в первый раз я отправился на охоту с Павлом, который старше меня только на год, но уже имеет большой охотничий стаж.

Разве можно забыть этот первый охотничий восторг, это чувство, когда держишь в руках ружье со взведенным курком и медленно, прячась за деревьями, крадешься к какому-нибудь лесному озерку, с которого вдруг шумно срывается стайка громадных «кряковых» уток.

Первым же выстрелом, сделанным мною, я убил утку влет. Как я нажал курок, до сих пор не помню. Знаю только, что направил ствол ружья куда-то в сторону летевшей ватаги уток… грохнул выстрел, больно отдалось в плече… Смотрю… одна из уток вдруг оторвалась от стайки и со свистом грохнулась вниз.

Собака, до этого с презрением смотревшая на меня (что, дескать, за охотник), на то, как я нерешительно несколько раз вскидывал ружье и затем опускал, боясь нажать собачку, на этот раз с радостным видом кинулась в густую осоку, откуда в момент извлекла убитую утку.

Я торжественно подвесил ее на удавок у пояса – свою первую и единственную жертву за этот день.

Павел, вынырнувший из леса на выстрел, с завистью посмотрел на мою громадную «крякву», ему еще не удалось ничего подстрелить…

Все же под вечер он убил пару «крякв», и мы оба, довольные, направились в обратный путь.

Солнце уже успело скрыться за горизонтом, озолотив верхушки деревьев, сразу же с реки и озер потянуло прохладой.

– А ну, поскорее обратно, а то будешь здесь в темноте искать тропы, заплутаешься только, – заторопил меня Павел.

Лес почернел, притаился громадными тенями, группы деревьев в наступившей ночной темноте стали принимать причудливые формы… стало как-то не по себе… ведь мне еще ни разу не приходилось бывать в лесу ночью… только присутствие уверенного в себе, крепкого Павла, выглядевшего много старше своих лет, придало и мне твердости и спокойствия.

Павел уверенно отыскивал в темноте леса путь, и вскоре мы оказались на насыпи полотна дороги.

Здесь мы уже почти дома. Осталось две версты по шпалам, но это путь ровный, прямой, и время проходит обычно быстро.

Луны нет, но звезды особенно ярки, лучисто искрятся мириадами точек – здесь на открытом воздухе я только впервые познал всю красоту летней ночи, всю прелесть звездного неба.

Тихо-тихо стали оживать рельсы, что-то неясное, отдаленное заставило их чуть-чуть вибрировать… Вскоре послышался звук приближающегося громадного огненного чудовища… Рельсы сразу застрекотали все громче и громче, и, наконец, из-за поворота появились огненные глаза современного дракона, из яркой пасти которого беспрерывно вырываются снопы искр.

Дачный поезд шумно промчался мимо нас, с грохотом проскрежетал

тяжелыми колесами паровоз – «Г. 675» – успел прочесть я; за ним, методично отстрочив свой темп на стыках рельс, пронеслись вагоны… Замер вдали шум ушедшего поезда, и опять все тихо.

Замелькали впереди огоньки станции – мы дома.

Мое возвращение домой оказалось сплошным триумфом. Убить утку влет на первой охоте – не шутка.

Один отец скептически, с лукавым огоньком в глазах, осторожно пощупал утку, нарочито брезгливо преподнес ее к носу…

– С душком?!! Попахивает малость!!? Сознавайся, где ее достал? Купил на базаре или собака разыскала дохлую утку где-нибудь в кустах?!!

Однажды, втроем – Павел, я и старший брат Андрей решили пойти на ночевку охотиться на… диких коз.

В то время в лесу и днем нередко можно было встретить стройную козулю, которая, увидев охотника, моментально скрывалась в чаще, взметнув своим белым пушистым бугорком – хвостиком, ярко выделяющимся на ее темном желто-буром теле.

Ночью же они целыми стадами идут на водопой на реку Майхэ.

Бояться им нечего, людей нет, зверья дикого никакого. Медведи и кабаны уже повывелись, тигры попереселились подальше вглубь тайги, а лисиц им бояться нечего.

Дробовых ружей оказалось только два – ими вооружились Павел и Андрей, а мне вручили военную винтовку – трехлинейку.

– Что тебе стрелять по уткам, эта дичь слишком мелкая для тебя. Лупи из винтовки прямо по козам, – смеются оба.

Быстро снарядились, патронташи и сумки через плечо… шагом марш.

– Ну, ребята, – говорит Павел, наш главный следопыт, – нужно, пока светло, добраться до Майхэ, найти козулинный водопой, да и самим устроить хорошую незаметную засаду, откуда можно будет стрелять по козам…

– Пошли!..

Быстро вышагиваем по знакомой дороге… две с лишним версты по полотну железной дороги, а там… влево, по узкой тропе, прямо в лес.

Мне даже не верится, что я сегодня не буду спать дома в удобной постели, а где-то далеко от дома, в лесу – среди зверей, птиц и… страшных хунхузов, встреча с которыми страшнее встречи с царем сопок – маньчжурским тигром.

Идешь, а в голове уже гордые мысли, как завтра мы вернемся домой с тушами убитых коз…

Не замечаешь, как ноги начинают хлюпать по болотистой воде, и только после того, как низко нависшие ветви деревьев несколько раз больно хлестнут по лицу, вспомнишь, где находишься и куда идешь.

Начинает смеркаться.

– Прибавь шагу, ребята! – подбодряет нас Павел. – Уже недалеко!

Пробираемся через высокие травы, камыши в низких местах; камыши намного выше роста человека, выбираемся опять в лес через поваленные бурями деревья, поломанные сучья, пока наконец перед глазами не появляется река, почти у самых ног.

Лес настолько густой, что реку видишь только в самый последний момент.

Река не слишком широка, саженей 20, но очень быстрая, в некоторых местах глубокая, с опасными водоворотами.

– Что же, давайте выбирать место водопоя коз, – предлагает Павел.

Прошлись по берегу.

– Я думаю, что здесь будет хорошо, – указал он на высокий берег в довольно узком изгибе реки, на другой стороне которой раскинулась широкая песчаная коса.

– Если мы спрячемся на этой стороне, нам хорошо будет видно все, что творится на той косе, и, как только козы появятся на водопое, мы их и встретим хорошими зарядами.

– Не мешало бы нам перейти вброд на ту сторону и посмотреть, есть ли там следы коз, может быть, просидим здесь напрасно и не дождемся ничего, – заметил Андрей.

– И то правда.

Нашли брод, перебрались на другой берег по пояс в воде.

– Смотри-ка, сколько здесь следов, – кричит Павел. – Больше чем можно было предполагать. И как удобно, как раз против нашего лагеря. Видны будут на песке, как на ладони. И ветерок хорош, тянет в нашу сторону, так что козы нас никак не учуют. Придется, кажется, завтра нам нанимать целую арбу везти свою добычу.

– Ну-ну! Обрадовался. Не считай раньше времени. Знаешь, говорят: «Цыплят по осени считают».

– А ну скорее обратно, а то скоро стемнеет!

Быстро вернулись в свой лагерь, расположились по-домашнему. Расчистили удобное место для наблюдения за песчаным берегом, натащили валежника для костра.

– Ты, Виктор, посиди пока здесь, покарауль наш лагерь, а мы с Павлом пройдемся на озерки, может, пару уток подстрелим. Вставь на всякий случай обойму в винтовку, если что случится, пали все пять патронов, один за другим.

Не прошло пятнадцати минут после их ухода, как с озерка раздались два выстрела, и над моей головой пронесся испуганный табунок уток. Я по привычке вскинул к плечу винтовку, так и хотелось спустить курок, но удержался – не стрелять же по уткам пулей из винтовки.

Раздались еще выстрелы. Со всех сторон стали носиться спугнутые

неожиданной напастью утки. Почти совсем стемнело. Уток уже не видно, но еще долго слышно звонкое хлопанье их крыльев. Наконец все затихло.

Выстрелы также прекратились.

Ночь властно охватила своими объятиями замерший было лес, и с ее покровом стали пробиваться сквозь тишину особые незнакомые мне и жуткие звуки ночи, звуки ночной жизни леса.

Становится страшно одному.

– Почему они не идут?! Может быть, попали в руки хунхузов?!

Напряженно вслушиваюсь в шепот ночи. Боюсь оглянуться назад в мрачную, темную стену леса, откуда выглядывают страшные рожи призраков ночи. Малейший звук, шорох заставляет меня вздрагивать и судорожно хвататься за винтовку. Неожиданный всплеск воды в реке, и я замираю от ужаса.

Сижу, как на иголках.

Вдруг рядом что-то зашелестело, медленно поползло в сторону.

– Змея!.. – ужасом мелькнуло в мозгу.

Я весь похолодел. Боюсь двинуться, чтобы не выдать своего присутствия. Шорох затих!

– Господи, что же это! Да тут умрешь от страха. Где же Павел и Андрей?!!

Наконец настороженное ухо услышало голоса, смех…

Сразу отлегло от сердца…

– Эй, Виктор! Ты жив?!! – послышались голоса.

– Жив! – слабым, дрожащим голосом отозвался я. – Где вы пропадали?

– Да были на озере, у самой сопки, – подошли оба они ко мне, – видели много уток, но ничего не убили, слишком уже темно стало.

– Ну что же, можно раскладывать костер, козы придут на водопой только под утро, – авторитетным голосом заявляет Павел, – а сейчас мы сможем спокойно посидеть при костре, вскипятить чаек, закусить.

Затрещал сухой валежник, вскинулось высоко кверху яркое пламя – сразу стало веселее и как-то спокойнее, точно огонь давал защиту.

Костер разгорелся еще больше, кругом закружились комары, пришлось пламя закидать сверху сырыми сучьями с травой – пошел густой дым, лучшее средство от начавших атаковать нас комаров.

Сбоку на огне пристроили чайничек с речной водой, слегка отдающей тиной. Этот-то запах да еще примешавшийся к нему запах дыма и придавали чаю у костра тот аромат, ту прелесть, о которой можно только мечтать и которую знают только охотники и рыболовы.

Брызнула через край вскипевшая вода на костер, чайник забурлил…

– Готов!.. Вскипел!.. – обрадовались все трое.

– Доставай закуску!

Из охотничьих мешков появились яйца вкрутую, колбаса, мясо. Все это, густо осыпанное солью, уничтожалось с невероятной быстротой.

– Ничего себе, аппетитец у нас на свежем-то воздухе. Завтра утром и закусить нечем, – смеется Павел.

Время идет. Незаметно в шутках, разговорах время перевалило за полночь.

Костер все ярче и ярче. Топлива много, не жалко.

– А ведь скоро, пожалуй, и коз нужно караулить!

– Вот беда, луны-то нет. Смотри, темень какая. На той стороне ничего не видно. Кажется, прогадали мы. Нужно было на той стороне устроить засаду, а то здесь так и просидим ночь, ничего не увидим…

Вглядываемся в противоположный берег. Ничего не видно.

– Как же это так? Охотнички? Луны-то ведь нет сегодня. Ловко мы все же сегодня просчитались.

– Ничего, может быть, под утро луна появится.

Луна по какой-то неведомой для нас причине в эту ночь так и не показалась…

Давно уже перевалило за полночь, несколько раз приходилось подбрасывать в костер все новые груды валежника… глаза с непривычки стали слипаться, потянуло ко сну… голова клонится на грудь…

Вдруг… с другого берега… так близко, точно где-то совсем рядом, неожиданно раздался тяжелый, мучительный, надрывный крик…

– О-о-ой!!!

Мы в ужасе примолкли. Что это?! Крик болью отозвался в сердце каждого из нас. Невозможно описать всю ту муку, всю боль и ужас, который послышался нам в этом мучительном стоне, далеко разнесшемся по поверхности реки.

В этот момент опять…

– О-ой!!! – раздался надрывный стон.

– Хунхузы! – разом пришло нам в голову. – Наверное, мучают кого-нибудь из пленников!

В момент разбросали костер, покидали горящие головни в реку, и сразу стало темно. Ничего не видно. Темень, хоть глаз выколи.

Сидим, не шелохнемся.

Не помню, сколько времени так сидели.

Все стихло. Больше ни звука. Только беспрерывный шорох речных вод, торопящихся вперед, нарушал покой ночи.

Стоны больше не повторялись.

– Замучили насмерть, наверное, – прошептал я своим спутникам.

Те только молча кивнули головами. Просидели в молчании еще полчаса, чутко, настороженно вслушиваясь в темноту ночи.

На песчаной отмели противоположного берега что-то зашевелилось, зашлепало по воде, захлюпало…

– Козы!.. – в отчаянии прошептал Павел, – и ничего не видно!

– Сколько их? Где они? – ничего не видно! Стрелять на звук –

бессмысленно, да и страх берет, а вдруг хунхузы услышат!

– Эх! – с досадой проворчал Павел, – ложись-ка, ребята, спать! Утром уточек постреляем – все будет добыча какая-нибудь.

Притащили сухой травы, листьев – устроили постели… расположились поудобнее… Незаметно молодой сон смежил веки, забыты переживания ночи, и никакой звук уже не в состоянии разбудить нас.

Рано утром, когда веселые, шутливые, теплые лучи солнца заиграли на глади реки, стали пробиваться через листву деревьев, ударили нам в глаза, мы быстро вскочили.

– Пора вставать!

Первой мыслью было сходить на другой берег и удостовериться по следам, оставленным на песке, много ли было ночью коз. Разделись, перебрались на другой берег, и Павел даже присвистнул.

– Посмотрите, сколько здесь следов! Миллион!!! – указал он на массу свежих отпечатков на песке. – Ну и маху же мы дали, что забрались на тот берег. Придем в следующий раз, устроимся где-нибудь здесь на этом бережку.

Вернулись обратно в свой лагерь, быстро вскипятили воду, напились чаю и направились в обратный путь по озерам в надежде принести домой хотя бы уток, но и здесь неудачи… Ни одной утки, ни одного фазана…

– Досадно, так ничего и не принесли.

– А интересно все же, кто это кричал ночью, так страшно?!

– Я думаю, что это нас ночная обстановка, мгла так напугала. Никаких хунхузов не было, а кричала просто птица – сова. Я слышал, что совы так кричат по ночам, – заметил Павел.

– Ну нет, я не думаю этого. Уж очень крик был похож на крик человека. Только человек может так кричать. И только человек может так мучить людей себе же подобных…

– А ты же в лирику пустился… Может быть, и хунхузы, – равнодушно пожал плечами Павел.

Вышли на насыпь железнодорожного пути. Впереди на рельсах несколько ворон.

Павел вскинул ружье.

– Эх, ворону подстрелить, что ли?

Гулко раздался выстрел. Черные тени тяжело поднялись на воздух, испуганно оглашая воздух своим карканьем.

Одна из ворон с подбитым крылом осталась на месте, беспомощно силясь поднять свое отяжелевшее тело и жалобно дергая подраненным крылом.

Поймать ворону оказалось делом не легким, громадными прыжками она забилась в кусты под насыпью и, грозно ощерившись своим большим клювом, приготовилась дорого продать свою свободу.

Я накинул на ворону свою тужурку, обернул ее и взял на руки.

Андрей пытался приоткрыть немного тужурку, чтобы дать пленнице доступ воздуха, и в тот же момент с криком отскочил.

Ворона больно укусила его за палец, на котором выступила кровь.

– Черт! Какая злая!

– Держи ее крепче. Принесем домой сюрпризик…

На входных стрелках станции около дома дорожного мастера встретили дочь мастера Надю…

– С охоты? Что принесли?

– Да вот молодую козулю дикую поймали.

– Правда?! – запрыгала та от радости. – Покажите!

– Нельзя, убежит.

– Ну, одним глазком только.

– Пощупать можешь, – согласился я, – просунь осторожно руку под тужурку и пощупай…

Та доверчиво, осторожно просунула руку…

– Ай! – завопила она не своим голосом, быстро выдернув руку обратно. – Что это? Она кусается?

Мы прыснули со смеху.

– Ничего смешного нет, – обиделась Надя. – Что у вас там за зверь?

– Самая настоящая ворона! Вот посмотри на ее клюв, – приоткрыл я слегка голову вороны…

– Черти полосатые! Как напугали меня!

Нужно ли говорить, как над незадачливыми охотниками издевались все дома, когда мы вместо козуль принесли с собою… подбитую ворону.

Свою пленницу мы водворили в сарай, откуда она ночью таинственным образом исчезла.

* * *

Через пару дней мы вновь отправляемся на ночевку.

На этот раз оказались умнее. Устроились лагерем на песчаной отмели под самым берегом. Из песка соорудили некоторое подобие крепостицы, окружили ее песчаным парапетом, внутрь накидали сухой травы. Сухо и мягко. На ночь решили назначить дежурства, по очереди дежурить по два часа.

С полночи вступил в дежурство Андрей. Мы устроились поудобнее на дне своей крепости и быстро заснули.

Андрей с винтовкой в руках зорко следит за берегом, ждет появления коз…

Беспрерывное напряжение сказалось, наконец, на нем. Он клюнул раз-два, положил руку на барьер крепости, голова опустилась, и вскоре

наш часовой спал таким же крепким безмятежным сном.

Часов в пять утра он разбудил нас обоих.

– Ну, чья очередь дежурить? – смеется он.

– В чем дело? – озирается Павел. – Уже светло?!

– Ну да! Пора собираться домой.

– Эх ты! Заснул ведь на дежурстве! А это что, посмотри?

Мы взглянули за барьер. Рядом с самой нашей крепостицей, в трех-четырех шагах от нее виднелось несколько совершенно свежих следов коз. Видно, подходили в самой крепости, взглянули на нас и, презрительно вильнув хвостиками, направились на водопой.

– Посмотри, ведь они прямо посмеялись над нами, подходили к нашему часовому, обнюхали его, – кипятился Павел. – Ведь, наверное, подошли, усмехнулись прямо в ствол твоей винтовки и отправились дальше, – обратился он к Андрею.

– Ну, довольно возмущаться! Заснул и заснул. Все равно теперь уж ничего не поделаешь, дела не поправишь! Ш-ш!!! Слышишь, утки летят!

Схватили ружья…

Табунок уток, шумно разрезая воздух, плюхнулся в воду недалеко от нас. Грянули два выстрела, и по течению реки понесло пару убитых уток.

Мы бросились за ними. Быстро изловили.

– Хорошо хотя это. Все же кое-что принесем домой вместо коз.

Так закончились неудачей наши первые вылазки на коз.

* * *

Вспоминается цепь следующих лет. Каждое лето сразу же по окончании занятий в гимназии мы все выезжаем на дачу. Торопимся насладиться природой. Да и природа действительно была чудной, в особенности после пыльного и душного Харбина.

Уже много лет спустя я научился ценить и Харбин, который по сравнению с другими городами Дальнего Востока свободно и сам-то мог сойти за дачное место со своими бесчисленными садами, провинциальными пригородными домишками и т. д.

Нельзя без смеха вспомнить все наши дачные измышления и нововведения.

Старший брат Петр, приехав на дачу, так полюбил природу и жизнь на воле, что вообразил себя каким-то помещиком и решил заняться хозяйством, о котором никто из нас не имел никакого понятия.

– Нужно завести коров, будет свое молоко – для нас полезно, ведь молочные продукты хороши для здоровья, а кроме того, можно будет продавать масло и сметану, – заявил он отцу, – хорошо бы и лошадок завести – поехать в лес, нарубить дров, так что покупать их не нужно будет (а к чему это, когда куб дров тогда стоил на этой лесной станции всего

только восемь долларов – содержание лошади обойдется дороже), вырастим свиней, тоже польза – верный капитал будет. А там, смотришь, завести всякую птицу – гусей, уток, кур.

Отец смеется:

– Смотри, а не будет ли у тебя так же, как и с твоим земледелием, много ты там заработал?

– Ну, там другое дело. Ученье помешало.

Нужно заметить, что за три года до этого брат, учившийся тогда в седьмом классе гимназии, узнал, что под Харбином можно достать несколько десятин пахотной земли, находящейся в полосе отчуждения железной дороги.

Дорога тогда раздавала своим служащим эти земли, а те в свою очередь от себя сдавали их китайцам-огородникам, получая за это верные деньги, без затраты труда.

По его настоянию отец взял и для себя четыре десятины земли где-то за три версты за Старым Харбином, а от нашего дома это было не менее шести верст.

– Зачем, папа, отдавать китайцам землю, давать им зарабатывать, давай-ка лучше сами ее обрабатывать.

Отец рассмеялся.

– Ты ведь никогда даже не видел, как пашут землю, а туда же, хочешь еще взяться сам пахать.

Долго они пререкались, но все же брат отстоял для себя одну десятину, а остальные три десятины были сданы в аренду китайцам, и, конечно, с них были получены денежки наличными да еще кое-какие подарки натурой с огородов, а с нашей десятины…

В помощники себе он взял меня. Мне тогда было десять лет.

Ранней весной построили мы на своей десятине, вдали за городом, в открытом поле, землянку, покрыли ее сверху несколькими досками, засыпали землей – внутри получилось довольно уютно, а кроме того и хорошая защита от солнца и непогоды.

Много ночей провели мы в этой землянке в то тяжелое для нас первое лето «на земле».

Пахать приходилось ранней весной в дождь, пропущено несколько дней занятий в гимназии. Наконец все поле вспахано, на половине десятины посажен картофель, а на остальной части постепенно рассадили все остальное: капусту, свеклу, морковь, дыни, арбузы, огурцы и всякие прочие овощи, а кроме того, на границе участка несколько рядов подсолнухов.

Закончив посадку, мы почили на лаврах, совершенно забросив поле, да к тому же подошло время весенних переходных экзаменов, и мне с братом было не до земледелия.

Кончены, наконец, экзамены. Благополучно перебрались в следующие классы и скорее к себе на пашню.

Там к этому времени уже разрослась буйная трава, заглушившая все всходы наших овощей.

Резво взялись за работу. Прополоть целую десятину земли, густо заросшую травой, дело не легкое.

Быстро, однако, мы наловчились полоть острыми китайскими тяпками. Земля была вспахана по китайскому образцу длинными полосами-грядками.

Начинаешь полоть с рассвета – смотришь, брат уже давно ушел на своей полосе, а я все еще копошусь где-нибудь поблизости, прополов саженей 5-10.

Наконец все закончено, гряды прополоты, теперь нужно только следить за новой появляющейся травкой, вовремя срезать ее да следить за овощами, особенно за капустой.

Словом, работы много. Оба мы, конечно, справиться со всем не могли. А тут подошло время, когда подоспели огурцы: нужно их срывать, а они, как нарочно, созревают, как угорелые – сносишь их мешками к землянке – многие перезрели.

Вечером после работы взваливаем тяжелые мешки на плечи, несем около трех верст до шоссе, а там нужно рядиться с китайцем-возчиком с драндулеткой, чтобы добраться до города.

Продавал брат огурцы по знакомым отца – кое-что заработал. Наутро, а чаще и в тот же вечер опять возвращаемся на пашню. Опасно оставить свое хозяйство так, без присмотра – соседи-китайцы живо растащат.

К осени, к началу учения мы все же могли похвалиться кое-какими достижениями – кроме собранных нескольких мешков огурцов у нас было много капусты, картофеля и всяких других овощей.

Наконец подходит время идти в гимназию, нужно бросать пашню, а там еще половина овощей не собрана.

Взялись как-то целый день выкапывать картофель, срывать тыквы… к вечеру у нас было несколько больших пятипудовых мешков картофеля и прочего добра.

Арбу уже не нанять. Темно. Нужно оставаться на ночлег – караулить мешки. Знакомый китаец-огородник, сосед, принес кусок брезента – укрыться от начавшего накрапывать дождя. Я улегся в ямку между гряд, брат укрыл меня брезентом… хорошо… сверху лениво постукивают дождевые брызги… быстро заснул.

Брат пристроился на мешках, укрывшись китайским халатом… все боялся, чтобы их не украли.

Под утро часа в три брат разбудил меня:

– Ты не промок?

С трудом поднялся, в голове шумит… Оказывается, за ночь вода скопилась под брезентом в ямке между грядок, в которой я спал, и так я всю ночь и проспал в воде.

Поднялся мокрый. Дрожь пронизывает все тело. Согреться негде. Попрыгал немного. Размялся. Стало теплее.

Наконец забрезжил рассвет. Из соседней деревушки потянулись в город арбы.

Быстро сторговались с китайцем-возчиком. Погрузили все, что было можно, и покинули свою пашню.

– Нужно будет вернуться в воскресенье, разобрать землянку да нагрузить еще арбу картофелем!

Тронулись. Я забрался наверх. Улегся… Чувствую, что совсем расхворался. Позеленел весь. Трясет…

– Скорее бы домой!

А арба, как нарочно, ползет едва-едва, поскрипывая немазаными колесами, выворачивая своими визгом все внутренности…

К вечеру меня совсем развезло. Провалялся пару дней, но организм все же переборол болезнь, и я через два дня был здоров – по счастью, ночь, проведенная в яме, наполненной водой, на моем здоровье не отразилась.

В воскресенье поехать на пашню нам не удалось, шел сильный дождь. В следующее воскресенье нас тоже что-то задержало, и мы попали на пашню только недели через три.

Пришли и не узнали своего поля. Мы за все лето тяжелой работы не могли добиться такой чистоты, которая царила теперь на нашей десятине. Чистенько все прибрано, подчищена не только трава, но и все овощи, подсолнухи и т.д.

Китайцы вычистили все, не оставили ни одной картофелинки, сняли даже крышу с нашей землянки. Словом, «прибрали» подчистую.

– Чистая работа!!! – ухмыльнулся брат. – Нам, брат, далеко до этого.

– Пройдем-ка по полю, может быть, что еще найдем, что китайцы не успели забрать.

И действительно, мы нашли несколько гряд со свеклой…

Выкопали ее, набрали мешок и в обратный путь, в последний раз распрощавшись со своей пашней.

На этом наш первый опыт в области земледелия закончился.

* * *

И вот через три года брат решил развести на даче всякую живность.

Отец первое время не соглашался:

– Подохнут, – говорит, – ваши и коровы, и лошади, и куры, и гуси. Ты же не знаешь, когда их кормить, не умеешь доить коров, не сумеешь

запрячь лошадь, – говорит он, – куда же ты берешься?

– А вот посмотришь, какое у нас образцовое будет поместье.

Отец наконец согласился.

На первое время купили птицу: кур, гусей, уток; знакомый помощник начальника станции, Самсонов, подарил пару хороших белых поросят.

С птицей все же первое время справлялись, тем более что их и кормить-то почти не нужно летом. Много подножного корма. Вот с поросятами дело хуже.

Другой раз вместо того, чтобы их накормить, мы в это время сражаемся на поле в футбол или в лапту.

Поросята, однако, подросли и сами стали промышлять насчет съестного, главным образом, на кухне.

Не успеешь оглянуться, как они с печи на летней кухне прямо с горячей сковороды слизывают сочные лепешки или пухлые котлеты.

Куры тоже не зевают и воруют все, что только возможно. Во время обеда вскакивают на стол и в момент выхватывают прямо из рук куски хлеба.

– Вот расплодили напасть, – возмущается отец. – Житья не дают. Перережу всех!

А дальше пошло еще лучше…

У людей коровы – как коровы, лошади – как лошади, а у нас… Купил отец брату две молодых породистых коровки и бычка, а потом по дешевке и монгольского коня с кличкой «Монгол».

Подросли коровы, брат стал их доить.

Коровы породистые должны давать, по меньшей мере, по 20 бутылок молока, а у брата больше пяти бутылок никак не выходило.

А доить… сплошное мучение. Только брат с ведром в ограду, как Машка, Мунька задирают хвосты и через плетень. Только треск идет в кустарнике, когда они мчатся, куда глаза глядят – лишь бы подальше от своего мучителя.

– Куда?! Машка! Мунька! Назад!

Куда там! Ломят вовсю. Только лес хрустит.

Устраивается погоня. Коровы перебираются через реку и в лес, а там и дальше на китайские поля.

Бывает, ищешь их по два дня. Находишь где-нибудь на задах китайской деревушки. Стоят спокойно, пережевывают что-нибудь. Довольны, что никто их не собирается доить.

Заарканит брат беглянок, всыпет хорошей дубиной и обратно.

А там все сначала…

Если корове не удастся бежать, то уже можно быть уверенным, что она перевернет ведро с только что выдоенным молоком.

Новая порция изломанных об ее спину палок, вырывается и… в лес.

Монгол не лучше. Его ни оседлать нельзя, ни поехать. Лягается, кусается. А обломать коня некому – никто из нас никогда на лошадях не ездил, за исключением старшего брата Петра, служившего в гражданскую войну в кавалерии.

Только он один и управлялся с непокорным конем.

Конь тоже такой, что не углядишь за ним, – норовит убежать в лес. Раз на три дня пропадал, и только случайно знакомый стрелочник, ехавший товарным поездом, увидел нашего Монгола в семи верстах от станции под сопкой в табуне китайских крестьянских лошадей.

Он сразу узнал стройного Монгола среди китайских кляч, соскочил на полном ходу с поезда, перевернулся несколько раз через голову, часа два бегал, ловил коня. Поймал все же и привел к нам.

И так безалаберно, но зато весело велось наше хозяйство.

Заиграемся на площадке в футбол, забудем про коров и лошадей – ясно, те ждут-ждут хозяев, надоест им, проломят плетень и направятся куда-нибудь промышлять сами.

На следующий день новые поиски их, опять иногда продолжающиеся по два дня…

Поросята с каждым днем становятся все более нахальными. Подросли, чуть не каждый день воруют все, что попадется на сковороде. Не доглядел, кончено – все украдут. Коровы стали воровать с веревок белье и полотенца, а про птицу и говорить не приходится. Пустишь по ним поленом – только и помогает – разбегаются… на несколько минут.

Осенью пришел конец нашему хозяйству. Одна за другой подохли ставшие большими свиньи – заболели чумой. А там чума скосила и красавца белого бычка, за которым следом, не прожив и пару дней, чума захватила новую жертву – корову.

Осталась самая шустрая и самая бешеная корова – черная Машка, за которой приходилось больше всего бегать, которая чаще других пропадала в лесу и китайских полях, за речкой.

Отец испугался, что болезнь скосит и эту последнюю корову, по дешевке продал ее железнодорожнику на станцию Имяньпо.

Там корова в опытных руках оправилась, стала смирной и сразу же стала давать 20 бутылок молока.

Недолго прожил и Монгол. Через несколько дней китайцы утащили и его тушу.

Из большого хозяйства, кроме птицы, ничего не осталось. Да и птицу стали бить осенью, хоть этим попользовались, пока и их не покосила страшная болезнь.

Черная корова Машка, однако, долго не прожила. В начале зимы ее зарезал поезд на станционных путях… Спаслась от чумы – попала под

поезд.

После этого опыта мы уже хозяйством не обзаводились.

Приезжали только на дачу каждое лето, купались, занимались спортом, но из хозяйства заводили только кур.

Спокойнее, да и хлопот меньше.

С тех пор на даче покатилась мирная размеренная жизнь «без экспериментов», которую только несколько нарушил советско-китайский конфликт 1929 года, а там опять спокойные годы, потом – маньчжурские события, образование нового государства Маньчжуго, жизнь на станции стала опасной… слишком часто ее стали посещать хунхузы, старогиринцы, «пикачи» и другие, и только лето 1933 года… последнее лето на даче вновь прошло шумно и весело. Наступило как будто успокоение – вновь ожил наш постаревший дом, вновь послышался смех молодых голосов, шум, гам, игры – опять все по-старому.

Старый парк весело заулыбался ветвями своих деревьев, с одобрением покачивая верхушками высоких черемух…

Год промчался… жизнь замерла. Там все то же, как будто, но нет души – замерла жизнь… задумался парк; зарос травой, некому ее примять, побегать по ней, некому залезть на черемуху…

Задумчивый парк… Есть ему что вспомнить. Стоят деревья, погрузились в спокойную, задумчивую дремоту, не шелохнутся…

Потом вдруг вспомнят былые годы, весело тряхнут своими кудрявыми шапками, пробежит по ним шаловливый ветерок, и опять вспомнится былое, ненадолго…

Момент… и вновь поник своими ветвями родной и дорогой задумчивый парк.

Июль 1934 г.
Харбин.

* * *

Еще год промчался… Прожурчала разлившимися горными речонками весна; прошелестело подгоревшими на солнце травами лето; буйными разноцветными красками улыбнулась осень, и, наконец… закружило ледяными ветрами, запорошило снежинками, засыпало аршинными снегами… зима властно вступила в свои права…

Мокрой, сырой, дождливой зимой в Шанхае получаю письмо от приятеля, ярого охотника, «оттуда», с нашей станции… Умх.

… – «Дружище, – конец! Нет больше вашего дома, нет вашего парка, нет ни одного кустика – все точно снесло ураганом, – перелистнулась страница, самая яркая страница жизни нашей станции. Нет вашего дома, точно его и вообще не было. Ваши продали дом на слом, продали и лес…

Дом разобрали в один день, а от леса в несколько дней ничего не осталось… все повырубили, и теперь между старым полотном железной дороги и речкой, былыми границами вашего участка, – нет ничего… пустыня! нет ни одного кустика, все взято подчистую, а сейчас, когда даже щепочки занесло снегом, так и вовсе не осталось никаких следов… чистая, белая, безжизненная, снежная пустыня…».

Силюсь представить себе эту новую картину и не могу. Как нет ничего? Как пустыня? Неужели нет нашего дома, пятнадцать лет незыблемо стоявшего и сопротивлявшегося невзгодам, наводнениям, буранам и ливням!?

А парк?! Неужели уже нет этих громадных черемух, кленов и яблонь; неужели так и не осталось ни одного деревца?.. Силюсь, напрягаю мысли… Начинаю представлять себе картину – не ту знакомую картину, врезавшуюся в память, а новую… Дома нет… вместо него – снежная ровная пелена… Представляю себя на насыпи старого полотна дороги, смотрю… Вон далеко темнеет на этой равнине провал вниз, туда, к речке, которую прежде не видно было за громадными деревьями парка; той речки, в которой ежедневно барахтались летом, а зимой изредка наездами катались на коньках…

Вот там… вероятно, шла главная аллея, окаймленная с обеих сторон белоствольми березками, увитыми виноградными лозами. Вон – небольшой овражек, засыпанный снегом, там через него был перекинут ажурный мостик, а вот – влево большая яма, также полузасыпанная снегом, – здесь прежде был винный погреб, в котором мы хранили сотни ведер самодельного вина из дикого винограда; еще левее стоял пчельник, где всегда слышен был гул оживленных роев трудолюбивых пчел, деловито круживших вокруг отца, осматривавшего рамки ульев, обрезавшего трутней и любовно другой раз освобождавшего запутавшуюся в его седой бороде труженицу-пчелку. Пчелы привыкли к нему, знают его, и почти не было случая, чтобы хотя бы одна из них ужалила его…

Все там сейчас занесено снегом… там теперь снежная пустыня… нет ни пчел, нет ни дома, ни парка, нет уже и отца…

Белый ровный ковер… Солнце, отражаясь от снега, ослепительно режет глаза… Вспоминается чеховский «Вишневый сад»…

25 января 1936 года. Шанхай.

Опубликовано: Петров В. В Маньчжурии. Шанхай, 1937.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 7. С. 231-255.

СОДЕРЖАНИЕ

Яков Лович 3
Еврейское счастье 3
Родимое пятно 9
Покорность 15
Женщина из контрразведки 23
Об артистке Зыряновой, о бомбах в станцию Бухеду, о Лашевиче и советской даме, о Косте Зубове и том, как Остроумов приказывал расти траве и цветам 33
Шанхайцы. *Отрывок из романа* 42
Василий Логинов 69
Царство Ял-Мал. *В сокращении* 69
Медвежья охота 92
Забытые тени 98
Врубель 101
Великий пост 112
Дитя природы 117
Тройка 120
Венедикт Март 125
Распечатанные тайны 125
Лапа Мин-дзы 128
Долг покойного 133
На черной нитке 137
Хун Чиэ-фу 140
В японском мешке 144
Речные люди. *Повесть* 149
Дэрэ – водяная свадьба 185
Аполлинарий Ненцинский 203
Человек во фраке 203
Сильнее любви 210
Последние полчаса 232
Арсений Несмелов 243
Шпион 243
Дети 244
Сторожевка 245
Домик над бухтой 248
Безумие 252
Ледяная гибель 255
Золотой зуб 280
Золото 288
Контрразведчик 296

Сторублевка 315
Людоед 324
Людмила Никифорова 342
Китайский бог 342
С далекого юга 350
Человеческий быт 361
Валерий Перелешин 368
Замок белой женщины 368
Бурьян 374
Николай Петерец 382
Две развязки 382
Алексей Петров 387
Харбинская фамилия 387
Настоящий мужчина 389
Злая шутка 391
Виктор Петров 397
Расстрел 397
20 лет назад 401
В задумчивом парке 405

Содержание 424

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1. Проза: В 3-х частях. Ч. 2 (Л–П) / Сост. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева.

Подписано к печати 03.12.12. Дизайн – *Ю.М. Гофман, В.А. Долгов*.
Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 20,58. Тираж 500. Заказ 371.
Отпечатано в типографии АмГУ.

Министерство образования и науки Российской Федерации

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Литература русского зарубежья

Восточная ветвь

ХРЕСТОМАТИЯ

•

Том первый. Проза

•

Часть 3 (Р–Я)

Благовещенск
Издательство АмГУ
2013

ББК 83.3 (2 Рос=2 Рус)
Л 64

Рекомендовано
учебно-методическим советом Амурского государственного университета

Рецензенты:
Кафедра истории, философии, литературы ГИТИС (г. Москва);
Ястребов А.Л., заслуженный работник высшей школы РФ, докт. филол. наук, проф. кафедры истории, философии, литературы ГИТИС (г. Москва);
Агеносов В.В., заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, докт. филол. наук, проф. кафедры журналистики и литературы ИМПЭ (г. Москва).

Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1. Проза: В 3-х частях. Ч. 3 (Р–Я) / Сост., общ. ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой; вступ. ст. А.А. Забияко; биобиблиограф. ст. Г.В. Эфендиевой; подгот. текстов И.А. Дябкина, А.А. Забияко, К.А. Землянской, Р.В. Поливан, Г.В. Эфендиевой, А.А. Юрьевой. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013. – 450 с.

ISBN 978-5-93493-182-8

В первом томе хрестоматии «Литература русского зарубежья. Восточная ветвь» собраны прозаические сочинения 40 писателей русского Китая. Все подборки сопровождаются биографическими справками и редкими фотографиями авторов.

Издание предназначено в качестве учебного пособия студентам, обучающимся по специальности 031001 / направлению подготовки 032700 «Филология» и других гуманитарных факультетов высших учебных заведений, а также преподавателям и специалистам, занимающимся изучением истории литературы русского зарубежья.

При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта Президента Российской Федерации по проекту МК-6409.2010 «Социокультурный контекст художественного наследия дальневосточных писателей-эмигрантов (текстологический и источниковедческий анализ)».

Подготовка и издание пособия осуществлялись при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 12-21-21001 а(м) «Русские и китайцы: межэтнические отношения на Дальнем Востоке в контексте политических процессов»

© А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева, составление, 2013
© А.А. Забияко, предисловие, 2013
© Амурский государственный университет, 2013

Проза

Елизавета Николаевна
РАЧИНСКАЯ
(1905?—1993)

Поэтесса, прозаик, мемуарист Елизавета Рачинская (в замужестве Гусельникова) родилась 23 февраля (ст. ст.) 1905 г. (по другим сведениям 8 июля 1904 г.) в местечке Тюсьбю в Финляндии в дворянской семье. В детстве жила в Гельсингфорсе (Хельсинки), где отец, полковник артиллерии, находился на военной службе. Затем жила в Двинске, Москве, Казани. Училась в Московском Екатериновском институте и в Казанском Родионовском институте. В 1918 г. прибыла с родителями в Харбин. Окончила частную гимназию Оксаковской и Харбинский Юридический факультет. Работала в коммерческом агентстве ЮМЖД, в харбинском отделении швейцарской торговой фирмы «Бринер и К°». Печаталась в журналах: «Рубеж» (Харбин), «Студенческие годы» (Прага), «Вольная Сибирь» (Прага,) «Иллюстрированная Россия» (Париж); коллективных сборниках. Автор книги «Стихи» (1926), сборника рассказов «Джебель-Кебир» (1937). В 1941 и 1942 г. участвовала в альманахе «Прибой», в 1945 г. — в сборнике «Лира». С 1956 г. жила в Австралии (Сидней), затем в Англии. Окончила Кембриджский университет. С 1964 г. работала на станции BBC в Лондоне. Выпустила две книги мемуаров: «Перелетные птицы» (1982), «Калейдоскоп жизни: Воспоминания» (1990). Умерла 23 января 1993 г. в Лондоне.

Ист. и лит.:
Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 457.
Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд. М., 2001. С. 690-691.
Сентянина Е. Харбинские писатели и поэты // Рубеж. 1940. № 24. С. 8.
Смотр женских литературных сил эмиграции Дальнего Востока // Рубеж. 1935. № 47. С. 25.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 254.

ОБНАЖЕННАЯ

Две молодых женщины сидели, разговаривая, в послеобеденные часы с сигаретами в одной из квартир Нового Города.

— Ты не представляешь себе, Ната, какое для меня счастье – твой приезд! – сказала одна из собеседниц. – Этот ужас лежал у меня на сердце, как камень. Ты понимаешь, что говорить об этом я не могла ни с кем, и мне очень тяжело было это молчание.

— Но как же все это случилось, Ольга?.. Когда, с чего началось?.. Я ничего не понимаю! – воскликнула Ната.

— Ах, началось это давно, еще до замужества, – ответила Ольга. – Не понимаю, как другие ничего не видели… Смеловский начал за ней ухаживать за два года до ее свадьбы. Я, как сейчас, помню и их знакомство, и все, что было потом. Ты как раз тогда уехала… Это было на моих именинах, в июле.

Незадолго до того Смеловский начал бывать в нашем кружке, и я пригласила в этот день и его. Теперь он далеко не так интересен, и

физически, и умственно, как был тогда. Сейчас он как-то опустился, обрюзг, а тогда он был и очень красив, и оживлен, и бесконечно остроумен. Пришел с большим букетом чайных роз, элегантный, оживленный, настоящий «сероглазый король».

Муся тогда была в одном из счастливых дней, когда она очаровывала и увлекала всех. А ведь собственно красивого-то в ней почти ничего и не было, – вспомни-ка! Ну, молодость, стройность, свежесть, а еще что? Руки, правда, у нее были прелестные, – узенькие, нежные, с розовыми ладонями. «Руки на розовой подкладке», – смеялась она…

Глаза еще были у нее хороши, но хороши своим огнем, своей живостью, а цвет («желтый топаз»), пожалуй, нельзя считать классически-красивым. Были, правда, в этом топазе какие-то искры, которые заставляли его гореть и переливаться как настоящий драгоценный камень.

Вот этот-то огонь, освещавший все существо Муси, напряженность горения, какая-то устремленность всего ее существа, устремленность дрожащей на натянутой тетиве стрелы, – вот в чем заключались ее главная прелесть и секрет ее обаяния.

А потом – ее «сильные ощущения», которые ее, в конце концов, и сгубили. Конечно, многие считали, – дурит девчонка, – вот все; но для меня, например, была какая-то неизъяснимая прелесть в этой ее черте, – последний штрих, дававший законченность ее образу.

В вечер моих именин тоже не обошлось без этого… Ночь была чудная, теплая, лунная, ласковая. Молодежь не хотела расходиться: пели, танцевали, спорили и, наконец, решили ехать на лодках. Сейчас же заказали машины, взяли с собой виктролу и отправились. Муся объявила, что будет купаться и переплывать реку.

— Сегодня у меня столько сил, что, кажется, море переплыву! – сказала она, как всегда, смеясь, и я невольно обратила внимание на загоревшиеся глаза Смеловского.

Время провели чудесно!.. Когда зазвучали любимые арии и романсы на речном дремотном просторе, все притихли, задумались. Потом, вдруг, слышим плеск – это Муся бросилась с шаланды. Кроме шаланды, у нас были еще две лодки, и я распорядилась, чтобы они были невдалеке.

Муся все дурачилась, кричала: «Тону, лодку!», – но когда проплыла уже больше половины, я вдруг услышала ее сдавленное, полное ужаса: «Лодку!..». Публика не обратила на это внимания, кое-кто засмеялся, – думали, что она по-прежнему шутит.

— Вы с ума сошли! – закричала я. – Она тонет!.. Скорее!

И, действительно, еще минута, и было бы поздно…

Но Муся осталась верна себе и, немного отдышавшись, еще бледная, объявила со смехом, что к ее коллекции «сильных ощущений» прибавилось еще одно.

Этот эпизод как-то сорвал настроение, и все заторопились домой.

После этого вечера я мало видела и Смеловского, и Мусю. Муся уезжала на дачу, и мне говорили, что Смеловский ездил туда постоянно. Когда она вернулась, их всюду видели вместе.

У меня Смеловский бывал редко; Муся же забегала, но всегда куда-то спешила, и вид у нее был, хотя и оживленный, но как будто озабоченный.

Так продолжалось несколько месяцев, а потом вдруг все это сразу оборвалось, – как обрезало… Сперва я думала, что это была временная размолвка; говорили, что Муся отказала ему, что выплыла на сцену какая-то его старая связь; но потом, из встреч с Мусей, из ее беглых замечаний, выражения ее лица мне стало ясно, что дело было в Смеловском: просто он испугался, не захотел себя связывать, – а дело, видно, к этому шло. Так мне, по крайней мере, казалось. Я видела, что Муся оскорблена, задета. Ее веселье и как будто прежняя жизнерадостность не могли меня обмануть. Нет, притворяться она не умела, хотя и называла себя актрисой.

— Мы еще скрестим со Смеловским шпаги! – уронила она как-то фразу, и фраза эта показалась мне многозначительной.

— Что ж, – сказала я ей, – ты так любишь игру, любишь ходить по жердочке… Игра кончается разно…

И вот, вспоминая эти свои слова, думаю, что ей словно напророчила.

Как только Смеловский отошел от Муси, Андрей Николаевич возобновил свою «тихую сапу», которую он давно и неуклонно повел против нее.

Замечала ты, Ната, как характерно бывает иногда какое-нибудь одно движение, один жест человека?.. Сидели мы как-то с Андреем Николаевичем в гостях у Званцевых. Званцева только что приехала из Японии, привезла фрукты и угощала нас. Андрей Николаевич как всегда спокойный, как будто даже несколько флегматичный слушал нашу болтовню, пил чай и не спешил насладиться фруктами, которыми мы восхищались. Потом неторопливо подвинул к себе вазу, несколько минут обозревал ее и, наконец, медленно извлек из ее глубины роскошную желто-прозрачную грушу… Званцева расхохоталась:

— Ну и глаз же у вас, Андрей Николаевич!.. Безошибочный! Я самую лучшую грушу положила на дно, – загадала, кому она достанется, но вас не проведешь!..

Так Андрей Николаевич высмотрел и Мусю – не спешил, отходил, когда нужно было, в сторону, но неуклонно и твердо суживал свои круги.

Ах, Наточка, как мне теперь ясны эти люди, как все происходящее осветилось настоящим светом, выявило их подлинное лицо!.. Вот, например, Андрей Николаевич… Рыцарь и поклонник женщины и ее чистоты. Он и Мусю то взял преклонением и фимиамом.

А на самом деле – эпикуреец, влюбленный в свою плоть и в наслаждения этой плоти, язычник. Вкус у него утонченнее, чем у

большинства, а потому только девственность, чистота удовлетворяют его чувственность. Понимаешь, он бережет и охраняет эту чистоту для себя, а вовсе не потому, что это самодовлеющая ценность…

А возьми Смеловского… Одаренный, талантливый, блестящего ума, идейный человек, а душонка… Да, впрочем, не хочу продолжать… Суди лучше сама, – я все расскажу тебе так, как слышала от самой Муси.

Выйдя замуж за Андрея Николаевича, она была очень счастлива. Муж ее боготворил, был нежен, баловал ее, ходил за ней как нянька. Средства у него была хорошие, и у Муси было все, что она любила и чего была раньше лишена, – книги, возможность посещать театры, общество, музыка, наряды… Жизнь стала для нее праздником, которому она и отдавалась со всем жаром своих двадцати трех лет и своего необузданного характера. Любовь Андрея Николаевича захватила, закружила ее.

Сначала изредка, а потом все чаще стал у них бывать и Смеловский. Он сразу взял тон доброго старого приятеля, тон подтрунивания, легкой остроумной пикировки, которую так любила Муся.

Но меня этот тон не мог обмануть, и я, встречаясь с ним часто у Муси и наблюдая его, видела, что он влюблен в нее сильнее прежнего. Да это так и должно было быть: ему в высшей степени была присуща чисто женская черта – какой-то мелкой зависти, ревности к чужому счастью.

— Я на вашем месте не допускала бы так близко Смеловского к своему семейному очагу, – сказала я раз Андрею Николаевичу. – Смеловский – человек опасный, злостный сплетник…

— Нам с Мусенькой это не страшно!.. Еще подумает, что я ревную его. Правда, Мусик? – ответил Андрей Николаевич.

Понемногу поддразнивания и шутки Смеловского становились язвительнее, настойчивее. То он подтрунивал, что Муся стала буржуйкой, неисправимо добродетельной супругой, причем с комическим ужасом, закатывая глаза, восклицал: «И это Муся! Поэтичная, изящная Муся, мечта поэта!..» То старался выставить Андрея Николаевича в смешном и непривлекательном виде, – безгранично пошлого и узкого человека. Когда же ему случилось раз остаться с Мусей вдвоем, он вдруг бросил свои шутки и дурачества и искренним, горячим тоном заговорил о том, как больно, когда человек, подойти к которому считаешь себя недостойным, вдруг разменивается на мелкую монету житейских благ и грошового счастья…

Муся не оставалась к его словам равнодушной. Постепенно она начинала все больше и больше сердиться и возмущаться. Как-то раз вдруг вспомнила пикник, Мусины «сильные ощущения» и как она тогда чуть не утонула.

— Ну а теперь как? Пожалуй, на сильные ощущения наложит свое вето Андрей Николаевич? – спросил кто-то из присутствующих.

— Какие там сильные ощущения! – расхохотался Смеловский. –

Теперь недовольство супруга из-за какого-нибудь пережаренного бифштекса перетянет все мировые вопросы! Не так ли, Мария Александровна? – обратился он к Мусе с какой-то вызывающей, наглой усмешкой.

Муся вспыхнула.

— Да вы-то что за герой! – воскликнула она. – Вы сами – буржуй «our sang», как говорит наш добрый знакомый. Вашему сердцу вопросы гастрономии говорят гораздо больше, чем моему… Ну, хотите пари, вот сейчас при всех? Я сделаю вам испытание на сильные ощущения, а вы – мне… И посмотрим, кто из нас струсит, кто спасует, – вы или я. Идет?.. Давайте руку!

И пари состоялось.

Условились, что Муся первая придумает испытание Смеловскому и, если он с честью из него выйдет, то, в свою очередь, Муся должна будет подвергнуться тому же.

Между прочим Андрея Николаевича во время этого разговора не было – он уезжал на охоту. Будь он дома, я думаю, он отговорил бы Мусю от этого сумасбродного пари.

Через несколько дней Муся позвонила Смеловскому и, назначив день и час, просила его зайти для выяснения пари.

Она встретила его в пижаме, которая так шла к ее стройной мальчишеской фигуре и задорному, оживленному лицу.

— Нет, пройдемте ко мне, – сказала она, когда Смеловский со своей иронической улыбкой, удобно расположившись в гостиной, приготовился ее слушать.

Она повела изумленного Смеловского в свою спальню…

— Садитесь, и поболтаем, – она указала ему на маленький, низенький диванчик и сама, закурив сигаретку, села рядом с ним.

Интимность этой комнаты, ее свободный домашний костюм, полные лукавого задора и вызова глаза, этот искрящийся желтый топаз, – все это заставило Смеловского потерять голову. Он забыл про пари.

— Как вам идет эта пижама!.. Вы похожи на мальчика. Я прямо-таки зашатался! – пытаясь шутить, но срывающимся голосом начал он.

— Как?! Комплименты от вас! – воскликнула Муся. – От вас, от которого я привыкла до сих пор слышать только иронию и насмешки… Это надо ценить!

Муся посмотрела на часы. Было ровно пять, а с пятичасовым поездом должен был приезжать Андрей Николаевич…

— За наши комплименты вот вам моя рука… Я сейчас расскажу вам, в чем заключается наше пари.

С кокетливой улыбкой она протянула ему руку, и взволнованный Смеловский прижался к ней горячими губами. Потом рука его незаметно

потянулась дальше к ее талии, глаза его загорелись… Минута – и он готов был впиться поцелуем в ее шею, но в это время затрещал звонок… За дверью послышались шаги.

Муся, по ее словам, хотела непременно довести Смеловского до признания и посмотреть на него, когда она скажет, что приехал Андрей Николаевич.

— Мой муж! – воскликнула она, вскакивая, когда раздался звонок. – Уходите!

Но противоположная дверь, на которую она ему указала, совершенно неожиданно для нее самой, оказалась запертой с другой стороны… Что было делать?

Шаги приближались к дверям… Смеловский побледнел. Муся сама смутилась, почувствовав, что переиграла. Возможность того, что Андрей Николаевич может и не поверить пари, промелькнула в ее уме.

На кровати лежало принесенное от портнихи бальное платье и ветка прелестных палевых роз…

— Скорей ложитесь на кровать! – шепнула она.

Минута – и Смеловский лежал на кровати. Она накинула на него простыню, а сверху положила, расправив пышные воланы и оборки, платье. Там, где была его голова, она бросила гирлянду роз и, как будто рассматривая, наклонилась над ними.

Дверь раскрылась. Андрей Николаевич в полной охотничьей амуниции с ружьем на ремне стоял на пороге.

— Прости, Мусик, – сказал он, – так хотелось тебя поцеловать, что не стал раздеваться… Дай-ка мне свою щечку, и я пойду приводить себя в порядок.

В эту минуту, по словам Муси, ей стало вдруг так стыдно перед мужем, ею овладела такая злость против Смеловского, что она непременно захотела его наказать.

— Андрюша, – попросила она, – исполни, пожалуйста, мою фантазию… Выстрели, вон, видишь ли в эти цветы… Мне хочется посмотреть, что от них останется.

— Ну, что за глупости, моя радость, – возразил Андрей Николаевич. — Я испорчу тебе постель и цветы, всполошу весь дом… К чему это?

— К тому, что я хочу, чтобы ты исполнил мою прихоть. Я прошу тебя, слышишь, Андрюша, прошу!

— Ни в чем-то я не могу тебе отказать, моя дорогая фантазерка!.. Ну, изволь, – куда стрелять?

— Вот в эти розы… Я буду считать. Ты выстрелишь, когда я скажу «три». Ну, слушай: раз… два… – считала Муся. – Знаешь, мне расхотелось, не надо, – сказала она, когда должно было прозвучать «три». – Иди мыться, обедать и отдыхать. Сегодня ведь Новый год, ты не забыл?

Когда затихли шаги, Муся сняла со Смеловского платье и простыню и

вывела его в коридор. Он был, по словам Муси, бел, как бумага, но, с улыбкой поклонившись, произнес:

— Теперь очередь за вами… – и какое-то жуткое, неприятное чувство овладело Мусей в эту минуту. Ее слегка мучила совесть.

***

На встрече Нового года, на которой Муся казалась такой счастливой и веселой, Смеловский был тоже, но с другой компанией. Когда пробило двенадцать и начались поздравления, он подошел к ней с бокалом в руке и со своей вызывающей улыбкой спросил:

— Ну, как, вы бьете отбой?.. Я жду исполнения пари. Интересно, как вы держите свое слово, – потом, переходя на искренний, дружеский тон. – Я, конечно, не сомневаюсь, что мою маленькую просьбу вы выполните. Да и пари мое такое скромное, такое пустяковое.

Во время танца он сказал ей, что давно ему хочется, чтобы Муся побывала у него, и теперь он просит, чтобы она пришла к нему выпить чаю между шестью и семью часами вечера на другой день.

— Согласитесь, что это – пустяки, сравнительно с тем, что придумали вы, – добавил он с добродушным смехом. – Я прямо восхищен вашей изобретательностью!

И на уверенья Муси, что дверь оказалась запертой совершенно неожиданно для нее, он только рассмеялся.

На другой день Муся провела несколько мучительных часов. Какая-то тревога, какое-то темное предчувствие говорили ей, что идти не следует, но, в то же время, мысль, что Смеловский посмеется над ней, что она не сдержит данного слова, заставляла ее краснеть, и решение было вскоре принято.

Второго января в четверть седьмого она звонила у дверей Смеловского. Он сам открыл ей, был любезен, почтителен и корректен. Угощал ее чаем, показывал интересные снимки, старинные, редкие книги, любителем которых был… Муся думала уже с облегчением, что скоро она сможет уйти домой, когда раздался звонок.

— Как неудачно!.. – воскликнул Смеловский. – Вам придется на минуту пройти в соседнюю комнату…

Он провел Мусю в свою спальню, причем туда же перенес ее пальто и шляпу, а дверь запер на ключ.

Муся услышала мужские голоса…

Через несколько минут – новый звонок, потом – еще, и вскоре не оставалось сомнений в том, что у Смеловского собралась большая мужская компания.

Когда Муся к своему ужасу узнала среди говора голос мужа, она поняла, – но слишком поздно, – что это была месть Смеловского… Все пришедшие были приглашены заранее на холостую пирушку. Она

слышала, как накрывали стол, как гремели тарелки, хлопали пробки. Шум и оживление возрастали.

Вдруг среди внезапно наступившей тишины она услышала голос Смеловского:

— Господа, – говорил он, – я предлагаю тост за прелестнейшую женщину, какую я когда-либо знал… Я пью за здоровье женщины, которая одарила меня своей любовью… За женщину, достойную резца величайшего в мире художника… А для того, чтобы вы не сомневались в моих словах, я угощу вас зрелищем, достойным самого Цезаря… Я покажу вам божественное тело этой женщины!..

Муся слушала, холодея от смутной догадки, мелькнувшей в ее уме…

Щелкнул ключ в дверях – Смеловский был перед нею.

— Раздевайтесь, – тихо произнес он, – я приготовил для вас сильные ощущения… Не бойтесь, никто вас не узнает: я закутаю вам голову платком… Если же через пять минут вы не будете готовы, я приведу сюда вашего мужа… Итак, выбирайте…

Выхода у Муси не было. Она почти лишалась сознания.

Но минуты, когда нагая, потрясаемая дрожью, она стояла среди мертвой тишины комнаты с головой, плотно закутанной шалью, – эти минуты врезались в ее сознание каленым железом. Она чувствовала все сильнее сжимавшийся вокруг нее, излучавший пламя огненный круг; она ощущала, ощущала физически, как прикосновения, десятки устремленных на нее жадных, похотливых мужских глаз. Они ползали у нее по телу, как какие-то отвратительные, липкие насекомые.

И вдруг, как пощечина, как удар хлыста, ее ожгли слова, произнесенные задыхающимся от восторга голосом, слова циничные, грязные (она не смогла их повторить). И эти слова… эти слова произнес ее муж…

Она очнулась на кушетке. Смеловский стоял на коленях, мочил ей голову, давал нюхать нашатырный спирт. Руки ее тряслись.

Глаза их встретились. Муся долго смотрела на него. Он казался ей бесконечно далеким, далеким и маленьким, как будто она смотрела на него в бинокль. Стояла тишина.

— Муся! – простонал Смеловский. – Прости меня!.. Прости за все! Ведь, я люблю… Всегда, всегда любил тебя! Пойми – я схожу с ума! Ты победила меня… но я знаю, знаю, – ты тоже любишь меня! Муся, Муся, – лепетал он в бреду. Он был вне себя. Целовал ее руки, ноги…

— Уйдите, я оденусь, – сказала Муся.

Голова у нее кружилась, ее шатало, но, выпив воды, она смогла одеться и выйти в соседнюю комнату. Сдвинутые стулья, беспорядок на столе, опорожненные бутылки, окурки, заставили ее на миг содрогнуться, но потом каменное спокойствие овладело ею.

— Отвезите меня домой… Поговорим потом… – сказала она Смеловскому тем же мертвенным тоном. У нее была одна мысль: остаться одной, одной.

По дороге он снова молил ее, почти плакал. Она не слушала его, все повторяя:

— Завтра, завтра… – только, чтобы он оставил ее.

Дома она взяла ванну – ей казалось, что на ней какая-то липкая грязь, – и велела сказать мужу, которого еще не было, что нездорова и просит ее не будить. Потом она с наслаждением растянулась на кровати и, как в смерть, погрузилась в тяжелый сон.

Проснулась она на другой день около двенадцати и сейчас же позвонила мне.

Когда я пришла, она поразила меня своим странным спокойствием и с какой-то отрешенностью, словно не о себе, рассказала мне все.

— Ольга, – сказала она, кончив, – что сделала бы ты на моем месте?..

Признаюсь, Наточка, я не знала, что ей сказать.

— Самое лучшее, Муся, – сказала я, – рассказать все мужу. Он так тебя любит… он сумеет тебя успокоить, поймет тебя и… простит.

— Простит? – повторила она, усмехнувшись. – Но я не смогу его увидеть, Ольга… Нет, нет!..

Потом она долго молчала.

— Как я люблю жизнь, Ольга! – сказала она вдруг с каким-то горячим, внезапным порывом. – Солнышко люблю, весенние набухающие почки, всю эту невыразимую несказанную красоту… А жить, жить мне нельзя… – и, на мое протестующее восклицание: — Да нет же, я пустяки говорю… Не обращай внимания… Знаешь, мне нездоровится. Я лучше лягу, а ты приходи завтра, непременно, – слышишь? А теперь иди, прости, что оторвала тебя, – и она как-то торопливо попрощалась со мной.

— Неужели же ты ушла?.. Неужели оставила ее в такую минуту, Ольга?.. Это ужасно!

— Пойми, что я была ошеломлена, что я растерялась. Я и сама не могу себе этого простить…

На пороге меня точно ударило что… Я повернулась и бегом направилась обратно.

Когда я входила в прихожую, грянул выстрел, слившийся с диким криком прислуги.

Маленький браунинг был еще зажат в ее руке, когда я вошла. Она боком лежала на кушетке. Глаза были полузакрыты, лицо спокойно, и только расползавшееся на левой стороне груди пятно, – как будто распускался какой-то чудовищный алый цветок, – говорило о том, что произошло. Она не промахнулась…

Ната сидела, закрыв лицо руками, и худенькие плечи ее вздрагивали от потрясавших ее рыданий.

Ольга, молча, подошла к окну. Две продольные черточки около ее рта, почти незаметные обыкновенно, обозначились теперь резче, придавая жесткое, почти жестокое выражение ее молодому и красивому лицу.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1933. №12. С. 1-2, 4, 6, 8, 10.

ЖЕРТВА

Борьба была закончена. Энергия, настойчивость, невероятное душевное напряжение, поддерживавшие Анну в эти ужасные дни, надежда, отчаяние, – все это осталось позади. И единственной болью горело в душе воспоминание, которое, казалось, одно впитало в себя всю горечь совершившегося. На маленьком столике возле постели знакомые дорогие вещицы – часы с монограммой, портсигар, простенький, из карельской березы, ее подарок в одну из счастливейших минут их жизни, зажигалка и в узеньком бокальчике последний привет жизни, тепла, счастья, чайная роза, осыпающая прохладные свои лепестки. Смятая постель; откинутое одеяло лежит концом на полу; на подушках отпечаток дорогой головы, куда она хотела и не посмела зарыть свое лицо – последний живой, осязаемый знак того, что он был здесь, вот сейчас, недавно, еще живой, еще свой, земной и близкий… Последние следы судорожной борьбы, последний вздох отлетевшей жизни.

Что было дальше… Важно ли это? Что-то слепое, беспросветное, полное холода и отчаяния. В эти страшные дни одна мысль владела ею: уйти, остаться одной, чтобы понять, осознать до конца свою потерю, свое одиночество.

И вот этот час настал – она одна. Пустая квартира молчит, притаилась. Вещи такие одухотворенные раньше, такие любимые, теперь насторожились неприязненно, стали чужими, враждебными. Их душа отлетела вместе с той, любимой; они превратились в куски дерева, тканей, стекла, ничем не объединенные, ничем не связанные мертвые куски мертвого, неодухотворенного вещества. А ведь все это было когда-то ее миром, трепетным, радостным, живым… Она смотрела и не узнавала своей уютной квартиры: все стало иным, ненужным, непонятным.

Она подошла к окну, открыла его прямо в весенний неяркий вечер, медленно облетавший нежными красками далекого заката, в прохладу уже начавшего темнеть сада. Откуда-то донеслась музыка, далекие аккорды, звучавшие призывом, обещанием, возможностью чего-то. Полузабытая мелодия… Она силилась вспомнить. Что-то росло в сердце, какая-то вставала волна воспоминаний, смутной нежности, тоски… Не тот ли это вальс Шопена, который звучал в тот день, в тот вечер?..

Она вздрогнула и закрыла окно.

Машинально зажгла лампу у его стола, опустилась в его кресло. Как больно, как больно! Как страшно это одиночество!

Слез не было. Сухие глаза горели, смертельная тоска терзала Анну.

Она опустила голову, закрыла глаза. Слабость, переходящая в изнеможение души и тела, овладела ею. Незаметно она задремала, легко и тревожно.

Что это – сон или явь? Всплески реки… Бежит, струится прозрачное серебро. Яркий свет весеннего утра. Она идет по берегу, раздвигая влажные кусты. Какая легкость, прозрачность воздуха! Как легко, как странно невесомо ее тело! Оно, кажется, струится и течет, подобно этому тонкому, душистому воздуху ранней весны.

Внезапно еще ярче стал свет солнца, светлее заиграли струи реки. Не взглянув, не обернувшись, она почувствовала его присутствие. Он здесь, рядом. Его рука легла на ее плечо. От нее исходят тепло, покой. Какая полнота счастья – ни слова, ни вздоха!.. Вот так идти, струиться с весенним сладким воздухом вдоль счастливой, спокойной реки. Не в этом ли бессмертное блаженство, не здесь ли вечная радость безгрешных душ?

Свет краснеет, наливается теплом. Кругом надвигается, как бы окутывает нежно и властно мягким бархатом, ласковая темнота. Слегка потрескивают дрова. Жаром пышет алая пасть камина…

Анна видит себя сидящей в низком кресле. Счастливая усталость на лице, рука бессильно брошена вдоль тела. Она пьет это тепло камина, как густое красное вино, дарящее смутное, тревожное опьянение. Предчувствие счастья или воспоминание о нем? Но оно здесь, оно касается ее своим пушистым крылом, оно разлито в воздухе, оно дышит и струится вместе с жаром камина. Стоит протянуть руку… Протянешь – и она погрузится в мягкий шелк волос, одно прикосновение к которым – счастье.

И вдруг ей стало тревожно, тяжело. Невыносимая тоска охватила ее. Застонав, она открыла глаза.

На столе рядом – затемненный абажуром бессонный глаз зеленой лампы. Кругом – тишина, покой. Но это не тот покой полноты счастья, блаженный и истомный, – это покой конца, смерти, уничтожения. Сколько времени она спала? Час, два? Стрелка часов показывала восемь, без четверти восемь. Это положение стрелок заключало в себе угрозу, она ощутила его как предостережение, как смутный окрик: «Берегись!», – и в ту же минуту резкий звонок спугнул тишину притаившейся квартиры.

Звонок?.. В этот час, в этот день? Неужели она не может остаться одна? Ведь она просила не тревожить ее. И все же машинально, повинуясь привычке, она встала, и, скорбной тенью мелькнув по коридору и как бы подчеркивая своей бесшумностью всю нелепую резкость звонка, открыла дверь.

Сначала ей показалось, что там никого не было: так глубок был мрак,

так, казалось, нерушима была тишина приникшего к крыльцу весеннего вечера. Потом она разглядела смутную тень. Она как бы колебалась во влажном воздухе, не решаясь принять осязаемую человеческую форму. Потом ступила вперед и в нерешительности остановилась перед Анной.

— Вы? – прошептала она. – Зачем вы… Войдите.

Человек – это был мужчина с приятным открытым лицом – шагнул за ней в темноту неосвещенной прихожей. Молча, прошли они к тому единственному уголку этой квартиры, где еще теплилась жизнь, – к зеленому огоньку бессонной лампы на его письменном столе.

— Садитесь, – сказала она беззвучно. – Я не ждала вас…

Она бледно улыбнулась.

— Как могли вы придти после этого… после того, что случилось? При жизни Андрея вам нельзя было приходить сюда, а после, после… – она задохнулась и не кончила: сил не хватило произнести это страшное слово.

— Простите меня, Анна, – он говорил мягко, осторожно. – Я пришел к вам по желанию Андрея… Вы не знаете – я должен вам сказать. Незадолго до конца я был у него, – он сам вызвал меня, – и мы помирились.

Он взял ее руку в свои, и бессильно она отдалась его сдержанной ласке. Он помолчал.

— В тот вечер он чувствовал себя лучше. Но он знал, что умирает… Мы говорили долго и откровенно как в старые, давние дни. И он просил меня, просил меня… передать вам это. Понимаете, последнее письмо, которым он хотел загладить ошибку, боль… Прочтите сами – сказать трудно… Лучше вы сами возьмите…

Он путался в словах. Они падали, не взлетев, как подстреленные птицы. Что-то мучительное было в этом беспомощном трепыхании слов, бессильных передать что-то… Что-то страшное – она мгновенно почувствовала это.

— Какая ошибка? Какая боль?.. Вы говорите что-то странное, Николай. Дайте сюда, я сама…

Она протянула руку. Ее пальцы ощутили прохладное прикосновение толстой английской бумаги. Знакомое прикосновение – это была любимая бумага Андрея. Неужели?..

Оцепенение, апатия оставили ее. С лихорадочной поспешностью она раскрыла, почти разорвала конверт, развернула тугие листы толстой, негнущейся бумаги. Они были исписаны своеобразным причудливым почерком ее покойного мужа. Он посылал ей загробную весть; мертвый – еще хотел говорить с нею. Да, это он еще раз беседовал с ней голосом жизни, любви, страдания…

Подчиняясь внезапной слабости, она откинулась в кресле; рука с письмом бессильно опустилась на колени.

Прошло несколько минут молчания, тягостного как вечность. Наконец, она нашла в себе силы стряхнуть оцепенение. Она встала,

подошла к столу. Но по мере того, как ее глаза бежали по строчкам, спускаясь все ниже, потом поднимаясь вновь, – ее и без того бледное лицо становилось все бледнее: окаменелое, безжизненное лицо опустошенной души.

Вот что стояло в письме:

«Дорогая, по привычке произношу это слово, хотя уже давно потерял на него право. Сегодня ко мне неожиданно и, наверное, не надолго вернулись силы, и я решил выполнить долг чести, – вернее, простой честности, – который давно мучит меня. Когда ты будешь читать это письмо, меня уже не будет с тобой. Между нами ляжет то непонятное и бессмысленное, что зовут смертью. Для меня все исчезнет, все уничтожится, но ты… ты так молода еще, так полна жизни, что ты будешь жить без меня. Но пока ты любишь меня, мертвого, новая жизнь закрыта для тебя. Ты должна вычеркнуть меня из своей души, и я хочу помочь тебе в этом.

Я знаю – ты любишь меня, как только может любить нежная и верная душа. И я знаю, что, когда я уйду, мир для тебя потухнет, замолкнет, умрет. Ты заставишь мою тень идти с тобой по путям твоей жизни до последнего дня, ты воскресишь меня силой своей любви и мертвому мне будешь верна, как была верна живому.

Этого не должно быть, слышишь? Если при жизни я крал твою любовь из слабости, из лени, после смерти я должен, должен освободить тебя.

Ты должна это знать… Умирая, я не люблю тебя. Умирая, я тоскую не по тебе, я хочу, чтобы другие руки закрыли мне глаза, другие губы коснулись последним поцелуем моих губ.

Забудь меня – я недостоин тебя. Вычеркни меня из своей жизни, забудь меня. Дай мне счастье знать, что ты опять будешь счастлива, что ты будешь любить, жить…

Ты узнаешь сейчас… Первые годы, проведенные с тобой, были годами упоительного, необычайного счастья. Они навсегда останутся между нами. Не омрачай памяти о них злобой или горечью. Но потом… потом груз твоей любви, твоей преданности стал тяготить меня. Я – художник, моя жизнь вся была вспыхивающей, переливающейся гаммой настроений. И я никогда не мог пройти мимо красоты, не подчинившись хотя бы на миг ее власти.

Она была рыжей, изменчивой и опасной как пламя. Что-то вакхическое было в движениях ее прекрасного тела. Она была из тех женщин, которые не забывают, которые берут навсегда и целиком. Ее звали Магда Ольсен – норвежская художница. Я хочу, чтобы ты знала ее имя: быть может, когда-нибудь, где-нибудь, вам суждено встретиться…

Ты помнишь душный вечер, весь насыщенный предгрозовым

томлением? Молнии, шум встревоженных деревьев?.. Ты не могла спать и ночью вышла в сад. У фонтана мы столкнулись, и моя бледность поразила тебя. «Сегодня гроза, – сказал я. – Мне жутко от моей любви к тебе, Аня. Она – как гроза: гибельная и прекрасная». Так знай: в тот день я впервые изменил тебе. Я думал о Магде, я томился, я звал ее. Мне было тяжело, что ее нет рядом со мной, что я не могу целовать ее рыжих волос. Я сходил с ума от тоски по ней…

А ты помнишь другой вечер, когда мы слушали с тобой вдохновенную музыку Крейслера? Ты повернула ко мне лицо, полное экстаза, и я ответил тебе взглядом, в котором ты прочла любовь. Ты потом говорила, что это была одна из священных минут твоей жизни… Ты должна знать: в тот миг моя душа была с другой. Я трепетал от предчувствия близкого свидания, я молился ей, я звал ее и любил ее, только ее, ее одну.

Перед лицом смерти я не могу молчать. Мои последние годы были наполнены Магдой, ее любовью, ее ласками. А ты? Прости меня… Я давно уже не люблю тебя…

Что же еще? Довольно, я думаю, – все сказано. И все это неповторимо и невозвратно. Забудь меня. Убей образ мой, вытрави память обо мне, отрави самый источник воспоминаний и начни жизнь сначала».

Последние строчки были чуть видны – силы больного, видимо, быстро слабели. С трудом можно было прочесть подпись и слово «прости».

Молчание росло, давило, становилось невыносимым. Николай шевельнулся в кресле, кашлянул. Анна взглянула на него невидящими глазами, вздрогнула. Лицо исказила страшная гримаса. Она засмеялась.

— Конец одной любви, – проговорила она, наконец, задыхаясь. – Не правда ли, оригинально?.. Вечная, святая, чистая любовь, родство душ, общие интересы! А на деле?.. Какая ложь, какая низость!..

Смех перешел в рыдания. Она комкала, рвала на части письмо, она топтала ногами клочья бумаги. И когда, наконец, обессиленная упала в кресло, Николай взял ее руки в свои и долго и нежно говорил с ней как с несчастным, больным, страдающим ребенком и, когда она затихла, взял ее на свои сильные руки, перенес на постель и всю ночь, при бледном свете ночника, просидел у ее изголовья.

После этой страшной ночи Анной овладела какая-то лихорадка, какое-то веселое отчаяние. Ведь сам Андрей хотел, требовал, чтобы она жила и наслаждалась жизнью. И Анна с головой окунулась в водоворот чувств, лживых и бесплодных, закружилась в вихре страстей, обманчивых, тревожных и призрачных.

Любовь Николая не нашла в ней ответа. Она сошлась с ним из скуки, из презрения к жизни, из холодного равнодушия к своей судьбе. Она знала цену любви, она ничему больше не верила. Но что-то в чувстве Николая шевельнуло в ней былую нежность. О, нет, это была не любовь – навсегда

изгнала она это чувство из своей жизни. Но какая-то частица того стремительного, женственного и нежного существа, каким была Анна в той, другой своей жизни, сказала ей, что дольше мучить его нельзя, что она должна отпустить его, что жестоко губить вместе с собой и этого преданного, боготворящего ее человека.

Их последний вечер, когда она сказала ему, что оставляет его, был мучителен для обоих. Ресторан сверкал и шумел. С эстрады неслись звуки джаза. В их неистовом томлении, казалось, вскипала и переливалась через край вся тоска этого дымного вечера, освещенного бесстыдными ночными огнями.

Анна медленно тянула ликер, следя равнодушными глазами за проходившими мимо них танцующими парами. Она знала, что была очень хороша в тот вечер. Глаза мужчин, за минуту рассеянные и небрежные, встретив ее взгляд, вдруг вспыхивали, становились внимательными, загадочными, что-то обещающими. И женщины смотрели на нее ревниво и тревожно. Но все это было ей глубоко безразлично. Она уже не считала себя живым членом этого кипящего, смеющегося мира: за его беспечной улыбкой виделся ей страшный оскал смерти, обмана, лжи.

Она взглянула на Николая. Все-таки это – единственное существо на земле, которое еще что-то значило для нее. Но любовь? О, нет, с нее довольно. Такие уроки не проходят бесследно… Она сказала:

— Николай, я много думала над нашими отношениями, и я решила, что мы должны расстаться… Я не люблю тебя, да и никого не люблю и не смогу полюбить. Но с тобой у меня связаны воспоминания юности, всего, что было у меня самого дорогого… – она остановилась.

— Анна, – сказал Николай, – ты не понимаешь. Я ничего не жду от тебя. Я только хочу сделать тебя немного спокойней, счастливей. Примирить тебя с жизнью… – его голос оборвался.

— Ах, к чему все это! – голос Анны звучал нетерпением, тоской. – Я – мертвый человек. Я еще гожусь для минутной забавы, но связать навсегда свою жизнь с тобой… Нет, нет! Ты сам скоро поймешь, что это – ошибка, что ты губишь свою жизнь, а я… прости меня, мне даже легче будет одной.

— Анна, позволь мне быть с тобой! Ты знаешь – я всегда любил тебя. Позволь мне ухаживать за тобой, быть с тобой рядом!..

— Нет, – сказала она, – это конец… Я не хочу ничего, что напоминало бы мне о прошлом. Прости меня, забудь меня. А я уж как-нибудь дотащу свою жизнь до конца.

Он с тревогой посмотрел на нее.

— Но ты обещаешь мне, что ты… что ты… ничего над собой не сделаешь?

Она холодно засмеялась. Смех, не отразившись в глазах, ни на минуту не смягчил их жесткого взгляда.

— Это я тебе обещаю – будь спокоен! Прости меня… Я хотела бы подарить тебе что-нибудь на прощанье. Но даже нежности простой я не могу тебе дать. Отойди от меня: я теперь «табу» для всего живого…

Она попыталась улыбнуться. Тонкие руки сжались в тоске. С невыразимой печалью смотрел на нее Николай.

— Твоя воля для меня закон, – сказал он, наконец. – О себе я не говорю: как-нибудь проживу. Но я всегда буду любить тебя, Анна. И ты должна обещать мне, что, если тебе нужен будет человек, просто человек, чтобы помочь тебе, быть с тобой, – ты напишешь мне, позовешь меня. Обещай мне это!.. Я буду ждать. Помни – моя жизнь принадлежит тебе.

Анна не могла говорить. Молча кивнула она головой. Они вышли на улицу. Автомобиль довез их до квартиры.

— Прощай, Николай, прости меня, – сказала Анна и, наклонившись, поцеловала его в губы. Он обнял ее с последней нежностью. Минута прошла в молчании.

— Помни, что обещала! – произнес он неверным голосом.

***

После разрыва с Николаем Анна уехала заграницу и прожила там несколько лет, праздных, шумных и безразличных. У нее были романы. Говорили даже, что она искала их, хотя никто не посмел прилепить к ней кличку искательницы приключений: слишком уж не вязалась она с этим бледным, холодным лицом, носившим на себе печать обреченности.

Но, не зная счастья, она никому в свою очередь не могла подарить его. Ее странная, больная красота привлекала к ней мужские сердца, но счастья она не дала никому. Говорили, что она погубила своей любовью одного русского: подарив ему несколько дней счастья, она бросила его легко и небрежно, вышвырнула из своей жизни как вещь… Говорили, что из-за нее отравилась жена видного дипломата, атташе итальянского посольства при английском дворе… Говорили… да, впрочем, вряд ли нужно повторять все это.

Достаточно сказать, что на четвертом году своей безумно несущейся жизни Анна бросила все: поклонников, свет, успехи, – и зарылась в глушь нормандской деревушки, где среди бедных, простых людей спокойно и скучно текла ее одинокая жизнь.

Близился вечер. Холодные волны набегали на низкий песчаный берег. В последний раз взглянув на море, такое пасмурное в этот предвечерний час, Анна направилась домой.

У домика ее хозяина стояло несколько человек, о чем-то озабоченно переговариваясь.

— Мадам, – сказал один из них Анне, – моей жилице очень плохо. Не пойдете ли вы посмотреть?.. Не дай Бог, умрет еще – хлопот не оберешься.

— Ваша жилица? – повторила Анна. – Разве здесь есть еще кто-нибудь из города, кроме меня?

— Художница одна… Она здесь всего несколько дней. Рисовать приехала… Да вот простыла что ли где: уж очень плохо ей, – совсем помирает…

— Где она? Покажите мне ее, – сказала Анна. – Хотя я совершенно не знаю, чем могу помочь…

Они вошли в низенькую комнату бедного жилища. На кровати лежала женщина. Худое лицо, на щеках румянец лихорадки. Глаза закрыты. Рыжие волосы разметались по подушке как неистовая пламенная грива. Тонкие руки раскинуты. Вся она, как фарфоровый светильник, в котором горит, угасая, пламя.

Анна взяла руку женщины, считая пульс. Да, домашними средствами здесь не обойтись, – пульс был бешеный, прерывистый и тревожный. Что было делать?.. Анна решила послать за доктором в город, а сама осталась до его приезда у постели больной.

Она смотрела на ее нежное, тонкое лицо, на ее огненные разметавшиеся кудри, на нежные руки, прозрачные и бессильные. О, да, это была женщина, созданная для любви! И та… та тоже была такой прекрасной, – рыжей, изменчивой и опасной как пламя. Ах, нет, это нужно забыть, забыть…

Усилием воли она подавила мучительное воспоминание.

Больная застонала. Слабо пошевелились бледные губы. Открыла глаза, что-то пробормотала: видимо, начинался бред. Невольно Анна прислушивалась.

— Не оставляй меня, дай мне свою любовь… – шептала больная. – Ты, мой единственный, пожалей!.. Оставь ее, забудь!.. – потом следовал бессвязный лепет, похожий на мольбу. И снова: – Андрэ, Андрэ, полюби меня! Она не узнает… О, не мучь, пожалей!.. О, как ужасно, как больно!..

Потом слова слились в мучительное бормотанье. Несчастную терзали бредовые видения. Она заметалась в постели, видимо, жар усилился.

При первых звуках знакомого имени Анна вздрогнула. Неужели судьба свела ее с этой женщиной?.. Но разве так говорят счастливые любовницы? Разве это голос торжествующей, разделенной любви? Нет, не может быть, это – ошибка… простое совпадение. И все-таки, и все-таки…

Она оглянулась, как бы ища доказательств. На столе стояла чья-то карточка. Перед ней – пучок увядших цветов…

С картона на нее смотрели глаза Андрея. Поперек карточки шла надпись: «Магде Ольсен, товарищу по искусству».

Больная бредила, молила, плакала. Анна в оцепенении сидела рядом. Освещалось все темное и непонятное, что было в ее прошлой жизни, многое становилось ясным, отчетливым. Но поверить окончательно, разрушить долголетний обман она еще не могла.

Приехал доктор. Анна уступила ему свое место около больной.

Ночью она почти не спала. Сожаление, стыд, печаль мучили ее. Утром она послала телеграмму, а когда через несколько дней знакомая фигура с чемоданом в руке подошла к ее дому, – не выдержав, она разрыдалась впервые после многих лет и почти упала на руки Николая.

— …Это была верная и нежная душа, – говорил Николай, – и он любил тебя, Анна, до последнего вздоха. Но мысль, что после его смерти ты останешься одинокой, что и для тебя кончится жизнь, мучила его.

«Она так молода! – говорил он. – Ее, быть может, ждет еще столько прекрасного… Но я знаю, что она никогда не забудет меня для другого. Мне больно думать об этом, Николай. И вот я решил… Ты давно ее любишь. Вы еще можете быть счастливы. Но для этого я должен дать ей право забыть меня. Я напишу ей, ты передашь ей письмо после моей смерти. Я скажу, что я не люблю ее, что я изменял ей». Тут же при мне он потребовал бумагу и написал тебе… если бы ты знала, Анна, – было страданием смотреть на него в ту минуту… Когда он кончил, он несколько минут лежал молча, как будто собирался с силами для последней жертвы. «Ведь это похоже на самоубийство, – сказал он потом, – да и на убийство одновременно. Я предаю самое дорогое для меня, самое сокровенное: наше прошлое…», – он говорил как в бреду. – «О, как это мучительно умирать и знать, что ничего, ничего от тебя не останется, – даже тени, даже дуновения нежности в сердце любимой!.. Но я должен сделать это, должен! Клянись мне, Николай, что ты никогда не скажешь ей, не намекнешь. Я знаю – первые дни будут ужасны, но потом, потом… жизнь возьмет свое…», – он закрыл лицо руками и зарыдал, как ребенок.

Николай замолчал. Анна сидела с мокрым от слез лицом.

— Какая ошибка! – прошептала она. – Какая жертва, безумная, бесцельная! О, если бы ты знал, Андрей, если бы ты мог слышать меня!..

Они замолчали. Шумело море, и в волнах прибоя слышались им голоса любви, голоса вечности и безмерной людской печали.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1933. №45. С. 1-2, 4, 6, 8-9.

КАТЯ

Медленные раздумья... Бесконечные ночи, сжигаемые лихорадкой. Редкие письма от Кати… Потом еще глубже, полнее — тишина одиночества. И не то, чтобы тоска: нет, этого не было, он был еще слишком молод, чтобы знать ее ядовитое очарование; – а скорее какое-то состояние неразрешимости, вопроса: что ж, и это жизнь?.. жизнь?.. А дальше?.. И – ненахождение ответа.

Такова была Федина жизнь.

А на другом конце вселенной, за пределами досягаемости, жила Катя. Жизнью пестрой и беспокойной, отдельные брызги которой долетали и до него, преодолевая враждебное расстояние. Во всем, во всем, она была так отлична от Фединой и так мучительна для него своей непонятностью, тревогой, движеньем...

С детства и до настоящего дня Катя была как-то неразрывно связана, сплетена с его жизнью. Ребенком, просыпаясь в залитой солнцем детской, он думал: «Катя!», – и все вокруг наливалось для него тайным смыслом, тайной радостью.

Найти для Кати маленькую черепаху и видеть, как Катины глаза округляются от ужаса и восторга... Сквозь заросший бурьяном пустырь, обжигаясь крапивой, провести ее в ему одному знакомое местечко, где быстрый ручей образует в песчаном углублении прозрачный водоем, куда так приятно погрузить разгоряченное летним жаром и волнением лицо. И слышать, как Катя тихонько повизгивает от удовольствия, брызжа себе в лицо ледяными струями. И еще: взяв Катю за руку, провести ее вечером, когда в доме такая тишина, по лунной дорожке, ложащейся через высокие окна по паркету зала, и шепотом с бьющимся сердцем говорить, что она ведет туда, в голубую темноту, в мир счастья и сказки, куда он возьмет Катю с собой навсегда, когда они будут большими... И еще, и еще – забившись в угол за диваном в гостиной, плакать первыми мужскими – в десять лет – слезами от первой измены, от первой боли, когда Катя – Катя! – убежала катать серсо со своим великолепным столичным кузеном.

Катя – всегда и везде, изменчивая, неуловимая, несравненная Катя. На первом гимназическом балу в желтом платье стремительная, как весенний ручей, вся в отблесках, в игре, в огне какого-то неведомого пожара... «Катя, последней вальс со мной!» – «Но, я уже обещала...» – «Но Катя, Катя…». – «Нет, нет, и не проси, не могу, не могу...»

А потом на сонной улице по дороге домой Катя тихая, другая, с потемневшими глазами... «Федя, милый, прости!..» И поцелуй нежных полудетских губ, еще не знавших страсти.

Москва... Катя – курсистка... И снова кружатся дни и несутся вдаль под властью непреодолимого очарования.

На концерте вдвоем... Как он счастлив! Сколько ему нужно сказать ей!.. Такого важного, решающего. И вдруг какое-то неуловимое движение... краска радости... на нежных щеках… Блеск в глазах.

— Федя, ты меня сегодня не провожай. Хорошо? Я все, все потом тебе расскажу. Милый, милый Федя!

Он все помнит: и слезы, и счастье, измены и разочарование в целой жизни. Все пережито, все знакомо. И боль... и редкая, такая редкая, радость...

И разве он может когда-нибудь забыть солнечный, весь в веселых

зайчиках день, и Катю, Катю... Она поцеловала его в губы, она сказала: «Федя, милый…Мне кажется, кажется... Я скоро тебе что-то скажу... что-то хорошее, хорошее… Ты будешь рад, ты даже, может быть, будешь счастлив. Очень! Подожди еще крошку, еще самую капельку...»

Правда, он ждал напрасно, – она, вероятно, просто забыла, а он не хотел, не мог напомнить.

Но разве радость может длиться? Разве бывает полное счастье? И разве это нужно? Боль и радость – самый острый напиток для жадных человеческих уст.

И чем дальше, тем больше неудовлетворенности, тем скупее, а потому острей вспышки радости.

Спокойный, слегка застенчивый (такой привычный, свой), он не был победителем, а для женщины с воображением и темпераментом, в какую вырастала – и выросла – Катя, он не мог превратиться в героя. Друг – да, нежный, преданный и очень по-своему нужный. В какие-то периоды затишья, отдыха от погони за жизнью, она искала его общества с почти чувственной нежностью. Она позволяла ему целовать себя, она даже мечтала вслух, что когда-нибудь, – быть может, совсем скоро, – они поселятся вместе в глуши на берегу светлого ручья... О, как он помнит долгие часы, проведенные наедине в его студенческой комнате! Бесконечные прогулки по вечерним, пустеющим бульварам... Катя, то и дело отводя с лица своей маленькой рукой прядь непослушных волос, говорит, смеется:

— Федя, Федя, у тебя бывает?.. Да нет, ты не знаешь… тебе не понять... когда сердце вдруг обрывается, замирает от счастья... Восторг, тишина и – полет… Ах, знаешь, знаешь, вот умереть в такую бы минуту! Что лучшего может дать судьба? Ведь счастливой жизни не бывает – так пусть будет хоть счастливая смерть в момент полноты, совершения... Федя, Федя, какой ты мальчик!.. Ты ничего не знаешь. Смотри, я младше тебя, а мне все, все понятно... И я знаю, что жизнь бывает страшна и прекрасна...

Да, Федя – мальчик, Федя не понимает... Но вечером поздно, проводив Катю домой, он плачет в своей комнате, прижимая ладони к лицу, вдыхая аромат, оставленный в них прикосновением Катиной руки. О, эти слезы, эти слезы!.. Их боль, их радость... Из камнем ставшего тридцатилетнего сердца никакое чудо не исторгнет больше этих слез, этих слез, которыми причащается любви неискушенная юность.

Годы идут... и опять, и везде Катя, одна только Катя. Ах, он не знает, – («И что в ней красивого? – говорят, пожимая плечами, дамы. – Самая ординарная наружность») – он не знает, чего ищет он в ее изменчивых глазах, в ее улыбке, то грустной, то насмешливой, в быстрых, угловатых движеньях ее мальчишеской фигуры. Он не знает, да разве и нужно – и можно – знать, когда печаль, когда счастье почти невыносимы, и радостно принимают руки тяжелую ношу неразделенной любви?

Но он знает Катю и другой, совсем другой... Он помнит сумерки и тишину зимнего дня... Диван, пестрые подушки. И Катю в слезах, сжимающую тонкие руки.

— Федя, Федя, пойми... Мы никогда не увидимся больше, никогда! У меня не осталось ни гордости, ничего. Даже боль от него дает мне радость. Но не видеть, не видеть никогда... Какое слово! Вся жизнь впереди... – ни-ко-гда.

— Катя, дорогая!.. – но губы дрожат, слова не слушаются, да и нет таких слов. И остается одно: долго, безнадежно целовать эти бессильные руки, бормотать бессвязно:

— Он вернется, поверь, потерпи...

— Нет, Федя, ты не понимаешь... Ты не такой. Это страданье почти непереносимо... От него сходят с ума, топятся, стреляются... Ты не понимаешь...

Не понимает Федя, Федя?..

О, эта жизнь, жизнь, зачарованная, застывшая. Разве меняется сердце? Пусть мелькают дни, пусть Федя сменил гимназическую куртку на студенческий мундир, и студенческий мундир на безличный эмигрантский пиджак; пусть уже не так упрямо завивается пшеничный хохолок легких волос над высоким лбом, несколько напряженнее стал взгляд чуть близоруких глаз, да еще легкие тени легли на все еще юношески сухощавое его лицо, – между ним, теперешним Феодором Ивановичем, сжимающим в тонких руках голубые листки, и тем безусым Федей, Катиным пажом и кавалером, всего лишь пятнадцать лет, невесомых, почти незамеченных, и так легко, подняв, связать оборванную нить неудавшейся жизни.

Голубые листки, знакомый почерк... И призыв, которого он ждал, бессознательно, столько лет, столько лет...

«Федя, милый Федя!.. Только теперь, когда мне скоро тридцать, я поняла, как я устала... и как я одинока... И как я люблю тебя, Федя! Да, люблю. Я смею сказать это слово сердцем, тоскою моей по тебе. О, Боже! Сколько сил погибло, растрачено, в погоне за миражом в пьяной чувственности, в страстном угаре. Оборачиваясь назад, я вижу шалую девчонку с горящими глазами, с жадностью в сердце, которая, задыхаясь от торопливости, хватала на лету жизнь. Но она страдала, она тоже страдала, Федя. Она знала эти смертельные укусы ревности, неутолимую боль раздавленного самолюбия, тоску обмана и одиночества... О, Федя, Федя! Но ведь ты, ты был всегда со мной рядом. О, как мне больно, как мне стыдно сейчас! Как я мучила тебя и как, несмотря ни на что, все время любила. И как слепая, как слепая, не находила дороги... Нужна ли я тебе еще? Любишь ли ты меня? Любишь ли...»

«Люблю, люблю, люблю... Приезжай, приезжай, приезжай...», – выстукивает телеграф и вместе с ним Федино сердце.

Они не видались пять лет. И еще не увидятся двадцать три дня... Двадцать три! И с каждый часом все ближе и ближе свиданье. Вот уже получены и отправлены последние телеграммы, вот уже пора укладывать чемодан и ехать на вокзал. И вот уже поезд мчит его к тому приморскому городку, где должна произойти встреча. Навсегда. На жизнь...

В купе вагона Федя невидящими глазами смотрит на пустые поля, одинокие деревья, бегущие мимо. Он думает о Кате. Какой стала она теперь?..

Но разве он может ее не узнать? Разве могли измениться ее живой взгляд, легкие, как бы летящие назад со лба, светлые волосы... звенящий смех, тонкие руки... Весь образ ее, полный вечно женственного, неотразимо для него пленительного. Он знает – она все та же, та же...

В шум вокзала он сошел не торопясь, спокойно. Он знал: <…>, — пусть длится, длится волшебное мгновенье ожидания счастья. Не в нем ли высший возможный предел?

Он шел по улице, сняв шляпу, подставив лоб веселому ветру.

— Какое лицо, посмотри! – сказал один прохожий другому.

Но он не слышал, не обернулся.

Какая-то дама, остановившись, долго смотрела ему вслед. Теснило грудь, и тяжело было дышать. Это – от счастья: он не привык к нему.

У ближайшего гаража он взял машину. О предстоящей ему двадцативерстной поездке по гладкому, как пол, шоссе к тому дачному местечку, где должна была ждать его Катя, он думал с наслаждением: путь к счастью. Не надо, не надо торопиться! Оно пришло, оно пришло к нему, наконец! Навсегда, навсегда! Но разве счастье бывает навсегда?.. Бедный Федя! Он не знает, что такое счастье, да и кто знает, кто скажет...

Шофера он усадил сзади, чтобы быть одному. Привычным движением нажал стартер, перевел рычаги… Сначала плавный бег по асфальту темноватых улиц города. Потом внезапный поворот, ослепительный всплеск моря, как радостный цветовой аккорд. И – сладкий ветер, опахнувший лицо. И даль… И в дали – Катя, Катя... и жизнь.

Федя нажимает акселератор. Машина мчится вперед, скорей, все скорее... О, эта синева, это упоительное движенье! Какой простор, какой восторг! От него тесно усталому сердцу, и тяжело дышать.

Катя, Катя!

— Эй, послушайте, такая скорость запрещена. Послушайте, мистер...

На заднем сиденье волнуется шофер. Какой странный, пассажир!.. Он не отвечает. Он привстал на своем сиденье. Выпустил руль. Широко раскинув руки, он, казалось, обнимал этот прекрасный мир, идущий ему навстречу. О, восторг, восторг!

Потеряв управление, автомобиль слепо мчался вперед. На повороте, каким-то чудом не перевернувшись, скатился с высокой насыпи шоссе, и по золотому песку пляжа въехал в море и – остановился...

Склонившись на рулевое колесо, заливаясь кровью, Федя умирал. И с неостывшим восторгом в потухающих глазах еще шептал:

— Катя, Катя!..

Сияло море. Легкий ветерок принес откуда-то дыханье неведомых ароматов – и замер.

В светлой комнате маленькой приморской дачки плакала Катя, зарывшись головой в подушки. А по полу разлетались легкие, голубоватые листки недописанного письма:

«Федя, прости, опять... в который раз? Мы никогда...»

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1937. № 27. С. 1-2, 4, 6.

Наталья Семеновна РЕЗНИКОВА

(1912? – 1990-е?)

Поэтесса, прозаик и критик Наталия Резникова (в замужестве Тарби, во втором – Дерюжинская) родилась 7 июля 1912 г. (по другим сведениям в 1908 г., в 1911 г.) в Иркутске в семье присяжного поверенного. В 1921 г. вместе с родителями эмигрировала в Харбин. Окончила русскую гимназию и Юридический факультет в Харбине, который окончила в 1932 году. Участница литературного кружка «Молодая Чураевка». Печаталась в журнале «Рубеж», где также вела отдел библиографии. Участница коллективных сборников: «Лестница в облака» (1929), «Семеро» (1930), «Багульник» (1931), «Излучины» (1935). Автор романов: «Измена» (1935), «Побежденная» (1937); сборника рассказов «Раба Афродиты» (1936); поэтических сборников: «Песни земли» (1938), «Ты» (1942) и др. книг. В начале 1940-х гг. переехала в Шанхай. Работала в газете «Шанхайская заря». В 1948-1951 гг. жила в Копенгагене и в Лондоне. В 1951 г. переехала в Нью-Йорк, где и скончалась в 1990-х гг. в приюте для слепых.

Ист. и лит.:

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 457-458.
Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд. М., 2001. С. 691-692.
Сентянина Е. Харбинские писатели и поэты // Рубеж. 1940. № 25. С. 10.
Смотр женских литературных сил эмиграции Дальнего Востока // Рубеж. 1935. № 47. С. 25.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 254-255.

ПОЛУКРОВКА

Жанно привезли в госпиталь «Святой Терезы» утром, а вечером положили на операционный стол. Операция пересадки кожи прошла удачно.

Это мне рассказала сестра Анжела, забежавшая как обычно перед ужином в мою палату. Она пришла прямо из операционной; рукава ее просторной монашеской одежды остались засученными, полные отвисшие щеки, подвязанные белой косынкой, горели. Пухлой рукой, покрытой темными пятнами веснушек, поправила она сползавшие на кончик утиного лоснящегося носа очки в железной оправе, вздохнула и села на край стула. Я видела, что она возбуждена, утомлена и хочет как можно скорее поделиться со мной историей нового пациента. Сестра Анжела всей душой была предана больным, вникала во все подробности их жизни и не особенно печалилась тем, что мирская суета занимает ее все время и мысли, уверенная, что стоит лишь помолиться, и «Бог простит».

Я узнала от нее, что новому пациенту только девять лет, что он – сын фабриканта Чжан-фу и француженки (последнее обстоятельство особенно волновало старую монахиню), что живут они в провинции вблизи Шанхая

и прислали мальчика одного на операцию, так как ожог у него на груди покрылся диким мясом и не заживал…

— Они католики, – сообщила сестра Анжела, – и очень доверяют нашей монастырской больнице и доктору Клермон. К тому же мадам ждет младенца, а г-н Чжан-фу слишком занят и не может оставить фабрику.

— Но сам мальчик? Он очень плакал?..

— Жанно? Это настоящий чертенок, гордый и упрямый! Ни одного стона, ни одного вопроса. Зубы сжал, кулаки сжал и молчит. Доктору лишь сказал: «Пожалуйста, скорее!..».

— Он говорит по-французски?

— Как француз!.. Никакого смирения… – покачала она головой и поправила спадавшую на плечи косынку. – Он лежит в палате № 7. Если хотите, навестите его, –предложила сестра Анжела, бросила взгляд на часы, ахнула, вскочила и буквально выкатилась из комнаты.

Я вышла за ней в коридор и направилась по направлению к названной палате. Дверь была полуоткрыта, и до меня ясно донесся стон. Я остановилась, прислушалась. Видимо, мои шаги были услышаны: детский голос позвал:

— Ама!..

Я вошла.

Жанно лежал на спине, одеяло покрывало только ноги, вся же верхняя половина тела была забинтована и открыта. Его широко раскрытые черные глаза лихорадочно блестели.

— Пить… – произнесли сухие губы по-французски.

Я взяла стеклянный чайник с ночного стола и дала ему несколько капель воды. Он чуть улыбнулся и закрыл глаза. Прямые, как щетки, длинные ресницы бросили темную тень на бледные с желтизной щеки.

— Тебе больно? – спросила я и погладила кругло подстриженные, закрывающие лоб волосы мальчика.

— Мне сделали укол, – объяснил он коротко и снова закрыл глаза.

Я безмолвно опустилась на стул, стоявший рядом с его постелью, и стала тихонько поглаживать его жесткие, как конский хвост, прямые волосы и горячую нежную щечку. В его правильном, еще детски округлом личике не было ничего типично китайского, разве что иссиня черные, смело раскинутые брови и кожа той идеальной глянцевитой гладкости и янтарной чистоты, что свойственна лишь китайцам.

— Маман… – прошептал он, словно во сне. — Вы – как маман…

Я ничего не ответила, я сидела возле него до тех пор, пока он не уснул.

***

На следующий день в полдень я пошла навестить Жанно.

Его палата была вся залита солнцем, но он лежал также неподвижно,

как накануне, и почему-то напомнил мне попавшую в клетку пичугу. Круглые черные глаза его, в которых совсем неразличим был зрачок, встретили меня равнодушно.

— Добрый день, Жанно! Ты меня помнишь? – спросила я, подходя к постели.

— Конечно, – ответил он спокойно, но выражение его лица не изменилось.

— Я принесла тебе шоколадку. Хочешь?

— Нет, – отвернул он от меня голову. – Я хочу есть. Про меня забыли! – прибавил он оскорбленно.

— Не может быть. Почему ты не позвонишь и не попросишь сестру Анжелу?

— Звонок отрезали, – ответил мальчик, все так же отвернувшись и не глядя на меня. – Сестра Анжела сама ножницами его отрезала…

Я взглянула на стену. Действительно, возле кровати болтался перерезанный провод; кнопки звонка не было.

— Ты, наверное, шалил?

— Нет… — Он поколебался. — Я звонил долго, нажал и держал… Никто не шел, а я все держал кнопку. Потом прибежала ама, рассердилась и нажаловалась. Сестра Анжела сказала: «Теперь жди, когда о тебе вспомнят! А будешь шуметь, – так вообще к тебе никто не придет!».

— Это она так, чтоб тебя напугать, – успокоила я. – И потом, ведь тут поблизости я.

— Вы тоже не шли, – сказал он с упреком и посмотрел на меня.

Я взяла его руку. Рука была шершавая, мальчишески крепкая, с черной грязной каймой под ногтями.

— Не уходите! – попросил он вдруг испуганно. – Вы – как мама, – повторил он. – Вы тоже француженка?..

— Нет, но я жила во Франции. Я – русская.

— Я тоже хочу во Францию… Я люблю маму и Францию!

В эту минуту в комнату с подносом в руках вошла Денис. Сухонькая, скуластая китаянка с точно такими же, как у Жанно, жесткими прямыми, коротко подстриженными волосами. Она выглядела необычайно угрюмой.

— Вот видишь! А ты говорил, что о тебе забыли, – упрекнула я и тут же заметила, как изменилось выражение лица Жанно: оно стало надменным и злым.

Денис поставила поднос с завтраком на столик и подошла к мальчику с чашкой бульона.

— Я не хочу, чтобы ты меня кормила, – сказал аме Жанно на своем безукоризненном французском.

Она быстро и сердито ответила ему что-то по-китайски и поднесла ложку с бульоном к сжатым губам ребенка. Он отвернул голову, и бульон пролился на бинты.

Денис, окончательно выйдя из себя, что-то крикнула ему еще, но Жанно словно не понимал, что ему говорят.

Я решила вмешаться.

— Я покормлю его сама.

— Очень плохой мальчик! – сказала мне Денис на своем ломанном французском и вышла. Мы остались одни.

— Грязная китаянка! – проворчал Жанно и стал жадно есть. Я молча кормила его, но он, видимо, игнорировал мое недоумение и, скушав все, что ему полагалось, устало вздохнул: – Не уходите!..

— Ты плохо себя ведешь, – покачала я головой. – Вот, наверное, потому тебя и обварили, потому что ты был дерзким и непослушным.

— Нет, – возразил он, – просто я бежал по коридору и столкнулся с нашей амой; она несла миску с бульоном, – ну и бульон весь на меня вылился. Сюда, – показал он на грудь.

— Очень было больно?

— Я не помню.

Мы опять замолчали; он не по-детски задумался, а я вдруг ясно представила себе большой, китайского стиля, дом за высокой оградой, окруженный садом, где задумчиво зеленеют пихты, бьют в камнях искусственные ключи, где разбиты красные беседки, напоминающие причудливостью своих крыш знаменитые пекинские храмы, которые мы все видели на картинах. Перед моими глазами встал угрюмый дом с темными длинными коридорами, внутренними лестницами, парадными комнатами, обставленными черной резной мебелью, где на стенах висят красные атласные плакаты с иероглифами, шелковые панно, по которым тушью ажурно и тонко вырисованы озера, пагоды, лотосы… Курительные приборы из нефрита и тяжелые вазы ручной работы не делают уютнее этих комнат, где паутина не снята ленивой прислугой, где сладковато и душно пахнет опиумом, пробивающимся из щелей нижних комнат, в которых живут старики, где бесцельно и устало бродит хрупкая светловолосая француженка, отяжелевшая от беременности с беспомощно опущенными нежными руками. Я ясно увидела, как неповоротливая ама на маленьких забинтованных ножках в ватных штанах и атласной курме несла особо приготовленный на пару́ золотистый куриный бульон, от которого шел пар, потому что в доме было холодно, и бульон только что кипел. Мне казалось, я слышу ее возглас в ту минуту, когда маленький чертенок попал ей под ноги, и из рук ее вылетела и разбилась миска. Я слышала даже, как всплеснула руками женщина с большим животом и упала в обморок вместо того, чтобы оказать сыну нужную помощь. Вероятно, ей было очень тяжело отпускать сына одного в госпиталь…

— Я обещал маме, – вдруг сказал Жанно, словно подслушав мои мысли, – что здесь я не буду плакать. Мама говорит, что мужчины не плачут. Я ни разу не заплакал!

— Я знаю, Жанно, – улыбнулась я. – Надо написать маме.

— Да, но карандаша нет…

— Я дам, когда тебе можно будет писать, – потерпи немножко. Но разве ты умеешь писать по-французски?

— Да, мама меня учит.

— А по-китайски?

Он посмотрел на меня уголком глаза, зрачки у него были совершенно голубые.

— Да… Мама говорит, что надо все знать. Ко мне учитель ходит… Когда я вырасту, – добавил он задумчиво, – я возьму маму и увезу ее во Францию.

— А папа?

— Он останется в Китае, – ответил мальчик и смолк.

Он явно избегал говорить об отце, он не хотел признавать себя китайцем. Или мне это показалось?

***

Я хорошо помню то весеннее утро, когда он в первый раз встал с постели и прибежал ко мне, еще не крепкий на ногах, еще с забинтованной грудью, но уже совершенно одетый. Он оказался крупнее, крепче, чем я думала, и совсем не походил на полукровку, – самый обыкновенный европейский мальчик, только несколько старше своих лет и несколько дикий: дикость чувствовалась во взгляде чуть исподлобья, в злом отблеске белоснежных, острых зубов, в горячем румянце, вдруг вспыхивающем на смуглых щеках.

В тот день он очень надоел беготней и шалостями всему больничному персоналу. Он бы так счастлив, что может двигаться, что не мог умерить стука своих маленьких ног, резкости мальчишески звонкого голоса. Во избежание неминуемой для него неприятности я решила взять Жанно с собой, чтобы купить марки и отправить письма.

Он очень обрадовался. Закусив губу, превозмогая боль, он кое-как натянул пальто, застегнул его и, крепко вцепившись в мою руку, вышел со мной из госпиталя.

День был солнечный, ласковый. Мы прошли через госпитальный сад и вышли за ворота. Госпиталь был расположен за городом среди бедного китайского поселка. Из десятка жалких фанз вылезли погреться на солнышке все старики и дети. Усевшись у края пыльной дороги, старая китаянка с забранными на макушке остатками жидких седых волос искала на себе насекомых. Вокруг прыгали ребята всех возрастов, одетые в тряпье, босые, с обнаженными, в парше, головами. Гуляли взад и вперед китаянки помоложе; у некоторых на руках были годовалые дети с накрашенными, как яблоко, щечками.

Мы прошли мимо них, мимо фанз и плетней, на которых сушилось белье и рваная одежда. Мы шли молча к единственной лавке, имевшейся в этих краях. Продавец в засаленном халате стоял, спрятав руки в рукава своей одежды, и с восточным безразличием слушал мои объяснения, даже не стараясь их понять. Только тогда, когда я вытащила письмо и показала пальцами, сколько марок и какой стоимости мне нужно, – он кивнул и неторопливо стал доставать просимое.

Я обратила внимание на то, что Жанно, продолжавший крепко держать меня за руку, и не думал помочь мне своим китайским языком.

Между тем пока я наклеивала на конверты марки, вокруг нас образовалась целая толпа, состоявшая из китаянок и детей. Они рассматривали меня и Жанно, перебрасывались между собой замечаниями, видимо, на наш счет и даже пересмеивались. Мы бросили письма в стоявшую поблизости почтовую тумбу и неторопливо пошли назад к госпиталю. Толпа поселянок последовали за нами.

— Чего они хотят от нас – ты не знаешь? – спросила я Жанно по-французски.

— Это всегда так, – ответил он загадочно.

— Что вам надо? – спросила я по-английски и остановилась.

Они тоже все остановились, но ничего не ответили. Я повторила вопрос на французском. Раздался смех. Я нахмурилась. Тогда одна из китаянок, молодая и, видимо, самая бойкая, спросила меня на ломаном французском:

— Мадам, сынка?..

Я не успела ответить, как услыхала ответ Жанно:

— Да.

Новый взрыв хохота женщин и детей заставил меня вздрогнуть. Я увидела, как одна из китаянок, в рваной кофте, из которой вылезали клочья ваты, протянула руку и коснулась темными, скрюченными от работы пальцами волос мальчика.

— Китаец, – сказала она по-китайски тоном эксперта.

— Китаец! – повторил десяток голосов, и опять раздался взрыв смеха.

Я не успела осознать случившегося, как Жанно выпустил мою руку и бегом побежал к видневшимся вдали воротам госпиталя. Я побежала за ним. Эта дико гоготавшая над нами обоими толпа вселяла и в меня животный ужас.

Когда задохнувшаяся и взволнованная я оказалась за защитой стен нашего сада, Жанно там уже не было. Напрасно я искала и звала его – до самого вечера он избегал меня, а когда я пришла пожелать ему спокойной ночи, я ни слова не сказала ему о происшедшем.

***

Наступил апрель. Приближалось наше прощанье с Жанно: за ним должны были приехать вечером. Я нашла его в саду на скамейке. Он сидел один, как нахохленная птичка, а солнце сияло, распускались розы. Я погладила его жесткие черные волосы.

— Рад, что возвращаешься домой?

— Нет… Опять братья будут меня дразнить, а мама будет плакать.

— Разве у тебя есть братья? Почему ты о них никогда мне не рассказывал?

— Это папины дети… Они злые… Пойдем гулять, – потянул он меня за руку.

Вероятно, Жанно подразумевал детей отца от первого брака с китаянкой. Но он выглядел таким печальным, что у меня сердце сжималось, и хотелось его развлечь.

— Ты ни разу не видал морских свинок и белых мышей? – спросила я. – Пойдем, я их тебе покажу.

Моментально забыв обо всем, Жанно запрыгал вокруг меня, и мы направились вглубь сада, в строго охраняемое от всех царство сестры Клементины, наблюдавшей за зверьками для опытов, а главным образом за оранжереей и садом.

Сестра Клементина, китаянка, уже сорок лет как приняла пострижение и стала католической монахиней, но и в монастыре осталась она предана земле, которая взрастила ее и на которую так была похожа она сама. Такая же как земля, буровато-коричневая, с лицом в глубоких бороздах морщин, невозмутимая и покорная, смотрела она щелочками раскосых глаз, в которых светилась извечная земная мудрость. Было ей около семидесяти, но она целые дни пеклась на солнце, подрезая розы, вскапывая землю, поливая и бороздя. Она говорила на прекрасном французском, на котором говорили все сестры монастыря, часами молилась в часовне перед статуей Мадонны, но сохранила в себе что-то неподдающееся учету, таинственное и глубоко чуждое европейскому мироощущению, что свойственно только Китаю.

Возле клеток со зверями сестры Клементины не было, и мы с Жанно на свободе долго и пристально рассматривали белых крыс, уцепившихся розовыми коготками за стенки клетки и мирно дремавших, показывая нам голые, розовые брюшки; любовались пушистыми кроликами со страдальческими глазами и длинными ушками бархатных игрушек; удивлялись сонной лени тупых морских свинок, забившихся в сено…

Сестра Клементина подошла к нам неожиданно, неслышно, в своих войлочных туфлях. В руке у нее были большие ножницы, и я заметила, что оживление на лице Жанно потухло.

— Чей это мальчик? – спросила она меня после того, как мы поздоровались.

— Это Жанно, – ответила я, чуть подталкивая мальчика вперед.

— Пойдем обратно, – прошептал он тихонько и по-детски дернул меня за рукав. Но я не обратила на это внимания.

— Он хоть и дикарь, – продолжала я, – но он молодец: он здесь три недели прожил совсем один…

Сестра Клементина слушала, Жанно упрямо смотрел в землю на носки своих пыльных ботинок.

Подняв его головку рукой, монахиня сказала ему что-то по-китайски. Жанно поднял глаза. Я увидела, как глаза сестры Клементины и глаза ребенка встретились, и во взгляде их я прочла вражду.

— Я не разговариваю по-китайски, – сказал Жанно, отчетливо артикулируя каждое слово по-французски.

Она первая отвела глаза, убрала руку и сказала мне бесстрастным тусклым голосом:

— Я хорошо знаю Чжан-фу, его отца: наши земли находятся рядом; я помню его мальчиком. Но я не понимаю, – продолжала она, обращаясь уже у Жанно, – почему ты не хочешь признавать себя китайцем.

Лицо Жанно покрылось румянцем, на глазах выступили слезы. Высоко подняв голову, он сказал очень громко, очень твердо:

— Я не китаец. Я – как мама. Я – француз!

И, сказав это, он круто повернулся и побежал от нас.

Я побежала за ним. Наконец, я догнала его, схватила за плечи, обняла. Но он оттолкнул меня, – он был весь в слезах. В первый раз я видела его плачущим.

— Уйдите! – крикнул он с отчаянием. – Вы тоже меня презираете, потому что я – полукровка.

Кто мог помочь его горю?.. Вылечить можно тело, но как вылечить душу?

Впервые опубликовано и печатается по:
Рубеж. 1941. № 13. С. 1-2, 6, 8.

РАБА АФРОДИТЫ

М. А.

1

В этот вечер собрание Религиозно-Философского Общества, как всегда происходившее в доме Морозовой, было особенно многолюдным. Входивший в Москве в моду Андрей Белый читал доклад «Достоевский в трагедии творчества». В просторном зале Морозовского особняка стоял сдержанный гул голосов. Атмосфера была оживленная.

Александр Блок, прямо с поезда попавший в московское кипение,

болезненно морщился. После Шахматовского уединения большое количество чуждых лиц и спиртного угнетало. Чуть склонив свою прекрасную большую голову, он пробирался вперед, к Андрею Белому, яростно наскакивавшему на Трубецкого.

— Да ведь это – Блок! – воскликнула Морозова и, покинув Надежду Львову, с которой разговаривала, пошла догонять поэта, шелестя нарядным платьем, сверкая синими глазами.

Львова скользнула взглядом по светлому удаляющемуся затылку Блока и тотчас же отвернулась. Для нее во всем мире существовал только один поэт, только один человек, – остальные не шли в счет, были лишь марионетками.

«Почему он не идет?», – думала она тоскливо, уже теряя надежду его встретить и тут же находя его глазами. Сердце стремительно упало. Охватила знакомая сладкая лихорадка.

Брюсов стоял неподалеку от двери, очень прямой, в наглухо застегнутом черном сюртуке, за борт которого он по привычке заложил правую руку.

«Неужели не подойдет, не видит?», – спрашивала она себя в страстном нетерпении, никогда не зная, что от него ждать, но он уже заметил ее. Его впалые, ушедшие глубоко в орбиты глаза, в которых поминутно загорались огоньки, обожгли ее, и под его острым, почти злым взглядом она вдруг показалась себе такой некрасивой, такой недостойной его, что захотелось убежать, спрятаться, спастись, пока еще не поздно…

Легкая, полупрезрительная улыбка, игравшая на губах Брюсова, особенно ярких в обрамлении очень черных усов и бороды, стала вдруг ободряющей. И ей уже не в первый раз пришло в голову, что он читает все ее мысли, что он и вправду «завороженный маг», как его называл кто-то, кажется, – Белый.

Но он уже подошел к ней и склонился к ее руке, целуя ее с привычной любезностью, или нежностью?

И как всегда, когда она была с ним, она потеряла себя, почувствовала себя немного безумной, забывшей обо всех окружающих…

— Валерий Яковлевич, – начала она, по своей привычке глотая букву «к», – я…

Рачинский, председатель собрания, отчаянно звонил, призывая к порядку.

— После окончания я вас провожу, – пообещал Брюсов и, картинно закинув голову, прошел к зеленому столу, за которым уже сидели все участники заседания.

Надежда как в тумане видела, как Брюсов сел рядом со Струве, как с места встал Андрей Белый, с пылающими голубыми глазами и золотым пухом волос на голове. Она старалась вслушаться в его речь, но все ее отвлекало.

Белый говорил страстно, размахивал руками. Подвижное лицо его поминутно менялось, он хмурил брови, скашивал глаза, гримасничал и вдруг становился почти красивым. Голос его то поднимался до дисканта, то переходил в низкий бас.

Нет, сосредоточиться, следить за докладом не удавалось. Водоворот чувств, в котором она жила, совершенно подавлял мысль, убивал всякий интерес к отвлеченному. В сущности, ей хотелось лишь одного – чтоб поскорее закончилось собрание, и она осталась с Брюсовым одна…

Совершенно потеряв нить, она бросила слушать и стала смотреть на Валерия Яковлевича. Глядела и старалась внушить ему, чтоб он на нее взглянул, но взгляда ее он не чувствовал. Она видела его вполоборота – этот поворот головы был мало знаком ей. Лицо его показалось ей совсем чужим, и увеличилось сходство с портретом Врубеля, на который она обратила внимание еще до их знакомства и на котором художник, может быть, уже тогда стоявший на грани безумия, изобразил поэта демоном, затянутым в классический наглухо застегнутый сюртук.

«Какой он суровый, темный», – подумала она печально, и ей стало нехорошо и страшно, хотя непреодолимо влекло именно темное о нем.

Погруженная в свои мысли, Надежда не заметила, как Белый кончил. Зал загудел, дружно захлопал. Белый вытирал высокий лоб белоснежным платком, по-детски поднимал капризные брови. К нему склонился Брюсов. Но все уже шумно встали и заслонили зеленый стол и лица над ним.

Надежда тоже встала. Она чувствовала себя одинокой в мало знакомой толпе и от этого еще сильней горбилась и бледнела. Поэтому подошедшему студенту, давнему знакомому, почти обрадовалась. Улыбнулась ему рассеянно. Но он сразу заметил, что отвечает она ему невпопад, еле слушает и смотрит куда-то вперед до жути пустыми, расширенными глазами. «Поэтесса», – подумал он с оттенком презрительного снисхождения и решил от нее отойти, потому что стало с ней скучно и как-то трудно.

Прощаясь, он не удержался от замечания:

— Надежда Григорьевна, вас точно подменили с тех пор, как вы стихи писать стали.

— Правда? – оживилась она и тут же замкнувшись, возразила: – Нет, это только так кажется.

Перерыв кончился. Снова все сели. Начались прения. Говорил Струве, но Надежда опять не слушала, как не слушала потом ни Булгакова, ни Трубецкого… Очнулась лишь тогда, когда заговорил Брюсов. Но от волнения, гордости и огромной страстной нежности, заливавшей ее при звуке его глуховатого голоса, профессорского ровного тона, она и его слова уловила по-своему, не совсем отдавая себе в них отчет, просто наслаждаясь их округлостью и торжественностью.

2

Когда они, наконец, нашли шубы и вышли, их обуял теплый, совсем не зимний ветер. Было мокро от густого тумана, который заволок город. Фонари горели тускло, словно затянутые серой вуалью, со звоном проносились освещенные, наполненные людьми конки.

Львова вся подалась вперед, подставляя лицо ветру, и что-то пьяное, цыганское почудилось Брюсову в ее смуглом, страстном лице. И контраст ее лица и походки со строгой элегантностью колючего скунса, обрамлявшего овал лица, был так велик, что Брюсов загляделся на нее, и в нем шевельнулась тревога, может быть, тревога экспериментатора, наблюдателя в жизни?..

Надежда говорила что-то бестолково, смущаясь. Это ему мешало.

— Помолчите, – остановил он. – Посмотрите на эти электрические луны… Разве не красиво?

Но она посмотрела не на фонари, а ему в глаза. Они были почти одного роста, и в блеске ее глаз, показавшихся ему траурными от густых темных ресниц, он опять нашел что-то цыганское и в то же время покорное. Плечо ее и рука доверчиво и горячо приникли к нему, и, повернув голову, он снова взглянул на нее, прямо на ее чуть дрожащий, словно ожидающий поцелуя рот.

— О чем вы думаете? – спросила она низким, взволнованным голосом.

— О вас, – ответил он, усмехаясь, – о том, что глаза ваши выдают вас. Вам бы не мещанский уют, а страсть! Вам бы жрицей любви быть!

— Жрицей?! – повторила она с той же волнующей нотой в голосе.

— Может быть, в прошлом существовании вы ею и были. Поклонялись Любви и Огню. Или были той, которую нашли под пеплом погибшей Помпеи в объятиях возлюбленного?

— Я знаю эти стихи о «страсти, перешедшей за предел…». Если бы надо было умереть, да, я выбрала бы эту смерть… Но откуда вы знаете, что я так… люблю любовь?

Брюсов усмехнулся.

— Все мы – рабы Афродиты, эта прекрасная богиня связывает нас с античным миром, когда умели наслаждаться и ценить красоту. Жаль, что люди подавляют свои страсти и живут не полно, вяло… Впрочем, обыкновенным смертным так и следует поступать, и только поэт должен творить не только свои книги, но и свою жизнь.

— Вы творите?..

— Творю, – ответил он и как-то театрально привлек ее к себе и, почти не склоняясь, поцеловал в ожидающий нежный рот.

3

Брюсов чеканил стихи в тишине своего кабинета: «поэзия – ремесло не хуже всякого другого», и так много планов и замыслов перед ним, что для того, чтоб все выполнить, жизни не хватит, и надо торопиться. Ведь такое гигантское честолюбие в нем, такая жажда бессмертия… А люди, женщины, сама жизнь – лишь только средство «для ярко певучих стихов», и только иногда хочется позабыть себя в страсти, на минуту перестать быть рабом искусства, отдохнуть… А что творится в душе той женщины, которая на мгновение дает забвение, не все ли равно, в конечном счете, лишь бы она не мешала его влечению к таинственному, к лабиринтам, не дисгармонировала с эстетической декорацией, в рамках которой он разыгрывал любовный дуэт…

Надежда Львова его волновала. Стихи ее он не ставил ни во что, как и вообще все женское творчество. Давно решил, что равного себе по таланту мужчины, – не то, что женщины, – никогда не встретит и встретить не хотел. Однако вспоминал о ней со смесью покровительственной нежности, чувственности и легкого презрения. «Влюбленная девчонка», – думал он сначала с оттенком самодовольства, но так как она была серьезно захвачена и не хотела скрывать своей страсти, он, не умевший никого любить, попал в орбиту чужой любви и начал светиться ее отраженным светом. Чужая любовь всегда была для него чем-то самодовлеющим, была даром, которым он никогда не пренебрегал, особенно если она заполняла пустоту его высушенной искусством души.

Была еще тайная, едва осознанная причина, которая толкала его на сближение с Надеждой… Ведь еще пятнадцатилетним мальчиком Брюсов, кричавший на всех углах, что он гений, упорно и напряженно мечтал о том, чтобы обольстить девушку, чтобы стать героем романа…

Романов было много, но он, он был жаден к жизни, к чувствам, к впечатлениям… И вот опять девушка стояла на его пути – смятенная, юная и влюбленная. Своим острым аналитическим умом, своим зрелым опытом он догадывался о том, что с ней происходит… И не торопился. Вел свою, только ему понятную игру, в которой все было учтено железной логикой шахматиста. Игра эта раздувала ее чувство, усиливала нетерпение, а он, искушенный на путях любви, загорался медленно и тянул, предвкушая победу. Львова же, заключенная в ловушку его стихов, его слов, недомолвок и намеков, хотела только одного – быть сломленной, погубленной, покоренной… Не принадлежа ему, она уже была его, потому что все помыслы ее были с ним, потому что без него, вне его она не мыслила ни себя, ни жизни. Каждая строчка, им написанная, все восторженные и глумливые речи о нем, все мимолетные встречи лишь теснее связывали ее с ним, и она уже противопоставляла ему и себе весь мир, она была уже его сообщницей всегда и во всем.

И окружающая жизнь внезапно стала безысходно противна. Нужно было одно: прославиться для него, писать хорошие стихи для него, чтоб стать свободной и пренебречь всем и всеми…

И она писала, писала, потому что звенели строчки в душе, как звенели еще в детстве, писала, потому что жаждала славы, чтоб стать достойной его – учителя, поэта, единственно дорогого человека на свете.

Внизу целый день разыгрывали гаммы; дом жил простой, обыденной жизнью. За столом вела разговоры о прислуге, о соседях. Чинно, лениво, а ей внезапно посреди разговора хотелось расшвырять все, закричать, выбежать, чтоб никогда не вернуться! И, сжав губы, до боли стиснув руки, она думала о том, что с радостью послала бы к черту все условности, поддалась бы порыву, переступила все законы, пренебрегла бы тем, что женат Брюсов, тем, что скажут родные… Просто бы обо всех забыла, потому что в этом – правда и красота, а в остальном – ложь!.. И едва сдерживая рыдания, она говорила себе, что люди достойны только презрения, люди, которые подавляют свою натуру и лицемерят, вечно лицемерят!..

Накинув на плечи пальто, с потемневшим лицом, не сказав никому не слова, она уходила из дома и пропадала долго… Могла целый день и ночь бродить по улицам, сидеть в глухих аллеях парка, читая про себя или вслух, глядя на стаи галок, на небо, о чем-то мечтая, сочиняя невероятно длинные фантастические экспромты, которые забывались незаписанные. Без еды, без сна, как одержимая, она отдыхала от повседневности…

Вернувшись домой, бывала почти прежней – замкнутой, застенчивой, очень молчаливой. Жила своей жизнью и в нее никого не впускала… И хотя встречи с Брюсовым были очень редки – непрерывные мысли о нем подготовляли лучше всяких объяснений. Нетерпение и страсть росли, и нужен был только случай для того, чтоб поддаться, забыть проклятые, ненавистные условности, показать свою преданность, смелость, безрассудную, всепожирающую любовь.

А весна наступила мягкая. По талому снегу, черневшему у корней кленов, весело топорщились воробушки, горланя, бегали мальчишки в потертых кошачьих, небрежно сдвинутых шапках, чинно гуляли с няньками девочки в блестящих мелких галошах, и опьяняюще ново звучали уличные звуки, которые зимой поглощает пелена снега.

Брюсов, чуть щурясь от солнца, очень прямой и строгий, с легкой палкой в руках, шел своей любимой дорогой – мимо Тургеневской Библиотеки к Цветному Бульвару на Никитский Бульвар. Бледное лицо его, окруженное черной бородой, было непроницаемо, словно заворожено весной.

У спуска к Цветному Бульвару, возле самого цирка, его встречала Львова. В высоких ее ботинках, в простоте синего костюма, в маленькой

шляпе была изысканность, не выдававшая ее серпуховского происхождения. Глаза ее светились ровным, теплым светом, смуглая кожа едва заметно румянилась. В чуть склоненной голове, в легкой сутулости высоких плеч была счастливая покорность. Дальше они шли вместе, и в ритме их шагов уже чувствовались общая тайна, сообщничество, близость.

4

— И все же, счастье мое безрадостное… И любовь моя тебе не нужна. Может быть, вначале была нужна, но не теперь…

Надежда говорила тихо, слова уносил ветер – рысак мчал лихо. Однако Брюсов угадал смысл ее слов по движению болезненно изогнутого рта.

— Помолчи! – попросил он, морщась, гримасой ее упрекая.

Она взглянула на него с тревогой и нежностью и вдруг почувствовала противоположное только что сказанному, почувствовала такое острое счастье, что на минуту захватило дыхание. Он увидел преображенное ее лицо, наклонился и шепнул:

— Как дивно ты преображаешься!.. Твое лицо сама жизнь: то бесцветное, то прекрасное, всегда покоряющее своей новизной.

Она благодарно улыбнулась и, забыв о том, что улица полна людей, что они не одни, закинула руки за его шею и прижалась к нему вся, не зная, как иначе выразить накатившуюся благодарную нежность за одно то, что он есть на свете, за одно то, что он, пусть мало, пусть скупо, но любит ее…

— Безумная! – мягко освобождаясь, сказал Брюсов, и в тоне его был оттенок любопытства и восхищения.

Рысак остановился перед низким, старинным зданием гостиницы Лоскутной. Надежда вышла первая. Не глядя по сторонам, прошла прямо в ресторан, к тому знакомому столику в углу, за которым так часто сидела с Брюсовым. Когда они входили, звенело, пронзая душу и поднимая со дна ее удаль и страсть, скрипичное попурри из «Кармен». И хотя Надежда слышала его уже десятки раз, она с обычным наслаждением отдалась вибрирующим звукам, ничем несравнимому колдовству взлетающих и приникающих к струнам смычков.

Брюсов заказал бутылку коньяку и, молча подняв рюмку, глядел поверх нее. На кого?.. Надежда насторожилась. Тревога, в ней жившая, сразу нашла исход. В почти пустом зале, за столиком напротив, сидела светловолосая незнакомка в большой шляпе с перьями. Она смотрела на Брюсова. Ее синие подведенные глаза сверкали насмешливо. Брюсов глядел на нее, рассеянно сжимая полную рюмку в руку.

Надежда больше не слышала музыки… В ушах ровным шумом пела кровь, глаза застил туман… Если бы можно было убить эту женщину!.. Валю!.. Себя!.. Разбить что-нибудь!.. Закричать!..

Брюсов поставил рюмку на стол и взглянул на нее:

— Почему ты так побледнела? – спросил он холодно, явно издеваясь.

Надежда молчала. Она потеряла дар речи, но от того, что он опять глядел на нее, ком, стоявший поперек горла, стал спускаться и теперь только болезненно сдавил сердце.

— Выпьем, – глядя на нее с многозначительной нежностью, предложил Брюсов, – за путь в Дамаск!

— Прочти! – попросила она, с трудом разжимая губы и стуча зубами о стекло бокала.

Брюсов протянул руку, захватил ею ее длинные, нервные пальцы и под говор скрипок тихо, но выразительно прочел, не отрывая своего взгляда от ее повлажневших темных глаз:

— Губы мои приближаются
К твоим губам,
Таинство снова свершается,
И мир как храм.
Мы, как священнослужители,
Творим обряд.
Строго в великой обители
Слова звучат…

От стихов, от звука его голоса, от выражения его глаз – глаз сообщника и возлюбленного, от растекающегося по жилам опьянения – таяла горечь ревности, и росло все окрыляющее, восторженное безразличие: пусть будет так, как будет, но эта минута, этот час – мой!

— Водоворотом мы схвачены
Последних ласк.
Вот он, от века назначенный
Наш путь в Дамаск…

Брюсов отпустил ее руку, откинулся на спинку стула, прикрыл глаза веками.

— Ты знаешь, – вырвалось у Надежды неожиданно, почти против воли, – когда ты смотришь так на других женщин, я… я могу убить!

Брюсов лениво выпрямился, повернул голову и, поглядывая в сторону золотоволосой незнакомки, стал шарить в кармане.

— На! – сказал он с насмешливой небрежностью, протягивая маленький браунинг. – Убивай!

Надежда взяла браунинг и тут же с отвращением отбросила:

— Этим не шутят…

Он ничего не ответил. Умел молчать, и молчание его говорило больше слов. Надежда потупилась. Браунинг на белой скатерти притягивал и соблазнял. Скрипки играли под сурдинку шопеновскую мазурку. Голова чуть кружилась, во всем теле была страшная пустота; казалось, неосторожное движение – и все разобьется.

«Разобьется… порвется… унесется…», – бессвязно стучало в голове.

Стараясь стряхнуть оцепенение, Надежда подняла глаза и увидела, что за столиком Брюсова нет, он внезапно исчез. Оглянувшись, она протянула неуверенную руку, зажала в ней браунинг и торопливо сунула его в сумку. Ноги дрожали, сильно колотилось сердце. На секунду она почти потеряла сознание.

— Пойдем! – повелительно позвал Брюсов, возвратившийся так же неожиданно, как вышел.

Она поднялась, подчиняясь автоматически, едва сознавая окружающее от полноты нахлынувших на нее трагических ощущений, точно загипнотизированная внезапно обступившими ее предчувствиями.

С обычной властностью Брюсов взял ее под руку и, не сказав ничего о том, что заметил исчезновение браунинга, скрылся с ней за внутренней дверью зала.

5

Был август, и лил дождь упорно и монотонно. Надежда стояла у окна своей дачи и глядела вперед с тупым отчаянием.

Этот дождь нарушил все ее планы: после пятидневного непрерывного дождя дороги были размыты, и вырваться в город было немыслимо.

— Валя!.. – шептала она. – Валерий!

Видеть Брюсова постоянно давно уже стало насущной потребностью. Видеть его, быть с ним… Она в сотый раз передумывала то, о чем думала в бессонные ночи, в свои пустые свободные дни без него…

Брюсов ее не любит! Может быть, он любит другую!? Но кого?..

Она закрывала глаза, и привычная галлюцинация преследовала ее: она видела женщин, разных женщин, склонившихся к нему. Всех, кого он любил прежде, всех, кому он посвящал стихи, всех тех, которые отнимали его у нее, имели над ним власть, – власть прошлого. Да, ей оставались лишь отзвуки прежних чувств, вся вера, вся молодость, вся любовь отдана другим, другим, а не ей!..

— О, не думать, не думать! – остановила она себя и отошла от окна, сдавливая ладонями висками, на которых бились набухшие, беспокойные жилки.

Легла вверх лицом на постель, закрыла глаза. Внезапно вспомнила голубую комнату с позолоченными креслами ампир, в которой они встречались… Как много она забыла из того, что было сказано тогда. А ведь думалось, что ничего не позволит украсть у себя память…

Может быть, кроме чувственности, страшной темной чувственности, ничего у него и не было к ней?

Жгучий стыд огнем пробежал по телу… Она вскочила. Нет, об этом

нельзя думать, и она гнала прочь пугающие, безобразные видения. Даже себе нельзя было признаться. Нельзя!

Она стала быстро ходить по комнате. Хотелось что-нибудь бросить на пол, сломать или кататься по полу и рыдать от сознания своей беспомощности, от невозможности ничего изменить, понять и быть понятой.

И все же невозможно было, прикоснувшись к такой любви, жить без нее… Это то же, что отнять у изнемогающего от жажды воду, дав испить лишь один глоток.

«Но ведь всегда можно умереть!», – неслышно подкралась мысль. Надежда остановилась посреди комнаты. Замерла. – «Да, умереть всегда можно». – Вспомнила браунинг, лицо Брюсова, непроницаемое, насмешливое.

— Если он потерян – умру! – сказала она вслух, застывая. И сразу на смену напряжению пришла усталость. Она села к письменному столу, опустила голову на руки. Казалось, что прожила бесконечно длинную, трудную жизнь.

«Как у меня все странно… мучительно», – на глазах выступили слезы и потекли – горячие, расслабляющие. Она не вытирала их, отдаваясь с упоением их стихийности. Потом слезы сами собой остановились. В окно плыли сумерки, шелестел дождь, кто-то играл на рояле знакомую пьесу. «Что это? Откуда?», – силилась вспомнить Надежда, но вспомнить не могла. Мелодия баюкала ее, окутывала ласкающей пеленой, уводила куда-то в полусон, в полуявь, поднимала со дна души большое, светлое, что наполняло до краев, заставляло забывать действительность.

Рука машинально коснулась томика Верлена в темном сафьяне — подарок Брюсова. Еще одно воспоминание о нем!.. Она раскрыла его, улыбнулась и снова закрыла. Не стала читать, прислушиваясь к себе. Замедленный фортепьянный ритм рождал знакомый творческий ритм, от которого все внутри напряглось и запело.

Надежда поспешно взяла карандаш и лежавший тут же блокнот. Сами собой на бумагу, словно скандированные кем-то, откуда-то посланные, легли фразы, и боль сама собой превратилась в сладкую радость, выливаясь в строки:

Я плачу одна над стихами Верлена…
О том, что забыли вы светлую дачу,
О том, что ушли вы из нежного плена, —
Я плачу.
Но все же, небрежным письмом вам назначу
Свиданье. Не вечно же длится измена.
Пасьянс мне пророчит любовь и удачу.
В изогнутой вазочке вянет вербена…

Ах, все увядает!.. Раскрыв наудачу,
В дни счастья прочитанный томик Верлена,
Я плачу.

Дописав, задумалась. Боялась, что неловкое движение, слово может нарушить умиротворенность и полноту, только что испытанную.

Когда она стряхнула с себя задумчивость, в комнате было почти совсем темно, из открытого окна тянуло сыростью.

Не зажигая света, с трудом, почти наизусть Надежда перечитала написанное. Сначала почувствовала острую влюбленность, удивление. Вот она, боль, заключенная в форму! Как это непонятно — творчество? «Богом данное вдохновение…» — подумала она и тут же остановила себя: «Нет, это наивно!» «Я плачу одна над стихами Верлена» — продекламировала она вслух. — Конечно, не то! Фальшь! Ведь то, что она переживала, было стихийным, неистовым, трагическим, а это? — Безделушка… Почти фривольность, почти кокетство…

«Видно, я не поэт!» — подумала она беспощадно и, бросив блокнот, накинув на плечи теплый платок, пошла на веранду.

Захотелось услышать человеческие голоса, прикоснуться к иному, простому, милому миру. Каблуки гулко стучали по коридору. Скорей к людям!.. Туда, где горит свет, шумит самовар, и никто не подозревает, чем живет она, от чего мучается. Хоть на минуту сбросить с себя гнет тоски, неудовлетворенности, стать скромной барышни из патриархальной семьи, вышивающей крестиком и заученно гладко разыгрывающей по воскресеньям на рояле вальсы.

6

Осенью 1913 г. Надежда опять жила в Москве, опять посещала курсы. Писала лихорадочно много, выступала со своими стихами в различных литературных кружках. Слава, которую она жаждала ради любви, как будто начинала приближаться; молодежь горячо принимала ее стихи, барышни смотрели на нее с восторженным любопытством, в журналах охотно печатали.

Но, несмотря на это, Надежда становилась все печальнее: Брюсов был жесток с нею, жесток даже в хорошие минуты, когда казалось, что счастье первых дней возвращается, вместе с золотыми осенними днями, отголосками прошлого лета. Охотнее всего и больше всего он теперь говорил с ней о стихах, и это ее мучило.

— Даже Андрей Белый и Гумилев еще не созрели в своем творчестве. Ты же не знаешь имманентных законов стиха, — говорил он на Воробьевых горах, как бы не замечая темной бронзы опавших листьев, не слушая отдаленных звуков города, таинственно и глухо сюда доносившихся.

Надежда молчала. Ей хотелось плакать. Она ненавидела эти

разговоры о стихах, о разнообразных размерах, эту математическую сухость Брюсова и все не решалась сказать ему — мэтру, что все, что он говорит — математика — не поэзия, что есть что-то другое в творчестве, не рациональное, опьяняющее…

— Мои стихи, например, чрезвычайно строфичны… — продолжал он своим суховатым поучительным тоном. Но, так как она молчала и шла вперед, опустив голову — беспомощная, бледная, он смолк.

— Ты огорчаешься? — спросил он несколько минут спустя с оттенком покровительства в голосе.

— Нет… Но когда ты говоришь так — ты от меня за сотни верст… Я не понимаю этого, так же как не понимаю твоей страсти к геометрии и логарифмам.

— Не можешь решить ни одной алгебраической и геометрической задачи, да, маленькая девочка? — засмеялся Брюсов. — А это напрасно! Поверь мне, математика — сама поэзия — и она делает стихи метрически богатыми.

Надежда повернула к нему похудевшее лицо.

— Только подумать, что я могла прожить всю жизнь и не встретить тебя!.. — сказала она, словно не слыша его и отвечая каким-то своим мыслям.

Брюсов глядел себе под ноги и слушал ее рассеянно. Надежда продолжала горячо:

— Еще тогда, когда я не знала, что значит любовь, я читала твои стихи. Мне ничто так много не говорило, как они. Ты славил в них страсть в безднах лет и учил меня языку страсти и уже тогда безнадежно опалил мою душу… Потому теперь я не хочу, не могу слышать о том, как надо писать стихи! Их рождение — чудо для меня, а не техника!..

Он вскинул на нее глаза, но ничего не ответил.

— В золотой книге судьбы было написано, что мы должны встретиться… Там написано и то, как мы расстанемся, — закончила она печально сразу упавшим голосом.

Солнце садилось. Доносился тяжелый звон благовеста. Брюсов притянул ее к себе, близко нагнулся к ее лицу.

— Я хотела бы умереть так — с тобой, в твоих объятиях… И в то же время именно тогда, когда я с тобой, особенно жгуче, особенно безудержно хочу жить.

Он ответил ей глубоким поцелуем, но она чувствовала, что душа его крепче, чем всегда, замкнулась от нее.

Когда они возвращались, было темно, и тоска камнем лежала на ее сердце.

— Дай мне твои стихи — я их издам… — предложил Валерий Яковлевич неожиданно.

— Издашь?..

— Да, я уже придумал для них название… Ты довольна?

— Конечно!

Но вместо радости в душе закипела тревога, казалось, что этим жестом он хотел снять с себя какую-то вину. И, вдруг, появилась твердая уверенность, что поступком этим он подтверждает, что все ее догадки об его охлаждении, измене, равнодушии — правильны, неопровержимы.

7

Было больше восьми часов вечера, когда Надежда позвонила у дверей брюсовской квартиры на Первой Мещанской, 32 (адрес знакомый потому, что не раз адресовала на него письма).

На звонок долго не шли, и она устало прислонилась к косяку двери. Больше часу она ездила на извозчике, разыскивая Брюсова и, не найдя его, решилась на последнее средство – прийти прямо к нему домой. Это было безрассудно, но она ни о чем не думала, доведенная до невменяемости странным поведением Валерия: с того дня, как она отдала ему переписанную тетрадь своих стихов, он не показывался, не приходил, не отвечал на письма, даже не подходил к телефону. Измученная догадками, скверными предчувствиями и тоской, она решила, наконец, все выяснить…

Дверь, в конце концов, отворили. В сухой настороженной женщине Надежда сразу узнала жену поэта – Иоанну Матвеевну.

— Что угодно? – спросила она с той безучастной вежливостью, которая вырабатывается привычкой находиться среди посторонних.

— Мне нужен по делу Валерий Яковлевич, – стараясь придать голосу твердость, объяснила Надежда.

— К сожалению, его нет дома.

— У меня срочное дело. Я подожду… – и не ожидая ответа, Львова решительно перешагнула порог квартиры.

Отступая назад, хозяйка в пуховом сером платке безразлично спросила:

— По какому делу, позвольте?

— По поводу моих стихов. Я… – Надежда Львова.

— А… слыхала! – растянула лягушачий холодный рот Иоанна Матвеевна. – Слыхала о вас и стихи ваши читала. Так как же быть-то?

— Я подожду, – ненавидя ее до слез, но не желая уступить, презирая себя и стыдясь, сказала Надежда.

— Тогда в кабинет пройдите. Я провожу вас.

Брюсова прошла вперед, шаркая туфлями, Надежда за ней. Пересекая столовую, не подумала о том, что тут бывал В. Соловьев, собирались по средам все знаменитости. Не глядя, увидела цветы, кружевные салфеточки, уют совсем мещанский.

Наконец они вошли в темный кабинет. Щелкнул выключатель.

— Садитесь. Тут журналы, книги… Почитайте.

— Спасибо.

Она опустилась в низкое кресло; хозяйка бесшумно исчезла. Только теперь Надежда вспомнила, что забыла снять шубу: обе они, стараясь скрыть растерянность, этого не заметили. Впрочем, сидя в теплой комнате в шубе, она дрожала. Вдруг поняла, что ко всей накопленной горечи прибавилась еще одна капля: трудно было простить Брюсову такую жену, такой мещанский уют.

Она так устала, так измучилась, что этот кабинет, обличавший книжника и ученого, восприняла не сразу. Все, что было в Брюсове от европейца, сказывалось в обстановке этой комнаты; атмосфера в ней была совершенно иная, чем во всем доме, который, не видя, но остро чувствуя, только что прошла Львова.

Глаза ее упали на металлическую спичечницу – она была привязана на веревочке, и это ее покоробило. Скинув шубу и оставив ее лежать распластанной с вывернутыми рукавами, Надежда стала ходить по кабинету, заставленному книжным шкафами. На свободной стене висела картина Шестеркина. По ассоциации вспомнились смелые иллюстрации Альберта Мартини к рассказам «Земная Ось». Этими рисунками был так доволен Брюсов, но ей они сразу стали неприятны, так же, как и сами рассказы. Она вспомнила, как Валерий Яковлевич рассердился на ее критику: «Таких маленьких девочек, как ты, не спрашивают… Их учат и им приказывают!», – обрезал он тогда, но от книги все же остался смутный и тягостный.

Теперь опять эта декадентская картина и эта спутница жизни! Все такое противоположное, совершенно не вяжущееся между собой.

Она опять с ужасом подумала, что не понимает его и почти ничего о нем не знает.

С полок на нее смотрели темные корешки книг. Она остановилась перед ними. Брюсов не раз с любовью рассказывал ей о своей библиотеке. Она знала, что тут собраны лишь его любимые авторы, что у него есть редчайшие книги на латинском, итальянском, французском и немецком языках, что тут можно найти все новые произведения современников с интереснейшими автографами. Может быть, именно здесь хранился ключ к постижению его души, его тайн, истинной его природы?..

Но сейчас ей далек был язык книг, они были ей враждебны и чужды. Застывшие памятники!.. Они тоже отнимали его у нее! А она хотела знать лишь одно – причину его небрежности, тягостного исчезновения, хотела знать, любит ли он ее или нет. И тогда…

Но она не будет думать сейчас!.. Надо быть спокойной, надо набраться силы для последней борьбы.

Отойдя от шкафов, она подошла к письменному столу. Он был почти пуст. На нем в идеальном порядке лежали чистые листы бумаги, перья, хорошо отточенные карандаши, сбоку был небрежно брошен недавно вышедший томик «Зеркало теней». В нем все было известно, все вплоть до стихотворения, которое он посвятил ей, и в котором она уловила холодность напутствия и грусть прощания. Опустившись в кресло, она взяла сборник и открыла, загадав, – любила гадать по стихам.

ПОЭТ – МУЗЕ

Я изменял и многому, и многим,
Я покидал в час битвы знамена,
Но день за днем твоим веленьям строгим
Душа была в е р н а .
Заслышав зов ласкательный и властный,
Я труд бросал, вставал с одра больной,
Я отрывал уста от ласки страстной,
Чтоб снова быть с тобой.
…….
Во тьме желаний, в муке сладострастья,
Вверяя жизнь безумью и судьбе,
Я помнил, помнил, что вдыхаю счастье,
Чтоб рассказать тебе.

Надежда перестала читать, захлопнула книгу, отбросила ее с гневом. Да, недаром открылось именно на этом стихотворении: все для него лишь материал для стихов и, может быть, она сама тоже…

Нет, надо, наконец, разрубить узел!

Порвать, наказать его, сделать ему больно и высказать, высказать все до конца, все, что накипело в душе!.. И, разжигая свой гнев, она ждала.

В соседней столовой били часы. Доносились приглушенные разговоры… Раза два в дверь заглянула Иоанна Матвеевна, но Надежда на нее не посмотрела, и она ушла, неслышно ступая, похожая на тень.

Наконец зазвенел продолжительный звонок. В квартире началась суета. Раздался громкий голос Валерия Яковлевича, его жены, потом голоса понизились. Надежда поняла, что говорили о ней, но ей было все равно, надо было лишь поскорее разрядить невыносимое нетерпение. От волнения она плохо сознавала окружающее, была как во сне…

Брюсов вошел не сразу, и, когда Надежда его увидала, она по лицу его поняла, что он не доволен ее приходом. Однако он заговорил с ледяной любезностью, лишь переходя на официальное «вы».

— Зачем вы здесь? Что случилось?

— Я ждала. Я терпела… Но больше я не могла. Я искала тебя повсюду

и вот пришла сюда… Что произошло? Ты сердишься на меня?.. Почему ты ушел?

Несмотря на внутреннюю дрожь, Надежда говорила довольно твердо и, хотя чувствовала, что сейчас все рухнет, упорно стремилась к гибели.

— Я прихожу, когда хочу. Если я не приходил, значит, я не мог. Ведь я не давал никаких клятв. Право, в своих чувствах вы так же зелены, как в стихах.

— Зелена? – повторила она тихо, задумчиво. – Теперь я поняла… Для тебя не существует любви. Ты любишь в любви только наслаждение. Во всем всегда одна техника! И я знаю, тебе все равно, кого ласкать, все женщины для тебя одинаковы… Все они только материал для стихов! Но я не позволю!.. Я…

Брюсов морщился. Он ненавидел эти высказывания, эту ничем неприкрытую правду. Женщины этого не понимали. В сущности, они, действительно, все были одинаковы, а ему хотелось чего-то таинственного – не красок, а полутонов, не слов, а намеков… Надежда, казалось, могла дать ему что-то новое, свежее, но теперь это прошло. Она стала такой же, как все, это было скучно, раздражало. Ведь он и раньше знал, что нет ничего хуже талантливых умных женщин; они не доросли до него, но не доросли и до того, чтобы быть бессловесными, покорными хранительницами его огня, какой была и умела быть только его жена. И вот теперь эта сумасшедшая девушка своим вторжением, своими сценами хочет нарушить его мирный домашний покой, омрачить келью для работы, которую создавала ему Эда, подлинно умевшая любить, терпеть и молчать.

Удобно откинувшись в кресле за письменным столом, он небрежно играл костяным ножом.

— Я хочу знать, – продолжала Надежда, вдохнув воздух и вставая с кресла, – у тебя есть любовница?

— Я не побоялся бы сознаться в самых темных сторонах своей жизни, – ответил Брюсов неторопливо, с легким пафосом, подобно Ливию Друзу, – я согласился бы жить в стеклянном доме, но многие лица, близкие мне, были бы опечалены, и поэтому я принужден молчать.

Надежда понимала, что он издевается, что она напрасно бьется о стену его бездушия. О, она еще не знала, до какой степени он может быть бездушным!

— Я хочу знать правду, – прошептала она с отчаянием. – Любишь ты меня или нет?

— Нет, не люблю! Раз ты настаиваешь на правде, не люблю! – отчеканил он, с наслаждением отдаваясь раздражению и в свою очередь вставая.

Он видел, как она вся сжалась, свернулась, словно прожженный

морозом лист. Цепляясь о край стола, чтобы не упасть, сгорбившись, она сказала:

— Ложь для моей любви была бы оскорблением.

Голос у нее прервался.

Брюсов криво усмехнулся. Ответ ее еще больше озлил его. Он физически ощущал тяжесть его присутствия. Почему она не уходит? Что ей нужно? Или она мечтает его убить?.. Одержимая!

— За правду некоторые убивали. Может быть, предложить вам кинжал?.. – процедил он иронически, протягивая костяной нож для разрезания книг.

— Кинжал? – повторила она беззвучно, и это проглоченное «к», этот маленький недостаток речи, который прежде казался трогательным, вдруг показался таким смешным, жалким, что она стала совсем невыносима, и он не хотел, просто не мог больше ее видеть.

Она все стояла как истукан. Может быть, она не поняла насмешки?.. Или оскорбилась? У нее положительно не было никого вкуса, и творить жизнь она не умела!

Подумав, он открыл ящик письменного стола и достал тетрадь со стихами.

— Позвольте вам возвратить ваши стихи.

— Стихи?.. – она не сразу его поняла.

— Да. Я перечитал их и нашел слишком слабыми для печати.

Она не двинулась с места, словно застыла. Глаза стали совсем пустыми, только рот дергался.

— Ведь вы просили правды? – повторил он, не в силах вынести ее молчания, и нервная злобная улыбка гримасой пробежала по губам и сверкнула в глазах.

«Как он меня ненавидит!.. За что?», – подумала она с ужасом и сразу протрезвела. Очнулась. Не глядя на него, машинально взяла пальто, надела и так же молча, не оглядываясь, вышла. Прошла темную, освещенную только лампадой столовую, узкую переднюю и очутилась на улице.

Ночь была безлунной: пронизывающий ноябрьский ветер рычал, гоня по безлюдной улице выпавший утром снег. Ноги скользили по обледенелой мостовой. В вое ветра ей слышались оскорбительные слова. Внутри нее все было выжжено.

Полный мрак. Не осталось ничего. Уничтожил сначала женщину, потом поэта.

Вдруг безудержно потекли слезы. Ветер их высушил, и щеки щемило, но она не замечала боли.

Отнял последний исход… Последнее утешение… Сделал нищей…

Она шла, не видя перед собой дороги, и удивилась, очутившись у дверей своей квартиры. Было странно иметь дом, жить как все после только что пережитого.

— Даже и не поэт!.. – прошептала она вслух, и тяжелая дверь с шумом за ней захлопнулась.

8

В кабинете на столе Брюсова настойчиво и тревожно звенел телефон. Нагнувшись над письменным столом, Валерий Яковлевич острым причудливым почерком набрасывал новую статью для журнала. Перо было хорошее, бумага глянцевитая, мысли бежали ровно, отчетливо, он работал с наслаждением.

Телефонный звонок оторвал его. Он неохотно снял трубку.

— Слушаю!

— Валерий… Это я.

— Позвони через час, мне некогда…

Он повесил трубку. Жалобно звякнул отбой.

Раздражение от вчерашней сцены еще не улеглось, а она опять мешала ему работать, разбивала настроение. Он закурил и, посидев несколько минут, бесцельно чертя орнамент на бумаге, стал писать. Пробили часы и опять затикали монотонно, уютно: дом словно замер, охраняя его покой.

И вдруг снова раздался звонок… Он вздрогнул…

«Опять она!».

Телефон звонил все настойчивее, все громче; он наполнил всю комнату тревожным дробным звоном. Брюсов не двигался с места, только брови его сдвинулись, и упрямо блестели глаза.

Телефон, будто в последнем усилии, закатился еще раз и смолк. Наступившая тишина показалась угнетающей. Брюсов больше не мог писать, сидел сгорбившись и чего-то ждал.

Может быть, лучше было бы, если бы она опять позвонила?..

Что-то похожее на сожаление царапнуло сознание. Эти вечные трагедии с женщинами отравляли жизнь! Закурив, он встал, подошел к окну.

«Поехать к Надежде?», – подумал он и, постояв с минуту, уставившись на зажженный посреди улицы фонарь, прошел в переднюю. Медленно надевал кашне, шубу, меховую шапку…

Вышел не застегиваясь. Сразу прохватил морозный ночной ветер. На душе было тревожно, смутно. Остро, колюче светили звезды.

На крыльце дома он опять остановился, раздумывая; наконец, громко крикнул извозчика и, приняв окончательное решение, назвал ресторан, в который приказал себя везти.

9

Утром Брюсов встал мрачный – ночью снились неприятные сны. Пришел он поздно, не выспался. Когда вышел в столовую, самовар уже

остыл. В это утро Эда показалась ему особенно серой и скучной. Стараясь не глядеть на жену, он, зевая, потянулся за газетой, но Эда ее от него отодвинула:

— После прочтешь.

Недовольно нахмурившись, он взглядом спросил, в чем дело, и она ответила тихо, растерявшись, не смея противоречить:

— Тут извещение о смерти… – она сделала паузу, – Надежды Львовой.

Руки его, разворачивавшие газету, задрожали. Объявление в толстой черной рамке запрыгало перед глазами.

Застрелилась?! Ночью?.. Может быть, сразу же после того, как звонила?..

Иоанна Матвеевна внимательно следила за мужем. Ее тонкие губы стали еще тоньше, и вся она как-то выпрямилась, расправилась, глаза засветились твердым, решительным светом.

Девчонок, которые бросались на шею ее Вали, было много, но она была одна – его жена, его друг, призванный оберегать его и щадить.

«Валя не должен был страдать!», – было первой ее мыслью после того, как она прочла о смерти Львовой. Но, когда она увидела почерневшее лицо Брюсова, когда он, смяв газету, стремительно бросился к себе в кабинет и заперся там, она поняла, что надо действовать: искренность его отчаяния ее напугала!

— Валя! – кинулась она в кабинет мужа. – Открой мне, открой, родной!

И он впустил ее. Он был испуган и жалок, а она была сильна и тверда.

Он сидел в кресле, в том самом, в котором совсем недавно сидела Надежда, и смотрел в одну точку. Папироса в его руке потухла, и на сюртук падал пепел; пальцы, узловатые и сильные, по-стариковски дрожали.

Не пришел, когда звала… Посмертному зову не поверил!.. Почему не пошел?

А Иоанна Матвеевна что-то говорила, уговаривала, и, наконец, он понял. Надо ехать в Петербург, потому что в Петербурге Верхарн, потому что там он рассеется, успокоится, потому что теперь здесь делать нечего.

И, как всегда бывало в серьезных случаях жизни или в болезни, Брюсов подчинился решению жены: ехать согласился немедленно.

А Иоанна Матвеевна, упокоив мужа, стала сразу звонить друзьям, чтобы они повлияли на газеты «Русские Ведомости» и «Русское Слово», чтобы там не писали ничего лишнего в связи с самоубийством Львовой.

К полудню квартира Брюсова наполнилась литераторами. У всех был

взволнованный и таинственный вид. И каждый рассказывал по-своему и со своими комментариями о том, как покончила с собой Надежда Львова.

Говорили, что застрелилась она ночью, а поздним вечером в смертельной тоске звонила по очереди Ходасевичу, которого не застала дома, литератору Ш., которого звала пойти в кинематограф, но тот пойти не мог, наконец, Петрову, который больше всех каялся, пощипывая золотую бородку, словно мог он предотвратить то страшное, что висело над ней, что было ее судьбой.

Какая-то светловолосая женщина, с голубыми, немного сумасшедшими глазами, чья-то жена или любовница, некстати, ломающимся от слез голосом, прочитала строчки из стихов Львовой:

…ты придешь покорный,
Прильнешь к синеющим губам…
Но не отбросить креп узорный,
Но не рассеять сон мой черный
Твоим томящимся рукам.
Что мне до ласки поцелуя,
Что мне до запоздалых слов.
Взгляни, взгляни, как тихо сплю я…

На нее зашикали, и она оборвала чтение, прошептав глухо:

— Сама себе смерть предсказала!

А Брюсов побледнел и совершенно реально представил себе Надежду в гробу, окутанную кадильным дымом, в подвенечном платье, флер-доранжевом венке над крутым, упрямым лбом.

Нахмурившись, он ушел к себе, а в столовой все зашептались о том, что браунинг, из которого застрелилась Львова, был подарен ей Брюсовым, но что, конечно, ради репутации кружка, и главное, самого Брюсова, надо об этом молчать. И в этой заботе как-то совсем забыли о самой Львовой, словно не было молодой жизни, словно осталось все по-старому.

На другой день Надежду хоронили, а Брюсов в синем экспрессе мчался в Петербург. Колеса гулко, ритмично выстукивали свою песню. Покачивало. Поезд мчался стремительно, а вслед глухо и грозно гудела встревоженная сплетней и клеветой Москва.

Впервые опубликовано: Рубеж. 1935. №№ 39, 40;
также см.: Резникова Н. Раба Афродиты: Сборник рассказов. Харбин, 1936.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
в 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 107–128.

Проза

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ

1

Дым от моей сигареты заволакивает от меня действительность, и из душистого голубого тумана появляются два женских лица: одно – круглое, как яичко – детское, другое, тонкое и надменное…

Неужели это все, что осталось от моей молодости?.. Да, если начать вспоминать, то от всех пережитых лет, дней, часов, осталось лишь несколько сцен, несколько отрывков.

Как коротка, значит, жизнь, раз пережитым можно наполнить всего два, три дня. И разве, в сущности, все наше существование не является только подготовкой, только ожиданием этих ярких, интенсивных моментов, которые умирают в нашей памяти лишь вместе с нами.

2

Земля влажная и черная. Я с наслаждением глубоко втыкаю в нее заостренный конец палки и с трудом вытаскиваю его обратно. Остро пахнет после дождя клейкая, молодая листва. Весь забор сада оснежен розовато-белым цветом яблони, которая свешивается к нам из соседнего сада. Недавний дождь смыл белые звездочки осыпавшейся черемухи, которой так много в нашем саду. В душе у меня какая-то смутная тревога, но я не отдаю себе в ней отчета.

На слинявших от солнца и дождя перилах круглой беседки спиной ко мне сидит Ната. Я вижу ее круглый затылок, разделенный не совсем ровной полоской пробора, две туго заплетенные светлые косы, упрямый, чуть презрительный наклон головы. Сквозь поломанные бока беседки я вижу ее длинные ноги в коричневых чулках и порыжелых туфлях. По своей привычке, за которую ей всегда попадает, она болтает то правой, то левой ногой, очень ритмично и очень солидно.

Я знаю, что она изображает из себя взрослую и в свои одиннадцать лет тщательно скрывает от меня, что играет в куклы.

Но я знаю, что она прячет их в шкаф, как только я прихожу.

До сих пор помню ту глубокую нежность, которую испытывал к ней тогда, ту радость покровительствовать, учить, восхищать и распоряжаться, лепить собственными руками душу другого существа, которым я был опьянен, вероятно, сам не отдавая себе в этом отчета. Я приносил ей все мои любимые книги, начиная от Густава Эмара, кончая Пушкиным и Лермонтовым; я делился с ней своими мечтами, и она была героиней моих романтических, мальчишеских снов.

— Ну как, – спрашиваю я, – прочитала «Герой нашего времени»?

— Да! – отвечает Ната, продолжая болтать ногами.

По тону ее я вижу, что она многого не поняла, но предпочтет

умереть, чем мне в этом признаться. Догадываюсь, что она подавлена и поражена той мучительной любовью, с которой она столкнулась впервые.

— Неужели тебе не нравится? – настаиваю я, втайне досадуя на себя за то, что с ней, девчонкой, говорю о Лермонтове, которого, конечно, она постичь не может. Поддаваясь раздражению, я замечаю, стремясь ее унизить: – И что за манера – сидеть спиной и болтать ногами!

По тому, как она выпрямилась, я понимаю, что задел ее, но она не сдается.

— Отстань! – цедит она сквозь зубы и не оборачивается.

Ясно, что на нее накатился припадок упрямства.

— Совсем деревенская девчонка, хотя и строишь из себя принцессу! – выпаливаю я резко.

— Не знала, – отвечает она иронически.

Мне хочется сделать ей еще больнее, отомстить за Лермонтова, за то, что у нее есть какое-то преимущество передо мной, четырнадцатилетним мужчиной.

— Принцесса, – продолжаю я, – главный рыцарь которой Ленька сморкается в руку и ворует для нее в соседнем саду цветы.

О, я попал в цель! Она ведь не выносит ничего вульгарного. У нее почти болезненное стремление к красивому. Она вся сжимается от моих слов, вероятно, кривится, и я знаю, что мой красивый черноглазый враг навсегда опозорен.

— И все же он лучше тебя! – восклицает она негодующе, вовсе не желая сдавать позиции. – И ты все это выдумал про него сейчас. Лучше вспомни свою хохлушку…

Последние слова заставляют меня торжествовать. Я слышу в них нотку скрытой ревности.

Мне ужасно хочется взглянуть на Нату. Я бросаю свою палку и одним прыжком вспрыгиваю на перила беседки и сажусь рядом с ней.

У нее смешной профиль – коротенький вздернутый нос, полные, чуть оттопыренные губы, овальное, как яичко, личико и страшно длинные ресницы, придающие ее лицу что-то пленительно женственное.

Мы молчим, и я знаю, что она дуется.

— Ната, – примирительно начинаю я, не выдержав молчания, – неужели тебе не нравится Печорин? Я тебе не верю… Ведь он – настоящий герой!

— Совершенно не нравится! – вырывается у нее горячо, и я внезапно догадываюсь, что она возмущена и влюблена в того, от кого так страстно открещивается. – Я презираю его… Я ненавижу его!

Скосившись, я вижу, как поднялись светлые брови и наморщился слишком высокий белый лоб. Хотя я прекрасно знаю, что поднимать брови она выучила давно и считает, что это лучше всего выражает презрение и

независимость, я невольно проникаюсь ее серьезностью и спрашиваю уже не насмешливо:

— Почему?

— Он не герой, он… Не знаю… Но как мог он тогда, когда… ну, помнишь, когда ехал с Мэри верхом… – она захлебывается, не находит слов и, задохнувшись от смущения, кончает решительно: – Как мог он поцеловать ее, раз любил другую!

Напрасно она отворачивается от меня – я вижу, как мучительно, до слез, она покраснела, настолько, что порозовела даже длинная худенькая шейка, выглядывающая из отложного пикейного воротничка ее платья.

— Печорин – настоящий мужчина! – возражаю я убежденно. – И я буду таким же.

— Я так и думала! – вырывается у нее почти с отчаянием.

Она легко соскакивает на землю и, не взглянув на меня, уходит.

Я иду за нею, и в душе накипают теплота, нежность, беспричинный восторг. Почему-то в глазах начинает пощипывать, и мне так хочется сказать ей, что глупо ломаться, что для нее никогда я не буду Печориным, что таким я буду с другими, но не с нею…

Не оборачиваясь, она идет в самую глубь сада, в наш любимый уголок – запущенную, заросшую по краям вербой, полянку. Зелеными кустиками пробивается острая, тоненькая трава. Земля здесь бурая, глинистая, летом растут лопух, крапива, полынь, одуванчики и куриная слепота. В самой глубине кем-то посажен жалкий куст сирени.

— Расцвела! – кричит Ната восторженно и бросается к лиловой полураспустившейся ветке, почти затерянной в зелени листьев.

Жужжат пчелы, пристают зеленые тяжелые мухи, солнце невыносимо печет открытую голову. На солнце растрепавшиеся волосы Наты напоминают легкие серебряные паутинки, которые носятся в воздухе осенью, в наклоне ее тонкой шейки что-то до боли трогательное и милое.

Я наклоняюсь и губами касаюсь ее затылка.

— О-ох!.. – слышу я и пугаюсь сверкающих гневом, посветлевших, острых как гвоздики, глаз Наты.

Я долго стою, понурившись, у куста сирени, не обращая внимания на приставание мух, на то, что голову все сильней припекает. Мне очень обидно и грустно. Я впервые испытываю боль – быть непонятым женщиной.

Когда распаренный солнцем, взлохмаченный и мрачный, я возвращаюсь домой, мучимый голодом и тоской, Ната, суровая, почему-то особенно важная, сидит рядом с моей матерью на крылечке и сосредоточенно чистит миндаль.

— Почему ты такой потный? – с тревогой спрашивает мама, оглядывая меня своими карими, проницательными глазами и игнорируя мое желание казаться невозмутимым.

— Вероятно, он изображал Печорина и за неимением чистокровной лошади скакал на палочке верхом, – поясняет Ната, бросая на меня из-под ресниц презрительно холодный взгляд и обращаясь только к маме.

Тут оскорбленный сам, я понимаю, как больно ее обидел: «Ведь, если я – Печорин, то она – Мэри, и, значит, я поцеловал ее, не любя».

Этот мучительный день тянется особенно долго. Я хожу как потерянный, меня грызет раскаянье и тяготит невыносимая нудная тоска. Меня преследует голос Наты, какой-то особенно звонкий, особенно властный. Ее присутствием наполнен весь дом, и хотя мы не разговариваем, я исподтишка слежу за ней. Намеренно долго я играю упражнения, потом разучиваю Мендельсона. Я знаю, что она сидит в кресле с книгой в руках, но уверен, что она прислушивается к моей игре, которой всегда восхищается. Вдруг ощущение спокойствия и умиротворенности, которое вызвано музыкой, проходит – я чувствую, что ее нет больше в комнате. Мной опять овладевает тревога. Я оборачиваюсь. На розовом атласе кресла лежит раскрытый Лермонтов, на полу – выскользнувшая из косы лента. Куда она убежала? Крадучись, я выхожу из гостиной, заглядываю в детскую Наты, в столовую, в квартире пусто и тихо. Стремительно выскакиваю в сад.

У зеленой беседки – две тени. Ната стоит ко мне спиной; черноглазый высокий Ленька – рядом с ней ко мне лицом. Я ясно вижу веселые глаза, нахальную улыбку красивого рта. Я ненавижу его!

Я хочу знать, о чем они говорят. Я едва владею собой от беспричинного гнева, от внезапно нахлынувшей ревности, но гордость заставляет меня сдержаться. Я поворачиваюсь и бегу обратно в гостиную, к роялю. Сердце бешено колотится, руки дрожат, но я продолжаю играть пьесу с прерванного на середине такта. Я колочу по клавишам злобно, с ненавистью, заглушая сердцебиение.

— Не колоти! – взывает из соседней комнаты мама. – Разве можно так играть Мендельсона!

— Он всегда колотит! – злорадно подхватывает Ната.

Я поворачиваюсь на вертящейся табуретке. Ната стоит в дверях и насмешливо улыбается.

— Где ты была? – спрашиваю я, вставая и подходя к ней.

— В детской, – говорит она, опуская ресницы.

— Ты лжешь! – шепчу я угрожающе.

— Ничуть не лгу!.. С чего это ты вообразил? – отвечает она невозмутимо, смотря мне прямо в глаза своим прозрачным чистым взглядом.

Этой наглости мне не вынести. Красные круги плывут перед глазами, я вне себя от бешенства…

— Ты лжешь! Я видел, как ты стояла у беседки с Ленькой… Посмей-ка отрицать!..

Я хватаю ее за плечи, впиваюсь пальцами в ее косточки и беспощадно трясу ее. На минуту она застывает от неожиданности, потом ее лицо перекашивает на глазах, и она кричит, отчаянно, звонко, на весь дом.

— Анна Михайловна, Сережа дерется!

Я выпускаю ее, пристыженный и дрожащий от гнева, она пронзительно визжит, падает, и в комнату вбегает мама.

На этом воспоминания обрываются, и образ девочки, которую я любил и из-за которой страдал, исчезает.

Милая девочка, как незабываемо прелестно ее подвижное неправильное личико, острые локти, слишком длинные руки и ноги, чисто женское коварство. И как странно, что все женщины, которых я когда-то любил, о которых я когда-то мечтал, всегда чем-то напоминали эту девочку, которая для меня так никогда и не стала взрослой…

3

У моей жены было очень много общего с Натой. Было в ней что-то беспомощно-детское – вероятно, в худобе ее нежного тела, в стройности длинных ног, в чистоте светлых глаз, затененных длинными черными ресницами. И она так же, как Ната, вопросительно поднимала выщипанные брови, и от этой скверной привычки у нее на лбу уже появились три глубокие морщинки. У нее были очень светлые, доходящие до плеч, вьющиеся волосы. Я называл ее – Мэри. Я мучительно любил ее. Мне всегда казалось, что она ускользает от меня, что каждую минуту я могу ее потерять. Я боялся болезней, людей, случайностей. Я старался оберегать ее. Приписывая свои ощущения болезненной мнительности, я гнал от себя мысль, что это может быть предчувствием.

Из трех лет нашей совместной жизни в памяти ярко сохранился только один день – момент крушения моего счастья. Моя память с поразительной отчетливостью воскрешает прошлое.

В то утро я проснулся с тяжестью в сердце, которая знакома мне с ранней юности и которая всегда предупреждает меня о надвигающейся опасности. Но я не хотел слушать голоса сердца. Я повернулся на правый бок и, увидев бледный овал щеки и растрепавшиеся локоны Мэри, позабыл о своей тревоге.

Мэри была со мной навсегда, на всю жизнь, до самой старости! Я живо представил себе ее старушкой, морщинистой, худенькой и порадовался тому, что настанет время, когда моей неуемной тревоге придет конец, когда я буду обладать ею, без опасений потерять ее, до самой смерти.

Она не спала, но я видел, что она не хочет разговаривать. Я давно заметил, что моя восторженная любовь кажется ей сентиментальной, и ее холодная насмешливая улыбка, которой она отвечала на мои признания возлюбленного мужа, часто заставляла меня сжиматься от обиды и боли.

И все же я не мог сказать, что она не любит меня. Разве она не была заботлива, не отвечала на мои поцелуи горячими объятиями, не выбрала меня, не вышла за меня замуж по любви.

И все же она мучила меня… Может быть, бессознательно… Терзала своим кокетством с другими, своей замкнутостью, своим нежеланием говорить о себе, своих чувствах, воспоминаниях, ощущениях.

— Ты – мот, – говорила она, смеясь, показывая мелкие, острые зубы хищницы, – ты растрачиваешь свою душу в словах, как расточитель растрачивает капитал.

Зато она, о, она умела молчать!

— Мэри, – сказал я, водя бритвой по намыленной щеке, когда заметил, что она проснулась, – сегодня мы идем в оперу. Я забыл тебе сказать, что вчера уже купил билеты.

— Я не пойду, – ответила она низким после сна голосом, отворачиваясь от меня и натягивая на плечи сползшее одеяло. – Я плохо себя чувствую, у меня, наверное, жар.

Встревоженный, я подошел к ней, коснулся рукой ее гладкого лба, нежной порозовевшей щеки.

— После сна ты всегда горячая, – напомнил я, – но на всякий случай измерь температуру.

— Нет, не хочу! – ответила она тоном, не терпящим возражений, – я и без термометра знаю, что у меня не меньше, чем тридцать семь и пять, у меня с вечера болит горло и голова. Я лучше полежу…

— Тогда позовем доктора!..

— Ах, отстань, пожалуйста, не устраивай панику! У меня простая инфлюэнца. Дай мне спать.

Она свернулась в клубочек, закрыла глаза, и я знал, что не добьюсь от нее больше ни слова.

С постели она встала только к вечеру. Вернувшись со службы, я нашел ее в халате, с синяками под глазами, вялую и раздражительную. Она сказала мне, что приняла аспирин, что температура упала, но что у нее слабость и она никуда не пойдет.

— Конечно, мое солнышко, – согласился я, – мы с тобой чудесно проведем вечер. Хочешь, мы почитаем, или я поиграю тебе?

Эта мысль искренно меня обрадовала: мы так редко проводили вечера вдвоем. Почти каждый день к нам собирались друзья моей жены, шумная компания девушек и мужчин, в равной степени занимавших Мэри и действующих мне на нервы.

— Нет, милый, – возразила она, подходя ко мне и садясь на ручку кресла, на котором я сидел, – ты непременно должен пойти и все рассказать мне. Прошу тебя, родной, пойди, ведь сегодня парадный спектакль и твоя любимая опера… Смешно отказываться.

— Но мне в тысячу раз приятнее остаться с тобой, – запротестовал я, обнимая ее.

— Не будь сентиментальным, – оборвала она, презрительно сморщив носик, – тебе полезно развлечься, а мне – побыть одной. Знаешь, иногда это действует освежающе.

Я притянул ее к себе, халат слегка распахнулся, сверкнула белая полоска плеча.

— «Твои высокие плечи – безумие мое», – сказал я, цитируя Блока и поцеловав ее улыбающийся рот. До сих пор помню прикосновение к стиснутым, холодным зубам, которых она не разжала.

— Пусти! – оттолкнула она меня и выбежала из комнаты.

— Иди сюда, – услышал я вскоре ее веселый зов из спальни. – Я приготовила тебе крахмальную рубашку и чистый воротник. Я хочу, чтобы ты был лучше всех!

О, она умела заставлять делать так, как она того желает.

Поддавшись ее оживлению, я весело одевался и беззаботно отправился в театр. У меня даже появилось какое-то мимолетное, но радостное ощущение своей свободы и независимости. Садясь в машину, я с удовольствием ощущал гладкость свежевыбритых щек, запах духов, которыми жена обрызгала мой платок и кашне, острую прохладу весенней сырой ночи.

Но это ощущение довольства и самовлюбленности испарилось, лишь только я вошел в переполненный толпой зрительный зал, откинул сиденье кресла второго ряда и увидел пустое место слева от себя, место, которое должно было быть занято Мэри. Я представил себе ее в строгом черном платье, чуть надменную и бесконечно прелестную. Вечная жажда быть с ней, прижать ее к себе охватила меня.

Вечер был отравлен… Тревога, с которой я проснулся утром, с новой силой овладела мной. Увертюра «Евгения Онегина» только разжигала мою тоску. Мне казалось, что мое сердце стало огромным, полным крови и очень тяжелым. Оно давило мне грудь, как камень.

«Слыхали ль вы, слыхали ль вы за рощей глас любви?..».

Этот дуэт всегда особенно меня трогал, но в этот раз я едва слушал, перед моими глазами словно висела какая-то завеса. Едва занавес упал и наступил антракт, я выбежал из зрительного зала и, движимый не волей, а инстинктом, бросился к выходу. Я знал ясно только одно – этой тревоги мне не вынести. Мне казалось, что Мэри в опасности, что она задыхается, что ей плохо…

«Как можно было оставить ее одну, больную!», – упрекал я себя.

Когда, наконец, я подъехал к нашему дому, я увидел, что окна нашей квартиры темны.

«Спит!», – вздохнул я с облегчением, и все пережитые страхи

показались мне диким кошмаром, подсказанным разыгравшимся воображением. Расплатившись с шофером, я осторожно, чтобы не разбудить Мэри, открыл американским ключом дверь, ощупью нашел выключатель, но локтем задел зонтик, стоявший у вешалки. Он с грохотом повалился, нарушив настороженную тишину дома. Я замер, ожидая испуганного крика Мэри, но страшная тишина наступила снова. Моя тревога росла с каждой секундой. Произошло что-то катастрофическое… Теперь я уже был в этом совершенно уверен.

— Мэри! Мэри! – позвал я, не помня себя.

Никто не отозвался. В доме была мертвая тишина.

Нельзя передать словами тот ужас, который я пережил, пока, роняя за собой вещи и зажигая повсюду свет, я добежал до ее спальни. Но он – ничто перед тем отчаянием и оскорблением, которые я испытал, когда воочию убедился, что в спальне Мэри нет. Да, я предпочел бы увидеть ее мертвой, нежели убедиться в ее отсутствии, в ее обмане.

Постеленая на ночь кровать была не тронута. На козетке лежал ее халат с вывернутыми рукавами; шкаф был раскрыт, и было видно разбросанное, перерытое нетерпеливой рукой белье на полках; у кровати валялись красненькие туфельки без задников, которые она всегда носила дома.

Не желая верить очевидному, я бросился на поиски. Я заглянул в нашу крохотную кухню, в белоснежную ванную, в столовую, в кабинет, но надежды были напрасны: Мэри не было.

— Она ушла, ушла… – шептал я, внезапно отупев.

Я опять вошел в кабинет и остановился посреди комнаты. Мыслей не было… Случайно мой взгляд упал на черный лакированный столик, стоявший между двумя креслами. На зеленой малахитовой пепельнице лежала недокуренная сигарета. Она еще дымилась.

— Здесь был м-р Стэн…– проговорил я громко и сам испугался звука своего голоса.

Да, это был он, память подсказала мне, что только он курил эти толстые сигареты с золотым ободком… Мэри ушла с ним.

Я внезапно увидел м-ра Стэна так ясно, точно он сидел в кресле передо мной, как всегда чуть небрежно развалясь, закинув ногу на ногу, не выпуская изо рта сигареты. Я увидел шапку серебристо-серых волос над смуглым высоким лбом, тонкие, иронические губы и горькие складки, идущие от носа к углам рта. Он должен был нравиться женщинам, и я не раз замечал, с каким любопытством смотрела на него Мэри, и как уверенно и чуть насмешливо он говорил с ней, касаясь, словно нечаянно, плечом ее плеча, которое, казалось, только и ждало этого прикосновения. Не раз я ловил себя на припадках ненависти к этому немолодому американизированному человеку.

Что было общего между ним и Мэри? О чем они могли говорить и

почему так часто жестоко дерзили друг другу? Это было для меня загадкой. Я ревновал, боясь признаться себе в этом, желая только одного – верить Мэри.

О, как легко умела она сметать все мои подозрения – одним взглядом, одним поцелуем. Я хотел верить ей, и я верил.

Внутренняя дрожь потрясла меня с ног до головы. Значит, все это было ложью… Значит, и сегодня с утра она играла комедию, лгала мне для того, чтобы вечером освободиться от меня и увидаться с ним… Чудовищно! Невероятно!

Я все-таки не хотел верить. Я старался найти для нее оправдание. Может быть, сигарета была не м-ра Стэна? Может быть, Мэри вызвала мать?

Ну да, конечно! Как это раньше не пришло мне в голову? Ее матери стало плохо, за Мэри послали, и она поехала к ней.

Я выбежал на улицу и, забыв о том, что есть извозчики и автомобили, почти бегом направился к матери моей жены.

Теща жила далеко, но я радовался, что идти надо будет долго, постепенно я стал замедлять шаги. Бессознательно я отдалял от себя минуту, когда узнаю, что Мэри у матери нет, когда передо мной откроется бездна, в которую полетит все наше счастье, вся наша любовь.

Несмотря на внутреннюю уверенность в самом худшем, я малодушно оттягивал страшную минуту крушения всех иллюзий.

И тут случилось самое страшное… Прямо мне навстречу, касаясь плечом друг друга, шли двое. Я не хотел верить своим глазам даже тогда, когда они растерянно остановились, увидев меня. Свет от фонаря упал на золотую прядь волос, выбившуюся из-под шляпы.

— Ты? – спросила белокурая дама, которая вдруг стала мне совершенно чужой, и которую я едва видел от внезапной черноты перед глазами. – Почему ты не в театре?

Высокий господин, ее спутник, снял шляпу и держал ее в руках; его волосы казались посыпанными снегом. Я на минуту потерял дар слова.

«Только без сцен, – сказал я себе, сжимая в карманах кулаки, – только не быть смешным перед этим самодовольным животным».

— От духоты у меня разболелась голова, – ответил я глухо, – и я вернулся домой. Не застав тебя, направился к твоей матери…

— Я только что от нее, – ухватилась за поданную мной соломинку Мэри, – маме стало нехорошо, и она за мной послала.

Я видел, как румянец, вспыхнувший на ее щеках, потухал – она успокаивалась.

— К моему удовольствию, я встретил вашу супругу и пошел ее проводить, – с достоинством объяснил м-р Стэн и вынул портсигар.

Сигарета, которую он закурил, была с золотым ободком.

Кровь кинулась мне в голову. Сомнений больше не было…

— Много было народу? – спросила Мэри, стараясь овладеть собой.

Я не ответил. Во мне бушевала буря. В то время, как я беспокоился о ней, представлял себе ее больной, несчастной, одинокой, в это время она… О, как я ненавидел ее, презирал свою любовь и любил сильнее, чем всегда.

— Разрешите попрощаться с вами, Мария Владимировна! – донесся до меня голос м-ра Стэна, – я заверну в клуб.

Он имел настолько такта, что не протянул руки ни мне, ни жене.

Конечно, все это не ново, об этом писал еще Толстой в «Крейцеровой сонате», но для каждого свое переживание неповторимо, и нет у меня таких слов, которые могли бы выразить гамму сжигавших меня в ту минуту чувств.

Я не знаю, что думала Мэри (я никогда вполне не понимал ее), но я убежден, что ей было тяжело и страшно. Я видел, что она испугана, – по сероватой бледности ее лица, по наклону головы, по сгорбившимся плечам. Я даже со злорадством подумал, что она вовсе не красива и что опущенные уголки ее рта говорят о недоверчивости и злобе.

Я шел быстро, хотя видел, что она задыхается, едва поспевая за мной.

— Ты должен выслушать меня, а потом судить, – заговорила она первая, не выдержав моего молчания. – Я ни в чем не виновата перед тобой, ни в чем… – повторила она твердо и убедительно.

Но я больше не верил ей.

— Почему ты не продолжаешь лгать? – насмешливо спросил я. – Ведь все выходит как по писанному: ты была у больной матери и на каждом углу можно при желании встретить доброго знакомого, – нервный смех душил меня.

— Я не хочу обманывать тебя… я хочу только объяснить, – возразила она грустно.

Конечно, она была умна, но ум не всегда помогает, нет!

— Я давно говорил тебе, – перебил я, едва сдерживая спазмы, которые перехватывали горло, – что никогда не прощу лжи. Мне все равно, была измена или нет. Если ее еще не было, она будет…Главное то, что я не верю тебе и не буду верить больше никогда.

— Но ты пойми… выслушай меня прежде, а потом суди… Попробуй же понять…

Но я не мог ее слушать, со всей силой любви я ненавидел ее теперь.

— Больше ты для меня не существуешь, – говорил я безжалостно, – я никогда не пойму, никогда не прощу, слова бесполезны. Ты для меня теперь не больше, чем первая встречная, с которой я случайно сошелся и которую забыл. Все погибло. Прошлое вычеркнуто из моей памяти. Для меня ничего не существует, кроме этого дня, кроме этой лжи!..

Кажется, я говорил очень спокойно, поэтому меня так поразила внезапная экзальтация Мэри.

— Значит, ты нисколько не любишь меня! – воскликнула она страстно. – Если бы ты любил меня, ты не мог бы говорить так спокойно, ты, который из-за каждого пустяка устраивал мне сцены, который готов был плакать из-за малейшего моего нездоровья. Ты не любишь меня больше, вот и все!

Я помню, как горько я засмеялся ей в лицо. Мог ли я объяснить ей, что именно сильно любя, я не мог простить?

Открыв своим ключом дверь нашей квартиры, я впустил ее, а сам остался на улице. Я не мог войти в дом, который осквернила ложь, и в котором лежала недокуренная сигарета м-ра Стэна.

4

Неужели это все, что осталось от моей молодости? Только непонятая любовь ребенка и оскорбленное доверие? Неужели больше не было счастливых минут, горьких часов, любимых женщин? Неужели, наконец, не было работы, удовлетворенного самолюбия, прекрасных книг?

Было все, конечно, но только эти два дня моей жизни почему-то врезались в памяти глубже всего, ранили всего острее.

18.II.34

Впервые опубликовано: Рубеж. 1934. № 41;
также см.: Резникова Н. Раба Афродиты: Сборник рассказов. Харбин, 1936.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
в 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 141–153.

ПАН ТЕОДОР

Вы пришли ко мне сумрачный. Угрюмо опустились в кресло. На фоне окна вырисовался ваш острый профиль… Я не хотела нарушать вашего настроения. Вы долго молчали. Я ждала. Наконец вас словно прорвало:

— Ненавижу современных писателей! – кинули вы гневно. – Едва дочитал свеженькую книжечку новой «знаменитости»… Черт знает, как стали писать!.. Вот и вы. О чем вы пишите? Зачем?.. Если бы вы, действительно, могли, как мог Толстой, воплотить в книге жизнь, снова вернуть бытие ушедшим моментам, людям… Да, именно, если бы вы умели вернуть реальность ушедшему… Ведь столько уходит из жизни сильных, неизживших себя людей. Их бы показать! Их бы вновь воскресить, передать обаяние личности, трагедию существования… Снова повторить слова, давно отзвучавшие! – вы нетерпеливо чиркнули спичкой и зажгли сигарету.

Растерявшись от вашего натиска, я молчала.

— Бывают такие люди, – уже спокойнее продолжали вы, – встреча с которыми оставляет неизгладимое впечатление на всю жизнь. Их воля порабощает вас. Вы поддаетесь необъяснимой, – я бы сказал, магнетической, – их власти, подчиняетесь их желаниям… Да, есть люди, один взгляд которых порабощает. Таким был пан Теодор, мой погибший друг… Если хотите, послушайте о нем… Только не записывайте, не надо…

Простите ли вы меня за то, что я не исполнила вашей просьбы. Но я заболела вашим рассказом и не могла не передать его на бумаге… Не литературно, нет, а так, как было вами рассказано, – без фабулы, отрывочно, многое упуская, для того, чтоб «повторить» прошлое давно умершего человека.

И еще в свое оправдание: когда я писала, мне все время казалось, что душа пана Теодора, преждевременно оторванная от жизни, бродит по земле, тоскует, напоминает о себе своим друзьям, водит моим пером и подсказывает нужные слова. Что-то неотвязное есть для меня в этом образе; он требует, чтобы его вернули к жизни, хотя бы только на бумаге.

Огромную магнетическую силу прекрасных голубых глаз пана Теодора испытывали на себе все, кто его знал. В этих глазах было сверкание, подчинявшее людей, делавшее его всегда, во всех случаях жизни, господином. Он был высок ростом, – ноги у него были длинные, как у Дон-Кихота Ламанчского, – и он носил шелковистые золотые усы. Таких длинных я не видал больше ни у кого, но они ему шли. У него был характерный, почему-то меня ужасающий, но, в то же время, восхищающий жест: подвыпив, он непременно накручивал длиннющий свой ус на кончик носа. Делал он это методично, задумчиво, и только по движению этому мы знали, что он нетрезв. Был он человек крепкий, выносливый и выпить умел.

Поляк, он вырос в России и всегда жил среди русских… Впрочем, о детстве его я ничего не знаю. Впервые столкнулись мы с ним на практике у границы Персии, куда были посланы на землеустроительные работы. Учился он в то время в Петербурге, в Лесном институте.

Встречались мы тогда редко, почти исключительно в кутящей компании, но запомнил я его хорошо. Один случай сильно подействовал на мое воображение и подтвердил мое первое впечатление о нем: силе его светлых глаз трудно было противостоять.

Была поздняя осень. Почти все студенты разъехались, торопясь в столицу; задержались, не помню почему, только я и пан Теодор. Случилось так, что мы уезжали одним поездом. Станция была маленькая, скучная. Почему-то дольше обыкновенного не прицепляли паровоза. Я забрался в купе и из окна глядел на пустынный перрон, по которому взад и вперед разгуливал пан Теодор.

Вдруг со стороны леса выбежал коренастый, молодой татарин… Я узнал в нем того самого рабочего, которого пан Теодор недавно больно избил за какую-то прогрешность.

Пан Теодор, видимо, тоже его заметил – он прекратил свое хождение и встал у вагона. Шагах в двадцати от него татарин остановился, что-то крикнул и поднял револьвер. Я застыл у окна. Пан Теодор скрестил руки на груди и стоял под наведенным дулом, не шевелясь. Казалось, татарин никогда не выстрелит, но выстрел грянул.

Пан Теодор не дрогнул, не двинулся с места. Пуля со звоном ударилась в обитый железом вагон.

Татарин с опущенным револьвером в руках растерянно озирался.

— Ну, – спокойно и громко сказал пан Теодор, – я стоял, а теперь ты постой.

Он, не торопясь, вытащил из кармана старый Смит и Вессон и, глядя на татарина в упор, стал поднимать его… Татарин не выдержал, повернулся к нему спиной и бросился в лес.

В напряженной тишине оглушительно прозвенел последний звонок. Поезд отходил. Вложив револьвер в карман, пан Теодор на ходу вскочил на ступеньки вагона и приветливо поднял шляпу в знак прощания, словно ничего и не произошло.

Второй раз мы встретились через много лет, во Владивостоке. Он был лесничим городских лесов. Жил в просторной усадьбе, окруженной густым лесом. Тут я узнал его ближе. Внешне он почти изменился, не постарел, не пополнел несколько, хотя пить стал еще больше. Всегда при себе носил металлическую фляжку с водкой и, когда выпивал, непременно накручивал на правильный нос белокурый ус. Накрутит и сосредоточенно так старается, чтоб самый кончик уса пришелся на середине носа, и на кончик его смотрит.

Хороший был товарищ. Гостеприимный. Бывало, как пригласит он к себе в гости, начнет угощать – от стола не встанешь… Любили к нему охотники приезжать поохотиться. Кажется, кому как не лесничему знать, где зверь водится. А он нарочно накормит всех до отвалу, напоит, а потом на охоту отправляет и, конечно, норовит так вести, чтоб никакого зверя не затравили. Охоту не признавал. Зверя больше человека любил. Помню, сидим у него, закусываем, а объезжий Семен не утерпит, похвастает:

— Так что вот там, ваше высокоблагородие, медведя обложили…

А пан Теодор так поморщится, словно ему больно сделали, и ужасно боится, чтобы кто не услышал и на медведя не пошел… Но о Семене надо особо рассказать…

Придумал пан Теодор городской заповедник для оленей устроить. Говорил, что если не позаботиться, – совсем уничтожат несчастных животных, которых беспощадно истребляли ради пантов.

Соблазн велик: за молодые рога хорошо платят.

Сказано – сделано. Устроив заповедник, предупредил пан Теодор охотников всей округи, чтобы оленей в его заповеднике не стреляли, не то…

Взгляда его было достаточно: знали все – не любит пан Теодор шутки шутить…

Каждый день посещал пан Теодор заповедник. Как влюбленный, радовался, когда удавалось увидеть пробегающего оленя, взглянуть во влажные, теплые оленьи глаза, полюбоваться пятнами на его шкуре, грацией движений… Но однажды, когда по обыкновению ранним утром пришел он в заповедник, на земле увидал следы крови и скоро наткнулся на распростертого молодого оленя; у него была прострелена шея и отрезаны рога.

Помрачнел пан Теодор, потемнел, как туча, и долго стоял и глядел на затянувшиеся пленкой темные глаза, на розоватые, мягкие ноздри мертвого оленя. Вернувшись домой, собрал своих людей и приказал во что бы то ни стало найти ослушавшегося его приказания.

Лес – не город; по следам, которые вели от заповедника, пан Теодор скоро сам нашел виновного.

Была ранняя весна, тропинки были сыры и скользки, пахло смолой. Пан Теодор на закате обходил лес. Сквозь стволы просвечивало пунцовое солнце, навстречу шел охотник-хищник Семен, приземистый, рябой, потомок Тохтамыша, с узенькими, бегающими черными глазами, тот самый, которого заподозрил пан Теодор в убийстве оленя.

Остановившись, он взглянул на него и сказал глухо:

— Ну, Семен, теперь мы с тобой в ссоре! – повернулся и ушел, и тот еще долго стоял в раздумьи и мял в руках изорванную шапку.

А глубокой ночью пана Телдора разбудили. Заспанный объездчик доложил, что в лесничестве случилось несчастье: Семен распорол себе живот, умирает и хочет перед смертью поговорить с паном Теодором… Тот мгновенно оделся и верхом поскакал к несчастному, поняв, что Семен зарезался со страху.

Его ждала страшная картина. Семен уже впал в беспамятство. Сквозь зиявшую на животе страшную рану видны были внутренности… Пан Теодор сам, как умел, перевязал его и тотчас же еле живого повез в город, в больницу. В больнице Семена отходили, но болел он долго. Пан Теодор навещал его, выслушал его признание и простил. Так они помирились, а когда Семен выписался из больницы, он явился в лесничество, сказал, что отказывается от прежней хищнической работы, и чуть не со слезами умолял взять его на службу, заявив, что хочет «служить его высокоблагородию до самой смерти»… Пан Теодор сделал его своим объездчиком, и мне часто казалось, что преданность, сверкающая в маленьких черных глазках Семена, его подчас смущала…

Счастлив, по-моему, пан Теодор никогда не был. Иначе зачем бы он пил?.. Неудовлетворенность жила в нем, правда глубоко была она спрятана. К женщинам он относился исключительно вежливо, но в вежливости этой не было ли презрения?

Мне кажется, он не любил ни одну. Помню, жила с ним худая, тихая женщина. Называл он ее «сожительница», возраста она была неопределенного, – ей могло быть и двадцать пять и тридцать пять – настолько она была незначительна, незаметна, обыденна. Вероятно, с ней ему было очень скучно. Помню, она почему-то часто плакала в уголке. И в таких случаях пан Теодор говорил мне:

— Пойдем в лес – опять она в квартире сырость разводит.

Как-то, сильно выпив, он мне признался, что всю жизнь мечтал о прекрасной праздничной женщине с точеными плечами, грудью, подобной алебастровым чашам, закутанной в зеленовато-серебряные одежды, о женщине, которая умеет пить наслаждение жадными полными глотками, ничего не требуя, кроме страсти, и отдаваясь ей всецело… Может быть, такими были гурии с влажными черными глазами газелей и длинными шелковыми, ночи подобными, волосами.

И какая насмешка, что этот красивый человек никогда не встретил на своем пути подсказанный мечтой образ… Никогда не узнал праздника любви и был принужден видеть в любви будничную повседневность. Но об этом довольно…

Пришла революция… Пан Теодор принял ее мрачно. Больше обыкновенного пил и все накручивал свой ус на нос. А однажды созвал всех своих подчиненных и сказал им твердо:

— Больше я вам не господин лесничий… Теперь господ упразднили, одни товарищи остались…

Слова его приняли молчаливо, и только один Семен воскликнул страстно:

— Ваше высокоблагородие! Вы уж как прикажете, но для меня вы всегда благородием будете…

И с тех пор остался он у пана Теодора при доме, исполняя хозяйственные обязанности, выменивал вещи на муку и картошку, мыл посуду, ходил за паном Теодором по пятам.

А когда кто-нибудь бывал груб с паном Теодором, Семен подходил к нему, оглядывался по сторонам и шепотом спрашивал:

— Дозвольте пришить, ваше благородие?

Пан Теодор просил «не пришивать», и инцидент кончался мирно.

Время было беспокойное. Затаился пан Теодор в своей глуши, избегал выходить из усадьбы, хотел, чтоб о нем забыли, но однажды в сумерки к его дому подошла разношерстная толпа и угрюмо остановилась у дверей.

Пан Теодор вышел на крыльцо, как был, – в белой рубашке, только на плечи накинул неизменную зеленую тужурку.

Его встретили недружелюбным молчанием. Он заметил, что многие были вооружены, но не растерялся. Вынув трубку изо рта, спросил спокойно:

— Что нужно, товарищи? Зачем пришли?

Его небрежная, свободная поза немного обескуражила пришедших.

Все же из толпы раздались выкрики:

— Оружие давай!..

— Где оружие прячешь?..

— Оружия у меня нет, его уже два месяца как реквизировали… Больше ничего?..

Пан Теодор невозмутимо закурил свою трубку, собираясь уходить…

— Стой! Ты куда?

— Во Владивосток его, ребята!

— Арестовать его! Долой приспешников буржуазии!

Голоса становились все громче, лица – злее.

— Без разговоров! – выдвинулся из толпы высокий, смуглый мужик в поддевке. – Арестовать его, товарищи, от имени рабоче-крестьянской власти!

Толпа подступила к самому крыльцу и окружила пана Теодора, угрожающе гудя и взмахивая оружием. Пан Теодор выпрямился и медленно обвел всех своими сверкающими, синими глазами.

— Что! Арестовать?.. Меня?!

Под его магнетическим смелым взглядом наступавшие невольно подались назад.

— Отправляйтесь по домам, товарищи… Нет у меня никакого оружия. Идите с миром.

Постепенно толпа стал редеть, незаметно, по одному, расходились… Раздалось еще несколько неуверенных выкриков. Но пан Теодор все еще стоял в дверях и не ушел до тех пор, пока смущенная, укрощенная толпа не разошлась.

Да, необычайный человек был пан Теодор! Силу такую огромную над людьми имел, а ею редко пользовался; мне кажется, даже страшился ее. Может быть, потому и зверя больше человека любил.

А события нарастали. В ошалевшем Владивостоке стало трудно и страшно жить. Большевики укрепились. Я потерял из вида пана Теодора и только перед самым своим бегством из Владивостока услыхал о его судьбе.

Оказалось, что очень скоро после прихода большевиков пан Теодор был арестован и, как специалист, послан на таксацию куда-то в Якутскую область.

Тяжело ему было уезжать. Жаль было привычной жизни, Семена, знакомого леса, оленей. «Сожительница» – «разводила сырость». Наконец, он освободился от кольца ее худых цепких рук.

Поселили его в глуши, среди леса в темной избе, и рядом с ним, стена к стене, жила женщина, под надзор которой он попадал, – комиссар, негласный член ГПУ, – Гудкова.

Говорили, что она из финок. Такая ширококостная, высокая, плоскогрудая. Волосы скобкой остриженные, очень светлые, скулы сильно выдающиеся, глаза небольшие серые и только рот красивый, совсем молодой, жадный, с острыми, мелкими зубами. Ходила она в кожаной куртке, в сапогах и всегда с наганом. Пану Теодору она сразу не понравилась. Ведь я говорил вам о грезе его, о женщине податливой, шелковистой и грациозной. Как олень.

Раздражал его и наган ее, ежеминутно напоминавший, что револьвера ему больше не иметь. И когда он смотрел на нее, желваки на его скулах начинали ходить, и он темнел в лице.

А она глаз от него оторвать не могла, все ходила за ним по пятам и сверлила его гвоздиками своих зрачков. Он в лес, и она в лес, он на съемки, и она за ним… А он гордый был, твердый, как сталь. Даже глаз на нее не поднимал, мимо смотрел.

Все бабье в ней, слабое, загнанное внутрь, отвечало его мужественности, его непреклонности, видело в нем господина и трепетало. И, не смея ни на что надеяться, не смея бороться, это бабье терпеливо ждало… Но он жил сам по себе, занятый своими мыслями, своими заботами. Почти всегда он был мрачен. Пить было нечего. В плоской заветной фляжке давно не осталось ни капли спирта, и душно было жить под надзором. Ночами не спал и думал, как уйти… Но серые влюбленные глаза неотступно следили за ним, неотвязно его преследовали. Уйти в лес к зверям от этих глаз, от этого ада… Уйти – но как? Наступила зима, каждый шаг явственно отпечатывался на снегу. Надо было ждать весны, а весной, может быть… кто знает. И он ходил по лесу и мысленно намечал план бегства, разыскивал дорогу, по которой легче будет уйти.

Гудкова ходила за ним и все время говорила. Она нарушала торжественную тишину леса, чары лесных шумов, заглушая своим голосом скрип снега, треск под ногами промерзших ломающихся веток, еле слышное чириканье птиц.

Он всегда шел впереди, а она – за ним. Она не поспевала за широким шагом его длинных ног, но никогда не жаловалась на усталость. Она была вынослива, эта женщина, даже зимой ходившая с непокрытой головой.

О чем она говорила? Вряд ли он знал – никогда не слушал. Звук ее голоса раздражал его больше, чем любые слезы. И иногда, потеряв терпение, он оборачивался и молча глядел на нее, и тогда она замолкала…

Может быть, именно в одну из таких прогулок она, задыхаясь от быстрой ходьбы, исступленно прокричала ему о своей любви, о том, что он не может не считаться с ее любовью, с ее мукой… Безумные слова срывались с потрескавшихся от ледяного ветра губ облачками пара.

Пан Теодор всегда был вежлив с женщинами, но эта – женщиной ему не казалась. Все же ему было неловко и досадно от того, что она ставила его в глупое положение… Неумолимый, он не оборачивался, не отвечал. Тогда, не выдержав его молчания, она круто повернулась и убежала назад. Пан Теодор приостановился, удивленный тем, что не слышит ее голоса, скрипа снега под ее высокими меховыми сапогами, но упрямо не оглянулся, пошел дальше. Долго еще шел вперед и когда, наконец, обернулся, то окончательно убедился в том, что ее нет. Впервые оставила она его наедине с лесом, наедине с самим собой. Он долго стоял неподвижно, глядя себе под ноги, потом поднял глаза. Перед ним стройная и высокая стояла молодая сосна. Он подошел к ней, любовно обхватил руками в толстых кожаных рукавицах ствол ее в розовых чешуйках коры и встряхнул. Сверху, с ветвей на него посыпался снег… Да, сил было еще много… «Уйду!..», – проговорил он вполголоса, хлопнув рукавицами, чтоб стряхнуть с них снег. Потом, высвободив правую руку, задумчиво накрутил ус на кончик носа, пьянея от одной мысли о свободе…

Он еще долго бродил по лесу, насвистывал, разглядывал заячьи следы и только тогда, когда ноги совсем окоченели, и от заката остался только розовато-оранжевый отсвет, а верхушки деревьев потерялись в небе, на котором уже изогнулся острым лезвием бледный месяц, он вернулся в поселок.

Гудкова сидела в проходной комнате, служившей столовой, за столом, покрытым клеенкой, и встретила его острым пытливым взглядом… Может быть, она втайне надеялась на то, что он не вернется?..

Он не знал, что ей сказать. Прошел прямо к себе и заперся, а она в это время перечитывала только что полученное секретное предписание относительно пана Теодора о немедленной отсылке его во Владивосток. Она знала, что это ему грозило, и еще она знала – предписания этого выполнить она не в силах… Между светлых дуг ее бровей залегла складка. Она курила папиросу за папиросой и ходила взад и вперед по комнате.

Твердо ступали тяжелые сапоги по деревянному полу, и пан Теодор как не старался, не мог забыть о ней, не слышать ее присутствия и, ворочаясь по твердой скамье, заменявшей ему постель, напрасно старался заснуть.

А на следующий день ранним морозным утром отправился он на съемки. Гудкова за ним не пошла. Не было ее и за скудным разогретым обедом. Только к вечеру, когда он направился в лес, ее сухая фигура выросла у его плеча.

— Я с вами, товарищ.

— Прошу вас, – ответил он сумрачно, даже не посмотрев на нее, не увидев пергаментной желтизны скул, гримасой искривленных обветренных губ.

Молча шли по свежему снегу, покрывшему все тропинки. Легок и бел был недавно выпавший снег, а колючие мохнатые ели на фоне этой белизны особенно зелены в уборе снежинок. И только иногда между стволов мелькал пламенный, кровавый закат, похожий на отблеск пожара.

— Завтра будет ветер, – сказал пан Теодор вслух.

«Только тебя не будет…», – подумала Гудкова и ощутила вместо сердца ледяной ком.

И все же иначе быть не могло. Послать его на расстрел? – нет. Это было выше ее сил. Если он должен умереть – пусть умрет от ее руки. Она спасет его от унижений, от предсмертного ужаса, она дарует ему свободу… Так она решила прошлою бессонною ночью. И знала – рука не дрогнет: «То, что любим, мы убиваем…».

Было до боли холодно и трудно было преодолеть лихорадку, которая била ее сухое, мускулистое тело.

А он шел вперед и не знал, что каждая минута жизни ему подарена…

«Вот когда дойдет до той старой ели…», – сказала она себе, стараясь стряхнуть охватившее ее оцепенение.

И обратилась к нему, в последний раз, называя его прежним именем:

— Пан Теодор, что там чернеет за старой елью?

— Посмотрю, – ответил он односложно и ускорил шаги.

Поспешно стала она вытаскивать наган из кобуры. Надо было торопиться, – ведь он мог оглянуться, – и все же она медлила. Жадно и пристально глядела, стараясь навсегда запомнить высокий силуэт, длинные ноги, весь его неповторимый, любимый облик.

Пальцы застыли на металлическом спуске нагана. Наконец, она его нажала…

Он упал навзничь. Несколько капель крови рябинами легли на непримятый снег.

Может быть, было совсем не так. Может быть, она убила его не на закате, ведь вы мне сообщили только самый факт: «Не решаясь послать его на расстрел, влюбленная чекистка сама пустила ему пулю в затылок, а через две недели была расстреляна за невыполнение партийного приказа…». Но я уже говорила вам, что кто-то рисует перед моими глазами картины и образы прошлого, и я знаю, знаю сердцем, что было именно так, что у Гудковой были бледные скулы, что впервые в жизни она полюбила и что в тот вечер солнце пылало кроваво, отражая в небе кровь, проливаемую на земле.

И мне кажется, что я была в том лесу и сама видела, как мгновенно пробивала она расстояние, только что преодоленное пулей, нагнулась над ним, с огромной нежностью взяла за плечи и перевернула на спину. Шапка упала с его головы, рассыпались по снегу золотые волосы, а лицо казалось

живым, еще полным мысли, и глаза глядели вперед, вдаль, открытые, неподвижные, ярко-голубые…

16.XI.35.

Впервые опубликовано: Рубеж. 1936.№ 1;
также см.: Резникова Н. Раба Афродиты: Сборник рассказов. Харбин, 1936.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
в 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 221–256.

ОТЕЦ И МАТЬ
Отрывок из романа «Александр Блок»

Крошка-Ася Бекетова жила с ранней юности в атмосфере любовного тумана, в мечтах о любви.

Она начала влюбляться ребенком, не страдая: «Чтоб было, о ком мечтать», – и ежедневно с нетерпением ждала вечера, чтоб в уютной темноте детской, где в углу теплилась лампада и похрапывала Маня, рассказывать себе самой сказки из жизни: истории любовные. Так она мечтала о высоком светловолосом англичанине, которого как-то издали увидела, о юнкере, что бывал у старшей сестры, о молодом теноре, певшем в опере.

Подростком она писала бессвязные стихи и уже любила далекое, мучилась беспричинной тоской… Не понимая себя и своих чувств, беспричинно плакала или бурно веселилась.

В 13 лет мир представлялся Асе хаосом. Она не могла разобраться в противоречиях: безобразное и прекрасное одинаково ранило и волновало ее. Она то благодарила Бога за то, что «так счастлива!», то отворачивалась от Него, сталкиваясь с чужим горем, нищетою… Птица со сломанным крылом, взвизгивающая, побитая собака, голодная кошка были предметами вечной муки Крошки. Она жалела несчастных до слез. Она ничего не понимала.

Ася пугала своими выходками мать: беспричинным гневом, неожиданным кокетством, припадками религиозности. В университетской церкви у иконы Иоанна Крестителя она могла молиться часами. Но выйдя из церкви, вернувшись в гостиную, где кто-то играл на рояле, где всегда толпилась молодежь, – она вдруг загоралась, и глаза ее сверкали навстречу мужским взглядам.

Ей было едва пятнадцать, но студент-естественник был в нее влюблен.

Это было чудесно! Она считала себя его невестой. Потом это надоело…

Однажды, вырвав из гимназической тетради листок бумаги, она написала ему неверным, детским почерком отказ. Любовная игра ее забавляла, но еще она не знала, что значит страдать от любви.

Она не знала, что жаждала любви, жажда выговорить себя в любви жила в ней и была причиной припадков печали, меланхолии, стихов, что писала она и что скрывала от всех, кроме Мани.

Но недаром предчувствия сжимали иногда ее сердце, недаром испытывала она подчас трепет перед неотвратимостью рока – в жизни ей суждено было заставлять страдать и расплачиваться за это, суждено было радоваться и тосковать.

У своей соученицы по гимназии и соседки, Саши Озеровской Ася встретила в первый раз Александра Львовича Блока.

Что-то демоническое почудилось ей в тонком правильном профиле молодого человека, и невольно она залюбовалась его лицом.

Играла музыка. Танцевали мазурку. Ася любила танцевать. Ася не заметила, как темный взгляд Александра Львовича скользнул по ее игрушечно-маленькой фигурке, остановился на нежно-розовом, ослепительно чистом лице и задержался на лбу, над которым победно и радостно прыгали легкие светлые завитки.

Все солнечное, все теплое и светлое, что дрожало в улыбке, сверкало в глазах Аси, поразило, пленило его с первого взгляда.

Вскоре они встретились снова. Они сидели рядом за перилами бархатом обитой ложи. Шел «Демон».

Ася была взволнована. Музыка всегда ее волновала. Иногда она украдкой глядела на Александра Львовича. Его профиль четко вырисовывался на бархате портьеры. Почему-то тревожно кольнуло в груди, но ведь это случалось часто после скарлатины, осложнившейся пороком сердца…

Они долго не виделись…

Потом Бекетовы переехали в ректорский дом. В огромной гостиной, выходящей окнами на Неву, по субботам собирались профессора, студенты, дамы, барышни. Появился и Александр Львович Блок.

Ася заметила, что мать его выделила.

Елизавета Григорьевна действительно заинтересовалась парадоксальным и оригинальным умом молодого юриста. В гостиной под аккомпанемент гула голосов они говорили о музыке, о литературе.

Как будто бы ничего не видя, Елизавета Григорьевна замечала, что Блок интересуется шестнадцатилетней Асей.

Ее умные глаза улыбались, она делала вид, что не слышит, как Александр Львович говорил Асе многозначительные комплименты:

— Я смотрел на вас вчера, – говорил он, слегка заикаясь, – в окно университетского коридора и видел, как вы сидите за вашей прялкой.

Загнутые золотые ресницы Крошки дрожали. Она понимала его, ей нравилось, что он сравнивает ее с Гретхен, но что-то отталкивало ее от него.

Она угадывала педантичное, требовательное и скуповатое в его натуре. А ей хотелось беззаботности, веселья, широты… Он был весь в рамках: суховатый, сдержанный, застенчивый, медленно, с трудом произносящий фразы.

Однако музыка их сближала, заставляла Асю забыть обо всем том, что инстинктивно было ей чуждо и неприятно в нем.

Музыка всегда была для Аси чем-то огромным.

— Музыка что-то знает, она многое объясняет, она идет дальше стихов, – говорила Ася, и ее короткие, еще детские брови сходились на снежно-белом лбу, прикрытом светлой челкой.

Ей нравилось петь под чуткий аккомпанемент Александра Львовича, а он восхищался ее небольшим, звонким голосом, улавливая в нем недетскую страстность и глубину.

Но иногда он играл сам, и тогда музыка своими невидимыми руками охватывала сердце Аси и то бросала его в бездну, то поднимала не небеса.

Лицо Александра Львовича преображалось, черным огнем наливались глаза: все неосознанные, смутные желания, словно сорвавшиеся с цепи демоны, начинали свою бешеную пляску по клавишам, по которым бегали нервные длинные пальцы Блока… Но за этими дерзкими, бурными звуками шли чистые, высокие как молитва… И Асе казалось, что она поднимается на невидимых крыльях и летит, как летаешь во сне, летит над весенними полями, над темно-зелеными и мохнатыми елями, не касаясь ветвей, под самыми облаками, и слышит шелест крыл невидимой рати ангелов…

Так импровизировал Блок.

И Ася понимала: музыка была его настоящим языком. Музыкой он выговаривал все темное и светлое, что было в его душе, вмещавшей в себе и демоническое и высокое. Клавишами пользовался он искуснее, чем словами, недаром в разговоре заикался и терялся, недаром, кончив играть, смущался. Красные пятна загорались на его щеках. Иногда казалось даже, что он сердится на тех, кто слушал и подслушал его сокровенное.

И когда он неловко отходил от рояля, понимая, что выдал себя, и спеша скорее надеть свой обычный мундир суховатой корректности, Ася чувствовала, что власть его прошла. Мгновенно наступало отрезвление. Нити, их связывающие, вдруг рвались.

***

Ранней весной, когда от подтаявшего грязноватого снега еще веет зимним холодком, но в дерзком ветре тревога и запах весны, Александр Львович, заикаясь, не глядя Асе в глаза, попросил ее стать его женой.

— Что вы! Никогда! – воскликнула Ася, не задумываясь, как всегда поддаваясь первому импульсу.

Блок поклонился. Блок вышел. Бесшумно закрылась за ним дверь. Он перестал бывать у Бекетовых.

Ася не сразу сказала матери. Нет, она не жалела о необдуманном отказе, но все же как-то смутно было на душе и почему-то щемило сердце.

А когда сказала и Елизавета Григорьевна ее упрекнула за кокетство, за легкомыслие, за то, что есть люди, которыми не бросаются, Ася разрыдалась и сквозь слезы закричала гневно:

— Замуж не хочу! И, вообще, никогда не выйду!..

А весна каждый день отвоевывала позиции. Крыши украсила ледяная бахрома, по водосточным трубам сбегала, журча, вода, щебетали воробушки, стучали подковы рысаков…

Был март 1877 г. Наступило Асино рождение: ей исполнилось 17 лет. Были цветы, были гости, и Александр Львович Блок прислал Асе 17 романсов.

— Не забыл!

Подарок взволновал Асю. Усевшись за рояль, одним пальцем разбирая присланные романсы, она вдруг затосковала о нем, об его музыке. Может быть, мама и была права? Может быть?..

***

В деревне, куда они уехали вскоре, цвели яблони, доводившие Асю до экстаза. Ночами щелкали соловьи, пахло влажной землей, травами, цветами… Светила луна… Были темные, длинные ночи, крупные звезды… Небо в белых облаках.

Ася не спала, смотрела в открытое окно вглубь сада. Слезы текли по щекам. И вставало перед глазами лицо Блока, его тонкий, демонический профиль, и в ушах звенели его импровизации. Потом вспоминалось другое, что-то беспомощное, чуть жалкое, что было в нем: короткий сконфуженный смешок, легкое заиканье. Красные пятна смущения на щеках. Странно, но воспоминания о его слабостях делали его не страшным, а трогательным, и становилось его жаль. Она знала – ему больно, она знала – он страдает из-за нее, из-за ее кокетства, жестокости…

Чтобы отогнать раскаяние и тоску, Ася громко молилась и просила у Иоанна Крестителя, к которому обращалась с раннего детства, чтобы он помог ей загладить нанесенную обиду, помог сделать другого счастливым…

***

И молитва была услышана. Клятва, данная самой себе в летние ночи, была сдержана. Судьба их опять столкнула.

Глубокий снег лежал на земле. Александр Львович Блок вошел в ректорский дом. Он нес на подпись Андрею Николаевичу Бекетову университетские бумаги. Он шел очень медленно. Лицо его было очень печально. Воспоминания были сильнее его. Бело-розовое личико Аси, ее золотые локоны, ее жестокость! Он даже не поднял глаз на то окно, за которым прежде мелькала милая девичья головка. Но Ася случайно стояла у окна, и Ася его увидела.

Решение было принято моментально. Сердце билось. Сейчас никто не мог бы остановить ее. Бегом сбежала она по внутренней лестнице навстречу Блоку, который шел в кабинет отца.

Когда он столкнулся с ней у дверей Андрея Николаевича, он растерялся.

Как долго он ее не видел! По-прежнему светлые локоны спадали на ее плечи, и по-прежнему золотились завитки на лбу, подхваченные атласной лентой. Он стоял и молчал.

— Александр Львович, пойдемте, – сказала Ася тихо и, взяв его за руку, ввела в белую залу, где стоял рояль и топился камин. Зала была пуста. Они были одни. Синий яркий свет лился навстречу Блоку из расширенных глаз девушки. И в этих глазах он без слов прочел, что душа, трепетавшая в этом синем огне, предалась ему вся без остатка.

Как в забытьи, слушала его Ася и не слышала его слов: до головокружения страшно было глядеть в темные глаза Блока… Какая-то сила толкала ее к нему, пьянила неведомой еще тревогой: может быть, этот страх и восторг и смертная тоска и есть любовь?

В 1878 г. в домовой университетской церкви они повенчались. Венчание прошло торжественно. Но Ася не видела ни множества седовласых старцев в орденах и лентах, ни декольтированных пышных дам… Она была как в забытьи, и все лица, все окружающее скрывались за дымкой тумана. По одну сторону все, по другую она и Блок. Рука ее, держащая свечу, дрожала, и опять украдкой, уголком глаза, глядела она на лицо жениха. Он был бледен, темная бровь чуть дергалась от нетерпения, а может быть, от того же волнения, что владело и ею. Жизнь показалась ей вдруг загадочной, Блок – чужим, и стало страшно, что надо расстаться с матерью, с сестрами, с домом…

Но минуты бежали. Вот их уже поздравили, вот выпито шампанское, и гусеницей расползшийся поезд ждет их, чтоб увезти в Варшаву.

В Варшаве Александра Львовича ожидала кафедра государственного права, Крошку – новая жизнь, от которой летом так отговаривал ее брат Блока, – Иван Львович.

В Варшаве она поняла, что Иван Львович имел основания предупреждать ее.

Блок не только энергично принялся читать свои лекции в

университете, он взялся также за перевоспитание восемнадцатилетней своей жены. Он находил характер Аси невыносимым: она была слишком своевольна, капризна, несдержанна. Он готов был сломить ее, но переделать.

Ежедневно вспыхивали ссоры. Он не желал мириться с ребяческой изменчивостью ее настроений, с безалаберностью и рассеянностью.

Когда она с пальцами, испачканными чернилами, переписывала его диссертацию и делала ошибку, он бранил ее. Руки ее дрожали, припухший детский рот жалобно кривился, ему хотелось раздавить ее в своих объятиях, целовать ее ноги, и чем сильнее было это желание, тем яростнее был его гнев, под власть которого он сам попадал.

Он говорил, что небрежность переписки, – доказательство равнодушия Аси к его труду, к нему самому. Он находил в этих ошибках подтверждение его подозрений: равнодушие Аси к труду, стремление кокетничать, покорять, играть любовью…

Постепенно он начинал верить своим словам, беспредметная ревность принимала реальные очертания, и он неистовствовал: Ася его не любит! Ася готова ему изменить с первым встречным!

Едва услыхав его крик, испуганная кухарка, накинув на голову платок, убегала из дому. Ася слышала, как хлопала кухонная дверь. Ее охватывал ужас. Она готова была тоже убежать из дому, забиться в угол, не видеть, не слышать. Она закрывала лицо руками, затыкала уши, она рыдала, но рыдания не усмиряли его гнев.

— Я не верю, что это ты, мой муж! – крикнула она сквозь слезы однажды. – Я не узнаю тебя!

Он потерял голову. Лицо его перекосила судорога. И тогда в первый раз он ее ударил.

Ася лишилась сознания. После этого она родила мертвого ребенка. Горе ее было неописуемо. Она оплакивала это недоношенное существо как живого человека. Ей казалось, что ребенок изменил бы Александра Львовича, успокоил бы его дикие порывы, ревность ко всем и всему, что она любила или могла любить больше, чем его.

Любовь помогала ей прощать все, хотя ей, избалованной Крошке – «Буй-перебую», как звала ее в детстве нянька за своеволие, – было с Блоком тяжело.

С наслаждением садиста, несмотря на ее протесты, он с беспощадным упорством стремился рассеять воздушные замки, выстроенные ею, и он не щадил ее иллюзий, он наглядно доказывал всю тщетность грез, он – сам, в сущности, мечтатель. С радостью низводил он ее до нуля, чтобы потом поднять невероятно высоко. Он оскорблял и боготворил ее.

Вся жизнь их состояла из контрастов: темные дни сменялись светлыми, вражда – нежностью, страсть – отчуждением. Бывали недели,

даже месяцы – счастья, правда, счастье это было хождением по лезвию ножа.

В дни покоя, вернувшись с лекции, Александр Львович часами читал Асе вслух Достоевского, слушал ее любимые стихи или импровизировал. И играя, опьянял ее, сметая будни, горе, заставляя забывать унижение и боль своей демонической музыкой, порывами своей страсти…

И когда, пьянея от звуков, бешеных ритмов и диссонансов, он брал ее, она могла простить ему не только оскорбление, побои, скупость, но даже и преступление. Музыка и любовь сливались тогда в одно, давали могучее ощущение самозабвения…

В одну из таких мартовских темных ночей, когда музыка, весенний ветер и страсть слились в колдовской напиток, был зачат их второй ребенок.

Ася ждала появления на свет сына нетерпеливо, тревожно. Она знала – будет сын, она хотела сына. Каждое утро, просыпаясь на заре, она обращалась к нему, живущему в ней, рассказывала ему свои фантастические сны-мечты. Дни проводила в чтении стихов, в созерцании картин. «Он» должен был родиться прекрасным – как Иоанн Креститель. Он должен быть ангельски-светлым рыцарем Прекрасной Дамы, рыцарем, которого ей не суждено было встретить самой, но которому она сама даст жизнь.

Александр Львович, поддавшись мистической тишине и созерцательному настроению жены, стал мягче, спокойнее. Целыми вечерами он ей играл, а она слушала, застыв в кресле, уронив худые руки на располневшее, неловкое тело.

Звуки лились, ширились, наполняли ее существо. Она не чувствовала сырого холода их плохо отопленной квартиры, не видела голых стен комнаты, она растворялась в звуках. Ей казалось, что «он» тоже слушает. «Он» переставал шевелиться, «он» замирал под сердцем, завороженный потоком звуков…

Музыка раскрывала им свои объятия и, сладостная как любовь, сливалась с ритмом ровно и дружно бьющихся сердец: матери и сына.

«Он» родился в Петербурге, в ректорском доме, в воскресенье 16 ноября ранним утром. Его назвали Сашей, и никто не знал, кроме Аси, что «он» будет поэтом.

Впервые опубликовано и печатается по:
Рубеж. 1941. № 33. С. 6, 8, 10-11,14.

Проза

ПУШКИН И СОБАНЬСКАЯ
(В сокращении)

1

Несмотря на то, что Пушкин всей душою рвался в Одессу, из Кишинева он уезжал удрученный. Внезапно стало жаль расставаться с генералом Инзовым, столько раз сажавшим его под арест, оставлявшим без сапог за то, что бил он молдавских бояр и за всевозможные другие шалости и проступки. Этот Инзов сам же приходил его навещать и отечески беседовал с ним о гишпанской революции, о мистике Якова Беме и Сведенборга. Жаль было даже маленькой комнаты, где жил, где легко дышалось, где хорошо писались стихи, и где весь потолок был в пятнах от хлебного мякиша, которым любил он стрелять. Сознавал, что так, как было, больше уже никогда не будет.

Ему было только 24 года, но он вполне заслужил свое прозвище «Беса-Арабского», дрался на пистолетах, кутил, написал кучу «прелестей» и, несмотря на все это, томился от скуки и безденежья.

Теперь, порвав со всем и отправляясь в неизвестность, печалился.

В Одессе ждал его новый начальник – граф Воронцов. Друзья предупреждали, что ему вряд ли будет так легко с ним ладить как со старым «Инзушкой». Но преддверие Европы его манило. Горячее сердце жаждало нового. И потом хотелось стряхнуть с себя груз содеянного, жить более чистой достойной жизнью. Он сознавал, как мало было им сделано, как много потрачено времени и сил на пустые интрижки, попойки, карты. Воспоминание об оставленном в Кишиневе карточном долге угнетало.

Он не думал о счастье, нет: давно решил, что счастье не для него, – но страстно мечтал о подлинной любви.

Образ Каролины Собаньской, с которой он познакомился еще в 1821 г. (почти 2 года назад) в свое первое посещение Одессы, неотступно преследовал его. Ее темные очи смотрели так равнодушно, как смотрит сама красота, и нежный, изящного рисунка рот улыбался чуть насмешливо. Все в ней – от надменно посаженной головы до пленительного, богатого оттенками голоса, обличало натуру необычайную и страстную.

Романтичной и страстной была ее судьба. Он чувствовал в ней роковое, и это воспламеняло его воображение. По рождению графиня Ржевусская, не побоявшаяся бросить мужа и дочь ради любви, открыто живущая с начальником военных поселений графом Витт и даже в своем двусмысленном положении наложницы высоко, как королева, державшая свою гордую голову, – она была несравненна. Рядом с нею все женщины, которыми увлекался он прежде, меркли и казались ничтожными. Во всем облике ее, в высоком стройном стане, во взгляде, глубоком и пламенном, было что-то непередаваемо-властное, влекущее.

Каролина Собаньская… Чего бы ни сделал он, чтоб завладеть ее воображением! Он мечтал прославиться ради нее, умереть за нее. Всем существом стремился он к ней. Нетерпеливо ждал встречи. При одной мысли о ней сердце билось учащенно. Он готовился к борьбе, но мечтал о победе, – недаром с юности изучил он «науку страсти нежной», где важен каждый нюанс, губителен малейший промах и необходимы самообладание и холодность.

2

В Одессе он поселился сначала в «Отель дю Норд», но вскоре переехал к «Рено». По утрам, еще не одевшись, писал «Онегина», и, когда строфа удавалась, прыгал, восклицая:

— Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!

Обедал у Отона, вечером отправлялся в театр.

Граф Воронцов принял его благосклонно. Пушкин оказался в штате и без определенных занятий.

На первых порах он предался с воодушевлением светской жизни. Любовь владела воображением его, сулила встречи и то повергала в уныние, то наполняла энтузиазмом.

В Одессе оказалось много хорошеньких женщин, и, хотя мечты его принадлежали Собаньской, он все же восхищался другими, менее суровыми красавицами.

Нынче, после очередного кутежа, он проснулся поздно. Голова трещала. Он огляделся вокруг мутным взглядом. Комната показалась ему особенно неприглядной. На стуле висели подтяжки, на другом валялся костюм, на столе стояла пепельница с неубранными со вчерашнего дня окурками… Он поморщился, зевнул, потянулся и спустил ноги на пол. Туфли пропали… С трудом он нашел их.

— Умываться! – крикнул он нетерпеливо.

Растрепанный коридорный с испуганными глазами принес кувшин. Вода была холодна. Он плеснул ею в лицо, поежился и не стал мыться.

В окно глядел мутный, ветреный день. «Песочница», как он прозвал летом Одессу, посыпала желтой пылью улицы и дома.

Он вспомнил, что сегодня в пять он условился поехать с Собаньской к морю…

Каролина! Какую власть имела она над ним! Насмешливость ее лишала его смелости, и в ее присутствии он терялся, не находил нужных слов…

Теперь он бывал не только на ее вечерних и дневных приемах, куда съезжались все видные мужчины города, но и тогда, когда она не принимала никого, когда бывала одна. Впрочем, это ничего не меняло.

Он подошел к зеркалу и стал внимательно себя разглядывать. На него

смотрело большое пожелтевшее лиц с толстыми губами, с мутными глазами, растрепанными завитками светлых волос…

«Арап!», – подумал он, выпятив нижнюю губу, и тут же приказал собиравшемуся незаметно ускользнуть коридорному:

— Бритву!.. И чисти скорее штаны!

«Почему вчера, – спрашивал он себя, намыливая щеки и осторожно проводя по ним бритвой, – ты опять вел себя с Собаньской, как мальчишка, как последний дурак?.. Бледнел, молчал… Разве так надо вести себя с женщиной?..».

Он вспомнил, как Собаньская играла на рояле… Лишь полька может играть так изысканно, так изящно. Только в игре она открывала свою душу, мятежную, полную порывов и противоречий. И как хороши были глаза ее, когда она, кончив играть, подняла их на него, опустив усталые нежные руки на темный бархат, обтягивавший ее колени. Эти руки, такие беспомощные, такие прекрасные… Как хотел он тогда прикоснуться к ним!

Его бросило в жар. Глупец, почему в тот же самый день позднее он дерзко касался рук красавицы Ризнич и за вистом говорил двусмысленный вздор, так действующий на воображение женщин? Да, он знал, что каждая дерзость, каждое прикосновение приближают час обладания Амалией Ризнич. Но Собаньская… Нет! Боязнь и восхищение, которые испытываешь только в присутствии существа высшего, способного сделать тебя несчастным, благодаря той власти, которую оно имеет над тобой, парализовали сообразительность, смелость, ум…

«С нею я глуп и нем, – подумал он с досадой, бросая бритву и принимаясь расчесывать взъерошенные кудри. – Но я должен, должен завоевать ее во что бы то ни стало!..».

Он припомнил, как она сказала, показывая ему коллекцию редких автографов, где были автографы Шатобриана, Лафатера, Мадам де Сталь, Пита и Веллингтона:

— Когда-нибудь я буду гордиться и вашим автографом.

— Но для этого мне надо стать рядом с Шатобрианом.

— Вы его перерастете – я убеждена в этом.

Он помнил: ее голос звучал искренно.

— Что, арап, – будешь выше Шатобриана? – спросил он свое отражение и весело рассмеялся, увидев растерянное выражение лица коридорного, подававшего ему костюм.

— Будешь! – добавил он и стал одеваться.

3

Собаньская действительно его отличала.

«У меня часто бывает Пушкин, лучший современный русский поэт, – писала она сестре, Еве Ганской, тянувшей долгий роман с Бальзаком, и

перед которой она не прочь была похвастаться победой над поэтом. – Я убеждена, что это – Российский Шатобриан и даже рангом выше».

Однако Пушкин ей в любви не изъяснялся. Был он обидчив, строптив и страстен. Его непокорность ей нравилась, восхищал его ум, но так напряженна была ее личная жизнь и так горяча любовь, что ей было не до поэта.

4

Иван Осипович Витт заставлял страдать… Но, может быть, именно за ту боль, что он причинял ей, она и полюбила его так страстно.

Только при виде его сердце ее захлестывала огромная радость; только его шаги узнавала она издалека; только его, несмотря на близорукость, видела в толпе; только близость его давала ей силу жить. <…>

Она знала мнение о нем, слышала, как называли его «канальей», «интриганом», «предателем». Может быть, это было и так. Но разве это имело отношение к ее любви – к их любви?

Предающий других – не мог ли он предать и ее?.. Нет, в ней жила глубокая уверенность, что, чем бы он ни был, – с нею он другой и не может не быть другим. Она знала, что он эгоистичен и требователен. Он не ценил жертвы, которую она принесла ему, пожертвовав своим положением в свете, бросив вызов всем, рискнув своим добрым именем. Он не баловал ее комплиментами, он принимал ее любовь как должное.

И все же она чувствовала, что была ему необходима; попав в орбиту его существования, она стала одним из винтиков сложного механизма его бытия, помощницей и хранительницей тайн, подругой, вызывающей у окружающих зависть и восхищение.

Витт совершенно открыто проводил в ее роскошном доме дни и ночи, почти не бывая в своей квартире. Каждый день по утрам она писала под его диктовку донесения. Он не обладал ни ясностью ее ума, ни ее блестящим образованием, ни способностью излагать мысли кратко и грамотно…<…>

Он молча ласкал ее, и его горячее лицо, прижавшееся к ее щеке, опаляло.

Вдруг он оттолкнул ее и сказал деловым, будничным тоном, оскорбительным в этот момент, заставившим опять усомниться в его чувстве:

— Я забыл сказать, что следует последить за Пушкиным…

Он прищурился, посмотрел на нее и прибавил:

— Похоже, что он влюблен в вас… Вы сумеете сделать это незаметно и расскажете мне все, что вам удастся узнать.

— Следить за Пушкиным?.. Не лучше ли беречь его? – спросила она с грустной иронией. – Мне было бы неприятно это делать.

— Но разве мы следим за ним не ради того, чтобы сберечь его талант

на пользу родины?.. Этот сумасшедший повеса требует узды – иначе натворит кучу глупостей. Я думаю, он совершенно безобиден; но он беспечен, неосторожен и слишком смел на язык.

Еще раз посмотрев на нее и встретившись с ее суровым темным взглядом, он прибавил:

— Вам хочется покровительствовать поэзии, вам хочется вдохновлять – я понимаю вас. Но поверьте, одно другому не мешает, наоборот, идет рука об руку с нашими планами.

— И все же мне это претит!

— Предрассудки! Разве не доказали вы однажды, что ни во что не ставите мнения света?.. И что такое свет? Как будто и без света не светло нам…

Он опять приблизился к ней и обнял ее.

— Может быть… Я попробую, – ответила она, отстраняясь.

5

Опять нерадостно складывалась жизнь Пушкина: не хватало денег, скучал, хотя карты, соперничество и выезды наполняли дни.

Роман с Ризнич, шедший параллельно с его безнадежной, безмолвной любовью к Собаньской, хотя и давал полноту чувственных ощущений, но был отравлен ревностью: прекрасная негоциантка была кокетлива и вряд ли верна.

Он увлекался покупкой книг, много писал. Третья глава «Онегина» была уже написана. Он писал его с упоением.

Утешало море… Часто уезжал он один за город, бродил при лунном свете по морскому побережью, читал вслух стихи. Они наполняли все его существо высоким певучим вдохновением. В такие минуты он был убежден, что жизнь прекрасна.

Занимали и люди – забавны были Липранди, Туманский, Вигель, но всех больше нравился ему Раевский: холодный, циничный ум его так часто охлаждал мальчишеские порывы и поэтические фантазии Пушкина.

Он сам не отдавал себе отчета, почему так импонировал ему цинизм Александра Раевского. Но с ним бывало интересно. Была порочная радость выслушивать речи, полные отрицания, безверия и пресыщенности.

Вместе они насмехались над мужьями, за женами которых волочились, болтали о женщинах почти нецензурно, спорили и читали. Иногда, потушив свечи, чтобы легче было говорить о сокровенном, они проводили долгие ночные часы в беседах на всевозможные темы.

Однажды в темноте Пушкин прочел ему только что написанный «Бахчисарайский фонтан». Раевский слушал внимательно. Он понимал стихи, он любил поэзию.

— Бесподобно! – воскликнул он восторженно, когда Пушкин кончил читать. – Но, знаете, – добавил он, подумав, – не достает плана.

— Ей Богу, не моя вина! Я благоговейно перекладывал в стихи рассказ одной молодой женщины, которая удивительно поэтично рассказала мне о фонтане слез.

— Уж не Собаньская ли?

— Не все ли равно?.. Та, в которую я был долго и очень глупо влюблен.

— Были?

— Да, но роль Петрарки мне не по нутру.

— А как же метод Мефистофеля?.. Или вы забыли, что с женщиной труден только первый шаг, а потом она сама предупреждает ваши желания и идет им навстречу?

— Да, женщине, узнавшей страсть, все кажется бледным и скучным, но надо ее в ней разбудить.

— Тут, кажется, успел Витт, – цинично заметил Раевский. – А она хороша, действительно, так хороша, что достойна стихов и поэм.

— Неужто и вы у ее ног?

— Отчасти.

— Всегда соперники!

— В несчастьи…

Пушкин засмеялся.

— Пуншу! – крикнул он. – Выпьем за блистательную Каролину.

— За фонтан слез, – предложил Раевский, – за Ризнич и за Воронцову.

— А знаете, я почти в люблен в графиню. Стоит, хотя бы для того, чтоб сделать рогоносцем мужа.

— Вы думаете, он не рогат?

— Тогда пусть рога будут у него ветвистей.<…>

7

Был ноябрь. С моря дул свежий ветер, близились сумерки. Острым лезвием взошла луна, опаловая на бледном небе. Пушкин суеверно показал ей золотой, как показывал каждое новолунье.

Собаньская шла рядом, и от этого сумрак, их окружавший, наполнен был певучей прелестью. Она была выше его, но, чуть подняв голову, он видел ее несколько тяжелый, правильный профиль, темную волну волос, обрамлявших щеку с крохотной ямочкой, страстный рисунок резко очерченного рта…

Днем они читали «Адольфа» Бенжамена Констана и, читая, невольно, каждый про себя, сопоставляли судьбу Элленоры с судьбой Каролины. Конечно, героиня жизненного романа не меньше, чем героиня вымышленного, страдала от своего двусмысленного положения в свете, так не соответствовавшего ее натуре и рождению. Но Собаньская была далека от откровенности. Каждый хранил свои мысли в тайне.

Вот и сейчас она слегка насмехалась над ним, над его кишиневскими и одесскими романами, но, видимо, и она поддалась очарованию этого часа и неожиданно смолкла, оборвав, не без горечи, свои насмешки:

— Все на моем пути встречаются Дон-Жуаны: первый – мой муж, в пятьдесят лет женившийся на девчонке, потом Витт… вы, наконец…

— А что, если, – возразил Пушкин после долгой паузы, – все увлечения, измены – все одна любовь: любовь к любви?

— Значит тогда, вы не женщину любите, а только те ощущения, то забвение, вдохновение, которое она вам дает.

— Нет, нет, совсем не то, но я должен признаться, что plus on moin, j`ai ètè amoureux de toutes les jolies femmes, que j`ai connues[1].

Они свернули в тихую улицу, там был католический монастырь, часто посещаемый Собаньской.

— От любви к женщине обратимся к любви к Богу. Пора нам с вами думать о спасении души, Пушкин, – чуть шутливо сказала она и добавила, – Зайдемте. Сейчас – l`heur du Benedictions[2].

Пушкин снял шляпу и, склонив голову, последовал за Собаньской.

Служба уже началась. Францисканки в белых одеждах стояли на коленях. Собаньская, безмолвно указав Пушкину на скамью, последовала их примеру. Вынув молитвенник, она погрузилась в чтение. <…>

Пушкин смотрел на Каролину. Никогда не видел он на ее лице выражения такой покорной печали, никогда еще лицо ее не казалось ему прекраснее. Сейчас он мог бы писать стихи, хотя слов не было, а была лишь внутренняя музыка, – та же, что он уже слышал сегодня, идя рядом с Каролиной, только теперь она стала явственной. Сейчас он любил ее светлой, огромной любовью и через свое чувство к ней и тот восторг, что теснил грудь, – и весь мир. <…>

8

Было 31 декабря… Наступал новый, 1824 г.

Для Пушкина с ранней его юности канун Нового года был кануном надежд и раскаяния. Он подводил итоги прошедшим месяцам, содрогался и мучился угрызениями совести. Что делал он все это время?.. Трубил о своих успехах, хвастался своим молодечеством, вел себя как повеса, наслаждался, не любя, все это было достойно только старых обезьян… А ведь он мог любить, хотел любить.

Каролина!.. Как мучает она его! Как недостижимо она прекрасна!

Какие-то мрачные предчувствия терзали его.

Неохотно отправлялся он на «Rèveillon»[3], устраиваемый графом

[1] Более или менее, я был влюблен во всех прекрасных женщин, которых знал.

[2] Час благословения.

[3] Канун.

Воронцовым. Не нравилась ему почему-то затея Елизаветы Ксаверьевны устроить у себя «маскерат» – маскарады ему порядком надоели.

Он приехал довольно поздно, в темном домино и маске. Войдя долго стоял у колонны, рассматривая пеструю толпу костюмированных. <…>

— Скучно, мочи нет! – произнес он вслух и зевнул, закрыв рот рукой в белой перчатке.

Кто-то подошел к нему сзади и положил руку на плечо. Он вздрогнул.

— С каких пор ты стал пугливым?.. – мелодично рассмеялась маска.

— Я боюсь женщин, подкрадывающихся тихо.

— Ты должен бояться только одну женщину…

— Тебя, маска?

Она опять мелодично рассмеялась.

— Нет, ту, в которую ты влюблен.

— Но я влюблен во всех хорошеньких женщин… Лучше скажи мне – кто ты? У тебя прелестный смех… Видно, я тебя не знаю, твоего смеха я не мог бы забыть.

— Спасибо! Ты меня не знаешь и не узнаешь.

— Ты хочешь меня завлечь?

— Нет, я хочу предупредить тебя.

— Откуда ты знаешь – кто я?

— Ты – Пушкин.

— Пойдем, выпьем шампанского, ты снимешь маску – и никакие предупреждения не будут нужны.

— Будут… Будь осторожен с красавицей-полячкой.

— Красавиц много…

— Но она одна. Не забывай, что счастливый обладатель ее и известный Дон-Жуан нашего времени славен еще и другим своим амплуа.

— Ты говоришь загадками, а я не люблю отгадывать.

— Смотри, как бы твои слова и эпиграммы не попали через нее и ее возлюбленного в Петербург. Неужто не надоели тебе ссылка и немилость?

Пушкин поморщился.

— Ты злословишь. Из уст женщины приятно слышать только милый вздор. Прощай и, если хочешь иметь на «маскерате» успех, придумай интригу интересней.

Ничего не ответив, незнакомка скрылась. <…>

9

Все же от слышанного на маскараде у Воронцовых остался осадок. Он напряженно вспоминал свои разговоры с Собаньской, проверял, сопоставлял… Нет, если Витт и тайный агент, – она тут не при чем. Однако ходить к ней избегал.

Встретились они в опере. Шел «Отелло» Россини, и, хотя он себя

уверял, что страсть его к ней сильно уменьшилась, при виде Каролины он почувствовал подъем и волнение. <…>

— Вот, наконец, и Пушкин, – очаровательно улыбнулась она. – Давно я вас не видела. Впрочем, догадываюсь о причине столь долгого отсутствия: вновь влюблены…

— Кто вам докладывал?

— Ваш друг Раевский.

— Мой злобный гений, – пошутил Пушкин, – он болтает. Но он не знает предмета моей любви.

— Неужели… Кто говорит, что это Ризнич, а кто про Воронцову. А вы – опасный повеса: вы ради меткого словца никого не пощадите. Того и гляди, что влюбитесь и станете болтать всякий вздор.

— Так вы не хотели бы, чтоб я был в вас влюблен? – наклонившись, прошептал Пушкин.

— А разве есть надежда?

— Коварная кокетка!

— Коварный Дон-Жуан! Рассказывали мне, как обещаетесь вы рисовать графиню в восьми позах Аретина. Не дошло бы только это до графа и до Яго.

— Кто же этот Яго?

— Ваш приятель.

— Опять Раевский?!

— Нет, право, Пушкин, советую вам быть поосторожней и не играть на нервах англомана и друга дома.

— И вы злословите сегодня?

— Я оберечь вас хочу.

Она взглянула на него темным, блестящим взглядом, и ему на мгновение показалось, что она ревнует, что в глазах ее светится нежность.

Голова его закружилась от счастья. Ему хотелось сказать ей что-нибудь безумное, решающее, что связало бы их, но в ложу вошел граф Витт.

Пушкин обменялся с ним несколькими светскими фразами и отошел. <…>

11

В мае большинство полей в окрестностях Одессы было уничтожено саранчой, и Пушкин с несколькими другими чиновниками получил приказание отправиться в Херсонский, Елизаветградский и Александийский уезды и написать доклад о бедствиях, причиненных саранчой, и средствах борьбы с нею.

— «Доклад о саранче»? Это было обидно. Это нельзя было стерпеть. «Граф начал мстить… Ну, что же, черт возьми, узнает он, как пишут поэты доклады о саранче!»

Но, подчиняясь приказанию, Пушкин в командировку поехал и, по возвращении, написал рапорт… Он был короток – всего несколько фраз:

Саранча летела, летела
И села.
Сидела, сидела, все съела
И – вновь улетела.

Не прошло и дня с возвращения Пушкина из командировки, как эти четыре строчки облетели Одессу. Над ними смеялись, смеялись над графом и опять сплетничали без остановки.

Подогретый общим сочувствием, кипя неостывшим гневом, Пушкин написал Воронцову дерзкое письмо и несколько эпиграмм на него. <…>

Катастрофа разразилась с неожиданной быстротой… Граф Воронцов вызвал Пушкина к себе и невозмутимо объявил ему предписание правительства о высылке его под надзор родителей в их имение Михайловское. <…>

Пушкин впал в отчаяние. Он знал, что верить нельзя никому. Друзей нет. Презрение и боль наполняли его душу.

Неожиданно вспомнил он о предупреждении Собаньской… Теперь он понимал: недаром назвала она Раевского – Яго. Повсюду было предательство. <…>

Как все важное в его жизни, изгнание кончилось совершенно неожиданно, и опять началась путаная новая жизнь, на которую Император благословил поэта милостивым обещанием быть его самоличным цензором и покровителем его таланта. <…>

В Москве на балу встретил он Наталию Гончарову. Ей было шестнадцать лет. В фигуре ее, в наклоне прелестной головки было трогательное очарование. Перед образом этой чистоты зрелая красота Каролины Собаньской впервые померкла и отступила вдаль. Голова у него опять закружилась.

В Гончаровой было спасение от горькой опустошающей любви. Она, только она, этот светлый ангел, очистит его и сделает счастливым. <…>

15

Был конец декабря 1829 г., и опять он был в Петербурге и – не женат. Не только Наталия Ивановна Гончарова, но и Натали встретили его по приезде из Арзрума больше чем холодно. Он был несчастлив, зол на весь свет и поклялся, уезжая в Петербург, что встреч с Собаньской искать не будет.

И все же они столкнулись…

Он шел по Невскому, разглядывал прохожих и скучал. Высокая дама в собольей шубке шла ему навстречу. Что-то в посадке ее головы, в том, как держала она пышную муфту, показалось удивительно знакомым. Походка ее была грациозна и легка.

— Собаньская!..

Дама вынула из муфты руку и, протягивая ее ему, воскликнула:

— Пушкин!.. Давно ли?

Только она одна умела произносить самые простые слова так, точно это было любовное признание.

— Недавно… А вы – все та же. Даже еще блистательней, пожалуй!

Рот ее чуть презрительно покривился.

— Что с вами? Где вы теперь служите?

— Я?.. Я числюсь по России. Но как же вы живете?

— Живу, – ответила она уклончиво. – Спешу в костел.

Он поднял голову и долго пристально, восторженно смотрел ей прямо в глаза. Нет, он не мог понять, какие мысли и чувства таились за этим высоким, чистым лбом.

— Все тот же образ кокетки богомольной! – сказал он с задумчивой грустью.

— Приходите, Пушкин, – прощаясь, пригласила она. – Я живу там же и по тем же дням одна.

— В четверг? Как будто послезавтра… Я буду в пять.

Он поклонился очень низко, очень почтительно, и они разошлись.

На руке остался еле уловимый запах тонких, горьковатых духов.

16

Был четверг, а Пушкин не шел. <…>

Она хотела видеть его поскорее. Его живые глаза, полные восторга, его пламенная речь… Ей было холодно, она была так одинока, так несчастна! Ей нужно было отогреться возле горячего сердца.

Пушкин… Давно уже она никого не ждала так напряженно и нетерпеливо. Опять любовь?.. Нет, отзвук ее. И поддаваться нельзя. Надо пресечь все сразу. Она была спутана по рукам и ногам. Разве она принадлежит себе?..

Выхода не было. Теперь, когда она следила за каждым поляком, начиная с Мицкевича, чей каждый шаг она знала, теперь, когда ее запутали до конца, – отступить, порвать было невозможно.

Встречаться с Пушкиным – значит доносить на него… Нет, она еще не так низко пала. Еще осталось что-то святое, неприкосновенное в ее душе.

Вошедший дворецкий прервал ее горькое раздумье:

— Александр Сергеевич Пушкин, – доложил он.

— Просите.

Она слышала легкие его шаги и ждала не шевелясь. Он прошел темный зал, гостиную и остановился в дверях диванной.

— Входите, – позвала она тихо.

— Ваше приказание исполнено, – сказал Пушкин, целуя ее руку, – прошу принять мои стихи.

Она посмотрела на него теплым, томным взором.

— Я прочту их сейчас же, – сказала она и прочла вслух, останавливаясь на каждой строфе, вдумчиво и тихо:

В АЛЬБОМ

Что в имени тебе моем?..
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его, тоскуя,
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я.

— Неужели вы когда-то перечувствовали то, что написали, Пушкин?..

— Да… Знаете ли вы, сколько мучительных часов провел я в напрасной скуке, ожидая встречи с вами?.. Знаете ли, сколько раз хотел я упасть пред вами на колени и сказать вам, что счастье мое в том, чтобы поминутно видеть вас?.. Всегда, всегда сознавать ваше совершенство и не сметь ничего сказать, немея от любви!..

— Пушкин, – сказала она совсем новым, изменившимся голосом, и тут только увидел он, как необычайно она бледна, как глубоки темные тени под ее глазами, горящими совсем лихорадочно. – А помните вы Одессу? Костел?..

— Помню ли? Мне кажется, до сих пор чувствую я холодное, влажное прикосновение ваших пальцев к моему лбу… А ведь с тех пор прошло уже девять лет.

— Девять лет… А счастье было так близко! Знаете ли вы, Пушкин, что тогда я была ваша, совсем ваша?.. Но вы были слишком заняты, вы не заметили.

— Но ведь я любил только вас!

— И все же…

— Но я люблю вас и теперь!

— Теперь поздно…

— Зачем вы мучаете меня?.. Я знаю – счастье не создано для меня, и

потому я не увидел его, когда оно было передо мною. Но тот день, когда я увидел вас, решил мою судьбу. И, чем больше я думаю, тем яснее вижу, что моя жизнь неотделима от вашей. Я рожден, чтобы вас любить и следовать за вами. Всякая иная забота с моей стороны – ошибка, безумие. Одно лишь ваше присутствие может меня воодушевить. Вас встречать, вас видеть, быть с вами – счастье!..

— Теперь поздно, – возразила она с жестокостью. – Но я должна вам все рассказать, должна. Это меня немного очистит… Знаете ли вы, какую роль я играю при Витте? Знаете ли, что я – не только его тайная жена, но верная помощница в политическом сыске? Знаете ли вы, что Витт организовал за вами сыск в Михайловском, летом 1826 г., и что я об этом знала?.. Можете ли вы после этого любить меня?.. Признаюсь, я не сразу поборола отвращение, но все мои интересы связаны с Виттом, только он один остался у меня в жизни. Я не хочу оправдывать себя, но я хочу, чтобы вы не обвиняли меня несправедливо, хотя это несчастье со мной слишком часто случается. Тогда в Одессе девять лет назад была минута, когда в вас я видела спасение. В сущности, все мое горе в том, что все мои пути и к гибели, и к спасению идут через любовь. В Одессе был момент, когда я почувствовала враждебность к Витту, когда духовно я совершенно отвернулась от него и потянулась к вам. Мне казалось, что в ваших глазах горит понимание, я думала, что вы поможете мне вырваться из омута, меня засасывающего. Вы могли спасти меня, но вы не видели и не понимали, что делалось со мной. Вы были слишком молоды, слишком беспечны.

— Но Боже, Боже, – зачем столько жестокости! – опять перебил Пушкин. – Разве нельзя зачеркнуть прошлое? То, что вы мне сказали, то, во что я старался не верить в продолжение семи лет, – разве это повлияет на мою любовь к вам?.. За что вы мстите мне?..

— Нет, возврата к прошлому нет. Теперь поздно. Я приняла свое решение. Я – уже зрелая женщина, видит Бог, я пережила очень много. А вы, я знаю, вы еще полюбите и будете счастливы.

— Каролина, почему, почему теперь, как и тогда, я не в силах выразить то, что чувствую? Мне легче написать вам… вы лишаете меня бодрости, надежды!

— Не надо, Пушкин, – попросила она просто, – что прошло, то прошло.

Он смотрел на нее, ожидая. Она встала.

— Прощайте, друг мой. Будьте счастливы!

Медленно, тяжело передвигая ноги, он уходил от нее через гостиную в зал…

Когда шаги его замерли, она вернулась к камину.

— «Есть в мире сердце, где живу я», – сказала она вслух и смахнула слезу.

17

Он ушел потрясенный. Морально разбитый. Как жестоко заставляла она страдать!.. Ему казалось, что сегодня он услышал сокровенную, глубокую мелодию ее души. Он нашел ее, нашел… Чтоб потерять навсегда.

Всю ночь он не спал. Бегал по комнате, терзаемый напрасными угрызениями совести. Представлял себе ее судьбу, ее думы, ее отчаяние, жалел ее… Почему, почему не хотела она кинуть все и поверить, что у нее есть один друг, одна душа, верная и понимающая?!..

***

Тьма теряла свою густоту – медленно светало. Вместе с зарей пришли к нему умиротворенность, тишина. Он почувствовал с удивлением, что страсть его перегорела, приняла другой оттенок.

Он все еще слышал в ушах своих музыку – теперь она начала складываться в строки.

Он подошел к столу и на обрывке бумаги огрызком карандаша написал:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Когда он кончил, наступило зимнее утро.

Сердце его колотилось, он был взволнован светлой высокой взволнованностью, что дарит вдохновение.

Вынув конверт и бумагу, он, поддаваясь порыву, переписал стихи, запечатал и крикнул коридорного.

— Собаньскую знаешь? – спросил он, когда тот вошел.

Коридорный кивнул.

— Доставь!

Впервые опубликовано: Резникова Н. Пушкин и Собаньская: Историческая повесть. Шанхай, 1941.
Печатается по: Резникова Н. Пушкин и Собаньская: Историческая повесть. Orange, 1986, 60 с.

Проза

Константин Савельевич
САБУРОВ
(1889 – 1946)

Писатель и журналист Константин Сабуров родился 4 января (ст. ст.) 1889 г. в с. Чергачак Томской губернии в купеческой семье. Вырос на Алтае. Окончил гимназию в Бийске. Учился в Томском университете. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В Харбине работал репортером. Печатался в газетах: «Гун-Бао», «Заря», «Рупор» и др. Автор сборников рассказов «Фоб Дайрен» (1926), «Старый дом» (1940).

Ист. и лит.:
Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 470-471.
Таскина Е. Константин Сабуров: К 50-летию со дня смерти писателя // На сопках Маньчжурии. 1996. № 37. С. 5.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 263-264.

ФОБ–ДАЙРЕН

Историческая встреча Оли Райт с мистером Элиас Хэн произошла во вторник в вестибюле отеля, особенно облюбованного наезжими иностранцами-представителями бесчисленных меркантил-компаний азиатского востока. Молодая женщина жила здесь два с лишком года, Элиас Хэн – только неделю.

Судьба, как думала Оля Райт, бумажка в пять иен, как вполне основательно полагал мистер Хэн, всунутая им в руку швейцара после предварительного, таинственного разговора, – помогли сближению молодых людей.

Неловкость швейцара в этот вечер была удивительна.

Чудесный норковый палантин был подан Оле Райт так неумело, что почти совсем сполз на пол, если бы не подоспевший вовремя мистер Хэн.

Встреча была мимолетна и, по-видимому, случайна, как сотни таких встреч, но на обратном пути от портнихи она вспомнилась Оле Райт снова. Она успела заметить, что молодой американец гибок и подвижен, прекрасно, даже изысканно одет, что у него красивые, серые ласкающие глаза и что, наконец, несмотря на подчеркнутую резкость линии лица, он, в общем, интересен.

Неизвестно, что думал о молодой женщине Элиас Хэн, но при следующей встрече на улице он раскланялся с ней на правах старого знакомого.

Пристанский Харбин не был никогда особенно томным и чопорным

в отношении знакомств и, может быть, поэтому три дня спустя Оля Райт и мистер Хэн шли в предвечерние часы по Новогородней, толкуя о всевозможных хороших вещах.

– Как вам нравится Харбин? Вы ведь здесь в первый раз? – спросила она безжалостно, с чисто женской непоследовательностью расставаясь с предыдущей темой разговора.

Элиас Хэн сильно пыхнул своей трубкой.

– Города как женщины, – сентенциозно сказал он. – Они сохраняют свое очарование до тех пор, пока их не узнаешь близко…

Оля Райт вздохнула.

– Вы, отчасти, правы. Кстати, вы прекрасно говорите по-русски. Можно подумать, что родились и выросли у нас.

– Я довольно долго жил в России, на донецких заводах. Мой отец занимал там должность инженера… Кроме того, я объездил чуть ли не все Поволжье и Сибирь, побывал в десятках городов и могу сказать, что хорошо знаю их быт.

– Да? Какое же впечатление произвели на вас наши русские города? – спросила она, провожая взглядом промчавшийся авто, из которого раскланялся с ней знакомый инженер.

Элиас Хэн оживился.

– Как вам сказать… Города ведь кажутся интересными, если в них недолго живешь… Много, например, очарования слезть тихим летним утром с поезда в маленьком, незнакомом городке, проехать на плохоньком извозчике в какой-нибудь Ливорно, или Гранд-отель и сразу же пойти бродить по улицам. Бродить так просто, без всякой цели… Рассеянный взор скользит по вывескам: булочная, петербургский портной, салон мод О-бон-марше мадам Полины, универсальный магазин Элегант…

– Вы наблюдательны…

– О, да… Потом пройти с «главной» улицы в гору, где в зеленом окружении берез тихо спит древнее, с каменной стеной кладбище… Здешние тишина и покой – мудрый конец земных странствий всех этих коллежских советников и кавалеров – просто незабываемы…

– Продолжайте, пожалуйста…

– Вид одинокой женской фигуры, склонившейся над чьей-нибудь могильной плитой, возрождает вновь воспоминания о собственных надеждах и будит терпкую тоску о невозвратимом прошлом…

Они повернули назад и шли к берегу Сунгари. Вечерело. Довольно ворчал, покончив с дневными шумами, пыльный, интернациональный город. Как же это похоже на Россию! Слова Элиаса Хэн пробуждали в молодой женщине смутные прежде воспоминания, дремотно покоившиеся в глубине души.

– Вы рассказываете так картинно, что я как будто переживаю все это снова. Милая Россия!.. Но говорите, говорите…

– Не надо заживаться здесь. Иначе, на завтра же узнаешь, что владелец универсального магазина купец Сидоров – большой кутила и скандалист, мадам Полина вдовеет после акцизного надзирателя четвертый год, а у отца протопопа дочка выходит на днях замуж.. Приходишь в свой номер вечером немного усталый, с хорошим аппетитом и велишь разбудить себя к утреннему поезду… Тот же архаический извозчик повезет меня завтра на крошечный вокзал. В последний раз оглядываешь пряничную колокольню собора, пожарную каланчу. Паровоз ревет отрывисто и задорно, буфера начинают звонко и бодро перестукиваться между собой. Прощай, город!..

– Мистер Хэн! Замолчите… Иначе, я заплачу! – чуть слышно сказала Оля, неподвижным взглядом смотря в серую засунгарийскую даль.

Круглится вдали за степью мутный, проваливающийся в полосу тумана, медный солнечный диск. Кажущиеся отсюда игрушечными заречные домики кутались в темную кисею сумерек. Потянуло холодом.

– Пойдемте назад, – сказала вдруг она, зябко кутаясь в меха.

Ночь накидывала уже на переулки черное газовое покрывало. Огненно рождались и отмирали буквы световых реклам Китайской. Вдали багрово тлели пятна кино.

– Зайдемте посмотреть программу, – предложил Элиас Хэн.

Пока он расплачивался у кассы, Оля Райт еще раз проверила свои впечатления от нового знакомства. И результат был в пользу Элиаса Хэн.

Цвела своей чарующей улыбкой на фоне калифорнийской лакированной листвы Мэри Пикфорд, рождалось в белесой марле лондонских туманов, как монах на молитве, Уэстминистерское аббатство, неслышно громыхали, сталкиваясь в голубых водах голубые айсберги, вставало лениво больное арктическое солнце.

Текли по интервалам партера серебряные ручейки музыки, сотни людей сидели молча, схваченные гипнозом экрана, дышал, жил, впитывал в себя серость людских буден и отдавал яркое, лучезарное белый полотняный четырехугольник.

– Кино сближает, – сказал ей тихо Элиас Хэн, когда вспыхнувший свет отграничил сказку от яви зала. – Я сижу около вас полчаса, а будто знаком с вами тысячу лет…

– Вы любите сильные сравнения, – хотела сказать сухо, а вышло, почему-то, непривычно ласково, и неожиданно многообещающ был взгляд больших синих глаз Оли Райт.

А когда зал снова провалился во тьму, и впереди забегали светлые точки буквы, она почувствовала около своего локтя легкое пожатие его руки

Может быть, это была просто случайность…

***

Оля Райт была взволнована…

Можно, пожалуй, сказать, что настоящее имя – Степанида Ивановна – больше шло к ней. Американизацию она претерпела здесь, в Харбине, в веселых недрах претендующего на фешенебельность подвальчика.

Мило-картавое «оля-райт», рассеяно кинутое Степанидой Ивановной во время одного пьяного ужина на вопрос – как ее имя – вызвало взрыв неописуемого восхищения случайного гостя – подержанного американского гражданина с туго набитым бумажником.

В результате были – пестрая гирлянда платьев от Антуанет, известность и прочно приклеившаяся имя-кличка.

Почтенный родитель Степаниды Ивановны, наградивший ее столь прозаическим именем, многомиллионный купец-саратовец, ушел тихо и покорно в потусторонний мир после октябрьской, семнадцатого года раздеряги вслед за своей вечно испуганной, мадоннноподобной женой.

Через учредиловский фронт, тыловые базы, поезда особого назначения, беженские дымные теплушки, Омский ресторан-шато, уютные спальные вагоны чешского командования пенистая беженская волна выплеснула саратовскую поросль за чингизханов вал, в загадочную, малопонятную маньчжурскую явь, в раздираемый опереточно-военной междоусобицей Харбин, в затхлые, с кухонно-капустным запахом меблирашки на Аптекарской.

Бесконечно долог и исполнен многих неприятностей был дальнейший трехлетний путь Степаниды Ивановны.

Американизированное, волею случая, имя дало ей прочно установившейся круг солидных друзей, научило безошибочно, с одного взгляда, определять толщину бумажника искателей ночных гротескных приключений.

Крупитчатая, но и не тяжеловесная, вздобленная купеческим бытом красота Оли Райт была для них своеобразна, неповторяемая…

Между стаканом бледно-палевого сотерна и очередным куском индейки а-ля Чжаланьтунь – железнодорожный эстет, имя которого чуть не ежедневно повторялось в газетах, успел как то раз сравнить плечи Оли Райт с божественным их праксителевым воплощением, ее улыбку – с капризом Винчи – неразгаданной улыбкой Джоконды, чудесный малиновый цветок губ – дорого оплачиваемый секрет парфюмера с улицы Онорэ-де-Бальзак – с прошедшими в славе в веках губами Аспазии, о великом очаровании которых мог бы кое-что сказать рыжекудрый, упрямый, бешено-самолюбивый Перикл.

И это, пожалуй, было справедливо.

Проза

***

С таким преферансом вступила Оля Райт в двадцать пятую весну своей бурно плещущей жизни.

Сердце ее, горячее женское сердце, было надежно прикрыто панцирем в виде небольшого, в четыре цифры, текущего счета в Интернейшен-банке, а прозаический расход на житейские потребности красивой молодой женщины был с готовностью принят на себя не так давно господином Брук, имевшим дом на Китайской и еще ряд дополнительных предприятий.

Сегодняшний приход господина Брук в ее номер, часовой визит толстого, с тыквообразной головой человека, пахнувшего сигарой и плохо переваренным ужином – маленький досадный факт, нарушивший распорядок дня – вовсе не был причиной того, что Оля Райт была взволнована.

Это было даже не волнение, а род смутного беспокойства, нечто вроде того, какое испытывает человек, читавший перед обедом меню и внезапно обнаруживший, что ни одно из блюд его не удовлетворяет.

Господин Брук уже уехал, но синяя пленка сигарного дыма все еще колебалась в столбе веселых солнечных лучей, бьющих золотым водопадом из окон.

Сегодня солнце, много-много солнца. Оно, прямое, ласковое, напоило теплом каменные ребра домов. В приотворенное окно щерилась, шуршала, всплескивала бестолковая харбинская весна.

Но не захватывала как прежде кипучая жизнь улицы. Вновь и вновь почему-то возвращались мысли молодой женщины к Эллису Хэн.

Он совсем не походил, как она заметила, на тех американцев, с которыми ей приходилось встречаться.

Там – штамп Чикаго, Нью-Йорка, Мильвоки – прямо стесанный к шее затылок, резина-жвачка, узаконенный пробор на голове, роговые очки-колеса, башмаки с подошвами-монстр, трубка с въедливым кэмпстеном, установленный и раз и навсегда таксированный разврат-флирт, машинизированный сухой ум, отчетливый, как линотип.

Правда, трубка и башмаки, и отрывистость определений Элиаса Хэн были типичны, но чувствовалось в нем больше живости, даже нечто расово-родственное. Может быть, просто потому, что человек долго жил в России.

Сколько ему лет? Тридцать, не больше. Он говорил, что за океаном живет его папаша, экспортер. Элиас Хэн по делам фирмы. Вот и все. Но есть еще что-то недосказанное. И это слегка нервировало.

Тосковало молодое, женское тело по горячим, крепким мужским ласкам и хотело отдать само ласки некупленные, искренние.

Элиас Хэн, сам не зная, быть может, того, дотронулся своей рукой до скрытых клавиш души Оли Райт.

***

Ресторан. Ярко освещенный, знакомый Оле до мелочей. Были – в углу кутящая компания моржеподобных железнодорожников, за сода-виски – шулера с открытыми, честными лицами, сутенеры с профилями героев из греческой мифологии. Старый, надоевший до тошноты и, вместе с тем, завлекательный, как водоворот, мир.

Господин Брук сообщил утром по телефону, что уезжает сегодня на неделю во Владивосток. Эта новость принесла Оле неожиданно большое облегчение.

Элиас Хэн выбрал отдаленный столик в углу.

– Я не хочу, чтобы нас слушали, мисс Райт. У меня есть сообщить вам нечто важное.

Она ощутила вдруг прилив странного волнения.

– Я мало знаю вас, – сказал он, когда их бокалы с шампанским тонко и согласно прозвенели в коротком прикосновении. – Но вы для меня как друг. Нет, больше друга! Я хочу вам довериться…

Оля кивнула в знак согласия. Ее губы резко краснели на прозрачной ровности хрусталя.

– Мое настоящее имя Джим Грант, – сказал он. – Элиас Хэн – выдумка, миф. Простите, что я не мог сказать вам этого раньше, но иначе было нельзя…

– Объяснитесь… – только и могла сказать она, трепетно вскинув кверху брови и застыв в томительном ожидании.

– Я буду краток. В Дайрене есть экспортная контора нашей фирмы – Грант и компания. Управляющий конторой – ваш покорнейший слуга… В прошлом году в Дайрен приехала ко мне из Америки сестра. Случилось так, что вскоре она познакомилась с одним молодым человеком, и дело чуть не дошло до брака. Неожиданно выяснилось, что молодой человек имеет за собой нехорошую славу… Больше того, он был шулером-профессионалом. Знакомство, конечно, было прервано. Но не в том дело…

Он помолчал с минуту.

– Написанное незадолго перед этим ему сестрой письмо попало в недостойные руки, и меня стали шантажировать. Речь идет о такой крупной сумме, что я решил приехать сюда и попытаться лично переговорить с обладателем компрометирующего нашу семью документа. Срок, назначенный этим господином, истекает через неделю. Обладатель письма грозит, иначе напечатать его в газетах...

– Значит, письмо здесь?

– Да… Оно находится в руках хозяина этого отеля, – нагнувшись к ней, тихо сказал Грант.

Оля Райт была потрясена.

– Неизвестно, как оно попало к нему, – продолжал Грант, отпивая

неторопливыми глотками шампанское, – но вы понимаете, что опубликование письма будет для нашей семьи большим ударом. Через месяц, не больше, должно состояться обручение сестры с мистером Невермор – сыном «лесного короля» Кентукки. Все пойдет прахом, если это проклятое письмо не будет в моих руках…

– Чем я могла бы помочь вам в этом деле? – робко спросила она, наблюдая за выражением его лица, сделавшимся теперь еще более серьезным, даже жестоким.

Он пытливо и упорно заглянул в ее лучистые глаза. Их ответный взгляд был так обещающе доверчив, что слова стали излишни.

– Я зайду к вам, если вы позволите, завтра, – сказал он, прощаясь…

В эту ночь долго не могла уснуть Оля Райт.

Да, это настоящий мужчина, смелый, решительный, благородный. Из тех, которые держат в своих руках штурвал жизни.

Джим Грант!.. Было что-то металлическое в самых звуках этих слова. Словно бодрый крик с высоты грянувшегося оземь железа…

– Джим Грант… Милый Джим! – шептала она, уже засыпая и прижимаясь пылающей щекой к прохладной мягкости подушек.

***

Утро было ясное. Солнечное. Пылали радостным пожаром кровли домов и луковки церквей. В этот день понятно и настойчиво заиграли весенние скрипки для Оли Райт первую мелодию любви. Мир облекся для нее в блистающие одежды.

Джим Грант не приходил – он исчез куда-то, словно дух. Но сначала Оля не беспокоилась.

Дни неслись один за другим – солнечные, рыжие кони. И с каждым днем нарастала тоска молодой женщины. Куда ушел Джим, сделавший теперь ее жизнь такой значительной, многообещающей?

Был вечер. Он пришел томный, бледный, как после лихорадки. Оля Райт в неописуемом волнении кинулась навстречу.

– Пока еще ничего нет, – ответил он на ее вопросительный взгляд. – Впрочем, оставим это пока… Вы сегодня такая солнечная, радостная, что способны заставить смеяться самого черного из мизантропов.

– Я рада, что вы наконец пришли, несносный человек…

–Да? Знаете мне хочется сказать вам сейчас, – он взял ее за руку, – два слова, два хороших слова…

– Скажите…

– Фоб-Дайрен… Не понимаете? Это специальный экспортный термин: с погрузкой на пароход в Дайрене… Мое определение к моменту, правда, довольно грубо, но я не мог придумать сейчас другого. Одним словом, хотите ли вы, мисс Райт, сесть со мной на пароход в Дайрен и уехать в Сиэтл?

– Мистер Грант!

Он придвинулся к ней, настойчивый, властный.

– Там я представляю вас моим родным как друга и … жену… Вы позволите мне сделать это, дорогая?

– Вы это серьезно, Джим?

– Серьезно, Оля. Больше, чем серьезно! Мне хотелось сказать вам об этом уже давно…

Первый раз в жизни пришла к Оле большая, светлая радость. И у нее не было сил противиться ей.

Но, отдав свое первый искренний и единственный поцелуй, молодая женщина быстро освободилась из объятий Джима Гранта: она хотела быть честной до конца.

– Я не все сказала вам, Джим… Господин Брук…

– Знаю, дорогая… Господин Брук может отправиться ко всем чертям. Все позади. А теперь – да здравствует жизнь!

Он почти насильно увлек ее на балкон.

– Посмотрите, Оля, как хороша ночь! Отсюда, из каменного мешка небо и звезды кажутся такими далекими и потому желанными.

Долго сдерживаемое, не давшее покоя, непроизвольно вырвалось у него, когда они вернулись в комнаты:

– Я не могу больше ждать, дорогая… Письмо должно быть в моих руках сегодня же. Я испробовал все, что было можно, но нашел опасным доверяться кому-нибудь…

Оля Райт поняла быстрым чутьем любящей.

– Это опасно, Джим!

– Пустяки. Найти письмо будет не так трудно: оно где-нибудь в ящике стола. Этот господин сейчас, я узнал, уехал на симфонию в Желсоб. Более благоприятно случая дождаться невозможно. Ведь ваш балкон, кажется, общий?

– Да, вторая дверь ведет в его кабинет.

– Чудесно! – обрадовался он. – Дверь можно будет открыть простой отмычкой. На этот случай я уже запасся ими. Письмо я уничтожу сразу. Пусть негодяй лопается от злости! Он бессилен будет что-нибудь сделать.

– Но могут быть неприятности…

– Он не знает моего настоящего имени. Если он даже придет ко мне с обыском – я надаю ему пощечин… Мы уедем с вами прямо и открыто не позже как через два дня…

– Я боюсь все-таки Джим!

– Не делайте меня трусом, Оля!.. Я схожу в свой номер и сейчас же вернусь…

Он привлек к себе молодую женщину и властно заглянул в ее синие, казавшиеся теперь темными, глаза.

– Фоб-Дайрен, дорогая?

– Фоб-Дайрен, Джим! – счастливо засмеялась она.

***

Следующие два часа были огромным испытанием для Оли Райт.

Джим Грант появился снова, переодетый в темный костюм. В руках у него небольшой баул.

– Потушите свет и ложитесь в постель… Здесь, – пояснил он, кивнув на баул, – у меня отмычки и фонарь…

Оля увидела затем, как смутная тень мелькнула в стеклах балконной двери и исчезла. Минуты шли. Ожидание делалось невыносимыми. Нарастала тягостная, как камень, тревога. Прошли, казалось, века, когда, наконец, с тихим скрипом отворилась дверь с балкона.

– Все в порядке, – весело сказал он, пробираясь в темноте среди мебели. – До утра, дорогая… До нашего радостного утра!

***

В сыскном, куда вызвали утром Олю Райт, письмоводитель, настоящее дитя фокстрота, в выутюженном насвежо костюме улыбнулся лучезарно и широко отворил перед ней дверь кабинета.

Знакомая фигура начальника, сидевшего под большим портретом президента республики, показалось ей огромной.

– Простите за беспокойство, божественная, – сказал он, поднимаясь и целуя ей руку, – но по долгу службы обязан был вас пригласить. Прошу!

Он широко жестом указал на кресло около стола.

– Дело вот в чем. Вас видели несколько раз вместе с одним господином, который сидит сейчас у нас. Этот молодчик ухитрился взломать несгораемый шкаф хозяина вашего отеля… Мы следили за этим типом все время, как он только появился в Харбине…

Он позвонил и потребовал чаю.

– Дайте мне, пожалуйста, воды! – прошептала Оля, чувствуя, что ее покидает последний остаток сил.

– Прошло? – спросил он с участием человека, привыкшему ко всему. – Ну, ничего, не волнуйтесь! Конечно, неприятно узнать, что господин, с которым вы имели некоторое знакомство, оказался не совсем, так сказать, джентльменом… Но от случайностей никто не застрахован. Вы – выше подозрений… А ваш квартирохозяин может гордится визитом шанхайской знаменитости, первого на востоке спеца по взлому банковских касс…

Начальник схватился за телефон.

– Это кто? Сидорчик? Приведите ко мне номер четыре!

Он повернулся к Оле Райт.

– Нечто вроде очной ставки… Но вы не беспокойтесь, я не буду вас задерживать. Маленькая формальность, пустяки…

Дверь отворилась, и в кабинет вошел в сопровождении двух агентов Джим Грант в измятом костюме без воротничка.

Он скользнул чужим, безразличным взглядом по лицу Оли Райт и остановился в свободной позе человека, которому некуда торопиться.

– Вы знаете этого господина? – спросил начальник молодую женщину, грудь которой теснил сейчас поток самых разнородных чувств.

– Это… Мистер Хэн… – сказала она, запинаясь.

– Мистер Хэн, – улыбнулся начальник, – такой же американец, как я туземец Огненной Земли… Этот молодчик ведь наш русак, да еще из вятских! Настоящее имя – Илья Курицын…

Все могла перенести закаменевшая в своем героическом порыве – простить ложь человеку, открывшему перед ней на миг завесу в храм счастья она, но только не это.

– Илья Курицын!..

Президент неожиданно усмехнулся со стены криво и злорадно, выхватились откуда-то и поплыли в голубые провалы окон голубые айсберги, переломился надвое черный массив Уэстминстерского аббатства, погребая под своими обломками склонившуюся в глубоком обмороке на руки подбежавшего агента Олю Райт.

Впервые опубликовано: Сабуров К. Фоб-Дайрен: Рассказы. Харбин, 1926.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: в 10 т.
Пекин, 2005. Т. 4. С. 391–402.

ПОЛЫНЬ

Фишман изящно развернул свои три карты веером и небрежно бросил через стол ласковое и круглое:

– Девять!

Квадрат Борисович внезапно побледнел, правая нога забилась в мелкой, неравной дрожи, и он в изнеможении откинулся на спинку стула.

Кучка десяти- и пятиieновок, прикрытая сверху роскошным сиреневым одеялом сотенной бумажки скрылась невозвратно под жирной рукой плотного человека, сверкнувшего в улыбке рядом ровных золотых зубов.

Все начали вставать.

– Ну вот… говорил тебе. Очень нужно было идти по всей!

– Господа! Прошу откушать чаю… – прозвенел из дверей голос хозяйки.

Согласный грохот стульев засидевшихся картежников был радостным ответом на зов Софьи Львовны.

– По маленькой, господа! – суетился Фишман, скрашивал уныние обыгранных гостей теплым радушием хозяина.

– Случайно, спрошу вас нечаянно, почему пить чай отчаянно и, паче чаяния, впадать в отчаяние? – балагурил гибкий, стройный Гриневич, выпивая вторую и ловко поддевая на вилку круглый, скользкий грибок, млевший доселе в густых глубинах сметаны.

Хазов пришел в себя после оглушительного комбинированного удара банкомета из двойки, валета и семерки только в городском сквере против Гостиного двора.

Было ясным, как зигзаг электрического, грозового разряда, схваченный светочувствительной пластинкой, – проигранных пятисот иен не вернешь. Жирная пятерня Фишмана увлекла враз итоги двухлетней работы Хазова в Хайларе в роли агента пушной формы под звездным флагом, покончившей на днях свое существование. Автобус, который должен был перейти в собственность Квадрата Борисовича, голубой красавец линии Модягоу-Пристань, предмет зависти кудрявых харбинских шоферов, – отодвинулся теперь на такое же, казалось, расстояние, как вояж скандинавов в Америку задолго до старичка Колумба, или начертавший борозду в истории мира марш Александра к берегам великой индийской реки.

Черт бы побрал этого Гриневича! Даром, что анненский темляк имеет и всегда при встрече по животу похлопывает, а оказался жуликом. Ясно, что у них с Фишманом уговорчик был. А он, старый филин, попался, как полуторамесячный фокс под телегу развозчика сельтерской!..

Откуда-то пахнуло холодом – близилось утро. Хазов встал с отсыревшей скамейки и побрел бесцельно по Новогородней. Розовел, наливался мало-помалу теплом край неба за Фудзяняном. По улице засновали синие фигуры зеленщиков, сгибавшихся над коромыслами, на которых тяготели корзины с огненными помидорами.

Бесцельно, опять добрел до реки, отливавшей сталью и чуть курившейся бледным парком. Здесь Хазов огляделся, втянул ноздрями свежесть реки, фыркнул, развеселился, крикнув:

– Иваныч!

Знакомый лодочник выглянул из-под палатки и помахал рукой.

– Ну, ну, – сказал он одобрительно. – Пойдем, стало быть? Что так рано?

Отодвинулся привычно серый, в крупных булыжниках берег. Деловито защелкали весла в уключинах. Солнце раскалялось, метало искры и стрелы, силилось заплеснуть огонь на дно реки и рябчато расплывалось по морщившейся шкуре Сунгари.

Хазов почувствовал опять себя маленьким, жалким. Сунув лодочнику деньги, он выскочил на берег и сосредоточенно стал продираться сквозь тальниковые заросли.

За протокой было пустынно. Медом и полынью пахли поблекшие

травы. Почти осязаемо чувствовалось – уходил к югу надменный Август, и на смену ему ковылял в тишине чистых утр мудрый и задумчивый Сентябрь. Хорошо человеку поразмыслить в сентябре в поле над своей прошедшей жизнью.

Квадрат Борисович понял это только здесь и только сейчас. Припав лицом к кустику сиреневых с желтым диких астр, он рыдал бурно, по-детски всхлипывал от нахлынувших нежданно воспоминаний, запаха трав, вечной красоты золотого утра и жалости к себе.

Вспомнилось то полузабытое, отодвинувшееся на полет двух десятков лет: золотое кружево церковной ограды в мягкой густоте осеннего вечера, тихое, задушевное, цепляющееся за сердце пение, что лилось из раскрытых окон, белое-белое платье, мелькнувшее среди церковных березок, припомнил он и горячее девичье:

– Вадик, ты мой замечательный!

Ах, когда это было? Где? В каком царстве-государстве? Из провалов прошлого выхватился кусок жизни – самоцвет, где центром мира был букет белых астр, рядом – Мэри и то незабываемое, что было после робкого сказанного ею «да», равноценного всем сокровищам из сказок Шахерезады.

Плавную, как рассказ странника, возвратившегося к родному порогу, жизнь отсекла сорвавшаяся с цепи война. Стекали книзу розовые щеки Мэри – Марьи Ильиничны – жены камер-юнкера Хазова, нависли потом железные складки – тяжелые годы были.

На земле взвихривались события. Девятьсот семнадцатый, как паровоз в железном беге, сокрушал склерозные социальные перегородки, тихий уют насиженных мест. Дальше было жутко, холодно, голодно. Вихри разметали всех, оставив крестик чахлый над Мэри на бережке Ануя, воспоминание о веселой Нине, дочке милой, потонувшей в гулких кварталах Шанхая, весточку короткую о любезном сыне, последнем из рода Хазовых сообщил недавно выбравшийся «оттуда» гвардии полковник Трик, что служит Петр в оренбургском совнархозе. Эх, жизнь! Прошла она, прокатилась. Не на что теперь надеяться. Впереди – ничего. Одна видимость, как любил говорить весельчак и душа офицерства кавалерийского полка ротмистр Бобров.

Да, прошла жизнь. Сгинули молодость и радость, облетели лепестки белых астр. Осталась одна горькая полынь воспоминаний.

Логически созрела и оформилась сейчас такая простая и хорошая мысль: пора уйти. Как уходили чистокровные дворяне Хазовы в несчастии.

Большой букет нарванных тут же диких цветов тяготили левую руку Квадрата Борисовича, источал милый нежный запах Мэри, путал представления и числа, развертывалась сама по себе пестрая дорожка былого. Хазов пристроился поудобнее под кустиком, закрыл глаза и отдался мыслям, поплыл по сверкающей реке воспоминаний.

Очнулся только от голоса, ласково-гнусавого, пропевшего над самым ухом «яблоко-груша-семянка!». Открыл глаза и сконфуженно проводил взглядом хлопотливого китайца, колыхавшегося под тяжестью своей походной лавочки. Оглядел небо и изумился – солнце склонялось к закату.

– Вот так заснул!

Хазов потянулся, хрястнул суставами и медленно, разминая ноги, пошел прямиком к пляжу, откуда плыл дробно ропотный гул людских толп.

Толкалось по берегу пестрое месиво полуобнаженных тел. Прошел мимо плотный, черный как кузнец, Воинов, оперный артист. Все кругом изнывало в радости бытия, торопилось оторвать от плаща быстро уходящего лета яркий лоскуток жизни.

Художник-вечер истратил сегодня всю палитру, разбросав по небу комья красок. Была невозмутимо ясна речная ширь.

Хазов толкнулся было к яхт-клубовской будочке, раздумал и, заторопившись, сел на катер, тотчас же отваливший от пристани. С берега замахал рукой и крикнул что-то вдогонку, осклабившись, знакомый агент общества ежемесячной лотереи. Квадрат Борисович не расслышал ничего из-за шума мотора и дружески помахал в ответ шляпой.

За кормой весело стлалась серебристо-муаровая водяная дорога. Тихо дымили вдали трубы фудзядянских фабрик. Отчетливые висели в синеве восемь железных стежков сунгарийского моста.

С берега спускались, толпились у подошедшего катера новые и новые толпы. Хазов тихо побрел по Китайской, застенчиво прижимая к груди букет цветов. Зашел по пути в пустынный сквер и долго сидел на лавочке, пока голоса проходящей парочки не возвратили его из завлекательных, пестрых ущелий мечты.

Вечер тяжело спускался на улицы. Кое-где уже вспыхивало электричество. Как раскрытые пионы пламенели губы проходящих женщин.

Дома у себя, на Пекарной, увидел Хазов знакомый, неприхотливый уют маленькой комнатки, холостую свою постель, портрет унтер-офицера, покойного мужа одной из хозяек дома на стене. Поставил букет заботливо в кувшин с водой и пошел на хозяйскую половину, отдаленную тоненькой перегородкой.

Хозяйки – обе вдовы, обе в меру толстые в одинаковых широких серых платьях, две мыши-хлопотуши – накрывали на стол.

– Чай пить с нами, – сказала младшая.

Квадрат Борисович привычно и неторопливо пил чай, говорил со старшей о ценах на продукты. Размешивая ложечкой сахар, он тихо переживал внутри задуманное там, за рекой, методически распределял, отводил вещам их место во времени и пространстве.

С привычной вежливостью он пожелал хозяйкам спокойной ночи, прошел к себе в комнату и зажег свет. Достал из-под кровати чемодан, старый и обшарпанный тысячеверстными беженскими дорогами, раскрыл его и вынул снизу из угла флакончик.

Сквозь зеленое окно оттуда ощерилась смерть – синильная кислота. Долго возился с собой и берег на всякий случай Хазов зеленый флакончик. Вот он и пришел, этот случай.

Квадрат Борисович понюхал цветы, вспомнил самое главное и, строго посмотрев на унтер-офицера, достал бумагу и чернила. Пожевал губами, обмакнул перо и стал неторопливо писать.

Сверху крупно поставил «Завещание моему сыну». Пониже поплыли строчки мелкой вязи:

«Теперь, когда чаша гнева Господня исполнилась и наша родина обрела спокойствие и истинное правительство, приказываю тебе озаботиться восстановлением прав и памяти рода Хазовых. В вотчине нашей, Ключах, под фамильным склепом, который ты знаешь, есть подземное хранилище, куда в тысяча девятьсот семнадцатом году в день апостолов Петра и Павла схоронил я фамильные наши ценности, а именно: 14 писанных масляными красками портретов предков наших, жалованные грамотами Их Императорских Величеств роду нашему, и 18000 рублей кредитными билетами Государственного банка. Завещаю тебе как законному наследнику обратить все это себе на пользу и роду потомственных дворян Хазовых на укрепление».

Квадрат Борисович расписался с сильным росчерком, поставил дату, заклеил лист в большой, плотный конверт, на котором надписал:

«Вскрыть в 1930 году моему сыну Петру Хазову».

За стеной разговаривали громко, хлопоча с чем-то хозяйки. Квадрат Борисович заканчивал последнее: написал записочку на имя властей с просьбой не винить никого в своей смерти. Другую – с точным адресом сына. Закончив, пожевал по привычке губами, понюхал еще раз цветы и вылил содержимое флакончика в стакан. За стеной слышалось:

– Чего бы вы поели сегодня, Афимья Созонтовна?

– Рыбки бы… Люблю соленую рыбку. Соленая рыба – смерть моя!

Квадрат Борисович заторопился, побледнел внезапно – как бы не помешали – взял стакан и залпом выпил жидкость.

Потом лег на кровать и отвернулся к стене…

Вот восстали из темных голубых провалов купола невиданных золотых храмов и дворцов. Необъятные арки венчали их сияющие кровли. И скованы были арки из рубиновых колец, багряных и ярких, как кровь.

И вдруг распахнулись невидимые меж ними двери, и оттуда хлынул поток ослепительного сияния. Он рванулся в экстазе навстречу прекрасному видению, еще успев уловить последним сознанием громко сказанные оттуда слова:

– Квадрат Борисович! Вставайте!..

Хорошо налаженный механизм в положенное время отчетливо заработал. Исполнители служебного долга, аккуратные, как мозеровские часы, неторопливо и методически составляли полицейский акт о смерти внеподданного Квадрата Хазова 50-ти лет.

Фельдшер кареты скорой помощи, нашедший свое пребывание здесь бесцельным, поднял тяжелый ящик с лекарствами и направился к выходу. В дверях он столкнулся с юрким маленьким человеком в синем костюме.

– Дома господин Хазов? – неуверенно спросил серый, осмыслив мгновенно некоторую несвойственность обстановки.

– Да… Только он того…

– А вы, что, родственник ему будете? – загорелся служебным любопытством один из людей с погонами.

– Нет… Я пришел поздравить его с выигрышем. Я, видите ли, агент… Сегодня мы получили сообщение, что на его билет выпало двенадцать тысяч.

Опубликовано: Сабуров К. Фоб-Дайрен: Рассказы. Харбин, 1926.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: в 10 т. Пекин, 2005. Т. 4. С. 432-438.

СУНДУК МАГАРАДЖИ

Их было четверо.

Второй вечер подряд при свете тусклой лампочки в затерянной на задворках Шанхая фанзе Чжан Ли-юна плелась пестрая нитка сложной игры на чудовищную по своей стоимости добычу.

Старый Чжан снова объяснил обстановку:

– На яхте людей немного. Хороший человек Ли довезет вас ночью сегодня. Все будет хорошо. Надо только смелого человека.

И помолчав, добавил:

– Такого, вот как мистер Крафт…

Широкоплечий Крафт усмехнулся, пустив сквозь левый густой ус стремительную струю сигаретного дыма.

Витольский оглянулся на сестру, молчаливо сидевшую в тени в широком покойном кресле. И беспокойно завозился на месте.

– Колоссальнейшее богатство! – заговорил он, постукивая в волнении костяшками пальцев по столу. – С вашей железной силой…

– Причем тут сила, пане капитане? – живо перебил Крафт.

– Ну… – замялся поляк. – Взломать этот самый сундук, допустим…

– Тут нужна не сила, а техника, дорогой мой. А потом, в сундуке, может быть, ничего и нет.

– Этого не может быть! – воскликнул Витольский. – Чжан узнал все…

– Чжан глупый человек… Он не видел, что есть в сундуке. И никто не видел. Но если в сундуке ничего нет, то зачем магараджа так его охраняет? – с достоинством сказал китаец. – Только вот что. Чжан не хочет обманывать: все, кто ни пробовал узнать это, никто не вернулся назад.

– Крафт! Подите сюда… - раздался из угла голос Адели. – Ну, идите же, несносный верзила!

Она увлекла его в глубины комнаты.

– Михаил! Простите, но вы дурак… Отказываться от такого случая, который определит нашу жизнь навсегда…

Она прижалась слегка к нему, быстро отстранилась и горячо заговорила:

– Вот ты, такой чертовски здоровый человек, бывший белый офицер, воевавший все время с большевиками до конца, до Дитерихса, скажите, – не надоело все это вам?

– Надоело, – спокойно согласился он, переминаясь и косясь на Витольского, тихо говорившего что-то на ухо китайцу. – Но ведь…

– Молчите, Крафт! – быстро перебила она. – Вот и я была такой, – продолжала она как будто в печальном раздумье, – но теперь я другая. С большевиками можно работать. Они ценят это… И потом, неужели вы ничего не чувствуете? Взгляните мне в глаза, Михаил!

Темные зеленые глаза Адели влекли к себе, притягивали.

– Вы, я знаю, не шкурник, честный человек. И я утверждаю, что вы будете нашим, войдете в партию, увлечетесь работой, – голос Адели внезапно зазвенел, – которая приведет нас в золотой век, о котором мы раньше только мечтали…

– Партия? – хмуро сказал он. – Каждая из партий желает народу добра, но не делает ему добра…

– Вы только любите спорить!

– Пани Адель!

– Ну, что! Ну, пани Адель! – почти выкрикнула она, дернув его за руку. – А где ваше слово офицера? Что вы мне говорили вчера? А теперь начинаете вилять? Вы – мужчина!

Она походила сейчас на пылающую гневом Диану, устремившуюся за коварным и опасным зверем.

Крафт примиряюще сжал ей руку.

– Не сердитесь… Вы знаете мои чувства к вам, Адель. Хорошо, я поеду!

– Деньги пойдут на общее большое дело…Вы это знаете, Михаил. Мы возьмем себе только необходимое, – резко сказала она и вдруг, прижавшись к нему, прошептала, – Милый! Я дам тебе ночь, которой ты никогда не забудешь!

В смутном небе тяжело переваливались грузные, точно налитые свинцом, облака. Просачивающийся меж ними бледный свет луны делал небо похожим на шкуру леопарда. Густела с каждой минутой ночь. Отсветы огней набережной ложились на воде дрожащими масляными пятнами. Дальше были – темь и пустота.

Старый пират Вузунга, Ли греб уверенно и беззвучно. Минуты капали в былое, чуть бороздя сознание.

Крафт сидел на корме шампуньки, насупившись. Пальцы нервно перебирали прямую рукоятку браунинга. Чтобы черт побрал эту въедливую, как купорос, девчонку! Он, так любивший авантюры, всегда уверенный в своих силах, здесь он не находил логически себе места. Для чего, спрашивается, полез он сюда, бывший белый офицер, художник и мечтатель? Вовсе не было в этом надобности. Можно любить природу, борьбу с ней, искать в любой борьбе смысла, но чтобы идти на такую крайность ради пробудившейся в нем влечении красивой польки – это уж чересчур!

Крафт вспомнил почему-то вдруг свою недавнюю жизнь во Владивостоке. Недурно было на Русском острове! Море источало, казалось, бальзам для усталых душ. Голубел успокаивающе бескрайний купол неба. А ты сиди и слушай, как шлепает море о камушки. Хорошо!

Крафт очнулся на минуту, вернувшись к действительности, необычной, как сказка.

Пару дней назад болтливое радио брызнуло с газетных листов по Шанхаю новостью – едет сюда магараджа Рахампура. Газеты-всезнайки исчисляли богатства раджи в умопомрачительно-астрономических цифрах. Попутно излагалась волнующе обывательские сердца романтическая история о последней жене раджи – ослепительной красавице-шведке, умершей неожиданным и странным образом после полугодового пребывания в роли супруги повелителя одной шестой части Индии.

В честь красавицы назвал неутешный властелин свою яхту – последнее слово техники, обставленную со всей роскошью восточной фантазии.

«Рита» бороздила волны морей неустанно, как Летучий голландец, на ней возил всюду свою крепко замкнутую тоску обезумевший от горя магараджа.

Сбоку газетной информации плелся слух о таинственном, огромном сундуке, с которым ни на минуту не расставался магараджа, где бы он ни был, – на яхте или в удобных комнатах отелей – он, неутешный муж и любовник, безраздельно царивший над полуторными миллионами смуглых людей.

Крафт видел тогда, в ясное, розово-пламенеющее утро, как «Рита» летела к пристани, взрезая мутную воду Вампу. Она казалась почти

одухотворенной, когда сделав грациозный полуоборот, рьяно вспенила в последний раз носом волну и остановилась, чуть двигаясь по инерции, умеряемой осторожным обратным ходом винта. Якорные цепи пророкотали в клюзах, и яхта встала, как горячий конь, стиснутый уздой в железной руке всадника.

Легкая, как перышко, одновременно почти коснулась воды шлюпка, к ней упала складчатая, крытая ковром лестница, и магараджа Рахампура сошел оттуда во всем своем восточном ослепительном великолепии. Смуглые люди в тюрбанах, сгибаясь, несли за ним на руках большой длинный ящик, накрытый бархатным, затканным золотом, покрывалом…

«Черт его знает, что он там возит!», – еще тогда подумал Крафт…

– Тише… – предостерегающе зашептал Ли. – Яхта близко…

Лодка скользнула в густую, как чернила, темь около борта «Риты» и остановилась. Ли зашептал на ухо Крафту последние наставления, прислушался, повозился минуту на дне лодки и осторожно поднял на длинном шесте веревочную лестницу. Еще два-три усилия, и крючья лестницы поймались за железные прутья перил. Смутной мережкой наметилась выпрямившаяся лестница. Крафт пощупал ногой ее устойчивость и полез кверху.

Осторожно высунув голову поверх палубы, он обшарил ее проворно глазами – никого не было – и оглянулся.

Над Бандом взметывались и притухали зарева электрических солнц. На мгновение Крафту показалось, что кто-то идет, мягко постукивая обувью, но сейчас же понял: стучало беспокойно сердце, сжимаемое волнением.

Он перекинул ногу через поручень и неслышно спрыгнул на палубу. Мгновенно наметил большое окно, прикрытое занавеской, и скачком тигра устремился туда.

В каюте было темно. Крафт попробовал раму – она тихо подалась в пазах. Благословляя ротозейство нерадивого слуги, он вынул из кармана фонарик.

Тонкий луч раздвинул тесный мрак: в широкой, затянутой голубым шелком комнате никого не было. У стенок громоздились сложенные друг на друга причудливой формы ларцы, тяжелые, окованные медью ящики, пухлые баулы. На невысоком помосте за тяжелыми складками бархатного балдахина стоял длинный, широкий, знакомый Крафту сундук.

Крафт не мог припомнить потом – как он очутился в каюте. Крадучись воровски, он и подошел к притягивающему своей таинственностью сундуку.

Крышка бесшумно поднялась под его нетерпеливыми пальцами – могучая пружина откинула ее кверху, заставив его в страхе отступить. А дальше – Крафт в стихийном ужасе отбросился назад.

В сундуке лежала женщина.

Ее тело – без сомнения, она была мертва – куталось в легких прозрачных одеждах. В белопенном водомете складок теплели нежные, розоватые руки. На шее искрилось и излучало цветовой огонь ожерелье с чудовищным рубином посредине, застывшим, как сгусток крови на груди красавицы.

Она была и жива и мертва вместе, закаменевшая в непринужденной позе женщины, только что собравшейся отдохнуть. Буйный огненный поток волос низвергался книзу, перегибаясь через белое обнаженное плечо, и тонкими золотыми струйками растекался по высокой, вот-вот готовой дрогнуть, казалось, от дыхания груди. Глаза были полузакрыты, и не мог понять Крафт – спит она или грезит. Но всего острее упадал в сознание манящий цветок губ, застывших в немом вопросе. Как будто она сейчас, вот сейчас, спросит о непередаваемо важном, решающем, что бывает в жизни раз, не больше. В стремительном взлете полных, напрягшихся губ чуялись готовые слететь с них слова. Это было тягостно и мучительно, заставляло чувствовать себя в чем-то виноватым.

Не было для Крафта прекраснее и одухотвореннее лица, сколько он не видел их за всю жизнь, воскресавшего смутные понятия о скандинавских сагах, упоительных сечах и желанных дорогах в светлую Валгаллу, о древних мифах, войнах за право государства называть своей дочь Зевса и Леды, как у этой, недвижно лежащей перед ним женщины.

Восторженно почувствовал вдруг Крафт, что это – вот оно достигнутое, что в смутных грезах волновало и заставляло томительно сжиматься сердце, за что не жалко отдать жизнь.

Это была она, воплотившаяся мечта Петрарки, Данте и сгоревшего в огне творчества семнадцатилетнего Праксителя, пытавшегося на заре юности украсть огонь у богов Олимпа.

Промелькнул бледный образ Адели и потух. Жалкая курица, влюбленная в книжку с окаменевшими формулами!

Сердце Крафта сжимала хлынувшая неведомо откуда волна счастья. Было нечем дышать. Стены каюты источали, казалось, одуряющие, прихотливые ароматы, влекущие тело в искрометный, хохочущий поток радости, растекающийся перламутровым светом озаренный, безбрежный океан небытия.

Крафт почувствовал, что у него нет ни силы, ни воли противиться могучему призыву. Он благоговейно расстегнул миниатюрную пряжку ожерелья и бережно снял его с груди спящей. На мгновение ему почудилось, что она вздохнула облегченно. В молитвенном восторге он перегнулся через край сундука и мимолетно, все еще пугаясь, прикоснулся губами к пылающему цветку губ молодой женщины.

И стремительно старый, тысячевековый инстинкт зверя, не умирающий в человеке, заставил Крафта бешено отпрянуть назад.

Может быть, в одну сотую секунды, он отметил перед глазами сноп искр и одновременно почти, с грохотом упала тяжелая крышка сундука.

Полуоглушенный, Крафт понял только одно – спасаться, как можно скорее – и стремглав выскочил в окно.

На борту никого не было.

Любопытство старого бродяги, видавшего многое, было все же сильнее – тяжело дыша, он повернулся назад, отогнул край занавески, но сейчас же отогнулся в испуге.

Мгновенно вспыхнувший сильный свет, брызнувший с потолка комнаты, половинка широкого панно, изображавшая двух переплетшихся в дикой схватке фантастических чудовищ, медленно отошла, и в темном четырехугольнике появилась высокая фигура магараджи.

Он был красив со своей бородой ассирийца и жгучими, яркими глазами. Скрестив на груди руки, он медленно подошел и склонился над невысоким треножником около сундука. Жертвенник вспыхнул лилово-розовым огнем, ноздри Крафта защекотал приятный, пряный аромат каких-то трав. Лицо раджи внезапно просветлело, когда он взялся за крышку сундука, мгновенно подскочившего кверху.

Раджа склонился на колени и тихо заговорил по-английски, лаская рукой прядь волос красавицы. Крафт следил, окаменев, за этой удивительной сценой.

– Почему ты ничего не хочешь мне сказать сегодня, о, Рита! Почему не лежит пред тобой тело нового безумца, пораженного красотой? Или мне послышалось?.. Погляди же на меня как всегда, драгоценнейшая из жемчужин… То, что было, забыто мной.

Он помолчал минуту и заговорил снова. Голос его ласкал, как музыка.

– Радость сердца моего, о, несравненная повелительница всех! Открой же свои голубые, как озера Сиккима, глаза… Молю тебя. Открой!

С оскаленными в испуге зубами Крафт ждал чуда. Могучее тело бродяги, не знавшего еще страха, сотрясалось в нервном ознобе.

Раджа молчал с минуту, впившись глазами в лицо женщины. Он заговорил снова, и голос его вдруг окреп, в него вплелись твердые металлические ноты:

– Рита! Дыхание мое?.. Что с тобой? У тебя появилось новое выражение на лице… Скажите, откуда это?

Легкий порыв бродячего ветра шевельнул слегка занавеску в окне напротив, складки вздрогнули и замерли опять в покорной дремоте.

– Никогда!

Кто произнес это жестокое, категорическое слово? Крафт оглянулся, тревожно втянув голову в плечи. Нет, кругом никого. Он повернулся к окну и сжался, словно ожидая удара.

Как тигр, вскочил вдруг, увидев отсутствие ожерелья, магараджа.

Борода его взъерошилась от гнева. От резкого движения с грохотом повалился треножник, рассыпая угли.

Легче птицы кинулся к борту Крафт и перемахнул через перила.

Вынырнув из объятий двухсаженной глубины Вузунга, он услышал над собой тихий зов китайца:

– Лезьте скорее в лодку, мистер Крафт!

***

Крафт тосковал. Крафт-циник и поэт не находил себе места.

Газеты сходили с ума, описывая гибель магараджи на охваченной жадным огнем яхте. Крафт пытался вспомнить все дальнейшее, мучаясь в догадках. Кинувшись в каюту, сквозь дым капитан яхты увидел раджу, приникшего в последнем, безумном поцелуе к губам уже потерявшей от жара форму восковой фигуры, лежавшей на полу. Раджа был мертв: дьявольский стилет, скрытый в механизме сундука, нанес страшную рану в шею. В каюте бушевал огонь, выметываясь длинными языками в окна.

На ближайшем сторожевом стационере, надрывно звякнув, завопил медный колокол:

– Ла-ла-ла-ла-ла…

Вампу переплелся стремительными, прямыми, спотыкавшимися лучами прожекторов. Перепугано завыла где-то сирена. К яхте неслись, стрекоча, дежурные катера со стоящими у руля во весь рост офицерами. На спардеке исступленно орал на очумелых матросов капитан Смит:

– К помпам! Качай, семь тысяч дьяволов вам в живот, дурачье!

В руке его блеснул, сияя своей технической определенностью, грузный никелированный кольт.

Молодой матрос-индус с побелевшим в испуге лицом схватился за поручень, выворотив шею и дико глядя на капитана.

Кольт пролаял коротко и зло. Матрос осел всем телом на сверток канатов, смешно дрыгнул ногами и успокоено лег, раскинув руки крестом…

Но уже было ясно – «Рита» стала обреченным судном. Языки пламени плясали фанданго, вскидываясь все выше и выше. В нутре яхты гудело, как в потревоженном улье.

К утру яхты-птицы уже не стало. Первые лучи солнца осветили кашу плавающих, дымящихся обломков.

Для Крафта с гибелью яхты умерла ослепительная сказка. Он ходил по берегу набережной осунувшийся, потерянный.

Адель бесновалась. Она не девочка, чтобы поверить в сказочку Крафта! Довольно колбасы! Если Крафт спрятал все, что нашел на яхте, то тем хуже, – рука справедливости сумеет всегда найти наказать виновного. Пусть же он не дурит и скажет, куда запрятал драгоценности магараджи!

–Да ты веришь или нет, что я там ничем не успел воспользоваться! – кричал в исступлении Крафт.

Чисто женским чутьем она угадывала, что он не говорил ей всего. И это была правда: под грубой известковой кучей в китайской каменоломне покоилось неоцененное ожерелье последней жены магараджи. Для Крафта это была святыня.

Немного позже Крафт узнал, что Адель не сестра, а любовница Витольского, но это ничуть его не огорчило. Деталь! И теперь когда-то зажигающий лозунг Адели – все позволено, лишь бы на земле утвердилось светлое царство социализма, – казался ему пресным. Не в этом дело!

Эх, жизнь! Прекрасная и пошлая, сияющая, как редкий красивый камень, грозная и жестокая! Подумать только – было же время, когда человек начал восставать против слепого закона природы. Может быть, тогда жилось лучше, и люди не терзались сомнениями?

Крафт почувствовал себя снова тем, прежним, когда где-нибудь в лесу, или в горах природа начинала декоративно выявлять свое могущество. В облачно-грозовых взрывах чуялась насмешка. Подмигивала молния, и хохотал гром. Крафт сердился тогда и, задирая голову кверху, кричал:

– Отваливай!

Отдых, блаженный отдых путника, прошедшего тысячи верст в стремлении обрести снова свою родину, мыслился теперь Крафту. Неудержимо потянуло на север.

Там, в тихих полях багряно царственно совершает сейчас свой путь кроткая и величавая осень в шелесте падающих бледных листьев. В серебристой речной струе, в капле смолы, стекающей с кедровой хвои, читать великую родословную земли – разве это не высшая радость? И впереди – осмысленный, радостный труд, простой, умиротворяющий…

И в одно утро Крафт исчез. Адель рвала и метала. Витольский задумчиво грыз свой длинный ус.

***

Газетная хроника – маленькой зеркальце, отражающее кусочки харбинской повседневности, преломило однажды в своих тусклых глубинах контуры таящего в себе загадочность факта:

– Вечером шестого октября около Нахаловки бросился под маневровый паровоз неизвестный русский в белых ботинках. Личность его установить не удалось…

В эту ночь в одном из отдельных глинобитных домишек Нахаловки в трепетном ожидании томилась молодая черноволосая женщина. Когда в окно нетерпеливо постучали, она сорвалась с места и стремительно отворила дверь, пропустив высокого человека с длинными висячими усами.

– Ну? – крикнула она вопросительно, впиваясь глазами в его лицо.

Крик восхищения сорвался с ее губ, когда вислоусый вытащил из кармана длинную нитку жемчугов с громадным рубином посредине, брызнувшую при свете электричества огнями радуги.

– Вот! – сказал он хвастливо. – Получи, Аделька!

Она хищно оскалила зубы, засмеялась, перебирая в руках крупные искрящиеся камни и не утерпев, набросила нитку себе на шею.

– Ведь это стоит не меньше миллиона, Владек, правда?.. Но какой же он дурак!..

Ей, конечно, не понять было, что жизнь серую и будничную не мог перенести Михаил Крафт, бродяга-офицер, фантаст и мечтатель, веривший в золотой век и изверившийся, ужаленный под конец неответной любовью и потерявший последнее, что напоминало ему о той, нездешней.

Впервые публиковано: Сабуров К. Фоб-Дайрен: Рассказы. Харбин, 1926.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: в 10 т. Пекин, 2005. Т. 4. С. 450–459.

Павел Александрович СЕВЕРНЫЙ
(1900–1981)

Литератор и драматург Павел Северный (настоящая фамилия Ольбрих) родился 27 сентября (ст. ст.) 1900 г. в Верхнем Уфалее в семье смотрителя. Окончил гимназию в Перми. Поосле 1917 г. эмигрировал в Маньчжурию. С 1933 г. жил в Шанхае. Член литературного содружества «Понедельник». Автор романов: «Тургеневская сказка» (1937), «Женщины у Полярных звезд» (1937), «Леди» (1938), «Ветер с Урала» (1939), «Золото на грязи» (1941-1942) и др.; сборников рассказов: «Озеро голубой цапли» (1938), «Черные лебеди» (1941). В 1954 г. с женой и сыном репатриировался в СССР. Жил в Оренбурге, затем (более 20 лет) в подмосковном Подольске. Тяжело заболел туберкулезом и умер 12 декабря 1981 г.

Ист. и лит.:

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 478.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 272.

Черникова Л. Павел Северный: жизнь, творчество, судьба [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.russianshanghai.com/author/pavel-severny/

ОЗЕРО ГОЛУБОЙ ЦАПЛИ
(Отрывок из повести)

Бородину
Владимиру Александровичу
посвящаю

1

В легендах говорилось, что озеро священно.

В преданиях народных упоминалось, что напившийся из него воды познает в жизни истинную радость и счастье.

Легендам верили.

Предания не опровергали…

***

Водяное зеркало озера блестело в горной долине в оправе лесистых гор.

Горы с париками лесов, низко надвинутыми на лбы скал и обрывов, вплотную подступили к нему со всех сторон.

Жившие в прошедшие века называли его «Озеро голубой цапли»…

Озеро в стране древних легенд, и в некоторых из них о нем рассказано много таинственных небылиц.

Но каждый, кто хотя бы раз видел его живописность на

морщинистом лике китайской земли, тот охотно верил любой легенде, соглашался с каждой небылицей.

Особенно красиво оно осенью, когда сентябрь не скупится на краски природы, украшая берега переливчатыми тканями осенней парчи.

В осеннюю пору озеро похоже на старинный гобелен…

***

На одном из берегов, там, где скалы близко подступают к воде отвесной кручей, стоят пагоды буддийского монастыря – «Лестница млечного пути».

Окружают их высокие со стальным отливом кипарисы, стволы которых от старости обросли зеленовато-седыми бородками мха.

Окружают их утесы, раскрашенные синяками лишаев.

Дикие суровые утесы с глубокими трещинами, а по ним горные родники торопятся влить в озеро чистую, холодную воду.

Ведет к пагодам, выходя из воды, широкая лестница, выдолбленная в обрыве берега, более чем в сто ступеней, как знать, может быть, она начинается из тайной подводной сокровищницы.

Когда поднимаешься по лестнице на берег, то попадаешь в пещеру, продолбленную в скале, за ней – в узкий коридор между скал, дальше – в аллею каменных идолов и, пройдя несколько круглых ворот в стенах, выйдешь на площадь, на ней в кипарисовых рощах стоят павильоны монастырей, и на их фасадах удается прочесть, кому прежде были посвящены их алтари.

Монастырь теперь почти развалины, свидетельствующие о том, что когда-то здесь была крепость религии, крепость великолепия, которым фанатики прошлого окружали свои религиозные культы.

Полуразрушенные пагоды, путаные лабиринты колонн, поддерживающих тяжелые черепичные крыши, изваяния богов – все это до сих пор таит в себе волнующую мистическую недосказанность и тайну.

Столетия прошли.

Прошли века и для потомства оставили о себе следы: звучные легенды в памяти народа об озере и реальные развалины монастыря на его крутом берегу.

Тесными кольцами кое-где порванных цепей охватили озеро лесистые горы и стерегут развалины монастыря от зубчатых челюстей беспощадного времени.

Теперь монастырь почти забыт и не покинут только немногими монахами.

Дряхлые ученые монахи, оставшись в его стенах, трогательно оберегают свою веру в святость места, молятся уцелевшим идолам, хранят от разрушения редкие изваяния божеств – творения мертвых и забытых мастеров.

Монастырь сильно разграблен.

Все, что можно было украсть, украдено и продано в иностранные музеи и антикварные лавки больших городов.

И если настанет то время, когда в монастыре не останется ни одной живой души, пагоды, постепенно разрушаясь, простоят еще долгие годы, и их крыши всегда будут казаться распростертыми крыльями гигантских птиц, гордо парящих над озером.

На самом краю обрыва стоит каменная статуя Будды.

Изваяние, обросшее разноцветными мхами, с величавой улыбкой спокойствия смотрит вдаль на цепи горных хребтов, до мельчайших подробностей отражаясь в воде.

Будда, созерцающий солнце, облака и звезды.

На каменных плитах пьедестала статуи, проросшего травой и завитого кустарником роз, у ног Будды в жертвеннике всегда дымятся душистые курения. А высоко над головой идола ветер колышет зонты ореховых деревьев, как бы стараясь спасти лицо Будды от лучей сентябрьского солнца.

Солнце слишком ярко.

Под его лучами статуя, забрызганная красками с осенней палитры, кажется закутанной в причудливое одеяние и как будто ждет несбыточной феерии былого поклонения своему величию…

***

Напротив развалин монастыря, там, где прибрежные скалы не так высоки и обрывисты, над водой величественно возвышается холмистый остров, соединенный с берегом искусственным молом.

На острове на горбах холмов стоят обнесенные стенами строения поместья рода Шунов – древнего и памятного в истории Китая.

Рощи спрятали их от любопытных посторонних глаз, и только глубоко ночью, когда с деревьев опадут листья, некоторые их них будут видны с озера издалека.

Три стены опоясывают поместье.

И за каждой из них медленно проходит различная жизнь людей.

За глубоким, сырым, дурно пахнущим рвом, за первой стеной живут трудолюбивые крестьяне. Живут среди пыли, грязи, удушающей испарины собственного пота вместе с собаками, свиньями и ослами. Все они поколениями трудятся на полях рода Шунов; плодятся, умирают от эпидемий, досыта поят кровью насекомых, работают день и ночь ради пищи для начинки желудка. За первой стеной всегда пахнет чесноком, кричат ослы и плачут дети…

За второй стеной с бойницами, более высокой, чем первая, в садах разбиты цветники и аллеи, а под шатрами высоких деревьев, скрытыми уютными гнездами, хоронятся дворцы поместья. Здесь из-за шелеста

деревьев не слышен шум живущих за первой стеной, ветер сюда никогда не приносит запах чеснока. Здесь царство тишины, в котором живет мистика древности.

За третьей стеной, опоясавшей самый высокий, главенствующий над островом холм, окруженный шестью башнями, стоит храм Будды.

Громады пагод гордо смотрят на горизонты и на развалины монастыря напротив из-под нависших бровей крыш, тяжело опираясь на толстые колонны. Только пение их гонгов и звоны колоколов нарушают тишину в садах поместья, а рокот барабанов в глухие часы ночей уносится ветром через пространство озера и, как отдаленный гром грозы, слышен всеми, кто живет по его далеким берегам.

Стоят пагоды буддийского храма и кажутся издали воздушными, как будто образовались из пробегающих по небу тяжелых серых туч, кажется, что достаточно только подняться урагану, и пагоды-призраки на холме острова рассеются и исчезнут.

Но пагоды стоят, не боясь никаких ураганов, опершись на плечи холмов, и терпеливо, устало и безразлично считают проходящие годы нового века и призрачными кажутся только тем, кто смотрит на них из окон поезда, мчащегося вглубь Китая.

***

Около острова озеро поросло лотосами и камышами, и в их зарослях важно разгуливают стройные дымчато-голубые цапли в изящно сшитых черных фраках. Низко перелетая с места на место, они всегда о чем-то сокрушенно и тоскливо кричат, как будто рассказывают друг другу бесконечную историю птичьей жизни.

Иногда, по только для них понятным причинам, цапли тысячными стаями поднимаются в просторы небес, часами кружатся над водой и островом, и свистящий шелест их крыльев заглушает тогда шумы земной жизни, как будто в воздухе кто-то невидимый бесконечно разрывает полосы шелка.

2

Догорал закат.

По спокойной поверхности озера плыли шаланды с расправленными крыльями парусов с цветными заплатами. На многих из них звучали унылые песни – песни уставшего кули, взгрустнувшего о неизведанной им в жизни ласке и любви, песни, разбуженные очарованием природы в душе раба изнурительного труда.

Но краски заката потухали быстро.

С берегов к воде крались сумерки.

Налетел ветер, исшершавил эмаль зеркальной воды, зашевелил

осенние деревья, и листья закружились, падая на воду, запорхали легкой, многомиллионной стаей желтых бабочек.

Над озером запуржила вечерняя метель сентября.

Из глубины горных лесов эхо доносило рев горных коз. На берегах то тут, то там вспыхивали огни костров, манящие к своему трепетному теплу.

Ночь наступала.

Перед ее приходом смолкали шумы дневной жизни, и только цапли перекликались, как бдительные часовые.

Оживали над водой густые туманы и прозрачными лианами тянулись к берегам острова, чтобы дышать сыростью в садах древнего поместья…

***

Скрипя ржавыми петлями, закрылись ворота в первой стене и отрезали жизнь поместья от внешнего мира.

Ночь наступила черная.

За стеной, пугаясь темноты, орали ослы.

Бум! Бум! Бум!

Гудели барабаны на сторожевых башнях храма, возвещая, что наступили часы, когда всем разрешается отдыхать от трудового дня.

Особенно темно было в садах поместья…

Вдруг на башне, прилепившейся, как гнездо ласточки, на отвесном обрыве холма, вспыхнул огонь.

Это ламы зажгли костер, встречающий восход луны. Все сильней и сильней разгорался зловещий факел, желая прежде луны найти и осветить зрачки ночи.

Глухо и угрожающе гудели барабаны.

Воды озера не видно: она стала черной и слилась с берегами.

Нет озера…

Но вот в одной стороне за хребтами гор, за кружевами лесов горизонт пожелтел, и, как бы крадучись, неуверенно выглянул пурпуровый шар луны, как зажженный бумажный фонарь. Он не осветил, а только подкрасил поверхность озера – тревожным светом очертил на берегах острова силуэты садов, небритую щетину камышей, бородавки лотосов и все еще плавающие шаланды.

Собаки, спущенные с цепей в ров для охраны поместья, встретили появление луны оглушительным лаем, заставивши ослов прекратить свой дикий концерт.

Луна, поднимаясь все выше и выше, медленно серебрилась, постепенно разгоняла темноту, отыскивала все, что было в ней спрятано на земле…

Ламы, зажегшие костер, внимательно слезливыми старческими

глазами рассматривали еще видимые на луне темные пятна и старались отыскать в их формах откровения для своих будущих предсказаний.

Ночь стала голубоватой.

Озеро отражало в себе силуэты берегов.

Потом оно как будто треснуло пополам, и трещина заблестела полосой расплавленного металла…

Луна заботливо обозначила все морщины и опухоли на лике китайской земли.

Бум!

Последний раз прогудели барабаны, и эхо повторило их гул в далеких горах.

На башнях догорал встречавший луну костер, подул ветер и погнал его смолистый дым со скал холма к воде, постелив сизым саваном на поверхности озера.

Ветер, видимо, испугался, что луна разбудит в озере тайны его царства и они, отражаясь в изумрудной воде, покажутся людям.

Удлиненные, густые, неподвижные тени легли на землю от дворцов, кумирен и фанз.

Но тени около деревьев зашевелились и заползали.

В сыром рву перед стеной поместья, поджав хвосты, собаки взвывали от тоски, задирая морды к небу…

3

На острове одна аллея кипарисов, выложенная каменными плитами, вела к ущелью между угрюмых скал.

В узком коридоре, переходящем в природный тоннель, тяжелые, окованные медью ворота преграждали путь в маленькую лощину – самое скрытое место поместья.

В лощине среди запущенного парка окруженные серебристыми водопадами горных ручейков стояли пять дворцов поместья, и в самом большом из них жил старший потомок рода – престарелый маршал Шун-чен-чанг.

Во дворце был зал из белого мрамора, и среди его роскоши проходила жизнь маршала.

Зал, помнивший улыбки четырех веков.

В его стенах раздавались шаги и голоса многих замечательных людей Китая.

Белые колонны с красными, как будто кровяными, жилками обвиты гибкими чешуйчатыми бронзовыми драконами. С потолка на длинных золоченых цепях низко спускаются тридцать фиолетовых фонарей.

На стенах развешаны бесценные уникумы редчайших панно. Среди них, конечно, есть панно с любимым персонажем древней мифологии,

добродушным стареньким мудрецом Шу-Лао с неизменным оленем и двумя летучими мышами, символизирующими вечную жизнь. Многие из них выполнены на красном сукне, что является теперь особенно ценным, ибо в далекие годы создания панно шерстяная материя ценилась выше шелка, и почти все они вытканы кропотливым ручным способом (ко-су). Есть среди них также вышитые на шелку классического красного дворцового цвета, который от древности принимает желтовато-оранжевый оттенок. Пол устлан коврами и шкурами зверей, среди которых больше всего тигровых.

Стоят вазы из старинного бледно-розового фарфора. На одной из стен висит портрет Ли-хун-чанга, мастерски исполненный шелком, портрет с почти фотографической точностью воспроизводит облик выдающейся личности. Под иглой в руках одаренного вышивальщика на портрете ожила вся могучая сила временщика, сумевшего так ярко занести свое имя в бессмертные страницы истории.

Посередине зала в раме позолоченного экрана портрет замечательной женщины Китая – вдовствующей императрицы Цзи-си. На портрете она, на красочном панно, изображена полной стареющей женщиной с лицом овальным, некрасивым, но выразительным.

Кроме двух больших портретов, в зале множество других, и не только своих соотечественников, но также выдающихся людей Запада, с которыми маршалу пришлось столкнуться на протяжении своей восьмидесятилетней жизни.

***

В этот поздний вечер, когда луна озаряла озеро, в зале из тридцати фонарей зажжены были только одиннадцать.

Ровный фиолетовый свет залил зал, загнав темноту в дальние углы.

Маршал лежал на подушках из желтого императорского шелка. Он только недавно проснулся и, прищурившись, следил, как слуга кипятил в фарфоровом чайнике воду горного источника, чтобы заварить любимый им душистый, терпкий, бледно-зеленый чай.

Плавали по залу волокна сероватого опийного дыма.

Привстал маршал, сел, поджав под себя ноги.

Среднего роста, в черном шелковом халате, сухой, сгорбившийся. Желтая кожа лица прозрачна, как воск, на висках землистые пятна. Лицо похоже на маску, удлиненную седой реденькой бородкой; усы – несколько волос в углах рта, опущенные вниз; губы бурого цвета, нижняя брезгливо отвисла, обнажая ряд желтых здоровых зубов. Глаза в узких щелках морщинистых век, блестящие, прищуренные и властные, они пытливо смотрят на каждого, кого видят перед собой.

Маршал похож на старого орла. Старость заставила его покинуть

облачные высоты, спуститься на землю, бродить по которой для него так непривычно и унизительно.

На голове маршала шапочка с шишкой из гладкого красного коралла.

Около него, на низком резном столике, на подносе с перламутровой инкрустацией, лампа для разогревания опиума, трубки из черной черепахи и из орлиного дерева «Ки-нат», иголки, чубуки нефритовые и фарфоровые.

На подушках в чашках зеленого и белого нефрита душистые персики…

Уединенно живет теперь маршал.

Его не волнует, не захватывает больше то, что творится вокруг. Уйдя от внешней жизни раз и навсегда, он, глубоко разочарованный во многом, удалился на покой в свое родовое гнездо и посвятил свой досуг чтению старинной классической мудрости и курению опиума.

Он пережил многих друзей и соратников ушедшего императорского периода. Они один за другим ушли в вечный покой, а он продолжал бродить по анфиладам своего дворца.

Не стало хитрого и коварного честолюбца Ли-хун-чанга. Не живет больше дерзновенный Юан-ши-кай. Умер Сун-ят-сен, мечтательный и пламенный пророк нового Китая. Страну ведут к свету незнакомые ему вожди. Но он не интересуется их подвигами, ибо уверен, что подвиги людей умерли в тот день, когда в стране перестал править Богдыхан.

Всеми забытый и всех забывший, сам он в поместье своих предков терпеливо ждет запоздавшую смерть.

У маршала есть утешение для старости.

Два сына.

Старший Шен – конфуцианский философ и первосвященник.

Младший Чен – известный дипломат современного Китая.

Оба сына уже нашли свои горные тропы жизни, и старик спокоен от сознания, что они сумеют достойно почтить его смерть.

В каждом из них частицы его характера и ума; каждый по-своему мечтает о величии родины.

Чен – любимец старика. Будучи дипломатическим представителем правительства в Европе, четыре года тому назад он женился в Париже на русской, покинул политическую работу и совсем недавно вернулся на родину. Его неожиданный приезд и уход в отставку напугали старика и вызвали долго не смолкавшие толки в печати, но сам Чен на все вопросы об уходе от политической работы отвечал желанием посвятить себя заботам о здоровье жены и воспитании ребенка.

Женитьба Чена на европеянке потрясла маршала, он был оскорблен тем, что кровь его славного рода смешалась с кровью белой расы.

После приезда сына в поместье он вначале не хотел его видеть,

требовал расторжения брака, но после, выслушав доводы сына и не желая понимать и мириться с его непонятными взглядами на жизнь, в конце концов, разрешил ему посещать себя, отказавшись видеть когда-либо его жену и внука.

***

Глубоко вздыхая, погруженный в раздумье, маршал пил пахучий чай.

В глубине дворца мелодично зазвенел гонг, извещая, что кто-то осмелился нарушить покой маршала. В зал, низко кланяясь, вошел слуга и передал, что сын Чен просит принять его без промедления.

На лице старика ожила улыбка – он закивал головой, слуга вышел, и скоро в дверях появился Чен, склонившись в поклоне.

Высокий, худой, довольно красивый китаец.

Поцеловав плечо отца, он обратился к нему на изысканном наречии, которое с гибелью дворцовой жизни сохранилось только в очень немногих семьях.

— Дорогой отец, хозяин моей ничтожной жизни, луна своим холодным для меня светом указала моим глазам путь к дворцу, в стенах которого бьется твое великое и гуманное сердце.

Я, твой сын, осмелился переступить порог твоего чертога и дерзнуть еще раз напомнить тебе о своей давнишней, почтительной просьбе.

Моя жена глубоко обижена твоим незаслуженным к ней суровым отношением. Я снова прошу тебя, любимый отец, перебрать в памяти твои мысли о ней и принять ее с моим сыном, твоим почтительным внуком, сказать им несколько ласковых мудрых отцовских слов.

Прежде я никогда не смел просьбами пугать покой твоей старости, но сейчас должен это сделать, и если твое мудрое, но жестокое решение останется неизменным, то завтра, когда взойдет солнце, я буду вынужден вместе с моей семьей покинуть навсегда твой негостеприимный дом, даже в том случае, если заслужу этим твою вечную немилость…

Услышав спокойную и решительную речь сына, маршал встал, выпрямился, большими шагами заходил по залу, долго о чем-то думая, стоял перед портретом Ли-хун-чанга.

Подошел к сыну вплотную, прищурившись, смотрел на него, положил руки на его плечи, склонив голову, дрогнувшими губами прошептал:

— Чен, твой старый отец любит своего упрямого сына и хочет, чтобы он привел к нему свою семью.

***

Когда обрадованный Чен покинул зал, маршал несколько раз ударил в гонг, и тотчас вошли слуги. Он приказал им открыть окна и выгнать паутину опиумного дыма и зажечь все фонари.

Слуги плавными движениями бесшумных опахал из орлиных перьев рассеяли завесу дыма, зажгли все тридцать фонарей, и в зале, освещенном фиолетовым светом, ожила восточная сказка.

Посредине зала поставили кресло из черного дерева, покрытое шкурой барса, к нему от дверей постелили красный ковер.

Маршал, переодетый в голубой халат, сел в кресло…

В глубине дворца снова зазвенел гонг, кто-то невидимый раздвинул парчовый занавес дверей, и в них показался Чен, держа на руках мальчика, а рядом с ним стояла европейская женщина.

Медленными шагами Чен подошел к отцу и отдал ему ребенка. Мальчик удивленно рассматривал взявшего его на руки незнакомого старика. Дрожащей рукой маршал погладил ребенка по головке. Вздрогнул… Волосы ребенка были мягкими, шелковистыми, но зато глаза были глазами китайца. Крик радости вырвался из груди старика, нежно прижав к себе ребенка, он встал и пошел к женщине, неподвижно и сконфуженно стоявшей около одной из колонн.

Маршал остановился около нее, протянул руку и, когда бледная тонкая рука женщины легла на ладонь маршала, он неожиданно для себя растерянно поцеловал ее сухими губами.

Слезы волнения и радости заблестели в его глазах…

Он что-то шептал, но женщина не понимала этого шепота…

Тридцать фонарей освещали зал фиолетовым светом.

В зале, помнящем улыбки четырех веков, белая женщина дышала его воздухом первый раз.

4

Сегодня набежавшие с вечера облака не позволили луне перекрашивать сажу ночи в бирюзовый цвет…

В полумиле от острова поднимался из воды маленький скалистый островок, заросший рощей бамбуков.

Теперь уже никто не помнит, когда, отломившись от острова, упала в воду глыба его гранита, никто не знает и не может понять, как она могла так далеко упасть.

Но рыбаки и крестьяне с берегов озера часто рассказывают о том, что островок – это вовсе не упавшая в воду скала, а оброненная небом погасшая звезда, и в подтверждение правдивости своих рассказов ссылаются на древнее предание, правда, никем не записанное.

На островке из постоянно волнующейся бамбуковой рощи поднимается крыша ажурного павильона. В нем живет теперь молодая конкубинка маршала, так как старость еще не совсем усыпила в нем власть страсти, иногда требующей женской ласки…

В ночной бамбуковой роще на террасах павильона дремали в темноте цапли, стадами собираясь на ночлег, оглашая тишину ленивыми

перекличками.

Давным-давно этот павильон был построен для брата маршала – горбатого поэта, писавшего трогательные стихи о жизни голубых цапель на берегах священного озера. Рассказывают до сих пор, что он первый прикормил пугливых птиц, заставил их полюбить свою жизнь, для них он часто распевал в ночной тиши стихи о вольной птичьей душе.

Говорят, что с тех пор цапли выбрали островок для своего ночлега и не ушли с него и после того, как конкубинка по приказу маршала была вынуждена переселиться из дворца в павильон среди бамбуков.

Цапли также очень скоро привыкли к жизни одинокой женщины…

***

Вода, причмокивая, плещется о каменистые берега.

Как шелк, шелестит от порывов ветра листва бамбуков.

Вслушиваются в этот шелест чутко дремлющие цапли, по-своему понимая то, о чем ночью шелестят бамбуки.

В маленьком зале павильона со многими овальными зеркалами, отражающими каждый уголок и предмет, проходит жизнь наказанной маршалом легкомысленной женщины, посмевшей его ласки предпочесть краденым ласкам другого.

Медленно падают в вечность прожитые ею дни, как капли с деревьев по утрам после ночной росы…

Огонь толстой свечи, пробиваясь сквозь шелковые стенки фонаря, едва желтил густой мрак зала.

Под фонарем – широкий диван, покрытый парчой. Около дивана на низеньком маленьком столике, около серебряной коробки, мигая голубоватым огоньком, горела горная хрустальная лампочка, а рядом с ней лежала длинная роговая трубка, инкрустированная золотом и перламутром.

Столик с ядом опиума.

Над беспомощным огоньком лампочки еще вился дымок недавно выкуренной трубки.

Среди разбросанных по полу шелковых подушек ходила по залу молодая китаянка, сопровождаемая едва заметной тенью, отражаясь в зеркалах.

А за дверью зала дремала старая ама, приставленная маршалом охранять верность и покой узницы маленького острова.

Е-ин звали китаянку.

«Лунная тень» означало ее нежное имя.

Молодостью гибкого тела она действительно напоминала лунную тень, упавшую на воду от стройного стебля цветущего лотоса. Это имя ей дали в шумном Кантоне, где она еще не так давно сводила с ума мужчин, распевая песни любви. Знаменитая девушка ночного Кантона с голосом

соловья. Идол южного Китая, рожденная на сампанке бедного рыбака и тотчас после появления на свет проданная родителями в рабство.

Ненасытная страсть к богатству и честолюбие привели Е-ин на берег озера, когда она стала конкубинкой старого маршала Шуна.

Три года назад слух о ее песнях привлек внимание маршала, и он, приказав заплатить огромные деньги, выкупил ее из рабства для сладостного покоя последних лет жизни.

Год ее жизнь шла во дворцах поместья. Звучали в них звонкие то радостные, то грустные песни; ее ласки пробуждали жизнь крови в старом теле маршала, и, благодарный, он боготворил свою возлюбленную, исполняя малейшие желания и честолюбивые капризы. Но юность Е-ин – потребность едва проснувшегося тела женщины – звала к неиспытанному греху, и она нашла путь к исполнению своих желаний, вздрагивая в объятиях молодого ламы из буддийских храмов за третьей стеной острова, утомляя себя его первобытными ласками.

Краденые ночи страсти тянулись месяцами и кончились внезапно, когда их свидание в парке увидел маршал, страдавший от бессонницы в роковую для них ночь.

Монах был изгнан с острова, и скоро Е-ин узнала, что молодой любовник был найден в горах, задушенный тонким шелковым шнуром. А она по приказу рассерженного и обманутого маршала поселилась в павильоне на островке.

Месяц после опалы Е-ин провела в полном одиночестве, но постепенно память о ее песнях, о нежных ласках молодости победила гнев стрика, и он вновь призывал ее во дворец, чтобы коротать длинные бессонные ночи, слушая ласковый шепот ее губ. Но старческая ревность, боязнь нового коварного обмана не позволяли маршалу доверять ей, и он по-прежнему не разрешал Е-ин покинуть одинокий павильон.

И только совсем недавно, в ночь после встречи с внуком, растроганный старик обещал после смерти щедро наградить ее и вернуть полную свободу.

Продолжая тайно страдать о задушенном монахе и чтобы забыться от нудной тоски, Е-ин курила опиум и в сладком дурмане наркоза находила временный покой, переставала грустить, не так тяготилась своим вынужденным одиночеством.

И часто во время ночных свиданий, играя маршалу на домре или свирели, она курила вместе с ним опиум и, отуманенная белым дымом, принимала старческие ласки за ласки задушенного буддийского ламы. После таких ночей, разбитая, возвращалась в павильон, спала, мучимая бредовыми кошмарными снами. Не зная, как скоротать дневные часы, бесцельно бродила по бамбуковой роще среди птиц и кормила их из розовых узких рук, и все время думала только об одном мучительном

желании: о смерти маршала и наступлении дня своей полной свободы. Перед глазами тогда оживали заманчивые миражи будущей жизни, ветер приносил с собой шум людской жизни с дальних берегов и с проплывавших мимо шаланд, этот шум напоминал ей слышанный и незабытый шум огромных городов, по ночам залитых ярким светом. В шелесте бамбуков в такие минуты звучала для нее музыка дикого веселья, и глаза дымчато-голубых цапель напоминали глаза мужчин, затуманенные от желания ласк ее молодого прекрасного тела…

А одинокими вечерами, когда маршал не звал ее к себе, она курила опиум и слушала музыку, доносившуюся с берега острова, и знала, что эту музыку принесла с собой в своей душе белая жена Чена. Звуки музыки пробуждали в ней особенно дерзкие помыслы о свободе. Бывали минуты, когда в мыслях оживал страшный план об ускорении смерти маршала от искусно отравленного чая, поднесенного рукой подкупленного слуги. В такие моменты Е-ин металась по залу и, сознавая свое бессилие, оглашала темноту громкими рыданиями…

А ночь тянулась медленно. Е-ин ходила, вслушиваясь в ее шорохи, все еще ждала шагов посланца из дворца, чтобы вместе с ним, переплыв озеро, уйти от одиночества, утешая старика, страдающего мучительной бессонницей.

Но шагов сегодня не слышно, не слышно музыки белой женщины, и только переклички цапель нарушали безмолвие сентябрьской ночи…

Впервые опубликовано: Северный П. Озеро голубой цапли: Роман. Шанхай, 1938.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 5. С. 97-141.

СЛЕЗИНКА

1

Август. Нестерпимо душная ночь.

Воздух неподвижен.

Каменный Шанхай, накаленный солнцем, влажной испариной душил все живое, мечтавшее только свободно дышать.

Полуголые тела китайцев устилали пыльные, заплеванные панели, и все это осмысленное человеческое мясо выползло из конур своих жилищ с единой мыслью найти прохладу и иметь возможность заснуть, чтобы с рассветом продолжать купание в изнуряющем поту.

В такие ночи миллионы рассудков, забывая о буднях и радостях жизни, как о несбыточном счастье, мечтали о движении воздуха от сильных порывов ветра…

Проза

***

На Банде, на башне таможни, часы прозвонили один раз.

В кривой щели узкой улицы вблизи пристаней, в баре с низким потолком веселилась пестрая толпа иностранных матросов.

Под потолком, когда-то выкрашенным в голубой цвет, но грязным теперь от копоти, вертелись, шурша, лопасти фенов. На потолке наклеены золотые бумажные звезды, некоторые из них покоробились от сырости, другие наполовину отклеились и трепетно шевелились от искусственного движения воздуха.

На эстраде рядом со стойкой бара играл оркестр из трех музыкантов, и под звуки модных мотивов джаза сплошным потным месивом до изнеможения танцевали пары, одуревшие от выпитого вина и виски. Потные, раскрасневшиеся лица мужчин прижимались к лицам женщин со следами смытой пóтом дешевой косметики.

Шуршали фены, рыдала скрипка.

Сидевшие за столиками выкрикивали плоские остроты, смех смешивался с бранью горячих споров, с визгами женщин от объятий и щипков особенно пьяных кавалеров.

Дурманил тяжелый запах из смеси дешевых духов, табачного дыма и алкоголя, дурманил и возбуждал, толкая мысли на поиски иллюзий страсти и ласки.

Приманкой бара для его успеха были молодые, красивые партнерши для танцев всех национальностей, но самыми красивыми среди них, по общему признанию, были русские и полукровки.

Для Нади Суховой эта ночь была особенно удачной в смысле заработка. С самого открытия бара она танцевала, беспрерывно приглашаемая матросами, не пропустив ни одного танца. Среди женщин бара она по праву была самой изящной и свежей. Ее обаятельная улыбка, умение себя держать во время танца, жесты и походка останавливали на себе пристальное внимание мужчин, и каждый из них стремился, танцуя с ней, как можно более нежно держать в руках ее хрупкое тело.

Когда на Банде часы пробили час, ее пригласил на танец сидевший до того в одиночестве американский матрос. Перед началом танца со смущенной улыбкой на тонком лице он передал ей пачку билетов и, протанцевав с ней только один танец, предложил отдохнуть, сесть с ним за столик и выпить чего-нибудь по ее желанию. Весело улыбаясь, он сказал ей, что сегодня день рождения его матери, и он бы был счастлив выпить за ее здоровье в обществе Нади и, не танцуя, посидеть и поболтать.

Уставшая, обрадованная его предложением, Надя выбрала самый укромный столик и заказала подошедшему бою белого вина.

Вначале сидели молча. Матрос, видимо, не зная с чего начать разговор, рассматривал Надю, и улыбка виноватого смущения не покидала его лица.

Надя курила и, прислонившись головой к стене, мысленно подсчитывала цифру заработка. Принесли вино. Она, поздравив его, выпила.

Веселье отупевшей толпы в баре продолжалось. На эстраде под аккомпанемент оркестра хриплым голосом пела гавайскую мелодию молодая китаянка, виляя бедрами, подражая движениям танца хула-хула. Заглушая ее пение, кричал пьяный английский матрос и бил о стол пустые бутылки, а при минутной тишине, прекратив его крики, прозвучали две звонких пощечины. Клубок нескольких тел сцепился в драке и выкатился на улицу, неистово продолжая вопить. А в баре, где это так обычно, продолжались танцы под хриплое пение китаянки и шуршание фенов под потолком…

Из отрывистых фраз между Надей и матросом завязался разговор; он рассказал ей так тепло и просто о своей любви к матери и о том, что у нее он единственный сын, что она живет в Калифорнии и что для нее в Шанхае он накупил много подарков. Он ничего не спросил у Нади о ее жизни, не жалел ее судьбу, не целовал рук, не уверял, что она самая для него дорогая женщина. Он не сказал ничего того банального, пошлого, что обыкновенно ей приходилось выслушивать от посетителей бара. Закончив рассказ о матери, матрос смолк и глубоко задумался. Удивленная его задумчивостью и молчанием, Надя настороженно ждала наступления полицейского часа, когда нужно будет уходить, и, может быть, тогда ее странный партнер в виде компенсации за неиспользованные билеты, за вино, за рассказ о матери будет целовать ее в темном углу бара и предложит провести с ним остаток ночи.

Она знала, что, служа в баре, зарабатывая деньги на жизнь, исполняла просьбы случайных клиентов, так как на этом была построена шаткая избушка благополучия жизни.

Но когда серый рассвет сменил душную ночь, когда с эстрады ушли музыканты, когда опустел бар от уходивших с криками посетителей, матрос молча взял лежащую на столике сумку Нади и положил туда американскую кредитку. Удивленная Надя крепко пожала его руку. Матрос предложил проводить ее домой. Не спуская глаз с лица матроса, Надя ответила согласием, легким кивком головы, они вышли из бара и в ближайшем гараже взяли автомобиль, и поехали по пробуждавшимся улицам города по направлению к французской концессии…

2

Простившись с проводившим матросом, Надя, сняв шляпу, шла по улочке своей террасы. Когда открыла дверь квартиры, то из темного коридора на нее дохнуло затхлостью плесени и сырости. Держась за перила лестницы, не торопясь, Надя поднималась на третий этаж по

ступенькам, покрытым пыльной травяной дорожкой с дырами на сгибах. Думала о встрече со странным матросом, и мелькала мысль о том, как хорошо с ним будет той женщине, если он ее полюбит. Осталось несколько ступеней до ее этажа, и, улыбаясь, вспомнила, что последняя из них под ее шагами обязательно визгливо скрипнет. Но в эту минуту услышала торопливые, шлепающие шаги босых ног, и из серой мглы коридора навстречу вынырнула растрепанная, заспанная ама и визгливо прокричала:

— Миси, миси вери бед, сик ол найт, ол найт край, ю люкси.

От неожиданности, от испуга Надя похолодела, разом умерли тихие мысли, оттолкнула аму, побежала в свою комнату, кинулась к кровати, где под москитником билось голое тельце стонавшей маленькой дочери. Откинув москитник, Надя склонилась к ребенку. Тело девочки было мокро и липко от пота, золотые волосики смокли и занятными кольчиками прилипли ко лбу. Рука Нади только едва дотронулась до лба, пылавшего жаром, и материнским чутьем она поняла, что ребенок болен серьезно.

3

В двух маленьких комнатках, соединенных аркой, Надя спрятала мирок своей жизни с малюткой. В комнатках на стенах светлые с голубыми цветочками обои. Перед образом блестел огонек в малиновом стаканчике лампады. На столике, заставленном лекарствами, на колпачок лампы, чтобы еще больше затемнить свет, наброшен синий лоскут шелка от когда-то сшитого платья. Все просто в комнатках, все чисто и опрятно. Для жизни девочки создали уют руки матери. Надя любила в редкие свободные ночи, усыпив дочь, посидеть в кресле за страницами интересной, трогательной книги или просто думать о жизни, уверять себя, что жизнь даже самого несчастного человека – алмаз с красивыми гранями, способный вспыхивать яркими огоньками радости и счастья, что только от самого себя зависит найти свет для жизни, чтобы ярко вспыхнули ее грани.

Пятилетняя дочь Нади – свет, дробящийся чудесными вспышками в гранях алмаза ее жизни. И теперь судьба пытается погасить этот свет.

Душные часы ночи Надя секунду за секундой отсчитывала шагами по комнаткам. Четвертые сутки, час за часом, смерть боролась с жизнью за право остановить стук маленького сердца. И эту борьбу наблюдала юная мать, сжавшаяся от страха, металась возле кровати больного ребенка, теряя разум и мысли… Вечером девочке было особенно плохо; уходя, доктор сказал, что ночью нужно ждать кризиса, но что, конечно, есть надежда на благополучный исход болезни.

Ходила Надя, смотрела, не отрывая глаз, на кровать. Мрачные мысли о судьбе ребенка не покидали мать, невольно с ними пробуждалась в памяти своя жизнь. Девочка, подарок жизни за искреннюю любовь,

ребенок – радость первой страсти женщины, отданной тому, кто разбудил в ней всю полноту ласки… Отец ребенка… Он исчез из ее жизни так же неожиданно, как и появился. Надя очень мало знала о нем, знала только, что полюбила его с первой встречи…

Громкие стоны девочки прервали шаги матери; наклонилась к больной, видела, как та шевелила губами, слышала ее шепот, прислушивалась к нему, но не могла понять слов и, не помня себя, не сознавая ничего от усталости, повысила голос, крикнула на девочку, крикнула от растерянности, потому что не могла понять детского шепота.

— Скажи громче. Мама не слышит. Что тебе надо? Не мучь маму.

Испуганными, большими глазками, голубыми, как осеннее небо, девочка смотрела на мать, продолжая невнятно шептать.

— Господи, скажи же хорошенько. Что тебе нужно? Милая, Люсичка, ты хочешь пить? Да? Пить?

Зачерпнула ложкой из стакана воду, поднесла ее к шевелящимся губам ребенка, приподняв голову, влила ее в рот; ребенок, захлебнувшись, закашлялся, вода вылилась на подушку. Слезы заволокли глазенки.

— Вот видишь. Не хочешь сказать маме, что тебе надо. Не хочешь быть хорошей девочкой.

Девочка продолжала шевелить губами и ничего внятного не сказала матери, а когда та вновь ходила по комнате, голубые глаза ребенка следили за ее шагами…

Скоро шепот ребенка стих. Надя, прислушиваясь к хриплому дыханию, уверяла себя, что хрипение уменьшилось. Мать вновь склонилась к ее лицу, заметила, как дрожали веки, обрадовалась, знала, что во сне у нее всегда дрожали веки, облегченно вздохнув, села в кресло возле кровати, вспомнила, что доктор говорил о бреде, после которого должен наступить крепкий сон. И тогда конец кризиса. Девочка спала. Дышала ровно, без хрипоты. Мать верила, что сон принесет ребенку спасение…

Ночь тянулась. Надя слушала монотонное тиканье часов. Слышала, как все тише и тише становилось дыхание ребенка. Откинув голову к спинке кресла, Надя почувствовала усталость, как будто проваливается куда-то вниз, и нет конца этому приятному полету…

***

Дикие крики рикши, избиваемого пьяным седоком в улочке террасы, разбудили Надю, вскочив, она не могла сразу понять, что с ней, подошла к окну, закрыла его, чтобы крики не разбудили ребенка.

Утро проникло в комнатки. Посмотрела на часы. Шестой час. Подошла к кровати, наклонилась к ребенку, заметила его синеватую бледность, головка девочки неудобно закинулась назад, в ямочке правого глаза крупная капля слезинки. Притронулась к голове ребенка, хотела

поправить подушки, но голова склонилась беспомощно набок, и слезинка скатилась на руку матери.

Вскрикнула мать дико от холодной слезинки, схватила дрожавшими руками тело девочки и вместе с ним рухнула на кровать, поняв, что в нем нет жизни. Поняла, что жизнь девочки уходила в те минуты, когда шептали губы, когда она, повысив на нее голос, не могла понять шепота. Поняла, что, умирая, девочка хотела что-то сказать ей, последний раз почувствовать материнскую ласку.

— Люся!.. – смогла крикнуть Надя и, выпустив остывшее тело девочки из рук, сползла с постели и, упав на пол, потеряла сознание…

Лучи яркого солнца нового душного дня заглянули в комнатки, но его свет был в них не нужен, потому что не сможет согреть от холода смерти маленькое тело голубоглазой, белокурой девочки…

Впервые опубликовано: Северный П. Черные лебеди. Тяньцзян,1941.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
В 10 т. Пекин, 2005. Т. 5. С. 45-50.

КРУЖЕВА ЖИЗНИ

1

Прошло сто лет, как студеные руки смерти оборвали тонкие и пестрые по расцветке нитки, из коих надменная судьба вязала кружева жизни великого Пушкина.

Но нитки крепки, столетие не испепелило и не обесцветило их, а потому по замысловатым рисункам кружева можно восстановить и изучить извилистую тропу рано оборванной жизни поэта.

В кружевах дивными рисунками вывязаны имена трех женщин, и нужно только, затаив дыхание, наклониться над ними и, внимательно всмотревшись, прочесть имена, ставшие бессмертными вместе с именем поэта.

Три имени.

Надежда, Арина и Наталия.

Мать, няня и жена.

2

Кружева жизни Пушкина судьба начала вязать голубыми нитками, и в старинный рисунок синим цветом ввязано имя его матери.

Надежда Осиповна.

Окруженная с малолетства угодливостью родителей, потворством и лестью, взрослой превратилась в женщину капризную, вспыльчивую и властолюбивую.

В дни молодости была необыкновенно хороша собой, а потому все причуды ее как мужем, так и обществом охотно прощались или же совсем не замечались, ибо все прекрасно сознавали, что обаятельная женщина, прозванная «прекрасной креолкой», иной быть не хотела и просто не могла…

В Москве ее второй раз посетило счастье матери, когда разрешилась от бремени долгожданным сыном. И с самых ранних лет сын только и знал, что приносил матери огорчения. Первое огорчение матери была некрасивость сына, все тонкие материнские черты в лице властно заменили черты рода Ганнибалов, и даже вновь выплыла наружу смуглость кожи. Любящая, жизнерадостная мать старательно искала в сыне черты своего характера и не могла их разглядеть из-за ленивой неповоротливости и замкнутости ребенка.

Она несла ему свои ласки, а он сторонился и избегал их, а нежная назойливость матери возбуждала в нем только недовольство. Взаимное непонимание между ними встало крепкой стеной.

Юный Пушкин мать только уважал, боялся и недолюбливал, в детстве за частые наказания, позднее за резкую критику его жизни. С каждым годом все дальше и дальше отходили друг от друга. Мать так и не могла найти ключа к тайнику души своего странного сына… Вся дальнейшая жизнь сына после женитьбы была для матери сплошным испытанием из-за постоянного страха за его судьбу и судьбу его семьи. Но смерть не позволила матери видеть его гибель…

Они любили друг друга каждый по-своему, но никогда не сумели просто сказать об этой любви, чтобы, поняв, почувствовав ее в душах, разом стереть грани отчужденности.

Кто из них виноват в этом?

Гордая мать, не нашедшая ласковых слов о своей любви?

Или не менее гордый сын, не захотевший искать этих слов для матери?

Но они промолчали, не обвиняя друг друга, потому что знали, что в каждом из них жили тайная привязанность и своеобразная любовь друг к другу. А мы теперь знаем, что примирение матери и сына состоялось, примирила смерть, стерла вражду, смерть в могилу уложила их под один камень.

После смерти они стали более близкими, чем при жизни…

3

Уже в самом начале кружев жизни в голубизну вплетаются две нитки, серебряная и золотая, а из них постепенно связано имя Арина.

Арина Родионовна.

Это ее имя, имя няни Пушкина, крепостной крестьянки, руки

которой с молитвенной нежностью приняли на себя заботы о нем с первых дней от рождения.

Матерью называл ее поэт, считал матерью ту, вынянчившую, а не ту, родившую.

Няня Пушкина обессмертила своей жизнью имя русской няни. Только ей суждено было оживить спящую душу поэта; ласка, забота, любовь крестьянки сделали то, чего не могли сделать ласка и любовь матери. Она первая заметила в душе своего питомца искру радости, научила его глаза гордо, смело и непримиримо смотреть в глаза своей судьбы.

Это она вытирала слезы первых детских обид Пушкина.

Это она горячо молилась о его спасении от напастей, когда прослышала о его первой ссылке.

Это она успокаивала страшные мысли его одиночества в Михайловском, когда поэт рвался из ссылки на волю.

Это она помогла ему постичь могучесть подлинного русского языка и создать «Бориса Годунова».

Она, старушка седенькая, рассказала ему в долгие, вьюжные ночи старинные сказки, рассказанные впоследствии гением всей России.

Это для него собиралась жить долго-долго, чтобы оберегать единственного Сашеньку, от всего оберегать в жизни, но позабыла старушка впопыхах, что не вечна ее жизнь, и не заметила, как подошла смерть, закрыла веки ее ясных глаз, не позволила ей уберечь его от пули Дантеса.

Но она сделала все, что могла для его покоя, а потому судьба в кружевах его жизни вывязала ее скромное имя древнеславянскими буквами золотыми и серебряными нитками…

Но что это? Ошибка глаз?

Нет, это правда.

В кружевах гамму самых ярких красок прорезала вдруг черная, траурная нитка, и в местах, где краски по своей яркости радостны, связано екатерининской вязью четкое имя Наталия.

Жена поэта.

Наталия Николаевна, московская красавица, и в ее руки всесильный рок отдал любовь и душу бессмертного Пушкина, соединяя их души, венчал их любовь на всю жизнь.

Единственная из всех женщин России, любимая поэтом до самозабвения, любимая до жертвенности, и за нее он не испугался поставить под дуло пистолета свою жизнь.

Жену Пушкин любил больше жизни, больше стихов, больше всего, что у него было лучшего и светлого.

Она любила в нем только мужа, постоянно ревновавшего и бранившего ее за пустое кокетство. Пушкина-поэта, запиравшегося со

своим вдохновением в кабинете, она боялась, боялась, ибо не могла постичь красоту его поэзии, не могла понять, что в стихах и в ней смысл его жизни.

Ей нравилось блистать, нравилось быть женой знаменитого поэта, нравился шум балов; ее угнетала тишина дома, ее никто не научил любить тишину семьи, думать только о покое мужа.

Просто Рок обманул доверчивую молодую красавицу, не помог ей разгадать сложной души мужа, не шепнул ей, что Пушкин не похож на окружающих мужей. Она не успела одуматься, как порог ее дома перешагнула трагедия, одумалась от угара легкомыслия только тогда, когда раненого мужа на дуэли старый слуга, как ребенка, внес в дом на руках…

Смерть не услышала ее криков и мольбы о пощаде его жизни. И после того, как его не стало, когда его тело зарыли в земле в далеком Святогорском монастыре, Рок, торжествуя над ее страданием, надел на ее голову терновый венок виновницы трагедии.

Недавние друзья, льстившие ей на каждом шагу, постарались отпрянуть в сторону, как от страшной преступницы, обливая клеветой, стараясь на ее хрупкие плечи взвалить преступления своих подлых, трусливых душ. И только вздрогнув вначале, она ни одним словом не пыталась снять с себя эти обвинения, гордо шагнула в жизнь вдовы, так же гордо, как вошла в храм в своем подвенечном уборе невесты, шла гордо, потому что знала, что не только она виновата в его гибели, знала, что мертвый снял с нее тяжесть вины, мертвый ни в чем не упрекнул, а понял все, понял и простил.

Вот почему на кружевах судьба, угождая клевете, довязывая ее имя, вплела в конце в черную нитку красную, яркую, как кровь мужа, пролитая на сугроб. Вот почему последняя буква «Я» связана красной ниткой…

Прошло сто лет, мы успели узнать много правды, в нас нет к ней злобы, мы смогли разобраться в жестокой правде жизни и смерти поэта, мы узнали многое о его жене.

Мы знаем многое из того, чего не знали или не хотели знать те, кто положил на ее хрупкие плечи тяжелое бремя страшного обвинения в чужой вине.

Теперь мы не смеем осквернять память ее имени обвинением в его гибели.

Кто смеет через сто лет, обвинить в чем-нибудь женщину, любимую Пушкиным, кто бросит камень в мать его детей, когда он сам, единственный, кто смел обвинять, верил ей больше, чем себе, и, защищая ее честь от клеветы трусливых анонимов, подставил свою грудь под выстрел Дантеса в сумерки своей последней январской ночи.

Мы помним, мы хорошо знаем, что поэт пролил кровь, чтобы доказать всем, что честь его жены чиста, как снег…

Кружева жизни Пушкина – неповторимые по красоте своего рисунка. Какое счастье, что судьба связала их крепкими нитками, и столетие не смогло испепелить их и оставило нам возможность с замиранием души проследить тропу его жизненных тревог и счастья.

Только при одной мысли холод студит сознание, при мысли, что подосланная Роком смерть так рано, так нелепо обрезала тонкие цветистые нитки недовязанных кружев…

Впервые опубликовано: Северный П. Черные лебеди. Тяньцзян, 1941.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
В 10 т. Пекин, 2005. Т. 5. С. 64-68.

ЛЮДИ И БРОНЗА

Декабрьской ночью дождевой тайфун смывал человеческую грязь с каменного панциря Шанхая.

Тайфун выл, как миллионы тоскующих собак, перебирал разноголосую клавиатуру крыш и вывесок.

Мокрый, озябший камень Шанхая слушал саксофонный чарльстон тайфуна, под синкопы которого в пляске бесились облака.

Декабрьской ночью на иностранной концессии в особняке среди сада общипанных платанов было тускло освещено только одно готическое окно. Его свет сонно подмигивал тайфуну…

За стеклами окна была жизнь. Частная жизнь хозяина особняка.

Комната. И в ней сразу чувствуется, что хозяин любит холодную роскошь вещей. Серые тяньцзинские ковры. Столбики иглистых кактусов. Кожаная мебель. На стенах ни одной картины. На выступе горящего камина в канделябре горят свечи. Тепло каминного огня заставляет пламя свечей вздрагивать, и от этой дрожи они плачут стеариновыми слезами. На полированном столе, отражающем в себе все предметы, стоит большой бронзовый бюст Данте. Свет камина играет отблесками металла, и кажется порой, что у Данте шевелятся брови и губы.

Бронзовый Данте думает о Беатриче… В комнате встреча мужчины и женщины.

Женщина молода, ее лицо нельзя назвать красивым, в гладкой прическе стриженных волос – куржа седины. Она в строгом черном платье сидит в кресле и курит.

Мужчина стоит на одной ноге, опершись на костыли, на фоне окна, заливаемого дождем. Похож на спящего в болоте журавля. Его лицо строго, одухотворено уверенностью, в глазах покой сознания своего «я».

Часто в тишину комнаты врываются отрывки саксофонных мелодий тайфуна, и лица трех – два живых и одно бронзовое – по-разному к ним прислушиваются.

Женщина говорит спокойно:

— Итак, мы встретились, наконец, чтобы посмотреть друг на друга и расстаться. Эта встреча опять неповторима. Первая встреча после двенадцати лет. Мы на разных тропах. Ты – эмигрант. Я – жена коммуниста. Ты известный хирург. Новый триумф русского в эмиграции… Для встречи с тобой у меня час времени, и за этот час я хочу рассказать тебе о себе с той осенней ночи, когда ты от меня ушел. Тогда ты ушел во имя идеи о Белом Китеже, во имя ее ты отказался остаться со мной. Я осталась одна в России и слушала хороводы революционного Октября, затерялась среди торжества страны, влюбленной в кровь. И в то время, когда ты шел по снегам, теряя веру в победу, я, голодая, приучала себя к новому быту.

Жуткий вьюжный Октябрь улыбнулся мне неожиданно накануне часов, когда я была готова прервать свою жизнь от тупой усталости.

Пришел человек с давно небритым, обветрившимся лицом в шинели солдата. Пришел промыть гнойную рану в руке. Крестьянин – командир полка красной армии. Перетерпел боль перевязки и, благодарный, крепко пожав мою руку, ушел. Я его почти не запомнила после этой встречи…

Рухнул ваш Китеж, стихла война, ваши страдания занесены снегом.

Теперь я жена того, заходившего перевязать рану. Ты первый, он второй.

Твоя красивая сказка любви растворилась в суровой были. Ты создал из себя хирурга. Я создала из него дипломата, отшлифовав самородок его изумительного ума. Долгие годы я помогала ему вырасти в человека, заставила его стать выше тех, кто сманил его, уставшую от вшей и смерти, душу солдата на тропы революции.

Он понял, что со мной ему легко, и он мне предан. Он умеет ценить меня. В нем есть благородство. Он знает о нашем свидании, знает, кто ты для меня.

Все это я создала из своей жизни без тебя. Но ты мне дорог. Тебя и только тебя я люблю. Люблю настолько, что научила его ходить твоей походкой, говорить с твоими интонациями, гореть, мыслить и всего достигать смело и дерзко.

Я научила его жить мужской смелостью, помогшей тебе, заставившей безногого офицера превратиться в известного хирурга.

Когда я узнала, что встречу тебя в Шанхае, я решила покинуть его и остаться с тобой. Но не смогла этого сделать, когда поняла, что в его жизни я режиссер, он только талантливый актер. Постановку его жизни видного партийца веду я и по своим мизансценам… Я поняла также, что мой приход к тебе – ломка твоей одинокой, суровой жизни.

Многое, что ты пережил, сделало из тебя одиночку, только горящего, не согревающего, идущего вперед, пусть даже к гибели.

Итак, я режиссер, он актер, ты зритель. Но оба вы в моих руках…

Наша встреча сегодня – короткий антракт. Пьеса продолжается… И, как знать, может быть, пятый акт мы будем доигрывать с тобой вдвоем. Понимаешь? Одни без него, без всех. Тихо и хорошо нам будет тогда. Так же тепло, как двенадцать лет тому назад в моем доме… И будущую тишину я назову тогда одним старым словом – любовь.

Вдруг оба услышали с улицы зовущие гудки автомобиля.

Женщина встала. Стройная, гибкая.

— Это за мной.

Подошла к мужчине, провела рукой по его голове.

— Антракт кончен. Поцелуй меня. Ты меня любишь? Ты не забыл и не забудешь меня?

Мужчина ответил не сразу и почти шепотом:

— Мария, я тебя никогда не забуду. Мы скоро снова увидимся, и тогда ты не уйдешь в дождливую ночь…

Женщина ушла. Мужчина пошел провожать. Скоро вернулся. Плотно закрыл за собой дверь, наглухо задернул штору на окне. Подошел к столу, наклонился к бронзовому Данте и громко спросил:

— Ты видел, Данте, мою Беатриче? Ты, конечно, все слышал, что она говорила?

Декабрьской ночью человек и бронза слушали тайфун, проносившийся над Шанхаем.

Впервые опубликовано: Северный П. Черные лебеди. Тяньцзян, 1941.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 5. С. 51-53.

Хрестоматия

Сергей Федорович СЕРГИН
(1910-1934)

Поэт Сергей Сергин (настоящая фамилия Петров) родился в 1910 г. предположительно в Петрограде. В 1919 г. вместе с родителями эмигрировал в Харбин. Окончил гимназию с золотой медалью и Харбинский политехнический институт (1932), получив специальность инженера железнодорожного транспорта. Участник литературного объединения «Молодая Чураевка». Печатался в газете «Чураевка», в журналах «Рубеж», «Парус». Покончил с собой 6 декабря 1934 г. в отеле «Нанкин» в Харбине вместе со свои другом Георгием Граниным. Посмертно его стихи были напечатаны в коллективном сборнике «Излучины» (1935).

Ист. и лит.:

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 483-484.
Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд. М., 2001. С. 694.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 277.

ЯД
Миниатюра

На склянке было написано – «Стрихникум нитрикум 3,5 гр.», сбоку на наклейке с другой надписью – на незнакомом языке – виднелись какие-то белые фигуры, похожие на пятна.

Вера решила, что это ангелы.

Эта вещица ее больше не пугала – она к ней привыкла, когда нужно было достать что-нибудь из комода, то склянка всегда попадалась под руку.

Приготовления были закончены – на столе стоял стакан с водой и лежало яблоко. Собственно, можно было обойтись без него – но какие-то неясные воспоминания заставили Веру купить яблоко на последние деньги.

В какой это сказке злая мачеха приносит девушке отравленное яблоко? – Не вспомнить, когда надо, никогда не вспомнить.

Неуверенно высыпала половину всего в воду – так ли надо это делать, не лучше ли проглотить в сухом виде, а потом запить?

Села на кушетку и взялась за яблоко.

За дверью простучали каблуки – хозяйка приближалась к комнате.

Вера метнулась к незакрытой двери и закрыла вход в комнату.

— Вера, мне тяжело вас беспокоить, но сегодня двадцатое число, скоро конец месяца, а вы…

Вера улыбнулась бледной улыбкой:

— Подождите два дня, авось достану.

— Все авось да авось, а денег нет. Чтобы девушка в двадцать лет денег достать не могла – это мне совсем непонятно.

Ушла, злобно стуча каблуками.

После этого визита последние колебания рассеялись сами с собой – защелкнула дверь, взяла стакан.

Вот он – конец.

Но стало страшно, до боли страшно – выплеснула все на пол через плечо и, повозившись с замком у двери, не оглядываясь, выбежала из комнаты.

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка. 1932. №4. С. 1.

ДЕТСТВО

Мика впервые услышал о смерти, когда ему было пять лет. Дедушка его, живший в мезонине двухэтажного дома на екатерининском канале, захворал.

По воскресеньям няня обдергивала на Мике костюмчик, приглаживала щеткой длинные волосы и шла с ним по скрипучей лестнице наверх. Дедушка лежал на кровати, белая его борода, такая мягкая наощупь, ласкала Микино лицо, дедушка улыбался, но няня поспешно подхватывала Мику на руки, приговаривая: «Что ты расшалился сегодня!», – и уносила. Однажды вечером, когда нужно было ложиться спать, няня повела Мику не в детскую, а во флигелек во дворе и уложила на диване в пыльной, давно не проветривавшейся комнате. На другой день мама с заплаканными глазами сказала: «Дедушки больше нет, дедушка умер», – и действительно, Мика его больше не видал. От этой смерти остался в памяти отъезд в другой город, в котором дедушка родился и где его должны были похоронить.

Мика запомнил солнечный день, в который уезжали, дам, говоривших маме: «Милая, крепитесь, – он свое прожил, вспомните о детях», – мама при этом начинала плакать, дамы принимались искать флакон с солью и поспешно уходили из купэ, оставив цветы или коробку конфет. Мика запомнил, как мимо вагона проносили длинный, блестящий, суживающийся к концу ящик, за которым шли папа, Микины братья и знакомые дамы, поддерживающие маму.

Лучи солнца разбивались об этот ящик, становилось нестерпимо светло, Мика жмурился и принимался за конфеты. Было весело, солнечно, легко – пришла няня, конфеты отобрала, опустила штору, в купэ стало темно.

«Няня закрыла солнце», – подумал Мика. Это была первая смерть, прошедшая около него. Вскоре няню сменила бонна. Мика вырастал из костюмчиков, бонну сменила гувернантка, из кубиков складывались

буквы, цифры в книжках со знакомыми картинками, появились французские слова, выписывались столбики неправильных глаголов, решались задачи на все четыре действия. Микины волосы остригли, из детской унесли маленькую кроватку.

Наступила революция. Этим именем папа назвал то непонятное, что творилось тогда на улицах. Раздавались выстрелы, мимо окон проходили толпы народа с флагами, проезжали грузовики с матросами и девушками в красных бантах. Мама запрещала Мике подходить к окнам, говорила: «Кто их знает, а вдруг бросят камень или гранату какую-нибудь!», – и начинала взволнованно говорить со старшими братьями по-французски о том, что у горничной сегодня ночевал какой-то солдат, потом, вспомнив, что Мика понимает, переходила на немецкий язык и, заметив, что и тут Мика не спускает с нее внимательных глаз, махнув рукой, выходила из комнаты. Папа вскоре уехал в Сибирь, условившись встретиться с мамой в Иркутске через полгода – за это время Мика должен был сдать экзамены во второй класс гимназии, а мама продать обстановку и библиотеку. Братья уехали на фронт, письма от них приходили все реже и, наконец, прекратились. Обстановку и библиотеку никто не покупал. «Вы с ума сошли, как можно покупать сейчас что-нибудь!», – говорили маме. Деньги таяли, сообщение с Сибирью прервалось, в дом гимназии вселили приют для детей-сирот мировой войны. Мама куда-то ходила, о чем-то хлопотала. «Что же делать, гражданка, – говорили ей, – мы живем в эпоху великих преобразований». Придя домой в опустевшую, гулкую, ставшую вдруг нежилой квартиру, мама восклицала: «Подумать только – гражданка!», – и долго вздыхала на кухне, разбивая табуретку на щепки для самовара. Стекла окон звенели от выстрелов и вспыхивали отблеском пожара.

***

Два следующих года были самым фантастическим временем в отрочестве Мики. Именно в эти годы в нем родилось то чувство, которое его потом никогда не покидало – чувство бренности жизни, странным образом связанное с другим – повторяемости, превращения. Казалось, что все это было уже однажды – и маленький приуральский город, куда в поисках сытой жизни переехала мама с Микой, и житье в коммунальной квартире с общей для всех столовой, и ученье в школе первой ступени, где по утрам руки стыли от холода, а к полудню становилось нестерпимо жарко от накалившейся до красна железной печки, и прогулки с Катей весной на рассвете за подснежниками, а потом за ландышами, которых было много в оврагах за городом.

Катя быстро перебегала с одного места на другое, охапка ландышей все увеличивалась у нее на руках; наконец, устав, она прижимала ландыши к лицу, капли росы, дрожавшие на широких листьях, повисали у нее на ресницах, темные волосы падали на лоб, она смеялась, отбрасывала их

назад, и белые цветы выскальзывали из рук, зацеплялись за платье, и бесшумно падали на землю. Мика поднимал разбросанные цветы, Катя смеялась и, вдруг замолчав, доставала зеркальце и поправляла прическу.

После этого она, напевая, принималась составлять из ландышей букеты, перевязывая их широкими цветными лентами. Весело переговариваясь, они отдыхали некоторое время. С высокого склона был виден город – крыши, островки в листве, одинокая башня-каланча. За городом поблескивала полоса реки, за ней синели леса – а неподалеку, правее, на том же склоне, где сидели Катя с Микой, выступало еврейское кладбище. Возвращаться в город надо было по дороге, которая, огибая кладбище, круто опускалась вниз. Зимой отсюда скатывались на санках, веселый говор многих голосов звучал здесь целый день, весной же было пустынно и тихо. Отдохнув, Катя вставала и говорила: «Мика, кто первый добежит вон до того дерева!», – и тотчас, схватив ландыши, бросалась вниз по дороге. Со смехом обгоняя друг друга, они бежали книзу. Дерево оставалось позади. Старик с еврейского кладбища, попыхивая махоркой у ворот, смотрел, как высокая девушка в розовом платье и худенький мальчик в косоворотке неслись по дороге, рассыпая цветы и наполняя ласковую, насторожившуюся тишину шумом и смехом. Так они бежали вниз, где останавливались перевести дыхание.

Этой остановкой Катя пользовалась, чтобы поправить растрепавшиеся волосы, поймать улетающее платье, и с чинной степенностью, сквозь которую изредка прорывались взрывы смеха, перебивающие друг друга слова, они вступали на улицы города. Кате было девятнадцать лет. Она жила с замужней сестрой в той же квартире, что и Мика, по утрам ходила на службу, по вечерам читала, гуляла с Микой и танцевала – но, конечно, уже не с ним. Мама охотно отпускала Мику с Катей, так как сама была всегда занята – утром на службе, вечером на дополнительных занятиях или на заседаниях. Мика утром ходил в школу. Занятия шли неровно, нерегулярно, учебников не было, вспыхивали эпидемии, и учеников распускали, потом собирали, но уже не всех – трудно было учиться в те годы. Бывало, учитель объясняет урок по географии, стучит мелом по доске, ученики перешептываются между собой, а Мика слушает, запоминает. «Итак, – говорит учитель, – параллельные прямые никогда не встречаются, сколько бы мы их не продолжали». «А как узнали, что они не встречаются никогда?» – спрашивает Мика, для которого все линии, треугольники, все математические символы были полны значения, жили своей особой, понятной жизнью. Учитель оборачивается, вздрагивает, мел в его руке ломается, а в Микином дневнике мама прочитывает в субботу: «Неуд. по поведению за дерзость в классе».

Дома Мика много читал, выбирая наудачу книги из шкафа.

Случалось, что его окликала Катя и заставляла читать вслух – так он прочел с ней «Неточку Незванову», «Первую любовь». Тайна мужчины и женщины была ему еще неясна, но какое-то смутное представление возникало у него в голове от этих книг, от случайно услышанных разговоров Катиной сестры с мужем. Катина сестра много плакала – муж ее всегда возвращался поздно с бегающими глазами, и она пальцами, исколотыми от штопки, шарила у него по карманам, рылась в столе, рвала какие-то записки. За Катей стал часто заходить по вечерам ее новый сослуживец – Семен Лазаревич, горбоносый коммунист, ни с кем не разговаривавший, никого не замечавший, – казалось, у него были глаза только для одной Кати. Они куда-то уходили. Однажды Мика играл на балконе, идущем вокруг дома, – он ловил зеркалом солнечные лучи и направлял их в комнаты, выходившие на балкон. Пробегая мимо окон, он заглянул в Катино окно – вздрогнул, пошатнулся, зеркало упало и разбилось. Катя сидела на коленях у Семена Лазаревича, и он медленно, настойчиво, молчаливо целовал ее обнаженные руки, поднимаясь все выше и выше и, наконец, приник, впился в ее тонкую, загорелую шею. Катя услыхала шум и подбежала к окну. Мика собирал осколки.

— Доигрался! – раздраженно, со злорадством сказала Катя, закрывая шею руками.

— Не говорите маме про зеркало, – сказал Мика.

— А ты ничего не говори сестре, – шепнула Катя и покраснела.

С этого дня что-то изменилось в Микином отношении к Кате. Он стал посматривать не нее внимательней, не так, как прежде, – как если бы он смутно ожидал, что все поцелуи, все прикосновения должны были оставить на ее теле какой-то след. С этого дня Катя перестала гулять с Микой, забросила чтение, возвращалась поздно.

С этого дня Катя всегда завешивала окно. Просыпаясь на рассвете, Мика часто слышал на улице под окном ее низкий сильный голос, ее смех – это она, возвращаясь откуда-то, прощалась с Семеном Лазаревичем. После одного такого возвращения Катина сестра, которая теперь поджидала по ночам и Катю, и мужа, встретила ее с упреками в столовой за чаем. «Что вы со мной делаете! – плакала она, – раньше он, а теперь и ты… Девчонка с мужчиной по ночам». – «Довольно, – оборвала ее Катя. – Я ухожу к нему, я выхожу за него замуж». – «Как, за Семена Лазаревича? Да побойся Бога – он здесь только на три месяца, он старше тебя на десять лет, он…». – «Хорошо, что не моложе на десять», – плоско сострила Катя и сразу же рассердилась за это на себя и на сестру. «До каких глупостей с тобой можно договориться, – сказала Катя, проливая кипяток на стол мимо стакана. – Не путайся не в свое дело», – и вышла из комнаты, задев по дороге стул.

В этот же вечер к дому подъехал Семен Лазаревич на извозчике, вынес из Катиной комнаты чемодан с вещами – за остальными Катя хотела

приехать завтра сама – и, слегка согнувшись, как бы пряча лицо, прошел мимо Катиной сестры. Катя вышла, ни с кем не попрощавшись, и только уже с извозчика взглянув на дом, улыбнулась Мике, высунувшемуся из окна. Мика заглянул в Катину комнату – над вывернутыми, наполовину пустыми ящиками комода стояла Катина сестра со странно блестевшими, сухими глазами. Она стояла совершенно неподвижно, и трудно было сказать, сколько времени она простояла уже на этом месте.

От нее веяло холодом спокойствия, особым холодом, который сковывает людей, когда все слезы выплаканы, когда совершившееся непоправимо, на ее ладони блестел тоненький золотой крест на серебряной цепочке. Когда Мика вошел, она не вздрогнула, не шевельнулась, она говорила, словно продолжая начатый разговор с этим крестом, с этой тишиной: «Катя, эх, Катя!... А ведь я ее крестила…». Мике стало неловко – на цыпочках, стараясь не шуметь, он выскользнул из комнаты.

Вечером мама вернулась со службы особенно усталой, и Мика лег спать раньше обыкновенного. Ночью он проснулся – из глубины квартины доносились какие-то голоса, то громкие, то стихающие до шепота, кого-то провели по коридору, где-то близко упал стул. Из столовой в щель под дверью пробивалась полоска света. Мама зашевелилась на своей кровати, что-то сквозь сон пробормотала, и снова раздалось ее ровное дыханье. Голоса смолкли.

Кто-то прошел в столовую, донеслось бульканье воды, наливаемой из графина, потом удаляющийся скрип шагов. Полоска света под дверью исчезла. «Что-то случилось», – лениво подумал Мика, засыпая.

Проснулся он рано от громкого разговора в столовой. Мамина кровать была пуста. «В час она уже была дома», – говорила Катина сестра каким-то необычным, окрепшим голосом. «Не сказала ли она вам, почему она ушла от него ночью? Это все-таки странно…», – неуверенно спрашивал незнакомый мужской голос. «В первом часу я услыхала слабый стук, подошла к двери, открыла. Она вошла и тут же упала ко мне на руки. Я протащила ее до кровати, потом сходила за водой. Когда она пришла в себя, я спросила о том, что случилось. Она ответила: «Не спрашивай, молчи». Только эти слова я от нее и слышала. Лучше вы мне скажите, когда ЭТО случилось?»

«Соседи говорят, что это было в третьем часу ночи. Они прибежали на выстрел, пока ломали дверь, бегали за врачом, в милицию – время шло. Смерть наступила мгновенно». – «Это ужасно, – сказала Катина сестра. – Похороны завтра?». – «Нет, сегодня в три часа дня. Дни теперь летние, теплые. Льда не успели достать, а голова сильно…»

Дверь из столовой открылась, разговор перебился, вошла мама, совершенно одетая, через руку было переброшено мокрое, свернутое в

виде компресса полотенце. «Мика, – сказала она, – Катя вернулась, ей нездоровится, ты к ней сегодня не ходи. Чай выпьешь здесь, в столовую пока нельзя». Когда мама ушла на службу, Мика взглянул в столовую – там уже никого не было, на столе стояли неубранные чашки. С кухни не доносилось обычного грохота кастрюль и перемываемой посуды – казалось, что в доме все вымерли.

Мика потихоньку подошел к Катиной двери, она была неплотно притворена, и он заглянул в комнату. Катя лежала на кровати лицом к стенке. Поверх одеяла было накинуто летнее рыженькое пальто. Услыхав шаги, она, не оборачиваясь, сказала: «Пить». Мика взглянул на стол – там стоял стакан с чаем, он взял его и подошел к кровати. Катя повернулась, одеяло скатилось с ее плеч. Лицо ее было страшно-серое, похудевшее, оно казалось увядшим. Волосы падали неживыми прядями, побелевшие, сухие губы были сжаты. Казалось, что она приходила в себя после тяжелой болезни, после бреда. Неподвижные глаза взглянули на того, кто ей подавал стакан, – она вздрогнула, оттолкнула Микину руку и быстро сказала: «Уходи, уходи».

В третьем часу Мика пошел к месту Катиной службы, поднялся вверх по лестнице. В большой комнате, в красном уголке, под портретом Ленина, в красном гробу среди цветов лежало тело покойника. На нем был серый костюм, в котором Мика видел его вчера; на груди горбом топорщилась крахмальная рубашка. Мика никогда не видал его в рубашке с крахмальной грудью – в нем было что-то торжественное, необычное. Верхняя часть лица была закрыта полотном, виднелись черные усы, гладко выбритый подбородок. Мика, не отдавая себе отчета, почему он это делает, ткнул пальцем в крахмальную рубашку – горб опустился, осел, словно покойный выпустил, наконец, долго задерживаемый воздух. Мике стало неловко – он быстро оглянулся, в комнате, кроме него, были еще две женщины, они стояли в стороне, разговаривая, и на Мику не обращали никакого внимания. Он в последний раз взглянул на человека в гробу – ничего страшного в нем не было, была только какая-то тайна, которая прояснилась бы, вероятно, если бы можно было снять эту белую повязку, заглянуть в глаза. Глаз не было, лба не было – была белая повязка и под ней темная, последняя тайна.

Женщины, переговариваясь, подходили к гробу. В одной из них Мика узнал сторожиху этого дома – она как-то приносила Кате на дом бумаги.

— На столе было вино хорошее, довоенное; он ей ни в чем не отказывал, в комнате был беспорядок, а кровать-то была несмята, – говорила сторожиха. – Что же, ее, поди, затаскают теперь? – сочувственно качнула головой другая женщина.

— Ничего ей не будет – он записку оставил, что никого не винит. И по всей-то комнате цветы стояли.

— Уж мы их сюда потом таскали, таскали…

— Дела-то какие, – вздохнула женщина, взглянув на гроб, – такие молодые. И с чего бы это?

— А кто их знает? – с неудовольствием сказала сторожиха, строго посмотрела на другую женщину и ушла.

Комната быстро наполнялась. Тут было много сослуживцев покойного, которых Мика знал, встречая иногда у Кати, были и просто любопытные.

К гробу подходили женщины, клали цветы, венки позванивали своими металлическими листьями. Когда комната была набита до отказа, худощавый молодой человек, распоряжавшийся похоронами, деловито выкрикнул где-то за дверями:

— Расступитесь, граждане, дорогу, дорогу!

С ропотом неудовольствия толпа подалась насколько возможно. Мика, стоявший недалеко от гроба, вытянул шею – по образовавшейся дорожке походкой автомата к гробу приближалась Катя.

На ней было ее рыженькое пальто, черная шапочка была надвинута на самые брови. Задохнувшись от изумления, Мика вглядывается в нее – такой он ее никогда не видал. «Как ее отпустили одну?», – подумал он и тотчас почувствовал, что эту Катю нельзя было не пустить. К гробу подходила Катя. Внешне она выглядела по-старому, – только щеки ее и губы были подкрашены – что-то неуловимо новое чувствовалось в ее походке, в ее устремленности. В том, как она, ни на кого не глядя, встала в ногах гроба. Дух захватывал при взгляде на нее, но чувствовалось, что надо смотреть только на нее, что нельзя не смотреть в эти то вспыхивающие, то потухающие глаза. По комнате пробежал шепот удивления. Женщины зашушукались, закачали головами. Глаза Кати скользили по красному гробу, по человеку в сером костюме и остановились, наконец, на белой повязке. Мика не спускал немигающих глаз с ее лица. Вдруг он увидел, как в ее глазах промелькнуло что-то невыразимо страшное, и стал протискиваться ближе к гробу – он подумал, что она сейчас упадет, закричит или сбросит цветы с груди мертвеца. Но ничего не случилось – Катя провела рукой по лицу, как бы стирая то страшное, ей одной известное, и отошла от гроба.

Когда гроб вынесли, и толпа хлынула за ним, Катя обернулась, увидала Мику и поманила его к себе. Держа его крепко за руку, Катя присоединилась к процессии. По знакомой дороге они шли за гробом под звуки марша на еврейское кладбище. Солнце стояло высоко, было тепло и тихо. Когда гроб был опущен в могилу, когда были выслушаны речи, в который отмечались заслуги покойного и порицался «этот досадный срыв», наступила неловкая тишина. Все чувствовали, что расходиться сейчас, ничего больше не добавив, не приобщив Катю к совершенному, нельзя и в то же время не знали, что надо сделать.

Женщины мялись из-за той неопределенности, которая связывалась с Катей, мужчины боялись вызвать недовольство своих жен, подойдя к «этой девчонке». Одна Катя, казалось, ничего не сознавала или, быть может, сознавала все ярче всех. Она сидела на скамейке недалеко от могилы и всматривалась в надпись на чьем-то памятнике.

В это время из толпы решительно отделилась одна женщина – полная, немолодая, начальница того отдела, где работала Катя. Машинально поправляя пенснэ, она подошла к Кате. «Товарищ, я должна засвидетельствовать…», – начала она, не глядя Кате в лицо, но вдруг взглянула, смешалась, умолкла, пожала Катину руку и отошла. Положение определилось, тон был задан. С сочувственными улыбками к Кате подходили, вздыхали, пожимали руку, а она молча благодарила всех наклоном головы, взмахом ресниц.

Катя с Микой уходили с кладбища последними. Сторож, не ждавший в этот день больше никого, запер за ними кладбищенские двери на ключ. Они разом почувствовали, что кладбище и та могила – позади, за стеной, за дверями, в которых тихо позвякивали болтающиеся ключи. Далеко внизу виднелся город, но они смотрели не на него, а на те лужайки, те поляны… «Ландыши», – скорее почувствовал, чем услышал Мика. Катя крепко сжимала его руку.

Они медленно пошли вниз по дороге. Вдруг Мика услышал, что Катя дышит часто, неровно. Он взглянул на нее – ее губы чуть-чуть дрожали.

— Я его слишком мало любила, – сказала она. – Я его не умела любить…

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка. 1934. Октябрь. С. 2-4.

Ольга Алексеевна СКОПИЧЕНКО
(1908-1997)

Поэтесса и писательница Ольга Скопиченко (в замужестве Сухатина, затем Коновалова) родилась 25 мая 1908 г. в г. Сызрани Симбирской губернии в семье офицера, участника Первой мировой и Гражданской войн. Стихи начала писать в возрасте 7 лет. В годы Гражданской войны некоторое время жила в Троицке. В Харбин приехала с отступающими военными частями в 1920 г. Училась в харбинской русской гимназии, затем на Юридическом факультете. Печататься начала с 1925 г. В 1926 г. выпустила свой первый сборник стихов «Родные порывы». В 1928 г. переехала в Тяньцзин, где вышел ее второй сборник «Будущему вождю». С 1929 г. жила в Шанхае, работала на табачной фабрике. В 1932 г. выпустила сборник «Путь изгнанника». В разные годы сотрудничала в газетах «Русское слово», «Шанхайская Заря», «Слово», «Время», в журналах «Рубеж», «Парус», «Прожектор». В 1948 г. эвакуирована на о. Тубабао на юге Филиппин, где прожила 2 года в лагере русских беженцев. С 1950 г. жила в Сан-Франциско, занималась литературной и общественной деятельностью, являлась сотрудником газеты «Русская Жизнь», участвовала в кружке поэтов и писателей «Литературные встречи». Изредка печаталась в изданиях «Грани», «Возрождение», «У Золотых Ворот». Выпустила сборники стихов «Неугасимое» (1953), «Памятка» (1982). В 1990 г. потеряла зрение. В 1994 г. вышла ее итоговая книга «Рассказы и стихи», включившая 43 рассказа и стихотворения разных лет. Скончалась 12 мая 1997 г. в г. Сан-Франциско.

Ист. и лит.:

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 486-487.

Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд. М., 2001. С. 695-696.

Смотр женских литературных сил эмиграции Дальнего Востока // Рубеж. 1935. № 47. С. 25.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 283-284.

ШЕСТЬ КОЛОМБИН
Из жизни Харбина прошлых дней

— Голубчик, Иван Петрович, по совести вам скажу: Лидочка моя – прелестная девушка, но не пара она вам... Ну, какая Лидочка жена? У нее ветер в голове, ей еще в куклы играть в пору. Прямо не верится порой, что ей двадцатый год пошел. Может, потом – через годик, другой остепенится, в разум войдет.

— Так значит, вы мне отказываете?

— Не отказываю я, а по-стариковски советую, голубчик. Я бы душой рад видеть вас своим зятем. Вы – человек солидный, с положением, а Лидочка – стрекоза, ветерок...

— А я уверен, что замужество переделает Лидию Михайловну. И, несмотря на ваши слова, милейший Михаил Иванович, я еще раз прошу у вас руки вашей дочери.

— Ну, что же, ну, что же... Я, видит Бог, рад. А Лидочка-то согласна?

— С Лидией Михайловной я еще не говорил, но имею смелость думать, что я ей не безразличен...— и Иван Петрович приподнялся с кресла. – С вашего разрешения, я сию минуту пойду к Лидии Михайловне.

— Давай Бог, давай Бог! А я душой, душой рад.

Героиня этого разговора, Лидия Михайловна, хорошенькая худенькая брюнетка, сидела у себя в комнате и сосредоточенно рисовала что-то, не удававшееся ей, о чем свидетельствовали груды скомканной, испорченной бумаги на полу.

На решительный стук в дверь, она даже головы не повернула, а бросила звонко:

— Войдите! – И, не отвечая на приветствие вошедшего, сразу забросала его вопросами:

— Иван Петрович, что лучше мне пойдет – костюм цветочницы или пьеретты?.. Я думала – желтое с голубым будет оригинально, а на рисунке выходит грубо... Ну, что вы на меня уставились? Я еще ни на одном святочном маскараде не была, а завтра студенческий бал-маскарад. Нужен костюм, и поскорее...

— Лидия Михайловна, я к вам по делу... И по очень важному – и для вас, и для меня.

— По делу? Любопытно! А мне казалось, что у инженеров ни с кем важных дел не бывает, кроме как с подрядчиками да с конторами... Ну, я вас слушаю.

Звягинцев внимательно посмотрел на девушку, как бы изучая ее лицо, и начал решительным и спокойным тоном:

— Лидия Михайловна, я пришел просить вас оказать мне честь согласиться быть моей женой. Насколько я знаю, я вам не безразличен... Батюшка ваш уже дал согласие на наш брак. Мое материальное положение дает мне право рассчитывать на хорошую, вполне обеспеченную, спокойную жизнь... От ваших слов зависит дальнейшее ваше и мое счастье.

В удивленных глазах Лидочки попеременно засветились растерянность, гнев и задор, она откинулась на спинку стула и вдруг расхохоталась весело и звонко и, не давая опомниться, заговорила быстро и горячо:

— Да помилуй Бог, Иван Петрович, – кто ж так предложение делает, – точно протокол какой-то! И откуда вы взяли, что небезразличны мне? Постойте, постойте, не обижайтесь! Уж если кто и должен обижаться, так это я: зачем вы с папой говорили? Что это, папа замуж выходит, что ли? Как это у вас все просто и обдуманно: и материальное положение, и небезразличен… А впрочем...

Видимо, какая-то шаловливая мысль мелькнула в ее кудрявой головке, и она еще раз весело рассмеялась.

— А впрочем... Предложение ваше я принимаю... Подождите, подождите, рук не целуйте, рано еще... Принимаю, но с одним условием: вы должны меня угадать...

— Как угадать? – опешил Иван Петрович.

— Очень просто… Завтра на маскараде нас будет шесть коломбин... Угадаете меня – отвечу согласием, хоть на другой день свадьба. Нет, ни за что не выйду за вас замуж...

— Но помилуйте, Лидия Михайловна, мы же не в средние века живем, чтобы устраивать какие-то таинственности с переодеванием. Может быть, еще похитить вас прикажете?..

— Ну, на похищение у вас и фантазии не хватит, хотя это было бы оригинальнее вашего трактата о браке. А относительно средних веков вы совершенно правы, Иван Петрович: у нас не средние века, а я – не теремная боярышня, чтобы свататься и просить моей руки у папы... Я даже вам скажу, кто будут остальные коломбины: Танечка, конечно, раз; Зина – два, Леля Зверкова и Соня Медведева – четыре, а шестая... шестая... Ну, шестую придумаю, еще интереснее будет. Угадаете – ваше счастье, нет – ни папа, ни тетя не помогут... А теперь уходите, – мне надо сговориться с подругами, костюмы-то еще мастерить надо! – и Лидочка почти вытолкала из своей комнаты обескураженного жениха.

Иван Петрович шагал домой совершенно недоумевающий. Что угодно ожидал он получить в ответ, но угадывание на маскараде никак не могло придти к нему в голову.

«Воображаю, каким дураком буду я слоняться завтра по залам, заглядывая под маски... Черт знает, какую ахинею придумала моя будущая жена! Характерец у нее, действительно, не из приятных... Ну да ничего, под моим влиянием из нее выработается примерная жена и хозяйка», – и, успокоившись на этих мыслях, Иван Петрович бодро засвистал что-то очень веселое.

***

Комната была завалена лентами, газом, шелками... Востроносенькая портниха Паша, придворная Лидочкина швея, ползала по полу, подкалывая, кроя, сшивая. Звякали ножницы, молодо и весело звучали голоса. Все Лидочкины подруги живо откликнулись на веселую идею «шести коломбин», тем более что Лидочка заявила им, что от этого вечера зависит ее, Лидочкино счастье.

Заинтересованные приятельницы строили ряд самых любопытных предположений, и все сходились на одном: здесь не без Сережи Вильина.

Ленты. Иголки. Запах горячего утюга. Тонкий аромат духов. Взрывы хохота... Михаил Иванович несколько раз стучал в дверь комнаты, видимо,

пытаясь что-то спросить у дочери, но Лидочка только махала руками и встряхивала курчавой головкой:

— Потом, потом, папка!

Ровно в 9 двери торжественно распахнулись, и перед взором изумленного Михаила Ивановича появились шесть черных коломбин – все, как одна, одинаковые черные маски, желтые жабо, низко надвинутые на брови черные колпачки…

— Ну, и затейницы! Да шесть-то вас откуда? Ну, Лида, Таня – две, Зина, Соня – четыре, Лелечка пять, а шестая-то кто?

— А это уж, папочка, наш секрет. И ужинать в масках будем, чтобы даже ты не узнал.

— Ты, Лидочек, голос перемени, – по голосу тебя кто угодно узнает.

— А я буду басом говорить, отлично выйдет!

Уже в коридоре, укутывая дочь в шубку, Михаил Иванович не утерпел и шепнул на ухо:

— Лидочка, так как ты с Иваном Петровичем, а?

— Завтра, папочка, завтра! – уже за дверью прозвенел веселый голосок.

Михаил Иванович вздохнул и прошаркал в кабинет почитать да подремать у камина.

***

Конечно, Иван Петрович не маскировался, Иван Петрович на маскарады не ездил, – это не входило в программу его хорошо продуманной жизни.

— В первый и в последний раз!.. – ворчал он, прислонившись к колонне и ища глазами коломбин в этой разноцветной прыгающей, смеющейся толпе.

Молодежь встретила шесть одинаковых – черных с желтым – фигурок овациями и аплодисментами. Завертели в танце. Засыпали конфетти. Закружили в пестром хороводе.

В этом хороводе закружился и Иван Петрович. Коломбины мелькали одна за другой, буквально не давая ему ни минуты, чтобы вглядеться, узнать знакомые черты лица под шелком маски.

«Вот эта?..» Но золотистая прядь, выбившаяся из-под колпачка, снова зачаровала Ивана Петровича.

Сколько раз ему казалось, что в разрезе маски блеснул лукавый огонь Лидиных глаз, но другие коломбины увлекали его в хоровод, и снова несчастный жених терялся и не мог решить, – которая?..

К 12 часам он отчаялся окончательно... И вдруг вспомнил Лидино любимое кольцо, камею, которую она, не снимая, носит на руке... Какая прекрасная примета!

Он снова стал поочередно приглашать на танец черных коломбин, стараясь незаметно дотронуться до руки в черных перчатках.

Одна... вторая... третья... Теперь он узнавал их. Это – Леля Зверкова. Это... это Софья Владимировна.

Маски закружились в бешеном хороводе игры, и нечаянно Иван Петрович очутился посредине круга с одной из коломбин. Две-три фразы – и ему показалось, что несмотря на измененный голос, он узнал Лидочку... Конечно, это она!

Ее хрупкая фигурка, Знакомый наклон головы. Полудетские руки...

Сжал тоненькие пальчики и сразу почувствовал твердый камень кольца. Губы сами собой сложились в самодовольную улыбку:

— Лидия Михайловна, я узнал вас!

— Вы думаете?

— Не меняйте голоса, – у вас он выходит таким неестественным...

Коломбина засмеялась.

Весь вечер она отвечала односложными фразами, не отвечая на нежные слова торжествующего Ивана Петровича. Потом вдруг заторопилась домой, жалуясь на головную боль.

«Умница: хочет снять маску в автомобиле...», – решил Иван Петрович. Закутал в шубку, притушил свет в автомобиле и, крикнув шоферу:

— По шоссе, прямо! – обнял молчавшую девушку.

— Лидия Михайловна... Лидочка, когда же свадьба?.. Ведь я узнал вас?

Девушка молчала.

— Лидочка, снимите эту маску!

Быстрым движением отдернул кружево маски, и... совершенно чужое некрасивое личико глянуло на него.

— Лид... Кто вы? – крикнул Звягинцев.

Девушка вздрогнула и, глотая слезы, испуганно забормотала:

— Простите, барин, это барышня приказали мне костюм надеть и на бал ехать... И что говорить научили...

— Да кто ты?

— Я Паша, портниха ихняя. Барышня...

Он выскочил из автомобиля:

— Семен, отвезите эту девушку домой на извозчике. Править буду сам.

Автомобиль дернул и бешено помчался назад, к клубу.

Бегом вбежал Звягинцев по лестнице уже пустеющего здания... За большим столом в буфете мелькали студенческие тужурки и желтые жабо. Без маски, очаровательная, смеющаяся, с бокалом в руке, стояла Лидочка рядом с рослым, красивым студентом.

Звягинцев бросился к ней.

— Лидия Михайловна, что все это значит?..

Лидочка повернула растрепанную, всю в конфетти, головку.

— А, Иван Петрович! А где же ваша дама?.. Ведь вы весь вечер ухаживали за одной из коломбин.

И, протягивая ему бокал, прибавила:

— А вы, кстати, поздравьте меня: Сережа Вильин сегодня сделал мне предложение... мне, а не папе! И я согласилась. Бокал вина за мое счастье!

Шанхай.

Опубликовано и печатается по:
Скопиченко О. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1994. С. 47-52.

СМЕРТНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ
Из подслушанных былей

Пронзительный, резкий ветер покрывал землю лохмотьями желтой листвы. Зима предстояла морозная, снежная, ветреная.

Маленькое облезлое здание вокзала как бы жалось неприютно к группе обглоданных осенью деревьев. На перроне, зябко кутаясь в служебные шинели, стояло несколько человек. Тоненько брякнул звонок, и из темноты и взлохмаченного мрака вынырнуло одноглазое чудовище. С бряцанием и пыхтением пассажирский поезд застыл для пятиминутного отдыха. Сквозь огромные окна приветливо виднелся вагон-ресторан, купе первого класса выглядывало бархатной обивкой диванов. Высокая женщина в черном прильнула к окну и, улыбаясь, вглядывалась в темноту. Может быть, эта маленькая станция напомнила ей что-то светлое, промелькнувшее в жизни, а может быть, улыбка, озарившая ее лицо, только показалась Сергею Александровичу Тополеву, который, сам не зная почему, вышел встречать поздний поезд. Ветер крепчал. Три коротких промерзших звонка оторвали нарядный состав. И вагоны поплыли к зеленому блеску семафора, унося с собой и комфорт вагонов, и силуэт незнакомки в черном, и какую-то неопределенную тоску оставшихся.

Сергей Александрович хотел идти домой, но одинокость своей квартиры была невыносимой сегодня, и он медленно направился в буфет первого класса. Здесь все было надоедливо знакомо и запущено. Тот же ряд запыленных бутылок с вином, застывших в ожидании богатых пассажиров, те же мутные, немытые окна, и та же фигура безнадежно прогоравшего, но веселого и добродушного толстяка буфетчика.

На скамейке для ожидающих сидела старуха, одетая бедно, но чистенько, с потертым чемоданом в руках. Она не шевелилась и ее мутный

старческий взгляд был устремлен, неотрывно устремлен в одну точку. Сергей Александрович невольно вгляделся в ее лицо.

Сморщенное, почерневшее, оно напоминало картину древних мастеров. Тонкие губы беззвучно шевелились, нарушая сходство с неподвижностью мумии. Буфетчик подошел к Сергею Александровичу и шепотом проговорил:

— Вы не знаете, к кому это? Да вот, старушенция эта. С пассажирским приехала, вошла, ни слова не сказала, так вот и сидит. Я ее спрашивал. Молчит. Надо буфет запирать, а она не уходит.

— Скажите дежурному, – посоветовал Тополев и только собирался выйти, как странный надтреснутый стон болезненно пронесся по комнате. Стонала старуха. Теперь ее глаза потеряли свое бессмысленное выражение, наоборот, в расширенных зрачках ее светилась страшная нечеловеческая боль. Тополев подошел ближе и ласково спросил:

— К кому вы приехали, матушка, что с вами?

Вблизи ее лицо было жутко. Губы потрескались и почернели, не то тени, не то пятна выступали под морщинами, редкие седые волосы выбились из-под платка и прилипли к влажному лбу. Пальцы, сжимающие чемодан, скрючились.

— Да она больна! – испуганно вскрикнул буфетчик.— Сергей Александрович, голубчик, сбегайте, позовите дежурного!

Только через полчаса Тополев вместе с дежурным и станционным врачом снова вошел в буфет. Старуха уже не сидела на скамье, а как-то, неловко скрючившись, лежала на полу: подмятое платье обнажало маленькую подвернутую ногу в стоптанном ботинке... Было что-то жуткое в ее неподвижности. Потертый чемодан раскрылся, очевидно, от падения, и из его дряхлой пасти высыпались тряпки и свертки. Буфетчик, растерянно размахивая руками, подбежал к вошедшим:

— Сперва так вот сидела, а потом закричала в голос и на пол покатилась. Я бросился поднимать ее, думал обморок, а она не дышит. Господи, на глазах умерла.

Доктор, маленький, кругленький господин, уверенно подошел к умершей, наклонился, чтобы выслушать сердце. На лице его вдруг разом отразились недоумение и ужас и, не прикасаясь к трупу, он быстро поднялся и, принизив голос до шепота, сдавленно сказал:

— Не подходите и не прикасайтесь, а лучше всего, вон отсюда. Эта женщина умерла от чумы.

Страшная болезнь пришла в образе незаметной сгорбленной старухи, дряхлыми шагами прошлепала по перрону и прочно воцарилась на маленькой станции.

Прошла неделя. Неделя бесконечных снежных ураганов и вьюг. Поселок словно заснул в снежных сугробах. Самый крайний, пустовавший

до сих пор дом, ожил. Но оживление это было от дыхания смерти. Здесь поместился чумной барак. Сюда на простых розвальнях привозили подобранных больных рослые добровольные санитары. В просмоленных халатах, с длинными баграми в руках они казались чертями, везущими грешников в ад.

Кто-то черной краской нарисовал на дверях дома крест. Общий крест на могиле попавших в лапы черной смерти.

По-прежнему приходили и уходили поезда. Дребезжали звонки. Только в буфете за стойкой стоял высокий и худой новый человек. Смешливого Василия Васильевича, буфетчика, свезли просмоленные халаты в промерзлую яму общей могилы.

Тополев помрачнел и осунулся. На вокзал приходил редко. Так и мерещилась скрюченная старушечья фигура, скользящая в здание вокзала. Мучительно не хватало Василия Васильевича. Раньше он почти не замечал буфетчика, изредка перекидывался с ним несколькими фразами. А тут ясно ощущалась какая-то пустота. И не тянуло в буфет, где из-за ряда пыльных бутылок уже не улыбалось знакомое, добродушное лицо.

Тополев весь ушел в работу, стараясь забыть впечатления жуткого вечера. Еще внимательнее следил за постройками, порученными ему. Работа затянулась, и он торопил китайца Чин-Вана, или Ванюшу, как окрестили его русские. Впереди был желанный отпуск, рождественские праздники. Чин-Ван был особенный китаец. Рослый, крупный северянин, жизнерадостный и веселый, он прекрасно говорил по-русски, очень умело жульничал и со всеми был в приятельских отношениях. Рабочие его слушались, а Сергей Александрович частенько зазывал к себе, поил водкой и заводил бесконечные разговоры о России, где Чин-Ван побывал еще мальчонкой. Из Москвы он вывез знание русского языка и любовь к русским. Узенькие глаза его щурились в щелочки, когда он, прищелкивая языком, рассказывал о богатстве и красоте русского города.

Сегодня утром Чин-Ван повздорил с кем-то по службе и ходил мрачный и сердитый, потом попросил у Сергея Александровича разрешения придти к нему вечером, посоветоваться относительно новой сметы:

— Я сам немножка не понимай.

— Конечно, приходи после работы, потолкуем.

С работы Тополев ушел раньше обычного, заглянул в бакалейную лавку, купил водки, закуски и нагруженный покупками зашагал домой. По дороге попался кругленький доктор, спешивший куда-то.

— Ну, как у вас на работе, все здоровы? А мы сегодня противочумную вакцину получили. Тоже порядочки. Через неделю удосужились прислать. Вы бы, милейший, прививочку-то сделали бы.

Тополев равнодушно ответил:

— Э, Семен Иванович, от судьбы не уйдешь.

— Судьба то судьбой, а чума шутка пренеприятная. Гляди-ка как нашего целовальника скрутила, в два часа в могилевскую губернию укатил. Торопитесь? Ну, ну, не задерживаю. Рабочих ваших завтра подкалывать будем.

Хорошее настроение уплыло вместе с исчезнувшей фигурой доктора, стало совершенно безразлична и успешность постройки, и сама служба, которую Тополев так ценил. Дома достал пачку газет, присланных с пассажирским, и углубился в чтение. Но ни политика, ни события железнодорожного мира не трогали и не занимали. Лениво пробежал фельетон. Какую ерунду стали писать. Разве это важно? В памяти почему-то промелькнуло лицо Василия Васильевича, испуганное, растерянное, каким видел он его перед смертью. Стрелка часов близилась к шести. В ожидании Чин-Вана Тополев расставил тарелки, разложил закуску и откупорил четверть с водкой. Чертово настроение! Тяпнуть что ли?

«Нет, подожду Ванюшку, прекомичный китаец, этот самый Чин-Ван. Да вот и он».

Рослая фигура китайца сразу заполнила комнату. Разобрали счета, сделали нужную выкладку. Выпили, закусили. Чин-Ван как-то сразу опьянел и стал болтать всякий вздор, мешая русскую речь с китайской. «Чего это с ним, от третьей рюмки пьян», – подумал Тополев. Сам он не чувствовал ни малейшего опьянения и молча глотал рюмку за рюмкой, слушая болтовню Чин-Вана. На улице по-зимнему быстро темнело.

— Время, фанза, айда, – решительно заявил Чин-Ван и, застегивая пуговицы ватного халата, протянул руку Сергею Александровичу. – Твоя больно хороший. Чин-Ван тебе всегда первый друг, – заплетающимся языком пробормотал он и скрылся за дверью.

Остался один. Выпил еще пару рюмок, мозги заволокло легким туманом опьянения, подошел к окну и, опираясь на подоконник, загляделся в снежную даль. Поселок словно вымер. На фоне белого снега кое-где мерцали огоньки домов. Заскрипели полозья, и по дороге быстро проехали сани, покрытые брезентом.

«Чумные», – неприятно отозвалось в голове.

Стало тошно не только думать, даже понимать чувствовать, видеть. Бесцельной и ненужной показалась вся жизнь, заброшенная в глушь чужой страны. Мысли ленивой черепахой переползали с предмета на предмет. На белом снегу отчетливо вырисовывалась чья-то фигура в длинном полушубке, человек подбежал к окну и, что-то крича, застучал в стекло. Сергей Александрович слышал обрывки слов, но мозг воспринимал их туго, не понимая смысла. При свете луны он узнал рабочего Смирнова, открыл форточку и, с жадностью глотая морозный воздух, спросил:

— Что тебе, Смирнов?

— Ванюшка помер.

— Что? Какой Ванюшка?

— Чин-Ван, то ись подрядчик наш.

— Чего ты чушь порешь, я его только что видел.

Голос Тополева дрогнул.

— Вот вам крест, Сергей Ляксандрыч. Шел по дорожке и сковырнулся. Санитары приехали, а он мертвехонький.

— Какие санитары, когда?

— Черные, чумные. От чумы, значит, подрядчик помер.

Весь хмель мигом соскочил с Тополева, кто-то холодом сжал сердце, сдавило дыхание.

А Смирнов, уже отходя, закричал:

— Я упредить вас прибежал. Потому завтрева без подрядчика работать станем.

Тяжело дыша, всматривался Тополев в снежную муть, потом захлопнул форточку и сел. Мысль заработала с беспощадной ясностью. Чин-Ван умер от чумы. Заразиться он мог днем. Здесь со мной он сидел уже зараженный, уже чумной. Зараза чумой молниеносна. Значит, я тоже заражен. Сейчас вот сижу и рассуждаю, а через час, через два мой труп стащут в общую яму, баграми стащут.

Мороз пробежал по спине. Жуткое, нечеловеческое отчаяние пригнуло его голову вниз, заставило сжать руки и завыть глухо, протяжно. Смертное ожидание охватило все его существо, и только мысль работала точно и ясно. Конец. От него не уйдешь, не скроешься. Провести несколько часов с чумным, дышать его дыханием и не заразиться – это невозможно, это абсурд. «И я так же, как та старуха, как Василий Васильевич буду почерневшим, окоченелым трупом, уйду в ничто».

Тополев бросился к окну и прижался к холоду стекол. Лицо перестало гореть, и пересохшие губы повлажнели от морозящего окна. У старухи тогда губы потрескались и пятна черные пошли по лицу. «Может, и я уже чернею?». Бросился к чемодану, лихорадочно разбрасывая вещи, нашел ручное зеркало и пристально вглядывался в отражающее стекло. На него глянули воспаленные глаза и бледное осунувшееся лицо. Пятен не было. Но они будут, будут, должны быть!

И вот странное отупение заползло в голову и что-то шептало настойчиво и угрожающе: все равно не уйти, от смерти никто не убежал, никогда. А от этой, от черной... О, проклятье! Впереди смерть. Жуткая смерть чумного! Так пусть лучше умру, не сознавая, умру пьяным. И, повинуясь быстрому решению, он наливал стакан за стаканом и залпом, обжигая губы и гортань, пил пьяную влагу. Опьянения не было. Как в калейдоскопе, в голове проходила вся жизнь, вспоминались мелочи давно забытые, ненужные. Злой усмешкой мелькнула мысль о женщине, может, о

той незнакомке в вагоне поезда, еще неведомой, но желанной как никогда, в эту смертную ночь.

«При заболевании чумой пульс начинает работать неровно», – кто-то чужой сказал эту фразу, не он, не Тополев, может быть, доктор, кругленький доктор.

Сергей Александрович щупал свой пульс, стараясь уловить биение сердца.

Удары били в ушах, как молоты. И трудно было понять, стук ли это сердца, или биение последней обжигающей мысли. Еще водки. Дымкой заволокло голову. И, как в тумане, выплыли два лица, старухи и буфетчика. Одно сморщенное, черное, другое смеющееся, подмигивающее. И чернело лицо буфетчика, и подмигивали и растягивались в подлый смешок старухины морщины.

Звоном станционного звонка стучало в ушах: ЖИТЬ. ЖИТЬ, ЖИТЬ...

Руки не повиновались. Тогда, навалившись всем телом на стол, он поймал губами горлышко четверти Что-то обожгло все тело, захлестнуло сознание. Лицо старухи, синее, расплылось во всю комнату вплотную глянуло в его глаза. Четверть звонко грохнулась о пол и рассыпалась тонкими стеклянными брызгами. Человек поднялся во весь рост и тяжело рухнул на стол, давя и стаканы, и тарелки. Где-то далеко прозвучало дребезгом посуды... жить... и замерло в страшной пустоте.

***

Утро было яркое, солнечное. Около постройки собрались рабочие, обсуждая смерть Чин-Вана. Тополева не было. Ждали час, два, Смирнов говорил, что он видел старшего вчера ночью, когда Ванюшка помер.

— Не в себе будто был он, – повторял Смирнов. – Как сказал я ему, что подрядчик скочеврыжился, старшой закричал, а сам белый, ровно снег.

— А может, братцы, он и сам того, заболел. Чин-Ван у него вечером был, я сам видел.

Толпа напряженно притихла. Кто-то робко заметил:

— Дохтуру бы сказать.

— И то правда, вали к дохтуру, ребята!

Домик Тополева был на отлете от поселка. Толпа, оживленно крича и споря, мяла занесший дорогу пушистый снег. Впереди шел, широко шагая, Смирнов и семенил, едва поспевая за ним, толстяк доктор.

— В окно поглядим, Семен Иванович, в окно чума не проскочит, – советовал Смирнов.

Окно заиндевело за ночь, покрылось прихотливым, изломанным узором. Был виден только тусклый свет зажженной лампы.

— Огонь-то не гасил. И впрямь, не заболел ли? – заметил молодой парень и остановился в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу.

Застучали в дверь, закричали. Ни звука не доносилось из домика. Толкнули дверь. Повизгивая на петлях, она широко распахнулась. Запах винного перегара хлынул в лица людей. Поперек стола, тяжело свесив руки, лежал Тополев. Осколки битой посуды покрывали пол.

— Помер, – произнес кто-то тихо, и толпа схлынула назад, пугаясь страшного призрака черной болезни.

— Сергей Александрович! – громко позвал доктор.

Лежащий вздрогнул, поднял голову и бессмысленным, пьяным взглядом посмотрел на дверь. Солнечный свет, струя морозного воздуха всколыхнули, разбудили опьянение, и резко вспомнилось все вчерашнее. Смерть Чин-Вана. Чума. Смертное ожидание ночи.

Всклокоченный, с изрезанным осколками лицом, с разорванной рубахой человек бросился навстречу толпе и, расталкивая ее, отступившую, разбежавшуюся, диким криком: «Жив!» – огласил воздух. Бросился бегом, хохоча и плача по снежной дороге к вокзалу.

Доктор и рабочие, едва поспевая, бежали за ним. Ветер дул в лицо. Расплывалось, исчезало похмелье в этом сумасшедшем радостном беге к жизни. Спотыкаясь о шпалы, он бежал по железнодорожным путям, подставляя раскрытую грудь морозному воздуху. Опухшее пьяное лицо его было почти прекрасно странным, безумным выражением, навстречу, тяжело гремя, шел товарный поезд.

Тополев видел его, черный, шипящий паровоз, слышал отчаянные крики людей, но не замедлял бега. Черной старухой мерещился ему приближающийся поезд, и ей в лицо, ей – не осилившей, не победившей – кричал он громкое: «Жить!»

Споткнулся о рельсы и упал с откоса в пушистый, податливый сугроб. Что-то загрохотало, зашумело над головой, и товарный пролетел по рельсам, обдавая его искрами. Радость захлестнула, обессилила.

***

Только через месяц поправился Тополев от жесточайшей нервной горячки. Вечером, пассажирским, проводила его маленькая станция в город, на поправку, в такой желанный отпуск. Молодость и здоровье победили призрак страшной черной старухи, присевшей на край его постели. Болезнь прошла, но призрак болезни не исчез в прошлом.

И самым жутким воспоминанием в жизни осталось для него смертное ожидание той ночи.

1990 г.

Опубликовано и печатается по:
Скопиченко О. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1994. С. 25-33.

Проза

НЕОЖИДАННЫЙ ЗАВТРАК

Всякие эпизоды бывают в нашей жизни, особенно при эмигрантском существовании.

...Вспоминается юность, годы университета, заработки, полуголодная жизнь, ибо, денег никогда не хватало.

Одно время жили мы в очень небольшой бедной каморке, даже не каморке, а в сторожке. Это жилье для сторожа располагалось во дворе одного дома. В сторожке у нас была печь, стояли две кровати и два письменных стола.

Была еще одна пишущая машинка, на которой мы перепечатывали свои стихи и затем относили их в редакцию. Работали мы обе в журнале «Рубеж». Жила я в сторожке с поэтессой Марианной Колосовой.

В то время я уже начала печататься. Писала стихи, коротенькие рассказы, в общем, начинала свою литературную жизнь. Жизнь была трудная. Часто, часто нам не хватало денег даже на хлеб, мы голодали... Из тех далеких дней мне вспомнился один очень забавный эпизод, некий «Случайный завтрак». Было это так.

В то время я служила на табачной фабрике. Марианна давала уроки, и, конечно же, день получки на фабрике – раз в неделю – был для нас огромным событием, ибо мы могли пообедать, купить себе что-то на завтрак, и вообще, у нас появлялась возможность вести «роскошную жизнь».

В это утро я, как обычно, вышла на службу, оставив Марианну спящей дома. В этот день, кроме всего прочего, у нас заночевала одна наша большая приятельница. Обе эти девушки, мои подруги, с нетерпением ждали моего возвращения с деньгами.

Шла я на службу очень торопливо, часов у нас никаких не было, вставали «по солнцу». Дошла я до Китайской улицы. Все харбинцы хорошо знают эту улицу. На этой улице я могла сесть в автобус, или... идти до фабрики пешком, это минут тридцать. На фабрике обычаи были очень строгие: в семь утра закрывались ворота, и опоздавшие рабочие теряли рабочий день.

Я вышла на Китайскую и подошла к аптеке, где висели огромные часы, посмотрела и невольно вздохнула – было без десяти семь. Я никак не могла успеть на службу. Значит, день будет потерян, получки не будет. От всего этого я просто пришла в отчаяние. Постояла около часов, повздыхала и пошла по Китайской. Я не пошла домой, ибо знала, какое разочарование я принесу своим подругам.

Стали открываться продуктовые магазины, из булочной доносился аромат свежевыпеченного хлеба. Рядом была вкусно благоухающая колбасная, я смогла уловить даже очаровательный запах сосисок, которые я в то время так любила. Мой голодный желудок заныл протяжно. Я

старалась не смотреть на витрины. Медленно я пошла к дому. И вдруг я услышала за собой быстрые и твердые шаги. Я оглянулась. Меня догонял какой-то господин. Он был прекрасно одет, в руке его покачивался огромный деловой портфель. Господин явно догонял меня. Поравнявшись со мной, он сказал мне: «Доброе утро!» – так, словно мы были старыми знакомыми.

Я, немного замявшись, вежливо поклонилась ему и тоже ответила:

— Доброе утро.

Тогда он воскликнул:

— Куда вы так торопитесь?

Ну и глупо же это прозвучало, ведь я шла еле-еле, то, что называется «нога за ногу». Я ответила:

— Я никуда не тороплюсь. Я опоздала на службу, фабрика уже закрыла ворота. Я иду домой.

Тогда он улыбнулся и радостно сказал:

— Ну, тогда пойдемте пить кофе. Кофейни уже открыты.

Я замялась:

— Слушайте, ну кто же ходит пить кофе в семь часов утра? Уж больно рано. Спасибо.

Я пошла дальше. Не долго думая, он произнес:

— Ну, тогда пойдемте пить кофе к вам домой. Мы прекрасно проведем время. Подождите меня здесь, я сейчас вернусь.

Господин стал удаляться. Я решила, что он просто «отвязался» от меня. Я понимала, что незнакомый мужчина на улице просто «приставал» ко мне. Я продолжала свой путь. Но шла медленно, останавливалась перед витринами, не спешила домой с пустыми руками. Минут через пятнадцать я вновь услышала торопливые шаги за своей спиной. Все тот же господин догнал меня и радостно воскликнул:

— Ну вот, все в порядке. Видите, я сделал необходимые покупки, и мы сейчас великолепно выпьем у вас дома кофе.

Я растерялась. Я уже и не знала, каким образом мне отделаться от этого назойливого господина. Но сверток в его руках излучал такие аппетитные запахи... Как бы мне избавиться от этого человека, но... сверток... сверток полностью захватил мое внимание. И я... разговорилась с господином. Я говорила о прекрасном утре, о том, как замечательно греет солнышко, как оживают в его лучах улицы... Он поддерживал разговор, о чем-то спрашивал меня. Я все думала, куда бы мне удрать от него, в какой спрятаться подъезд.

— Да, кстати, – наивно пролепетала я, – давайте я понесу этот сверток, а то у вас в руках сверток и тяжелый портфель... Давайте я вам помогу.

Господин охотно протянул свою заманчивую покупку. Я предложила повернуть на Аптекарскую улицу. Мы идем, а я все думаю о том, как бы мне избавиться от попутчика. И вдруг меня осенило. Я остановилась у одного подъезда, немного помедлила и очень смущенно сказала:

— Знаете, вам придется немножко подождать, потому что мы живем вместе с мамой, а сейчас такой ранний час, мне надо ее разбудить.

Мой спутник растерянно посмотрел на меня. Стало совершенно ясно, что мама его совершенно не устраивает. Наконец, он заговорил:

— Знаете, я забыл... – он посмотрел на свои ручные часы и начал быстро-быстро говорить:

— Я совсем забыл, что у меня очень крупное дело, как раз перед работой. Давайте я встречу вас сегодня вечером. Мы пойдем в кино, потом где-нибудь поужинаем... Я буду ждать вас около этого подъезда. Я радостно согласилась с этим предложением:

— Хорошо. Я вас буду ждать здесь примерно в семь часов вечера.

Он поклонился мне и быстрыми шагами пошел от меня. Я осталась у ворот. Даже шагнула в подъезд, чтобы скрыться с его глаз. Сверток-то был у меня в руках. Когда этот господин скрылся за поворотом улицы, я выскочила из своего прикрытия и побежала в другом направлении, домой, к своей улице. Я прижимала сверток к себе и бежала. Я даже и не понимала – то ли я радовалась тому, что избавилась от навязчивого человека, то ли радовалась этому свертку и его манящим ароматам.

Наконец, я подбежала к дому, забарабанила в дверь. Одновременно два сонных голоса спросили:

— Кто там?

— Открывайте скорее. Это – я.

— Ты? Ты!.. что, опоздала на службу? – в голосах спрашивающих звучало отчаяние. Еще бы. Понятно.

Открыли дверь. Я влетела в комнату, бросила сверток на стол и сказала:

— Сейчас будем пить кофе. Сейчас будем пить кофе и есть очень вкусные вещи.

Меня даже не спросили, откуда у меня сверток. Девочки стали быстро разворачивать сверток и вынимать из него содержимое. Там было все: кофе, сгущенное молоко, пакетик сахара... Он предусмотрительно купил все, понимал, что у такой девчонки в доме нет ничего. В свертке была колбаса, какие-то аппетитные булочки, вкусный калач и сыр.

Какой мы в этот день имели завтрак! Мы были очень голодны. А кофе мы не пили давным-давно. Сыр для нас был невероятным угощением. Булочки, колбаса... Все это было так вкусно, так исключительно хорошо.

Выпив кофе, я стала рассказы подругам историю этого свертка. Тут посыпались шутки, смех. Мои приятельницы похвалили меня за сообразительность. И они совсем не хотели думать об этом господине, о том, встречусь я с ним или нет. Это, мол, пустяки. Главное – этот замечательный завтрак и... моя находчивость.

Я никогда больше не встретила этого человека. Он исчез из моей жизни так же неожиданно, как и появился на Китайской улице. Но мои приятельницы, особенно Марианна, очень хорошо запомнили этот эпизод. И когда у нас наступал очередной «кризис», когда у нас в доме не было ни копейки, ни куска хлеба в доме, тогда Марианна говорила:

— Ольга, иди на улицу на заработки.

Так эта шутка и жила среди нас, воспоминание о столь нужном нам тогда «Неожиданном завтраке».

1 ноября 1991 г.

Опубликовано и печатается по:
Скопиченко О. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1994. С. 16-20.

ПЕРЕПУТАННЫЕ СТРОКИ

Из шанхайских былей – из далекого прошлого

Оглушительно стучат пишущие машинки. Из соседних комнат доносится мерный и, для привычного слуха, надоедливый стук печатных машин. В репортерской гул голосов. Из кабинета редактора слышится повышенный и раздраженный басок: это редактор ставит на вид репортеру недостаточно верную заметку местной корреспонденции. Где-то в городе был пожар, и репортер перепутал фамилии пострадавших. Голос редактора то понижается до многозначительного шепота, то раздраженно срывается на высоких нотах. Репортера не слышно, он предпочитает отмалчиваться, угрюмо думая: «И какого черта ему надо! Большое дело – фамилию перепутали. Остальное все верно. И что пожар был не пожар, а так, пустяковина: сало на плите вспыхнуло и кухонный шкап сгорел. И что придирается...»

А унылая мысль грызет: «Вот, хотел сегодня аванс попросить. Не даст, ни за что не даст, черт паршивый...»

Газета большая, выходит на восьми листах, по воскресеньям иногда и на десяти. Репортерам, сотрудникам и прочим платят гроши, но требования работы очень большие.

В конторе звучат оживленные голоса машинисток, их смех вызван веселыми шутками агента по сбору объявлений, общего любимца Н.Н. Он хорошо зарабатывает, достает шутя лучшие рекламы города, всегда весел и рекламное дело свое по-настоящему и знает, и любит.

— Понимаете, я уже почти год бьюсь, чтобы получить это объявление. Сколько шницелей в этом ресторане съел – и не пересчитать. Никак не давал. «Мне, – говорит, – газета не к чему». И реклама-то пустяковая. Но задело меня за живое. Как это так? Большие магазины легко беру. А тут какой-то ресторашка. Ну не мог уговорить. И вот сегодня доканал его. Вот она, реклама, – и Н.Н. торжествующе помахал листком бумаги и сунул его прямо под нос заведующему конторой.

Тот улыбнулся:

— Ну поздравляю, Николай Николаевич, недаром вы у нас считаетесь королем рекламы.

— Только, пожалуйста, с текстом поосторожнее. Текст он сам составлял. Сколько я не уговаривал, что я это лучше изображу, уперся: нет, мол, за свои деньги сам напишу.

Заведующий прочел рекламу и поморщился:

— Гм. Нельзя сказать, чтобы очень грамотно. Ну, да сойдет.

— И поставьте на хорошее место. И бордюрчик, рамочку такую пофигуристей, чтобы выделялась. В глаза бросалось.

В контору понуро вошел тот самый репортер, которого только что распекал редактор.

— Ты что, Сережа, такой унылый. Опять наврал что-нибудь?

Репортер безнадежно махнул рукой:

— Да, по пожарному делу. Понимаешь, вместо пострадавшей соседкино имя ввернул. Ну, а она – соседка – звонит прямо Петру Петровичу и с истерикой: «Я и не горела совсем, это Марья рядом, а у меня на кухне аккуратность и чистота, у меня сало на плите вспыхнуть не может...». Ну и так далее, развела такую историю. Петр Петрович и озверел.

— А ты бы все-таки поосторожнее, – глубокомысленно пробурчал заведующий.— Не в первый раз ведь. Свадьбу в прошлом году помнишь? Кого ты повенчал? А кого? Мамашу молодой с дядей жениха. Тоже фамилии перепутал.

Репортер обозлился:

— Не всякое лыко в строку. Будто вы со своими объявлениями не ошибаетесь. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

— Смотри, какими изречениями сыпет. А насчет объявлений ты врешь. У нас ошибок не бывает. Слава Богу, за каждой строчкой следим.

Сережа мрачно махнул рукой:

— Главное, в кармане ни копья. Хотел аванс просить. Да теперь после этой пожарной истории где же…

Николай Николаевич сочувственно вздохнул:

— Если пятерку, могу занять. Пойдем-ка, пожарник ты неудачный, я тебя обедом приветствую. Так, пожалуйста, с этим объявлением

поосторожнее. Ничего в тексте не менять. И покрупнее, и в рамочке, обязательно в рамочке. Адье.

И он, веселый, смеющийся, потащил за собой к дверям унылого репортера.

— Верочка, перепечатайте объявление и выделите самое главное, и обязательно мне на проверку.

Хорошенькая блондиночка взяла лист с крупными каракулями и застучала на машинке, вслух повторяя каждую строчку:

Ресторан «Дядя Миша».

415 Деламур авеню.

Прекрасные обеды и ужины.

По субботам пельмени.

Малороссийская колбаса собственного изготовления.

3 приличные закуски 75 цент.

С почтением к своим клиентам.

Дядя Миша.

Заведующий подчеркнул черным карандашом несколько строчек и написал сбоку: «Рамка узорная № 5. Пожирней. Внутри текста».

— А у бедного Сережи вечно неудачи, – со вздохом проговорила черненькая Наташа.

— Это все от того, что у него все срыву, смаху. Запишет пару строк и бежит сдавать заметку. Ветер у него в голове. А все потому, что ваш брат машинистки уж очень его жалеете.

— Да, если он такой милый!

— Подумаешь, милый. Ишь, Алеша Попович какой выискался. Репортер должен быть посерьезнее. А у него один флирт на уме. Ну вот и врет в своих заметках.

И заведующий прервал сам себя строгим замечанием:

— Ну, хватит болтать, мелкие объявления на завтра еще не готовы, а до срока всего полчаса. Ну-ка, поскорее. Нажмите.

Дружно застучали машинки. Часовые стрелки двигались к шести. В дверях уже показалась сутулая фигура ночного корректора. Газетная жизнь шла обычным быстрым темпом.

***

На следующее утро в контору газеты влетел совершенно сияющий репортер Сережа, видно было, что ему не терпится поделиться своими новостями с машинистками.

— Читали? Вот удача мне подвалила. Такую заметку преподнес. Сам Петр Петрович мне благодарность выскажет. Вот увидите. Сегодня ночью в загородном кафе «Бимбо» сцепились, кто бы вы ни думали, сам Савелий Иванович со своим секретарем. Да как, почти до драки дошло. И я на счастье был там и сам собственными глазами все видел...

Заведующий конторой бросил на репортера строгий взгляд:

— Смотри, Сергей, это тебе не пожар. Наврешь, перышком из газеты вылетишь.

— Ну, что вы... собственными глазами. Я заметку ночью сдал в отдел местных сенсаций. Дай-ка газетку посмотрю, как они набрали, – Сережа почти выхватил газету из рук заведующего и развернул лист.

— Ты, так все правильно. Гм-м... имен не дали – это ночной редактор осторожничает. Ну, да и без имен ясно кто...

И, перевернув лист, с интересом стал проглатывать газету и вдруг разразился громким хохотом.

Заведующий удивленно поднял голову от письменного стола, машинистки перестали стучать.

— Ты что?

— Ох, не могу. Непогрешимый отдел объявлений. Ой, уморили. Ну и настряпали! Вот это объявление! Верочка, Наташа, слушайте, я вам вслух прочту. Ну, доложу, насмешили.

И Сергей, встав в комическую позу и раскланявшись, громко прочел вслух, скандируя каждое слово:

Ресторан «Дядя Миша».
415 Деламур авеню.
Прекрасные обеды и ужины.
Собственные пельмени.
По субботам изготовления
3 российская колбаса.
Мало приличная закуска 75 цент.
С почтением к своим клиентам.
Дядя Миша.

Дружный хохот раздался в конторе.

— Врешь, – крикнул заведующий и вырвал у Сережи газету. – Зарезали, – завопил он, прочтя объявление. – Что Николай скажет? Да еще шрифт крупнее, чем я сказал. Прямо в глаза бросается. А? По субботам изготовления? А? Малоприличная закуска!!! Скотина метранпаж строчки перепутал. Зарезали!

В контору влетел разъяренный король реклам, он размахивал газетным номером и вопил:

— Вы что же это! Год объявления добивался. Услужили! Да как я ему на глаза теперь покажусь. Ведь просил... Обратить особое внимание. Нечего сказать – «обратили».

Сережа снова заговорил, на это раз с мудрованием в голосе:

— Это наш отдел объявлений, они ошибок никогда не допускают. Это я, Сережка, все вру и путаю. А они непогрешимы. Да ты не волнуйся, Николай, тебе с клиентом объясняться не придется. Этот самый дядя Миша сам сюда явится. Уж помяни мое слово.

На хохот, крики и шум из редакционной стали заглядывать репортеры и появилась фигура самого редактора.

— Что у вас здесь?..

Но докончить фразы ему не удалось. Входная дверь с шумом распахнулась, и в конторе появился не «дядя Миша», а тетя Миша, внушительных размеров дама в пестром платье с газетой в руках. Она на минуту застыла на пороге красочным монументом и потом двинулась в атаку:

— Это что такое? А? Опозорили! С нас вся Деламура смеется. Мало приличная закуска!.. А малоприличная... С грязью смешали. Говорила своему дураку – гнать этого газетчика в шею.

Сережа быстро протиснулся между монументом и растерявшимся заведующим и с чисто репортерским натиском заговорил:

— Мадам, не волнуйтесь. Все будет в порядке. Во-первых, мы сообщили, что это опечатка. А во-вторых, вы знаете, что в Америке клиент был бы даже рад, потому что такое объявление привлечет общее внимание. Поверьте, у вас отбоя не будет от посетителей. В Америке...

— Ты мне Америкой в нос не тычь. Сами понимаем какой тут профит. Опозорили. Оплевали. А теперь с опечаткой лезут. Да мне теперь на улицу-то выйти стыдно. Да из соседней лавки в меня пальцами тычут – малоприличная, мол. Знаем, мол, теперь, чем вы людей потчуете. А?!

И монумент угрожающе двинулся к заведующему, оттолкнув могучей ручищей репортера Сережу.

Машинистки уткнулись носами в машинки, сдерживая неудержимый смех. Заведующий выглядел мокрой курицей. У дверей репортерской столпился теперь весь штат газеты.

И над всем этим возвышался монумент тети Миши и звучал почти басовыми нотами ее уничтожающий голос:

— С нас весь Деламура смеется...

Вдали мерно и монотонно стучали печатные машины.

Опубликовано и печатается по:
Скопиченко О. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1994. С. 82-87.

УСТРИЦЫ

Очерк? Рассказ? Нет, просто маленький эпизод из прошлого.

День в Харбине был осенний и довольно хмурый. Даже дождик чуть-чуть накрапывал.

Шла я домой в мрачном настроении. Деньги за урок обещали заплатить только к понедельнику. А дома у нас с Марианной было хоть шаром покати, и никаких перспектив. Вчера доели остатки щей и хлеб.

Сегодня я утром направилась на работу, выпив стакан пустого чая. Решила, что на лекции вечером не пойду, не очень-то лезли в голову Институции Римского права на голодный желудок.

За дверью нашей комнаты была хибара, выстроенная для караульного китайца, и мы ее снимали за несколько долларов в месяц. Хибара была поместительная, с русской плитой в углу. Две кушетки, большой письменный стол – подарок одного из поклонников наших поэтических талантов, – два стула да корзинка в уголке для нашего общего друга, собачонки Турандот, – и вот вся наша обстановка. И, конечно, книги и рукописи, наваленные и на столе, и прямо на полу.

— Ну что, получила? – был первый вопрос Марианны.

— Да нет. Обещали в понедельник. Муж Веры Павловны уехал на рыбалку за Сунгари, а у нее не было денег.

— Гм-м. Плохо, значит, ты голодная…

— Ну да и ты тоже.

— Нет. Мне повезло. Зашла к Семеновым – надо было книгу вернуть – и попала на обед. Такими пельменями угостили. Очень мне хотелось попросить для тебя, да я постеснялась.

— Ну что ты, не хватало, чтобы мы попрошайничали.

— Турке косточек послали, видишь, наслаждается.

Турка с увлечением возилась в своем углу, причмокивая и посапывая. Марианна задумалась:

— Знаешь, думаю, Арсений зайдет сегодня, перехватим у него доллара два до следующей недели.

— Дождешься его… – пробурчала я. – Он последнее время все вечера проводит с Всеволодом Ивановым. Такая дружба, водой не разольешь.

Марианна снова стала стучать на машинке. А я, порывшись на плите за кастрюлями, нашла сухую корочку и села с книгой на кушетку. Часов около девяти вечера послышались быстрые шаги по двору и Марианна весело сказала:

— Вот Арсений, а ты говорила, не придет.

Еще минута, и Арсений Иванович Несмелов, наш самый талантливый поэт Зарубежья, наш общий друг и приятель, с шутливым смехом:

— Вот хорошо, что вы обе дома, – уселся на краешек кушетки. – Вот что, собирайтесь только поскорее.

— Куда?

— Всеволод приглашает нас вчетвером поужинать. Только скорее, он на извозчике ждет.

Марианна поморщилась, она терпеть не могла прерывать начатую работу, но, видимо вспомнив, что я голодная, быстро согласилась.

— Что это с Савоськой случилось, что он нас вспомнил. Только вот что, Арсений, выматывай. Нам же надо поприличнее одеться, выезжая с такой знаменитостью.

Арсений быстро скрылся за дверью. Сборы были недолгие. Марианна переоделась в свое единственное нарядное шелковое платье, я – в костюмчик, ходивший у меня за выходной.

Всеволода Никаноровича Иванова или Савоську, как мы его звали за глаза, автора знаменитого труда «Мы» и не менее знаменитой «Поэмы еды», мы знали сравнительно мало. Сталкивались в редакции газеты, один раз были у него на дому, в его кабинете, где висела огромная копия кустодиевской «Купчихи за самоваром», на нее он всегда указывал посетителям: «Моя муза», – на что я довольно резко спросила: «Купчиха или то, что на столе?»

Толстяк Всеволод был известен своим гурманством.

Минут через десять мы вышли на улицу уже в полном параде. Всеволод Никанорович слез с извозчика и пошел нам навстречу, говоря какие-то любезности. Уселись.

— В «Фантазию», – распорядился Иванов.

Мы запротестовали:

— Да помилуйте, Всеволод Никанорович, мы не одеты для такого шикарного места. Поедем куда-нибудь поскромнее.

Спорить было трудно.

— Ерунда! Сядем не в общем зале, а на балконе, в ложу. Там некому будет Ваши наряды критиковать.

«Фантазия» – шикарное кабаре в Харбине с прекрасным залом и великолепной эстрадной программой. Марианна о чем-то переговаривалась с Арсением. Я молчала, предвкушая вкусный, необычный ужин.

Зал «Фантазии», за ранним временем еще полупустой, сиял огнями. Уютная ложа балкона, освещенная разноцветными фонариками, серебро и хрусталь стола, тихая музыка откуда-то издалека.

Я невольно покосилась на художественно расписанное меню, но Всеволод пошептался с лакеем и, отстранив карту вин, коротко заказал:

— Устрицы и шампанское.

Завязался веселый разговор. Говорили о новых темах, о новых стихах. Арсений, лукаво прищурившись, спрашивал нас, какая лучше рифма на слово «оранжевый»… И так как ни я, ни Марианна ничего не ответили, тут же нараспев протянул:

– …оранжевый.

Ах и дрянь же вы…

Он был великий мастер на рифмы и ассонансы. А я сокрушенно думала: «Ну вот, и никакого ужина… ни цыплят, ни даже простого бифштекса… а я такая голодная. Да еще устрицы, а как их едят?»

За свою короткую, шестнадцатилетнюю беженскую жизнь я только и слышала об устрицах, что они пищат, когда их глотаешь.

Шампанское было искристое и очень вкусное. Именно шампанское помогло мне на голодный желудок глотать этих скользких слизняков, которые были поданы в раковинах с изящными вилочками и ножичками. Глотала, внимательно наблюдая, как расправляется с устрицами Иванов. Боялась показать свое полное невежество в обращении с таким изысканным блюдом. Голова кружилась от шампанского, от стихов Арсения, от добродушных шуточек Иванова, и я старалась не замечать сочувственных взглядов, которые на меня кидала Марианна.

В полночь нас тем же порядком на извозчике доставили домой.

Всеволод попрощался с нами на улице, Арсений пошел провожать до дверей нашей хибары.

И тут Марианна на него накинулась:

— Тоже, гурманы! Тоже хороший тон! Дамам даже не предложили выбрать, что они хотят заказать. Устрицы… шампанское…

Арсений оправдывался:

— Но ведь, это действительно шикарно, и для «Фантазии» самое подходящее.

— Подходящее… Ольга два дня ничего, кроме корочки хлеба, не ела. В доме пусто. А вы…

Арсений растерялся:

— Так почему вы не сказали, что вы голодные? Я бы заказал цыплят.

— Да так вот и сказать, что мы хотим что-нибудь существенное. Так вот перед Савоськой и сознаться, что мы голодающие поэтессы. Ты сам должен был догадаться.

Я молчала. У меня проходил угар шампанского, и я чувствовала, что устрицы стоят в горле комом.

— Я завтра утром забегу, – и Арсений немного смущенный пошел к калитке.

— Только смотри, ни слова Всеволоду, не позорь нас, – крикнула ему вслед Марианна.

Утром часов в десять Арсений был уже у нас, принес с собой сайку хлеба, лук и две коробки сардин – все, что мог достать в маленькой лавочке, где ему еще не было отказано в кредите. Видимо сам тоже был «на мели» в эти дни.

Потом мы часто вспоминали этот светский ужин в роскошной «Фантазии». Особенно хорошо было вспоминать за чашкой горячего чая с чайной колбасой, нарезанной толстыми ломтиками, и с аппетитными

ломтиками поджаренного хлеба – наше обычное пиршество, когда мы были при деньгах.

А устрицы долгие годы вызывали у меня отвращение.

26 октября 1982 г.

Опубликовано и печатается по:
Скопиченко О. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1994. С. 88-92.

У ВРАТ СТАРОГО ХРАМА

Город проснулся, как всегда, ровно в пять от взрыва бомбы, сброшенной японским аэропланом. Вот уже в течение двух месяцев утро начиналось этим взрывом ровно в пять утра. Улицы, узенькие, грязные, типичные улицы китайского города, стали наполняться народом

Открывались маленькие лавчонки, в которых еще торговали здесь, в этом районе, куда не доползли бои, где сравнительно было спокойно. Появились уличные продавцы китайских сладостей, фруктов. Кое-где, крикливо расхваливая свой товар, дребезжа посудой, проходил владелец переносной кухни, предлагая чашку горячего риса или зеленого чая.

Лин, зевая и потягиваясь, вытащил со двора повозку и медленно пошел по улице, направляясь к иностранным районам города.

Заработки резко упали за месяц событий. Чтобы заработать доллар или два, надо было бежать в далекие иностранные районы – мало кто хотел нанять рикшу в родном городке. Конечно, можно было проехать в тот, другой китайский город, который так беспощадно бомбили с воздуха, там можно было заработать, вывозя население побогаче за границу международного сеттльмента. Но звуки разрывов, разрушенные дома, горящие здания – все это вызывало в старом Лине какую-то отвратительную, мелкую внутреннюю дрожь, и он предпочитал работать здесь, в своем родном городе, еще не тронутом заревом событий.

Он рано вышел на работу сегодня, дома не было ни одного медяка, а шустрые ребята с утра просили есть, и жена Лина напрасно старалась успокоить голодную ораву, предлагая им горячую воду вместо вкусного, хорошо пахнувшего риса. Было еще очень рано, лучи восходящего солнца ласково блестели на стеклах домов и лавок, раздражающе пахло бобовым маслом уличной кухни, хотелось есть, и было немного зябко от утренней прохлады и от ощущения голода. Пробежал мимо знакомого с детства храма, двери в огромный круглый двор были открыты, и кое-кто из обитателей городка проходил туда внутрь поставить тонкую ароматную свечу, чтобы умилостивить знакомое божество на грядущий день.

Лин остановился и пошарил в деревянном ящичке для денег. Напрасно – шустрые ребята еще с вечера вытащили все медяки в поисках более крупных монет. Мысленно прошептав слова молитвы, оберегающей от забот и несчастий, Лин Фун хотел было уже свернуть на главную улицу города, как вдруг из-за угла, словно от стен храма, вышел высокий, хорошо одетый китаец и повелительным жестом остановил рикшу. Не торгуясь, не говоря, куда надо ехать, молчаливый седок сел и движением руки показал на дорогу перед собой. Лин облегченно вздохнул. Хорошее предзнаменование. Богатый седок в первые же часы работы. Богатый. Кто же, кроме богачей, носит такие красивые шелковые халаты? Он ускорил бег и удивился немного, так как на подъеме к мосту через канал не почувствовал привычной тяжести.

Уж не соскочил ли пассажир? Но, оглянувшись, он убедился, что молчаливый и спокойный седок был здесь.

Мелькали улицы знакомого городка, приблизилась граница с иностранными районами, еще спящими; чистые, нарядные улицы были тихи и спокойны, редко-редко проезжал автомобиль, и тишину города нарушали только отдаленные глухие взрывы аэропланных бомб да четкое цоканье ответных зенитных орудий. Все ближе и ближе были слышны страшные разрывы, замелькали предместья иностранных районов – они приближались к страшной границе района смерти и разрушения.

Все чаще и чаще попадались группы беженцев, уносящих свой несложный скарб и жалкие жизни от горящих родных домов. Кое-где семья, уместившись на узком тротуаре, готовила свой скудный завтрак, и дети громко плакали на руках у измученных и уставших женщин. В эти дни тысячи китайцев искали пристанища и спасения у границ международного сеттльмента.

Лин робко оглянулся на своего седока. Куда же теперь? Впереди смерть и разрушение. Какой странный этот господин с бесстрастным спокойным лицом. Куда едет он, зачем он заставил бедного рикшу бежать по этим страшным районам? Все чаще и чаще мелькали разрушенные, кое-где еще дымящиеся недавним пожаром обломки зданий, все громче и громче слышалась уже ружейная стрельба. Изредка попадались китайские солдаты, пробиравшиеся среди развалин домов. Отчетливо громко грохотали зенитные батареи.

Строгий господин ни слова не сказал на вопросительный, полный ужаса взгляд бедного рикши, только повелительный жест тонкой руки указывал вперед. Еле живой от страха, проклинающий в душе непонятного седока, Лин вбежал на небольшой холм, заканчивающий полуразрушенные улицы. Легкий стук ноги об подножку коляски заставил его оглянуться. По наклону головы, по тому же повелительному жесту он понял и опустил оглобли рикши.

Медленно и спокойно сошел высокий господин и поднялся еще выше на холм. Совсем недалеко, среди разрушенных улиц и обломков домов, были видны цепи китайских солдат; то там, то тут вспыхивали разрывы гранат, и ружейная стрельба звучала оглушительно близко.

Лин Фун сел на подножку своей коляски, потому что вдруг почувствовал, что ноги стали мягкими и безвольными, хотелось, мучительно хотелось схватить свою тележку и бежать назад, в спокойствие иностранных районов. Но что-то странное во всей фигуре непонятного пассажира не позволяло ему двинуться с места. Низко, совсем над головами, зашумел мотор аэроплана, так низко, что отчетливо были видны знаки восходящего солнца на крыльях. Что-то, как струйка дыма, оторвалось от бомбовоза и... Лин весь съежился, в голове промелькнуло изумленное лицо жены, встревоженные, заплаканные рожицы детей... «Конец», – отдалось где-то, где-то внутри... Страшный взрыв оглушил на минуту, Лин упал, задев рикшу, легкая коляска свалилась на бок. Долго, несколько минут не мог он поднять головы. Когда рассеялся дым и пыль от близкого разрыва, Лин Фун увидел, что седок его по-прежнему спокойно стоит на холме и смотрит вдаль.

Еще больший ужас охватил сознание. Что он, этот странный господин? Зачем он здесь? Что нужно ему? Зачем смотрит он вот уже скоро час, а может, и больше, на разрушение и смерть. Время тянулось мучительно медленно. Лин видел все. Он видел, как узкая цепочка китайских солдат побежала и скрылась за развалинами домов. Он слышал, как оттуда послышались непрерывные выстрелы. Он видел, как несколько скрюченных фигур поползли оттуда по земле и замерли в пугающей неподвижности смерти. Он видел, как от одного из взрывов вспыхнул ярким заревом большой трехэтажный дом, каким-то чудом устоявший за эти два месяца непрерывных боев.

Наконец, медленно-медленно высокий господин стал спускаться с холма и подошел к полумертвому от испуга рикше. Так же спокойно, без единого слова, он сел в коляску и тем же повелительным жестом показал на дорогу обратно. Казалось, какая-то новая живительная сила влилась во все существо рикши, он не почувствовал усталости долгого пути, он не бежал, он точно летел назад по узким разрушенным улицам. Мелькали мимо толпы беженцев, полуразрушенные хибары, а потом светлые и сияющие на солнце окна магазинов и особняков иностранных районов. Вот и переулки родного города, вот и высокие стены с детства знакомого храма вдали.

Вот и ворота храма, они закрыты: видно, монахи ушли на свой полуденный завтрак. Снова легкий стук по деревянной дощечке подножки – знак остановиться. Лин Фун опустил оглобли. Также спокойно, не глядя на него, высокий господин сошел с рикши и направился к воротам храма. Бесшумно открылись ворота и пропустили высокую фигуру в сером. Лин облегченно сел на подножку коляски и стал ждать. Очевидно, важный

господин пошел поставить свечу Великому Богу, помолиться о благополучном исходе страшной поездки. Надо ждать. Важные господа часто уходят в дом и только потом высылают деньги. Что ж, он подождет. Это ничего, что очень хочется есть, что там, напротив, в маленьком открытом ресторане заманчиво стучат чашки и палочки и пахнет рисом и бобами.

Это ничего, что дома ребята, наверное, надорвались от плача, и жена нетерпеливо смотрит на дверь, ожидая его с грудой медяков. Он подождет. Прошел час. У ворот храма собралась толпа, ожидая, когда распахнутся широкие двери и можно будет войти внутрь. Лин Фун первый бросился в широкий двор храма. Дверь в самый храм была закрыта на широкий засов, высокого господина не было нигде. Лин Фун закричал. Его обманули, его бессовестно обманули. Высокий, важный господин оказался простым обманщиком, не постыдившимся обмануть бедного, несчастного рикшу. Он бил себя в грудь кулаком и кричал так громко, что люди с улицы вбегали во двор храма и окружали его плотной толпой.

Этот важный господин в таком дорогом сером халате – просто обманщик и вор. Десять часов, десять долгих часов с самого рассвета, он, Лин Фун, возил этого обманщика по всем городам. Они были там, где ничего нет, кроме солдат и обломков домов. Они проехали мимо пожаров. Они видели войну так близко, что он, Лин Фун, и сейчас чувствует, как пахнут дымом пожарищ его платье и руки. И, вот он, этот обманщик, эта подлая черепаха, этот мерзавец, ушел, скрылся в воротах храма и не заплатил ни одного медяка.

А у него, Лина Фуна, дома жена и пятеро голодных детей. И их нечем будет накормить сегодня. И пропал длинный день. Пусть важный господин никогда не увидит своих детей, пусть родится он снова презренной свиньей. Он, который так обманул бедного старого рикшу.

Лин кричал, размазывая пот, слезы и грязь по лицу, бил себя в грудь кулаками. Откуда-то сбоку, из внутренних коридоров храма, вышел монах. Он подошел к кричавшему рикше и строго спросил, кто он и почему нарушает тишину и покой храма великого божества. И снова Лин, плача и задыхаясь, начал кричать о важном господине в сером, который так обманул бедного старого рикшу.

— Он там, он внутри храма. Пусть храм закрыт, он прошел туда через внутренние двери.

Монах медленно, не торопясь, отодвинул тяжелый засов, пахнуло сумраком и тишиной. Бесчисленные свечи дымились в песке у подножия божества. Толпа хлынула и застыла: у ног статуи великого божества лежали небрежно сброшенный блестящий серый халат и груда серебра. Молчала толпа.

И бесстрастно и спокойно заговорил старый монах:

— Ты счастлив. Это тебя избрало великое божество, чтобы в образе человека проехать по нашему несчастному городу. Бог ездил сам посмотреть войну. Ты счастлив. Пройдут дни, года, десятилетия (для великого божества сотни лет – одно мгновение), и победит старый, вечный Китай. Ты счастлив. Возьми это серебро – это оставлено тебе великим божеством храма. Ты – счастлив.

Молчала толпа. Не сводя глаз с брошенного серого халата, стоял старый Лин. Лучи заходящего солнца проникали в храм и бросали косые лучи на безмолвную статую бога, на мягкие складки блестящего серого шелка на брошенном халате и на серебряные монеты, лежащие у подножья божества. И только где-то вдали глухо, мертво звучали взрывы смерти и разрушения, нарушая вечный покой и тишину старого храма.

1978 г.

Опубликовано и печатается по:
Скопиченко О. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1994. С. 67-72.

Лидия Юлиановна
ХАИНДРОВА
(1910-1986)

Поэтесса и журналистка Лидия Хаиндрова (настоящая фамилия Хаиндрава; в замужестве Сереброва) родилась 14 июня 1910 г. в Харбине. Окончила гимназию М.А. Оксаковской. Участница литературного объединения «Молодая Чураевка». В 1937 г. переехала в Дайрен, где работала представителем и корреспондентом газеты «Заря». В 1943 г. переехала в Шанхай. Печаталась в газетах: «Чураевка», «Русское слово»; журналах: «Рубеж», «Понедельник», «Парус», «Феникс»; коллективных сборниках: «Излучины», «Семеро», «Врата», «Багульник», «Остров». Автор поэтических книг: «Ступени» (1939), «Крылья» (1941), «На распутье» (1943). В 1947 г. репатриирована в СССР. Жила в Казани, позднее обосновалась в Краснодаре, где вышел ее поэтический сборник «Даты, даты…» (1976). Скончалась 19 июня 1986 г. от инсульта.

Ист. и лит.:
Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 541.
Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд. М., 2001. С. 698.
Сентянина Е. Харбинские писатели и поэты // Рубеж. 1940. № 25. С. 10.
Смотр женских литературных сил эмиграции Дальнего Востока // Рубеж. 1935. № 47. С. 25.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 323-324.

ОТРЫВОК

«Как будто на небо повесили плотные занавески», – думала Александра Павловна. По-старушечьи поджимала губы, силясь что-то разгадать.

Подходила к запотевшему окну и шарила в памяти, стараясь понять то, что с некоторых пор стало для нее непонятным.

Отчетливо вспомнила сына. Его внезапно потемневшее лицо со злыми, убегающими глазами. И мягко, просительно прозвучавший ее голос:

— Коля, что с тобой? Куда опять?..

Злые искорки потухли, захлебнулся от сдерживаемого стона… А ее рука, поднятая для крестного знамения, бессильно упала.

После ухода сына передвигала с места на место вещи. Делала все то, что делала каждый день, но знала, что все это ее не интересует, что это не главное, а главное в чем-то другом. Да, главное… Это потемневшее лицо. Злые искорки…

Медленно, медленно проходили часы, какой-то заблудившийся лучик заглянул в комнату, испугался тишины и широко открытых удивленных глаз, заметался и спрятался за портрет курчавого мальчугана.

Поздно во сне к ней приходил Коля таким, каким он был в детстве,

простым, понятным, визжал, носился по комнате, а при наступлении темноты пугливо спрятался в ее коленях.

Встрепенулась… Никого… Луна то пряталась, то выплывала, и темные тучи висели над нею, как грязные лохмотья. Беспокойные пальцы поминутно сжимались и разжимались, а разбуженная память вдруг выплеснула со дна такой же заплаканный день, высокую детскую и вытянувшуюся фигурку сына на полу с маленьким платочком на лице. И на ее испуганный вопрос он, смеясь, ответил:

— Мы играем в разбойников… Меня убили…

И вдруг тишина, молчавшая до сих пор, заговорила:

— Мы играем в разбойников… Меня убили…

Глаза были сухими, а в горле что-то набухало и не могло найти выхода.

Твердо знала, что горе уже наступило, но где искать его? Откуда оно – не могла осилить…

Снова наступил день. Закряхтел фабричными трубами, расплакался дымом. Почерневшие воробьи сидели, нахохлившись, на заиндевевших проводах.

Приходили какие-то люди, виновато смотрели на нее и уходили. А ей хотелось крикнуть, что она их не винит, что они должны сказать ей правду. И в такт ее мыслям нелепо качалась ставшая чужой голова.

В полутемном подвале лежали странные люди, как мышки с руками и ногами. Здесь не мог быть ее сын. Хотелось уйти на воздух, посмотреть на занавешенное небо, вдохнуть в себя силу и мужество, а ноги помимо ее воли, как деревянные обрубки, гулко стучали по холодным плитам, зашаркали на одном месте и словно вросли в пол. А воспаленным, сухим глазам кинулось что-то белое, покрывавшее лицо мертвеца… Как детский платочек…

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка. 1934. №5. С. 2.

ДВЕ СЕСТРЫ

Сегодня вечером должен был прийти Борис просить ее руки у Деда Ивана Михайловича. «Только бы Анна ушла скорей, – мучительно думала Зоя. – Долго не уходит, все колет иголками глаз. Ведь не плохая и хорошенькая, а вот иногда найдет что-то и не остановишь… А потом мучается… Господи, скоро она уйдет?» Вспоминает детство… Зоя и Анна – близнецы, остались без родителей; их заменили Бабушка и Дед. Старики не делали различия между девочками, если куклу дарили Зое, точно такую же получала Анна. Бывало, долго Анна сидит и рассматривает оба подарка, понемногу глаза делаются иголками, и вскоре Зоина кукла

оказывается со сломанным носом. Анна успокаивалась и начинала ласкаться к сестре. Смеркалось, тени поползли по полу, как будто разломили пополам туалетное зеркало… Зашипела и погасла лампада… В доме была особенная настороженная тишина. Зое стало нехорошо. Скрипнула всегда беззвучно отворявшаяся дверь, и проколола подозрительными глазами Анна. «Почему нет огня?». Зоя не ответила. Сидела, сжав брови. Глядя внутрь себя. Ничего не сказали сестры, но Зоя почувствовала, что Анна решила не уходить. Росло всегда сдерживаемое раздражение против нее. Хотелось вцепиться в нежную шею. Даже пальцам стало больно. Прозвучал в передней звонок. Анна радостно задвигалась, начала поправляться. «Борис!» Зоя не двигалась. Вспомнилась кукла в голубом платьице со сломанным носиком, и начали заполнять комнатку предметы, испорченные Анной, обиды, нанесенные ей.

Слышала, как Анна приветствовала Бориса: «А я Вас ждала». Почувствовала глухое недовольство Бабушки и растерянность Бориса, не отрывающего взгляда от дверей ее комнаты. Звучный голос Деда заполнил комнату. Глаза внимательно остановились на оживленной и нарядной Анне, на сконфуженном Борисе. «Так, так…, – одобрительно покашлял Дед. – Слышал… Слышал…» Подумал: «Не вышло бы что-нибудь опять с этой стрекозой Анной, что-то очень оживлена». Сердито блеснул в ее сторону глазами: «А где Зоя?». Не заметил радости Бориса. Услышал Анино удивление: «Зачем?». В эту минуту в дверях показалась Зоя. Приняла радостный взгляд Бориса, но не ответила тем же.

– Так пожениться решили? – не обращаясь ни к кому в особенности, сказал Дед. Взгляд Бориса покоился на Зое.

– Кого ты собираешься женить-то? – из своего угла строго спросила Бабушка.

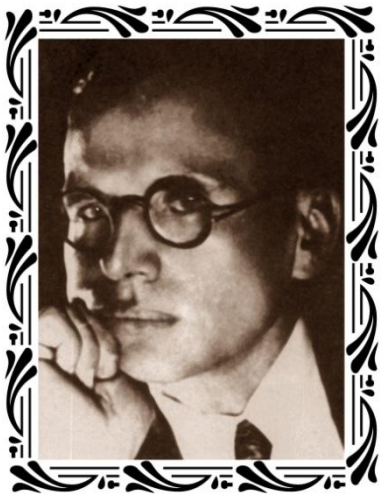
– Кого же? – протянул Дед раздумчиво. – Анну и Бориса…

Борис кинулся в сторону Зои, но властная рука Анны удержала его около себя.

Сжалось от горя сердце Зои. Страдая, не заметила тягостной тревоги Бориса. Вышла из комнаты. Стукнула входная дверь. Осталась одна со своим горем. Но знала, что, сильная, переживет и эту неудачу.

Тихая сидела Бабушка, все пожевывала губами. Казалось, ничего не видит, не слышит, а слыла мудрой. Все смотрела на Бориса запавшими глазами, потом медленно проходя мимо Анны, бросила ей: «Нет моего благословенья… Не твое это счастье…» Скрылась за портьерой. Долго вздыхала и клала поклоны. Только под утро успокоилась…

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка.1934. №6. С. 2.



Альфред Петрович
ХЕЙДОК
(1892-1990)

Писатель Альфред Хейдок родился 19 октября 1892 г. на хуторе Долес (Латвия) в семье кузнеца. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1920 г. эмигрировал в Китай. Жил в Харбине. Публиковал рассказы в журнале «Рубеж» и других периодических изданиях. Автор сборника «Звезды Маньчжурии» (1934). Осенью 1940 г. переселился в Шанхай. В 1947 г. репатриирован в СССР. В 1950 г. был арестован и осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. После освобождения поселился в Балхаше (Казахстан). В 1981 г. перебрался в г. Змеиногорск (Алтайский край), где и скончался 20 июня 1990 г.

Ист. и лит.:

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 542.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 325.

ПРИЗРАК АЛЕКСЕЯ БЕЛЬСКОГО

1

Алеша Бельский еще раз погрузил деревянный лоток в яму мутной воды; пополоскав немного, он осторожно тонкой струйкой слил воду и проговорил:

— Не меньше двух золотников с лотка! Слышишь, Вадим!

За кучей набросанного золотоносного песка зашуршало, а потом оттуда выставилась грязная, невероятно обросшая щетиной физиономия. Если бы в горной щели, где происходил разговор, стало чуточку светлее, можно было бы разглядеть, как эта физиономия расплылась в улыбке.

— Вылезай! – продолжал Бельский, — Обедать надо! У меня такое ощущение, будто мне в спину вогнали осиновый кол. Шутка ли! С самого утра не разгибался.

Оба компаньона добывали золото в маньчжурских сопках или, попросту говоря, хищничали. Прежде чем попасть сюда, они солдатскими сапогами месили галицийские поля на великой войне; потом вернулись к отцовским очагам и не нашли ни очагов, ни отцов, а узнали, что сами они буржуи и враги народа. Тогда два друга двинулись на Восток, где долгое время об их благополучии, хотя скверно, но все-таки заботилось интендантство Колчаковской армии. Тут они заработали офицерские погоны, так как оба были не прочь заглядывать в беззубый рот старушки-смерти. Таким образом, все шло хорошо до тех пор, пока не стало ни армии, ни интендантства. После этого они попали в Маньчжурию, но здесь им сказали, что они ничего не умеют делать.

Сейчас им улыбнулось счастье, но это счастье было, пожалуй, самым непрочным в мире, так как им одинаково страшен был и представитель китайских властей по охране недр, и поселянин, и хозяин сопок хунхуз. Но – велик Бог русского эмигранта! – в балагане из коры лежал мешочек намытого золотого песка. Его вес возрастал с каждым днем, и это вселяло дикую энергию и отвагу в сердце хозяина.

Сам же источник этой удачи находился под обрывом, в сырой, мрачной щели между двух сопок. Здесь протекал ручей. Несмотря на май, вода в нем была холодна, как лед, и обжигала, как огонь. Но двум приятелям, которым грезилось волшебное будущее, все было нипочем.

Друзья выбрались из сумрачной щели и долго щурились, пока глаза не привыкли к яркому свету; так и заливало солнышко лощину с нехитрым балаганом.

Алеша быстро развел огонь и замесил в котелке варево «за все»; оно служило и хлебом, и первым, и всеми дальнейшими блюдами. Обед был сготовлен чрезвычайно быстро и еще быстрее съеден со звериным аппетитом. После – оба ничком уткнулись в траву. Разморило.

— Ты как думаешь, – спросил Вадим, – долго еще нам придется питаться бурдой?

— Долго – не дадут. Того и гляди, кто-нибудь нагрянет, и смазывай пятки!

— А потом?

— Потом... – глаза Бельского будто туманом подернулись, – потом начинается жизнь... Ведь мы с тобой еще не жили! Каждую ночь мне снятся женщины, надушенные, страстные... Они порхают около меня, шепчут мне в уши бесстыдные слова, ласкают... Ты знаешь: здесь тайга; весной от целины сила идет, так она пронизывает меня, бунтует кровь...

Вадим молчал. Ему тоже снилась женщина, но только одна – ласковая, нежная... Зажмурит Вадим глаза – так и видит всю ее перед собой. Все мысли – к ней. Сидит, поди, она в городе, в мастерской, и целый день крутит швейную машину, а кругом еще десятки таких же машин стучат. Без конца течет материя из-под пальчиков ее... Вот к этой женщине он придет из тайги прямо в мастерскую, возьмет за руку и навсегда выведет ее оттуда. А потом настанет точно такой день, какой он видел на экране, когда жил в городе: сыплются под дуновением белые цветы, пара выходит из церкви, а в весеннем воздухе гремит марш Мендельсона: тра-ра-ра... Да, да, обязательно этот марш!

Кончился короткий отдых. Опять два человека, не замечая боли в пояснице, не чувствуя холодной воды, лихорадочно работают; один выбрасывает песок из ямы, другой – промывает. У обоих одна мысль: «Как бы кто не помешал! Еще бы недельку, месяц поработать бы!»

Катится с горы мал камешек. Столкнула его чья-то нога на вершине, а катится сюда, к работающим! Эх! Упадет – чьи-то мечты разобьет.

Вадим увидел камешек и крикнул Бельскому. Оба прянули в кусты и уставились на вершину сопки. Вот мелькнула в кустарнике синяя курма – китаец проходит. А, может быть, поселянин? Тогда еще не так страшно... Нет! Повернул рябое лицо к ним – хунхуз! Тот же самый, который зимою приходил, когда оба товарища работали на концессии! Вот быстро удаляется: высмотрел – чего ему больше! Теперь скоро вся банда сюда нагрянет.

Приятели вылезли из кустов и направились к балагану. Каждый по-своему реагировал на события. Вадим угрюмо молчал, а Бельский с самым равнодушным видом насвистывал песенку. Терять ему было в привычку. Разве он не потерял всего раньше, там, в России? А сколько раз он терял и на чужбине.

Сборы были чрезвычайно короткие. Все было упаковано в рогули. Русские охотники и приискатели переняли их употребление от ороченов и китайцев. Рогули водрузились за плечами, и два человека решительно зашагали, чтобы в двое суток достичь железной дороги.

2

Под самый вечер ливень пронесся над тайгой; он налетел бурею и в мгновение ока накрыл сопки мутною сеткою косо падающей воды. Пока бушевал ливень, день погас, и клокочущий раскатами грома мрак черною шапкою покрыл все. Вспышки молний выхватывали из темени стволы деревьев с черными сучьями, подобными костлявым, пощады просящим рукам. Потом ветер присмирел, и дождь стих, и ночная тайга заговорила разными голосами: бурлили невидимые глазу ручьи, пищали какие-то зверьки, и трещали ветви под крадущимися в стороне шагами.

Сыро, неприветливо и страшно в такую ночь в тайге; черными платками проносятся над головою бесшумные совы, а кусты, кажется, шепчут: «Не ходи... не ходи...»

Ноги путников хлюпали в грязи, и они вымокли до последней нитки. Вадим почувствовал озноб; после беспощадного дождя его начало лихорадить.

— Леша, я больше не могу – давай устраиваться на ночлег!

— Потерпи, брат! Дотянем до перевала – там, в стороне от дороги старая кумирня есть.

Еще грязь, кочки, крутой подъем, каскады воды с кустов и – перед ними зачернела похожая на громадный гриб кумирня. Она дохнула в лицо запахом тайги и намокшей земли. Когда Вольский натаскал хвороста и развел огонь на полу, то бурундук с писком шмыгнул с древнего изображения Будды, а под крышей зашуршало по всем направлениям.

Едкий дым потянулся от костра к трещинам в крыше. Вадим в изнеможении растянулся на полу. Лежал с полчаса и чувствовал

лихорадочный жар внутри, а вместе с жаром стал ощущать тревожную напряженность и необъяснимое обострение чувств.

— Все ли спокойно в тайге? – глухо заговорил молчавший до тех пор Бельский. – Не идут ли за нами? Схожу, посмотрю.

Посмотрел Вадим на друга и испугался того, что увидел. Печать смерти лежала на лице друга...

Есть страшный дар у некоторых людей: они могут заранее узнать обреченных. Еще на германском фронте Вадим знал пьяницу-прапорщика, который накануне сражения долго всматривался в чье-нибудь лицо и крутил головою. Это был признак, что завтра того человека убьют. Ни разу не ошибся. Этот дар обнаружил у себя и Вадим.

Вадим вскочил, раскрыл рот, хотел крикнуть: «Не ходи!», – но Бельский уже выскользнул в дверь.

Вадим бессильно опустился на пол. Эх! Разве можно остановить судьбу? Все равно нельзя! А, может быть, он ошибся? Дай Бог!..

Тихо. Костер перестал потрескивать. Догорая, уголья тлеют синими огоньками, и не может слабый свет одолеть мрака. Тишина такая, что звенит в ушах. Что-то долго нет товарища! Однако надо идти за ним! Чего это он сразу не догадался, надо бы вместе!.. Встал, повернулся Вадим, а перед ним уже Бельский стоит – вернулся! Только напряженный он такой до чрезвычайности, и тихо-тихо говорит, так тихо, что, кажется, будто и звука нет, но ясна для Вадима его речь:

— Сейчас беги отсюда! Хунхузы уже здесь! Они уже убили меня!

Сказал это старый товарищ и будто туманом подернулся, смутен стал, расплылся и растаял в воздухе.

Сперва страх ощутил Вадим, потом дрожь прошла по телу, и он почувствовал, как вместе с лихорадочным жаром красное безумие поднимается и пронизывает мозг. Страх моментально исчез, и дикая отвага заменила его. Мигом он укрепил рогули за плечами, схватил в руки топор и зычно крикнул в темноту:

— Спасибо тебе, Леша! Не забыл меня и после смерти! И я тебя не забуду, слышишь!

В два прыжка он выскочил на двор и прямо грудью столкнулся с рослым детиною. Отскочил, взмахнул топором – что-то хрустнуло. Над самым ухом хлопнул выстрел и обжег щеку. Чьи-то цепкие руки обхватили его ноги из темноты. Вадим еще раз взмахнул топором, и руки разжались. Потом прыгнул во тьму и покатился с крутого откоса, цепляясь за кустарники и задерживаясь на неровностях...

***

Два дня спустя на вокзале одной из станций К.-В. железной дороги появился невероятно оборванный человек с бледным, усталым лицом. Он

купил билет до Харбина, а потом прямо прошел в буфет первого класса. Служитель хотел выпроводить бродягу, считая его недостойным «чистой половины», но вовремя остановился, услышав, что пришедший требует шампанского.

— Самого лучшего, – прибавил он.

Шампанского не оказалось. Тогда незнакомец потребовал две сигареты и бутылку коньяка, причем опять прибавил: «Самого лучшего».

За все он сейчас же расплатился щедро и велел подать на столик две рюмки.

Он налил обе рюмки, но пил только из одной и непременно чокался с нетронутой.

Все время он смотрел в окно на видневшиеся вдали сопки, а когда пришел поезд, уехал.

Впервые опубликовано: Рубеж. 1929. № 24.
Печатается по: Хейдок А. Огонь у порога. Магнитогорск, 1994. С. 42-49.

ДЭРБИ

I

Вы, наверное, видели, как голодная собака смотрит на кусок мяса. Но вы не имеете понятия, как это проделывает голодный волк, – он спружинивает мускулы, и в его глазах загораются зеленые огоньки; обладателю куска тогда становится не по себе…

Вот точно так Вагантов посмотрел на женщину, которая сидела в автомобиле Кандаурова, богача, гремевшего когда-то на всю примонгольскую окраину.

А на женщину стоило посмотреть!

Соболиные брови и очи с поволокой! И казалось Ваганову, что первый раз после долгих лет, проведенных в аду европейской и Гражданской войн, он видит женщину, столько сулящую мужчине…

Посмотри Ваганов так на нее в городе – Кандауров, как обладатель столь редкого экземпляра, может быть, только самодовольно улыбнулся бы.

Но здесь, в дикой монгольской степи, он почувствовал страх, и рука невольно нащупала браунинг в кармане, пока машина медленно проползла мимо пешехода.

— Волк, настоящий волк, волком и смотрит! – пробурчал он в бороду.

Ваганов теперь действительно был волк. Волком его сделали годы войны и Ледяной поход. Он и его товарищи давно уже стали удивляться, если их за весь день никто не обстрелял, и не приходилось без боя брать ночлег в деревне.

Выработался даже свой жаргон. «Плюнь на него!» значило «Убей его!».

Они так привыкли к переходам, что Камчатка, Северный полюс и Гималаи, – все было – рукой подать.

Сейчас Ваганов пересекал Монголию, пробираясь в Китай. Все уже было потеряно, а в душе что-то говорило, что есть и другая жизнь, – без выстрелов и крови.

И эта женщина, которая только что пронеслась мимо него с жирным штатским, показалась ему олицетворением той, другой жизни, жизни полной удовольствий и дурманящих ночей…

Кандауров также пересекал Монголию, пробираясь с деньгами и женою в безопасный Китай.

Он сам управлял машиной и избрал этот необыкновенный маршрут, чтобы подальше быть от всяких отрядов.

Вечером того же дня Ваганов нагнал хмурого, как туча, Кандаурова. Автомобиль стоял на холмике у русла, через которое раньше переезжали без всякой помехи, а теперь нечего было и думать о переправе: мутные струи наполняли русло и, кружась, несли белую пену и стволы деревьев, занесенных Бог знает откуда. Видимо, на верховьях выпали сильные ливни.

— Куда путь держите, молодой человек?

— На восток.

— А сами откуда?

— С запада.

Кандауров замолк и решил не смыкать глаз ночью: зарежет прохожий. Завтра, наверное, вода на убыль пойдет…

Ваганов отошел в сторону, погрыз сушеной баранины и лег, завернувшись в шинель.

Утро принесло путникам сюрприз – они оказались на острове. За ночь прибывающая вода где-то прорвала берег и широким, бурлящим рукавом отрезала им отступление.

II

Поторопился, видно, Кандауров; слишком уж понадеялся на скорость переезда к знакомым юртам и не прихватил провизии.

В следующий полдень Ваганов убедился, что его спутникам нечего есть.

Первый раз он подошел к ним и предложил остатки сушеной баранины, которая тут же и была съедена.

Женщина нашла, что Ваганов недурен, только немного дик.

Кандауров очень хорошо понимал взгляды, которые бросал на нее Ваганов, и между обоими мужчинами сразу установилась скрытая ненависть.

Прошли еще день и ночь, а вода и не думала убывать. Голод царствовал на холмике, и каждый по-своему относился к нему… Привыкший к изысканным блюдам, Кандауров пожелтел, как дыня осенью, и чувствовал невероятную злобу. Глаза женщины стали глубже и, казалось, горели на ставшем мраморном лице.

Только Ваганов как будто не чувствовал голода. Привыкший к голоду и холоду организм бережно расходовал энергию, которой много было в сухих мускулах юноши. Он был спокоен, ибо смутно чувствовал, что небеса дают ему в руки карты в той игре, где ставкой служила женщина, к которой тянулось все его изголодавшееся по ласкам существо.

Он стал весел на четвертый день, когда оказалось, что новый вал наводнения прокатился по реке.

Теперь он знал, что началось «дэрби» его жизни – состязание в выносливости с этим старым мешком жира. Кто выживет, тому… «Ты пожил, а я – нет; уступи ее мне!», – хотелось ему крикнуть, но молча и со стиснутыми зубами, ждал он событий…

Вдруг новая мысль обожгла его – она могла умереть прежде!..

И тогда началась работа. Он вырвал клок своих волос и смастерил из них небольшую петлю. Эту петлю укрепил на конце своей дорожной палки. С нетерпением дикаря он целый день стоял по колено в воде: не подвернется ли пескарь или червеобразный вьюн.

Безумными глазами Кандауров следил за ним, но ничего не попадалось. Тогда Кандауров впадал в забытье рядом с женщиной, и в кошмарных снах видел дымящиеся блюда и хлебы… хлебы…

Когда наступила ночь, женщина открыла глаза, – Ваганов тихо дергал ее за руку. Приложив палец к губам в знак молчания, он протянул ей горсть крошечных рыбешек – сырых, но предварительно посыпанных солью. Жадно она проглотила их, и на руку Ваганова упала горячая слеза.

Ваганов был честен, ни одной рыбки он сам не проглотил. Правила состязания были соблюдены, и, стало быть, игра была честная – а ведь судороги сжимали его внутренности при виде пищи.

Так продолжалось еще два дня. Затем Кандауров вспомнил о браунинге. Раздался сухой треск, и с пробитым виском он рухнул на землю – нервы не выдержали!

Это были кошмарные дни.

Но небеса, видимо, жалели дикаря, не видевшего радостей жизни, и в петле Ваганова затрепетала трехфунтовая щука.

А потом спала и вода, и в одном монгольском стойбище поднялся переполох: во весь опор прискакал пастух и рассказал, что в степи он видел мчащуюся телегу без лошадей, а этой телегой управляла сама смерть, потому что это не мог быть человек, – он был весь кости и кожа, только в глазных впадинах горели глаза…

Это был Ваганов, который выигрывал свое «дэрби».

Он подходил к старту, за которым начинались та, другая жизнь и дурманящие ночи…

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. №9. С. 6-7.

ИГРА С РОКОМ

I

Не нужен… Абсолютно никому не нужен!..

В этот момент Рогов действительно твердо был убежден, что он не нужен ни-ко-му.

Если бы были деньги… Ну тогда – совсем другое дело! Но денег не было, не было и работы, а вдобавок – он с утра еще не ел.

Владивосток времен доживавшего свои дни Меркуловского правительства шумел и волновался. Но шум и суета проносились мимо Рогова, совершенно не задевая его: он был лишним в этом городе.

Странно все-таки: он, человек с образованием, здоровый, молодой, и вдруг – без гроша в чужом городе! Абсурд какой-то!

А ведь – все живут, все что-то делают…

Возвращаться на шумные улицы Рогову не хотелось. Было мучительно проходить мимо витрин гастрономических магазинов: раздражающе действовали и выходящие оттуда покупатели со свертками в руках, и запах.

Нет, это положительно – приключение, хотя и неприятное! Нужно пережить его как мужчине: голову выше!.. смотри в оба! Где тут шествует Его Величество случай!?

Ждать случая?.. Но ведь можно сдохнуть под забором от голода: завтра сил у него будет еще меньше… Уж не пойти ли самому навстречу случаю?

Рогов решительно зашагал по направлению к вокзалу. Он обошел его стороной, перелез через забор и очутился между рядами товарных вагонов. Там он выбрал для себя место и терпеливо стал ждать.

Ждать пришлось чертовски долго, пока, наконец, в наступивших сумерках летней ночи на вокзале прозвучал третий звонок, и чудовище со сверкающими огненными глазами стало быстро приближаться к нему.

Колеса стучат, гремят… Струя воздуха и сухой пыли в лицо… Изо всех сил Рогов бежит несколько шагов рядом с поездом… Прыжок!.. – и он уже висит на поручнях. Оттуда – быстро на крышу вагона. Сидит и чувствует себя победителем: все-таки, он едет, и это ничего не стоит!

Куда?.. А не все ли равно?!

Небо заволокло тучами. Поезд грохочет в мрачной темени, несясь по

прочерченному сталью пути. Где-то далеко-далеко в стороне светится одинокий огонек.

Глядя на него, Рогов вспоминает, как в дни своего благополучия он наблюдал такие огоньки сквозь зеркальное стекло вагона: они казались ему таинственными, манящими… Волнующей тайной звали к себе… Бывали моменты, когда безумно тянуло выскочить из поезда и двинуться к этим огням…

Конечно, всегда сдерживался.

Но что же удерживает теперь? Почему не сумасбродничать, когда терять нечего и благоразумие ничего не дает?

Для судьбы, для рока, это будет совершенно непредвиденным ходом в игре!

Этот рок почему-то представлялся Рогову в виде усталого длиннобородого старика, который бесстрастно, автоматически, все одними и теми же ходами, двигает человеческие пешки по доске жизни.

— Старик будет озадачен! – проговорил Рогов вслух и почувствовал при этом прилив энергии. Словно где-то внутри раскрылись какие-то таинственные ее хранилища.

На крутом повороте поезд замедлил ход. Рогов спустился на подножку и оттолкнулся ногами вперед.

Полет… Удар об откос… Несколько невольных кувырков в воздухе… Поезд с оглушительным шумом проносится над ним и исчезает…

Тишина. Легкая, свежая струя воздуха и шелест высокой травы. Стеною стоит трава; виднеются неясные очертания кустов, а над ними, вдали, – огонек.

Человек, вздумавший озадачить рок, неожиданно быстро и решительно двинулся на эту стену, и она сомкнулась за ним…

II

Путешествие в темноте по траве и кочкам уссурийской равнины оказалось долгим и трудным. Вдобавок, в ночной темени угрожающе стали вспыхивать голубые молнии, и глухо загремело. Стал накрапывать дождь.

Весь уже мокрый от дождя, Рогов обходил какие-то бугры, исцарапался, пролезая сквозь кусты, и вдруг уже совсем близко увидел длинное, низкое, ярко освещенное здание.

Подходя к нему, Рогов в первый раз за этот день почувствовал смутный страх. Страх еще усилился, когда, заглянувши в освещенные окна, он не увидел внутри дома ни одной живой души.

Молчаливый дом стоял загадкою, и страшно было решиться нарушить его зловещую тишину. Но все же. Надо было что-то предпринимать.

Минуту он колебался…

— Эх, будь что будет!

С опаской он подошел к окну и постучал… – никакого ответа!

Тогда Рогов принялся стучать во все окна по очереди, но с тем же результатом.

Тогда шагнул к двери и решительно толкнул ее – она открылась без всяких усилий.

Рогов быстрыми шагами прошел темную кухню и толкнул другую дверь, но тут же отшатнулся назад: на грубо сколоченном столе лежал громадный мужчина с черною всколоченною бородой и такою же копною волос. Он был покрыт простыней и, несомненно, – мертв.

Прошло несколько секунд, прежде чем Рогов сумел овладеть собою, но совершенно освободиться от чувства страха не смог. Мертвец был жуток… Особенно страшен был оскал крепких белых зубов и подобие злой улыбки на потемневших губах.

В это время Рогов услышал глухой шум в задней комнате, – будто кто-то баррикадировал дверь, – бросился туда и очутился перед дверцею небольшого чуланчика.

Шум стих… Рогов толкнул дверцу, послышался грохот упавшей скамьи, еще чего-то, и все это покрыл полный дикого ужаса крик…

Рогов увидел женщину… Она стояла в самом углу чулана, закрыв лицо руками, и продолжала кричать.

Рогов не мог слышать этого нечеловеческого беспрерывного крика. Он сказал:

— Что вы кричите? Я же не вор, не разбойник!

Крик внезапно оборвался. Она, задыхаясь и дрожа, отняла руки от лица и пытливо и долго всматривалась в лицо Рогова. Тот спокойно выжидал.

— Откуда вы?

— Из города.

— Слава Богу! Вы приехали, чтобы помочь мне? Значит, тетя Аня так быстро получила мое письмо! Ну, слава Богу, – сказала она взволнованным голосом и перекрестилась.

Рогову вдруг стало неудобно: его явно принимали за кого-то другого. Он тут же решил, что не испортит ночного приключения бесчестным поступком. Он не станет обманывать это дрожащее существо с такими большими, доверчивыми глазами.

Он выпрямился. Он даже стал галантен:

— Я не хочу вас обманывать, сударыня! Никакой тети Ани я не знаю и о письме мне ничего неизвестно!

— Так кто же вы? – она опять испуганно, с отчаянием, смотрела на него.

— Во всяком случае – честный человек, который вам не намерен причинить ни малейшего зла и притом… голодный! – закончил Рогов со смущенной улыбкой.

Кажется, эта улыбка пересилила недоверие женщины. Она помолчала, подумала, и слабое отражение такой же улыбки промелькнуло у нее на губах.

Она предложила ему пройти за нею в кухню, там достала ужин и, вернувшись в столовую, накрыла на стол.

Рогова от себя она не отпускала ни на шаг, пока ходила в кухню и обратно.

Он понял, что мучительный страх преследовал женщину повсюду.

Ужиная, он успел вкратце рассказать о себе, о главных этапах жизни, приведшей его случайно в ее дом.

Она слушала внимательно, изредка бросая боязливые взгляды на дверь, ведшую в комнату с мертвецом, как вдруг оглушительный удар грома потряс дом, зазвенели осколки рассыпавшегося оконного стекла, и невероятный гул катился и катился не смолкая с края на край небосвода.

Дико вскрикнув, с безумием в глазах женщина бросилась к Рогову, обхватила его руками, прижалась и, всхлипывая, кричала:

— Он!.. Он!.. Спаси!.. Спаси!..

— Кто «он»? От кого спасать? – прошептал растерявшийся Рогов, придерживая ее руками.

— От него! От мужа… Я сейчас видела его лицо в окне… Два года. Два года поедом ел он мою жизнь… Держал взаперти… Сказал – и после смерти придет за мной!

Смутные догадки в мозгу Рогова сформировались в одно целое, и драма этой маленькой женщины стала ему понятна до конца.

Короткие, резкие удары грома за стеной еще повторялись.

Он держал в руках вздрагивающее тело, нежно гладил свободной рукой по ее обнаженному локтю, по волосам, стараясь успокоить, как некогда – свою маленькую сестренку.

И эта женщина казалась ему одиноким, испуганным и обиженным ребенком: у нее были детские глаза и наивное личико ребенка.

Дождь за окном лил, как из ведра, и журчал по стокам. Под этот монотонный шум женщина, плача и всхлипывая, рассказывала страшную повесть своей жизни, полную черной тоски, а временами – холодного ужаса.

Рогов молча, не задавая вопросов, слушал страшную повесть о женщине-ребенке и диком ревнивце-муже, одержимом к тому же странными наклонностями…

Казалось, даже не ему она рассказывала, а кому-то третьему; жаловалась невидимому судье…

Рогов узнал, как заболел муж; как он предчувствовал свою смерть; запретил ей покидать дом и сам отправил единственную работницу, старую Марфу, в поселок – заказать гроб. Еще он узнал о диких угрозах умиравшего ненормального человека и, наконец, понял весь ужас

одинокой, измученной жизнью и до смерти напуганной женщины.

Долго она говорила при шуме дождя, будто не замечая Рогова, не чувствуя его присутствия и в то же время доверчиво прижимаясь к нему, и ловя каждое ласковое прикосновение руки.

Нежность и глубокая жалость запали в сердце Рогова. Все ласковее и нежнее гладили руки рассыпавшиеся под руками кудри, и все тише становился голос женщины. Вот уже и замолкла. Еще несколько минут – и она спала, положив голову ему на колени.

«Спи, бедное дитя, спи! – мысленно проговорил Рогов. – Спи, буду сон охранять я твой!», – промелькнул в голове отрывок из старой, давно забытой колыбельной песни.

Так сидел пронизанный нежностью никому не нужный Рогов, все-таки оказавшийся нужным этой маленькой женщине с большим горем.

Он был горд! Никому бы он не дал ее в обиду! Он стал счастлив, когда увидел, как исчезла печать мучительного страха с молодого лица, как мерно колыхалась грудь…

III

Когда наступило утро, она проснулась и недоуменно посмотрела в глаза усталому человеку, на коленях у которого проспала всю ночь.

Она вскочила в смущении. Потом они молча посмотрели в глаза друг другу и, может быть, кое-что в них прочли. Иногда ведь так много можно прочесть в глазах…

Около полудня вернулась Марфа с гробом, а спустя короткое время громадное тело было убрано со стола в гроб. Похоронный кортеж был очень мал: в нем участвовали только две женщины и Рогов.

Когда с похоронами было покончено и все вернулись в дом, из него уже исчез страх. Они разбрелись по комнатам и мирно провели ночь.

Потом прошло еще несколько незаметно промелькнувших в работе дней.

Из города приехала тетя Аня с каким-то дальним родственником маленькой хозяйки. Он принял на себя руководство всем хозяйством, привез работника-китайца и стал распоряжаться как глава дома.

С тех пор Рогов стал плохо спать по ночам, несмотря на усталость. Один Бог знает какие мысли роились у него в мозгу… Наконец, он принял решение – он уйдет. Тут есть люди, которые поддержат маленькую хозяйку… Надо дать ей опомниться, прийти в себя…

Дело было вечером, а вечер был тих и ясен, как улыбка ребенка. Поужинали в кухне.

«Ночью пришел, ночью и уйду!», – подумал Рогов и тут же объявил присутствующим о своем решении.

Приезжий заволновался, пытался уговорить его остаться:

— Рабочее время – сами знаете!

Хозяйка не проронила ни одного слова.

Когда речь зашла о расчете, Рогов категорически отказался от вознаграждения: случайно, мол, зашел, ну и помог женщине, пока родственники подоспели; в деньгах он не нуждается – свои есть. А что решил ночью уйти (тут он странно рассмеялся) – так у всякого человека свои причуды есть!

При этих словах показалось ему, что хозяйка будто бледнее стала.

Он встал, пожал всем руки и, глубоко нахлобучив шляпу на глаза, вышел. Не пошел по дороге на станцию; нет, решил уйти той же дорогой, какой пришел. Стал медленно спускаться с пригорка в волнующееся море трав и кустарников.

Не оглянулся, не видел, как маленькая женщина вышла ему вслед… О чем она думала? Может быть – ни о чем. Просто сомнамбулой она тихо шла по пригорку: уходил от нее луч света и тепла, случайно попавший в затянутый паутиной подвал. Тянутся к лучу бледные растения мрачных щелей – тянулась и она…

Но вот она прибавила шагу, почти побежала, – потому, что у нее внутри вдруг раскрылась давно созревшая почка и синим пламенем вспыхнул чудный цветок, – она любила!

Тогда она поняла и уходящего. Руки сами вытянулись вперед, и женщина побежала…

Когда высокая трава уже совсем обступила Рогова – он все-таки оглянулся; увидел бегущую маленькую фигурку и замер… Почему-то в вечерней прохладе ему вдруг стало жарко.

— Не может быть! – и тут же в душе решил, что – может…

Тогда он побежал ей навстречу.

Бегут два человека навстречу друг другу. Встретились… Душат друг друга в объятиях…

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. №30. С. 1-4, 6.

ЗОВ ПУСТЫНИ

I

Вандалов перешагнул порог и окинул взглядом привычную обстановку конторы. Однако взгляда было вполне достаточно, чтобы убедиться, что все служащие уже знали о его помолвке с дочерью хозяина.

Никто не поздравлял, – помолвка еще не была объявлена официально, – но по одному виду служащих было ясно, что новость уже известна, учтена и принята к сведению: у пухлой машинистки Силиной глаза выглядели необыкновенно сладенькими, а накрашенный рот одним углом все лег куда-то вверх, наподобие улыбки; седенький бухгалтер долго

молча жал ему руку и заглядывал в глаза, а помощник бухгалтера не садился до тех пор, пока Вандалов не прошел в свой кабинет.

В нем видели уже будущего хозяина!

Принципала еще не было, Вандалов опустился в кресло за письменным столом и задумался: чувствовалась какая-то неловкость от сознания своего нового положения. Казалось, он должен был ощущать радость! Отчего же ее не было? Почему этот день кажется ему таким же, как все предыдущие?!

Может быть, он просто устал от напряжения стольких лет труда?

Пять лет он прослужил в этой конторе! Когда первый раз он появился здесь, на нем была рваная шинель; он шатался от голода; в ушах еще звучало эхо выстрелов, а по ночам он видел во сне партизанские засады, скакал верхом по снежным полям и все стремился в какую-то смутную даль…

Просыпаясь же, видел ревевший гудками авто город, разряженную толпу и звериную борьбу за существование.

Со стиснутыми зубами он тоже бросился с головой в эту борьбу и шаг за шагом прокладывал себе дорогу вверх, пока не достиг солидного положения в конторе «Оржельский и К°».

Теперь он завершает постройку здания своего благополучия женитьбой на дочери хозяина… А она, право, неплохая девушка! Хотя…

Она очень спокойная, выдержанная! Нет – конечно, она будет хорошей женой: ведь она – вся в мать!

Даже удивительно, как Лили на нее похожа! Такая же она корректная, такая же у нее ясность спокойного взгляда…

С этой женщиной рука об руку он пойдет по жизненному пути, избегая бурь и треволнений, тихо, спокойно, все дальше и дальше…

— Куда? На кладбище?.. – язвительно спросил кто-то в глубине души.

— Проклятие!.. – Вандалов машинально трет лоб рукой. Нужно, наконец, переменить квартиру – она выходит окнами на дорогу, по которой то и дело шли похоронные процессии.

Поэтому город в последнее время кажется ему громадной фабрикой… В одном ее конце рождаются новые жизни; они регистрируются, получают ярлыки и проходят различные степени обработки, все время продвигаясь к другому концу, где их выбрасывают и отправляют на склад мертвецов…

— Георгий Константиныч, вас у подъезда ждет Лили с машиной: хочет вместе с вами подышать чистым воздухом, – в кабинет незаметно вошел Оржельский. – Я всегда говорил, что женщины нарушают правильное течение деловой жизни, – продолжал он, шутливо ворча и подталкивая Вандалова к двери.

Проходя через контору, Вандалов еще раз поймал многозначительный взгляд машинистки: «Жених!..»

У подъезда – блестящий автомобиль. Лили – в стильном платье, как нельзя лучше гармонирующем с окраской и даже с линиями изящного кадиллака, – ожидает его.

Запах пармских фиалок щекочет ноздри Вандалова, когда он прижимает руку Лили к губам.

— Ты что-то выглядишь усталым, Жорж! – участливо говорит она.

Вандалов улыбается: в первый раз она называет его на «ты».

Автомобиль плавно мчит по улице, переходящей за городом в укатанное шоссе. Вандалову кажется, что он с Лили в кадиллаке в эту минуту удивительно напоминают рекламную картину автофирмы…

Минуту он смотрит на строгий профиль Лили, на ее классические губы – хороша!!! Где-то в глубине его загорается шаловливый огонек: он обязательно поцелует ее, как только они отъедут дальше от города!

Вот – теперь! На дороге нет никого… Руки протягиваются к ней, пальцы погружаются в шелковые складки платья… Он порывисто наклоняет к ней голову и… в ту же секунду останавливается: лицо Лили выражает упрек, даже обиду; она глазами указывает на шофера.

Со стиснутыми губами Вандалов откидывается на сидение, воображая, какое глупое у него теперь лицо. Как он мог забыть, что на свете существуют приличия!..

Лили становится жаль его:

— За поворотом мы выйдем из автомобиля – тогда… – бросает она ему по-английски.

Вандалов уже овладел собою; он медленно наклоняет голову: «Решено – они едут целоваться за поворотом!.. В этой жизни все должно делаться по расписанию!»

Остановка. Вандалов галантно помогает Лили выйти из автомобиля; они идут за деревья. Там она поворачивает к нему лицо: теперь можно…

Но… уже погас шаловливый огонек, который мог превратиться в ревущее пламя…

Минуту спустя они оба со спокойными лицами ехали в автомобиле обратно.

На повороте глазам открывается затянутая сизой дымкой даль и синяя гряда далеких гор, манящих, зовущих и дразнящих воображение мужчины.

Ноздри Вандалова расширяются; он слышит зов пустыни; ему кажется, что там, за этой далью, не зная расписаний и условностей, дик и прост – живет настоящий человек… Там нежна и пламенна женщина, и все ясно, открыто и просто, как степь, как волнующее море, как песнь жаворонка, серебром звенящая в выси…

Возвратившись в контору, Вандалов нашел своего будущего тестя окутанным облаками сигарного дыма и очень, и очень взволнованным.

— Что случилось?

Оржельский молча протянул ему телеграмму из Монголии:

«Народные волнения выступления бандитов. Не хватает денег вывезти закупленную шерсть. Посылайте нарочным. Бадмалов».

Когда Вандалов читал телеграмму, в его воображении встала степь, тлеющий аргал, всадники… все то, что наполняло бурные годы его юности.

Он убедил Оржельского, что такие крупные суммы не могут пересылаться с обыкновенным служащим, что положение, видимо, очень серьезно и что поэтому должен ехать он сам.

Оржельский пожал ему руку:

— Я рассчитывал, что вы это скажете и надеялся на вас. Правда – это очень огорчит Лилю, но… другого выхода нет!

II

Гремя, стуча и сверкая залитыми электричеством окнами в наступивших сумерках летнего вечера поезд из Харбина на запад.

Вандалов откинулся на спинку сиденья купе и неожиданно для себя облегченно вздохнул: он почувствовал себя странно-свободным. Может быть, так чувствует себя рабочая лошадь, с которой вечером снимут сбрую и выпустят на зеленый луг.

Чем дальше становилось от города, тем больше росло это ощущение.

Он нагнулся и любовно пощупал тюк, завернутый в порт-плэд: в нем лежал его старый походный мешок с принадлежностями для путешествия верхом и наган, тщательно сохранявшийся им эти долгие годы.

Ночью он высунулся из окна и долго вдыхал свежий воздух степи.

Зловещие слухи о волнениях в монгольских степях поползли ему навстречу на стоянках поезда.

На конечной станции он с трудом достал автомобиль, который доставил его к обеду второго дня в монгольский поселок с несколькими китайского типа постройками посредине и далеко раскинувшимися юртами вокруг.

Там было все тихо, спокойно, и никто никуда не торопился. Отзвуки далекого города одним за другим гасли в сознании Вандалова; он чувствовал только ширь и простор овладевшей им пустыни.

— Бадмалов! Где Бадмалов? – спрашивал Вандалов каждого встречного монгола.

Большинство не понимало его. Наконец, подросток с широким, как сковорода, лицом подвел его к отдельно стоявшей юрте и загорланил по-монгольски.

Изнутри ответили, а затем оттуда выскочил юноша в черных шароварах и в подпоясанной кожаным ремнем рубашке.

— Нет, черт возьми!.. Это же – девушка!..

Изумленный Вандалов сделал шаг назад. Несомненно – девушка со смуглою кожею, монгольскою складкою глаз, но с удивительно правильным овалом лица!

— Вам нужно Бадмалова? Вы – Вандалов?

Получив утвердительный ответ, она быстро заговорила:

— Я – дочь Бадмалова. Меня зовут Хада. Отца нет дома. Он собрал всех мужчин и уехал далеко в степь – собирать ваш обоз. Ехать к нему – бессмыслица: вся степь в том направлении кишит разными отрядами. Вам придется возвращаться, пока еще сюда не нагрянул какой-нибудь отряд!

— Тем не менее я все-таки поеду!

— Вы поедете?! – девушка окинула взглядом его всего, с кончиков изящных ботинок до модного галстука. Вандалов прочитал в ее глазах совершенное презрение к своей особе.

— Вы когда-нибудь сидели в седле? Ведь вам придется целые дни проводить на лошади, и… в вас будут стрелять! – произнесла она так высокомерно, что Вандалов окончательно убедился, что его не считают мужчиной.

— Я питаю слабую надежду как-нибудь удержаться в седле. Достаньте мне только лошадей и проводника! – сказал он, еле сдерживая смех.

Девушка, видимо, была озадачена.

— Хорошо, – сказала она, – лошади будут готовы через час, а проводником поеду я сама: все мужчины уехали с отцом.

Через час переодетый по-походному Вандалов вышел из юрты и направился к приготовленным коням. Тот же подросток с широким лицом подвел к нему старого, смирного коня. Вандалов пнул ногой и лошадь, и подростка, обрушившись на него с шутливой бранью.

— Я еще не умер! – кричал он. – Почему мне подают лошадь, на которой везли хоронить твоего прадеда?! Живо приведи мне вон того чалого жеребца!

Подросток побежал, и Вандалов на глазах изумленной Хады собственноручно переседлал коней. Он легко вскочил на малообъезженного жеребца; тот вздыбил от неожиданности, а затем понесся стрелою по степи.

Хада догнала его уже за поселком, где Вандалов проверял аллюры своего коня.

— Теперь я понимаю, что вы могли иметь «слабую надежду» удержаться в седле, – сказала Хада, со смехом протягивая ему руку.

С этого момента лед между ними был сломан.

Хада доверчиво вступила в разговор и рассказала, что ее отец имеет большие стада в степи, что ее мать была русская, что она училась в русской школе…

Жара сменилась вечернею прохладою, и наступила ночь, а они все продолжали скачку по залитой лунным светом степи.

Временами Вандалову казалось, что он убегает от гремящей колесницы цивилизации и мчится назад, в прошлое человечества.

Он смотрел на скакавшую с ним рядом девушку и думал, что, может быть, тысячу лет тому назад его предок так же скакал по этой степи рядом со своею подругою, готовый драться со всеми, – с людьми и зверями. Эй! Быстрее, быстрее, кони! Дальше от счетных книг и железных дорог!.. Как хорошо!..

III

Конный разъезд, высланный отрядом повстанцев, медленно двигается по степи. Он состоит всего из четырех всадников. Едут молча, но Юлаю не терпится.

— Моя бабушка всегда говорила, что в такие лунные ночи шайтан носится по степи на вороном коне. Если он встречает человека, то выпивает у него кровь. Правда, что шайтан так любит кровь? – обращается Юлай к другому всаднику.

Тот утвердительно кивает головой:

— Правда!.. На этот случай всегда надо иметь при себе кусочек кала живота Будды – тогда не тронет!

— Дурачье! – оборачивается к ним монгол, одетый полу-европейски. Он раньше служил в красной армии и даже учил политграмоту. — Нет никакого шайтана!

Остальные смеются:

— Ха-ха-ха! Нет шайтана!? Вот чудак-человек! А кого видел Цадип в ту ночь, когда отправился красть баранов?..

Тут говорящий замолкает. Все прислушиваются: через гряду волнообразных холмиков к ним явственно доносится топот копыт.

Трое переглядываются, – шайтан ли? – а четвертый выносится вперед, на бугорок, и вскидывает винтовку.

— Стой! Кто идет? – кричит он по-монгольски.

Вандалов и Хада, проезжавшие внизу, только вытянули коней плетьми и еще быстрее понеслись вперед. Ночную тишину прорезал одиночный выстрел.

Вындалов услышал знакомый напев пули и решил, что все идет отлично: ему давно не хватало такой скачки, стрельбы и валькирии с раздувающимися ноздрями и блестящими глазами, птицей летящей рядом с ним по равнине!

Целый залп позади. Лошадь Хады упала со всего размаха, спутавшись в один клубок со всадницей. Четверо всадников перестали стрелять и во весь дух мчатся к ним.

Вандалов подскакал к девушке, помог ей выбраться из-под коня. Она забралась к нему сзади на круп лошади. Обхватила его руками, и они опять помчались вперед.

Молотит Вандалов плетью коня. Нет – не уйти чалому под двойной тяжестью! Настигают!.. Дробный топот за спиною слышится все ближе…

Пальцы Вандалова нащупывают шершавую рукоять нагана. Он круто поворачивает коня навстречу погоне; наган выплевывает огоньки: первый, второй, третий…

Что за чудо?! – земля волной поднимается и бросается прямо в лицо Вандалову… Он уже лежит на ней, и нет кругом никого и ничего, и мрак застилает все…

Маленькая, смуглая ручка выхватила револьвер из ослабевшей руки Вандалова и неторопливо выпустила, одну за другой, оставшиеся пули…

Странное время настало для Вандалова.

Он чувствовал, что с ним что-то делают, везут куда-то… Иногда он видел сквозь туман смуглое лицо девушки, смотревшей на него с немым отчаянием. Но чаще он погружался в черный мрак, в котором то и дело вспыхивали огни.

Тогда к нему являлись двое, – какие-то бесформенные, страшные существа, – и мучили его…

Они надевали ему на голову раскаленный обруч и жгли его; и было много огня… слишком много огня…

В такие моменты он начинал стонать; поднимал руки и пытался сбросить жегший его обруч. Он уже знал, что ему на помощь тотчас же придет девушка… Она отводит его руки; обливает холодной водой, дает пить…

— Да, да! Все – она!..

Потом настал день, когда он открыл глаза, увидел незнакомые стены юрты и узнал Хаду, сидевшую у изголовья. Он хотел что-то сказать, но девушка испуганно замахала руками и закрыла рот ладонью.

Он улыбнулся и спокойно заснул. На этот раз чудовища оставили его в покое и исчезли окончательно.

— Хада!

Согбенная фигура, видимо, заснувшей около него девушки, выпрямилась. Спокойное лицо больного и его слабая улыбка наполнили ее радостью.

Она пыталась протестовать против разговора, но все-таки рассказала, что они теперь – в юрте отца; что ей пришлось два дня везти раненого Вандалова привязанным к седлу; что отец успешно отправил большую часть обозов, благодаря деньгам, которые привез с собой Вандалов. Одним словом, все было хорошо, только… только бы ему поправиться!..

Рука Вандалова легла на смуглую руку девушки. Голос Хады внезапно оборвался. Вандалов взглянул на нее – Хада с застывшим лицом

смотрела на его руку, где блестело обручальное кольцо…

IV

Силы быстро возвращались к Вандалову, но Хада исчезла из его юрты. Лишь иногда она справлялась о его здоровье, и он ни в чем не терпел недостатка.

Был уже конец лета, и небо приняло бирюзовый оттенок. С последним обозом снялись и юрты; навьюченные на коней – они были отправлены в поселок.

Бадмалов уехал еще раньше.

Вандалов и Хада замыкали шествие обоза. Она была весела и смеялась ясному небу и солнцу.

— Это та самая гряда холмиков, где я упал? – спросил Вандалов Хаду.

— Та самая!

— Давайте проскачем туда.

Она повернула коня.

— Кто скорее?! – гикнула и понеслась.

У гряды холмов широко разбрелись овцы. Их пас старый пастух в порыжевшем малахае и засаленном овчинном тулупе.

Когда Хада и Вандалов проскакали мимо него – пастух охотился в своем тулупе за насекомыми и не обратил на всадников ни малейшего внимания.

Кони остановились за бугорком и долго там простояли. До старика донеслось всего несколько слов:

— Хада, почему твои губы жгут, как огонь?

— Наверное, потому, что я никогда не жила в большом городе! Ты больше туда не поедешь?

— Нет, я останусь здесь, и у нас в юрте не будет ни часов, ни календаря, ни счетных книг! Только ты и я…

Когда пастух проковылял на то место, откуда он слышал голоса, там никого не было. Но он нашел на земле блестящий предмет – золотое обручальное кольцо…

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. №36. С. 8-10, 12.

ДВОЙНОЙ СЛЕД

I

Белый, пушистый днем выпал снег и покрыл всю грязь и отбросы, которыми был усеян крутой берег верховьев Сунгари у маленького китайского городка.

К вечеру снегопад прекратился, но небо осталось покрытым тучами; солнца не было, и в сизых сумерках наступившего зимнего вечера еще

продолжали падать редкие одиночные снежинки.

Точно под низкими сводами, странно и глухо звучали голоса разносчиков под опустившимся серым небом, а сами они – разносчики – казались до смешного неуклюжими и грязными на белом фоне снега.

Ассами стояла в темной фанзе и пристально смотрела в окно, откуда были видны заледеневшая река и фигуры пешеходов. Она еще не зажигала огня, и в комнату лился лишь тусклый, мертвенно-бледный свет умиравшего дня, отраженный снегом. Мрак полз по углам и силился затянуть голые, неуютные стены.

Да зачем же Ассами и зажигать свет, если еще она может различить двигающихся по льду людей? Вот того, который спускается с другого берега, чтобы пересечь реку, она узнала же, хоть он и далеко!

Это – Денис, вместе с которым муж Ассами, татарин Сейфулин, снимает две комнаты в этой фанзе.

Вместе – чтобы дешевле было…

«Плохо! – думает Ассами. – Муж еще не вернулся…» Денис опять первым придет и будет смотреть на нее тем странным взглядом, от которого ей то – как будто жарко становится, то – будто в груди щекочет…

Денис молод – Сейфулин стар…

Она круто отворачивается от окна и сжимает губы; гневная мысль вспыхивает в мозгу: «Пусть приходит! Мне-то что? Не буду смотреть!!!».

Сама отвернулась от окна, но воровские степные глаза поглядывали еще, и пришла Ассами к заключению, что Денис нарочно быстро идет: торопится пораньше домой!

Она протянула руку к лампе, но тот час же оторвала ее: лучше не зажигать… Если зайдет речь (а ей кажется, что речь зайдет), то лучше – в сумерках: не так стыдно смотреть в глаза… Темнота не выдаст ее, и она так отбреет его, что другой раз не полезет!

Ей хорошо слышно, как Денис в сенях отряхивает с себя снег, обметает веником сапоги – чик-чик…

Дверь открывается, и в комнату, вместе с Денисом, проникает холодная струя. Она докатывается до Ассами и заставляет ее поежиться.

Денис молча бросает на кан связку шкурок. Он теперь, как и Сейфулин, понемножку скупает пушнину; раньше «шилом-мылом» вразнос торговал.

Потирая озябшие руки, он делает несколько кругов вокруг чугунной печурки, стоящей посреди комнаты, а затем останавливается около женщины.

Она нагибается к дровам, подкладывает их в печку и, выдержав длительную паузу, равнодушным голосом спрашивает:

— Ну что?

Ответа нет. Ассами смотрит в раскрытую печную дверцу и боится поднять глаза: она увидела, как позади нее, при красном свете пылающих

углей, взметнулись на стене две громадные руки; она знает, что эти ее сейчас обнимут и крепко-крепко прижмут к себе.

Уйти бы сейчас… Нет! Ну пусть будет это на секунду! Только на одну маленькую секундочку, а потом она вырвется и убежит…

— Уйдем, Ассами! Уедем в Харбин, вместе начнем новую жизнь! Сама знаешь – люблю…

Голос Дениса разбил оцепенение Ассами – вырвалась!

— Ничего я не знаю! Только я – не такая… И не следует вам этого говорить, а мне – слушать. И то уже муж заметил, как вы смотрите на меня, спрашивал… Никуда я не пойду: сироткой меня муж взял да брата калеку долгие годы кормил…

Выкрикивает Ассами в сумрак чуждые слова и сама дивится – не так бы она сказала, не так…

И вдруг визгливо, по-бабьи, выпаливает:

— Все вы меня обижаете!

Плечи ее начинают трястись от рыданий…

Дверь с шумом раскрывается, и вошедший Сейфулин молча обводит взглядом мужчину и женщину. Они неловко отскакивают друг от друга.

— Чего же вы не зажигаете огня? – медленно и глухо спрашивает Сейфулин.

И стал плохо спать с этого дня старый татарин, ибо известно, что только язык сплетницы и сердце ревнивца никогда не знают покоя.

II

Старый огородник Лао-Чжао никогда не ошибался насчет погоды. Стоило ему только выйти на базарную площадь, пощупать небо выцветшими глазами и сказать: «Будет буран!», – как все приезжие из деревень крестьяне уже начинали торопливо собираться домой.

И буран налетал… Несся он сперва над морями – Охотским, Японским; вздыбливал по пути зеленоватые воды, нагромождал одну на другую громадные глыбы льда многосаженными торосами, а как достиг маньчжурских сопок – взвыл волком и засвистал Соловьем-Разбойником в ущельях.

— У-у! – гудел он, возносясь на промерзшие каменные кручи, и – ш-ши! – со шварканьем гнал вниз по скатам тучи снежной пыли и целые оравы бесформенных, ежесекундно меняющих свой облик белых химер.

Буран настиг Дениса и Сейфулина по дороге домой с китайского торжка в отдаленной деревне, где они оба пытались по дешевке скупить шкурки.

Залепило снегом треух Сейфулина и мохнатую папаху Дениса. Белые, как два столба снега, они еле двигались по узкой пади, где уже не было заметно и признаков дороги.

Розно, друг от друга недалече, брели оба. Оборотился Сейфулин к Денису и закричал:

— Нету дороги!.. Пропала дорога-то!..

Стараясь перекричать рев бурана, Денис ответил:

— Я заберусь на сопку… Увижу жилье или дорогу, – махну тебе рукой, – ты тоже полезай!

Сейфулин уселся ждать на каменистый выступ у подножия сопки; достал трубку и ухитрился закурить. Курит, время от времени поглядывая на Дениса.

Вот Денис уже на полдороги – быстро карабкается вверх.

— Молод! – думает старик и тут же вспоминает… – Ох, нехорошо!..

Посмотрел еще раз наверх – и застыл: увидел, что чуть ли не у самой вершины Денис нелепо взмахнул руками и кубарем покатился вниз с уступа на уступ, пока не исчез в глубокой морщине горного ската.

Долго старик сидит в оцепенении. Клином вытянувшись по ветру, дрожит его узенькая бородка, а сам – ни с места!

Почему он не торопится оказать помощь товарищу? Отчего не спешит?

Пошел все-таки старик! Медленно, осторожно, точно подкрадываясь к зверю, стал карабкаться к покрытому редким кустарником ребру морщины. Раздвинул руками кустарник и осторожно заглянул в русло дождевого потока на дне морщины, куда упал Денис.

Заглушенные ямой, донеслись к старику крики:

— Сейфу-у-улин! Помоги-и! Нога слом… – порыв ветра заглушил остальное.

Кричащий, по-видимому, не заметил головы старика в кустах.

Старик медленно отполз назад, на старое место, и еще раз закурил. Он жадно втягивал дым крепкой до одури «маньчжурки» и думал только одну думу…

И чем больше он думал, тем темнее становилось его лицо.

— Воля Аллаха! Воля Аллаха! – бормотал он. – Он наказывает воров чужого счастья!

Долго сидел старик, как вдруг, в промежутке между двумя порывами ветра, к нему донеслось покрикивание и скрип арбы. Он всмотрелся в мутную сетку снега и стал различать в пади поселянина с арбой.

Сейфулин встал и пошел ему навстречу.

— Как называется это место? – спросил он возницу.

— Лунь-тань-шань (гора Драконова озера)!

— Подвези меня до города!

Возница очистил ему место. Итак, воля Аллаха: один останется, другой – погибнет…

III

Хитрыми узорами ткется жизнь в великом сплетении причин и

последствий. Завязываются в ней узлы не человеческими руками и не человеческими руками разрубаются…

Едва Сейфулин переступил порог своей комнаты, как следом за ним явился соседний лавочник.

— Моя завтра Харбин ходи; Дениса нада. Его Харбин товара купи! – ломаным русским языком сказал он.

— Не знаю я, где Денис. Буран был… дорогой друг друга около Лунь-тань-шаня потеряли! – ответил смутившийся от неожиданности Сейфулин.

Лавочник покрутил головой и ушел. Ассами насторожилась… Встревоженная, она занялась ужином, все время настороженно ожидая услышать знакомые шаги в сенях.

Зная мужа как свои пять пальцев, она была удивлена его поведением. Он истуканом сидел за столом, все время курил и иногда подолгу посматривал на жену колючим, жестким взглядом. Потом сходил в лавочку за бутылкой крепкой китайской «ханьши» и почти всю ее за ужином выпил. Раньше этого не случалось.

Страшное подозрение закралось в душу Ассами и все усиливалось.

А когда пьяный муж вылез из-за стола и, глядя помутневшим взором на жену, вдруг пришел в ярость и ударил кулаком по столу со словами:

— У, стерва! Этого больше не будет! Не бу-у-удет!!! – тогда она уже поняла, что случилось что-то страшное.

Сейфулин, пошатываясь, отошел к кану, повалился на него и мгновенно уснул в тяжком хмеле.

На постоялый двор, где остановился привезший Сейфулина поселянин, явилась Ассами в сопровождении соседа-лавочника.

Тихая, робкая Ассами была неузнаваема: она настойчиво и деловито расспрашивала поселянина о месте встречи с ее мужем. При деятельной помощи лавочника, несмотря на поздний час, она тут же подрядила этого крестьянина и еще несколько человек.

Буран уже пронесся, и темно-синее, усеянное звездами небо было чисто и спокойно, когда небольшая кучка мужчин и одна женщина выехали за городские ворота по направлению к Лунь-тань-шаню.

Леденящий холод лился из бездн этого синего неба, но женщина не замечала его. Ей представлялись весы – две чашки весов… На одной – ее молодость, лучшие годы жизни, отданные старому пожившему человеку; на другой – жизнь без согревающей ласки и крохи, которыми кормился ее бедный брат-калека.

Было ли тут равновесие? А если было, то зачем бросают на весы ненужное преступление? Ненужное – ведь она отказалась же?!

Нет! Теперь она выровняет! Выровняет… – если только не поздно!

Тяжел был сон старого татарина. Он видел во сне гору.

Лето будто… Большая она – эта гора! И вся, вдоль и поперек, изрезана складками и морщинами. Все зловеще тихо кругом… Он стоит перед этой горой и, насторожившись, мучительно, со страхом ждет чего-то… Вот подул ветерок, и складки чуть-чуть передвинулись. Ветерок прекратился, и складки – на старое место! Но вот ветер начинает дуть постоянно, все усиливаясь, складки приходят в движение, лезут одна на другую и выстраиваются, точь-в-точь – лицо человека. Взвыл ветер, – уже не ветер, – ураган! Замелькали в воздухе крупные снежинки, завертелись снежные столбы, а гора вся трясется от безумного смеха, подпрыгивает и хохочет ему в лицо…

Бежать! – ноги не двигаются.

Просыпается Сейфулин, ворочается, опять засыпает…

Так проспал до утра и встал лишь к часам десяти.

Тихо и пусто в комнате.

— Где же Ассами? – удивленный, подождал, походил по ненатопленной, холодной комнате, и, наконец, – подошел к лавочнику.

От него вернулся серый, землистый.

Полуденное солнце застало его уже на горе Лунь-тань-шань. Он пристально всматривался в памятную морщину.

Там никого уже не было, только на снегу остался двойной след. В одном он без труда различил маленькие отпечатки ног Ассами, а о принадлежности другого – догадался.

Следы привели к месту стоянки арбы, где снег был сильно утоптан, а оттуда уже колея вела на ближайшую станцию железной дороги…

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. №44. С. 1-4.

ШЕСТВИЕ МЕРТВЫХ

В вечерней прохладе мы сидели на берегу и прислушивались к ленивым всплескам реки. Еще горел закат, но уже фиолетовая дымка окутывала дальние сопки, и черные тени стелились по долинам от скатов.

Пройдет полчаса, и на бесшумных крыльях спустится ночь.

Далеко, в больших городах в это время гремят трамваи, гудят автомобили и суетливые люди снуют по тротуарам.

А здесь, над глинистым обрывом берега, перешептывается камыш – природа говорит с человеком, и человек понимает ее.

– Это мое последнее лето здесь, – произнес мой собеседник, старый китаец Хоу.

– Разве ты собираешься покинуть это место, мой друг? – спросил я, прислушиваясь, как смутные шорохи пробегали по камышу...

– Я стар и поеду на юг: пора на покой.

– Ты хочешь покинуть огород, где выращиваешь такие сочные овощи? Разве золотоискатели с Хинганских падей платят тебе плохим песком?

Хоу протянул руку на запад, где горело зарево:

– Вечер моей жизни уже близок, и я поеду туда, где ожидают меня предки.

– Мертвые никого не ждут, Хоу; разве не все равно, где будет покоиться тело, когда отлетит дух жизни?

– Как? Но разве ты не хочешь видеть своего старого отца? Ты не хотел бы чувствовать руки матери на своей голове? Живые стремятся к очагам своих родителей – мертвые также! И даже самые бедные китайские семьи платят все, что могут, чтобы привезти своих покойников из чужих стран. Я не хочу причинить зла своей семье и приду сам, пока еще жизнь теплится в моих костях.

Возражения роем теснились в моей голове. Наудачу я выбрал одно из них:

- А откуда, скажи, Хоу, откуда известно, что мертвые желают возвратиться под родной кров?

Хоу повернул ко мне свое коричневое лицо. Оно сливалось с глинистым обрывом берега, и казалось, будто древний обветренный барельеф говорит со мною со стен буддийской кумирни.

- Ты не смеешься над верованиями моего народа, и я скажу тебе: мы знаем это, потому что мертвые сами возвращаются!

Он уставил на меня взгляд своих старческих глаз, а я сосредоточил всю силу воли, чтобы не дать дрогнуть ни одному мускулу на лице, ибо знал, что даже тень неверия замкнет уста моего собеседника.

- Ты, может быть, расскажешь мне, Хоу, как возвращаются мертвые?

Его рука описала полукруг по направлению к югу.

- Ты был в провинции Гуйчжоу? О нет, ты не был там; редкий иностранец бывает в провинции Гуйчжоу. Там нет огненных телег иностранцев... Там круты горные скаты и шумливы ручьи.

Но нигде ты не увидишь такого ясного неба, и нигде утро не дышит таким спокойствием, как в Гуйчжоу, ибо именно там, в недосягаемой высоте, находится царство мертвых, куда отлетает дух после смерти человека...

Много отшельников живет в горах, и много обителей основали там монахи ордена фа-ши: ведь там нет соблазнов, и легче человеку следовать по великому пути Дао, ведущему к истине.

Каждое лето стекается народ к этим обителям, чтобы принести свои молитвы Небесному Духу.

И, случается, смерть настигает паломника в пути.

Что делать его родственникам? Не понесешь тяжелый гроб по тропинкам, где трудно пройти даже одному. А по пятам смерти приходит тление.

Тогда приглашают монаха из ордена фа-ши.

С пением приближается к мертвому монах.

Трижды он бьет земные поклоны и трижды посылает заклинания властителю Царства Мертвых, чтобы отпустил он отлетевший дух усопшего.

Монах воскуривает душистый «сянь», брызжет священной водой в лицо усопшего – и... он встает, и члены его приобретают гибкость.

Только глаз уже не откроет мертвый, ибо на них лежит печать смерти, а ее никто из живущих не в силах снять.

Затем впереди становится родственник, а за ним – монах с курительной свечой, и они идут: мертвый среди двух живых.

Не пойдет мертвый на восток, не пойдет и на запад, а пойдет только по дороге к родному дому.

И так идут они много дней. Когда провожатые подкрепляют свои силы сном и пищей в деревенской харчевне, мертвый стоит у ограды и ждет, ибо он хочет видеть своего старого отца и чувствовать руку матери на своей голове. Но вот и родной дом! Горе, если с плачем выбегут навстречу мертвому родные: в прах рассыплется его тело.

Без слез нужно подвести его к приготовленному гробу, и здесь уже успокоится пришелец навеки: он у родного очага...

Хоу замолк. Молчал и я.

Уже спустилась ночь.

Туман клубился на дальних скатах, и призрачная пелена стелилась по потемневшей реке. И бездонное, величественное небо, и уснувшая земля дышали тайной ночи...

Мой скептический ум стушевался перед темным ликом природы – хранительницы тайн жизни и смерти.

И в этот момент я верил так же, как Хоу, что в далекой горной области и поныне мертвые шествуют среди живых, чтобы почувствовать руку матери на своей голове...

Впервые опубликовано: Хейдок А. Звезды Маньчжурии. Нью-Йорк, 1934.
Печатается по: Хейдок А. Звезды Маньчжурии. Мистические истории. М., 2001. С. 188-194.

Проза

МАНЬЧЖУРСКАЯ ПРИНЦЕССА

I

Когда меня, как единственного друга художника Багрова, спрашивали, почему он так внезапно исчез из Харбина и где он теперь, я отвечал пожатием плеч и коротким: «Не знаю», – а в большинстве случаев отделывался молчанием, потому что Багров категорически запретил мне говорить об этом до назначенного им дня... Впрочем, меня скоро и совсем перестали спрашивать о нем; память об исчезнувшем подчас бывает недолговечнее тени бегущего по небу облачка: промелькнуло темное пятно – и нет его... Я даже улыбнулся, хотя боль и искажала мою улыбку. А однажды она стала похожей на плач, когда один из моих знакомых сообщил, что видел Багрова в Шанхае – в баре... Он был будто бы в элегантном костюме и белой панаме...

Я улыбнулся, чтобы не заплакать: только я один знал, что Багрова нет в Шанхае, не было и никогда там не будет, что он уже подошел к той грани, за которой теряется след человеческий и начинается тропа вечности...

Но я не мог говорить об этом! Не мог вплоть до сегодняшнего дня, когда я, наконец, получил то, чего ожидал со страхом, все еще в глубине души надеясь, что земная жизнь, полная радужных мечтаний и зовущая к отважной борьбе, перетянет чашу весов с жуткими, потусторонними тенями, и мой друг будет жить...

Но надежда была слаба, как болотный огонек, живущий до первого дуновения, и сегодня утром предчувствия так стеснили мою грудь, что я, то и дело, бросал боязливые взгляды в окно, на пустынный переулок в ожидании посланца с известием о смерти моего друга. И когда хозяйка пришла сказать, что оборванный буддийский монах звонит у дверей и требует меня, я был совершенно подготовлен к этому и спокоен. Я даже поправил хозяйку, сказав, что это не буддийский, а даосский монах, хотя где же ей разбираться в этом и для чего?..

Я перешагнул порог и на веранде встретил взгляд сухощавого, спокойного и бесстрастного, как маньчжурское небо, монаха.

Не говоря ни слова, он передал мне сверток, низко поклонился и сразу стал спускаться обратно по лестнице. Я пытался его остановить, хотел пригласить в комнату, подробно расспросить, но он не останавливался и, поклонившись мне еще раз на ходу, ушел.

Тогда я понял, что ему дан наказ не вступать в разговоры.

Я заперся в комнате и развернул сверток, хорошо зная его содержимое. С шуршанием оттуда выпали картина моего друга – «Маньчжурская принцесса» – и лоскуток бумаги с нацарапанной слабеющей рукою фразой: «Свершается Б.»

И чем больше смотрел я в нездешние глаза девушки на картине, тем

больше во мне зрела решимость раскрыть перед людьми тайну исчезновения Багрова, рассказать про «Маньчжурскую принцессу» и таинственные тропы, уводящие живых в вечность.

И еще захотелось мне дать хоть слабое понятие о душе человека и художника, который всех поражал неистовством своей необузданной фантазии; художника, который создавал полотна, где горы давили зрителя своей тяжестью, где ясно ощущались тысячелетия, застрявшие в змеевидных ущельях, и где в причудливых сплетениях корчились тела с запрокинутыми в исступлении страсти головами. Пышущие пламенем губы рвали там огненные поцелуи с дымившихся ртов...

Да, этот человек всегда отличался от нас, обыкновенных уравновешенных людей. Только он мог, покидая концертный зал, изливаться мне в странных жалобах:

— Почему мир так жесток? В нем есть волшебные звуки, музыка, говорящая духу о любви и вечной красоте, которых мы никогда не встречаем среди людей, и окрыляющая его возвышенным обманом.

Это он, первый раз услышав гавайскую мелодию, распродал все пожитки и поехал на родину этих стонущих мелодий, чтоб остаться там навеки... Но так же быстро он вернулся оттуда возмущенный и говорил, что Гавайи – громадный публичный дом для команд и пассажиров тихоокеанских судов! По его мнению, счастье и любовь покинули эту страну, как только там стали высаживаться купцы и чиновники цивилизованных стран... Он был жестоко обманут!

И гибель этого человека началась как раз с того дня, когда он приехал ко мне, в затерянный в горной стране Чен-бо-шань, китайский городок.

Я сдавал там китайскому коммерсанту партию жатвенных машин и имел неосторожность написать Багрову про прелесть окрестных гор с вечно сизой пеленой дымчатого тумана и про девственные трущобы.

А через три дня после отправления письма Багров рано утром появился в моей комнате и со смехом стал тормошить меня в постели: я еще не встал.

В тот же день, после обеда, сытые маньчжурские лошадки затрусили под деревянными седлами, унося нас в горы, которые мне хотелось показать своему другу.

Багров шутил и смеялся всю дорогу. Впоследствии я не раз задумывался, как этот человек, так чутко реагирующий на тончайшие влияния, не смог предвидеть роковых последствий этой поездки? А, впрочем, то, что нам кажется несчастьем, для него было, может быть, наоборот?

Мы проехали часа два, и тогда я протянул руку:

— Вот – посмотри!

II

Видели ли вы когда-нибудь некоторые из удачнейших творений Рериха? Замечали в них за каким-нибудь холмом нашего севера, ничего особенного собой не представляющим, неизмеримую глубину бледных северных небес, в которой вы сразу чувствуете седую вечность, космическое спокойствие и такую даль, будто она раскинулась за гранью недосягаемых миров?

Одного взгляда на такую картину уже достаточно, чтобы вас потянуло и понесло ввысь...

Такова была и местность, куда я привел Багрова.

Долина, стиснутая с обеих сторон мощными скалами, быстро расширяясь по мере продвижения вперед, переходила в широкий луг и оканчивалась с третьей стороны тупиком, упирающимся в полушарие мягко закругленного холма. В противоположность окружающим вершинам на этом холме не было леса, а весь он, как ковром, был устлан светло-зеленой травой и усыпан огненными одуванчиками, ромашками и еще какими-то белыми цветами.

Лишь один этот холм блистал в солнечных лугах среди хмурой и сумрачной зелени окружающих высот.

Был ли то закон контраста или что-то другое, недоступное человеческому разуму, но, как нигде, невыразимая даль и глубь небес чувствовались над ним.

И вся она, эта возвышенность, казалось, прямо подставляла могучую выпуклость своей груди ясному небу, чтобы постоянно глядеть в очи Предвечного и прислушиваться к шелесту его одежд в облачных грядках...

И еще тут, на середине расстояния от подошвы холма до вершины, было нечто, останавливающее внимание, – обнесенный стеною из серого гранита четырехугольник с двумя траурными елями у входа и могильными холмами посередине – место вечного успокоения. Оно разливало по этому, цветами усеянному холму очарование светлой грусти, ненарушимой тишины сна, смерти и покоя, рожденного вечностью.

— Какая красота! – прошептал Багров, соскакивая с седла. – Во всем мире не найдешь другого места, где бы земля так говорила с небом!

Он быстро установил мольберт и приступил к работе с лихорадочной поспешностью. Через несколько минут он уже перестал мне отвечать – верный признак того, что он видит только пятна, цвета, тени, а я... я уже не существую для него.

Привязав лошадей, я сел в тени каменной ограды и задумался: кто бы мог тут покоиться? Кладбище это не общественное... Наверное, какой-нибудь знатный мандарин императорских времен выбрал это место для себя и своего поколения. И спят они там, укутанные в тяжелые шелка, – сын рядом с отцом, муж с женой... Мысли все ленивее копошились в моем мозгу, и сон смежил мои глаза.

Это было довольно странно: днем я никогда не спал, а тут, казалось, какая-то посторонняя, чужая сила наполнила мой мозг туманом и погрузила в глубокий сон.

Когда я открыл глаза, удивился, что солнце уже заходит! Поразмыслив, решил, что прошло уже не менее трех часов.

А что же Багров? Где он? Я обогнул угол ограды и направился к нему. Мои первые шаги были тяжелы и неуклюжи: остатки сна еще сковывали члены, а потом... я побежал; Багров в неестественной позе навзничь лежал у подножия мольберта... Он был без сознания, а с полотна глядела как живая, стоящая между двух аллей, девушка в древнем одеянии принцесс Цинской династии.

Обаятельную прелесть и какое-то нездешнее выражение ее лица я разглядел лишь впоследствии, а в тот момент бросился приводить в сознание своего друга.

Это мне удалось с большим трудом, но каково было мое изумление, когда Багров, как только открыл глаза, задал вопрос:

— Где она?

— Кто?!!

— Девушка...

— Какая еще девушка? Я задремал и ничего не знаю... Во всяком случае, на добрый десяток верст вокруг и в помине нет никаких девушек. А если бы даже отыскалась какая-нибудь, то, конечно, не принцесса, а из тех дочерей крестьян, которые сидят на коне, сосут длинную трубку и мастерски сплевывают, не наклоняя головы!

— Как! – воскликнул Багров, поднимаясь. – Она же вскоре после твоего ухода появилась между елями и стояла недвижно долгое время, пока я ее писал. А потом она подошла ко мне... и...

— А потом ничего не было! – перебил я его. – Ты получил солнечный удар – вот и все... Едем домой!

На обратном пути он жаловался на страшную разбитость во всем теле и головную боль. Под тем же предлогом он, невероятно осунувшийся за ночь, на другой день распростился со мною и уехал обратно в город.

Наше прощание было очень сердечным, но меня поражало, что он избегает говорить о вчерашнем происшествии и уклоняется от объяснений по поводу написанной им девушки.

Я так и счел ее плодом фантазии художника.

III

Два месяца моя фирма гоняла меня в командировки по разным закоулкам Маньчжурии. В поездке по старому Гирн-Хуньчунскому тракту я заболел. Провалялся в жестокой лихорадке несколько дней на одной из станций.

Когда я стал поправляться, решил ради прогулки сделать экскурсию в даосскую кумирню, которая находилась на крутой, заросшей дубняком горе. Хотя было уже под вечер, но летний зной еще висел в воздухе над морем лиственниц, пихт и кедров, когда я добрался до подножия сопки. На самой верхушке ее, в зелени лепящихся по косогору дубов, распустивших во все стороны мозолистые, скрюченные пальцы своих корней, притаилась кумирня.

В сумраке сводчатого входа я тихо прошел меж двух рядов страшных слуг Властителя Мира и Небес. Раскрашенные физиономии духов, воплощенные в потемневшее дерево и позолоту, недвижно глядели на меня мертвыми глазами, поблескивали серповидными секирами, грозили адскими трезубцами...

А дальше – опять мощеный двор, солнечные блики, трепет листвы на каменных плитах и шелест...

Я уже поднимался по ступеням в следующее отделение храма, когда чуть не столкнулся с изможденным, похожим на тень монахом.

Я сделал шаг в сторону, а потом с криком вцепился в него.

— Багров!..

Он долго смотрел на меня непонимающим взглядом, а потом его лицо прояснилось, он грустно улыбнулся.

— Наконец! Хорошо, что ты здесь! Я даже думал об этом... Надо же кому-нибудь рассказать, чтобы не сочли за сумасшедшего... Хотя... Разве не все равно?.. Ну пойдем.

Потрясенный встречей и видом Багрова, я молча последовал за ним. Мы уселись на краю обрыва, где отроги Кэнтей Алина, точно чудовищные ящеры, раскинули перед нами извивы своих зубчатых спин. Я ждал, когда он заговорит. Багров помолчал, как будто собираясь с силами, как будто стряхивая с себя какое-то оцепенение... Затем заговорил, все более и более воодушевляясь...

— Помнишь, как я написал маньчжурскую принцессу там, на заброшенном кладбище? Ты думал, что со мной случился солнечный удар... На самом деле было совершенно другое: девушка действительно появилась между елей у входа...

Я был страшно увлечен работой, нем и глух ко всему и совершенно не дал себе труда задуматься, откуда она появилась. Какое мне дело? Только обрадовался, что у меня будет красочная центральная фигура: она мне более всего нужна была в ту минуту. Боясь, как бы она не ушла слишком скоро, я спешил скорее нанести ее на полотно.

Я работал с невероятным подъемом, и картина под моими пальцами близилась к концу с поражавшей меня самого быстротой.

И когда она была почти готова, я оглянулся на девушку и... неожиданно увидел ее подошедшей ко мне вплотную...

Будто кто-то ударил меня: я выронил кисть и обеими руками схватился за голову... Мне нужно было вспомнить что-то, во что бы то ни стало, необходимо было вспомнить то, что было скрыто за какой-то мутной, дрожащей пеленой и было одновременно так близко!.. И мука с такой силой охватила все мое существо, что сердце было готово выскочить из груди...

А девушка смотрела на меня укоризненным, скорбным взглядом. Она качала головой, губы ее подергивались, шептали чье-то имя...

Я заплакал от тоски и нестерпимой боли... Почему же, почему я не могу вспомнить! Давящим комом во мне росло желание безумно закричать, и, кажется, я кричал...

И тогда – точно вихрь прошумел в голове... Ослепительная вспышка... Мрак... И я уже держу девушку на руках... Вороной конь подо мной испускает короткое ржание и бешено мчит нас вперед... И еще рядом множество копыт отбивает дробь под странными всадниками, и все мы стремительно уходим от невидимой погони…

Чувствую себя невероятно сильным!..

Ночь... Кустарник... Летящие навстречу деревья и скалы... И, несмотря на опасность погони, столько упоения в этой скачке! Столько торжества бунтующей, никаких законов не признающей силы, что я сжимаю девушку, как в железных тисках, целую ее, с ужасом отбивающуюся от меня, и испускаю короткие, сдавленные крики, которых я не могу удержать от душащего меня восторга...

Возбужденный воспоминаниями бредовой погони, Багров на минуту прервал рассказ и глухо закашлялся, как кашляют чахоточные.

Возбуждение утомило его – он стал рассказывать медленнее.

— Ну знаешь... Одним словом, в ту минуту я уже был не нынешний Багров, а... Как ты думаешь, кто я был? Яшка Багор, атаман шайки... Ну, там – землепроходец Сибири, что ли, или просто – разбойник. А вернее, и то, и другое вместе, потому что помню – впоследствии, у лагерного костра, я часто разговаривал с товарищами о теплом море, Опоньском царе и еще разных диковинах.

И ты был между нами... С самопалом, громадным топором и длинным ножом за голенищем... А звали тебя – «Васька Жги пятки», потому что... Ты у нас был чем-то вроде специалиста по пыткам...

Багров застенчиво и неловко улыбнулся, как будто чувствуя себя виноватым в том, что определил меня в своем отряде на такую странную должность. Это вышло у него так забавно, что и я не удержался от улыбки, слушая этот, по моему мнению, горячечный бред.

— Мы ушли от погони в тот раз, – начал он опять, – это было удачное ограбление целого поезда знатной дамы со свитой и прислужницами. Две недели мы мчали добычу на север, где у нас на вершине Собачьей головы был лагерь.

Девушка – о том, что она была маньчжурской принцессой, я узнал лишь впоследствии, — стала моей женой, ее прислужницы сделались подругами моих товарищей.

Я брал ее ласки, но она не любила меня. Помню, был даже случай, когда я нашел у нее небольшой, но острый, как жало осы, кинжал. Ложась спать, я нащупал его спрятанным в платье своей жены и преспокойно вытащил оттуда, не бросив ей ни одного упрека. Больше того, я положил его рядом с ее изголовьем и, усмехнувшись, уснул. Такие отношения продолжались до того дня, который все изменил и спутал все карты: на вершине Собачьей головы нас окружил многочисленный отряд маньчжуров, высланный за нами в погоню.

Дело было на рассвете. Постов, по дьявольской беспечности, мы не выставили, – у маньчжуров, мол, руки коротки!

Я еще спал, когда Васька Жги пятки ворвался в мой шалаш:

— Вставай, атаман, маньчжурские мужики за нашими головами идут.

Пока я надевал «сбрую» и прислушивался к начавшейся лагерной суматохе и ругани: «Какие такие мужики идут?.. Сбрендили спьяну!», – мне бросилось в глаза радостно-взволнованное лицо моей жены.

— Рада, поди, стерва!

Горько вдруг стало на душе. Но я только взглянул на нее исподлобья и помчался выяснить размеры опасности.

На увенчанной каменным карнизом вершине Собачьей головы царила полная растерянность. Всем уже было ясно, что на сей раз не уйти... Как зверь, рыскал я по вершине, перегибаясь и вглядываясь то туда, то сюда, в усеянные кустарником скаты, и везде мой взгляд натыкался на конных маньчжуров, оцепивших гору железным кольцом.

— Что, черти! Прозевали? – рычал я с налитыми кровью глазами на попадающихся людей. – С бабьем возились? А?

Все молчали, только откуда-то сбоку донесся спокойный голос Ерша Белые ноги, прозванного так за свои опорки:

— Не шуми, атаман! Сам-то ты больше на бабу глаза таращил, чем порядок блюл!

— Руби засеки, чертово отродье! – закричал я, почуяв изрядную долю правды в словах Ерша.

Опешившие станичники зашевелились. Моментально появились топоры, и все с остервенением навалились на работу; рубили и приволакивали целые деревья, прикатывали громадные глыбы камня – засека росла.

Но меня это не утешало: конец был ясен – отгуляли! Единственное, на что я хоть сколько-нибудь надеялся, – перед атакой маньчжуры вышлют парламентеров и предложат сдаться, а там можно будет поторговаться: сперва соглашаться, а потом отказываться. Канителить и всячески выигрывать время, чтобы как-нибудь обмануть и прорваться.

Далеко внизу протрубил рог. Бурые ряды по долинам задвигались, заходили волнами – всадники слезали с коней. Край солнца показался на горизонте и брызнул снопами золотистых лучей. Кое-где блеснули перистые шлемы вождей. Строятся.

Если теперь не вышлют парламентеров, то – никогда!

Нет, двигаются! Медленно, но уверенно, как сама смерть!

Они еще далеко, но мне кажется, что я слышу шорох бесчисленных шагов. И, прислушиваясь к отдаленному гулу, я начал свирепеть: как же... за нашими головами идут! Ладно же, пусть тогда это будет веселая смерть!

Я вскочил на самый высокий камень и крикнул что было силы:

— Эй, ребята, висельники, кандальники, отпетые головы! Хорошо ли погуляли по миру за Уралом, за Камнем?

— Хорошо погуляли, атаман!

— Было ли пито, бито и граблено?

— Было и пито, и бито, и граблено! – хором отвечали разбойники.

— А довольно ли бабья, станичники?

— И бабья хватало!

— Так вот, братцы-станичники, пора и честь знать. Отзвонили – и с колокольни долой. Без попов нас сегодня отпевать пришли и отпоют... Так не жалей, братцы, пороху в последний раз! Чтоб веселей окочуриться хмельной голове! Да бейся так, чтобы черти на том свете в пояс кланялись!!!

Я выдержал паузу и обвел всех глазами. Мои лохматые бородачи закивали головами и в один голос закричали:

— Орел – наш атаман! Дюже правильно сказано? Чтоб черти...

И тогда я ударил в ладоши и заплясал на камне, притопывая ногами:

Эх-ма! Ух! Ух!
Как девица молода
Рано поутру за медом шла...

Кубарем выкатились из засеки Сенька Косой, Митька Головотяп да Ерш Белые ноги и с гамом и присвистом пустились вприсядку. Пулями вылетели другие, и все завертелось, заплясало у обреченной засеки.

Я смотрел на беснующуюся перед концом ватагу, присвистывал и притопывал вместе с ними, но в то же время «зыркал» на приближающегося врага.

— Будя! По местам, ребятушки! Пали... Бей! Так их, переэтак...

В следующую секунду уже захлопали самопалы, задымились камни... В этот момент я в последний раз окинул глазами опустевшую площадку и увидел свою жену, которая молча наблюдала происходящее.

В эту именно минуту я как-то особенно остро почувствовал всю ее нелюбовь ко мне и с горькой усмешкой бросил ей:

— Не горюй, красавица, сегодня меня убьют!

Она оставалась стоять, как изваяние, с каменным лицом...

Уже все закипело кругом, и как волны прибоя у скалистого утеса в бурю со стоном отбегают назад, так и первые ряды маньчжуров, высоко взметнув руками, опрокинулись назад под смерчем дыма, огня, пуль... Но как прибой не устает бить о скалу, так же и наступающие накатывались волной... Уже не успевали заряжать ружья, и над засекой все чаще стали взметываться топоры, секиры, и уже гора, как муравьями, кишела наступающими.

Конец наступил чрезвычайно быстро, – быстрее, чем я ожидал, – маньчжуры где-то прорвали засеку, и мгновенно заняли всю площадку.

В последние минуты я был как в тумане. Отбивался сразу от трех нападающих, расплющил обухом одному шлем вместе с черепом и в ту же секунду сам получил нож в спину...

Я упал, но еще не потерял сознания, и тут вдруг... какая-то женщина прорвала стену обступивших меня воинов, плашмя упала на меня, заплакала и закричала на маньчжурском языке. Руки обвили мою шею... Это была моя жена!

— Поздно!.. – с горечью прохрипел я ей в лицо и лишился сознания.

Багров, тяжело дыша, прервал рассказ и, закрыв глаза, сидел несколько минут, будто еще раз переживая виденное.

— Итак, – опять начал он, – в минуту поражения эта женщина подарила мне свою любовь – навсегда... Мне трудно говорить, и не в подробностях тут дело... Да и день уже догорает, а вечерняя сырость заставит меня мучительно кашлять. Я только скажу тебе, что благодаря отчаянному сопротивлению моей жены, меня не убили, а взяли в плен. И она мне устроила побег. Подкупленный ею тюремный сторож сам привел меня к месту, где были приготовлены оседланные лошади и оружие. И у этих лошадей я опять встретил жену, и вместе с нею днем и ночью, пересаживаясь по очереди с одного коня на другого, мы гнали на север, пока не пришлось снять ее с седла – бесчувственную.

Я прожил с нею двенадцать долгих лет жизнью дикого охотника в горах маньчжурского севера. Мы кутались в меховые одежды и иногда подолгу голодали. Но и в холоде, и в голоде, в зимние бураны и в солнечные дни лета мы одинаково тянулись друг к другу и грелись в лучах взаимной любви.

Мы и погибли вместе, разорванные одним и тем же страшным медведем на том солнечном холме, где я написал маньчжурскую принцессу. Этот последний акт нашей великой любви... Ну зачем я говорю – последний? Мы еще будем продолжать любить и там, в пространстве миров.

Смерть нас подстерегла поздней осенью. Это было в те дни, когда

дичь по какой-то неведомой причине внезапно исчезает в какой-нибудь части тайги. Мы шли, шатаясь от голода, в поисках пищи и немного отдалились друг от друга.

И тогда появился зверь. Это, наверное, был не медведь, а злой дух! Он, как привидение, неожиданно поднялся из-за сгнившей коряги около моей жены и первым же страшным ударом мохнатой лапы снес ей всю кожу с мясом с лица, так что она мгновенно ослепла!

— Муж мой! Муж мой! – страшно и гибельно закричала она. Казалось, сейчас на этот дикий крик выскочит пещерный человек со звериным оскалом и, потрясая дебри ревом, бросится спасать несчастную жертву.

И я был около нее быстрее мысли, а руки слепой и на этот раз нашли мою шею и грудь. Обхватив левой рукой самое дорогое для меня в мире существо, я бился насмерть с медведем-привидением. Я колол и резал, не чувствуя когтей и зубов зверя, пока, превратившись в кровавый комок, мы вместе с медведем не покатились по земле, и страшная тяжесть издыхающего зверя с хрустом раздавила мою грудь...

Три существа – мы умерли почти одновременно... Только я – чуть-чуть позднее. Испуская дух, я еще нашел силы нащупать возле себя маленькую ладонь...

— А теперь скажи, – весь загоревшись, обернулся Багров ко мне, – что должна была чувствовать душа этой женщины, когда она явилась ко мне, а я – не узнал... Переменить царственную роскошь на вонючие меха подруги почти дикого человека, жить в постоянной опасности, вместе принять смерть и – не быть узнанной!..

Теперь ты понимаешь, что я пережил, когда очнулся от обморока и привел свои мысли в порядок? Только тогда я понял, почему я не мог полюбить ни одну женщину в этом мире! Все-таки где-то внутри нас есть уголок, где живут воспоминания о прошлых жизнях...

И я возроптал: зачем такая несправедливость!.. Я существую, а ее нет! Пустить меня одного в мир... Для чего мне жизнь?

В первые моменты хотел покончить самоубийством, чтобы сразу встретить тень той, которую люблю я, нынешний Багров, так же, как любил некогда атаман Яшка Багров, а может быть, и еще сильней...

Но меня удержали опасения, что, может быть, самовольным уходом из жизни я провинюсь перед Творцом Вселенной, и в наказание снова века лягут между нами. Недаром же все религии мира осуждают самоубийство. Мне оставалось только уйти из жизни, которая для меня стала чем-то вроде длинного пустого сарая, – но все же остаться пока жить.

И я пришел сюда, потому что в этой местности я сотни лет тому назад страдал и любил так, как только может любить человек.

Кроме того, были у меня еще и другие соображения...

Недаром я принял столько хлопот и беспокоил всех китайских друзей, чтобы поступить в этот монастырь! Я решил всячески сокращать свой жизненный путь... Здесь я мог напустить на себя всех зверей своего духа: тоску культурного человека, живущего в глуши, отсутствие возможности заниматься искусством, читать и, наконец, – самовнушение. Чтобы последнее было действенным, я прихватил с собой книгу с точным описанием симптомов чахотки и перечитывал ее по нескольку раз...

Дрожа от радости, я обнаружил, что чахотка не замедлила появиться... Тогда я стал еще меньше спать и просиживать ночи над этим обрывом, мечтая о предстоящей встрече, теперь уже на законном основании; я – не самоубийца...

— Ты... ты хуже его! – простонал я, обеими руками вцепившись ему в грудь. – Ты ловишь смерть на приманку...

— Мы не можем бросаться смерти в пасть, – хмуро возразил Багров, – но кто запретил нам чуть-чуть приоткрыть ей дверь?

Задыхаясь от волнения, я выпалил перед Багровым целый залп доказательств его безумия, опрометчивости... Ратовал за жизнь, говорил о диких суевериях, приводивших к печальным последствиям мечтателей, подобных ему, и вдруг заметил, что Багров не слушает меня, рассеянно глядя куда-то в сторону. Он встрепенулся лишь, когда я замолк.

— А знаешь... – тихо зашептал он, близко наклоняясь ко мне. – Чем хуже становится мое здоровье, тем больше я ощущаю ее близость. А когда листья на деревьях пожелтеют и посыплются, свершится наша встреча!.. Тогда, в память обо мне, ты получишь «Маньчжурскую принцессу».

Точно пьяный, проснувшийся после тяжелого бреда, я шел обратно. У подножия сопки почувствовал утомление и бессильно опустился на пень...

Солнце давно уже село, и болотистая низина предо мной задымилась теплым паром разогретой земли. Быстро темнело... Выпь закричала в пади. Затем еще чей-то крик... Шорохи в кустах... И понемногу заговорили ночные голоса. Ожила странная жизнь ночного болота, где змея подползала к лягушке, тигр в камышах на брюхе подкрадывался к кабарге, и шла глухая борьба, как и среди людей.

А мне чудились две скованные тени, – мужчина и женщина, – которым ничего не нужно кроме друг друга...

Впервые опубликовано: Хейдок А. Звезды Маньчжурии. Нью-Йорк, 1934.
Печатается по: Хейдок А. Огонь у порога. Магнитогорск, 1994. С. 20-41.

Мария Лазаревна
ШАПИРО
(1900–1971?)

Журналистка и литератор Мария Шапиро родилась в 1900 г. в Иркутске в семье адвоката. В начале 1910-х гг. М. Шапиро с родителями и старшей сестрой приехала в Благовещенск. В Благовещенске вместе с сестрой выпускала журнал «Светлая юность». В феврале 1918 г. семья Шапиро бежала в Китай. В 1919 г. в Харбине М. Шапиро закончила экстерном частную женскую гимназию М.С. Генезеровой, а в 1924-м – Харбинский юридический факультет. После окончания юридического факультета М.Л. Шапиро была оставлена на кафедре гражданского права (для подготовки к профессорскому званию) и стала вести практические занятия по римскому праву. В 1925 г. вышла ее первая научная работа «Семейный строй в Японии». С этого же года занималась журналистикой: писала статьи о советском судопроизводстве, о русской литературе, поэзии. Сотрудничала с газетами «Русское слово», «Русский голос», «Голос эмигрантов», «Гун-бао», «Заря», журналами «Луч Азии», «Рубеж». Печаталась под псевдонимом «Мария Ш.». В 1930-е гг. работала над книгой «Брак и семья в дохристианской Руси», занималась поэтическим творчеством. 29 ноября 1945 г. М.Л. Шапиро была арестована СМЕРШевцами в редакции газеты «Харбинское время». Ей предъявили обвинение в пособничестве иностранной буржуазии, в антисоветской пропаганде и клевете (материалом обвинения служили ее довоенные статьи). Приговорена к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. По отбытии заключения в Дубровлаге жила в Зубово-Полянском инвалидном доме (Мордовия), писала мемуары. Рукопись ее воспоминаний составила 1700 страниц. Отрывки из нее были опубликованы под названием «Женский концлагерь. Судьба эмигрантки» в «Новом журнале» (Нью-Йорк). Умерла в доме инвалидов 9 октября 1971 г. Реабилитирована в 1992 г.

Ист. и лит.:

Звягин С. Семья Шапиро в России и эмиграции // Научные труды по иудаике. Вып. 31. Т. 2. М., 2010. С. 126–130.

Шапиро М.Л. Харбин, 1945 // Память: Исторический сборник. Вып. 1. Нью-Йорк, 1978. С. 3–92.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 337-338.

СИНЕГЛАЗЫЙ БЕС

Быль

У него было лицо ангела, озаренное выражением какой-то особенной святости. У него были строгие и чистые синие глаза, смотревшие прямо и непорочно.

Девяти лет он начал красть конфеты из лавки отца. Его наказывали, но он, глядя в глаза отцу своими честными глазами, всегда отрицал свою вину и неуклонно продолжал красть. Лет тринадцати он добрался до кассы, а лет пятнадцати или шестнадцати, обокрав отца, совсем исчез из дому, и с того момента началась его незаурядная уголовная карьера.

«И в кого он такой пошел? Никого в роду у нас такого не было», – вздыхала тетушка, хозяйка нашего дома, от всего сердца соболезнуя сестре – матери Бориса.

Тетушка была красивой пожилой женщиной с прекрасными синими глазами, розовым свежим лицом и короной белоснежных волос. У нее была

та величавость поступи и осанки, которая иногда встречается у простых русских женщин. В молодости она была простой крестьянской девушкой и сама, как любила рассказывать, пахала в поле. Как говорили знавшие ее в молодости, она отличалась совершенно необычайной красотой, чему легко было поверить, ибо она поражала своей внешностью и в пожилые годы. Мы, дети, за глаза звали ее не иначе, как «Екатериной Великой».

Когда она однажды работала в поле, где-то недалеко от Амура, – ее увидал офицер амурской военной флотилии и влюбился в нее без памяти. Он уговаривал ее выйти за него замуж, но она не решилась пойти за «барина». Но с такой внешностью ей не суждено было оставаться в крестьянстве, – и она через некоторое время на свое горе вышла замуж за золотопромышленника, ставшего со временем одним из самых богатых золотопромышленников Амура.

Замужняя жизнь ее не была счастливой с привередливым, вздорным и чрезвычайно скупым мужем. Но у нее было четыре славных сына-реалиста, при ней жила овдовевшая, интересная по внешности, маленькая изящная племянница с дочерью-подростком – статной, высокой девочкой, подававшей надежды стать красавицей в стиле своей тетушки (что за красивая была семья!), – и жизнь ее текла сносно, изредка прерываемая бурными столкновениями с мужем во время его недолгих приездов в город с Зейских приисков.

Хозяин наш был щуплым, невзрачным человечком, входившим даже в собственный двор всегда как-то бочком. Мы с сестрой звали его «Иудушкой» по имени Иудушки Головлева. Однако, несмотря на свой приниженный вид, он был деспотом по природе, и лишь такая жена, как наша «Екатерина Великая» могла, хоть и не без труда, кое-как его обуздывать. Но супруги ненавидели друг друга, и однажды эта ненависть вылилась в один очень забавный случай.

Хозяин, приехав с приисков, слег, простудившись по дороге. У него сделалось воспаление уха, которое, по мнению врача, должно было перейти в воспаление мозга. Является как-то к нам наша хозяйка и просит разрешения позвонить, как она это делала часто, от нас по телефону. И вдруг мы слышим, что она сзывает друзей и знакомых на поминальный обед.

– Разве ваш муж умер? – с тревогой спрашивает моя мама.

– Нет еще, но он совсем помирает, – отвечает наша хозяйка, приглашая и нас на поминки.

Подивились мы такой неожиданной торопливости у нашей всегда степенной хозяйки и стали ждать поминального обеда. Но проходит день, два, три, – а известия о смерти хозяина все нет.

И вдруг через несколько дней идет по двору, направляясь к воротам, знакомая невзрачная фигура, да еще с подделанным ухом. Мы, стоя у окна так и ахнули: «хозяин».

Мама сейчас же прозвала его «живым трупом», и под этой кличкой он у нас так и оставался до конца нашего пребывания в Благовещенске…

В тревожные дни семнадцатого года привез как-то «живой труп» два пуда золота с приисков, и жалея нанять за тридцать копеек извозчика, партиями по десять фунтов восемь дней подряд пешком таскал на другой конец города в Государственный Банк на хранение свое золото, завернутое в газетку, рискуя ежеминутным нападением. Позже он вынул его из банка и повез продавать, надеясь нажиться, в Россию, где попал в октябрьский переворот, золото у него было конфисковано большевиками, а сам он еле-еле унес ноги домой на Амур. Хозяйка наша радовалась: «Так ему, скупому бесу, и надо».

Как многие, даже пожилые благовещенские женщины, наша хозяйка по утрам выезжала в город по делам на своей американке, которой она, как полагалось, правила сама. Учет векселей, торговые операции, обозрение своих предприятий, пароходов, мельниц или посещение Совета съезда золотопромышленников, сдача золота в банк, – все это составляет деловое утро амурской женщины-предпринимательницы. А остальная часть дня посвящается дому.

У нашей хозяйки была страсть к розам. В большом, просторном и чистом сибирском дворе стоял кирпичный одноэтажный особняк с полукруглым крыльцом, верандой, летом весь обвитый хмелем. Впереди него было два палисадника, полных цветов. В этом доме жили мы. За нашим домом, сзади, было своеобразное строение – кирпичные амбары, над которыми был надстроен второй этаж, превращенный в просторную и удобную квартиру нашей хозяйки, с верандой, зимним садом, сплошь наполненным разнообразными розами. Розы у нее цвели круглый год, и она ухаживала за ними сама, любя их, пожалуй, не меньше своих сыновей.

По субботам к нам неизменно являлась кривобокая старушка-няня наших хозяев, неся блюдо с горой чудесных, несравненных сибирских булочек – «мягких».

«Отведайте наших "мягких"». Милый патриархальный сибирский обычай – угощать соседей своими печеньями или пирогами, которые, особенно по субботам, изготовляются в неимоверном количестве.

Ах, эти сибирские «мягкие»! Душистые, теплые, вкусные до невероятия! У нас их изготовляли, между прочим, и с апельсиновым вареньем. М-мммм!..

Рядом с домом нашей хозяйки, соединенный даже калиткой в заборе, находился дом ее сестры-вдовы, матери Бориса. Все другие братья Бориса были людьми вполне порядочными. Старший сын, после смерти отца, тоже золотопромышленника, ведал приисками, в чем помогали ему другие братья. Это была тоже крепкая патриархальная сибирская семья. И вдруг в этой семье вырос этот падший ангел, бес с лицом одного из архангелов.

Изредка, и всегда совершенно неожиданно, Борис появлялся на лоне семьи. Откуда, – из каких дальних странствований по матушке-России возвращался он на свою амурскую родину, – об этом он молчал. Но до революции, окончательно испепелившей некоторые русские души, в душах даже иных разбойников цвел какой-то росток добра или верности. Этим ростком в душе Бориса была его любовь к убивавшейся по нем матери и какая-то особенная духовная связь с нею. Был случай: мать серьезно заболела, в то время как ее беспутный сын уже несколько месяцев бродяжил где-то по российским просторам. И вдруг из Екатеринбурга пришла телеграмма на имя старшего сына: «Чем больна мама?»

Когда через несколько месяцев Борис вернулся в Благовещенск, он рассказал, что видел во сне мать – серьезно больную.

Изредка Борис «работал» и на Амуре. Был случай, когда его старший брат, забыв, что говорит в присутствии известного разбойника и видя за семейным столом, среди других братьев, голубоглазого младшего братишку, рассказал, что завтра посылает на Зею артельщика с крупной суммой денег для уплаты жалования служащим и рабочим приисков.

Борис, всегда путешествовавший со своей уголовной «свитой» и имевший, кроме того, ближайшие связи с амурской «шпаной», – принял свои меры – меры начальника хорошо организованной разбойничьей шайки.

Недели через две потрясенный старший брат получил известье с приисков, что на артельщика и его охрану в тайге было произведено нападение, артельщик убит, а деньги бесследно исчезли. Вместе с деньгами исчез на некоторое время с Амура и Борис.

Старший брат чуть с ума не сошел от угрызений совести, как рассказывала тетушка.

– Бог с ними, с деньгами. Но как я мог забыть, что я при разбойнике говорю, что посылаю артельщика с деньгами. Прямо на смерть послал человека!

Но и после этого случая Борис нет-нет да и возвращался на Амур повидаться с матерью, не обращая внимания на возненавидевших его братьев.

Во время одного их таких приездов с ним произошел курьезный случай, сильно взволновавший его.

Дело было летом, и он спал в комнате с открытым окном, причем дом его матери тоже находился в глубине большого двора, ворота которого на ночь запирались на все запоры. Какому-то воришке, может быть, «удочнику»-китайцу удалось забраться во двор и похитить через открытое окно из комнаты Бориса его пиджак с деньгами. Проснувшись на утро и открыв пропажу, знаменитый амурский разбойник, страшно сконфуженный, впал в дикую ярость. Он, он – обокраден каким-то

воришкой, может быть, китайским иергой, пробравшимся в его комнату в то время, как он спал! Братья подняли его на смех. Конфуз Бориса был так велик, что он вскоре после этого опять исчез.

Зато в 1917-1918 гг. он на некоторое время осел в Благовещенске. Время для него и его шайки было благодатным. Милиция совершенно разложилась, ограбления, убийства и налеты на дома совершались еженощно. Еще не существовало организованной вскоре поквартальной частной милиции из граждан. Борису было где развернуться.

И он развернулся.

Однажды зимой произошло знаменитое на Амуре ограбление «Кондрашевки».

«Кондрашевка», иначе – Кондрашевская гостиница, была лучшей гостиницей в городе, где проживали состоятельные люди, местные или приезжие, золотопромышленники с приисков.

При «Кондрашевке» был хороший ресторан, куда часто приезжали компании кутить. Находилась гостиница в самом центре города.

И вот однажды, часов в семь-восемь вечера, шайка людей в масках появилась в «Кондрашевке», заняв все выходы и перерезав телефонные провода. Спокойно, методически, не спеша, обходили они номер за номером, отбирая у перепуганных дам – драгоценности, а у мужчин деньги и часы. Лишь одной хладнокровной даме удалось спасти свои драгоценности: она, увидав, что происходит в соседних номерах, успела до прихода разбойников к ней в комнату спустить свои кольца и ожерелья в верхнее, наполненное водой отделение старомодного, деревянного с мрамором умывальника, стоявшего у нее. Заглянуть туда не догадались даже опытные сподвижники Бориса.

Шайка не позабыла и о ресторане, ограбив находившихся в нем, и в том числе – незадолго до этого приехавшую компанию, несколько членов которой находятся сейчас в Харбине. Тщательная «работа» продолжалась часа два-три. Любопытней всего то, что весь город, кажется, знал о происходящем, но некому было прийти на помощь против шайки хорошо вооруженных, смелых и готовых на все преступников.

Спустя несколько месяцев этого не могло бы произойти, — тогда уже была белая милиция с начальником, с поквартальной электрической сигнализацией, с дозорами и т.д. Но нужны были толчки вроде этого, чтобы всё и все сорганизовались.

Вначале, естественно, неизвестно было, чьих рук делом было ограбление «Кондрашевки». Но уже спустя несколько дней весь город, и не без основания, начал говорить о Борисе. А он, совершив свой последний амурский «Coup», опять исчез из Благовещенска и так, до советского переворота и даже после него, – во всяком случае, до лета 1918 г., больше в него не возвращался.

Проза

***

Всякого рода людей родит русская земля, как и все земли мира. Добрых и плохих, красивых и уродливых, с наследственностью хорошей или, наоборот, дурной. Но редко является на свет человек с прекрасным лицом строгого ангела, с чистыми синими глазами непорочной девушки, – человек, залитый кровью своих жертв, человек, которому ничего не стоит убить своего ближнего, – и в то же время – человек, пронизанный нежной любовью к своей старушке-матери!

Борис любил и свою тетушку. В опасные ночи постоянных налетов двор и дома его тетушки были под неусыпной «охраной» шайки ее племянника. По нашему двору, бывало, зимними вечерами скользили черные тени, только что на наших глазах перемахнувшие через забор и перепрыгивавшие в соседние дворы.

«Помните, тетушка, что вы и ваши квартиранты – под моей охраной. И им о том скажите. Всем вам зла не будет».

И верно: под охраной знаменитого амурского разбойника мы все тревожное время налетов и нападений прожили, как у Христа за пазухой.

Впервые опубликовано и печатается по: Луч Азии. 1936. № 17. С. 10–12.

Самсон Григорьевич ШАХМАТОВ

(1897–после 1959)

Литератор и журналист Самсон Шахматов родился в 1897 г. в сибирском селе Алзамай Иркутской губернии в семье зажиточного крестьянина. Начальное образование получил в церковно-приходской школе. Затем самостоятельно подготовился к сдаче экзаменов по курсу гимназии. Однако в связи с начавшейся мировой войной успел сдать экзамены лишь за 4 класса и 18-летним юношей добровольно ушел в армию. Окончив иркутскую школу прапорщиков, воевал в Галиции. В годы Гражданской войны сражался в Забайкалье, Приморье и на Камчатке. Осенью 1922 г. наряду с другими участниками армии Пепеляева бежал с Камчатки в Японию. В 1929 г. с женой и годовалой дочерью С. Шахматов обосновался в Шанхае и занялся литературной и журналистско-издательской деятельностью. В 1930 г. стал участником содружества русских работников искусства «Понедельник». В 1933 г. после распада «Понедельника» вошел в объединение «Восток». Основатель шанхайского издательства «Феникс» и одноименного литературно-художественного еженедельника (1935-1936). Произведения Шахматова печатались в альманахе «Врата», журнале «Рубеж», «Понедельник», газете «Слово». В 1938 г. С. Шахматов уехал в Маньчжурию. Жил в Дайрене, Харбине. Мукдене. Работал в дайренском представительстве Министерства общественной безопасности Маньчжоу-Го, в отделе печати управления Южно-Маньчжурской железной дороги «Мантэцу», в культурно-просветительном отделе мукденского отделения ГБРЭМ. Помимо служебных дел продолжал заниматься литературным творчеством. В 1946 г. принял советское гражданство. В 1949 г. С.Г. Шахматов был арестован контрразведкой МГБ СССР и приговорен к 25 годам лишения свободы. Отбывал наказание в Казахстане в спецлагере «Степной» для особо опасных преступников. Из заключения освобожден в мае 1959 г. как инвалид. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист. и лит.:

Российская эмиграция в Маньчжурии: военно-политическая деятельность (1920–1945). Сборник документов / Сост. Е.Н. Чернолуцкой. Южно-Сахалинск, 1994. С. 143.

Чернолуцкая Е.Н. Странник (Самсон Григорьевич Шахматов) // Забытые имена: История Дальнего Востока России в лицах. Владивосток, 2001. Вып. 2С. 61–89.

Чернолуцкая Е.Н. «Феникс» восстает из забвения (Страницы жизни и творчества российского эмигранта С.Г. Шахматова) // Новый журнал. 1995. № 201. С. 257–274.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 338-339.

ОБОРОТЕНЬ

По окончании университета Маркевичу предложили место врача-практиканта на переселенческом пункте. Решив с пользой провести оставшиеся до государственных экзаменов месяцы, Иван Сергеевич охотно принял выгодное предложение. Это была настоящая находка. Пять лет необеспеченной университетской жизни, когда то и дело приходилось сидеть на трехкопеечной чайной колбасе, заливая ее прозрачным, как совесть Фемиды, хозяйским кипятком, сделали его скептиком. Он давно уже не верил ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай и на шумных студенческих сборищах его бледная бороденка тряслась и негодующе протестовала, даже в случаях, когда обсуждались самые будничные вопросы. Неожиданная удача наполнила его подозрительное сердце

ощущением необыкновенной легкости. Жизнь вдруг представилась ему могучей и широкой, как весеннее половодье. Долой голодные подвалы и дырявые штаны! Ущемленное жестокими тисками нужды молодое самолюбие требовало удовлетворения. Ивану Сергеевичу необходимо было развернуться, и Иван Сергеевич развернулся.

Знаменитый Рейхзалихман, у которого Маркевич оставлял все свои скудные студенческие заработки, блеснул перед уважаемым клиентом изысканностью кухни и винного погреба. Товарищеская беседа затянулась. К отходу поезда студентам лишь с трудом удалось доставить на вокзал уже не помнящее ни имени, ни родства, покорное человеческое существо, с полной атрофией не только конечностей, но и языка. Потеряв способность к самостоятельному передвижению, в вагоне Маркевич окончательно успокоился и, сложившись вдвое, зажал между колен свою козлиную бороду. С высоты рейхзалихмановского экстаза он наплевал на проставленный в билете маршрут.

Смущая спутников нечленораздельными звуками, все время порываясь обрушиться на них сверху, Иван Сергеевич проспал почти двое суток, а когда очухался, то с ужасом обнаружил пропажу всего своего несложного гардероба, включая и ту его часть, которая на литературном языке до сих пор еще считается почему-то неудобовыразимой. Стыдливо натянув на себя оставленное великодушным вором потрепанное байковое одеяло, он мрачно стал обдумывать создавшееся щекотливое положение.

Сидевшая на нижней скамье озорная молодуха, поднимая кверху синие глаза, то и дело неделикатно прыскала в кулак. Иван Сергеевич косился на нее в с негодованием думал: «Вот таи же, верно, смеялись над библейским патриархом его непочтительные сыновья», — но оборвать, поставить на место подлую бабенку у Ивана Сергеевича не было оснований.

Было уже темно. У молодухи Маркевич узнал, что на нужную ему станцию поезд придет через полчаса. Разглядывая полукруглый потолок вагона, он переживал состояние, перед которым меркла безотрадность всей прожитой им жизни, включая сюда и отвратительную отрыжку трехкопеечной колбасы. «Как быть? — с ужасом спрашивал он себя. — Как голому на глазах у этой дуры слезть с полки? Как выйти из вагона?..» А время между тем летело, каждая минута неумолимо приближала его к страшной развязке.

Действительно, подобный антураж мог привести в уныние и более мужественного человека, но Маркевич родился в рубашке. Конечно, рубашка в этом смысле является понятием абстрактным, имеющим чисто символическое значение, и, тем не менее, она помогала ему, хоть и не совсем легко, зато с честью выйти из положения.

По мере приближения к станции вагон начал разгружаться, пассажиры нетерпеливо скапливались на площадках, исчезла наконец и

насмешливая молодуха. Взглянув на Ивана Сергеевича в последний раз, она сказала ему на прощание, уже без смеха, но с презрением и негодованием, как, верно, не раз говаривала своему подгулявшему мужу:

— У-у-у, бесстыжие глаза!

Плюнула и с достоинством вышла.

Воспользовавшись безлюдьем, Маркевич подхватил подмышку чудом сохранившуюся подушку, завернулся в одеяло и уже совсем собрался слезать е полки, как вдруг дверь отворилась н вошедший кондуктор бесцеремонно осветил снизу фонарем всю его непривлекательную пластику. Вдоволь насладившись смущением пассажира, обер укоризненно заметил:

— Эх, как же это вы так, господин?

— Ну, ну, ладно... Не твое дело, проваливай... — еще более смутившись, попробовал оправдаться Иван Сергеевич.

— Позвольте-е! Как это проваливай? — обиделся кондуктор. — Вы сударь, не того-с, а то ведь можно вас и к жандарму живым манером.

— Что-о?! — взревел Маркевич. — Меня, к жандарму?! Ах ты, протоплазма несчастная! Пшел вон, а то я тебе такого жандарма покажу, своих не узнаешь!

Он рывком соскочил вниз и стоял теперь перед должностным лицом во всем своем голом великолепии, как разгневанный Нарцисс, которого посмели упрекнуть в несовершенстве его божественных форм. Глаза его метали молнии, бороденка тряслась, из пересохшего за долгий сон горла вылетало зловещее хрипение. Он не на шутку был страшен в эту минуту. Перепуганный кондуктор почел за лучшее скрыться. Но, захлопнув дверь, он снова приоткрыл ее и, просунув в щель нос, ядовито прошипел:

— А за безбилетность я тебе еще припечатаю.

Нарушая эту драматическую сцену, хрипло и заливисто проревела сирена. Длинная вереница освещенных вагонов неслось по душной, накаленной за день степи, подобная сказочному дракону — громыхая, пыхтя и лязгая огненной пастью. Казалось, никакая сила не в состоянии была бы задержать полет железного зверя, но вымазанный жирной сажей маленький человечек в кожаной куртке, сидевший возле паровозной топки, нажал на рычаг, и чудовище с разбега остановилось возле платформы, без толчка, лишь слабо звякнули буфера, да со свистом пропел где-то паровой клапан.

Висевший на поручнях Маркевич еще на ходу поезда соскочил в темную неизвестность. Вжав голову в плечи и защитив ее подушкой, он проделал сложное цирковое сальто, впервые, вероятно, в жизни полностью осознав всю сокрушительную силу инерции. Ему показалось, что не он сам закувыркался кокетливым турманом, а что земля, сорвавшись с оси, пошла выплясывать в космосе, как пьяный мужик в трепаке. В вихревом своем колете он чуть не сшиб с ног некстати подвернувшегося путевого сторожа.

От толчка сторож выронил из рук фонарь. Вплеснувшийся керосин попал на одеяло, вспыхнул веселое змейкой, осветил странное голое существо, кубарем катившееся под откос.

— Свят, свят, рассыпься! — торопливо закрестился сторож.

В самом деле, мрачная эта мистерия способна была напутать самого Харона. Оправившись и не замечая больше внизу никакого шевеления, Кузьма подобрал фонарь и бегом бросился на станцию, приговаривая :

– Чи оборотень, чи шо вонэ такэ, прости Господи.

При падении Иван Сергеевич сильно расцарапал ногу. Со съехавшим с плеч подгоревшим одеялом, с подушкой подмышкой. Потрясенный и злой, он также внезапно выскочил на дремавшую возле станционного подъезда пароконную извозчичью подводу.

— Эй, ты, фигура! — Крикнул он, сунув кулаком под бок заснувшего на козлах возницу. — Полтинник на пункт! Да поживей, смотри!

Маркевич уже занес ногу на подножку экипажа, но пришедший в себя ямщик, должно быть, вовремя осмыслил всю таинственность совершающегося. Он вдруг с плеча огрел кнутом свою пару и добрые кони птицами снялись с места. Из облаков поднятой ими шали, из кромешной ночной тьмы, как из мрачного эреба, донеслось надрывное и безнадежное:

— О-о-ой, милаи-и! Выруча-ай!

Плюнув на темную несознательность невежественной провинции, Иван Сергеевич решительно зашагал на ближние огни. Отбиваясь подушкой от оголтелых местечковых псов, размахивая дырявым одеялом, как отважный бандерильеро, плащом и неистово ругаясь, он мужественно отвоевывал свое право на существование. Поистине, это была героическая коррида, за которую любая Кармен не пожалела бы для него своей знойной нежности. Увы, вместо благовоспитанного быка, любезно подставляющего под смертоносную шпагу свой легкомысленный загривок, на Ивана Сергеевича щелкали зубами разъяренные псы, откровенно покушавшиеся на его аскетические икры, а вместо многообещающих женских глаз насмешливо глядели с высокого неба ко всему равнодушные звезды. Быть бы Ивану Сергеевичу бесславно растерзанным, если бы шедший навстречу старик вовремя не разогнал собак своим костылем. Дед по-стариковски деловито осмотрел странного человека, заглянул даже под одеяло, в которое тот успел стыдливо завернуться, и удивленно прошамкал:

— Ты нешто это, парень, без портков-то?

Иван Сергеевич только махнул рукой. До разговоров ли! Он даже не поблагодарил своего спасителя.

— Должно цыган, а может и жулик какой, равнодушно сказал дед и неторопливо поплелся своей дорогой.

Долго еще блуждал Маркович среди каких-то ям и огородов, пока добрался до освещенных окон пункта. Ухватившись за карниз, он с трудом

подтянулся на отощавших руках и осторожно заглянул внутрь. В столовой, возле весело пыхтевшего самовара, сидели сестры, и не было никакой надежды на их скорое исчезновение, потому что приятель Маркевича, студент, исполнявший на пункте обязанности фельдшера, потешал смешливых девиц какими-то небылицами.

— Вот еще некстати бабье это!— с досадой проворчал Иван Сергеевич. — Да и Макарыч тоже хорош. Нашел время лясы точить, дубина стоеросовая.

Усталый и вконец отчаявшийся, уселся доктор на высокое крыльцо и уныло повесил свою незадачливую голову. Как все несчастные и обездоленные, он пробовал обольщать себя несбыточными мечтами.

«Эх пожар бы, что ли, или землетрясение... Нет, последнее, пожалуй, лучше. При землетрясениях, говорят, земля вертится, как юла пузырится, как каша в котле, а в окрестностях при полном безветрии начинается хаос, развеселая свистопляска. Тогда бы фитюльки эти в косыночках «ах!» да «ох!», Макарыч тоже, конечно, заметался бы, как бес перед заутреней. А в этот момент двери настежь и в дверях он, Иван Сергеевич! Спокойный, величественный. Широкий жест, голос без малейшего дрожания, с этаким охлаждающим ледком великолепного пренебрежения: «Сударыни...» и т. д. Картинка, чёрт побери! Тогда, небось, и на наряд не поглядели бы, при стихийных бедствиях всякие условности забываются... Э-эх, а хорошо бы сейчас чайку из самоварчика. У-ух, хорошо! Макарыч, ну хоть на луну выйди полюбуйся, подлец ты бесчувственный...»

Нам искренне жаль бедного доктора, но что такое мечты, — больное извращение досужей мысли. Известно, что пожары случаются в самое неподходящее время, и уже меньше всего тогда, когда их желают; о землетрясениях же и говорить не приходится, они бывают, кажется, только в Туркестане, да еще на какой-то там уже вовсе абстрагированной Камчатке. А Макарычу, может быть, действительно, нужно было пожалеть приятеля и выйти к нему на высокое крыльцо.

Но разве плохо было Макарычу за стаканом доброго чаю, в обществе хорошеньких барышень? Да и луны, строго говоря, никакой не было, ночь стояла темная, как ближайшее будущее почтенного врача-практиканта.

Однако, Ивану Сергеевичу надо было решаться на действия, потому что Иван Сергеевич был голоден, он был сир и наг, как самый последний багдадский нищий. Ему хотелось вымыться, одеться, почувствовать себя человеком. Представление об унылой, одинокой ночи под насмешливыми звездами наполнило его нежной жалостью к себе. Не будучи в силах дольше ждать и томиться, он встал и, зажмурив глаза, с отчаянием в душе толкнул страшную дверь.

Как и всегда бывает при появлении неожиданных гостей, которых в общежитии почему-то называют татарами, сидевшие в комнате разом повернулась на шум. Излишне говорить, что доследовавшая за этим сцена

отличалась от знаменитой заключительной сцены «Ревизора» разве только бутафорией да малочисленностью участвовавших в ней персонажей. От стремительного движения одеяло съехало с плеч доктора и он предстал взорам удивленных зрителей в натуральную величину, целомудренно прижимая к животу растерзанную псами подушку. Отчаяние придало ему силы. Как неофит, впервые познавший всю прелесть и безгрешную легкость своей наготы, он сразу же успокоился, впал в привычное для всякого скептика безразличие.

— Маркевич. Иван Сергеевич. — Довольно развязно склонился он перед дамами и... позабыв про подушку, учтиво поднес руки к сердцу.

— А-а-ах!!!

Девичья стайка разорвалась с треском, как затейливый фейерверк. Комната разом опустела, только перегнувшийся пополам Макарыч ржал, тоненько, как осиротевший сосунок.

— Ну, чего тебя разморило? Скотина ты этакая, право, — недружелюбно покосился на приятеля. Иван Сергеевич.

Он вдруг ощутил упадок сил и в полном изнеможении опустился на первый попавшийся стул.

— Ива-ан Серге-е-ви-ич... да как это тебя... угораздило? — давясь и икая, с трудом выдавил из себя фельдшер.

— Обобрали, товарищ. Вдребезги обобрали, мерзавцы.

На первый взгляд может показаться, что наша повесть уже подошла к своему логическому завершению и что у нас имеются все основания поставить на этом месте точку. Что же, следуя велению шестой заповеди, мы, может быть, и должны были бы отнестись внимательней к евангельскому долготерпению нашей аудитории, но... увы, пути художественного творчества столь сложны и многообразны, что их не всегда сразу осваивают даже и сами просвещенные мастера слова. Дорогой читатель, внемли покаянной мольбе: мы еще не кончили нашего рассказа, мы его только начинаем.

Прежде всего, постараемся объяснить наличие в этом веселом рассказе меланхолического элемента. Дело в том, что разворачивая свиток имеющегося в нашем распоряжении материала о приключениях врача практиканта Маркевича, мы неожиданно и с грустью для себя обнаружили, что Иван Сергеевич, этот по многим причинам симпатичный нам человек, оказался не тем, за кого мы его поначалу приняли. Он не герой и не стоик, а шляпа, самая настоящая шляпа! Подумай только, читатель, ведь перенесенные им тяжкие испытания были настолько значительны, что создали целую легенду, но этот колпак Маркевич, конечно, никогда не сделался ее героем. Героем оказался путевой сторож Кузьма. Почему? Да, вероятно, потому, что у Кузьмы была крепка его природная мужицкая сметка, а Иван Сергеевич под напускным скептицизмом лишь скрывал свою интеллигентскую гнилость. Равно

пренебрегая всемогуществом обера, невежеством Кузьмы и целомудренностью хорошеньких фельдшериц, он в то же время способен был умиляться пошлым эгоизмом провинциального самовара. Мы отлично помним, каким несчастным и покинутым почувствовал он себя перед настоящей опасностью, как детски наивны были его мечты о землетрясении, как поносил он ни в чем неповинного Макарыча за его безразличное отношение к луне, и как он клял подлого грабителя, зло посмеявшегося над искренностью его простодушной лирики. Нет, мы не можем больше иметь дело с обманувшим нас интеллигентом и отныне поворачиваемся лицом к чуждому всяких сантиментов, кондовому Кузьме. Сильный Кузьма нам импонирует, и мы всецело становимся на его сторону.

С памятной ночи прошло много дней. Мы не знаем, жив ли медик, но если он даже и существует еще где-нибудь на этом свете, то все равно никакие честные свидетельства не помогут уже ему поколебать веру народа в то, что Кузьма видел настоящего оборотня, а не его, Ивана Сергеевича Маркевича.

Читатель, позволь рассказать тебе о том, что произошло за время с момента появления в свет идеи об оборотне до ее материализации. Вероятно, ты помнишь, как, подхватив с земли изуродованный фонарь, Кузьма побежал на станцию? Отсюда и начнем.

Простояв дольше положенного ему времени на целые полчаса, доставивший Маркевича в степь пассажирский поезд укатил дальше на восток. Уже потонули в ночи его зелено-красные глаза, отзвучало, прокатившись по глубоким степным балкам, горластое эхо, уже Кузьма успел потушить свет в клопиной зале 1 и 2 класса, а на маленькой станции все еще царили непривычны для такого захолустья суета и смущение.

Не найдя в поезде таинственного голого пассажира, жандарм, в сопровождении начальника станции и телеграфиста, самым тщательным образом осмотрел по указанию сторожа место, на котором впервые объявился оборотень. Но там тоже ничего подозрительного не оказалось, только под самым откосом, куда по клятвенному уверению Кузьмы огненным колесом скатилась упавшая из тучи нечистая сила, обнаружили несколько куриных перьев. Перья взяли в качестве вещественного доказательства и отправились составлять протокол.

— Ты закрепи, Панкратыч, запиши в бумагу-то, что, дескать, я, Кузьма Жук, в порче казенного имущества не повинен, — клянчил сторож, тыча жандарму под нос искалеченным фонарем.

Жандарм грузно уселся за стол, широко раздвинул могучие локти. Телеграфист услужливо подсунул ему лист чистой бумаги. Приготовившись писать, Панкратыч послюнил на кончике языка химический карандаш и, сердито взглянув на сторожа, спросил:

— Ты почему же его не задержал, тетеря?

— Не задержал-ал, — презрительно передразнил сторож. .— Вишь ты, герой какой! Нешто это человек, чтобы задержать?

— А что же, по-твоему, нечистая сила?

— Как есть нечистый, Панкратыч! Ей-Богу, право! Глазище, как угли, изо рта пламя и сам весь в огне. Бороденка тоже подозрительная, торчит вперед, на манер, как у козла... А ведь козел, он сам знаешь, зверь темный... недаром от него псиной пахнет.

— Да ты совсем очумел! Как это, от козла и вдруг псиной?

— А непременно... Ты принюхайся... Опять же, без штанов...

Телеграфист прыснул, но Кузьма строго посмотрел на него и вдруг обрушился на жандарма всей сокрушительностью непобедимого аргумента:

— Ну, хорошо. А скажи ты мне, сделай милость, куриный хвост у человека бывает?!

— Хво-ост?!!

Панкратыч осторожно отодвинул лежавшие у него под рукой перья и смущенно кашлянул. Но, не позволяя невежеству мужика торжествовать над своим авторитетом, он быстро оправился и строго сказал:

— Это не твоего ума дело. Ты по существу.

Жандарм был немало встревожен происшедшим. Его не смущали ни оскорбления, нанесенные неизвестным оберу и Кузьме при исполнении ими служебных обязанностей, ни безбилетность, ни даже уже совсем явно противозаконная нагота пассажира, его смущало слово, которым тот припечатал обер-кондуктора. Про-то-плаз-ма... Поди-ка. раскуси, что это должно означать! Панкратыч отлично разбирался в словах: анархист, революционер, социалист, студент... У него было особое чутье на подобные слова, он умел различать их по цвету и даже по запаху. В его воображении революционер ассоциировался с подвальными помещениями, с вонючей типографской краской, с шелестом подозрительных бумаг; анархист — тот громыхал взрывами, звенел железом, пах дымом и гарью; студент, — ну, это просто озорной парубок, который с жиру бесится. А вот про-то-плаз-ма! Бис его батьку знае, що цэ такэ! А, может быть, эта самая протоплазма угрожает существующему строю? Кто возьмется доказать, что это не так? Панкратычу почему-то казалось, что от этого слова пахнет падалью, трупом.

Кроме того, жандарма беспокоило, как отнесется к протоколу начальство. Ведь пассажира-то он все-таки проморгал. Как это могло случиться, глаз, кажись, наметанный. Уж и впрямь не нечистая ли сила раскатывает по российским железным дорогам? Всю ночь не спал Панкратыч, кряхтя и охая, ворочался на своей перине. А Кузьма в это время, вооружившись дедовским дробовиком, храбро обходил свой участок, и из-за каждого бугорка, из-за каждой осины лезла на него противная харя. Лезла и насмешливо кукарекала, заражая воздух псиной.

Наутро события осложнились. К жандарму пришел из местечка полицейский надзиратель и они долго и таинственно о чем то совещались. Выяснилось, что зафиксированные в жандармском протоколе показания Кузьмы и обера, которого Иван Сергеевич в гневе неосторожно обозвал протоплазмой, во многом подтверждались свидетельством напуганного Марковичем извозчика, с разгона влетевшего в ту ночь прямо во двор полицейского участка. Надзиратель записал следующие знаменательные слова возницы: «Я проснулся от удара. Мне показалось, что будто кто-то не то боднул меня, не то двинул копытом. Удар был так силен, что до сей поры поясницу ломит. В лицо того существа не заметил, а только было оно как есть нагишом и что то такое за ним по земле волочилось... может одежа какая, а может и хвост...»

Сопоставив все это, пришли к заключению, — наличие голого существа на Н-ой станции считать подтвержденным свидетельскими показаниями фактом. Теперь уже не подлежало никакому сомнению, что таинственный пассажир и являвшееся Кузьме и извозчику голое существо одно и то же лицо. Загадка, как удалось пассажиру скрыться из оцепленного поездной бригадой тщательно осмотренного жандармом и обером вагона, только убеждала в его нечеловеческой силе. Начальство твердой рукой расписалось на официальном документе и со спокойной совестью прихлопнуло его казенной печатью. Круг замкнулся. Проявление на станции оборотня сделалось, таким образом, документально заверенным событием. А, так как существует много путей, по которым даже самые конфиденциальные акты докатываются до любопытного обывательского уха, то молва покатилась от уст к устам и вскоре сделалась всероссийской. Молва эта росла и пухла, как перекати-поле, и в конце концов сугубо провинциальная железнодорожная станция сделалась знаменитостью.

Вместе с собой она вынесла на гребень волны и Кузьму. Впоследствии, по настоянию путешественников из привилегированных вагонов, начальство нашло возможным увеличить стоянку пассажирских поездов в этом медвежьем углу. Кузьма раздобрел, раздался, стал важным. Его даже обрядили в кафтан со светлыми пуговицами, потому что любопытные путешественники то и дело приглашали его показать им то место, где объявился оборотень. Хорошо получая за свои вольные экскурсы в еще недалекое, но уже сделавшееся легендарным прошлое, сторож счел не только возможным, но для пользы дела даже просто необходимым иллюстрировать свои рассказы довольно длинным диалогом, якобы происшедшим между ним и оборотнем. Публика по-разному принимала легенду: одни били себя по бедрам и, приседая, почтительно ахали, другие что то деловито заносили в записные книжки и лишь очень редки были те, которые откровенно смеялись над брехней мужика. Последних Кузьма не уважал н боялся.

Проводив очередной пассажирский поезд, Кузьма обычно удалялся в наполненную клопами залу 1 и 2 класса гасить огонь. Там он течение некоторого времени молчаливо предавался сладостному сознанию столь неожиданно свалившегося на его лохматую голову счастья, он пересчитывал свои заработки и когда случалось, что подачки тороватых пассажиров превышали даже его алчбу, он срывал с головы новый треух, бил им по жирным клопиным скопищам и от полноты чувств нежно приговаривал:

— Вот они, братцы, дела-то! Распрекрасная, братцы мои, это штука — жизнь!

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1945. №4. С. 8-13.

Павел Васильевич ШКУРКИН
(1868-1943)

Востоковед и литератор Павел Шкуркин родился 3 ноября 1868 г. в г. Лебедне Харьковской губернии в семье офицера. После окончания Александровского военного училища (1889) получал направление на Дальний Восток. Участник русско-японской войны, штабс-капитан. В 1903 г. окончил Владивостокский Восточный институт. Был помощником Владивостокского полицмейстера. В 1913 г. вышел в отставку и переехал в Маньчжурию. Работал переводчиком в Управлении КВЖД и преподавателем китайского языка в различных учебных заведениях Харбина. С 1925 г. – профессор института ориентальных и коммерческих наук. Один из основателей общества русских ориенталистов в Харбине, редактор (затем соредактор) журнала «Вестник Азии». Автор первых учебников по востоковедению и многочисленных работ по этнографии: «Китайские рассказы и легенды» (1917), «Китайские легенды» (1921), «Легенды в китайской истории» (1922), «Тонкая ива: Китайская повесть для дам и идеальных мужчин» (1922), «Хунхузы: Этнографические рассказы» (1924) и др. В 1927 г. уехал в США. Умер 1 апреля 1943 г. в Сиэтле от последствий уремии.

Ист. и лит.:

Хисамутдинов А.А. Синолог П.В. Шкуркин «...не для широкой публики, а для востоковедов и востоколюбов» // Известия Восточного института ДВГУ. Владивосток, 1996. № 3. С. 150-160.

Таскина Е. Синологи и краеведы Харбина // Проблемы Дальнего Востока. 1997. № 2. С. 125-126.

Бакич О. Дальневосточный архив Павла Васильевича Шкуркина: Предварительная опись. Сан-Пабло (США), 1997. 133 с.

КАК Я СДЕЛАЛСЯ ХУНХУЗОМ

Недавно мне пришлось познакомиться с весьма интересным человеком – командиром китайского полка, полк которого славится безукоризненной дисциплиной и отсутствием проступков среди солдат. Это – высокий, худощавый мужчина с симпатичным лицом, которое делается иногда каменным и показывает необыкновенную твердость характера. Вместе с тем, как это ни странно, он скромен и даже конфузлив. Хорошо знающие его говорят, что он очень добрый человек, но раб своего слова, что однажды он сказал – того не изменит. Подчиненные не только боятся его, но уважают и любят.

Я знал, что он – бывший предводитель хунхузов, приглашенный вместе со своей шайкой на службу. Своего прошлого он не скрывает.

На вопросы он отвечал скромно, даже застенчиво.

История его представляет один из типичных примеров того, как китайцы делаются хунхузами, как живут и промышляют хунхузские шайки. Поэтому привожу его рассказ почти дословно, опустив только мои вопросы и изменив, конечно, фамилию рассказчика.

— Очень, очень рад с вами познакомиться; чрезвычайно приятно встретить иностранца, говорящего по-китайски!

Моя фамилия Юй, Юй Цай-тунь. Как и большинство моих подчиненных, я родом из Шаньдуна. Теперь мне 37 лет, хотя на вид мне больше, – тяжелая жизнь быстро старит. Вы ведь отлично знаете, кем я был раньше, да я и не скрываю этого! Постоянное напряжение, непрерывные переходы, необходимость вечно быть на чеку – по пять, по шесть дней невозможно было даже ул переобуть – все это даром не проходит…

Вы хотите знать, как я сделался «независимым», т. е. тем, что вы обыкновенно называете «хунхузом»? – Извольте, я расскажу.

Шестнадцать лет тому назад я, молодой, полный сил и надежд, пришел из Шаньдуна во Владивосток. Людей у нас на родине много, а земли мало, да и плоха она, рабочие руки ценятся ни во что; а у русских – так говорили у нас – каждый китаец с хорошей головой и здоровым руками в короткое время может составить себе капитал, если только не будет играть в азартные игры или курить опий.

Семья моя была зажиточная, и я пришел не с пустыми руками: я принес с собой около 1000 рублей на русские деньги.

Во Владивостоке я скоро осмотрелся и нашел приятелей. Они рассказали мне: одно из самых выгодных дел – лесное. Один из наших шаньдунцев, работавший раньше у какого-то русского на рубке леса по реке Сучану, решил самостоятельно заняться этим делом и присмотрел очень удобное место на речке Си-ча (Сица), впадающей в Сучан. Условия сплава были очень удобны, и дело, несомненно, обещало быть очень выгодным, но, чтобы уменьшить расходы предприятия, было решено платных рабочих не нанимать, а организовать дело на компанейских началах, причем принимать в компаньоны только тех, которые могут принимать участие в деле не только капиталом, но и личным трудом.

Для начала дела нужно было десять тысяч рублей и не менее десяти человек рабочих. Девять человек, желающие лично работать и внесшие по тысяче рублей, уже были на лицо: не хватало только десятого. Меня уговорили, и я согласился вступить в эту компанию.

Купили инструменты, провизию, палатки, поехали на Сучан, заплатили лесничему в с. Владимиро-Александровском попенные деньги и отправились на место рубки на Сицу, в верховьях Сучана.

Лес оказался отличный. Распорядитель наш, Чжань Минь-цзе, был человек толковый, работящий, но горячий; мы все его слушались.

Дело шло прекрасно, но работа была трудная. Целый день приходилось быть на ногах в снегу, в слякоти, с топором или пилой; свалишь дерево, нужно его очистить от сучьев, запрячься в веревочные лямки и тащить его через камни, пни и буераки к самой речке.

Лошадей у нас не было – слишком дорого было их покупать. К концу дня иной раз так устанешь, что даже есть ничего не можешь...

Наконец я переутомился и заболел. Тогда один из товарищей дал мне покурить опиума, которого я до тех пор не пробовал. И что же? Болезненное состояние сменилось таким чудным состоянием покоя и прекрасного самочувствия, что я с тех пор пристрастился к опиуму и временами стал курить его неумеренно, что не мешало мне по-прежнему отлично работать.

Но все-таки я стал замечать, что постепенно я все больше и больше худею, и, в то время, когда я курил больше обыкновенного, – мне огонь «бросался в глаза». А затем случилось нечто похуже: я стал плохо видеть по вечерам, и, наконец, вечером, при огне я уже ничего не видел и даже не мог передвигаться без посторонней помощи.

У меня не было друга, который удержал бы меня, и дело, вероятно, кончилось бы плохо для меня, если бы неожиданный случай не изменил мою судьбу.

Однажды вечером после трудового дня все собрались в нашем шалаше. Мы поужинали, и все готовились к завтрашней работе: точили пилы, топоры, готовили веревки и т.п. Я выкурил несколько трубок, ничего не мог видеть, и поэтому не работал.

Мне зачем-то понадобилось пройти в другой конец шалаша; я пошел, наталкиваясь на других и мешая им работать. Тогда рассерженный Чжань схватил палку и сильно ударил меня по лицу наискось, вот по этому месту – между глазом и носом.

Это меня ударили в первый раз в жизни… Я не скажу, что я почувствовал, но я ни слова не сказал, и, пробравшись ощупью на свое место, я лег и пролежал без сна до утра.

С восходом солнца вернулось ко мне зрение. Я встал и стал прощаться с товарищами, говоря, что я ухожу. Те стали уговаривать меня остаться, но я ушел, бросив внесенный мною в дело пай и причитавшиеся на мою долю заработанные деньги, а их было порядочно.

Пошел я в лес, вглубь, в горы, куда глаза глядят. Без денег, почти без платья, без друзей и знакомых, нищий, шел я по тропе, сам не зная куда.

Прошел я, вероятно, верст двадцать и наткнулся на небольшую фанзу в маленькой долинке. Я устал и зашел в нее, чтобы отдохнуть. Хозяин фанзушки, кореец Ким Шэн-мини, встретил меня ласково. Работников у него не было. Я остался у него на день, потом еще на день, а потом и совсем поселился здесь. Но Ким был очень беден, и я стал работать у него только из-за хлеба, без жалованья.

Правильная жизнь, работа гораздо более легкая, чем на лесорубе, а главное – отсутствие опиума сделали то, что через месяца два-три я был неузнаваем: ко мне вернулось здоровье, я стал силен, выносливи прекрасно видел теперь вечером и при огне.

Тогда хозяин сказал, что такому работнику как я нужно платить, а ему платить нечем...

А у корейца был прекрасный американский топор с длинной выгнутой рукоятью; я им часто работал и любовался – а в топорах-то я толк знал. Я подумал: а почему бы мне не получить топор в виде платы? Я и сказал об этом хозяину. Тот подумал – и согласился.

Еще целый месяц работал я, пока не заработал себе топор. Но как только я получил его в собственность, я тотчас же попрощался с корейцем – хороший был человек! – и пошел по знакомой уже мне тропе на запад, к Сице.

Вечерело. Вот и наш шалаш. Я направился к нему; зачем — и сам тогда не знал: толкала какая-то посторонняя сила...

Когда я вошел в шалаш, все наши были в сборе; большинство разделось и отдыхало на кане. При моем входе раздались радостные возгласы: «А, вернулся, вернулся!».

Чжан тоже лежал. Но, увидев меня, он дружелюбно приподнялся ко мне навстречу. Я, то есть не я, а только мое тело, с топором в руке подошел к Чжану и, ни слова не говоря, с размаха ударил его топором, как раз по тому месту, по которому он раньше ударил меня палкой...

Лицо его развалилось на две стороны, и он без звука опрокинулся на кан. Я ударил его еще раз, и еще третий раз посередине тела и видел, как вывалились внутренности.

Все смотрели не шевелясь, и никто не сказал мне ни слова, когда я спокойно вышел из шалаша и опять, как и в первый раз, пошел куда глаза глядят.

Что мне теперь было делать? Я сделал то, что выбросило меня из общества людей. В работники мне уже идти нельзя...

Выход был только один: сделаться «независимым».

Встретился я с двумя такими же безработными, которым негде было главы преклонить: один – неудачный искатель женьшеня, а другой – ловец морской капусты, – и решили промышлять вместе.

Скоро к нам присоединилось еще двое, и вот мы впятером начали нашу новую работу, выгодную, но опасную. Старшего между нами не было; мы все пятеро были равны, и все, что получали, делили поровну.

Но я больше не хотел брать на свою душу греха и дал себе обещание: без крайней необходимости не лишать людей жизни.

Дела наши пошли хорошо, но они были все мелкие. Все же слух о нашей храбрости и удаче быстро распространился, и к нам быстро стали стекаться люди, желающие присоединиться к нашему отряду. Скоро у нас набралось уже человек двадцать. Я был выбран ихним «дань-цзя-эр» или «дань-цзя-ди» («руководителем дома», т. е. атаманом). А через год у меня было уже человек двести.

Нужно заметить, что каждая шайка, оперирующая в известном, строго определенном районе, обыкновенно подчиняется одному «да-е», т. е. главному старшине этого района. Старшина живет на месте, владеет

крупной усадьбой или предприятием и в глазах русских или китайских властей (смотря по тому, на чьей территории он живет) является почтенным лицом, о связи которого с хунхузами никому и в голову не приходит. Например, в это самое время главный да-е многих шаек, оперировавших около Владивостока, был крупный подрядчик, живший во Владивостоке и находившийся в приятельских отношениях со всеми вашими властями. А на самом деле это был беглый каторжник с Сахалина.

Но я не подчинялся никакому да-е, потому что не хотел ограничивать своей деятельности определенным районом.

Нужно заметить, что избираются предводители из среды товарищей только в маленьких шайках, в крупных же отрядах дело обстоит иначе: предводителем, «дань-цзя-ди», является тот, который вооружает на свой счет всех людей. Фактически он же обыкновенно и формирует весь отряд и является действительным «хозяином» всего.

Таким хозяином был и я, потому что у меня были уже средства для покупки оружия на двести-триста человек. Поэтому вы видите, что величина отряда, а следовательно, и влиятельность того или иного предводителя зависит исключительно от его богатства.

Некоторые из предводителей крупных шаек, заняв ту или другую пустынную гористую местность (например, по границе с Россией), привлекают сюда голытьбу китайцев или корейцев для разработки под мак плодородной земли в долинах и по склонам гор, где вырабатывается лучший опиум. Посмотрите на прилегающий к станции Пограничной район по обе стороны границы: он весь похож на сшитое из кусочков одеяло. И все поля этого района или принадлежат таким отрядам, или платят им подать опиумом. Пограничные русские земли, принадлежащие казачьему населению, – все сданы в аренду макосеям. А спросите: кто их сдавал или кому платятся подати? Ответ будет один: переводчику такому-то... А русские власти о таком переводчике и не слыхали. Часть денег с некоторых полей, хотя и попадает к казакам, но значительно большая часть идет предводителям шаек, объявившим свою власть над этой территорией.

Но я, хотя опиум и курю, но ни возделыванием его, ни захватом опийной земли не занимался.

Добывал же я средства существования для себя и своего отряда обычным, принятым у людей нашего поля, способом. Разузнав через своих агентов о степени благосостояния того или другого богатого человека – купца, земледельца, подрядчика или чиновника, я посылал ему письмо, в котором вежливо писал:

«Вы, милостивый государь, имеете такой-то доход и такое-то имущество, а между тем здесь бродит много дурных людей, которые могут вас ограбить или сделать еще что-либо худшее. Поэтому не будете ли вы так добры одолжить нам такую-то сумму, тогда вы можете быть

совершенно спокойны, – зная, что я вас никому не дам в обиду; для этого у меня достаточно силы».

При этом требуемая сумма всегда назначалась настолько умеренная, что плата ее никоим образом не могла подорвать благосостояния того лица, которому письмо адресовалось.

Я не помню случая, чтобы мне отказывали. И действительно: этих лиц я уже защищал всегда от нападений и поползновений других отрядов, таких же свободных, как и мой. Со своей стороны я не требовал денег от тех лиц, которые были уже обложены на этот год атаманом другой сильной шайки.

Оперировал я как на русской, так и на китайской стороне, в районе от Сучана до Спасского и от Пограничной до Янь-цзи-гана. Много раз мне приходилось сталкиваться и с войсками, – как русскими, так и с китайскими, больше с последними.

Нужно заметить, что между «независимыми храбрецами» существует поверье: если ты без крайней необходимости, т. е. не в честном бою, убьешь человека, то и сам будешь убит; жизнь за жизнь – неизбежный закон. Поэтому я дал себе зарок людей не убивать... И я сдержал обещание: я не только ни одного человека не убил иначе как в бою, но даже никого не держал в плену. Если же во время боя мне в руки попадали пленные, то я их всегда отпускал без всякого выкупа.

Вот поэтому-то из всего моего первоначального отряда осталось в живых всего три-четыре человека, в том числе и я.

Оперировали мы только летом. Осенью же, с наступлением холодов, почти весь отряд расходился по городам и селениям, чтобы веселой жизнью вознаградить себя за летние лишения, – и лишь незначительное число людей, – кадр отряда, – проводил всю зиму где-либо в землянке или фанзе в глухой тайге.

Это зимовье называется «ди ин-цзы», т. е. земляной лагерь. Туда заблаговременно свозится топливо, заготовляется необходимый на зиму провиант; там же хранится все оружие, патроны и прочее имущество, и боевое снаряжение. Жизнь этих людей бывает всю зиму крайне тяжела и тосклива. Для того чтобы прожить год, а то и несколько лет в такой обстановке, необходимы исключительные сила воли и выносливость. До первого снега еще ничего, терпеть можно, потому что свободно можно отходить от зимовья на любое расстояние, но когда выпадут снега и завалят все тропы – всякое сообщение с остальным миром прекращается совершенно месяца на четыре.

Отапливать помещение, готовить пищу и вообще разводить огонь можно только ночью, чтобы дымом не выдать своего местонахождения. Люди сидят, как в тюрьме, потому что достаточно иной раз одного следа на снегу, чтобы выдать так тщательно охраняемое местонахождение зимнего становища – арсенала, складов и тайного опорного пункта шайки,

т. е. самого сердца ее. А болезнь, а смерть – помощи ждать неоткуда... Да разве перечислишь все тяжелые случайности и лишения, которые приходится испытывать людям во время такой зимовки? Нужно самому испытать, чтобы понять все. Я провел так три года – и вы видите, что я почти старик, несмотря на мои 37 лет.

Вот почему, главным образом, большую часть отряда приходите распускать на зиму.

Когда же снег стаивал – весь отряд собирался опять и снова начинал свою деятельность.

Теперь уже девять лет, как я бросил прежнее ремесло. Я получил предложение коммерческого китайского общества поселка при станции П-я работать против других хунхузских шаек. Я согласился и таким образом перешел на легальное положение.

Есть у меня искренний друг, также бывший атаман, пользующийся большим влиянием и известностью, по фамилии Лу, Лу Цзин-тай. Однажды Лу пришел ко мне и просил меня принять от него в подарок большой двухэтажный дом в П. Я долго не хотел брать. Но Лу уговаривал меня:

— Возьми! Быть может, нам еще придется искать зимой крышу для отдыха. Мы – братья: ты всегда найдешь пристанище у меня; а я – я хочу быть уверенным, что найду угол у тебя!

Это был намек на то, что никто из нас не гарантирован от конфискации всего имущества, и в один непрекрасный для нас день каждый из нас может очутиться выброшенным за борт. Лу в это время был уже человеком весьма состоятельным – он был командиром батальона в регулярных войсках, за каковую должность он... ну, скажем, «пожертвовал на благотворительные дела» всего 10 000 рублей...

Я не мог больше отказываться от подарка и сделался домовладельцем. Дом приносит мне около 600 рублей в месяц, но вы знаете, что я расходую на полк не только все получаемые мною от казны суммы, но и все деньги, получаемые мною от моего дома... В этом и кроется разгадка отличного, как вы знаете, состояния моего полка.

Я обзавелся семьей и жил тихо и смирно до тех пор, пока меня не пригласили формировать полк. Это у нас в Китае обычная система – приглашать на службу известных своей энергией начальников вольных отрядов, причем им даются разные места в армии, начиная от взводного командира и кончая генеральским местом. Например, генерал Фын Лин-го был «дан-дзя-ди» еще во время русско-японской войны, а нынешний главнокомандующий северной армией Чжан Цзюн-чан, никогда не проигравший ни одного сражения и оперировавший когда-то во Владивостоке, и... Да не стоит дальше перечислять – вы сами знаете. Они ведь тоже прошли через этот этап. Вот почему китайское общество смотрит

на нас вовсе не как на нарушителей закона, а как на удальцов, дорожащих своей свободой и не желающих подчиняться властям.

Теперь я обеспечен, пользуюсь почетом, у меня есть семья... Но мне так надоели служебные дрязги и интриги, с одной стороны, а с другой, так хочется уйти от людей в тихую обстановку семьи и леса, что мне все чаще и чаще приходят на ум слова моего друга Лу, когда он дарил мне дом:

«Быть может, нам еще придется зимой искать крышу»...

Опубликовано: Шкуркин П. Хунхузы: Этнографические рассказы. Харбин, 1924.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 3. С. 503-511.

МАНЬЧЖУРСКИЙ КНЯЗЕК

Далеко-далеко на северо-востоке, где-то за морем Бо-хай, находится неведомая, чудная, сказочная, но и страшная страна Маньчжурия, откуда вышла наша священная династия – да хранят ее боги!

Высокие горы вздымаются к небу; в одной из них на самой вершине, в глубоком провале, есть озеро, на дне которого живет князь-дракон, в громе и молнии взлетающий иногда на небо… Из других гор иногда вырываются столбы пламени, расплавленные камни, как вода, текут вниз, все сжигая на своем пути, и густая тьма, вырвавшись тучами из недр горы, черной адской сажей оседает внизу и покрывает землю на сотни ли (верст)…

Горы покрыты непроходимыми лесами, и в этих лесах растет таинственная волшебная трава орхой-да, или женьшень, способная влить новую жизнь больному телу. Но горе тому смельчаку, который, целыми месяцами разыскивая волшебный корешок и, наконец, найдя его, бросится тотчас вырывать его из земли, забыв от радости, что сначала следует помолиться и возблагодарить духов гор и владыку здешних мест – грозного амба-лао-ху! Тотчас неведомо откуда появится страшный лао-ху (тигр) со священным иероглифом – «ван» (князь) на лбу, и… Никогда уже никто из смертных не увидит больше на этом свете несчастного искателя корней.

Но если счастливцу удастся добыть хотя бы два-три корешка в лето – ему больше ничего не нужно: он может продать их дороже, чем на вес золота... Конечно, если не попадется в руки надсмотрщиков, потому что выходить на опасный промысел без особых билетов нельзя: все добытые корни следует сдавать нашим милостивым фу-му-гуань – «отцу-матери подобным начальникам». Если же вышел без разрешения и попался – ну, так лучше было бы уж с тигром встретиться!

Вот почему многие, живя в лесу, корней не ищут, а бьют зверя или

добывают его ловушками и ямами. А лучше маньчжурских лесов и на свете нет! Если же удастся еще добыть в лесу несколько пар молодых рогов оленя или изюбра, то больше и желать нечего: рога (панты) вместе с женьшенем дают такое лекарство, которое умирающему жизнь возвращает, старца в юношу превращает.

А в реках, полных рыбы, водятся раковины, в которых можно найти жемчужины с палец величиной.

А золото, золото!.. Нигде нет столько золота, как в горах Маньчжурии!..

Но всеми этими богатствами владеют духи и оборотни, и нужно обладать закаленным телом, бесстрашной душой и знать заклинания, чтобы вырвать клад из таинственных мест и самому не погибнуть.

Только местные охотники-маньчжуры, олонцунь, хэчжэ, фяка и удэхэ не боятся ни духов, ни зверей. Они знают, что Эндури, небесные божества, – добры и милостивы, но в дела людей почти не вмешиваются; Онку, бог леса, – зла человеку не делает. Но нужно беречься горного бога, тонконогого великана Какзаму, чтобы он не превратил беспечного охотника в камень, да болотного беса Боко, горбатого, одноногого и однорукого карлика. Но страшнее всех – Окзо, птица с железным клювом, зубами и крыльями, которая с быстротою молнии носится по миру… Охотник грома не боится: то – Анды, благодетельный дух, – змей с лапами и крыльями, изрыгающий изо рта пламя, который отгоняет от охотника страшного Окзо…

Охотники – местные жители, они умеют благодарить добрых духов и умилостивить злых; а зверь – зверь не страшен: они знают, как его нужно встретить!

Но зато как тяжко приходится тем несчастным, которые за действительное ли преступление или просто вследствие интриг попадают сюда в ссылку! Хотя говорят, что на Дальний Запад ссылают еще дальше, но оттуда люди возвращаются, а из Маньчжурии – никогда.

***

В первой половине прошлого столетия в губернии Шань-си в семье почтенного, всеми уважаемого горожанина по фамилии Хань, родился мальчик.

Рождение мальчика – радость для семьи, потому что только старший в роде мужчина имеет право и обязан приносить жертвы предкам; неимение мужского потомства – очевидный знак немилости богов. Души предков ведь живут на том свете почти совершенно такой же жизнью, как и живые люди, лишенные жертвоприношений, они могут причинить тысячи бедствий живущим на земле.

Ну, а девочка в счет не идет: она выйдет замуж непременно в чужой род и будет служить ему, а не своим предкам.

Маленький Хань рос в обычной обстановке зажиточной китайской семьи, окруженный вниманием и заботами, без баловства.

Но с самых малых лет мальчик отличался шаловливостью и слишком большой долей самостоятельности. Во всех играх и шалостях с соседскими детьми он неизменно являлся коноводом. Особенно любил он играть в войну. И удивительно: ему беспрекословно повиновались мальчики значительно старше его самого…

Постепенно игры и забавы теряли невинный характер, и на маленького Ханя со всех сторон стали слышаться жалобы. Никакие уговоры и даже наказания со стороны родных не действовали, и отец всю надежду на исправление сына полагал в ученьи – благо уже пришло время…

Мальчика послали в школу.

Учился он недурно, но вел себя так, что учитель, перепробовав напрасно все меры наказания, обратился к отцу шалуна с просьбой взять мальчика из школы, потому что тот успел взбунтовать всю школу против учителя.

Пришлось взять отдельного учителя и учить мальчика дома.

Сначала дело пошло как будто лучше, но потом шаловливая натура мальчика взяла верх. Он стал так держать себя по отношению к учителю, что последний отказался от выгодного места в доме Ханя.

Целых ряд учителей сменился, но все они уходили вследствие непозволительных шалостей мальчугана, и, наконец, никто уже не хотел учить молодого повесу.

Между тем время шло, и мальчик превратился в юношу. Характер его не переменился, но вместе с возрастом увеличился и масштаб его шалостей: шайка сорванцов, набранная им, не давала покоя мирным обывателям, и дело кончилось тем, что в конце концов молодому Хан Сяо-цзун пришлось столкнуться с уголовными законами…

Отец отказался от сына, погубившего репутацию семьи, и с этого момента юноша исчез. Никто на родине больше его не видал.

***

Далеко в глуши Восточной Маньчжурии, на самой границе с Кореей, высится священная гора Бугагри (Байтоу-шань), на которой от небесной девы Фэкулэн родился Тоншонь Айжинь-Гиоро, родоначальник последней маньчжурско-китайской династии. На вершине горы находится в кратере глубокое озеро Тамунь (Тянь-чи), из которого, прорвав край горы, каскадом вытекает река Намняха, впадающая в Эр-дао-цзян.

С острогов той же горы берут начало реки Лиху и Сан-нокн, которые, захватив еще по дороге речки Лоху, Нархунь и Нитака, образуют реку Тоу-дао-цзян.

Большинства этих названий на карте не найдете: все маньчжурские

названия заменены китайскими, и только охотники, бродя по зверовым тропам и «продавая» их один другому вместе со зверовыми зимовьями (дуй-фан-цзы), ловушками и заборами, в которых местами вырыты ямы (лу-цзяо), всегда придерживаются старых названий, освященных и закрепленных в памяти охотников веками.

Тоу-дао-цзян (река первого пути) и Эр-дао-цзян (река второго пути), слившись вместе, образуют уже крупную реку, носившую в старину название Сумо-хэ или Сумо-я-цзы-хэ, а теперь – Сунгари, т. е. Молочная дорога; китайцы же, не знающие маньчжурского языка, перекрестили ее в Сун-хуа-дзян, т. е. река соснового цветка.

Недалеко от слияния Тоу-дао-дзяна и Эр-дао-цзяна, под самым перевалом Цзинь-ин-бэй-лин (Золотого лагеря северный перевал), в Соболиной пади (Дяо-пи-гоу), один охотник случайно нашел в реке золотой самородок. Весть об этом быстро разнеслась; масса приискателей, а то и просто «вольных удальцов», со всех сторон стала стекаться сюда, и вскоре в Дяо-пи-гоу кипела лихорадочная, но беспорядочная работа.

Охотники, конечно, могли бы оспаривать свое право на счастливое место, но, с одной стороны, настоящий охотник никогда не сделается приискателем, а с другой, – шумная жизнь прииска распугивает зверя, а за зверем уйдет и охотник…

Как бы то ни было, ничто не мешало бы быстро растущему прииску нормально развиваться, если бы не собственные неурядицы. Каждый работал, где и как хотел, пласт вскрывался как попало, выработанные отвалы заваливали соседские участки или нетронутую поверхность. Происходившие на этой почве ссоры, драки и даже убийства были обыденным явлением, а вопрос о пище становился иногда весьма острым.

Много времени прошло, пока, наконец, в приисковой общине наладился известный порядок. Вся власть была вручена трем выбранным пожизненно самым старым приискателям; в известных случаях им, по обычаю, принадлежало право жизни и смерти. Они были и судьи, и законодатели, и священнослужители, и горные инженеры…

В общем, жизнь общины была весьма тяжела. Своего хлеба не было – приходилось ходить за ним, потому что лошадей не было, и приносить понемногу издалека. Женщин, конечно, не было, как и во всех таких «вольных» республиках, и поэтому значительная часть рук отвлекалась на хозяйственные и домашние работы. А хуже всего было то, что когда приходилось сбывать намытое золото и покупать одежду, инструменты и прочие предметы, необходимые в их несложном быту, то приходилось ходить в более населенные пункты, где было кому продать и у кого купить. Ближайшим же таким пунктом был Гуан-гай, в верстах восьмидесяти… Купцы, зная, с кем они имеют дело, продавали им товар втридорога, а золото брали за полцены. Жаловаться было нельзя: приискатели были на

нелегальном положении, всякая жалоба влекла бы за собой, во-первых, – конфискацию всего имущества, а во-вторых, – тюрьму и палки, а то и кое-что и похуже…

Однажды в эту общину пришел молодой человек. Так как он понятия не имел о приисковой работе, но был хорошо грамотен, то его приставили для письменных занятий к трем старикам-старшинам, которые все очень хромали в отношении грамоты. Юноша очень быстро освоился со своим делом и стал вникать во все стороны приисковой жизни.

Прошел год, и старшины, как без рук, не могли обходиться без своего писаря. Никто лучше его не мог разобрать дело, прекратить ссору, продать золото или купить товар. Он оказался настолько умным, находчивым, изворотливым и смелым во всех случаях, что не только без его совета не решалось никакое дело, но даже более: все решалось так, как советовал молодой писарь.

Вскоре умер один из старшин, и, вопреки неписаной конституции общины, на место умершего был избран не очередной старик, а молодой писарь: это было выгоднее всем потому, что расходы на администрацию уменьшались.

Прошло еще года два-три – умер второй старик; на место его никого не выбрали. И когда умер последний из старых старшин, то во главе Дяопигоуской общины полновластным хозяином оказался один бывший писарь.

Это и был Хань Сяо-цзунь по прозвищу Хань Бэнь-вэй.

В скором времени сама община и жизнь в ней сделались неузнаваемыми. Прежде всего, чтобы обеспечить людей собственным хлебом, Хань привлек на свободные земли в районе прииска земледельцев, уравняв их во всех отношениях с коренными общинниками-приискателями.

Во-вторых, разрешил своим людям обзаводиться семьями, что прикрепило прежних бродяг к одному месту. Эта мера, до сих пор никогда не практикуемая в «вольных» общинах, показывает, насколько верил Хань в прочность созидаемого им дела и на то, что «вольный», то есть попросту хунхузский облик ее Хань хотел превратить в сельский, лояльный, государственный.

В-третьих, Хань запретил без особого разрешения отлучки из пределов приисковой общины для продажи золота каждому приискателю, как это практиковалось раньше: все добытое золото приказывалось теперь сдавать в свою контору. Здесь золото в присутствии хозяина тщательно взвешивалось: одна шестая часть его шла на общественные нужды, а пять шестых записывались в особую книгу на личный счет каждого. Время от времени сам Хань или его доверенные лица отвозили это золото в Гиринь и другие, более, чем Гуан-гай, отдаленные пункты, где, не зная продавцов, купцы давали за золото настоящую цену.

В-четвертых, на прииске были открыты склады товаров, которые отпускались рабочим по заготовительной стоимости.

В-пятых, Хань сделал разведки и открыл ряд приисков в том же районе.

В-шестых, вместо трех оборванных сторожей, руками коих творили правосудие прежние старшины и которые составляли всю их силу, у Ханя скоро появилась сотня отборных молодцов, отлично одетых и вооруженных ружьями новейшей системы. Отряд этот постепенно увеличивался все более и более, и во главе его скоро оказался европеец, каким-то образом попавший вглубь маньчжурской тайги и называвший себя немецким офицером… Целые ящики патронов, оружия и амуниции прибывали в Дяо-пи-гоу издалека и складывались в подземных хранилищах.

Все эти меры, да и многие другие, более мелкие, послужили к тому, что благосостояние приисковой общины, а также и число обитателей ее увеличилось во много раз. Власть Хань Бэнь-вэя признавалась бесспорно от самой корейской границы и чуть не до Гуан-гайя…

Но не только «свои» подчинялись своему «хозяину» и были ему преданы, но даже население окрестных районов в затруднительных случаях несло свои дела и споры на решение Ханя, видя в нем своего защитника и нелицеприятного судью…

Ближайшие местные власти несколько раз хотели разогнать дяопигоуских «хунхузов», но встретили такой твердый отпор со стороны Ханя, что до поры до времени оставили его в покое.

Однажды в Гуан-гай приехал какой-то важный чин из Гириня. Точно неизвестно, что он там творил, но только местные жители бросились к Дяо-пи-гоу к Ханю с жалобой на произвол и поборы чиновников.

Через два дня Хань был уже в Гуан-гайе с небольшим числом своих людей. Он вошел в ямынь, где остановился «чин», вывел его на площадь и средь бела дня, на глазах у многочисленной толпы, жестоко выпорол…

Кто знаком с психологией китайца, особенно интеллигентного, тот поймет, какую ужасную вещь сделал Хань. Гораздо меньший скандал получился, если бы он просто убил приезжего «да-жэня», но этим наказанием он не только заставил его «потерять лицо», т. е. опозорил навек и лишил его возможности продолжать службу, но оскорбил также и пославшего его гириньского цзян-цзюня (военного губернатора), а с ними все правительство…

Подобный вызов всем властям предержащим не мог остаться без возмездия. Тотчас поскакали нарочные с донесением в Мукдэнь и далее – в Пекин.

Вскоре из столицы было получено лаконическое приказание: «Немедленно Дяопигоуское гнездо шершней разрушить дотла и всех хунхузов казнить».

Гроза нависла не только над Дяо-пи-гоу, но и над всеми попутными селениями, потому что, по мнению, китайцев, солдат в походе – страшнее хунхуза… С северо-запада, со стороны Гириня, надвигался сильный отряд, состоявший из пехоты и кавалерии. Стон стоял у населения по пути наступления этого воинства…

Никто не сомневался, что дни верхне-сунгарийской вольной общины сочтены. Другие такие же приисковые общины могли бы прийти на помощь, но они были слишком далеко. Могли бы помочь знаменитые корейские тигровые охотники, если бы к ним обратился Хань, но он этого не сделал. Хань поступил иначе. Он не стал дожидаться прихода правительственного отряда в свои владения, а двинулся навстречу ему и ночью напал на мирно почивавший после тяжелого дневного перехода гириньский отряд, никак не ожидавший такой преждевременной встречи с хунхузами.

Часть отряда все-таки успела оправиться и стать под ружье, но когда загремели две старые бронзовые пушчонки, поставленные умелой рукой на командующей высоте и обстреливающие продольным огнем всю долину, китайский отряд в паническом страхе бросился назад врассыпную, но отступление ему было отрезано зашедшим в тыл неприятелем…

Мало кто из этого отряда вернулся в Гиринь.

Тогда лукавые китайско-маньчжурские власти решили держаться по отношению к нему другой тактики: экспедиций против Ханя больше не посылали, о нем больше в донесениях в Пекин не упоминали и вообще делали вид, что никакого непокорного «хунхуза» больше совсем не существует.

И такое «замалчивание» его продолжалось много лет…

За это время владения Ханя значительно расширились, число его «подданных» увеличилось в несколько раз, и все они пользовались несравненно большим благосостоянием, чем не подчиненные ему жители окрестных мест. Стража Ханя также значительно увеличилась, и он приобрел для нее даже… крупповское полевое орудие со значительным количеством снарядов.

Но никто больше не беспокоил жителей этого района, и Дяопигоуская община благоденствовала.

***

Наступил 1894 год. Началась несчастная для китайцев японско-китайская война. Японские войска, высадившиеся в Корее и разбившие китайцев при Пхион-яне, двигались в Маньчжурию. Китайский флот погиб, китайцы впали в уныние…

В это время в ставку китайского главнокомандующего явился какой-то молодой человек и потребовал аудиенции.

— Я – Хань Дэн-цзюй, – заявил он генералу, – внук Хань Бэнь-вэя – владельца Дяо-пи-гоу. Мой дед скорбит своим китайским сердцем о неудачах наших войск и прислал меня с отрядом в 300 человек к вам на помощь. Угодно вам принять нас или нет?

Генерал сделал смотр отряду и был поражен: «хунхузы» были одеты, экипированы, вооружены и обучены несравненно лучше, чем лучшие из его войск; они даже имели свой обоз и не требовали ничего от китайского интендантства.

Конечно, они были приняты, хотя и с некоторым колебанием.

Вскоре японцы продвинулись на реку Ялу, составляющую границу между Кореей и Маньчжурией, и здесь неожиданно для себя не только встретили отчаянное сопротивление, но передовые их части были даже разбиты наголову (японцы об этом очень не любят говорить и стараются этот факт замалчивать, а в официальной истории о нем, кажется, даже не упомянуто).

Это поражение нанес японцем отряд Хань Дэн-цзюя.

И хотя японцы 25-го октября перешли Ялу значительными силами и разбили китайскую армию, но все-таки упомянутый эпизод, единственный успех китайцев в эту войну, был единственным красочным пятном на всем безотрадном мрачном фоне их постоянных неудач. Понятно, что китайское начальство и само правительство не могло не оценить его по достоинству. Хань Бэнь-вэй не только получил прощение всех его прежних прегрешений, но ему еще прислали из Пекина красный шарик на шапку и пожаловали титул «ту-сы», который дается вождям инородческих племен в Западном и Юго-Западном Китае.

Таким образом, бывший «хунхуз» официально был признан князем самостоятельного владения, занимавшего в верховьях Сунгари нынешний Хуа-дянь-сяньский уезд.

Хань Бэнь-вэй, сделавшийся уже persona grata, вскоре умер, и его место занял его внук Хань Дэн-цзюй. Таким образом, в новом «княжестве» образовалась уже династия.

***

Наступил 1900-й год. В Китае началось движение, известное у нас под глупым названием «боксерского восстания». Желудок Китая судорожно сокращался, чтобы извергнуть насильственно попавшую туда неудобоваримую пищу – европейцев.

Генерал Вогак доносил из Тяньцзина о том, что не сегодня-завтра вспыхнет антиевропейское восстание; ему не верили. Он представил неопровержимые данные – Питер решил уже объявить его сумасшедшим, но генерал от переутомления и моральных страданий заболел воспалением мозга как раз в тот момент, когда началась уже резня и

международный экспедиционный корпус двинулся от Таку к Тяньцзину и затем к Пекину.

Потянули и мы на юг – начался китайский поход. Поход своеобразный, который мы делали вместе с французами, англичанами, немцами, американцами, итальянцами и японцами. Напрасно думают, что этот поход являлся только военной прогулкой: в Маньчжурии, где действовали мы одни, без союзников, войска наши не раз попадали в весьма тяжелое положение.

Так, например, колонна генералов Р., Ф. и А., посланная специально против значительной неприятельской части, втянулась в горы и преследовала противника два месяца. Но он был неуловим. Наши идут по долине, а по обеим сторонам, по хребтам параллельно с нами двигаются дозоры противника – простым глазом видно. Начнут по ним стрелять – спрячутся, а после снова покажутся. Но стоит отряду остановиться на ночлег – поднимают по нам стрельбу, не дают отдыхать, да и только ежеминутно ожидай нападения. Измучили нас ужасно!

Чем дальше в горы, тем путь становился тяжелее, да и провиант доставлять делалось все труднее. А враг наш – знаем, что он вот здесь, а догнать его никак нельзя!

Наконец генерал Р. (он был старший) схитрил. Он сделал обычный дневной переход, расположился вечером на ночлег, поужинал… А потом, когда стемнело, поднял отряд и сделал форсированный ночной переход.

Хитрость удалась: мы догнали главные силы неприятеля и напали на них. Завязался горячий бой; у неприятеля оказались даже горные орудия… Но все же мы, несмотря на значительные потери, разбили «боксеров», и те спешно отступили, не подобрав даже тела своих убитых.

Каково же было удивление наших, когда между убитыми они увидели два трупа, одетые в китайское платье, но оба блондина и с рыжими баками…

Это были немцы-офицеры, руководившие неприятельским отрядом; их смерть, вероятно, от разрыва случайной шрапнели, и дала нам частичную победу.

В общем же двухмесячный поход наш против этой банды был совершенно безрезультатен.

«Боксеры» же эти были никто иные, как отряд Хань Дэн-цзюя.

Спустя некоторое время, генерал Р. с двумя сотнями забайкальских казаков под натиском китайцев должен был отступить в район города Мопаньшаня, или Мопэйшаня (теперь – Паньши сянь), и попал в котловину между горами, заросшими лесом. Из котловины был только один выход – узкая дорожка. Это было 30-го октября – холода наступили рано, и замерзшая комками земля гулко звенела под копытами коней станичников. Оледенелые крутые сопки крайне затрудняли движение

кавалерии. Казаки уже два дня ничего не ели. Им, во что бы то ни стало, нужно было пробраться назад, на запад, в населенные места, а значительные силы противника отжимали их все дальше и дальше на восток, вглубь гор…

Расположились казаки на ночлег в котловине, разложили маленькие костры, завесили их с боков шинелями, чтобы скрыть от противника, и греют воду из грязного снега. Кольцо противника сжалось настолько, что уже слышны были голоса. Невеселую думу думает генерал Р. – видит, что приходится ставить в этой игре последнюю ставку, которая, наверно, будет бита…

Вдруг подходит к нему казак и докладывает, что: «Шпиона пымали!»

— А, шпион, – обрадовался Р., – отлично, мы его допросим. Смотрите только, чтобы он не сбежал!

— Никак нет, Ваше Превосходительство, он сам к нашей цепи пришел и все что-то спрашивает, и одет чудно – как будто монах!

Р. приказал привести к себе «шпиона» и позвать казачка, недурно говорившего по-китайски и исполнявшего обязанности толмача, и велел ему допросить задержанного китайца.

Фигура последнего была действительно необычайна: одет он был в старый ватный халат с широким отложным воротником и необычайно широкими рукавами. Лицо его и вся голова были тщательно выбриты.

— Ты зачем сюда попал? – спросил Р-ф.

Китаец что-то ответил.

— Ен говорит, Вашество, что ен вас искал, – перевел казак.

— Меня? – удивился Р. – А что тебе нужно от меня?

— Вы – генерал Ань? (китайцы так называли Р-а). У вас 245 казаков?

Р. изумился – действительно, это было точное число людей его отряда. Но подумав, что все равно странный китаец в его руках, он ответил:

— Да, верно. Что же дальше?

— Знаете ли вы, генерал, куда вы попали? Другого выхода из этой западни, кроме вон той дорожки, нет. Вас стережет многочисленный противник. Завтра чуть свет он на вас нападет и уничтожит…

— Да, знаю. Но зачем ты это мне говоришь, и зачем ты сюда пришел?

— А вот зачем. Наши начальники радуются, что вы попали, наконец, в западню, а они вас боялись больше всех русских генералов. Они радуются, что ни один русский не уйдет от них… Но они того не понимают, что сегодня они убьют у вас двести человек, а неделю спустя придут несколько ваших полков, мстя за вас, убьют двадцать тысяч наших, быть может, даже не солдат, а мирных поселян… Я – китаец, но я и монах – служитель великого Фо. Я много читал, и глаза мои видят дальше, чем у нашего предводителя… Я вас, русских, не люблю, но я вас спасу из любви к своим, чтобы впоследствии не было напрасных жертв!

Казак с трудом перевел речь монаха, но смысл был ясен.

Р. был поражен неожиданностью всего, что он только что услышал.

— Как же ты нас спасешь? – спросил генерал.

— А вы скажите мне, – продолжал монах, – куда вы думаете двинуть утром свой отряд, чтобы спасти его?

— Конечно, на восток в горы – сзади у меня ведь путь отрезан, а там я горами постараюсь выбраться на дорогу – не идти же мне этой тропой!

— Ну вот, наши начальники и знают, что вы думаете так сделать, и поэтому все горы, особенно с востока, окружены войсками, а дорожка – единственный выход из котловины – не охраняется, потому что они знают, – вы этой дорогой не пойдете. Поднимайте отряд и идите скорей этой тропой, пока еще не поздно!

Р. не знал, верить ли ему монаху или нет. Предатель он или спаситель?

Генерал посмотрел на монаха подозрительно:

— А ты не обманешь?

— Я пойду с вами, – просто ответил монах.

Раздумывать дальше было нельзя – скоро начнет светать. И что терял Р.? В худшем случае – бой, которого все равно не избежать…

Он решился и тотчас отдал приказание. Костры не были погашены, а, наоборот, в них подбросили дров; коням быстро подтянули подпруги – они даже не были расседланы. А чтобы не выдать своего движения гулом земли от ударов копыт, казаки оборвали полы своих шинелей и обвязали сукном копыта коням.

Все делалось быстро, но молча и в полной тишине: все понимали, что дело идет о спасении, на которое, впрочем, ни у кого не было надежды. В несколько минут все было готово, и отряд, ведя коней под уздцы, так спешно стал вытягиваться по узкой тропе, что даже наши раненые были оставлены у костров…

Впереди шел Р. и около него, под охраной двух казаков, монах в качестве проводника.

— О-ми-то-фо, О-ми-то-фо, – повторял про себя монах, сложив перед грудью молитвенно руки ладонями вместе.

Тропа втянулась в узкое дефиле между двумя горами. Вдруг монах, подняв предостерегающе одну руку, другой указал на какую-то скорчившуюся фигуру, сидевшую в шагах 30-ти от дороги на земле, прислонившись спиной к дереву. Это был единственный китаец-часовой, поставленный на всякий случай окарауливать тропу. Он крепко спал, обнявши колени вместе с винтовкой.

У казаков захватило дух: достаточно ничтожного шума, хруста сломавшейся под ногою ветки или ржания лошади, чтобы часовой проснулся и поднял тревогу. Тогда все дело пропало…

Казакам помогло казацкое счастье, а монаху – великий Будда. Ни одна лошадь не заржала, ни один камень не сорвался, и ничто не нарушило сладкого сна усталого и иззябшего хунхузского часового. Весь отряд прошел мимо него и успел вытянуться из ущелья…

Вдруг издалека, со стороны ловушки, из которой казаки только что успели спастись, раздался какой-то шум, а затем стоны и крики: «Помогите, братцы! Хоть пристрелите нас! Нас кладут на костры…»

Это кричали оставленные на произвол судьбы раненые, которых невозможно было взять.

Отряд, мучимый совестью, вскочил на коней, чтобы поскорее уйти от этих душу раздирающих криков…

Внезапно сзади, совсем близко, раздался выстрел – это дал сигнал проснувшийся часовой. Но было уже поздно: отряд на рысях уходил от опасного места по все улучшавшейся дороге и не боялся уже преследования со стороны «хунхузов», во главе которых стоял… тот же Хань Дэн-цзюй[4].

***

После этого случая мы стали считаться с Хань Дэн-цзюем. Проезжая однажды через местечко Гуан-гай, генерал Р. узнал, что Хань сейчас находится у себя в своем поместьи Цзинь-ин-цзы (Ти-инза) всего в десяти верстах от дороги, ведущей из Гуан-гая в Гиринь. Р. – прекрасный боевой генерал, лично был человек очень храбрый. Он взял проводника и с тремя офицерами без всякого конвоя свернул с дороги и поехал в Цзинь-ин-цзы («Золотую усадьбу»).

У ворот в богатую усадьбу генерала встретил сам хозяин – Хань Дэн-цзюй, со всей вежливостью, предписываемой китайскими церемониями.

Гостей усадили за стол. Вскоре появилось шампанское (это в глуши Маньчжурии-то, у хунхузов!), которое развязало языки.

— Скажите, пожалуйста, – обратился хозяин к Р., – какая истинная причина вашей поездки сюда?

— Я хотел видеть того китайского военачальника, с которым мы, три генерала, с превосходными силами в течение нескольких месяцев ничего не могли сделать, – ответил Р.

— Но как же вы не побоялись приехать сюда ко мне без всякой охраны?

— Чего же мне бояться? Ведь я – ваш гость!

Этот ответ сделал то, чего не могли сделать ружья и пушки: он превратил Ханя из врага Р-а, если не в его друга, то, во всяком случае, в человека, расположенного лично к Р-у.

[4]Рассказ об этих двух столкновениях с войсками Ханя автор лично слышал от генерала Р. и от участника двухмесячного похода – полковника Вознесенского.

***

Прошло несколько лет. Снова темные политические тучи стали заволакивать восточный небосклон – у нас обострились отношения с Японией.

Мало кому известно, что истинной виновницей нашей войны с Японией была Германия. Теперь уже не составляет дипломатической тайны то обстоятельство, что по договору, заключенному с Китаем нашим послом Кассини, Китай отдал нам в пятнадцатилетнюю аренду идеальный, райский порт Цзяо-чжоу на южном берегу полуострова Шаньдуня, и этот порт должен был служить выходом строящемуся Великому Сибирскому пути. Пронюхав об этом через своих шпионов в петербургских «сферах», Германия тотчас же решила, во что бы то ни стало перехватить у нас этот лакомый кусок.

В район Цзяо-чжоу были посланы специальные немецкие агенты под видом миссионеров для агитации среди населения. Дело было проведено настолько энергично, что в результате два особенно рьяных «миссионера» были… убиты.

***

Получилась колоссальная провокация, которую Германия использовала как нельзя лучше: пригрозив Китаю беспощадной войной, Германия потребовала у него в качестве компенсации за убийство именно порт Цзяо-чжоу (Киао-чао) с прилегающим районом, потому что «именно там произошло убийство, а что полито германской кровью – то принадлежит Германии»…

Положение Китая получилось крайне тяжелое и неловкое, и Китай просил нас принять Порт-Артур в обмен за Цзяо-чжоу.

Мы совсем не были расположены вступать в драку с Германией из-за куска китайской, хотя и хорошей, земли, тем более что в вопросах нашего обрезания и укорочения и Германию, и всякую другую державу тотчас же поддержала бы наш «друг» Англия.

Мы согласились на мену, – и в ответ на занятие немцами бухты Цзяо-чжоу в ноябре 1897 года, – и адмирал Дубасов 16 марта 1898 года поднял русский флаг в Порт-Артуре.

Вот разгадка того, что мы получили Артур так легко, без всяких обычных китайских дипломатических фокусов, и даже без протеста Англии, которая, попросту говоря, прозевала этот факт…

Если бы не пиратское вмешательство Германии, мы бы имели выход в Великий океан не в Ляодуне, а на юге Шаньдуня; южная ветка дороги прошла бы далеко от Южной Маньчжурии и Кореи, никакого столкновения с Японией не произошло бы и, следовательно, не было бы русско-японской войны. А поэтому не было бы и тяжелых для нас

последствий, и вся история последних пятнадцати лет была бы совсем другой…

Вот где корни нашей Артурской, а после – Ялуской «авантюр». Это были не авантюры, а мудро задуманные неизбежные в нашем положении государственные мероприятия, и, будь они выполнены как следует, – столкновения с Японией все-таки не произошло бы.

Как бы то ни было, но уже с 1902 года генерал Самойлов из Японии, как некогда генерал Вогак из Тяньцзина, усиленно доносил о направленных против нас совершенно открытых военных приготовлениях. Питер все его донесения отправлял на проверку проклятой памяти знаменитому адмиралу А., заменившему собою рыцарскую фигуру генерала Суботича и уже заболевшему тогда манией величия. Но ни донесения С., ни сообщения тому же А. многих лиц уже в январе 1904 года о военных приготовлениях японцев в Корее и Южной Монголии не могли вернуть разума этому злому гению России… И только 26 января 1904 года сознание его было несколько просветлено японскими минами.

Все мы знаем ход несчастной для нас японской войны, но, вероятно, мало кто знает, что сравнительно милостивый для нас мир был заключен только благодаря тому, что наша армия, сдвинутая с Мукдэньских позиций, осталась неразбитой (кроме правого фланга), и на Сыпингайских позициях она представляла собою такую силу, которой японцы до того еще не видали. Историки этой войны, конечно, дадут этим фактам свое объяснение, научно-военное, но, наверно, позабудут упомянуть про одно лицо, роль которого в этом счастливом для нас исходе совсем не так мала, чтобы не быть отмеченной.

Начались страдные дни Мукдэня. Японцы, благодаря халатности, незнанию восточных языков и полному неумению наших штабных заправил организовать разведку в незнакомой им стране, обошли наш правый фланг по монгольским землям и принудили нас спешно отступать.

На наш же левый фланг, опиравшийся на деревеньки Цин-хэчэн и У-бай-ню-лу-пу-цзы, наступление японцев началось еще с 6-го февраля 1905 года, т. е. ровно за полмесяца до начала наступления на правом фланге, приведшем к Мукдэньскому погрому.

Эти полмесяца японцы усиленно долбили левый фланг армии Линевича, которым командовал уже знакомый нам генерал Р. Силы его были крайне незначительны (был такой момент, что в течение трех дней у него было в распоряжении только 6 рот и… 6 генералов). Хорошо еще, что ему вскоре прислали на подмогу генерала Данилова с двумя полками, составившими крайний оплот нашего левого фланга.

Мы были значительно выдвинуты вперед сравнительно с остальной линией и 11-го февраля Р. и Д. стали отходить на общую линию обороны. Но, дойдя до д. Мацзяданя и выровняв общую линию, Р. твердо стал на

месте и восемь дней, несмотря на ураганный огонь противника, не только не уходил, но, отбив японцев, несколько раз просил разрешения перейти в наступление. И каждый раз ему в этом отказывали.

Вдруг 22 февраля получено от Штаба Главнокомандующего приказание отступать… Р. не верил своим глазам, предполагая ошибку или недоразумение, и потребовал подтверждения приказания. И вторично получил строжайшее приказание отступить.

Солдаты плакали, уходя со своих позиций на сопках, где они восемь дней продержались без всяких окопов…

Мы отошли к городкам Хай-лун-чэ-ну и Чао-ян-чжэню, где и расположились на долгих квартирах. Началось длительное накопление сил как с нашей, так и с японской стороны, и одновременно с этим – подпольная работа элементов, старавшихся привести армию к разложению. Из России стали приходить такие пополнения, от которых отказался бы даже Петр Аменский. Генерал Р. усиленно работал, внедряя дисциплину в ряды солдат и офицеров, и постепенно вырабатывал в них боевой опыт, доводя все новые части, непременно в своем личном присутствии, до боевого столкновения с японцами.

Особенно много хлопот дали ему наемные китайцы и N-я пехотная дивизия, приведенная с благодатного юга России начальником дивизии, прозванным «сумасшедшим муллой», и сформированная из четырех запасных батальонов, никогда не думавших попасть на войну. Но тихо рвущиеся в бой люди этих частей были часто неузнаваемы в тылу, особенно при «покупках» скота у китайцев…

Однажды генералу Р. какой-то китаец принес письмо на китайском языке, которое перевел офицер-восточник. Письмо гласило: «От ту-сы Хань Дэн-цзюя из Хуа-шу-линь-цзы» (название селения, образовавшегося вокруг Цзинь-ин-цзы – усадьбы Ханя).

Генерал Ань-мин! В течение нескольких лет подряд ваши храбрые военоначальники и их солдаты вели себя так, как следовало. Когда в 26-м году эры Гуан-сюй (1900) мы примирились с вами, мы не раз навещали друг друга; наши добрые отношения, все улучшаясь, проникали всюду в народ, благодатно орошая дружбу обоих народов, возникла и крепла нелицемерная правда. Между нами не было и зародыша подозрения, нелюбви или ненависти, никогда не возникало никаких неприятных дел. Когда наши разводочные отряды бывали у вас, то офицеры, солдаты и толмачи вели себя тихо и прилично, наши взаимные чувства любви и доверия совпадали, имущество и труд жителей охранялись. И мы были за это вам сердечно благодарны. Пусть же теперь проникнет мой голос в ваше чистое сердце!

Знайте, что мы глубоко огорчены и сердце наше сжимается, потому что в настоящее время жители наших трех долин угнетены. Глупые мы

надеемся, что вы озарите нас своим вниманием; на коленях молим, чтобы и на будущее время не оставляли нас.

Бывшему здесь раньше начальнику русского отряда покорно прошу передать благодарность за его охрану наших людей; когда мы взаимно оберегали друг друга, царствовало согласие, мы не видали горя и огорчения. Вдруг 12-го числа этого месяца на рассвете Мадритов привел к нам более 2000 человек. Раньше он поместил более 700 чел. подчиненных ему китайских солдат в селение Хуа-шу-линь-цзы, где они произвели смуты и беспорядки, не слушая своих начальников и офицеров, и насиловали женщин. Эти люди были все хуа-бан-дуй (китайские добровольные солдаты).

Свидетелей этих безобразий много. Возможно ли было не довести до вашего сведения о подобных делах?

Позвольте вас просить передать М-ву, чтобы он приказал своим подчиненным солдатам и офицерам: пусть они живут спокойно и прекратят безобразия, потому что нижние чины-китайцы причиняют не только беспокойство, но приносят «грязь и огонь».

Младший брат твой (я), моя старая мать, мой «щенок» (сын) – все теперь временно живем в Му-цзи-хэ. Когда мы услыхали о движении войск, наши кости затрепетали от страха, и сердце задрожало; мы не можем спать и есть, не имеем ни одной спокойной ночи.

У кого нет отца и матери? У кого нет жены и детей? Буду искать выхода в своем сердце; и как я могу быть беззаботным, когда его жжет огонь?

«В дорогой парче отдельной ниткой пренебрегают».

«Истинно мудрый – да вникнет».

«Слова совета и поучения усваиваются и служат пружиной мыслей, желаний и надежд».

Ведь в наших жилищах старикам и детям нет покоя, они мало спят и не едят; все люди в селениях, ожидая возникновения беспорядков, трепещут, семьи убегают и рассеиваются. Доходит до того, что поля превращаются в пустыри, запущенные пространства все увеличиваются, недостаток пищи для стариков и детей быстро растет. Весь народ тронется вашей милостью, потому что горе людей и рассеяние семей достигло крайнего предела. Я преклоняюсь перед вашей великой добродетелью!

Когда приехал М-ов, я виделся с ним, и мы были довольны друг другом. Но бывшие с ним хуа-бан-дуи вели себя грубо и нарушали военные законы и обычаи. Они тайно от русских офицеров творили всякие безобразия. Начальники же их из китайцев делали им всякие послабления и потакали им. Они подобным поведением позорили чистое прекрасное русское войско.

Мы с вами в хороших отношениях. Разве могли мы не обратиться к вам при наличии подобных несправедливых дел?

Продлите и усильте на вечные времена мир между людьми, чтобы все окончательно не разбежались. Пусть ваша неисчерпаемая милость окажет покровительство и защиту всей вселенной.

В письме всего не выразишь словом, а что и написано – то плохо выразило мысль. Почтительно представляю это недостойное письмо. Вынужденные обратиться – с надеждой обращаем к вам взоры. Истинно молим – да будет исполнена наша просьба.

Именно для этого и написано это чистосердечное письмо.

Молим о всеобщем благоденствии, мире и счастье и ожидаем от вашей засвидетельствованной мудрости беспристрастия.

Представляю вместе с карточкой.

5-й луны 13-го числа 31 года эры Гуан-сюй (2-го июня 1905 года)».

Но это письмо запоздало, потому что отряд из китайской вольницы, которым командовал М-ов, был уже передвинут в другое место.

Но прошло месяца полтора, как вдруг Р. получает новое письмо следующего содержания:

«Почтенный сановник генерал Ань, великий полководец! Смею довести до сведения генерала, что 26-го числа 6-й луны в мою деревню Миши-хэ приехал офицер с красным околышем на фуражке и тремя звездочками на золотых погонах и с ним девять конных солдат. Они стали ходить по дворам и собирать скот, несмотря на заявления хозяев, что те не хотят продавать его. Всего взяли десять быков и коров, восемь мулов и тридцать шесть лошадей. Когда некоторые хозяева не хотели выпускать скот со двора – их жестоко избили нагайками. Затем офицер потребовал старшину и давал ему 540 рублей. Старшина не взял. Офицер прибавил еще десять рублей – старшина все-таки не брал. Тогда офицер бросил деньги на землю и уехал вместе с солдатами. Но часть из этих денег солдаты подобрали и увезли с собой.

В деревне были мои солдаты, которые могли бы воспрепятствовать поступкам офицера, но они этого не хотели сделать из уважения к вам. Я боюсь, почтенный цзян-цзюнь, как бы не вышло неприятностей при приезде ваших людей в мои селения… Поэтому, если впоследствии вашим войскам понадобится скот, лошади, мука и т.п., то не найдете ли возможным не посылать за этим людей, а уведомить меня письмом – в каком пункте, сколько и чего вам нужно. Все будет точно доставлено в срок по цене, которую вы признаете справедливой. Недоразумений не будет, и дружба не нарушится. 27-го числа 6-й луны 31-го года эры Гуан-сюй».

При письме была приложена большая красная визитная карточка, на которой крупными черными иероглифами было написано: «Хань Дэн-цзюй».

Р. был взбешен до крайности:

— Это что же у меня в корпусе делается? Мародерство завелось?!

Его успокаивали, что китаец в письме, наверно, преувеличил. По всей вероятности, китайцы-поселяне жадничают и хотят побольше получить за проданный скот.

— То есть вы говорите, что Хань Дэн-цзюй соврал? Нет, не убедившись точно, что это правда, он не напишет!

По имевшимся в письме данным Р. сообразил, где искать виновного офицера. Он приказал подать себе коня и вместе с обычной свитой поскакал в распоряжение Л-ского полка, первого полка пресловутой N-й дивизии.

Появление строгого генерала, да еще бывшего, очевидно, не в духе, произвело в полку переполох.

Р. отправился в расположение полкового обоза. Тотчас к генералу прибежали заведующий хозяйством и квартирмейстер. Генерал взглянул на последнего – подпоручик. Нет, значит, не он…

Осмотрел генерал все команды в полку, где были лошади, – и все находил дурным, всех распушил, везде был непорядок и нехватка в конском составе. Но подходящего поручика не находилось… «Уж не обманул ли его китаец?», – шевелилось у него в мозгу.

— А команда конных охотников, которую я приказал формировать? Готова ли? Где она?

Оказалось, что команда расположилась отдельно от полка, в соседней усадьбе.

Генерал поскакал туда.

Выскочивший из фанзы дежурный унтер с запахом ханшина отрапортовал генералу, который пошел во внутренний двор прямо к коновязам, у которых были привязаны кони и шесть мулов.

Р. внимательно осмотрел их.

— А мулы чьи? – спросил он дежурного.

— Так что наши, Ваше Пр-во, – бойко ответил унтер.

В это время к генералу подходил уже откуда-то взявшийся начальник команды. Генерал смотрит – поручик, лицо нахальное, цыганское.

— А кони у вас, поручик, хороши, в теле!

Поручик расцвел – от Р. трудно было добиться похвалы.

— Так точно, В. Пр-во!

Генерал пошел дальше и осмотрел каждый закоулок помещения команды, и все хвалил. Видел и китайские «тигровые» одеяла на постелях у солдат, и козьи подстилки, и изящные резные кальяны из белого металла, чувствовал всюду предательский запах ханшина – и расположение духа его все улучшалось.

Наконец, в отдельном сарайчике он увидел еще двух прекрасных вороных мулов.

— Отлично, поручик! Вы прекрасный хозяин!

— Рад стараться, – щелкнул шпорами цыган, прикладывая руку к козырьку.

— Давно ли вы приобрели этих мулов?

— Дней шесть тому назад, В. Пр-во!

— А почем платили вы за них? – как бы невзначай спросил Р.

Поручик поперхнулся:

— По… 120 рублей, В. Пр-во!

— Что-о? Вы шутите! Кто же во время войны платит такие деньги?! Теперь красная цена по десять рублей за всякую скотину… Эй! – крикнул генерал. – Кто был с поручиком 5-го числа, когда покупали коней и мулов?

Несколько солдат подбежали к генералу.

— Почем китайцы отдали скот? – спросил Р. у пожилого, лет за 40, мешковатого солдата.

— Да воны вот далы по 10 карбованцив, – отвечал бородатый солдат, радостно улыбаясь при воспоминании о выгодной хозяйственной сделке своего начальника.

Р. приказал солдатам идти в фанзу. Когда около него остались одни офицеры, генерал сделал какое-то маленькое вычисление в своей записной книжке, а потом сказал сконфуженному поручику спокойным, по-видимому, тоном:

— Вы, поручик, дали задаток за скот, а остальные 5940 рублей забыли отдать. Потрудитесь сейчас же ехать в Ми-ши-хэ, отдать все деньги и расписку представить мне. Вы… вы – мародер!

Ну, тут генерала прорвало… Чего он только не наговорил поручику! Никогда ни на одного солдата, кажется, он так не кричал, как на бедного цыгана.

— А теперь отправляйтесь, да если я узнаю, что вы сделаете что-нибудь этому солдату-хохлу, то я вас под суд отдам, – закончил Р., выходя, отдуваясь, из усадьбы.

На другой день расписка жителей Ми-ши-хэ в получении общей сложностью 6480 рублей была представлена в Штаб корпуса.

Через три дня Р. снова получил письмо от Хань Дэн-цзюя с приложением подарков – несколько кусков шелка. Хань писал, что пускай Р. не беспокоится за свой левый фланг: ни один неприятельский солдат или лазутчик не пройдет к нам в тыл через его владения.

И он сдержал свое слово… Хунхузы, находившиеся на нашей службе под начальством полковника М., беспрепятственно шарили в тылу у японцев; а хунхузы, служившие у японцев под начальством Фын Лин-го, ни один проникнуть к нам в обход левого фланга не мог.

***

Кончилась война. Отдали мы японцам непросимую ими территорию

между Кай-юань-сянем и Куань-чэн-цзы, потому что наши генералы и штабные не слыхали о существовании двух ветвей «ивовой изгороди». Японцы требовали по южную, а мы отдали по северную… Признанное за нами наше влияние в Гирине стало улетучиваться вследствие полной неосведомленности и инертности наших заправил, управляющих Маньчжурией из Питера.

Японское же влияние усиливалось все более и более; проведена была Цзи-чанская жел. дорога между Куань-чэнцзы и Гиринем: числилась она китайской, фактически же была японской дорогой. Всюду расплодились японские магазины, банки и всякие другие предприятия.

Понравились японцам также золотые прииски и леса в верховьях Сунгари. Были нажаты соответствующие пружины, и… владетельному князю Хань Дэн-цзюю было предложено обменять его чудные владения на огромный, но бесплодный и болотистый кусок земли между нижними течениями рек Уссури и Сунгари.

Но Хань не согласился.

И все-таки дипломатия настояла на своем. В настоящее время Хань живет в Гирине за западными воротами, по дороге в бывшее русское консульство. Он – богатый человек и имеет генеральский чин. Но влияния он не имеет больше никакого, и его бывшее поместье Цзинь-ин-цзы – теперь уездный город Хуа-дянь-сянь.

Опубликовано: Шкуркин П.В. Хунхузы: Этнографические рассказы. Харбин, 1924.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
В 10 т. Пекин, 2005. Т. 3. С. 527-549.

СТАРАЯ ХЛЕБ-СОЛЬ

Лет за пять перед великой войной почти на всех наших лесных концессиях в Маньчжурии усиленно стали пошаливать хунхузы, облагая податью (правда, не очень значительной) китайские артели, работавшие на концессиях, а иногда требовали и от администрации доставления им провизии, одежды, патронов, ружей и т. п.

Оперировали большей частью мелкие шайки, но иногда в том или другом районе собирались такие значительные скопища, что против них посылались и наши отряды, и китайские войска. Наши большею частью возвращались благополучно назад, не имея возможности догнать заблаговременно предупрежденных хунхузов; китайские же – или били хунхузов, или сами бывали биты.

Однажды шайка хунхузов нагрянула на китайскую артель на концессии С. Рабочие или не могли или не хотели удовлетворить требование хунхузов, ссылаясь на контору, не приславшую муки и прочих припасов.

Тогда главная партия хунхузов ушла из становища, а часть их пошла к конторе, и, подстерегши указанного им китайскими рабочими русского десятника этой артели, схватили его, порядочно избили, так как он сопротивлялся, и повели его к предводителю.

Положение десятника было незавидное: он сопротивлялся, поэтому знал, что его без солидного выкупа, наверное, не выпустят, но возможно, что ему грозит что- либо худшее…

Привели десятника в зверовую фанзу, выстроенную когда-то орочоном или гольдом-охотником, и поставили связного перед главарем, сидевшим на нарах за столом, уставленным китайскими блюдцами с едой.

— Тебе почему мука не тащи, – обратился к нему по-русски главарь шайки.

— Контора получай нет, Харбин посылай нет, – отвечал перепуганный десятник.

Хунхуз стал внимательно всматриваться в десятника

— Тебе Федор Ванич?

— Да, это я.

— Тебе мадам Марья? – продолжал спрашивать хунхуз.

— Верно, – отвечал десятник, а сам думает: «И откуда он меня да и Марью знает? И для чего спрашивает? Как бы еще хуже чего не вышло!».

Хунхуз отдал какое-то приказание – и веревки, стягивавшие локти десятника, были тотчас сняты.

— Садись, мало-мало кушай!

Изумленный десятник присел; и так как он ничего с утра не ел, то пересилил страх, принялся за еду, недоумевая, зачем его хунхуз кормит, быть может, перед смертью?

«Хозяин» отдал еще какое-то распоряжение, и тотчас были принесены все вещи, отобранные у десятника, и между прочим призовые серебряные часы, полученные им еще на военной службе.

— Бери твоя, – сказал хозяин.

Десятник все больше недоумевал. Хунхуз улыбнулся: «Тебе мало-мало думай! Четыре года назад тебе работай на Яблони у К.?» И хунхуз назвал фамилию крупного лесопромышленника.

— Работай!

— Тебе помнишь Василия, что рука топор ломайла; другой десятник говори – твоя нельзя работай, – цуба Харбин! Тебе Марья говори – его Харбин ход – кушай нет, – помирай есть! Марья шибко хорошо лечи – один месяц Василий работай есть!

Десятник вспомнил – действительно был такой случай несколько лет назад, когда один из рабочих китайцев поранил себе руку. Китайца хотели рассчитать, но его жена заступилась за рабочего, и, приобретя кое-какие

сведенья о перевязках во время своей службы сиделкой в больнице, стала сама «лечить» больного. На ее счастье рука быстро зажила без особых осложнений; рабочий скоро ушел, и о нем все забыли.

— Смотри! – сказал хунхуз и протянул левую руку. У основания большого пальца тянулся большой шрам.

Тогда только десятник догадался, кого он видит перед собой, и сладкая надежда на спасение заставила забиться его сердце.

— Ну, – продолжил хунхуз, – бери твоя вещи и ходи домой. Скажи Марья – шибко хорошо! – и он опять отдал какое-то приказание своим подчиненным.

Через несколько минут десятник в сопровождении двух хунхузов-проводников пробирался через лесную чащу кратчайшим путем к своей конторе.

В тот же день вечером предводитель хунхузов потребовал в свою фанзу одного из конвоиров, сопровождавших десятника.

— Ты исправно доставил десятника домой? – сказал он.

— Да, исправно, – отвечал хунхуз.

— Почему же ты не доложил мне по возвращении? – уже строже спросил атаман.

— Мы только что вернулись, да-лао-е! – смутился тот.

— А как у тебя очутились часы десятника?

Хунхуз помертвел; из-за косого борта его куртки предательски высовывался кончик серебряного брелока в виде перекрещивающихся ружей – тот самый, который висел на конце цепочки от часов у десятника.

— Мне… мне… подарил их десятник, – лепетал растерявшийся в конец хунхуз.

— А я что приказал?

— Да-лао-е, великий господин! Я виноват!

Через пять минут хунхуз был расстрелян, а на другой день какой-то китаец вызвал десятника из конторы, отдал отобранные у него накануне одним из его проводников часы и, рассказав все случившееся, быстро скрылся.

Опубликовано: Шкуркин П.В. Хунхузы: Этнографические рассказы. Харбин, 1924.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 3. С. 491-493.

БАЙ-ХУА ДА-ЦЗЯН
(ДЕВИЦА-ВОЕВОДА)

В 26 верстах от города Гирина есть старинный городок Улагай. Более тысячи лет тому назад весь этот район, под названием Шу-чжоу,

принадлежал царству Бохай, которое простиралось на восток до моря, захватывая наш Уссурийский край и Северную Корею; потом Улагай перешел к киданьскому царству Ляо, а после – к нюйжэньскому (чжуржэньскому) царству Цзинь, от которого ведет происхождение и последняя маньчжурская династия.

Когда Минская династия в Китае клонилась уже к упадку, а великий Тай-цзу Гао хуань-ди (Нурхаци), основатель священной Да-циньской (маньчжурской) династии уже строил здание маньчжурской империи и проводил почтовые тракты, – то как раз около нынешнего Улагая была поставлена почтовая станция, названная «станцией пограничной башни» (Бянь-тай и чжань).

Затем здесь образовали военно-пахотное поселение и устроили конский завод, а в городке учредили управление главного начальника. А так как в протекавшей мимо городка «Молочной реке» (Сунгари) водилась желтая рыба удивительного вкуса (вероятно, желтощек), осетры и другие породы рыб, которых нет в Китае, то в одном из затонов реки был устроен огромный рыбный садок, из которого ежегодно посылали рыбу в виде подати от Улагая ко Двору.

Улагай еще при начале «священной» династии был окружен земляной стеной, которая и по сейчас даже видна посреди городка и называется гу-чэнь («древний город»).

Давно-давно в этом город жила замечательная девушка, по имени Бай-хуа (Белый цветок). Она была дочерью маньчжурского гусай-да (по-китайски – тунь-лина, полковника) и с малых лет совсем не походила по характеру на других девочек. Ее не интересовали куклы, наряды и девичьи забавы; играла она только с мальчиками в разбойники, в войну, и сами мальчики выбирали ее всегда своим предводителем.

Подросла девушка, в годы вошла, а о замужестве и слышать не хотела. А когда отец попрекнул ее, что она больше похожа на солдата, чем на женщину, – то она и попросила отца, чтобы он лучше отдал ее в солдаты, чем замуж.

Отец и подумал: чтобы дочка зря не болтала, – пусть-ка на деле узнает житье-бытье солдатское, всю нужду и тяжесть военной службы; авось отучится от всего, что ее полу не пристало.

— Хорошо, – сказал он дочери, – но только ты должна быть простым солдатом, нести всю тяжесть службы, идти, когда потребуется, на войну, и никогда никому и вида не подать, что ты–девушка и моя дочь.

Бай-хуа с радостью согласилась.

Через несколько дней из задних ворот гусай-даского дома верхом на горячем коне выехал молодой воин в шишаке, толстой ватной стеганой одежде с нашитыми на ней стальными бляхами (что заменяло у маньчжур латы), с кривым мечом у пояса, саадаком за плечами и колчаном, полным стрел.

Это была Бай-хуа, отправленная отцом в дальний гарнизон.

Скоро началась война. Со всех концов Маньчжурии потянулись войска на юг, а с ними и молодой солдат надолго уехал из родных мест.

Прошло несколько лет. Отец Бай-хуа уже не чаял видеть свою дочь – как вдруг однажды ему доложили, что его хочет видеть вновь назначенный гусай-да соседнего гуса (знамени, – полка). Старик вышел принять гостя – и увидел, что это его родная дочь, которая благодаря храбрости и военным талантам быстро дослужилась до звания гусай-да.

Прошло еще сравнительно немного времени, и Бай-хуа так отличилась в беспрестанных войнах, что император подчинил ей все войска Улаского района и даровал ей титул «гусабэ кадалара амбань», или по-китайски «лянь бинь да-цзянь».

Таким образом Бай-хуа, не скрывавшая более своего пола, сделалась начальником своего отца...

Она поселилась в Улагае. Нигде в Маньчжурии не было такого порядка в войсках, и нигде они не были так хорошо обучены, как у Улагайскаго амбаня, потому что солдатам некогда было бездельничать: в самой середине земляного городка Бай-хуа выстроила из глины квадратную башню вышиною в два чжана (10 аршин) и шириною с каждой стороны по четыре чжана. С вершины этой башни она ежедневно наблюдала ученье солдат, а первого и пятнадцатого числа каждого месяца делала смотры. И горе было ленивым или неумелым!

Так как ей, несомненно, оказывал особое покровительство бог войны – Гуань-ди (Лао-Е), то на юг от городской стены она выстроила большой храм в честь этого бога; и в этот храм, называемый Лао-е мяо, она часто ходила молиться и приносить жертвы.

Состарилась Бай-хуа и умерла девицей. Прошло много лет, но народ продолжал особенно чтить выстроенный ею храм, и в день храмового праздника люди собирались сюда толпами со всех окрестных мест.

Случилось, что во времена правления божественного Вэнь-цзунь Сянь-хуань-ди на юге Китая вспыхнуло грозное восстание длинноволосых бунтовщиков.

Восстание широко раскинулось по всей Поднебесной; появились мятежники и на святой земле Маньчжурии. Шайки их быстро разрастались, потому что они захватывали всех не успевших скрыться от них здоровых мужчин и силою заставляли их служить в своих войсках.

Толпы их медленно и неотвратимо, как саранча и прилив, надвигались на Гиринь.

Войсками в Гирине тогда командовал цзянь-цзюнь по фамилии Дэ, хороший человек, но плохой стратег, – он собрал сколько мог солдат и, не разузнав хорошенько о силах врага, двинулся ему навстречу.

Недалеко от Улагая противники встретились, и началась битва.

Солдаты сражались храбро; но превосходство сил неприятеля оказалось настолько велико, что после целого дня сражения победа, видимо, стала склоняться на сторону мятежников.

Без числа полегло солдат цзянь-цзюня... А когда бунтовщики обошли правительственный отряд с боков и ударили во фланг, – то солдаты не выдержали и побежали. Сам цзянь-цзюнь тоже бежал через Улагай.

Но мятежники уже охватили город с трех сторон, и цзянь-цзюнь увидел, что ему уже нет спасения: кого-кого, а его-то уж не помилуют! Тогда он бросился в храм Лао-Е, обнесенный солидной кирпичной стеной, и спрятался с несколькими из своих приближенных в самую отдаленную постройку храма – в самое святилище.

Он упал на холодный пол перед гигантской статуей Гуань-ди, бесстрастно восседавшей на троне под балдахином, и стал горячо молиться о спасении великому богу войны, покровителю династии, и духу мужественной Бай-хуа да-цзянь, строительнице храма...

В первый и последний раз в жизни так молился Дэ цзянь-цзюнь, но, по-видимому, напрасно... Мятежники напали уже на след и окружили храм плотным кольцом, но держались на пол ли версты от его стены, чтобы не попасть под выстрелы засевших в храме.

Спасения не было: если не приступом, так измором возьмут враги. Много ли съестных припасов может быть в храме?

Вдруг шум, крики и стоны среди мятежников привлекли внимание осажденных. Цзянь-цзюнь поднялся на стену и увидел, что среди мятежников происходит что-то непонятное и необычайное: кони их боятся, давят своих же людей; воины бросаются друг на друга, поражая их на смерть; многие пытаются бежать, но тут же падают...

Скоро в неприятельском стане не осталось ни одного способного сопротивляться врага. Тогда цзянь-цзюнь со своими людьми вышел из храмовой ограды и стал допрашивать нескольких раненых, дрожавших от страха мятежников, – что у них случилось?

Все они согласно показали следующее. Только что осаждающее собрались идти на приступ храма, как вдруг увидали, что внезапно главные ворота храмовой ограды раскрылись настежь.

Из них в карьере выехало бесчисленное количество высоких страшных воинов на очень крупных конях, все в панцирях и шлемах, у каждого в руках большой меч и копье. А впереди них – на огромном коне ужас наводящая женщина с распущенными волосами...

Люди эти, как вихрь, налетели на изумленных мятежников, и началось страшное избиение, потому что бунтовщики не могли ни убежать от страшных врагов, ни защищаться. Только немногие из них, бывшие в стороне, бежали и рассеялись во все стороны.

Так защитила Бай-хуа да-цзянь тех, кто обратился к ней за помощью,

и наказала дерзких разбойников, осмелившихся нарушить порядок в ее вотчине.

Опубликовано и печатается по: Шкуркин П. Китайские легенды. Харбин, 1921. С. 121-125.

ХРАМ ВЕРНОСТИ

В Южной Маньчжурии на левом берегу большой реки Ляо-хэ есть город Ню-чжуан. Когда-то он стоял при самом устье реки, но теперь наносы этой реки заполнили северный край Ляодунского залива, устье реки отодвинулось от города уже верст на пятьдесят, и поэтому город потерял свое былое значение. Но все-таки в нем гораздо больше солидных зданий и храмов, чем в его преемнике, – городе Инь-коу, выросшем в устье Ляо-хэ.

Между храмами особенным уважением жителей пользуется недавно выстроенный Цзе-сяо-цы.

Обычно храмы в Китае, если они воздвигнуты в честь какого-либо даоского или буддийского божества, могут носить название «мяо». Если храм называется «сы», то это буддийский или ламаиский храм (впрочем, мечети также называются «сы»). Иногда храм носит название «гуань» – тогда он посвящен непременно даоскому божеству. Буддийский женский монастырь носит название «ань». Храм в честь Кун-цзы (Конфуция) называется «вэнь-мяо», т.е. храм литературы.

Но есть еще храмы, носящие название «тань» и «цы». Это храмы, посвященные памяти героев, еще не возведенных в ранг духов покровителей или божеств, и людей недавнего времени, чем-либо прославившихся.

Таким образом, название «Цзе-сяо-цзы» в переводе будет означать приблизительно «Храм вдовьей почтительности». В этом храме, перед изображениями обычных народных божеств, стоят одиннадцать коленопреклоненных фигур, изображающих мальчиков. Если вы спросите сторожа (духовенства при таких храмах не полагается) или соседних жителей, то они расскажут следующую историю, случившуюся в 1900 г., т.е. почти на наших глазах (живых свидетелей-очевидцев вы найдете сколько угодно), и заодно проследите возникновение наивной легенды, причем последняя так тесно переплетается с истинным происшествием, что невозможно заметить конец одного и начало другой.

В самый разгар так называемого «боксерского» восстания на месте этого храма стояла ветхая фанзенка с полуразвалившейся глиняной оградой и безо всяких пристроек: последние были давно уже разобраны на

топливо. На дворе нет ни скота, ни даже собаки; везде пусто, неуютно, запущено... Два квадратных окна в фанзе заклеены дырявой, промасленной бумагой; внутри – голый кан (длинная лежанка), черный стол, скамейка; на столе щербатая чашка. И больше – ничего. Даже обычного сундука нет... Видно, что здесь живут бедняки.

Действительно, в этой фанзе жила бедная, почти нищая старуха со своей снохой, молодой, бездетной вдовой. Тяжело им жилось после смерти сына старухи; все, что осталось после него, они распродали и едва перебивались поденной работой. А много ли найдешь работы в китайском городе? У богатых – свои слуги, а у бедных – свои рабочие руки в семье. Добро бы хоть здесь родные были, а то они, такие же бедняки, все остались в далеком Дэнь-чжоу-фу, в Шань-дуне.

И стала старуха уговаривать сноху, чтобы та опять вышла замуж и хоть как-нибудь согрела ее старость.

Но вдова и слышать об этом не хотела.

— Матушка, – уговаривала она старуху, – как я могу таким поступком оскорбить память моего дорогого мужа, вашего сына!

— Ох, сноха, – плакалась старуха, – я сама это понимаю, да что же делать, когда есть нечего?! Ты-то молода, выдержишь, а разве тебе приятно будет видеть, когда я умру от голода!

Бедная молодая женщина горько плакала и не знала, что ей делать. С одной стороны, уважение к памяти мужа, так высоко ценящееся в Китае, не позволяло ей отказаться от вдовства, а с другой, – долг «сяо», – почтительности к свекрови, заменявшей ей мать, – обязывал ее пожертвовать всем ради старухи...

Наконец, когда они уже два дня совсем ничего не ели, вдова не выдержала слез старухи и согласилась выйти замуж за любого жениха, который согласился бы ее взять...

— А у меня есть уже на примете хороший жених, – вскричала обрадованная старуха и убежала.

Через час она вернулась вместе с мужчиной лет тридцати в потертом платье, грубоватым, но с добрыми глазами. Это был плотник, отличный работник, которого молодая женщина видела раньше раза два.

После обычных приветствий, плотник прямо приступил к делу: где им, таким беднякам, соблюдать все полагающиеся в таких случаях церемонии, – засылать сватов, отправлять заранее подарки и тому подобное! Время не ждет, завтра нужно идти на работу...

— Мне ваша матушка сказала, что вы согласны выйти за меня замуж; я уже заплатил ей полтораста дяо, – извините, что мало, – у меня больше не было! Хотите ли вы быть у меня хозяйкой?

Молодая женщина заплакала. Она знала, что плотник – отличный мастер своего дела; но она знала также, что он – вдовец и что недавно

умершая жена оставила на его руках двух детей – мальчиков, да еще девочку, родившуюся только пять месяцев тому назад...

Но голос и глаза у плотника были добрые, да и выбора ей не представлялось никакого.

Она вытерла глаза и ответила:

— Вы ведь уже за меня заплатили – я не могу идти против желания матушки!

Так как жених и невеста были уже вдовыми, а у плотника дома дожидались три рта, то вся свадебная процедура была упрощена до крайности: плотник взял узелок с тряпьем своей невесты и увел ее к себе домой; тем дело и кончилось, без всяких обрядов.

Старуха осталась одна в пустой, холодной фанзе – и, тут она почувствовала, чем была для нее сноха.

— Как я буду жить? – причитала старуха вслух. – Дорогая моя старшая женушка![5] Послушная, кроткая моя доченька! И зачем я, глупая, уговорила тебя бросить меня? На что мне теперь эти деньги?

И старуха засунула сверток с бумажными деньгами в глубокую трещину давно неремонтированной, закоптелой глиняной стены.

Долго еще старуха причитала и плакала, пока, наконец не заснула на холодном кане уже перед рассветом.

***

А к этой фанзе непосредственно примыкала другая фанза, почти такая же старая, в которой помещалась школа. Разделяла их только одна глиняная потрескавшаяся насквозь стена. В этой школе вместе с учителем жили двенадцать учеников, жители окрестных деревень.

Обыкновенно в Китае одна усадьба от другой, соседней, отделяется прочными кирпичными или глинобитными стенами, и обитатели каждой усадьбы живут своей, совершенно изолированной жизнью. Но в данном случае быстроглазые мальчишки знали все, что делалось у соседок не только вследствие полуразвалившейся ограды, но и потому, что, прильнув ушами к трещинам стены, разделявшей фанзы, они отлично слышали даже все причитания старухи.

Учитель как раз отлучился из школы по своим делам, что было на руку школьникам. И вот в мозгу одного из них, самого бойкого и испорченного, зародилась нехорошая мысль.

— А что, товарищи, если бы у старухи утащить деньги; вот хорошо бы было!

---

[5] С выходом замуж девушка в Китае теряет свое детское имя и взамен него не получает никакого собственного имени, если только она не получила «учебного» имени, которое может сохраниться и после замужества. Как муж, так и старшие родственники могут звать ее «да си-фу-эр», т. е. старшая, или первая жена; в интеллигентных семьях зовут «да най-най» – старшая матушка. Если в семье имеется несколько снох, то жена второго сына будет «эр си-фу-эр» – вторая жена, или «эр-най-най», и т. д.

Все мальчишки хором поддержали скверное предложение; нашелся только один, по фамилии Бай, который протестовал:

— Послушай, Чжан, и вы все: как вам не стыдно, – вы совсем забыли «правила»... Ведь это будет воровство!

Некоторые малыши стали колебаться.

— Ты – глупый, – набросился на него инициатор кражи, нанося ему удар по голове. – Ведь она сама говорила – на что ей деньги? Они ей не нужны; следовательно – мы можем их взять. Разве тебе довольно той еды, которую нам приносят?! А если у нас будет полтораста дяо, то сколько мы можем на них накупить и груш, и обсахаренного боярышника, и сань-ча-гао (боярышниковой пастилы), и лянь-цзы (семена лотоса), и ма-хуа-эрь, и сянь-ю-го-цзы (разные сорта продаваемого разносчиками печенья). Мы целый месяц будем сыты!

Испытание было слишком сильно. Блестящие перспективы, нарисованные маленьким преступником, увлекли колеблющихся – и решено было взять деньги у старухи.

— Не делайте этого, я вас очень прошу, – уговаривал единственный протестант – Бай.

— Ты – девчонка, – закричал на него Чжан. – Ну, если ты так будешь хныкать и учитель что-нибудь заметит, – то мы тебя изобьем, и есть тебе не будем давать, и сань-цзы-цзинь (первоначальная книга, которую изучают школьники) у тебя отнимем, чтобы ты уроков не знал, и будем пачкать твою тетрадь для каллиграфии, чтобы учитель бил тебя линейкой по концам сложенных пальцев, и мы будем тебя каждый день бить. Вот тебе – пикни только!

Зная, что все эти страшные угрозы мальчишки легко могут привести в исполнение, Бай с горем отошел от них и забился в угол, а остальные стали вырабатывать план действий.

— Кому же идти за деньгами? – спрашивали некоторые.

— Конечно Чжану, – раздались голоса. – Он – самый храбрый; да он ведь и выдумал это дело!

— Ладно, – сказал Чжан. – А кто же будет сторожить?

— Я, я, – раздались голоса.

— Ну, так вот что; только чур, меня слушать, – распоряжался Чжан. – Завтра рано утром учитель будет еще спать в своей комнате (легкие перегородки в углу кана часто отделяют маленькие каморки от остального помещения), – он ведь крепко спит, когда поздно возвращается; мы выйдем потихоньку из дома, как будто по своей надобности. Ты – станешь у дверей и дашь знак в случае, если учитель проснется; ты – станешь у ограды и передашь тревожный сигнал, если он выйдет; а ты будешь у дверей старухи зорко следить за товарищами. Я же один пойду в комнату к старухе и найду деньги.

Мальчики с уважением смотрели на «храбреца».

— А если старуха проснется? – спросил один из мальчуганов. – Тогда я... я ее попрошу дать мне воды, – скажу, что у нас вся вышла!

Только что школьники распределили роли, как один из учеников, стоявший у двери на стороже, тревожно объявил:

— Сянь-шэнь лай, сянь-шэнь лай, – т. е. пригвожденный (учитель) идет.

Все прыснули на свои места на кане, и в фанзу тяжелой походкой, красный и потный, вошел учитель. Получаемая им шу-сю («пучок наставлений», или «связка денег за ученье», – так называлась плата учителю) была, по обыкновению, так мала, что ему пришлось, хотя это и не разрешалось, подрабатывать на стороне, и он давал уроки сыну богатого купца, жившего на другом конце города. Понятно, что он всегда торопился с урока домой в школу и сильно уставал. Занятый своими мыслями, учитель во время ужина не заметил ни таинственного перешептывания многих учеников, ни убитого вида Бая.

На другой день, едва рассвело, Чжан уже был на ногах и растолкал трех своих товарищей. Тем очень не хотелось покидать теплых постелей, да и участие в рискованном предприятии пугало их, но Чжан строго приказал им одеваться и выходить, и мальчики не посмели его ослушаться.

Разместив сторожей так, как было предположено ранее, Чжан тихонько подошел к дверям соседки… И ему на миг захотелось, чтобы она была заперта: тогда волей-неволей пришлось бы отказаться от выполнения рискованного предприятия и вместе с тем «не потерять лица» перед товарищами...

Но дверь не была заперта и без скрипа подалась, когда мальчик потянул ее к себе.

Чжан вошел в фанзу и в первый момент не мог ясно разглядеть, есть ли кто в комнате. Но через минуту, когда его глаза привыкли к царствовавшему в фанзе полумраку, он увидел старуху, крепко спавшую на кане, на подложенной под себя куче лохмотьев.

При виде ужасающей нищеты, окружавшей его, Чжану на миг сделалось стыдно; но мысль о насмешках товарищей заставила его подавить в себе доброе чувство, и он с сильно бьющимся сердцем стал подходить к старухе. Она крепко спала ногами к стене, а головою внутрь фанзы, положив голову без всякой подушки прямо на деревянный брус, окаймлявший край кана.

«Где же деньги? – промелькнуло в голове Чжана. – Наверно, она положила их под себя; как достать, их, не разбудив женщины?».

Но в этот момент глаза его упали на что-то белевшееся на стене, как раз над ногами спящей. Присмотревшись внимательнее, он увидел, что это – сверток бумаги, засунутый в трещину глиняной стены.

Неясная догадка мелькнула в уме Чжана; он влез на кан и осторожно вытащил сверток из щели.

Спуститься с кана и развернуть сверток – было делом полуминуты.

О, радость! В свертке оказались деньги – те самые полтораста дяо, которые плотник уплатил за невесту...

Чжан взглянул на старуху – она по-прежнему крепко спала. Бесшумно, но быстро направился он к двери и открыл ее. Уже без мер предосторожности он перебежал двор, перебрался через ограду и вместе со своими товарищами-сторожами был уже через минуту, раздетый, на кане в своей постели, притворяясь спящим.

Прошло немного времени. Учитель проснулся и стал будить учеников; четверо из них, в том числе Чжан, спали особенно крепко...

Наконец все встали, и школьная жизнь потекла своим чередом. Проснулась, наконец, и старуха, удивленная тем, что не слышит около себя обычного мягкого голоса своей снохи. И вдруг вспомнила она то, что случилось вчера: теперь она уже совсем-совсем одинока! И только мысль о деньгах согрела ее сердце: несколько месяцев не будет она, по крайней мере, голодать...

«Что же это я! – спохватилась старуха. – Ведь сегодня молодые, по обычаю, должны прийти благодарить меня, и я обязана их угостить. Я у меня в доме ровно ничего нет. Пойду-ка я скорее, куплю сяо-ми-цзы (чумизы) и хоть немного свинины!

И старуха стала быстро одеваться.

«А сколько взять денег? Пять дяо будет, конечно, за глаза довольно!».

И старуха встала на кан, чтобы достать деньги. Что это? Денег нет! Упали, конечно, на кан?..

Но ни на кане между тряпьем, ни в глубине всех щелей в стене и нигде в фанзе денег не оказалось ни малейшего следа.

«О я, несчастная! Покинутая всеми, навек одинокая, нищая, ограбленная духами, так как людей здесь не было, осрамленная, – я жить не могу!

Старуха встала на кан, взяла пояс, перекинула его через балку, сделала петлю, всунула в нее голову – и прыгнула с высокого кана вниз…

***

Настал полдень. Плотник с молодой женой давным-давно уже встали; она сварила завтрак, накормила мужа и детей, а он успел уже сходить в лавки и купить те подарки, которые, по обычаю, полагалось сегодня отдать его названной теще, – новую одежду и серебряные вещи: кольцо, браслет да головную шпильку. Правда, плотник истратил все свои деньги, скопленные за много лет тяжелым трудом; но ему не жаль было их. Он видел, что получил хорошую, добрую жену; теперь будет на кого оставлять дома детей. А деньги – деньги что? Пустяки! Он скоро заработает их больше прежнего...

— Ну, жена, – сказал плотник, – нам с тобою одновременно невозможно идти на поклон к теще. Иди сначала ты, а я останусь с детьми; а когда ты вернешься, – схожу я.

Молодая женщина быстро собралась, взяла купленные мужем для старухи подарки и пошла к своему старому пепелищу.

«Что-то поделывает матушка без меня? – думала она дорогой. – Вероятно, тоскует, бедная, по мне? И кто теперь без меня будет за ней, старой, ухаживать? Как только нам удастся нанять помещение побольше, чтобы всем можно было разместиться на кане, – непременно попрошу мужа взять матушку к себе!

Вот и старая фанза. Дверь, против обыкновения, затворена и никто ее не встречает...

Женщина вошла в фанзу. О, ужас! Длинное черное тело висит на балке...

С диким воплем бросилась она к трупу, обнимая и прижимая к себе его ноги.

— Матушка! – кричала она. – Прости меня, я теперь вижу, что ты заботилась только обо мне. Ты не хотела, чтобы я переносила нищету, ты меня устроила, но ты не могла жить без меня. А я, неблагодарная, подлая и перед твоим покойным сыном, и перед тобою, – я думала только о собственному благополучии!.. Вместо того, чтобы всю свою жизнь посвятить твоей старости, я, преступница, пошла к другому человеку. Нет, матушка, не думай, что ты останешься одна; я теперь знаю, что я должна сделать: я тебя и «там» найду и буду за тобой ухаживать!

И тут же исступленная женщина повесилась рядом со старухой.

***

Прошло часа два. Плотник ждал-ждал жену – нет ее! Что случилось, что могло ее задержать так долго? Ведь завтра ему нужно идти на работу, а тещу названную он должен посетить непременно сегодня же, иначе он не выполнит «церемоний», и сраму тогда не оберешься... Да и детей кормить надо.

Думал-думал плотник, и, приказав старшему сыну хорошенько смотреть за крошкой-сестрой, он быстро зашагал к дому старухи.

Старый дом встретил его неприветливо – никто не вышел навстречу, хотя дверь и была отворена...

Плотник вошел внутрь – и то, что он увидел там, поразило его как громом.

Он сел на кан и долго смотрел на два страшных, длинных, висящих тела, из которых одно только что было его кроткой, любящей женой, тем фундаментом, который он хотел подвести под свой развалившийся семейный очаг...

«Итак, – думал он, – нет у меня ни денег, ни жены. Не вмешайся я в дела этих женщин, — обе они были бы живы. Значить, я в чем-то виноват, хотя в чем – не знаю... Видимо, «там» за какие-то грехи в прежних существованиях (большинство китайцев верит в перерождения) не допускают меня к счастью и благополучию. С «ними» ведь не поспоришь; следовательно, и противиться нечего!»

Плотник встал, медленно снял с себя пояс, сделал петлю и повесился рядом с женой.

***

Школьники рядом все видели и все знали, что творится в старой фанзе. Ужас их обуял и все нарастал по мере увеличения числа трупов под соседней крышей. Ведь если одна из имеющихся в каждом человеке трех душ даже обыкновенного покойника любит бродить около места своей смерти, то души самоубийц, конечно, еще более привязаны к своему телу и к месту своей земной жизни, и они непременно отомстят виновникам своей смерти...[6]

Наконец учитель заметил, что с детьми творится что-то неладное. Он стал расспрашивать, и мальчики указали ему на соседнюю фанзу.

Дали знать властям. Сделали краткое расследование – случай казался необычайным, но чрезвычайно ясным: очевидно, старуха, чтобы избавить сноху от нужды, выдала ее замуж, а сама не могла перенести одиночества и нищеты и повесилась. Молодая женщина, считая себя виновной перед свекровью, тоже покончила с собой. Муж, в свою очередь, считая себя косвенной причиной двух смертей, – также добровольно ушел из этого мира...

Случай был настолько «красивый» с точки зрения китайской этики, что местный начальник тотчас же послал за детьми плотника и взял их к себе на воспитание, а сам в тот же день послал губернатору подробное донесение об этом происшествии, прося его довести обо всем до сведения Сына Неба и разрешения построить арку в память «трех верных своему долгу».

***

Настала ночь того же дня. Ученики не могли спать – они нервничали, ругались и плакали. Учитель тоже не мог заснуть – было невыносимо душно...

[6] Три души человека: хунь – подходит к нашему понятию о душе; лин – астральное тело; ци – жизненная сила. Хунь передается отцом и после смерти человека сливается с высшим началом; лин передается матерью и после смерти долго не покидает мертвого тела, обитая или в гробу, или поблизости могилы, например, на деревьях, окружающих могилу, и т.п.; ци – в момент смерти исчезает. Смерть собственно и есть исчезновение ци. Ци есть и у животных, и у растений. После смерти человека душу его символически переносят в дощечку с именем покойного, которая хранится в домашней поминальнице.

Вдруг раздался удар грома; за ним еще и еще, то дальше, то ближе, как будто тысячи орудий разных калибров со всех сторон открыли канонаду по ветхой школе…

Гроза продолжала свирепствовать, не желая удаляться от этого места, и длинные, судорожные цепи молний вились, казалось, кругом над самой крышей.

Наконец учитель рискнул выйти из школы, чтобы посмотреть, не прояснится ли небо с какой-либо стороны.

Лишь только он вышел, в ту же минуту громовые раскаты прекратились... Но как только он вернулся в дом, – гроза снова забушевала. И опять, стоило ему выйти – удары молота Лэй-гуна, бога грома, и трезубца его помощника Сяо-гуаня снова прекращались...

Тогда учитель увидел, что дело не так-то просто, как казалось сначала. Он поднял всех учеников с постели и сказал:

— Кто-то из нас совершил преступление, и теперь богиня молнии Шань-дянь нянь-нянь, сверкая зеркалами в обеих руках, и Лэй-гун требуют, чтобы виновные вышли к ним на суд... Пойдемте все на двор – пусть они увидят, что между нами преступников нет!

Все ученики, хотя дрожащие и испуганные, оделись и хотели выйти на двор, кроме одного. Он забился в угол, плакал и умолял, чтобы его не выводили на двор. И это был – Бай.

Пораженный учитель стал его допрашивать, почему он, бывший всегда примерным и послушным учеником, теперь не хочет слушаться?

—Я – великий преступник, ответил мальчик. – Я знал, что ученики хотят украсть деньги у старухи, и я уговаривал их не делать этого, – но не смог уговорить. Значит, я во всем виноват, и теперь Лэй-гун хочет меня казнить.

Учитель расспросил его подробнее, и тут все дело раскрылось.

— Если ты виноват, – сказал учитель Баю, – то ведь все равно Лэй-гун тебя найдет; Чэнь-хуань, блюститель города, тебя обвинит, а Пань-гуань, потусторонний судья, присудит тебя к наказанию. От них ты никуда не спрячешься. Как же ты можешь подвергать других учеников гневу бога?! Ты должен выйти вместе со всеми!

Бай с плачем согласился, и все ученики вместе с учителем вышли во двор.

Но чуть только они показались, как раздался необычайный удар грома над самой их головой...

Учитель и Бай были оглушены и отброшены в сторону. Когда они пришли в себя, то увидели распростертые на дворе трупы всех остальных одиннадцати учеников. Грозы не было, только пахло серой...

Проза

***

Местному начальнику пришлось к посланному ранее донесению писать еще дополнение. Скоро из Пекина вышел указ о том, чтобы на месте старой фанзы построить не просимую арку – «пай-лоу», а целый храм – Цзе-сяо-сы.

***

Где-то справедливость все-таки существует; жаль только, что она поздно обнаруживается. А возмездие за свои дела каждый человек получит, если не в этом, так в следующем теле…

Опубликовано и печатается по: Шкуркин П. Китайские легенды. Харбин, 1921. С. 139-151.

СПРАВЕДЛИВЫЙ

Давным-давно это было, может быть, во времена Чжоу, – а может быть, и еще раньше. Правил тогда всей землей меж четырьмя морями хороший, добрый император, который раз в пять лет объезжал Поднебесную, собирал везде песни народные, чтобы по ним судить – как и где живет его народ, сам творил суд и расправу. Сколько несправедливых приговоров уничтожил император, скольких невинных спас, сколько слез высушил, – об этом только на том свете записано...

Но не может человек жить без ошибок – случалось их делать и императору: то оправдает речистого виновного, то накажет не умевшего оправдаться невинного. И мучился этим император, потому что не было у него хорошего советника.

Была у императора жена: такая красавица, каких еще и не видано было. Любил ее император пуще самого себя. Думал император, что лучше его жены человека на свете нет. Но красивая кожа бывает и у змеи. Была у императрицы родня большая. Скоро эта родня заняла во всей империи все важные места. И застонала земля от поборов и зла... Раз услыхал император, что далеко, где-то на северо-востоке, около Чао-сяньи (Кореи), живет в горах мудрый разумом и простой сердцем человек по имени И, который во всю свою жизнь не допустил никакой неправды. Обрадовался император – вот кого ему надо! Послал за ним, и скоро праведный И был уже в столице.

Привели его к императору, – и удивился последний, что И ничуть его не боится, а говорит с ним так же, как и с последним слугою...

Обрадовался император – наконец-то он нашел такого советника, который никогда не покривит душой! Дал ему император титул ближнего советника, поместил его во дворце и советовался с ним по всякому делу.

Раз и говорит император своему советнику, Справедливому И:

— Боюсь я, что не вся правда до меня доходит, не всех обиженных чиновники до меня допускают. Так это или нет?

— Да, государь, это так!

— Как же горю помочь?

— Прикажите, государь, поместить перед воротами дворца ящик с прорезью, который никто, кроме вас, не смел бы открывать; да еще поставьте большой барабан. Пусть всякий обиженный приходит, опустит бумагу со своей жалобой в ящик и ударит в барабан. Вы услышите, возьмете прошение и рассудите по справедливости.

Император так и сделал; и такие же барабаны приказал поставить перед управлением каждого начальника по всей империи.

Пошла слава еще больше про милосердие и доброту императора, и люди благословляли справедливого советника.

Народ уже с раннего утра толпился и шумел у ворот, стараясь протискаться к ящику и барабану, ожидая царского решения. Шум и гам, как на ярмарке, стояли перед дворцом каждый день...

Надоело это императрице. И приказала она, чтобы дворцовая стража хватала каждого подходящего к ящику с прошением и предварительно давала ему пятьдесят ударов бамбуками, – а потом уже разрешала опустить прошение в ящик и ударить в барабан.

Количество жалобщиков сразу уменьшилось вдесятеро...

Узнал об этом Справедливый И и говорит императору:

— Нехорошо, государь, твоя императрица сделала – она народ от тебя отгоняет.

Огорченный император пошел к императрице и передал ей слова Справедливого.

— Нет , мой супруг и повелитель, – отвечала императрица, – ваш И на этот раз неправ. Вспомните, какой неприличный шум стоял перед дворцом, хуже чем на базаре. Вы целый день с утра до вечера разбирали жалобы, и так уставали, – что больше ничего делать не могли. И сколько жалоб оказывалось неосновательными! А теперь количество жалоб уменьшилось в десять раз, и у вас есть время на другие государственные дела – неосновательных жалоб почти нет... Правосудие же от этого не страдает, потому что каждый человек, желающий доказать правоту своего дела – конечно, согласится подвергнуться ничтожному предварительному телесному испытанию. Теперь судите сами, кто прав, – я или советник И?

Слова эти были сказаны таким мелодичным и убедительным голосом, сопровождались таким нежным взглядом – что мудрено было им не поверить...

Новый порядок приема прошений остался в силе, несмотря на протесты И.

Но постепенно к И стали доходить жалобы и другой дорогой, не через царский ящик; сместил император, по докладу И, всех дурных чиновников и наказал их, несмотря на заступничество императрицы. Не знал император того, что все наказанные были в родстве с тем родом, из которого происходила императрица, или их близкие и слуги. Вот почему прямым, обычным путем обиженные боялись на них жаловаться.

Возненавидела императрица Справедливого, но ничего сделать не могла: очень уж император уважал и почитал И за его справедливость.

Все шло, казалось, хорошо. Но была у императора тайная язва, боль от которой не могли уничтожить ни благодарность народа, ни мудрость И, ни любовь императрицы. Эта боль была – отсутствие сына-наследника, которому он мог бы передать после себя свое царство.

Долго хранил император свое горе про себя – и наконец посоветовался с И.

— Государь, – ответил советник, – и закон, и обычай, и здравый разум говорят одно: если дом из глины не крепок – выстройте его из камня; если в вашем саду на одном дереве нет плодов – ищите их на другом...

— Я и сам думал об этом, – сказал император, – но не хотел бы обидеть императрицу!

— Императрица останется по-прежнему императрицей и первой женой и никаких своих привилегий не потеряет. Но государыня и сама поймет, что ее дело – частное, а ваше – государственное... Дайте, государь, известный срок государыне, и если она по истечении его не даст вам надежды, – то найдите государыне помощницу!

Неизвестно как, но только императрица каким-то образом узнала или догадалась о совете И. Тогда она еще больше возненавидела его...

Но вскоре судьба ей улыбнулась. Она стала полнеть... Обрадовался император, потому что он действительно искренне и глубоко любил свою прекрасную жену.

Прошло немного времени – семейные дела императора шли как нельзя лучше. Но одно опасение тревожило императора: а вдруг у него будет не сын, а дочь?

Тревога его все усиливалась – и наконец он решил послать за великим врачом, который по одному пульсу мог определить любую болезнь. Узнать же пол еще не родившегося ребенка – для него, конечно, не составит никакого труда...

Врач прибыл. Чтобы не смущать его своим присутствием, не только император не присутствовал на приеме врача императрицей, – но и ни один мужчина. Императрица приняла врача не в парадных комнатах, а в своей личной спальне и в присутствии только нескольких своих любимых придворных дам.

Император очень боялся, будут ли соблюдены все приличия при необычайном появлении мужчины на женской половине.

Поэтому сам император, никого не предупредив, направился тайным ходом на половину императрицы. Он знал, что в одной нише этого хода есть секретное окошечко в спальню императрицы, так замаскированное со стороны комнаты украшениями, что о существовании его ни одна из дворцовых женщин не знала.

Император подошел к окошечку, приоткрыл закрывавшую его крышку и прильнул глазом... Перед ним открылась необычная картина. Комната была перегорожена большой ширмой. По одну сторону ширмы на коленях стоял врач, а около него в простых платьях – две или три приближенные дамы императрицы. По другую сторону ширмы сидела любимая дама его жены в платье императрицы. Она протянула руку на ту сторону ширмы, и врач через толстую шелковую материю щупал пульс, не осмеливаясь прикоснуться к обнаженной «августейшей», как он думал, руке.

А императрица также в простом платье служанки стояла в стороне...

Через несколько времени врач кончил осмотр. Тогда дама, одетая императрицей, отдала какое-то распоряжение, – и, о удивление! – императрица сама подошла к врачу и протянула ему руку... Врач взял ее, пощупал пульс, сказал что-то, – и затем его отпустили.

Император вернулся к себе и приказал позвать врача:

— Ну, знаменитый врач, как здоровье государыни?

— Великий государь, нет сомнения, что уже три месяца как вы являетесь отцом.

— Кто же у меня будет – сын или дочь?

— Государь, я могу ошибиться; я даже, наверное, ошибусь, но я думаю, что будет, к несчастью, – дочь!

К удивлению врача, эта неприятная новость, по-видимому, не очень огорчила императора. Он спокойно спросил у врача:

— А кроме императрицы, вы больше никого не осматривали?

— Да, государь, – ответил врач, – я по приказание императрицы осмотрел потом одну из придворных дам, которая говорила, что она тоже готовится дать жизнь ребенку.

— Ну, и что же вы нашли?

— Нет сомнения, государь, что эта дама сильно заблуждается. У нее слишком большая печень; поэтому у нее никогда не могло быть ребенка!

Император вздрогнул и быстро спросил:

— Ну, а после, будут ли у нее дети?

Врач уловил движение императора и решил, что это – одна из его любимиц; поэтому он поспешно ответил:

— Конечно, конечно, могут быть, даже наверно могут быть... Только ей никогда не нужно видеть другую женщину в интересном положении; тогда и у ней может быть ребенок!

Император щедро наградил врача и отпустил его, а сам затем долго ходил задумчивый и грустный.

Неизвестно, что он сказал императрице; но только она после этого перестала полнеть, а ее любимая дама, наряжавшаяся в ее платье, – исчезла из дворца.

Тогда ненависть к И заполнила все существо императрицы. Потому что кто же, кроме него, мог узнать и донести императору о том, что она хотела разыграть комедию материнства и объявить своим собственным того ребенка, который должен был родиться у ее придворной дамы?!

Перестала императрица гулять, стала плохо есть и спать, часто стала плакать и бить не только свои безделушки да драгоценные вазы, но даже и своих придворных дам. Наконец она совсем заболела и слегла.

Император встревожился – хотел опять послать за знаменитым врачом. Но императрица наотрез отказалась:

— Каких хотите врачей зовите – только его не хочу!

Приходили врачи и мудрецы, давали советы и лечили императрицу.

Но ничего не помогало, и ей делалось все хуже и хуже...

Наконец императрица говорит мужу:

— Государь! Я хочу с вами проститься, потому что я скоро умру!

Император был в отчаянии:

— Неужели же никто во всей империи не знает, как вылечить твою болезнь?

— Нет, есть способ; но только вы, государь, не пожелаете его применить!

— Нет ничего на свете, – горячо возразил император, – чего бы я ни сделал, лишь бы ты была здорова.

— Ну хорошо, – ответила императрица, – я знаю, что вы своему слову не измените... Сегодня во сне мне явился Великий Дух и сказал: «Если хочешь быть здоровой – выпей кровь из сердца Справедливого И». Я знаю, я чувствую, что если вы, государь, дадите мне это сердце – я тотчас же выздоровею, а не дадите – я скоро умру!

Пораженный император ушел от жены, позвал Справедливого, которого он по-прежнему высоко ценил, и рассказал ему все, что сказала императрица.

— Государь, – спокойно сказал И, – если мое сердце может принести пользу государыне, – берите его!

Долго колебался император; но, наконец, видя, что жене делается все хуже и хуже, – решился... Справедливому вырезали сердце – и горячее, трепещущее, принесли императрице...

И действительно: императрица тотчас же выздоровела и сделалась еще веселее, еще краше, чем прежде.

А Справедливый? Он не умер. Правда, с тех пор никто больше его не

видел в столице; но у нас здесь в Чань-бо-шаньских горах говорят, его потом видали часто, хотя он был и без сердца. И многим он помогал, кто к нему обращался; но всем – разно: одному больше, другому – меньше, а некоторым и совсем отказывал, даже в совете, хотя бы у них была большая нужда: это в том случае, если они не заслуживают помощи. И делал это Справедливый И так верно, так точно, так справедливо, – как не делал даже раньше, когда жил в столице...

Умер император, умерла императрица; все о них позабыли. А барабаны, что поставил И, – остались; их и посейчас можно видеть у ворот каждого ямыня. Но, чтобы они своим грохотом не слишком беспокоили наших милостивых начальников, их теперь делают из цельного камня.

Вы спрашиваете, почему И стал еще справедливее, чем раньше? Да потому, что совершенная справедливость может существовать лишь при отсутствии сердца.

Опубликовано и печатается по:
Шкуркин П. Китайские легенды. Харбин, 1921. С. 113-120.

Николай Александрович
ЩЕГОЛЕВ
(1910-1975)

Поэт и журналист Николай Щеголев родился в 1910 г. в Харбине в семье железнодорожного служащего. Окончил Коммерческое училище. Учился в консерватории по классу рояля. Участвовал в работе харбинского литературного обединения «Молодая Чураевка». Печатался в газете «Чураевка», журналах «Рубеж» (Харбин), «Сегодня» (Шанхай), «Парус» (Шанхай), «Числа» (Париж). В 1937 г. переехал в Шанхай, зарабатывал журналистикой. Редактировал газету «Родина», журнал «Сегодня». Использовал псевдонимы (предположительно): «Борис Вершинин», «Николай Зерцалов», «Влад Ресницын» и др. Член шанхайского литературного объединения «Пятница». Участник альманахов и сборников «Багульник» (Харбин, 1931), «Семеро» (Харбин, 1931), «Понедельник» (Шанхай, 1931), «Якорь» (Берлин, 1936), «Излучины» (Харбин, 1935), «Стихи о Родине» (Шанхай, 1941), «Остров» (Шанхай, 1946). Собственного сборника стихов не выпустил. В 1947 г. репатриирован в СССР. Жил в Свердловске, где и скончался 15 марта 1975 г. от инфаркта.

Ист. и лит.:
Бакич О. Сегодняшний взгляд на журнал «Сегодня» // Новый журнал. 2005. № 238.
«Будто нет расстоянья и времени нет…» (Из писем поэтов, бывших эмигрантов, к А. В. Ревоненко). Хабаровск, 2006. 108 с.
Забияко А.А. Николай Щеголев: Харбинский поэт-одиночка // Новый журнал. 2009. № 256. С. 310-324.
Литературное зарубежье России. Энциклопедический справочник. М., 2006. С. 584.
Синкевич В. «Остров» и его редактор // Новый журнал. 2009. № 256. С. 333-335.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 347.

ПОЛДЕНЬ
Стихотворение в прозе

В этот час в столовой сидела квартирантка, Роза Борисовна, розовощекая пухлая полупольку, стремительно вспыхивающая от взглядов мужчин, причем кровь нескоро отливала от лица. И, облокотясь о покоробившийся стол, пренеприятно с закрытым ртом напевала романс, один из тех романсов, которыми создают слезливое, обманчиво творческое настроение публике откормленные, «упитанные – как сказал бы Маяковский – баритоны», притворяющиеся Вертинским, и, хотя обличье не так легко подделать под испитого Вертинского, они все-таки тщатся. Стягивают выдающиеся животы, обводят вокруг глаз синие круги и поют с возможной тоской.

В этот час лирик Полозов находился за письменным столом в комнате рядом со столовой и выстукивал на машинке очередную песню. Пение блондинки – поверьте! – содействовало ему в творчестве, хотя ни тени проникновенности не было в нем.

В этот час холмы железных крыш высматривались золотыми от

солнца, и беллетрист, миновавший дом, где гнусила блондинка, прислушался к пению, шедшему сквозь раскрытую фортку и сказал себе мрачно: «За что я, несчастный, должен все подхватывать зорким своим взором, слышать чутким своим слухом все, что выбрасывает мир? Мне и этот зной раскаленных крыш, и этот гнусный голос, и стрекотание пишмашинистки!…» Он не знал, что это пела эффектнейшая, пышная полуполька – вдохновительница, греза поэта, что стрекотал на машинке проникновеннейший лирик эпохи, который от многочисленных припадков вдохновения нередко побаивался признаков ранней старости, подходил к зеркалу, разглядывал со скорбью медленно, но верно прокладывающиеся морщинки на лбу и у глаз и вновь шел к машинке стрекотать, отдаваясь тревожному вдохновению. Только 20 лет было ему, и он писал:

Или это старость перед
Смертью,
Перед смертью в двадцать лет?

Блондинка внимала стрекотанью и вздыхала – зачем он избегает ее? – и ненавидела неритмичный треск клавиш.

Отсюда – и ее заунывное пение об уходящих годах, отсюда – и пронзительное вдохновение лирика, и – кто знает? – не отсюда ли крыши так золоты, так знойно, такое синее небо и такая тоска о существовании мира, что хочется броситься в реку, зарыться головой в желтые волны и при этом не уметь плавать.

Впервые опубликовано и печатается по: Молодая Чураевка. 1932. № 2. С. 3.

Михаил Васильевич ЩЕРБАКОВ
(1891-1956)

Поэт и прозаик Михаил Щербаков родился предположительно в Москве в 1891 г. Учился в Императорском высшем техническом училище. В 1914 г. был мобилизован, направлен во Францию. Служил в авиации. В начале 1920-х гг. переехал во Владивосток, где начал заниматься литературой. Редактировал газету «Русский край». В 1922 г. эмигрировал в Китай. Автор поэтических книг «Vitraux» (1922), «Отгул» (1944); сборника рассказов «Корень жизни» (1943), повести «Черная серия» (1931), романа «Токсин любви» и др. Писал эссе, рецензии, воспоминания; переводил с китайского. В 1930-е гг. возглавлял содружество русских работников искусства «Понедельник». С 1933 г. входил в правление литературно-художественного объединения «Восток». Печатался во многих дальневосточных журналах и альманахах («Врата», «Понедельник», «Багульник», «Феникс», «Шанхайская заря» и др.), а также в ряде американских и европейских изданий («Дымный след», «Современные записки», «Балтийский альманах»). В начале 1950-х гг. уехал из Китая во Вьетнам (Сайгон) и затем во Францию. Страдал душевным расстройством. Умер 3 января 1956 г. в Булони (покончил жизнь самоубийством).

Ист. и лит.:

Колесов А. Черная серия Михаила Щербакова // Рубеж. 2010. № 10. С. 244-245.

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник. М., 2006. С. 584-585.

Перелешин В. Два полустанка. Воспоминания свидетеля и участника литературной жизни Харбина и Шанхая. Амстердам, 1987.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 348.

ИРИНАРИ

— Черт бы их драл!.. «Покупатели» тоже!.. – буркнул Петр Фаддеич, когда наружная дверь с золотой надписью «Бостон» захлопнулась вслед за похожим на попугая джентльменом и длинной англичанкой с тонкими, как вязальные спицы, щиколотками.

Петр Фаддеич еще раз блеснул кровавым александритом, бережно завернул его в папиросную бумажку и, подняв на лоб очки, пошел запереть дорогой камень в несгораемую кассу.

Я любил заходить в «Бостон». Петр Фаддеич что-то записывает в гроссбух на конторке в задней комнате, около одной из внутренних витрин сидит перед «хибачи» – грелкой молоденькая Камитаи Сан и мурлычет высоким женским фальцетом свою заунывную японскую песенку, а я тем временем роюсь во всяких яшмовых божках, аметистовых печатках, старинных эфесах для мечей и лаковых коробочках, – словом, во всем том, чем торговал Петр Фаддеич и что для краткости называл «барахлом».

По стенам же магазинчика стояли большие идолы – золотые, с

опавшей местами позолотой, из-под которой проступал кирпично-красный лак, с ликами, то сведенными зверской гримасой, то улыбавшимися застывшей вековой улыбкой. Этот товар Петр Фаддеич определенно недолюбливал и очень радовался, когда какая-нибудь влюбленная в экзотику мисс покупала и увозила в свое Кентукки одного из облупившихся бодхисатв.

Для меня долго оставалось загадкой, какими судьбами прежний русский капитан дальнего плавания попал приказчиком в лавку японских древностей… Я несколько раз интервьюировал довольно назойливо Петра Фаддеича на эту тему, но он бурчал что-то совсем неудобопонятное в свои нависшие двумя седыми гребеночками усы. Я мог только разобрать, что «он уже десять лет как списался на берег, вот и пришвартовался здесь...» Даже лишний десяток чашечек горячей и терпковатой саке не делал его более сообщительным на этот счет.

— Что это у вас? Никак новость? – спросил я, заметив какую-то фигурку, блеснувшую в недрах несгораемой кассы.

— Нет, так... Барахло!.. – недовольно выпятил свои седые гребеночки Петр Фаддеич и попробовал заслонить рукавом полку.

Но барахлу не отводилось места в почетном шкафу для денег и драгоценностей, и я так прилип к экс-капитану, что он сдался через несколько минут и фигурка выползла на свет божий.

Действительно, в ней не было ничего замечательного. Это была просто маленькая фаянсовая лисичка с пушистым задранным вверх хвостом, сидевшая на задних лапках, – та самая «Иринари», которая охраняет в Японии рисовые болотины и почитается крестьянами как бог богатства и домашнего благополучия. К тому же сделана она была грубым фабричным способом и уж никак не могла претендовать на какую-то ни было древность. Такую лисичку можно было купить иен за двадцать в любой посудной лавчонке.

Я почуял что-то неладное и попробовал диверсию:

— Да, конечно, вещица немудреная... И потом новая. А все-таки, Петр Фаддеич, я ее возьму... Хотите иену? – и я сделал движение, чтобы сунуть фигурку в карман.

Петр Фаддеич вырвал лисичку из моих рук. Дверь несгораемой кассы со свистом захлопнулась.

- Ну, простите, мне сегодня некогда с вами болтать... Прощайте-с!.. Я закрываюсь... Камитаи Сан вот расселась, как идол!.. Да закрывайте же ставни!.. – я еще никогда не видел Петра Фаддеича таким сердитым, но дня через два, греясь без ботинок у «хибачи» в его комнатушке на Блефе, откуда, если раздвинуть рамы, были видны мириады огоньков старой Иокогамы, – капитан рассказал мне историю своей Иринари.

— Была у меня, знаете, прежде шхунешка: так, небольшая, тонн на

сто, но с мотором, все как полагается, и ходок недурной. Не чета другим посудинам, которые после одного рейса на Камчатку начинают течь по всем швам. С весной выходишь из Владивостока за пушниной на север: бывало, от самой от Святой Ольги и вплоть до Аяна все дырки обшаришь. И в Петропавловск хаживал. Ну, а зимой – известное дело: либо чинишься, либо случайная работенка наклюнется или с Чифу, или с Японией.

В тот год дернула меня нелегкая зафрахтоваться под японский засол из Хакодате в Иокогаму. Пришел, рыбу сдал, все честь честью, да вот на берегу с одним капитаном – англичанином – и закурил.

Пьем день, пьем два, сначала по-хорошему, в барах, потом к гейшам попали, а на третий рассвет – представьте, идиоты какие! – решили на рикшах в Хакодате ехать!..

— Чего, там! – англичанин говорит. – Туда близко! Запросто доедем!..

Я было туда-сюда – карты, говорю, у нас нет! И слушать ничего не хочет. Ну, джину захватили, отправились. Только я в рикше по дороге заснул – разобрал меня джин – и очухался только к полудню в какой-то деревеньке. Смотрю, а мой капитан ничем не лучше меня: севера от юга по компасу не отличит, а все фордыбачит:

— Довольно, говорит, рикш! Заплатить им! Пойдем дальше пешком!

— Ладно, – говорю, – олрайт, пойдем! – а сам думаю: «Все равно, паря, скоро начнешь конец травить!..».

Сначала вся деревня за нами бежала, пальцами показывали, ну, а потом поотстали: мили мы эдак на две за деревню ушли.

Хорошо-с… В феврале это было, а там весна на полный ход: и слива мохнатая цветет, и рис уже вылез зелеными иголочками. Идем это мы ломаным курсом через рисовые болотины, и видим вдруг – молельня стоит с правого борта. Крохотная, просто деревянный ящик в поле, а в нем – лисица на палочке, вот та самая, которая у меня в кассе.

И начался тут промеж нас спор о вере.

— О, – говорит англичанин, – ишь, какая забавная штучка! Я ее захвачу!..

— Бросьте, – говорю, – да на что она вам сдалась? Если понравилась, купите такую же в Иокогаме. Я вам покажу: в каждой лавчонке за гривенник найдете. А эту не трогайте. Видите, народ ее чтит: и рису впереди насыпано, и цветочек воткнут.

Тут мой мистер закинулся:

— Что ж это такое, сэр? Я думал, вы настоящий православный русский моряк, а вы вон чего говорите! Идола защищаете?.. Да их истреблять надо! А что в Библии написано?.. Да если б я раньше знал, так никогда бы и пить с вами не стал!.. Может быть, вам и тронуть-то его страшно?..

И пошел, пошел…

Тут уж и я не выдержал:

— Вот что, – говорю, – сэр: уж коли на то пошло, так это вы – католик и нехристь, а я – русский православный моряк, и каждый год на Страстной говею. Только зачем чужую веру обижать?..

— Врете вы все! – говорит. – Струсили просто!

— И вовсе не струсил! И не только этой лисички, а даже самых страшенных богов не боюсь. Нате, смотрите!..

Подошел и божка в карман! Как сейчас помню: вазочка рядом стояла, так опрокинулась на полочке. Англичанину страсть понравилось.

— Сорри, – говорит, – простите меня! Я погорячился. Давайте мировую выпьем!..

И так мы под конец подмокли, что решительно не помню, ни как мы обратно в деревню попали, ни как до Иокогамы добрались…

С этих пор и началась со мной морока. Иду я в порту на свою «Венеру», – под сильным креном, правда, – и вдруг из под самых моих ног – шасть лисица!.. Да большая, хвост пушистый, как у сиводушки, и глаза горят в темноте… Ну, я – брык с мола, и так здорово коленкой о камни пришелся, что до сих на левую припадаю. В первые дни, когда лихорадка трепала, так лисица каждую ночь являлась. Сядет на больную ногу, хвостом обовьется, сверкает красными глазами и все на меня облизывается.

Только это я успел поправиться и на палубу выползать – тайфунище! Да такой, что мою «Венеру» с двух якорей сорвало, весь брашпиль вывернуло и чуть-чуть не посадило на камни. Двое суток трепало. А как зыбь мало-мало поутихла и я задремал в каюте – опять нечисть тут как тут! Высунула острую морду из иллюминатора, клыки облизывает и гнусит:

— Отдай божка!.. Поставь обратно!..

Делать нечего. На другое же утро пошел искать пустую молеленку, да где уж там! Вокруг Иокогамы деревень, что туманов летом у Чумукана. Как будто и помню место, а найти никак не могу.

Поискал, поискал дня три, потом плюнул. Вернулся во Владивосток, взял товаров в кредит и ушел за пушниной на Север. Иринари как будто от меня поотстала, и сначала все шло ладно.

Только иду это я мимо Сахалина Татарским проливом – сколько раз этими местами ходил, – стоп! Туманище – кливера не видно. Потом – ш-ш-ш!.. – мель. И как раз в створу с правого борту – скала из тумана лезет. Ну, точь-в-точь лиса, чтоб ей сдохнуть! А тут прилив да противный ветер, и осталось от всей «Венеры» бушприт да киль… На берегу потом доски вылавливал.

Ну-с, кое-как, поглотав соленой воды, выбрались мы на берег. Всего один ирбо-кореец из команды утонул. Лезу я в карман за трубкой – представьте: опять Иринари! И как я ее в суматохе в карман сунул – хоть убейте, не помню!

Вернулся во Владивосток, раздобыл деньжат и скорей в Иокогаму: надо же молеленку искать. Ведь замучает, проклятая! Купил большую карту, расчертил по квадратам и каждое воскресенье шатаюсь по рисовым полям – определяюсь. Полиция следить стала, боюсь, как бы не выселили. Вот в «Бостон» поступил: кушать-то надо.

— Петр Фаддеич, а чего ж вы не выбросите Иринари?

— Вот тоже умник нашелся! Думаете, не пробовал? Даже в землю закапывал.

— Ну и что ж?

— Да ничего. Пришлось потом откапывать. Иначе совсем бы замучила. Сядет на задние лапы, буркулы горят, и пойдет гнусить:

— Поставь на место! Зачем чужого божка тронул!..

1923 г.

Опубликовано: Щербаков М. Корень жизни. Шанхай, 1943.
Печатается по: Рубеж. 2005. № 5. С. 126-128.

ПАРШИВЫЙ УГОЛЬ

Морская карьера капитана дальнего плавания Вассера началась с четырнадцати лет, когда он удрал из 5-го класса Одесского реального училища. Каким он был в те времена, я, разумеется, не знаю, но в пятьдесят четыре года я не дал бы ему и сорока пяти.

Правда, основательный нос его успел покрыться густой сеткой багровых жилок, но это происходило от свойств самого носа и отнюдь не от чего другого. Дело в том, что капитан Вассер, в отличие от всех классических морских волков, пил всего пять рюмок в день: две за завтраком и три за обедом. Но уж зато эта порция выпивалась честно даже в те дни, когда на пароходе по случаю качки варился один борщ, который подавали, чтобы не расплескать, в эмалированных кружках.

Кроме основательного носа, у капитана Вассера были видавшая виды, рыжая пыжиковая куртка, темные усы в ниточку и зоркие, удивительно светлые голубые глаза, выдававшие частицу унаследованной скандинавской крови. Сам же он был щупл и невысок ростом.

Он начал юнгой на черноморском паруснике, затем возил паломников через Константинополь в Яффу, наконец, перешел на большие дистанции и сделал два с половиной обратных рейса Одесса-Владивосток. Я говорю «два с половиной», так как во время третьего его мобилизовали: началась русско-японская война. Плавая на тралере около Владивостока, он получил два «Георгия» и, кроме того, две контузии, которые сделали его глуховатым на левое ухо. Но это не мешало ему,

насторожив правое, безошибочно определять скорость корабля по шуму винта.

В течение тех трех месяцев, которые капитан Вассер таскал два десятка пассажиров и сотню тонн груза по самым захудалым дырам Охотского побережья, я напрасно старался понять, когда же, собственно, он спит? В какое бы время дня или ночи я ни выходил из каюты, капитан или гулял «для полировки крови» по палубе, или «шаманил» над картами в штурманской рубке, или, наконец, «чифанил» в кают-компании. И при каждой встрече он неизменно и вежливо приветствовал меня сакраментальной фразой:

— Па-а-аршивый уголь, знаете!.. – и прибавлял довольно крепкие слова по адресу конторы Добровольного флота.

Но капитан Вассер не только занимался трудным делом морехода: он был также заядлым охотником. После своей контузии он списался на берег и три года бродяжил по тайге Приморья и Приамурья, охотясь за всем ее звериным и птичьим населением. Потом женился, завел шкуну, добрался вплавь из ее обломков до Поста Дуэ, что на Сахалине, и снова поступил в Добровольный, пароходы которого и водил от Шанхая почти до самого Берингова пролива.

И на всем побережье Желтого, Японского, Охотского и Берингова морей капитан Вассер знал, как свой карман, каждую из немногих дырок, куда можно было спрятать корабль на случай шторма.

Подводных же камней и мелей он помнил, наверное, раз в десять больше, чем Главное Гидрографическое управление в Петербурге и Его Величество Британское Адмиралтейство, взятые вместе.

Как и подобает моряку, капитан Вассер не любил штормов и всегда говорил, что с Охотским морем не рекомендуется шутить даже линейным кораблям. Он чувствовал приближение ветра как-то нюхом, прежде чем начинал падать барометр. И сейчас же, пошаманив в штурманской, он успевал под самым носом бури прошмыгнуть в какую-нибудь укромную бухточку, помеченную «запрещенной» на всех картах и во всех лоциях мира. Для пассажиров эта способность капитана Вассера была, конечно, полезна, но не всегда удобна. Я, например, благодаря его нюху чуть-чуть не зазимовал на берегу во время нашей стоянки против Тауйска.

Я тогда спокойно возвращался на «собацках» из поселка к взморью, пересчитывая с каюром-вожаком по первому снегу все корни редкого лиственничного леса. Пароход должен был уйти только на следующее утро. Вдруг до меня донеслись пронзительные гудки: учуяв норд-вест, капитан спешил удрать из открытой губы и уже подымал якоря.

Сознаюсь, что я почувствовал себя очень неважно, когда конец, поданный с парохода на наш кунгас, лопнул во второй раз. Вслед за тем обледенелая ступенька шторм-трапа, мелькнув над головой, хлестнула по борту на пол-аршина выше моей протянутой руки, а наверху, в темноте,

выругались и затопали по палубе. Громадная туша парохода, продырявленная рядом светлых люков, начала уходить во мрак, оставив мой кунгас беспомощно мотаться по расходившимся за полчаса волнам.

Я знал, что наша «Казань» – первый и последний пароход, навещавший эту часть побережья за навигационный сезон. Я помнил, что совершенно таким же образом прошлой осенью застрял в Охотске мой знакомый татарин, замешкавшись на берегу с земляком. И мне вовсе не улыбалось провести девять осенних месяцев в поселке из тридцати семи дворов не так далеко от Полярного круга, имея всего несколько иен в кармане. Поэтому у меня прямо-таки отлегло от сердца, когда минут через двадцать, развернувшись, капитан снова подошел и подобрал нас из полузатопленного кунгаса.

Как только моя голова показалась над фальшбортом, он вспомнил и родителей, и плохой уголь и сейчас же пошел на север, к бухте Нагаевой, против отчаянной зимней пурги.

Из двери каюты мне ударил в нос острый запах винного спирта: оказалась, что в мое отсутствие качка разбила у соседа одну из бутылок, несмотря на соломенную упаковку. Тогда я ясно понял, почему на севере бывалые люди возят спирт исключительно в плоских жестяных банчках.

Все в каюте было перевернуто вверх дном. Переборки жалобно поскрипывали. Балансируя на краю койки, я с трудом стащил проледеневшие насквозь торбаза и завалился спать, упираясь головой и ногами. Но в четыре утра меня разбудил резкий грохот: из стола летели ящики, с верхней койки ползли и кувыркались на пол чемоданы. Рядом, в проходе, тяжело молотила стену железная дверь в машину.

Нас валяло еще сильней. При каждом спуске в водные долины, громадная масса воды взносилась с разлета на борт, тупо бухала в иллюминатор и с шипом разбивалась о толстое стекло. Точно гигантский боксер яростно тузил по нему мягкой рукавицей. Пароход замирал надолго в нерешительности, ложась совсем на бок, и потом все скорей валился на другой борт. Вырываясь мгновениями из волн, пароходный винт со стремительным визгом бил по воздуху, сотрясая весь корпус. Спать было решительно невозможно. Я оделся и полез посмотреть, что делается в штурманской.

Разумеется, капитан Вассер был там. Налегая для упора мокрыми рукавами пыжиковой куртки на просторный стол, он «шаманил» над картами. Рубка была в полумраке. Только на карту падал яркий свет лампочки, ревниво взятой под колпак, чтобы не мешать рулевому следить за компасом. Широко расставив ноги и пружинисто припадая то на левую, то на правую, матрос непрерывно ворочал штурвалом, выправляя курс, с которого сбивала волна.

Да, качало нас основательно. Как только капитан упускал из рук свою

линейку, она начинала бодро гулять по всему простору Охотского моря, изображенному на карте. Обычно карты побережий усеяны красными и желтыми крапинками, отмечающими маяки, но на наших никаких крапинок не было. Однако это вовсе не было ошибкой картографа: последний маяк мы видели месяца два тому назад. Когда мы подходили ночью к земле в хорошую погоду и вблизи было селенье – жители раскладывали на наши гудки большие костры. Когда же задувал шторм, то не стоило и гудеть: все равно капитану приходилось «ловчиться по способности».

— А все па-а-аршивый уголь! – заметил капитан Вассер, поймав линейку где-то у Курильских островов. – Иначе уж давно бы топали Лаперузовым проливом домой!.. А тут еще в Олах этот поп привязался, бабушку его так-перетак! Разве под кухлянкой различишь? Если бы знал, что поп, ни за что бы не взял...

— Пал Палыч, буруны снова по носу!.. – значительно доложил второй помощник, появляясь на миг в потоке снегового норд-веста.

— Малый ход! – скомандовал в машину капитан и вылетел на пургу. Машина отзвонила исполнение. Я рискнул выглянуть. Освещенный из рубки кусок палубы поднялся передо мною горой и куда-то ухнул. Меня тут же шатнуло к борту, больно стукнуло о захлопнувшуюся дверь и снова швырнуло к поручням, за которые, наконец, зацепился. После относительно светлой рубки я ничего не различал. Я не видел никаких бурунов. Я вообще ничего не видел, но зато слышал многое.

Прямо на меня ринулась белая стена, ревущая в проволоках нашего радио, завывающая в каждой щели и снасти. Она моментально залепляла глаза и уши, попадая в рот, свистела и до боли распирала легкие. Взорванные нашим носом гребни шарахались со стоном на борт, окатывали из сотен брандспойтов спардек и обрушивались шипящими и кипящими водопадами на нижнюю палубу. Там тарахтели, перекатываясь, сорванные с привязей бидоны с керосином, грузные железные бочки с содой, бочонки с икрой, рыбой и брусникой, доски и ящики. Все это налетало друг на друга, путалось, сталкивалось и сшибало новые вещи. Ложась на борт, пароход кряхтел и трещал.

— Бу-ру-ны спра-ва по но-су!.. – еле донесся с другого борта из крутящейся мзги крик сигнальщика. – И пря-мо по носу буруны!.. – сейчас же и слышней ответил другой. Нас с трех сторон окружали рифы.

Мимо меня мотнулся во вьюге и упал в оказавшуюся снизу дверь капитан Вассер. Я не мог представить, как может эта щуплая фигурка, облепленная снегом, ориентироваться и бороться с морем в непроницаемой ледяной каше из воды, ветра и белого мрака. Теперь и я слышал в вое норд-веста новую злобную ноту – низкий рокот близкого прибоя. Но все же не видел ни зги. Наконец, случайно закинув голову, я

различил высоко вверху более светлую полосу неба и вырезанный в ней темный зубец: мы шли уже под самыми скалами бухты Нагаевой.

После поворота давление ветра и волн сразу ослабло. Качка быстро затихла. В машине то и дело слышались звонки. Я спустился к себе и сквозь сон смутно слышал, как поползла, гремя по клюзам, тяжелая якорная цепь.

***

На следующее утро, поднявшись на оледенелый и занесенный снегом спардек, я нашел там милейше маленького мосье Гарнье, швейцарца-инженера, добиравшегося на Аянские золотые прииски.

Наша «Казань» встала почти вплотную к обрывистой гнейсовой стене, выщербленной по гребню четырьмя правильными, как у китайских стен, зубцами. Совсем низко около них притулились темные снеговые тучи. В скалистую щель входа было видно, как по олову моря свирепо резвятся молочные штормовые барашки. Но в самой бухте, окруженной, наподобие гигантского цирка, хвойными сопками, нас только глубоко покачивало на якоре. Валил сплошной медленный и упорный снег.

На берегу наши боты брали из лесного водопадика пресную воду. Подальше, забравшись на склоны и еле слышно гогоча, кучка матросов рубила ель и лиственницу, чтобы продать на дрова во Владивостоке. Стояла еще всего середина октября, но море уже подмерзало у берегов.

В глубине бухты виднелась мачта, торчавшая вкось из остова поваленной на бок и занесенной снегом шкуны. Сняв с камней, хозяин привел ее в этот естественный док еще два года тому назад в расчете собраться с деньгами и отремонтировать. Но цены на икру во Владивостоке стояли низко, «железка» на Иркутск не ходила, и бочки соленой кеты, брюшков и пупков пришлось продать за бесценок. В конце концов хозяин прогорел. Шкуна же его, лежа в тысячах верст под столбчатыми сводами северных сияний, постепенно рассыпалась и разваливалась, навещаемая только медведями и песцами.

Одного из этих гостей я и увидел, попросив у мосье Гарнье бинокль. Сквозь непрерывный ток тяжелых хлопьев я заметил около ручья бурого медвежонка, который задумчиво сидел и высматривал рыбу. Стая крупных северных воронов кружилась, каркая, над берегом.

Я как раз протирал залепленные снегом стекла Цейсса, когда за моей спиной послышался недовольный голос капитана Вассера:

— Ишь, па-а-аршивая птица!.. Точно падаль учуяла... Э-э!.. Никак медведь?.. – переменил он тон и вцепился глазами в устье ручья.

— Боцман! – неожиданно гаркнул капитан. – Гребцов на шлюпку!.. Ну, ходи веселей!..

Из дыры носового кубрика полезли ушастые шапки матросов, не попадавших на ходу в рукава бушлатов. Скатываясь по трапу, капитан бросил нам:

— Одевайтесь, пошли на охоту!..

Медведь, по-видимому, уже знал человека. Не успели мы догрести на ружейный выстрел, как он не спеша поднял треугольную голову от ручья, помотал ей в нашу сторону и побрел с достоинством вразвалочку к лесу, покрывающему соседние склоны.

— Навались!.. – скомандовал капитан, но было поздно: наши выстрелы не достали. Мы прошли далеко вдоль ручья по следу, который заметала пурга. На самой опушке он терялся в непролазной чаще низкого кедровника, стелившегося вверх по обрывистой сопке. Без собак нечего было и думать о преследовании.

— Ишь, подлец!.. – ругался капитан, когда мы шли обратно. – Еще минуты две, так не ушел бы, будьте покойны!..

Я улыбнулся.

— Что ж, думаете, я мало зверя перебил? – обиделся капитан. – Вот, если домой дотопаем, сами увидите шкуры. Не то, что на медведей, и на тигра ходил в Сихотэ-Алине...

— Кра-а-а!.. Кра-а-а!.. – уныло раздалось над нашими головами и, сделав тяжелый вираж, громадный северный ворон закачался в двухстах шагах впереди, стряхивая снег с лапчатой ветви.

— Носят их черти!.. – пробормотал капитан, вскинул винтовку, и в следующий миг птица лежала в ручье с отстреленной головой.

«Должно быть, отводит душу после медведя !..», – подумал я.

Над нами уже опускались тягучие белесые сумерки севера.

— Что ж, господин капитан, мы будем заходить в Аян? – спросил мосье Гарнье. Он прилично говорил по-русски, только упирал по французской привычке на конечный слог.

— Вряд ли, знаете... не успеем. Такой па-аршивый уголь! Совсем пара не даст.

— Quelle pouasee! – вздохнул швейцарец. У него пропадали даром два месяца и расходы на путешествие, но он не был новичком на Охотском море и не слишком удивлялся.

Мы вышли к оставленной шкуне. При нашем приближении с ее косой мачты снялась, пронзительно каркая, целая туча воронья.

— А, дьявол, опять таежная нечисть!.. – взбесился капитан и начал палить по воронам. Две птицы закувыркались вниз. Стая с гамом завернула к сопкам. Быстро перезарядив ружье, он подошел к бившимся на снегу воронам.

— Чего вы на них ополчились? – удивился я.

— Так, старое дело... Па-а-аршивая, однако, птица!.. Ну, пора по домам.

Пока мы возвращались к уже засветившемуся пароходу, капитан молчал и хмурился.

Проза

***

Сбросив кухлянки, мы прошли в теплую кают-компанию. Три матовых шара освещали не слишком весело низкую прокуренную столовую скромного «Добровольца». Она пострадала в годы русской смуты: на одном из иллюминаторов была трещина от пули и через все стенное зеркало шла размашистая надпись алмазом:

«Политком Гулькин. Ура!»

Конечно, она мало походила на лепные «dining room'ы» восьмиэтажных трансатлантиков, но, продрогнув на этих свирепых берегах или качаясь в одновесельной душегубке, я начинал мечтать о ней как о родном доме. В ней прежде всего было тепло и светло, а эти основные условия жизни выучиваешься ценить только на Севере.

Все живое, рожденное природой в этом тусклом мире, построено и подобрано так, чтобы экономить каждую калорию тепла, каждый луч скупого солнца. И человек оказался менее всех приспособленным к Северу. Между тем железный закон жизни гнал его с кайлом и лопатой в проклятые края, где под промороженным торфом прячутся гнезда золотых самородков. Но человек хитер: вместо дневного света он зажег костер, вместо собственного – зашился с ног до головы в мех зверей и, наконец, вместо солнца он выдумал спирт, и жидкое солнце дало ему то веселье, радость и внутреннее тепло, в которых отказывает здесь природа. Поэтому спирт и стал царем Севера.

Спирт здесь все. На нем богатеют и разоряются; из-за него грабят и убивают. В жидком солнце скрестились на Севере два самых могучих двигателя человека: жажда золота – у белого, и жажда веселья – у дикаря. Но Север равняет обоих. Кровь белого леденеет в мире снежной пустоты, и жажда веселья начинает мучить его сильней, чем жажда золота. Бывают случаи, когда русские прижимистые скупщики спускают зимой драгоценных соболей и чернобурок за десяток банчков. Что же удивляться, если какой-нибудь тунгус-старшинка проматывает из года в год за спирт на прибрежных ярмарках всю пушнину, промышленную зимней охотой целого рода, и возвращается к юртам по горло в долгах? У спаивающих его белых есть другой идол – золото, у него же нет ничего, кроме спирта. Зачем ему золото в таежных дебрях? Найдя «желтое железо», он снова зарывает его, чтоб не пришли русские. А за спирт он всегда может получить все, что ему нужно, начиная с оленя и пороха и кончая женой.

Поэтому у спирта на Севере нет твердой цены. Она зависит исключительно от времени года. После того, как с побережья уйдут хищники на своих шкунах, и до тех пор, пока они не вернутся следующим летом с новыми запасами вонючего зелья, в эти девятимесячные осень, зиму и весну цена спирта непрерывно растет. К Пасхе его продают дороже, чем на вес золота.

Его здесь пьют «живьем», вовсе не разбавляя водой. Пробьют гвоздем или ножом две дырки в запаянной крышке банчка и тянут жидкое солнце до тех пор, пока не кончится банчок или пьющий не свалится. Зато ему весело и тепло.

Даже нам, на пароходе, тоже пришлось пережить эту острую, органическую жажду тепла и радости, которую утоляли несколько стопок разведенного жидкого солнца. Нас, пассажиров, было мало у капитана Вассера. Уходя из Владивостока, все мечтали вернуться через несколько месяцев богачами, начиная с неопрятного поляка-спекулянта, везшего одни запрещенные спирт и стрихнин, и до крупного татарина-пушнинника, погрузившего в трюм на много тысяч муки, мануфактуры и кирпичного чая для мены. Нас всех манили в страну грядущего богатства тяжелые кожаные мешочки, туго набитые коричневатым золотым песком.

Не успевал капитан Вассер бросить якорь в нескольких верстах от угрюмого берега и спустить на воду кунгас, как вся орава, днем и ночью, в пургу и в дождь, бросалась к шторм-трапу и лезла наперегонки через борт, наступая на головы опередивших конкурентов. В волну это было далеко не безопасное упражнение: «коммерсанты» часто срывались с веревочной лестницы и потом их приходилось вылавливать багром, зацепив за подол кухлянки.

Но с берега возвращались не спеша и злые: мы опоздали. Пушнины почти не оставалось, а в золотоносный Охотск, так же, как и в Аян, мы так и не дошли. Громадную часть спирта, запасенного на пароходе, выпили на нем же, в зависимости от средств и крепости каждого. Наша «Казань» тоже заразилась северной болезнью. По ночам в трюмах и на срезе матросы жестоко дрались на ножах. Не отставали и рабочие, снятые на зиму с рыбалок. Богатый татарин пил запоем и по суткам не слезал с койки. Да и сам капитан Вассер не клал охулки на руку и, как выяснилось, вмещал гораздо больше своих пяти порционных рюмок, в особенности на спокойной стоянке.

В тот вечер, отогреваясь после охоты, мы пили особенно прилежно и, конечно, толковали о Дальнем Востоке. Пассажиры давно разошлись. Мы остались втроем и незаметно опрокидывали стопку за стопкой крепчайшей разведенки.

— Богатейший, удивительный край! – философствовал капитан на свою любимую тему. – Возьмите хотя бы Приморье. Почти везде по тайге следы золота. Мало, правда. Разработка не окупается. Но когда-нибудь за это дело возьмутся. А что в этих па-аршивых краях, – капитан ткнул большим пальцем через плечо, – да вот еще на Камчатке, — будет русский Клондайк, так я за это головой поручусь! Ваше мнение, господин инженер?

— О, да! – согласился швейцарец. – Это очень возможно. Особенно Охотск и Аян.

— И чего только здесь нет! Вот, слушайте: иду это я раз в дождь

тайгой, так верст за триста от Владивостока, и захотел пить. Нашел ключ, зачерпнул мутной водицы, выпил, и вдруг что-то такое холодное и скользкое во рту. Так по языку и катается. Ну, я, конечно, выплюнул. Смотрю, а на дне кружки — блестящие, как серебро, горошины. Ртуть, уважаемый! Чистая самородная ртуть!..

— Сколько же заработали? – осведомился я.

— Да ни шиша! Потом искал, искал ключик, так и не нашел. Думал, хорошо заметил, а поди-ка найди! Везде ключи, сопки, везде чаща и такой дикий виноград, что не продерешься...

— Я помню такой случай... О, поп, шегси. Я никак не могу, – сказал мосье Гарнье, отстраняя новую стопку. – Я шел с экспедицией в Африк Экваториал, около озера Танганайка. Немного южнее. Мы искали золото. Там не может быть ртуть. И вот в один день я вижу рядом в большой траве маленький шарик. Я приказал неграм встать и выскочил из паланкин. И знаете, что это было? Наш доктор, который пошел вперед, разбил вчера свой термометр!

— Ну, в наших ключах ни один доктор градусников не бил! – недовольно отпарировал капитан. – А вот еще: перед самым этим рейсом на даче под Владивостоком я нашел в песке розовый камешек. Так, в кедровой орех. И уж на этот раз запомнил место. Показал ювелиру, а мне и говорят: настоящий рубин! И даже недурной воды.

— Вот как?!. Это интересно! Тогда же я нашел в Верхнем Конго кусочек оловянной породы. Но я помнил ртуть. И я был прав: минерал выбросил из своей коллекции наш геолог... Но, конечно, корунд около Владивостока, это очень возможно! – поспешил вежливо согласиться инженер, посмотрев внимательно на капитана Вассера.

— Богатейший край!.. Только бы не спустили, как Аляску, черти !..

Буфетчик унес уже второй пузатый графин с матовой монограммой Добровольного Флота. Становилось жарко. Я встал и отдраил иллюминатор, чтобы немного продохнуть.

Снаружи было совсем темно. В бухту, занавешенную густым пологом снега, по-прежнему валили упорные, пухлые хлопья. Совсем близко от моего лица, под самым иллюминатором, изредка хлюпала о борт черная, как деготь, тяжелая осенняя вода. Стояла мертвая тишина северной ночи. Такая тишина, что все мы ясно услышали, как на ближнем берегу одиноко закаркал ворон. Капитан Вассер вздрогнул:

— Опять ворон?.. У, стерва!.. – и встал.

— Да бросьте, капитан, – начал я примирительно и невольно переглянулся с инженером.

— Э, да что вы все понимаете в Дальнем Востоке!?. Ну, ладно!.. Черт с ним!.. Эй, Петр, дай-ка еще графинчик! Жив-ва!.. И задрай иллюминатор... Вы думаете... я пьян? – повернулся к нам капитан Вассер. – Не-ет!.. А с вороньем у меня старые счеты. С тайги. Ваше здоровье!..

Капитан выпил и промокнул салфеткой свои усы в ниточку.

— Представляете, где бухта Святой Ольги?.. Ну, вот. Я туда попал с войны после контузии. В те времена русских там почти не было. Одни инородцы: гольды да орочи. Но больше всего китаезы из Шаньдуна. Ведь из этого самого Чифу желторожие прут к нам, как из брандспойта. Чего только не делали при царе, чтобы остановить: ничего не помогло. Расползлись точно клопы. И бойки, и «купезы», и плотники, и кочегары, кого ни спросишь: все из Чифу. А на Ольге они осели уже давно и настроили по берегу богатые деревни. Тут тайга под носом, а у них вонь и грязь, что в твоем Китае. Летом торгуют и пашут, зимой же все мужики идут за пушниной.

И они, знаете, устроились в нашей тайге совсем как дома. У них и порядки были свои, и никаких писаных законов, кроме своих, таежных. В самом поселке торчал, конечно, русский исправник, но получал, что ему причиталось, пушниной и не совал носа в китайские дела.

Но это вовсе не значит, что в тайге был беспорядок. Наоборот, порядочек был такой, что дай Бог каждой стране. Вся тайга делилась на участки в тысячи квадратных верст каждый, и для каждого избиралось по три судьи-старшинки на три года. Раз в году все трое собирались судить в большое село на берегу, куда приставали шаланды, а потом уходили снова в свои пади. Вот и все правительство, но поверьте, что его было совершенно достаточно. В тайге не шутят, и каждый охотник твердо знает ее законы.

Первый священный закон тайги – это гостеприимство. Сама таежная жизнь его требует. И в те времена оно, действительно, было. Тайга не знала ни замка, ни ключей. Если наткнулся в чаще на фанзушку – милости просим! Заходи и не спрашивай, можно ли.

Коль хозяин на охоте – дверь приперта снаружи шестом. Но внутри все равно висит куль с мукой под потолком, лежит сухой коробок спичек и настругана растопка. Даже чай обычно оставлен. Заходи еще, пей, грейся и спи! Только уходя, не забудь просушить новых щепок. И тут же висит все, что хозяин напромышлял за зиму: и белка, и лиса, и горностай. А часто видишь и собольков: вывернуты, голубчики, наизнанку, как перчатка, мездрой наружу.

Но Боже тебя упаси стащить хоть самую распропаршивую белку! «Не воруй!» – это второй закон тайги. С проворовавшимся разговор короткий: зубы выбьют и навсегда выгонят из общины. Дадут еды в обрез, чтобы добежать до берега, и плыви на первой же шаланде куда глаза глядят. Да не прохлаждайся – беги, а не иди, не то с голода помрешь: нет тебе, вору, по всей тайге ни чифана, ни теплого ночлега.

Если набрел на чужие капканы или силки, так дойди до зимовья и скажись. Ведь после-то все равно узнают по следам, что кто-то был. Покажи, что не имел в мыслях воровать добычу. Фанзушка всегда

недалеко: силки ставят около, большой восьмеркой по снегу. Если хозяина нет – сиди и жди, пока не вернется. Все равно в тайге спешить некуда! Случалось, что и казнили за кражу пушнины. Не любит тайга воровства, а еще больше не любит измену «братке».

Дело в том, что охотник редко уходит на зимовку один. Вдвоем всегда удобней и балаган ставить, и ловушки проверить. А если зверь нападет – отбиться легче. Перед уходом и бывают обычно братанья. Оба заходят в кумирню на берегу, жгут курительные свечи перед Законом, который написан по красному шелку золотом, и закалывают козленка в жертву предкам. Помолясь, клянутся быть «братками» до самой смерти, и в счастье, и в беде. И уж после братанья между ними все общее. Ежели один помер или пропал в тайге, то к другому переходит все его имущество: и фанзы, и поле, и даже жены.

Да, братская клятва имеет в тайге страшную силу. За ее нарушение одна кара – смерть. Тому, кто бросил братку в беде, – смерть. Тому, кто убил братку, – смерть через лютую пытку. Привяжут голого – все равно, и в жару, и в мороз, – к сосне в чащобе: или сам сдохнет, или зверь задерет, и птица склюет. Туда ему и дорога! А если кто поможет, и тому крышка. В девятьсот шестом такой был случай: я охотился в Ольгинской тайге уже третью зиму. Ничего, за год промышлял тысячи на полторы золотом. Там меня каждая собака знала. Как придешь в деревню, косоглазые ребята орут: «Капитана!.. Капитана!..» Да я и в правду скоро стал «капитана»: зауважали меня китайцы и выбрали вроде почетного судьи в Глубокую падь.

Надо вам сказать, что в селе проживал богатый старый китаец Сан Хо-лин. Правильный был китаеза, только мало-мало трусоват для таежного охотника. Была у него хорошая фанза со стеклами, а не бумагой в окнах, и чумизные поля вверх по реке, и много свиней, и целых три жены.

Года за два до этого приходит к нему молодой Кун Си. Голыш-голышом: не курма, а сплошная заплата. Только что из Чифу. Нанимается работником.

Хорошо-с. Работает год, работает другой: ужился. Летом ходит с хозяином на пантовку[7], зимой – соболевать. Парень смышленный и не вор. Спирту – ни-ни!..

Как стали бабы собирать их на третью зимовку, Сан Хо-лин зовет его и говорит – по-китайски, конечно:

— Вот что, Кун Си! Стал я старым, а сыновья мои или торгуют в Заливе Трепангов, или еще легки годами. Хозяйство у меня, сам знаешь, большое. Ты парень – «хо!» Пойдем-ка в кумирню и помолимся предкам: будешь моим браткой!

[7] Пантовка – летняя охота на оленей, молодые рога которых, «панты», высоко ценятся китайцами как лекарство.

Ну, Кун Си, ясно, в полном восторге. Еще бы! Пришел, можно сказать, в чем мать родила, а теперь станет компаньоном богача-купезы.

Пошли они, покурили палочками перед Законом, дали оба братскую клятву – все честь-честью. Потом, значит, уходят зимовать.

Только это я вернулся из тайги на следующую весну, прибегает ко мне Кун Си и плачет:

— Пропал, – говорит, – старый человек Сан Хо-Лин! Как ушел как-то без меня соболевать, так из тайги и не вернулся. Уж я, – говорит, – долго тело искал, – хотел хоть как-нибудь похоронить, чтоб злые духи его душу не сожрали, – так ничего и не нашел. Зверь, должно быть, задрал!

Ну, что ж поделаешь? Задрал так задрал. Мало ли охотников таежный зверь каждый год задирает? И все-таки осталось у меня в душе какое-то такое, знаете, сомнение. Ладно, думаю, поживем-увидим!

Кун Си, как настоящий братка, принимает фанзу и жен старика, начинает хозяйничать. Только скоро слух по тайге плохой пошел. Удивительное, право, дело: ведь уж, кажется, никто ничего не слыхал-не видал, а вот заговорила тайга, будто живой человек, заговорила!

Тут приходит в Ольгу второй наш старшинка и прямо ко мне: оказывается, уже слыхал о деле. Выкурили мы с ним трубочку, выслушал он меня, качает головой:

— Нет, – говорит, – капитана, пу-хо! Наша так думай: наша два люди нанимай. Его в тайгу ходи, мало-мало старый человек ищи!..

Наняли мы двух лучших орочен-следопытов. Обещали особо заплатить, если пантовку пропустят. Хоть и много лун прошло, и снег стаял, а все-таки пускай поищут. Долго это они по падям рыскали – месяца два – и, наконец, уж совсем летом являются ко мне ночью тайно с докладом: «Нашли!».

Сначала, рассказывают, ничего не могли сделать. Весь валежник вокруг зимовья подняли, все окрестные сопки встречными кругами изъелозили – нету! Пропал старик, да и только! И вот на третью луну надумали помолиться у фанзушки. Сели, развели огонек, помолились духу покойника и дали обет – до тех пор не курить трубочек, пока не разыщут Сан Хо-лина. И за птицей следить: она, птица-то, умная стерва, всегда мертвечину чует.

Сидят это они у фанзушки и смотрят. Вот как подул рассветный ветерок, с соседней сопки ворон: «Кар-кар!», – снялся и летит прямо на восход. Далеко где-то в тайге сел. Через час другой: «Кар-кар!», – и опять на восход.

«Мало, – думают, – третьего подождем».

Так и вышло. Как только солнце показалось, видят, летит третий ворон на восход и садится на высокую макушку.

— Ну, – говорят, – теперь пойдем! По запаху его нашли. Ветер вывернул кедровник над ручьем, а под карежиной он и лежит. Совсем

попортился. И на черепе две раны: пулевая дырка и шрам от топорика, с которым охотник в тайге не расстается. Рядом в чаще и самый топорик под хвоей. На железе-то стерлись, а на рукояти – пятна.

Поговорили мы со старшинкой и решили не звать молодого Кун Си, а зайти к нему самим, как бы в гости. И топорик этот самый под полой захватили.

Пришли. Поговорили. Трубочку выкурили.

— А где, – говорю, – Кун Си, твой топорик?

— Какой такой топорик?

— Да вот, с которым зимой в тайгу ходил.

— А!.. Таежный... На дворе, должно быть, валяется!.. – а сам, подлец, хоть бы хны!.. Даже не сморгнул. Только в припухлых щелках эдакий, знаете, моментальный блеск пробежал и потух...

— Да в чем дело, – говорит, – я его сейчас принесу...

Принес.

— Гм! Это ты с ним на прошлое зимовье ходил? Что-то он у тебя, паря, больно новый?

— Нет, – говорит, – не с ним... Я старый где-то в тайге обронил... – и все-таки, вижу, не выдержал: сереет.

— Ишь ты, – говорю, – а это случайно не твой? – и показываю ему, топорик-то.

Так в жизни я не видел, чтоб человек так в один миг менялся: помертвел, знаете, тут же на глазах! .. Ну, упал в ноги и признался: «Убил братку!»

— Ай-яй-яй!.. – говорю. – Пу-хо, ходя! Тебя тоже убьют! Как же это ты так? А?.. Ведь свечки-то со стариком курил?

— Курил.

— Предкам молился?

— Молился.

— И клятву давал, что браткой будешь?

— Да, давал!

— Так как же у тебя, ходя, рука-то на братку поднялась?

— Он сам, – говорит, – виноват. Он – трус!.. Мы вместе шли, когда меня зверь залапил, а братка взял да утек. Ну, я – парень крепкий, вышел живьем. Много солнц потом в оврагах отлеживался, чуть не сдох с голода и холода. А как собрал силы, пополз к фанзушке. Смотрю, мой братка на пороге сидит да еще мою собственную трубку, подлец, курит! Тут я ему свинца в голову и пустил. Только рука за болезнь ослабла. Пришлось топориком кончить. Я, – говорит, – знаю, что мне за это смерть. Но если мы с ним после смерти встретимся, так я ему и на том свете пулю в лоб пущу, чтоб не смел, трус, с другим браткой в кумирне свечи курить!..

Снял халаты: действительно, на боку так вся звериная пятерня и

отпечаталась... Да-с, вот тут и суди!.. Что ж, я считаю, он был прав. Я-то не сомневался, что он не врет, только как доказать?..

Опять послали следопытов на место, но, конечно, никаких следов уже не осталось. А закон тайги ясен: за убийство братки – смерть и лютая пытка.

— Ну, – говорим, – ты сиди, Кун Си, в селе и жди. Вот подойдут старшинки, тогда посудим. Только не вздумай удирать: все равно найдем!..

Приставили следопыта-орочена, чтоб следил, как дух, за каждым его шагом. И все-таки он удрал, да мы его вытащили в шаланде из-под морской капусты. И второй раз удирал: выследили в тайге. Тогда, как настоящий китаец, он смирился и даже перед смертью привел в порядок все хозяйство.

На суде я пытался было его защитить, да ничего не вышло. Закон тайги ясен. Статей в нем мало; снисхождений никаких: за смерть полагалась смерть. А тут, конечно, вина еще увеличивалась: ведь старик-то принял убийцу в дом, облагодетельствовал, можно сказать...

Так и закопали парня живым в землю, головой наружу. Все село на казнь бегало. Говорят, даже не боролся, когда сажали в яму... должно быть, вина дали...

Я-то не был, а ночью не выдержал. Взял винтовку и пошел в тайгу через падь, верст за десять, за последние поля. Ночь, помню, ясная: полнолуние...

Вышел на полянку, где его закопали, смотрю, – а голова со срезанной косой еще живет: левый глаз на меня блестит. И вместо правого – одна черная дыра: ворон выклевал! Тут же, рядом, сволочь, на дощечке сидит[8]!.. Даже помереть не дал!.. Подхожу, а он эдак бочком, бочком в сторонку... Сел в десяти шагах и так злобно на меня: «Кра-кра-а!..»

Тут я взбесился. Ну, думаю, будь что будет! Вскинул винтовку, – бац!.. бац!.. – первую пулю ворону, чтоб не улетел, стерва, вторую бедному Кун Си, прямо в висок, навылет, пускай не мучается. После боялся: заметят. Уж и расправились бы они тогда со мной по-таежному! Да, видно, Бог упас. Волки, однако, помогли...

Капитан Вассер вздохнул, помолчал и взял с дивана свою фуражку.

— Пойду-ка взгляну на барометр... – сказал он, вставая.

Уж этот мне па-а-аршивый уголь!

1924 г.

Опубликовано: Щербаков М. Корень жизни. Шанхай, 1943.
Печатается по: Рубеж. 2005. № 5. С. 110-118.

[8]На казненном китайцы ставят табличку, на которой в назидание прохожим написано его имя и преступление.

Проза

ДЖОННИ, МОЛОДОЙ МАМОНТ

«Туземцы Сибири рассказывали мне, что на утренней заре, вблизи рек и озер, им доводилось замечать некое существо, именуемое «Маттоп». Однако этот «Маттоп», приметив их, стремительно бросался в воду, и вообще днем отнюдь не бывает видим».

John Ranking. «Исторические изыскания о походах и охотах монголов и римлян». Лондон. 1826 г.

— Хотите купить молодого мамонта? – спросил человек с затекшим глазом.

— То есть его клыки? – поправил я.

— Да какие там клыки! – обиделся мой гость. – Я вам говорю: живого молодого мамонта.

— ?!!

— Чего вы уставились? Я не пьян... А знаете, с вас бы я дешево взял... Конечно, стоит только заикнуться какому-нибудь американцу, так он с руками оторвет, да уж очень жалко загонять Джонни чужим.

— …

— Да, да! Все это я отлично знаю, читал сотни раз! Это верно, что они вымерли: у меня случайный... Серьезно, купили бы, а?.. Мамонт – первый сорт. Можете хорошо заработать...

Человек с затекшим глазом вынул из кармана своих брюк, сшитых из оленьей замши, пожилой клеенчатый бумажник.

— Вот, – протянул он плохо проявленную пленку жилетного кодака, – это вот – Джонни, а рядом – коряк-проводник. В кухлянке. Я их снял, когда мы возвращались.

При желтом свете мерно качавшейся каютной лампы я увидел слабый негатив. На сером фоне выделялись длинные нарты. Рядом с ними стоял человек, а впереди, превышая в полтора раза его рост, виднелся расплывчатый силуэт мохнатого слона с длинными спирально загнутыми вверх клыками. Действительно, такой шерсти и таких бивней не было ни у одного из современных животных. Но мамонт, запряженный в нарты, да еще рядом человек в кухлянке! – Я очень подозрительно посмотрел на гостя.

***

Наше знакомство с белобрысым Яном Довейсом завязалось неважно. Для начала он безбожно надул меня, променяв крохотную облезлую сиводушку за полусотню берданочных патронов, фунт пороха и два «старичка»[9]. Я тогда был еще совсем новичком в пушных делах.

Сунув добычу в мешок из нерпичьей кожи, он быстро спустился в свою долбленку, отвалил от шхуны и загреб к берегу единственным веслом

[9] Полбутылки японского спирта.

о двух лопастях. Когда же на следующий день у борта снова оказался Ян, мечтавший повторить выгодную сделку, то шхуна встретила его очень нелюбезно, и валкая душегубка отчаянно закачалась на волнах, хлебнув до половины воды из корабельного брандспойта.

Впрочем, Ян скоро раскаялся и предложил мне мир, прислав в подарок отличные торбаза[10] с пестрой вышивкой и банку янтарного порошкового варенья.

Все это происходило в северном углу Охотского моря, примерно в десяти днях восьмиузлового хода от ближайшего порта. В тех местах людей гораздо больше интересует сколько у вас спирта, чем ваша родословная. Расспрашивать о таких вещах считается даже неприличным, так как большинство пришлых людей попали сюда не иначе как по суду.

Поэтому, разговаривая с Яном, я избегал этой скользкой темы и долго не знал, кто он такой. Местные камчадалы, коряки и тунгусы звали его просто «Иван Иваныч». Сначала Ян говорил со мной скверным цокающим говором, вставляя кстати и некстати чуть ли не в каждую фразу словечко «однако», но я скоро заподозрил в нем интеллигентного человека. Он вспыхнул под своим сандаловым загаром, а затем, посмотрев мне в глаза твердым и острым взглядом, утвердительно кивнул головой и заговорил уже обычным языком.

Часто, когда во время летних штилей наша «Наяда» еле колыхалась на длинной волне трехсаженного прилива и корейцы-рабочие лениво грузили в кунгасы тюки мануфактуры, табака и кирпичного чая, Ян подходил на долбленке к шхуне и за стаканом виски, которое он очень любил, рассказывал в моей каюте о сибирском северо-востоке.

С одной стороны залива виднелись серые скалы, переходившие выше в конические сопки, на которые тяжело налегали тучи, будто сплошное серебристо-сизое тесто, с другой – тянулся низкий желтый берег, безотрадный и плоский, с воздушной цепью гор, затерянной на горизонте.

То и дело над самой мачтой пролетали большие морские птицы, совершенно не пугавшиеся людей. Из воды то высовывались, то снова пропадали глупые черные и как бы обсосанные головки нерп, чьих детенышей, оставшихся в лужах после отлива, мы ловили голыми руками. На всем побережье нельзя было различить и в бинокль следов человека. Даже «поварни» – высокие избы на сваях, где летом во время хода коптят рыбу, – были скрыты скалами с щетиной прилегших к камню буро-красных кустов, напоминавших шерсть тех самых мамонтов, о которых заговорил Довейс.

— Видно, Ян, ванна из брандспойта вас не вылечила!

— Думаете, вру?.. Ну, конечно!.. Напрасно заводил разговор....

— Послушайте, но живой мамонт в наши дни – ведь это же абсурд!

[10] Торбаза – высокие сапоги из оленьей шкуры.

— Абсурд? – Ян презрительно хмыкнул и показал на свой затекший глаз. – Видали? Так вот, этот самый «абсурд» чуть не оставил меня без глаза... Да вы читали про опыты Бахметьева?

— Какого Бахметьева? Того профессора, который воскрешал перед революцией в Питере замороженных карасей и лягушек?

— Вот, вот... Но не одних только карасей, а даже теплокровных сусликов. Я сам видел студентом. Потом он начал опыты и с обезьянами да умер.

— Так причем же тут мамонт?

— А вот при том!.. Э, да чего языком трепать: вы же все равно не верите...

— Ладно, ладно, друг мой, нечего ломаться! Рассказывайте толком. Так и быть, поставлю вам виски!..

***

— Видите ли, – начал Ян, наблюдая, как в стакане побежали вверх серебряные пузырьки газа, – я перезимовал здесь три зимы. Это уже марка. Если за этот срок вы не спились, то, наверное, навидались разных разностей.

Я смотался из Владивостока, как только там появились первые большевики. Забился в угольную яму на «Симбирске» и вылез только после Хакодате, где они уголь грузили. Ну, что ж? Не выбрасывать же, в самом деле, парня за борт! Капитан выругал, боцман как следует поучил концом, а потом поставил драить палубу. После десяти дней плавания меня высадили на первой же стоянке. Ничего: нашел тут земляка-латыша и стал ездить с его товарами в разъезды на «собацках». Потом мало-мало оперился, завел и свою запряжку.

Ян остановился.

— Вы о Колыме слыхали? – прищурил он свой затекший глаз.

— Да, слыхал кое-что...

— Ну, так вот. На вторую зиму я решил туда обязательно пробраться. Раньше я доезжал до Станового хребта и научился кое-как болтать по-корейски. Так что до перевалов я рассчитывал дойти довольно легко.

— Позвольте, – перебил я, – но ведь на Колыму пробираются, как я слышал, гораздо более с юга, от Олы?..

— Да нет, это раньше так делали. А лет пять назад на Ольском пути случились осенние палы. Весь олений мох в горах сожгло. Ведь туда на «собацках» не проедешь: или корм для них вези, или товар на мену. Только на оленях и можно. Теперь южную дорогу совсем забросили.

Я с Наяхоны и тронулся. Нанял тунгусов-проводников, забрал в кредит у земляка товаров и спирта, и, как только выпал снег, двинулся по тропам. К весне я думал добраться через хребты до верховий Каркадона, а

там, когда вскроется, спускаться на плоту до самой Колымы. Так всегда делают. Ведь от Охотского моря до Нижне-Колымска и напрямки-то чуть не две тысячи верст, а если считать тропами!..

Он махнул рукой.

— Конечно, дело тут было вовсе не в товарах. Мне хотелось пробить постоянный путь на Колыму, чтобы наладить туда правильный транспорт. Ведь тот, кому это удастся, станет богачом, настоящим миллионером!.. Подумайте только: снабжать целую область, набитую битком пушниной, у которой нет ничего своего, кроме оленей, морошки да этой паршивой «юколы» [11]. Область, которая годами отрезана от всего мира! Ведь даже от Иркутска, где проходит ближайшая железка, надо сделать тысяч пять верст на лошадях, оленях и собаках, чтоб туда попасть. Да еще ехать через Верхоянск с морозами в 60 градусов! И только зимой – летом везде болота. Морем же, через Берингов пролив, путь свободен от льда только раз в три года[12]...

Ян заметно оживился.

— Ну-с, я пропущу подробности. Зима стояла скверная: вьюги, бураны, и мы продвигались много тише, чем я рассчитывал. Все же до Станового мы добрались благополучно, но на самых перевалах мои три проводника вздумали бунтовать.

Началось с того, что ночью тунгусы стащили с моих нарт пару банчков и налакались спиртом, как звери. Я рассердился и набил им морды. Они как будто сдрейфили, но урок не подействовал. Вы сами видели: тунгусы – народ тихий, забитый, пока не дорвались до первого банчка, но за второй пойдут отца резать. На другой день – опять кража. Тут я совсем обозлился. Зову ихнего старшинку Ивкава, а он мне вдруг:

— Ты, – говорит, – уркан (парень), шибко дерешься! Иди один. Мы с тобой больше не пойдем!..

Я сначала ушам не поверил, но проклятый спирт сделал свое дело. Пьяные щелки тунгуса смотрели тупо и упрямо. Оба моих винчестера, из которых они шутя снимали белок с макушек лиственниц, были у них, а кругом – одни сопки да снег.

Я подумал, подумал, а потом начал уговаривать, наобещав каждому по десятку банчков, когда вернемся. Но негодяи отлично понимали положение и требовали сейчас же спирта. Особенно меня бесило, что эти обезьяны устроили революцию тогда, когда труднейшая часть пути осталась позади.

---

[11] Юкола – вяЗ Сибири.

[12] Действие рассказа относится к первым годам революции. Теперь, ценою тысяч жизней заключенных в «концлагерях», проведен тракт, соединяющий Охотское побережье с Колымской областью. Кажется, была так же нерегулярная воздушная почта.

Вы знаете, я – человек упорный. Бросать свой план из-за каких-то тунгусов я не хотел, и решил тогда, что пойду на Колыму один, если даже они сбегут.

Весь этот день мы простояли на месте, а ночь я не спал напролет, приготовив под кухлянкой револьвер. Так и думал, что негодяи удерут, прихватив мои нарты со спиртом и патронами. Холодная ночь была. Хотелось плюнуть на все и заснуть хоть на час. Но я отлично видел, что тунгус у костра только притворяется спящим.

Днем, едва забрезжил поздний рассвет, проводники попили, не торопясь, «цайку» и пошли собирать оленей, отпущенных пастись. Я подумал, что протрезвившись, они взялись за ум, но не тут то было.

Ивкав подошел ко мне и начал опять требовать спирт.

Я показал ему наган, сказал: «Аттэ!» (нет), – и послал ко всем тунгусским чертям. Ну, сами посудите, как бы меня приняли в Колыме без спирту? Да меня бы каждая баба засмеяла!.. Так я и остался в горах с одной нартой и одним оленем...

Ян помолчал и выбил трубку о каблук.

— Да... Сначала жутко было одному. Как сейчас помню первый спуск по леднику. Щели какие-то, промоины, ямы – того гляди шею свернешь. А кругом – тишина и лед, и ни одной живой души на сотни верст кругом... Разве пурга завоет, да прогрохочет где-нибудь обвал.

Морозы стояли трескучие, но как только я спустился с главных хребтов, ветра стихли. Снега в тот год выпало мало, и мой олень легко откапывал себе копытами мох, пока я спал под какой-нибудь скалой.

На мое счастье, я захватил с собой карманный компас, двадцать белок отдал в Наяхоне, – а то не знаю, как бы я выбрался из этих сопок. Только перевалишь одну, – глядишь, впереди, под самыми тучами, торчит новая, и в долинах между ними – хвойные пролеси со всяким зверьем.

Еще в Наяхоне мне говорили, что за хребтами, не доходя Каркадона, кочуют по тайге несколько родов оленных коряков. И правда, пройдя с десяток дней, я заметил под вечер дымы над лесом.

Там стояло кочевье из восьми больших юрт.

Не знаю, кто из нас больше обрадовался, – коряки или я. Они уже больше года не видали русского и не нюхали спирта. Не успел я остановить оленя, как меня подхватили под ручки и повели в юрту к «тойону» – старшинке рода, беззубому старику с провалившимся носом. Там ведь целые кочевья больны сифилисом. К ночи все стойбище нализалось в дым, а на следующий день начался большой праздник. Сначала парни гонялись на оленях и боролись в снегу, а потом девки – некоторые очень смазливые, только уж больно грязные, – пели песни и щеголяли в праздничных кухлянках, пестро расшитых мехом выдр и бисером. Праздник кончился пиром, для которого закололи и сварили самого жирного оленя из стада в несколько тысяч голов, принадлежавшего

кочевью, а голову с рогами выставили на высоком шесте около юрты старшинки.

Все эти номера я видел и раньше, но вот что меня задело, так это обряд вроде шаманского «камланья». Надо вам сказать, что накануне моего приезда сын старого тойона убил волка, который считается слугой злого духа. Значит, следовало успокоить и самого дьявола, и душу убитого зверя, а то еще начнет отпугивать дичь от охотника.

Для церемоний пьяный старик, пошатываясь на тощих кривых ножках, одел свою «кагаглю». Это такая короткая оленья рубашка. Она сшита мехом внутрь, окрашена в кровавый цвет ольховым отваром и вся расшита лентами, бисером и железными побрякушками. Потом он достал бубен, – так, аршина в полтора в поперечнике, – тоже весь увешанный бубенцами и всякой дребеденью, и начал ходить вокруг костра посередине юрты. За его спиной болталась шкура убитого волка, на голове вместо шапки торчала волчья морда. Вся семья сидела кружком на звериных шкурах и глазела на тойона.

Так он ходил молча минут десять. Потом ударил в бубен, ответивший глухим рокотом и забряцавший железками, и затянул грустную гортанную песнь, расхваливая убитого волка и умоляя его не сердиться. Все кругом начали качаться в лад тягучей песни, подхватывая припев.

Бубен рокотал все громче и чаще. Голос старика окреп и зазвучал, как приказ. Шаги его ускорились. Он не то бежал, не то приплясывал с удивительной для его лет легкостью. Чудилось, что сам костер понимает старика и желтые языки его пляшут и припадают под удары бубна, бросая кровавые отблески на полога из кож. Вот одна из ездовых собак завыла на воле, подхватив песню, и ей сейчас же ответил целый хор жалобных, истошных голосов. Точно все волки Севера справляли поминки по убитому брату...

Не знаю, как это вышло, но от непривычного чада и этого воя у меня закружилась голова, куда-то поплыли и шаман, и качавшиеся, как маятники, скуластые морды. В конце концов я сам начал качаться и подвывать старику. И ведь вся эта морока шла битых четыре часа, пока шаман не выбился из сил и не свалился с пеной на губах за полога. Черт их знает, как они это делают! Гипноз, что ли...

Ян остановился и потянулся к стакану.

— Ну-с, когда старик отошел и праздники кончились, я переговорил с ним о делах; раньше – это была бы кровная обида. И, знаете, что оказалось? – Или меня надули негодяи-тунгусы, или я сам потом сильно заплутался, но вышло так, что я забрал много дальше на восток и что теперь стало выгодней идти уже не на Каркадон, а на Омолон, и спускаться до Колымы по этому притоку.

С тойоном мы быстро сговорились. За патроны и банчки он дал мне в

проводники двух своих сыновей, вместе с нартами и оленями, так что со стойбищем мы расстались закадычными друзьями.

Как мы оттуда шли, я не смогу сказать. Вся эта область к северу от Станового обозначена на картах просто белым пятном. Мы то пробирались по сопкам, покрытым хвойным лесом, то ехали целыми днями по дну узких долинок. Летом по ним не пройти; все пади – сплошное болото.

Моими новыми проводниками я не мог нахвалиться. Это были простые, честные парни, на которых можно было положиться. Я особенно подружился со старшим, Чейло, после того как снял пулей подраненную рысь, прыгнувшую к нему на плечо прямо с кедра.

Как-то утром, только мы двинулись с ночевки, Чейло поглядел вокруг и что-то крикнул Чейвину, прокладывавшему путь впереди нарт. Я не понял, а они оба засмеялись и остановили оленей.

— Богата наша земля, эреки (друг)! – сказал Чейло. – Чего-чего только нет: белка, песец, соболь, чернобурка... А желтое железо! Столько его по нашим ручьям валяется. Только брать нельзя: шаман не велит. Когда в тайге кто найдет – обратно зарывает. Потому оно большую беду несет. Русские пронюхают – сейчас придут. Русские придут – корякам пропадать. Сейчас пьянство пойдет, белка скочует, бабы загуляют – вот как в Охотске, у тунгусов... И не только пушнина с желтым железом, есть у нас немало и другого... Ты, эреки, – хороший человек. Мы тебе тут одно место покажем. Старое, тайное место. Ночью так сам шаман не придет: духов боится. Однако не сердись: спусти-ка шлык от кухлянки на глаза: я тебя за руку поведу.

Я послушался, и они повели меня в сторону, по сопкам, петлями, чтобы сбить с направления. Наконец Чейло сказал:

— Теперь смотри!

Я поднял шлык. Прямо передо мной высился обрыв в десяток саженей высоты, берег замерзшей речки. Со стены склонялась старая корявая лиственница, вся обвешанная вылинялыми и драными лентами, обозначавшими святое место. От солнца и ветра снег на гребне обледенел и свисал навесом. И вот под ним-то, на самом срыве, я и заметил торчавшие из желтого мерзлого песка кривые пни и бревна. Так, по крайней мере, мне сначала показалось. Их было очень много.

Я посмотрел вниз, к подножью. У самой речки лежал какой-то черный и большой обломок, полузасыпанный снегом, точно остов вельбота с ободранной обшивкой. Из сутроба торчали вверх одни голые ребра. Всю долинку, насколько хватал глаз, покрывали такие же странные обломки.

— Что это? – спросил я проводников.

— Это – наши предки, – тихо ответил Чейло. – Было время, когда мы, коряки, росли могучими великанами. Но прогневался Великий Дух,

Аннанэль. Он истребил великанов. Мы стали рождаться маленькими и слабыми. Потом Аннанэль наслал на наш край русских. Кости предков остались по всей нашей земле, а здесь, говорят, было их самое большое стойбище.

И тогда я понял, что передо мной не пни и бревна, а костяки каких-то допотопных животных. Я быстро пошел к обрыву и споткнулся об одну из кочек. Это был наполовину вмерзший в землю череп мамонта с завитыми вверх клыками, которые весили много пудов. Конец одного обломался, и под темным слоем коры виднелась желтая, как сливочное масло, старая слоновая кость.

В этой затерянной долинке хранился богатейший клад. Десятки нарт не смогли бы вывезти тех бивней, которые начиняли песчаные срывы или просто валялись на земле, вымытые речкой из соседних холмов.

Коряк понял мелькавшие в моей голове мысли. Он подошел, положил мне руку на плечо и сказал:

— Пойдем, эреки! Русскому здесь не хорошо… Ты думаешь, Чейло – дурак, Чейло не знает, сколько ружей и спирта можно взять за эти кости?.. Только трогать нельзя. Это место святое. Это наши предки. Ничего отсюда нельзя брать. Пойдем лучше...

Я посмотрел на ставшие строгими лица коряков и понял, что уговаривать их нечего. Мы прошли еще немного по речке. На повороте мне попался длинный вдавленный череп вымершего сибирского носорога со страшным наростом впереди. Многие из мамонтовых клыков отлично сохранились, да и самые костяки купил бы за бесценные деньги любой из музеев. Но уже падали ранние сумерки, и коряки заторопились к нартам. Скрепя сердце, я опять надвинул шлык на глаза. Обратно меня повели уже другой тропой.

Ян остановился и набил трубку.

— Видите ли, – продолжал он, пыхнув крепчайшей «маньчжуркой», – мне и раньше болтали о каких-то песчаных холмах к северу от Станового, набитых мамонтовыми костями, только я думал – врут. Долго я ворочался на следующую ночь и, признаюсь, совсем уже решил спровадить проводников к их предкам, найти этот овраг, нагрузить нарты клыками и повернуть к морю. Но утром, взглянув на славную грязную рожу Чейвина, рубившего топором кирпич чая, я понял, что все это не так просто, как мерещилось ночью. Просить коряков было бесполезно: я чувствовал, что они не выдадут тайны. Оставалось только заметить это место, чтобы попозже вернуться...

— И что ж, вы заметили? – прервал я Довейса.

— Да-а-а, конечно... – уклончиво протянул Ян. – Кое-где в тайге зарубок понаделал... Только найти трудно: тайга велика... Ну-с, – продолжал он, – после этого мы опять потянулись на север. Но теперь солнце стало выше забираться на небо, дни сделались много длиннее и

временами начали налетать весенние бураны. В полдень на полозьях появлялись подлипы. Они сильно задерживали: приходилось то и дело останавливаться, опрокидывать сани и счищать наледеневший снег. Горы и холмы остались сзади. Мы ехали теперь то тайгой, то тундрой. Через четыре недели быстрой езды мы добрались до какого-то притока Омолона, спустились по нему до самой реки, и стали ждать, когда тронется лед. Вот на этой стоянке я и нашел Джонни. Собственно говоря, он сам ко мне приплыл.

Там, где мы вышли на Омолон, это была уже мощная, широкая река с частыми порогами. Срубив легкое зимовье, мы начали валить деревья, чтобы связать плот. Крутом была дремучая тайга с вековыми кедрами, кишевшая всяким зверьем. Весна была на носу, и по всей тайге шел какой-то гуд. По ночам мы слышали, как за несколько верст дрались самцы-лоси.

Удивительное, знаете, это время за Полярным кругом! Весь Север сразу оживает. Целые дни ходишь пьяным, а зверье так совсем бесится. Потом начнется ледоход, треск по реке подымется все сильней, сильней, точно из пушек палят. Лед взгромоздится к берегам, потрескается посередке и медленно двинется к Ледовитому Океану...

Как сейчас помню: в конце мая я пошел за росомахой и забрел к ближнему порогу. Он был, так, в версте выше нашего становья. На реке шло настоящее столпотворение: глыбы неслись по течению, застревали на перекате, на них напирали новые, вылезали кверху, и на пороге получился высокий ледяной затор. Но вода уже промыла себе в одном месте широкую дорогу и падала с ледяной стены водопадом. А с верховья плыли все новые глыбы, важно поворачиваясь и колыхаясь на ходу. Может быть, их несло с тех самых гор, по которым я путался с тунгусами. На одних лежали целые кедры, упавшие за зиму, в другие были вморожены большущие валуны. Все это двигалось под молодым весенним солнцем, искрилось и мешалось. Север совсем оживал.

Тут я обратил внимание на большую желтую льдину, под рыхлой коркой которой мне почудилось что-то темное. Вертясь в мутной воде, глыба шла к затору как раз против того места, где я стоял. С полного хода она треснулась о стену, подпрыгнула боком и встала. От удара верхушка ее обломилась и тут же пропала в водоворотах.

И знаете, что я увидел под свежим изломом? Чей-то громадный горб со свалявшейся шерстью . 'Он выпирал целым куполом из-под льда. Я сразу же бросился к нему, но оступился и растянулся ничком. Прямо под собой я увидел сквозь лед морщинистый хобот и конец бивня... Это был мамонт!

Господи, как я несся тогда к нашей стоянке! Еще бы, даже знаменитый мамонт Петербургской академии наук и в подметки не годился моему. Вы помните, дойдя до Лены, экспедиция нашла уже изглоданную волками развалину, а мой был целенький, свеженький, как мороженый поросенок из рефрижератора.

На мое счастье, коряки были в зимовье. Я крикнул им захватить топоры и ремни, и мы помчались обратно к ледяной плотине. Ведь она каждую минуту могла поддаться напору воды и унести мою находку. Надо было как можно скорее прикрепить глыбу к берегу.

Но я боялся напрасно: и затор, и глыба с мамонтом оказались на месте, хотя ледяная плотина трескалась и разрушалась на наших глазах. Мы осторожно подобрались к мамонту и быстро обкололи с одной стороны рыхлую непрозрачную корку. И вот сквозь лед, будто сквозь зеленое стекло аквариума, я увидел, что мой мамонт был не один.

Рядом с ним лежал, свернувшись клубочком, второй, маленький мамонт, ростом в крупную лошадь. Я сейчас же подумал, что это мать с детенышем. И тут-то в первый раз мне бросилось в глаза их сходство с теми замороженными животными, которых я видел студентом при опытах Бахметьева.

Я решил бросить слишком громоздкую мамонтиху и мы, как черти, принялись в три топора обкалывать лед вокруг слоненка, чтобы достать его целиком, без всяких повреждений.

Да, веселая была работа. Скользя по мокрым льдинам, Чейвин чуть не утонул, угодив в полынью. А между тем затор размывало все сильней. Кое-как мы освободили из-под льда оба клыка детеныша и, захлестнув их ремнем, накрепко принайтовили к толстому прибрежному кедру. Я все беспокоился, как бы не сдали наши ремни или его клычки, если затор прорвется сразу. Чтобы совсем отделить детеныша, мы начали врубаться в глыбу. Тут коряки предложили разложить костер, но едва мы успели оттаять небольшую выемку, как под ногами у нас раздался сильный треск. Вся ледяная плотина дрогнула и заходила ходуном. Мы бросились к берегу, а глыба с мамонтами поползла вперед. Наши ремни натянулись и задрожали от натуги. Потом, описав четверть круга на привязи и разогнавшись по течению, она с силой ахнулась о береговые скалы. Глыба от удара треснула и раскололась по нашей выемке. Мамаша-мамонт отправилась в дальнее плавание, а мамонтенка крепко держали наши ремни.

Ян откашлялся, и, потянувшись к бутылке, вылил остатки виски в свой стакан.

— Тогда мы передохнули. Уже смеркалось. Мы разложили костер, поставили балаган, нарубив ветвей, и начали сушиться. Чтобы окончательно закрепить находку, я послал Чейвина в зимовье за новыми ремнями. Дожидаясь брата, Чейло быстро захрапел, а я, несмотря на усталость, сидел и смотрел в огонь.

Вздорные мысли лезли мне в голову. И чем дольше я размышлял, тем сильнее становилось искушение попробовать вернуть к жизни этого зверя.

Прежде всего, насколько мы видели сквозь лед, оба мамонта сохранились в глыбе без всяких повреждений и, судя по их спокойным

позам, замерзли незаметно и без страдания. Как же это могло случиться? Да, вероятно, спасаясь от бурана, они забрели в какую-нибудь трещину или пещеру в ледниках среди гор, лежащих южнее. Там они, должно быть, и замерзли, может быть, даже во время сна, а потом отверстие или обвалилось, или в пустоту натекла ледниковая вода. Так они и пролежали целые тысячелетия, замурованные в толще ледника, как в холодильнике, пока этой весной какая-нибудь лавина не оторвала всей глыбы и не докатила ее в реку.

Но если действительно жизнь в этих гигантских телах останавливалась постепенно и безболезненно, то почему надо было обязательно думать, что они умерли? Разве вместо смерти у них не могло наступить то среднее состояние, которое профессор Бахметьев окрестил «анабиозом»? Да вот простой пример: возьмите хотя бы зимнюю спячку медведя, тушканчиков и многих других теплокровных животных. Во время нее они ничего не едят, не пьют и почти не дышат. Это не жизнь, но и не смерть: что-то среднее, и Бахметьеву удавалось по желанию то замораживать, то снова воскрешать не только лягушек и карасей, но даже и млекопитающих сусликов.

Значит, если взять моего мамонта, то разница была лишь в размере животного и в том сроке, который эта спячка продолжалась. У Бахметьева были маленькие суслики и спали они по несколько месяцев. У меня же был мамонт, проторчавший во льду, наверное, много тысячелетий. Но сущность-то оставалась той же: ведь во время анабиоза вся жизнь, весь обмен веществ в организме идет с неуловимой медленностью или даже совсем замирает.

Я постарался припомнить, как ставились опыты, но все это было так давно. Я только твердо помнил, что Бахметьев отогревал своих нежитей очень медленно и осторожно в особых грелках. Значит, и мне следовало, по возможности, действовать так же.

Конечно, у меня не было даже самого простого градусника, но у меня была вода, чтобы не дать ледяной корке стаять неравномерно, и сколько угодно дров, чтобы его постепенно отогревать.

Чейвин, вернувшись с ремнями, прервал мои думы. Мы разбудили его брата и провозились всю ночь, пока не отвели мамонтовую глыбу в маленький затончик, где и затопили под водой, чтобы защитить от резких перемен температуры. Потом мы завалились спать и проснулись только к вечеру. Зато весь следующий месяц мы спали мало.

Наступал июнь; ледоход на реке скоро кончился. Вода вошла в берега, и затончик, в котором оттаивал мамонт, оказался просто большой ямой, окруженной старыми лиственницами. Пока на туше оставался хотя бы тонкий слой льда, температура внутри нее не могла меняться, но льдина могла оттаять неравномерно с разных сторон. Поэтому, пропустив ремни под глыбой, мы перекинули их через соседние сучья и, подняв

мамонта как на блоках, оттащили его в сторону. Работая топорами и ножами, мы осторожно скололи весь лишний лед. В конце концов перед нами висела грубая статуя слоненка, одетая в вершковый слой чистого, как хрусталь, льда. Если б вы видели, как она посверкивала при красном пламени костров!

Мы работали только по ночам, которые становились все светлее и короче, а на день опускали мамонта обратно в яму, чтобы не повредить ему припекавшим в полдень солнцем.

Теперь наступало ответственное время. Я целыми днями сидел у ямы и следил, как лед медленно сходит с нашей огромной сосули. Прозрачная кора становилась все тоньше. Сквозь нее уже пробивалась местами грубая красно-бурая шерсть. Затем на хоботе и ушах лед сошел совершенно. Тогда мы повернули тушу так, чтобы конец хобота высовывался из воды. На ощупь он стал как будто более упругим.

Я подождал еще двое суток. Наконец, корка стаяла везде. Тогда я приказал корякам подвести под мамонта сшитые оленьи кожи, мы осторожно подняли его на ремнях, дали немного обсохнуть и подвесили над кострами, разложенными под деревьями.

Затем наша работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Мы натаскали целые горы валежника и все время подбрасывали его в костры, разложенные под зверем, который покачивался над ними, как ребенок в люльке, на своих ремнях. Я постепенно увеличивал жар костров, действующий на мамонта.

Так он прогревался у нас четверо суток. На пятую ночь все тело его стало тепловатым на ощупь. Хобот упруго сгибался в руках. Наступил критический момент: в эту ночь он или оживет, или достанется волкам.

Но к моему всякому огорчению, мамонт и не думал двигаться. Я сильно волновался. Ведь на моих глазах проваливался самый смелый опыт нашего века! И потом ускользало прямо-таки между пальцами целое богатство... С каждым часом этой белой ночи мне становилось все обидней.

Наконец наступила полночь. Солнце на несколько минут скрылось за чертой леса, а потом его край снова выплыл и стал набухать. В жидком белесом свете мамонт продолжал лежать мертвой тушей. Я отошел от костров и протер изъеденные дымом глаза. Все мои надежды показались теперь детским бредом.

— К черту! Заливай костры! – приказал я корякам.

Они посмотрели на меня с удивлением.

— А что, эреки, – робко спросил Чейло, взявшись за ведерко, – если нам его покачать?

— Покачать?.. – переспросил я. – Зачем?..

— Ну, как человека, когда утонет... Небось, сколько у него воды в животе!..

Я так и подскочил. Ну, как же я мог забыть о воде, оставшейся в легких!..

— Хватай ремни! – крикнул я. – Раз!.. Два!.. Раз!.. – и мы принялись качать и подбрасывать слоненка. Потом мы опустили его на землю, повернули на спину и пока коряки подымали и опускали его ноги, я несколько раз прыгал к нему всей тяжестью на грудь.

Подул утренник и накрыл нас едким дымом валежника. Я закашлялся. И вдруг мне показалось, что шерстистая грудь под моими ногами подымается... Я соскользнул на землю. Сквозь дым я увидел, как мои коряки отлетели в стороны... Затем из зашевелившегося хобота прямо в костер вылетел целый фонтан воды. Мой мамонт чихнул, судорожно вдохнул воздух и грузно перевалился на бок.

Он все-таки ожил!.. Послушайте, – прервал Ян свой рассказ. – Нет ли у вас еще чего-нибудь? Что-то в горле пересохло... А-а, спасибо. Довольно, довольно! Да-с, знаете... Отличный оказался мамонт! Такой умный, ласковый, послушный. Я окрестил его «Джонни». Сначала был, конечно, слабоват после спячки. Больше недели отлеживался на ветках и все дрожал. Смотрит на меня этак жалобно своими буркалами, водит хоботом и тихонько посапывает. Точно хныкает. Видно, мать искал.

Ну, а потом обошелся: встал на ноги и принялся щипать травку и кусты с почками. Пока он лежал, я отпаивал его оленьим молоком, и он так ко мне привязался, что стал бегать по пятам, как собачонка. Ночью, бывало, пристроится поближе к зимовью, с того бока, где я спал, и все лазит хоботом посмотреть: здесь ли я. А когда подрос и стал ходить в тайгу пастись, то стоило мне крикнуть: «Джонни, сюда!», –как он несся ко мне, распустив лопухами уши и ломая осинки на пути. Подбежит, остановится рядом и сейчас хоботом в карман, куда я прятал лепешки... Да он у меня до сих пор очень ласковый, только уж зато и пуглив!..

Так мы провозились с мамонтом пол-лета. Конечно, спускаться с ним в Колыму было немыслимо. Я решил переждать на месте до снега, вернуться к Охотскому морю и оттуда на следующее лето пробираться в Америку. Представьте себе, какой бы там тарарам поднялся! Пустили бы без всяких виз... И потом тоже кусочек хлеба до самой гробовой закрышки, только вози его на показ из города в город.

К осени Джонни у меня совсем окреп и сильно вырос, и я начал приучать его таскать нарты. Это ему совсем не понравилось.

Видите, – указал Ян на свой затекший глаз, – как он меня изукрасил во время ученья... Ну, уж и нагорело ему тогда багром!..

Два дня после пропадал в тайге и все-таки вернулся, не выдержал характера. Так мы и пропутешествовали обратно через Становой: впереди проводники с оленями, а сзади – я с Джонни и с парой нарт цугом, да еще возом его сена. Как только мы перевалили хребты, я отослал коряков домой

с подарками, чтобы не раззвонили здесь о мамонте. Так до сих пор никто о нем и не знает.

— А где же он теперь? – спросил я.

— Ишь ты, какой вы любопытный! – прищурился Ян. – Я его тут в одной пади спрятал. Ведь такую махину в карман не сунешь!.. Знаете что? Забирайте-ка завтра провизии суток на двое и жарьте ко мне на берег. Я сам его давно не навещал. Вот затрубит-то!..

— Я все-таки не понимаю, Ян, зачем вам его продавать?

— Видите ли, – наклонился ко мне конфиденциально Ян, – я уж вам, так и быть, скажу: вы все равно не покупатель. Продаю потому, что он слишком боится моря. Даже издали. Я сам этого не знал, пока не поехал с ним на берег. Лишь только послышался гул прибоя, Джонни насторожился и начал водить лопухами, а когда завиднелись волны, – Господи, что тут было!.. Задрал хобот, затрубил да как пустится во все лопатки обратным ходом!.. И сколько ни старался приучить, ни шпинта не выходит. Так, мамонт как мамонт, и слушается, и ласковый, а как увидит море – никакого слада нет. Может, вспоминает шум воды, когда замерзал...

Вот теперь и прикиньте, как его грузить на пароход? Ведь он раза в два повыше меня, и силища – как в хорошем автомобиле. А если забьется, чем его свяжешь. Да он всех перекалечит… Нет, видно, придется загнать... Не помирать же с ним в этом мерзлом краю...

Наверху, на палубе, пробили склянки.

— Батюшки, никак полночь! – встрепенулся Ян. – Ну и заболтался... Так, значит, до завтра!.. Обязательно приезжайте!

Он накинул свою клетчатую куртку и вышел из каютки. Я выглянул вслед за ним. «Наяду» покачивало. С берега шел крепкий норд-вест, и по волнам гуляли барашки.

— Оставайтесь-ка лучшие ночевать. Смотрите, какой ветер пошел.

— Ну, ерунда, у меня долбленка испытанная! – и Довейс поглубже надвинул кепку.

Наклонившись над фальшбортом, я проследил, как он сел в скакавшую по волнам душегубку, оттолкнулся веслом от шхуны и почти сейчас же пропал в обступившем нас мраке.

К рассвету барометр сильно упал. Стали налетать такие шквалы, что нам пришлось идти штормовать в открытое море. Там нас болтало двое суток, и за эти дни у меня не было досуга, чтобы раздумывать о мамонтах. Но когда ветер спал и «Наяда» отдала якорь на прежней стоянке, чтобы кончить выгрузку, мне ужасно захотелось проверить рассказ Яна. Я захватил провизии и отправился на берег.

Изба, которую нанимал Ян в поселке, оказалась запертой. Я спросил у соседей.

— А мы, однако, думали, Иван Иваныч у вас!.. Ветер застал, он и гостит... Уж не случилось ли чего? Вот грех-то, однако!

Мы поспешили на взморье. Живший около морской кошки камчадал уверял, что Ян вернулся на берег, но за последние три дня никто не видел его в деревне. Только через неделю старый пьяница Корнеедов нашел у бара на соседней речке опрокинутую и разбитую долбленку. Ее признали по выжженным буквам.

Так я никогда больше и не встретил Яна. Ясно, что, отыскивая его след, я перерыл все оставшиеся пожитки. В боковом кармане его праздничного пиджака оказался потемневший, зафиксированный отпечаток с того негатива, который Довейс показывал мне на шхуне. Скоро он и совсем почернел. Там же лежал оборванный уголок записки с тремя словами, нацарапанными карандашом:

«Кладбищ мам окол...»

Вот и все, что я смог найти примечательного. Мои поиски Джонни вокруг поселка не дали никаких результатов. Впрочем, я должен заметить, что у меня не было времени уходить далеко. Стояла уже поздняя осень, по реке шла шуга, и «Наяда» торопилась в обратный путь, наспех заканчивая выгрузку. А зазимовать в этом затерянном мирке я так и не рискнул.

1925 г.

Опубликовано: Щербаков М. Корень жизни. Шанхай, 1943.
Печатается по: Рубеж. 2005. № 5. С. 118-126.

КОРЕНЬ ЖИЗНИ

Где женьшень, там и тигры.
Китайская поговорка

Цзян-Куй убил Ли Фу-линя, женьшеньщика, вовсе не из личной злобы. Он даже не знал, что того зовут Ли Фу-линем. И, конечно, он никак не мог предположить, что найдет в фанзушке, под тряпьем, такой удивительный корень. Он действовал, как голодный зверь, который должен убивать, чтобы жить. Охота на «голубых фазанов» была его ремеслом.

Все это произошло потому, что оба смотрели на жизнь совершенно по-разному. Ли Фу-линь искал на северных склонах сопок, в таежных травах, высокие стебли женьшеня, а Цзян-Куй, хотя тоже искал женьшень, но делал это несколько иным способом. Каждый корешок приходилось искать неделями, иногда месяцами, а у женьшеньщика он нередко находил по несколько штук сразу. Это было куда проще. Но он все-таки избегал убивать зря и сначала долго выслеживал человека, определяя, стоит ли он того, чтобы его убить.

Так было и на этот раз. Цзян-Куй следил за Ли Фу-линем уже третьи сутки, следил осторожно и упорно: Ли Фу-линь был сам стреляной птицей и, кроме того, имел совершенно такое же пистонное ружье, как и Цзян-Куй.

Два последних дня Ли Фу-линь был особенно настороже, потому что, окапывая в пади один из найденных корней, он услышал не так далеко в кустах хруст сухой ветки. Он бросился на шорох, но никого не нашел. Если бы он прошел тогда на сто шагов дальше, то переселился бы к предкам на сорок восемь часов раньше: Цзян-Куй стоял за пробковым дубом и ждал его со взведенным курком. Но стрелять он мог только изблизи, наверняка, так как его ружье было очень древнее и заряжалось оно с дула. Промах же грозил смертью ему самому.

В общем, при равных шансах в смысле вооружения, у Цзян-Куя было одно несомненное преимущество: он знал, что ему нужно убить Ли Фу-линя, в то время как Ли Фу-линь только подозревал о его намерении. Поэтому убитым оказался не Цзян-Куй, а Ли Фу-линь.

Женьшеньщик сидел в это время в фанзушке на корточках перед костром и варил в котелке клецки из муки и отчаянно пахшего дикого чеснока. Для того, чтобы неслышно подкрасться к дыре, заменявшей окно, Цзян-Куй потратил почти час. Но он был терпелив и, как уже говорилось, никак не мог рисковать.

Наконец он просунул длинное дуло в окно и спустил курок. Ли Фу-линь, точно делая земной поклон, упал ничком, лицом прямо в костер. Сквозь пороховую гарь, наполнившую фанзушку, резко запахло паленым волосом. Цзян-Куй вошел, отпихнул тело в сторону, еще раз вскипятил клецки и съел их с удовольствием, так как был сильно голоден.

Потом он обшарил жилище и нашел под ложем из свеженарубленных еловых ветвей завернутый в мох, бересту и синюю тряпицу корень. Увидав, что это женьшень, он положил сверточек на пол, низко поклонился ему и пробормотал заклинание.

Это был совсем удивительный корень. Через руки Цзян-Куя прошло много женьшеня, но он и не думал, что таинственное растение может достигать такой величины. И тут ему вспомнились сказания о том, что женьшень способен расти сотни и даже тысячи лет. Корень был длиной более чем в четверть, и с него свешивалась густая борода мелких нитей-корешков. Весь же он до странности напоминал уродца с перевитыми и скрещенными ногами. Даже его тонкая шейка и сморщенная головка сверху туловища, от которой отрастает ежегодно весной надземный стебель, донельзя напоминали человеческие. Кроме того, это был мужской корень, о двух ногах, что еще более увеличивало его стоимость.

Цзян-Куй взвесил корень на ладони и начал прикидывать в уме возможную цену, но сейчас же сбился. В Хай-Шэнь-Вее торговцы

амулетами и лекарственными растениями поступали обычно так: на одну чашку весов они клали принесенный из тайги корень, а на другую сыпали золотой песок. Когда чашки сравнивались, они прибавляли еще столько же золота и передавали его продавцу. Но таким образом скупщики оценивали лишь мелкие гладкие корешки длинной в указательный палец и похожие на белый редис: такие покупались даянов по шестидесяти-семидесяти за штуку. Когда же попадался старый корень, напоминавший формой человека, то стоимость его возрастала непропорционально весу, как цена крупных бриллиантов.

Как-то в молодости, когда он еще не охотился на «голубых фазанов», Цзян-Куй видел корень, который купили, чтобы отвезти в Пекин самому богдыхану за одиннадцать тысяч даянов. Но находившийся в его руках был еще крупнее и еще больше напоминал человека.

«Одиннадцать тысяч больших, звонких, тяжелых серебряных даянов!..», – подумал Цзян-Куй, зажмурился и снова почтительно положил корень на пол.

Ему стало очень жарко. Он отодвинулся от костра, снял граненую черную шапчонку и вытер пот со своего бритого прокопченного черепа. Таинственный Корень Жизни жег ему руки. Из него точно излучалась та магическая сила, которую сосали, может быть, столетиями эти тончайшие мочки из недр земли. Какой сверженный маньчжурский принц крови или одетый в жесткие шелка старик-богач сможет купить его и настоять для себя на спирте всеисцеляющее лекарство, дарующее многолетие, зажигающее кровь старца силой и страстью юноши и делающее его высохшую кожу нежной и упругой, какой она бывает у молодой девушки?..

Цзян-Куй, казалось, видел, как Ли Фу-линь, лежавший теперь у костра с дыркой в затылке, медленно брел по росистой глухой пади, тщательно раздвигая заросли своим жезлом с железным наконечником. Вот он заметил высокий по пояс стебель, увенчанный зонтиком ярко-красных ягод, с продолговатыми пятипалыми листьями, похожими на человеческую руку. Ли Фу-линь, вероятно, замер от восторга, отбросил свой посох, упал на колени и начал молиться волшебному растению, чтобы оно не скрылось в недра земли. Должно быть, помолившись, он быстро оглянулся – не следит ли кто за ним, но при находке присутствовала лишь туча таежного гнуса и комаров.

Затем, несомненно, он повесил на ближайшее дерево красную тряпицу с заклятьем, обращенным к духу гор, Шань-Е, который посылает тигра сторожить Корень Жизни, выполол вокруг стебля маленькую плешь, провел канавку от соседнего ручья и поселился в нескольких ли, отыскав чью-то брошенную фанзушку. Там он терпеливо дожидался в постах и молитвах, пока осенние созвездия займут счастливое положение, чтобы

вырыть Корень Жизни особой лопаточкой, вырезанной из оленьего рога. По-видимому, это случилось недавно: наново промазанные глиной стены зимовья еще сохраняли влажность.

Тут мысли Цзян-Куя повернули к его собственным делам. Нет, он не будет больше охотиться на «голубых фазанов», никогда не будет! Теперь это ему совсем не нужно. За драгоценный корень он сможет купить половину своей родной деревни, иметь жену и одну, двух, даже трех толстых, жирных наложниц и объедаться хоть каждый день вареными трепангами и плавниками акул... И после еды курить много-много трубок сладкого лучшего юньнаньского опиума...

Довольно били его линейкой белые черти в монастырской школе в Чифу! Довольно кричали на него, несчастного забитого бойку, русские мадамы в Хай-Шэнь-Вее, заставляя каждое солнце тереть лицо. Да и эта тайга, будь она проклята, где каждый охотится на каждого, а русские дураки не могут навести порядок и только бьют друг друга из пулеметов... Довольно с него тайги! Он переедет на шаланде залив и продаст корень в Хай-Шэнь-Вее. Нет, он лучше как следует спрячет его и довезет в родное Чифу: там дороже дадут... А все-таки уж не продать ли его в Хай-Шэнь-Вее? – ведь чего только не случается на море!.. Что значит для него теперь заработать на тысячу меньше?

Цзян-Куй точно напился ханшина от своих мыслей. Дом, наложницы, акульи плавники – все это лежало здесь, перед ним, завернутое в мох и синюю тряпицу. Костер дымил и ел глаза. Большой серый уж, живший в фанзе Ли Фу-линя и скрывшийся при громе выстрела, показался опять, переполз, шипя, через лицо прежнего хозяина и свернулся в уголке, повернув плоскую голову к костру.

— Как бы кто не заметил свет! – спохватился Цзян-Куй, вздрогнул и быстро распахнул непритворенную дверь в таежный мрак, в теплую сырую ночь, насыщенную шорохами. Но об этом ему следовало подумать четверть часа тому назад. Тогда, может быть, у него были бы и жены, и трепанги. Но Цзян-Куй опоздал затушить костер на целые пятнадцать минут, а тайга не прощает и гораздо менее значительные ошибки.

Кроме того, у Цзян-Куя было только два старых пистонных ружья, заряжавшихся с дула, в то время как Ким-кореец имел с собой отличную трехлинейку с обоймами на пять патронов. И поэтому теперь преимущество оказалось уже не на стороне Цзян-Куя, хотя оба они на этот раз одинаково хорошо знали, что один из них должен погибнуть.

Ким был «белым лебедем». Так зовут в тайге корейцев за их национальные снежно-белые халаты, подвязанные тесемками на груди. Он никогда не охотился на людей. Он сам бродил по сопкам в поисках Корня Жизни. Но Цзян-Куй не затушил вовремя костра и забыл притворить дверь, а Ким, заметив с берега ручья освещенный снизу дым, подошел к зимовью и сквозь щель увидел и Цзян-Куя, и мертвого Ли Фу-линя.

Удивительный корень в руках китайца досказал ему все остальное. Увидев его величину, Ким просто обомлел.

И все-таки он был трусом. Поэтому, когда дверь неожиданно распахнулась и оба они столкнулись лицом к лицу, Ким не выстрелил в Цзян-Куя, как сделал бы каждый не трус на его месте, а отшатнулся прочь. Дверь моментально захлопнулась, скрипнула щеколда, и свет в щелях потух.

Ким отошел в темноту, за ближний куст, и выпустил всю обойму в дверь и на толстые стены. Фанзушка не ответила. Тогда Ким достал из-за пазухи спички и подполз к ближнему углу, но, пощупав стену, сунул коробок обратно: стена была совсем сырая. Он снова уполз под прикрытие и начал размышлять.

Он знал, что в фанзушке есть прежде всего Корень Жизни, потом два человека, мертвый и живой, и, наконец, два пистонных ружья. Корень был такой, какого Ким еще никогда не видел. За него он мог получить и чумизное поле, и шаланду, и целые горы рису. Живой человек взял его у мертвого, это было ясно. Следовательно, и Киму надо было сделать так, чтобы в фанзушке вместо одного мертвого и одного живого остались бы два мертвых человека.

К сожалению, кроме людей, в зимовье были еще два пистонных ружья, которые мешали ему исполнить это сейчас же. Правда, оба вместе они не стоили одной его трехлинейки, но, как уже было сказано, Ким был трусом и совершенно не желал рисковать своей жидкой, точно приклеенной по одному волоску, бороденкой. Поэтому он решил использовать иначе свое преимущество и стал ждать.

В это время дверь фанзушки тихонько приотворилась. Он не видел этого, только услышал скрип и сейчас же сказал выстрелом: «Я здесь!». Щеколда снова захлопнулась. Как только за сопками порозовело, он отполз ровно настолько, чтобы до него не достали пистонные ружья китайца. Теперь положение менялось. Из остающегося в фанзе ему следовало считаться лишь с Корнем Жизни и живым человеком. Но живому человеку, чтобы остаться живым, нужно было есть и пить. Съесть он мог бы, конечно, и мертвого человека, если бы у него не хватило пищи, но воды в фанзе не было. За ней надо было выйти. А выйти он мог только через дверь, которая была под обстрелом Кима, ибо в окно пролез бы разве только заяц. Дело было верное. Киму оставалось лишь следить, чтобы человек не ушел ночью через подкоп, и ждать, когда жажда выгонит его под пулю. Что такое жажда, он знал достаточно хорошо. Корень Жизни должен был довольно скоро очутиться в его руках.

Между тем, Цзян-Куй чувствовал себя очень скверно. Он сразу учел обстановку, увидев за дверью корейца. Опрокинув тут же на костер котелок, он схватил заряженное ружье Ли Фу-линя и присел в дальнем

угла. Но враг не вошел. Вместо него заговорила его винтовка, оцарапавшая колено Цзян-Куя. Она не только назвала себя, но и определила характер врага.

— Ну, «белый лебедь»!.. – презрительно подумал китаец и несколько отошел.

Но тут же ему стало ужасно обидно: стоило тратить трое суток на этого дурака, чтобы попасть самому в мышеловку к трусу-корейцу. И это тогда, когда в его руках были и фанзы, и жены, и акульи плавники...

Цзян-Куй возмутился всем своим существом против такой несправедливости. С ружьем в руках он решительно двинулся к двери, однако от нее отлетела большая щепка, и ему пришлось отступить. Цзян-Куй понял, что «белый лебедь» умел пользоваться своим преимуществом и что теперь начинается правильная осада. Тогда он вспомнил о воде, вылитой на костер, и с проклятьем отпихнул ногой пустой котелок: больше воды в фанзе не было.

Голода Цзян-Куй не боялся. Таежное ремесло приучило его к долгим голодовкам. Да к тому же он недавно плотно поел, и на крайний случай в фанзе оставался еще «голубой фазан». Но вот жажда!.. О, она была гораздо страшнее и после клецок с диким чесноком уже давала себя чувствовать. Цзян-Куй знал, что только она способна выгнать его за дверь, где ждала винтовка корейца. Нужно было искать другой выход.

Зимовье было очень тесным. В ширину оно едва превышало длину ложа Ли Фу-линя.

«Гроб!..», – мелькнуло в голове Цзян-Куя. Он видел, что если только кореец не пожалеет выпустить наугад в стены полсотни патронов, то наверное его серьезно заденет. Нет, нечего было ждать, надо было попробовать уйти через подкоп.

Он прислонил труп Ли Фу-линя как щит к двери, закрепил его поясом и начал бесшумно рыть охотничьим ножом пол у противоположной стены зимовья, выгребая землю руками. Под утоптанным полом пошел мягкий слой, но на глубине четверти клинок чикнул по камню, ниже была сплошная гранитная порода.

Он злобно отшвырнул нож, но, подумав, снова поднял и продолжал рыть. К рассвету у него было готова ямка, где он мог укрыться в случае обстрела.

Жажда мучила его все сильнее. Рот жгло от дикого чеснока. Сколько даянов дал бы он сейчас за чашечку самого скверного чая, которую можно достать за два чоха в любой деревенской лавчонке!.. А впереди был еще целый жаркий осенний день ожидания. Подкоп не удался. Оставалась вылазка. Но она была возможна только в темноте. Цзян-Куй сел на край своего окопчика и принялся напряженно ожидать ночь, жуя щепку, чтобы обмануть жажду. За стеной фанзы явственно журчал ручей, и этот звук

сверлил мозг Цзян-Куя. Ему хотелось заткнуть уши, чтобы только не слышать слабого переплеска влаги.

Если Цзян-Куй ждал темноту с нетерпением, то Ким-кореец очень ее боялся. Днем он видел фанзу и мог следить за ней со всех сторон, передвигаясь в кустах. Ночью же он мог наблюдать только за одной дверью и, вместе с тем, во мраке громко говорила его трусость. Мысль о том, что женьшень может исчезнуть ночью, не давала ему покоя. Поэтому, около полудня он не выдержал и решил завязать мирные переговоры. Зайдя со стороны глухой стены, Ким чутко прислушался. Внутри было мертвое молчание.

— Ходя, ваша сыпи-сыпи есь? – начал издали кореец по-русски, так как не знал китайского.

Фанза не отвечала.

— Ходя, – снова начал кореец, – чего ваша шибко сердися? Моя контрами не хочу... Моя женьшень хочу. Ваша женьшень давай, дыва винтовка давай, ваша Чифу ходи, моя не касайся!..

В зимовье послышался шорох и глухое рычанье. Цзян-Куй ожидал, что Ким именно так и поступит, но он ни на секунду не заколебался. Корень Жизни принадлежал ему. Он заработал его, рискуя собственной шкурой. Корень был его неотъемлемой собственностью, такой же, как ружье, курма, пороховница. Это был настоящий грабеж!.. Нет, он готов скорее десять раз рискнуть жизнью, чем добровольно отдать трусу-корейцу удивительное растение.

Он метнулся к двери, но из бока Ли Фу-ли-ня, пробитого новой пулей, брызнула зловонная жидкость: услышав шорох внутри, кореец сразу же занял свою прежнюю позицию.

Протекло еще шесть мучительных часов. Солнце висело уже над самыми сопками. Кончавшийся день был жарким, сухим. Труп женьшеньщика у двери припахивал сладко и тошнотворно. У его ног густо собрались муравьи. Цзян-Куй хотел было выбросить мертвеца наружу, но вспомнил, что он еще может пригодиться. От жажды горло вспухло и болезненно саднило. Губы трескались. Язык стал большим и, казалось, не помещался во рту.

Он осторожно выглянул в окошко. Кореец сидел на безопасном расстоянии за камнем у берега ручья с винтовкой в руках. Ручеек булькал по голышам под самой фанзой. Цзян-Куй видел, как набухшее, тяжелое солнце высверкивает по струйкам ослепительными зигзагами. Из прибрежных зарослей показалась сплющенная змеиная головка, покачалась в воздухе и потянула за собой в воду серо-металлическую ленту тела. Должно быть, это был тот самый уж, который спал ночью в зимовье. У него, человека, охотника, все внутри пересохло от жажды, а эта гадина могла пить, пока не лопнет, могла даже купаться...

Цзян-Куй заскрежетал зубами. Он тихо выставил конец дула в

окошко и тщательно прицелился в корейца. Пуля взорвала рикошетом фонтан брызг, но пропала, не долетев до цели. Кореец вздрогнул, схватился за винтовку, а потом рассмеялся: ведь это стрелял не Цзян-Куй, это стреляла его жажда!

— Ходя, – насмешливо донеслось по ручью, – ваша мало-мало гуляй... Ваша женьшень давай, моя лян-шуй... Хо-пухо?..

Но Ким боялся приближения ночи. Перед самым закатом он попытался еще раз выгнать Цзян-Куя. Град пуль посыпался на зимовье. Китаец сейчас же лег на спину в свой окопчик и увидел, как на стене появляются одна за другой пулевые пробоины. Пули плющились о свежую насыпь и гудели, как крупные шмели, осыпая Цзян-Куя землей с металлическими занозами. Выпустив десяток обойм, Ким подождал немного, а потом подполз к двери и заглянул внутрь сквозь одну из щелей. В полутьме он увидел, что Цзян-Куй подгребает рукой осыпавшуюся землю к насыпи, и тотчас же отполз назад.

Как только темнота сгустилась, китаец приготовился к вылазке. Он не мог больше терпеть. Бульканье близкого ручья сводило его с ума. Засунув Корень Жизни за пазуху, он отвязал тело Ли Фу-линя. До ближайших кустов было всего шагов шестьдесят, а дальше была вода, холодная прекрасная вода, и сундуки серебряных звенящих даянов...

Цзян-Куй приоткрыл дверь и выставил труп, прячась за косяком. Хитрость удалась. Пять быстрых выстрелов резнули таежную тишину. Они были справа. Пока кореец менял обойму, Цзян-Куй бросился влево, но у самых кустов он точно наткнулся грудью на невидимое бревно, подскочил и кувыркнулся в воздухе. Что-то дважды ударило его в бок, а потом сверху склонилось испуганное скуластое лицо с приклеенной бороденкой. Он почувствовал, как ему расстегнули курму, и умер.

А Ким-кореец достал у него Корень Жизни и, заметив на морщинистой кожице брызги крови, пошел к ручью, чтобы омыть. Но он был корейцем и не знал нужных заклятий против гениев-охранителей дивного корня. Впрочем, может быть, его душа в прежнем воплощении была в животном, и ей надлежало пройти еще одну ступень для своего очищения. Вероятно поэтому, осторожно вытирая корень полой, он и услышал звук, заледенивший кровь в его жилах: над тайгой, мощно сотрясая мрак, прокатился глухой рев с клокочущими переливами, похожий на отдаленный гром, – рев рыжего корейского тигра, властелина и царя тайги.

Ким хотел броситься за трехлинейкой к трупу Цзян-Куя, но его ноги не послушались, скованные древним, наследственным ужасом. Он упал ничком и начал твердить все молитвы к Отцу-Тигру, которые пришли на ум. Низкий рев раздался над зеленым морем еще раз, много ближе. Все таежные шорохи стихли.

Это был старый, крупный, опытный зверь. Стадо кабанов, которое он пас в горах, было съедено до последнего секача еще три дня тому назад. Встретившийся медведь спасся от него на лиственнице. Он был очень голоден. Услышав выстрелы в пади, он остановился, припав к земле. Затем они стихли. Голод и темнота победили страх. Он, крадучись, спустился со скалистой гривы и различил волнующий запах свежей человеческой крови. Маленькие уши, закрытые пучками седых волос, припали к большой треугольной голове, которую сам творец отметил на лбу таинственным иероглифом «Ван», что значит – «князь». Длинный хвост судорожно хлестал полосатые бока. Он уже пробовал теплую кровь человека, врываясь зимою в фанзы дровосеков и новоселов. Он помнил, что человек – легкая добыча.

Ким не смел пошевельнуться, не смел даже вздохнуть. На противоположном берегу ручья ему почудился легкий шелест. Он почувствовал на себе чей-то взгляд. Как под гипнозом, он поднял голову: перед ним, шагах в двадцати, горели рядом во мраке два зеленых крупных пустых изумруда. Ким ахнул, но тяжелое шерстистое тело смяло его с прыжка. В лицо человека пахнуло гнилью из пасти зверя. Удар мощной лапы с молниеносной быстротой перевернул его на спину, и череп раскололся, как орех, между саблевидными клыками. Он не успел даже вскрикнуть.

Убив Кима и пожрав самые лакомые части, тигр ушел к ручью и долго с наслаждением лакал студеную воду. Потом вернулся к остаткам корейца и наткнулся на Корень Жизни, выпавший из рук человека. Он лизнул своим языком с роговыми шипами пропитанную кровью тряпицу и ткнул мордой в женьшень, но корень пахнул землей. Захватив бедро корейца в пасть, тигр медленно ушел в тайгу.

Корень остался на земле, у ручья. Его не тронул зверь, не склевала бы птица. Конечно, он никогда бы не сгнил. Если бы он остался лежать здесь, он бы постепенно ушел в землю, и спал бы там год, может десять, может, – пятьдесят, ибо две пары злых рук оскорбили его прикосновеньями после того, как набожный Ли Фу-Линь вырыл лопаточкой из оленьего рога. И он все-таки пророс бы в конце концов, насыщенный неуемной жизненной силой.

Но он пролежал всего два дня. На заре третьего его нашел Николай Тимофеевич, по прозвищу «Тигровая Смерть», – тот самый Николай Тимофеевич, который с братом Сергеем и подручным Дудуленко ловил иногда в тайге молодых тигрят живьем.

Там молодой царь тайги попадал в телячий вагон, идущий на Владивосток, а во Владивостоке его пересаживали в клетку и за чек в тысячу английских фунтов направляли морем в Гамбург, в зоологический сад господина Гагенбека. Это был выгодный промысел, хотя почти столь же опасный, как и охота на «голубых фазанов». Старая сетка как-то раз

порвалась в самый критический момент, и с той поры левая рука Николая Тимофеевича плохо подымалась в плече.

На этот раз Николай Тимофеевич пошел один на изюбря и напал в тайге на ряд следов, похожих на сердца. Он сейчас же проверил патрон в винтовке и двинулся в том направлении, куда эти сердца суживались. Так он дошел до ручья и заметил среди кустов на том берегу растерзанные внутренности и клочья одежды, над которыми в ярком утренним солнце носились с жужжанием тысячи зелено-бронзовых мух.

Тогда он оставил след, перешел ручей и рядом с остатками человека нашел Корень Жизни, отвергнутый тигром. Подняв женьшень, он повертел его в руках, взвесил и только покачал головой. Глаза его загорелись: это было почти то же самое, что голубой чек господина Гагенбека из Гамбурга.

Тут он заметил зимовье и, пройдя к нему, увидел на пороге Ли Фу-линя, пронизанного пулями, а у кустов – труп Цзян-Куя, лежавшего на спине с раскинутыми руками. В пустом жилище ему бросился в глаза развороченный пол и дырки в стенах. Он еще раз повертел в руках Корень Жизни, сопоставил все виденное и, рассмотрев многочисленные следы, восстановил в общих чертах весь ход событий.

«Где женьшень, там и тигры!..», – припомнилась ему древняя китайская поговорка, и Корень Жизни начал внушать к себе еще большее уважение.

— Ладно, там посмотрим!.. – сказал он громко в ответ на свои мысли, осторожно уложил корень в мох, обернул берестой и, спрятав на дно пейтузы, отправился напрямик через сопки в деревню к брату.

К вечеру он пришел в поселок, но брата не застал. Написав ему записку о своем срочном отъезде во Владивосток, он немедленно двинулся дальше и заночевал уже на заимке приятеля, на берегу залива Петра Великого. На следующий день после обеда, пока лодочник ругался с другими «юли-юли», пробиваясь к берегу среди леса голых мачт, он благополучно выпрыгнул на камни Семеновского базара.

Николай Тимофеевич миновал барахолку, поднялся мимо пахучих торговых рядов по крутой улице и плотно закусил в харчевне под вывеской «Каледония». Потом он прошел по шикарной Светланке, где милицейские и подрумяненные женщины в легком косились на его таежный костюм; побрился, подстригся, завернул налево и еще раз налево и потонул в паутине узких переулков и закоулков.

Белые лица исчезли так же, как и крашеные дома. В коридорчиках из облапленного, почерневшего кирпича с темными подтеками шмыгали и торопились ходи в халатах и синих курмах, расстегнутых на медно-красной груди. Было очень жарко, и от темных ручейков, сохших под подворотнями, подымался такой пронзительный смрад, что Николай Тимофеевич сплюнул и выругался.

Он несколько раз останавливался, соображая, куда теперь повернуть. Дойдя до ворот, по бокам которых, кроме черных дощечек с вязью иероглифов, висела вывеска с безголовым офицерским мундиром прошлого века, он уверенно пересек дворик, обогнул два угла и, пройдя коротким тоннелем, поднялся прямо со двора во второй этаж по сквозной чугунной лестнице. Там торговал лекарственными снадобьями его приятель Тун Зюй-кун.

Тун Зюй-куна он знал давно. Когда не удавалось взять тигра живьем и приходилось пристреливать, Николай Тимофеевич приносил ему усы, кости, сердце, глаза и другие части тела убитого зверя, называть которые не совсем удобно. Все это шло в порошках, мазях и настойках, приготовленных старинными способами, для надобностей китайской медицины. Случалось, что торговец зельями покупал у него и бархатные ветвистые панты оленей, и мелкие корешки женьшеня, случайно найденные во время охоты в лесных дебрях Сихотэ-Алиня. Когда приходила нужда, у Тун Зюй-куна можно было перехватить деньжонок, но немного и под зверский процент: ремесло охотника на живых тигров было делом неверным, и жизнь «Тигровой Смерти» не брались страховать даже крупные страховые общества.

За дверью лавки охотника обдал пряный и сложный дух мускуса, сандалового дерева и всех тех сушеных трав и останков животных, которые были развешаны под потолком и разложены на полках в красных и желтых пакетиках и заклеенных бумагой горшочках.

Хозяин готовил как раз дорогую мазь, куда среди других медикаментов входил мозг змеи, жженые усы тюленя и желчь жабы. Увидав охотника, он вежливо его приветствовал, передал пестик сыну, вытер мокрым полотенцем лицо и руки и пригласил его во внутреннюю комнату. За низким столом красного дерева и произошел разговор, сыгравший крупную роль в судьбе Николая Тимофеевича.

После обычных вежливостей и чашек бледно-зеленого чая, охотник перешел к делу.

— А знаешь, Тун Зюй-кун, что я тебе нынче притащил? – спросил Николай Тимофеевич.

Круглое, тяжелое лицо китайца изобразило улыбку, обнажив три золотых зуба, а про себя он подумал: «Вот белый дурак!.. Разве я дух, чтобы это знать?», – но из вежливости сказал:

— Моя не зынай. Стары панты?

— Ну, вот еще барахло – панты! Выше подымай, ходя! Я женьшень нашел. Да такой, понимаешь, женьшень, какого ты в жизни не видал.

Китаец молчал. Николай Тимофеевич вынул из пейтузы большую коробку из-под ружейных пыжей, поставил ее на полированный, как зеркало, стол, снял крышку и откинулся на стуле, заложив руки в карманы.

Действительно, только дважды за свою долгую жизнь Тун Зюй-кун

видел такие корни. Взглянув на желтоватые морщинистые и как бы сведенные судорогой конечности уродца, он невольно приподнялся, и под круглыми роговыми очками загорелся благоговейный восторг знатока и ценителя. Но он сейчас же потушил его выпуклыми навесами век, и только быстрота, с которой забегали точеные, сухие пальцы, ощупывая и взвешивая корень, выдавала его волнение. Через несколько секунд он успокоился, положил корень обратно в коробку, аккуратно поправил мох и спрятал руки в рукава халата.

— Ну, что скажешь? – гордо спросил охотник.

— Его машинка есь, – невозмутимо ответил китаец.

— То есть как это «машинка»?.. – вскинулся Николай Тимофеевич. – Ты чего, ходя, врешь?..

— Моя, капитана, не выру, – с большим достоинством ответил аптекарь. – Твоя куда ходи ищи?

— Куда ходи? Мая в тайгу ходи!..

— Его машинка есь! – покачал головой китаец. – Его игаян меликански. Меликанси люди сюда ходи, шибко много женьшень вози. Китайски люди смотли – пу-хо!..

— Да чего ты, ходя, ерунду порешь! – обозлился Николай Тимофеевич. – Какие там американцы?.. Говорю тебе: я его сам, сам в тайге нашел. Понял? Тигр вапанцуя задрал, я на нем и взял!..

— Пу-хо... – снова покачал головой Тун Зюй-кун. – Шанго женьшень, моя ига фунта – пятьсот иен плати, только давай! Меликански женьшень – пятынадцать иен плати – не хочу...

— Ты опять за свое!.. Твоя играй-играй не надо: прямо говори, сколько даешь!..

Китаец еще раз взвесил корень.

— Тебе чего хочу?

— Ну тысяч... тысяч семь, по крайней мере! Ведь ты-то его, негодяй, как пить дать за десять продашь!

— Моя два сто иен давай. Ваша хочу бели, не хочу – не надо. Моя никак не могу...

Николай Тимофеевич спорил и торговался с китайцем битый час. Он приблизительно знал цену корням и чувствовал всем своим существом, что аптекарь врет, что его женьшень должен стоить по крайней мере несколько тысяч. Но Тун Зюй-кун упорно доказывал ему, что это, вероятно, культивированный женьшень, вроде выращенного в Калифорнии американцами из привезенных китайских семян, в котором китайские доктора не признавали целебной силы. Эти корни шли в Китае за гроши, тогда как за фунт дикого, пусть даже мелкого женьшеня, аптекари платили от пятисот иен и выше.

Николай Тимофеевич клялся, божился, ругался, но китаеза накинул всего сотню на названную цену.

«Ладно, – подумал охотник. – Сегодня все равно слишком поздно. Завтра обязательно обойду всех крупных скупщиков. А если и они заупрямятся – сам повезу корень в Пекин...».

Он встал.

— Ну, ходя, довольно дурака валять! В последний раз тебя спрашиваю: сколько даешь?

— Моя говоли: тли сто иен.

— Не дело говоришь!

— Моя больсе не могу!.. Ваша хочу – бели, не хочу – не надо...

— Ладно, я мало-мало подумаю: завтра, может, опять зайду...

Охотник хлопнул дверью и прогремел вниз по чугунной лестнице.

«Врет подлец! Не может быть, чтобы такой корень стоил всего триста иен!..», – обескуражено думал он.

Вряд ли бы он сомневался в этом, если бы мог слышать разговор, произошедший в лавке, едва за ним затворилась дверь. Неподвижный торговец зельями как бы переродился. Его мясистое лицо задергалось от нетерпения, и голос срывался, когда он быстрым шепотом отдавал приказания сыну и маленькому внуку. Те посмотрели на него с крайним удивлением, но ничего не возразили из сыновней почтительности.

— Все поняли? – спросил он. – Так ступайте и лучше без него не возвращайтесь!..

Даже когда оба исчезли, Тун Зюй-кун долго не мог возвратить себе почтенного равновесия духа.

«Как дался в руки белого дьявола священный Корень? Как допустил это гений-охранитель?», – думал старик, следя, как вздувается на кончике иглы над лампочкой коричневая слеза опиума. И только окутавшая его пелена тяжелого сладкого дыма, выливавшаяся из массивной трубки, несколько успокоила возбуждение.

Николай Тимофеевич тоже чувствовал себя тревожно.

«В чем тут дело?.. Какого черта жмется Тун Зюй-кун? Никогда с ним этого не бывало... А еще приятель!..», – размышлял охотник, спускаясь по булыжной, выщербленной Алеутской.

Там, на тротуарах, китайцы уже зажигали рядом со своими лотками, прямо на земле, тысячи фонариков, как в России, когда святят пасхи. Из-под больших зонтов дышали разложенные цветистыми горками тропические фрукты, убивая своим ароматом китайскую вонь. В ресторанчиках с цветными стеклами громыхал гонг, напрягая звук, и визжали дудки и однострунные скрипицы. Охотнику сделалось тошно от всех этих чуждых запахов и звуков, его потянуло туда, где были белые люди, а не эти скользкие черные фигуры, от которых так явственно пахло смертью.

Выйдя на Светланку, он невольно оглянулся вправо: там вверху и

между геометрическими утесами домов еще пылала яростно заревая щель, раздавленная плоскими чернильными тучами. Но из Гнилого Угла уже тянул через залив навстречу толпе морозистый туман, наполнив бухту переливался через парапеты Невельского сада и несся к закату по улице отдельными волокнами, не расплывающимися в воздухе и не теряющими формы.

Мостовая быстро почернела сыростью, толпа в белом передернула плечами после дневного зноя и поредела. Николай Тимофеевич прошелся все-таки до собора и встретил на углу приятеля, который потащил его ужинать в «Золотой Рог».

Николай Тимофеевич твердо помнил, что ему нельзя пить водку до тех пор, пока он не разделается с Корнем Жизни, но к их столику подсела знакомая шансонетка, и он разрешил себе маленький графинчик жгучей и терпкой влаги.

И этим самым, имея при себе Корень Жизни, он сделал, несомненно, столь же крупную ошибку, какую делал до него и Ли Фу-линь, и Цзян-Куй, и кореец Ким. В тайге он отвык от водки и захмелел теперь уже после первых рюмок. Впрочем, тут была виновата не одна водка, а яркий свет, народ, музыка, и главное – близость женщины.

Он разошелся, заказал своей даме какой-то удивительный пунш, горевший синими языками, и даже попробовал было дирижировать оркестром на эстраде. К одиннадцати с половиной он мирно заснул, положив локти на скатерть. Приятель соображал еще вполне ясно и никак не мог придумать, куда бы сплавить на ночь «Тигровую Смерть», ибо по случаю очередной смены правительства новая власть реквизировала все номера в гостиницах и меблирашках.

Приходя минутами в себя, Николай Тимофеевич все порывался ехать к куме, на Чуркин мыс, но шансонетка была женщина добрая и предложила приятелю увезти охотника к себе, в номера «Боровикс». Николай Тимофеевич не без труда спустился по зеленой лестнице ресторана в уличный туман и погрузился вместе с женщиной на дребезжащего извозчика. У самой двери к нему пристали два китайский нищих – взрослый и мальчонка.

«Рожи как будто знакомые... Где же это я их видел?..», – промелькнуло у Николая Тимофеевича, но водка, как известно, отнюдь не способствует ни упорству, ни ясности мысли.

Извозчик хлестнул сначала по коням, потом по ходям, и припустился вскачь через Тигровую сопку по немощеной улочке, глубоко вынутой в горе. Миновав перевал, они остановились у одинокого дома, стоявшего на взгорье.

Шансонетка занимала крохотную комнатку в первом этаже, насквозь пропахшую одеколоном, дешевой пудрой и керосином и упиравшуюся

окнами прямо в склон соседней сопки. Как он очутился в постели, Николай Тимофеевич сознавал неотчетливо. Он только все беспокоился о своем женьшене и, вынув его из коробки, заботливо уложил под подушку.

«Ну, совсем дошел пассажир!», – решила шансонетка, и как только гость захрапел, взяла двумя пальцами из-под подушки дивный Корень Жизни и швырнула его на пол. Она ведь ничего не понимала в китайской медицине.

Так через час приблизительно женщина проснулась от какого-то шороха и приподнялась на кровати. На ночь она всегда запирала окна, а теперь одна рама была приотворена. Она чувствовала на груди струю сырого ночного ветерка. Неяркий лунный свет ложился косым четырехугольником на крашеный пол, пройдя над ситцевой занавеской. И вот там-то, в снопе бледного света, она и заметила сверточек гостя, который она бросила так пренебрежительно. Покачиваясь в воздухе, сверточек плыл прямо к окну. Женщина соскочила на пол и сейчас же ахнула, наткнувшись лбом на конец длинного бамбукового удилища.

Все последующее произошло чрезвычайно быстро. Окно сразу же распахнулось настежь, она ощутила на голых плечах прикосновение шнурка, и петля, затянувшись на шее, точно оторвала ей голову с молниеносной болью. Она рванулась, захрипела и осела на пол, потеряв сознание.

Николай Тимофеевич проснулся от шума, но раньше, чем он что-либо сообразил, тяжелый удар в висок оглушил охотника, а затем подушка накрыла лицо и на ноги опустилась мягкая тяжесть человека. В борьбе за жизнь он выпростал руки из-под одеяла, схватился за что-то и рванул. Треск рвущегося шелка был последним ощущением задыхавшегося человека. Соседи заворочались и выругались за стеной, но разве в «Боровиксе» хоть одна ночь обходилась без скандалов?

А на другой день на третьей странице «Вечерней газеты» стоял во весь лист жирный аншлаг: «Драма в номерах «Боровикс». Зверски задушены каскадная певица М. и охотник П. – Наш сотрудник у начальника уголовного розыска. Опять хунхузы!»

А так через неделю тот, кто знает китайский язык, мог бы прочесть тоже на третьей странице, но китайской газеты «Последние новости», скромное объявление в уголке, которым господин Тун Зюй-кун, торговец лекарствами, извещал своих почтенных покупателей, что он продал свое дело в Хай Шэнь-Вее господину Ли Кинь-хи и отправляется на родину в провинцию Шань-си, чтобы провести остаток дней рядом с могилами своих предков.

Но читатели китайских «Последних новостей» не читают «Вечерней газеты», а читатели этой газеты не читают «Последних новостей». Да кроме того, если бы даже у обеих газет и нашлись общие читатели, то кому пришло бы в голову сопоставлять два столь различных сообщения?

Вот почему, брезгливо роясь на отходящем на юг пароходе в пахучих сундучках Тун Зюй-куна, таможенник нашел большую красную коробку, где под стеклом на слое ваты лежал точно бело-янтарная одутловатая кукла, вываренный в сахарной воде и очищенный от верхней морщинистой кожи громадный полупрозрачный женьшень.

Но пошлина на Корень Жизни не была предусмотрена русскими таможенными тарифами, к вывозу он не был воспрещен, и чиновник, повертев в руках, положил его обратно на ватку.

— Ну и здоровый же у тебя женьшень, ходя! – сказал таможенник одобрительно и не без зависти: он понимал кое-что в китайской медицине.

Тун Зюй-кун вежливо улыбнулся своим мясистым тяжелым лицом и, медленно наклонившись, запер сундучок.

1924 г.

Впервые опубликовано: Дымный след. Сан-Франциско. 1925.
Печатается по: Рубеж. 2005. № 5. С. 102-110.

ШАНХАЙСКИЕ НАБРОСКИ

1. Каллиграф

Он не часто приходит в нашу контору. Всегда одинаковый:

старый,

вежливый,

неторопливый.

Меняется только халат на его иссушенном опиумом и годами теле. Зимою – черен и тяжел; летом – бел и легок.

Должно быть, он очень стар. Говорят – лучший художник-каллиграф в Шанхае. Каких больше не будет.

И под треск ремингтоновских девиц с голыми по плечи руками, под нервный звон телефонов, лай автомобилей,

старый,

вежливый,

неторопливый,

он проходит и садится к своему столику.

Тщательно растирает на плоском камне палочку лучшей туши. Снимает серебряные футляры со своих острых кистей.

Правая рука его почти атрофировалась и высохла: похожа на ручку ребенка. Она вывернута вправо – ведь кисть нужно держать совсем отвесно, тремя пальцами. Пальцы тонки, как лапки паука. Способны лишь водить кистью.

Он писал всю жизнь. Медленно закреплялись в его мозгу десятки,

сотни, тысячи рисунков слов. Он помнит их по крайней мере двадцать-тридцать тысяч.

На шелковистой рисовой бумаге они выстраиваются изощренными столбцами, легкие и четкие, с неумолимой точностью. Точностью математической: тонкая, полупрозрачная бумага не допускает поправок. И писанные им желтоватые договоры, иски и приговоры похожи на кабалистические пергаменты.

Но это для тела. Для души – другое.

По временам, низко кланяясь, ему приносят длинные – достанут до потолка – красные и золотые настенные свитки, обрамленные штофной радужной каймой.

Он улыбается. Поправляет роговые очки. Откидывает просторные рукава.

И на золото бумаги выползают из-под верной кисти черные переплетенные червяки, вскормленные тысячелетиями: то мысли великих философов, то поэмы прекрасных поэтов прошлого. Пища уму; радость для глаза. Трещат машинки под голыми по плечи руками…

Таких больше не будет:
старый,
вежливый,
неторопливый.

2. Нищие

Господин К. рассказывал:

— Мне пришлось повидать весь южный Китай. Где пешком, где на одноколесной тачке, где в паланкине и кое-где на автомобиле. В провинции вся деревня высыпает к машине на остановках.

Вы, конечно, знаете китайских нищих. Трудно выдумать что-нибудь более отвратительное. Особенно на юге, где рисовые болотины, как английский кекс изюмом, начинены мертвецами. Запах болота, тления, запах смерти. Целые поселки заражены накожными болезнями, которых еще не знает как следует европейская медицина. Кожа то высыхает и превращается в роговую чешую, то покрывается сплошь шишками опухолей в куриное яйцо. Сплошь, все тело! Точно спина местной камбалы...

Когда эти голые чудовища в одних широкополых шляпах хватались за спицы машины, мне казалось, что они способны заразить даже каучук автомобильных шин.

Я бросал им копера и «кэши» – крохотные монетки с квадратной дырочкой, десятая часть копейки. Некоторым я давал больше и слушал, что скажут другие. Они не стеснялись в выражениях: ведь девяносто пять процентов местных европейцев не знают китайского.

В одной из деревень среди нищих я заметил старуху. Она была

особенно отвратительна: лысая, тощая, с провалившимся носом и гнойными глазами.

На омерзительном теле в почерневших язвах – один микроскопический передник. Я кинул ей впятеро больше медяков, чем остальным. Вся свора с проклятиями набросилась на ведьму. Она упала на монеты и с отчаянным визгом подгребала их под себя. Тогда один из нищих крикнул дословно:

— Легче, товарищи! Кажется, я понял иностранца: его зрение оскорбила нагота этой почтенной госпожи.

3. Хрустальный шар

Мосье Ли – это адвокат нашей конторы – купил себе большой шар из горного хрусталя. Величиной в крупное яблоко, он красуется на хрупкой резной подставке из черного дерева на письменном столе, заваленном исками, папками и повестками с красными печатями Французского Смешанного Суда.

— Сколько заплатили, мосье Ли?

Адвокат поднял ко мне большие очки, опиравшиеся на желтоватые подушечки одутловатых щек.

— Сто двадцать... Правда, недорого?

— Долларов?..

— Нет, таэлей[13]!

Мои брови поднялись от удивления: это было больше, чем я зарабатывал в месяц.

Откинув рукава халата из тяжелого лилового шелка, адвокат протянул свою маленькую точеную кисть и бережно взял прозрачный шар, мягко заигравший радужными переливами.

— Посмотрите: ну, разве он не прекрасен? – начал китаец. – Какая изумительная форма, как безупречно чист тот горный хрусталь, из которого он сделан. Ни одной трещинки! А сколько любовного труда, сколько высшего мастерства вложено в его великолепную шлифовку! Я уверен, что на эту работу пошли целые годы. Нет, я положительно считаю, что это очень выгодная покупка...

Он с каким-то особенным сладострастием взвешивал, поворачивал, ощупывал, сжимал своими пальцами с отпущенным ногтем на мизинце прозрачный камень, точно усиливая и дополняя осязанием зрительное наслаждение.

И совершенно так же он поступает с каждой статуэткой, вазой или каким-нибудь флакончиком для нюхательного порошка, которые ему приносят продавцы «Кюрио». Правда, как знаток, он их очень часто

[13] Таэль – (лян серебра) равнялся 1.4 мексиканского доллара. В то время американский золотой доллар стоил 2 мексиканских.

бракует, но красота этих вещиц – иногда, действительно, совершенная – заключается для него не только в форме и окраске слоновой кости, металла, камня или фарфора, но в самой их фактуре, в самом веществе, из которого их создала фантазия мастера-художника.

К разговорам о «фактуре» картины не так давно пришла западная живопись; к рассуждениям о важности «фактуры» слова – наши современные поэты. А Китай почувствовал ее значение уже давно, создав еще в древности самую изумительную из фактур – золотой лак, чтобы одеть его матовым блеском статуи своих богов...

Впрочем, этот разговор завел бы нас слишком далеко.

4. Вывески

Европейцы – громадное большинство их, по крайней мере, – ходят по китайским улицам не только как глухонемые, но и как слепые. То есть они видят, но не понимают. А между тем даже простые вывески, повешенные сверху и по бокам входов в глубокие темные лавки – все эти черные, золотые и красные массивные доски – хранят иногда в своих перевитых значках настоящие Бедекеры для путешествия в самую гущу китайского быта.

Обычно над входом лавки висит главная вывеска, по бокам – пояснения или рекламы продаваемым товарам.

Вот несколько характерных надписей, объясненных мне в Пекине и Шанхае.

«Дом Превосходного Аромата» – доставляет «музыкальные пиры с вином для манчжурских и китайских гостей».

«Таверна Пьяной Луны» – имеет для продажи «мясо черных кошек, излюбленное лакомство кантонцев».

«Сад Вечной Весны» – предлагает покупателям «вино и уксус для рождения детей, лучшее, душистое зерно, все виды сушеных овощей».

«Мир в Морях» – продает «все сорта лучшего риса для семейного употребления».

«Храм Счастливой Середины» – где «подается полуденный чай и приготовляются искусно следующие лекарства: порошки для детей, пилюли «Белого Феникса» для женщин, глазная примочка из восьми драгоценных продуктов; укрепляющие и гармонизирующие пилюли и другие средства против соблазнительных последствий курения опиума».

«Облако Радости» – это лавка часовщика.

«Небесная Вышивка» – лавка угольщика.

«Драгоценная и Благожелательная» – лавка печника.

«Счастливый Союз всех Добродетелей» – аптека.

«Лавка Огнив Рябого Вана».

И наконец:

«Кристаллизованное Процветание» – контора гробовщика.

Ну разве это не целые поэмы в двух-трех словах?..

5. «Чэ»

Весь быт Китая переплетен с иероглифом «Чэ» – еда. Квадрат – символическое изображение рта – стоит его корневым знаком.

Еда, самый ее процесс, играет в китайской жизни огромную роль. Магическое слово «чэ-вэ» (или «чи-фан» на Севере) прерывает самую срочную работу, способно остановить самый жестокий бой между армиями враждующих генералов.

На еду Китай тратит массу времени, едят везде. На самой паршивой улочке вы непременно найдете харчевню, пропахшую прогорклым бобовым маслом, или ресторанчик с каким-нибудь цветистым названием, не говоря уже о бесчисленных уличных разносчиках пищи.

Едят всегда. В три-четыре часа утра по смрадным лабиринтам переулков в миллионных городах все еще мягко шаркают туфлями бродячие ресторанчики, и в ночной тиши высоко и заливисто вибрирует каменная пластинка или бряцают связки медных обрезков, которыми они возвещают о своем приближении. На плечах, на бамбуковом коромысле, упруго колеблется походная резная кухонька с непотухающим камельком, над которым брызжет из котелка темное кипящее сало.

Поэтому мелкий городской люд часто не готовит дома: зачем это, когда пар над котлами закопченных харчевок всех разрядов почти круглые сутки непрерывно восходит к небу? Поесть в ресторанчике без всяких хлопот и проще, и стоит почти столько же. Это в повседневном, будничном обиходе. Но каждое событие в личной или семейной жизни, каждый из редких праздников обязательно отмечается пиром, на который даже бедняк не пожалеет последнего гроша. Именно пиром, а не выпивкой, как у нас, ведь, в общем, Китай пьет сравнительно очень мало своего желтого пахучего рисового вина, и увидеть пьяного китайца – исключение. Весь центр тяжести перенесен на «чэ-вэ».

— Толстый человек – хороший человек, – говорит китаец.

Если что-нибудь болит внутри, значит желудок не в порядке. Говоря о мыслях, вместо головы простонародье указывает на чрево.

В парадном китайском обеде, даже средней руки, бывает не меньше 15-20 блюд, плюс к этому, разумеется, неизменный рис, который подается в самом конце и в счет не входит. Длится такой обед немало часов.

Вот, например, меню свадебного обеда, которым меня угостили в доме молодого м-ра Цана, моего приятеля и сослуживца. Началось с орешков, сластей, тыквенных семян и корней лотоса, вместе с подсолнухами, – для препровождения времени.

Затем шли (порядок сохранен):

1) Разварная треска.
2) Соленая лососина с хреном.
3) Копченая «лакированная» пекинская утка, кусочки которой завертывались в вареные на пару блинчики, сдобренные острым соусом.
4) Свежая жареная рыба под кисло-сладким соусом.
5) Оладьи.
6) Сладкий суп-компот из черешен (горячий).
7) Свежая рыба с грибами.
8) Яйца с картофелем.
9) Суп из плавников акулы.
10) Поджаренные макароны с креветками.
11) Пельмени из курицы.
12) Сладкий рис с изюмом.
13) Ветчина, нарезанная тонкими ломтиками.
14) Свежая жареная «желтая» рыба.
15) Тонко наструганная жареная курица.
16) Соленая утка.
17) Моченая белая вишня.
18) Заливное из куриных сердец.
19) Разваренная жирная свинина.
20) Жареные куриные потроха.

Все это подавалось на круглый лакированный стол в фарфоровых чашках и блюдах целыми сериями по 3-4 кушанья зараз, и каждый гость залезал в них своими двумя палочками. Только рис, белоснежный и крупный, каждый накладывал по отдельности в свою чашечку.

Жених, по обычаю, отсутствовал – оставался с невестой, принимая поздравления, а приглашенных угощал его отец. Он доставал из блюд собственными палочками самые лакомые куски и протягивал почетным гостям. Мне особенно понравился суп из акульих плавников, которые напоминают нашу вязигу, и я спросил, как он приготовляется.

— О, – ответил, улыбаясь м-р Цан-отец, – это довольно сложное дело! Прежде всего положите купленные акульи плавники в горшок, прибавьте немного древесной золы и прокипятите несколько раз. Затем тщательно снимите верхнюю кожуру. Если она трудно отделяется – необходимо вскипятить еще раз и тогда уже чистить. Потом снова проварите уже очищенные плавники, снимите все мясо и оставьте только самые хрящики, из которых состоят плавники. Проварите очищенные хрящики еще раз и оставьте мокнуть в ключевой воде, чтобы отбить известковый привкус. Затем положите плавники в крепкий куриный бульон и прокипятите несколько раз – до тех пор, пока они не станут мягкими и нежными. Ну, приправьте суп раковыми шейками, очень хорошо также посыпать немного струганой ветчиной, – это придаст остроту, – и тогда можно подавать на стол...

Я любовался м-ром Цаном-отцом, пока он рассказывал, помогая обильным и законченным жестом словам чужого языка. Он совсем преобразился. Видно было, что это – подлинный гастроном. Как китайский художник заботливо выписывает каждый волосок на шкуре какого-нибудь свирепейшего тигра, так и он тщательно отмечал и переживал в душе каждый этап сложного кулинарного процесса. В заключение, он ловко подхватил палочками целую косму янтарных волокон из разваренных плавников и вежливо поднес их к моему рту.

Честное слово, – они были очень вкусны!..

6. Поэма огня

«Хон Мяо» – значит «Радужная Кумирня». Она находится в самом торговом центре Шанхая, на Нанкин роуд, неподалеку от громадных универсальных магазинов Винг. Она и Сен-Сира. Китайцы говорят, что ей 700 лет. Значит, она стояла уже тогда, когда Кублай Хан, завоевав Хан-Балык, теперешний Пекин, правил им и одновременно – Москвой. Шанхай был в те времена ничтожной рыбачьей деревушкой.

Идти в Хон Мяо надо в ночь на китайский Новый год и после полуночи, не раньше.

Сначала мы ничего не видели. Из-под дождя, от улицы хавкаста, от безвкусной помеси Китая с наглой американской рекламой, мы шагнули в квадратную темную пасть, в глубокий и низкий туннель без всяких украшений, открывшийся между двумя совсем обычными лавками.

И пройдя десяток шагов, мы стали на несколько тысячелетий моложе – или старше, почем знать? Мы спустились к самым недрам Праматери Азии, к самым ее истокам. Нас объял ее темный желтый огонь.

Так должно было быть в ночь творения, когда Слово носилось над кипящей и неустроенной Землей. Из расплавленной магмы камней и металлов вздувались гигантские пузыри и лопались, оставляя морщины, застывшие позже первозданными горами. И трепаные языки – легкие горючие языки пламени – носились в дымной влажности, отдуваемые вращением земного шара, метались в раскаленной радости огня.

Вы, живущие мертвым светом Эдисона, запаянным в стеклянных шариках, –посмотрите, порадуйтесь хоть раз в году на живой желтый огонь Матери-Азии!..

Сначала мы ничего не различали.

Только дым и огонь, несущиеся во всех направлениях... Напористо течет толпа, пробиваясь обтянутыми в шелк плечами, не снимая черных граненых шапочек. Все движется, но шума нет, как нет и благоговейной тишины храма. Только потрескивание огня, шарканье ног и смутный гул голосов.

Так, вероятно, было в капище финикийского Молоха или мексиканского Кветцалькоагля. И если б здесь, как и там, принесли бы человеческую жертву – это несколько бы не удивило. Но здесь была только жертва огнем.

Закрыв лица платками, задыхаясь от благовонного дыма, мы вступили в маленький дворик. Он без крыши, но воздуха нет: дым не успевает уходить к небу.

Мы окунулись в сплошной сизоватый туман. И в нем во всех направлениях над головами черной напирающей толпы порхали, носились, метались пучки красных курительных палочек, треща и рассыпая искры. Дым в одну сторону, пламя в другую... То умрет, то вынесет из тьмы зеркально-черную прилизанную прическу с золотом и яшмой шпилек, с венчиком бело-восковых душистых цветов вокруг крутого шиньона. Пламя в одну сторону, дым в другую…

Ажурный, в сажень, каменный фонарь преграждает выход из туннеля. Из его нутра бьет желтое жертвенное пламя; это – щит против злых духов. Впереди – широкая чаша из камня, куда, в огонь, непрерывно летят гроздья посеребренных бумажных «денег». Бросивший поспешно отшатывается назад от взметнувшегося языка, а косматый клубок огня, разматываясь в каменной чаше, пышет вверх тонким лезвием, достает до самых закопченных стропил, до самого края задранной черепичной крыши, – высокий, яркий и легкий.

Что горит – не видно; будто сам камень горит.

Наверху, между большими незажженными фонарями, между толстыми спиралями курительных свечей, подвешенных где-то во мраке, с трудом находишь кусочек неба. Оттуда сеется мелкий зимне-шанхайский дождик, но разве в силах он справиться с огнем, в который воплотилась сегодня древняя вера китайской женщины!

Потому что сегодня, в ночь на Новый год, в этот семисотлетний храмик, посвященный Гуань Инь, Богине Милосердия, идут женщины Шанхая, богатые и бедные, честные и проститутки, чтобы молить у божества удачи в делах, детей или легких родов.

Божество сидит в глубине, в нише, прямо против входа-туннеля. Оно закрыто нависшими красными пологами, заслонено двойным забором из горящих толстых красных свечей. Перед ним то и дело на красный шелк низкой скамейки падают на колени женщины, молодые и старухи, и делают «большое котоу», бросив в гулкий ящик горсть медяков или серебрушек.

Вправо, за грубыми колоннами, – маленький придел. Туда идут женщины, чтобы молиться черноликому Отроку, Выводящему Коня, который помогает ребенку покинуть материнское чрево.

Еще дальше – другой, больший придел. Там, по стенам, в два яруса, сидит на невысоком алтаре-прилавке целый сонм даосских и буддийских божеств и мудрецов. Их множество, разных рангов и достоинств, но у каждого свое лицо, своя поза, а в руках – свои характерные атрибуты.

Боги или золотые, или ярко раскрашены. Повороты и жесты, выражения ликов полны удивительной экспрессии. Но сейчас некогда разбираться в этом азиатском Олимпе, невозможно, толпа напирает и грозит разорвать цепочку, которую мы образовали, взявшись за руки. В желтых огнях парных – всегда парных – красных свечей, в дыме сандала колеблются, улыбаясь или гримасничая, фигуры божеств.

И все-таки глаз отмечает: вот старый Лао-е, бог-акушер; вот богиня Оспы с цветком в руке, которую так и зовут «Хуа» – «цветок», чтобы задобрить, чтобы не посетила.

Вот тысячерукая Цянь-Шоу-Гуань-Инь с глазами на каждой из тысячи ладоней. Когда ее отец-князь был при смерти, она позволила выколоть себе глаза и отрубить обе руки, чтобы из них приготовили открытое ей богами во сне лекарство. Отец после его приема выздоровел, а боги вознаградили почтительную дочь в пятьсот раз, дав ей тысячу рук за дочернюю любовь...

Вот бог, у которого из глазниц тянутся вперед две тонкие ручки, и опять на их ладонях глаза.

Спутник пытается объяснить:

— Это бог правосудия: все видит, и руки длинные, везде достанет...

Может быть, не знаю... Толпа несет все дальше, захватив нас течением. Потолок тонет в дыму и копоти, той особенной бархатной копоти, которая неразлучна с каждым старым китайским храмом. Весь придел – как дымная пещера...

Черный живой водоворот снова вынес нас на дворик, тянет к выходу, мимо каменной чаши, перед которой пылает теперь уже прямо на плитах пола новый костер из вывалившихся через край горящих бумажных гроздий... От него жарко, толпа жмется в сторону, пахучий дым больно ест глаза... По стенам, фонарям, благодарственным таблицам, по черным шелкам толпы скачут, мечутся зловещие желто-оранжевые блики, освящая снизу скуластые лица толпы.

Пора, но не хочется уходить. Хочется глубже, резче ухватить памятью этот дымный гимн огня.

Уже в конце туннеля, у выхода, оборачиваемся в последний раз: в квадрате черной рубленой рамы, разрезанном посередине силуэтом фонаря, безумствует желтый огонь. Сзади, в струях горячего, нагретого огнем воздуха, точно ряд органных труб, колышутся на главном алтаре горящие красные свечи...

Так и останется: черный камень, красные свечи и желтый, желтый огонь!

1924-1930 гг.

Опубликовано: Балтийский альманах. 1924. № 2. С. 47-49 (очерки «Каллиграф», «Нищие», Муравьи, Хав-Касты); Слово. 1930. 7 января. С. 6 (очерки «Нищие», «Муравьи», «Вывески», «Бабочка»);. Слово. 1930. 16 марта. С. 14 (очерки «Шар», «Чо»).

Печатается по: Рубеж. 2005. № 5. С. 128-133.

ЧЕРНАЯ СЕРИЯ
(В сокращении)

От автора:

Канвой настоящей повести послужила копия с официального акта, хранящегося в архивах Американского Губернаторства на о-ве Гуам (Марианские острова), а также рассказ одного из участников плавания.

1. Закрутило

Некоторые находят, что человеческой жизнью, так же как и жаждой азартной игры, управляет не провидение, не случай, а странный, почти неосязаемый закон счастливых и несчастных серий.

Мне лично кажется, что думающие так глубоко правы. Когда вам повезло, когда у вас пошла «красная серия» – она несет вас, как поток в половодье, и не покинет ни в коем закоулке жизни.

Если вы садитесь за зеленый стол – смело тяните тогда к восьмерке: все равно купите или туза, или «жир». Если вы заняты делами – решайтесь на самые невероятные, самые рискованные комбинации: они все пройдут как по маслу! И то же будет и в любви, и в карьере, и в семейной жизни – во всем, ну решительно во всем, что вас так или иначе касается.

Но уж зато, если пошла «черная серия», не помогут никакие восьмерки: у вашего противника как раз в нужный момент, точно из обшлага, появляется девятка.

Вы никак не можете попасть в такт, в ногу с жизнью. Самые верные дела срываются одно за другим. Женщины начинают изменять, друзей убивают. Вы всюду опаздываете, никого не можете застать дома, трамваи регулярно уходят из-под самого вашего носа. И так до мелочей, до курьезов, до того, что, когда вы бросаете китайцу-меняле ваш последний доллар, – он, звякнув монетой о стертый прилавок, говорит:

— No goodee[14], – и пренахально отворачивается к следующему клиенту.

[14] Нехороший, фальшивый.

Опытные игроки советуют сейчас же встать из-за стола, как только вас начинают бить одним очком. К сожалению, этот совет гораздо труднее исполнить в жизни, чем за картами. И что бы вы ни предпринимали, как бы вы ни изворачивались – черная серия будет преследовать вас до тех самых пор, пока она сама не захочет окончиться и смениться «красной». Иногда это длится час, иногда – годы.

Вы, может быть, подумали, что это пустое суеверие?

А скажите, пожалуйста, почему же тогда старый игрок в рулетку, в противоположность новичку, охотней бросает свой луидор именно на тот цвет, который только что вышел?

Но я не собираюсь спорить. В моей жизни я слишком часто испытывал на себе самом неумолимую власть ЗАКОНА СЕРИЙ, чтобы в них сомневаться. Однако нигде я не мог проследить ее с такой четкостью и определенностью, как в жизни Никиты Анисимовича Порейчука.

У него черная серия началась ровно в половине шестого утра пятого апреля 1920 года. И все мало-мальски важное, что бы он ни предпринял в течение следующих затем трех лет, было заранее и фатально обречено на полный провал.

Началось это с летающего солдата. Да разве у Никиты Анисимовича было хоть в мыслях угробить японца? Он летит в Хабаровск, а садится во Владивостоке. Он нанимается мотористом на Камчатку, а шхуну сносит к экватору. Кое-как добравшись оттуда до Филиппин, он пристраивается к американцам в автомобильный парк. И что же? Через месяц парк расформирован!

Тогда он пробует торговать. Сначала дела будто налаживаются. Но не тут-то было! Черная серия еще не кончилась: его компаньон едет в Японию и гибнет со всеми компанейскими деньгами в Иокогамском землетрясении. И уж только после этого цвет серии неожиданно и резко меняется.

Но я прошу прощения. Я увлекся и страшно забежал вперед.

Итак, я сказал, что черная серия началась у Никиты Анисимовича весной двадцатого года. До этого момента в его жизни было, пожалуй, не больше приключений, чем в жизни каждого порядочного летчика. Полетав над галицинскими полями до тех самых пор, пока товарищи-механики не начали подпиливать стойки у аэропланов, а товарищи-рабочие – подсыпать в моторы гвоздики и другие мелкие предметы, Никита Анисимович скрывается из моего поля зрения года на три. Выплывает он уже в городишке Спасске, неподалеку от Владивостока, занятый на аэродроме авиашколы починкой какого-то допотопного «фармана». Тут-то и захватывает его черная серия.

Конечно, это могло быть простым совпадением, но именно той же весной красные партизаны вырезали весь Николаевск-на-Амуре вместе с оккупационным японским гарнизоном.

Японцы обозлились, срочно водрузили над Владивостоком свой алый диск на белом фоне, а в ночь на пятое апреля открыли на улицах отчаянную пулеметную пальбу. В самом Владивостоке под боком у консульского корпуса все дело обошлось одной горничной и полудюжиной зазевавшихся политкомов, которых японское командование своевременно отправило в Мрак Трех Дорог. В Спасске же, где летал Никита Анисимович и где отродясь никаких консулов не видали, потомки самураев развернулись гораздо основательнее.

Необходимо отметить, что летчик к этому времени обзавелся дамой сердца. За Дусей, муж которой пропал где-то на фронте, он ухаживал уже с месяц, и теперь все у них шло по-хорошему.

Как раз четвертого апреля, поздно вечером, Никита Анисимович сидел в ее комнате с геранью и бальзамином на чистеньких подоконниках и нежно гладил Дусю по плечу. Дуся вышивала крестиками. На вязаной колечками белой настольной дорожке пищал, потухая, самовар. Большая лампа «молния» слабо шипела под розовым колпаком, светила и грела уютно. В комнате пахло Дусиной пудрой и еще чем-то хорошим.

«Нет, женюсь!.. Ей-богу, женюсь!.. – думал летчик, чувствуя ладонью сквозь бумазейку Дусину теплоту. – Вот как достану денег, так и женюсь... Какая она вся... тепленькая!».

За окном, за бальзаминами, яростно задувал вешний ветер, бросаясь в чисто протертые стекла. Снаружи грохнуло ставней. Канарейка проснулась и коротко чирикнула. Никита Анисимович вспомнил о своей казенной нетопленой комнате и весь передернулся.

— Чего это вы? – подняла Дуся вздернутый носик от крестиков.

— А вон, слышишь, ветрила какой!.. Точно мотор: у-у-у!.. Так и шпилит!..

— Ну и слава Богу!.. Значит, завтра полетов не будет, а то еще... Ну, ладно!.. – смутилась Дуся и, заглянув искоса в зеркало, поддернула кофточку на плече.

— Что, что?.. Нет уж, если начала – договаривай!.. – он обнял ее покрепче.

— Да, вот, – прижалась Дуся теплым плечиком, – как начнут у вас поутру машины заводить, так у меня сердце и екает. Царица небесная, думаю, неужто и этот угробится?! <…>

Летчик наклонился к ней и что-то шепнул.

— Еще чего выдумали! – зарозовелась Дуся и оттолкнула его обеими руками. – Нет уж, извините!.. Над нами не каплет: сначала женитесь...

Ветер размахнулся и с налета двинул по крыше. Лампа «молния» мигнула и опять зашипела ровно.

— Дусенька, – начал летчик с укоризной, – так ты мне не веришь? И тебе не стыдно? А еще говорила: «Люблю»!.. Выставлять человека в этакий час на холод, на ветер...

— Ну, рази что на холод?.. Тогда, тогда... ну, как хотите!.. – шепнула Дуся и спряталась в его френче.

— У-у-у!.. Ву-у-у… – неодобрительно завывало за бальзаминами.

На рассвете Никита Анисимович вскочил и прислушался: ему почудилась стрельба.

— Ра-та-та-та-та!.. Ра-та-та-та-та!.. – строчил где-то совсем рядом пулемет.

«Что еще за черт?», – с досадой подумал летчик, быстро одеваясь.

— Котик, куда ты?.. Никуда не пущу!.. – всхлипнула Дуся, соскочив ножками на коврик.

— Нельзя, детка, нельзя!.. – серьезно сказал летчик, чмокнул ее на ходу в ушко и побежал в школу.

Улицы точно подмело; пулемет не стихал. В канцелярии школы никто ничего не понимал. Никита бросился к мастерским и налетел на свое начальство.

— Порейчук, куда ты провалился… Вот, держи пакет. Бери «Брега» и дуй в Хабаровск!..

— В Хабаровск?

— Ну да, в Хабаровск! Туда пятьсот верст: как раз бензина хватит...

— А в чем дело?..

— А-а, я сам ни черта не понимаю!.. – отмахнулось начальство. – Прямой провод во Владивосток обрезан... Да шевелись, япошки окружают школу!..

Через несколько минут Никита Анисимович стоял с малым чемоданчиком в руках около ангара, откуда его ученики выволакивали на рысях большой «Брегэ», единственную машину в школе, годную для серьезного перелета.

Из-за ангаров, со стороны партизанских казарм, отчетливо сек пулемет и слышался глухой «банзай!» японцев. С другой стороны, рассыпавшись в цепь и на ходу беспорядочно стреляя, поспешал через поле взвод в папахах куполами: они же...

Приходилось спешить. Летчик бросил в аппарат свой чемоданчик, плюхнулся на сиденье и дал контакт. Мотор фыркнул и тут же встал. Механик выругался, еще раз провернул и бросил пропеллер, и сейчас же пустился наутек: недалеко показалась новая кучка японцев, которые мчались к машине, согнувшись пополам, со штыками наперевес. Скуластые лица, перекошенные диким криком, обещали мало хорошего.

На этот раз мотор взял. Летчик вздохнул свободней и прибавил газу. Аппарат побежал, слегка подпрыгивая, глубоко чертя хвостом весеннюю таль. Тогда японцы кинулись наперерез машине.

«Брегэ» катился уже на одних колесах, качая в воздухе хвостом, как вдруг мимо головы летчика нежно свистнула пуля. Он инстинктивно

обернулся и увидел, как передовой солдат бросил винтовку, прыгнул вперед и повис на крыле, вцепясь в стойку. Аппарат сразу накренился, чуть не черкнул крылом по земле. Тут летчик дал полный газ.

Мотор взвыл, рванул, и толчки по кочкам прекратились. Налегая до отказа на левую педаль, Никита Анисимович видел, как неистовый ветер сорвал с японца папаху. У лакированной стойки залоснился бритый иссиня-оливковый череп азиата. Его закушенные губы посерели от страха.

— Черт!.. Надо рискнуть, а то гроб!.. – мелькнуло у летчика.

Он резко накренил в сторону солдата качавшийся аппарат и снова рванул рули налево. Японец подлетел, как акробат на трапеции, скрюченные пальцы его разжались, и он нырнул в пустоту с высоты трех этажей, ловя вытянутыми руками воздух. Освобожденное крыло взмыло вверх, аппарат чуть не опрокинулся. Внизу сразу же заработал пулемет, негромкий сквозь рев мотора.

«Готов, должно быть! Ну, теперь японцам и не попадайся!.. – подумал летчик. – Фу ты, черт, как все это нескладно выходит!..».

День хмурился. Вперемежку с крупой моросил дождь. На вершины снежных сопок наползали сероватым тестом низкие, грузные тучи. Никита Анисимович почти сразу же окунулся в их холодный пар, который скрыл даже концы крыльев. Теперь летчику надо было думать, как попасть в Хабаровск. В суматохе учебный «Брегэ» не снабдили ни картами, ни компасом, и пробираться сквозь тучи, чтобы лететь выше облачного моря пятьсот верст вслепую, было бы безумием. Никита попробовал снизиться, но очутился над самыми казармами, откуда его деловито встретил японский пулемет. Пришлось лететь по самой границе тучевого слоя, то и дело зарываясь в облака. Наконец он заметил на земле тесемку железной дороги и пошел вдоль нее. <…>

Прямо перед ним двумя расходящимися к воде грядами лежала небольшая зеленая полянка. В полуверсте начинались домики. Никита Анисимович снизился и, не осмотрев грунта, выключил мотор. Аппарат заскакал по лужайке, чуть не уткнувшись с раската в легкий барьерчик. К нему во весь дух несся замурзанный мальчонка.

— Эй, гражданин! – крикнул летчик. – Это ведь Хабаровск?..

— Шо? – переспросил мальчуган. – Який такий Хабаровск? Та цежь Гнылый Ухол! А вин, бачите, буфта!..

Высунувшись из аэроплана, Никита Анисимович действительно узнал трибуны владивостокских скачек. Тут он вспомнил о своем непрошенном пассажире и крепко выругался.

«Ясно: японцы уже слыхали о Спасске, сейчас зацапают! – подумал летчик. – А куда я полечу без бензина?.. Нет, надо удирать... Ну и облака, чтоб им...» <…>

Надо было разузнать, что замышляют японцы, и тут он сразу же

вспомнил о некоем Лапине. Правда, Лапин сам служил в японской разведке, но был летчиком и, кроме того, его прежним учеником. Никита Анисимович решительно надвинул нескладную чешскую «кепу» и отправился в японоштаб.

Там, за ширмочкой с хризантемами, он ждал недолго: Лапин влетел в приемную, задержался при виде чешской формы и, узнав его, быстро зашептал:

— Сматывайся, Порейчук!... Сейчас же утекай!.. Твой японец сыграл в ящик... Тебя ищут!..

— Ну, хорошо, а литера чья будет?

Лапин развел руками:

— Вот что: там какая-то шхуна идет на Камчатку. Сунься к капитану, попросись мотористом. Только не болтайся в городе: запросто попадешь в расход! <…>

2. Тревожные симптомы

«Диана» была маленькой, удивительно запущенной деревянной посудиной в полтораста тонн, скрипевшей по всем швам. Строили ее еще в прошлом столетии и уже раз вытаскивали со дна морского, где она очутилась во время тайфуна. Впрочем, для ее нефтяного моторчика всего в тридцать лошадиных сил морские ванны не были в новинку: за четверть века службы он купался уже не раз и весь кругом оброс толстой корой ржавчины. Заглянув в его нутро, летчик только покачал головой.

Белобрысый Худовей, капитан шхуны, тоже не внушал доверия. Он был настолько же излишне молод, насколько шхуна была излишне стара. О парусном плавании в северных широтах он знал только по теоретическому курсу, недавно вызубренному в местной мореходке, а на его румяных щечках еще проступали детские ямочки.

В довершение всего Никиту Анисимовича сразу же поразило мрачное созвучие капитанской фамилии:

— Худовей... Худо-вей! – повторил он несколько раз, спустившись на набережную. – Ничего себе, приятная фамилия для морехода...

Но летчик твердо помнил совет Лапина. Шутить с японцами во Владивостоке вообще не рекомендовалось, и поэтому прямо со шхуны он отправился к начальнику всей экспедиции, лейтенанту флота Князеву, сидевшему без службы по случаю революции.

Тот был настоящим моряком. Никита Анисимович понял это сразу, нутром, глядя, как Князев сжимал ровными квадратными зубами свою начерно прокуренную трубку. Он весь был какой-то четырехугольный и прочный: поставишь – не свалится: и походка, и взгляд стальных глаз, и негромкий голос, – все в нем было прочно и крепко.

— Пистолет! – решил летчик и тут же нанялся мотористом. На

следующее утро он уже устроился по-домашнему рядом с мотором на пропахшей нефтью койке и занялся допотопной машиной.

Лейтенант Князев стремился уйти на север пораньше, но бесконечные ремонты оттягивали с недели на неделю отплытие шхуны. Тем временем Никита Анисимович избегал попадать на берег, где шныряли японские сыщики, возился с мотором, ловил камбалу и писал Дусе нежные письма, обещая привести с Камчатки горностаев на палантин.

Как-то, уже незадолго от отхода, сидя с леской на баке[15], летчик услышал сзади страшный гвалт. Он обернулся: в дверях камбуза китаец-повар с отчаянием отбивался большой кастрюлей от наседавших японцев-матросов. Те что-то вопили, указывая на выплеснутый суп и валявшиеся на палубе куски рыбы. На крик подскочил боцман, тоже японец, и сгреб повара за шиворот.

— Стой! Пусти его! – крикнул Никита Анисимович. – Васька, ваша чего скандалишь?

— Моя не зынаю, моя либу покупайло... Холоси либа есь, савезии... Японски люди сюда ходи, его говоли... либа вали нету!.. Зачем вали нету.. Моя не зынаю!..

В это время из трюма показался лейтенант Князев, понимавший по-японски. Матросы бросились к нему и залопотали наперебой.

— А-а!.. Вакаримас, вакаримас!..[16] Василий, выкинь всю свою рыбу за борт!.. Ну?!..

— Вот идиотская история! – обратился он к летчику, когда обозленные матросы спустились в кубрик. – И угораздило же Ваську сварить акулу!.. У японцев она считается и покровительницей, и врагом моряков. Есть ее на корабле никак нельзя: обязательно несчастье будет. Из-за этого и скандал. Боюсь, как бы теперь наша команда не разбежалась!..

И действительно: на следующий день все японцы вместе с оскорбленным Васькой потребовали расчета. Пришлось набирать наскоро новую команду из корейцев. Князев хмурился: она была много хуже первой.

Так «Диана» пробиралась больше двух месяцев и только в первых числах июня, кокетливо наклоняясь под новыми парусами, она вышла в море и направилась в Хакодате.

Господи, кого только не набилось на утлое суденышко! Кроме команды, на шхуне устроилось больше полусотни пассажиров. Тут были и промысловые рабочие, и рыбаки, и засольщики-икрянники, и китобои – все бородатые неразговорчивые дяди в нерпичьих[17] куртках и брезентовых

[15] Нос корабля – морское выражение.
[16] Понимаю, понимаю!.. – по-японски.
[17] Нерпа, камчатское название тюленя.

по пояс сапогах. Эти пассажиры вносили страшную тесноту и мешали всем, кроме взимавшего за проезд владельца шхуны, гражданина Барыкова. <…>

Скандалы на «Диане» не заставили себя ждать. Не успела шхуна подойти к Японии, как древний моторчик, повертевшись кое-как четыре дня, начал хронически кашлять и захлебываться. Никита Анисимович застопорил его, закачал рукава и отвинтил ржавый картер. <…>

Мотор так и не пошел: от старости один из его клапанов отвалился, а на шхуне не было даже станка, чтобы выточить новые. Пришлось идти на парусах, лавируя против встречного ветра, однако совсем недалеко от Хакодате всякий ветер стих. Берега не было. Шхуна беспомощно колыхалась на медленных волнах, точно политых синим маслом. Доходила неделя плавания, народа было много, и на второй день штиля пресная вода стала кончаться. Пассажиры забеспокоились.

Проходя вечерком на бак, летчик услыхал из темноты сиплый бас старого матроса Рябоконя. Он уже успел раздобыться спиртягой и кому-то назидательно говорил:

— Нет, паря, вот попомни мое морское слово: обязательно что-нибудь стрясется!.. Да нешто с такой фамилией возможно плавать? Ведь это тебе не с дамочками на Светланке... – дальше следовало вовсе неприличное. – Рази тут когда летом такие штили бывают? Не иначе, как специально для нас!..

«Это он про Худовея! – подумал летчик. – Что и говорить, начинаем шикарно!»<…>

3. Крупный разговор

Солнце только что село. На густо-синем небе затухали его последние огненные змеи. Розоватым меркнувшим светом осталась напитанной лишь верхушка горы с рогатыми «тории» – воротами и храмом, полускрытым в соснах. Несколько минут вершина парила над опустившимся в сумрак городом и портом. Потом постепенно сузилась и потухла, слившись с лиловатым полумраком.

Над всей гаванью поплыли, вибрируя, полнозвучные торжественные удары храмового гонга и затерялись где-то в лесистых горах Хоккайдо. С разных сторон города им гордо ответили военные трубы. Легкая, воздушная луна стала плотнеть и наливаться серебром на нежной голубизне непрозрачного, как бы самосветящегося неба.

За мол со всех сторон спешили рыбачьи джонки, пыхтя моторами, сухо стуча опускающимися циновками парусов. Склоны гавани усыпались тысячами матовых огоньков. Успокоившись, теплый воздух слабо донес слитную трель «семи» – цикад, будто кто вдали вертел трещотку...

— Эх, прошли золотые денечки! – разглагольствовал, глядя на город,

как всегда выпивший Рябоконь. – Бывало прежде по всей Японии русский матрос – первый человек. Где ни кинешь якорь – всюду тебе уважение. А уж ежели завьемся, Господи, Боже мой!.. Дома сносили... Да что дома: был у нас на «Трех Святителях» боцман Семен Терентьевич – су-урьезнейший матрос! Как только клюкнет, моментально: «Идем, – говорит, – ребята, переулок проложим!..». Вот мы, значится, возьмемся за руки и прем, так прямо скрозь стены и прем, только ихние рамы трещат... И штобы там полиция што – ни-ни!.. После, натурально, отпишут господину русскому консулу, ну, он и разбирается... В Нагасаках, к примеру, хотите верьте, хотите нет, так мы раз с Семен Терентьичем шишнадцать домов таким макаром своротили!.. Ей-богу!.. А которые японки в ваннах сидели, так мы в бассейн пустили, поплавать... И хошь бы што!.. <…>

Злобой дня на шхуне была покупка китобойной пушечки. Всякими поставками ведал у Барыкова некто Хигучи-сан, японец-комиссионер. Это был большеголовый, чрезвычайно юркий человечек с золотыми зубами и неимоверно зеленым галстуком на вечно грязном воротничке. Отвязаться от него на берегу не было никакой возможности. Что бы ни покупал Никита Анисимович – бананы ли, нефть ли для мотора, или зубную щетку – он обязательно слышал рядом деревянный голос Хигучи:

— С-с-с!.. Вот да!.. Эт-то. Эт-то нехоросая равка, ха-ха!.. О-оценьдорогой... Я вам купрю подесевре!..

Однако японец так и не смог раздобыть разрешение на покупку китобойной пушечки. Князеву пришлось самому съездить в Токио и, наконец, ее с грехом пополам установили на носу.

Китобой Морозов, из прежних приставов, мужчина молчаливый и с большими подусниками, долго изучал смертоносное оружие, а вечером, наклонясь к летчику, сказал басом только одно слово:

— Барахло!..

Разные покупки, ремонты и возня с разрешением задержали шхуну на месяц, и лишь в середине июля, подняв накануне на талях вдребезги пьяного Рябоконя, «Диана» снова вышла в море.

«Как-то Дуся теперь?.. – думал летчик, любуясь берегами Хоккайдо, покрытыми сочными пастбищами и рыбачьими поселками. – Спирта две четверти забрал: вот горностая-то наменяю!..».

Иногда случается, что черная серия, еще не кончившись, дает человеку короткую передышку и у него заметывается порядочный банк. Но, будьте покойны: это только игра кошки с мышкой. Даже и в этом случае он ухитряется проиграть. У него нет смелости, не хватает ни нервов, ни нюха, чтобы вовремя рискнуть. Не додержав, он продает свой банк, сам же на него нарывается в понте, снова неудачно перекупает и, в конце концов, продувается в пух и прах.

Приблизительно то же было и с Никитой Анисимовичем и шхуной.

Черная серия притаилась на время и не проявляла себя за все трехнедельное плавание до Берингова моря. К великому удивлению летчика мотор исправно заводился и вертелся, а непрекращавшийся попутный ветер ровно нес «Диану» на северо-восток.

На шхуне установилась монотонная, размеренная жизнь. Даже оставшиеся пассажиры как-то утряслись и перестали мешать, пристроившись в трюме на товарах, бочках с нефтью и черных просмоленных мешках с солью. <…>

Вечерним развлечением был ужин, на котором собирались все русские. На столе часто появлялись баночки почти не разведенного спирта, и языки быстро развязывались.

Запевалой неизменно бывал Рябоконь. Он, собственно, нанялся помощником капитана, но сейчас же после выхода из Владивостока стало ясно, что он едва годится и на матросскую вахту. Обычно все свободное время он спал в кубрике, а если и вылезал на палубу между вахтами, то был или совсем пьян, или на сильном взводе.

Рябоконю было уже за пятьдесят. Его корявые лапы с оторванным правым мизинцем были сплошь в ссадинах и рубцах от падавших рей и сорванных концов. Угрюмый, скуластый, с носом картошкой и седыми рысьими бровями, он был прежде отличным боцманом, но спирт, пропитывавший годами его кряжистое тело, совершенно сломил дух.

Зато это была какая-то ходячая Северная Энциклопедия. Он одинаково хорошо знал и как надо зимовать, чтобы шхуну не раздавило льдами, и где бить шурфы на Анадыре, чтоб напасть на гнездовое золото, и как соболевать в заповедниках на Больших Шантарах, чтобы не угодить в Долину Смерти. Рассказам же его о скверных приметах, кораблекрушениях и разной морской нечисти не было конца. Произнеся несчастливую фамилию капитана, Рябоконь никогда не забывал перекреститься под столом и вообще терпеть не мог молодого Худовея.

— Гиблое место! – рассказывал старик, когда «Диана» проходила в виду мыса Лопатки, которым оканчивается с юга Камчатка. – Сколько здесь судов потопло, так и не перечтешь! Туман, ветра круглый год!.. Другой раз вертишься, вертишься, и нет тебе никакой возможности!.. Вот-вот, еще маненько и обогнул бы Лопатку, выдрался из Охотского моря, а тут тебе, моментально, норд-ост в самый нос... Так и норовит, бабушку его так-то, на камень посадить!.. Прямо сдохнешь!.. Однако морского бобра здесь раньше водилось видимо-невидимо!.. Тогда на него, натурально, строгость была. А теперь што? Скоро последних выбьют. Апосля Цусимы каждый япошка в хищники лезет, ей-богу!.. Шхунешка, ну, можно выразиться, совсем ни к черту, а мотор ставит во какой! Придет к лежбищам и вытащится на берег. Сейчас это, значится, мачту долой, выкрасится, травы набросает на палубу, ну, с моря глядишь – камень, да и только!.. Оставят на шхуне мальчонку сторожить, а сами бобра бить: он на морской капусте любит харчиться.

Коли даже на каком-нибудь там «Лейтенанте Дымове» заметят, так япошке плевать: свисток, шхунешку на воду и шпарит себе моментально эдак узлов по пятнадцати. А наш – пых-пых – сзади на своих десяти. Где уж угнаться. Но уж ежели нарвется, сукин кот, тогда шалишь! Последний штрафованный матросик свой профит возьмет.

— А ты, дядя, нешто и в охране промыслов плавал? – поинтересовался кто-то.

— Э-э, паря, где я только ни плавал!.. – ответил, как всегда в таких случаях, Рябоконь и долил стакан.

— Зя-я-ямля слева на носу!.. Зя-ямля-а-а!.. – услыхал Никита Анисимович крик вахтенного.

Оставив далеко сзади Командорские острова и пройдя мимо Камчатки, «Диана» подошла к Земле коряков, растянувшейся тысячеверстной голой тундрой по побережью Берингова моря. Здесь и были рыболовные участки, заарендованные Барыковым.

В бухте Тюленьей Никита Анисимович впервые увидел Север. Он наполнил летчика странным щемящим чувством. Тишина была такой полной, что становилась мучительной. Никаких признаков жизни не было заметно на этих освещенных невеселым солнцем пространствах. Вокруг лежали одни холодные голые обвалы черной земли, спускавшиеся к самому морю. В тени, по оврагам и на верхушках земляных сопок, еще белел упорный прошлогодний снег. Ветру нечего было колыхать на плешивых траурных осыпях. Людей не было. Птицы тоже не показывались.

Но если суша казалась мертвой, то вся стальная поверхность бухты была усеяна черными точками нерп[18]. <…> Никита Анисимович не выдержал и спустился за винтовкой. Выстрел гулко разбился о сопки. Черные головки мигом скрылись. На месте одной из них по волне пошло грязно-красное пятно. Летчик спрыгнул к ждавшему в лодке проворному матросу Жукову, и они оба загребли изо всех сил.

— Навались, навались, так вас перетак!.. – весело кричали со шхуны.

Кровавая полоса на волнах указывала, в каком направлении уходит нерпа под водой. Вскоре на поверхности забелело ее брюхо.

— Глуши ее, курву!.. Смотри, утопнет!.. – надрывались на шхуне.

Животное сильно билось, Жуков оглушил его веслом и подтянул на веревке к шхуне, куда нерпу втащили на талях. Из раны хлестал поток темноватой крови, заливая узкую палубу...

Корейцы сейчас же подставили свои мисочки, напились горячей крови, подпалили усы, чтобы не беспокоил потом дух убитого зверя, и после этого тщательно срезали их: это ценное на Востоке лекарство.

Тем временем Иена пилил горло животному большим кухонным

[18] Нерпа – камчатское название тюленя.

ножом и чуть было не угодил в море: нерпа, толстая и жирная, как хороший йоркшир, очнувшись от боли, с силой хватила его хвостом и судорожно заскакала по палубе. Тогда ее прикончили, подвесили, чтобы стекла кровь и начали снимать шкуру.

Уплетая за ужином отличные пироги с нерпичьей печенкой, плотный сахалинец Стукалич рассказывал:

— У нас ее, однако, колотушкой бьют, когда она на камнях играется: она, язви ее, крови не любит. Где ейная кровь истекала – шабаш, ни за что, стерва, не придет!.. Нюх у ей, однако, тонкий!..

— Верно, – сказал Князев, – меня раз камчадалы чуть не побили за винтовку. Говорят: «Мы тебе, друг, десятоцек достанем, однако не стрели!» Они подползают к лайде[19] в нерпичьей шкуре, а потом бьют копьем на ремне. Пока нерпа поймет и бросится к воде, полдюжина есть. <…>

4. Скверная примета

— Николай Алексеевич, что там за курганчики? – спросил летчик у Князева.

— Где? У речки?.. Да это юрты.

— Нет, левее, вон там!

— Ну да, я о них и говорю. Это землянки оседлых коряков.

— Гм!.. А как же туда залезать?

— Подождите!.. – лейтенант взял винтовку и выстрелил несколько раз в воздух. Из самых макушек желтых дерновых холмиков, покрытых ветками, высунулись, как суслики из нор, черные головки.

— Теперь поняли? – улыбнулся Князев. – В земляной юрте нет ни окон, ни дверей, ни трубы: за все дыра в потолке. А снизу коряки лезут к ней по стволу с перекладинами так сказать!..

Убрав паруса, шхуна становилась на якорь. Низкая кочковатая тундра с тощими кустиками кое-где загибалась влево и вправо широким плоским лукоморьем. Затянутое плотными тучами ленивое небо и вода бухты были бесцветно-молочными. Медленно взмахивая крыльями над самыми мачтами, плавали чайки, гагарки, тяжелые бакланы и жирные дикие гуси, отъевшиеся летней ягодой. На берегу между дюжиной юрт копошились фигуры в летних кухлянках, и заливисто лаяли ездовые собаки.

— Вот где, Бог даст, кормилицу-то захватим! – сказал Барыков, любовно поглаживая бочонок под рыбу. – Рыбка-то, она невеличка, а того... мильончик возьмем, с нас и хватит...

— Рано барыши считаете! – отозвался Князев. – У коряков спросим, боюсь, запоздали мы.

[19] Место на льду, где лежит табун нерп.

— А, волк те заешь, Миколай Лексеич!.. Чего ты всегда зря каркаешь?

Но предчувствия Князева оправдались. На берегу коряки рассказали, что осенний ход рыбы кончился уже с неделю. Все становье нещадно воняло рыбой. Ездовые собаки и ребята ходили вперевалку со вздутыми животами. Повсюду на тонких нерпичьих ремнях, растянутых по шестам, вялилась красными сосулями жирная кетовая «юкола». <…>

— Надо хоть пушнину достать! – решил Князев и уехал на оленях в глубь страны, где стояли летом коряки. Он вернулся через два дня усталый и злой.

— Ни черта!.. Почти все юрты скочевали в тундру, а кто остался, сыты по горло товаром. Все есть, даже угощали американским печеньем. Берут одни «банцки». Еле-еле достал в обмен на спирт дюжину лисиц да пять соболей. Говорят, больше никого не ждали, вот все американским шхунам и промотали.

— Как же теперь с Дусиным палантином-то? – подумал грустно Никита Анисимович. – Ну ладно, может, где дальше наменяю… <…>

Раз, когда Никита Анисимович возвращался с молодым капитаном после охоты на сусликов к чинившейся шхуне, мимо них пронеслась, чуть не задев крылом, большая белая чайка, нырнула за рыбой и закачалась на близкой волне.

— Вот эта есть!.. – обрадовался обычно пуделявший Худовей, и не успел летчик схватить его за руку, как птица, пронзительно крича, заметалась на воде с отстрелянным крылом.

— Зачем? – спросил летчик.

Но работавшие вокруг шхуны приняли выстрел гораздо более серьезно. Побросав инструменты, они сбились в галдевшую кучку и, как только охотники подошли к шхуне, обступили их со всех сторон.

— Вы что? – спросил Худовей.

— Ай-ай-ай!.. – качал головой еле державшийся на ногах Рябоконь. – А!.. Вы такое видели?.. Ну, теперь нам всем крышка!.. Чайку подбил!..

— У тебя не спросился!.. – вспыхнул Худовей. – Пошел спать, ты пьян!..

— А ты подносил?.. Нет, братцы, видели, а?.. Чайку!.. А еще «моряк» называется!.. Тебе бы мамку сосать!..

— Молчать! Как ты с капитаном говоришь?..

—С ка-пи-та-ном?.. Да... там-тарарам!.. – артистически загнул побагровевший старик. – Зачем чайку бил? И фамилья твоя проклятая.. Вот попомни меня: мы еще, Бог даст, может выкрутимся, а уж тебе теперь со шхуной крышка, как пить дать, крышка!..

— Однако он верно говорит!.. Правильно, старик!.. Нельзя чайку!.. Все знают!.. – угрожающе загудела толпа.

Корейцы тоже возбужденно лопотали.

— Что?.. Заговор!.. Бунт?.. По местам, сволочь!.. – истерически выкрикнул Худовей и выхватил револьвер.

Оружие пришпорило Рябоконя.

— А, ты так?.. А ну, братцы, вали на него!.. – заорал он и бросился на капитана.

Неизвестно, чем бы отделался Худовей, если б в самую гущу свалки не спрыгнул с борта шхуны Князев, работавший внутри.

— Стой!.. Назад!.. Худовей, сюда револьвер!.. Обалдели что ли? В чем дело?..

— Миколай Лексеич, что ж он леворвером?.. Нешто так можно?.. Однако и на словах поймем!.. Вишь, язви его!.. – злобно гудела толпа.

Пока Князев урезонивал команду, летчик тащил спать качающегося Рябоконя.

— Нет, скверно, паря!.. Ох, как скверно!.. – бормотал старик и крестился. – Всю шхуну подвел, тудыть его душу!.. «Капитан»! Сопляк он, вот он кто!.. А тут – чайку!.. Да ты знаешь, почему «Нитака» ко дну пошел? Нет? Так знай: капитан-японец чайку стрельнул. Так, значится, носом вниз, и каюк!.. Никто даже разобрать не успел, как и что... И это ведь крейсер, понимаешь, крейсер, а не шхунешка!.. А почему «Камчатка» на камень села?.. А «Призрак»?.. Все из-за птицы. А он, да еще с этакой фамилией. <…>

Над шхуной нависло упорное ожидание беды. Оно было и раньше, конечно, так как каждый уже давно чувствовал в глубине более или менее ясно, что старая шхунешка вряд ли выдержит такое трудное плавание... Но эта мысль была как-то не оформлена, и выстрел Худовея упал тем кристалликом, который заставляет сразу затвердевать весь пересыщенный раствор.

Никита Анисимович тоже задумался.

«Да-а... – вспомнил он разом и ночь у Дуси, и японца, и владивостокские скачки. – Вот с каких пор мне не повезло!..».

Этой простой мыслью летчик выразил ту истину, которую автор назвал законом красных и черных серий.

5. Мотор – финиш

Никиту Анисимовича все сильнее беспокоил мотор. Летчик почти не вылезал из каютки и тревожно прислушивался к неровному стуку цилиндров. Несмотря на недавний ремонт, он каждый день ждал, что одна из основных частей не выдержит при пуске машины и сдаст окончательно.

Это напоминало ему полет с ненадежным мотором, но там всегда была внизу земля, на нее, в крайнем случае, можно было спуститься; здесь

же, откажи машина, вся расхлябанная шхунешка с четырьмя десятками человеческих жизней отдавалась на полную прихоть ветров. А ледяные норд-весты, метущие дебри Восточной Сибири, были уже не за горами: приближался сентябрь. <…>

Чтобы запастись пресной водой, шхуна зашла по пути в бухту Глубокую. Более мрачного места Никита Анисимович еще никогда не видел. Вероятно, это был кратер некогда действовавшего вулкана, в который тысячелетиями въедалось и, наконец, проникло море. Глубина была такой, что даже у самого берега якорь не достал дна. Круглое озеро со всех сторон обжимали черные гранитные скалы, обрывавшиеся прямо в воду. Шее было больно искать вершины этих гладких, точно обмызганных стен, терявшихся в неподвижных и плотных тучах. Даже трава, даже лишаи не находили трещин, чтобы оживить клочком зелени царство черного камня. По отвесам не влезла бы и обезьяна.

Черная, как смоль, вода, покоившаяся на дне каменного мешка, тоже была мертва и колыхала беззвучно на обнаженных приливом утесах неживую бахрому бурых водорослей. Ни одна птица не возмущала прикосновением крыла ее черную гладь. Только в двух местах свисавшие серебряными нитями водопадики пускали по черному зеркалу расходящиеся и пересекающиеся круги. Когда ранний закат ворвался на несколько минут сквозь полог туч, все слюдистые скалы зажглись и заиграли оранжевым, точно внутри их загорелось дьявольское пламя.

— Красота!.. Должно быть, в аду так! – сказал Князев, любуясь бухтой. – Зато спокойно. Здесь и заночуем!..

Как только занялась заря, на палубе пошла обычная перед отходом возня. Летчик проверил машину и ждал команды.

— Ход вперед! – раздалось из слуховой трубы

— Есть вперед! – ответил Никита Анисимович и приказал помощнику разворачивать тяжелый маховик мотора.

— У-уф!.. – тяжело всосали цилиндры распыленную нефть.

— Ну-ну!.. Еще разок.. Да, крепче ты, пусти-ка!.. – летчик взялся сам за рукоять.

— Пуф-пуф!.. – послышались взрывы газа.

— А ну-ка еще!..

— Пуф-пу... пуф... Дрынь!.. Крак!.. – резко лопнуло что-то внутри. Ручка застопорила.

— Никак вал?!.. Так и думал!.. Ах ты!.. – не выдержал летчик. Действительно, старый коленчатый вал, главная часть мотора, переломился пополам. О починке нечего было и думать. Теперь всю машину можно было бы свободно выбросить за борт.

— Что там такое? – спросили в слуховую трубу.

— Финиш! – мрачно ответил летчик и полез на палубу мыть руки.

Теперь он ясно чувствовал над собою власть черной серии.

С трудом справляясь с противным ветром, «Диана» медленно пробиралась обратно, разыскивая селедку в каждой бухте.

Около реки Олюторки ее снова ждало разочарование. На одинокой японской рыбалке, стоявшей на песчаной кошке, рабочие рассказали, что селедка была здесь дней десять тому назад и, судя по гнавшимся за ней китам, касаткам и чайкам, проходила очень большим косяком. Сами японцы ею не интересовались: у них было взято достаточно кеты и горбуши. <…>

Дни проходили, а селедка не показывалась. Зато появились киты. Они зашли целым стадом штук в тридцать, так что над всем заливом стоял храп, похожий на рев, а из волн то и дело с шумом вырывались могучие фонтаны. Стадо быстро прошло через залив к самой якорной стоянке. На шхуне поднялась настоящая лихорадка.

Морозов зарядил пушечку гарпуном на бечеве и ждал, приложившись. Вот у самого носа в каких-нибудь сорока саженях вынырнул громадный черно-серый череп с маленьким тупым глазком не больше кулака. Следом показался широченный бугор спины со скатывающейся в обе стороны водой и треугольный кусок хвоста. Из недр туши, величиной не уступавшей самой «Диане», взметнулся со свистом фонтан.

— Пли! – скомандовал Князев.

Японская пушечка тявкнула, гарпун вылетел, но только скользнул по толстой коже чудовища, оказавшись на излете. Затрещали винтовки, однако пули засели в толстом жире кита, не причинив ему ни малейшего вреда. Кит двинул хвостом так, что шхуна закачалась, и спокойно исчез под водой. Все загалдели.

— Говорил: барахло! – флегматично буркнул Морозов. Чуть не плача, с гарпуном в руках Барыков умолял Князева спустить шлюпку за китом. Лейтенант отказался наотрез.

— Да вы шутите что ли? Для погони нужен хороший вельбот, а не наша лодчонка. Он ее или мигом разобьет, или утянет под волны!

— Миколай Алексеич, родной, да ты только подумай!..

— Нет, нет, и говорить не стану!

Киты отошли к морю, но держались в заливе еще несколько дней. Как бы насмехаясь, они не раз выныривали, резвясь в нескольких десятках саженей от «Дианы». Морозов добросовестно палил по ним из слабосильной пушечки, но это только вспугивало птиц на берегу. Барыков совсем осунулся и ругал всех и вся, в особенности же японцев. <…>

Так в напрасном ожидании селедки прошел целый месяц. Чтобы захватить хоть что-нибудь с севера, Князев начал заменять балласт

«Дианы» прекрасным каменным углем, мощные пласты которого чернели прямо на берегу. Но шлюпка, перевозившая блестящие выломанные глыбы, брала мало, погрузка затянулась, а в конце сентября подул сильный норд-вест с холодными ливнями. Часто за одну ночь речушка успевала совершенно изменить свое течение, благодаря гальке и песку, нанесенными трехсаженным северным приливом. Ветер не утихал. Отпущенный на всю длину якорный канат с трудом сдерживал рвущуюся на привязи шхуну.

— Ну, завтра пошли в Петропавловск! – сказал вечером 28-го сентября Князев. – Ждать нам больше нечего: все равно прогорели. А дальше оставаться – потерять и шхуну, и людей!..

— Может, мы все-таки... – заикнулся было Барыков.

— Нет! – отрезал лейтенант и пошел предупредить Худовея.

Выходя из залива Корфа, никто на «Диане» и не думал, что это последняя стоянка на Камчатке и что вместо возвращения черная серия будет нести их непрерывно три с половиной месяца по океану.

6. Понесло

Теперь на шхуне стало совсем свободно. <…> На борту осталось всего десять русских и девять корейцев, включая Джинкая.

Вскоре после того, как «Диана» вышла в открытое море, барометр начал катастрофически падать: приближалось уже время осенних штормов. Погода портилась с каждым днем, а густой туман над морем не рассеивался по несколько суток подряд.

После недельного плавания шхуну потрепало около острова Карагинского, но ветер, не достигнув силы настоящего шторма, перешел в отдельные шквалы и потом стих, сменившись почти штилем. <…>

На случай штормовой погоды с палубы убрали все лишнее и протянули концы, чтобы было за что цепляться при качке. После двухдневного перерыва, как бы отдохнув, норд-вест задул с новой силой.

Шхуна понеслась рывками на юго-восток на сильно зарифленных парусах, черпая бортом волну и тяжело зарываясь носом. К ветру скоро присоединился мелкий пронзительный дождик. С вахты возвращались, продрогнув, с посиневшими щеками и несгибающимися пальцами.

Первый серьезный шторм налетел на «Диану» ночью и так внезапно, что матросы не успели даже убрать паруса. Летчик спал в своей моторной, когда над головой, на палубе, поднялись топот и ругань. Ложась на бок, вся шхуна кряхтела и трещала, и лампа в каюте качалась широкими взмахами. Никита Анисимович взлетел по ушедшему из-под ног трапу и не успел схватиться за ванты, как на него обрушилась холодная вязкая стена, сбила с ног, протащила по палубе и больно ударила боком о подножье грот-мачты. Он инстинктивно обнял ее, переждав, пока шипящий поток вывалится за

борт, и, добравшись до каната, пополз за рубку, дрожавшую под напором ветра.

Шхуна неслась стрелой в полной тьме по водным котлованам, то возносясь в белую пену гребней, то стремительно ныряя в черные глубокие провалы. То и дело палуба оказывалась под водой, которая еле успевала скатываться, кипя водоворотами, за фальшборт. В вое ветра и уханье волн о борта летчику послышались где-то сверху пистолетные выстрелы. Он поднял голову: на верхушке мачты хлопал и выгибался гигантским белым знаменем сорванный снизу треугольный кливер.

— Убирай паруса, там-та-рарам!.. – вопил в рупор из тьмы растерявшийся Худовей. — Живо! Мачты снесет!..

Летчик видел, как кливер сорвался и пронесся над шхуной, точно призрак сказочной чайки.

Пока экипаж возился в темноте, закрепляя паруса, волны сбили с подводных петель железный руль. Шхуна содрогалась от его тяжелых ударов. Он бился с такой яростью о ветхие доски кормы, что грозил ее разнести.

— Все на руль!.. Топоры!.. Руби его!.. – слабо донеслось из соленого тумана.

Летчик скатился вниз, натыкаясь на матросов. Похватав что попало под руки, все бросились на корму рубить рулевые скрепы и цепи. Руль, наконец, отделился и потонул, но шхуна потеряла теперь всякую устойчивость и кувыркалась, как Ванька-встанька, во все стороны, отданная на милость бури. <…>

В следующие дни опять налетело несколько внезапных штормов. Погода становилась все хуже и хуже, бури участились. Они шли прямо с берегов Камчатки, а «Диане» было необходимо попасть в Петропавловск, чтобы хоть немного отремонтироваться и поставить настоящий руль.

Вместе с тем каждый шторм приносил теперь с собой снежную вьюгу. Непрерывная качка не позволяла по несколько суток подряд варить горячую пищу, и люди, лишенные теплого платья, промерзали до костей, не успевая даже просушиться. Главной задачей Худовея стало теперь удержаться вблизи берегов Камчатки, чтобы достигнуть Петропавловска. <…>

Между тем ветер начал усиливаться, и к вечеру деревянный руль сбило волной. Берег скрылся совершенно. Беспомощную шхуну волокло, вертя то носом, то кормою вперед, в открытый океан. Заветный Петропавловск уходил почти из-под самого носа. <…>

Шхуна попала теперь в зону тайфуна, шедшего на юг, и экипажу стоило громадных усилий не дать ему затянуть «Диану» в центр вихря, где вещала неминуемая гибель. Шхуну несло по окраине тайфуна громадными кругами и с каждым новым витком отбрасывало на сто-двести

миль все дальше от берега. Как только удавалось вырваться из этой заколдованной спирали, норд-вест снова подносил ее к полосе, захваченной тайфуном, и ее опять начинало кружить, как камень, привязанный к веревочке. Команда выбивалась из сил.

— Нет, – говорил, смотря на карту, осунувшийся Князев, – теперь нечего и думать о Камчатке!.. Пускай уж несет на юг! Там, Бог даст, попадутся ветра, которые могут прибить нас Курильским островам или к Японии. Куда нам бороться без мотора и руля!.. Если нас здесь захватят льды – совсем гроб!..

— А как же с пресной водой? – спросил Худовей, потерявший после последнего случая с Рябоконем весь свой апломб. – У нас остается всего ведер пять...

— Чего же раньше молчали?.. Вот что, Никита Анисимович, – обратился лейтенант к летчику. – Смастери-ка поскорей опреснитель!

— А из какого материала?

— Ну, уж об этом сам думай: на то ты и механик!..

Летчик подумал и остановился на тяжелой металлической банке из-под пороха. Ее выволокли на палубу и закрепили там, выложив снизу что-то вроде топки для каменного угля. В крышку Никита Анисимович вставил змеевик-охладитель и, попробовав, с радостью увидел, что его изобретение дает достаточно питьевой воды.

Между тем штормовая погода продолжалась. К тому же в первых числах ноября ударили настоящие морозы, убравшие снасти и ванты толстыми ледяными сосулями. Борта и палуба обледенели и, чтобы не скользить, команде приходилось то и дело скалывать лед и посыпать доски каменным углем, который почти сейчас же смывало волной. Трое корейцев не выдержали напряжения убийственных вахт и лежали в трюме, где теперь стали жить, пробив дыру из моторной.

Но и державшиеся на ногах, еле дождавшись отдыха, валились на койку и засыпали как убитые, не успев даже сбросить обледенелую, заскорузлую одежду. Барыков совсем перестал показываться на палубе. А ярость штормов все нарастала.

Наконец, в полдень 8-го ноября на шхуну налетел еще небывалый по силе шквал. Полупрозрачная стена ледяной воды ударила «Диану» в левый борт, обрушилась на палубу и покрыла ее аршина на два водой. Все, что было на ней, – носовая каютка, цистерна, опреснитель, шлюпка, камбуз и весь правый фальшборт – все это было мигом сорвано, разбито, смято и снесено в море. Уголь и груз в трюме сползли к правому борту, не позволяя шхуне выпрямиться, а в кормовом кубрике вырвало дверь, и вода хлынула в жилое помещение. Сбитые с ног и вытряхнутые из коек люди не могли разобрать, где стены и где пол, так как шхуна осталась лежать па боку, получив крен в пятьдесят градусов.

В то же время где-то внизу угрожающе захлюпала вода. По приказанию Князева весь экипаж бросился перегружать каменный уголь и после отчаянной двухчасовой работы шхуна все-таки выпрямилась. Тогда принялись откачивать воду помпами и банками, передавая их по цепи вручную. Течь, наконец, отыскалась и ее наскоро зашпаклевали, но ветер и не думал стихать, а мачты с изодранными в ленты парусами гнулись, как камыш, ежеминутно грозя обломаться. Сделали перекличку команды: все русские отозвались, посреди корейцев не хватало матроса Ипондю. Привязанный к мачте вахтенный видел, как он вылез из носовой каютки перед самым ударом волны. Это была первая смерть на «Диане», но никому не было времени о ней думать. <…>

7. Капитан за бортом

<…> Через неделю после гибели корейца удалось, наконец, поставить более прочный руль, который отчасти позволял управлять. Это был уже четвертый по счету, но разве могла теперь «Диана» надеяться покрыть против ветра тысячи миль, отделявшие ее от лежавшей на западе земли? Оставалось только отдаться на полную волю ветра и покорно нестись на юг, где, по крайней мере, было тепло и могли встретиться проходящие пароходы.

После кошмарного полуторамесячного плавания почти весь экипаж был переранен и разбит. У Никиты Анисимовича сильно болел бок от удара волной о мачту. Рябоконю во время последнего шторма глубоко рассекло мускул на руке и он лечился солью, прикладывая ее к открытой ране. Кореец Лученкучи вывихнул себе ногу, сорвавшись с мачты на палубу и чуть не угодив а море. По ночам в трюме стоял бред и кашель больных. Здоровые в скудном свете коптившей керосиновой лампы чинили брезентами и мешками то и дело рвавшиеся отрепья парусов. Скоро к тому же начало недоставать пищи, так как запасы провианта, рассчитанные на плаванье до Владивостока, близились к концу. <…>

К последним числам ноября «Диана» спустилась настолько к югу, что в воздухе стало немного теплее, но барометр упал еще ниже.

Шторм не заставил себя ждать. Захватив шхуну, он помчал ее с такой бешеной быстротой, что палуба все время оставалась под водой. <…> От страшного удара расшатанная фок-мачта обломилась и рухнула с грохотом, путаясь в снастях. Все, кто еще был на ногах, бросились рубить и рвать чем попало такелаж, на котором висела сломанная мачта, накреняя шхуну.

В это время кто-то крикнул:

— Человек за бортом!.. Смотри, вон там, за кормой!..

Все оглянулись. Далеко сзади, то появляясь, то исчезая между свинцовыми валами, танцевала пустая бочка из-под угля, а рядом с ней чернела маленькая голова человека. Люди переглянулись, ища – кого не достает.

— Должно, капитан! Он у рубки стоял, когда накрыло!.. – закричал Жуков, который, лежа на наклоненной палубе, еле сдерживал руль.

Головы обнажились. Рябоконь широко перекрестился и торжественно сказал:

— Ну, братцы, значится, спасемся!.. Теперь, как пить дать, спасемся!..

— Слушай мою команду, я за капитана! – отчеканил Князев, покрывая вой бури. – Повернуть нельзя!.. Руби мачту!.. – его голос точно вдохнул новую надежду в изнуренных людей.

Худовея никто не любил. После случая с чайкой и стычки с Рябоконем его авторитет упал окончательно. Последнее время шхуной фактически управлял Князев, которого уважали и побаивались. Когда же он окончательно принял на себя командование, у всех как-то полегчало на сердце.

А между тем положение было еще отчаянней, чем после первых штормов. <…>

9. Проклятые островки

«Диана» приближалась теперь к Марианским островам, растянутым вулканической цепочкой с севера на юг недалеко от экватора. Но несчастный экипаж шхуны так изверился в спасении, настолько пал духом, что относился к этому как-то безучастно.

Лежа неподвижно в трюме и на палубе, люди только апатично жевали обрезки оленьих шкур, взятых на Севере, и по временам ползли к опреснителю, чтобы выпить несколько глотков воды. Из всего экипажа лишь пять человек, включая самого Князева, стояли вахты, а Никите Анисимовичу, как самому зоркому, приходилось влезать на мачту и дежурить на ее верхушке в бочке. С каждым днем это становилось все труднее, руки и ноги не хотели слушаться, дрожали и срывались.

«Кажется, это уже в последний раз: завтра не долезу!», – подумал он, забираясь на рассвете 8-го января по вантам и переводя дух на каждой веревочной ступени. С наклонной мачты и палуба, и шхуна казались совсем игрушечными. Прямо под ним скользили в прозрачной воде длинные очертания акул.

— Ждут! – промелькнуло у летчика.

Над океаном стоял неопределенный полусвет. Солнце еще не успело взойти, и лишь на востоке рубиновая полоса начинала перекрашивать море в лиловый цвет. Никита Анисимович кое-как долез до бочки, перевалился через ее край и почти сейчас же погрузился в голодный полусон. Он дремал довольно долго. Солнце поднялось и начало сильно припекать. Вдруг летчику почудился резкий крик. Он вздрогнул, открыл глаза и сразу подался назад: прямо ему в лицо летели три каких-то чудовища с красными злыми глазами и зелеными крыльями.

«Крышка!.. Бред начался!..», – подумал летчик.

Нет, и ржавые ободья бочки, и вспухший от ветра драный парус, да и сами птицы, – все это было совершенно реально. Они налетали, пронзительно крича и задевая крыльями, вымазанными в тине. Никита Анисимович отмахнулся от них и крикнул, перегнувшись вниз:

— Эй, кто там!.. Птицы появились!.. Тина на крыльях!..

Князев высунулся из рубки, посмотрел вверх из-под ладони и взволнованно ответил:

— Ну, значит, и земля близко, смотри, не прозевай!..

Тела на палубе зашевелились, и всклокоченные головы полезли из трюма. Всякая дремота у летчика пропала. Солнце плыло все выше в своем тропическом великолепии. Глаза ломило от обилия света.

В лихорадочном напряжении прошел час, другой, третий. Наконец, когда солнце уже подошло к зениту, на сверкающем горизонте наметилось несколько темных точек. Летчик протер стекла и еще раз впился биноклем в расплавленную синь. Да, несомненно, это были три маленьких островка...

— Земля!.. Земля!.. – изо всех оставшихся сил заорал Никита Анисимович.

Снизу ему ответило жидкое «ура». Это был уже не пароход, могший повернуть и уйти, а настоящая, твердая земля, и ребяческий восторг охватил шхуну.

Летчик, оставаясь на мачте, смотрел на землю со слезами на глазах. Но когда островки приблизились настолько, что стали ясно видны в бинокль, его сердце упало. Черная серия еще не кончилась: это были всего-навсего низкие, плоские скалы, и самая большая из них была едва ли раз в десять шире «Дианы». Там не было видно ни одного дымка, ни даже кокосовой пальмы. Лишь тысячи птиц носились тучами над высокой травой, одевавшей сплошь эти пустопорожние камни.

У Никиты Анисимовича не поворачивался язык, чтобы крикнуть об этом на палубу, но и толпившиеся внизу скоро разглядели, что за земля встретилась шхуне. <…>

— Не стоит и время терять! – сказал упавшим голосом Князев. – Против ветра нам ни за что не подойти. И потом это все равно не спасенье. Надо идти дальше: недалеко должны быть другие острова, с людьми.

Но корейцы уже успели без всякого приказания спустить парус и не хотели никого подпускать к шкотам.

— Подымай грот! – сказал Князев, подойдя к ним.

— Наша хоти птиса лови, яйса кушай!.. Наша дальше ходи нету! – закричал костлявый великан Помаитим, сверкая голодными дикими зрачками. – Нельзя сейчас...

— Ваша мало-мало погоди: скоро хорошая земля будет... Ну, пусти! – сказал лейтенант и отстранил его за плечо.

— Ваша сама пусти! – злобно огрызнулся великан, тряхнув плечом. – Моя говоли: наша лаботай нету!..

— Что?.. Да пошел ты прочь!.. – прикрикнул Князев и сильно оттолкнул его в сторону.

Помаитим взвизгнул, из рукава его что-то блеснуло, и он бросился на лейтенанта. Точно по команде, у каждого корейца появилось по ножу: сбившись в кучку, они подались вперед. Князев вывернулся и, отскочив к борту, выхватил револьвер. Браунинг коротко бухнул. Косматый великан отшатнулся и свалился с простреленной грудью. Подняв револьверы, русские ждали бунтовщиков. Но при виде оружия природная трусость корейцев взяла верх. Из медной груди Помаитима, лежавшего ничком на палубе, сочилась тонкая тесемка крови.

— Джинкай, куда ты провалился?.. Отбери ножи!.. Убрать этого!.. – приказал Князев.

Корейцы молча повиновались, искоса взглядывая на лейтенанта. Они привязали к ногам убитого большой кусок угля, раскачали тело и бросили за борт. Сквозь хрустальную воду было видно, как вслед за ним, повернувшись вверх белым брюхом, проворно нырнула крупная акула. Потом корейцы принялись деловито затирать кровавую лужу.

Шхуна пошла дальше, полная отчаяния и страха. Ночью через двое суток Жуков заметил багровое зарево на западе, и к утру за ветром появился новый островок. Его профиль напоминал горбы верблюда. Один из них дымился – это был действующий вулкан с крутыми стенами, а из другого, с завалившейся верхушкой, текла по склонам широкая река горячей грязи, укутанная серым дымом и паром. С островка далеко в океан вылезала языками древняя застывшая лава, образуя мысы, сплошь затянутые роскошной зеленью, из которой подымались на тонких ножках звездчатые вершины пальм. Прибой разбивался о берег в жемчужную полоску пены. Следов человека опять не было заметно. <…>

Никита Анисимович подполз к развороченному фальшборту и жадно вдыхал родной, сладостный запах земли. Большая, радужно-металлическая бабочка, похожая на заводную игрушку, опустилась на его ногу, дрожа вырезанными крыльями. Островок медленно отодвигался вдаль, как будто его тянули на веревочке прочь от заклятой шхуны.

Вечером дразнивший мираж повторился еще раз, но земля снова была за ветром. На «Диане» больше не радовались и не проклинали. Всеми, даже самыми стойкими, овладело тупое, безразличное оцепенение. Четверть стакана муки не позволяла умирать, но последние искры воли еле тлелись в этих людях и могли легко погаснуть при первом же новом испытании.

Никита Анисимович дотащился до каюты Князева. Тот лежал с закрытыми ввалившимися глазами. Услышав шорох, Князев медленно приоткрыл и опять опустил веки.

— Не могу больше, Николай Алексеевич... Легче пулю в лоб! – хрипло сказал летчик, осев у двери.

— Подождем еще дня два... три... – с трудом выговорил Князев. – Гуама... на ветре... А если нет, тогда уж... давай вместе...

Следующие дни слились в однообразный полусон. Остался лишь ровный ветер, палящее солнце и две бездонных сини – снизу и сверху. Острова больше не появлялись: «Диана» шла уже западнее их вулканического ряда. На ногах еще держались лишь Стукалич и Джинкай.

Никита Анисимович лежал рядом с опреснителем и, выходя минутами из тяжелого забытья, машинально подталкивал в топку куски угля. Он бредил, и его часто мучили кошмары. Один из них запомнился особенно ярко: ему грезилось, что он снова в Спасске, что какие-то японцы в папахах окружили его и тянут к аэроплану, а Дуся обняла его шею руками и не хочет пускать. Он начал отбиваться, закричал во сне и пришел в себя: рядом с ним стоял на коленях Стукалич и крепко тряс за плечо.

— Вставай, однако, вставай скорей! – возбужденно и радостно говорил матрос. – Земля на ветре!.. Лейтенант говорит, что Гувама!..

Князев с Джинкаем уже возились с парусом. Шатаясь, как пьяный, Никита Анисимович пошел к ним на помощь. Вчетвером они справились со шкотами, и «Диана» повернула нос прямо на открывшуюся землю. Остров начал медленно расти. На утесистых берегах, из-за горки в перистых пальмах, высунулись три тонких иглы радиостанции. Князев опустил бинокль.

— Гуам!.. – прошептал он, глубоко вздохнул и с чувством перекрестился. – Всем скажите: спаслись...

Вскоре за коралловым рифом обозначилась бухта с несколькими кораблями военного типа, стоявшими на якоре. От бока одного из них отделился белый, сверкающий медяшками катер и бойко побежал к шхуне.

Тут у Никиты Анисимовича потемнело в глазах, ноги размякли, и он опустился без сознания на грязную раскаленную палубу «Дианы».

Впервые опубликовано: Багульник. Шанхай, 1931. Вып. 1. С. 5-50.
Печатается по: Рубеж. 1998. № 3. С. 5-28.

Борис Михайлович
ЮЛЬСКИЙ
(1912-1950?)

Беллетрист Борис Юльский родился 12 января 1912 г. в Иркутске в дворянской семье. В 1921 г. приехал с родителями в Харбин. Окончил Первое реальное училище. Ушел со 2-го курса Политехнического института и занялся журналистикой. Публиковался в харбинских и шанхайских газетах и журналах «Заря», «Русское слово», «Рубеж», «Луч Азии», «Прожектор», «Феникс» и др. Печатался под псевдонимами «Андриан Луговой», «Баталов», «Борис Ярв». В 1938-1941 гг. служил в русской лесной полиции на КВЖД, затем работал на харбинской радиостанции. В 1943 г. в соавторстве с Н. Веселовским выпустил сборник рассказов «Восток и Запад». 22 сентября 1945 г. был арестован советскими спецслужбами и приговорен к 10 годам лагерей. В августе 1950 г. совершил побег из магаданского лагеря. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист. и лит.:

Резвый В. Судьба легионера. Литературная реабилитация Б. Юльского // Рубеж. 2004. № 5. С. 152-153.
Лобычев А. Человек, ушедший на русский Восток // Юльский Б. Зеленый легион. Владивосток, 2011. С. 3-28.
Сентянина Е. Харбинские писатели и поэты // Рубеж. 1940. 15 июня. С. 10.
Перелешин В. Два полустанка: Воспоминания свидетеля и участника литературной жизни Харбина и Шанхая. Амстердам, 1987.

ОШИБКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА

В шестьдесят лет Шерлок Холмс сильно сдал и выглядел совсем стариком. Великий сыщик по-прежнему жил на Бэкер-стрит, курил свою неизменную трубку и в свободные вечера играл на скрипке заунывно давно вышедшие из моды мелодии. Фокстротов и прочей современной музыки Шерлок Холмс не выносил. Часто, сидя у окна в глубоком кожаном кресле, он наблюдал за уличным движением. Бежали люди, сновали изредка автомобили, а великий сыщик задумчиво кутался в уютный халат, пускал клубы крепкого дыма и созерцал. Ничто не могло потревожить олимпийского спокойствия Шерлока Холмса…

Однажды, в тот день, о котором идет речь, к Шерлоку Холмсу пришел его давний друг, доктор Ватсон. Доктор тоже порядком износился. Он облысел и красил остатки волос патентованным средством, возвращающим прежний, времен молодости, цвет. На нем был длинный старомодный сюртук; туго накрахмаленный воротничок принадлежал еще к светлым дням довоенного прошлого.

— Хэлло, Ватсон! – сказал Шерлок Холмс, встречая друга. – Ну, как дела?.. О, что я вижу?..

— Что такое?.. – смутился Ватсон, застенчиво поправляя довоенный воротничок. – О чем вы говорите?

Шерлок Холмс прищурил глаза и окинул пытливым взором.

— Вы преуспеваете, Ватсон, – сказал он, – вчера вечером вы ужинали с дамой… Если не ошибаюсь, с блондинкой…

— Со… совершенно верно, – поспешил согласиться Ватсон, робея перед дьявольской проницательностью своего друга. – Но откуда вы могли это узнать?

— Ваши ботинки в грязи, любезный Ватсон, – начал Шерлок Холмс, – следовательно, вы шли сюда пешком… Из этого мне нетрудно заключить, что у вас не было денег, чтобы нанять кэб… То есть, тьфу! – автомобиль… Затем, на рукаве вашего сюртука я вижу светлый волос, а пальцы вашей правой руки выпачканы чернилами… Вы были в ресторане с какой-то блондинкой, заплатили за ужин все находившиеся у вас деньги, а на оставшуюся сумму подписали счет… Конечно, я не ошибся?..

Ватсон почтительно склонил голову. Шерлок Холмс набил трубку, окутался облаком дыма и заметил:

— Но это все пустяки, милейший Ватсон. Дело не в этом… Скажите, вы ничего не имели бы против того, чтобы вспомнить старинку?.. Помните старика Мориарти и Знак Четырех? Хе-хе!..

Доктор Ватсон утвердительно закивал. Великий сыщик откашлялся и продолжал:

— Мне кажется, что это будет очень сложное дело. И – представьте себе – первое звено начинается отсюда, с Бэкер-стрит.. Возьмите бинокль, Ватсон, и взгляните сюда…

Шерлок Холмс подошел к окну и, подняв занавеску, указал на противоположную сторону улицы, где возвышалась массивная каменная стена. На стене были написаны мелом какие-то непонятные буквы.

Ватсон приставил бинокль к глазам и, подкручивая винт, долго изучал таинственные знаки. Наконец он обернулся и задумчиво обсосал нависшие моржовые усы.

— Мне кажется… – нерешительно заметил он. – Мне кажется, что это написано на русском языке…

— Вы совершенно правы, дорогой доктор! – оживился Шерлок Холмс. – Это самый настоящий русский язык. А теперь скажите, чем обычно занимаются русские?

Ватсон сморщил лоб и погреб ногтем облысевшую часть черепа.

— Насколько я помню, русские ездят на медведях, пьют водку и носят бороду… – сообщил он. – Виноват… кроме этого, они еще бьют своих жен сапогами и пляшут под балалайку ямщицкие танцы… Это, кажется, все.

Великий сыщик насмешливо прищурил глаз и выпустил клуб дыма.

— Вы забыли самое главное, любезный Ватсон, – заметил он. – Русские в большинстве случаев нигилисты… Они занимаются, главным образом, анархией!

— Верно! – подхватил доктор. – Это правильно! Ну, а что же эти знаки?..

Шерлок Холмс некоторое время помолчал, словно взвешивая свои мысли. Затем он сказал:

— Эти знаки пишет молодой человек лет двадцати пяти. Он, видимо, не хочет, чтобы его принимали за русского и бреет бороду. И еще одна странная особенность: каждый день он проходит дальше. Затем он возвращается… Но на этот раз он бывает очень элегантно одет, имеет большие роговые очки и наклеенные черные усики… Вы не находите, что это очень странно, Ватсон?

Доктор задумчиво подтвердил.

— Затем… – продолжал великий сыщик, – уже под вечер мимо проходит девушка… Она читает знаки, улыбается и тоже что-то пишет.

В руках у нее всегда имеется большая круглая коробка. И – представьте себе – однажды я нарочно вышел на улицу, чтобы определить содержимое коробки. Я, словно нечаянно, задел коробку рукой. Тогда – вообразите, Ватсон, – девушка вскрикнула, прижала коробку к груди и отскочила. Дальше я действовать не стал. Но – заметьте себе, Ватсон, – из этого можно заключить, что содержимое коробки далеко небезопасно… Что вы можете сказать по этому поводу?

Доктор Ватсон снова задумался.

— Я полагаю, что в коробке могли быть взрывчатые вещества… – наконец произнес он. – Я вам советую соблюдать осторожность, Холмс. Но все же – как вы намерены поступить?

— Сейчас увидите! – торжественно произнес сыщик, доставая из шкафа объемистый том. – Это – русско-английский словарь… Мы расшифруем надпись.

Друзья склонились над книгой, изредка сверяясь с надписью на стене.

— «Завтра вечером, после выступления»… – медленно перевел Ватсон, – «нужно поговорить. Кажется, удастся все сделать на этих днях… А.С.»

— К сожалению, остальные надписи смыло дождем, – заметил Шерлок Холмс, выглядывая в окно. – Эта надпись – последняя. Но во что бы то ни стало я раскрою дело. Вы, конечно, со мной, Ватсон?

Доктор кивнул головой молча протянул старому приятелю руку.

2

Шерлок Холмс и доктор Ватсон медленно прогуливались по улице. На великом сыщике был костюм рабочего. Мохнатые рыжие усы скрывали его плотно сжатые характерные губы. Кепка была небрежно сдвинута на бок, открывая рыжий парик. Ватсон был одет приблизительно таким же образом.

— Заметьте, любезный доктор, – по роли развязно ухмыляясь и

похлопывая спутника по плечу, говорил Холмс, – написано: «После выступления». Следовательно, они собираются где-то выступать. Может быть, предполагается массовая демонстрация?

— Вполне вероятно… – согласился Ватсон, подмигивая другу и толкая его локтем в живот. – Необходимо их выследить, я буду следить за девушкой, но вы, Холмс, возьмите на себя анархиста. Мне кажется, он менее опасен…

— Вы – неисправимый Дон Жуан, Ватсон… – начал сыщик, но внезапно остановился и потянул доктора за рукав: в глубине улицы двигалась мужская фигура.

— Вот он! – заволновался Холмс. – Я пойду за ним. Желаю удачи, Ватсон! Не зевайте!..

Молодой человек в роговых очках и с наклеенными усами быстро прошел мимо, на этот раз не оставив на каменной стене никакого знака. Шерлок Холмс покачнулся, икнул, загорланил козлиным голосом пьяную песню и двинулся за ним.

***

Когда доктор Ватсон возвратился в квартиру Холмса, сыщика еще не было. Ватсон насквозь промок под дождем, и настроение заставляло желать лучшего. Девушка, за которой нужно было следить, так и не появилась.

Заполнив своей особой глубокое кожаное кресло, Ватсон погрузился в чтение научного доклада о взрывчатых веществах. Холмс все не приходил.

Наконец, по прошествии довольно продолжительного времени, послышались шаги, дверь открылась, и Шерлок Холмс завалился в комнату.

Увы, Ватсон с трудом смог узнать своего знаменитого друга.

Великий сыщик был пьян. Его рыжий, намокший от дождя парик съехал на сторону, совершенно закрывая одно ухо. Костюм был в беспорядке.

— Дом, милый до-ом!.. – запел Холмс, пытаясь приплясывать на одном месте. – Друг Ватсон! Дайте, я вас поцелую!..

— Холмс! – с отчаянием воскликнул доктор. – Что с вами? Вы нетрезвы?..

— Сознаюсь, Ватсон… – махнул рукой сыщик, вензеляя по комнате. – Пьян… Шерлок Холмс пьян!.. О, это – хитрая бестия, – русский!.. Я хотел его подпоить и кое-что выпытать. А он никак не пьянел!.. Потом я хотел сорвать с него фальшивые усы, а он выбил мне мою вставную челюсть… Ватсон, вы мне друг?..

— Друг! – хмуро согласился Ватсон. – Только вы ложились бы спать, Холмс. Разделись бы и легли…

— Нет!.. – Холмс протестующе замахал руками. – Я ему отомщу!.. Я буду следить за ним! Он еще узнает Шерлока Холмса!.. Прав я или нет, Ватсон?..

Силы внезапно изменили великому сыщику. Он сел на пол, снял с себя парик и, подложив его под голову, с глухим бормотанием лег. Доктор Ватсон тяжело вздохнул и, взяв ковер, накрыл им уснувшего друга.

3

С того времени, как неизвестный русский отравил Шерлока Холмса алкоголем, прошло три дня.

Сыщик и его друг сидели у окна, смотря на улицу сквозь отверстие в занавеске, новых надписей на стене больше не появлялось.

— Мне кажется, что сегодня – решающий день, Ватсон… – заметил Холмс, обращаясь к доктору. – Они уже не обмениваются знаками. Вчера этот русский и девушка шли вместе. Она опять несла круглую коробку. Я думаю, что это была последняя ноша…

— Вы совершенно правы, Холмс… – начал Ватсон, но вдруг остановился и припал к занавеске. Шерлок Холмс тотчас последовал его примеру.

По другой стороне шли вышеупомянутые молодые люди. Они разговаривали и смеялись. В руках девушки не было ничего, но зато ее спутник нес большой, неправильной формы предмет, завернутый в тряпку.

— Это – бомба, Ватсон!.. – воскликнул Шерлок Холмс, нервно комкая занавеску. – Смотрите, смотрите!.. Видите, в одном месте просвечивает металл?..

Действительно, там где вещь не была обернута тряпкой, что-то блеснуло серебристым блеском. Предмет был определенно металлический.

— Скорее, Ватсон!.. – вскочил Холмс, засовывая в карман наручники и револьвер. – Мы должны обезоружить злодеев. Я схвачу этого человека, а вы не упускайте девушку… Идемте!

Сыщик и его друг, торопливо сбежав по лестнице, выскочил на улицу.

— Стоп!.. – крикнул Холмс, выхватывая револьвер и бросаясь к молодому человеку. – Ни с места, или вы будете убиты! Я – Шерлок Холмс!..

Девушка вскрикнула и отскочила в сторону. Подоспевший доктор Ватсон схватил ее за руки.

Спутник девушки некоторое время стоял, не двигаясь с места. Потом он вдруг издал угрожающий крик, бросил металлический предмет, который держал в руках, и кинулся на выручку. Тряпка развернулась, открыв лежащий на земле странный, комической формы снаряд со всевозможными винтами и выступами.

— Падайте на землю, Ватсон!.. – громко закричал Холмс, распластываясь на тротуаре. – Он бросил снаряд! Сейчас будет взрыв… Падайте же!

Ватсон мгновенно отпустил руки девушки и растянулся во весь рост. Издали бежали два полисмена и несколько любопытных.

Шерлок Холмс приподнял голову и взглянул на таинственный снаряд… Адская машина не разрывалась. Ее обладатель стоял, изумленно глядя на происходившее.

— Хватайте его, констэбль!.. – крикнул великий сыщик, поднимаясь с земли и указывая полисмену на русского. – Это – анархист… А эта особа – его соучастница…

— Именем закона… – начал полисмен.

Внезапно он остановился и взглянул на русского.

— О-о!.. – протянул он. – Так это же Александер Сидорофф! Он – поет русские песни в мюзик-холле…

— Он – анархист!.. – иступленно закричал Ватсон, стряхивая с сюртука пыль. – Вы видите этот снаряд?..

Русский оглянулся и посмотрел на лежавший металлический предмет.

— Снаряд?.. – изумленно переспросил он. – Это вовсе не снаряд. Это – самовар!..

— Samovar?.. – не понял Шерлок Холмс. – Что это такое: «samovar»?..

— Ну да, самовар!.. – раздраженно крикнул русский. – Это такой прибор… Для домашнего обихода… Понимаете?..

Полисмены нерешительно топтались на месте.

— Постойте!.. – сказал Шерлок Холмс, прищурив глаза и обращаясь к русскому. – Почему же тогда вы каждый день меняли костюм и приклеивали себе усики?.. Почему вы писали на стене?.. И, наконец, почему вот эта ваша спутница носила круглые коробки, с которыми она так осторожно обращалась?.. Что же вы скажете на это?

Русский недоуменно развел руками.

— Вы, наверно, сошли с ума… – начал он. – Я менял костюм потому, что не мог же я выступать в мюзик-холле таким, как есть! Я работаю днем в гараже, а под вечер прихожу домой, переодеваюсь и иду в мюзик-холл… Записки на стене я писал этой особе, которая также занята целый день. Я уславливался с ней о свидании… А в круглых коробках моя невеста носила шляпы из мастерской – она разносит по домам заказы… Вчера мы с ней поженились и решили купить самовар! Видите?..

Доктор Ватсон внезапно хлопнул себя по лбу.

— Самовар!.. – воскликнул он. – Теперь я вспомнил!..В самоваре вы, русские, варите сапоги всмятку?.. Правильно? Я угадал?..

— Не сапоги, а водку! – мрачно поправил его Шерлок Холмс. – Водку наливают в самовар, а потом пьют из кокошника… Однако, вы свободны, господа. Можете идти… Мне кажется, что на этот раз я ошибся…

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1933. № 50.

Проза

ДОЛИНА ОСВОБОЖДЕННЫХ ДУШ

Интервал между моей первой и второй встречей с Крыжаничем исчислялся в двенадцать долгих лет. Первая встреча была в Чите, в годы революции. Вторая – в Харбине, среди мелочного быта людей, придавленных жизнью, катящихся по наклонной плоскости.

Тогда, в Чите, я видел его в темно-зеленом френче, кожаных галифе и желтых крагах. У пояса его, в кобуре, висел наган, от которого тянулся красный шнур с кистью. Лицо Крыжанича – моложавое, костистое, с темными щетинистыми усиками, казалось энергичным и крепким. Твердый подбородок выступал резко вперед. Над бровями – четкая и решительная морщинка. Серые глаза смотрели твердо.

В момент моей второй встречи с Крыжаничем я увидел совсем другого человека… В людном ресторане, где звенела посуда, оглушительно гремела электрола и перекликались люди, ко мне подошел высокий человек.

— Здравствуйте, – сказал он, без приглашения садясь за мой столик, – я вас сразу узнал. Вы почти не изменились, честное слово.

Что-то знакомое на короткий миг мелькнуло в глазах странного субъекта и тотчас же исчезло снова. Я определенно не видел этого человека ранее. Узкое и худое, обтянутое желтой кожей лицо… Глаза – какие-то выцветшие и потухшие… Редкие волосы, сквозь которые просвечивала сухая, желтая кожа черепа. Тонкие губы, очерченные резкими и глубокими складками. И руки – ужасные руки скелета – желто-серые, худые, с длинными, крючковатыми пальцами.

— Я не знаю вас… – почти с испугом вырвалось у меня.

Он улыбнулся. Вернее, скупо обнажил желтые зубы. Улыбка была мертвой гримасой, без выражения, без намека на выражение.

— А я вот вас сразу узнал, – заметил он. – Вы почти не изменились. Я, напротив, очень… Моя фамилия – Крыжанич. Теперь помните?

Я вспомнил мгновенно, но вспомнил того Крыжанича, с которым я встречался в Чите… Это воспоминание наплыло так, как бывает на экране. И мой собеседник, видимо, почувствовал это.

— Не похож? – спросил он, криво улыбаясь. – Я знаю. Конечно, не похож.

Я поспешил уверить, что узнал его сразу же после того, как он назвал фамилию. Вероятно, он не поверил.

— Что вы здесь делаете? – спросил я, чтобы сгладить впечатление момента.

Он пожал худыми плечами.

— Я здесь обедал, – равнодушно сказал он. – Знаете что… я очень рад, что вас встретил. Пойдемте сейчас со мной.

— Куда?.. – невольно спросил я. На миг мне показалось, что передо мной сумасшедший.

— Мы пойдем в курильню опиума, – спокойно заметил он. – Там я расскажу то, что покажется вам интересным.

Не знаю, почему я согласился. Но то, что он рассказал, действительно оказалось интересным. Мне не пришлось жалеть о нескольких потерянных часах.

***

В узкой кабинке с циновочными нарами пахло удушливо и терпко. Мой собеседник склонился над маленькой спиртовой лампочкой с круглым стеклом. Между двумя иглами в его руках шипел и пузырился комочек темно-коричневого теста. От этого комочка шел удушливый, дурманящий запах.

— Вы будете?.. – спросил он, кивая головой на комочек опиума.

Я отрицательно покачал головой.

Крыжанич взял трубку. Продолжая лежать, он приблизил трубку с широким наконечником к лампочке и взял в рот мундштук. В трубке прерывисто и часто захлюпало. Из ноздрей Крыжанича тяжело и густо поплыли струи молочно-белого дыма.

Несколько мгновений спустя он отложил трубку. Глаза его, бывшие до сих пор пустыми и тусклыми, заблестели. На обтянутых желтой и сухой кожей щеках загорелся темный румянец.

— Сейчас я вам расскажу, – проговорил он. – Сейчас, только выкурю еще одну…

Снова из ноздрей моего странного собеседника заструился тяжелый, удушливый дым. В кабинке стоял приторный запах опиума. От этого запаха у меня начинала кружиться голова.

Тогда Крыжанич отложил трубку в сторону, отодвинул лампочку и опустил голову на соломенную высокую подушку. В облаках тяжелого наркотического дыма тяжелыми каплями падали его первые слова.

Он говорил медленно и тяжело. И в каждом слове, в каждой фразе рождались какие-то неясные образы, может быть, вызванные влиянием дурманящего белого дыма. Крыжанич говорил тихо, придыхая, с глухим свистом. Так дышат чахоточные в последней стадии. И слова его, падая одно за другим, сплетались в фразы, рождая какой-то невероятный, необычайный по своей фантастичности рассказ.

***

— Мы с вами впервые встретились в Чите, – начал он. – Вы помните… Мы бывали вместе у Звягиных. Помните этих двух девушек? Они были такими наивными и мечтали о замужестве. Интересно – вышли или нет?..

Впрочем, это не важно. Я скоро умру, а они будут жить, как и вы… Понимаете, вы будете жить, а я умру…

Это случилось несколько месяцев спустя после того, как я выехал из Читы… Не знаю, известно ли вам то, что я был не только летчиком, но и художником: средства у меня были – я являлся наследником владельца каменноугольных копей в Сибири. И я – должен сознаться – дезертировал из Читы для того, чтобы пробраться за границу и осуществить свою мечту… В России у меня не осталось семьи. Отца расстреляли большевики. Мать, сестра и два брата пропали без вести. Меня не задерживало ничто…

Крыжанич закашлялся сухим прерывистым кашлем. Его руки, сухие и желтые, снова потянулись к трубке. Рука, державшая трубку, дрожала.

— Сейчас… – заговорил он. – Сейчас я буду продолжать. Извините – это только временная слабость…

Он отложил трубку на соломенный кан и снова опустил голову на подушку. Глаза его были закрыты. Веки казались синими и прозрачными.

Крыжанич заговорил еще медленнее, но уже более связно, более планомерно. Он словно читал по книге. Читал необычайный, яркий и фантастический рассказ…

***

— Я буду говорить как можно короче, – снова начал он. – Я уже сообщил вам о том, что дезертировал из Читы. Я предполагал пробраться в Маньчжурию. По железной дороге было невозможно. Тогда я предпринял путешествие в Монголию с товарным обозом.

Была весна. Степь покрылась зеленым ковром с красивыми узорами из цветов…

Я не буду рассказывать подробностей нашего путешествия до того памятного дня, когда все случилось. Я ехал в засаленной монгольской одежде, не брился, не умывался, а в подкладке халата были зашиты алмазы – на несколько десятков тысяч рублей.

В тот день, когда произошел налет, в степи бушевал тайфун… Тучи пыли взметнулись с земли… Склонилась ниже свежая молодая травка… Пыль била в глаза, скрипела на зубах, скрывала небо плотной серой завесой… Наш караван вынужден был разбить становище… И вот в этот момент, в страшном реве бури, защелкали выстрелы: на нас напала орда… В облаках пыли я видел, как заметались туманные силуэты…

Я нащупал под халатом браунинг… В тот же момент (все это происходило с невероятной быстротой) прямо в лицо мне ударила горячая конская морда. Я рванул браунинг. Мой выстрел почти слился с другим выстрелом. И, видимо, тот был раньше… Тупая боль в груди заставила меня согнуться. И, вместо дыхания, у меня хлынуло что-то горячее, соленое, липкое… Это горячее захлестнуло меня, качнуло и толкнуло куда-то в темный провал.

***

Над моей головой выплыло туманное серое пятно. Оно то светлело, то снова исчезало в какой-то мути. Иногда, силясь разглядеть его, я улавливал какие-то рисунки, орнаменты. Потом все снова сливалось…

Постепенно я стал улавливать методичный звук, повторяешься беспрестанно и долго. Звук этот почти убаюкивал. Я снова потерял способность чувствовать и понимать.

Пробуждение стало сразу четким и ясным. Я лежал лицом вверх. Над головой у меня находился потолок с цветными орнаментами в восточном вкусе. А звук – звук был человеческим голосом. Кто-то невидимый, находившийся вне поля моего зрения, монотонно и глухо бормотал.

Я прислушивался. Вскоре я уловил в бормотаньи части членораздельной речи. Невидимый голос раз за разом повторял одну и ту же фразу.

— Ом… Мани-падме-хум… Ом… Мани-падме-хум…[20]

Мне захотелось увидеть того, кто производил звук. Я хотел встать, но не смог. Резкий укол в груди почти заставил меня потерять сознание. И в этом полуобморочном тумане, в полубредовых видениях, я запомнил женское лицо… Оно склонялось ко мне совсем близко. Я видел изогнутые брови, яркий рот и глаза, зеленые, как морская вода под солнцем. Ее голос повторял:

— Лежи. Лежи, не шевелись… Еще день, еще один день…

Снова нахлынули ужасные химерические маски, мучившие меня своими нечеловеческими гримасами. Мне казалось, что я все глубже и глубже опускаюсь в какую-то темную воду. Вокруг меня колыхались водоросли. И они, эти водоросли, были живыми. Их щупальца шевелились вокруг меня, я видел липкие присоски, ощущал их жадные спазмы на своей шее… В грудь забиралось удушье. Я куда-то метнулся, что-то рванул и снова потерял способность сознавать свое существование.

Потом вдруг сразу стало спокойно. По телу разливалась мягкая теплота. Я открыл глаза. И снова женское лицо (я сразу узнал его) склонилось ко мне близко. Ее голос, немного глуховатый, низкий, сказал:

— Теперь ты будешь жить… Спи сейчас, спи…

Я закрыл глаза… Погрузился в сон.

***

Я не знаю, какая колдовская сила может залечить рану в сердце…

Во время памятного нападения в степи я получил смертельное ранение в сердце. И сейчас, всего две недели спустя после того, как это случилось, я был здоров…

И еще другое – я встретил женщину, которую должен был когда-нибудь встретить. Она сидела передо мной, слушала мои слова, смотрела

[20] Молитвенная формула монгольских лам.

на меня и говорила со мной. И ее глаза были как море под солнечными лучами, ее косы горели красной медью, яркие губы улыбались…

Так странно – прежде я никогда не поверил бы в существование каких-то потусторонних сил, заложенных в человеке. Теперь я видел их сам. И я не удивлялся…

Я видел, как волк, дикий и озлобленный, только что пойманный на аркан и огрызавшийся в бессильной злобе, вдруг, увидев эту женщину, прижался к земле и полз к ней… Я видел, как исцелялись кровавые раны, последствием которых могла быть только смерть. И в тот монастырь, куда привезли меня раненого, приходили слепые, больные и умирающие. Они уходили оттуда здоровыми и бодрыми – я это видел сам…

Я до сих пор не могу понять, кто доставил меня в глубину Монголии, в это странное убежище монахов с серыми лицами. Я пробыл в дацане около месяца. Там я встретил Харго, – эту женщину, – там же я расстался с ней. И там же, в этом дацане, я встретился с бароном Романом Федоровичем Унгерн-Штернбергом.

***

Я не могу подробно нарисовать вам ее облик. Я сам не помню его. Она всегда останется в моей памяти какой-то туманной, фантастичной. Впрочем, она и должна остаться такой, она – женщина из Долины Освобожденных Душ.

Даже ее слова запомнились мне не ярко. Я запомнил на всю жизнь, запомнил четко только ее рассказ о странной Долине, где есть только жизнь, где небо всегда голубое, а в тени огромных деревьев с широкими зелеными листьями расцветают чудесные цветы…

В ту Долину есть только один вход. И вход этот видят не все. Его могут найти только люди, отрешившиеся от всего земного, от мелких страстей, от эгоистических стремлений, от того, что существует и ценится на земле.

И в этой стране, где только светлое живет и существует, нет смерти… Тела там легки и почти прозрачны… Там с легким звоном падают ручьи с коралловых скал, а золотые рыбки – с такими большими и выпуклыми глазами – подплывают близко и плещут на берег алмазные брызги…

Я не знаю – может быть, это только красивая легенда. Но я верю, верю до сих пор в то, что эта долина есть, что она существует и что там – ждет меня женщина с медными косами и высокий хмурый человек с сумасшедшим лицом и сердцем средневекового рыцаря.

***

Однажды под вечер к воротам монастыря приблизилась кавалькада. Впереди – на черном коне – ехал высокий человек в монгольском костюме. За ним – четверо казаков в мохнатых папахах.

Я видел, как упали перед ним ниц монахи. Видел, как он сошел с коня и быстро, крупными шагами, прошел в храм. И я услышал, как глухо и призывно прогудел в храме гонг, призывая богов принять молитву смертного.

Сначала я не знал, что этот высокий человек с дергающимся лицом и светлыми усами – знаменитый барон Унгерн, «бог войны», черный генерал – человек, перед которым преклоняются монголы, которого боготворили и считали перевоплощенным Чингисханом. Я не знал, что это – одно из обычных путешествий барона, когда он, внезапно исчезнув из своего лагеря, скакал чуть ли не сотню верст верхом для того, чтобы добраться до какого-нибудь полуразрушенного дацана и там, ночью, склониться в молитве перед исчезающим в тени изображением божества.

Высокий человек исчез в храме. Я видел, как сопровождавшие его казаки рыскали по монастырю. Видел, как один из них, раздобыв где-то баклагу с водкой, здесь же, во дворе, пил прямо из горлышка.

Небо темнело. Вскоре выплыли звезды. Высокий человек вышел из храма и прошел по двору. И тогда произошло то, благодаря чему мне пришлось узнать этого человека ближе.

Казак, – тот, что пил водку, – шатаясь, брел вдоль ограды. Он был пьян. И высокий человек видел это… Быстро пройдя несколько шагов, отделявших его от казака, он наотмашь ударил пьяного бывшим у него в руках ташуром…

Тот покорно согнулся, защищаясь руками. Но как только высокий человек отошел, я увиден, как казак, оглядываясь вокруг, снимал с плеча винтовку…

Я невольно крикнул… Высокий человек в монгольском халате оглянулся. Я хотел крикнуть еще раз, хотел обратить его внимание на казака. Но в этот момент казак, видимо озлобленный моим криком, повернулся ко мне, и я увидел направленное на себя дуло. Выстрел и ощущение удара в бок последовали почти в один и тот же момент… Я потерял сознание…

Однако на этот раз я оказался счастливее. Пуля только скользнула по мне, задела серебряный портсигар… Я пришел в себя несколько секунд спустя. А надо мной стоял, склонившись, высокий человек с светлыми усами. Монах расстегивал мне халат.

— Не задело, – внезапно сказал высокий человек. – Ну, вставайте. Я – барон Унгерн-Штернберг…

***

Конечно, я сам виноват в том, что не сказал барону сразу про Харго – про женщину с медными косами и зелеными глазами. Может быть, тогда все было бы иначе.

Я поехал с бароном, не сказав ему ни слова про нее… Вероятно, вы

знаете, что я в продолжение нескольких месяцев служил в частях барона Унгерна. И однажды…

…Крыжанич снова закашлялся сухим и прерывистым кашлем. Снова протянул к трубке дрожавшую худую руку. Снова тяжелый дым заструился у него из ноздрей, сопровождаемый методичным хлюпаньем в трубке…

***

— Однажды я решил дезертировать снова… – продолжал он. – Я не мог больше ждать… Я должен был найти ее, должен был добраться до того старого дацана, куда меня привезли раненого и где я увидал ее… Кто была она? Что означала ее легенда о Долине Освобожденных Душ, откуда она будто бы явилась?.. Я должен был это узнать, должен был снова найти ее…

Но мне не пришлось. Мою попытку к дезертирству обнаружили. Я знал – конец может быть только один – расстрел. И поэтому, стоя перед бароном, я решил рассказать ему все, как было, всю правду…

Я начал с момента моего ранения. Барон слушал хмуро, изредка дергая углом рта.

Я заговорил о ранении в область сердца, о чудесном исцелении, о странной женщине и, наконец, о Долине Освобожденных Душ – о том, что говорила мне эта женщина…

После первых же моих слов о легенде барон вздрогнул. Его глаза буквально впились в меня… И, когда я кончил, он хрипло спросил:

— Вы говорите правду?

Я кивнул головой.

— Мы сейчас едем в тот монастырь, – сказал барон, вставая.

***

Теперь остается досказать немного. В монастыре мы ее не нашли…

На расспросы барона монахи падали ниц и молчали. Они не знали эту женщину. Она приехала внезапно и привезла с собой раненого (этим раненым был я). Потом она исчезла – так же внезапно, неизвестно куда. С ней было несколько спутников… Может быть, монголы, может быть, нет, а может быть (монахи пугливо озирались), может быть, эти люди той страны, которая находится за горами, в которую не может пройти никто из земных и в которой жизнь так прекрасна, как нирвана…

Меня не расстреляли. Барон отпустил меня. Отпустил с условием, что если я узнаю что-нибудь о той женщине или о той дальней стране, куда нет входа для смертных, – я должен известить его…

Остальное вам известно – барон умер. Я пока живу. И вот, из года в год, я ищу эту Долину Освобожденных Душ, где нет смерти, где всегда голубое небо, а ручьи звенят, как музыка…

Только теперь мне кажется, что я понимаю сущность этой страны… Иногда я даже вижу ее… Вижу коралловые скалы, с которых падают ручьи из хрусталя, вижу голубые, как небо, озера, вижу чудесные цветы и среди них – людей с телами почти прозрачными, легкими, как тени…

И я знаю, в той стране меня ждут – ждет женщина с зелеными глазами и медными косами – жительница той страны – и ждет высокий человек в монгольском халате, ушедший в ту страну, где нет смерти, потому что эта страна – сама смерть…

***

…Крыжанич закончил рассказ и опустил голову на высокую соломенную подушку. На его лице появилось каменное, почти мертвое спокойствие. Он дремал.

Я приподнялся и посмотрел в окно. За окном шел дождь – предутренний, зябкий. Чуть синел рассвет на востоке.

— Пойдемте, – внезапно сказал Крыжанич, поднимаясь. – Вы сейчас домой?

Мы вышли на улицу. Мелкий и частый дождь шел непрерывно, гадко. Блестел мокрый асфальт. Отражались на асфальте желтые, утренние фонари.

— До свиданья, – сказал Крыжанич, протягивая мне руку. – До свиданья, больше не увидимся…

Я машинально попрощался с ним. Он повернулся ко мне спиной и быстрыми шагами пошел в темноту, в частую сеть дождя, в туман…

Дождь понемногу освежил мою голову. Я вдохнул свежий предутренний воздух. Шел рассвет…

И в этот миг мне показалось, что я проснулся после какого-то дикого и бредового сна, что Крыжанича нет и никогда не было и что все это я увидал в каком-то кошмарном, химерическом сне…

Впервые опубликовано и печатается по: Луч Азии. 1935. № 14. С. 17-20.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОЖИ ЦАЙ

Эту историю мне поведал старый китаец за чашкой золотого цветочного чая. Он рассказывал обстоятельно и витиевато, жестикулируя длинными желтыми пальцами. Изредка он подносил к губам чашку и с длительным хлюпаньем втягивал в себя горячую душистую струю. Затем он ставил чашку, поднимал глаза и продолжал свое повествование.

К сожалению, рассказчик далеко не в совершенстве владел русским языком. Я тоже далек от полнейшего знакомства с китайским. И поэтому

мне пришлось изложить этот рассказ моим собственным слогом, лишь изредка вставляя особенно характерные фразы и пояснения моего любезного собеседника.

Почтенный господин Цай курил опиум в продолжение более чем пятнадцати лет.

В первый раз он зажег свою лампочку и поднес ко рту трубку на следующий день после того, как покинула этот мир душа его первой и единственной супруги, госпожи Цай Цзи-шень.

В те дни господин Цай ощущал острую боль в сердце от невознаградимой утраты. И он знал, что густой белый дым опиума может сделать эту боль не столь сильной, не столь мучительной.

Старый господин Цай выкурил свою первую трубку, вспоминая яркий летний день на берегу реки в благословенной провинции Шаньдун. В тот пропитанный золотым солнечным соком день небо было ярко-голубым, как на картине художника, река сияла так, что болели глаза, и над рекой белело цветущее дерево груши. Под этим деревом, белым-белым от цветов, господин Цай, тогда еще молодой, стройный и смуглый, встретил юную девушку в розовом шелковом халате. Щеки девушки были нежны и теплы, как персик под солнцем. Девушку звали еще детским именем – Хай-Лу. А позже она стала госпожою Цай Цзи-шень, любимой и единственной супругой уважаемого и достойного господина Цай.

Перед похоронами супруги старый господин Цай курил трубку за трубкой и думал о первых встречах и днях счастья под солнцем провинции Шаньдун. И еще господин Цай думал о том, что скоро белые бумажные кони, которых сожгут в день похорон, понесут душу госпожи Цзи-шень в золотое просторное небо. Белые кони умчатся с дымом в пляшущих языках огня, а визг пищалок и грохот литавров будут веселить звонкой музыкой освобожденную уходящую душу…

С тех пор прошло пятнадцать лет. Господин Цай курил опиум. Но ни разу за то время, как пятнадцать раз цвели грушевые деревья, он не посетил даянь-гуан[21]. Он курил дома, зажигая на своем кане маленькую лампочку с круглым стеклом и переворачивая над огнем серебряными иглами пузырящийся комочек коричневого снадобья. Опий поджаривался, пальцы господина Цай методично вращали иглы, а в торжественном выражении его лица таилась великая философия малого спокойствия жизни.

Поджарив опиум, господин Цай приготовлял из него аккуратные темные шарики и начинал курить.

Трубка, принадлежавшая ему, была старой и ценной. Из нее курили чьи-то деды и прадеды, и она имела вид человеческой руки, сжимавшей

[21] «Даяно-гуан» – курильня опиума.

пальцами темную обкуренную чашечку. Наконечник был из мягкого камня и приятно ласкал губы, когда в чашечке курился и булькал темный плавящийся шарик.

Лао-Цай – что означает «почтенный Цай», как звали его знакомые, – имел на краю города маленький дом с садиком и голубятней. В этом домике с черепичной крышей скончалась любимая Цзи-шень, и ее живой памятью было грушевое дерево в саду – с такими же белыми цветами весной, как то, что стояло на берегу реки в благословенной солнечной провинции Шаньдун.

В голубятне жили голуби. Они были самых разных окрасок, и каждое утро господин Цай выходил кормить их в маленький утрамбованный дворик. Он бросал на землю горсти гаоляна, и голуби падали вниз пестрым каскадом. Потом они взлетали на крышу и на верхушку стоявшего посреди дворика деревянного, беленого известью щита с большим черным иероглифом «Фу», что означает «Счастье».

Господин Цай курил опиум непременно в одно и то же время дня. Почтенный Цай был мудр: он курил опиум очень долго и отлично знал, что такое «фа-ин»[22].

В час, когда летнее солнце начинало клониться к закату, старый господин Цай чувствовал, как приближается фа-ин. Появлялось недомогание. Прежде всего приходила зевота. Господин Цай зевал, жестом руки отгоняя от рта нехороших духов, и шел к сундуку, где хранились трубка и лампочка.

В тот день, с которого начинается эта история, старый господин Цай лег в обычной позе на кан и поправил серебряной иглой фитиль лампочки, горевшей длинным языком огня.

Он воткнул иглу в комочек липкого опиума и, придерживая его другой иглой, собирался поднести к лампочке. Сейчас должен был поплыть по комнате густой аромат мака.

Но в это время господин Цай услышал шорох в углу, там, где стоял большой сундук и где обои отставали от стены отсыревшим лоскутом бумаги.

Господин Цай опустил иглу с опиумом и посмотрел. То, что он увидел, было немного удивительным, и господин Цай продолжал лежать неподвижно, наблюдая, как в углу появилась и села на лапки огромная рыжевато-серая крыса с острой хитрой мордочкой и блестящими бисеринками-глазами.

Крыса сидела на задних лапках, приподняв передние. Она наклонила голову набок и внимательно смотрела прямо на господина Цай. Вероятно, это была очень старая и мудрая крыса – она превосходила величиною всех

[22] «Фа-ин» (точный перевод – «штраф за курение») – реакция, выражающаяся в потребности новой порции опиума.

крыс, которых когда-либо видел господин Цай, и выражение ее острой мордочки было осторожным и выжидающим.

Смотря на крысу, господин Цай думал, не оборотень ли она, явившийся, чтобы смутить спокойствие его души и заставить совершить злое дело. Он знал, что оборотни часто принимают облик лисицы, но могут ли они превращаться в крыс – об этом ему ничего известно не было.

Продолжая смотреть на крысу, господин Цай приподнялся на кане. Крыса повернула голову, по-прежнему не спуская с него блестящих бусинок-глаз. Когда же господин Цай сел и протянул руку, чтобы взять туфлю, крыса медленно опустилась на передние лапки и нехотя скрылась за оторванным куском обоев.

На следующий день, снова в тот момент, когда господин Цай зажег на кане лампочку, из угла появилась крыса. Теперь она была посреди комнаты и сидела как прежде на задних лапках, поблескивая живыми и острыми глазками. Все время, пока господин Цай курил, крыса сидела, приподняв передние лапки и склонив голову набок. Когда же кончилась последняя трубка, крыса скользнула в угол, зашуршав обоями.

И так стало повторяться каждый день…

Господин Цай больше не опасался того, что крыса может быть оборотнем. Напротив, ему казалось теперь, что в умном взгляде зверька таится доброжелательство. Один раз старый господин Цай подумал даже – не вошла ли душа госпожи Цзи-шень в тело этой крысы, так настойчиво и выжидающе сидевшей перед ним?..

А однажды, когда господин Цай надолго задумался за трубкой, он увидел, что крыса сидит уже на кане. Она совсем не боялась его, и острая мордочка ее тянулась к трубке, над чашечкой которой струился тонкий дымок опиума.

— Когда небо посылает нам гостя, мы должны встретить его достойным образом… — произнес господин Цай. И, дунув на крысу дымом опия, сказал: – Кури, и пусть мысли твои станут светлыми и легкими!

Крыса вдыхала тяжелый белый дым, шевеля острой мордочкой и поблескивая глазами. Когда же господин Цай кончил курить, она спрыгнула с кана и скрылась в углу.

Теперь она стала приходить ежедневно, в одно и то же время дня. За несколько минут до начала курения крыса садилась на кан и нетерпеливо перебирала передними лапками. Пока жарился опий, она нюхала воздух и крутила головкой.

Иногда господин Цай разговаривал с крысой. Он говорил ей о том, что теперь крысе придется приходить к нему ежедневно, так как сейчас ей будет, наверное, очень трудно провести хотя бы один день без опийного дыма.

Крыса слушала внимательно, и часто господину Цай казалось, что она понимает его слова, настолько светились рассудком блестящие черные бусинки ее глаз.

Так проходили дни… Зацвело белой пеной и опало дерево груши в саду, и снова цвело и опадало. Сам господин Цай стал сутулее и как будто бы меньше ростом, а сухая кожа на его лице резко обтягивала желтые скулы. Крыса стала еще больше и словно поседела – вокруг ее мордочки появились серебряные шерстинки. А глаза ее стали еще умнее и понятливее, и она с вниманием вслушивалась в каждое слово. Теперь господин Цай был уверен – иногда она понимает его. И говорил с ней подолгу, как говорил бы с самим собою.

А весна сменялась летом, за которым шла осень и подходила зима. По утрамбованному дворику важно ходили пестрые голуби, которых господин Цай кормил гаоляном. Дожди омывали и солнце сушило стоявший во дворе большой деревянный щит с тускнеющим черным иероглифом «Фу».

И однажды пришло несчастье.

Уже несколько лет, как был заложен маленький домик на окраине города с грушевым деревом в саду и утрамбованным двориком… Старый господин Цай знал: нужно заплатить пять тысяч, а иначе люди заставят отдать и домик, и удобный нагретый кан, и большие часы, что на столике, и картину на шелку, изображавшую реку, и все, все…

Знал он и то, что у него нет пяти тысяч. Если бы они были – разве заложил бы он тот домик, в котором столько лет прожил и который связан с священной памятью госпожи Цзи-шень?.. В этом домике она умерла, в этом домике должен умереть и он, старый Цай, – и не все ли равно, если он умрет на три или четыре года раньше?..

В тот день, который принес несчастье, старый господин Цай зажег свою лампочку со стесненным сердцем. Его не радовал огонек, охвативший масляный фитиль, не радовали голуби, ворковавшие на подоконнике.

Крыса сидела на кане, как обычно. Она с нетерпением крутила головкой и блестела глазками.

Когда поплыли первые белые облачка и господин Цай подул на крысу густой струей дыма, он почувствовал, как печаль влилась в его сердце и переполнила его до краев.

— Сегодня мы курим в последний раз… – сказал крысе господин Цай и опять подул на нее дымом. – Завтра мы уже не будем курить… Мне жаль, что тебе придется чувствовать болезнь несколько дней, но что же я могу сделать?..

Крыса слушала, внимательно посматривая на него черными блестящими глазками. Снова господин Цай прочел в этих глазках понимание и, вздохнув, рассказал крысе все.

— Небо видит, у меня нет пяти тысяч… – с грустью закончил он. – Поэтому сегодня мы курим в последний раз, а вечером я засну тем сном, который дает опиум, и больше никогда не проснусь.

Закончив, господин Цай посмотрел на крысу. Она пошевелила передними лапками, закрутила головкой, и господину Цай показалось, что крыса хочет что-то сказать.

Но она не сказала ничего, только покрутила головкой, опустилась на передние лапки и соскользнула с кана на пол.

— Больше я не увижу тебя, – сказал господин Цай и стал думать о том, что скоро его душа встретится с душою незабвенной Цзи-шень, встретится там, куда уходят после смерти все человеческие души.

И наступил вечер. И ушло солнце за зубчатые крыши города. И стал приближаться последний час жизни господина Цай на земле.

В маленькой фаянсовой чашечке господин Цай поставил на кан теплую воду. В промасленной бумаге лежал кусочек сырого опиума. Теперь нужно только проглотить этот кусочек, запить его теплой водой, и придет сон, крепкий и могучий, как смерть.

Господин Цай воткнул курительные свечи в горку пшена перед алтарем домашнего бога. Аромат курений распространился по комнате; старый господин Цай молился в последний раз…

Внезапно шорох у стены рассеял его внимание. Господин Цай обернулся. И увидел…

На полу сидела крыса, смотрела прямо на него, а во рту она держала граненый, ослепительно вспыхнувший при электричестве камешек.

Крыса наклонила голову и положила камешек на пол. Затем вновь скользнула за оторванный кусок обоев. И, пока господин Цай изумленно рассматривал большой, волшебно сиявший, неоправленный бриллиант, крыса вернулась и положила на пол второй точно такой же…

Только тогда господин Цай понял, понял насколько ценны эти бриллианты, понял и то, что крыса чудесным путем спасла его от смерти, сохранив ему домик, а вместе с ним и жизнь.

И старый почтенный господин Цай заплакал, как мальчик, и слезы потекли по желтым сухим щекам. Господин Цай плакал перед крысой, гладил ее рукой говорил:

— Теперь я знаю, кто ты! Ты – душа моей верной, возлюбленной Цзи-шень, и ты пришла для того, чтобы быть со мною всегда и помочь мне в минуту несчастья!..

Крыса смотрела на него, и в ее бисеринках-глазах господину Цай почудились светлые слезинки.

— Ты снова вернулась ко мне!... – повторил он. – А помнишь тот солнечный день у реки в Шаньдуне, когда мы встретились в первый раз? Ты была в розовом халате, и у тебя был шелковый зонтик. Тогда цвела

груша над водою, и ты сбивала зонтиком белые цветы, а я поднимал их с земли и думал о том, что твое лицо белее, чем цветы груши, а улыбка яснее, чем небо над рекой!.. А помнишь, был вечер, чуть плескалась вода, плыла огромная желтая луна над рекой, пели цикады, и в саду старого Као играла флейта… Помнишь ли?..

Так прошла ночь. На кане сидела большая седая крыса, а старый господин Цай лежал перед нею и говорил, говорил до самой утренней зари.

Конечно, господин Цай продал бриллианты и заплатил выкуп за домик с грушевым деревом и утрамбованным двориком с голубями. Он не интересовался, откуда взялись бриллианты, считая все это чудом, на что и было похоже, – не правда ли?

А три года спустя он умер. Умер ночью, во сне, и на следующий день его нашли мертвым соседи.

Когда же были совершены похороны и белые кони умчали с огнем душу старого господина Цай в вечернее звездное небо, соседи, пришедшие в его опустевший домик, нашли на кане громадную седую мертвую крысу.

Крыса была очень большая. И соседи невольно подумали, что это был, может быть, добрый дух дома, охранявший хозяина, и теперь, когда старый Цай умер, покинувший землю для того, чтобы вернуться в свои небесные края.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1937. № 28.

СЛЕД ЛИСИЦЫ

Женщина, умершая нехорошей смертью, превращается в лисицу с волшебными и злыми свойствами. Она может казаться живой женщиной, может говорить на языке людей. Но человек не должен верить ей, как бы прекрасна она ни была: мертвая женщина отравит его душу и выпьет его жизнь для того, чтобы продолжать свое существование в образе оборотня-лисицы.

Китайское поверье

1

К вечеру Самарин понял, что заблудился.

Сгущались сумерки, и снег на склонах сопок стал синим. На западе, где опускался зеленый занавес зимнего заката, ряд лиственниц резко вырисовывался на вершине скалистого гребня, кустарники выступали темными пятнами.

Самарин устал. Убитая коза, притороченная спине, замерзла и приобрела деревянную твердость. Веревки резали плечи сквозь ватную куртку. А винтовка как будто бы стала весить вчетверо больше, и правое предплечье ныло от длительного напряжения.

Он остановился и отцепил ледяные сосульки с подстриженных усов. Местность была незнакомой. Вероятно, он ушел слишком далеко. А во всем виновата эта проклятая лисица – подстреленная лисица, по следу которой он шел столько времени, не замечая ни усталости, ни даже, самое главное, направления, по которому шел.

И, пожалуй, он слишком поздно спохватился, когда повернул и пошел по следу обратно.

След терялся в серых сумерках. На расстоянии трех-четырех шагов его уже не было видно. Иногда Самарину казалось, что он проходит вторично по тому же самому месту, и тогда им овладевало подозрение: может быть, он запутался, сделал петлю и снова подвигается вперед?..

Видимо, лисица была ранена легко, если смогла пробежать такое расстояние. Крови на снегу не было видно уже давно – по всей вероятности, рана застыла и затянулась на морозе. А след был ровный и четкий.

Самарин вторично проклял свое упрямство, побудившее его отправиться на охоту в одиночку. Ведь местность была почти не знакома ему, а сильные впечатления кажутся заманчивыми только тогда, когда они впереди.

Он нащупал в кармане коробку спичек. Как странно думать, что от такого пустяка как эта маленькая коробка может зависеть человеческая жизнь!.. Не будь ее, впереди ледяным призраком стояла бы смерть. Постепенный переход в небытие под колючим мерцанием зимних звезд. Говорят, что замерзающим в последний момент грезится лето, горячее солнце, берега, опрокинутые в голубых озерах...

Интересно, как восприняли бы известие о его смерти знакомые? Что могла подумать Леля?.. Вероятно, она решила бы, что это не случайно и что причина этого – ее отказ. Наверняка она подумала бы так!.. Вспомнив о ней, Самарин на короткое время почувствовал пустоту, открывшуюся в сердце, как четыре месяца тому назад после решительного объяснения с Лелей.

— Мне очень жаль... – запинаясь, сказала она тогда. И, отстраняясь от него, отнимая руку, которую он взял, опять повторила, словно заученное, что «ей очень жаль, но...».

— Я не знал, что был неприятен вам! Простите... – выпрямился он, принимая вид оскорбленного благородства. – Всего хорошего!

— Ах, Дима!.. – порывисто метнулась к нему она. Но, увидев на его лице кривую деланую усмешку, сжала губы и медленно отвернулась к окну.

Именно в этот день он, спасаясь от острой тоски, бросил малодоходное место страхового инкассатора, сменив его на солдатскую винтовку и полицейский мундир. И вот уже четыре месяца, как он на

небольшом посту русской лесной полиции, в семидесяти верстах от ближайшего города и в двенадцати – от маленького русского поселка, заселенного охотниками-старообрядцами...

Звезды выступили ярко, небо потемнело, и снег окутался фиолетовой вуалью. Лисий след потерялся в темноте. Только на западе небо еще отливало зелено-бутылочным отблеском, и на этом фоне вырисовывался гребень с мохнатыми лиственницами.

Самарин поправил винтовку и начал подниматься вверх по склону. Там, на вершине, были деревья, там можно развести большой жаркий костер...

Ближе к вершине снег был менее глубоким. И наконец деревья обступили Самарина сумрачными туманными колоннами. Морозный ветер взвил из-под ног сухой, невидимый в темноте снег. Самарин дошел до гребня, перевалил его и стал медленно спускаться вниз. Этот склон был под ветром. Треснул под ногой валежник. Вот еще немного спуститься и можно собирать хворост для костра.

И тогда Самарин увидел огонек. Он мелькал и погасал по мере движения Самарина, прячась за деревьями и снова показываясь из-за них. Огонек был внизу, приблизительно у самой подошвы сопки. И это не был мигающий отсвет костра – это был ровный огонек в окне человеческого жилья, может быть, фанзы китайца-зверолова, ставившего здесь свои западни. Огонек манил. Там было тепло и ночлег под крышей. И Самарин решительно двинулся вниз.

2

Фанза стояла у подошвы сопки, а за ней темной массой намечался лес. Свет проходил сквозь промасленную бумагу, которой было заклеено окно. Самарин снял с плеча винтовку и, на случай держа ее наперевес, отыскал дверь. Распахнув ее, он остановился на пороге.

В фанзе горела подвешенная к потолку керосиновая лампа. Человеческая фигура медленно поднялась с нар навстречу Самарину. Это был высокий старик-китаец в стеганом халате. Он, прищурившись, старался разглядеть неожиданного гостя.

— Ламоуза?.. – внезапно сказал он с оттенком удивления.

Вслед за этим с покрытых циновкой кан поднялся другой китаец – молодой, рябой, с ястребиным лицом и подстриженными ежиком волосами. Он, видимо, спал и только что проснулся.

Самарин продолжал стоять у порога, вглядываясь внутрь. В углу от котла, вмазанного в низкий очаг, поднимался густой пар. Влево, за перегородкой, послышался шорох, и женский голос что-то гортанно спросил.

Закрыв за собою дверь, Самарин опустил винтовку. Старик, щурясь,

смотрел на него. Самарин указал жестом на дверь и, стараясь говорить как можно понятнее, объяснил, что замерз и пришел согреться.

— Сегодня очень холодно... – в тон ему отозвался по-китайски старик и отстранился, давая дорогу. Указав на кан, он предложил садиться.

Самарин, не расставаясь из предосторожности с винтовкой, снял со спины замерзшую козу. Она упала на земляной пол с костяным стуком.

— О-о-о!.. – почтительно протянул старик. И, опять указывая на кан и кланяясь, вторично предложил садиться.

Самарин сел, поставив винтовку между колен. Тело охватывало теплом, шедшим от нагретого кана. Старик-китаец смотрел с добродушным любопытством, и постепенно мысль, что он мог попасть в становище хунхузов, стала покидать Самарина. Это были, вероятно, звероловы, как он первоначально предполагал. Тем более, что здесь находилась женщина.

Он обернулся к перегородке, откуда слышался ее голос, и увидел ее. Она стояла, придерживая рукой синюю занавеску, заменявшую дверь. Ее длинный ярко-голубой халат переливался шелком в свете лампы. И в ее жесте – поднятой руке, откидывающей занавеску, – было столько изумительной грации, что она представилась Самарину воплощением фантастического сна. Он долго смотрел на эту точеную узкую фигуру, окутанную голубым шелком, и только затем перевел взгляд на ее лицо.

Сначала ему показалось, что это – обман зрения, что это свет лампы придает лицу такие очертания... Но вот женщина сделала два мягких шага вперед, тени на лице переместились, и Самарин увидел, что очертания его таковы же и сейчас. Он никогда не встречал таких черт среди китайских женщин. Это лицо было удивительно правильным и красивым почти европейской красотой. И только широкие скулы и глаза – большие, но по-азиатски удлиненные – выдавали в женщине ее расу. Однако несмотря на это, Самарин сразу же подумал, что такой красоты он не встречал нигде и никогда.

Женщина медленно подошла ближе и вошла в круг света от лампы, а шелк ее платья замерзал голубыми блестками. Она пристально смотрела на Самарина, потом опустила ресницы и поклонилась ему.

3

До сих пор Самарин никогда не жалел о том, что не знал в совершенстве китайского языка. Но теперь это показалось ему непростительным упущением.

Они – хозяева фанзы и Самарин – сидели на кане перед низеньким столиком. С трудом объясняясь на ломаном языке, Самарин разобрал, что молодой китаец и девушка – дети старика. Зимой они ставят западни, а летом сеют кукурузу. Вот и все.

Странно, он испытал огромное облегчение, когда узнал, что эта женщина не жена молодого рябого китайца, а его сестра. Поймав себя на этом чувстве, Самарин искоса посмотрел на нее. Она ставила на стол посуду – маленькие низкие чашечки. Ее ресницы были опущены, придавая мистическую загадочность удлиненным полузакрытым глазам. Один раз он встретился с ней взглядом. Глаза у нее были ослепительно черные, и, уловив их взгляд на себе, Самарин покраснел.

Молодой китаец угрюмо молчал. Его глаза казались неподвижными, немигающими, кругло-желтыми, как у ястреба или другой хищной птицы. Старик держался более общительно. Он с охотой отвечал на все вопросы Самарина, кивая головой. Русский полицейский пост?.. О, это далеко, целый день пути! Хунхузы?.. Нет, здесь их не было давно! Они боятся, они теперь ушли отсюда!..

На столике появилась большая миска с мясом. Китаянка взяла чашку Самарина, положила ему мяса и подвинула котел с рисом. Потом она налила чего-то из жестяного чайника в маленькую чашечку и тоже подвинула к Самарину. Он почувствовал запах горячего ханшина. Китаянка улыбнулась и знаком предложила выпить.

Он выпил одну чашечку, а вслед за ней другую. По жилам разлился огонь. Самарин погрузился в приятное безразличие. В мозгу поплыл легкий туман.

Потом он хотел что-то спросить у старика, но, обернувшись к нему, увидел, что старика уже нет, а молодой рябой китаец поднимается и выходит из-за стола. Только китаянка была здесь – сейчас она сидела на краю кана, странно улыбаясь Самарину.

От ее взгляда, от этой улыбки его словно обдало огнем. Он приподнялся и склонился к ней.

— Как тебя зовут?.. – настойчиво зашептал он. – Как тебя зовут?..

Она легко отстранилась гибким змеиным движением и, полузакрыв глаза, покачала головой. Ее пальцы, тонкие, изумительно изящной формы, придвинули к Самарину чашечку с ханшином. Он выпил залпом и снова почувствовал, как жидкое пламя разлилось по всему телу.

Женщина теперь сидела совсем близко. Осторожно, ожидая, что она вновь ускользнет, Самарин наклонился ниже. Но она не ускользнула. Ее руки вдруг сильно и цепко охватили его шею. Перед самым своим лицом он увидел до невозможности черные, вдруг заблестевшие глаза и алый, как свежая рана, рот. А когда женщина, с силой сомкнув пальцы на затылке Самарина, припала ртом к его рту, огненный вихрь захлестнул его мысли, а туман окутал голову, словно приподнял тело и понес куда-то на мягких колышущихся волнах...

4

Самарин очнулся от ноющей боли в ногах. И сразу увидел: он лежит связанный на кане, с руками, прикрученными к туловищу Ноги были стянуты тонкой веревкой. Веревка впивалась в тело, и ноги немели.

А в фанзе происходило что-то необычное. Кроме старика, его рябого сына и китаянки там был еще один китаец – молодой, в меховой куртке и шапке с ушами. Он что-то торопливо рассказывал, сопровождая свои слова резкими жестами.

Самарин повернул голову, отыскивая взглядом женщину. Она стояла у противоположной стены, нагнувшись над каном. В руках у нее был маузер, в который она движением опытного стрелка вкладывала боевую обойму...

Видимо, обитатели фанзы торопились уходить. Женщина была в короткой стеганой куртке и кожаных улах, прикрученных к икрам тонкими ремешками.

Самарин слабо застонал, стараясь перервать веревку. Снова почувствовалась боль в ногах. Китаянка обернулась к нему Ее глаза пристально остановились на его лице, а рот искривился насмешливой и злой улыбкой. Теперь она казалась олицетворением торжествующей мести. Но, несмотря на это, она была так прекрасна, что Самарин на миг забыл об опасности, грозившей ему, и, как завороженный, смотрел на угловатый излом из бровей и искривившийся в злой усмешке яркий рот.

Старик крикнул что-то, показав рукой на дверь. В руках у него была винтовка. Рябой китаец и другой, в меховой куртке, быстро вышли из фанзы. Старик последовал за ними, оставив дверь открытой.

Теперь в фанзе, где лежал Самарин, осталась только женщина. Она, изогнувшись, как большая кошка, стала медленно приближаться к Самарину. На одно мгновение у него появилась надежда, что она освободит его, перережет веревки...

Вот она наклонилась над ним и, блестя глазами, провела рукой по его лицу. Так кошка играет с мышью... Потом, вдруг выпрямившись, подняла руки вверх, прямо к висевшей на крючке керосиновой лампе. Резкое движение рук сверху вниз – и перед глазами Самарина метнулось падавшее пламя. Вслед за этим он услышал дребезг разбитого стекла, и струя пламени взвилась кверху, разливаясь рекой вспыхнувшего керосина... Силуэт женщины скользнул к выходу из фанзы, и до ушей Самарина долетел тихий смех.

Керосин горел, разливаясь по полу огненным потоком. Пламя быстро переходило к кану, и Самарин уже начинал чувствовать бившую от него струю жара. Вот огонь уже подбирается к ногам... Как жжет ступни, какая невыносимая боль!!! От боли плывут перед глазами красные пятна.

Самарин напрягает последние усилия, хочет порвать веревки и видит: на краю кана сидит, свесив по-человечески ноги, лисица. Она

искоса смотрит на него и хихикает. Потом начинает смеяться все громче и громче, взвизгивающим, лающим смехом... Пламя пышет и поднимается выше... Красный хвост лисицы взметывается перед глазами. Он метет сквозь огонь снежную пургу... Ноги жжет нечеловеческой болью. Где- то слышится выстрел, затем другой, потом залп и частый винтовочный треск. И огонь, нахлынув сумасшедшим потоком, покрывает все, заливает сознание жгучей кровавой волной...

5

В короткие моменты, когда к Самарину возвращалось сознание, он чувствовал, что его куда-то везут. Он видел склонявшиеся над ним русские бородатые лица и слышал отрывочные фразы разговора. Один раз чьи-то руки заботливо поправили на санях овчинную шубу, которой он был прикрыт, а голос рядом сказал:

— Кажись, очнулся?..

— Пущай лежит, не тревожь... – произнес голос с другой стороны, и снова стало слышно только поскрипывание полозьев по снегу.

Открывая глаза, Самарин видел над собой дневное голубое небо с редкими облачками, а впереди – круп гнедого коня, запряженного в сани. Потом начинало пульсировать в висках, голову охватывало жаром, и перед глазами вспыхивали пляшущие языки огня. Рыжий лисий хвост взметал снежную вьюгу... Хохотали визгливые голоса... И горячий, как кровоточащая рана, рот тянулся к его губам...

Окончательно он пришел в себя значительно позже. Открыв глаза, увидел перед собой маленькое окно русской избы и угол с почерневшими старинными иконами, под которыми висело вышитое полотенце. У окна сидела молодая женщина в пестром ситцевом платке и таком же сарафане.

«Вероятно, я в старообрядческом поселке...», – с усилием подумал Самарин и, обращаясь к женщине, тихо позвал:

— Послушайте!..

Женщина вздрогнула и, отложив шитье, быстро поднялась с лавки.

— Погодьте, я мужиков позову... – боязливо сказала она, направляясь к двери.

После этого Самарин долго разговаривал с плотным рыжебородым старообрядцем-охотником. В ответ на бессвязные расспросы Самарина тот тряс головой и упрямо повторял:

— Никакая фанза не горела. Потому эту фанзу еще в прошлом году ваши охранники нашли. Тогда она и сгорела...

Самарин раздраженно доказывал, что фанза была целой. Она сгорела именно в эту ночь. Что за смысл говорить ему небылицы, когда он отлично помнит, как огонь жег его ступни, когда он связанный лежал на кане!..

Старообрядец удивленно посмотрел на него.

— Ноги-то вы обморозили, а не пожгли... – наконец сказал он, чуть усмехаясь. – Кабы не мы с зятем, так вы совсем бы кончились там! В этой горелой фанзе мы вас и нашли...

Он помолчал, погладил бороду и, подумав, заметил:

— А в этой фанзе, верно, тогда китаянка была. Только ее убили ваши же охранники. Она с главарем у хунхузов жила. Им тогда кто-то сказал, что русские близко, они фанзу подожгли и уйти хотели. Только не ушли – самого главаря убили, еще одного хунхуза и китаянку. Говорят, она тоже отстреливалась. Из маузера...

Самарин умолк, пораженный. В мыслях возникала какая-то путаница. Женщина из тайги с ослепительной яркостью вспомнилась ему. Но кто же она тогда?.. Ведь он видел ее, говорил с нею, чувствовал прикосновение ее губ...

Рыжебородый охотник снова покачал головой. Он долго смотрел на Самарина, затем сказал:

— А вы бы лучше не думали об этом. Мало ли какие наваждения бывают... Вот застудились, заболели – и примерещилось. Думать не надо...

Самарин растерянно молчал. Потом тихо и покорно согласился:

— Хорошо, я не буду...

6

У него оказалось воспаление легких. Кроме этого, были обморожены пальцы на ногах... По узкоколейке, проложенной на лесную концессию, его довезли до железной дороги. Через сутки он был в Харбине.

В больнице он лежал в большой общей палате. Два пальца на правой ноге пришлось ампутировать, и Самарин, неподвижно лежа на спине, ощущал как бы зуд на самом конце отнятого большого пальца. Кажется, вспоминал он, так бывает всегда после ампутации.

А в один из тех дней, когда в больницу допускались посетители, он, безучастно смотря в дверь, вдруг увидел среди входивших Лелю. Да, он не ошибся, это действительно была она!.. Но как, каким образом она могла узнать, что он здесь?.. У нее было печальное лицо, и в глазах отражалась тревога, когда она подходила к его койке. Видимо, она не знала, как начать разговор, и безмолвно остановилась у изголовья.

Самарин хотел приподняться ей навстречу, хотел сказать, что бесконечно рад ее приходу.

Но, уже готовясь заговорить, внезапно понял, что это будет неправда. Он видел сейчас перед собой чужую, малознакомую девушку и с изумлением чувствовал, что ее появление стесняет его. Так бывает при визите случайного знакомого, с которым совсем не о чем говорить...

«Зачем она пришла?.. – скользнула неприятная мысль. – Что ей нужно?..».

Леля стояла перед койкой, опустив глаза и перебирая пальцами ремешок сумочки.

— Дима... – наконец проговорила она. – Дима, я не хочу, чтобы ты думал обо мне так...

— Как? – коротко переспросил Самарин, и сам, услышав свой голос, удивился, что он звучит безразлично и сухо. Раньше он никогда не говорил с Лелей таким тоном.

— Ведь ты уехал из-за меня? Да?.. – неуверенно спросила она полушепотом. – Знаешь, я хотела сказать тебе, что была тогда глупой, что я...

— Ну, вот еще!.. – как-то развязно перебил Самарин. И равнодушно добавил: – Пожалуйста, не надо об этом.

Может быть, Леля ожидала пылких фраз, признаний и клятв. Во всяком случае этого тона и того, что сказал Самарин, она не ждала. Ее глаза широко открылись, и в них появилось выражение крайней растерянности.

— Извините... – после короткой паузы сказала она, овладев собой и нервно кусая губы. – Тогда я пойду. До свидания...

— До свидания, – отозвался Самарин и отвернулся к стене, чтобы не видеть, как она будет уходить.

Лежа неподвижно, с закрытыми глазами, он старался объяснить себе свой поступок. Леля стала ему чужой... Но почему?.. Ведь еще недавно он думал о ней совсем по-другому. Отчего же сейчас случилось так? Что заставило его оттолкнуть ее сегодня?..

И вдруг в мозгу сверкнула яркая, как блеск стали на солнце, мысль. Словно он долго и безуспешно старался что-то вспомнить и вот теперь наконец вспомнил!

В памяти мгновенно встала картина: желтый свет керосиновой лампы, и в этом свете – гибкая фигура, закованная в сверкающий голубой шелк, как в латы, стоящая с поднятой рукой у откинутой занавески...

Нет, он не только сейчас вспомнил ее! Он не забывал ее никогда!.. Но только в этот момент он понял, что подсознательно думал о ней все о время. И именно эта подсознательная мысль толкнула его на сегодняшний поступок.

Так что же, в конце концов, случилось с ним тогда, в заброшенной фанзе?.. Ведь он ясно помнил огненный поток, разлившийся по полу и быстро подбиравшийся к кану, на котором он лежал. Помнил даже ощущение боли от ожогов...

Или, может быть, это был бред?.. Может быть, та, о которой он подсознательно думал все эти дни, только плод его разгоряченной бредом фантазии? Или призрак женщины, убитой около этой фанзы, как говорил рыжий старовер?.. Значит, тогда ее нет? Но этого не может быть – она живая, она существует!.. Нужно найти ее, увидеть ее снова и убедиться, что все это было наяву! Рыжебородый охотник что-то от него скрыл. Нужно узнать, нужно разгадать эту загадку...

К вечеру у Самарина поднялась температура. В жару он снова шел по следу лисицы, видел огонек в фанзе у подножья сопки и открывал дверь... Старик-китаец что-то говорил ему, кланяясь и беспрестанно кивая, как глиняный болванчик. А она медленно приближалась, улыбаясь ярким ртом, и глаза ее мерцали, как черные звезды...

7

На маленький охранный пост он вернулся месяц спустя. Вернулся похудевшим и угрюмым. Иногда среди разговора он вдруг умолкал и пристально останавливал взгляд на одной какой-нибудь точке... Но все это вспомнили и отметили уже потом. Сначала это никому не показалось особенно странным.

А однажды утром Самарин неожиданно исчез... Он не вернулся к вечеру. Не было его и на следующий день.

И только значительно позже на пост явился китаец-зверолов. Он долго кланялся и наконец рассказал о том, что видел.

В этот день он возвращался от поставленных западней домой, в деревню, и увидел в снегу лисий след... Но он знает, что на закате солнца никогда нельзя идти по лисьему следу. Того, кто пойдет, ожидает плохое... Конечно, не пошел и он. Но, возвращаясь, он увидел след человека. Это был след русского – китайцы не ходят в сапогах. След шел за большой перевал. А вместе с этим следом тесно переплетался уходивший туда же крупный след лисицы.

Впервые опубликовано: Рубеж. 1939. № 19.
Печатается по: Рубеж. 2004. № 5. С. 165-170.

БАГУЛЬНИК

Мы – Измайлов и я – сидели в занавешенной кабинке китайской харчевни и медленно пили горячее желтое пиво, подмешивая в него сахар. Я задумался, смотря через окно во двор, где топтались привязанные кони, бродили между ними куры и лежала в грязи большая черная свинья.

Видимо, Измайлов долго наблюдал за мной. Затем, не выдержав, спросил:

— Что – ищете тему?

Я обернулся к нему.

— Пожалуй, вы угадали: нужно тему… Для пасхального рассказа.

Измайлов пробарабанил по столу костлявыми пальцами и опустил глаза. Он был высок и худ, но с широкой костью, а лицо у него было длинное, насмешливое, с большим лбом и прищуренными серыми глазами. Должен сознаться, я не всегда понимал его. Измайлову казалось не

более тридцати лет. Но он был циничен, как старый миллиардер, испробовавший все в жизни. И при этом, кажется, не верил ни во что.

Итак, я сказал:

— Да, мне нужно тему.

Измайлов перестал барабанить, поднял глаза и важно проговорил:

— Я дам вам тему. И именно – пасхальную.

— Лучше не надо… – усмехнулся я, зная Измайлова.

— Нет, кроме шуток! – сказал он и прислонился к стене, вытянув крест-накрест длинные мефистофельские ноги. – Вот, скажем, такая вещь… Вы верите в Высшую Справедливость?..Если хотите – с большой буквы?

— Допустим, верю, – согласился я.

— Вот об этом и будет рассказ… Это случилось в самом деле. И я до сих пор ломаю голову: случайность это или Высшая Справедливость? Только, прошу принять во внимание, что это было давно. Я уже шестой год в таежных отрядах. К городскому труду, виноват, я не приспособлен! И вот, в ту пору я был еще не такой, как сейчас, и не знал, что девушки не похожи на звезды, что они тоже едят, переваривают пищу и болеют несварением желудка, только делают вид, что им об этом ничего не известно. Ну, и настроения у меня, конечно, были несколько другие – сами понимаете… Так вот, если хотите…

— Да, пожалуйста… – сказал я.

Измайлов еще дальше вытянул ноги и стал рассказывать.

***

Главных действующих лиц было трое: я, Лавров и Зина. Четвертое лицо – Косицын – случайного и прямого отношения к действию не имеет.

Случилось это в первые годы возникновения лесных полицейских отрядов. Хунхузы не хотели даром уступать своих владений. Мы с боем проходили по тайге, сжигая хунхузские бараки. Очень часто приходилось приносить домой одного, а то и двух раненых или убитых. Мертвых хоронили, а через несколько дней выступали в другую сторону, и снова поднимались над лесом черные столбы дыма, и метались в дыму потревоженные птицы. Это было самое жаркое время в жизни отрядов. Вероятно, многие помнят его. Хунхузы иногда даже сами рисковали нападать на русские посты. Но каждый раз их отбивали с уроном.

Наш отряд стоял на большой железнодорожной станции и вдоль по ветке. Мне пришлось находиться на самой станции. Каждый день мы по три человека поочередно ходили в разведку. Уходили утром, осматривали местность и часам к трем-четырем дня возвращались.

И вот, в этой обстановке разыгрался наш роман втроем: мой, Зины и Лаврова.

Проза

***

У Зины были глаза как ирисы – темно-фиолетовые и бархатные. Когда Зина хмурилась, глаза становились почти черными. Зина служила в аптеке при больнице, и ей удивительно шла белая косынка, из-под которой всегда нечаянно падал на лоб черный локон.

Однажды вечером, в парке, я поддался веянию наступающей весны и сделал Зине официальное предложение.

Зина не притворилась смущенной или испуганной, как, вероятно, сделала бы другая. Она приостановилась около скамейки на берегу реки и спокойно сказала:

— Давайте сядем и поговорим.

Мы сели. Зина подняла воротник пальто – от реки шла сырость – и заметила:

— Это, конечно, невозможно, Сергей. Если бы даже я вас очень любила…

— Почему? – сухо спросил я.

— Видите ли... Вы – охранник, и получаете тридцать с чем-то гоби. Допустим, я выйду за вас замуж и нарожу вам детей. Они будут всегда оборванные, грязные, слюнявые. Я буду стирать белье, мыть полы и ходить в засаленной хламиде, косматая и вечно злая. И тогда вы сами скажете: «Какой я был дурак, что женился!» Разве не правда?.. Подумайте сами.

Я подумал и сказал:

— Это трудно решить сейчас.

— Вот видите… А мне этого не хочется. Я училась на фармацевтку. У меня мать и братишка, я должна их содержать. Ведь я не ребенок, чтобы не отдавать себе отчета…

Я проводил ее и ушел, подавленный ее здравым смыслом.

Прощаясь, Зина высказала предположение, что на прежние дружеские отношения все это не повлияет. Я, конечно, подтвердил. В сущности, она была права. На меня просто подействовала весна, и я сделал глупость.

На следующий вечер я случайно встретил Зину в парке. Она была одна и шла задумчиво, свивая жгутиком два травяных стебелька. Я поздоровался и пошел с ней рядом, не упоминая о вчерашнем ни слова.

— Извините, мне нужно повидать подругу, – сказала она минут через пять.

Мне стало немного тоскливо. Я закурил сигарету и пошел в аллею потемнее. И, дойдя почти до края парка, вдруг заметил пару, шедшую впереди меня. Когда я подошел ближе, то увидел, что это были Зина и Лавров.

Я сразу остановился, чтобы они не подумали, будто я слежу за ними.

Подул пьяный весенний ветерок. Кричали за рекой лягушки.

«Нужно повидать подругу…», – вспомнилось мне, и я с силой бросил на землю сигарету, рассыпавшуюся рубиновыми брызгами. Зина и Лавров шли очень близко друг к другу. Мое уязвленное самолюбие заныло. Итак, причиной отказа был вовсе не здравый смысл Зины. Она хитра как всякая женщина. И теперь мне остается только делать вид, что я совершенно равнодушен к Зине и забыл о прежнем навсегда.

Лавров был таким же охранником, как и я. Он только принадлежал к категории «семейных». Семейные жили не в казарме, а на частных квартирах. Отец Лаврова служил мастером на лесопилке. А сам Лавров по внешности был почти красавцем – высокий кудрявый парень с веселыми глазами и подкупающей улыбкой. Таких женщины любят всегда.

***

Весна шла властно и буйно. Уже поднялась молодая трава, и реки текли гладкой серебряной полоской под горячим солнцем. Давно прилетели утки, а ночами в темном небе перекликались последние косяки возвращавшихся гусей. Деревья распустились и звенели молодыми листьями.

Пасха была поздняя, и до нее оставалось два дня. В Страстную Пятницу я встретил Зину; она остановила меня с обычной улыбкой и попросила:

— Знаете что, Сергей? Если вы пойдете в сопки, нарвите мне, пожалуйста, багульника. Он уже расцвел. Я люблю, когда живые цветы на Пасху…

— Хорошо, – сказал я.

— Вы на меня не сердитесь? – спросила она, кошечкой заглядывая мне в глаза.

— Нет, за что же? Я уже забыл.

— Так скоро? – протянула она, и в ее голосе мне послышались нотки разочарования.

Я пожал плечами.

— Так не забудьте про багульник! – сказала она, подавая мне руку. – Не забудете?

— Конечно, нет!

Вечером, когда я пришел в казарму, мне сообщили, что завтра моя очередь идти в разведку. Должны идти трое – Лавров, Косицын и я.

Я решил при встрече с Лавровым не говорить с ним о Зине ни слова.

***

Мы вышли утром в Страстную Субботу. Утро было золотое и прозрачное, как спелый персик или тонкая корочка апельсина. Таким золотисто-прозрачным бывает еще варенье из абрикосов с густыми, как

расплавленное золото, каплями или свежий, только что взятый мед. Поднимался легкий пар от реки, а распустившиеся деревья звенели листьями, роняя хрустальные капли росы.

Лавров шел впереди, за ним – Косицын, последним я. Косицын был тяжелый молчаливый парень с бычьим взглядом и длинными руками. Мы шли по тропе, не разговаривая. Перевалили сопку, посидели и пошли по берегу реки.

Впереди я видел широкую спину Лаврова, его тугой затылок над воротником мундира и руку, слегка придерживавшую приклад винтовки. Меня постепенно стало охватывать раздражение, и я забыл о том, что решил не говорить с ним о Зине. Мне захотелось сказать ему что-нибудь неприятное.

— Лавров! – позвал я.

Он остановился и посмотрел на меня. Солнце золотило его лицо и волосы, выбившиеся из-под кепи.

— Мне надо с тобой поговорить. Подожди немного…– сказал я.

Лавров пропустил Косицына вперед, и тот медленно пошел по тропе. Мы остались вдвоем.

— Правда, что ты женишься на Зине? – с неожиданной резкостью сказал я.

Он помолчал, потом нахмурился и спросил:

— А тебе какое дело?

Злость охватывала мне все сильнее. Я уже забыл о том, что хотел только позлить его.

— Ну женись, посмотрим… – сказал я, нехорошо усмехнувшись.

— А что такое? – сверкнул он глазами.

Тогда я засмеялся и сказал ему невероятную гадость…

Сразу же вслед за этим удар в лицо ошеломил меня, и я, не удержавшись, упал в траву. В следующий миг мы уже стояли друг против друга с винтовками в руках, и почти одновременно металлически лязгнули два затвора, досылая патрон.

Мы стояли около речного берега перед густой стеной тальника. Лавров был бледен, только глаза его горели. У меня дрожали руки. Где-то за кустами шумела вода.

Эта тишина и шум воды отрезвили меня. Мне стало стыдно. Но не хотелось уступить, чтобы не заслужить обвинения в трусости.

— Ну?.. – хрипло сказал, наконец, Лавров.

— Что «ну»?.. – переспросил я.

— Чего же не стреляешь?

— Я жду, когда ты…

— Я не собирался. Ты первый…

— За что ты меня ударил?..

— А зачем ты так сказал?

— Дурак! – сказал я. – Шуток не понимаешь.

Лавров засмеялся. Я опустил винтовку. Он сделал то же.

— Ну, извини, если ты в шутку… – пробормотал он, сдвигая кепи с потного лба. – Я здорово рассердился.

Мне было стыдно за свою глупость и полученный удар.

— Ладно, все пройдет! – сказал я. – Пошли дальше.

Мы догнали Косицына и пошли, как будто бы ничего не случилось.

Солнце перевалило за полдень, и тени снова стали длиннее. Мы уже обошли назначенный нам район, когда я вспомнил о багульнике. Невдалеке, приблизительно около версты от нас, поднималась крутая скалистая сопка. Там багульник должен был расти обязательно.

— Вот в чем дело, ребята…– сказал я, замедляя шаг. – Мне нужно нарвать багульника.

Лавров вдруг резко остановился и странно посмотрел на меня.

— Мне тоже нужно нарвать багульника! – с вызовом проговорил он, делая ударение на слове «тоже».

— Ну и рви... мне что за дело? – отвернулся я.

Косицын взглянул на нас обоих, потом сказал:

— Вы идите за багульником, а я схожу в тот распадок, – он показал рукой. – Там должны быть козы. Ладно? Встретимся здесь, около камня на тропе.

— Идет! – согласился Лавров. Он повернулся ко мне и, не глядя в глаза, бросил: – Пошли, что ли?

Я шел, и с каждым шагом ко мне возвращалось прежнее раздражение. Я ненавидел Лаврова. Видимо, и он догадывался, для кого я хотел рвать багульник, но старался сдерживаться.

Мы обошли сопку и, закинув винтовки за спину, стали взбираться. Друг с другом мы не разговаривали. Подъем был крутой, скалистый, и приходилось помогать руками. Выше, между скал, ясно были заметны кусты багульника с ярко выделяющимися среди зелени и камней цветами.

Недалеко от вершины громоздился огромный камень, повисший над крутым склоном. Он оказался пестрым от коричнево-зеленых ползучих лишайников, а из трещины поднималось свежее молодое деревцо. Мы, словно по уговору, разошлись: я стал взбираться по левую сторону камня, Лавров – по правую. Друг друга мы теперь не видели.

Я уже наломал огромный пучок багульника и хотел взобраться на вершину, чтобы спуститься по противоположному склону, более пологому. Когда до меня донесся негромкий отрывистый крик.

Я остановился и прислушался. С полминуты была тишина, потом справа (мне не было видно из-за скал) голос Лаврова позвал:

— Измайлов!

Я продолжал сидеть неподвижно, ожидая, что будет дальше. Лавров подождал еще минуту, потом крикнул громче:

— Измайлов, я сломал ногу!

Меня вдруг охватила злобная радость. Вот великолепная возможность отомстить! Завтра – первый день Пасхи, и, если я уйду, ему придется пролежать здесь ночь и половину завтрашнего дня, а может быть, и до вечера, пока его не найдут. Я смогу отговориться тем, что ушел от него далеко и не слышал. Вот разве только он начнет стрелять? Но, может быть, не догадается?

Я осторожно перебрался на другой склон и стал спускаться в узкую падь. Еще один раз до меня донесся крик Лаврова, но он звучал уже далеко и чуть слышно.

У камня около тропы сидел Косицын и свертывал «собачью ножку».

— Пошли! – бросил я на ходу, махнув пучком багульника.

— А где Лавров? – вяло спросил Косицын.

— Рвет багульник, – ответил я, смотря под ноги. – Сказал, догонит потом.

Я быстро шел впереди, боясь, как бы Лавров не догадался открыть стрельбу. Но было тихо. Я представил себе, как Зина сегодня будет ждать Лаврова у заутрени и не дождется. Дома тоже будут ждать.

Мне вдруг стало неприятно, и я почувствовал маленький укол стыда. Вспомнилась семья Лаврова, и представилось, как будут ждать его и что подумают, когда узнают, что двое из разведки вернулись, а третий нет. Будет страшная бессонная ночь, всю ночь будут светиться окна, и будут метаться взад и вперед на занавесках беспокойные тени. И это – в Пасхальную ночь.

Я вдруг остановился.

— Послушай… – неловко сказал я Косицыну. – Я забыл на камне карманный нож. Срезал багульник и забыл. Придется вернуться… Ты иди, мы придем с Лавровым.

Он кивнул головой и пошел по тропе по направлению к маленькому лесу. Я повернул обратно.

Лаврова я нашел на крутом склоне сопки, среди камней. Он сидел бледный, придерживая руками сломанную ногу, и кусал губы от боли.

— Почему не стрелял? – спросил я, когда он рассказал мне, каким образом сломал ногу.

— Боялся, что на выстрелы подойдут хунхузы… – морщась от боли, сказал он. – Было бы еще хуже…

К вечеру я на своей спине принес Лаврова кратчайшей дорогой домой. Когда я пришел, мне сказали, что Косицына еще нет.

Вот здесь и заключается загадка, которая мучает мне до сих пор: случайность ли это была или Высшая Справедливость проявленная по отношению ко мне?

Косицын, расставшись со мной, пошел по тропе через маленький лес.

И там, приблизительно за версту от того места, где я повернул обратно, ему встретились два хунхуза-маузериста. Они засели в кустах, пропустили Косицына и аккуратно всадили ему две пули в спину. Одна из этих пуль предназначалась мне. Через несколько дней мы наткнулись на двух этих хунхузов и убили их, когда они пытались бежать… Вот и все.

***

Измайлов подобрал ноги и налил себе пива из высокого жестяного чайничка.

— Хорошая тема? – спросил он.

— Да, – сказал я. – Все это совсем не похоже на вас.

— Это случилось под Пасху… – проговорил Измайлов. – Говорят, под Пасху и на Пасху часто случаются странные вещи.

— А Зина вышла замуж за Лаврова? – спросил я.

Измайлов приподнял брови, усмехнулся и стал похож на фавна.

— Нет, – покачал он головой. – Ни за Лаврова, ни за меня, слава Богу! Я после той Пасхи и не видел ее. Меня ранили, а потом я поступил в другой отряд. Впрочем, все это не важно.

Он вылил остатки пива в мою стопку и заказал еще чайник.

Опубликовано и печатается по: Рубеж. 1941. № 19. С. 1-4, 6.

ШУТКА

Когда тело Щербинина с разрубленной головой было найдено невдалеке от проруби и принесено без признаков жизни в казарму лесной полиции, все подозрения сразу упали на Пушкаревича.

Щербинин был убит ночью, во время пожара маленького маньчжурского поселка, стоявшего у реки. Поселков было два. Один большой у подножия сопки, где находились лавки, харчевни, постоялый двор и прочие предприятия. Другой поселок, известный среди русских охранников под названием «Нахаловка», стоял у берега реки и был выстроен из ломанных досок, горбылей, брусьев и прочего брака. Крыши были деревянные или соломенные. Жили здесь исключительно лесные рабочие со своими семьями. Они и выстроили этот поселок из бракованных лесных материалов. Маленькие, как коробки, фанзы вплотную лепились одна к другой. Потому, как только огонь вырвался наружу, сразу запылало несколько соломенных крыш.

И вот во время этого ночного пожара труп Щербинина был найден в снегу, невдалеке от проруби.

Он лежал лицом вниз, вытянув вперед правую руку. Рядом с ним

валялась банка из-под бензина, заменявшая ведро. Вода из нее вылилась на снег. Брюки Щербинина и его ватная куртка также обледенели от воды.

Когда труп внесли в казарму и положили на скамейку, все почти одновременно вспомнили о Пушкареве. И вспомнили вот почему.

Щербинин и Пушкарев оба служили в лесном охранном отряде. Оба были завзятыми охотниками. Пушкарев, более хозяйственный и положительный, даже держал двух лохматых собак, из-под которых он не раз убивал загнанного зверя. Летом он устраивал в сопках искусственные солонцы и проводил свободные дни на «сидке», в замаскированном шалаше, выжидая появление изюбря.

Пушкарев – небольшой белесый человек средних лет – был аккуратным, методичным охотником. Щербинин, напротив, надеялся исключительно на слепую удачу. Ему везло. И как раз за два дня до пожара собаки Пушкарева выгнали в тайге прямо на него громадную дикую свинью. Когда Пушкарев, запыхавшись, подошел на звук выстрела, все уже было кончено. Восьмипудовая туша лежала на снегу, а Щербинин с засученными по локоть кровавыми руками вытаскивал внутренности, от которых густо шел пар. Собаки сидели рядом и облизывались.

Услышав шаги Пушкарева, Щербинин поднял голову и усмехнулся, скаля белые зубы под черной щетинкой усов. Пушкарев остановился. На его плоском, бесцветном лице выразилось недоумение.

— Ты что же это? – как бы не веря себе, сказал он. – Потрошишь?

— Потрошу! – снова блеснул белыми зубами Щербинин. Потом вывернул окровавленную руку и почесал нос об чистое место около локтя.

— Как же так? – с прежним недоумением проговорил Пушкарев. – Ведь собаки…

— Собаки?.. – прищурился Щербинин. – Ушла бы она к чертовой матери с твоими собаками, если бы не я! Ты пока помогай! Дома будем разговаривать.

— А это мы посмотрим! – внезапно наливаясь злостью, сказал Пушкарев. Его невыразительные оловянные глаза зажглись тусклой яростью. Он рывком забросил винтовку за плечо, круто повернулся и, не сказав больше ни слова, пошел в чащу, треща ломкими мерзлыми ветками.

Дома, когда вопрос о праве добычи был поставлен перед всей казармой, Щербинин нехотя сказал:

— Половину отдам, черт с ним! Хотя и не по правилу… Если бы не я – угнали бы собаки!

Но Пушкарев упорно требовал всю добычу, соглашаясь возместить выстреленный патрон. Его обычно спокойное, слегка вялое лицо, теперь побледнело от злости. На лбу появились капли пота, в углах губ пузырьками выступила слюна, а глаза словно обесцветились и прыгали как два тусклых оловянных мячика.

— Собаки были мои? – в десятый раз высоким голосом повторил он, обращаясь к собравшимся. — Мои, да? Тогда зачем он стрелял? Зачем стрелял, я спрашиваю?

На половинную долю Пушкарев так и не согласился.

— Не надо, я не нищий! – уже спокойнее бросил, смотря исподлобья. И, отворачиваясь, негромко добавил: – Подожди, вспомнишь меня!

Если бы не угроза, может, никто и не подумал бы на него. Но через два дня после ссоры Щербинин был убит. И все знали, что Пушкарев угрожал ему отомстить.

***

Пожар начался около полуночи от загоревшейся деревянной трубы. Сначала огонь, видимо, таился внутри дымохода, а потом вдруг вырвался и сразу охватил половину крыши. Снегу было мало, и на крыше щетинилась голая солома. Часовой, стоявший у ворот, увидел взвившийся в темноте огненный столб и, выстрелив два раза подряд, заполошно кинулся под окна казармы, стуча в стекла. В казарме залился трелью свисток. Сонные люди вскакивали с коек и с молчаливой поспешностью одевались.

— Что случилось? – быстро спросил кто-то из угла.

Дежурный махнул рукой в сторону окна:

— Пожар! Нахаловка горит.

А за окном поднималось багрово-золотистое зарево. Пламя уже перекинулось с одной соломенной крыши на другую. Был ветер, и огонь, словно торопясь и пригибаясь, бежал по крышам. Рухнула подгоревшая деревянная труба, и сноп искр взлетел в темное небо. Весь маленький поселок сразу осветился фантастическим, мечущимся светом. Послышались первые вопли ужаса. На улицу выбегали полуодетые люди и, крича, беспорядочно размахивали руками. Снег, лежавший вокруг, отсвечивал красным отблеском.

Когда из казармы стали выскакивать одетые охранники, горела уже четвертая фанза. Из барака, где жили холостые рабочие, тоже торопились на помощь. А зарево ширилось, освещая теперь уже и крышу казармы, и двор, и сторожевую будку у ворот. Испуганным лаем залились вокруг собаки.

Вскоре стало ясно, что при таком ветре удастся спасти только несколько крайних фанз. Кроме того, искры летели всюду и угрожали толевой крыше казармы. На крышу забрались двое людей в зеленых мундирах лесной полиции. Они подтягивали на веревке банки с водой, и мокрая крыша заблестела багрово-красным лаком.

Из большого поселка тоже бежали люди. Таежный закон обязывает: «Помогай в момент несчастья соседу, если хочешь, чтобы помогли тебе самому». Многие бежали, гремя ведрами. Вода была в колодце, во дворе рабочего барака. Кроме того, недалеко протекала речка. В двух местах на замерзшей речке застучали топоры, прорубая лед.

Ведра воды выплескивались прямо на огонь. Пламя сбивалось, шипело, но затем вырывалось с новой силой. Маньчжуры и корейцы, работавшие летом на сплаве, прибежали с крючьями на длинных палках. Этими крючьями они растаскивали с крыш горевшие доски и солому.

В узком проулке, между фанзами, беспорядочно суетились люди. Их возбужденные лица казались окровавленными в свете пламени. Визжа, метался под ногами поросенок, которого пинали бегущие. Из фанз вытаскивали вещи. Полуодетая китаянка, завернутая в ватное одеяло, стояла, выпучив безумные глаза, и ее толкали то с одной стороны, то с другой. Пронзительный женский голос визгливо и истерически кричал: «Цай!.. Цай!.. Цай!..» Два китайца выкатывали на ребре огромную кадушку с «цаем» – квашеной китайской капустой. Вопили и плакали дети. Маньчжур-полицейский, увидев кадушку с капустой, свирепо закричал на кативших. Кадушку бросили, и она так и осталась стоять посреди узкого проулка в толпе бегавших и кричавших людей.

Воду таскали из колодца и двух прорубей. Теперь поливали те фанзы, которые еще не успели загореться. Только так можно было спасти хотя бы часть поселка. То, что уже загорелось, оставили догорать.

И тогда-то наткнулись невдалеке от проруби, за темной массой голых кустов, на лежавшее на снегу неподвижное тело Щербинина. Может быть, он лежал здесь уже давно. После яркого пламени глаза с трудом могли различать его в темной тени кустов. Щербинин был мертв. Он еще не застыл от мороза, но лицо его уже стало холодным, как камень.

Его внесли в казарму и положили на скамейку. Голова была рассечена сквозь меховую солдатскую шапку. Когда шапку, покрытую замерзшей кровью, сняли, все увидели, что череп разрублен почти пополам. Белели в загустевшей крови кусочки мозга. По всей вероятности, убийца действовал острым топором. Другим оружием трудно было нанести такую страшную рану.

Мертвец лежал на скамейке лицом вверх, словно щурясь остекленевшим, полузакрытым глазом. В снегу он был найден ничком, и теперь в складке его губ, подстриженных усах и глазной впадине осталось немного снега. Казалось необычным и страшным, что снег лежит и не тает на человеческом лице.

В этот момент кто-то неуверенным шепотом произнес фамилию Пушкарева. Потом послышались другие голоса. Прозвучала отрывистая фраза: «Конечно, он! Кто же еще мог?» И подозрение стало переходить в уверенность.

Когда к убитому подошел взводный, капитан Ещенко, ему быстро объяснили положение. Как нарочно, Пушкарева в казарме не было. Он остался на пожаре. Капитан Ещенко встопорщил усы, обвел всех взглядом из-под густых бровей и, поправляя ремень на солидном животе, сказал:

— Это, господа, дело серьезное! Кто-нибудь видел?

Ему немедленно сообщили о сцене в казарме после охоты, упомянув про угрозу Пушкарева. Ещенко морщил лоб, отдувался и, наконец, сказал:

— Позовите его сюда!

Пушкарев явился через несколько минут. Группа расступилась, открыв лежащего на скамейке мертвеца. Все смотрели на Пушкарева. И он каким-то внутренним чутьем вдруг сразу понял создавшееся положение. Лицо Пушкарева, красное от мороза, внезапно стало таким же белым, как лицо убитого. И, когда взводный наружно спокойным голосом спросил его: «Ты не знаешь, Пушкарев, кто бы это мог?», – он только шевельнул белыми губами и едва слышно прошептал: «Не знаю! Не я…»

— Что же ты так испугался, Пушкарев? – все тем же спокойным голосом сказал капитан Ещенко.

Пушкарев молчал.

— Ну, что же ты? – повторил капитан.

Пушкарев хотел что-то сказать. Его губы шевельнулись. Но вдруг он пошатнулся и сделал шаг назад, ища руками опоры. Ноги подкосились, и он тяжело опустился на скамейку. Ни один из стоявших не сделал попытки его поддержать.

А чей- то голос со злостью, негромко сказал:

— А с виду тихоня, сволочь! Вот такие всегда…

***

Из чулана, где хранилось старое обмундирование, вытащили все вещи и посадили туда Пушкарева, сняв с него ремень и обмотки, чтобы не удавился. Он, по всей видимости, мог решиться на это. После первых вопросов капитана Ещенко, Пушкарев упорно молчал. И только, когда Ещенко в десятый раз спросил его, почему он не хочет отвечать, Пушкарев поднял бледное, перекошенное лицо и тихо сказал:

— Чего тут говорить? Ведь я знаю, все на меня думают! Никто не видел! Только Бог свидетель – я не убивал.

— Ну, пускай начальник сам допрашивает! – безнадежно махнул рукой Ещенко. Ему не по душе была вся эта процедура, и он добавил: – Если не выяснится, пускай везут в уезд! Там разберутся.

На утро после пожара там, где был поселок, осталось всего несколько целых фанз. Взамен остальных торчали обгорелые стойки, валялись головешки, а женщины, копаясь в сгоревших остатках, вытаскивали то, что еще не погибло в огне. Стоял мороз, и у часового около ворот виднелись из-под заиндевевшей заячьей шапки только нос и глаза.

Капитан Ещенко составлял телефонограмму в штаб. Убитый лежал в холодной кладовой. Кто-то прикрыл его изуродованную голову полотенцем, и под белой материей каменно обрисовывались очертания лица.

После обеда взводному доложили, что с ним хочет говорить

арестованный. Ещенко, отдуваясь в усы, подошел и открыл дверь чулана. При его появлении Пушкарев, сидевший прямо на полу, встал.

— Ну? – сказал капитан, окидывая взглядом совершенно пустое помещение и удивляясь, почему не дали скамейки.

У Пушкарева лицо было по-прежнему бледное, но теперь почти спокойное. Казалось, он уже свыкся со своим положением и примирился с судьбой.

— Я хотел к вам с просьбой обратиться, господин капитан… – заметил он тихим, безразличным голосом. — У меня деньги есть, сто тридцать гоби… в ящике, под койкой… Так, чтобы вы их взяли и потом дочери… Она в Харбине, в патронате. Я адрес дам…

— Хорошо! – сказал Ещенко, хмурясь и испытывая какое-то неприятное состояние.

— Напишите, что, мол, убили хунхузы… – с усилием сказал Пушкарев и замолчал.

Капитан Ещенко почувствовал, как его будто царапнули по сердцу кошки. Он поднял глаза и встретился взглядом с Пушкаревым. Они смотрели друг другу в глаза секунд пять, а потом почему-то отвел взгляд капитан Ещенко, как будто убил человека не Пушкарев, а он.

— Вот видишь, Степан… – неловко заговорил он, в первый раз называя Пушкарева по имени. – Вот видишь, у тебя ребенок… Воспитывать надо. Ну скажи сейчас мне – зачем ты его убил?

Пушкарев чуть нахмурил брови. Лицо у него стало такое, как будто он хотел перекреститься. И снова капитан Ещенко услышал тихий ответ:

— Я не убивал, господин капитан.

— Однако упорный ты, братец! – раздраженно сказал Ещенко, выходя и закрывая дверь чулана. – Черт бы все это взял! Я не ясновидящий, насквозь видеть не могу.

В глубине души капитан Ещенко ощущал неприятный осадок от того, что вот, по его докладу, Пушкарева повезут в уезд и посадят в тюрьму. Если бы он сознался сам, или кто-нибудь видел… Но ничего не сделаешь, все утверждают. Глас народа – глас Божий!

Проходя через двор мимо кладовой, где лежал убитый, капитан еще сильнее нахмурился и встопорщил нависшие моржовые усы.

***

Вечером в окно к капитану Ещенко постучал дежурный. Он доложил, что пришел старик-маньчжур и дожидается в казарме.

— Какой еще маньчжур? – хмуро спросил Ещенко, одной рукой придерживая открытую форточку, а другой застегивая воротник мундира.

— Огородник! – крикнул из темноты за окном дежурный. – Говорит, по важному делу. Обязательно с вами.

Капитан Ещенко прошел в казарму. Там около железной печки сидел старик-маньчжур со сморщенным, как высохший лимон, лицом. В руках он держал шляпу и при появлении взводного встал, подобострастно осклаблясь и показывая единственной коричнево-желтый зуб на голых деснах.

— Чего? – не особенно любезно осведомился Ещенко.

Маньчжур кланялся, держа шапку в руках.

— Спросите его, чего ему надо? – повернулся Ещенко к группе охранников.

Кто-то обратился к огороднику по-маньчжурски. Старик кивал головой, скаля желтый, как у старой лошади, зуб. Наконец переводчик повернулся к взводному:

— Он говорит, что видел, господин капитан… Убил кореец Чин, тот, что летом был старшиной у сплавщиков. Ударил сзади топором, а потом бросил топор в прорубь. А он, старик, случайно увидел и спрятался в кустах, чтобы кореец не убил и его. Он говорит, что хорошо узнал Чина…

— Что за черт! Не может быть! – озадаченно сказал капитан Ещенко и сел на скамейку. Он немного подумал и с недоверием повторил: – Не может быть! Для чего корейцу нужно было его убивать?

Никто не ответил. Капитан Ещенко с хрустом почесал пятерней голову. Он был ошеломлен. В самом деле, для чего Чину нужно было убивать Щербинина? Летом Чин был старшиной у сплавщиков. В поселке у него имелась своя фанза. Это был невысокий молодой кореец с интеллигентным лицом. Он отлично, почти чисто говорил по-русски и даже одевался по-европейски: носил пиджак, галифе и сапоги. Ещенко всегда относился к Чину с некоторой симпатией. И вот теперь оказывается, что Чин – убийца.

— А он не врет? – посмотрел Ещенко на огородника.

Старик на вопрос переводчика ожесточенно затряс головой. Он повернулся к взводному, ткнул пальцем себе в глаза, а потом жестом показал, как Чин убил Щербинина топором.

Тогда капитан Ещенко повернулся к стоявшему вблизи и сказал:

— Идите двое, приведите Чина!

***

Чин жил почти по-европейски. У него даже имелась виктрола, а по стенам были развешаны картинки из американских киножурналов. Жил он с матерью и братом.

В этот вечер он только что вернулся и еще не успел поужинать, когда в дверь постучали. Старуха пошла отворить. Она думала, что вернулся старший сын. Когда же дверь распахнулась, и на пороге появились двое русских охранников с винтовками в руках, Чин вдруг стал изжелта-бледным и встал, опустив руки.

— Собирайся, Чин! – сказал один из охранников, окидывая помещение быстрым взглядом.

— Куда? – спросил Чин неуверенным голосом. Он попытался улыбнуться и проговорил: – Очень поздно…

— Ладно, нечего разговаривать! – хмуро заметил другой. – Собирайся, там ждут.

Чин долго старался попасть трясущимися руками в рукава пальто. Вышли все втроем. На улице шел снег, и шаги мягко тонули в белом пушистом ковре.

Когда пришли в казарму, Чин увидел перед собой столпившихся людей в зеленых мундирах и насупленные брови капитана Ещенко. Он вздрогнул и побледнел еще больше. Его глаза забегали по сторонам.

— Ну, теперь рассказывай! – сказал Ещенко, не сводя с него пристального взгляда. – За что убил?

Глаза корейца метнулись вниз. Руки задрожали.

— Я не… – начал он хриплым голосом.

— Брось, брось! – резко повысил голос Ещенко. – Уже и топор из проруби вынули. Ты лучше скажи, за что убил?

Чин совсем низко опустил голову. Он понял, что упираться бесполезно.

— За письмо… – сорвавшимся полушепотом сказал он и плотно сжал губы.

***

Это была обычная глупая шутка. Беспричинная издевательская шутка, которую Щербинин позволил себе над Чином без всякой злобы, ради нелепого «просто так». У него появилась мысль, и он выполнил ее, не отдавая себе отчета.

У десятника Фролова была дочь. В эту девушку, приехавшую в поселок недавно, Чин неожиданно влюбился. Она вовсе не была красавицей. Но для Чина ее внешность казалась идеальной. И, когда девушка кокетничала с ним, Чин был на высоте счастья.

Чин отлично объяснялся по-русски. Однако, хотя он и носил европейский костюм, у него не хватало достаточного количества смелости для того, чтобы решительно предложить Зине выйти за него замуж. Чин немного боялся этой насмешливой девушки. И тогда он решил написать ей письмо. Но писать сам Чин не умел. Нужно было кого-нибудь попросить.

Его выбор пал на Щербинина. Тот без отговорок согласился. Чин диктовал, а Щербинин писал аккуратным почерком, и строчки ложились на бумагу удивительно ровно и хорошо.

Письмо Чин передал Зине сам, увидев ее на улице. А через два дня он

встретился в лавке с ее братом. При виде Чина тот вдруг покраснел и, вынув из кармана письмо в знакомом конверте, спросил:

— Это ты писал?

— Да, – немного смущаясь, сказал Чин. Он не видел в письме абсолютно ничего плохого. Напротив, он даже просил Щербинина, чтобы он написал как можно вежливее.

Брат Зины резко смял письмо, сунул его в карман, а потом двумя ударами сшиб Чина с ног.

— Я тебе покажу, как писать пакости! – сказал он, уходя из лавки и повернувшись на прощание в дверях.

После этого Чин понял, что Щербинин написал в письме совсем не то, что было нужно. Это случилось месяц назад, а на прошлой неделе Чину рассказали, что было написано. И тогда он в душе поклялся отплатить Щербинину.

— Я ему ханы покупал! – глухо сказал Чин. – Консервы покупал… Зачем так писать? Разве хорошо? Разве можно так?

Капитан Ещенко барабанил пальцами по столу. Охранники молчали, сгруппировавшись вокруг. В углу притаился маньчжурский огородник.

Чин поднял голову. Свет висячей лампы упал на его бледное, обострившееся лицо.

— Меня сын Фролова бил в лавке… – проговорил он все тем же глухим голосом. – Зуб выбил! Разве можно так писать?

Капитан Ещенко, не отвечая, повернулся к дежурному:

— Выпустите Пушкарева.

Дежурный пошел в дальний конец казармы. Ключ лязгнул в висячем замке. Открыв дверь чулана, дежурный негромко сказал:

— Выходи, Пушкарев.

В чулане стояла тишина. Никто не отозвался.

— Выходи, Пушкарев! – громче повторил дежурный, стараясь заглянуть в темноту.

В казарме вдруг стало тихо. Люди смотрели на темную дверь чулана, и ожидание в их глазах начало постепенно переходить в страх. Все вдруг подумали об одном и том же.

В этот момент в чулане послышался шорох, и на пороге появился Пушкарев. Он, видимо, спал. Его глаза щурились от света, и белые ресницы вздрагивали.

Капитан Ещенко грузно поднялся со скамейки и пошел навстречу. Пушкарев стоял, моргая, смотрел прямо на него. А капитан приближался к Пушкареву, и лицо у него было какое-то сконфуженное, виноватое.

— Вот видишь, какая вещь, Пушкарев… – сказал капитан Ещенко. Он запнулся и, сморщив кожу на лбу, повторил: – Вот видишь, какая вещь…

За ними следили три десятка глаз. Пушкарев с удивлением смотрел

на взводного. А тот, остановившись, хотел еще что-то сказать, но вдруг отчаянно тряхнул головой и, протянув ему руку, пробурчал:

— Чего тут говорить… Ошиблись, брат, прости!

Чувствуя пожатие медвежьей лапы капитана, Пушкарев понемногу начал осознавать, что к нему возвращаются жизнь и свобода. На его белесом лице расплылась улыбка. Глаза часто замигали.

И в ответ на эту улыбку вдруг сразу заулыбались и засмеялись люди, стоявшие в другом конце казармы, под висячей лампой у стола. А капитан Ещенко все еще неловко топтался на одном месте и тряс в своей огромной лапе податливую, холодную руку невысокого белобрысого человека.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1941. № 51. С. 1, 4-6, 8.

ТАЕЖНАЯ СКАЗКА

Такой грозы лес не видел десятки лет. Черную таежную ночь разрывала беспрерывная белая молния. Гром сотрясал землю. А потом вдруг хлынул ливень. Потоки дождя пробивали хвою и сшибали листву. Деревья зашуршали дробным шорохом. А под ними, с каждой минутой грознее, заворчали потоки воды.

Медвежонок Хыся в эту ночь впервые увидел страшный мир. До этого он всю жизнь прожил в большом дупле, в корневищах старой липы. Берлога была большая и прохладная. Сверху и по сторонам в ней переплетались узловатые лапы корней. В отверстие бывало видно днем качающиеся верхушки деревьев, а ночью – кусочки темного неба с золотым бисером звезд.

В эту ночь Хыся проснулся от удара грома. Что-то огромное непостижимое перекатывалось над ним и страшно грохотало. Мать, старая медведица, тоже проснулась и приподняла голову. Потом в отверстии берлоги вдруг блеснул и замелькал белый свет, при котором на мгновение стало светлее, чем днем. Хыся испуганно уткнул морду в лапы, но страшный блеск проникал и туда. И снова земля содрогнулась от могучего громового удара.

Вслед за этим зашумел дождь. Он хлынул сразу. Забурлили мутные потоки, устремившиеся по пологому склону. Несколько минут спустя вода стала заливать берлогу. Медведица недовольно заворчала и поднялась. Хыся забился в дальний угол, но вода оказалась и там. При новом ослепительном блеске Хыся увидел, как мать выходит из берлоги, загораживая отверстие. Тогда он заскулил и, поджимая лапы, стал карабкаться вслед за матерью. Он добрался до края отверстия, перевалился через толстый корень и оказался в огромном и страшном мире.

Потоки воды устремились на него сверху, пронизывая холодными струями. При очередной вспышке молнии он увидел мать и бросился к ней, весь дрожа. Мать, заворчав, отпихнула его мордой. После вспышки стало еще темнее. Сверху хлестал ливень. Внизу текла вода. Хыся сунулся туда, где стояла мать, но там уже не было никого. Он кинулся в другую сторону, натыкаясь в темноте на деревья. И вдруг все небо раздвоилось новой ослепительной полосой белого огня. Совсем близко раздался глухой удар, и полыхнуло багровым пламенем. Треск падающего дерева оглушил медвежонка. Около него затрещало, зашумело и дрогнула земля. Громадный кедр, тяжело падая, чуть не задел его ветвями. И инстинктивно отступая все дальше от этого места, Хыся так и не узнал, что его мать была убита поваленным деревом, и он остался совсем один в страшном мире.

***

Реки текут в море. К устью они становятся шире. Юность идет к зрелости, и с каждым днем накопляется опыт.

Через три дня Хыся уже знал немного о жизни. Правда, ему значительно помог в этом Драный Нос – непутевый полувзрослый медвежонок, не желавший выступать в роли пестуна младших братьев и отбившийся от своих. У Драного Носа был большой жизненный опыт. Доказательством могла служить хотя бы откушенная ноздря – результат недоразумения со старым енотом. Драный Нос учил Хысю жить. И Хыся безусловно ему подчинялся.

Сначала новый мир пугал его. Он вздрагивал от каждого звука и шороха. Позже он узнал, что белый заяц – Тууза – совсем не страшен, и его не нужно бояться. Потом однажды из соседнего кустарника при его приближении с треском бросилась в сторону козуля, перепрыгнув через яму. Мелькнуло белое пятнышко на ее заде. Вслед за ней разом кинулось несколько. Хыся взвизгнул от неожиданности и присел. Сразу за кустарником был небольшой безлесный распадок, и он видел, как козы мчались прыжками, рассекая траву и словно взмахивая белыми платочками. С этого момента он понял, что Поу-цзы – дикие козули – безопасны и пугливы. Но, увидев их в первый раз, он сам испугался не меньше, чем они.

Ночами его сначала пугал жуткий крик филина. Но вскоре стало понятно, что филин – надутый старый меланхолик – не сможет причинить ему никакого вреда, так же, как и деловитая носатая ворона Уаза, которая громко каркала и посматривала с дерева одним глазом.

К счастью, Хыся был уже достаточно большим для того, чтобы обойтись без молока матери. Драный Нос научил его выкапывать из земли коренья и объедать молодые побеги. Когда Хыся брался не за то, что следовало, Драный Нос молчаливо и солидно давал ему затрещину. Хыся отлетал в сторону, скулил и закрывал голову лапой.

Однажды ему пришлось узнать, что не все обитатели тайги безопасны. Это случилось, когда они наткнулись на труп самки изюбря. Старая Лу пала от какой-то болезни и лежала в маленьком каменистом овраге уже два дня. Драный Нос почуял запах, и в этот день Хыся впервые отведал мяса. Драный Нос завалил тушу ветками и отправился искать место для сна.

Перед вечером Хыся вспомнил о мясе и встал. Он подошел к туше и стал отворачивать ветки. Но прежде чем он успел довести свое дело до конца, на него стремительно бросилось что-то красное и гибкое. В его шею вонзились острые зубы. Хыся завизжал и замотал головой. В тот момент ему показалось, что Ху-ли – красная лисица с пушистым хвостом – вся состоит из зубов. Зубы почти одновременно, с молниеносной быстротой впивались в разные места его тела. Мгновение спустя лисица нырнула в камни так же стремительно, как и появилась.

Ночью он плакал во сне и зализывал укусы. Драный Нос просыпался, смотрел на него и недовольно ворчал.

***

Чжан «Маза» (что значит – корявый) был одним из немногих хунхузов, занимавшихся охотой. Его винтовка била отлично. И он, кроме славы главаря шайки, имел еще славу охотника.

В шайке Чжана было семнадцать человек. Собственно говоря, это были остатки шайки. Источником существования им служили две соседних деревни. Старосты, опасаясь воздействия, покорно предоставляли хунхузам продукты. К праздникам Чжан получал свинью и банку ханы. Когда ему требовались деньги, их тоже должны были доставлять деревенские старосты.

Чжан был осторожен.

Два года назад ему привелось получить пулю в ногу. Поэтому теперь он постарался обосноваться как можно дальше от того пункта, где помещалась лесная полиция.

Место было хорошее. Глухая, каменистая звериная падь. Завалы из мертвых подгнивших стволов. Мох и радужные лишайники на камнях. Вывороченные корни, похожие на щупальца подземных чудовищ или руки мертвецов с неотрясенной могильной землею. Только одна узкая тропа, едва приметная для человеческого глаза, вела к полуземлянке среди камней и гигантских валежников.

В тот день, о котором идет речь, Чжан возвращался с охоты. На этот раз охота не была удачной. Чжан беззвучно шевелил губами, вспоминая про бесцельно истраченный патрон и мелькнувшую в зелени красноватую козью спинку.

Он был уже совсем недалеко от становища, когда внезапно, благодаря какому-то свойственному обитателям тайги инстинкту, вздрогнул и

быстро взглянул направо. То, что он увидел, заставило его сразу вскинуть винтовку и сделать шаг назад.

Шагах в тридцати от него стоял медведь. А рядом с ним, слегка держа на весу передние лапы, стоял в полунаклонной позе совсем маленький, головастый и ушастый медвежонок.

Драный Нос никогда не видел человека. Но он с детства был любознательным. Эта последняя черта и погубила его при встрече с необычным и загадочным двуногим зверем.

Чжан быстро перевел предохранитель, прижал винтовку к краю древесного ствола и, после короткого замедления, выстрелил. Драный Нос чуть подпрыгнул и без звука ткнулся мордой в муравейник, около которого стоял.

А затем Чжан увидел, как маленький медвежонок, взвизгивая от ужаса, быстро вскарабкался на тонкий ствол черемухи, которая стала гнуться под его тяжестью.

У каждого уважающего себя охотника всегда бывает веревка. Была она и у Чжана. Три раза он набрасывал петлю на взвизгивавшего и дрожащего медвежонка. Наконец, она упала на его голову и скользнула по телу. Тогда Чжан безжалостно стащил Хысю вниз вместе с вершиной надломившейся черемухи, в которую медвежонок вцепился из последних сил отчаяния. Упав на землю, Хыся вскочил и, как косматый клубок, покатился в сторону. Но тотчас же невидимая сила рванула его назад так могуче, что он жалобно рявкнул от толчка и перевернулся.

— Эй-я!.. – неодобрительно протянул «Маза» Чжан, тоже подавшийся на шаг от толчка. Потом, привязав веревку к дереву, он снял с себя курму и, боком подойдя к барахтавшемуся по земле медвежонку, ловко накинул курму ему на голову.

***

Около становища Чжан привязал медвежонка к дереву на недлинную проволоку.

Первые три дня Хыся шарахался и даже пробовал защищаться. От пищи – кусков застывшей студнем чумизной каши – он упорно отказывался. Но на третью ночь голод властно потребовал свое. И Хыся, озираясь на темный корпус фанзы, около который медленно расхаживал часовой, подобрался к кускам и стремительно проглотил их один за другим. Так он впервые прикоснулся к пище, которая пахла человеческими руками.

Еще через несколько дней он позволил Чжану прикоснуться к себе. Потом один из шайки, одноглазый Ли, слишком фамильярно похлопал медвежонка по загривку. Правда, Ли тотчас же был укушен за руку и, разразившись невероятными ругательствами, устремился в фанзу за

винтовкой. Однако Хыся был спасен: неизвестно, какие доходы предполагал извлечь Чжан из медвежонка, но он не позволил убить его. А еще через неделю Хыся совершенно перестал кусаться и стал брать пищу из рук.

Затем однажды Чжан для развлечения проткнул ему ухо и вдел туда небольшой браслет из мягкого китайского серебра, согнув его наподобие кольца. Хыся жалобно заурчал и замотал головой, пробуя освободиться от мешавшего предмета и стараясь сбросить его лапой. Но ухо от этого болело сильнее. Так браслет в ухе и остался.

А вскоре после этого все планы Чжана относительно медвежонка и относительно всего вообще прекратились благодаря одному постороннему обстоятельству.

Это случилось рассвете. Вероятно, Чжан не предполагал, что о расположении его становища стало известно в том месте, которого он боялся больше всего. Старосты двух деревень, служивших для шайки источником существования, в конце концов собрали сходку. А вслед за этим на ближайшую базу русской лесной полиции, находившуюся верстах в сорока, было отправлено соответствующее посольство.

Когда ночной мрак только чуть-чуть стал переходить в синеватые тона рассвета, часовой, боровшийся с дремотой и присевший на камень около фанзы, услышал в стороне шорох. Приподняв нависший над бровями козырек войлочной шапочки, он лениво повернул голову и хотел привстать. Но тут произошло неожиданное. Выстрела часовой так и не услышал. Он, не успев приподняться, рухнул на камень и перевалился через него спиной, роняя винтовку. А сразу вслед за этим послышалась негромкая команда по-русски, и предутренняя тишина разорвалась от резкого залпа. На крыше полуземлянки взлетели два кусочка кедровой коры, а со стен посыпалась пыльная глина…

Повар Ли, выскочивший первым, повалился у самого порога. В заклеенное промасленное бумагой окно, на одном уровне с землею, высунулся винтовочный ствол. Но владелец винтовки так и не успел выстрелить. Ствол остался в окне, покосившись и упершись вверх.

Чжан «Маза» чуть-чуть не избежал общей участи. Его погубила алчность. Уже почти выкарабкавшись из землянки через заднее окно, он вдруг вспомнил о пачке десятирублевок, лежавшей в железной коробке из-под печенья под каном. Та минута, которую он потратил, чтобы трясущимися руками вытащить ее и сунуть за пазуху, стоила ему жизни… Чжан рассчитывал на предутренний сумрак, мешавший точности прицела, и ему даже удалось пробраться в кустарник, когда гулко залаял с другой стороны ручной пулемет. Пуля ударила Чжану в щеку, и он повалился лицом в мокрые от росы папоротники, а ненужный маузер отлетел далеко в траву.

Через полчаса, когда оставшиеся в землянке убедились в бесполезности сопротивления или бегства, они с криками «пе-та» стали один за другим выходить с бледными перекошенными лицами и поднятыми кверху руками. Их вязали и отводили в сторону.

Гродковский, молодой командир экспедиционного взвода, считал вынесенное из землянки оружие, когда к нему с широкой усмешкой на сияющем, как самовар, потном лице приблизился отделенный Бурдин. На проволоке Бурдин тащил упирающегося перепуганного медвежонка с большим серебряным кольцом в ухе.

— Еще один противник, господин взводный!.. – усмехнулся он, подтаскивая медвежонка ближе. – Боевая добыча!..

Гродковский сдвинул на затылок кепи и махнул с лица начинавшую наседать утреннюю мошку. Он сначала равнодушно взглянул на медвежонка. У того, перепуганного и дрожавшего, но вместе с тем и заинтересованного, был такой комичный вид, что Гродковский невольно рассмеялся. Хыся слегка шарахнулся от его смеха. Кто-то из охранников присел на корточки и дунул ему в нос табачным дымом. Хыся удивленно чихнул, фыркнул и недовольно затряс головой. Серебряное кольцо замоталось на круглом мохнатом ухе. Тогда Хыся принял такую комичную позу и так жалобно, по-ребячьи, заскулил, что вокруг него грянул настоящий взрыв смеха. Это перепугало его окончательно, и он, зная, что с проволокой все равно не убежать, ткнулся носом в землю и закрыл голову лапами.

***

Так начался второй период его детства.

Теперь он жил под навесом у большого дерева, во дворе беленого мазаного домика, который занимал взводный командир лесной полиции Гродковский.

У Хыси была выкопанная и устланная соломой яма, где он спал. У него было собственное деревянное корытце, в котором ему один раз в день давали порцию чумизы с тыквой. Он вырос, поправился и стал лосниться. Теперь уже он не казался нелепым головастым комочком с торчащими ушами и заплетающимися лапами. Шерсть стала гладкой и черной. И даже серебряное кольцо в ухе, вросшее навсегда, придавало его плутоватой физиономии что-то солидное.

После памятной экспедиции Гродковский, откупив медвежонка у взвода, подарил его жене.

Это лето было самым счастливым в жизни Максима Гродковского. Он в двадцать семь лет сумел дослужиться до командира взвода. У него был собственный домик в поселке при лесной концессии – правда, маленький, как скворечник, но удивительно чистенький, весь белый на солнце и,

главное, выстроенный им самим. И только этой весной он женился на изумительной девушке, похожей на которую, конечно, не было и никогда не будет на свете…

У Гали были золотые волосы и смех, как серебро. Когда она смеялась, казалось, что это звенят хрустальные переливы горных ручьев, пробегая по белому, вымытому кварцу. В маленьком белом скворечнике на окраине поселка, они жили втроем: Максим, Галя и Галина мать. И жизнь была такая же яркая и солнечная, как белый домик…

Этим изумительным летом им каждый день пели за белой занавеской окна три птицы: звонкая, золотая – утро, серебряная, тихая – вечер, и синяя, с звездами-глазами – ночь.

Хыся жил под деревом во дворе. Понятно, что он давно перестал дичиться. Он даже любил, когда Галя подсаживалась к нему и перебирала пальцами его уши и пушистый загривок. В такие минуты он жмурился и урчал от удовольствия. Иногда его даже отпускали на свободу и брали купаться к реке. Купаться он не любил, но делал вид, что очень любит.

После купанья ему иногда давали ломоть хлеба, а однажды хлеб был с чем-то невероятно вкусным и незабываемым. Конечно, он не знал, что это был мед!

Здесь, на окраине поселка, он видел и слышал многих прежних знакомых. Ночью, когда все засыпало, во двор осторожно выходила старая жирная крыса Хоза и смотрела издали бисерными глазками. С ближней сопки Хыся слышал по ночам крик филина и отрывистое лающее блеяние дикого козла. На дерево, под которым он жил, часто садилась любопытная ворона Уаза. Ей страшно хотелось слететь вниз, но удерживала боязнь.

Во дворе бывало много людей. Это были и охранники в зеленых мундирах, и рыжебородые старообрядцы с жесткими густыми бровями и степенными лицами, и маньчжуры, с интересом разглядывавшие медвежонка. Но лучше всех была Галя.

Вскоре неожиданно стало холоднее, и появился курчавый иней на траве в углу двора. Хыся не знал, что он прожил здесь уже два месяца. С наступлением холодов его стали кормить больше. И ему часто хотелось спать.

Однажды, когда ему вырыли у забора глубокую берлогу и застелили ее соломой, он вошел туда и заснул глубоким сном. И в этом сне – тяжелом и беспамятном – к нему пришла вторая пора жизни: юность.

***

Совсем не нужно рассказывать, как наступило его пробуждение. Сначала он попытался встать, но было еще холодно. Второй раз оказалось немного теплее. И только в третий раз он понял, что тепло возвратилось и больше не уйдет.

И снова настала та жизнь, которая была прежде. Но Хыся не знал, что

он стал гораздо больше и солиднее. Он уже не казался забавным и безобидным. Теперь он был в таком возрасте, в каком когда-то был его неудачливый учитель – Драный Нос.

Но Галя и все прежнее осталось. О том, что в маленьком белом скворечнике теперь жило не трое, а четверо людей, – он не догадывался. Галя и Максим были веселы и счастливы. А это – самое главное.

Но иногда на него наползала глухая, как ночь, тоска. В такие моменты он не находил себе места и, переступая с лапы на лапу, качал опущенной головой долго и тупо. А однажды, взбивая тучи пыли и ворча, он стал рыть у дерева большую яму. Максим, обнаружив его новое занятие, выскочил на крыльцо.

Этот день был памятным для Хыси. Его тогда впервые били гибкой кожаной плеткой. Бил Максим, причем Хыся старался спрятать морду в лапы и урчал, а Галя стояла на крыльце и умоляюще повторяла:

— Довольно, Макся!.. Пожалуйста, довольно!.. Он больше не будет, я тебе обещаю!..

Максим поправил упавшую на лоб прядь волос, взглянул на Хысю и неожиданно рассмеялся – так же, как год тому назад, когда он впервые увидел медвежонка у разгромленного хунхузского становища.

А дня через три во двор, потихоньку от Гали, пришел артельщик отряда, Митрошенко. У него была блестящая, кофейная от загара лысина и закрученные толстым кренделем усы.

Митрошенко деловито осмотрел Хысю и, качнув головой, сказал:

— Окорока будут добрые! И сала тоже богацько!..

— Так, значит, осенью!.. – оглядываясь на окна домика, вполголоса сказал Максим. – До осени пусть живет!..

***

А в середине лета у Хыси неожиданно появился враг.

Это был белый, с несколькими черными подпалинами, длинноухий лаверак Кэри. Он был прислан от кого-то Максиму в подарок.

Кэри оказался самым заклятым и беспощадным врагом. Сразу сообразив, что Хыся может отходить от дерева только на небольшое расстояние, он стал наглым до последней возможности. По всей вероятности, боязливая ненависть к медведю была продиктована ему из туманной дали его собачьей родословной. Но проявлял ее Кэри слишком не по-рыцарски.

Сначала, пока Кэри не отгадал тайны цепи у дерева, он только визгливо лаял на медвежонка издалека и был всегда готов скрыться на крыльцо. Но затем Кэри понял – и тогда все пошло по-иному.

Когда Хыся, наклонив морду над своим корытом, самозабвенно погружал нос в варево, Кэри неслышно подбирался сзади, кусал его в самое

уязвимое для медведя место – туда, где у большинства животных имеется хвост, – и тотчас стремительно отскакивал за черту досягаемости. Хыся, наклонив голову, с раздраженным урчаньем кидался ему вслед, гремя цепью, но последняя сразу натягивалась и предательски откидывала его назад. Иногда, при сильном толчке, он даже падал на спину, и тогда Кэри успевал подскочить и укусить его еще раз. Эти моменты отравляли Хысе всю прелесть существования. К тому же Кэри всегда выбирал для нападения такой момент, когда Хыся ел и там ослаблял свою бдительность.

Кроме существования врага, было еще нечто, делавшее пребывание на цепи у дерева томительным и раздражающим. Было в воздухе что-то такое неуловимое, особенно ночью, когда он не мог заснуть, внюхиваясь в дыхание ветра с сопок и вслушиваясь в ночные голоса тайги.

Но главное – все-таки Кэри. Хыся долго придумывал, каким образом можно было отомстить врагу. И, наконец, план мести выработался.

В первую очередь Хыся сознательно сократил линию действия цепи. Когда Кэри, припадая на передние лапы, лаял издали, Хыся наступал на него, раскачиваясь и урча, а затем внезапно останавливался. Он мог пройти еще на сажень дальше, но нарочно не шел. Кэрри знал, что схватить его медведю мешает цепь. Он даже точно изучил черту безопасности и лаял на Хысю перед самой его мордой. Теперь сеттер немного удивился, обнаружив, что линия фронта отодвинулась назад. Но Кэри был осторожен, и понадобилась целая неделя, чтобы его убедить.

И вот однажды…

Это было так. Хыся ел. Он уже доедал свою порцию, когда предательский укус сзади заставил его поджаться от боли и затрясти головой. Затем он засопел и двинулся на противника.

Достигнув своей ложной линии, Хыся остановился и сделал попытку достать собаку лапой. Кэри отскочил, но тотчас же снова приблизился, лая и припадая к земле. Хыся загреб воздух другой лапой и с деланным разочарованием заворчал.

Кэри только чуть-чуть подался назад. Он уже понял, что опасная зона уменьшилась. Он торжествовал в своей недосягаемости. Он яростно встряхивал длинными лохматыми ушами. Он издевался.

И тогда вдруг Хыся с неожиданной для неуклюжего медвежонка ловкостью и стремительностью подался вперед. Его лапа кривым загребающим движением упала на спину не успевшего увернуться сеттера. Послышался дикий пронзительный визг. Кэри мячиком бросился в сторону, а на его белой спине повис кровавый лоскут содранной кожи.

В этот момент с крыльца прозвучал громкий, испуганный крик:

— Боже мой!.. Максим!.. Кэри!..

Хыся сразу поднял голову. На ступеньках стояла Галя. Она, видимо, куда-то собиралась – на ней были желтые галифэ и сапоги, а в руке она

держала белую панаму. И, поднимая обе руки к лицу, она еще раз в ужасе вскрикнула:

— Боже мой!.. Мама, Максим… Идите скорее!..

***

Максим только выглянул в окно и пружинно вскочил на ноги.

— Пристрелю!.. – хрипло сказал он и, перекосив от ярости рот, потянулся к стене, где висел маузер.

— Максим, не смей!.. Максим!.. – вся бледная, закричала Галя и бросилась к маузеру, поднимая руки.

— Это что же такое?.. – внезапно резким жестом отодвинул он от себя жену и посмотрел на нее злыми глазами. Таким голосом он никогда не говорил с ней, и Гале невольно почудилось что-то чужое в его диком, перекошенном лице.

— Макся, милый!.. – быстро заговорила она, загораживая ему путь к двери. – Прошу тебя, не надо сейчас! Пожалуйста, прошу!

Максим, убирая руку с маузером за спину, раздраженно сказал:

— Все равно его к зиме убивать надо! Я уже Митрошенке говорил…

— Только не сейчас, Макся, только не сейчас!.. – беспомощно повторяла она, чуть не плача. – Потом можно, когда я не увижу… Но только не сейчас!

— Ну хорошо, пусть так! – недовольно сказал он и повесил маузер на прежнее место.

***

Над белым домиком неслышно пела синяя птица – ночь.

Уже ушла луна за зубчатый край дальней лесистой сопки. Было совсем темно, когда Галя босиком осторожно спустилась с крыльца.

Хыся проснулся от прикосновения и фыркнул.

— Молчи, пожалуйста, молчи!.. – сдавленным шепотом быстро проговорила Галя и невольно улыбнулась сама себе. Ей показалось, что она выпускает из замка закованного в цепи пленника, которого завтра утром будут напрасно искать сторожа.

Хыся поднялся на ноги и засопел. Он понял необычность происходившего и понюхал воздух. Ветер дул из тайги, и снова, как часто бывало в последние дни, повеяло странным зовущим запахом.

Галя вспомнила о Максиме и сделала смешную гримаску. Он, конечно, будет злиться завтра весь день. Но эта короткая ссора – только маленькая облачная тень на стене белого домика. Она наплывет и пройдет.

Галя вывела Хысю за калитку.

— Иди, пожалуйста, милый! – зашептала она, толкая его в сторону сопок. – Пожалуйста, скорее иди!

И вдруг, нагнувшись к нему, поцеловала его косматую морду.

Хыся удивленно фыркнул и поднял голову. Странный запах из тайги звал его. И он пошел. И на этом кончилась его юность, а потом наступила зрелость и с ней пришла дальнейшая жизнь. Как у всех и всегда. Но о ней мы ничего не знаем.

***

Год тому назад один русский охотник рассказал мне странную вещь.

В маньчжурской тайге, верст за десять до ближайшего населенного пункта, он присел отдохнуть у маленького ручья и закурил.

Неожиданно ему послышался шорох. Он поднял голову. И увидел: через ручей, невдалеке от него, медленно переходил, шлепая тяжелыми лапами по воде, большой медведь.

Охотник схватил винтовку и торопливо достал патрон. Медведь остановился, взглянул и стал уходить в кусты неторопливой походкой, не выказывая никаких признаков страха. И охотник, растерявшись, не выстрелил.

— Может быть, – говорил он, – не выстрелил еще потому, что ясно увидел в тот момент, когда медведь повернулся, – у него в левом ухе тускло блеснуло большое кольцо белого металла, и это поразило охотника больше всего.

Он клялся, что явственно разглядел это кольцо. И у меня не было оснований ему не верить.

Сейчас, год спустя, мне вспомнился этот короткий рассказ. И вспомнилась тайга. Хрустальные переливы горных ручьев. Голоса птиц на рассвете. Звонкий – именно звонкий! – аромат кедровой смолы. Вспомнился грибной запах сырости под лапчатыми веерами папоротников. Солнечная рябь, дробящаяся в маленьких таежных озерках. И захотелось написать, что могло бы быть до этой странной встречи охотника с медведем, у которого в ухе было вдето человеческою рукою кольцо.

Опубликовано и печатается по: У родных рубежей. Лучшие произведения участников второго конкурса русских поэтов и беллетристов. Харбин, 1942. С. 16-32.

ГОСПОДИН ЛЕСА

Это был огромный кедр, около двух аршин в диаметре, с могучей кроной и узловатыми, как руки циклопов, ветвями. В середине его, на расстоянии приблизительно аршина от земли, было углубление – род ниши или дупла. Оно не было естественным – его выдолбили человеческие

руки. Внутри этого углубления стояла маленькая китайская кумирня, какие можно сотнями встретить в тайге: деревянный домик с табличками на задней стенке и кружевными занавесочками из бумаги снаружи. Красные бумажные ленточки украшали фасад домика. А перед кумирней стояли чашечки с чумизой и рисом. В них иногда пахуче курились тонкие жертвенные свечи.

Кедр стоял на широкой вырубленной поляне, как раз перед бараком, где жили рабочие. Вокруг него толпились низкие пни. И кедр среди них казался гигантом, собравшим вокруг себя армию приземистых коренастых гномов.

Общая судьба не постигла его только потому, что при начале работ он был избран хранителем алтаря. Китайские рабочие суеверны: для защиты от злых духов они ставят маленькие кумирни везде, где возможно. А здесь, в тайге, злых духов было больше, чем где-либо в другом месте. По ночам лаяли лисы, которые, как известно, губят человеческие души. Мелькала среди красных стволов косолапая тень барсука-оборотня. И шелестели в густой хвое обреченные тени бурно умерших людей...

В стволе кедра выдолбили углубление. Несколько дней китайцы молились перед кумирней, кланяясь и зажигая свечи. Потом работы передвинулись дальше. Вместо деревьев появились унылые пни. А кедр остался одиноким стражем, около которого в дни праздников клали белые манту и отвешивали почтительные поклоны. И рабочие, упоминая о кедре, называли его «Господин Леса».

Низенькая фанза, в которой жили мы, русские охранники, помещалась невдалеке от рабочего барака. И ночью покой уснувшей тайги сторожили двое – наш часовой, стоявший около фанзы, и неподвижный лесной великан, упиравшийся в звездное небо косматой вершиной.

***

Бату Фу был низенький упитанный китаец с хитрым, рябым от оспы лицом и бегающими мышьими глазками. Нельзя сказать, чтобы он пользовался особенным уважением среди своих подчиненных. Несколько раз нам как блюстителям порядка приходилось улаживать прения, возникавшие между ним и рабочими из-за денег. В конце концов Фу, конечно, платил, но при этом морщился, вздыхал, и заметно было, что эта обязанность для него далеко не из приятных.

Уже давно работы передвинулись на порядочное расстояние от одинокого Господина Леса. Скрипели пилы, с шумом валились деревья, и звучали топоры, рубившие сучья. А кедр все стоял.

Но однажды случилось так.

Утром к нам зашел подрядчик Кащеев. Он долго сосал махорочную «собачью ножку», потом бросил ее на пол, растер ногой и задумчиво спросил:

— Как вы думаете, что, если свалить этот кедр?..

Кащеев был коммерсантом до кончиков ногтей.

Может быть, поэтому его вопрос не вызвал особенного удивления. Кто-то равнодушно отозвался:

— А китайцы? Разве они дадут?..

Кащеев прищурился.

— Этот вопрос мы, пожалуй, уладим... – сказал он. И снова повторил: – Да, этот вопрос мы уладим...

Позже мы забыли об этом. Когда же встало рыжее осеннее солнце и вереницей потянулись из барака рабочие, несколько человек осталось. Не пошел и Бату Фу. Он ходил между рабочими, что-то им толковал, возбужденно жестикулировал, и его мышьи глазки бегали быстрее обыкновенного.

Кащеев стоял около барака, сунув руки в карманы галифе и посасывая неизменную «собачью ножку». Он выглядел как полководец перед сражением.

Бату Фу подошел к нему и что-то спросил. Кащеев кивнул головой. Тогда Фу с несколько нерешительным видом приблизился к Господину Леса. Видимо, должно было произойти нечто необычное: группа рабочих смотрела на своего старшинку с напряженным любопытством.

Фу на одно мгновение замялся. Потом наклонился к стволу кедра и осторожно вынул из углубления маленькую деревянную кумирню. Красные бумажные ленточки запорхали от ветра. К нам, по-журавлиному шагая, подошел Кащеев.

— Будем валить, – заметил он, кивая в сторону кедра. По губам его скользнула довольная усмешка коммерсанта, сделавшего хорошее дело.

— А что же рабочие? – спросил кто-то из нас.

— Рабочие?.. – Кащеев посмотрел в сторону барака. – Что ж, они ничего. Это стоило мне две четверти ханы и фунтов пять кабанины... Фу – хитрая лиса. Он не прочь выпить. И он сказал рабочим: «Разве богу не все равно, где стоять? Сейчас мы свалим дерево, а завтра сделаем на том месте хорошую крышу...» Они подумали и огласились.

Между тем Фу отнес кумирню в барак. Двое рабочих с пилой подошли к Господину Леса.

— Вот видите? – сказал Кащеев. – Они молчат.

Они действительно молчали. Но молчание было настороженным, словно люди чего-то ждали.

Зубья пилы вонзились в кору, и послышался первый скрежещущий звук:

— Р-р-р-з-з-з...

Пила заработала равномерно и часто. Группа людей в молчании ожидала, когда качнется вершина лесного гиганта.

Фу вышел из барака и остановился. Он прищурился, прикидывая опытным взглядом, куда падет дерево.

И вдруг раздался негромкий треск. Потом еще. В стволе кедра что-то глухо крякнуло. Крона колыхнулась и стала медленно наклоняться...

Рабочие, бросив пилу, отскочили, в страхе глядя вверх.

Господин Леса падал. Но он падал не в ту сторону, куда должен был упасть. Выдолбленное углубление в стволе и большое дупло, уходившее вверх, ускорили развязку и изменили направление.

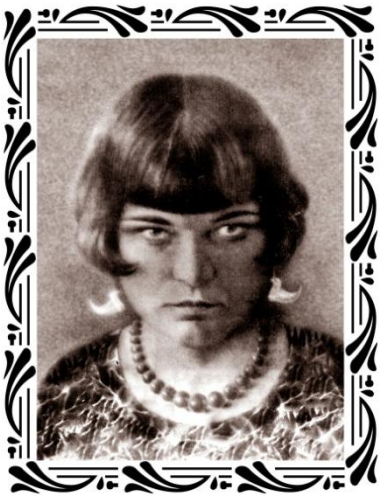
Кедр падал прямо в сторону барака, где группировались рабочие и где стояли мы.

Падение все ускорялось. Со свистом валилась огромная вершина. Ее тень, со страшной скоростью несшаяся к нам, метнулась у меня в глазах. Мы, сталкиваясь с рабочими, бросились в сторону. Вот, как струна или тонкий стеклянный волос, лопнула пила, и ее слабый звон затерялся в грохоте и треске падающего гиганта...

И сразу наступила тишина... Оглянувшись, я прежде всего увидел бледное, почти позеленевшее лицо Кащеева. Он в ужасе смотрел на повалившуюся вершину кедра. Переломанные ветви громоздились как раз в том месте, где только что стоял Бату Фу. Я оглянулся, отыскивая его среди рабочих. Но Бату не было нигде. А бледное, перекошенное страхом лицо Кащеева и его прыгающие губы подсказывали остальное.

Рабочие в немом ужасе столпились вокруг громадного кедра. Их взгляды – все, как один, – устремлялись к вершине. А двое из них, с топорами в руках, стояли в каком-то столбняке, опустив руки и не решаясь коснуться узловатых, протянутых к небу ветвей поверженного Господина Леса.

Печатается по: Рубеж. 2004. № 5. С. 159-160.



Виктория Юрьевна
ЯНКОВСКАЯ
(1909-1996)

Поэтесса и писательница Виктория Янковская родилась 18 февраля 1909 г. в имении Сидеми (около Владивостока) в семье пионера Дальнего Востока, прославленного охотника и предпринимателя. В 1922 г. вместе с родителями эмигрировала в Корею. Первые учебные годы провела в школе при католическом монастыре в Кобе (Япония), окончила гимназию в Харбине. Стихи и прозу писала с 8 лет. Участвовала в работе литературного объединения «Молодая Чураевка». Печаталась в харбинских и шанхайских газетах и журналах «Рубеж», «Понедельник», «Прожектор», «Врата» и др. Лауреат первой премии конкурса рассказов газеты «Слово» в Шанхае за рассказ «Без бога, без веры и без обычая» (1931). В 1935 г. выпустила книгу прозы «Это было в Корее». В 1945-1952 гг. жила и работала в бывшем имении арестованного брата «Тигровый хутор». В 1952 г. В. Янковской удалось выехать в Гонконг, затем в Сантьяго (Чили); в 1961 г. она эмигрировала в США. Жила в Калифорнии. В 1978 г. в Нью-Йорке вышел сборник ее стихов и рассказов «По странам рассеяния». Скончалась в Санта-Роза 6 апреля 1996 г.

Ист. и лит.:
Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 596-597.
Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд. М., 2001. С. 701-702.
Смотр женских литературных сил эмиграции Дальнего Востока // Рубеж. 1935. № 47. С. 25.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 355.

БЕЗ БОГА, БЕЗ ЗАКОНА, БЕЗ ОБЫЧАЯ

Широко расставив ноги, стоял Фомка в кунгасе и в последний раз перекрикивался со своим заказчиком на сельдь, японцем, уезжавшим по делам в Хакодате.

Огромный, светловолосый, в драной рубахе – Фомка резко выделялся среди рыбаков-корейцев, также круживших в своих лодках возле отходящего парохода.

— К сроку возвращайся! Не надуй! – гаркнул Фомка и так и замер с задранной вверх головой и открытым ртом: у борта стояла женщина, – «белая женщина!», – а их, кроме сестры, невестки и давно умершей матери, он никогда не видел, потому что бежал из Сибири маленьким.

Высокая, с развевающимися черными волосами, женщина, склонившись вниз и улыбаясь, смотрела на него:

— Ну, что замолчал, красавец? – крикнула она. – Или меня испугался? Точно, кроме азиаток, других не видел!

— Сама красавица и… на ведьму похожа… ясно, не видал! – неожиданно для себя отозвался парень.

— Хочешь, к тебе прыгну? Хочешь?

Женщина ловко изогнулась и прыгнула через борт к нему, на лету хватаясь за его плечи. Кунгас закачался, и ему осталось только прижать ее гибкое тело к себе и так балансировать несколько мгновений.

— Дурная! Чума тя задави! Опрокинула, было!

— Пустяки, беги за вещами, видишь, якорь поднимают!

Не раздумывая, Фомка кинулся по убегающему трапу, и скоро они остались вдвоем на чемодане, а кунгас бешено раскачивался на зелено-пенных бурунах, взбитых винтом отошедшего парохода.

— Куда тебя? – недоуменно спросил Фомка, стискивая руку женщины.

— Я? С тобой! Или меня не хочешь? Где твой дом? – отвечала и спрашивала она, заглядывая в его голубые глаза.

— Фанза? Во-он, за теми мысами, в деревне… – он протянул большую руку и ткнул ею в синее пространство.

Она увидела зеленые хребты, идущие извивами к горизонту, а там беляки – это они круто обрывались в море.

Потом женщина обернулась к приближающемуся молу, за которым мелькали разнообразные постройки.

— А это – какая деревня?

— Это? Это – порт Ченг-джин. Это – город. Мы сюда рыбу сдаем, закупки здесь делаем. Да сиди смирно, чего елозишь? Думаешь, легко юлить-то? Мы сейчас на мою шаланду и, значит, домой.

— Да, да! Куда хочешь вези, что хочешь делай!

— Так ты в жены мне пришла? – через плечо любовно спросил он, продолжая раскачивать весло. – Вот это ладно. А то отец в Харбин хотел меня за бабой-то гнать – да это, вишь, дорого, и не знаю я, как...

— А ты холостой? Прекрасно. Да, как твое имя?

— Как звать? Фомкою. А тебя?

— Фомка… Фома… Том, «Фома Гордеев» – это интересно! – «примеряла» женщина, не отрывая своих зеленых глаз от его мокрой мускулистой спины.

— Чего смотришь так? Змеиные у тебя зенки! Не замай! Ведьма ты, впрямь, что ли? Имя свое что не говоришь?

— Разве это важно? Может быть, я – ведьма или змея – сам назвал, так и зови… как хочешь.

— Не балуй! Должон я знать – коли в жены беру…

— Имя мое – Факел Пылающий – я – Елена, Елена Прекрасная… Из-за меня погибла Троя… Понял?

— Трое? А я что ж? Значит, четвертый буду? Н-но, не бахвалься! Больно много сразу не говори… Не привык я…

Позже, когда Фомка справился с парусами и пахнущая рыбой шаланда понеслась по ветру, пересекая залив, Елена стояла задумчиво у

мачты и глядела на чаек. Волосы она распустила, и они трепались в воздухе, покрытые солеными брызгами, отражающими солнце.

Может быть, она думала о своих вольных шагах, когда Фомка, беспокойно покосившись на нее, крикнул:

— А хлеб работать умеешь?

— Что захочу – все могу: и работать, и любить! – отвечала она, протягивая вперед руки.

Фомка кинулся к ней, грубо стиснул и повлек в низкий и душный трюм…

Шаланда попала в штиль, но Фомку это мало беспокоило.

Они валялись на соломенных циновках под скрипящей мачтой, и он всем своим существом приковывался к странной, «прыгнувшей» в его жизнь женщине, которая, глядя в яркое звездное летнее корейское небо, говорила точно не ему, а кому-то другому, красивые, малопонятные фразы.

Булькала вода, а он слушал свое счастье, у которого были сухие горячие губы и цепкие, душистые волосы.

Неожиданно налетевший предрассветный бриз заставил его укутать женщину в появившийся откуда-то плед, а самому подумать о предстоящей взбучке от отца и большака, потому что шаланда уже вошла в скалистую бухточку, где был расположен их рыбачий поселок.

Град национальных приветствий осыпал его, когда был пойман конец, и шаланда встала у шатких мостков.

— Чего лаешься, старик? Ну, опоздал, опоздал, велика важность!

Елена увидела плотного, крепкого мужчину с курчавой седой бородой.

— Не сердись, батя, – крикнула она. – Сынок ваш недаром опоздал, он жену привез – глядите, какая я! – и, сбросив плед, Елена встала перед удивленным стариком в своем ярком коротком платье. Рассветный сумрак делал лицо ее бледнее, а фигуру выше и стройнее. – Благословляйте же нас, батя!

— Какое там благословение, – проворчал дед и плюнул. – Думаешь, овенчаться пошлю? Нет, брат! Церковь православная есть только в столице – Сеуле, а туда ехать сколько стоит? Мы в церкви не нуждаемся, мы без этого живем, у нас вкруг березки венчаются; а вы, поди, и вкруг мачты успели… – загоготал старик и сурово добавил: – Ну, Фомка, забирай бабу – пошли! И большак ждет новостей, и баб удивишь!

Друг за другом пробирались по мосткам, а потом – кривыми вонючими проулками, извилистой тропкой между пашен, и пришли, наконец, в большой, грязный двор, заваленный сетями; посередине стояла ободранная фанза, а в лужице от протекавшей речушки полоскался тоненький кореец в одних штанах.

Уже совсем рассвело, и Елена тогда же обратила внимание на его

хрупкое, полудетское сложение, на гладкую, безволосую грудь и плечи, точно обтянутые смуглой лайкой. Юноша привстал, откидывая мокрой рукой длинные пряди волос со лба, и взглянул на Елену испуганными черными глазами: лицо было на редкость хорошеньким, хотя черты были мелки.

— Это что за туземчик? – обернулась она к мужчинам. – Он миленький, я таких еще не видела, кто он, Фомка?

— Зятек, – недовольно отвечал тот. – Сестру выдали, вот и фанзу за им взяли, и пашни эти, раньше хуже жили…

— Распелись… – ворчал старик, дергая раздвижную бумажную дверь.

— Батька не любит, когда много разговаривают, – пробасил насмешливо Фомка.

В фанзе Елена увидела трех последних членов семьи: большого – на вид угрюмого мужика – Данилу, в нем она сразу узнала старшего брата Фомки; его жену – болезненную беременную бабу и другую – не менее жалкого вида – Любку – сестру, выданную за корейца.

— Чего оглядываешься? Али хоромы не по вкусу и родня не в шелку? – опять прогремел старик, усаживаясь за грубый стол. – Чего раззевались? – крикнул он и бабам. – Собирайте на стол!

Бабы метнулись к полкам, и скоро на столе появилась сборная утварь: в медных чашках – чумиза, на оббитой эмалированной тарелке – вяленая рыба, в фарфоровых плошках – вонючая, мелконарезанная редька, посыпанная красным перцем; огромные ломти серого хлеба лежали прямо на столе. Все начали есть корейскими плоскими ложками.

Елена ко всему относилась с интересом, пробуя всего понемногу: отщипывала длинными шлифованными ноготками маленькие кусочки хлеба и запивала жидким горячим чаем из кружки жгучий салат и пресную чумизу.

Она любила жизнь в ее общем размахе и хотя подумала сейчас мельком, что не хотелось бы питаться так постоянно, но, в общем, ей всегда было безразлично: что есть, как одеваться, как спать, – она брала только то, что было под руками: мелочи жизни никогда не поглощали всего ее внимания.

Старый Терентий Пахомыч, быстро работая крепкими желтыми зубами, не переставая, разглядывал новую невестку, и глаза его, под нависшими седыми бровями, поблескивали.

Вспоминалась ли ему другая, добровольно оставленная жизнь, где ему доставались «и не такие женщины», только он вдруг саркастически произнес:

— Что думаешь, Фомка? Ты работницу в дом привел? Разве «такая» работать может? Мощи в ей нету: ни грудей, ни заду, руки – как плети! Такая и родить не может! – Он захохотал.

Фомка как-то по-новому покосился на Елену, и сам удивился тому, что она его так влечет: она вся была противоположна тому представлению о молодухе, которое он и его «круг» имели с детства.

— Не бойтесь, батя, – ответила за Фомку Елена, смело взглянув на старика. – Я все могу, он это знает, – и она ободряюще похлопала Фомку по щеке.

— Что баловать умеешь – это я сам вижу, – как-то приосанившись и крякнув, процедил Терентий Пахомыч.

— А вы – красивый, – выпалила Елена и, поддаваясь внутреннему импульсу, ласково взяла старика за бороду и стала обматывать ее седым шелком свою тонкую, породистую руку. – Красивый, как пророк, – восторженно добавила она.

Окружающие смущенно замерли с кусками у ртов, ожидая грозы, а Фомка даже ущипнул под столом ногу Елены. Но ни отец, ни она ничего этого не заметили – точно по-иному и быть не могло.

Молодо сверкнули глаза Терентия Пахомыча, когда он отвечал, тихонько подергивая бородой в ее руках:

— Пророк – не пророк, а здесь я – царь и бог, твоя правда!

— Вы что, только в себя, видно, и верите? – Елена спросила, неохотно выпуская бороду из рук и оглядывая низкие стены и куполообразный бревенчатый потолок. – У вас и иконы не видно.

— Да. Мы без «этого» живем – я же тебе еще давеча сказал, – гордо ответил старик. — Нам и без «этого» хорошо, нечего время тратить на пустое.

— Вы как будто умный, а такие глу… страшные слова говорите! Разве нет у вас потребности верить в Бога? И зачем тогда бежать вам было? Жили бы с большевиками…

— Я и не беженец. Я сам по себе уехал, потому, так и этак, жить мне там не захотелось: я свою торговлю имел, ни от кого будто не зависел, да люди и Закон меня обидели. Ну, людей-то и я пообидел, а Закон – не смог, вот и ушел… Да это длинная история, и не твоего ума дело! – вдруг рассердился он и, понижая голос, прибавил: – И при них, – он покосился на свою семью, – про «это» говорить не годится: они маленькие были, что знали, забыть успели. Приучил жить без глупостев. Так мне способней.

— Ну и «способней»: посмотрите, разве при Боге так живут? Изба у вас – не изба, внучат нет, вас боятся, а ругают, будто вы и не отец им, дочь за азиата отдали…

Но старику надоели серьезные разговоры, а может быть, и померещилась правда в речах Елены, только он крикнул:

— Будет тебе, девка, не каркай! – и треснул жилистым кулаком по столу.

Мужчин уже не было в фанзе, и старик заторопился к выходу.

Оглядев молчаливых женщин, возящихся с посудой, Елена поняла, что не сможет присоединиться к ним, и последовала за стариком.

Скоро она разыскала Фомку, починявшего сети на низкой узкой верандочке, окружавшей фанзу. Она стала помогать ему, и как-то так с первого же дня вышло, что она стала помощницей мужчин, а не женщин.

Вечерами приходил в бухточку маленький катер и, нанизав десятка два шаланд на буксир, уводил их в открытое море. Как огненная гирлянда, тянулись за ним шаланды, отражая желтые бумажные фонари в темной воде. На одной из них всегда ездила Елена с Фомкой на ночной улов сельди. Катер разбрасывал их в море на ночь, а утром вновь уводил к берегу.

Елена бодрствовала ночами, взяв на себя обязанность следить за расставленной сетью. Ее удивляло, что Фомка утомлялся работой и ее ласками и всегда засыпал, а не любовался этой изумительной обстановкой.

Сначала она его будила:

— Не спи ты, дубинушка! Взгляни, как фосфорится море, ведь это Японское море, значит, почти Великий океан?.. А звезды, а рыбы – все живое вокруг. Да взгляни ты!

— Вида-ал… – зевал Фомка, моргая сонными глазами и тотчас же засыпая. И к этому она скоро привыкла.

Как-то, за едой, она в шутку пожаловалась отцу на сонливость Фомки, а тот и ответил:

— А ты со мной бы поехала! Я б тебе не дал скучать…

Но Фомка неожиданно огрызнулся:

— Не заигрывай, старик! Мало, что мать уморил до смерти! Думаешь, и свою бабу тебе дам?

Дочь Любка, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты.

— Зачали опять… – прошептала невестка.

— Что с ней? – спросила Елена.

— Да не мог же весь век с одной бабой жить, на то и не святой! Ходил от своей старухи к корейкам, а она с горя и окочурилась. Вот Любка и жалеет, да и плачет, что могилы ейной найти не может… А что падаль беречь? Велел зарыть где-то, да и забыл… Он тоже, – указал старик на молчаливого зятя-корейца, – пробовал духам своим молиться, расставил камешки под сопочками: на восток, на юг – чертям своим горным ходил кланяться! Да ни к чему все это. Мы с сынами разнесли его причуды вдребезги, затоптали все тропинки – отучили… – и старик засмеялся.

Жутко стало Елене, и она передернула плечами, но ничего не ответила, зная теперь, что это бесполезно.

А старик, как ни в чем не бывало, продолжал:

— Да, Фомка, тебе нужно в город съездить, ты лучше по-ихнему говоришь: рассол в чанах кончается, сам знаешь, нужно вовремя добавить.

Собирайся. Соли да еще веревок прихвати, да муки… Чего там еще нужно по хозяйству? – крикнул он бабам.

Раздалась знакомая сирена пришедшего катера, по которой, как по часам, распределялся их день.

— Вот и валяй на этом катере, быстрее будет, – приказал старик. – А шаланда лишняя нам и здесь пригодится! – и он подмигнул Елене.

Вяло взобрался Фомка на катер. Нехорошо было у него на душе. Видел он, как отец и Елена устроились на одной из шаланд, взятых на буксир его катером.

Собрав в руки концы своих черных волос, Елена помахала ими Фомке и крикнула:

— Не забывай меня! Другую, смотри, не найди в Чонг-джине!

Он-то не забудет – и другой такой не найти.

Ни на другой, ни на третий день не вернулся Фомка, и только в конце недели рыбаки передали его замусоленную, корявую записку, в которой он писал, что сломал ногу, завязнув в сходнях, и теперь отлеживается у рыбаков в Чонг-джине.

— Вот и нечего тебе беспокоиться, – сказал старик Елене. – Еще со мной поездишь… Ведь нравится?

Да она и не беспокоилась. Ей действительно нравился на глазах помолодевший Терентий Пахомыч: все нравилось – разговоры с ним нравились, хотя и пугали.

Но постоянною она быть не могла ни с кем и все чаще украдкой взглядывала на юного корейца-зятька, глядевшего на нее с преданным немым обожанием собаки.

— А как еще этот умеет любить? – задавала она все чаще себе вопрос.

Несколько дней сряду гремел тайфун у берегов Северной Кореи. Семья теснилась в фанзе: стенки были тонки, и, казалось, никуда нельзя скрыться от стонов беременной невестки, от ревнивых взглядов старика.

Целый день носилась Елена по пляжу. Хотя дождь и прекратился и волны реже гребнились, но катер не пришел за шаландами.

Елена отогрелась и обсохла на горячем полу фанзы, и ей захотелось перемены. Потягиваясь, как кошка, она подползла к молодому корейцу и тихо попросила свезти ее к Фомке – в Чонг-джин. Он радостно закивал лохматой черной головой и стал красться к выходу, хотя уже надвигались сумерки – и безрассудство ее просьбы было явным.

И тут Елена заметила напряженный взгляд большака, которым тот провожал ее. Она лукаво улыбнулась ему, скрываясь за дверь.

Все кунгасы предусмотрительно лежали на берегу вверх днищами, так как никто из рыбаков не выходил в море, но Елена еще во время дневной прогулки столкнула к воде самый маленький, и в него они теперь вскочили.

Оттолкнулись… и взнеслись на подошедший гребень, и другой, и третий…

В этот миг на берегу появился Терентий Пахомыч: дико маша руками, он что-то кричал и бежал к воде. Обрывки фраз донеслись до Елены:

— Мало, что двух смутила, стерва! Дом из-за тебя вверх дном! Не уйдешь ты так! – и он кинулся в воду.

— Вы на морского царя похожи! – восторженно отозвалась Елена, глядя, как он фыркает и как вода струится по его седой бороде. А корейцу Елена шептала:

— Греби, греби, теперь тебя любить хочу…

Волны и сумрак спрятали маленький кунгас; и взбешенный старик потащился домой и расслабленно плюхнулся на пороге.

За дверью слышался плач дочери и причитания невестки. Но это ему было безразлично, а войти он не мог, потому что стыдно было показать им свою впервые осмеянную седину.

А баба все громче кричала.

— Изверги-мучители! За что меня-то, чужую, завезли на эту проклятую сторону! Бога вы не боитесь, сраму не знаете… Черна, как галка, суха, как палка, краля ваша… И что далась она вам? Присушила, разлучница! Думала – в ребеночке счастье найду, к чему он теперь… Отец, вишь, до родин за первой сукой погнался.

Старик понял, что и Данилу заела та же болезнь, и попробовал раздвинуть двери. Но чье-то тяжелое тело изнутри давило на них.

Вдруг грубый сапог прорвал бумагу, треснули решетки, и вылетела дверь на середину двора; а за ней хряснулась на спину невестка, получившая удар сапога в живот. С проклятиями перескочил Данила через потерявшую сознание жену и ринулся в ночь.

— Что бу-удет, что бу-удет!.. – несся вслед ему плач Любки.

Сначала Данила, как и старик, кинулся в воду и даже поплыл, борясь с сумасшедшим морем. Но потом понял всю необдуманность этого поступка и выплыл на берег. Он соображал:

— Далеко они уплыть не могли; кореец – трус; причалили они где-нибудь к берегу – не дальше скалистого мыса… – и Данила побежал по плотно убитому песку пляжа, а волны зализывали за ним его следы.

Бежал, останавливался и снова бежал, пока не увидел вдали какой-то огонь. Тогда он начал красться, хотя было еще очень далеко.

Он увидел Елену сидящей у огромного костра, сложенного из нанесенных тайфуном больших коряг. Она задумчиво глядела в огонь, подперев подбородок одной рукой, а другой держала палку, которой ворошила угли, взметая к небу искры. В стороне, скорчившись и посинев, лежал кореец, совсем голый.

— И ты тоже пришел – я так и знала, – протянула Елена, не отрывая взгляда от огня. – Я тебя давно жду. – Потом она засмеялась: – А этот – не выдержал! Смотри, на кого похож! Недаром казался таким беспомощным, – и указала на корейца. – Убрать бы эту падаль… – пробормотала она и испуганно почувствовала, что говорит уже словами Пахомыча.

А Данила, не долго думая, пнул ногой зятя и, когда тот не издал ни звука, только как-то судорожно потянулся, Данила схватил его за влажные ноги и, раскачав, закинул в буруны.

— Что ты делаешь! – крикнула, поднимаясь, Елена, а потом вздохнула. – Туда ему и дорога, бедняжке! Разве стоит жить такому?

Высокий и сильный, стоял перед ней Данила.

— Покажи и ты себя! – вызывающе произнесла женщина, хватаясь за ворот его рубахи и разрывая ее до низу.

— И покажу! – отвечал мужчина, хватая ее на руки и сжимая так, что захрустели тонкие кости.

— Люблю тебя! – простонала Елена, прижимаясь к его голой широкой груди…

Песок впивался в ее острые голые локти, но она этого не замечала, лежа на животе и глядя куда-то мимо Данилы.

Она говорила.

Данила узнал, что она артистка, что она скопила немного денег, чтобы попутешествовать летом, когда у них нет работы, что она благодарна им всем за необычайно проведенные недели, но что теперь ей пора уезжать… Она много говорила и того, чего он не мог понять. А звездная осенняя ночь шла к концу.

Равномерно мигал маяк над морем; скалы надвигались странными фигурами, неся аромат запоздалого шиповника; и метались над ними искры и брызги. Море шумело.

Данила слушал и не верил. Когда она умолкла на мгновенье, он спросил:

— А на самом деле кто ты? Так просто все быть не может…

Ее глаза загорелись:

— Ты прав, наверное, все «это» мне сейчас показалось! Я тоже так думаю. Неправда все, что я говорила. Я – Леда, я белая Леда, я – мать красоты! – продекламировала она, порывисто вставая.

— Какая же ты белая? – запротестовал Данила, приподнимаясь.

— Глупый, – пропела женщина. – Это же стихи такие, песня, понимаешь? А сочинил ее поэт, господин такой, – поправилась она, – Дмитрий Мережковский.

— Про тебя? Значит, ты и с ним блудила? – спросил ревниво Данила. – Значит – не у нас только ты была такая? И уйдешь теперь, может, опять к нему?

— Глупый, – повторила она, – уйти-то уйду да не знаю к кому! Кто понравится, к тому и уйду!

— Ан не уйдешь! – хватил себя по колену Данила.

— Как не уйду? – восторженно спросила Елена.

— А вот так: или со мной останешься, или ни к кому!

— А поймай! – вдруг крикнула женщина и понеслась к кунгасу.

Мужчина быстро настиг ее и, схватив за длинные волосы, пригнул к песку.

Волны разбивались теперь вокруг них.

Данила, не отпуская Елены, столкнул ногами лодку и прыгнул в нее, втащив за собою женщину.

— Вот тут и поговорим, – накручивая, как жгут, ее волосы вокруг мускулистой руки, пробормотал он. – Уйдешь?

— Уйду, – процедила сквозь стиснутые зубы Елена.

Он ударил ее по спине.

— Уйду, милый! – улыбнулась она.

Он стал бить ее тяжелыми частыми ударами, а она повторяла:

— Еще… бей еще! Меня еще никто так не бил! Бей же, – и она стала хохотать.

— Ну, змея! – крикнул испуганно Данила и, отбросив ее на дно лодки, взялся за весло и повел кунгас прочь от берега.

— Что не бьешь? – подползла к нему Елена.

— Больно люблю тебя, – простонал Данила, притягивая за руки избитое тело.

— Лови часы моей любви,

Лови, пока они твои,

Но не кляни потом меня,

Когда другой сменит тебя!

— И ловлю, – проскрежетал он, зажимая ее рот поцелуем. – А если поймать не смогу…

— Тогда? Тогда что?

— Тогда – утоплю тебя! – крикнул он. – Утоплю, как давеча корейчонка, таким тоже жить не надо!

И, снова сгребя ее волосы, он пригнул к воде через борт ее голову:

— Шея-то какая белая… лебединая у тебя шея!

Зарилось розовое море, и заплескали вдали серебряные дельфины.

— Хочешь к ним или со мной? В последний раз отвечай!

— К новому хочу, к новому… – сдавленно прошептала Елена и улыбнулась сквозь боль.

— Так иди ж к новому! К свиньям морским, к рыбам! – и бросил Данила ее в волны и, не оглядываясь, погнал кунгас.

Несколько черных прядей застряло в уключине…

А дома рыдал в горячке привезенный рыбаками Фомка; истекала кровью невестка; плакала Любка над выброшенным трупом корейца.

На четвереньках полуразбитый параличом Пахомыч подползал к самому морю; перекосило грешный рот на сторону, и съехала серебряная борода за правое ухо.

Рычал бессвязно:

— Снохач… Кто? Кто это сказал? Ты видел? Настиг… Не мог укрыться, пришиб меня Бог…

Корея. Новина. 1930 г.

Опубликовано и печатается по: Янковская В. По странам рассеяния. Владивосток, 1993. С. 34-44.

ПОЛОСАТАЯ ПИЛОТКА

Из серии «Запретные плоды»

Быстро, но бесшумно пробираюсь по скалистому сосновому хребту – моментами он так узок и остр, что кажется, на нем можно ехать верхом, как на сказочном драконе. Слева и справа – его ребра – глинисто переливчатые оползни косогоров, где должна идти цепь нашей облавы. Но ее что-то не видно… Должно быть, боясь опередить, я отстала.

— Бах, бах-бах! Бах-бах! Бах-бах! – раздается гулкая пальба где-то впереди. Это мои братья отсаживают по ком-то из своих десятизарядных английских винтовок.

Стремительно несусь по хребту, выбирая чистое место для наблюдений. Вдали повторяется учащенная пальба.

Замираю на складе над крутыми глубокими промоинами.

Взвожу курки своей старой двустволки. Жду напряженно, до дрожи.

Шорох в желтых не облетевших крупнолистых дубняках… и… Господи! Подо мной, шагах в сорока, появляется коза. Скачет упруго, не быстро, отрываясь от земли всеми четырьмя тонкими ногами…

Вскидываюсь и целюсь, стараясь не волноваться. Время для меня остановилось.

Подлетая, уже удаляется белая салфетка… а я только сейчас набралась уверенности.

Но за первой козой появляется вторая, такими же вкрадчивыми прыжками. Ясно вижу ее на мушке и нажимаю на собачку…

— Чак! Чак!

Ничего не понимаю!

А за второй салфеткой, мелькнувшей над увалом, летит третья – и… тоже исчезает.

Горячей рукой хватаюсь за мокрый лоб, срываю шапку, лохмачу волосы. Мне кажется, что меня тошнит и что внутри все упало, сорвалось куда-то… Точно навсегда кончена жизнь… И я шиплю:

— О-ссс-е-ч-к-и…

Потом почти кричу:

— Осечки! Осечки!

Открываю затвор. Вынимаю две предательских красных гильзы: пистоны сбоку вдавлены ударом бойка. Поворачиваю: на белом кружке цифры: 24. Двадцать четыре картечины на заряд! На сорок шагов. Вылети они – и одна коза в серой зимней шерсти лежала бы там, внизу… А я? – Я бы скакала вокруг в индейском безумном танце!

— Моя коза! Моя! Собственная! Счастье, ускакавшее на тонких изящных ногах…

Ясно, что стрельба была по кому-то другому, иначе мои козы не скакали бы так спокойно, только чуть настороженно. Они, как и я, только слышали «канонаду» и спешили уйти от нее… И ушли! Ловко пробравшись сквозь цепь, увлеченную чем-то иным…

Вяло устремляюсь вперед, чтобы узнать в чем дело; вяло ругаю себя: давно надо перейти на пульное! И что дался мне этот дробовик!

Кончаются сосны. Подо мной крутой скалистый спуск в ложбину, а там – стоят два моих брата и рассматривают большую рыжую лису-огневку. Они совсем близко от меня – сразу под скалой.

— Кто убил? – спрашиваю.

Отвечают:

— Компанейская!

Холодно иронизирую:

— Как же поделите? Ведь у вас нет «компанейских» симпатий?

Они не замечают моего унылого тона и, переглядываясь, смеются намеку:

— Потому и палили так бессовестно, что каждый обещал эту лису подарить своей даме. Скоро по лисам да горалам Шанхай и Харбин смогут определять – кто проводил лето в Корее…

Я молчу.

— Да что с тобой? – вдруг спохватывается один. – Зеленая какая-то!

— Что? – взрываюсь я. – Вот что! – и бросаю на рыжую, тронутую сединкой спину лисы два злополучных патрона. Они скатываются в сухо шелестящую траву.

— По ком стреляла?

Каким-то заводным голосом роняю:

— От вас бежало три козы… в сорока шагах от меня…

— Экое невезение сегодня! – реагируют они. – Говорили – ходи с пульным! Ты и берет, должно быть, потеряла? Ну, вот, три несчастья, по

твоим суевериям теперь будет хорошо: шины утром лопались, осечка, берет…

— Какой берет? – я трогаю взвихренную голову, хлопаю по карманам. – Неужели я ее потеряла? У меня сегодня был не берет, а памятная мне полосатая пилотка…

— В которой ты хулиганила в Харбине? – вспоминает брат. – Зачем ехала именно в ней?

Я уже совсем зла:

— Ваших же пойнтеров не хотела волновать и схватила в полутьме что попало. Они же думали, что мы едем за фазанами, и начинали уже подвывать. А зачем было будить так рано весь дом?..

Тем временем подошли к нам остальные охотники и «морикуны» – корейцы-загонщики. Они затолкали лису в сетчатый мешок, висящий на спине одного из них. Мальчики стали тянуть жребий на соломинках, чтобы распределить новый порядок цепи…

Но я на этот день уже «потухла». Не иду, а как-то слоняюсь, любуясь зимними, но еще бесснежными горизонтами: в телесно-синих очертаниях хребты – колючие, резкие, специфически северокорейские, уходящие своими смелыми зигзагами в неистово-яркое море.

Сосны щекочут лицо и шею. Я вспоминаю о своей пилотке и ясно вижу ее висящей на голом кусте азалии над глинистым оползнем… Я не пойду за ней – пусть висит. Это ее маленькая судьба. У каждой, особенно потерянной вещи, – есть историйка. Значит, для вещи хорошо, что ее потеряли, – иначе не было бы «истории». А потому не было бы, что пока она – эта вещь – есть у меня, я ее не замечаю и не думаю о ней, иногда даже ненавижу ее. А почему это так, я сама не знаю.

И сама того не сознавая, я рассказываю себе историю «полосатой пилотки». Я часто себе рассказываю разные истории, когда не хочу думать о чем-нибудь неприятном. И бормотанье мое сливается с шелестом сухих листьев – «шорохом прошлого», как называет это мой маленький, начитанный брат, влюбленный в Манилова…

— Так я и не попала в этот паршивый бар, – говорю я, рассеянно укладывая последнее платье в крышку большого раздутого чемодана.

Хорошенькая Тася, моя полуинтеллигентная полька-горничная, с искренней печалью вздыхает:

— Мне все не верится, что вы уезжаете завтра! Тоска будет. Тишина…

Мне и самой не кажется, что я уезжаю, несмотря на все «проводины» и абсолютное недосыпание этой недели…

Да, этот большой, строго-холодный, красивый дом, пожалуй, действительно замрет с моим отъездом. И маленькая Тася, с которой я за вечным неимением подруг делилась своими похождениями, совсем осиротеет среди этих ковров, темных багетов и редких безделушек под стеклом. Может быть, она даже онемеет?

— Барышня, – таинственно произносит она.

Я удивленно распрямляюсь и рассеянно решаю: «Уже начинает неметь».

Тася тихонько, но печально смеется:

— Вы уже уехали от меня!

Меткость замечания заставляет и меня улыбнуться:

— Да, да. Но и мне грустно, Тася. Я обожаю процесс самой езды куда угодно, но не люблю уезжать.

С минуту Тася смотрит на меня нерешительно, видимо, что-то обдумывая.

Снимаю с вешалки свой спортивный мужской костюм и собираюсь складывать. Из кармана жакета торчит полосатая – синяя с красным – шапочка-пилотка. Купила зачем-то, но ни разу не надела.

А Тася тем временем берет из моих рук костюм и говорит, продолжая свою мысль:

— Зачем вам был смокинг, когда у вас есть этот костюм и пилотка, которую никто не видел… Раз все ваши «хавалеры» отказались пойти с вами в этот «низкопробный бар», и все ваши барышни не рискнули одеться в смокинги и пойти с вами без мужчин…

Я поняла, в чем дело, и, подскочив вверх, закричала:

— Молодец, Таська! Вы правы! Мы отпразднуем этот вечер вдвоем с вами!

Тася вся вспыхнула и прошептала:

— Тише! Хозяева «наши» еще не спят… И зачем вы отдали назад свой ключ от парадного? Даже они не верили, что вы высидите последний вечер дома.

А я уже горела своей давней идеей – посетить эту подвальную дыру с надписью по-русски «Джэсс по средам и пятницам»… Я проходила мимо этой надписи каждый день (она была по соседству с этим красивым домом) и каждый день неизменно повторяла: «Ведь я никогда не была в русском баре!». И, может быть, я забыла бы об этой дешевой вывеске, если б мне не «запретили» думать о его посещении: «Пойти с вами туда? За кого вы нас считаете?». О, я отомщу этим «пингвинам» и словом и делом!

Я быстро надеваю широкие «гольф», пиджак, пилотку и… задумываюсь над обувью… А Тася драпируется в мою китайскую курму. Она говорит:

— Наденьте атласные бальные туфли и даже подмажьтесь. Все равно вас не примут за мужчину, а будет изящнее…

— Вы правы, и недаром я вас люблю, – восторгаюсь я. – Нужно выглядеть как можно нелепее, чтобы на нас все обращали внимание – иначе зачем идти? Ради посторонних наблюдений? Нет! Мы кашу заварим! Мы, знаете, будем сегодня «играть»! Я буду иностранкой-

журналисткой, а вы – моей компаньонкой! Я буду говорить с вами и, вообще, только по-английски, а вы что-нибудь мычите или отвечайте шепотом…

Когда тухнут в квартире огни, мы выползаем на черный ход. Три этажа в скользко-грязной темноте. Я никогда и не подозревала, что у такого барского дома – такие задворки! И Тася здесь ходит постоянно и не удивляется! Да ведь это красота! Трущобы! Крестовский! Целая хима бок о бок с нами, а я и не подозревала! Ради одного этого открытия стоило ползти…

Шепот Таси перебивает мои мысли:

— Там – такие правила: вход по полтиннику с человека, а потом в зал; «дамы» могут приходить одни и мальчишки тоже, и приглашают, кто кого хочет, потому и поганое место, что со знакомыми никто туда не ходит; девчонки «подпирают стены», пока их не пригласят танцевать, а мальчишки большей частью пьют сначала, а потом выбирают себе дам и часто хамят, если окажется, что плохо танцуешь. Мою подругу одну уговорили туда пойти… так она убежала, оставив свое пальто! Потому что там раз выскочишь на улицу – потом нужно снова покупать билет. Трудно им уследить, чтобы «зайцем» не входили… За ней погнался один, а она не знала и выскочила безо всего на улицу, а назад ее не впустили, так как у нее не было второго полтинника… Ей было стыдно объяснять, и она так и ушла… пропало пальто…

Я отвечаю:

— Вот и отлично, что мы пошли без пальто. Холодновато, правда, но ведь два шага… Вы курму тоже не снимайте. Кроме того, у меня в кармане кастет – чуть чего – в зубы! – подогреваю я Тасю, потому что слышу, что она начинает волноваться. – Деньги я скомкала и без портмоне сунула в карман, вы увидите, как я буду «хамить» по-настоящему.

Тася шепчет совсем нерешительно:

— Лучше не показывайте своего кастета! Может быть, у них есть револьверы?

— Глупости! Знаете, это хорошо, что мы идем по черной лестнице. Это мне создает настроение…

— А мне наоборот, – бормочет Тася. – И я так боюсь, вдруг пригласят незнакомые… Я не хочу танцевать с незнакомыми…

— Милочка моя! – уже начинаю возмущаться я. – Именно незнакомые: у нас там не может быть знакомых! Тогда было бы совсем неинтересно! Хулиганить – так до конца! И не вздумайте упираться! Ведь мы с вами никогда не танцевали, и, может быть, у нас ничего не выйдет, а если нас разделят мужчины, так уж мы сможем подделаться.

Выскользнули во внутренний двор. Морозом сдавило дыханье. Где-то пробило час.

Скользнули в калитку в больших воротах…

— Смотри, караулка, не запирай! – крикнула Тася.

Квартал бегом мимо запертых механических мастерских. Таська шепчет:

— Вот отсюда-то вся шпана собирается… Самое хулиганье! И место-то паршивое – темнота, скользко…

«Темнота-то она руку, – решаю про себя, чтобы не пугать Тасю, – удирать легче будет…».

Я заботливо подставляю Тасе стул и решительно занимаю у самой двери грязный столик.

— Бой! Пиво! – бросаю грубо по-американски.

Тася вся сжалась, а мне смешно и злобно. Ведь меня уже нет, а есть какая-то экстравагантная американка. В мутном зеркале прихожей я видела ее резкое угловатое лицо с длинным ярким мундштуком в зубах. Она закидывает ногу на ногу, и странно бросается в глаза светлый шелковый чулок, видный почти до колена в складках широких штанов.

Оглядываю комнату: низкая, сальная какая-то, со столиками вдоль стен – скатерти грязные, сероватые. А дальше дыра в стене и за ней полутьма, а оттуда выкашливаются звуки захудалого оркестра: «Ночью, ночью в знойной Аргентине…»

— Хотите танцевать? – спрашиваю Тасю.

— Нет уж, лучше выпью сначала для острастки…

Нам подают пиво.

А в это время музыка прекращается, и из темной дыры, напирая друг на друга, лезут люди: сначала пятится несколько размалеванных девиц, видимо, только наблюдавших танцы, а за ними вразвалку с громким говором – всякая шпана вперемешку: пиджачки, блузы, блузки, тужурки, платья…

Эта толпа, не успев разойтись, замечает нас. Тася сидит к ней спиной и молча багровеет, чувствуя на своей расшитой курме посторонние взгляды и видя мое лицо, в которое я напускаю максимум наглости, чтобы скрыть любопытство.

Реплики по нашему адресу не замедлили:

— Мужик или баба?

— Вот чучелы-то!

— Наверное, не русские…

— А вот узнаем! Федька! Ты в Тяньцзине чему учился? Поговори с ней! – и какой-то хамоватый парень указывает на меня пальцем.

Но из темной дыры начинает кашлять новинка сезона: «У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно…».

Сдерживаюсь, чтобы не подпевать, и, беря Тасю под локоть, сквозь расступившуюся толпу прохожу в «зал». Тася вся дрожит и шепчет:

— Приказчик от Чурина, у которого мы сегодня в гастрономическом…

— Тс-с! – останавливаю я ее, переходя на фокстрот.

— Назвал вашу фамилию, – продолжает она.

«Это уже худее», – думаю я, стараясь понять, к каким «па» привыкла Тася.

Слава Богу, здесь почти темно. Таська танцует отвратительно!

Пары напирают на нас со всех сторон, грубо и беззастенчиво пытаясь разглядывать.

Проходим мимо оркестра. Там светлее. Я присматриваюсь к музыкантам и – о, ужас!

Один из них подымает рупор, взмахивает им, и на минуту замолкший оркестр выводит старую знакомую мелодию, но как!.. И чуть не в самое лицо мне «рупорист» выкрикивает:

— Ю! Ю, драйвинг ми крези-и! Чу-ра-ев-ка! Чу-ра-ев-ка!..

Таська щиплет мое плечо:

— Говорила, говорила вам, что вас везде узнают! Вы так часто выступали этой зимой…

Но я уже успокаиваюсь. Что из того, что какой-то музыкант вспомнил, что слышал меня в Чураевке или в Комсобе? Фамилия моя ему, видимо, не запомнилась, а слово «Чураевка» неизвестно местной «публике», иначе она по-иному бы реагировала.

Таська, несмотря на мое умение «подделываться», оттоптала мне все ноги, и у дыры, носящей, видимо, название арки, я заворачиваю ее и веду к нашему столику.

Но, оказывается, о нас не забыли, и пять-шесть рослых парней, сидящих поодаль, при виде нас начинают ехать к нам вместе со своими стульями и столами. Скоро мы «забаррикадированы» ими с трех сторон – только к двери небольшой проход. Сели мы все-таки удачно!

— Ты откуда? – кричит один парень другому.

— Из лечебницы Фиалковского! – подмигивая в нашу сторону, отвечает вопрошаемый. – А ты?

— С Модяговки! – нарочито грубо отзывается кто-то.

— А ты?

— Я?.. С Марса! – острит очередной.

— Эй! А который будет с Нахаловки? – продолжается перекличка. – Узнай, откуда «эти»?

— Вы откуда? – обращается ко мне на недурном английском тот, кого звали «Федька». У него нагло-миловидное лицо.

— С Филиппин! – не задумываясь, бросаю я.

— А она? – указывает на Тасю.

— Здешняя. Моя подруга.

Другие перебивают, требуя перевода. Потом хохочут:

— Подруга? А может, жена? Спроси, почему в штанах?

У меня с этим Федей завязывается беседа. Он отрывочно переводит друзьям:

— Говорил – журналистка – и был прав… бытом интересуется… русскими апашами… объехала полсвета… – и т. д., всякую мою околесицу.

Его перебивают:

— Проходимка – ты говорил, а не журналистка…

За спинами этих заинтересованных нами мелькают злые лица девиц, которым хочется танцевать. Оркестр снова играет.

— Не хотите ли потанцевать? – спрашивает Федя.

— Да, но не прежде, чем кто-нибудь пригласит мою даму, – отвечаю я.

— Ну, ребята, приглашайте «китаянку»! – кричит Федька.

Тася глядит на меня умоляющими глазами. Но я не обращаю внимания и, подталкивая ее, встаю.

С Федькой у меня выходит отлично, и мы танцуем подряд несколько фокстротов, возобновляя музыку требовательными хлопками.

Я узнаю, что он учился там же, где и мои кузены. Радуюсь, что он явно приличнее всей местной публики. А ему импонируют негодующе-завистливые взгляды, и он дает мне совет не оставаться здесь долго, так как здесь есть несколько хулиганов, которые обязательно напьются к трем часам, то есть к закрытию этого учреждения, и могут нам надерзить.

— «Нитчево!» – смеюсь я. – У меня есть…

— Кастет, – кончает он, ощупывая мои карманы. – Это еще хуже! Лучше не показывайте его, иначе они будут считать себя вправе делать что угодно.

Тася машет мне рукой, и мы снова принимаемся за пиво.

Другие столики со скрипом ползут к нашему уголку. На них водка и огурцы, а над ними багровые рожи.

— Постановляю! – орет одна. – Разделить девочек! Да и катнем дальше! Здесь скоро конец. Федька! Спроси их! Согласны они? Поди, друг другу-то осточертели?! – рожа грубо хохочет и подмигивает.

Тася шепчет:

— Уйдем, уйдем…

«Подальше-то» я, конечно, не рискну поехать с ними, а что здесь будет «дальше», мне интересно, и я не спешу. Украдкой гляжу на часы: недурно! Уже без четверти три…

Видя нерешительное молчание Федьки, «рожа» продолжает:

— Айда, ребята, за польтами! Что их спрашивать? Загр-р-ребем, да и баста!

Рожа хватает мой пивной стакан, наливает в него водки и пьет залпом.

Брезгливо морщусь.

— Ин-н-ностранке не ндравится! – орет рожа. – А не суйся, куда не звали! Теперь не уйдешь!

— Брось, – беря за плечо приятеля, примирительно говорит Федя. – Мало ли что может выйти – у иностранцев свои консула – будет тебе!

— А может она ломается? – рычит рожа. – Не тебя зовут, тяньцзинский консул! Ну и не езжай с нами!

И, пошатываясь, ухватив за руки еще нескольких, «рожа» идет к раздевалке, находящейся в конце прихожей.

Этого я и ждала. Хватаю Таську за руку, кидаюсь в коридор и в дверь, которая тут же, под боком.

Скользкие ступени вверх; хлоп! – одна дверь; бац! – вторая – и мы на улице.

Не разжимая рук, летим, как сумасшедшие, к своим воротам, но… калитка в них заперта. Скользя и задыхаясь, прижимаемся в затененный угол палисадника.

В этот миг какая-то запоздалая машина быстро проходит мимо и скрывается за противоположным углом.

Ей вслед несется вопль:

— Уехали, чертовки! – и несколько черных фигур пробегают за тот же угол.

Таська всхлипывает:

— Балда я! Дура, ничего интересного – один страх! Хозяева узнают – влетит! Зачем вас научила?..

— Никому я не скажу! – отрывисто бросаю я, начиная постукивать в калитку. – И совсем не страшно, и я очень рада… и не вы научили…

Мы успеваем совсем заледенеть, пока сонный караулка пытается попасть ключом в невидимую скважину замка.

Утром Таська с визгом врывается в мою спальню:

— Телеграмма! Телеграмма! Может быть, останетесь?

Вскрываю.

— Да. Кое-какие поручения из дома, которые в один день не исполнишь.

— Вот хорошо-то, – радуется Тася. Затем понижает голос: – Только, Христа ради, не проговоритесь…

Я поспешно одеваюсь. Нужно успеть застать кой-кого.

На стуле валяется полосатая пилотка. Задумчиво беру ее в руки.

— Бросьте, бросьте! – говорит Тася. – А ну ее!

— Нет уж. Значит, судьба ходить в ней, раз уж остаюсь, – неожиданно для себя заявляю я, натягивая дикую полосатую штуку на самые брови.

Жду на углу такси.

Вдруг останавливается передо мной блестящий шоколадный бьюик,

и один знакомый – представитель иностранной фирмы – удивленно приветствует меня:

— Так рано и уже гуляете? И прямо бросаетесь в глаза! Давайте уж «бросаться» вместе!

— С удовольствием. У меня дело в японском консульстве, – улыбаюсь я, усаживаясь на мягкие подушки.

— Подвезу! Подвезу! Хотя вам больше подошел бы аэроплан! – отвечает знакомый. – Но сначала разрешите в одно местечко заглянуть?

— Конечно. Пожалуйста.

Сижу одна в машине у какого-то большого подъезда.

Вынимаю свой длинный мундштук, закуриваю и, открыв дверцу, кидаю спичку…

До меня долетает недоуменный возглас:

— Смотри! Не врала! Машина-то иностранная! Флажок на крыле, гляди! Чехословачка, что ли?

Скашиваю глаза на тротуар.

Там остановились две вчерашних «рожи» в замызганных рабочих робах.

Глядя друг на друга, продолжают:

— Вот бы вляпались!

Меня душит смех от этого удачного финала. А «рожи» поспешно и деловито удаляются.

Над вечереющим синим морем красная линия заката – ярко и дико умирает день.

Такая же яркая и дикая висит где-то на кусте моя пилотка, хотя мой рассказ о ней кончен. Но ноги все еще вязнут в листьях и шуршат… Шуршат только своим прошлым.

Корея, 1935 г.

Опубликовано и печатается по: Янковская В. По странам рассеяния. Владивосток, 1993. С. 51-61.

ЯСЕНЬ
Танка

Ты хочешь слышать легенду об этом красивом дереве, что стоит над рекой на крутом повороте шоссе? Или сказку?

Нет!..

Нам – рожденным на Дальнем Востоке – ближе поэзия этого Востока… Я расскажу тебе танку. Танку, – но по-русски, потому что я русская и потому, что восточный лаконизм тебе чужд. Я постараюсь сделать эту танку длиннее и понятнее.

Слушай же танку об этом дереве…

Развесистое и пышное. Это самый красивый ясень из всех мне знакомых. А его корни у дороги обнажились и образуют маленькие терраски, на которых так удобно сидеть. Бурлит река, и вокруг надвигаются высокие хребты этой маленькой скалистой страны. А ночью с двух сторон огни: внизу их теперь стало много и вверху вдали тоже больше, чем прежде, – вверху они раскиданы по обрывам. Мне жаль, что нас все больше и больше. Хорошо было, когда там впервые замерцал только один – тусклый, но уютный и мирный.

Я помню то время. Ясень был тоже молод тогда, и мимо него никогда не метались автомобили. Мимо него тихонько проходили спокойные люди, и многие отдыхали на его корнях.

Последи ночью за ним. Ты ничего не видишь? Да, да, теперь ничего еще нет… Позже, позже…

И вот в одну моросистую, весеннюю ночь они опустились на эти корни. Их было, конечно, двое. Они шли к одинокому свету вверху, но спешить им не хотелось. Обычно они говорили много и о разном, но теперь все чаще смолкали и к чему-то прислушивались.

Моросило, квакали оглушительно лягушки, и бурлила река, а теплый ночной ветер – горный, душистый – заставлял поднимать лица и дышать, дышать.

В этой шумной тишине подросток вздрогнул, но не вскочил испуганно и не убежал, хотя на плечо ее легла чужая рука – рука ласковая и нежная.

Ей – смуглому подростку – показалось, что это не чужая рука, а какая-то давно-давно своя – и потому она не убежала. Рука ласкала плечи, говорила много и нежно, но человек молчал. Он боялся словом разогнать этот душистый весенний морос, приведший их под это дерево…

Посмотри! Видишь, теперь на повороте у ясеня сверкнули автомобильные фонари и погасли? А скоро они зажгутся вновь и полетят дальше… Смотри… Они – эти фонари – жмурят яркие глаза у этого дерева – они вспоминают. Вспоминают смуглого подростка семь лет тому назад… Я вижу их часто по ночам… Почему я вижу? Потому что и я вспоминаю… Деревья – мои друзья. Ночью они пробуждаются и… как же смею я спать тогда? Ведь они мои друзья. Друзья – честные и верные. Эти друзья не изменяют, не обижают и не предают, ради них можно не спать.

Ты видишь, фонари зажглись вновь и полетели дальше. Они послали свой привет ночному дереву – дереву своей судьбы.

Потому, как точно замирает у ясеня этот маленький автомобиль, я думаю, что он уже останавливается сам. Он, как ручное животное, предан глубоко своему господину, он любит его и хочет ему счастья, а счастье своего господина мнится ему в его спутнице, которую он все чаще и чаще возит.

— Знаешь, – говорит мужчина, – теперь уже скоро наш ясень облетит. Послушай, шуршанье его листьев такое грустное. Жаль ведь, что он смолкнет на всю зиму. Как мы узнаем, что он рад нашему приближению, что он нас чувствует и помнит?

— Что же мы сделаем?

— Мы повесим на ветвях его колокольчик.

— Да, да! Колокольчик! Один из тех, что ты привез мне из Японии – темный, древний и мелодичный… Ветер будет качать голые ветви, и колокольчик будет звенеть о нас.

— И еще, знаешь, куда мы увезем один колокольчик?

— Знаю! Мы увезем колокольчик на тот горный перевал в маленькую кумирню, где мы…

— В которой мы поняли друг друга…

— Да, в которой ты сказал мне…

— Перед которой я протянул тебе руки и ты…

— Я не удивилась и…

— Ты прижалась ко мне легко и доверчиво и поняла…

— Я поняла, что старый ясень не протягивает ветвей, если не видит судьбы, а мы…

— Мы – судьба, мы – правда. Так ты считаешь?

— А ты?

— Как же я мог думать по-иному?

— Почему же, почему?..

— Девочка моя, я знаю, о чем ты думаешь: почему я не сказал тебе об этом семь лет назад? Тогда бы не было, ты думаешь, в твоей жизни этого сумбура и ты думаешь, ты была бы лучше и спокойнее?.. Нет, девочка. Я не сказал тебе об этом нарочно. Я ждал, когда ты сама поймешь о судьбе и о правде… Девочка уехала в ту осень, девочка узнавала чужих людей и чужую жизнь. Девочка не знала, что люди носят маски, потому что в той стране, где росла она и где я наблюдал ее с детских лет, – люди просты и ясны, люди настоящие. И вот той ясной девочке из-под ясеня – стало больно. Она верила во все, что видела, а когда открывалось то, что прятали люди, – она плакала. А потом, позже, она нарочно закрывала глаза на то, чего видеть не хотела, и думала, что так можно прожить всю жизнь. Но тогда правда – худая правда – вылезала сама, потому что правда – и худая, и хорошая – не может долго прятаться, – она уж так устроена с самого начала – в этом ее суть, понимаешь, девочка?

— И какая я была глупая! Я приходила к тебе и говорила все свои печали, свои горькие опыты, свои ошибки от закрытых глаз… Тебе было неприятно, раз ты…

— Нет, мне было очень приятно, хотя и больно. Но я верил, что я самый близкий друг моей девочки, что ей не придется когда-нибудь

вспомнить все снова и мучиться, и мучить. Я уже все знаю и знаю лучше, чем моя девочка… Ведь моя?

— Буду, буду… потому что ты не выдумка, ты с самого начала был правдой.

— Ты на меня не закрывала глаза?

— Не успела! И, оказалось, и не нужно было, так как такую как ты правду – я могу принять, и я ее люблю.

— Любишь! Любишь? И как я любил и люблю… Понимаешь теперь, почему я молчал? Я же знал, что боги этой страны – наши боги, и нас любят – и потому мы должны быть вместе. Кто так понимает солнечное яркое утро в хребтах, когда в тени еще роса, и паутины блестят и дрожат радугой? Ведь ты бродишь много одна – ну, а со мной разве хуже? Разве тебе не радостно, что прежде, чем ты укажешь мне на висящую над обрывом изогнутую корявую сосну, – я говорю тебе о ней? Разве я не привез тебе колокольчики, которые ты видела без меня под черепичной крышей старого монастыря и о которых ты мечтала? Разве не я нашел тебе старинные, поношенные железные туфельки, которые ты без меня видела в чужом городе, но не могла купить? Все твои бредовые галлюцинации и мечты приходят ко мне, как сны, и я хочу и буду воплощать их в нашу жизнь. «Острый, стройный, яркий» – написала ты семь лет назад о шпажнике, который я принес тебе. А я повторял: «Остро, стройно, ярко», – и ты поправляла меня…

— Я спрашивала – почему ты коверкаешь мои слова, а ты грустно улыбался, но не объяснял…

— Я ждал, что ты поймешь сама, – и я дождался, девочка…

— Я не считала тебя самоуверенным, да и я была такая, что как ты мог думать…

— Я не думал, я только чувствовал и потому знал…

— «…знал-знал-нал-ал-ал-ал…», – это звенит на ясене старый колокольчик, потому что листья дерева давно облетели, и ветер, привыкший беспокойно тормошить их, напал теперь на ветки и раскачал маленький колокольчик, повешенный на самой вершинке.

А далеко-далеко на высоком горном перевале в маленькой старой кумирне шелест. Это шелестят ветви давно увядших абрикосов. Прошлой весной их положили там перед жертвенником Горному Духу. Их положили там те, кому Горный Дух открыл их Судьбу.

Ветер летает везде. Ветер много видит и слышит. Но напрасно думают, что ветер непостоянен. Ветер всегда, всегда возвращается на круги своя – потому что он силен и властен – а мало кто может удержаться и не злоупотребить своей властью. Ветер знает силу своих ароматов и звуков, он знает, как изнервить человека стуком по бамбуковому переплету бумажной двери и как согреть его душу нежным весенним порывом. Ветер

капризен и любит жертвы. И больше всего он любит колокольчики, потому что эти игрушки не сопротивляются и всегда рады качаться и петь, но без ветра они – ничто. А разве не приятно быть чем-то чему-то?

И подслушал ветер, как обещали двое под ясенем – дать второй колокольчик старой кумирне. Поэтому он навестил ее зимней ночью, но жертвы ему еще не было там. С досады он хрустнул увядшими ветвями абрикосов, и зашептали старые бревенчатые стены. Это придорожная кумирня вспоминала чужие чувства и хвастала, и гордилась, что в ее далекий мир приходили двое и поняли в ней друг о друге…

Буйно цвели дикие абрикосы, и маленький автомобиль спокойно и уверенно ждал внизу своего господина. А тихая кумирня заслоняла путников своей ветхой черепичной крышей, под которой на стене и теперь четко выделялись еще весной начертанные строки:

Мы с тобой на горном перевале
В старой маленькой кумирне
У весны один рассвет урвали –
Радостный и нежно-мирный…

Мы с тобой сквозь сосны пролетели,
Сквозь цветенье абрикосов,
И хребты Кореи нам пропели
Повеленья на вопросы…

Милый! Верю в парадокс наш новый:
— Только ветер неизменен –
Ибо он всегда вернется снова
На круги свои, как змеи…

Он, как змеи, – ночью нас ужалил
В моросистый час далекий,
Мы колец его не избежали
Ярко-ласково-жестоких.

И теперь душа кумирни горной
Бережет тайфунную отраву
Встречи неизбежной и повторной,
Сделавшей меня почти покорной, –
Ибо ты – не миф в моей оправе –
Для меня впервые – ты, как правда.

И молчанье сменилось речью – сначала поспешной и неясной – из отрывков воспоминаний, из странных пояснений, – только двоим понятных и несомненных.

…Ясень, ясень и морось… Мы знали, мы ждали…

…дали-али-али-али-ли-ли!..

…Слышишь? Это поет на ясене колокольчик, потому что сам ясень теперь молча думает, и листья его давно облетели…

Колокольчики повесили… кто хочет, чтобы ясень говорил и зимой о том, что они чувствуют, что под ним они поняли друг о друге и о Правде.

Видишь, сверкнули и зажмурились фонари на крутом повороте шоссе над рекой? Это маленький ручной автомобиль, который давно останавливается сам и который верит в счастье своего господина…

Ночью деревья пробуждаются, и как смею я спать тогда? Ведь они – мои друзья. Друзья честные и верные. Эти друзья не изменяют, не обижают и не предают.

И потому не сплю и я, потому и я рада многому, и потому и я вспоминаю…

Корея, 1938 г.

Опубликовано и печатается по: Янковская В. По странам рассеяния. Владивосток, 1993. С. 45-50.

СОДЕРЖАНИЕ

Елизавета Рачинская 3
Обнаженная 3
Жертва 12
Катя 20
Наталья Резникова 26
Полукровка 26
Раба Афродиты 33
Только два дня 53
Пан Теодор 63
Отец и мать 72
Пушкин и Собаньская. *В сокращении* 79
Константин Сабуров 93
Фоб-Дайрен 93
Полынь 102
Сундук магараджи 107
Павел Северный 116
Озеро голубой цапли. *Отрывок из повести* 116
Слезинка 128
Кружева жизни 133
Люди и бронза 137
Сергей Сергин 140
Яд 140
Детство 141
Ольга Скопиченко 149
Шесть коломбин 149
Смертное воспоминание 154
Неожиданный завтрак 161
Перепутанные строки 164
Устрицы 168
У врат старого храма 172
Лидия Хаиндрова 177
Отрывок 177
Две сестры 178
Альфред Хейдок 180
Призрак Андрея Бельского 180
Дэрби 184
Игра с роком 187
Зов пустыни 192
Двойной след 199
Шествие мертвых 204
Маньчжурская принцесса 207

Мария Шапиро 218
Синеглазый бес 218
Самсон Шахматов 224
Оборотень 224
Павел Шкуркин 234
Как я сделался хунхузом 234
Маньчжурский князек 241
Старая хлеб-соль 260
Бай-хуа да-цзян 262
Храм верности 266
Справедливый 275
Николай Щеголев 281
Полдень 281
Михаил Щербаков 283
Иринари 283
Паршивый уголь 287
Джонни, молодой мамонт 301
Корень жизни 315
Шанхайские наброски 330
Черная серия. *В сокращении* 339
Борис Юльский 363
Ошибка Шерлока Холмса 363
Долина освобожденных душ 369
Возвращение госпожи Цай 376
След лисицы 382
Багульник 391
Шутка 398
Таежная сказка 407
Господин леса 417
Виктория Янковская 421
Без Бога, без закона, без обычая 421
Полосатая пилотка 431
Ясень 440

Содержание 446

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1. Проза: В 3-х частях. Ч. 3 (Р–Я) / Сост. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева.

Подписано к печати 03.12.12. Дизайн – *Ю.М. Гофман, В.А. Долгов*.
Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 20,58. Тираж 500. Заказ 371.
Отпечатано в типографии АмГУ.